Wyrwenspahn

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Цѣна каждаго тома 1 руб.

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣщены при шестомъ томѣ.

3-е изданіе Ф. Павленкова.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Ю. Н. Эрлихъ, Садовая, № 9.
1901.

СОЧИНЕНІЯ

Д. Н. ЦИЦАРЕВА.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ.

ТОМЪ ШЕСТОЙ.

ОГЛАВЛЕНІЕ

ВТОРОГО ТОМА.

1861 г.

стр.

1) Аполлоній Тіанскій . . . . . 1—166

1862 г.

2) Московскіе мыслители . . . . . 167—216

3) Русскій Донъ-Кихотъ . . . . . 217—236

4) Вольные русскіе переводчики . . . . . 237—256

5) Генрихъ Гейне . . . . . 257—308

6) Пчелы . . . . . 309—332

7) Физіологическія картины . . . . . 333—378

8) Базаровъ . . . . . 379—426

9) Очерки изъ исторіи печати во Франціи . . . . . 427—502

1863 г.

10) Зарожденіе культуры . . . . . 503—608

АПОЛЛОНІЙ ТІАНСКІЙ.

Агонія древняго римскаго общества, въ его политическомъ, нравственномъ и религіозномъ состояніи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Аполлоній Тіанскій, извѣстный намъ по сочиненію Филострата и по немногимъ отрывочнымъ отзывамъ другихъ писателей, былъ практическій философъ пиѳагорейской школы, пытавшійся путемъ обновленія нравственности и религіи оживить умиравшее общество и сдѣлать людей гражданами и гражданъ людьми. Какъ реформаторъ, онъ приходилъ въ столкновеніе со всѣмъ существующимъ порядкомъ вещей; и нравственная жизнь частныхъ лицъ, и проявленія духовной жизни цѣлыхъ обществъ обращали на себя его вниманіе. Чѣмъ шире былъ кругъ его дѣйствій, тѣмъ болѣе нужно для правильной оцѣнки его личности и стремленій составить себѣ хотя приблизительное понятіе о физіономіи тогдашняго общества и человѣка; на этомъ основаніи я считаю необходимымъ остановиться болѣе подробно на тѣхъ сторонахъ римско-греческаго быта, которыя обусловливали собою дѣятельность Аполлонія, и едва коснусь многихъ другихъ, можетъ быть, болѣе важныхъ, но не имѣющихъ тѣсной связи съ моимъ предметомъ.

Направленіе предпринятой Аполлоніемъ реформы было религіозно-нравственное; онъ хотѣлъ дѣйствовать на своихъ современниковъ изнутри наружу; къ вопросамъ практической нравственности онъ относился прямо и рѣшительно; въ этой области онъ чувствовалъ себя хозяиномъ и не стѣснялъ работы мысли и голоса нравственнаго чувства ни мнѣніемъ большинства, ни авторитетомъ преданія. Къ вопросамъ религіозной догматики онъ относился настолько, насколько догматъ обусловливалъ собою жизнь. Отвлеченному догмату, внѣшнему обряду онъ не придавалъ большого значенія, и въ большей части случаевъ оставлялъ неприкосновенными существующія формы. Рѣшительнѣе и страстнѣе относился онъ къ политическимъ вопросамъ своего времени; но и какъ публицистъ, Аполлоній остается учителемъ практической нравственности. Въ идеалъ древняго человѣка входило такъ много чертъ гражданина, что тѣ формы, въ которыя вылилась общественная жизнь, не могли не обращать на себя вниманіе мыслителя-моралиста. Въ доказательство неизбѣжности такого соприкосновенія между нравственностью и государственными формами, достаточно будетъ назвать сочиненіе Платона: «de republica» и Аристотеля: «Politica».—Столкновенія Аполлонія съ властями были вызваны необходимостью; онъ не хотѣлъ производить революціи, или по крайней мѣрѣ революція не была цѣлью его жизни, потому что цѣль его была и шире, и глубже, и достойнѣе мыслящаго человѣка. Аполлоній не составлялъ никакихъ проектовъ для преобразованія государства; его болѣе занимала жизнь отдѣльной личности, и онъ возставалъ противъ тираніи настолько, насколько она подавляла свободное развитіе духовныхъ силъ и независимое отправленіе гражданскихъ и человѣческихъ добродѣтелей. Итакъ важнѣе всего была для Аполлонія мыслящая и дѣйствующая личность человѣка; все остальное болѣе или менѣе является въ его глазахъ обстановкою, оказывающею значительное вліяніе на главный предметъ, но не имѣющею самостоятельнаго интереса.—Слѣдовательно, чтобы познакомиться съ полемъ его дѣятельности, мы должны составить себѣ понятіе о томъ, какъ думалъ, чувствовалъ и поступалъ человѣкъ, жившій въ эпоху паденія язычества. Для этого я очерчу наружную обстановку его жизни, начиная съ самаго внѣшняго, съ правительства, и постепенно переходя къ болѣе внутреннимъ, семейственнымъ отношеніямъ, потомъ постараюсь разсмотрѣть вліяніе этой внѣшней обстановки на внутреннее сознаніе и наконецъ кончу изображеніемъ этого внутренняго сознанія, какъ высшаго и послѣдняго результата внѣшнихъ условій жизни.

I.

Вступленіе на престолъ Тиверія, разсказаннос Тацитомъ въ началѣ его лѣтописи, бросаетъ яркій свѣтъ на отношеніе императорской власти къ народу и на взглядъ народа на императорскую власть въ началѣ перваго вѣка христіанской эры. — Октавіанъ Августъ былъ самодержавнымъ государемъ *de facto*, а не *de jure*; побѣда надъ совмѣстниками, подобными Антонію и Лепиду, и надъ противниками по принципу, подобными Бруту и Кассію, доставила счастливому полководцу фактическое господство; искусная политика, умѣнье льстить народу и войску, и держать въ страхѣ аристократію, удерживали за нимъ эту пріобрѣтенную власть. Но самодержавіе Августа было все-таки единичнымъ случаемъ, не оправданнымъ никакимъ общимъ правиломъ; убійцы Цезаря не считались государственными преступниками, и Августъ не былъ наслѣдникомъ своего дяди. Власть его принадлежала только его личности и не успѣла еще перейти въ отвлеченное понятіе. Любопытно было знать, что случится послѣ его смерти: распадутся ли соединенныя имъ должности, уничтожится ли имперія, или вторичное соединеніе этихъ должностей въ одномъ лицѣ укрѣпитъ въ народномъ сознаніи возникающее понятіе императорской власти. Тутъ много зависѣло отъ личности преемника Августа; нужно было дѣйствовать рѣшительно и осторожно, такъ чтобы новая идея созрѣвала и крѣпла подъ защитою старыхъ формъ, нарушеніе которыхъ могло встревожить народъ и вызвать изъ рядовъ его новаго Брута. Тиверій понялъ свою роль, и потому его поступки носятъ на себѣ печать двойственности, выходившей отчасти изъ его положенія, отчасти изъ самаго характера. За проявленіемъ дерзкаго произвола слѣдуетъ постоянно выраженіе самаго глубокаго благоговѣнія передъ существующимъ порядкомъ вещей. Тотчасъ послѣ смерти Августа онъ самовольно принимаетъ начальство надъ войскомъ, и вслѣдъ затѣмъ отказывается отъ предлагаемаго ему императорства; онъ именемъ покойнаго Августа приказываетъ убить Агриппу Постума, и тотчасъ же отрекается отъ своихъ словъ и говоритъ центуріону, исполнившему его волю, что «онъ не приказывалъ, и что объ этомъ надо отдать отчетъ передъ сенатомъ». На дѣлѣ онъ ворочаетъ всѣмъ государствомъ; по формѣ онъ дѣлаетъ все черезъ консуловъ. Въ то же время онъ произвольно назначаетъ себѣ тѣлохранителей и пишетъ приказы по арміи. Смѣлость въ поступкахъ и робость въ словахъ характеризуютъ собою всю его политику. Что эта политика обманывала не многихъ или по крайней мѣрѣ далеко не всѣхъ, на это мы имѣемъ доказательства въ томъ же разсказѣ Тацита. Римская чернь была равнодушна къ формамъ управленія; она вся была занята матеріальными заботами о пропитаніи и о грубыхъ чувственныхъ удовольствіяхъ; Августъ сдерживалъ ее раздачею хлѣба, и уже одно это обстоятельство доказываетъ, что чернь эта была матеріальная сила, громадная, но слѣпая, которую надо было постоянно имѣть въ виду, но на которую нельзя было падѣяться, и которой неосновательно было бояться. Владѣть ею могъ всякій умный правитель; на это нуженъ былъ бдительный надзоръ, да еще значительныя денежныя траты, чтобы кормить ее даровымъ хлѣбомъ и забавлять зрѣлищами. Тиверій не надѣялся на ея привязанность къ личности и къ дому Августа; онъ понималъ, что любой демагогъ можетъ въ удобную минуту увлечь ее за собою, и потому распорядился, чтобы погребальная процессія Августа была прикрыта военнымъ отрядомъ.

И дѣйствительно, въ высшихъ слояхъ общества ходили о семействѣ Августа такіе толки, которые ясно показывали, что Римляне не потеряли своихъ сатирическихъ способностей, и что при удобномъ случаѣ не будетъ недостатка въ предводителѣ народной партіи. — Итакъ одна часть народа, масса, была равнодушна къ политическимъ переворотамъ, тѣмъ болѣе, что ни одинъ правитель не покушался на ея матеріальное благосостояніе. Образованная же часть общества смотрѣла на личность и дѣйствія Тиверія съ недовѣріемъ и со страхомъ, но понимала, что этихъ чувствъ выказывать пельзя, потому что новый императоръ, по словамъ Тацита, «запоминаетъ каждое слово, каждое выраженіе лица и перетолковываетъ ихъ въ преступленіе». Тиверій и сенатъ хорошо понимали другъ друга и отлично играли свои роли. Тиверій не говорилъ ни слова, а сенатъ угадывалъ, что надо просить его о принятіи власти; на ихъ просьбы Тиверій отвѣчалъ, «что только духъ божественнаго Августа былъ способенъ нести такое бремя, что одному человѣку не по силамъ управлять всѣми, что соединенныя усилія многихъ успѣшнѣе его одного поведутъ государственныя дѣла». Тутъ, какъ видно, шло дѣло не о томъ, кому быть императоромъ, а о томъ, быть ли вообще императору. Впрочемъ это нисколько не доказываетъ того, чтобы существованіе имперіи въ то время могло быть еще вопросомъ, и чтобы сенатъ былъ въ состояніи рѣшить этотъ вопросъ утвердительно или отрицательно. Тиверій зналъ, что сенатъ скажетъ все, что прикажетъ онъ — всемогущій начальникъ войска, и что слѣдовательно сенаторамъ важнѣе всего узнать его истинный образъ мыслей. Его притворство сбивало ихъ съ толку, и они уже не знали, что дѣлать: оставить ли его въ покоѣ, или продолжать упрашивать. Тиверію было необходимо, чтобы сенаторы не принимали его словъ за чистую монету, и потому, желая показать слушателямъ своимъ, что онъ отказывается только для виду, онъ упомянулъ въ своемъ отвѣтѣ о возстановленіи республики и далъ такимъ обра-

зомъ на выборъ или сдѣлать его императоромъ, или уничтожить императорскую власть. Второе было невозможно: это доказано послѣдующею исторіею, хоть бы напримѣръ воцареніемъ Клавдія; сознаніе этой невозможности существовало во всѣхъ благоразумныхъ и хладнокровно размышлявшихъ людяхъ того времени. Еще въ началѣ единодержавія Августа «ни одинъ благоразумный человѣкъ, говоритъ Нибуръ, не пожелалъ бы возстановленія республики, еслибы оно даже и было возможно».

Дилемма, поставленая Тиверіемъ, подтверждаетъ мнѣніе знаменитаго критика. Тиверій не далъ на выборъ сенату сдѣлать императоромъ его или кого-нибудь другого, хотя Августъ, къ которому онъ оффиціально питалъ религіозное уваженіе, положительно назвалъ людьми способными занять его мѣсто М. Лепида и Л. Арунція. Онъ не только не назвалъ этихъ именъ, но даже старался всѣми возможными средствами погубить эти личности. Стало быть, онъ предлагалъ республику только потому, что убѣжденъ былъ въ ея невозможности и кромѣ того былъ увѣренъ въ томъ, что эту невозможность сознавали и его слушатели. Сенаторы играли комедію по необходимости, по волѣ Тиверія; кто сбивался съ роли, тому приходилось плохо. Л. Гатерій некстати спросилъ у него: «Долго ли ты, цезарь, оставишь государство безъ главы?» и за это, нѣсколько времени спустя, во дворцѣ, на глазахъ у Тиверія, былъ самымъ грубымъ образомъ оскорбленъ его тѣлохранителями. Мамеркъ Скавръ далъ замѣтить, что онъ понимаетъ Тиверія: «Есть надежда, сказалъ онъ, что просьбы сената не будутъ напрасны, потому что онъ (Тиверій) не противился предложенію консуловъ своею трибунскою властью». За это сенаторъ Скавръ попалъ въ немилость; Тиверій никогда не прощалъ, но и никогда не наказывалъ тотчасъ; 18 лѣтъ спустя, въ 32 году по Р. Х., Скавръ былъ обвиненъ въ оскорбленіи величества, и «Тиверій взялъ его дѣло къ себѣ, говоря, что самъ изслѣдуетъ его въ сенатѣ, и при этомъ зловѣщимъ образомъ отозвался о Скаврѣ; черезъ два года судъ возобновился, и Скавръ лишилъ себя жизни, чтобы избѣжать казни. Замѣчу впрочемъ, для соблюденія исторической вѣрности, что Тиверій и прежде не любилъ Скавра, который, какъ талантливый трагическій писатель и человѣкъ безукоризненной нравственности, съ одной стороны возбуждалъ его подозрительность, съ другой оскорблялъ его притворную добродѣтель.—Разыгрывая свою государственную комедію, Тиверій самъ направлялъ актеровъ и какъ бы подсказывалъ роли тѣмъ, кто сбивался по простодушію и въ комъ онъ не подозрѣвалъ злого умысла или блестящихъ способностей». Въ то время, когда сенатъ унижался до самыхъ раболѣпныхъ упрашиваній, Тиверій сказалъ случайно: «я не способенъ управлять всѣмъ, но я согласенъ завѣдывать тою частью, которую мнѣ поручатъ».—«Я спрашиваю тебя, цезарь, сказалъ тогда Азиній Галлъ, какую же часть управленія ты хочешь на себя принять?»—Это была грубая ошибка со стороны Азинія Галла; онъ этими словами показывалъ, что считаетъ возможнымъ раздѣленіе власти и возвратъ къ республикѣ, показывалъ то, чего онъ вѣроятно никогда и не думалъ. Тиверій смутился этимъ неожиданнымъ вопросомъ, но потомъ оправившись отвѣчалъ: «мнѣ, при моей скромности, не пристало выбирать или отклонять что-нибудь изъ тѣхъ обязанностей, отъ которыхъ мнѣ всего пріятнѣе было бы вовсе отказаться». Въ этомъ замѣчательно-дипломатическомъ отвѣтѣ Тиверій ясно намекнулъ Азинію, что нераздѣльность тѣхъ должностей, которыя соединилъ въ своемъ лицѣ Августъ, составляетъ основной догматъ, article de foi, и что нарушителямъ его грозитъ высочайшая немилость. Галлъ понялъ, что онъ сдѣлалъ ошибку, понялъ это и по словамъ Тиверія, и по выраженію его лица, и поспѣшилъ, насколько было возможно, поправиться.—«Я не затѣмъ предложилъ этотъ вопросъ, началъ онъ, чтобы раздѣлять то, что не можетъ быть раздѣлено, но чтобы ты самъ подтвердилъ своимъ словомъ, что одно государственное тѣло должно управляться однимъ духомъ». Этихъ словъ Азинію показалось мало, чтобы загладить неумѣстную выходку; онъ началъ хвалить Августа и распространился о военныхъ подвигахъ Тиверія, но и это не помогло. Тиверій вообще подозрѣвалъ въ немъ либеральныя наклонности и взялъ его на замѣчаніе. Черезъ 19 лѣтъ, когда обвиненія въ оскорбленіи величества сдѣлались особенно многочисленны и смертельны, Азиній Галлъ былъ обвиненъ и, не надѣясь выпутаться, уморилъ себя голодомъ. Итакъ Тиверій и сенаторы были актерами. Тиверій дирижировалъ ходомъ всей пьесы; сенаторы говорили противъ своего желанія, противъ убѣжденія, сознавая, что и Тиверій притворяется, что онъ видитъ и цѣнитъ по достоинству ихъ притворное усердіе. При этомъ, они еще сами не знали, чѣмъ это все кончится, потому что Тиверій былъ непроницаемъ и за малѣйшую догадку о его истинныхъ намѣреніяхъ могъ серьезно возненавидѣть и современемъ погубить. Сенатъ былъ такимъ образомъ пассивенъ и не смѣлъ даже передъ самимъ собою сознаться въ этой пассивности; онъ долженъ былъ прикрывать своимъ заслуженнымъ семисотлѣтнимъ авторитетомъ проявленія чужого, единичнаго произвола; онъ долженъ былъ предъ народомъ нести отвѣтственность въ поступкахъ, которые дѣлалъ другой и которыхъ онъ часто не зналъ во всемъ ихъ объемѣ; сенатъ былъ орудіемъ и долженъ былъ постоянно притворяться всемогущею, разумною политическою личностью. Римская аристократія выносила все это, и люди, подобные благородному Тразеѣ Пету, являлись рѣдко и составляли исключительныя явленія, не имѣвшія подъ собою почвы

и погибшія со славою, но безплодно. Въ Римѣ, при императорахъ, человѣкъ богатый и знатный былъ подверженъ самымъ разнообразнымъ опасностямъ. Во-первыхъ, его богатства возбуждали въ доносчикахъ желаніе оклеветать его, чтобы воспользоваться частью его конфискованнаго состоянія. Во-вторыхъ, онъ стоялъ на виду, и власти смотрѣли на него съ негодованіемъ, слѣдя за каждымъ шагомъ его и перетолковывая въ худую сторону каждое дѣйствіе. Если онъ велъ распутную жизнь, императоръ, властью цензора, могъ исключить его изъ сенаторовъ и всадниковъ; если онъ занимался науками, его считали человѣкомъ опаснымъ, потому что направленіе философіи вообще и стоической школы въ особенности было ненавистно правительству и дѣйствительно находилось въ оппозиціи какъ съ правительствомъ, такъ и съ религіей. Если онъ не приносилъ жертвъ, его обвиняли въ безбожіи; если онъ не клялся именемъ Августа, Тиверія, Поппеи, то его обвиняли въ безбожіи и въ мятежѣ; если онъ, будучи сенаторомъ, не посѣщалъ куріи, и это ставилось ему въ вину. Если, присутствуя въ сенатѣ, онъ молчалъ, это могло быть принято за признакъ гордости и неудовольствія. Если онъ говорилъ по убѣжденію, то опала была неминуема, а за опалою слѣдовала обыкновенно придирка къ какой-нибудь мелочи, обвиненіе въ оскорбленіи величества, конфискація имущества и казнь; при чемъ единственною милостью было иногда позволеніе выбрать себѣ родъ смерти. Приговоры издавались отъ имени сената, и даже процессъ обсуживался самими сенаторами; императору даже не нужно было нарушать законнаго порядка; раболѣпство римскаго вельможи, отмѣченное Тацитомъ, было такъ безпредѣльно, что онъ могъ противъ убѣжденія быть не только палачомъ, но даже судьею и присяжнымъ. Тразеа Петъ былъ осужденъ при Неронѣ своими товарищами, съ которыми онъ могъ сидѣть рядомъ въ тотъ самый день, когда Капитонъ Коссуціанъ собирался произнести свою обвинительную рѣчь; онъ былъ осужденъ людьми, которые всѣ безъ исключенія его уважали, потому что его уважалъ самъ Неронъ, потому что онъ былъ «сама добродѣтель»; вѣроятно, многіе изъ этихъ людей его любили, потому что Тразеа былъ человѣкъ кроткій, честный и незаносчивый. Это показываетъ намъ, что аристократія была совершенно ничтожна, какъ матеріальная и нравственная сила. Народу до нея не было дѣла; пролетаріи объѣдали богачей, но богачи отпускали своимъ кліентамъ ихъ *спортулы* и принимали ихъ за свои обѣды съ такимъ наглымъ пренебреженіемъ, которое желудокъ кліента могъ переварить, но которое никакъ не могло заронить въ нихъ чувство преданности и вѣрности. *Pietas* кліента къ патрону, считавшаяся въ лучшіе годы республики такою же обязательною добродѣтелью, какъ pietas сына къ отцу, отошла въ область прошедшаго вмѣстѣ съ вызвавшею ее потребностью взаимной помощи и защиты. Народъ любилъ, правда, нѣкоторыхъ честныхъ дѣятелей, но въ минуту опасности онъ ничего не дѣлалъ для ихъ спасенія. Популярность Тразеа Пета доходила до того, что когда онъ не посѣщалъ курію, то ежедневныя народныя вѣдомости (diurna populi Romani) усердно читались во всѣхъ провинціяхъ и во всѣхъ лагеряхъ, потому что всѣ тревожно старались узнать, какое дѣло рѣшилось помимо согласія Тразеа Пета. И вся эта блестящая популярность только ускорила гибель знаменитаго сенатора: она обратила на него недоброжелательное вниманіе власти и ничѣмъ не поддержала его критическую минуту паденія. На что же могла опереться аристократія? У нея были тысячи рабовъ, но рабы, по словамъ лучшихъ мыслителей древности, — живыя орудія и при томъ личные враги своихъ господъ. Рабы могли только угождать всѣмъ прихотямъ своихъ господъ, сносить побои, умирать по произволу господина на крестѣ, или, если дѣло поворачивалось иначе, являться доносчиками на своихъ господъ, или же выдерживать пытку и изъподъ пытки, въ бреду страданія, высказывать ихъ тайны и наговаривать на нихъ разныя небылицы. Внутри себя, римскій вельможа тоже не имѣлъ твердой опоры, способной поддержать его въ борьбѣ съ произволомъ и несправедливостью. Эти люди напереръвъ старались льстить властелину, и нѣкоторые изъ нихъ, напр. Вителлій, доходили въ этомъ отношеніи до невѣроятной изобрѣтательности; «онъ, разсказываетъ Светоній, первый назвалъ К. Кесаря (Калигулу) богомъ и сталъ поклоняться ему; когда Калигула возвратился изъ Сиріи, Вителлій не иначе осмѣливался приближаться къ нему, какъ закрывъ голову и отворачиваясь, а потомъ падая ницъ». Чтобы понравиться Клавдію, преданному женамъ и вольноотпущеннымъ, онъ просилъ у Мессалины, какъ высшей милости, позволенія снять съ нея башмаки; снявъ правый башмакъ, онъ постоянно сталъ носить его между тогою и туниками, и неоднократно прикладывалъ его къ губамъ. Въ числѣ своихъ домашнихъ боговъ онъ обожалъ золотыя изображенія Нарцисса и Палласа, съ которыми Клавдій находился въ связи. Привѣтствуя Клавдія на устроенныхъ имъ вѣковыхъ играхъ (ludi saeculares), онъ сказалъ извѣстное слово: Sacpe facias! (устроивай почаще!) Видно тутъ, что лесть вошла Вителлію въ привычку и сдѣлалась насущною потребностью его природы, такъ что при государѣ, не любящемъ льстецовъ, ему было бы трудно удержаться отъ униженія своего человѣческаго достоинства. Такихъ или почти такихъ Вителліевъ было много, и поэтому ихъ рабскія ужимки большею частью пропадали даромъ и только портили и безъ того уже заносчивый нравъ императоровъ Юліева дома. Мудрено ли, что слабыя головы Калигулы, Клавдія и Нерона закружились въ этомъ чаду куренія, на этой

недосягаемой высотѣ, на которой они стояли одни среди всего человѣчества? Мудрено ли, что Калигула, въ которомъ, по справедливому замѣчанію Шмидта, воплотилось сумасшествіе деспотизма, серьезно вообразилъ себя богомъ и становился на поклоненіе толпы въ пластическую позу между статуями Кастора и Поллукса. Деспотизмъ развращалъ римскихъ гражданъ, но и граждане въ свою очередь развращали своихъ деспотовъ, давая одному человѣку право презирать все человѣчество. Были свѣтлыя исключенія и между римскими цезарями, и между римскими вельможами, но они оставались особнякомъ и не производили никакого цѣлительнаго вліянія на своихъ современниковъ и на потомство. Возможность существованія и царствованія Домиціана послѣ Тита и Коммода послѣ Марка Аврелія доказываетъ ясно, что въ римскомъ народѣ не было жизненной силы, никакой инициативы. Онъ терпѣлъ, какъ огромный животный организмъ; когда боль была слишкомъ сильна, онъ дѣлалъ судорожное, большею частью мѣстное движеніе, и потомъ впадалъ въ ту же летаргическую апатію.

При Тиверіѣ (въ 32 г. по Р. Х.) хлѣбъ сдѣлался слишкомъ дорогъ, и народъ сталъ роптать; императоръ былъ осторожный и хитрый политикъ, но онъ не счелъ нужнымъ льстить народу. Были приняты строгія мѣры военнаго деспотизма, и чернь немедленно утихла, а консулы поставили ей даже въ вину ея унылое молчаніе. Впрочемъ съ чернью правители обходились всегда осторожно, и самъ Тиверій рѣшился употребить крутыя мѣры, опираясь на то, что при немъ выдача хлѣба производилась гораздо чаще и въ болѣе обширныхъ размѣрахъ, чѣмъ при Августѣ. Но вообще говоря, тупое, безплодное терпѣніе, неосновательное ни на какой надеждѣ въ будущемъ, не осмысленное никакою высшею идеею, терпѣніе, происходящее отъ недостатка самоуваженія и отсутствія нравственной энергіи, терпѣніе инерціи, постоянно соединенное съ малодушіемъ и низостью, составляетъ самую общую черту римскихъ подданныхъ. Это терпѣніе однакожъ не мѣшало имъ выдавать своихъ друзей, родственниковъ и единомышленниковъ. Слѣдствіе по заговору Пизона выставило самымъ яркимъ образомъ всю дряблость римской аристократіи. Милихъ, рабъ Антонія Наталя, донесъ объ этомъ заговорѣ Нерону. Наталь долго отпирался, но какъ только ему погрозили пыткою, онъ указалъ на Пизона и на Сенеку; остальныхъ выдалъ Сцевинъ, думавшій, что уже все открыто. Долѣе всѣхъ крѣпились Луканъ, Квинктіанъ и Сенеціонъ. Но когда имъ обѣщали полное прощеніе, Квинктіанъ и Сенеціонъ назвали ближайшихъ друзей своихъ, а Луканъ выдалъ старуху мать свою, Атиллу. Ободренные капитальными признаніями аристократовъ, слѣдователи думали, что всѣ подробности дѣла разскажетъ имъ вольноотпущенная Эпихарида, соучастница заговора, выданная Волузіемъ Прокломъ. Ее стали пытать, но усердіе слѣдователей разбилось о твердость женщины; ее жгли на медленномъ огнѣ, били плетьми, но она не назвала никого, и на другой день, когда ее въ носилкахъ несли на вторичное истязаніе, удавилась косынкою. Изъ этого никакъ нельзя заключить, что высшіе классы были хуже низшихъ. Изъ этого можно вывести одно заключеніе, что проявленія твердости и добродѣтели относились въ то время къ случайностямъ, составлявшимъ личную принадлежность отдѣльныхъ людей, и не обусловливались ни степенью образованія, ни положеніемъ въ обществѣ, ни эпохою, ни народностью. Вся политическая физіономія эпохи производитъ самое тяжелое впечатлѣніе; разрозненные примѣры безплодно погибающей добродѣтели усиливаютъ безнадежность; изъ этихъ примѣровъ становится виднѣе безсиліе лучшихъ началъ человѣческой нравственности; добро является обыкновенно единичною вспышкою и ни разу не дѣлается принципомъ; оттого на римскомъ престолѣ являются хорошіе государи, но въ римскомъ народѣ не замѣтно ни одного хорошаго движенія. Благородная душа Тацита глубоко страдала въ то время, когда онъ описывалъ ужасныя злодѣянія и еще болѣе ужасную апатію. Можетъ быть нигдѣ эти страданія не выразились съ такою трогательною силою, съ такою неподдѣльною искренностью, какъ въ 16 главѣ XVI книги его лѣтописи. Онъ разсказываетъ въ предыдущихъ главахъ о поступкахъ Нерона и Тигеллина и вдругъ прерываетъ свое повѣствованіе лирическимъ отступленіемъ: «Еслибы я съ такимъ однообразіемъ подробностей упоминалъ даже о войнахъ съ врагами отечества и о гражданахъ, умирающихъ за общее дѣло, то мною овладѣло бы пресыщеніе и я предположилъ бы скуку въ читателѣ, котораго утомятъ кончины гражданъ, честныя, но печальныя и однообразныя. Но здѣсь рабское терпѣніе и столько крови, потраченной дома, утомляютъ душу и наводятъ грусть. Отъ тѣхъ, кто узнаетъ эти событія, я потребую только одной милости: дайте мнѣ силы не презирать тѣхъ людей, которые погибали такъ безславно. Гнѣвъ боговъ противъ Рима былъ слишкомъ ужасенъ, чтобы разразиться разомъ въ пораженіи войска или въ потерѣ нѣсколькихъ городовъ».—Я взялъ такимъ образомъ изъ сочиненія Тацита нѣсколько сценъ и картинъ, въ которыхъ выразилось довольно ярко нравственное вліяніе римскихъ императоровъ. Колоритъ этого вліянія измѣнялся съ личностями, вступавшими на императорскій престолъ. Конечно, дворъ Калигулы, Домиціана или Коммода не былъ похожъ на дворъ Тита, Траяна или Марка Аврелія; и то обстоятельство, что отдѣльная личность могла оказывать такое вліяніе на всѣ отрасли духовной жизни образованнаго міра, доказываетъ ясно, какъ слабо было біеніе жизненнаго пульса въ огромномъ организмѣ рим-

ской имперіи. Императоръ поступалъ самъ и заставлялъ не только поступать, но и говорить и думать другихъ, какъ ему было угодно. Аруленъ Рустикъ пострадалъ за то, что похвалилъ Тразса Пета при Неронѣ; Геренній Сенеціонъ за то, что отозвался съ уваженіемъ о Гельвидіѣ Прискѣ; сочиненія того и другого были сожжены на форумѣ. «Этимъ огнемъ, говоритъ Тацитъ, они думали уничтожить голосъ римскаго народа, свободу сената и сознаніе человѣческаго рода; они прогнали учителей мудрости, послали въ ссылку науку и искусство, чтобы не могло быть совершено ничто честное. Точно, мы представили великое доказательство терпѣнія; какъ время нашихъ предковъ видѣло крайній предѣлъ свободы, такъ мы дошли до крайней границы рабства, потому что нашонство отняло у насъ возможность и говорить, и слушать. Мы бы вмѣстѣ съ голосомъ потеряли и память, еслибъ было настолько же въ нашей власти забывать, насколько молчать. Теперь наконецъ возвращается дыханіе; при самомъ началѣ блаженнѣйшаго вѣка, Нерва Цезарь соединилъ то, что до него считалось несоединимымъ,—монархію и свободу; Нерва Траянъ ежедневно увеличиваетъ счастье имперіи; общественная безопасность перестала быть предметомъ желаній и надеждъ;—она перешла въ увѣренность и окрѣпла; но, по слабости человѣческой природы, лекарства дѣйствуютъ медленнѣе болѣзни; тѣла ростутъ медленно, а угасаютъ быстро; легче подавить дарованіе и науку, чѣмъ снова вызвать ихъ къ жизни. Подъ конецъ самое бездѣйствіе дѣлается пріятнымъ. Покой, ненавистный прежде, обращается въ любимую привычку. Да! въ теченіе пятнадцати лѣтъ (а это много для человѣческаго вѣка) многіе померли случайно, а кто былъ поспособнѣе, погибъ отъ жестокости властелина! Насъ немного, и мы пережили не только другихъ, но и самихъ себя; изъ средины нашей жизни вырвано столько лѣтъ, что изъ юношей мы сдѣлались стариками и, состарѣвшись, въ молчаніи дошли до самыхъ предѣловъ кратковременнаго существованія».

Вотъ голосъ честнаго и талантливаго человѣка, пережившаго на себѣ нѣсколько разнохарактерныхъ эпохъ, видѣвшаго Тита, Домиціана и Траяна. Замѣтно по его тону, что онъ считаетъ деспотизмъ цезарей главнымъ источникомъ бѣдствій; онъ ищетъ ему объясненія, но, не рѣшаясь заклеймить своихъ соотечественниковъ и отказать всему римскому народу въ жизненной силѣ и въ надеждѣ на обновленіе, онъ часто, въ исторіи и въ лѣтописи своей, останавливается въ нерѣшительности, тревожно ищетъ отвѣта и наконецъ съ мрачною покорностью говоритъ, что это *воля боговъ* и проявленіе ихъ гнѣва. Онъ любитъ свой народъ, страдаетъ за него; у него не поднимается рука, чтобы бросить въ него хотя и не первый камень, но порою негодованіе беретъ верхъ надъ всѣми остальными чувствами; историкъ дѣлается лирикомъ, и страстное обличеніе отрывочными фразами вырывается прямо изъ души писателя; иногда оно смѣняется горькою улыбкою, повидимому, холоднаго презрѣнія. Выписанное мною мѣсто не носитъ на себѣ этого характера ожесточенія; историкъ сочувствуетъ угнетенному народу, забывая, что самъ онъ въ другихъ мѣстахъ готовъ былъ презирать людей, погибающихъ такъ хладнокровно. Здѣсь онъ сравниваетъ тяжелую эпоху Домиціановскаго терроризма съ лучшими днями настоящаго; онъ говоритъ, что «возвращается дыханіе»; но между тѣмъ вглядитесь въ его слова, слышатся ли въ нихъ живые звуки радости за настоящее и твердой надежды на будущее? Обращается ли онъ, говоря о тѣхъ пятнадцати годахъ, которые потеряны для него и для его сверстниковъ, къ молодому поколѣнію, къ будущимъ людямъ и гражданамъ, для которыхъ громко и смѣло звучитъ слово истины? Тацитъ не эгоистъ, онъ думаетъ о потомствѣ, какъ доказываетъ самый историческій трудъ его, какъ доказываютъ его страданія за несовершенство современности. Стало быть, если онъ не глядитъ впередъ, если онъ, говоря о потомствѣ, имѣетъ дѣло съ отвлеченнымъ понятіемъ, а не съ тѣмъ, что формируется на его глазахъ, причины этого заключаются не въ его личности; ихъ надо искать въ окружавшемъ его мірѣ. Ключъ къ рѣшенію этого вопроса даютъ слова самого историка. Домиціану было легче задушить дѣятельность мысли, чѣмъ Нервѣ и Траяну оживить ее. Дѣятельность мысли задушили безъ борьбы, и если Домиціанъ палъ, то палъ случайно, отъ руки убійцы, но не какъ жертва всеобщаго негодованія. Конечно, Карлъ I англійскій не могъ позволить себѣ того, что позволялъ себѣ Домиціанъ, а между тѣмъ Карла судилъ парламентъ, а Домиціана убилъ какой-то Стефанъ, который могъ и не убить его; и въ возвышеніи римскихъ тирановъ, и въ ихъ паденіи господствуетъ личный произволъ, случайность, элементъ дворцовой интриги или военнаго бунта; а что же общаго имѣетъ жизнь народа съ временщикомъ Макрономъ, задушившимъ Тиверія, съ дворомъ, наполненнымъ личностями, вродѣ Вителлія, или съ преторіанскою когортою, располагавшею императорскимъ саномъ? И между тѣмъ эти чисто внѣшнія обстоятельства опредѣляютъ направленіе народной жизни на цѣлыя десятилѣтія. Стало быть, въ народѣ нѣтъ силы не только для оппозиціи, но и для дѣятельнаго, органическаго воспринятія и переработки какого-нибудь начала. Итакъ, знаменательно уже то, что Домиціанъ такъ легко задушилъ дѣятельность мысли. Но гораздо важнѣе то, что Нервѣ и Траяну трудно возбудить ее снова. Этотъ фактъ не требуетъ объясненія; любопытно только замѣтить при этомъ, какъ Тацитъ, при всемъ величіи своей личности, отдаетъ дань своему времени. Современное ему болѣзненное явленіе воз-

водится имъ въ общечеловѣческое проявленіе и получаетъ въ его глазахъ силу закона. Тацитъ прямо говоритъ, что легче погасить, нежели зажечь, распространяетъ эту мысль двумя сравненіями и слѣдовательно ясно показываетъ, что не видитъ ничего ненормальнаго въ безуспѣшности прогрессивныхъ попытокъ правительства. Далѣе, говоря объ опасномъ обаяніи бездѣйствія, онъ невольно намекаетъ намъ на то, что и самъ порою чувствуетъ то утомленіе, ту нравственную хилость, до которой въ подобныя эпохи разложенія доходили, путемъ безплодной борьбы и горькаго разочарованія, люди умные, сильные и честные. Эта проскользнувшая незамѣтно для самого писателя черта его личнаго ощущенія можетъ служить мѣриломъ болѣзни, разъѣдавшей тѣло и кровь римскаго общества. Если, лицомъ къ лицу съ этою болѣзнью, опускались руки у людей, подобныхъ Тациту, стало быть, надежды на исцѣленіе не было и не предвидѣлось.

Послѣ всего сказаннаго ясно, что во времена имперіи положительно никто не думалъ проводить въ политическую жизнь своихъ теоретическихъ убѣжденій.

У кого были убѣжденія, тотъ берегъ ихъ, какъ драгоцѣнность, и старался только, подобно Тразеа Петуу, сохранить ихъ въ чистотѣ и не противорѣчить имъ въ дѣйствіяхъ; оппозиція подобныхъ людей была чисто отрицательная, положеніе ихъ оборонительное, и при всемъ томъ въ высшей степени опасное. Германикъ, Сенека, Тразеа Петъ, Агрикола стояли въ такихъ отношеніяхъ къ правительству, и умерли тогда, когда это ему понадобилось. Историки Титъ Лабіенъ и Кремуцій Кордъ отстаивали свободу мысли, и принуждены были уморить себя съ голоду, а произведенія ихъ сожжены на площади. Стоическая школа, къ которой примкнула почти вся умственная аристократія Рима, навлекала гоненія не только на себя, но и на философію вообще. Два раза, при Неронѣ и при Домиціанѣ, философовъ выгоняли изъ Рима и изъ Италіи. Было опасно таить въ душѣ убѣжденія, хотя бы они и не имѣли прямого отношенія къ политикѣ. Послушная масса римскаго народа, здѣсь какъ и вездѣ, слѣдовала теченію и старалась забыться въ омутѣ наслажденій; ученіе Эпикура, понятое конечно не такъ, какъ понималъ его Лукрецій, упрощенное и примѣненное къ разумѣнію толпы, находило себѣ множество послѣдователей и не вызывало гоненій со стороны правительства. Донося Нерону о богатомъ римлянинѣ Плавтѣ, Тигеллинъ прямо ставитъ ему въ вину то, что онъ въ жизни не слѣдуетъ ученію Эпикура. «Плавтъ богатъ, говоритъ онъ, и даже не притворяется человѣкомъ, любящимъ покой, а старается подражать примѣру древнихъ Римлянъ. Онъ принялъ гордость стоиковъ и ихъ ученіе, которое дѣлаетъ мятежнымъ и возбуждаетъ охоту браться за политическія занятія». Итакъ, въ періодъ имперіи политическія убѣжденія не развивались; греко-римскій классическій міръ выработалъ сполна свои принципы; изобрѣтательная способность, какъ замѣчаетъ неоднократно Генрихъ Риттеръ, была истощена, и мыслители, по всѣмъ отдѣламъ науки, только комментировали своихъ предшественниковъ или старались путемъ эклектизма сблизить между собою философскія системы, возникшія въ цвѣтущее время эллинизма. Посмотримъ же теперь, каковы были понятія о государствѣ у лучшихъ представителей греческой мысли.

II.

Въ сочиненіи Аристотеля «о Политикѣ» заключается критика политическихъ идей прежнихъ греческихъ мыслителей и, между прочими, Платона. На этомъ основаніи, мы изъ одной этой книги можемъ вывести какъ различіе между взглядами Аристотеля и Платона, такъ и вообще понятіе древнихъ о государствѣ и его отношеніяхъ къ отдѣльной личности. При первомъ сравненіи Аристотеля съ Платономъ видно, что первый практичнѣе, а второй смѣлѣе въ области отвлеченной мысли. Оба жертвуютъ отдѣльною личностью во имя цѣлаго; оба смотрятъ на человѣка, не какъ на самостоятельный организмъ, а какъ на одинъ изъ разнообразныхъ винтовъ большой государственной машины. Но Платонъ беретъ на себя крайнія слѣдствія своей теоріи и доводитъ уничтоженіе лица въ государствѣ до невозможныхъ предѣловъ, до полнаго отсутствія собственности и семейства. Аристотель вступается за личность, но отстаиваетъ ее не для нея самой, а для государства, и впадаетъ такимъ образомъ въ безысходное противорѣчіе. Каждый, говоритъ онъ, долженъ имѣть собственность, жену и семейство для одного себя, потому что люди вообще способны вполнѣ заботиться только о томъ, что составляетъ ихъ личную собственность; «о томъ же, чѣмъ онъ владѣетъ сообща съ другими, человѣкъ заботится настолько, насколько на его долю приходится опредѣленная часть». Если это свойство человѣка есть недостатокъ, мыслитель не долженъ съ нимъ мириться; распространенный порокъ никакимъ образомъ не можетъ сдѣлаться добродѣтелью, несмотря на обширность своего господства. Если же это законное свойство, то оно рѣшительно не позволяетъ человѣку быть только служебнымъ орудіемъ въ государственномъ организмѣ. Въ первомъ случаѣ, Аристотель долженъ былъ бы не отступать отъ логически послѣдовательныхъ требованій Платона; во второмъ, онъ долженъ былъ эманципировать личность. Но какъ эмпирикъ, требовавшій отъ своихъ выводовъ практической примѣнимости, онъ не могъ увлечься геніальными фантазіями Платона; какъ грекъ, онъ не могъ отбросить ни одного изъ своихъ національныхъ

предразсудковъ и старался только узаконить ихъ своею діалектикою. Поэтому его разсужденія носятъ на себѣ печать крайней односторонности; въ нихъ нѣтъ той вѣчной свѣжести, которая лежитъ на твореніяхъ генія, ставшаго на общечеловѣческую точку зрѣнія; порою слышатся въ разсужденіяхъ Аристотеля толки современнаго намъ обскуранта (о женщинѣ, о рабахъ, о ремесленникахъ). Но зато въ Аристотелѣ самыя эти уклоненія отъ истины, какъ мы понимаемъ ее теперь, проникнуты такимъ яркимъ историческимъ колоритомъ, что они совершенно переносятъ насъ въ міросозерцаніе древняго человѣка. Цѣль Аристотелева государства есть высшее благосостояніе, но благосостояніемъ этимъ будутъ, какъ онъ самъ признается, наслаждаться не отдѣльныя личности гражданъ, а весь организмъ государства. Причину этого существованія человѣка для общества Аристотель находитъ въ глубочайшихъ основахъ человѣческой природы. «Человѣкъ, говоритъ онъ, болѣе, чѣмъ пчела, созданъ для государственной общественности... потому что одному человѣку природа дала даръ слова, т. е. способность сообщать другимъ то, что онъ находитъ полезнымъ или вреднымъ, справедливымъ или несправедливымъ. На этомъ основаніи, продолжаетъ онъ, хоть семейство состоитъ изъ отдѣльныхъ людей, а государство изъ нѣсколькихъ семействъ, можно сказать утвердительно, что государство или общество есть первое и первобытное, а семейство и отдѣльный человѣкъ вырабатываются только изъ него. Цѣлое необходимо есть основаніе частей, и потому должно быть разсматриваемо какъ нѣчто болѣе самостоятельное и первобытное». Изъ этого основного положенія вытекаетъ аристократизмъ всѣхъ политическихъ идей Аристотеля; это положеніе оправдываетъ самый грубый деспотизмъ. Человѣкъ, нежелающій принять въ обществѣ ту роль, которую назначаетъ мыслитель, заботясь о стройности цѣлаго, является въ глазахъ Аристотеля существомъ, нарушающимъ законы природы и слѣдовательно больнымъ или порочнымъ; такого человѣка можно для его же пользы, а главное для блага общества, взять въ опеку; противъ него можно употребить силу. Аристократизмъ идей Аристотеля состоитъ въ слѣдующемъ. Считая свое положеніе о томъ, что общество есть цѣлое и первобытное, а человѣкъ—часть и производное, совершенно доказаннымъ, Аристотель выставляетъ впередъ ту мысль, что, «если изъ многихъ частей должно состоять цѣлое, то части должны быть различнаго рода и исправлять различныя должности. Поэтому необходимо, для блага и сохраненія всѣхъ государствъ, чтобы различныя сословія жителей составляли другъ другу противовѣсъ, стояли отдѣльно другъ отъ друга и между тѣмъ соглашались между собою въ своихъ конечныхъ цѣляхъ». Отъ этой идеи до кастическаго устройства одинъ шагъ, и Аристотель дѣйствительно дѣлаетъ этотъ шагъ, и прямо становится защитникомъ государственныхъ формъ Египта и Крита.

Управлять государствомъ могутъ, по его мнѣнію, только воины, политики и судьи, которые должны составлять одно сословіе; кто въ молодости былъ воиномъ, тотъ можетъ подъ старость, когда физическія силы ослабѣютъ, а мудрость и опытность увеличатся,—завѣдывать государственными дѣлами и засѣдать въ судѣ. Только управляющіе государствомъ могутъ быть названы гражданами; остальные—земледѣльцы, пастухи и ремесленники необходимы, какъ чернорабочіе, но на ихъ долю приходится только трудъ и повиновеніе, потому что они не могутъ, по недостатку времени, пріобрѣсти познанія, необходимыя для управленія государствомъ. О томъ, что между этими людьми можетъ современемъ распространиться образованіе, у Аристотеля нѣтъ и рѣчи; онъ этого не предполагаетъ, да и не желаетъ, потому что это конечно нарушило бы существующія отношенія и повредило бы внѣшней стройности его идеальнаго государства. О прогрессѣ въ государствѣ этомъ не можетъ быть рѣчи; прогрессъ основанъ на развитіи отдѣльныхъ личностей, которое приводитъ современемъ къ реформѣ существующаго порядка вещей. Аристотель былъ врагъ прогресса, во-первыхъ, потому, что онъ сразу силою творческой мысли хотѣлъ создать совершенство, которое не нуждалось бы ни въ какой реформѣ; во вторыхъ, потому, что онъ считалъ человѣческую личность частью и слѣдовательно не могъ желать развитія части, потому что такое развитіе могло нарушить гармонію цѣлаго. Цѣль всей государственной, педагогической, юридической и промышленной дѣятельности клонится у него не къ усовершенствованію, а къ поддержанію существующаго порядка вещей. Какъ рѣшительный поборникъ аристократизма, Аристотель не могъ желать возвышенія умственнаго уровня въ массѣ народа, потому что, развившись, эта масса неминуемо потребовала бы себѣ разныхъ правъ. Какъ творецъ утопіи, Аристотель показываетъ совершенное отсутствіе историческаго взгляда на событія. Онъ думаетъ, что учрежденія должны подчинить себѣ жизнь и характеръ народа; онъ вѣритъ въ совершенство идеальнаго государства, не замѣчая того, что его идеалъ весь составленъ изъ чисто-греческихъ матеріаловъ. Такъ напр., онъ положительно оправдываетъ безправность иностранцевъ передъ закономъ и существованіе рабства. При эмпирическомъ направленіи своихъ политическихъ изслѣдованій, Аристотель не можетъ упустить изъ виду требованій жизни, но эти требованія жизни онъ понимаетъ чисто внѣшнимъ образомъ. Въ 11-й главѣ IV книги онъ говоритъ,

что лучшая форма управленія по его мнѣнію та, гдѣ власть находится въ рукахъ средняго сословія, т. е. людей, не слишкомъ богатыхъ, но обезпеченныхъ, потому, говоритъ онъ, что большія богатства располагаютъ къ заносчивости, а бѣдность къ раболѣпству и къ зависти. Самое опредѣленіе лучшей формы управленія показываетъ, до какой степени Аристотель подчиняетъ личность человѣка внѣшнимъ условіямъ. Не внутренній характеръ, не степень и обстоятельства развитія, а степень матеріальнаго благосостоянія служитъ ему ручательствомъ за вѣрность мышленія и за благородство чувствъ. Чтобы личный трудъ доставилъ человѣку независимое положеніе и самостоятельный, почтенный характеръ, этого онъ, особенно для массы, не допускаетъ. Мало того, онъ положительно считаетъ трудъ ремесленника и мелкую торговлю чѣмъ-то неблагороднымъ, препятствующимъ развитію духовныхъ силъ, и потому несовмѣстнымъ съ полноправнымъ гражданиномъ. Аристотель сравниваетъ ремесленника съ рабомъ, живущимъ отдѣльно и не имѣющимъ постояннаго господина, и потомъ спрашиваетъ очень серьезно, существуетъ ли добродѣтель для раба, для ремесленника, для женщины и для ребенка? Важно уже постановленіе этого вопроса, но еще замѣчательнѣе отвѣтъ. «Если сказать «*да*», говоритъ Аристотель, то въ чемъ же будетъ состоять различіе между свободно-рожденными и рабами? Если сказать «*нѣтъ*», то выйдетъ какъ будто нелѣпость, потому что рабы все-таки люди и существа разумныя». «У раба есть разсудокъ, но не настолько, чтобы свободно рѣшаться и дѣйствовать. У женщины есть способность размышлять и рѣшаться, но она не настолько тверда, чтобы управлять собою. У дѣтей тѣ же способности незрѣлы и неразвиты». Такимъ образомъ, рабы, ремесленники, женщины и дѣти стоятъ между собою на одномъ уровнѣ, въ томъ отношеніи, что всѣ они должны быть подчинены внѣшней власти и не пользуются правами гражданства. Оттѣнки ихъ подчиненія конечно различны, но фактъ зависимости одинаково законенъ и необходимъ. Всѣ они зависятъ отъ гражданъ и потому дѣйствуютъ не по своимъ убѣжденіямъ и повинуются не отвлеченной идеѣ, а единичнымъ личностямъ. Непосредственно съ идеею государства имѣютъ дѣло только граждане, т. е. люди лично свободные, обезпеченные состояніемъ, нетрудящіеся и получившіе извѣстное образованіе. Разсмотримъ отношеніе ихъ личности къ идеѣ государства. «Ни одинъ гражданинъ, говоритъ Аристотель, не долженъ думать, что онъ существуетъ и живетъ самъ для себя; всѣ должны думать, что они живутъ для государства, всякій относится къ государству, какъ членъ къ тѣлу, какъ часть къ цѣлому, а самое удобное и естественное попеченіе о членѣ есть то, которое клонится къ благосостоянію всего тѣла». Этотъ отрывокъ взятъ мною изъ той главы, въ которой Аристотель говоритъ о воспитаніи юношества. Въ этой главѣ онъ рѣшаетъ утвердительно два вопроса: 1) составляетъ ли воспитаніе дѣло законодательства? и 2) слѣдуетъ ли предпочитать общественное воспитаніе домашнему? Замѣчу здѣсь мимоходомъ, до какой степени результаты классической образованности расходятся съ тѣми началами, которыя выработала европейская цивилизація. Эти же два вопроса Вильгельмъ Гумбольдтъ рѣшаетъ отрицательно. Отстаивая самостоятельность и оригинальность личности, онъ положительно въ одномъ изъ своихъ сочиненій по теоріи педагогики (Ueber oeffentliche Staatserziehung. Bd. I. S. 336—342) говоритъ, что правительству вовсе не нужно заботиться о воспитаніи, и находитъ, что общественное воспитаніе хуже домашняго, именно по той причинѣ, по которой Аристотель считаетъ его лучшимъ, т. е. потому, что оно формируетъ всѣхъ на одинъ покрой и препятствуетъ развитію индивидуальныхъ силъ и стремленій. В. Гумбольдтъ хочетъ, чтобы воспитаніе было равномѣрнымъ развитіемъ всѣхъ способностей души, и чтобы при этомъ не направляли воспитанника ни къ какой предвзятой практической цѣли. Аристотель, напротивъ того, хочетъ воспитывать не человѣка, а гражданина, при томъ гражданина извѣстнаго государства, такъ что демократическое государство должно слѣдовать одной системѣ воспитанія, олигархическое—другой, а его идеальное—самой лучшей, соединяющей въ себѣ хорошія стороны обѣихъ крайностей. Въ семи главахъ о воспитаніи, составляющихъ 8-ю книгу его «Политики», Аристотель принимаетъ въ соображеніе только гражданъ; о воспитаніи же дѣтей ремесленниковъ, мелочныхъ торговцевъ или рабовъ мы ничего не знаемъ; не можемъ даже сказать, считалъ ли Аристотель для нихъ нужнымъ какое - нибудь воспитаніе; но онъ положительно говоритъ: 1) о томъ, что юноши должны умѣть повиноваться, чтобы современемъ умѣть повелѣвать, и 2) о томъ, что должны быть изъ воспитанія совершенно исключены тѣ занятія, въ которыхъ есть что-нибудь неблагородное, низкое и рабское. Ясно, что Аристотель заботится только о воспитаніи того счастливаго меньшинства, которому онъ даетъ имя и права гражданъ. Впрочемъ это меньшинство можетъ быть названо счастливымъ только сравнительно съ другими, систематически угнетенными сословіями. Не имѣя права смотрѣть на себя, какъ на самостоятельное цѣлое, свободный гражданинъ по рукамъ и по ногамъ связанъ законодательствомъ. Законъ, составленный не имъ, управляетъ его воспитаніемъ и волею-неволею втискиваетъ его молодой умъ въ ту рамку, которая считается нормальною, въ видахъ благосостоянія отвлеченнаго цѣлаго; законъ опредѣляетъ лѣта брака, не дозволяя мужчинѣ жениться раньше 30 лѣтъ, а женщинѣ выходить замужъ раньше 18-ти; законъ позволяетъ заключеніе бра-

ковъ только между личностями соразмѣрныхъ лѣтъ; при этомъ принимается, что мужчина послѣ семидесяти лѣтъ не способенъ къ сожитію, а женщина послѣ 50-ти лѣтъ не способна производить дѣтей; на этомъ основаніи считаются соразмѣрными тѣ лѣта, при которыхъ мужчина и женщина находятся въ одинаковомъ разстояніи, первый отъ 70-ти, вторая отъ 50-ти лѣтъ. «Что касается, продолжаетъ онъ, до времени года, въ которомъ всего удобнѣе супружеское сожитіе, то многіе опредѣляютъ для него зиму; и, можетъ быть, не будетъ несправедливымъ слѣдовать этому правилу». Тутъ Аристотель не говоритъ опредѣлительно, чтобы нужно было этотъ предметъ оговорить обязательною статьею закона; но нѣтъ положительныхъ основаній думать, чтобы онъ совершенно предоставилъ это на волю обычая или личнаго благоусмотрѣнія. Беременныя женщины должны дѣлать ежедневно движеніе, и законодательство должно заботиться объ этомъ, «вмѣняя имъ въ обязанность посѣщать храмы боговъ, покровительствующихъ родамъ», и т. д.

Къ какимъ ужаснымъ результатамъ могло привести законодательство Аристотеля, проведенное съ тою строгостью, которой онъ самъ желаетъ,—каковы были бы тѣ люди, которые бы имъ подчинились,—каково было бы молодое поколѣніе, которое выросло бы подъ ихъ вліяніемъ и не сбросило бы ихъ съ справедливымъ негодованіемъ, какъ тяжелыя, позорныя и безцѣльныя оковы—это совершенно понятно современно-развитому человѣку. Аристотель забылъ, что человѣкъ успѣшно занимается только тѣмъ, къ чему влечетъ его внутренняя потребность, и что онъ способенъ быть полезнымъ членомъ общества только тогда, когда онъ вполнѣ понимаетъ цѣль этого общества и проникнутъ къ ней искреннимъ сочувствіемъ. Словомъ, онъ не возвысился до понятія человѣческой личности, и потому ищетъ конечную цѣль человѣческихъ способностей и стремленій внѣ самого человѣка, въ мірѣ отвлеченныхъ понятій и воображаемыхъ интересовъ. Идеи Аристотеля раздѣляла вся древность; съ нимъ соглашались Цицеронъ и Сенека, убѣжденія которыхъ заключаютъ въ себѣ довольно полно плоды философскаго сознанія римлянъ. Только Эпикуръ и Киренайская школа идонистовъ (ἡδονή-удовольствіе) подъ предводительствомъ Аристиппа, выгородили человѣка изъ этой зависимости, въ которую поставила его вся древняя философія. Видя цѣль жизни въ наслажденіи, эти мыслители не требовали, чтобы человѣкъ жертвовалъ своими радостями и интересами для стройности общественнаго зданія. Они желали, чтобы, развивая свое эстетическое чувство, человѣкъ дѣлался все болѣе и болѣе воспріимчивымъ къ тонкимъ наслажденіямъ, обогащающимъ умъ и смягчающимъ душу; при этомъ конечно не было забыто и тѣло; въ эпоху паденія римской республики, при страшномъ распространеніи роскоши въ высшемъ классѣ и пролетаріата въ низшемъ, римская молодежь ухватилась за эпикуреизмъ, и, по-своему примѣнивъ его къ жизни, превратила его въ грязное служеніе чувственности, въ которомъ совершенно заглохло сознаніе изящнаго, необходимое для всякаго истиннаго наслажденія. Попытка Эпикура оказалась такимъ образомъ безплодною, и поэтому можно сказать совершенно справедливо, что древнему міру неизвѣстна была гуманность, т. е. уваженіе къ человѣку, независимо отъ его національности и положенія въ обществѣ. Развитію этой гуманности мѣшало существованіе древнихъ національностей, смотрѣвшихъ другъ на друга свысока и враждебно. Генрихъ Риттеръ говоритъ, что въ эпоху паденія древней философіи задачею времени было разбить національности и перемѣшать между собою ихъ элементы. Въ теоріи личность гражданина принесласъ въ жертву государству; еслибы это теоретическое положеніе было проведено въ жизнь, тогда самоотверженіе составило бы сущность политической жизни древняго человѣка. Исторія показываетъ намъ совершенно другое. Примѣры самоотверженія гражданъ относятся къ временамъ миѳическимъ, или встрѣчаются очень рѣдко, или только неправильно принимаются за доказательства самоотверженія. Въ гомеровскомъ эпосѣ, въ самыхъ крупныхъ и рельефныхъ личностяхъ не замѣтно гражданскаго самопожертвованія; если оно встрѣчается въ отрывкахъ римскаго историческаго эпоса, то это обстоятельство, быть можетъ, просто обличаетъ искусственность его происхожденія. Во времена историческія имена Деція Муса и Регула стоятъ особнякомъ, да и въ этихъ двухъ личностяхъ элементъ самолюбія (въ лучшемъ смыслѣ этого слова) и самоуваженія играютъ такую же важную роль, какъ и любовь къ Риму. Если поставить рядомъ съ этими именами имена Писистрата, Перикла, Алкивіада, Гармодія и Аристогитона (которыхъ такъ не кстати прославилъ аѳинскій народъ), Сократа, Платона и Аристотеля (какъ индифферентистовъ въ области государственной жизни), то мы увидимъ, что, во 1-хъ, каждый изъ названныхъ дѣятелей имѣетъ рѣзко обозначенную физіономію, которую не поглотило и не сгладило государство; во 2-хъ, всѣ они принадлежатъ къ цвѣтущей эпохѣ греческой національности, а нѣкоторые изъ нихъ сами по себѣ составляютъ эпоху въ развитіи греческаго духа; въ 3-хъ, всѣ они принадлежатъ къ лучшимъ людямъ своего времени, и потому заслуживаютъ быть его представителями. Несмотря на всѣ эти условія, всѣ они или дѣйствовали по чисто эгоистическимъ цѣлямъ, или, становясь выше окружающаго ихъ порядка вещей, жили въ мірѣ идей и, подобно Сократу, умирали за идею, не имѣющую ничего общаго съ греческою національностью. Въ Платонѣ разладъ теоріи съ жизнью прямо бьетъ въ глаза; въ своей «Республикѣ» онъ требуетъ совершеннаго уничтоженія личности въ

государствѣ, доходящаго до коммунизма женъ и дѣтей, а на дѣлѣ онъ былъ положительно плохимъ гражданиномъ, въ чемъ упрекаетъ его Нибуръ.

Я не съ тѣмъ заговорилъ объ этой сторонѣ предмета, чтобы упрекнуть древнихъ мыслителей въ невѣрности своимъ идеямъ; подобный упрекъ я считаю безплоднымъ; но мнѣ кажется, что, бросивъ взглядъ на это обстоятельство, можно вѣрнѣе объяснить себѣ источникъ самаго уничтоженія личности передъ идеею государства. Древнимъ писателямъ трудно было отдѣлаться отъ понятій, съ которыми они сжились. Философы Греціи остаются греками извѣстнаго періода въ самыхъ отвлеченныхъ своихъ изслѣдованіяхъ, въ самыхъ смѣлыхъ своихъ теоріяхъ. Стать въ сторонѣ отъ своей національности и отнестись къ ея особенностямъ просто и критически—для нихъ невозможно. Еще невозможнѣе отрѣшиться отъ собственной своей личности, увидать въ себѣ присутствіе извѣстной доли эгоизма и признать въ другихъ подобныхъ себѣ людяхъ законность и естественность такой же доли эгоизма. Въ философѣ, пишущемъ политическую теорію, эгоизмъ, управляющій поступками его жизни, дѣйствуетъ на ходъ мыслей тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе онъ подозрѣваетъ въ себѣ его существованіе. Принимая внушенія національнаго, сословнаго и личнаго эгоизма за выраженіе чистой истины, не подозрѣвая въ себѣ и тѣни своекорыстія, мыслитель возмущается всякою личною самостоятельностью, какъ вреднымъ проявленіемъ эгоизма, и потому давитъ личность во имя отвлеченныхъ результатовъ, добытыхъ имъ, безсознательно для него самого, путемъ чисто личныхъ впечатлѣній и чисто личной мыслительной дѣятельности. Обращусь за примѣромъ къ «Политикѣ» Аристотеля. Аристотель — грекъ, мужчина, свободный человѣкъ и философъ. Такой именно личности по всѣмъ правамъ отводится первое мѣсто въ томъ идеальномъ государствѣ, которое онъ изображаетъ. Аристотель можетъ съ полнымъ убѣжденіемъ говорить о службѣ отечеству, о недопущеніи къ правамъ гражданства ремесленниковъ и женщинъ, о законности рабства и о достодолжномъ презрѣніи къ варварамъ. Онъ не замѣчаетъ, что каждая черта его законодательства имѣетъ отношеніе къ его личности, или тѣмъ, что оно предоставляетъ подобнымъ ему людямъ положительныя преимущества, или тѣмъ, что, отгоняя отъ этихъ преимуществъ толпу, возвышаетъ на нихъ цѣну. Платонъ прямо говоритъ, что философы должны управлять государствомъ. Всѣ тягости, вся черная работа падаетъ конечно не на тотъ классъ, къ которому принадлежатъ авторы утопій. Аристотелю и Платону ни разу не приходитъ въ голову подумать: что, еслибы я родился ремесленникомъ, или рабомъ, или женщиною, или варваромъ, и не приходитъ въ голову только потому, что они даже не замѣчаютъ тѣхъ ограниченій, которыя оказываетъ ихъ личность на мыслительную ихъ дѣятельность. Принимая свое личное за абсолютное, они и не предполагаютъ, и не чаютъ, чтобы даже случайно могло быть что-нибудь вѣрное за тѣми предѣлами, которые они считаютъ безконечно обширными и которые на самомъ дѣлѣ такъ страшно тѣсны и деспотичны. Поэтому въ «Политикѣ» Аристотеля абсолютное начало тяготѣетъ надъ правами гражданъ и негражданъ; но это не абсолютное, не идея государства вообще,—это личность самого Аристотеля, выраженная въ ряду понятій: она гнететъ все, что не однородно съ нимъ; оттого страдаютъ ремесленники, рабы, женщины и варвары; оттого приносятся въ жертву идеѣ цѣлаго даже полноправные граждане; оттого блаженствуетъ только идея цѣлаго, т. е. творческая мысль Аристотеля. Цѣль его творенія—самоудовлетвореніе. Его «Политика» стоитъ наряду съ любымъ лирическимъ стихотвореніемъ, съ тою только разницею, что лирическое стихотвореніе выражаетъ минутное настроеніе, а «Политика» Аристотеля—зрѣлую, мыслящую личность творца-философа. Въ «Политикѣ» Аристотеля ясно выразилась одна черта, очень важная для характеристики древности; эта черта есть эгоизмъ личности и сословія, т. е. эгоизмъ и аристократизмъ.

III.

Въ римскомъ обществѣ первыхъ вѣковъ христіанства, эгоизмъ личности выразился въ военномъ деспотизмѣ, эгоизмъ сословія въ рабствѣ. О рабствѣ говорили почти всѣ писатели древности; никто не возставалъ противъ него прямо, никто не опровергалъ его основного принципа. Многіе, подобно Аристотелю, доказывали его необходимость; многіе, напримѣръ Цицеронъ, въ жизни своей являлись болѣе гуманными, чѣмъ въ теоріи. Въ первые два вѣка имперіи замѣтно въ нѣкоторыхъ лучшихъ писателяхъ, напримѣръ въ Сенекѣ, въ Плутархѣ, въ Плиніи младшемъ, пробужденіе почти гуманнаго чувства. Главныя школы философовъ, стоики и эпикурейцы, сходились между собою во взглядѣ на рабство. Эпикуреецъ Лукрецій и стоикъ Эпиктетъ не считаютъ его несчастіемъ и говорятъ, что истинно свободенъ только мудрецъ, и что рабство, бѣдность, тѣлесныя страданія принадлежатъ къ случайностямъ и не должны тревожить душу. То смягченіе чувства, на которое я указалъ выше, сначала выразилось не въ философской системѣ. Сенека обнаруживаетъ его въ дружескихъ письмахъ и не облекаетъ ихъ въ форму доктрины. Плутархъ и Плиній говорятъ о своемъ обращеніи съ рабами, и ихъ слова носятъ характеръ простодушнаго личнаго изліянія. Между тѣмъ духъ классической философіи незамѣтно смягчается и слабѣетъ. У Аристотеля видно рѣзкое разграниченіе сосло-

вій; у Эпиктета говорится уже о совершенномъ ничтожествѣ внѣшнихъ разграниченій между рабствомъ и свободою, между богатствомъ и бѣдностью, между знатностью и незнатностью рода; Аристотель сомнѣвается въ существованіи добродѣтели у рабовъ; Сенека говоритъ, что онъ уважаетъ человѣка не за ремесло, а за нравственныя свойства, и что рабъ можетъ быть свободенъ по своему духу. Важность рабства сознавали или чувствовали мыслители древности; ни одинъ изъ нихъ не могъ себѣ представить такого порядка вещей, при которомъ не было бы рабовъ; рабы считаются необходимою частью государства въ обѣихъ утопіяхъ древности, у Платона и у Аристотеля. Рабы были ремесленниками, земледѣльцами, пастухами, художниками, актерами, гладіаторами, письмоводителями, домашними грамматиками, философами и педагогами. Имъ поручались самыя грубыя работы и имъ же предоставлялась такая короткость отношеній съ господами, до которой не могъ дойти никакой наемникъ; при этомъ не дѣлалось ни малѣйшаго различія между педагогомъ и послѣднимъ чернорабочимъ, несмотря на разстояніе, существующее между ихъ должностями; оба они подвергались тому же презрительному, а иногда и жестокому обращенію со стороны своихъ господъ; и тотъ и другой совершенно оставались въ зависимости отъ ихъ произвола, и потому важная должность, поручаемая рабу, не облагораживала и не эманципировала его въ нравственномъ отношеніи. Это разнообразіе должностей давало только средства рабамъ дѣйствовать въ одно и то же время и на чернь, и на аристократію. Какъ рабочая сила, обязательный трудъ составлялъ конкурренцію вольному труду; какъ испорченное и униженное сословіе, рабы сообщали свои пороки аристократамъ, поручаемымъ ихъ надзору въ младенчествѣ и находившимся съ ними въ постоянныхъ домашнихъ отношеніяхъ въ теченіе всей своей жизни. Съ этихъ двухъ сторонъ надо разсмотрѣть вліяніе рабства.

Въ первыя времена существованія римскаго государства, земледѣліе составляло главный источникъ пропитанія для всѣхъ классовъ. Землею владѣли и патриціи, и плебеи; народонаселеніе завоеванныхъ земель не обращалось въ рабство; оно оставлялось на особыхъ правахъ въ своемъ отечествѣ, или переводилось въ Римъ и увеличивало собою сословіе плебеевъ, людей свободныхъ, но не пользовавшихся всѣми правами гражданства. Количество земли, которымъ владѣли граждане, было большею частью очень ограниченно. «Римскому народу, говоритъ Плиній старшій, было довольно по два югера на человѣка, и Ромулъ не далъ никому большаго количества земли». Въ землѣ Цинцинната было четыре югера. Впослѣдствіи на человѣка приходилось не болѣе семи югеровъ. До времени самнитскихъ войнъ, считалось нужнымъ, чтобы количество земли не превышало силъ самого хозяина. Но исключенія изъ этого правила встрѣчались уже довольно часто; частные долги принуждали бѣднаго плебея закладывать или продавать свой участокъ земли; капиталы богачей притягивали къ себѣ деньги и земли, и, увеличиваясь, получали тѣмъ большую силу притяженія. Проценты въ древнемъ Римѣ были такъ тяжелы, что Катонъ старшій, на вопросъ: «что такое отдавать деньги въ ростъ?» отвѣчалъ другимъ вопросомъ: «а что такое убивать человѣка?». Ростовщикъ овладѣвалъ часто не только имуществомъ, но и особою несостоятельнаго должника, такъ что эксплоатація должника была однимъ изъ внутреннихъ источниковъ рабства, хотя это рабство не было такъ полно и безотвѣтно, какъ рабство, происшедшее отъ покупки или отъ взятія въ плѣнъ *). Такимъ образомъ поземельныя владѣнія богача разростались, и уже Спурій Кассій потребовалъ новаго раздѣла общественнаго поля (ager publicus), въ которое поступало постоянно опредѣленное количество завоеванныхъ земель; послѣ его несчастной попытки, Лициній Столонъ, опираясь на сочувствіе усилившихся плебеевъ, провелъ законъ о томъ, чтобы ни одинъ гражданинъ не имѣлъ въ своемъ владѣніи болѣе 500 югеровъ земли. Этотъ законъ было трудно провести, что доказываетъ ясно, до какой степени во время Лицинія, т. е. за 100 лѣтъ до пуническихъ войнъ, разрослись поземельныя владѣнія богачей. Съ увеличеніемъ земли должно было увеличиваться число рабовъ; въ былое время приходилось большею частью по одному рабу на семейство, и даже во время первой пунической войны Регулъ отпрашивался въ отпускъ, говоря, что рабъ его умеръ, а нанятой работникъ убѣжалъ съ земледѣльческими орудіями. Конечно, положеніе Регула было исключительное: онъ владѣлъ семью югерами, когда многіе граждане не довольствовались пятью стами, но тѣмъ не менѣе присутствіе нанятаго работника на его участкѣ доказываетъ, что вольный трудъ не былъ вытѣсненъ обязательнымъ. Почти повсемѣстно разорившіеся плебеи брали земли на аренду или нанимались въ работники; если Горацій въ одной изъ своихъ сатиръ могъ еще указать на личность вольнаго арендатора Офеллы, то конечно за 200 лѣтъ до Горація подобные примѣры встрѣчались гораздо чаще. Даже въ городѣ ремеслами занимались, по мнѣнію Валлона, городскія трибы плебеевъ. Что касается домашнихъ работъ, онѣ исправлялись

*) Въ 325 году до Р. Х. злоупотребленіе власти со стороны кредитора Папирія надъ молодымъ плебсемъ Публиціемъ подало поводъ къ закону Петилія, по которому кредиторъ долженъ былъ находить себѣ ручательство не въ личности должника, а въ его имуществѣ.

рабами и рабынями, подъ управленіемъ и при содѣйствіи матроны.

Вторая пуническая война въ отношеніи къ распространенію рабства, какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ, составляетъ поворотный пунктъ въ исторіи римскаго народа. Войны, веденныя до этого времени, были сопряжены съ нѣкоторою опасностью для самого Рима; послѣ сраженія при Замѣ, Римъ почувствовалъ себя хозяиномъ образованнаго міра, и историки не трудятся даже записывать число людей, проданныхъ въ рабство и приведенныхъ въ Римъ. Нѣкоторыя цифры, встрѣчающіяся довольно рѣдко, показываютъ, что цѣлыя народонаселенія обращались въ невольниковъ. Послѣ низложенія Персея, въ одномъ Эпирѣ продано въ рабство 150,000 человѣкъ; Марій привелъ въ Италію 90,000 плѣнныхъ тевтоновъ и 60,000 кимвровъ. Въ царствѣ Митридата Лукуллъ набралъ такъ много добычи, что рабъ продавался по 4 драхмы (около 90 к.), а волъ по 1 драхмѣ (около 23 к.). Кромѣ войны, важнымъ источникомъ рабства былъ морской разбой. Пираты дѣлали высадки на берега, захватывали попадавшихся обывателей и путешественниковъ и продавали ихъ на чужую сторону. Иногда губернаторы провинцій именемъ данной имъ власти обращали въ рабство и продавали съ публичнаго торга значительное число ввѣренныхъ имъ жителей. Виѳинія, Галатія, Каппадокія, Сирія, Греція были обращены въ обширные рынки рабовъ!

Этотъ родъ торговли перешелъ въ частныя руки и сдѣлался предметомъ самыхъ обширныхъ спекуляцій; законъ опредѣлялъ отношенія между покупщикомъ и продавцомъ рабовъ съ такою тщательною осмотрительностью, которая прямо показываетъ всю важность этой торговли какъ въ коммерческомъ, такъ и въ житейскомъ отношеніи, т. е. какъ для выгодъ продавца, такъ и для домашняго комфорта покупщика. Въ этотъ періодъ времени, между второю пуническою войною и началомъ имперіи, владѣнія богачей приняли самые обширные размѣры. Неудавшаяся попытка Гракховъ возстановить забытые полевые законы Лицинія показываетъ ясно, какъ крѣпко владѣли богачи тѣмъ, что они присвоили себѣ изъ общественнаго поля. При этомъ нужно еще замѣтить, что Тиверій Гракхъ не требовалъ исполненія Лициніевыхъ законовъ во всей ихъ строгости. Онъ понималъ требованія времени и потому предоставлялъ, кромѣ 500 югеровъ, на каждаго неотдѣленнаго сына по 250-ти; остальное количество земли общественнаго поля онъ предлагалъ выкупить у богачей; стало быть, съ его стороны уступка была сдѣлана, но этой уступки показалось мало, и оба Гракха заплатили жизнью за свои усилія дать римскому простолюдину осѣдлость и обезпеченный трудъ. Распространеніе большихъ владѣній измѣнило направленіе сельскаго хозяйства; обширныя земли богачей были превращены въ пастбища, и скотоводство, требующее большого пространства земли и незначительнаго количества рукъ, было признано большинствомъ римскихъ агрономовъ самымъ выгоднымъ промысломъ. Катонъ старшій, на вопросъ, чѣмъ лучше всего заниматься хозяину, отвѣчалъ: хорошо пасти стада. А второе?—Порядочно пасти стада. А третье?—Дурно пасти стада. А четвертое?—Пахать землю. Колумелла и Варронъ въ агрономическихъ своихъ сочиненіяхъ жалѣютъ объ упадкѣ земледѣлія, но не считаютъ его промысломъ болѣе выгоднымъ; они жалѣютъ не столько объ упадкѣ этой отрасли сельскаго хозяйства, сколько о паденіи того патріархальнаго быта, съ которымъ была связана эпоха его процвѣтанія. Оба они совѣтуютъ употреблять на сельскія работы рабовъ, и замѣнять ихъ наемниками только при очень спѣшной работѣ или при обработываніи полосъ земли, отличающихся тяжелымъ климатомъ.

Изъ этого ясно, что обязательный трудъ совершенно вытѣснилъ вольный; у Варрона и особенно у Колумеллы нѣсколько главъ посвящено совѣтамъ касательно выбора домоправителя и экономки изъ рабовъ, касательно обращенія съ рабами, касательно ихъ жилищъ, ихъ пищи и распредѣленія работъ и наказаній. О вольныхъ работникахъ упоминается несравненно рѣже и постоянно мимоходомъ. Отнявши у бѣдняковъ земли, богачи отняли у нихъ и работу; толпа бездомныхъ и поневолѣ праздныхъ гражданъ стекалась въ города и особенно въ Римъ; тамъ, со времени Кая Гракха, производились безденежныя раздачи хлѣба; тамъ можно было подавать на выборахъ свой голосъ, можно было пользоваться возникавшими волненіями и ловить рыбу въ мутной водѣ; словомъ, столица республики представляла множество средствъ къ существованію; средства эти не могли назваться ремеслами, не нарушали праздности, но доставляли пропитаніе, требовали той шумной суетливости, которую всегда любила чернь южнаго народа, и принуждали кандидатовъ въ публичныя должности заискивать въ нихъ сторонниковъ и забавлять ихъ зрѣлищами, которыя для нихъ были такъ же необходимы, какъ даровой кусокъ хлѣба. При Тиверіѣ, Долабелла постановилъ закономъ, чтобы гладіаторскія игры праздновались ежегодно кандидатами квестуры. Вредное вліяніе этого обычая задобривать народъ зрѣлищами распространилось изъ Рима на провинціи, и Неронъ въ свое второе консульство запретилъ проконсуламъ давать игры гладіаторовъ, потому что это мотовство, говоритъ Тацитъ, «наравнѣ съ лихоимствомъ изнуряло подданныхъ и давало средства заглаживать происками грѣхи распутства».

Въ отношеніяхъ народа къ чиновникамъ, какъ въ отношеніяхъ его къ императорамъ, правительство систематически развращало народъ, а развращенный народъ, своею продажностью,

рабскимъ терпѣніемъ и вспышками буйства, оказывалъ вредное вліяніе на нравственность правителей. Эти печальныя свойства римской черни не могутъ быть поставлены ей въ вину; у нея не было ни имущества, ни обезпеченнаго труда; въ городахъ вся ремесленная и фабричная дѣятельность находилась въ рукахъ рабовъ; богатые аристократы дѣлали все, что было нужно, у себя дома; у нихъ были сотни доморощенныхъ или купленныхъ за дорогую цѣну ремесленниковъ, поваровъ, художниковъ, писцовъ и ученыхъ. Надписи въ такъ называемыхъ колумбаріяхъ (columbaria — высокія и обширныя залы, въ которыхъ располагались въ нѣсколько ярусовъ урны съ прахомъ рабовъ и вольноотпущенныхъ, служившихъ въ важныхъ домахъ) показываютъ названія различныхъ должностей, которыя занимали рабы, служившіе господину въ городѣ. Число и разнообразіе этихъ названій можетъ дать понятіе о томъ, до какой степени аристократы могли удовлетворять трудомъ своихъ рабовъ тѣмъ потребностямъ, которыя въ нашемъ обществѣ удовлетворяются фабричною дѣятельностью. Фабрикантамъ, поставлявшимъ свои продукты людямъ менѣе богатымъ, было также всего выгоднѣе покупать за незначительную цѣну молодыхъ рабовъ, обучать ихъ извѣстному ремеслу и потомъ въ теченіе всей ихъ жизни пользоваться ихъ заработками. Мы знаемъ положительно о подобныхъ спекуляціяхъ въ области книжной торговли.

Помпоній Аттикъ, другъ Цицерона, завелъ въ Римѣ первое значительное заведеніе для переписыванія и продажи книгъ. Въ его мастерской работали вѣроятно цѣлыя сотни писарей и переплетчиковъ, потому что сочиненія любимыхъ авторовъ издавались нерѣдко въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ экземпляровъ, и каждый экземпляръ продавался въ переплетѣ. Послѣ Помпонія Аттика, въ періодъ имперіи, изданіемъ книгъ занимались въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ братья Созіи, издатели Горація, Атректъ, Валеріанъ Поллій, Трифонъ, издавшій Марціала и Квинтиліана, и много другихъ, имена которыхъ дошли до насъ и свидѣтельствуютъ этимъ обстоятельствомъ объ обширности и важности ихъ предпріятій. Что въ этихъ мастерскихъ работали рабы, это почти не требуетъ доказательствъ. Во 1-хъ, пользоваться ихъ трудомъ было выгодно для хозяина; во 2-хъ, писцу необходимо было извѣстнаго рода образованіе и привычка къ дѣлу; писцы эти писали чрезвычайно скоро; Марціалъ говоритъ, что писецъ въ 1 часъ переписывалъ вторую книгу его эпиграммъ, состоящую изъ 540 стиховъ. Они писали подъ диктовку, потому что всѣ разомъ не могли списывать съ небольшого числа экземпляровъ еще неизданнаго сочиненія. Стало быть, эти писцы должны были писать четко, скоро и правильно, и потому это дѣло никакъ не могло быть довѣряемо вольнымъ поденьщикамъ. Надо было, чтобы будущій писарь пробылъ нѣсколько времени въ ученіи, и потому всего удобнѣе было для издателя книгъ обучить этому искусству собственныхъ рабовъ, которые не могли оставить произвольно его мастерскую и, выучившись скорописи, перейти къ кому нибудь изъ его конкурентовъ.

Итакъ, вотъ какое вліяніе оказывало рабство на низшіе классы: оно вытѣснило сначала мелкихъ земледѣльцевъ, потомъ вольныхъ арендаторовъ (coloni), доставивъ богачамъ средства обработывать съ значительною выгодою обширныя пространства земли, составлявшія latifundia. Въ городахъ, и особенно въ Римѣ, рабство если не совершенно вытѣснило, то по крайней мѣрѣ значительно стѣснило ремесленную дѣятельность свободныхъ людей.

Составляя почти исключительную принадлежность рабовъ, эта дѣятельность навлекла на себя презрѣніе свободныхъ сословій, презрѣніе, отъ котораго не умѣли отдѣлаться самые сильные умы древности: Платонъ, Аристотель, Цицеронъ и Тацитъ. Трудно было вольному плебею найти себѣ работу, и, когда онъ ее находилъ, она не давала ему ни выгоды, ни почета. Мы уже видѣли выше, какимъ образомъ Варронъ и Колумелла, писавшіе свои теоріи для богачей, потому что только богачи могли возвышаться до теоріи, совѣтуютъ прилагать къ дѣлу вольный трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. Для низшаго класса оставались еще нѣкоторыя низшія общественныя должности, которыя, несмотря на существованіе многочисленнаго класса государственныхъ рабовъ (servi publici), исправлялись большею частью свободными гражданами. Плебеи служили ликторами, герольдами, трубачами и общественными писарями. Изъ нихъ же было много консуловъ, преторовъ и т. д. Должность послѣдняго рода занималъ, какъ извѣстно, Горацій; онъ вспоминаетъ о ней въ сатирахъ, слѣдовательно она не считалась унизительной и рабской.

Конечно, количество этихъ должностей было такъ ограниченно, что предоставленіе ихъ свободнымъ людямъ не могло произвести чувствительнаго измѣненія въ положеніи римскаго плебейства. Чѣмъ занималась бездомная масса, какъ она жила, трудно себѣ представить. Satirico Петронія, въ которомъ онъ выводитъ приключенія образованнаго гражданина Энколпія и его друзей, ясно показываетъ, что бродяжничество, воровство и часто насильственный грабежъ были въ порядкѣ вещей, никого не удивляли и не казались страшною крайностью для того, кто на нихъ пускался. Изъ Сатирикона видно, что можно было украсть, ограбить и остаться порядочнымъ человѣкомъ. На другой день послѣ отчаянной продѣлки, къ которой его вынудило безденежье, Энколпій обѣдаетъ у богача Тримальхіона и съ одинаковымъ добродушіемъ разсказываетъ читателю о томъ, какъ онъ обокралъ ко-

рабль, и о томъ, какъ былъ сервированъ богатый столъ его хозяина. Въ каждомъ изъ своихъ кліентовъ богатый аристократъ видѣлъ самое постыдное, яркое раболѣпство, въ каждомъ изъ нихъ онъ могъ предполагать самыя порочныя наклонности, потому что связь между патрономъ и кліентомъ основывалась на корысти съ одной стороны и на тщеславіи съ другой. Послѣ этого понятно, почему кліенты встрѣчали за обѣдомъ у патрона самыя грубыя оскорбленія, почему имъ подавали дурное кушанье, почему ихъ поднимали на смѣхъ, какъ шутовъ, почему за ними наблюдали, какъ за мошенниками. Кліенты сносили это обращеніе, и число ихъ постоянно возрастало, стало быть, они заслуживали свою судьбу. Передъ абсолютною нравственностью виноваты и патронъ, и кліентъ. Передъ судомъ исторіи не виноваты ни тотъ, ни другой; оба являются жертвами и естественными слѣдствіями своего времени, приготовленнаго цѣлымъ рядомъ предшествовавшихъ столѣтій, и задача историка исполнена, если онъ, объяснивъ связь причинъ и слѣдствій, сдержитъ слишкомъ строгій приговоръ читателя надъ личностью, сословіемъ, народностью или эпохою. Единичное зло ничтожно тамъ, гдѣ общая система не допускаетъ никакого добра...

Въ третій разъ въ этой бѣглой характеристикѣ римской жизни я встрѣчаюсь съ такимъ положеніемъ вещей, въ которомъ двѣ стороны взаимно развращаютъ другъ друга (императоръ и народъ, чиновники и управляемые, патроны и кліенты). По моему мнѣнію, это, во-первыхъ, подтверждаетъ историческую мысль, что общество есть организмъ, въ которомъ каждое отправленіе обусловливается общимъ его положеніемъ и въ свою очередь обусловливаетъ это общее положеніе. Во-вторыхъ, въ отношеніи къ разсматриваемой эпохѣ это доказываетъ совершенно осязательно, что никакія внѣшнія реформы не могли оживить и обновить разлагавшійся организмъ. Императоръ могъ перестать быть деспотомъ; черезъ это не прекратилась бы возможность деспотизма; эта апріоричная мысль подтверждается на единичномъ примѣрѣ. Нервѣ и Траяну, какъ мы знаемъ изъ Тацита, трудно было оживить науку, которую задушилъ Домиціанъ. Чиновники могли прекратить лихоимства и угнетенія; отъ этого не воскресло бы въ народѣ давно подавленное и заглохшее чувство нравственности и человѣческаго достоинства. Въ отношеніяхъ между патронами и кліентами нельзя даже допустить того предположенія, которое я допускалъ въ первыхъ двухъ примѣрахъ; тамъ стояли лицомъ къ лицу правительство и народъ, а въ правительствѣ, въ которомъ инціатива зависитъ отъ воли одного лица, можно себѣ представить возможность довольно внезапнаго измѣненія. Но патроны и кліенты — представители двухъ сословій; они могли перемѣниться только тогда, когда новый духъ проникъ бы собою все общественное сознаніе; чтобы патронъ сталъ уважать кліента, нужно, чтобы кліентъ заслужилъ это уваженіе; чтобы кліентъ возвысился въ нравственномъ отношеніи, нужно, чтобы онъ почувствовалъ свое человѣческое достоинство и увидалъ въ другихъ уваженіе къ своей человѣческой личности. Словомъ, нужно, чтобы въ понятіяхъ обоихъ сословій, въ міросозерцаніи цѣлаго народа произошелъ крутой переворотъ; нужно, чтобы онъ въ обоихъ сословіяхъ произошелъ одновременно, потому что въ противномъ случаѣ они стали бы мѣшать другъ другу, и одно потянуло бы назадъ другое. Никакой аграрный законъ не могъ этого сдѣлать; еслибы даже было возможно раздѣлить земли, дать на каждаго пролетарія по семи югеровъ, купить ему земледѣльческія орудія, то его пришлось бы насильно выгонять изъ Рима и насильно заставлять пахать и сѣять; пришлось бы воспитывать насильственными мѣрами цѣлую націю, а въ націи въ періоды самаго жалкаго распаденія есть по крайней мѣрѣ одна страшная сила—сила инерціи. Одному не поднять гору, хотя бы никто не мѣшалъ ему, и въ исторіи конечно нѣтъ ни одного примѣра, чтобы правительство передѣлало жизнь и нравственность своего народа. Не могло также произвести значительной перемѣны воспитаніе высшаго класса или распространеніе между аристократами какой-нибудь философской доктрины. Что сдѣлали академія, стоицизмъ, эпикуреизмъ, пиѳагореизмъ? Они породили множество почтенныхъ, чистыхъ личностей, на которыхъ съ любовью отдыхаетъ взоръ историка, но которымъ публицистъ откажетъ въ чувствительномъ вліяніи на эпоху. Они были чужды массѣ и чуждались ея сами. Они отказывались отъ вліянія на практическую жизнь, они ею брезговали, боясь замарать объ нее руки; они проповѣдывали полное равнодушіе ко всякимъ внѣшнимъ интересамъ, къ сословнымъ различіямъ, къ страданіямъ раба и бѣдняка; къ этому презрѣнію нельзя примѣнить пословицы: «сытый голоднаго не разумѣетъ», потому что Эпиктетъ, громче и яснѣе всѣхъ высказавшій это презрѣніе, былъ самъ почти нищій, вольноотпущенный, человѣкъ искалѣченный рабствомъ.

Все дѣло въ томъ, что философія эта была умозрительная и не хотѣла, да и не могла выдти изъ міра идей; это была внутренняя сторона готовившейся реформы, сторона, доступная меньшинству и не заботящаяся о массѣ, потому что она вообще не заботилась о пропагандѣ и практическомъ вліяніи. «Долженъ ли философъ, спрашиваетъ Эпиктетъ, приглашать людей слушать его ученіе? Солнце, пища и питіе сами привлекаютъ къ себѣ людей. Долженъ ли философъ какимъ-нибудь другимъ образомъ привлекать къ себѣ тѣхъ, кому онъ желаетъ принести пользу? Какой врачъ предлагаетъ больному полечить его? А впрочемъ, я слышалъ, что

теперь въ Римѣ врачи дѣлаютъ подобныя предложенія». Философія эта сдѣлала свое дѣло, но не могла сдѣлать всего дѣла. Она не создала ничего, но разрушила все старое и отжившее, всѣ рамки сословныхъ и національныхъ предразсудковъ; она пришла къ печальному заключенію: суета суетствій и всяческая суета. «Наукъ, пишетъ Маркъ Аврелій, гордится тѣмъ, что поймалъ муху; иной человѣкъ—тѣмъ, что поймалъ зайца въ тенета; другой—сардинокъ въ сѣти; третій—кабановъ; четвертый—медвѣдей; пятый—сарматовъ». Не отъ древнихъ философовъ надо было ждать обновленія. Движеніе идей подготовляется незамѣтно и въ небольшомъ кружкѣ, и тогда его понимаютъ немногіе, а масса къ нему равнодушна или смотритъ на него, если только знаетъ о его существованіи, съ недовѣріемъ, съ боязнью и ненавистью. Движеніе въ области жизни, въ практической нравственности и въ религіи находится въ органической, хотя часто и отдаленной связи съ движеніемъ идеи; оно начинается въ самомъ народѣ, на площадяхъ, въ городахъ и въ селеніяхъ, и увлекаетъ за собою цѣлыя поколѣнія, безъ различія сословій, часто даже безъ различія національностей. Чтобы увлечь за собою всѣхъ, это движеніе должно произойти въ той сферѣ, которая составляетъ общее достояніе богатыхъ и бѣдныхъ, образованныхъ и необразованныхъ, знатныхъ и незнатныхъ; оно не можетъ совершиться ни въ области чистой мысли, потому что даже существованіе этой области сознается немногими, ни въ сферѣ житейскихъ интересовъ, потому что здѣсь никакая реформа не можетъ возбудить единодушнаго сочувствія людей, стоящихъ на различныхъ или даже на крайнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Остается только одно общее поле, практическая нравственность и религія—философія массы. Я по своему предмету имѣю дѣло съ попыткою подобной реформы, и потому эта приготовительная глава должна между прочимъ отвѣчать на одинъ важный вопросъ, обусловливающій собою достоинство реформы и слѣдовательно умственную и нравственную личность реформатора, на вопросъ, насколько предпринятая реформа была нужна эпохѣ, насколько ея требовали тѣ условія, при которыхъ слагалась вседневная жизнь народа?

IV.

Чтобы покончить съ рабствомъ, остается охарактеризовать положеніе раба передъ закономъ и отношенія его къ господину, т. е. нравственное вліяніе, которое рабство оказывало на рабовъ и владѣльцевъ. Рабъ (mancipium) былъ вполнѣ вещью въ римскомъ правѣ республики и первыхъ двухъ вѣковъ имперіи; самое его названіе средняго рода показываетъ, что народная логика не заботилась даже о разграниченіи пола въ личности раба. Рабъ nullum caput habet (не имѣетъ никакихъ правъ), и потому diminutio capitis, бывшее, какъ извѣстно, трехъ родовъ и означающее отнятіе у свободнаго человѣка извѣстной части его правъ и преимуществъ, для раба не имѣетъ мѣста. Рабъ переходитъ отъ одного господина къ другому, и положеніе его отъ этого нисколько не измѣняется. Господинъ можетъ подарить своего раба, отдать его напрокатъ, заложить, промѣнять, продать, уступить для заключенія мировой въ тяжебномъ дѣлѣ; за долги господина онъ можетъ быть взятъ кредиторомъ или проданъ съ аукціона наравнѣ съ прочею движимостью. Рабъ самовольно не можетъ имѣть собственности; все, что онъ пріобрѣтаетъ, по закону принадлежитъ господину; если же господинъ предоставляетъ какое-нибудь имущество во владѣніе рабу, то рабъ владѣетъ имъ, пока господину не придетъ въ голову взять его назадъ. Отъ господина зависитъ во всякое время увеличить или уменьшить имущество раба, или вовсе отнять его. Какъ собственность, такъ и личность раба находятся въ полномъ его распоряженіи. Господинъ имѣетъ надъ своими рабами право жизни и смерти; раба, осужденнаго на смерть господиномъ, казнили публично, и въ этомъ не было никакого нарушенія закона, потому что на господина не было апелляціи, и законъ не входилъ въ отношенія его съ рабами. Римскій всадникъ Ведій Полліонъ, современникъ и приближенный Августа, бросалъ провинившихся рабовъ въ садокъ, гдѣ ихъ живьемъ съѣдали мурены; онъ любилъ смотрѣть на подобныя казни и потому придирался къ каждой мелочи, чтобы потѣшать себя этими казнями. Однажды у Поллiона обѣдалъ Августъ; рабъ уронилъ хрустальную вазу, и хозяинъ объявилъ ему, что онъ будетъ казненъ. Рабу нечего было терять; онъ бросился въ ноги къ Августу и умолялъ его объ милости, чтобы его не бросали на съѣденіе рыбамъ, а казнили какъ-нибудь иначе. Августъ ужаснулся и пришелъ въ негодованіе; онъ простилъ раба и приказалъ перебить у Поллiона всю хрустальную посуду. Нарушителемъ закона явился императоръ, но произвольный поступокъ Августа не облегчилъ положенія рабовъ на будущее время. Продолжалъ ли Поллiонъ *по-прежнему* кормить рабами своихъ муренъ, этого мы не знаемъ; знаемъ только, что во времена Ювенала слово господина или госпожи по-прежнему вело раба на крестъ или арену, гдѣ его разрывали звѣри; но уже при Адріанѣ и Маркѣ Аврелiѣ владѣльцу было запрещено отправлять своихъ рабовъ на борьбу съ звѣрями, а Антонинъ за убіеніе раба положилъ съ господина одинаковое взысканіе, какъ за убійство вообще. Смягченіе нравовъ, на которое я указалъ, говоря о мнѣніяхъ философовъ о рабствѣ, проявилось, какъ видно, и въ законодательствѣ, и въ судопроизводствѣ. Но это смягченіе есть уже уклоненіе отъ чистаго принципа древности, уклоненіе непослѣдовательное,

въ которомъ мы уважаемъ пробуждающуюся гуманность, но въ которомъ нѣтъ строгой логики, необходимой въ законодательной системѣ и отличающей собою древнее римское право. Вотъ яркій примѣръ гуманной непослѣдовательности этихъ законовъ. Если женщина забеременѣетъ въ рабствѣ, а ребенокъ родится, когда мать отпущена на волю, то ребенокъ свободенъ. Если *свободная* женщина забеременѣетъ и родитъ ребенка, сдѣлавшись рабою, — ребенокъ остается свободнымъ. Очевидно, что этихъ двухъ статей закона нельзя подвести подъ общее, отвлеченное юридическое положеніе; зато въ нихъ какъ нельзя лучше видно стремленіе правительства облегчить всѣми возможными средствами положеніе рабовъ. Но въ предѣлахъ той эпохи, когда жилъ и дѣйствовалъ Аполлоній Тіанскій, рабъ былъ вполнѣ вещью; такъ смотрѣлъ на него господинъ, такъ смотрѣло и государство. Если онъ и отличался отъ вещи, то это конечно было для него невыгодно. Отличіе состояло въ томъ, что рабъ, сдѣлавшій преступленіе, безъ вѣдома, согласія или приказанія господина, отвѣчалъ за него передъ закономъ. Преступнику-рабу было тяжелѣе, нежели преступнику свободнаго званія. Рабъ не могъ просить защиты народнаго трибуна; судьями его были чиновники, завѣдывавшіе уголовными наказаніями (triumviri capitales) и, слѣдовательно, привыкшіе видѣть страданіе и слышать безплодныя просьбы; послѣ произнесенія приговора, онъ не могъ просить о вторичномъ пересмотрѣ дѣла въ высшей инстанціи. Наказанія для рабовъ бывали обыкновенно на одну степень строже наказаній, назначаемыхъ свободнымъ людямъ. Свободнаго били палкой, раба — кнутомъ; свободнаго осуждали на работу въ рудники, раба за ту же вину возвращали господину, вмѣняя послѣднему въ обязанность держать его на работѣ въ оковахъ. Смертная казнь была тоже различная: свободному рубили голову мечомъ, рабу—топоромъ; свободнаго сбрасывали со скалы, раба—вѣшали или распинали. Рабу приходилось плохо въ судѣ, даже когда онъ не былъ причастенъ къ преступленію: его часто казнили по одному подозрѣнію или въ примѣръ другимъ.

Городской префектъ временъ Нерона, Педаній Секундъ былъ убитъ своимъ рабомъ; по обычаю древнихъ, повели на казнь всѣхъ рабовъ, жившихъ съ нимъ подъ одною кровлей, всего 400 человѣкъ; это возмутило народъ и произвело въ городѣ волненіе; въ сенатѣ тоже разсуждали о томъ, не измѣнить-ли обычай древнихъ; но противъ этого мнѣнія возсталъ К. Кассій, рѣшительный приверженецъ старины; онъ произнесъ рѣчь, въ которой доказалъ необходимость примѣра; его доводы могутъ показаться возмутительными, но если разобрать ихъ хладнокровно, то окажется, что онъ только послѣдовательно проводитъ принципъ рабства. Учрежденіе, которое само по себѣ есть насиліе и несправедливость, можетъ держаться только несправедливыми и насильственными мѣрами. Въ сенатѣ послышались голоса, выражавшіе состраданіе къ полу, къ возрасту, къ числу приговоренныхъ, къ очевидной невинности многихъ изъ нихъ; но мнѣніе Кассія превозмогло. Между тѣмъ на пути, по которому надо было вести приговоренныхъ, собрался народъ, вооруженный камнями и головнями. Неронъ издалъ грозный эдиктъ; осужденныхъ повели съ военнымъ конвоемъ, и приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе. Когда рабу приходилось быть свидѣтелемъ въ судѣ за или противъ обвиненнаго, дѣло никогда не обходилось безъ пытки. Слово раба и его свидѣтельство только при пыткѣ получало значеніе; клятва его не ставилась ни во что. Августъ не любилъ безъ особенной надобности пытать рабовъ, но при разборѣ важныхъ государственныхъ дѣлъ или страшныхъ преступленій онъ считаетъ пытку самымъ дѣйствительнымъ и вѣрнымъ средствомъ добраться до истины. Когда господинъ хотѣлъ оправдаться во взводимомъ на него обвиненіи, онъ предлагалъ подвергнуть пыткѣ кого-нибудь изъ своихъ рабовъ, и слѣдователи обыкновенно принимали это предложеніе. Если рабъ молчалъ, или говорилъ вещи, не имѣющія ничего общаго съ обвиненіемъ, подсудимаго оправдывали или по крайней мѣрѣ считали незнаніе раба за одно изъ доказательствъ невинности господина. Если рабъ умиралъ среди истязаній въ дѣлѣ, не касающемся господина, то послѣднему платили за него справочную цѣну.

Смерть раба считалась въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ, ущербомъ для владѣльца, и потому денежное вознагражденіе исправляло все дѣло. Впрочемъ денежное вознагражденіе было недостаточно, если посторонній частный человѣкъ убивалъ или увѣчилъ чужого раба. Тутъ кромѣ матеріальнаго ущерба господину наносилось оскорбленіе, и за подобное нарушеніе правъ римскаго гражданина начинался особый процессъ. Законъ Аквилія опредѣляетъ наказаніе за безпричинное умерщвленіе чужого раба и чужой скотины; отъ этого сравненія домашняго скота съ домашней челядью выигрывалъ конечно одинъ господинъ убитаго или изуродованнаго раба. Самому рабу не могло быть нанесено оскорбленіе; обругать раба или ударить раба кулакомъ, за дѣло или по простому капризу, могъ первый встрѣчный совершенно безнаказанно; это предвидитъ и разрѣшаетъ буква закона. Отвергая въ рабѣ присутствіе какой бы то ни было личности, римское право не могло допустить для раба и существованіе семейства. Можетъ ли человѣкъ, не имѣющій ни личности, ни собственности, ни права пріобрѣтать для себя, — можетъ ли такой человѣкъ заключить какое-нибудь обязательство, можетъ ли онъ дать клятву въ супружеской вѣрности, когда для него вообще не существуетъ клятвы? Отвѣтъ на

этотъ вопросъ ясенъ, и потому рабъ могъ имѣть только *сожительство* (contubernium), которое заключалось и расторгалось по волѣ господина; если для этого и спрашивали иные гуманные господа согласія соединяемыхъ сторонъ, то это была чисто ихъ добрая воля, и только при позднѣйшихъ императорахъ признаются до нѣкоторой степени семейныя узы между рабами. Такъ какъ между рабами не было брака, то не могло быть и нарушенія супружеской вѣрности; если рабъ былъ любовникомъ свободной женщины, тогда конечно его наказывали за дерзость и за безчестіе, оказанное свободной женщинѣ. Вездѣ и во всѣхъ отношеніяхъ съ рабомъ обращались какъ съ вещью, а наказывали его какъ человѣка, или по крайней мѣрѣ какъ существо, сознающее свои поступки и слѣдовательно отвѣчающее за нихъ. Отъ раба требовали извѣстныхъ добродѣтелей, за которыя ему никто не оказывалъ уваженія или сочувствія, но за отсутствіе которыхъ его истязали и наказывали. «Когда господина убиваютъ, говоритъ законъ, то рабы должны подавать помощь и оружіемъ, и рукою, и крикомъ, и закрывая его собственнымъ тѣломъ. Если они, бывши въ состояніи сдѣлать это, не сдѣлали, то ихъ по справедливости слѣдуетъ казнить». Законъ, устами холоднаго мыслителя, юрисконсульта, требуетъ отъ раба положительной добродѣтели, подвиговъ самоотверженія, вмѣняетъ ихъ ему въ обязанность, и въ то же время отвергаетъ въ немъ личность.

Объяснить эту чудовищную непослѣдовательность можно только безобразнымъ эгоизмомъ древности. Законодатель писалъ законы, не умѣя перенестись въ положеніе того человѣка, которому придется имъ подчиняться. Оттого въ одномъ лицѣ хотѣли для собственнаго комфорта соединить свойства, взаимно исключающія другъ друга. Рабъ долженъ быть мертвымъ орудіемъ; въ немъ должно молчать нравственное чувство, когда господинъ бьетъ его отца, мать, друга, его самого, когда насилуютъ его жену, дочь; малѣйшее возмущеніе въ подобномъ случаѣ ведетъ за собою мучительную смерть или каторжную работу, плети, цѣпи, голодъ и подземельное заключеніе; и въ то же самое время хотятъ, чтобы этотъ идеалъ раба, эта вещь, при опасности, угрожающей господину, нашла въ себѣ энергію, храбрость и самоотверженіе, свойства, возможныя только при сознаніи и уваженіи собственной личности. Впрочемъ до того, какимъ образомъ рабъ исполнитъ предписанное волею господина или закономъ, до этого нѣтъ дѣла ни владѣльцу, ни государству. И тотъ, и другое говорятъ: «чтобъ было сдѣлано», и наказываютъ ослушниковъ, не разбирая злостныхъ и несчастныхъ. Личный интересъ владѣльца и безопасность государства говорили громко и рѣшительно, подавляя безъ труда естественный голосъ человѣчности. Личный интересъ владѣльца опредѣлялъ частныя условія быта рабовъ. Въ немъ не было удобствъ жизни; было только то, что нужно, чтобы не умереть, и чтобы быть въ состояніи работать. Приказчику (villicus) и пастухамъ давалась мѣсячина, т. е. опредѣленное, очень ограниченное количество хлѣба; другимъ рабамъ готовился общій столъ; платье давалось на два года; пара толстыхъ башмаковъ должна была служить столько же. Если принять въ соображеніе, что это предписанія агронома и экономa, что это слѣдовательно норма, отъ которой хозяева удалялись охотно въ худшую сторону; если представить себѣ, сколько изъ отпускаемыхъ денегъ шло въ карманъ приказчику (villicus), который имѣлъ обыкновенно свое имущество и вѣроятно пряталъ отъ хозяина свои деньги, какъ это дѣлаютъ и наши приказчики,—то можно вывести заключеніе, что рабы были постоянно впроголодь, и что Scriptores rei rusticae не даромъ ставятъ воздержаніе въ число главныхъ добродѣтелей раба. Помѣщеніе было тѣсное и вѣроятно мало отличалось отъ хлѣвовъ, а если и отличалось, то врядъ ли въ лучшую сторону. Колумелла, Варронъ и Катонъ заботятся о жилищахъ рабовъ только въ видахъ болѣе бдительнаго и постояннаго надзора за ними. Для рабовъ, осужденныхъ носить цѣпи, Колумелла отводитъ жилища подъ землею, вродѣ казематовъ, освѣщенныхъ сверху узкими окнами, до которыхъ нельзя было бы достать рукою. Для рабовъ не было праздниковъ; рабочіе волы, по обычаю древней религіи, отдыхали въ извѣстные дни, но рабамъ Катонъ въ праздники назначаетъ работы, не требовавшія содѣйствія рабочаго скота: они могутъ чистить сады, полоть луга, копать канавы, очищать бассейны и поправлять дороги.

Все это была норма; что дѣйствительность была гораздо хуже, видно изъ того, что всѣ экономы убѣдительно просятъ владѣльца пріѣзжать на ревизію и контролировать приказчиковъ, осматривать помѣщеніе и одежду рабовъ, спрашивать ихъ на счетъ количества и тягости работы, отвѣдывать ихъ пищу и питье, спускаться въ подземелья и свидѣтельствовать скованныхъ узниковъ. Всѣ эти хлопоты, на которыя конечно не рѣшались девять десятыхъ римскихъ аристократовъ, клонились къ тому, чтобы достигнуть идеала, очерченнаго мною выше. Мы знаемъ теперь по опыту, до какой степени не похожа на образцовую ферму какая-нибудь степная, забытая помѣщикомъ, деревня. Если приложить этотъ масштабъ къ римскому быту и принять за норму экономическое устройство рабскаго житья по Катону, Варрону и Колумеллѣ (на что́ мы имѣемъ полное право), то конечно самое смѣлое воображеніе откажется нарисовать картину запущеннаго или даже обыкновеннаго римскаго хозяйства. Въ городѣ было не лучше; конечно приближенные и парадные рабы, страдая, правда, отъ господскихъ вспышекъ и ка-

призовъ, были содержимы хорошо, уже потому, что господину или госпожѣ было бы непріятно смотрѣть на истомленныя лица, грязныя одежды и кровавые синяки; но, при малѣйшей провинности, раба ссылали, наказывали и приставляли къ чернымъ работамъ. Кухня и булочная были не легче рудниковъ и деревенскихъ мельницъ для тѣхъ рабовъ, на долю которыхъ приходилась не художническая, а машинальная работа. «Что за отверженные люди! говоритъ оселъ Апулея, попавши въ булочную. Кожа изрѣзана кнутомъ и расписана синими рубцами, спина въ струпьяхъ, едва прикрыта лохмотьями куртки; у иныхъ только поясъ на бедрахъ, у всѣхъ видно голое тѣло сквозь платье; лобъ клейменый, голова до половины обрита, на ногахъ желѣзныя колодки, на лицахъ безобразная блѣдность, вѣки изъѣдены дымомъ и густымъ паромъ, и глаза едва смотрятъ на свѣтъ». Довольно и этого; видно, что римскій аристократъ, владѣвшій тысячами безотвѣтныхъ рабовъ, зналъ предѣлы, т. е. безпредѣльность своей власти и умѣлъ ею пользоваться; видно также, какою цѣною покупалась роскошь знаменитыхъ римскихъ обѣдовъ и ужиновъ!

V.

Вліяніе рабства на нравственность римской аристократіи опредѣлить не трудно. Младенецъ выросталъ на рукахъ рабыни-кормилицы и, поднявшись на ноги, переходилъ подъ надзоръ рабадядьки, котораго онъ не уважалъ и надъ которымъ онъ рано начиналъ понимать свое господство. Родители не мѣшали развитію барства и грубаго произвола въ ребенкѣ, потому что не могли видѣть въ этихъ свойствахъ ничего дурного, и сами подавали первый примѣръ своенравія и жестокости. Ребенокъ билъ своего учителя, и учитель, если былъ человѣкъ умный и изворотливый, старался, чтобы избѣжать ссылки и плети, лавировать между родителями и своимъ воспитанникомъ, баловалъ послѣдняго и прикрывалъ отъ первыхъ тѣ шалости, которыя могли имъ не понравиться. Даже хорошій воспитатель, поставленный въ такое положеніе, не нашелъ бы другого выхода; чего же можно было требовать отъ дядьки, выбиравшагося изъ рабовъ, неспособныхъ ни къ какой другой должности? Что жъ мудренаго, что ребенокъ, едва начиналъ говорить, пристрастился къ театру, къ цирку и къ конскимъ скачкамъ, и что наукѣ и искусству не было мѣста въ душѣ, занятой подобными мыслями и стремленіями. Сынъ, выросшій подъ вліяніемъ дурного отца, долженъ былъ выдти хуже, потому что въ его молодую душу всецѣло вліяніемъ воспитанія вносилась сумма зла, которую собралъ отецъ въ разныхъ житейскихъ передѣлкахъ, въ теченіе десятковъ лѣтъ. При прогрессѣ общества, поколѣнія несомнѣнно улучшаются, и притомъ съ возрастающей скоростью; при паденіи общества повторяется то же явленіе, напоминающее законъ свободнаго паденія тѣлъ, т. е. не только скорость увеличивается, но самое увеличеніе скорости въ каждый данный моментъ возрастаетъ. Сынъ хуже отца, внукъ хуже сына, и притомъ въ большее число разъ, нежели сынъ хуже отца. Объясненіе этого явленія лежитъ въ воспитаніи, а для воспитанія важны два момента: сумма педагогическихъ убѣжденій воспитывающаго поколѣнія и тѣ средства, которыми проводятся въ жизнь эти убѣжденія. Сумма педагогическихъ убѣжденій въ массѣ была равна отрицательной величинѣ, т. е. было бы лучше, если бы ихъ вовсе не было.

Какую цѣль воспитанія предполагалъ римлянинъ временъ имперіи? Воспитывать *гражданина* было не по силамъ изнѣженной эпохѣ, да эти стремленія были бы, кромѣ того, подавлены императорской полиціей, если не въ періодъ воспитанія, то при первой попыткѣ воспитанника приложить ихъ къ жизни. Воспитывать *человѣка* не могла эпоха, гдѣ каждый, по мѣрѣ возможности, былъ рабомъ и въ то же время деспотомъ, смотря по обстоятельствамъ. Воспитывали юношу для двора и для свѣтской жизни; учили его говорить по-гречески, и хорошо говорить, потому что главнымъ предметомъ преподаванія было краснорѣчіе, хотя примѣненіе его въ судѣ и въ администраціи было сильно стѣснено въ періодъ имперіи. Юношу учили читать и писать; ему давали нѣкоторыя свѣдѣнія изъ ариѳметики, и потомъ все вниманіе воспитателя обращалось на лингвистическую часть образованія; преподавалась грамматика, діалектика и риторика; учили наизусть стихи и мѣста изъ писателей; упражнялась память, развивалась діалектическая находчивость и мелкая изобрѣтательность, дававшая средства переспоривать противника и убѣждать слушателя; формальная сторона ума не была забыта; но ни школа, ни отеческій домъ не давали реальныхъ свѣдѣній и прочныхъ нравственныхъ убѣжденій. Дѣтямъ давали педагога, ихъ посылали въ школу, причемъ рабы, назначенные для этой должности, несли за ними книги и письменный приборъ, и все это дѣлалось по привычкѣ, по рутинѣ, потому что такъ было заведено, по тому же самому, почему до позднѣйшихъ императоровъ удержались республиканскія формы. Воспитаніе домашнее было предоставлено случайности, и колоритъ его зависѣлъ отъ личности педагога, сомнительной и по своему положенію, и по связаннымъ съ этимъ положеніемъ нравственнымъ и умственнымъ свойствамъ. Общественное воспитаніе, т. е. преподаваніе въ школахъ грамматиковъ и риторовъ, было отрѣшено отъ дѣйствительной жизни. Краснорѣчіе не имѣло подъ собою почвы и потому вдавалось въ фантастическія бредни; чувство, возбуждавшееся прежде живою дѣйствительностью, сознаніемъ своего гражданскаго достоин-

ства, перешло въ напыщенность и декламацію.

Послушаемъ, что̀ говоритъ Тацитъ: «теперешніе ученые не знаютъ законовъ, не помнятъ сенатскихъ постановленій, смѣются надъ правомъ, пугаются изученія мудрости, боятся совѣтовъ опытности. Краснорѣчіе, изгнанное изъ своего царства, стѣсняется узкими, произвольно придуманными правилами; царица всѣхъ искусствъ — краснорѣчіе, наполнявшее грудь высокимъ вдохновеніемъ, теперь обрѣзано, оборвано, преподается безъ торжественности, безъ почета, можно почти сказать, не какъ свободное искусство, а какое-нибудь грязное ремесло». Далѣе онъ противополагаетъ современному воспитанію древне-римское, основанное на постоянномъ общеніи между жизнью и школою, на ежедневномъ практическомъ примѣненіи слышанныхъ наставленій, словомъ, на совпаденіи нравственнаго воспитанія съ умственнымъ обученіемъ. Пробуждающійся умъ мальчика искалъ себѣ пищи, а школа не давала ему ничего, ни прочнаго, ни увлекательнаго.

Чѣмъ ничтожнѣе было образовательное вліяніе школы и домашняго наставника, тѣмъ сильнѣе должно было быть вліяніе окружающей среды, вліяніе случайное, изъ котораго мальчикъ или дѣвочка выбирали, конечно, то, что̀ имъ нравилось, что̀ бросалось въ глаза, льстило чувственности и доставляло пріятныя ощущенія. Окруженные рабами и рабынями, они не могли встрѣчать съ ихъ стороны ни твердаго сопротивленія своимъ прихотямъ и капризамъ, ни разумнаго совѣта и предостереженія. Въ родительскомъ домѣ они видѣли постоянные пиры, гдѣ чванная роскошь патрона сталкивалась съ низкой угодливостью кліента, гдѣ несправедливая запальчивость господина или его холодная жестокость давили безотвѣтнаго раба. Уберечь дѣтей отъ подобныхъ сценъ было бы очень трудно, если бы даже объ этомъ старались родители; но воспитаніе было положительно въ загонѣ, на рукахъ рабовъ, и потому ребенокъ могъ видѣть все, что̀ происходило въ домѣ и возбуждало его любопытство.—Внѣ дома, ребенокъ бывалъ съ родителями или педагогомъ въ театрѣ, смотрѣлъ трагедіи, комедіи и пантомимы, присутствовалъ даже при травляхъ звѣрей на аренѣ и при гладіаторскихъ играхъ, на которыя даже Августъ приводилъ жену и дѣтей. И въ театрѣ, и въ циркѣ ребенокъ могъ многому научиться. Въ театрѣ онъ видѣлъ, напримѣръ, какъ приговоренный къ смерти игралъ роль Геркулеса или Прометея, и какъ въ первомъ случаѣ его сжигали въ насмоленной туникѣ, а во второмъ приковывали къ скалѣ и выпускали на него медвѣдя, замѣнявшаго въ этомъ случаѣ того коршуна, который, по миѳу, выклевываетъ у Прометея печень; онъ слышалъ страшные крики умирающаго и радостные возгласы зрителей; онъ выросталъ на подобныхъ представленіяхъ; тутъ формировались эстетическія понятія, тутъ развивалось стремленіе къ наслажденіямъ и опредѣлялся ихъ выборъ; тутъ росло нравственное чувство и рѣшались вопросы о томъ, что̀ хорошо и что̀ дурно. Ясно, что когда онъ дѣлался мужчиною, его огрубѣвшіе нервы требовали большихъ потрясеній; онъ уже не могъ довольствоваться тѣмъ, что̀ удовлетворяло предыдущее поколѣніе. Только этимъ прогрессомъ жестокости можно объяснить себѣ тотъ фактъ, что народъ и аристократы смотрѣли съ одинаковымъ наслажденіемъ не только на бой гладіаторовъ, гдѣ проявлялась по крайней мѣрѣ пластическая сила, искусство и отвага, но и на то, какъ среди арены звѣри разрывали людей беззащитныхъ, невооруженныхъ и связанныхъ. Гладіаторы — порожденіе римскаго рабства; невѣроятное развитіе этого учрежденія при императорахъ характеризуетъ время и, конечно, имѣло значительное вліяніе на складъ народнаго характера.

Нибуръ выводитъ гладіаторскія игры изъ обычая древнихъ грековъ и римлянъ первыхъ вѣковъ республики приносить человѣческія жертвы на могилахъ павшихъ героевъ. Кромѣ того, у народовъ южной Италіи былъ обычай заставлять сражаться между собою военноплѣнныхъ. Эти два обычая слились между собою, такъ что въ Римѣ, при торжественныхъ погребеніяхъ, стали постоянно появляться поединки между плѣнными инородцами. Эти представленія понравились народу, и эдилы ввели ихъ въ народныя празднества. Рабство создало въ Римѣ многочисленный классъ людей, жизнью которыхъ не дорожили ни государство, ни общество. Очень естественно, что при возрастающей жестокости римскаго народа, при тѣхъ средствахъ, которыя давало рабство, при дешевизнѣ людей, гладіаторскія игры получили самое обширное развитіе. Съ общественной сцены онѣ проникли въ частные дома, и комнатные гладіаторы, набранные изъ рабовъ и обученные фехтованію, сражались между собою въ то время, когда господа обѣдали; чиновники, желающіе задобрить народъ, старались превзойти другъ друга въ роскоши предлагаемыхъ зрѣлищъ, и главная роскошь этихъ зрѣлищъ состояла въ числѣ сражающихся гладіаторовъ и въ разнообразіи ихъ вооруженія. Главные виды гладіаторовъ были *Thrax*, вооруженный короткимъ ѳракійскимъ мечомъ, копьемъ и щитомъ, и Mirmillo, представлявшій галла съ широкимъ мечомъ; далѣе *retiarius* съ сѣтью и съ трезубцомъ, старавшійся набросить свою сѣть на голову *Secutoris*, вооруженнаго мечомъ и копьемъ и одѣтаго въ панцырь. Всѣ они отдавались на обученіе къ лаписту (lanista), который заботился о ихъ здоровьѣ, хорошо кормилъ ихъ и укрѣплялъ ихъ силы гимнастическими упражненіями. Они, съ своей стороны, обязывались страшною клятвою позволять дѣлать съ собою все, что будетъ нужно для удовольствія зрителей.

Императоры замѣчали не разъ вредное вліяніе гладіаторскихъ игръ, какъ средства подкупать народъ, и Неронъ противодѣйствовалъ этому своими указами. Вреднаго вліянія этихъ зрѣлищъ на характеръ народа не замѣчало ни правительство, ни писатели. Нѣкоторые философы, особенно Сенека, возмущаются требованіями римской публики, желающей, чтобы гладіаторы умирали въ граціозно пластичныхъ позахъ, но противъ самаго учрежденія въ первомъ вѣкѣ по Р. Хр. не слышно ни откуда энергическаго протеста.

VI.

Перехожу къ семейной жизни древняго грекоримскаго міра. Въ греческой жизни не было мѣста для многоженства; женщину не запирали въ гаремы, ее не караулили евнухи, но о равноправности мужчины и женщины не думалъ ни народъ, ни мыслители. На жену смотрѣли какъ на неизбѣжное зло, необходимое для сохраненія порядка въ домѣ и для произведенія дѣтей. Образованіе дѣвушки ограничивалось тѣмъ, что ее учили необходимымъ домашнимъ работамъ; сверхъ того она должна была пѣть и плясать, чтобы принимать участіе въ нѣкоторыхъ религіозныхъ празднествахъ. Вся добродѣтель ея состояла въ хорошемъ хозяйствѣ и въ безпрекословномъ повиновеніи мужу. Въ Аѳинахъ женщина постоянно считалась несовершеннолѣтнею, и даже мать поступала подъ опеку сына, достигшаго законнаго возраста. Отецъ совершенно самовластно распоряжался личностью дочери и выдавалъ ее замужъ за кого ему было угодно; по смерти отца его мѣсто заступалъ старшій братъ. По выходѣ замужъ, женщина жила во внутреннихъ покояхъ дома, рѣдко видѣла постороннихъ и постоянно была окружена только своими рабынями.

Для гражданина супружество считалось нравственной обязанностью по отношенію къ государству, нуждающемуся въ поддержаніи народонаселенія; по аѳинскимъ законамъ, холостякъ не могъ быть ни ораторомъ, ни полководцемъ, и несмотря на то, число холостяковъ постоянно увеличивалось, потому что мужчинѣ общественное мнѣніе предоставляло полную свободу въ небрачныхъ отношеніяхъ съ женщиною. Цѣлое сословіе образованныхъ и прекрасныхъ гетеръ готово было удовлетворять его желаніямъ, и общественное мнѣніе не могло осуждать этихъ отношеній, когда изображенія знаменитой гетеры Фрины стояли въ храмахъ, какъ статуи Афродиты, и когда государственные дѣятели, художники, поэты и мыслители сходились въ домѣ Аспазіи и другихъ подобныхъ женщинъ. Бракъ не сковывалъ свободу мужчины; во-первыхъ, жена не имѣла никакихъ средствъ, чтобы обуздать легкомысліе мужа, и общественное мнѣніе нисколько не осуждало нарушителя супружеской вѣрности. Во-вторыхъ, мужъ при первомъ желаніи могъ развестись съ женою и тотчасъ вступить въ новое супружество; только приданое бывшей жены должно было воротиться къ ея родственникамъ. На малочисленность браковъ, кромѣ отношеній къ гетерамъ и наложницамъ, имѣла еще значительное вліяніе бугроманія—извѣстный гнусный порокъ; противъ него ни одинъ греческій писатель до-христіанскаго періода не сказалъ серьезнаго слова обвиненія. Поэты, ораторы и философы часто говорятъ о любви, и при этомъ вовсе не думаютъ о женщинѣ; были примѣры, что въ судѣ такъ-же просто и безцеремонно упоминалось о противоестественной связи мужчинъ, какъ и объ отношеніяхъ любовника къ гетерѣ. Съ теченіемъ времени, когда цивилизація придумала для разврата различныя удобства, были учреждены публичные дома, гдѣ жили и мужчины, и государство аѳинское стало брать съ нихъ опредѣленную подать. Философы до такой степени любили предаваться этому гнусному пороку, что многіе отцы рѣшительно не позволяли своимъ молодымъ сыновьямъ посѣщать ихъ и входить съ ними въ короткія отношенія. Парменидъ, Эвдоксъ, Ксенократъ, Аристотель, Полемонъ, Кранторъ, Архезилай и даже Зенонъ принадлежали къ числу извѣстныхъ любителей этого порока. Порокъ этотъ и огромное число образованныхъ гетеръ имѣли самое вредное вліяніе на судьбу женщинъ и дѣвушекъ благородныхъ семействъ. Мужъ не видѣлъ въ своей женѣ друга и даже не любилъ ее чувственной любовью; ему нужно было имѣть дѣтей, и онъ смотрѣлъ на бракъ чисто какъ на средство исполнить одну изъ обязанностей гражданина; потребности ума, сердца и даже чувственности могли быть удовлетворяемы внѣ дома, и потому женщина не нуждалась, по понятіямъ грековъ, въ разностороннемъ образованіи, которымъ пользовалась гетера. Два зла взаимно поддерживали другъ друга, т. е. необразованность благородныхъ женщинъ привлекала ихъ мужей къ гетерамъ и кинедамъ, а привязанность мужей къ подобнымъ личностямъ поддерживала невѣжество и неразвитость женъ, почему онѣ были принуждены довольствоваться хозяйственными заботами и обществомъ своихъ рабынь.

Развратъ и отвращеніе мужчинъ отъ супружества уменьшали народонаселеніе, и Полибій уже жалуется на недостатокъ рабочихъ рукъ и на произведенное этимъ обстоятельствомъ уменьшеніе плодородія почвы. Кромѣ малочисленности браковъ, уменьшенію народонаселенія на греческой почвѣ содѣйствовалъ общепринятый обычай вытравливать зародышъ и выкидывать новорожденныхъ дѣтей, которыхъ родители, по какимъ бы то ни было причинамъ, не хотѣли воспитывать. Этотъ обычай оправдывался законами и даже одобрялся мыслителями, подобными Платону и Аристотелю. Философы, жившіе послѣ Р. Хр., относятся къ этому обычаю съ негодова-

ніемъ; но зло, внесенное этими привычками въ народную жизнь, вѣлось слишкомъ глубоко, чтобы его могли искоренить поученія благонамѣренныхъ людей, вродѣ М. Руфа или Плутарха.

Въ Римѣ супружескія отношенія стояли подъ защитою религіи и считались святынею, особенно въ лучшія времена республики. Римскій бракъ можетъ быть разсматриваемъ съ гражданской и религіозной точки зрѣнія. Какъ контрактъ между соединяющимися сторонами, бракъ въ Римѣ бывалъ двухъ родовъ, или *cum manu*, или *sine manu*. Въ первомъ случаѣ женщина совершенно поступала подъ власть мужа; онъ получалъ надъ нею отеческую опеку, могъ наказывать ее и казнить смертью, не отвѣчая за то передъ закономъ; собственность женщины поступала въ распоряженіе мужа, и онъ никому не отдавалъ въ ней отчета. Во второмъ случаѣ жена оставалась подъ покровительствомъ родителей и родственниковъ, и сама владѣла своимъ имѣніемъ. Какъ религіозная церемонія, бракъ заключался при извѣстныхъ обрядахъ; женихъ и невѣста приносили жертву и потомъ, сидя вмѣстѣ на бараньей кожѣ, съѣдали жертвенный пирогъ въ присутствіи великаго понтифекса, главнаго фламина и десяти гражданъ-свидѣтелей. Другія формы брака (*coëmtio* и *usus*) были менѣе торжественны и вошли въ употребленіе тогда, какъ религіозное чувство остыло и отошло въ область прошедшаго.

По словамъ Діонисія Галикарнасскаго, разводы были неизвѣстны въ Римѣ 520 лѣтъ, т. е. до 234 г. до Р. Х. Въ этомъ фактѣ нѣтъ ничего неправдоподобнаго. Когда патріархальность нравовъ доходила до того, что мужъ получалъ надъ женою право жизни и смерти, тогда очень естественно, что мужу не было надобности искать развода, а жена не могла на это отважиться. Изъ этого отсутствія разводовъ нельзя вывести заключенія, чтобы римляне первыхъ вѣковъ республики были отличными семьянинами, особенно если сопоставить съ этимъ фактомъ извѣстный законъ 12 таблицъ, по которому сынъ, три раза проданный отцомъ въ рабство, эмансипировался изъ-подъ отеческой власти. Если законъ оговаривалъ подобный фактъ, стало быть онъ его предвидѣлъ и считалъ возможнымъ. Изъ отсутствія разводовъ можно заключить только, что слабая сторона, женщина, терпѣла безропотно и, въ случаѣ оскорбленія со стороны мужа, не смѣла обратиться къ защитѣ закона. Обширность власти римскаго pater familias такъ извѣстна, что ея не стоитъ оговаривать; по мѣрѣ того, какъ смягчались нравы, она стала ограничиваться контролемъ общественнаго мнѣнія и цензорской власти; разводы стали чаще и наконецъ при императорахъ обратились въ привычку. «Ни одна женщина, пишетъ Сенека, не боится развода; многія знатныя дамы считаютъ свои лѣта не по числу консуловъ, а по числу своихъ мужей; онѣ выходятъ замужъ, чтобы развестись, и разводятся, чтобы вступить въ новое супружество».

При ослабленіи супружескихъ отношеній стало уменьшаться и самое число супружествъ. Августъ, заботливый блюститель народной нравственности, счелъ нужнымъ обратить вниманіе на этотъ печальный фактъ. Онъ издалъ два закона lex Julia и Poppia Poppaea, по которымъ всѣ взрослые римляне были обязаны вступать въ бракъ и производить дѣтей. Холостяки и бездѣтные люди наказывались довольно значительнымъ денежнымъ штрафомъ, а женатые, имѣвшіе троихъ дѣтей, освобождались отъ нѣкоторыхъ повинностей и пользовались извѣстными преимуществами. Какъ и слѣдовало ожидать, законъ этотъ не принесъ никакой пользы. Самъ Августъ предоставлялъ иногда, въ видѣ особой милости, неженатымъ людямъ «право троихъ дѣтей». Преемники его поступали еще произвольнѣе, такъ что законъ часто обходили и нарушали. Сверхъ того, удобства безбрачнаго состоянія были такъ велики по понятіямъ тогдашнихъ римлянъ, что денежный штрафъ не могъ составить значительнаго противовѣса. Семейная жизнь падала, и развратъ усиливался.

Что было въ Греціи, то было и въ Римѣ. Тѣ же гетеры, тѣ же кинеды, называвшіеся экзолетами. Первые римскіе императоры до Нерона включительно отличались самыми порочными наклонностями. Это засвидѣтельствовано Тацитомъ и Свѣтоніемъ. Жена Клавдія, Мессалина, до сихъ поръ употребляется какъ нарицательное имя развратной женщины. Внучка Августа, Юлія, довела себя до такого цинизма, что дѣдъ принужденъ былъ выслать ее изъ Рима. Неронъ, какъ извѣстно, публично женился на Спорѣ. Тиверій доходилъ на Капреѣ до какого-то изступленія разврата. Юлій Цезарь находился въ непозволительныхъ отношеніяхъ съ виѳинскимъ царемъ Никомедомъ, такъ что солдаты при тріумфѣ Цезаря пѣли стихи слѣдующаго содержанія:

Ecce Caesar nunc triumphat
Qui subegit Galliam.
Nicomedes non triumphat
Qui subegit Caesarem.

Нужно ли вообще приводить факты въ пользу того мнѣнія, что развратъ императорскаго Рима перешелъ всякія границы? Достаточно сослаться на Satiricon Петронія. Тамъ каждая страница есть краснорѣчивый и неопровержимый фактъ. Отмѣтивъ этотъ развратъ, какъ существующее явленіе, я перейду къ характеристикѣ внутренняго, интеллектуальнаго и нравственнаго состоянія языческаго общества, т. е. къ религіи и философіи.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Въ первой главѣ я представилъ очеркъ политическаго или внѣшняго состоянія римскаго общества; въ настоящей—предметомъ моего обзора будетъ внутреннее или религіозно-нравственное положеніе Рима.

Положительный, практическій умъ, преобладающій надъ творческой фантазіей, отличаетъ римлянина отъ грека. Въ религіи, гдѣ впервые проявляется народное міросозерцаніе, гдѣ каждый образъ выражаетъ собою или народный смыслъ, или историческое воспоминаніе, не могла не выразиться эта способность римскаго характера. Римская миѳологія, или вѣрнѣе теологія, какъ называетъ ее Нибуръ, составившаяся изъ этрурскихъ, пеласгическихъ и сабинскихъ элементовъ, бѣдна вымыслами и образами, серьезна и представляетъ почти въ первобытной наготѣ народныя философемы, составляющія ея основаніе. О ней мало говорятъ древніе писатели. Тотъ фактъ, что римская теологія была почти вытѣснена греческими миѳами и въ общественномъ сознаніи, и въ глазахъ писателей—заслуживаетъ полнаго вниманія. Онъ доказываетъ, что отвлеченная и серьезная догматика отечественной религіи уступила мѣсто живой фантазіи чужого племени, и что римскій народъ, не находя въ себѣ самомъ творческой силы, чтобы воплотить созданія своей мысли, охотно заимствовалъ образы уже готовые, не заботясь о томъ, что эти образы не всегда соотвѣтствуютъ идеѣ, и не предвидя того, что неудачное олицетвореніе отвлеченной идеи могло унизить то философское содержаніе, которое лежитъ въ основѣ религіи.

Первобытная римская теологія основана на олицетвореніи тѣхъ силъ природы, которыя поразили воображеніе народа и представлялись ему наиболѣе самостоятельными и могущественными. Олицетвореніе это не было такъ полно и рельефно, какъ въ греческой миѳологіи Антропоморфизма почти не было, и только слабые его зачатки замѣтны въ именахъ воплощенныхъ стихій. Свѣтъ обожался подъ именами *Janus* и *Jana*, плодотворная сила земли называлась *Saturnus* и *Ops*, самая масса земли *Tellumo* и *Tellus*. Такимъ образомъ каждая стихія распадалась въ понятіяхъ народа на мужескій и женскій принципъ, на оплодотворяющую и воспринимающую силу. Но изъ существующихъ матеріаловъ нельзя заключить, чтобы эти пары божествъ находились въ супружескихъ отношеніяхъ; о генеалогіи ихъ не говорится нигдѣ; начало и конецъ божества признается неизвѣстнымъ и непостижимымъ. Словомъ, силы природы признаются нравственно свободными существами, но на понятіи существа и останавливается творчество народа; оно не ограничиваетъ этого понятія личными особенностями, не стѣсняетъ его опредѣленными качествами и такимъ образомъ не впадаетъ въ антропоморфизмъ. Кромѣ этихъ главныхъ божествъ, олицетворяющихъ великія силы природы, есть безконечное число мелкихъ божествъ, въ которыхъ воплощаются всѣ фазы развитія животнаго и растительнаго царства. Нѣсколько десятковъ божествъ покровительствуютъ развитію пшеничнаго зерна и возрастанію колоса.

Міроправленіе, по понятію римлянъ, состоитъ подъ вѣдѣніемъ трехъ силъ. Выше всего стоятъ общіе законы природы, по которымъ бытіе развивается изъ понятія, и по которымъ все существующее произошло изъ творческой мысли какого-то, совершенно неопредѣленнаго, высшаго существа. Внутри круга, очерченнаго законами природы, дѣйствуетъ на отдѣльные роды существъ и на единичныя личности *fatum* (судьба, рокъ). Fatum имѣетъ еще нѣкоторые законы и какъ бы составляетъ дополненіе и распространеніе основныхъ и общихъ законовъ природы. Внутри законовъ *fatum*'а дѣйствуетъ *fortuna*—случай. По законамъ природы, замѣчаетъ Сервій, человѣкъ можетъ жить 120 лѣтъ; причемъ природа назначаетъ только крайній предѣлъ—*maximum*. Fatum ограничилъ законъ природы, такъ что большинство людей живутъ не болѣе 90 лѣтъ. Fortuna — случай можетъ пресѣчь жизнь человѣка во всякую данную минуту, не нарушая законовъ природы, ни рѣшенія судьбы. На этомъ міросозерцаніи основано поклоненіе фортунѣ, продолжавшееся въ обширныхъ размѣрахъ при Цицеронѣ и во времена имперіи. Природу и судьбу нельзя было измѣнить, но можно было надѣяться умилостивить богиню случая.

Это міросозерцаніе оставляло мѣсто Промыслу и въ то же время оберегалось отъ фатализма; оно основано на томъ простомъ и здравомъ разсужденіи, что я, какъ человѣкъ, подчиненъ извѣстнымъ физическимъ законамъ; я-же, какъ опредѣленная личность въ своихъ отношеніяхъ къ другимъ людямъ и къ неодушевленнымъ предметамъ, стою внѣ всякаго заранѣе обдуманнаго плана. Если я закалываюсь кинжаломъ, то тотъ фактъ, что я умираю отъ раны, представляетъ собою осуществленіе закона природы, а тотъ фактъ, что я нанесъ себѣ рану, есть проявленіе моей свободной воли, до котораго нѣтъ дѣла ни природѣ, ни судьбѣ.

Эта простая и серьезная религія не могла удовлетворять потребностямъ народа. Внутренняго смысла ея онъ не понималъ, точно такъ же, какъ не понимаетъ напр. внутреннихъ законовъ, по которымъ сложился языкъ, а внѣшняя сторона была слишкомъ проста и суха, требовала напряженія ума и не говорила воображенію. При первомъ столкновеніи съ произведеніями иноземной фантазіи, народъ увлекся ими и перенесъ къ себѣ то, что для него было особенно привлекательно, т. е. пышные обряды, религіозныя игры и поэзію;

но патріотизмъ и консервативный духъ народа не позволили прямо замѣстить отечественное божество пришлымъ; нужно было соединить одно съ другимъ; безличныя существа, населявшія римскій невидимый міръ, какъ нельзя больше были способны соединиться съ какими бы то ни было личностями космическихъ божествъ, происшедшихъ изъ олицетворенія природы; и вотъ разныя древне-сабинскія, этрурскія и пеласгическія имена слились съ представленіями олимпійцевъ, личностей совершенно очерченныхъ, имѣвшихъ полную человѣческую индивидуальность и получившихъ, благодаря поэтамъ и художникамъ, внѣшнюю исторію, генеалогію и физіономію. Юпитеръ-Зевесъ, Юнона-Гера, Минерва-Аѳина, Церера-Деметра, Либеръ-Вакхъ, Либера-Персефона, Діана-Артемида, и т. д. населили собою римскій олимпъ, царемъ котораго явилась величественная фигура Юпитера капитолійскаго. Еще при Тарквиніѣ Прискѣ существовали антропоморфическія изображенія боговъ; сивиллины книги предписывали приносить жертвы греческимъ богамъ и поклоняться Аполлону; дельфійскій оракулъ, съ которымъ совѣтовались и правительство, и частныя лица, указывалъ тоже на греческій культъ. Этотъ культъ былъ богатъ, веселъ и изященъ; онъ нравился народу, и древне-италійскіе обряды мало по малу выходили изъ употребленія или измѣняли свой первобытно-простой и серьезно-нравственный характеръ. Такъ, въ древней религіи не было кровавыхъ жертвоприношеній; вѣроятно изъ древнѣйшаго періода сохранились возліянія и приношенія, совершавшіяся въ честь домашняго бога (lar) и генія мѣста (genius loci); имъ приносились цвѣты, и дѣлались возліянія виномъ и молокомъ. Но греческій культъ скоро проникъ въ Италію, явились *simulacra*—идолы боговъ, и на алтаряхъ ихъ полилась кровь жертвенныхъ животныхъ; явился даже обрядъ *lectisternia*, котораго грубая чувственность стоитъ въ яркомъ противорѣчіи съ спиритуализмомъ древней теологіи. Въ важныхъ случаяхъ, при опасности государства или послѣ счастливаго событія, когда нужно было умилостивить или поблагодарить боговъ, устроивался роскошный обѣдъ, на столъ ставилось золото и серебро, составлявшее собственность храмовъ, а на ложахъ возлѣ стола располагались статуи тѣхъ боговъ, для которыхъ устроенъ былъ пиръ. Объ устройствѣ такихъ пировъ говоритъ Тацитъ. Послѣ большого пожара въ Римѣ, Неронъ счелъ нужнымъ умилостивлять боговъ; обратились къ сивиллинымъ книгамъ, стали молиться Вулкану, Церерѣ и Прозерпинѣ; римскія матроны отправились на берегъ моря и морской водой оросили храмъ и статую Юноны; наконецъ тѣ-же матроны устроили ночныя бдѣнія. Когда все это не помогло, то для окончательнаго успокоенія встревоженныхъ умовъ Неронъ казнилъ самыми разнообразными казнями множество христіанъ, которые уже въ то время возбуждали недовѣріе и ненависть римлянъ.

Игры состояли въ ристаніи на колесницахъ и въ кулачныхъ бояхъ; въ этихъ играхъ принимали участіе только рабы и вольноотпущенные, а природные римляне считали унизительнымъ сходить на арену. Это обстоятельство, мнѣ кажется, объясняется иностраннымъ происхожденіемъ этихъ религіозныхъ обрядовъ и увеселеній. Игры (ludi) не имѣютъ ничего общаго съ гладіаторскими зрѣлищами. Онѣ были веселаго характера и оканчивались безъ кровопролитія; всѣ онѣ состояли въ сценическихъ представленіяхъ и въ ристаніи на колесницахъ; отъ нихъ строго отличаются гладіаторскія представленія, называвшіяся *spectacula* и неимѣвшія религіознаго значенія. При этомъ наплывѣ греческихъ представленій и обрядовъ, изъ чисто-римскаго культа осталась только іерархія, которая своимъ устройствомъ доказываетъ, что въ Римѣ вліяніе религіи на государственныя дѣла было несравненно сильнѣе, нежели въ Греціи. Греческіе жрецы были почти исключительно служителями при жертвоприношеніяхъ; въ Римѣ существовали цѣлыя коллегіи жрецовъ, имѣвшихъ законодательную власть и политическое значеніе *).

Посмотримъ, что можно вывести изъ этого изображенія римской іерархіи и римскаго культа.

---

*) Первая изъ этихъ коллегій были понтифексы, во главѣ которыхъ стоялъ pontifex maximus, передавшій впослѣдствіи свой титулъ папѣ. Они были судьями духовныхъ дѣлъ, законодателями касательно церемоній и обрядовъ, правъ и обязанностей жрецовъ; они судили нарушителей, имѣли jus quaestionis и могли даже осуждать на смерть. Они завѣдывали календаремъ, установляли подвижные праздники и рѣшали вопросъ, какіе дни счастливые (fasti) и несчастные (nefasti). Со временъ Августа, званіе pontifi-cis maximi сдѣлалось неотъемлемой принадлежностью императора, и до временъ Ѳеодосія даже христіанскіе императоры отправляли эту должность. Понтифексы сами не приносили жертвоприношеній, и только въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ императоръ освящаетъ жертвенное животное, которое потомъ ударяетъ молотомъ *pora*, а зарѣзываютъ рабы. Pontifex maximus былъ всегда одинъ; число другихъ понтифексовъ измѣнялось, постоянно увеличиваясь. Сначала было два, потомъ четыре, потомъ при усиленіи плебеевъ четыре изъ патриціевъ и четыре изъ плебеевъ, и наконецъ, послѣ Суллы, пятнадцать. Съ увеличеніемъ числа падало значеніе должности, которая въ періодъ имперіи сдѣлалась чисто номинальною.

Вторая греческая коллегія—авгуры—играла въ Римѣ ту роль, которую въ Греціи занимали оракулы; они на основаніи своихъ книгъ, заключавшихъ въ себѣ записанное откровеніе (libri augurales), обсуживали явленія природы и гадали о будущемъ по полету и крику птицъ, по молніи и по другимъ воздушнымъ явленіямъ. Они отличались отъ аруспиціевъ (aruspex), имѣвшихъ этрурское происхожденіе, тѣмъ, что послѣдніе пророчествовали по вдохновенію, а авгуры только подводили то, что видѣли въ природѣ, подъ статьи и изреченія своихъ книгъ. Авгуры стояли несравненно выше аруспиціевъ въ общественномъ мнѣніи и являлись вслѣдъ за понтифексами во всѣхъ процессіяхъ и на религіозныхъ играхъ.

Третью коллегію составляли хранители сивиллиныхъ книгъ, называвшіеся по числу своему сначала дуумвира-

Во 1-хъ, мы видимъ, какъ легко римская первобытная теологія и религіозные обряды уступили мѣсто греческимъ миѳамъ и обрядамъ. Это указываетъ на религіозную терпимость, граничащую съ индифферентизмомъ, и, что очень замѣчательно, эту терпимость раздѣляютъ съ народомъ и жрецы. Нигдѣ не видно признаковъ сильной борьбы; религія охотно подчиняется иностранному вліянію, и народъ съ радостью принимаетъ новый болѣе яркій и чувственный культъ. Послѣ этого факта, совершившагося еще при царяхъ, намъ не должно казаться страннымъ то радушіе, съ которымъ римляне (которыхъ умственный горизонтъ расширялся вмѣстѣ съ территоріальными владѣніями) принимали иностранныхъ боговъ въ свой вѣчный городъ. Для объясненія этого радушія, должно еще припомнить, что римляне большую часть восточныхъ божествъ получили уже тогда, когда эти божества испытали на себѣ греческое вліяніе, частью тѣмъ, что они перенесены въ малоазійскую или европейскую Грецію, частью тѣмъ, что греческій элементъ проникъ въ Азію по слѣдамъ Александра Македонскаго и его преемниковъ. Римляне получили эти божества почти изъ рукъ грековъ, которыхъ они считали своими единовѣрцами, сами же римляне были плохіе догматики и потому безъ критики и безъ недовѣрія брали къ себѣ то, что встрѣчали по дорогѣ. Вліяніе грековъ можно безспорно считать первымъ доказательствомъ терпимости римлянъ и переходною порою, облегчившею Риму принятіе другихъ божествъ.

Во 2-хъ, замѣчательно въ римской іерархіи отсутствіе кастическаго духа; понтифексы, авгуры, фламины, квиндецемвиры, феціалы избирались изъ патриціевъ и плебеевъ, и каждый избранный оставался вѣренъ своимъ личнымъ интересамъ, интересамъ своего рода и сословія. Члены римской іерархіи не имѣли особой политики, сопряженной съ духовной должностью. Они не старались расширить предѣлы вліянія своего духовнаго званія; они, по мѣрѣ честолюбія каждаго, заботились о личномъ своемъ возвышеніи и считали занимаемую ими государственную или іерархическую должность только болѣе или менѣе удобной переходной ступенью. Кто скажетъ напр., что въ личностяхъ Метелла нумидійскаго или Юлія Цезаря были замѣтны слѣды жреческой политики, а между тѣмъ и тотъ, и другой были pontifices maximi? Должность главнаго понтифекса была пожизненная, стало-быть человѣкъ могъ, какъ то дѣлали папы, поставить себѣ задачею возможное возвышеніе своего сана, и между тѣмъ, что же мы видимъ? Если понтификатъ достается замѣчательной личности, онъ почти теряется въ числѣ другихъ ея должностей и со-

---

ми, потомъ децемвирами и наконецъ квиндецемвирами. Въ важныхъ случаяхъ, эти духовные чиновники по порученію сената раскрывали сивиллины книги, и по прочтеніи извѣстнаго мѣста, объявляли, что должно дѣлать, какими религіозными церемоніями можно умилостивить божество. Во время Тиверія, они вмѣстѣ съ понтифексами и авгурами давали народу великія игры. При Домиціанѣ самъ Тацитъ былъ квиндецемвиромъ и, упоминая объ этомъ, говоритъ, что дѣлаетъ это не изъ тщеславія; изъ этого можно заключить, что въ началѣ второго вѣка имперіи эта должность была еще въ почетѣ; это мнѣніе еще болѣе подтверждается тѣмъ, что квиндецемвиромъ былъ при Неронѣ Тразея Петъ, знаменитый сенаторъ и государственный человѣкъ.

Четвертая коллегія,—феціалы (fetiales) при царяхъ и въ первое время республики имѣли значительное вліяніе; они разбирали международныя отношенія, вели во имя боговъ переговоры и, не получивши удовлетворенія отъ племени, оскорбившаго римлянъ, объявляли сенату—populum hunc injustum esse—и бросали копье чрезъ границу, послѣ чего и начиналась обыкновенно война. Въ эпоху войны съ Пирромъ эпирскимъ они являются въ послѣдній разъ международными судьями. При практическомъ направленіи римскаго ума, теократическій принципъ не могъ удержаться, и феціалы потеряли политическое значеніе. Въ эпоху Тиверія они упоминаются, но рѣже другихъ коллегій, и притомъ съ второстепеннымъ почетомъ, такъ что Тиверій, опираясь на прежніе документы, отказалъ имъ въ предсѣдательствѣ на великихъ играхъ на ряду съ понтифексами, авгурами и квиндецемвирами.

Кромѣ этихъ коллегій существовали еще жрецы, которыхъ исключительною обязанностью было отправлять богослуженіе и приносить жертвы. Во главѣ этихъ жрецовъ стоитъ rex sacrificulus, занявшій въ богослужебной іерархіи мѣсто царя послѣ изгнанія Тарквинія и имѣвшій чисто обрядную должность безъ всякаго вліянія. За нимъ слѣдуютъ фламины и весталки, служительницы Весты, богини огня. Это были дѣвы, выбираемыя изъ патриціанскихъ семействъ, обязанныя хранить дѣвство, поддерживать священный огонь на жертвенникѣ Весты и совершать много другихъ мелкихъ обрядовъ богослуженія; въ весталки назначались обыкновенно дѣвочки 6—10 лѣтъ; 10 лѣтъ онѣ учились, десять лѣтъ отправляли служеніе и 10 лѣтъ учили другихъ. Всего было шесть весталокъ, и старшая изъ нихъ была непосредственно подчинена главному понтифексу, который за нерадѣніе могъ ихъ подвергать тѣлесному наказанію, а за нарушеніе дѣвственности осуждать на голодную смерть въ подземномъ сводѣ подъ porta collina.—Въ періодъ имперіи, правительство старалось всѣми силами поддерживать уваженіе къ весталкамъ. Когда, при Августѣ, вельможи старались избавить своихъ дочерей отъ служенія, Августъ сказалъ, что онъ самъ предложилъ бы въ весталки одну изъ своихъ внучекъ, еслибъ позволяли ихъ лѣта. Онъ отвелъ весталкамъ мѣсто въ театрѣ отдѣльно отъ прочихъ, противъ преторскаго трибунала, а Тиверій постановилъ, чтобы *Augusta* (императрица), бывая въ театрѣ, садилась между весталками. Завѣщаніе Августа было внесено въ сенатъ весталками. Въ завѣщаніи Тиверія была статья въ пользу весталокъ, которымъ онъ оставилъ значительную денежную сумму. Домиціанъ, желая возстановить упадшую нравственность весталокъ, употребилъ крутыя мѣры, свойственныя его характеру. Когда virgo maxima, Корнелія, была уличена въ нарушеніи обѣта, онъ велѣлъ ее закопать живую въ землю, а соблазнителей ея засѣчь до-смерти розгами въ народномъ собраніи. Послѣдующій ходъ событій доказалъ, насколько было возможно оживить внѣшними мѣрами понятія и наказанія обветшавшій и умирающій принципъ. Остается еще упомянуть изъ римской іерархіи Саліевъ и Арвальскихъ братьевъ (fratres Arvales). Первые были жрецы Марса, вторые составляли коллегію изъ 12 человѣкъ и занимались процессіями и жертвоприношеніями. Оба разряда жрецовъ существовали долго, но не имѣли никакого значенія. Вліяніе ихъ на массу народа было такъ-же ничтожно, какъ и ихъ занятія.

ставляетъ что-то въ родѣ почетнаго титула. Если онъ достается личности посредственной, напр., тріумвиру Лепиду, то онъ не выводитъ этой личности изъ ея посредственности. Ни одинъ pontifex maximus не былъ знаменитъ, какъ pontifex maximus. Почему? Потому вѣроятно, что положительный и практическій умъ римлянина не допускалъ ничего теократическаго. Появленіе Магомета въ римскомъ мірѣ было бы совершенно невозможно; въ Римѣ религія поддерживала государство, но никогда не являлась могучимъ двигателемъ его, не производила войнъ и не была причиною политическихъ переворотовъ.

Городъ народа фанатическаго не могъ бы сдѣлаться Пантеономъ всѣхъ религій; Риму было суждено быть тѣмъ безразличнымъ полемъ, тѣмъ terrain neutre, на которомъ всѣ вѣрованія язычества перемѣшались, потеряли свою физіономію и вмѣстѣ съ тѣмъ лишились той силы, того вліянія надъ умами, которое доставляла имъ опредѣленная историческая почва и суровая, исключительная замкнутость. Для этой задачи, которую, по словамъ Риттера, выполнила древняя философія временъ имперіи, нужно было мѣсто, и этимъ мѣстомъ сдѣлался Римъ, потому что таковъ былъ характеръ его народа. Эти черты характера, развившіяся вполнѣ въ эпоху всемірнаго господства, лежали въ зародышѣ еще до того времени, когда на берегу Тибра возникло первоначальное бѣдное поселеніе трибы Romnes. Эти зародыши видны и въ теологіи, и въ построеніи іерархіи, и въ той легкости, съ какой проникли въ Италію творенія греческаго духа, Олимпійцы, статуи и ихъ роскошное богослуженіе. Законъ, приводимый Цицерономъ въ сочиненіи его de legibus Z. II, c. 8. («Да не имѣетъ никто отдѣльныхъ или новыхъ боговъ; да не обожаютъ частнымъ образомъ пришлыхъ боговъ, не признанныхъ публично») не противорѣчитъ высказанному мною мнѣнію; онъ доказываетъ только, что римское правительство имѣло консервативный характеръ и понимало политическую важность религіознаго единства. Чтобы видѣть яснѣе, до какой степени простиралась религіозная терпимость римлянъ, я перейду въ эпоху паденія республики и основанія имперіи.

II.

Основатели римской изящной словесности, Ливій Андроникъ, Невій и Энній, плѣненные образцами греческаго искусства, перенесли въ римскій міръ и популяризировали въ немъ греческіе миѳы и героическій эпосъ. Вмѣстѣ съ греческими вѣрованіями проникло въ римскій міръ и критическое отношеніе грековъ къ миѳу и къ преданію. Энній перевелъ на латинскій языкъ сочиненія Эвхемера, доказывавшаго, что всѣ боги язычества были людьми, и что ихъ обоготворила благодарная, но слишкомъ страстная преданность простодушныхъ современниковъ. Энній былъ любимый поэтъ; все, что выходило изъ-подъ его пера, имѣло успѣхъ; стало-быть, онъ зналъ своихъ современниковъ и не боялся уронить себя въ ихъ глазахъ сочувствіемъ къ смѣлымъ по тогдашнему времени идеямъ греческаго критика. Отъ своего лица онъ говорилъ: «Что есть порода небесныхъ боговъ, это я сказалъ и всегда буду повторять; но я думаю, что о жизни людей они ни мало не заботятся». Публика апплодировала, когда эти слова произносились со сцены. Еслибы въ то время были крѣпки вѣрованія, то народъ почувствовалъ бы себя оскорбленнымъ этими словами, и они возбудили бы гоненіе. Еслибы поворотъ къ скептицизму былъ уже совершенъ, Энній не сталъ бы высказывать своей идеи серьезно, какъ новое и важное убѣжденіе, а публика осталась бы равнодушна къ тому, что уже перестало быть для нея новостью. Мнѣ кажется, что слова Эннія и встрѣтившее ихъ сочувствіе доказываютъ, что въ римскомъ обществѣ господствовало въ то время броженіе; религіозныя вѣрованія боролись съ развивавшеюся критикою и слабѣли, но еще отстаивали свое существованіе. Не даромъ говорилъ дѣдъ Цицерона, человѣкъ стараго закала, патріотъ и приверженецъ старинной религіи: «у римлянина испорченность возрастаетъ отъ знакомства съ греческими писателями». Патріоты понимали, откуда грозитъ опасность, и не ошибались въ своихъ опасеніяхъ.

Ослабленіе туземной религіи, частью замѣненіемъ италійскихъ представленій греческими, частью разрушительнымъ вліяніемъ греческой критики, породило два явленія, которыхъ развитіе идетъ параллельно, несмотря на наружное различіе внѣшнихъ признаковъ. Ослабленіе авторитета, на который мы привыкли опираться, можетъ повести къ двумъ послѣдствіямъ: или мы возведемъ нашъ опытъ въ общее правило и потеряемъ довѣріе къ авторитету вообще, или, если въ насъ сильна потребность къ чему-нибудь прислониться, мы будемъ искать внѣ себя новой опоры, рискуя снова разочароваться и не рѣшаясь дать полную волю анализу ума. Вотъ, что произошло въ древнемъ мірѣ, при ослабленіи народной религіи: кто могъ вынести тяжелыя послѣдствія скептицизма, тотъ отвергалъ все, что не могло быть осязательно доказано; кто былъ не въ силахъ выдержать эту борьбу, тотъ старался замѣнить искренность и глубину убѣжденія количествомъ обожаемыхъ предметовъ и соблюдаемыхъ формъ. Невѣріе и суевѣріе развивались одновременно; въ то время, когда философы дошли до полнаго раціонализма, народъ дошелъ до совершеннаго фетишизма; нужно было много внѣшнихъ обрядовъ, молитвъ, жертвоприношеній и идоловъ, чтобы заглушить въ испуганной душѣ неразвитой личности страшное сознаніе закрадывавшагося сомнѣнія. Толпа стра-

шилась походить на атеистовъ-философовъ, и чѣмъ злѣе смѣялся эпикурсецъ Лукіанъ, тѣмъ бо́льшія массы людей стекались на поклоненіе къ пророку язычества, Александру Авонотихиту. Толпа и мыслители озлобили другъ друга и не могли ни на чемъ сойтись; тѣ и другіе находились въ трагическомъ положеніи; вѣрующіе бросались изъ стороны въ сторону, выбивались изъ силъ и нигдѣ не находили себѣ удовлетворенія. Философы-скептики стояли одиноко, громко выражали свое презрѣніе къ суевѣрной массѣ и жили однимъ отрицаніемъ, не видя ничего за предѣлами гроба и не находя возможности приложить свои силы къ плодотворной дѣятельности. Подъ ними не было почвы; сочувствіе толпы было не съ ними, а въ такой жизни ожесточенной борьбы и ѣдкаго смѣха трудно найти себѣ отраду. Были конечно и переходные типы, старавшіеся держаться середины и часто соединявшіе въ себѣ только ошибки обѣихъ крайностей. Были мыслители-мистики и полумистики, подобные Плутарху, Апулею и Максиму Тирскому; были и въ толпѣ личности, отвергавшія всякое вѣрованіе для житейскаго комфорта и для спокойнаго наслажденія минутою; это были люди безъ убѣжденія, свиньи изъ стада Эпикура, намѣренно забивавшіе въ себѣ всякую мысль и жившіе только для сластолюбія. Это былъ худшій и самый неискренній типъ, а между тѣмъ онъ составлялъ огромное большинство. Были ловкіе шарлатаны, не вѣрившіе ни во что и старавшіеся пользоваться довѣрчивымъ суевѣріемъ народа. Были наконецъ восторженные мечтатели, поэты-мыслители, вѣрившіе въ сверхчувственный міръ, въ свою личность, въ силы окружающихъ людей и въ возможность обновленія. Всѣ эти разнородные типы составляли непрерывную цѣпь градацій, лѣстницу, которой крайнія ступени занимали съ одной стороны мыслители-раціоналисты, съ другой суевѣрная масса народа. Въ этой массѣ было много жизненныхъ силъ. Въ послѣдніе вѣка язычества эти силы выражались именно въ искренности суевѣрія, въ желаніи отдаться какой-нибудь высшей силѣ слѣпо и беззавѣтно. Отъ этого энтузіазма страдаетъ порою личность самого энтузіаста; но чувство это, несмотря на тѣ крайности, къ которымъ оно порою приводитъ, необходимо для исторіи, какъ двигатель. Обозначивъ такимъ образомъ то обстоятельство, что невѣріе и суевѣріе росли и развивались параллельно, я дамъ себѣ право для большей ясности прослѣдить отдѣльно развитіе того и другого, т. е. постараюсь представить сначала міросозерцаніе народной массы, а потомъ перейду къ характеристикѣ философіи. Поэты занимаютъ средину между мыслителями и массою; они популяризировали идеи философовъ и упрощали ихъ; выигрывая въ удобопонятности, эти идеи часто терялись въ глубинѣ и искажались подъ вліяніемъ поэтической обработки.

Ш.

Матеріалы для характеристики народныхъ вѣрованій я буду брать изъ отзывовъ писателей о массѣ, изъ историческихъ извѣстій о жизни общества и отдѣльныхъ личностей, наконецъ изъ тѣхъ мнѣній и разсужденій писателей и мыслителей, въ которыхъ говоритъ эпоха и народность, а не самостоятельная критизирующая личность. Важнымъ пособіемъ будутъ также извѣстія географовъ и путешественниковъ, подобныхъ Страбону и Павзанію, о существовавшихъ въ ихъ время храмахъ и культахъ, о большемъ или меньшемъ процвѣтаніи оракуловъ, объ изображеніяхъ боговъ и о соединенныхъ съ ними вѣрованіяхъ и преданіяхъ. Все это такія указанія, по которымъ можно до нѣкоторой степени составить себѣ понятіе объ умственномъ уровнѣ массы. Вслѣдъ за греческими божествами потянулись постепенно въ Римъ и въ Италію божества другихъ народовъ, приходившихъ въ соприкосновеніе съ римлянами и подчинявшихся ихъ господству. Чтобы судить о силѣ и свойствѣ оказаннаго ими вліянія, чтобы представить себѣ то, какъ они должны были дѣйствовать другъ на друга при столкновеніяхъ между собою,—необходимо разсмотрѣть сущность каждаго изъ главныхъ культовъ, прихлынувшихъ къ Риму вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ. Начнемъ съ Египта.

Египтяне отличаются отъ грековъ и римлянъ присутствіемъ пылкаго и стройнаго религіознаго чувства. Теряясь въ самой отдаленной древности своимъ началомъ, религія египтянъ сохранилась до окончательнаго паденія язычества почти въ полной чистотѣ принципа; въ ней до самаго конца ея сохранилось такъ много жизненной силы, что она подѣйствовала на Римъ своею пропагандой, и что фанатизмъ народа часто бралъ верхъ надъ осторожностью и даже надъ страхомъ римскаго имени. Во время Плутарха произошла кровопролитная религіозная война между двумя египетскими городами, обожавшими двухъ различныхъ животныхъ. Подобную же войну, отличавшуюся особенной жестокостью и происшедшую между двумя другими городами, описываетъ Ювеналъ. Если сблизить эти два факта съ тою ролью, которую играла Ѳиваида въ исторіи первыхъ христіанскихъ отшельниковъ, природныхъ египтянъ, то будетъ понятно, что не сущность египетской религіи обусловливала собою это пламенное религіозное чувство, а самый характеръ народа, проникнутый мрачной и сдержанной страстностью. Стремленіе къ безконечному, къ мистически-неопредѣленному положило свою печать на египетскую теологію. Тамъ, гдѣ грекъ творитъ образы, тамъ египтянинъ придумываетъ символы; чѣмъ свѣтлѣе, опредѣленнѣе и ярче образъ божества, тѣмъ болѣе онъ удовлетворяетъ

грека; чѣмъ туманнѣе, загадочнѣе и рѣзче символъ, тѣмъ болѣе онъ возбуждаетъ благоговѣніе египтянина. Оттого происходитъ пластичный антропоморфизмъ грека и уродливый зооморфизмъ египтянина. Первый привлекалъ къ себѣ каждаго, въ комъ было эстетическое чувство, ласкалъ взоры, смягчалъ душу, но не распалялъ воображенія и не вдохновлялъ вѣрующаго дикой энергіей фанатизма. Второй отталкивалъ отъ себя иностранцевъ, вселялъ въ нихъ ужасъ и отвращеніе или возбуждалъ ихъ смѣхъ; но часто фантастическая обстановка, таинственность, заставлявшая искать за символомъ какого-то высшаго смысла, какого-то божественнаго откровенія, строгость культа, самая странность и рѣзкость обрядовъ, все это вмѣстѣ поражало нервы новоприбывшаго, сбивало его неустановившуюся критику и превращало насмѣшливаго скептика сначала въ изумленнаго и пассивнаго адепта, а потомъ и въ ревностнаго прозелита и пылкаго фанатика.

Система египетскихъ боговъ чрезвычайно сбивчива; имена ихъ сливаются между собою, аттрибуты мѣшаются, генеалогіи путаются; одно и то же лицо является мужемъ и женою, отцомъ и сыномъ, производитъ самого себя на свѣтъ и совокупляется съ своимъ произведеніемъ. Причины этой запутанности лежатъ отчасти въ символистикѣ, отчасти въ исторіи множества отдѣльныхъ, мѣстныхъ культовъ, изъ соединенія которыхъ вышла общенародная египетская религія. Разбирать всю эту систему боговъ незачѣмъ. Важенъ общій колоритъ и кромѣ того три личности: Изида, Озирисъ и Сараписъ, которыхъ культъ былъ особенно силенъ въ Римѣ. Судьба Изиды замѣчательна тѣмъ, что рисуетъ собою отношенія египетскаго мышленія къ греческому. Египтяне воплотили въ Изидѣ женственную, пассивную матерію и противопоставили ее активному, оплодотворяющему, мужскому принципу, Озирису. Личность Изиды не опредѣлена больше ничѣмъ. Египтяне не дали ей никакого частнаго значенія; но, стремясь къ символу, стараясь выразить идею внѣшнимъ знакомъ, придали ея изображенію нѣсколько аттрибутовъ, которыхъ значеніе такъ темно и толкованіе такъ произвольно, что непосвященный въ ихъ тайны не могъ добраться до ихъ смысла. Греки не могли понять безцвѣтную общность Изиды: стремясь къ индивидуальной опредѣленности, они стали отожествлять Изиду съ тѣми изъ своихъ богинь, на которыхъ она, по ихъ мнѣнію, походила. Матеріалы для сравненія они брали въ аттрибутахъ, во внѣшнихъ подробностяхъ миѳа, въ наружныхъ частностяхъ обряда. Вышло то, что Изида стала соотвѣтствовать Аѳинѣ, Деметрѣ, Персефонѣ, Тефисѣ, Селенѣ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ она не соотвѣтствовала ни одной изъ этихъ личностей, но можетъ быть заключала ихъ въ себѣ, какъ общее и широкое понятіе. Во всей египетской теологіи былъ только одинъ миѳъ, Озирисъ и Изида, да и тотъ носитъ на себѣ печать греческаго вліянія. Событія этого миѳа вращаются вокругъ умерщвленія Озириса Тифономъ, и въ этихъ событіяхъ, а равно и въ мистеріяхъ, посвященныхъ ихъ воспитанію, играетъ важную роль половой органъ Озириса. Космическая философема, скрывавшаяся за этимъ рѣзкимъ символомъ, не была понятна ни иностранцамъ, ни египетскому народу, такъ что прочное вліяніе удержали только скандалезные обряды, сопровождавшіе собою совершеніе мистерій.

Сараписъ, по мановенію котораго Веспасіанъ исцѣлилъ въ Египтѣ слѣпого, появился въ ряду египетскихъ боговъ въ эпоху греческаго вліянія, въ первые годы господства Лагидовъ. Въ немъ слились со стороны египтянъ Аписъ, Озирисъ и Ра, а со стороны грековъ Діонисъ, Зевсъ и Аидъ. Этому сліянію содѣйствовало то обстоятельство, что Птоломей Сотеръ, ссылаясь на видѣнный имъ сонъ, приказалъ привезти въ Александрію колоссальную статую Синопскаго Зевса. Египетскіе жрецы поняли вѣроятно намѣреніе государя и тотчасъ узнали въ привезенной статуѣ изображеніе египетскаго бога Сараписа, которому, по ихъ словамъ, поклонялся еще Рамзесъ великій. Пользуясь покровительствомъ властей, обновленный Сараписъ широко раскинулъ по Египту свои святилища и почти совершенно вытѣснилъ Озириса даже изъ Мемфиса.

Въ египетскомъ культѣ заслуживаютъ особеннаго вниманія апоѳеозы государей; они начались за 1500 лѣтъ до Р. Х., вѣроятно даже раньше, и потомъ были возстановлены въ полной силѣ Птоломеями. Обоготвореніе превратилось въ одинъ изъ необходимыхъ обрядовъ, сопровождавшихъ собою воцареніе новаго государя. Какъ только новый Птоломей вступалъ на престолъ, такъ его статуя ставилась во храмъ; ей приносили жертвы, ее носили на всѣхъ процессіяхъ и обожали не только въ публичныхъ храмахъ, но даже въ частныхъ домахъ и фамильныхъ часовняхъ. Если сопоставить съ этимъ фактомъ апоѳеозы Лизандра, Филиппа, Александра Македонскаго и Димитрія Поліоркета въ Греціи, то не трудно будетъ замѣтить, что въ обоготвореніи римскихъ императоровъ не было ничего необыкновеннаго; они отличались отъ своихъ предшественниковъ обширностью поля дѣйствій: ихъ боготворилъ весь образованный міръ, а прежнихъ героевъ—какой-нибудь отдѣльный городъ, или, самое большее, одна страна. Апоѳеоза не была съ ихъ стороны дикимъ проявленіемъ произвола; чаще всего они, позволяя обоготворять себя, исполняли только убѣдительную просьбу цѣлыхъ городовъ и сословій. Жреческая каста въ Египтѣ замѣчательна своей замкнутостью и строгимъ іерархическимъ порядкомъ. Греческіе писатели насчитываютъ шесть катего-

рій жрецовъ, и каждая изъ нихъ имѣла строго-разграниченныя права и обязанности, большею частью чисто-формальныя. Обыкновенный образъ жизни этихъ жрецовъ былъ соединенъ со множествомъ мелочныхъ и обременительныхъ ограниченій и предписаній, которыя надо было исполнять во всей точности. Они стригли себѣ брови и волосы на всемъ тѣлѣ, не носили шерстяной одежды, не ѣли свиного мяса, бобовъ, пшеничнаго и ячменнаго хлѣба и рыбы, должны были часто поститься и совершать четыре раза въ сутки омовеніе. Имъ было запрещено многоженство, дозволенное остальнымъ египтянамъ. Большей части этихъ учрежденій отъ души сочувствуетъ Плутархъ, и съ нѣкоторыми изъ нихъ, именно съ тѣми, въ основаніи которыхъ лежитъ нравственная идея, сообразовался Аполлоній Тіанскій.

Египтяне вѣрили въ загробную жизнь. Добрые люди, по ихъ понятіямъ, жили вмѣстѣ съ богами и часто посѣщали свою гробницу и входили въ набальзамированное свое тѣло. Злые терпѣли казни, и души ихъ вселялись въ тѣла нечистыхъ животныхъ. Душа, по мнѣнію египтянъ, была тонкая матерія, недоступная нашимъ чувствамъ и принужденная послѣ смерти тѣла очищаться отъ соприкосновенія съ нимъ и вообще съ грубымъ матеріальнымъ міромъ. Это представленіе матеріи, какъ нечистаго и злого принципа, составляетъ основаніе древняго аскетизма, развившагося сначала въ Индіи и въ Египтѣ и потомъ сообщившагося Риму и Греціи черезъ Филона Александрійскаго и отчасти черезъ Аполлонія Тіанскаго.

Вотъ характеристика египетскихъ вѣрованій. Эти вѣрованія, сопровождаемыя многочисленными обрядами и мистеріями, сохранились въ полной неприкосновенности въ то время, когда Египетъ сдѣлался римской провинціей. Египетъ въ это время уже вынесъ на себѣ, кромѣ давнишняго, 500-лѣтняго ига гиксовъ, два господства, персидское и греческое, и ни огнепоклонничество, ни антропоморфизмъ не проникли въ его замкнутую религію. А между тѣмъ у грековъ были свои храмы въ самомъ Египтѣ: въ Саисѣ стоялъ храмъ Аѳины, въ Тентирѣ храмъ Афродиты, въ Гермутисѣ храмы Зевса и Аполлона.

Есть историческіе признаки, по которымъ можно навѣрное сказать, что во времена Тацита поклоненіе Изидѣ было распространено въ Римѣ. На это указываетъ, между прочими, и Светоній, который разсказываетъ слѣдующее объ императорѣ Отонѣ: Отонъ былъ небольшого роста, съ некрасивыми кривыми ногами, но при томъ опрятенъ, почти какъ женщина; онъ ощипывалъ себѣ волосы на всемъ тѣлѣ; такъ какъ у него были очень рѣдки волосы, онъ носилъ на головѣ накладку, которая была такъ хорошо придѣлана, что никто не могъ этого различить; ежедневно онъ брилъ себѣ все лицо и прикладывалъ къ нему мокрый хлѣбъ; онъ началъ дѣлать это при появленіи перваго юношескаго пуха, такъ что никогда не носилъ бороды. Часто онъ отправлялъ богослуженіе Изидѣ въ льняной греческой одеждѣ.—Частыя омовенія, на которыя указываетъ чистоплотность Отона, ощипываніе волосъ на тѣлѣ, бритье бороды и льняная одежда—всѣ эти подробности прямо указываютъ въ немъ ревностнаго служителя Изиды. Противорѣчитъ этому парикъ, который онъ носилъ на головѣ, но въ этомъ уклоненіи можно, мнѣ кажется, видѣть уступку, сдѣланную внѣшнему благообразію; такая уступка была почти необходима со стороны придворнаго, сдѣлавшагося подъ конецъ жизни императоромъ. Важно при этомъ замѣтить, что самъ Отонъ не былъ въ Африкѣ и почти всю свою жизнь провелъ въ Италіи и въ Лузитаніи, куда отправилъ его Неронъ, чтобы владѣть женою его Поппеею Сабиною. Отецъ Отона былъ проконсуломъ въ Африкѣ; стало быть, Отонъ познакомился съ культомъ Изиды или непосредственно въ самомъ Римѣ, или черезъ своего отца, бывшаго въ сосѣдствѣ съ Египтомъ. Въ томъ и другомъ случаѣ это доказываетъ силу и распространенность культа Изиды. Въ жизнеописаніи Домиціана Светоній разсказываетъ слѣдующее: «Во время Вителліевской войны онъ скрылся въ Капитолій съ дядею Сабиномъ и съ частью войска, но когда ворвались враги и загорѣлся храмъ, онъ провелъ ночь, скрывшись за оградою; на утро онъ, переодѣтый въ жреца Изиды, вмѣшался въ толпу людей, приносившихъ суевѣрныя жертвы, и, переправившись черезъ Тиберъ, къ матери своего товарища, съ однимъ спутникомъ, скрылся такъ хорошо, что его не могли найти сыщики, слѣдовавшіе за нимъ по пятамъ».—Этотъ фактъ, что въ Римѣ можно было скрыться въ костюмѣ жреца Изиды, доказываетъ наглядно, что жрецовъ этихъ было очень много, и что появленіе на улицѣ ихъ оригинальнаго наряда уже никому не бросалось въ глаза. Въ первомъ вѣкѣ до Р. Хр. правительство три раза обращало свое вниманіе на культъ Изиды и Сераписа. Въ 52 г. до Р. Х. по указу сената всѣ храмы Изиды и Сераписа были разрушены, но пришлось сдѣлать уступку общественному мнѣнію, покровительствовавшему этому культу, и поклоненіе было разрѣшено, но только внѣ городской черты. Въ 46 году, аруспиціи приказали снова разрушить храмы Изиды и Сераписа; стало быть, въ теченіе шести лѣтъ культъ снова усилился до такой степени, что снова возбудилъ опасснѣ въ приверженцахъ туземной святыни. Въ 42 году правительство уступило наконецъ требованію массы и опредѣлило построить храмъ Изидѣ и Серапису. При Тиверіи указъ сената выгналъ изъ Италіи египетскій и іудейскій культъ, но это была одна изъ многихъ безплодныхъ попытокъ возстановить чистоту государственной религіи. Толпу

народа привлекали въ храмъ Изиды, во 1-хъ, молва о чудотворныхъ исцѣленіяхъ, совершавшихся въ ея храмѣ, во 2-хъ, странность фантастическихъ обрядовъ, дававшихъ богатую пищу суевѣрію. Космическаго значенія Изиды, какъ олицетворенной матеріи, народъ не понималъ, и ему до него не было дѣла. Онъ назвалъ ее *Изидою исцѣляющею* (Isis salutaris), приписывалъ ей изобрѣтеніе лекарствъ и вѣровалъ въ то, что она является больнымъ во снѣ и подаетъ имъ спасительные совѣты. Греческіе и римскіе догматики видѣли въ ней личности почти всѣхъ своихъ богинь и потому также высоко ставили ея значеніе. Развившаяся въ первые два вѣка христіанской эры потребность сливать между собой личности божествъ нашла себѣ обширное поприще въ туманныхъ и неопредѣленныхъ фигурахъ египетскихъ боговъ. Сераписъ сосредоточилъ въ себѣ Зевса, Аполлона и Аида. Представленіе о немъ подходитъ близко къ монистическому воззрѣнію. Онъ, по словамъ Аристида, повелѣваетъ вѣтрами, измѣняетъ вкусъ морской воды, воскрешаетъ мертвыхъ, показываетъ людямъ солнечный свѣтъ, заботится о человѣчествѣ и, управляя всею его жизнью, раздаетъ людямъ мудрость, богатства и всѣ мірскія блага. Народъ не заботился объ обширности власти Сераписа и также чтилъ его преимущественно за исцѣленія. Жрецы пользовались своими медицинскими свѣдѣніями и лечили приходящихъ, объявляя имъ, что богъ открываетъ имъ врачебныя средства. Суевѣріе тогдашнихъ римлянъ было очень сильно; они довѣрялись слѣпо волѣ боговъ, которыхъ выбирали себѣ въ покровители, и, не разсуждая и не задумываясь, слѣдовали наставленіямъ жрецовъ, черезъ которыхъ они узнавали эту волю. Римская матрона Паулина, замѣчательная своею красотою и горячо любившая своего мужа, при Тиверіи сдѣлалась жертвою своей довѣрчивости. Римскій всадникъ Децій Мундъ былъ влюбленъ въ нее и напрасно добивался обладанія ею. Онъ узналъ, что Паулина ревностно поклоняется Изидѣ и очень уважаетъ ея жрецовъ. При помощи рабыни эти жрецы были подкуплены и объявили Паулинѣ, что богъ Анубисъ назначилъ ей свиданіе въ храмѣ Изиды. Паулина явилась въ назначенный часъ, и Децій Мундъ, занявши мѣсто Анубиса, достигъ своей цѣли. Дѣло тѣмъ бы и кончилось, потому что матрона не подозрѣвала обмана, но Децій Мундъ счелъ нужнымъ похвастаться своей побѣдой самой Паулинѣ. Оскорбленная, какъ женщина, обманутая въ своей простодушной вѣрѣ, Паулина въ пылу негодованія разсказала мужу всю интригу. Мужъ пожаловался императору, и Тиверій выгналъ Мунда изъ Рима, распялъ жрецовъ и разорилъ храмъ Изиды. Это романическое приключеніе очень характеристично. Все поведеніе Паулины выставляетъ въ яркомъ свѣтѣ благородство ея характера. Измѣнивъ невольно своему мужу, она прямо открываетъ ему истину, и благородное негодованіе побѣждаетъ въ ней ложный стыдъ. Если въ такой женщинѣ чувство собственнаго достоинства и любви къ мужу было побѣждено совѣтомъ жреца и приказаніемъ бога Анубиса, то, стало быть, вѣра была очень сильна. Когда лучшіе люди своего времени душатъ въ себѣ нравственное чувство во имя буквы жреческаго приговора, то, мнѣ кажется, это значитъ, что суевѣріе дошло до тѣхъ предѣловъ, какихъ оно достигало въ средневѣковыхъ убійцахъ и адептахъ первыхъ іезуитовъ. Безнравственное вліяніе культа Изиды сознавали даже поэты, вовсе не отличающіеся строгимъ пуризмомъ. «Изида сама любовница Зевса, говоритъ Овидій, и дѣлаетъ другихъ любовницами».

IV.

Кромѣ египетскаго культа, въ Римѣ было сильно служеніе фригійскому божеству, Цибелѣ, извѣстной подъ именемъ матери боговъ. Догматическая часть этихъ малоазійскихъ религій мало извѣстна. Мы знаемъ изъ греческихъ писателей о дикомъ, изступленномъ служеніи, въ которомъ жрецы рѣзали себя ножами и собственноручно оскопляли себя, послѣ чего носили въ процессіи кровавый отрѣзанный членъ.—Хотя трудно предположить заимствованіе этого обряда изъ фаллическихъ мистерій Озириса, однако правдоподобно, что въ томъ и другомъ случаѣ половой органъ является символомъ мужского оплодотворяющаго принципа. Всѣ языческія религіи вышли изъ олицетворенія силъ природы, а воззрѣнія первобытнаго человѣка на природу должны были у различныхъ племенъ представлять между собою сильное сходство. Мѣстныя климатическія условія имѣли вліяніе не столько на философскую, сколько на поэтическую часть религіи; догматъ о вѣчности матеріи и объ отсутствіи творца вселенной проходитъ почти черезъ всѣ религіи индоевропейскихъ народовъ, и между тѣмъ насъ поражаетъ разнообразіе этихъ религій, потому что фантазія каждаго народа облекла по-своему общій отвлеченный догматъ. Страстный и подвижный характеръ азіатскихъ народовъ породилъ тѣ эксцентричности и дикое изступленіе, до котораго, при всемъ сходствѣ догмата, никогда не могъ бы дойти мрачный и сосредоточенный въ себѣ египтянинъ. Отличительный характеръ малоазійскаго богослуженія заключается или въ страстномъ умерщвленіи плоти, или въ такомъ же страстномъ и необузданномъ боготвореніи чувственности. Вѣроятно, то и другое происходитъ отъ различно-воспринятаго олицетворенія и обожанія стихійнаго міра Мивъ, лежащій въ основаніи этихъ культовъ, распространился посредствомъ мистерій по всѣмъ островамъ архипелага, проникъ въ Грецію и во Ѳракію, подчиняясь разнымъ

видоизмѣненіямъ, зависящимъ отъ характера воспринимавшихъ его племенъ. Греческія вакханаліи, въ которыхъ давалось мѣсто самому бѣшеному разгулу, никогда не доводили участвовавшихъ до тѣхъ безобразныхъ порывовъ религіознаго бѣшенства, до которыхъ доходили малоазійскіе *галлы* или оскопленные жрецы великой фригійской богини, а между тѣмъ вакханаліи и все поклоненіе Діониса тѣсно связаны съ фригійскимъ богослуженіемъ и представляютъ несомнѣнные слѣды восточнаго происхожденія.—Главныя черты этого восточнаго миѳа заключаются въ томъ, что рядомъ съ великою богинею, матерью всего сущаго, стоитъ богъ, связанный съ нею какъ любовникъ, супругъ или сынъ, и подверженный страданію и смерти, за которыми слѣдуетъ радостное оживленіе. Къ этому миѳу подало вѣроятно поводъ наблюденіе надъ явленіями природы, въ которыхъ смерть и жизнь постоянно смѣняютъ другъ друга и даже выходятъ другъ изъ друга. Имена этихъ двухъ божествъ измѣняются въ различныхъ мѣстностяхъ. Два наиболѣе распространенныя видоизмѣненія этого культа составляютъ: 1) обожаніе Цибелы (матери боговъ) и Атиса, 2) поклоненіе Астартѣ (азіатской Афродитѣ) и Адонису. Въ первомъ преобладаетъ элементъ дикой грусти о смерти Атиса, во второмъ элементъ изступленной радости по случаю оживленія Адониса. На этомъ основаніи въ первомъ богослуженіи господствуетъ мрачный и кровавый характеръ, выражающійся въ насильственномъ умерщвленіи плоти; во второмъ проявляется, напротивъ того, дикій разгулъ чувственности, къ которому былъ такъ способенъ огненный темпераментъ азіатцевъ. Замѣчательно, что эти два разнородные по внѣшнимъ проявленіямъ культа сознавали свое исконное родство. Есть одна древняя духовная пѣсня, которую приводитъ Ипполитъ, сближающая Атиса съ ассирійскимъ Адонисомъ, съ Озирисомъ египтянъ и съ греческимъ Діонисомъ - Загревсомъ. Культъ Астарты былъ распространенъ въ финикійскомъ поморьѣ; то же обожаніе женскаго производительнаго начала подъ именемъ Милитты господствовало въ Вавилоніи. Богослуженіе той и другой богини отличалось любострастнымъ характеромъ. Въ храмахъ Астарты и Милитты и въ прилежащихъ къ нимъ рощахъ сидѣли туземныя женщины, пришедшія исполнить религіозный обрядъ, т. е. отдаться кому-нибудь изъ иностранцевъ, посѣщающихъ богослуженіе богини. Многія дѣвушки и женщины посвящали себя служенію Астарты, дѣлались жрицами и въ этомъ званіи почти ежедневно отдавались посѣтителямъ. По старинному обычаю, дѣвушки, выходя замужъ, должны были одинъ разъ принести себя въ жертву богинѣ; впослѣдствіи, взамѣнъ этого обычая, онѣ должны были въ честь богини обрѣзывать волосы и отдавать ихъ въ храмъ. Измѣненные и смягченные эллинизмомъ, эти дикіе обряды въ европейской Греціи породили вакханаліи, въ которыхъ, какъ я уже замѣтилъ выше, не было ни фанатическаго умерщвленія мужского плодородія, ни систематически - устроеннаго разврата. Эти греческія празднества отличались только веселымъ разгуломъ; если этотъ разгулъ подавалъ часто поводъ къ разврату, къ дракамъ и даже къ убійствамъ, то это было естественнымъ слѣдствіемъ пьянства и не ставилось въ особенную заслугу участвовавшимъ. Вакханаліи перешли въ Италію въ 186 г. до Р. Х. и вскорѣ приняли тамъ мрачный, таинственный и преступный характеръ. Развратъ, человѣческія жертвы и приготовленіе ядовъ составили занятія посвященныхъ; собранія ихъ происходили по ночамъ; въ нихъ участвовало до 7,000 человѣкъ, слѣдовательно, они не могли укрыться отъ правительства и скоро возбудили его опасенія. Здѣсь, какъ и въ большей части случаевъ, сенатъ заботился преимущественно не о чистотѣ вѣрованій, а о нравственности народа, и вакханаліи были запрещены; но уже зло успѣло пустить такіе глубокіе корни, что въ одинъ изъ послѣдующихъ годовъ преторъ осудилъ на казнь болѣе 3,000 человѣкъ, уличенныхъ въ отравленіи и въ приготовленіи яда.—Поклоненіе матери боговъ началось еще до имперіи, во время второй пунической войны, когда римляне по приказанію дельфійскаго оракула перевезли богиню изъ Пессинунта въ Римъ. При переправѣ богини черезъ Тибръ произошло чудо, о которомъ упоминаетъ Свѣтоній и которое вѣроятно сразу хорошо отрекомендовало богиню новымъ ея почитателямъ. Корабль, на которомъ везли святыню, сѣлъ на мель въ Тибрѣ, и вся процессія остановилась. Къ берегу подошла тогда римская дама Клавдія, принадлежавшая къ тому роду, изъ котораго потомъ произошелъ Тиверій и громко произнесла молитву, прося богиню слѣдовать за нею, если она всегда сохраняла женскую стыдливость. Корабль пришелъ въ движеніе, богиню приняли съ восторгомъ, и въ честь ея были установлены особыя игры, Megalesia, начинавшіяся 4-го апрѣля и продолжавшіяся семь дней. На этихъ играхъ представляли весь миѳъ Цибелы и Атиса; оскопленіе Атиса, его смерть и возвращеніе къ жизни составляли главный интересъ дѣйствія. По улицамъ города ходили оскопленные *галлы*, неся передъ собою окровавленный ножъ и собирая подаяніе; къ ихъ процессіи присоединялись даже, по свидѣтельству Лукана, квиндецимвиры, хранители сивиллиныхъ книгъ. Нѣтъ данныхъ, позволяющихъ заключить, чтобъ примѣръ самооскопленія находилъ въ природныхъ римлянахъ усердныхъ подражателей; кажется, *галлы* постоянно были природные малоазійцы; иначе писатели, обращавшіе свое вниманіе на иностранные культы, не преминули бы отмѣтить этой черты ихъ вліянія. Но они говорятъ только о развратѣ, совершавшемся въ храмахъ Цибелы и допускавшемся въ угодность богинѣ, и о гру-

бомъ шарлатанствѣ *галловъ*, не умѣвшихъ даже прилично драпировать свое умственное и нравственное ничтожество. Осмѣивая въ своей VI сатирѣ суевѣріе знатныхъ римлянокъ, Ювеналъ упоминаетъ и о галлахъ: «Вотъ, говоритъ онъ, входитъ къ ней толпа оскопленныхъ жрецовъ фригійской матери боговъ, и предводитель ихъ громогласно возвѣщаетъ грозное приближеніе суроваго сентября, приводящаго за собою болѣзни. Чтобы оградить себя отъ зла, нужно очиститься, пожертвовавши сто яицъ; сверхъ того нужно отдать ему столько платья, чтобы на цѣлый годъ могли быть отвращены всѣ бѣдствія».

V.

Посмотримъ теперь на греческій міръ, на происхожденіе и идею олимпійскихъ боговъ, и на особенности эллинизма въ сравненіи съ элементами римскимъ, египетскимъ и азіатскимъ. Олимпійскіе боги не были и не могли быть первобытными богами; ихъ существованіе обусловливается такой высокой степенью эстетическаго развитія, какая не дается сразу даже самому даровитому народу. Эти боги, созданные изъ разнородныхъ элементовъ творческой силою народной поэзіи, наполнили собою міросозерцаніе грека, воплотили въ себѣ всю идею древности, но не вытѣснили въ богослуженіи тѣхъ первобытныхъ боговъ и богинь, которые были связаны съ извѣстными мѣстностями и народностями и которые послужили матеріаломъ для образованія идеальныхъ, общегреческихъ миѳическихъ существъ. Варонъ принимаетъ три рода теологіи: теологію поэтическую,—философскую и — гражданскую. Дѣйствительно, мѣстныя греческія преданія и весь характеръ мѣстныхъ богослуженій рисуютъ намъ не тѣхъ боговъ, какихъ мы знаемъ по Гомеру, Гезіоду и трагикамъ; жрецы и поэты, расходящіеся между собою въ воззрѣніи на Олимпъ, расходятся еще рѣзче съ философами, отыскивающими физическое или историческое основаніе и значеніе миѳа, и не желающими закрывать отвлеченную истину ни преданіями сѣдой древности, ни блестящими созданіями творческой фантазіи.

Вслѣдствіе разнородныхъ историческихъ переворотовъ, вслѣдствіе смѣшенія культовъ и броженія народностей, образовался на малоазійскомъ поморьѣ и на прилежащихъ роскошныхъ островахъ народный историческій и религіозный эпосъ, какого не создавала ни одна народность, ни одна цивилизація. Что этотъ эпосъ возникалъ по кускамъ, вѣроятно въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, это можно было бы себѣ представить *a priori*, еслибы даже различныя пѣсни Иліады и Одиссеи не носили на себѣ слѣдовъ различнаго языка. Для моей цѣли важно замѣтить, что гомеровскій эпосъ представляетъ, какъ мнѣ кажется, первую и единственную въ своемъ родѣ попытку обоготворить не природу, а человѣка.

Полный антропоморфизмъ Гомера, единственный въ своемъ родѣ, тѣсно связанъ съ его вполнѣ эпическимъ характеромъ. *Только* разсказывая, не комментируя самого себя, не анализируя теченія собственныхъ мыслей, народный поэтъ не могъ отдѣлить идею отъ образа и заставить своего слушателя видѣть за его словами какой-то скрытый и высшій смыслъ; словомъ, онъ не могъ перейти изъ области чистой поэзіи въ область символистики, которая достигла своего апогея въ египетской теологіи, отъ которой не вполнѣ свободна даже поэзія Гезіода. Гомеръ имѣетъ дѣло съ лицами, съ опредѣленными фигурами; онъ знаетъ личный характеръ Зевса, Посейдона, Аѳины, Аполлона, и рисуетъ этотъ характеръ, нисколько не приведя его въ зависимость отъ космическаго значенія каждаго изъ этихъ божествъ. Стихійная природа существуетъ сама по себѣ и, можетъ быть (хотя нигдѣ у Гомера ясно не выражена эта мысль), ея силы и законы, которыхъ вліянію такъ безотчетно поддается воображеніе дикаря, дали поводъ къ созданію безличной личности, судьбы, стоящей выше Зевса и боговъ, но не превратившейся еще у Гомера въ ту непреклонную и жестокую *необходимость*, которая у трагиковъ тиранически опредѣляетъ каждый шагъ и поступокъ человѣка, и которой Геродотъ такъ-же безапелляціонно подчиняетъ личности безсмертныхъ. Отношеніе боговъ къ отдѣльнымъ стихіямъ природы состоитъ въ томъ, что эти стихіи имъ подчинены въ извѣстныхъ предѣлахъ; они ими управляютъ, но никогда и не пытаются измѣнить ихъ природу. Надъ бездушною стихіей стоитъ обыкновенно громадная по своему размѣру человѣческая фигура, у которой въ рукахъ достаточно силы, чтобы дѣйствовать моремъ, вѣтромъ или облаками такъ, какъ обыкновенный человѣкъ сталъ бы дѣйствовать палкой, копьемъ или вообще оружіемъ, т. е. въ пользу любимой личности и въ ущербъ врагу или обидчику. Эта мысль находитъ себѣ достаточное подтвержденіе въ разсказѣ объ Аяксѣ и Посейдонѣ. Воля этихъ громадныхъ личностей, ихъ наклонности и характеръ нисколько не связаны свойствами тѣхъ стихій, которыми они управляютъ. Перемѣны временъ года не имѣютъ никакого вліянія на физіономію гомеровскаго міра боговъ. Они любятъ и ненавидятъ, враждуютъ и порицаютъ, ссорятся и мирятся, какъ люди, и нельзя даже сказать, чтобы ихъ чувства и страсти были сильнѣе чувствъ и страстей тѣхъ смертныхъ эпическихъ личностей, которыя выведены вмѣстѣ съ ними. Богъ въ порывѣ гнѣва страшнѣе человѣка по тому же самому, почему силачъ въ подобную минуту страшнѣе раздосадованнаго ребенка. Онъ можетъ раздавить дерзкаго врага, не потому что въ немъ выше возмущенное чувство, а потому, что руки больше и

крѣпче. Когда Діомедъ ранитъ Ареса, тотъ падаетъ и закрываетъ собою нѣсколько десятинъ, кричитъ такъ, какъ 10,000 воиновъ, и между тѣмъ впослѣдствіи не мститъ Діомеду, и съ излеченіемъ раны забываетъ о нанесенной ему обидѣ. Если Посейдонъ мстительнѣе Ареса, что онъ доказываетъ своими поступками въ отношеніи къ Аяксу и къ Одиссею, то эта черта характера, а не родовое свойство бога. Можно сказать вообще, что въ олимпійцахъ увеличенъ только масштабъ тѣла; духъ остается не только съ тѣми же несовершенствами, какъ у обыкновеннаго человѣка, но даже его отдѣльныя свойства и способности берутся въ томъ-же размѣрѣ. Боги не только способны на жестокость, на кровавое насиліе, на вспышку дикой страсти, но даже на мелкую гадость и на разсчитанное мошенничество. Зевсъ, чтобы втянуть грековъ въ бѣду, посылаетъ Агамемнону ложное знаменіе и убѣждаетъ его вступить въ сраженіе, обѣщая побѣду. Паллада Аѳина поступаетъ еще безчестнѣе, и ей въ этомъ поступкѣ вполнѣ сочувствуетъ Гера. Богиня мудрости совѣтуетъ ликійцу Пандару нарушить перемиріе, заключенное съ греками, и вопреки данной клятвѣ пустить стрѣлу въ Менелая. Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы повредить троянамъ; Гера и Паллада придумываютъ планъ этой интриги; а Зевсъ, хранитель клятвы, къ которому потомъ обращается Агамемнонъ, прося защиты и наказанія клятвопреступниковъ, даетъ свое согласіе послѣ нѣкотораго раздумья. Раздумье возбуждается въ немъ не отвращеніемъ къ низкому поступку, а расположеніемъ къ троянамъ, которыхъ онъ однако, какъ хорошій семьянинъ, приноситъ въ жертву прихоти супруги. Когда Главкъ мѣняется оружіемъ съ Діомидомъ, Зевсъ обманываетъ Главка, такъ что тотъ за мѣдное вооруженіе отдаетъ богатое золотое. И эти-же самые боги являются въ такомъ величіи силы и пластичной красоты, что, вдохновленный Гомеромъ, Фидій создалъ свою великую статую Зевса олимпійскаго.

И тутъ нѣтъ никакого противорѣчія. Дѣло въ томъ, что грекъ боготворилъ существующій порядокъ вещей и въ существующемъ порядкѣ вещей то, что казалось ему всего изящнѣе, человѣка. Но понятіе *человѣкъ*, изящный образъ его не складывался изъ разныхъ великихъ качествъ и совершенствъ; онъ создавался изъ тѣхъ матеріаловъ, какіе были въ наличности, и потому всегда былъ полнымъ, вѣрнымъ и живымъ отраженіемъ эпохи. Если мыслитель, подобный Аристотелю, дѣлалъ своего идеальнаго гражданина на чисто-греческій образецъ, то тѣмъ болѣе Гомеръ, въ которомъ воплощается отсутствіе рефлексіи, долженъ представить и подъ Троей, и на Олимпѣ только такія личности, какія вырабатывалъ героически-патріархальный бытъ. Боготворя дѣйствительность, не выходя за ея предѣлы, гомеровскій эпосъ не дѣлаетъ никакого выбора между дурными и хорошими сторонами дѣйствительности; все, что есть, и все, какъ есть, переносится на небо и на Олимпъ, облекается въ тѣла, цвѣтущія силою, здоровьемъ и вѣчно юною красотою, и живетъ припѣваючи, не задавая себѣ никакихъ нравственныхъ задачъ, не отрѣшаясь отъ мелкихъ волненій и внося всюду живость страсти, энергію и полноту жизненной силы, свойственную молодому человѣку и молодому народу. Это любовное, страстное и спокойное въ своей страстности сліяніе съ неодушевленною и одушевленною природою, эта любовь къ жизни и охота пожить и насладиться проникаетъ собою міросозерцаніе гомеровскаго грека. Смерть есть страшное зло въ глазахъ эллина; за могилой онъ признаетъ какое-то существованіе, но оно ему противно; ему нужны тѣло, веселый пиръ, полныя чаши вина, красивая женщина, пѣсни уличнаго пѣвца, а порою шумъ и тревога лагерной жизни, отвага битвы, побѣдные клики храбрыхъ товарищей и богатая добыча; безъ этого нѣтъ жизни, а безъ жизни нѣтъ ему и блаженства. Въ XI-й книгѣ «Одиссеи» тѣнь Ахилла жалуется Одиссею на неудовлетворительность загробнаго существованія: «лучше, говоритъ онъ, быть здѣсь на землѣ работникомъ у послѣдняго бѣдняка, нежели тамъ—царемъ надъ всѣми тѣнями». На насъ обаятельно дѣйствуетъ Гомеръ не глубиною, не вѣрностью міросозерцанія, а удивительной свѣжестью и искренностью. Насъ радуетъ въ юномъ народѣ эта кипучая полнота жизни, эта роскошь силы, какъ радуетъ въ здоровомъ ребенкѣ веселость и рѣзвость. Стоитъ сравнить впечатлѣніе, производимое чтеніемъ «Иліады», съ тѣмъ, которое производитъ «Энеида», чтобы убѣдиться въ безконечномъ различіи, заключающемся между природою и самымъ искуснымъ подражаніемъ.

Насъ возмущаетъ то, что Энеи обманулъ Дидону и что Виргилій его защищаетъ и оправдываетъ, потому что мы видимъ въ поэтѣ развитого и образованнаго человѣка и требуемъ отъ него большей сознательности, строгости и чистоты убѣжденій. У Гомера на каждомъ шагу плутуютъ и боги, и люди, и ни одинъ благоразумный человѣкъ не будетъ на нихъ за то въ претензіи. Они дѣлаютъ это такъ простодушно, съ такимъ наивнымъ и твердымъ убѣжденіемъ въ собственной правотѣ, что ихъ поступки нельзя находить безнравственными. Афродита разрушаетъ семейное счастье Менелая, сводитъ между собою любовниковъ, въ чемъ упрекаетъ ее сама Елена, и между тѣмъ вездѣ сохраняетъ во всемъ эпосѣ всю женственную прелесть слабаго, прекраснаго, нѣжнаго и любящаго существа.—При своемъ свѣтломъ, любовномъ взглядѣ на жизнь, грекъ не могъ себѣ составить отдѣльнаго понятія о злѣ; у него нѣтъ существа, соотвѣтствующаго египетскому Тифону, персидскому Ариману или еврейскому Сатанѣ. Не видя нигдѣ въ природѣ абсолютнаго зла, грекъ не создалъ себѣ

этого понятія и въ отвлеченности. Этому содѣйствовало, можетъ быть, и географическое положеніе Греціи: не было ни мороза, ни губительнаго зноя; ни безбрежное море, ни обширная песчаная пустыня не могли представить живому воображенію человѣка, живущаго одною жизнью съ природою, воплощенія враждебнаго начала смерти и разрушенія. Эта же причина содѣйствовала, можетъ быть, освобожденію грека отъ обожанія природы. Понятно страстное благоговѣніе скандинава передъ Бальдуромъ: онъ видитъ въ немъ солнце, а солнце грѣетъ его, свѣтитъ въ его темную хижину, вызываетъ растительность изъ почвы и сгоняетъ съ нея снѣжные сугробы. Все это почти въ диковину жителю далекаго сѣвера; онъ дорожитъ какъ днями своего короткаго лѣта, такъ и той видимой причиной, отъ которой происходитъ свѣтъ и теплота, жизнь и растительность. На томъ-же самомъ побужденіи основано поклоненіе египтянъ рѣкѣ Нилу, которую ставили наравнѣ съ *Ра*, и которой приносили жертвы до временъ Ѳеодосія. Ничего подобнаго не могло быть въ Греціи. Теплоты и сырости было довольно, земля была плодородна, растительность свѣжа и сильна, всѣ силы природы дѣйствовали умѣренно и гармонично, такъ что ни одна изъ нихъ не явилась исключительнымъ благодѣтелемъ страны; притомъ, для того чтобы воспользоваться благопріятнымъ положеніемъ и плодородіемъ почвы, человѣку необходимо было трудиться; собственный трудъ явился для него такимъ образомъ главнымъ двигателемъ и послѣднею причиною благосостоянія, такъ что внѣшняя природа была только обстановкою, полемъ дѣйствія, а героемъ выступала человѣческая личность. Она преодолѣвала препятствія, увеличивала удобства жизни, истребляла все вредное, чудовищное и неизящное. Геркулесъ, Тезей, Кадмъ, Язонъ, Кекропсъ являются такими личностями въ греческомъ миѳическомъ эпосѣ. Силы природы, съ которыми они борятся, большею частью слѣпы, и только безсознательно, по своей инерціи, составляютъ имъ препятствія. За и противъ этихъ героевъ дѣйствуютъ боги по чисто-личнымъ и человѣческимъ, а не стихійнымъ побужденіямъ. Отъ этихъ боговъ происходило и добро, и зло, какъ оно можетъ произойти и отъ любого человѣка. Происхожденіе какой-нибудь язвы, наводненія, голода или войны никогда не считалось проявленіемъ злого начала или мрачной стороны какого-нибудь бога; это объяснялось гораздо проще. Аполлонъ разсердился на грековъ за то, что они не отдали Хризеиду по просьбѣ ея отца, Хризеса, жреца Аполлона. Аполлонъ сильный богъ, и у него въ колчанѣ множество стрѣлъ, навѣрное попадающихъ въ цѣль; онъ подходитъ къ греческому лагерю и начинаетъ стрѣлять; при каждомъ выстрѣлѣ умираетъ человѣкъ, и это продолжается девять дней; на десятый его умилостивляютъ, и повальная болѣзнь прекращается. Обыкновенный человѣкъ въ гнѣвномъ настроеніи могъ бы застрѣлить одного или двухъ,—Аполлонъ застрѣливаетъ сотни людей; вотъ и вся разница, состоящая опять-таки только во внѣшнемъ масштабѣ. Аполлонъ не превращается черезъ это въ глазахъ грековъ въ генія зла; сдѣланное имъ зло приписывается его настроенію и проходитъ вмѣстѣ съ нимъ. Смѣну добрыхъ и злыхъ движеній въ душѣ человѣка грекъ считаетъ не только естественнымъ, но и нормальнымъ явленіемъ. Это доказывается тѣмъ, что онъ переноситъ ее на свой Олимпъ.

Итакъ, антропоморфизмъ, обоготвореніе дѣйствительности и отсутствіе абсолютныхъ началъ добра и зла составляютъ главныя, тѣсно-связанныя между собою черты греческаго міросозерцанія въ гомеровскомъ эпосѣ. Эти черты имѣли огромное вліяніе на всю греческую жизнь. Боготворя дѣйствительность, грекъ оправдывалъ всякое уклоненіе отъ разумности, всякую безнравственность, если только она вошла въ обычай и принята въ обществѣ. При такомъ взглядѣ на вещи, голый развратъ и грязное преступленіе превращаются въ естественныя проявленія человѣческой личности и получаютъ свое освященіе путемъ религіи. Они существуютъ, стало быть, они имѣютъ право существовать—и вотъ являются Афродита, покровительница блудницъ, и Гермесъ, покровитель обманщиковъ и воровъ.

То, что въ молодомъ народѣ обличало только свѣтлый и веселый взглядъ на жизнь, то въ народѣ, уже развившемся, превратилось въ нравственную терпимость, граничащую съ полною безнравственностью. Грекъ героической эпохи могъ поклоняться богу, въ которомъ онъ видѣлъ отраженіе своихъ свойствъ и влеченій; грекъ временъ Перикла долженъ былъ или ничему не поклоняться, или поклоняться идеалу болѣе высокому, чтобы въ томъ и въ другомъ случаѣ относиться критически къ себѣ и къ своимъ психическимъ отправленіямъ. По двумъ указаннымъ путямъ пошли только философы; одни отвергли всякое вѣрованіе, другіе очистили для себя существующую религію; народъ смотрѣлъ довольно непріязненно на тѣхъ и на другихъ, поклонялся прежнимъ идоламъ и видѣлъ въ богахъ то, что видѣлъ въ нихъ Гомеръ.

Всѣ философы древности возстаютъ противъ вліянія поэтовъ на народную нравственность. Ксенофанъ говоритъ: «Гомеръ и Гезіодъ приложили къ богамъ все, что дурно и позорно въ человѣкѣ: воровство, прелюбодѣяніе и обманы». Гераклитъ эфесскій говоритъ, что Гомера слѣдовало бы выгнать изъ Олимпійскихъ игръ и надавать ему пощечинъ. «Преимущественно, пишетъ Платонъ во II-й книгѣ своей «Республики», заслуживаетъ порицаніе великая ложь Гомера и Гезіода, потому что всего хуже лжетъ тотъ, кто въ своемъ изложеніи представляетъ превратно природу боговъ и героевъ. Его можно сравнить

съ живописцемъ, который, желая срисовать предметъ, произвелъ нѣчто, вовсе непохожее».

Къ этимъ цитатамъ можно было бы прибавить еще много другихъ, и уже самое число ихъ и рѣзкость нападокъ показываетъ, какъ сильно было вліяніе поэтовъ. Діонисій галикарнасскій коротко и ясно характеризуетъ положеніе массы въ отношеніи къ религіи: «Я, правда, знаю, говоритъ онъ, что многіе извиняютъ греческіе безнравственные миѳы, напоминая о ихъ аллегорическомъ значеніи; я это знаю хорошо, но тѣмъ не менѣе обращаюсь съ ними осторожно и предпочитаю римскую теологію; по моему мнѣнію, хорошаго въ греческихъ миѳахъ мало, и они приносятъ пользу немногимъ, изслѣдовавшимъ то, зачѣмъ они были придуманы. Немногіе сдѣлались участниками этой мудрости. Напротивъ, многочисленная толпа, незнакомая съ философіей, принимаетъ эти разсказы въ худшемъ смыслѣ, и тогда происходитъ одно изъ двухъ: или они начинаютъ презирать боговъ, унижающихся до самыхъ отвратительныхъ поступковъ, или сами не воздерживаются отъ грязныхъ и позорныхъ пороковъ, видя, что то же самое дѣлаютъ и боги».

Но, кажется, происходило преимущественно второе, потому что масса всегда съ удовольствіемъ прислоняется къ осязательному авторитету, особенно, если этотъ авторитетъ не налагаетъ тяжелыхъ ограниченій и не противорѣчитъ господствующимъ вкусамъ и наклонностямъ. Безнравственность грековъ засвидѣтельствована всѣми писателями древности и проглядываетъ въ нѣкоторыхъ замѣчательныхъ греческихъ мыслителяхъ. Суевѣріе ихъ выражалось во множествѣ оракуловъ и мистерій, въ усердномъ поклоненіи иностраннымъ богамъ и, наконецъ, въ построеніи алтарей неизвѣстнымъ богамъ въ Олимпіи и въ Аѳинахъ. И безнравственность, и суевѣріе находили себѣ удовлетвореніе и поощреніе въ созданіи Гезіода и въ гомеровскомъ эпосѣ; очень естественно, что поэты при такихъ условіяхъ до самаго паденія язычества удержали свое господство надъ умами и свое религіозное значеніе. Со временъ Александра Македонскаго начинается сближеніе Греціи съ Востокомъ; еще до Александра проникли въ Грецію, черезъ острова, восточные малоазійскіе культы; поклоненіе матери боговъ и Діонису представляетъ несомнѣнные слѣды азіатскаго происхожденія; но это были частныя заимствованія, и они не могли имѣть рѣшительнаго вліянія на образъ мыслей народа и на всѣ его вѣрованія. Послѣ разрушенія персидской монархіи, когда на ея развалинахъ возникли греческія государства преемниковъ Александра, эллинизмъ, выражавшійся въ языкѣ, въ литературѣ, въ философіи и въ религіозныхъ вѣрованіяхъ, проникъ въ Азію и въ Египетъ и основалъ центры своего господства въ Александріи, въ Антіохіи и въ Селевкіи. Политическіе виды Лагидовъ и Селевкидовъ побуждали ихъ сливать греческую народность съ египетской и сирійской; религія и языкъ, конечно, прежде всего обратили на себя ихъ вниманіе; извѣстно, какими мѣрами Антіохъ Епифанъ старался эллинизировать іудеевъ; другіе государи принимались за дѣло осторожнѣе, и попытки ихъ были успѣшнѣе.

Въ Антіохіи, въ Селевкіи, въ Дамаскѣ, въ Лаодикіи и вообще въ большихъ городахъ господствовалъ греческій языкъ; въ Александріи, несмотря на мрачную исключительность египтянъ, греческая наука развернулась въ небывалыхъ до того времени размѣрахъ. Въ XVI книгѣ своей географіи, говоря о Сиріи, Страбонъ упоминаетъ о многихъ храмахъ, посвященныхъ греческимъ богамъ; даже въ Египтѣ существовали такіе храмы, и образовался полугреческій богъ Сераписъ. Оказывая такое могущественное вліяніе на Востокъ, Греція, въ свою очередь, испытывала на себѣ обратное вліяніе Востока. Служеніе Діонису усиливалось, стремленіе къ мистеріямъ возрастало вмѣстѣ съ возраставшей наклонностью къ таинственности, которой было такъ мало мѣста въ опредѣленной и ясной гомеровской теологіи, и которая была такъ противна первобытному греческому духу, выразившемуся въ гомеровскомъ эпосѣ. Явилось сближеніе Діониса съ Озирисомъ, съ Атисомъ и Адонисомъ, потому что вообще это время (послѣ Александра Македонскаго) отличалось стремленіемъ сливать личности боговъ и находить въ нихъ сходство и тождество. Культъ Афродиты принялъ совершенно азіатскій характеръ служенія Астарты или Милитты; явилось поклоненіе Серапису и Изидѣ. На сочиненіяхъ Плутарха, жреца Аполлона, видно, до какой степени въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. было сильно вліяніе египетской религіи на грековъ; пробудилось стремленіе къ аскетизму, выразившееся въ сочувствіи жрецамъ Изиды. Аполлоній Тіанскій путешествовалъ по Востоку съ цѣлью найти истинную мудрость и нашелъ ее у индѣйцевъ, гдѣ особенно понравилось ему возвышеніе мудреца надъ всѣмъ земнымъ и преходящимъ. Вліяніе Востока на греческій духъ можно, мнѣ кажется, опредѣлить слѣдующимъ образомъ: Востокъ внесъ въ Грецію крайнюю чувственность и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вызванную этой чувственностью реакцію—аскетизмъ. Крайняя чувственность проявилась въ непомѣрномъ развитіи вакханалій и служенія Афродиты; аскетизмъ выразился въ пробужденіи пиѳагореизма въ личности Аполлонія Тіанскаго и въ стремленіи Плутарха возбудить сочувствіе греческаго міра къ жрецамъ Изиды и къ ихъ образу жизни. Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, чувственность дѣйствовала въ массахъ, а аскетизмъ составлялъ достояніе немногихъ.

VI.

Взглянемъ теперь на положеніе греческихъ жрецовъ. Общественное мнѣніе не требовало отъ

нихъ ни особенныхъ умственныхъ способностей, ни особаго спеціальнаго изученія религіозныхъ догматовъ. Плутархъ говоритъ, что надо учиться религіи у поэтовъ, у законодателей и философовъ; жрецовъ онъ здѣсь не называетъ и слѣд. не считаетъ ихъ способными научить желающаго религіозному догмату. Жрецы были только священнослужителями, отправлявшими богослуженіе и приносившими жертвы; эстетическое чувство греческаго народа и духъ самой религіи, основанной на поклоненіи красотѣ, требовали отъ жреца тѣлесныхъ качествъ. Ни уродливо сложенные или некрасивые люди, ни иностранцы, ни бѣдняки не могли сдѣлаться жрецами; послѣдніе потому, что съ этой должностью, для поддержанія внѣшняго благолѣпія, были сопряжены значительныя издержки. Нѣкоторыя должности жрецовъ были наслѣдственны въ извѣстныхъ семействахъ; эти наслѣдственныя должности существовали большею частью въ старыхъ городахъ и очень рѣдко встрѣчаются въ колоніяхъ. Только при служеніи немногихъ божествъ требовалось со стороны жреца или жрицы безбрачіе; гдѣ это было нужно, тамъ большей частью служили мальчики и дѣвочки, оставлявшіе свою должность при наступленіи совершеннолѣтія. Видно, что характеру грека вообще было несвойственно насиловать человѣческую природу; онъ хотѣлъ гармоническаго наслажденія жизнью и не любилъ отнимать способности наслаждаться у тѣхъ, кого онъ считалъ себѣ равнымъ. Только жрецы Геи въ Ахаіѣ, жрицы ѳеспійскаго Геркулеса и Афродиты, іерофантъ Элевзинскихъ таинствъ и жрецы Аѳины и Артемиды Гимніи въ Аркадіи должны были въ теченіе всей своей жизни хранить дѣвственность. Сильнѣе и вліятельнѣе жрецовъ были прорицатели, возвѣщавшіе волю божества по полету птицъ, по разнымъ физическимъ явленіямъ и внутренностямъ жертвенныхъ животныхъ. Они были одарены значительнымъ вліяніемъ уже въ героическую эпоху. Гомеръ упоминаетъ греческаго прорицателя Колханта и троянскаго, сына Пріама, Элена; и тотъ и другой пользуются всеобщимъ уваженіемъ; съ ними совѣтуются цари и полководцы, и предвѣщанія ихъ считаются божественнымъ даромъ. Впослѣдствіи гаданіе составило особую науку, и прорицатели получили постоянное и прочное вліяніе на политическія распоряженія; при демократическомъ устройствѣ большей части греческихъ республикъ право рѣшенія было въ рукахъ народной массы, которая конечно никогда не рѣшалась идти наперекоръ волѣ божества и потому большею частью повиновалась гадателямъ. Ихъ приговоромъ были связаны въ подобномъ государствѣ и полководцы, и правители. Это конечно подавало поводъ къ интригамъ, и Алкивіадъ, желая убѣдить аѳинянъ послать экспедицію въ Сицилію, подкупилъ гадателей.

Греческіе оракулы во время своего процвѣтанія пользовались безграничной довѣренностью народа и оказывали самое обширное вліяніе на общественныя и частныя дѣла. Правительства разныхъ городовъ спрашивали ихъ совѣта при началѣ войны, при заключеніи мира и при высылкѣ колоніи; народъ обращался къ нимъ въ эпохи тяжелыхъ испытаній; моровая язва, голодъ, частые пожары или наводненія усиливали религіозное чувство и побуждали встревоженные умы просить совѣта, какъ умилостивить разгнѣванныхъ боговъ. Частныя лица посылали въ Дельфы подарки и совѣтовались съ оракуломъ при началѣ важныхъ предпріятій, въ случаѣ опасной болѣзни, словомъ тогда, когда человѣкъ сомнѣвается въ собственныхъ силахъ и ищетъ помощи и совѣта внѣ себя и выше себя. Поэты пѣли, что Аполлонъ посланъ Зевсомъ въ Дельфы, чтобы возвѣщать эллинамъ правду и законъ. Платонъ въ сочиненіи о законахъ требуетъ, чтобы всѣ богослужебныя учрежденія опредѣлялись дельфійскимъ оракуломъ. Дельфійскіе жрецы умѣли конечно пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ, и въ теченіе цѣлыхъ столѣтій оракулы давали отвѣты такъ осторожно и двусмысленно, что авторитетъ ихъ не падалъ; въ случаѣ неисполненія оракула, оставалось всегда возможностью истолковать событіе такъ, что буква изреченія пиѳіи оказывалась вѣрной.

Македонское господство понизило вліяніе оракуловъ. Во-первыхъ, всѣ оракулы, не исключая и дельфійскаго, слишкомъ ясно выражали свое желаніе угодить властелину и свою готовность сообразоваться съ его волею. Когда Александръ изъявилъ притязаніе на божескій санъ, оракулы присудили божескія почести даже другу его Эфестіону. Эта подлая лесть не могла дать грекамъ, въ которыхъ уже сильно были пробуждены критическія стремленія, высокаго понятія о могуществѣ Аполлона и о честности его толкователей. Во-вторыхъ, право рѣшенія въ важныхъ дѣлахъ перешло въ руки одного лица, и это лицо не могло быть такъ суевѣрно, какъ масса народа. Политическія соображенія стали перевѣшивать своими осязательными доводами темныя и непонятныя изреченія пиѳіи.

Потерянное однажды политическое значеніе оракуловъ не могло больше быть возстановлено. Этому мѣшали и историческія обстоятельства, и измѣненія во внутреннемъ образѣ мыслей народа. Римскій сенатъ еще меньше македонскихъ царей былъ расположенъ управляться въ своихъ дѣйствіяхъ приказаніями пиѳіи. Такъ же дѣйствовали и римскіе императоры. Къ дельфійскому оракулу обращались только частныя лица съ вопросами, касавшимися ихъ личныхъ и домашнихъ интересовъ, и уже въ первомъ вѣкѣ по Р. Х. вѣрующій Плутархъ оплакиваетъ паденіе оракуловъ и старается объяснить ихъ упадокъ не компрометируя достоинства божества. Въ послѣдніе времена римской республики и при первыхъ императорахъ большая часть греческихъ и малоазій-

скихъ оракуловъ замолкла; въ Віотіи оставался при Плутархѣ только оракулъ Трофонія, къ которому сходилъ въ пещеру Аполлоній Тіанскій. Дельфійскій оракулъ содержалъ уже не трехъ пиѳій, а одну; знаменитый оракулъ Аммона въ Ливіи замолчалъ. Въ оставшихся оракулахъ ощущался недостатокъ посѣтителей. Число насмѣшливыхъ скептиковъ возрастало, и Плутархъ счелъ нужнымъ посвятить отдѣльное разсужденіе на разрѣшеніе предлагаемаго ими вопроса: отчего пиѳія утратила поэтическій даръ и говоритъ свои пророчества не въ стихахъ, а въ прозѣ. Если писатель, подобный Плутарху, т. е. человѣкъ вѣрующій и заботящійся не столько объ отвлеченной истинѣ и логической послѣдовательности, сколько о религіозномъ настроеніи и нравственности народныхъ массъ, рѣшается затрогивать вопросы догматическіе и отстаивать существованіе святыни, то это, мнѣ кажется, служитъ признакомъ того, что сомнѣнія не только высказываются мыслителями, но проникаютъ и въ народное сознаніе.

Но оракулы въ 1-мъ вѣкѣ, до и послѣ Р. Х., снова оживаютъ; возникаютъ новые культы, воздвигаются новые храмы и оракулы, напр. въ честь Антиноя въ Египтѣ, и поклоненіе этимъ божествамъ продолжается до окончательнаго паденія язычества. Это движеніе къ мистицизму порождаетъ немедленно оппозицію въ рядахъ мыслителей. Эномай Гадарскій выводитъ наружу обманы оракуловъ, ихъ двусмысленность и неясность, отвергаетъ ихъ возможность и представляетъ историческія доказательства ихъ вреднаго вліянія на общественную жизнь и на международныя отношенія. Его сочиненіе: φορα γοητων («Уловки шарлатановъ»), сохранившееся въ фрагментахъ у Евсевія, написано легко, остроумно и популярно; это доказываетъ, что онъ хотѣлъ дѣйствовать на народъ и что стало быть существовала потребность противодѣйствовать мистицизму. Эта потребность еще ярче выразилась въ сочиненіяхъ знаменитаго современника и біографа Александра Авонотихита, Лукіана самосатскаго. Впрочемъ характеристика его вліянія и сочиненій не входитъ уже въ рамку моей темы; ограничиваюсь этимъ указаніемъ на новое усиленіе религіозности въ массахъ; фактъ этотъ для меня важенъ потому, что одинъ изъ первыхъ провозвѣстниковъ этого піетистическаго движенія былъ Аполлоній Тіанскій; въ его время народъ былъ большей частью равнодушенъ къ религіи, такъ что ему нужно было ученіемъ и чудесами оживлять умиравшую вѣру. Филостратъ много разъ упоминаетъ о томъ, что онъ возстановлялъ богослуженіе въ опустѣвшихъ храмахъ и возбуждалъ въ своихъ многочисленныхъ слушателяхъ уваженіе къ богамъ, которыхъ изображенія находились въ меньшемъ почетѣ, чѣмъ статуи обоготворенныхъ римскихъ императоровъ.

О греческихъ жертвоприношеніяхъ упомяну коротко. Этотъ актъ составлялъ главное средоточіе богослужебныхъ обрядовъ, но какъ и богослуженіе вообще, онъ не могъ имѣть значительнаго вліянія на умы, и только большая или меньшая торжественность обрядовъ можетъ до нѣкоторой степени служить мѣркой религіознаго настроенія массы. Человѣческія жертвы въ древнѣйшее время греческаго культа были явленіемъ обыкновеннымъ, что̀ доказывается тѣмъ, что даже въ позднѣйшее время въ очень важныхъ случаяхъ приносили въ жертву человѣка. Въ цвѣтущій періодъ эллинизма, начиная съ гомеровскихъ временъ, человѣческія жертвы совершенно вытѣсняются жертвоприношеніями животныхъ, соединенными съ пиршествомъ и имѣющими совершенно веселый характеръ. Умерщвленіе человѣка на жертвенникѣ встрѣчается или въ видѣ исключительнаго случая, или какъ древній обрядъ, уцѣлѣвшій въ немногихъ старинныхъ городахъ и составляющій рѣзкое противорѣчіе съ общимъ колоритомъ веселаго и свѣтлаго богопочитанія. Бичеваніе мальчиковъ въ Спартѣ въ честь Артемиды Ортіи и бичеваніе женщинъ въ Алеѣ въ честь Діониса можетъ быть разсматриваемо какъ обычай, замѣнившій собою человѣческія жертвы. Значеніе этого обряда сознавали сами древніе; это видно изъ разговора Аполлонія Тіанскаго съ Ѳеспезіаномъ. Жертвоприношенія по цѣнѣ своей бывали очень различны; богачи и города зарѣзывали иногда цѣлыя сотни воловъ или барановъ, а бѣдняки часто приносили только пироги или плоды. Очень естественно, что въ понятіяхъ народа значительныя жертвы составляли нѣкоторымъ образомъ одолженіе, оказанное богу, за которое можно было разсчитывать также съ его стороны на особую услугу; вторая сатира Персея направлена противъ этого языческаго фарисейства, и энергія его нападковъ свидѣтельствуетъ о силѣ и обширномъ вліяніи этихъ понятій на нравственность. Евангельскія притчи о мытарѣ и фарисеѣ и о двухъ лептахъ бѣдной вдовицы доказываютъ, что и въ іудейскомъ обществѣ нужно было искоренять подобныя убѣжденія.

Изображенія боговъ измѣнялись по мѣрѣ развитія эстетическаго чувства и технической ловкости въ обработкѣ сырого матеріала. За архаистическимъ или іератическимъ періодомъ, въ которомъ боги изображались или въ видѣ неотесанныхъ камней и деревянныхъ столбовъ, или, позднѣе, въ человѣческомъ образѣ, но съ нераздѣленными ногами и грубо высѣченными чертами лица, за этимъ періодомъ слѣдуетъ эмансипація искусства и торжество его при Фидіи и Праксителѣ, совпадающее съ цвѣтущею эпохою всей политической и умственной жизни Эллады. Еще при Аполлонѣ Тіанскомъ слава статуй Зевса Олимпійскаго, Аѳины, Афродиты Книдской и Геры Аргивской была распространена по всему образованному міру. Опираясь на эти безсмертныя творенія греческаго духа, Аполло-

ній говоритъ египетскому мудрецу: «ихъ создала фантазія; она мудрѣе подражанія; подражаніе изображаетъ то, что видитъ, а фантазія то, чего не видитъ; это невидимое предполагается по сравненію съ видимымъ; подражаніе можетъ быть остановлено смущеніемъ, но ничто не остановитъ фантазію; смѣло приступаетъ она къ предмету своего творчества. Хочешь творить образъ Зевса? —Представь его себѣ въ высотѣ небесъ, среди звѣздъ и вѣчнаго теченія времени, такъ, какъ его представилъ себѣ Фидій. Творишь ли ты Аѳину—вообрази себѣ полное вооруженіе, олицетвори мудрость, окружи ее всѣми аттрибутами искусствъ и представь себѣ тотъ мигъ, когда она выскакиваетъ изъ самого Зевса».

Весь антропоморфизмъ грека и все его живое эстетическое чувство рельефно выразились въ этихъ словахъ, кому бы они ни принадлежали, Аполлонію или самому Филострату. Великолѣпные идолы работы Фидія и Праксителя должны были дѣйствовать на массу народа, одареннаго сильнымъ, но безсознательнымъ чувствомъ изящнаго, тѣмъ сильнѣе, что народъ вѣрилъ въ божественность самыхъ статуй. Онъ вѣрилъ, что при освященіи готовой статуи священнодѣйствіемъ, въ бездушный камень или металлъ вселяется частица самого божества, и идолъ превращается въ бога. «Когда возникаетъ богъ? спрашиваетъ Минуцій Феликсъ, христіанскій апологетъ: вотъ онъ вылитъ, его обрабатываютъ, обрѣзываютъ—онъ еще не богъ; его спаиваютъ, собираютъ, ставятъ на пьедесталъ—и все еще онъ не богъ; но вотъ его украшаютъ, освящаютъ, ему приносятъ молитву, и онъ дѣлается наконецъ богомъ, когда того хочетъ человѣкъ, когда человѣкъ возводитъ его на эту степень».

Упомяну еще о томъ, что греческая религія требовала при жертвоприношеніи физической чистоты отъ участвующихъ; эта чистота достигалась омовеніями, которыя, по понятіямъ народа, очищали даже въ нравственномъ отношеніи отъ тяжелыхъ и кровавыхъ преступленій. Впослѣдствіи, когда увеличилась потребность замѣнять торжественностью обряда слабѣющее религіозное чувство, омовенія водою показались слишкомъ просты и недѣйствительны. Явился обычай омывать руки въ крови жертвенныхъ животныхъ, а во второмъ вѣкѣ по Р. Х. изъ этого обычая развился торжественный обрядъ *taurobolium* и *criobolium*, въ которыхъ желающій получить всепрощеніе и святость становился подъ досчатый помостъ и съ ногъ до головы обдавался кровью вола, зарѣзываемаго въ честь Цибелы. Заботливость о чистотѣ жрецовъ была особенно сильно развита у египтянъ; оттого обязательныя омовенія. Этому обычаю подражалъ Пиѳагоръ, поставившій, отчасти по гигіеническимъ, отчасти по религіознымъ соображеніямъ, ежедневныя холодныя купанья въ обязанность своимъ ученикамъ. Аполлопій Тіанскій считалъ эти омовенія очень полезными, а Плутархъ придавалъ имъ даже важное символическое значеніе.

Кромѣ общеизвѣстной греческой религіи существовала еще съ самыхъ древнихъ временъ религія мистерій, въ которой вѣрующіе, посвященные извѣстными обрядами, присутствовали при драматическомъ представленіи различныхъ миѳовъ и религіозныхъ преданій. При этомъ не было опредѣленнаго догматическаго ученія; посвящаемый не узналъ никакихъ новыхъ религіозныхъ положеній; ему предоставлялось смотрѣть, слушать и выводить заключеніе, сообразное съ его образомъ мыслей, со степенью его природной впечатлительности и умственнаго развитія. Плутархъ говоритъ, что въ мистеріяхъ не убѣждаютъ доводами, не сообщаютъ ничего такого, что могло бы склонить духъ къ вѣрѣ; должно только, руководствуясь философскимъ соображеніемъ, обдумывать съ благоговѣніемъ то, что тамъ дѣлается и говорится. Отличаясь отъ общенародной религіи своею таинственностью, культъ мистерій отличался и личностями боговъ и ихъ характеромъ. Знаменитѣйшіе боги гомеровскаго цикла: Зевсъ, Аполлонъ, Гера, Аѳина, Посидонъ совершенно не участвуютъ въ мистеріяхъ. Важнѣйшими дѣйствующими лицами мистерій являются Діонисъ, Персефона и Деметра, не имѣющіе почти никакого значенія въ гомеровской теологіи. Причины этого явленія можно видѣть отчасти въ иностранномъ происхожденіи мистерій, внесенныхъ въ собственную Грецію изъ Ѳракіи и съ Востока, отчасти въ томъ, что для мистерій нужны были личности подземныхъ боговъ съ неопредѣленной и загадочной физіономіей. Внесеніе мистерій въ Грецію приписывается миѳической личности Орфея, котораго трагическая кончина указываетъ на борьбу оргіастическаго культа съ мистическимъ. Центромъ мистерій является тотъ самый миѳъ, о которомъ я говорилъ при описаніи фригійскаго культа. Этотъ миѳъ, имѣвшій несомнѣнно свое основаніе въ поклоненіи природѣ, рано распространился по восточнымъ берегамъ Средиземнаго моря и, произведя сильное впечатлѣніе на фантазію народа какъ своею внѣшнею яркостью, такъ и глубиною основной мысли, сохранилъ полную жизненность до послѣднихъ временъ язычества.

Эта жизненность выразилась въ томъ, что онъ легко примѣнялся къ особенностямъ воспринявшихъ его народностей, у каждаго племени принялъ особый колоритъ, сохраняя при томъ основную идею. У грековъ этотъ умирающій богъ называется Діонисомъ Загревсомъ; его убиваютъ титаны по приказанію Геры, законной супруги Зевса. Зевсъ—незаконный отецъ убитаго ребенка Діониса, убиваетъ титановъ и изъ сохранившагося сердца своего сына создаетъ новаго Діониса. Важно въ этомъ миѳѣ то обстоятельство, что Діониса разрываютъ и съѣдаютъ титаны. Пораженные молніей Зевса, титаны превращаются въ

пепелъ, и изъ этого пепла рождаются потомъ люди, въ которыхъ злая природа титановъ соединена такимъ образомъ съ доброю природою съѣденнаго Діониса. Разрываніе бога и переходъ его частицъ въ другія тѣла указываетъ на пантеистическое воззрѣніе, выраженное въ миѳическомъ образѣ. Такъ по крайней мѣрѣ толковали этотъ миѳъ позднѣйшіе мистики. «Измѣненіе бога въ вѣтры, воду, землю и звѣзды, въ роды растеній и животныхъ, говоритъ Плутархъ, переходъ бога въ міромданіе изображается наглядно какъ разрываніе и раздробленіе, и тогда божество называется Діонисомъ Загревсомъ; гибель, уничтоженіе, смерть и возрожденіе облекаются въ басни и разсказы, соотвѣтствующіе названнымъ измѣненіямъ». Въ приведенной главѣ Плутархъ противополагаетъ пантеистическому обожанію Діониса чисто деистическое обожаніе Аполлона. Миѳъ о происхожденіи людей изъ пепла титановъ и частицъ Діониса доказываетъ, что мистики признавали въ человѣкѣ присутствіе двухъ противоположныхъ и взаимно-враждебныхъ элементовъ. На это дуалистическое воззрѣніе, чуждое гомеровскому міросозерцанію, опирались Платонъ и новоплатоники, говорившіе, что душа живетъ въ тѣлѣ, какъ въ темницѣ или въ могилѣ. Мистерій было много; онѣ праздновались на Лемносѣ, въ Ѳивахъ, въ Коринѳѣ, въ Эгинѣ, и наконецъ самыя знаменитыя (элевзинскія) въ Аѳинахъ и въ Элевзисѣ. Всѣ онѣ были разрѣшены мѣстнымъ правительствомъ, считались государственною святынею и навлекали на нарушителя уголовныя наказанія.

Первоначально къ элевзинскимъ таинствамъ допускались только аѳинскіе граждане; изъ другихъ грековъ вообще, насколько извѣстно, посвящались немногіе. Изъ греческихъ, но не аѳинскихъ историческихъ личностей извѣстны, какъ участники элевзинскихъ таинствъ, Пиѳагоръ, Филиппъ Македонскій, Дмитрій Поліоркетъ, сынъ его Филиппъ, Аполлоній Тіанскій и Плутархъ. Варварамъ былъ запертъ входъ въ то зданіе, гдѣ совершалась сокровеннѣйшая часть таинства, но при усиленіи римлянъ, греческіе іерофанты поневолѣ должны были сдѣлать исключеніе въ пользу ихъ. Сулла, Варронъ, Крассъ, Октавіанъ и Юліанъ Апостатъ извѣстны какъ участники элевзинской святыни.

Многіе писатели древности говорятъ о мистеріяхъ, и сужденія ихъ очень различны. Оффиціальные ораторы, напр. Исократъ, превозносятъ мистеріи, какъ государственное учрежденіе. Благочестивые поэты, подобные Пиндару и Софоклу, воспѣваютъ блаженную участь посвященныхъ въ загробной жизни. Мистики, подобные Аполлонію Тіанскому и Плутарху, принимали въ нихъ участіе, и на нихъ производили особенное впечатлѣніе обѣщанія и прообразованія загробнаго блаженства. Философы напротивъ того относились къ мистеріямъ холодно и даже недоброжелательно. Сократъ не говоритъ о нихъ ни слова, такъ что есть причины предполагать, что онъ или не былъ посвященъ въ элевзинскія таинства, или-же молчалъ объ нихъ, чтобы не сказать ничего дурного. Платонъ указываетъ на вредную сторону мистерій, въ которыхъ человѣкъ ищетъ себѣ спасенія во внѣшнемъ обрядѣ, а не въ собственной нравственной силѣ. Выводимые въ мистеріяхъ миѳы Платонъ считаетъ безнравственными и соблазнительными для народа. Блаженство, которое обѣщается адептамъ, Платонъ считаетъ очень сомнительнымъ, и говоритъ, что ихъ привлекаетъ къ мистеріямъ надежда на вѣчное опьяненіе въ загробной жизни. Циники не считали даже нужнымъ скрывать свое презрѣніе къ мистеріямъ. Когда Діогена убѣждали принять участіе въ элевзинскихъ таинствахъ, говоря ему о загробномъ блаженствѣ, онъ просто отвѣчалъ: смѣшно предполагать, что Эпаминондъ и Агезилай (какъ непосвященные) на томъ свѣтѣ лежатъ въ грязи, а извѣстный воръ Петакіонъ (какъ посвященный) наслаждается блаженствомъ. Когда одинъ изъ мистиковъ, преподававшихъ особую систему таинствъ по орфическимъ книгамъ, разсказалъ Антисѳену о радостяхъ, ожидающихъ посвященныхъ за предѣлами гроба, Антисѳенъ смутилъ его неожиданнымъ вопросомъ: что-жъ ты не умираешь? Демонаксъ заслужилъ репутацію безбожника, и аѳинскій народъ потребовалъ его на судъ. Его спросили, отчего онъ не хочетъ быть посвященнымъ въ мистеріи.—Оттого, отвѣчалъ Демонаксъ, что я ихъ разглашу во всякомъ случаѣ: если онѣ хороши, то я хочу, чтобы всѣ могли ими пользоваться; если онѣ дурны, я хочу предостеречь отъ нихъ другихъ, незнающихъ. Мыслящіе римляне, подобные Цицерону, Варрону и стоику временъ Нерона, Аннею Корнуту, относились къ мистеріямъ съ хладнокровною критикою и смотрѣли на нихъ какъ на воспоминаніе о поклоненіи природѣ и о перенесеніи въ міръ боговъ обоготворенныхъ людей. Христіанскіе писатели съ особенною ироніей отзываются о внѣшнихъ обрядахъ мистерій, оскорблявшихъ нравственность и благопристойность.

Спрашивается, что̀ составляло прелесть мистерій и что было причиною ихъ популярности? Скандалезный характеръ ихъ обрядовъ не могъ быть значительною приманкою для древняго грека, потому что его съ колыбели окружали фаллическія изображенія, сладострастныя картины и вольныя пѣсни, стало быть, это не могло быть ему въ диковину и не привлекло бы къ мистеріямъ цѣлыя населенія. Для вѣрующихъ мистеріи имѣли высшій духовный интересъ; печать тайны, лежавшая въ мистеріяхъ, великолѣпныя и загадочныя обѣщанія людей посвященныхъ возбуждали любопытство профановъ, пастроивали ихъ воображеніе такъ, что въ нихъ рождалось живое желаніе сдѣлаться участниками этихъ мистерій. Потомъ, когда ихъ посвящали, все въ

представленіи мистерій было разсчитано на произведеніе возможно большаго эффекта. Элевзинскія мистеріи вызывались дать отвѣтъ на тѣ глубокіе вопросы, которые постоянно волнуютъ человѣка и человѣчество; посвящаемый вступалъ въ зданіе мистерій съ живѣйшимъ желаніемъ узнать что нибудь о вѣчности, о загробной жизни, и передъ его глазами развертывались въ разсчитанномъ порядкѣ великолѣпныя декораціи и фантастическія сцены, въ которыхъ онъ силился найти высокій смыслъ и дѣйствительно находилъ его при своемъ насильственно напряженномъ состояніи. Короткое описаніе Плутарха передаетъ не столько внѣшнія дѣйствія мистерій, сколько внутреннюю смѣну ощущеній, переживаемыхъ зрителемъ, присутствующимъ при послѣдней части элевзинскихъ таинствъ; но въ словахъ набожнаго мыслителя можно уловить колоритъ того вліянія, которое эти сцены должны были оказывать на присутствовавшихъ. «Сначала блуждаютъ по разнымъ закоулкамъ, переносятъ труды и утомленія, напрасно тоскливо ищутъ чего то въ темнотѣ; потомъ, передъ самымъ окончаніемъ, являются всѣ ужасы, трепетъ и содроганье, выступаетъ холодный потъ, замираетъ сердце. Вдругъ загорается удивительный свѣтъ; мы вступаемъ въ привѣтливую мѣстность, на роскошные луга; мы слышимъ голоса, видимъ пляски; раздаются торжественные звуки священныхъ словъ, и показываются священныя видѣнія».

Эффекты свѣта и тѣни, невидимые голоса, торжественное настроеніе души, чаяніе высшихъ обѣтованій, все это должно было потрясать впечатлительные нервы южнаго человѣка; многое небывалое могло ему казаться случившимся, много простыхъ и случайныхъ событій могли принимать въ его глазахъ колоссальные размѣры и фантастическій колоритъ; много такихъ явленій, которыя онъ легко объяснилъ бы себѣ въ спокойномъ состояніи духа, могли въ мистеріяхъ казаться ему чудеснымъ дѣйствіемъ сверхъестественной силы. Мистеріи живымъ языкомъ символовъ и мимики говорили ему такія вещи, которымъ пріятно повѣрить. При совершеніи мистерій присутствовали только посвященные, и всѣмъ посвященнымъ сулили вѣчную жизнь и вѣчное блаженство; можно заключить изъ словъ Плутарха, что передъ внушеніемъ этого блаженства являлись свѣтлыя небесныя видѣнія, слышались звуки скрытой музыки, по сценѣ разливалось мягкое освѣщеніе, и все это вмѣстѣ, послѣ предшествовавшихъ испытаній, послѣ перенесеннаго утомленія, послѣ страшныхъ и мрачныхъ зрѣлищъ, должно было нѣжить чувства, успокоивать душу и оставлять неизгладимое впечатлѣніе полнаго довольства. Ощущеніе, производимое мистеріями, было пріятно. Въ награду за это ощущеніе предлагалось вѣчное блаженство. Было бы странно, еслибы при такихъ условіяхъ толпа народа, не имѣющая внѣ мистерій никакихъ средствъ заглянуть въ будущую судьбу свою, не ухватилась бы съ жаднымъ любопытствомъ за эти мистеріи. Дѣйствительно, мистеріи держались очень долго и пали только тогда, когда уже совершенно истощились жизненныя силы язычества.

VII.

Я очертилъ физіономію язычества въ Египтѣ, въ передней Азіи и въ Европѣ. Надо себѣ теперь представить, что всѣ эти элементы слились вслѣдствіе историческихъ обстоятельствъ въ Италіи и, въ буквальномъ смыслѣ этого слова, наводнили Римъ. Если припомнить ту существенную черту языческаго міросозерцанія, что не тотъ только богъ, кого уважаетъ мой народъ, а и тотъ, которому поклоняются сосѣди, и тотъ о которомъ доходятъ какіе то неопредѣленные слухи, и тотъ, котораго я даже не знаю по имени, то можно себѣ вообразить, что вѣрующіе римляне временъ паденія республики и начала имперіи должны были находиться въ постоянной тревогѣ. Аѳинская республика построила алтарь неизвѣстнымъ или незнакомымъ богамъ для того, чтобы избавить себя разъ навсегда отъ опасности прогнѣвать непочтеніемъ кого нибудь изъ безсмертныхъ. Такою формальною мѣрою могло оградить себя государство, но частный человѣкъ не могъ на ней успокоиться. Ему нужно было знать, что его молитвы точно доходятъ по своему назначенію, и что тотъ богъ, которому онъ молился, точно хочетъ и можетъ помочь ему.

Какому бы богу онъ ни поклонялся, онъ никогда не могъ быть увѣренъ въ томъ, что нѣтъ какого нибудь другого, болѣе могущественнаго, который могъ бы скорѣе и вѣрнѣе даровать просимыя блага. Онъ могъ думать, что нечаянно забылъ принести жертву сильному божеству; или, принося эту жертву, опустилъ какую нибудь важную формальность. Такъ какъ молитва не была удовлетвореніемъ внутренней потребности души, то цѣль ея заключалась не въ ней самой: грекъ и римлянинъ всегда молился о чемъ нибудь, т. е. обращался къ божеству съ извѣстною просьбою и потому употреблялъ всѣ усилія на то, чтобы такъ или иначе заставить божество выслушать и исполнить эту просьбу. Греческія и римскія молитвы были составлены по извѣстной формѣ, и этой формѣ приписывалась сила управлять волею боговъ; молитва принимала характеръ магическаго заклинанія, и все вниманіе молящагося сосредоточивалось на точномъ соблюденіи внѣшности и формы. Въ отношеніяхъ между богами и человѣкомъ не было ни малѣйшей искренности. Вѣрующій видѣлъ въ своемъ богѣ не идеалъ нравственнаго совершенства, а существо, одаренное значительной силой и способное, смотря по своему желанію, обратить эту

силу въ его пользу или въ ущербъ ему. Богъ, по понятіямъ вѣрующаго, видѣлъ въ своемъ обожателѣ только болѣе или менѣе усерднаго и аккуратнаго исполнителя угодныхъ ему формальностей. Бога одинаково возмущалъ убійца, подходящій къ его святилищу, и человѣкъ, приступающій къ священнодѣйствію съ неумытыми руками. И тотъ, и другой были ему угодны и могли надѣяться на исполненіе прошеній, если они предварительно подвергали себя установленному очистительному обряду. Кто могъ приносить богатыя жертвы, тотъ приносилъ, сколько могъ, и разсчитывалъ въ умѣ на дѣйствительность своихъ многочисленныхъ и роскошныхъ приношеній. Кто не имѣлъ значительнаго состоянія, тотъ приносилъ бѣдные дары, но непремѣнно приносилъ что нибудь. Если нельзя было жертвоприношеніемъ обратить на себя благосклонное вниманіе божества, надо было по крайней мѣрѣ вмѣшаться въ толпу его обожателей и принести жертву изъ чувства самосохраненія, чтобъ не случилось бѣды. О служеніи богу духомъ, о сближеніи съ божествомъ безукоризненностью поступковъ, о поклоненіи ему въ жизни языческая древность не имѣла, кажется, понятія. О такомъ поклоненіи часто говорятъ философы; за его отсутствіе сатирики горько жалуются на своихъ современниковъ; но самое частое повтореніе этихъ совѣтовъ и жалобъ доказываетъ ихъ полную безуспѣшность. По понятіямъ массы, божество не заботится о чистотѣ нравственности и выпускаетъ изъ виду своихъ обожателей, какъ скоро они переступаютъ за порогъ храма и входятъ въ кругъ вседневной жизни и обычныхъ заботъ и интересовъ.

Въ отношеніяхъ между языческимъ божествомъ и человѣкомъ нѣтъ ни взаимной любви, ни довѣрія. Боги способны завидовать счастью человѣка и умышленно мѣшать развитію его благосостоянія. Они способны для своихъ личныхъ видовъ, или даже просто для забавы, вводить людей въ заблужденіе и отуманивать ихъ умъ ложными представленіями.

Понятіе богъ часто переливается въ понятіе демонъ, и нерѣдко послѣднее принимается въ смыслѣ недоброжелательнаго духа, почти въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно перешло въ новѣйшіе европейскіе языки. Гнѣвъ бога ведетъ за собою всякаго рода несчастія; а нѣтъ ничего легче, какъ прогнѣвить божество. Достаточно забыть одно узаконенное жертвоприношеніе, одну частность обряда, одинъ любимый богомъ титулъ или эпитетъ—и богъ недоволенъ,—на смертнаго обрушиваются непріятности и неудачи; смертный долженъ припомнить, что онъ сдѣлалъ незаконно; не припомнивши, онъ на удачу умилостивляетъ всѣхъ боговъ, удвоиваетъ дары и жертвы, посылаетъ запросы къ оракулу, совѣтуется домашнимъ образомъ съ гадателями, получаетъ двусмысленные отвѣты, хлопочетъ, выбивается изъ силъ и все таки не можетъ успокоить себя тѣмъ сознаніемъ, что боги ему простили. Плутархъ въ сочиненіи своемъ «о суевѣріи» разсматриваетъ вредное вліяніе его и прямо считаетъ его хуже невѣрія. При мистическомъ направленіи Плутарха, это сужденіе доказываетъ, что въ его время суевѣріе проявлялось въ самой возмутительной формѣ. Язычникъ временъ имперіи ходилъ въ совершенныхъ потемкахъ; онъ былъ скептикъ, и потому учрежденія язычества падали одно за другимъ; но чтобы быть вполнѣ скептикомъ, надо много природной силы и много образованности; вполнѣ скептиками дѣлались немногіе; большая часть и не вѣрила, и сомнѣвалась, и боялась сомнѣваться; они нигдѣ не видѣли полной истины, на которую вполнѣ можно было бы опереться, и между тѣмъ ни одного нелѣпаго обряда не рѣшались откинуть, какъ заблужденіе. Они были слишкомъ трусливы, чтобы дать полную волю критикѣ и поступить такъ, какъ совѣтовалъ здравый смыслъ; боясь невѣрія, они дѣлали такіе подвиги, на которые, можетъ быть, не рѣшился бы и фанатикъ; между тѣмъ критика брала свое и отравляла имъ искусственныя вѣрованія; сомнѣніе само собою закрадывалось повсюду; принося жертву, проситель не зналъ, обращается ли онъ куда слѣдуетъ. Внутреннее безпокойство побуждало его искать новыхъ обрядовъ, новаго бога: не будетъ ли лучше въ другомъ храмѣ, не успокоятся ли тамъ сомнѣнія, не явится ли тамъ твердое и любовное упованіе?

Реформа чувствовалась въ воздухѣ эпохи. Всякая новизна принималась съ восторгомъ, возбуждала напряженныя ожиданія и вслѣдъ затѣмъ обманывала ихъ, а сама становилась въ ряды старыхъ учрежденій, которыя всѣ уважали и хранили, но на которыя никто не возлагалъ страстной и трепетной надежды. Со времени обоготворенія Цезаря до апоѳеозы Діоклитіана римскіе императоры подарили языческому міру 53 новыя божества. Эти божества принимались съ такимъ сочувствіемъ, что трудно видѣть въ этомъ одно проявленіе раболѣпства. Льстить можетъ дворъ, столица, но не цѣлая имперія. При Тиверіи одиннадцать городовъ Азіи спорили о чести поставить у себя его статуи и построить ему храмъ. Это еще можно пожалуй принять за проявленіе холопства со стороны посланниковъ и уполномоченныхъ этихъ городовъ; но мы же знаемъ, что съ поддержаніемъ богослуженія обоготвореннымъ императорамъ соединялись значительныя издержки, падавшія на городъ; и между тѣмъ храмы не пустѣли, народъ приносилъ въ нихъ жертвы, и статуи цезарей были священнѣе изображеній другихъ боговъ. Всѣ это происходило не въ Римѣ, не на глазахъ у императора, а въ Азіи, гдѣ трудно было цѣлому городскому населенію ждать себѣ награды отъ властелина, стало быть, усердіе было дѣйствительное; очень можетъ быть, что разнород-

ныя племена, въ первый разъ соединенныя подъ однимъ господствомъ, были поражены громадностью императорскаго могущества и, при суевѣрномъ, напряженномъ настроеніи вѣка, ждали дѣйствительно какихъ то высшихъ божественныхъ милостей отъ живой человѣческой личности; вѣдь эта человѣческая личность своимъ дѣйствительнымъ могуществомъ превосходила самыя смѣлыя метафоры, которыми религіозно-настроенные поэты старались охарактеризовать божественное всличіе.

Если масса была расположена видѣть участіе сверхъестественной силы въ каждомъ излеченіи бѣсноватаго, въ каждомъ фокусѣ Александра Авонотихита, то было естественно видѣть воплощеніе божества въ личности такого человѣка, который одинъ стоялъ надъ всѣми, не видя себѣ равнаго во всемъ мірѣ живыхъ и разумныхъ существъ. Извѣстно, что Діоклитіанъ первый высказалъ мысль о божественномъ происхожденіи императорской власти, но чтобы высказать эту мысль, надо было получить ее изъ прошедшаго, укрѣпившагося и созрѣвшаго. Если эта мысль могла пережить Западную Римскую имперію, перейти въ Византію, воскреснуть въ Италіи и Германіи при Карлѣ Великомъ и потомъ перепестись на королевскую власть бывшихъ вассаловъ священной имперіи, то, мнѣ кажется, можно допустить, что въ основаніи ея лежало дѣйствительное убѣжденіе римской толпы, а не движеніе лести и не произволъ властелина. Дикій и отвратительно-пошлый характеръ римскаго цезаря, по самой идеѣ языческаго божества, не долженъ былъ имѣть вліянія на апоѳеозу; вѣдь и коренные боги не являлись воплощенною добродѣтелью. Иностранные культы, введенные въ Римъ, были новѣе и страннѣе туземнаго греческаго богослуженія; они пользовались, сравнительно съ нимъ, большею популярностью, но всего больше возбуждало сочувствіе вѣрующей толпы какое нибудь случайное, экстренное явленіе, не подходившее подъ обыденную форму. Эту черту характера уловилъ Сенека. «Если, говоритъ онъ, кто нибудь, потрясая жезломъ, разсказываетъ заученный вздоръ, если мастеръ рѣзать себя (жрецъ Беллоны), высоко поднимая топоръ, рубитъ въ кровь руки и плеча, если кто нибудь ползетъ на колѣняхъ и поднимаетъ вой, если старикъ въ холщевой одеждѣ, съ лавровою вѣткою въ рукѣ днемъ несетъ передъ собою фонарь и громко кричитъ о гнѣвѣ какого нибудь бога, тогда вы сбѣгаетесь и восклицаете: этотъ человѣкъ вдохновленъ богомъ!»

Потребность непосредственнаго откровенія, передъ которымъ замолчало бы самое упорное сомнѣніе, давала себя живо чувствовать. Аполлоній Тіанскій былъ признанъ богомъ за свое ученіе и за свои чудеса, а между тѣмъ его рѣчи не оставили по себѣ прочныхъ слѣдовъ. Оракулъ, учрежденный Александромъ въ Авонотихѣ, пользовался такой извѣстностью, что къ нему обращался даже стоическій философъ и императоръ Маркъ Аврелій. Со смертью Александра рушилось все его искусственное зданіе. Въ жизни Нерона встрѣчается яркая черта времени. Неронъ обожалъ только одну, такъ называемую сирійскую, богиню и вѣрилъ въ ея силу, но наступило время разочарованія, и Неронъ, въ минуту каприза, наругался самымъ грязнымъ образомъ надъ своимъ идоломъ. Масса не была такъ рѣшительна и постоянно колебалась между робкимъ индифферентизмомъ и напряженнымъ ханжествомъ; трусливость не оставляла ея ни на минуту, и большинство боговъ являлись ей личностями, отъ преслѣдованій которыхъ надо откупаться подарками и жертвоприношеніями.

Между пламенною вѣрою фанатика и трусливымъ суевѣріемъ, очерченнымъ Плутархомъ, лежитъ цѣлая бездна: первая вся основана на чувствѣ, во второмъ нѣтъ искры воодушевленія; первая влечетъ къ подвигамъ самоотверженія, второе все проникнуто самымъ мелкимъ эгоизмомъ. Фанатизмъ исключаетъ и боязнь, и борьбу съ самимъ собою, и сомнѣніе; суевѣріе все основано на боязни и сомнѣніи. Словомъ, мнѣ кажется, что суевѣріе и невѣріе стояли ближе другъ къ другу, чѣмъ фанатизмъ и суевѣріе. Первыя два настроенія вызваны были дряхлостью господствующей религіи, а послѣднее, проявившееся съ такою силою въ первые вѣка христіанства, могло быть вызвано только молодою и новою идеею. Суевѣріе давно потеряло изъ виду идею религіи; его близорукая трусливость не позволяла ему взглянуть вдаль и вверхъ; нужно было смотрѣть подъ ноги, обращая все вниманіе на то, чтобы не опустить какой нибудь формальности, не нарушить обряда.

Языческія религіи не были богаты нравственнымъ содержаніемъ; подъ вліяніемъ суевѣрія онѣ окончательно измельчали; при жертвоприношеніяхъ нужно было соблюдать столько предосторожностей въ отношеніи къ статуѣ божества, что мало-по-малу въ народномъ вѣрованіи эта статуя вытѣснила то понятіе, которое она должна была напоминать собою. Прежнее освященіе статуй извѣстными молитвами и обрядами получило значеніе дѣланія боговъ; явилось мнѣніе, что люди могутъ принуждать божество всселяться въ статуи и жить въ нихъ, какъ душа человѣка живетъ въ тѣлѣ. Идолъ сдѣлался святынею самъ-по-себѣ, а не по той идеѣ, которую онъ вызывалъ въ молящемся. Явилось служеніе собственно идоламъ; ревностные поклонники божества стали исполнять при идолѣ должности слуги; одни натирали его мазями, другіе завивали ему волосы, шевеля руками по мраморной или металлической его прическѣ; третьи держали передъ нимъ зеркало; многіе просили боговъ заступиться за нихъ въ судѣ и держали передъ глазами истукана выписки

изъ своихъ процессовъ. Такъ какъ на идола перестали смотрѣть какъ на портретъ, то святыня идола стала заключаться не столько въ формѣ, сколько въ матеріи, освященной извѣстнымъ, почти магическимъ обрядомъ; рядомъ съ поклоненіемъ статуямъ видно поклоненіе простымъ камнямъ. Язычество совершило, кажется, свое міровое поприще и поворотило къ своему началу, къ пелазгическимъ временамъ. Явился грубый фетишизмъ, который тѣмъ болѣе рѣжетъ глазъ, что онъ существуетъ рядомъ съ роскошнымъ развитіемъ изобразительныхъ искусствъ; въ этомъ фетишизмѣ должно видѣть истощеніе внутренняго содержанія; его нельзя извинить или объяснить внѣшними препятствіями, лежащими въ недостаточномъ развитіи техники. На перекресткахъ лежали священные камни, политые масломъ; прохожіе становились передъ ними на колѣни, наливали на нихъ нѣсколько капель елея и просили ихъ о своихъ нуждахъ. Апулей серьезно обвиняетъ своего противника Эмиліана въ томъ, что въ его помѣстьѣ нѣтъ ни увѣнчаннаго сука, ни камня, помазаннаго масломъ. При фетишизмѣ существуетъ обыкновенно любопытный обычай наказывать бога за неисправное исполненіе просьбы. Этотъ обычай проявляется въ древнемъ Римѣ при императорахъ. Флотъ Августа пострадалъ отъ бури, и Нептунъ былъ наказанъ тѣмъ, что его статую исключили изъ торжественной процессіи. Калигула разговаривалъ съ Юпитеромъ капитолійскимъ, иногда бранился съ нимъ и угрожалъ ему погибелью. Юліанъ, человѣкъ умный и образованный, разсердившись на Марса, поклялся не приносить ему жертвы.

Замѣчательно, что многіе философски-развитые люди этой эпохи поддавались въ жизни самому наивному суевѣрію. Маркъ Аврелій былъ безспорно одинъ изъ лучшихъ римскихъ императоровъ, одинъ изъ благороднѣйшихъ людей своего времени и замѣчательнѣйшій изъ послѣдователей Эпиктета. Въ своихъ философскихъ сочиненіяхъ онъ презираетъ ничтожество всего земного, богатства, величія и наслажденія; онъ совѣтуетъ слѣдовать только внутреннимъ внушеніямъ своего духа и приписываетъ разуму неограниченную свободу. Онъ такъ мало зависитъ въ своемъ мышленіи отъ какого-нибудь вѣрованія, что даже о безсмертіи души выражаетъ серьезное сомнѣніе. Тотъ же смѣлый мыслитель, тотъ-же проповѣдникъ безграничной свободы мысли, въ своей вседневной жизни и даже въ своихъ государственныхъ распоряженіяхъ подчиняется не внутреннему голосу чувства, а указаніямъ жрецовъ и прорицателей. Отправляясь на войну противъ маркоманновъ, онъ собираетъ въ Римъ жрецовъ всѣхъ религій и занимается разными торжественными церемоніями, а войско ждетъ и удобное время уходитъ. Жертвы приносятся въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, что бѣлые волы приходятъ въ смятеніе и, по дошедшей до насъ шуткѣ того времени, пишутъ къ благочестивому цезарю письмо слѣдующаго содержанія: «Бѣлые волы Марку Кесарю. Если ты побѣдишь, мы погибли».

Трудно понять, изъ чего такъ хлопоталъ человѣкъ, отвергавшій безсмертіе души и признававшій ничтожнымъ все земное величіе и военную славу; трудно себѣ представить, какимъ образомъ человѣкъ, не ступавшій ни одного шага безъ гаданій, молитвъ и жертвоприношеній, могъ въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ подниматься такъ высоко надъ господствовавшими понятіями эпохи. Впрочемъ разладъ между жизнью и теоріею поражаетъ насъ въ этотъ періодъ времени. Особенно часто совмѣщаются въ одномъ лицѣ самое смѣлое невѣріе въ капитальныхъ вопросахъ, касающихся міроправленія и безсмертія души, и самое трусливое суевѣріе въ мелкихъ случаяхъ вседневной жизни. Возьмемъ для примѣра Августа. Послѣднія его минуты описаны Светоніемъ очень подробно и наглядно, и въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на вѣрованіе въ загробную жизнь. За нѣсколько минутъ до смерти, Августъ справляется о томъ, что происходитъ въ городѣ, потомъ спрашиваетъ себѣ зеркало, поправляетъ волосы, приводитъ въ порядокъ отвисшую нижнюю челюсть и вдругъ, обращается къ друзьямъ съ неожиданнымъ вопросомъ: «А каково я сыгралъ комедію жизни?» Потомъ онъ декламируетъ греческіе стихи: «Если вамъ нравится игрушка, аплодируйте и всѣ провожайте насъ съ радостью». Затѣмъ, по его желанію, присутствующіе выходятъ изъ комнаты, онъ обнимаетъ Ливію и говоритъ: «Ливія, помни наше супружество, живи счастливо... прощай» и съ этими словами умираетъ. Намъ нѣтъ никакого основанія подозрѣвать Августа въ неискренности; римскому императору, 76-ти-лѣтнему старику, не стоило притворяться; репутація его была составлена, и какъ бы онъ ни умеръ, онъ могъ быть увѣренъ, что его превознесутъ до небесъ и обоготворятъ. Наконецъ, если бы Августъ сталъ притворяться, то, какъ императоръ, какъ жрецъ и поборникъ государственной религіи, онъ притворился бы въ противоположную сторону и окружилъ бы свои послѣднія минуты всѣмъ аппаратомъ мистической религіозности.

Въ предсмертныхъ словахъ Августа видно только добродушно ироническое обращеніе назадъ, на пройденную жизнь. Видитъ-ли онъ что нибудь впереди, сказать трудно, но что онъ равнодушенъ къ этому вопросу и не задастъ его себѣ, это очевидно. Тотъ же Августъ, обнаружившій въ послѣднія минуты такой спокойный раціонализмъ, былъ въ теченіе всей своей жизни самымъ суевѣрнымъ человѣкомъ. Онъ вѣрилъ снамъ—и своимъ, и чужимъ, и вѣра его укрѣплялась тѣмъ, что иногда, въ очень важныхъ случаяхъ, сны сбывались. Въ день филип-

скаго сраженія онъ чувствовалъ себя нездоровымъ и хотѣлъ остаться въ своей палаткѣ; одинъ изъ его друзей разсказалъ ему свой сонъ, и это побудило его измѣнить свое намѣреніе. Онъ вышелъ изъ палатки и не раскаялся въ этомъ, потому что лагерь побывалъ въ рукахъ непріятеля, палатку его опрокинули, а постель истоптали и изорвали. — Любопытно также узнать отъ Свѣтонія, что Августъ, на основаніи видѣннаго сна, ежегодно въ извѣстный день выходилъ на улицу просить милостыню и «подставлялъ ладонь проходившимъ, которые подавали ему ассы». Гаданія и предзнаменованія были у Августа въ большомъ почетѣ; велико было его смущеніе, когда онъ надѣвалъ лѣвый башмакъ раньше праваго, и велика радость, если, когда онъ отправлялся въ долгій путь, глаза его случайно наполнялись слезами. Въ природѣ всякое рѣдкое явленіе обращало на себя его вниманіе и перетолковывалось какъ счастливое или несчастное предвѣщаніе. Нѣкоторые дни считались у Августа благопріятными, другіе бѣдственными.

Есть данныя, позволяющія думать, что и въ обществѣ скептицизмъ въ области религіозныхъ вопросовъ совмѣщался и шелъ рука объ руку съ суевѣрнымъ выполненіемъ мелкихъ формальностей культа, имѣвшихъ большею частью магическое значеніе. О послѣднемъ, т. е. о суевѣріи, я уже говорилъ. Что касается до скептицизма, то онъ засвидѣтельствованъ многими писателями. Плутархъ говоритъ, что немногіе люди вѣрятъ въ существованіе Тартара, Цербера и загробныхъ казней. «А кто и вѣритъ, продолжаетъ онъ, тотъ старается избавиться отъ этого страха посредствомъ омовеній. Мы видимъ такимъ образомъ, что тѣ (эпикурейцы), отвергая безсмертіе, уничтожаютъ самыя сладкія и великія надежды обыкновенныхъ людей». Здѣсь видно, что Плутархъ уже не стоитъ за букву догмата, ее отстаивать поздно и опасно, потому что эпикурейцы могутъ поднять на смѣхъ и погубить въ глазахъ народа всю апологію. Плутархъ защищаетъ только безсмертіе души и опирается не столько на преданіе, сколько на внутреннюю потребность, живущую въ груди каждаго человѣка. Невѣрію въ казни ада онъ самъ сочувствуетъ, потому что бояться боговъ и видѣть въ нихъ существа враждебныя, по его мнѣнію, грѣшно. Въ общей системѣ возраженій Плутарха, направленныхъ противъ эпикурейцевъ, просвѣчиваетъ мысль, которую однако самъ Плутархъ не рѣшается высказать прямо и смѣло. Можетъ быть, вы и правы, слышится въ его доказательствахъ, можетъ быть, и нѣтъ безсмертія души, но, во-первыхъ, въ него пріятно вѣрить, во-вторыхъ, это вѣрованіе можетъ быть полезно для народной нравственности. Вообще Плутархъ болѣе публицистъ, чѣмъ философъ, и заботится не столько о достиженіи отвлеченной истины, сколько о практическихъ удобствахъ извѣстнаго вѣрованія.

Замѣчательно, что ослабленіе вѣрованія въ безсмертіе души не измѣнило обрядовъ погребенія. Лукіанъ говоритъ, что въ его время попрежнему клали въ ротъ покойнику оболъ для платы Харону за перевозъ, а между тѣмъ и Харонъ, и Стиксъ, и Церберъ, и самъ Аидъ съ Персефоною давно ушли въ область сказки.

Въ римскомъ мірѣ, еще во времена республики, высказывалось открыто невѣріе въ загробную жизнь. «Тамъ, говоритъ Цезарь, нѣтъ мѣста ни для радости, ни для заботы». «Недавно, говоритъ черезъ нѣсколько времени Катонъ, Кай Цезарь въ этомъ собраніи вѣрно и прекрасно разсуждалъ о жизни и смерти; онъ объявилъ, и я съ нимъ вполнѣ согласенъ, что о преисподней разсказываютъ нелѣпости, будто тамъ злые отдѣлены отъ добрыхъ и обитаютъ въ страшныхъ, безплодныхъ, дикихъ и отвратительныхъ мѣстахъ». Эти слова произносились въ Сенатѣ, а сенатскія вѣдомости читались тогда всѣми, стало быть, Катонъ и Цезарь говорили передъ всѣмъ римскимъ народомъ и не боялись своими религіозными мнѣніями повредить своей популярности. Филонъ Александрійскій, писатель 1-го вѣка по Р. Хр., жалуется на размноженіе пантеистовъ и атеистовъ. «Мальчики даже не вѣрятъ, говоритъ Ювеналъ, въ существованіе какихъ-то мановъ и подземнаго царства, и кота (вѣроятно собака Церберъ превращена для насмѣшки въ кошку), и черныхъ лягушекъ въ стигійскомъ болотѣ». «Лови день» (Carpe diem), говоритъ Горацій, и вообще всѣ лирики совѣтуютъ наслаждаться жизнью, пока живется, и вспоминая о смерти, находятъ въ ея грозномъ призракѣ лишнюю побудительную причину для дѣятельнаго участія къ жизненномъ пирѣ. Эта философія была всякому по плечу; человѣкъ убѣжденный въ неизбѣжности уничтоженія, видѣлъ въ ней разумное отношеніе къ случайному дару жизни, доставшемуся на время; человѣкъ, ни въ чемъ не убѣжденный и ни о чемъ не мыслившій, увлекался роскошью картинъ, жизненностью образовъ, обаяніемъ беззаботности и наконецъ безграничной свободой, открывавшейся для чувственности при такомъ взглядѣ на вещи.

Любимые поэты читались въ Римѣ почти всѣми; сочиненія ихъ расходились въ огромномъ количествѣ экземпляровъ, и, можетъ быть, ихъ вліянію на массу должно отчасти приписать господство эпикуреизма между такими людьми, которые собственными силами не могли бы выработать себѣ никакого міросозерцанія. Этотъ эпикуреизмъ имѣлъ мало общаго съ ученіемъ, развитымъ въ стихотвореніи Лукреція. О природѣ и естественныхъ причинахъ бытія эти доморощенные эпикурейцы не заботились. По ихъ мнѣнію, вся философія состояла въ наслажденіи минутою. Эта удобпая и общепонятная философія выра-

жается между прочимъ въ надписяхъ надъ гробницами. «Что съѣлъ и выпилъ, говоритъ надпись, то со мною; что я оставилъ, то потерялъ».—«Читатель, говоритъ другая, наслаждайся жизнью; послѣ смерти нѣтъ ни смѣха, ни игры, ни сладострастія».—«Друзья, совѣтуетъ третья, повѣрьте мнѣ, смѣшайте кубокъ вина и пейте его, увѣнчавъ голову цвѣтами; послѣ смерти все пожирается огнемъ и землею».

Съ инымъ настроеніемъ отвергали безсмертіе души Плиній Старшій и Сенека. Убѣжденіе подобныхъ людей нельзя не уважать, хотя и нельзя раздѣлять. Напротивъ, исповѣданіе вѣры мелкихъ скептиковъ, составлявшихъ выписанныя эпитафіи, возбуждаетъ только презрѣніе. Они играютъ идеею уничтоженія, радуются ей, и эта идея какъ-будто снимаетъ съ нихъ тяжелое бремя. Для такихъ людей страхъ составляетъ самую крѣпкую узду и самую надежную опору нравственности. Но узда разорвалась, опора подгнила, рухнула, и начинается сплошная оргія, грязный разгулъ чувственности, въ которыхъ глохнутъ лучшіе инстинкты человѣчества. Дешевый скептицизмъ, дикое суевѣріе и животная чувственность составляютъ три главные момента нравственной жизни человѣка временъ имперіи; эти три момента опираются другъ на друга, тѣсно связаны между собою и часто совмѣщаются въ одно время въ одной личности или господствуютъ надъ нею, поочередно смѣняя другъ друга. Жрецы государственной религіи и иноземныхъ культовъ находили свою выгоду въ этихъ трехъ свойствахъ своихъ современниковъ и потому довольно искусно заботились о ихъ поддержаніи. Скептицизмъ не былъ имъ опасенъ; они видѣли, что человѣкъ, не видѣвшій ничего впереди себя, тѣмъ болѣе дорожитъ земными благами и потому наравнѣ съ прочими вѣритъ въ гаданія, въ предзнаменованія и оракулы, и приноситъ болѣе или менѣе богатые дары и жертвы. Скептицизмъ толпы, т. е. отсутствіе твердаго убѣжденія и самостоятельнаго взгляда, былъ жрецамъ полезенъ, какъ почва для суевѣрій.

Отъ обширнаго политическаго вліянія жрецы уже давно отказались и въ Римѣ, и въ Греціи, и даже въ Египтѣ; они довольствовались мелкимъ вліяніемъ на домашнюю жизнь и часто брали окупъ съ своихъ поклонниковъ; жрецу было пріятно втереться въ довѣріе значительнаго лица, давать ему совѣты, пользоваться его уваженіемъ и щедростью; но положеніе Арнуфиса, совѣтника Марка Аврелія, и Александра Авонотихита, царившаго надъ переднею Азіею, составляетъ рѣдкія исключенія; большинство жрецовъ довольствовались тѣмъ, если въ ихъ храмахъ курились жертвы и стекалась толпа вѣрующихъ просителей, если ихъ уважали богатыя матроны и, слушаясь ихъ совѣтовъ, не жалѣли денегъ. Для достиженія этихъ мелкихъ цѣлей нужно было употреблять мелкія средства. Твердая увѣренность въ словахъ и движеніяхъ, выставленіе на показъ религіознаго воодушевленія и строгости нравовъ, таинственная двусмысленность предсказаній, порою какое-нибудь чудо, чтобы подогрѣть усердіе и вѣру поклонниковъ, — вотъ средства, которыми держались языческіе жрецы. Смѣшно припомнить, какими ребяческими фокусами Александръ Авонотихитъ въ продолженіе десятковъ лѣтъ обманывалъ и держалъ въ повиновеніи почти весь образованный міръ; ни эпикурейцы, ни христіане не могли сбить его съ пьедестала; онъ прямо выгонялъ изъ своего святилища всѣхъ невѣрующихъ, чтобы тѣмъ удобнѣе обманывать вѣрующихъ. Онъ возглашалъ при началѣ мистерій своихъ: «прочь христіанъ»; народъ кричалъ: «прочь эпикурейцевъ»; подозрительныхъ людей выгоняли силою, и прорицатель остался прорицателемъ до самой смерти. Шарлатанъ оставилъ свое имя во всемірной исторіи наряду съ правителями, философами и поэтами; у жрецовъ было много средствъ дѣйствовать на воображеніе толпы и подогрѣвать ея суевѣріе. Жрецы обладали многими медицинскими секретами, и цѣлебная сила ихъ средствъ увеличивалась вѣрующимъ настроеніемъ паціентовъ, обращавшихся къ ихъ помощи. Чудесныя исцѣленія, производившіяся въ храмахъ Эскулапа, Сераписа и Изиды, могли не быть шарлатанствомъ; они объясняются очень просто и естественно, и, конечно, девять десятыхъ употреблявшихся при нихъ церемоній были не нужны и имѣли цѣлью подѣйствовать на воображеніе посѣтителей. Кромѣ медицинскихъ свѣдѣній жрецы обладали немногими знаніями изъ опытной физики и химіи. Все дѣло было въ господствовавшемъ настроеніи массы; то, что теперь показалось бы простымъ фокусомъ даже людямъ, не понимающимъ его устройства, то казалось грекамъ и римлянамъ чудомъ. Жрецы даже боялись писать о своихъ продѣлкахъ; до насъ однако дошли Pneumatica Герона, жившаго въ половинѣ II вѣка до Р. Х.

Эта любопытная книга заключаетъ въ себѣ наставленія и рецепты, какъ дѣлать въ храмахъ чудеса. Тутъ читатель узнаетъ, что при особенномъ устройствѣ храма зажиганіе огня на алтарѣ растворяетъ двери, а погашеніе его запираетъ ихъ; можно сдѣлать и такъ, что если зажечь огонь, то двѣ статуи, стоящія у жертвенника, сдѣлаютъ возліяніе, и при этомъ зашипитъ змѣя; при раствореніи дверей храма можетъ раздаваться звукъ трубы; словомъ, разныя огненныя явленія, таинственные звуки, громъ и молнія, явленіе духовъ и тѣней, странные голоса— все было въ распоряженіи жрецовъ и могло по ихъ желанію потрясать воображеніе и нервы молящихся. Если нужно было сдѣлать чудесное исцѣленіе и поразить всѣхъ зрителей эффектною сценою, то нетрудно было это устроить. Стоило нанять какого-нибудь бѣдняка, и онъ за ничтожную плату соглашался прикинуться хромымъ,

слѣпымъ, сухорукимъ, и потомъ въ данную минуту, на глазахъ цѣлаго города, прозрѣвалъ и исцѣлялся. Бывали и періодическія чудеса, происходившія каждый годъ. Въ Элеѣ три пустые котла запечатывались при всѣхъ гражданахъ и ставились въ храмъ; на другой день печать оказывалась нетронутою; ее вскрывали и въ котлахъ оказывалось вино, налитое Діонисомъ. На островѣ Андросѣ въ праздникъ Діониса текъ изъ храма ручей вина. Всѣ эти фокусы требовали конечно издержекъ, но они съ лихвою окупались пріобрѣтаемымъ вліяніемъ.

Въ разсказѣ о Паулинѣ и Мундѣ видно, до какой степени простиралось въ лучшихъ людяхъ того времени довѣріе къ жрецамъ. Паулина, не отказавшая въ собственномъ тѣлѣ, конечно не отказывала въ деньгахъ; рядомъ съ этимъ разсказомъ можно поставить другой, не менѣе характеристичный. Въ Александріи жрецъ Сатурна, Тироинъ, объявилъ, что его богъ желаетъ, чтобы нѣкоторыя названныя имъ женщины проводили ночь въ храмѣ. Онъ назвалъ замѣчательнѣйшихъ красавицъ города, и мужья этихъ дамъ не оказали ни малѣйшаго сопротивленія. Вступая въ храмъ, избранная красавица видѣла только статую бога и съ полною вѣрою занимала приготовленное ложе. По особенному механизму лампы гасли, изъ пустой статуи выходилъ жрецъ, а суевѣрная дама принимала его за воплощеніе бога и поступала сообразно съ этимъ вѣрованіемъ. И это, какъ видно по разсказу Руфина, не было случайностью, единичнымъ обманомъ; та же штука повторялась всякій разъ, какъ того желалъ жрецъ.

Объ астрологіи, о магіи и ея видоизмѣненіяхъ скажу коротко. Въ ихъ дѣйствительное существованіе вѣрили даже христіанскіе писатели. Евсевій не отвергаетъ чудесъ Аполлонія Тіанскаго и только выводитъ ихъ изъ нечистаго источника и полагаетъ, что онъ дѣйствовалъ чародѣяніями, при помощи дьявола. Масса языческаго народа была тѣмъ болѣе расположена вѣрить въ возможность магіи, что характеръ самой религіи не позволялъ провести раздѣлительную черту между молитвой и заклинаніемъ. Боги язычества были обоготворенныя силы природы, подчиненныя извѣстнымъ законамъ; хотя это представленіе почти утратилось въ греко-римскомъ мірѣ подъ вліяніемъ антропоморфизма, выработаннаго поэзіею, однако оно сохранило свою силу въ томъ отношеніи, что за людьми признавалась способность подчинять себѣ волю боговъ при помощи извѣстныхъ обрядовъ и заклинаній, которымъ боги не могли сопротивляться. Молитва въ римской религіи не требовала никакого внутренняго усердія; нужно было исполнить точно форму, и тогда божество должно было удовлетворить требованію молящагося.

Плиній разсказываетъ, что высшіе сановники при религіозныхъ актахъ приказывали читать молитвенную формулу по богослужебной книгѣ; жрецъ долженъ былъ, во избѣжаніе ошибки, повторять за чтецомъ каждое слово; другой жрецъ долженъ былъ наблюдать за сохраненіемъ молчанія между присутствующими; сверхъ того, при чтеніи молитвы играли на флейтѣ, чтобы заглушить всякій посторонній звукъ, способный предвѣщать несчастье. При молитвѣ римлянинъ покрывалъ себѣ голову и зажималъ уши, чтобы никакой посторонній звукъ не помѣшалъ дѣйствительности молитвенныхъ словъ. Нѣкоторые обряды, которымъ придавали очень важное значеніе, носятъ на себѣ чисто магическій характеръ; когда городъ находился въ опасности, когда государству угрожали враги, то диктаторъ, назначенный собственно для этой цѣли, вбивалъ гвоздь въ стѣну храма Юпитера капитолійскаго.

Со временъ Сципіоновъ, этотъ обычай былъ оставленъ, вѣроятно потому, что былъ слишкомъ простъ и не соотвѣтствовалъ всѣмъ остальнымъ роскошнымъ формамъ богослуженія. Во всякомъ случаѣ, этотъ обрядъ вбиванія гвоздя представляетъ чисто магическій характеръ. Знакомство римлянъ съ иностранными культами могло только содѣйствовать развитію магіи. У грековъ магическіе обряды были связаны съ культомъ подземныхъ боговъ, которымъ служили демоны. Геката была спеціальною покровительницею волшебства, и ея обожаніе связано съ безчисленнымъ множествомъ заклинаній и фантастическихъ формальностей. Служеніе и мистеріи фригійской матери боговъ были проникнуты колдовствомъ. Ассирійскіе халдеи уже съ незапамятныхъ временъ примѣшали къ своему сабеизму элементъ астрологіи. Представляя себѣ свѣтила живыми существами, одаренными роковой силой, они старались узнавать свойства ихъ вліянія на людскіе интересы, старались даже по возможности управлять этимъ вліяніемъ и успѣли увѣрить согражданъ въ своихъ обширныхъ свѣдѣніяхъ и въ своемъ могуществѣ. Въ Вавилоніи и Ассиріи былъ обычай носить амулеты, въ которыхъ, по понятіямъ народа, сосредоточивалась спасительная сила извѣстныхъ звѣздъ.

Древняя философія не мѣшала развитію астрологіи и магіи. Платонъ считаетъ звѣзды божественными существами, одаренными высшимъ разумомъ и значительной силой. Аристотель говоритъ, что свѣтила обладаютъ высшею и божественною душою и имѣютъ несомнѣнное вліяніе на землю, находящуюся въ центрѣ мірозданія. Даже пантеистическій матеріализмъ стоиковъ допускалъ, что звѣзды, какъ части мірового бога, должны въ свою очередь считаться богами и посредствомъ своихъ движеній управлять судьбою низшихъ существъ. Полный атеизмъ системы Эпикура исключалъ конечно вмѣшательство всякой высшей силы въ дѣла людей, но большинство его послѣдователей проводили только его ученіе въ жизнь и, не за-

ботясь ни о научномъ его расширеніи, ни о пропагандѣ, не могли искоренить въ массахъ вѣру въ магію и астрологію. Такимъ образомъ въ Римѣ было множество матеріаловъ для развитія волшебства; духъ религіи и философіи содѣйствовалъ его процвѣтанію; суевѣрное настроеніе народа съ жадностью воспринимало все таинственное и чудесное. Во вседневной жизни представлялось множество случаевъ, въ которыхъ необходимо было или узнать будущее, или измѣнить въ свою пользу естественное теченіе событій. Если женщинѣ нужно было приковать къ себѣ вѣтренаго мужа или любовника, она добывала любовный напитокъ *philtrum*, приготовлявшійся съ разными магическими церемоніями. Если дряхлому старику нужно было искусственнымъ образомъ поддержать гаснущія страсти, онъ обращался къ медицинскому колдовству. Если нужно было извести врага,—и за этимъ дѣломъ обращались къ различнымъ заклинаніямъ. Тиверія обвиняли въ томъ, что онъ такими чарами убилъ Германика, и въ его домѣ подъ половицами были найдены полусгнившіе остатки труповъ, обгорѣлыя и кровавыя кости и свинцовыя доски, на которыхъ рядомъ съ именемъ Германика были написаны разныя проклятія и таинственныя изреченія. При магическихъ церемоніяхъ часто требовались человѣческія жертвы; при развитіи рабства, этимъ потребностямъ удовлетворять было нетрудно, и владѣтель, нисколько не задумываясь, могъ рѣзать въ своихъ мистеріяхъ и взрослыхъ, и дѣтей; до исчезновенія раба ни государству, ни закону не было дѣла. Цицеронъ говорилъ въ глаза Ватинію: «Ты вызываешь духовъ усопшихъ и приносишь въ жертву подземнымъ богамъ внутренности дѣтей». Ювеналъ говоритъ о коммагенскомъ аруспиціи: «онъ разсматриваетъ грудь цыпленка, кишки щенка, а порою и внутренности мальчиковъ».

Существовалъ также обычай при важныхъ заклинаніяхъ вырѣзывать незрѣлый плодъ изъ живота беременной женщины. Послѣ смерти императора Юліана нашли въ одномъ храмѣ, въ которомъ онъ совершалъ тайны жертвоприношенія, мертвую женщину; она была повѣшена за волосы, и животъ ея былъ взрѣзанъ. Магія подавала поводъ ко многимъ злодѣяніямъ и по цѣлямъ, къ которымъ она стремилась, и по средствамъ, которыя она употребляла. Правительство не разъ пробовало выгонять астрологовъ и математиковъ, но здѣсь, какъ и всюдѣ, попытки правительства не могли искоренить зла, лежавшаго глубоко въ народныхъ вѣрованіяхъ и удовлетворявшаго насущнымъ потребностямъ массы. Тиверій удалилъ магиковъ изъ Италіи, сбросилъ со скалы математика Питуанія, а самъ постоянно держалъ при себѣ астролога Тразилла и, на основаніи его наставленій, предсказалъ Гальбѣ, что онъ будетъ императоромъ. Высшія формы магіи были некромантія, или вызываніе духовъ, и теургія, или вызываніе боговъ; въ ту и въ другую крѣпко вѣрили новоплатоники, въ ученіи которыхъ перемѣшались результаты строгаго мышленія и созданія болѣзненной фантазіи, вѣрованія Запада и Востока, словомъ — почти все, что выработала языческая цивилизація. — Легковѣріемъ народа и его стремленіемъ къ сверхчувственному міру пользовались такимъ образомъ и жрецы, и магики, и астрологи, и простые шарлатаны. Даже люди простого званія, нищіе и рабы успѣвали поживиться отъ суевѣрія массы. Кругомъ храмовъ бродили цѣлыя кучи одержимыхъ божествомъ; немытые, нечесанные, они смотрѣли дикимъ взоромъ на проходящихъ, вертѣли члены, закидывали голову и приходили въ состояніе полнаго бѣшенства, причемъ произносили отрывистыя слова и предсказывали будущее. Этихъ людей было такъ много, что для нихъ существовало даже особенное имя, по-гречески *теолептики*, по-латыни *fanatici* (fanum — храмъ). Римскіе юристы разбирали даже вопросъ: если проданный рабъ окажется фанатикомъ, закидывающимъ голову и предсказывающимъ будущее, то составляетъ-ли такой скрытый порокъ достаточную причину для уничтоженія торга. Изъ этого ясно, что, во 1-ыхъ, рабы любили предаваться этому выгодному и нетрудному занятію, и что, во 2-хъ, фанатиковъ (въ спеціальномъ смыслѣ) было такъ много, что на это явленіе пришлось обратить вниманіе закона.

Какое общее заключеніе можно сдѣлать изъ этого очерка языческихъ религій? То, мнѣ кажется, что реформа была необходима. Каждый мыслящій и честный человѣкъ видѣлъ, что положеніе дѣлъ во всѣхъ отношеніяхъ было изъ рукъ вонъ плохо. Религія истощила свои живыя силы; самые завѣтные догматы были подорваны въ общественномъ мнѣніи; въ промыслъ и въ безсмертіе души не вѣрили; нравственность не поддерживалась ни страхомъ, ни надеждою, а къ безкорыстной нравственности способны немногіе; что осталось изъ религіи, то было вредно; а остались сладострастные миѳы и безнравственныя мистеріи, развращавшія юношество и поощрявшія всякаго рода чувственныя желанія; кровосмѣсители опирались на примѣры Зевса, бывшаго любовникомъ матери (Деметры), сестры (Геры) и дочери (Прозерпины); многіе любовались на Зевса и Ганимеда; соблазнители дѣвушекъ и дѣвушки приноминали Данаю, Европу и Леду; воры приносили жертвы Гермесу; публичныя женщины становились подъ покровительство Аѳродиты. Догматы были подорваны, а обряды только усилились; суевѣріе притупило умъ народа, стѣснило творческую фантазію и превратило антропоморфизмъ въ бездушный и безсмысленный фетишизмъ. Религіозное чувство, послѣднее убѣжище народа, выдохлось; остались формы, и, сдавленное ими, мельчало и тупѣло вы-

ростaвшее поколѣніе. На это печальное положеніе дѣлъ не могли смотрѣть равнодушно мыслители. Они жили съ народомъ въ совершенно различныхъ сферахъ; ихъ не слыхалъ народъ; многіе гнушались имъ, и не безъ причины; если и случалось народу поймать на-лету философскую мысль, онъ коверкалъ ее такъ, что отъ нея отступился бы самъ творецъ ея... Нуженъ былъ и здѣсь, еще болѣе нежели въ государственной жизни, практическій реформаторъ, любящій «малыхъ сихъ», знающій ихъ нужды, не пренебрегающій ихъ умственной нищетою, пережившій на себѣ ихъ мелкія горести, ихъ обыденныя страданія, на которыя такъ гордо смотрѣлъ съ высоты мысли и стоикъ, и эпикуреецъ. Нужна была любовь; нужно было мягкое сердце; нужна была горячая голова, способная воспламенить другихъ и вызвать ихъ силою изъ нравственнаго униженія.

VIII.

Философы стояли въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ въ отношеніи къ миѳамъ и къ народному богопочитанію. Всѣ они сходились между собою на томъ, что считали настоящее положеніе дѣлъ невыносимымъ и предлагали средства для исправленія народной логики и народной нравственности. Въ предлагаемыхъ средствахъ замѣчается самое пестрое разнообразіе. Одна сторона откинула всякую религію и въ религіозномъ чувствѣ видитъ корень всѣхъ современныхъ заблужденій; другая оплакиваетъ упадокъ религіознаго чувства и хочетъ реформировать господствующую религію, вдохнуть новую жизнь и здоровый разумъ въ одряхлѣвшія и обезсмысленныя формы. Мыслители, стоящіе по срединѣ, развиваютъ свое нравственное ученіе, не заботясь о томъ, чтобы привести его въ какія бы то ни было отношенія съ существующимъ порядкомъ вещей. Они далеки отъ полемическаго характера первыхъ и аналогическаго характера вторыхъ; они равнодушны ко всему, что̀ дѣлается внѣ ихъ мыслящей личности, и возводятъ это равнодушіе въ теорію. Они самостоятельнымъ путемъ доходятъ до восточнаго квіетизма, и только легкая иронія, съ которою они относятся къ явленіямъ современности, доказываетъ, что самоуглубленіе индѣйскаго іоги не въ духѣ западнаго европейца.

Всѣ очерченныя мною группы мыслителей, невѣрующіе эпикурейцы и скептики, вѣрующіе платоники и пиѳагорейцы и равнодушные стоики-эклектики, отличаются практическимъ направленіемъ своихъ ученій. Чтобы охарактеризовать ихъ ученіе, необходимо бросить взглядъ назадъ, на цвѣтущее время эллинизма. Не вдаваясь въ историческое изложеніе развитія греческой философіи, я ограничусь тѣмъ, что въ самыхъ краткихъ чертахъ обозначу характеръ тѣхъ трехъ направленій, которыя развивались и видоизмѣнялись въ разсматриваемую мною эпоху. Платонъ, Эпикуръ и Зенонъ стоятъ во главѣ этихъ трехъ ученій. Говорить подробно о Платонѣ я считаю лишнимъ, потому что общій характеръ его ученія изложенъ уже былъ мною читателямъ въ статьѣ «Идеализмъ Платона». Поэтому я прямо перехожу къ результатамъ его философіи. Философія Платона похожа болѣе на религію, чѣмъ на научную систему. Односторонность замѣчается преимущественно въ воззрѣніи мыслителя на человѣческую душу. Только мысли дано право гражданства. Чувство, фантазія— вовсе исключены; ихъ надо давить и искоренять. Принимая матерію за зло, считая тѣло тюрьмою души, Платонъ совершенно уничтожаетъ эстетическое чувство; кто уважаетъ *только* вѣрность идеи, тотъ не способенъ цѣнить красоту формы и пластичность образа. Свободное творчество и свободная критика должны быть чужды идеальному человѣку Платона. Для свободнаго творчества нужна фантазія, а всякая примѣсь къ божественному разуму оскверняетъ его, по мнѣнію Платона, и должна быть выбрасываема; стало быть, и фантазія, показывающая идею въ образѣ, вредитъ и мѣшаетъ созерцанію истины. Свободная критика ведетъ къ сомнѣніямъ и къ индивидуальнымъ воззрѣніямъ, а то и другое, по ученію философа, предосудительно, потому что первое разрушаетъ спокойное созерцаніе, а второе — придаетъ этому созерцанію своеобразную форму; гдѣ нѣтъ ни свободнаго творчества, ни свободной критики, тамъ нѣтъ жизни мысли. Самъ Платонъ создалъ свою философскую систему при помощи фантазіи и критики. Желая превратить остальное человѣчество въ конгрегацію вѣрующихъ адептовъ, онъ, подобно Аристотелю, стираетъ личность, отвергаетъ историческій прогрессъ и является поборникомъ самаго возмутительнаго деспотизма, какого испугался бы онъ самъ въ дѣйствительности.

IX.

Ученіе, діаметрально противоположное платонизму, развилъ Эпикуръ (340—270 до Р. Х.). Принимая свидѣтельство нашихъ чувствъ за единственный достовѣрный источникъ знанія, Эпикуръ не строитъ никакой теоріи; о мірозданіи онъ знаетъ только то, что все сложилось само собою, по внутренней необходимости, безъ вмѣшательства боговъ и высшихъ безтѣлесныхъ существъ. Какъ все это сложилось, Эпикуръ объясняетъ гипотезою, не придавая ей значительной важности. Все въ природѣ, по мнѣнію Эпикура, безцѣльно, случайно и между тѣмъ основано на естественной связи причины и слѣдствія. Все ученіе имѣетъ практическое направленіе. Эпикуръ хочетъ уничтожить суевѣріе и понимаетъ подъ этимъ именемъ идею божества и про-

мысла. Для этого онъ доказываетъ безцѣльность созданія и отсутствіе того мірового разума, который Платонъ воплотилъ въ личности диміурга. Не отходя ни на шагъ отъ міра видимыхъ явленій, Эпикуръ на непосредственномъ наблюденіи физическихъ законовъ строитъ свою гипотезу о происхожденіи міра. Онъ принимаетъ вѣчность матеріи, потому что ничто въ мірѣ не уничтожается и не возникаетъ изъ ничего; согласно съ новѣйшей теоріей, Эпикуръ полагаетъ, что всѣ тѣла состоятъ изъ атомовъ; эти атомы, по его мнѣнію, носились въ пространствѣ, потомъ, сталкиваясь между собою, приходили въ вращательное движеніе, образовали тѣла и принимали разныя свойства, какъ-то: цвѣтъ, форму и теплоту. Атомы вѣчны; соединенія ихъ между собою временны. На постоянномъ ихъ переходѣ изъ одной формы въ другую основано кругообращеніе матеріи, явленія рожденія и смерти, развитія и размноженія. Душа человѣка, по мнѣнію Эпикура, состоитъ изъ тончайшихъ атомовъ, не имѣющихъ даже ощутительнаго вѣса. Эти атомы распространены по всему тѣлу, а тѣ, въ которыхъ заключается сила мышленія и чувства, живутъ въ груди. При разрушеніи тѣла, атомы души мгновенно разлетаются, и такимъ образомъ прекращается сознаніе и уничтожается личность. Это воззрѣніе эпикурейцы считаютъ очень утѣшительнымъ, потому что оно избавляетъ отъ вѣры въ ужасы преисподней. Эпикуръ принимаетъ совершенную свободу воли и отвергаетъ предопредѣленіе и фатализмъ. Развитіе отдѣльнаго человѣка и всего человѣчества онъ объясняетъ естественною связью причины и слѣдствія.

Къ народной религіи Лукрецій относится такъ: «Подавленная тяжелымъ культомъ, человѣческая жизнь лежала во прахѣ; религія, возвышаясь надъ смертными, показывала съ неба страшную голову, наполнявшую ихъ ужасомъ. Смертный грекъ первый рѣшился взглянуть ей въ глаза и выступить ея противникомъ. Ни храмы боговъ, ни молніи, ни грозный ропотъ неба не остановили его; напротивъ отъ этого возрастало его мужество и усиливалось желаніе первому сбить запоры съ затворенныхъ дверей природы. Живая сила духа превозмогла; онъ вышелъ за пламенѣющіе предѣлы міра и работою мысли измѣрилъ все необъятное. И вотъ побѣдитель разсказываетъ намъ, что̀ можетъ случиться и что̀ невозможно; онъ говоритъ намъ, что каждая сила получаетъ опредѣленныя границы, выше которыхъ не могутъ распространяться ея дѣйствія. И теперь религія въ свою очередь побѣждена и брошена подъ ноги; насъ побѣда возноситъ до неба. Я боюсь, ты упрекнешь меня, что я ввожу тебя въ школу безбожія и ставлю на путь преступленія. Напротивъ, эта религія гораздо чаще порождала зло и несчастіе. Вспомни, какъ ужасно избранные вожди Данаевъ, лучшіе люди, въ Авлидѣ обагрили кровью Ифигеніи жертвенникъ Артемиды. Жертвенная повязка покрыла дѣвическій уборъ; убитый горемъ, отецъ стоялъ у жертвенника, жрецы скрывали отъ него роковое желѣзо; глядя на него, граждане проливали слезы, и дѣва, онѣмѣвши отъ страха, упала на колѣни и лишилась чувствъ. И не спасло несчастную то, что она была старшая дочь короля, что она первая назвала его именемъ отца. Ее подняли люди и дрожащую понесли на рукахъ къ жертвеннику; не на бракъ ее вели, не къ знатному жениху; ее, невинную дѣву, въ самый день свадьбы, родной отецъ собирается зарѣзать на алтарѣ, чтобы флотъ дошелъ счастливо съ попутнымъ вѣтромъ; вотъ сколько бѣдствій могла причинить религія».

Это мѣсто Лукреція указываетъ на двѣ черты эпикурейскаго міросозерцанія. Во-первыхъ, Лукрецій не отличаетъ религію отъ суевѣрія и отвергаетъ внутреннія основы религіознаго чувства, полагая, что изученіе природы подрываетъ всякое благоговѣніе. Во-вторыхъ, онъ преслѣдуетъ въ религіи не столько внутреннюю нелогичность, которую онъ въ ней подозрѣваетъ, сколько безнравственность, которую влечетъ за собой духъ греческаго религіознаго міросозерцанія. Стало быть, первая черта указываетъ на обширность эпикурейскаго отрицанія, а вторая на практическое направленіе этого отрицанія. Эпикуреизмъ почти не отдѣляетъ очищеннаго идеализма Платона и фатализма стоиковъ отъ заблужденій народной религіи. Живое эстетическое чувство влекло одного Эпикура къ созданію идеальныхъ существъ, одаренныхъ всѣми физическими и нравственными совершенствами, вѣчно живущихъ и вѣчно блаженныхъ. Онъ воплотилъ идеалы въ образахъ антропоморфическихъ боговъ, не имѣющихъ ничего общаго ни съ міротвореніемъ, ни съ міроуправленіемъ, ни съ мелкими интересами людей и земли. Свободные отъ заботъ и трудовъ, не волнуемые ни страстями, ни желаніями, они живутъ въ вѣчно свѣтлой и веселой атмосферѣ, въ такъ называемыхъ *интермундіяхъ*, т. е. въ пространствахъ между мірами.

Что̀ особенно отличаетъ философію Эпикура—это полная свобода мысли, не исключающая ни одной способности человѣческой души. Пусть фантазія свободно творитъ свои образы, пусть чувство манитъ къ такимъ представленіямъ, которыя непонятны трезвому критическому уму, Эпикуръ не отвергаетъ этихъ причудливыхъ, но прелестныхъ созданій. Онъ только не даетъ имъ практическаго значенія, не позволяетъ основать на нихъ теорію міроздания, но признаетъ ихъ освѣжающее и живительное вліяніе на личность художника и человѣка. Если припомнить сужденія Платона и Аристотеля о грекахъ и о варварахъ, если припомнить далѣе, что Платонъ предлагалъ въ своей республикѣ ввести коммунизмъ женъ, а Аристотель подвергалъ сомнѣнію

существованіе добродѣтели у женщины, то изъ этихъ данныхъ можно вывести заключеніе, что личность человѣка въ системѣ Эпикура пользуется такимъ уваженіемъ и такою свободою, какихъ не знала до него классическая древность.

Боги у Эпикура существуютъ какъ свободныя созданія фантазіи и не связываютъ людей никакими практическими обязательствами. Такъ какъ въ жизни люди съ ними не сталкиваются, а послѣ смерти человѣческая личность уничтожается, то представленіе этихъ боговъ совершенно ужимается съ Эпикуровымъ атеизмомъ. Нравственная философія его по своему духу находится въ органической связи съ его понятіями о богахъ и ихъ отношеніи къ людямъ. Въ ней проводится та мысль, что благо недѣлимыхъ должно быть конечною цѣлью всякой человѣческой дѣятельности. Не признавая закона, даннаго свыше, Эпикуръ считаетъ единственнымъ безусловнымъ добромъ наслажденіе, единственнымъ безусловнымъ зломъ—страданіе. Но всякое положительное наслажденіе основано на удовлетвореніи потребности, слѣдовательно на страданіи, которое должно быть устранено. Поэтому всякое наслажденіе имѣетъ конечною цѣлью уничтоженіе страданія, и потому высшее благо для человѣка есть душевное спокойствіе и тѣлесное довольство, происходящее отъ удовлетворенія всѣхъ потребностей. Чѣмъ малочисленнѣе эти потребности, чѣмъ онѣ скромнѣе, тѣмъ легче могутъ онѣ быть удовлетворены, и потому тѣмъ достижимѣе идеалъ блаженства.

По мнѣнію Эпикура, пишетъ Целлеръ, «не пьянство и пиры, не любовь къ женщинамъ, не удовольствія стола дѣлаютъ жизнь пріятною, а трезвый умъ, изслѣдующій причины нашей дѣятельности и нашихъ стремленій, и прогоняющій величайшихъ враговъ нашего спокойствія—предразсудки». Наслажденія и страданія души, по мнѣнію Эпикура, сильнѣе физическаго удовольствія и физической боли; въ первомъ случаѣ мы испытываемъ посредствомъ воспоминанія прошедшія, а посредствомъ страха или надежды будущія горести и радости, которыя усиливаютъ впечатлѣнія настоящей минуты. Во второмъ мы переживаемъ только въ настоящемъ ощущенія боли или удовольствія, и состояніе души, воспоминающей о прошедшемъ, смотрящей въ будущее и наслаждающейся созерцаніемъ мысли, можетъ заглушать или ослаблять страданія тѣла.

Впрочемъ Эпикуръ нигдѣ не высказываетъ стоическаго презрѣнія къ страданію; онъ утѣшаетъ страждущихъ болѣе доступной идеей: «сильныя страданія, говоритъ онъ, продолжаются недолго, а при посредственныхъ страданіяхъ можетъ быть наслажденіе, до нѣкоторой степени заглушающее и перевѣшивающее боль». Эпикуръ не отдѣляетъ блаженства отъ добродѣтели, но говоритъ, что не добродѣтель сама по себѣ дѣлаетъ человѣка счастливымъ, а то наслажденіе, которое изъ нея выходитъ. Добродѣтель не составляетъ для него цѣли, это только средство достигнуть блаженной жизни, но зато онъ считаетъ это средство вѣрнымъ и необходимымъ. Мудрецъ Эпикура стоитъ выше страданія, но не требуетъ этого отъ другихъ людей, и потому способенъ чувствовать жалость, хотя это чувство не должно мѣшать его философской дѣятельности; онъ не презираетъ наслажденія, но управляетъ своими чувственными стремленіями и, умѣряя ихъ силою мысли, не позволяетъ имъ оказывать вредное вліяніе на его жизнь. Мудрецъ стоитъ выше обстоятельствъ и можетъ быть счастливъ во всякомъ положеніи. «У Эпикура, говоритъ Целлеръ, выразилось стремленіе, общее всѣмъ школамъ послѣ-аристотелевской философіи — дать человѣку свободу и самостоятельность и сдѣлать его независимымъ отъ всего внѣшняго въ безконечности его мыслящаго самосознанія». Отдѣльныя правила жизни, предписанныя Эпикуромъ, направлены къ тому, чтобы умѣрить страсти и похоти и такимъ образомъ привести человѣка къ полному довольству собою и жизнью. Внутреннее спокойствіе составляетъ счастье мудреца, котораго не отнимутъ у него ни бѣдность, ни знатность; естественнымъ потребностямъ удовлетворить не трудно, а отъ удобствъ, составляющихъ роскошь жизни, мудрецъ не отказывается, но не ставитъ отъ нихъ въ зависимость свое внутреннее довольство. Не подавляя чувственности, Эпикуръ умѣряетъ и ограничиваетъ ее. Мудрецъ не долженъ жить циникомъ или нищимъ; онъ можетъ наслаждаться всѣми удобствами жизни, всею прелестью изящной обстановки, всѣми оттѣнками пріятныхъ физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ ощущеній; нужно только, чтобы случившаяся потеря этихъ благъ не сдѣлала его несчастнымъ; «его умѣренность, говоритъ Целлеръ, состоитъ не въ томъ, что онъ немногимъ пользуется, а въ томъ, что онъ въ немногомъ нуждается». Циникъ съ умысломъ бросаетъ удобства жизни, эпикуреецъ умѣетъ только при случаѣ обходиться безъ нихъ.

Циники и стоики поносятъ природу человѣка, а эпикурейцы только приводятъ ее въ естественныя границы и даютъ ей разумное направленіе. Эпикуреецъ не боится смерти и рѣшается на самоубійство, если нѣтъ другого средства избавиться отъ невыносимыхъ страданій, напр. если онъ осужденъ на мучительную казнь или боленъ неизлѣчимой тяжкой болѣзнью; но, такъ какъ ни лишенія, ни временная болѣзнь не могутъ помѣшать его внутреннему довольству, та самоубійство возможно только тогда, когда и безъ того предстоитъ за длиннымъ рядомъ страданій неизбѣжная смерть. Короче, эпикуреецъ не ищетъ смерти, но умѣетъ въ случаѣ надобности помириться и съ нею. Онъ постоянно

ищетъ возможно лучшаго и въ то же время довольствуется наличнымъ. Въ немъ соединяется элементъ движенія съ элементомъ спокойствія; это соединеніе по самой сущности своей исключаетъ и тревогу, и апатію.—«Эпикуръ, пишетъ Сенека, одинаково осуждаетъ тѣхъ, кто стремится къ смерти, и тѣхъ, кто ея боится; онъ говоритъ: смѣшно бѣжать къ смерти отъ пресыщенія жизнью, когда родомъ жизни ты самъ сдѣлалъ то, что надо бѣжать къ смерти. Гражданскаго долга Эпикуръ не признаетъ, во-первыхъ, потому, что для него вообще не существуетъ понятія долга, во-вторыхъ потому, что онъ понимаетъ гражданское общество только какъ охранительное учрежденіе, котораго конечная цѣль есть безопасность отдѣльной личности. Должность правительственная дѣлается такимъ образомъ чисто полицейскою, при чемъ въ различныхъ степеняхъ измѣняются только размѣры поприща. Очень понятно, что Эпикуръ предоставляетъ эти должности тѣмъ, кто не можетъ заняться лучшимъ; его мудрецъ составляетъ въ государствѣ охраняемое, а охранителями являются люди менѣе развитые или по крайней мѣрѣ неимѣющіе всеобъемлющаго развитія» Эпикуръ, по словамъ Сенеки, говоритъ: «пусть мудрецъ не приступаетъ къ правительственной дѣятельности, если ничто не принудитъ». Зенонъ говоритъ: «пусть приступитъ, если ничто не помѣшаетъ». Золотая середина, по мнѣнію Эпикура, всего вѣрнѣе ведетъ къ счастью, и обезпеченный частный человѣкъ можетъ быть гораздо спокойнѣе, нежели правитель государства.

Любопытно сравнить воззрѣнія Эпикура на государство съ убѣжденіями В. Гумбольдта, высказанными въ первомъ его политическомъ разсужденіи: «Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen». Мы найдемъ въ томъ и другомъ сильное развитіе индивидуализма и низведеніе государства на степень охранительнаго учрежденія. Эти сходныя мысли даже высказаны въ сходныхъ выраженіяхъ. Ослабляя узы тѣхъ отношеній, въ которыя человѣкъ поставленъ рожденіемъ, какъ гражданинъ государства и какъ членъ семейства, Эпикуръ придаетъ особенно важное значеніе тѣмъ связямъ, которыя основаны на взаимной наклонности. Онъ высоко цѣнитъ дружбу, называетъ ее высшимъ благомъ жизни и говоритъ, что мудрецъ можетъ даже рѣшиться для друга на величайшія страданія и смерть. И это нисколько не противорѣчитъ эгоистическому духу всего ученія; умирая за друга, эпикуреецъ не насилуетъ своей природы: онъ дѣлаетъ это потому, что ему легче умереть, нежели видѣть или знать, что умираетъ или страдаетъ его другъ. — Если прибавить къ этой характеристикѣ эпикуреизма извѣстія о личномъ характерѣ Эпикура, отличавшагося кротостью, любящимъ сердцемъ, преданностью къ друзьямъ и гуманностью къ своимъ рабамъ, то не трудно будетъ убѣдиться, что вся его нравственная философія основана на непосредственномъ чувствѣ и потому носитъ на себѣ характеръ неподдѣльной искренности. Эпикуръ не заботится о томъ, чтобы провести въ своемъ ученіи до конца какую-нибудь идею, онъ руководствуется тѣмъ, что подсказываетъ ему чувство, и потому, если его положенія не всегда вытекаютъ одно изъ другого, то по крайней мѣрѣ всѣ они вытекаютъ изъ одного міросозерцанія, изъ одной человѣческой личности, образъ которой очень отчетливо рисуется во всѣхъ отдѣльныхъ частяхъ ученія. Это ученіе должно было дѣйствовать на различныхъ людей различно, и результаты его вліянія должны были рѣзко отличаться другъ отъ друга, смотря по личному характеру воспринимавшаго его человѣка. Ни одно ученіе не открываетъ такого обширнаго поля свободѣ личности, и потому ни одно ученіе болѣе эпикуреизма не подаетъ повода къ злоупотребленіямъ. Нѣтъ ничего легче, какъ оправдать имъ всякую безнравственность. «Мнѣ это доставляетъ наслажденіе, я такъ и поступлю», говорили многіе порочные люди древности, опираясь на Эпикура, котораго они не понимали или не хотѣли понимать.

Въ Римѣ ученіе Эпикура рано нашло себѣ многочисленныхъ послѣдователей. Замѣчательнѣйшимъ и самымъ талантливымъ толкователемъ Эпикура былъ безспорно Лукрецій. Его знаменитое стихотвореніе о природѣ вещей служитъ главнымъ источникомъ для изученія эпикуровой физики. Послѣ Лукреція Эпикуръ не выдерживаетъ ничьей научной обработки и остается до паденія греко-римскаго міра безъ всякаго измѣненія. Замѣчательно, что эпикуреизмъ не породилъ философскихъ сектъ; кто предавался ему, тотъ предавался всей душою, принималъ все міросозерцаніе учителя и, успокоившись на немъ, проводилъ въ жизнь его совѣты, не заботясь о дальнѣйшей ихъ теоретической разработкѣ. Такимъ замѣчательнымъ эпикурейцемъ былъ Лукіанъ Самосатскій, обсуживавшій съ точки зрѣнія своей школы и осмѣивавшій съ неподражаемымъ остроуміемъ несообразности и грязныя стороны современнаго ему язычества. Дѣятельность этого Вольтера древности была чисто-практическая; въ умозрительныя изслѣдованія онъ не пускался; основывать свое ученіе на новыхъ доказательствахъ, отстаивать его вѣрность и такимъ образомъ доставлять ему вліяніе на массы, онъ считалъ излишнимъ и шелъ къ той же цѣли путемъ отрицанія и ожесточенной полемики съ существующимъ порядкомъ вещей. Если Лукіанъ можетъ быть принятъ за представителя умственныхъ стремленій позднѣйшаго эпикуреизма, то эротическіе поэты, подобные Горацію, Проперцію и Тибуллу, могутъ считаться представителями его нравственныхъ тенденцій, какъ ихъ понимало разлагающееся общество императорскаго Рима.

Горацій въ своихъ сатирахъ приближается къ идеалу эпикурова мудреца; но зато Горацій въ одахъ и эпизодахъ беретъ самую чувствительную сторону этого ученія и, извращая его истинный смыслъ, оскорбляетъ иногда эстетическое чувство читателя своими пѣснями публичнымъ женщинамъ и растлѣннымъ мальчикамъ.

Еще ниже стоятъ въ эстетическомъ и нравственномъ отношеніи Тибуллъ и Проперцій, пѣвцы грязной чувственности. Конечно, если принимать ихъ за представителей эпикуреизма, то можно отъ него отвернуться съ презрѣніемъ. Но даже сама мыслящая древность смотрѣла на эпикурейцевъ иначе и понимала, что эти неглубокіе дилетанты, несмотря на обширное вліяніе свое на толпу читателей, не могутъ быть поборниками философскаго ученія. Ни Цицеронъ, ни строгій стоикъ Сенека не любили эпикуреизма, а между тѣмъ оба они сознаются, что современные имъ послѣдователи Эпикура были большей частью честные люди, дорожившіе жизнью мысли и понимавшіе безкорыстную и искреннюю дружбу. Я больше не возвращусь къ эпикуреизму и потому выставлю здѣсь выдающіяся черты его вліянія на нравственность и его отношенія къ народной религіи. Онъ поощрялъ развитіе чувственности въ неразвитыхъ людяхъ, не бывшихъ въ состояніи подняться на высоту философской мысли. Онъ избавлялъ отъ страха загробныхъ наказаній и снималъ такимъ образомъ послѣднюю узду съ животныхъ страстей человѣка. Людей съ тонкимъ умомъ и развитымъ эстетическимъ чувствомъ онъ приводилъ къ сладкому спокойствію, и потому не было примѣровъ, чтобы эпикуреецъ сдѣлался эклектикомъ или приверженцемъ другого ученія.Съ религіей вообще онъ былъ въ открытой и непримиримой враждѣ и потому не могъ имѣть на народъ никакого вліянія. Вѣрующіе язычники ненавидѣли эпикурейцевъ наравнѣ съ христіанами и выгоняли ихъ, какъ безбожниковъ, изъ храмовъ и мистерій.— Несравненно большимъ вліяніемъ пользовались поэты, разработывавшіе по своему нравственное ученіе Эпикура. Тѣ не касались личностей боговъ, не преслѣдовали суевѣрія, а только подрывали отвлеченные догматы, которыми не особенно дорожилъ народъ. Къ тому-же, когда протестъ противъ религіи выражался въ заманчивой формѣ апологіи чувственности, онъ всегда находилъ себѣ доступъ и вызывалъ сочувствіе.

Эпикуреизмъ самъ по себѣ не есть безнравственное ученіе, но что онъ содѣйствовалъ развитію безнравственности и тупой изнѣженности въ массахъ—это составляетъ общепризнанный и очень понятный фактъ, основанный на степени умственнаго и нравственнаго развитія воспринимавшихъ его личностей.

X.

Стоицизмъ, основанный Зенономъ (340—260 до Р. Х.) и стоящій по-срединѣ между платонизмомъ и эпикуреизмомъ, принимаетъ только два неразлучныя между собою начала, матерію и движущую ее силу, которая, взятая въ полной совокупности, можетъ быть названа міровою душою или богомъ. Весь міръ составляетъ одинъ огромный организмъ, а отдѣльныя существа могутъ быть разсматриваемы, какъ его члены. Всѣ эти члены связываются между собою единствомъ оживляющаго ихъ начала, мірового огня, который въ то же время составляетъ управляющую міромъ необходимость и причину жизни и движенія. Эта необходимость исключаетъ всякую случайность и подчиняетъ себѣ все, что̀ совершается въ мірѣ. Богъ проникаетъ собою все сущее, и весь стоицизмъ представляется такимъ образомъ фаталистическимъ и пантеистическимъ матеріализмомъ. На основаніи этого пантеизма части божества, звѣзды, земля, море, рѣки и пр., являются въ свою очередь богами и заслуживаютъ божескихъ почестей. Звѣзды управляютъ судьбами низшихъ существъ, но сами онѣ, вмѣстѣ со всею вселенною, подвержены гибели и сгорятъ въ великомъ міровомъ пожарѣ, который, по мнѣнію стоиковъ, повторяется періодически, черезъ извѣстное число тысячелѣтій. Сходясь съ Эпикуромъ въ матеріалистическомъ воззрѣніи, стоики не доходятъ однако до того холоднаго и трезваго эмпиризма, которымъ отличается изложенное мною выше ученіе. Эпикуръ отвергалъ въ природѣ разумность и не видѣлъ въ мірозданіи никакой общей цѣли; Зенонъ и его послѣдователи утверждаютъ, что все въ мірѣ устроено съ самой благой цѣлью; все, повидимому безполезное, безобразное и вредное, имѣетъ въ природѣ свою особенную прелесть; даже нравственное зло произошло не какъ случайное уклоненіе отъ нормы; оно произведено сознательно, какъ оттѣненіе добра, по тому необходимому закону симметріи, по которому всякое существо или свойство должно имѣть въ природѣ свою противоположность.

Такъ какъ зло является такимъ образомъ твореніемъ необходимости, то преступникъ не можетъ быть отвѣтственнымъ въ своемъ поступкѣ. Правда, этотъ фатализмъ, какъ видно изъ извѣстнаго анекдота о Зенонѣ и его рабѣ, не уничтожаетъ наказанія, которое оправдывается тѣмъ же фатализмомъ, но зато онъ уничтожилъ бы понятіе человѣческой свободы и подавилъ бы въ адептахъ ученія всякую энергію къ самостоятельной дѣятельности; чтобы спасти это драгоцѣнное понятіе, надо было погрѣшить противъ послѣдовательности. При преобладаніи практическаго интереса надъ чисто-научнымъ, это не представляло большого затрудненія, и Эпиктетъ говоритъ,

что человѣкъ можетъ свободно распоряжаться внутренними дѣятельностями своего духа, и что отъ него зависитъ судить, желать и избѣгать. Человѣческая душа матеріальна; въ ней больше эѳира или божественнаго огня, нежели въ неодушевленныхъ и неразумныхъ существахъ, и потому она обладаетъ разумомъ, волею и самосознаніемъ. Все это подвержено уничтоженію, т. е. частицы эѳира послѣ разрушенія тѣла присоединяются къ общей массѣ мірового огня или переходятъ въ новыя матеріальныя формы, а личность во всякомъ случаѣ теряетъ самосознаніе и слѣдовательно бытіе. Въ частностяхъ школа была несогласна внутри себя насчетъ судьбы души. Одни полагали, что разрушеніе ея происходитъ въ минуту смерти, другіе давали ей жить до мірового пожара, третьи думали наконецъ, что до мірового пожара доживутъ въ очищенномъ видѣ души мудрецовъ, а что обыкновенныя и низкія души разрушатся вмѣстѣ съ тѣломъ. Въ отношеніи къ народной религіи стоики держали себя двойственно и довольно нерѣшительно. Большинство миѳовъ они считали нелѣпыми или безнравственными, но, презирая ихъ въ душѣ, совѣтовали уважать въ нихъ существующій порядокъ вещей. Храмовъ, говорятъ они, не должно было бы строить, но ради народа въ нихъ должно вступать съ благоговѣніемъ. Многіе миѳы они старались толковать аллегорически, отыскивая въ нихъ физическое значеніе. Обоготворенію людей они не сопротивлялись, потому что при ихъ пантеистическомъ воззрѣніи можно было обожать все, въ чемъ проявляется эѳиръ. Мантику они защищали, находя, сообразно съ своимъ фатализмомъ, естественную связь между предзнаменованіями и предсказываемыми ими событіями. Та же божественная сила, разсуждали они, которая распорядилась будущимъ, побуждаетъ напримѣръ жреца выбрать такое жертвенное животное, во внутренностяхъ котораго окажутся соотвѣтствующіе знаки. Стоики не признаютъ, подобно Платону, противоположности между матеріей и разумомъ. Вся добродѣтель, по ихъ ученію, заключается въ знаніи. Идеальный мудрецъ стоической школы обладаетъ всей полнотою разума, науки и добродѣтели; у него нѣтъ мнѣній, потому что онъ все знаетъ достовѣрно; нѣтъ страстей, потому что у него есть все, и онъ слѣдовательно ничего не желаетъ. Онъ совершенно свободенъ, не можетъ ничего потерять, потому что то, что онъ считаетъ своимъ, неотъемлемо, онъ ни въ комъ не нуждается для своего блаженства и отожествляетъ свой разумъ съ божественной необходимостью, такъ что, при столкновеніи съ разными событіями, заранѣе предвидитъ ихъ и совершенно мирится съ ними. Такъ какъ мудрецъ совершенно свободенъ, и высшая цѣль его состоитъ въ достиженіи философской безстрастности, то эта цѣль оправдываетъ всякія средства и открываетъ поприще для самаго необузданнаго произвола личности. Самыя страшныя преступленія позволительны, если они ведутъ мудреца къ его цѣли.

Здѣсь стоицизмъ показывается съ такой стороны, которая можетъ дѣйствовать на массу такъ же вредно, какъ и теорія наслажденія Эпикура, потому что каждый воленъ считать себя за мудреца и поступать сообразно съ этимъ достоинствомъ. Въ этомъ отношеніи стоицизмъ хуже эпикуреизма и какъ умозрительная система, и какъ школа практической нравственности. Его послѣднее положеніе нелогично и безнравственно. Становясь на пьедесталъ абсолютной добродѣтели, стоики, сами того не замѣчая, подставляли на мѣсто ея удовлетвореніе своимъ личнымъ цѣлямъ и влеченіямъ, и очень наивно оправдывали своею личною прихотью грязныя слабости и поступки. Зенонъ предавался педерастіи и оправдывалъ ее какъ безразличное въ самомъ себѣ дѣйствіе. До такихъ излишествъ, сколько извѣстно, не доходилъ ни Эпикуръ, ни лучшіе изъ его послѣдователей. Во взглядахъ стоиковъ на политику замѣтно постепенное охлажденіе къ гражданской дѣятельности, возраставшее по мѣрѣ того, какъ усиливался деспотизмъ и падала народная нравственность.

Такъ какъ истина одна, то разумная дѣятельность всѣхъ людей должна быть тожественна, потому что она воплощаетъ въ себѣ общій законъ. Этотъ общій законъ связываетъ между собою отдѣльныя личности въ гражданское общество. Дѣйствуя собственно для себя, стоическій мудрецъ дѣйствуетъ въ то же время на общую пользу, потому что его интересы и стремленія не расходятся съ законами необходимости, устроившей все для блага всѣхъ существъ вообще и разумныхъ въ особенности. Что эта мысль исключаетъ позволительность преступленія — это ясно, такъ что разобранное мною положеніе стоиковъ опровергается даже ихъ собственнымъ ученіемъ. Сильнѣе другихъ членовъ гражданскаго общества связаны между собою люди, сознающіе свою разумную природу и свое назначеніе, т. е. мудрецы, которые по сходству своихъ убѣжденій и добродѣтелей должны быть непремѣнно дружны между собою. Эти мудрецы составляютъ въ ученіи стоиковъ хотя не замкнутую, но гордую аристократію, смотрящую очень презрительно и враждебно на все, что не входитъ въ ея составъ. Гражданская дѣятельность, къ которой направляетъ стоицизмъ своихъ адептовъ, имѣетъ цѣлью благо стоическихъ мудрецовъ, а не массы, къ которой большая часть мыслителей древности относилась съ извѣстнымъ стихомъ Горація:

Odi profanum vulgus et arceo!...

Такъ какъ трудно управлять произвольно народомъ, которому не сочувствуешь, то Хри-

зипиъ выражаетъ ту мысль, что государственный человѣкъ долженъ непремѣнно навлечь на себя неудовольствіе боговъ или народа. Позднѣйшіе стоики разошлись еще болѣе съ народными стремленіями и стали совѣтовать мудрецу удаляться отъ государственныхъ дѣлъ, чтобы сохранить въ неприкосновенности чистоту своей личности и спокойствіе внутренняго міра. Эпиктетъ совѣтуетъ даже избѣгать супружеской жизни, чтобы остаться независимымъ отъ всякаго посторонняго вліянія, омрачающаго блаженство созерцательнаго мышленія. Стоицизмъ подъ вліяніемъ историческихъ обстоятельствъ отрывается, такимъ образомъ, отъ практической жизни и теряется въ аскетизмѣ, развившемся во 2-мъ и 3-мъ вѣкѣ по Р. Х. подъ вліяніемъ восточной философіи, пережившемъ язычество и принявшемъ такіе громадные размѣры въ христіанскомъ подвижничествѣ, столпничествѣ и постничествѣ.

XI.

Эти элементы разрабатывались мыслителями послѣднихъ дней римской республики и первыхъ вѣковъ имперіи. Ученія Платона, Эпикура и Зенона господствовали надъ умами и находили себѣ болѣе или менѣе вѣрныхъ и талантливыхъ толкователей и распространителей. Для моего предмета всего важнѣе отношеніе этихъ мыслителей въ народной религіи, и потому я расположу характеристики ихъ ученій сообразно съ этимъ направленіемъ изслѣдованія. Всего враждебнѣе смотрѣли на религію эпикурейцы; ихъ идеи просты и ясны; они не хотятъ никакого соглашенія, никакого мира и отрицаютъ все, что не можетъ быть осязательно доказано и ощупано. Такое простое ученіе не могло получить особенно значительнаго научнаго развитія; опираясь непосредственно на опытъ, оно могло измѣниться только тогда, когда бы въ области опытныхъ наукъ произошли какія-нибудь значительныя открытія; творческой фантазіи въ этой трезвой системѣ не было мѣста, и потому одинъ мыслитель не могъ силою собственной мысли ни опрокинуть дѣло предшественника, ни надстроить надъ его зданіемъ свое новое. «Эпикурейская философія принимала очень незначительное участіе въ научномъ движеніи, говоритъ Целлеръ. Она съ большой энергіей защищала свое міросозерцаніе противъ несогласныхъ съ нимъ воззрѣній, но не предоставляла послѣднимъ никакого вліянія надъ собою и до такой степени довольствовалась ученіемъ своего основателя, что не пыталась даже развивать его дальше, и что изъ среды ея ни одинъ мыслитель не сдѣлался эклектикомъ». Это доказываетъ, что эпикуреизмъ былъ крайней оппозиціей; дальше человѣческая мысль не могла идти въ отрицаніи; сомнѣваться въ свидѣтельствѣ чувствъ и въ собственномъ существованіи можно только для упражненія въ діалектикѣ, потому что еслибы даже видимые предметы были призраками, то они оказывали бы практическое вліяніе, и потому мы поневолѣ должны были бы обращаться съ ними какъ съ дѣйствительно существующими вещами. Итакъ, кто доходилъ до простого и крайняго отрицанія, для того невозможно было ни воротиться къ полуфантастическимъ теоріямъ стоиковъ и платониковъ, ни уклониться въ сторону и начать собою новое направленіе философскаго изслѣдованія. Это очень естественно. Если я принимаю сверхчувственный міръ, то я могу себѣ представить его не такъ, какъ себѣ вообразитъ его другой, соглашающійся со мною въ фактѣ существованія. Если же я его отвергаю, то соглашаюсь буквально со всѣми отвергающими. Поэтому и понятно, что эпикуреизмъ не дробился на секты, и что напротивъ того стоики и платоники развивали каждый свое ученіе, придерживаясь только основныхъ началъ своей школы. Объ эпикуреизмѣ было уже говорено достаточно; что касается стоиковъ и платониковъ, то каждая отдѣльная личность мыслителя заслуживаетъ оцѣнки и изученія.

Цицеронъ, какъ всеобъемлющій умъ, конечно не могъ обойти философскихъ вопросовъ міросозерцанія. Но, какъ государственный человѣкъ и ораторъ, онъ занимался умозрительною частью философіи настолько, насколько это было необходимо для составленія себѣ опредѣленныхъ убѣжденій и яснаго плана дѣйствій. Этика представляется ему важнѣйшей частью философіи, и онъ постоянно жертвуетъ строгой послѣдовательностью нравственному достоинству и практической примѣнимости. Онъ не открылъ собою новаго пути въ философскомъ мышленіи, но представилъ въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ критику главныхъ системъ, и, критикуя ихъ положенія, составилъ и сформулировалъ свои убѣжденія, принимая изъ каждой школы то, что казалось ему истиннымъ. Этотъ эклектизмъ иногда ведетъ его къ противорѣчіямъ, потому что онъ руководствуется не безстрастнымъ мышленіемъ, а преимущественно нравственнымъ и эстетическимъ чувствомъ. Какъ эклектикъ, Цицеронъ положительно отвергаетъ только эпикуреизмъ и колеблется между платонизмомъ, стоицизмомъ и философіей Аристотеля.

Въ стоической этикѣ ему нравится отожествленіе добродѣтели съ блаженствомъ, но ему кажется, что стоики требуютъ отъ человѣка слишкомъ многаго, и что идеалъ стоическаго мудреца неосуществимъ въ дѣйствительности. Перипатетиковъ онъ упрекаетъ въ томъ, что они отдѣляютъ блаженство отъ добродѣтели, но соглашается съ ними въ томъ положеніи, что не должно отрываться отъ физической природы, а напротивъ заботиться о ней и поддерживать ее умѣреннымъ удовлетвореніемъ потребностей.

Цицеронъ признаетъ существованіе Бога и приводитъ въ пользу этого мнѣнія два главныя доказательства. Во-первыхъ, онъ видитъ во всемъ мірозданіи разумную идею и опредѣленную цѣль, и потому необходимо принимаетъ мыслящую личность творца и міроправителя. Во-вторыхъ, религія, по его мнѣнію, практически необходима, потому что безъ нея погибла бы всякая нравственность и всякая возможность общественной жизни. Онъ говоритъ, что существо Бога не можетъ быть опредѣлено, но предполагаетъ, что Богъ одинъ, и что онъ духъ, или что его тѣло состоитъ изъ очень тонкой матеріи. Съ народной религіей римлянъ Цицеронъ и не пробуетъ мириться въ области мысли. Онъ откровенно говоритъ, что она годится только для массы, и что ее должно поддерживать, какъ полезную въ политическомъ отношеніи. Вообще у Цицерона преобладаетъ утилитарный взглядъ на религію, и онъ дорожитъ только тѣми догматами, которые, по его мнѣнію, возвышаютъ человѣческое достоинство. Безсмертіе души ему дорого, и онъ старается вѣрить въ него, но практическое направленіе его изслѣдованій побуждаетъ его во что бы то ни стало отдѣлаться отъ страха смерти, и потому онъ дѣлаетъ предположеніе и на тотъ случай, еслибы душа уничтожалась съ разрушеніемъ тѣла; тогда, разсуждаетъ онъ, все-таки не будетъ страданія, потому что небытіе исключаетъ способность ощущать. Это предположеніе однако нигдѣ не выражено твердо и положительно; вездѣ, напротивъ того, Цицеронъ говоритъ о безсмертіи души, какъ о фактѣ, въ которомъ онъ почти совершенно убѣжденъ, и какъ о догматѣ, которымъ онъ глубоко дорожитъ. Что касается до загробныхъ наказаній, онъ считаетъ ихъ баснями, оскорбляющими достоинство бога и человѣка.

XII.

Стоицизмъ, насильственно отрывавшій человѣка отъ внѣшняго міра и заставлявшій его довольствоваться своимъ внутреннимъ *я*, находилъ себѣ многихъ приверженцевъ въ такое время, когда всякій честный человѣкъ смотрѣлъ на окружающій порядокъ вещей съ ужасомъ и отвращеніемъ. Когда надъ всѣмъ образованнымъ міромъ господствовалъ какой-нибудь Калигула или Неронъ, когда онъ безнаказанно выгонялъ философовъ и заставлялъ римскихъ дамъ выходить на арену, когда аристократія превратилась въ толпу льстецовъ и доносчиковъ, а религія въ безалаберный наборъ суевѣрныхъ обрядовъ, тогда лучшіе люди конечно принуждены были сосредоточить свои нравственныя силы и замкнуться въ самихъ себѣ. Трудно было человѣку съ свѣтлымъ умомъ и теплымъ чувствомъ думать о гармоническомъ наслажденіи жизнью, когда на каждомъ шагу встрѣчались насиліе и произволъ, цинизмъ разврата, тупоумное суевѣріе и легкомысленное отрицаніе. Нѣкоторые лучшіе государственные люди имперіи представляютъ въ своей личности воплощенія стоическаго мудреца, довольно близко подходящія къ идеалу. Каній Іулъ, Тразеа Петъ, любимецъ Тацита, и Гельвидій Прискъ были мучениками своихъ убѣжденій и прославили стоическую школу своими страданіями и смертью. Въ то время, какъ они проводили въ жизнь стоическія положенія, другіе дѣятели развивали въ своихъ сочиненіяхъ начала этой нравственной философіи. Изъ нихъ заслуживаютъ особеннаго вниманія Сенека, Музоній Руфъ и Эпиктетъ. Всѣ они отличаются преимущественно практическимъ направленіемъ и смотрятъ на логику и на физику, какъ на вспомогательныя науки нравственной философіи.

Люцій Аннѣй Сенека, знаменитый современникъ и наставникъ Нерона, подобно Цицерону сближаетъ стоицизмъ съ дѣйствительностью и старается смягчить строгость его нравственныхъ требованій. Онъ соглашается съ основными положеніями своей школы и даже съ ритор-скимъ одушевленіемъ развиваетъ мысли о томъ, что добродѣтель есть высшее и единственное благо, что всякій не-мудрецъ пороченъ, и что все принадлежитъ мудрецу. Рядомъ съ этими восторженными изреченіями встрѣчаются мысли, ограничивающія ихъ значеніе; какъ человѣкъ богатый, Сенека сознается, что матеріальныя блага содѣйствуютъ во многихъ отношеніяхъ тому внутреннему довольству, которое доставляетъ добродѣтель. Какъ придворный, онъ совѣтуетъ сносить съ покорностью оскорбленія со стороны людей, стоящихъ высоко на ступеняхъ общественной лѣстницы. Жизненный опытъ очевидно поколебалъ въ Сенекѣ вѣру стоиковъ во всемогущество разума и нравственной воли. Люди по его мнѣнію порочны и отъ природы расположены ко злу. Поэтому онъ ограничиваетъ нравственныя требованія своей школы, формулируя ихъ такъ: «мы должны сообразоваться съ волею боговъ настолько, насколько намъ позволяетъ наша человѣческая слабость». Полагая, что эта слабость есть нормальное свойство человѣка, Сенека говоритъ, что вся жизнь есть мученіе, и что только смерть спасаетъ отъ ея волненій и тревогъ. Здѣсь, очевидно, матерія признается источникомъ зла, и ей противополагается духовное начало, котораго не признавало матеріалистическое ученіе древнихъ стоиковъ. Сенека съ любовью развиваетъ ученіе о промыслѣ и представляетъ бога существомъ любящимъ, отцомъ добродѣтельныхъ людей, заботящимся о нихъ въ жизни и посылающимъ имъ даже несчастья съ благою цѣлью, какъ испытанія и какъ средства развить силу характера. Богъ, котораго уважаетъ и любитъ Сенека, не имѣетъ ничего общаго съ личностями древне-римскихъ и олимпійскихъ боговъ. Къ народной религіи онъ стоитъ

въ совершенно враждебныхъ отношеніяхъ. Онъ прямо называетъ ее суевѣріемъ и открыто глумится надъ «неблагородною толпою боговъ», но, видя въ догматахъ и обрядахъ культа государственное учрежденіе, Сенека совѣтуетъ уважать его, чтобы не подавать соблазна необразованному народу. Самъ же онъ признаетъ только того бога, который живетъ въ насъ и въ мірѣ, какъ духовное и живительное начало. Всѣ религіозныя упражненія по его мнѣнію излишни, не нужно ни молитвы, ни поднятія рукъ къ небу, ни жертвоприношеній.

Люцій Музоній Руфъ, учившій также при Неронѣ, но пережившій Сенеку и умершій уже при Титѣ, относится иначе къ народной религіи. Онъ принимаетъ всѣхъ миѳологическихъ боговъ за дѣйствительно существующія личности и говоритъ даже, что они питаются испареніями воды и земли; сообразно съ этимъ онъ говоритъ о душѣ человѣка, что она родственна съ богами по своей сущности и состоитъ изъ матеріи, которая можетъ быть повреждена и испорчена вліяніемъ воздуха, воды и другихъ тѣлъ. Все вниманіе Музонія устремлено на нравственную философію; философія, по его мнѣнію, равняется добродѣтели, она учитъ насъ познавать и примѣнять къ практикѣ правила нравственности, и потому можетъ, какъ думалъ Музоній, совершенно исправить недостатки общества и навсегда излечить его нравственныя болѣзни. Потому философія не должна быть достояніемъ немногихъ избранныхъ; пусть учатся философіи богатые и бѣдные, вельможи и земледѣльцы, мужчины и женщины. Видно, что и въ рядахъ мыслителей стали сознавать необходимость обновленія жизни посредствомъ распространенія въ массахъ честныхъ и твердыхъ убѣжденій, принятыхъ сознательно и осмысленныхъ самодѣятельнымъ размышленіемъ каждаго. Тотъ умственный аристократизмъ, которымъ были проникнуты древніе стоики и Аристотель, уступаетъ мѣсто болѣе гуманному и широкому пониманію человѣческой личности. Является сознаніе, что человѣкъ, какъ человѣкъ, имѣетъ извѣстныя права, и что эти права должно хранить и уважать. Музоній Руфъ предназначаетъ свои философскія сентенціи для всѣхъ; онъ говоритъ, что за плугомъ и за лопатой можно научиться необходимому; человѣчеству нужно было много пережить и передумать, чтобы отъ рѣзкаго аристократизма Аристотеля возвыситься до этого почти христіанскаго воззрѣнія на «нищихъ духомъ», т. е. на немудрецовъ. Предписывая правила жизни для всѣхъ, Музоній входитъ въ подробности домашняго быта и, не ограничиваясь начертаніемъ одной руководящей идеи, говоритъ о томъ, что̀ нужно употреблять въ пищу, какъ одѣваться и какъ устроивать жилище. Онъ старается привести человѣчество къ естественному состоянію, которое въ его глазахъ сливается съ состояніемъ первобытной дикости. Онъ совѣтуетъ воздерживаться отъ мясной пищи и, по возможности, освобождаться отъ всякихъ искусственныхъ потребностей.

Аскетизмъ ново-пиѳагорейцевъ находилъ себѣ приверженцевъ во всѣхъ школахъ: господствующая изнѣженность бросалась въ глаза всѣмъ практическимъ мыслителямъ; они въ ней видѣли не проявленіе, а источникъ нравственной порчи, и потому вооружились противъ нея всей силой своей діалектики. Эклектикъ Секстій, стоикъ Музоній Руфъ, платоникъ Плутархъ и ново-пиѳагореецъ Аполлоній Тіанскій сходились между собою въ своихъ практическихъ предписаніяхъ, хотя теоретическіе доводы, которыми они ихъ поддерживали, были различны и сообразовались съ характеромъ той философіи школы, къ которой они принадлежали. Требуя отъ человѣка естественнаго образа жизни, Музоній Руфъ значительно отклоняется отъ духа первобытнаго стоицизма. Идеалъ, къ которому онъ стремится, есть нравственная чистота, а не безмятежность духа. Извѣстное положеніе стоиковъ о позволительности преступленія находитъ себѣ въ немъ горячаго противника. Совѣтуя воздерживаться отъ мясной пищи, онъ однако не хочетъ привести человѣка къ умерщвленію плоти, потому что это—не естественное состояніе. Брачную жизнь онъ одобряетъ, но прелюбодѣяніе, вытравливаніе зародышей и выкидываніе рожденныхъ дѣтей возмущаютъ его нравственное чувство. Вообще, предписанія Музонія можно разсматривать какъ сформулированныя убѣжденія человѣка, одареннаго здравымъ смысломъ и правильнымъ нравственнымъ чувствомъ. Подъ руками Музонія философія сошла съ той высоты, на которой она была доступна немногимъ спеціально приготовленнымъ людямъ, но не пріобрѣла еще той живой привлекательности, которая заставляетъ массы народа идти за проповѣдникомъ и съ благоговѣніемъ слушать его поученія. Музоній былъ мыслитель, спускавшійся до толпы, а народу нуженъ былъ практическій дѣятель, который, возвысившись до живого пониманія идеи, не потерялъ бы знанія жизни и живого сочувствія къ потребностямъ и стремленіямъ массы. Музоній въ своихъ столкновеніяхъ съ дѣйствительностью обнаруживалъ самое наивное незнаніе жизни и непониманіе человѣческаго сердца. Отправившись парламентеромъ въ военный лагерь, онъ простодушно сталъ развивать передъ солдатами Веспасіана философское ученіе о благахъ мира и объ опасностяхъ войны, и рѣчь его такъ надоѣла раздраженнымъ легіонаріямъ, что они прогнали и чуть-чуть не побили непризваннаго проповѣдника.

То же направленіе отличаетъ собою разсужденія знаменитаго *Эпиктета*, ученика Музонія Руфа, записанныя, какъ извѣстно, Арріаномъ. Эпиктетъ яснѣе своего учителя понимаетъ свое

положеніе: онъ сознаетъ въ себѣ человѣка мысли и рѣшительно отказывается отъ роли проповѣдника. Его интересовали преимущественно вопросы практической нравственности, но онъ относился къ нимъ какъ строгій мыслитель и не дѣлалъ въ пользу практической жизни ни одной уступки. Онъ хотѣлъ возвысить жизнь до уровня мысли и самъ умѣлъ осуществлять въ дѣйствительности строгія предписанія стоической нравственности. Онъ былъ бѣденъ и изуродованъ бывшимъ своимъ господиномъ, Эпафродитомъ; на его стоическое ученіе недоброжелательно смотрѣло правительство, и при Домиціанѣ онъ принужденъ былъ вмѣстѣ со всѣми философами вообще удалиться изъ Рима. Всѣ эти испытанія онъ переносилъ твердо и безропотно, какъ говорятъ его біографы. Будучи строгимъ къ самому себѣ, онъ былъ строгъ и къ другимъ и, побѣждая въ себѣ человѣческія слабости, не хотѣлъ признавать ихъ въ другихъ. Поэтому во всемъ его ученіи нѣтъ того характера мягкости, которымъ отличаются разсужденія Музонія. Эпиктетъ не возмущается грязнымъ преступленіемъ, но и не выражаетъ состраданія къ неосторожному проступку; въ томъ и другомъ онъ видитъ ошибку, происходящую отъ ложнаго представленія, и къ тому и къ другому относится съ презрительной безстрастностью. Съ той высоты мысли, съ которой онъ смотритъ внизъ на людей и на жизнь, онъ не видитъ тѣхъ оттѣнковъ различія, которые отмѣчаютъ въ практической жизни обыкновенные люди. Аристократъ и простой работникъ, свободный человѣкъ и рабъ, богачъ и бѣднякъ, счастливый и несчастный—всѣ равны между собою, и ко всѣмъ этимъ людямъ Эпиктетъ относится одинаково строго и безстрастно. При такомъ взглядѣ на вещи нужно было отказаться отъ всякой попытки измѣнить дѣйствительность въ свою пользу; къ чему было трудиться, бороться съ препятствіями, сталкиваться съ людьми, когда можно было помириться со всякимъ положеніемъ, перенести всякія притѣсненія и остаться во всякомъ случаѣ свободнымъ, добродѣтельнымъ и счастливымъ. Бороться съ обстоятельствами значило тратиться на мелочи. Надо было переносить все и блаженствовать мыслью въ невозмутимомъ покоѣ внутренняго своего міра. Эпиктетъ совѣтуетъ мудрецу, стремящемуся къ этому блаженству, отказаться отъ политической дѣятельности и даже отъ брачной жизни. Онъ сходится въ этомъ отношеніи съ аскетическими предписаніями новопиѳагорейцевъ, но между тѣмъ и другими большая разница въ преслѣдуемыхъ цѣляхъ.

Ново-пиѳагорейцы, основываясь на ученіи о переселеніи душъ и твердо вѣря въ загробное существованіе, представляютъ себѣ всякаго рода воздержаніе, какъ средство сохранить свою чистоту и улучшить свою судьбу послѣ смерти; слѣдственно ихъ цѣль лежитъ за предѣлами земной жизни. Эпиктетъ, напротивъ того, не вѣритъ въ безсмертіе души, и несмотря на то презираетъ все внѣшнее и матеріальное только для того, чтобы не зависѣть отъ него и стоять выше случайности. Ново-пиѳагорейцы обѣщали много въ будущемъ и, дѣйствуя на воображеніе вѣрующей массы, могли увлечь ее за собою; Эпиктетъ говоритъ только уму, не утѣшаетъ человѣка никакими обѣтованіями и требуетъ самоотреченія холоднаго, разсчитаннаго, чуждаго тому энтузіазму, который производитъ восторженныхъ мучениковъ и подвижниковъ. Это самоотреченіе можно назвать безпредметнымъ; человѣкъ отрекается отъ жизненныхъ радостей не во имя высшей, воплощенной идеи добра, не во имя любви къ ближнимъ, а только потому, что эти радости могутъ современемъ измѣнить. Эти соображенія для народа были слишкомъ дальновидны и холодны; ему было доступнѣе ученіе платониковъ и пиѳагорейцевъ, говорившихъ о загробной жизни и о волѣ живыхъ боговъ, или нравственная философія Эпикура, ограничивавшая все настоящею минутою и призывавшая къ обильному наслажденію дарами жизни. Безкорыстный аскетизмъ и неутѣшительный матеріализмъ стоиковъ одинаково отталкивали народъ отъ ихъ ученія. Наслажденіе презиралось; взамѣнъ его не обѣщалось ничего лучшаго; практическихъ улучшеній, реформъ въ политической жизни стоицизмъ не дѣлалъ; слѣдовательно ничѣмъ рѣшительно ученіе Эпиктета не могло ни привлечь на свою сторону умы большинства, ни влить живые соки въ народное міросозерцаніе. Между тѣмъ, религіозное ученіе Эпиктета отличается возвышенною духовностью. Цѣль всей философіи состоитъ, по его мнѣнію, въ томъ, чтобы удовлетворить нравственнымъ потребностямъ души, подкрѣпить и утѣшить духъ человѣка, подавленный суетностью всего земного. Чего народъ искалъ въ символическихъ актахъ мистерій, того требуетъ Эпиктетъ отъ работы мысли. Философъ, по его словамъ—врачъ, къ которому должны приходить не здоровые, а больные. Философія есть святыня, мистерія, къ которой не должно приступать безъ содѣйствія божества. Мудрецъ есть посланникъ Зевса; ему поручено показать людямъ, что человѣкъ можетъ быть счастливъ среди лишеній и матеріальныхъ страданій. Нравственное добро есть даръ божества, и сущность самого божества заключается въ разумѣ и въ знаніи. Дѣятельность и благодѣтельное вліяніе его можетъ быть познаваемо въ теченіи звѣздъ, въ плодородіи земли и вообще въ физическихъ явленіяхъ; такъ понимаетъ его народъ и такъ Эпиктетъ оправдываетъ догматы и обряды богопочитанія, предоставляя впрочемъ мудрецу право обходиться безъ нихъ и сноситься съ божествомъ непосредственно, черезъ внушенія своего внутренняго демона.

Благороднѣйшая часть человѣческой лично-

сти, мыслительная сила, разсматривается имъ какъ эманація божества, и онъ настаиваетъ на томъ, чтобы человѣкъ сознавалъ свое родство съ божествомъ, уважалъ свое нравственное достоинство и понималъ свои обязанности къ самому себѣ и свои отношенія къ другимъ людямъ, какъ къ членамъ одной, всеобъемлющей семьи. Эта эманація божества рѣзко противополагается тѣлу, матеріи, къ которой Эпиктетъ относится съ крайнимъ презрѣніемъ, называя его плохимъ сосудомъ, комомъ грязи и тягостной оболочкой души. Но эта свободная душа понималась только какъ эманація божества, и о понятіи личности Эпиктетъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета. Онъ принималъ между различными людьми только одно количественное различіе; въ мудрецѣ присутствуетъ больше божественнаго духа, въ преступникѣ меньше. О томъ, что и добро, и зло выражается въ единичныхъ, индивидуальныхъ формахъ, что оно въ этихъ проявленіяхъ носитъ на себѣ своеобразный колоритъ, безъ котораго оно невообразимо — объ этомъ Эпиктетъ не имѣетъ понятія. Отношеніе между божествомъ и человѣческой личностью, говоритъ Дёллингеръ, представлялось языческимъ мыслителямъ въ образѣ «океана, на которомъ плаваетъ множество бутылокъ, наполненныхъ водою: когда одна изъ нихъ разбивается, то часть морской воды, отдѣлявшаяся до того времени отъ цѣлаго, соединяется съ общею массою». Безкорыстіе Эпиктетова ученія дѣлало его недоступнымъ для народа; неутѣшительность его налагала тяжелую печать грусти даже на тѣ избранныя личности, которыя рѣшались посвятить свои силы на стоическое умерщвленіе страстей и чувственныхъ поползновеній. Императоръ Маркъ Аврелій воплощаетъ въ своей личности тотъ моментъ грусти и мрачнаго раздумья, который необходимо долженъ былъ испытать стоикъ, одаренный мягкимъ сердцемъ и поэтическимъ, страстнымъ сочувствіемъ ко всему благородному и прекрасному. Его окружала нравственная порча, противъ которой онъ напрасно боролся, какъ государственный дѣятель; его философія говорила ему, что это нравственное зло въ порядкѣ вещей, что противъ него не слѣдуетъ и возмущаться, потому что все въ мірѣ измѣнчиво, и неудержимый потокъ жизни увлекаетъ за собою и личныя стремленія, и земное величіе, и человѣческія слабости, и пороки. Вмѣсто этой уничтоженной привязанности къ живой дѣйствительности, стоицизмъ не давалъ ему никакого твердаго вѣрованія; въ жизни — пустота, за предѣлами гроба небытіе, вокругъ себя — нравственное зло и лѣнивое равнодушіе къ интересамъ мысли. Вотъ что видѣлъ М. Аврелій и вотъ что настраивало его то къ спокойной и глубокой грусти, то къ мрачной и презрительной иронiи. Любопытно между прочимъ замѣтить, что стоицизмъ даже не избавлялъ своихъ адептовъ отъ грубаго суевѣрія; даже благородная и развитая личность Марка Аврелія, проникнутая нравственнымъ ученіемъ Эпиктета, была заражена нелѣпыми предразсудками и самымъ слѣпымъ довѣріемъ къ спасительной силѣ различныхъ обрядовъ и заклинаній.

Группу мыслителей-мистиковъ составляютъ платоники и пиѳагорейцы. Эта группа была всего ближе къ общему настроенію народныхъ массъ, и изъ нея выходили тѣ проповѣдники, которые вели народъ за собою и которыхъ народъ окружалъ суевѣрнымъ обожаніемъ и чудеснымъ сіяніемъ божественной святости. Изъ этой группы вышелъ и Аполлоній Тіанскій, котораго личность представляетъ, быть можетъ, самый яркій примѣръ такого обоготворенія.

Онъ стоитъ на переходной чертѣ отъ эклектизма къ положительному пиѳагореизму, котораго нравственныя тенденціи воплотились въ Аполлоніи Тіанскомъ, или, вѣрнѣе, въ томъ нравственномъ идеалѣ, который начертилъ Филостратъ въ своей біографіи. Мы познакомимся съ ними въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

За 4 года до Р. Хр. родился къ каппадокійскомъ городѣ Тіанѣ у богатаго гражданина Аполлонія сынъ, котораго назвали именемъ отца. Жизнь и дѣятельность этого Аполлонія произвели сильное впечатлѣніе на умы современниковъ, и потому самое рожденіе его было окружено разными чудесными сказаніями. Говорятъ, что Протей явился беременной матери Аполлонія и объявилъ ей, что она родитъ его, Протея; далѣе разсказывали, будто мать Аполлонія, повинуясь сновидѣнію, отправилась незадолго до своего разрѣшенія на лугъ рвать цвѣты, потомъ заснула на лугу, проснулась отъ пѣнія кружившихся надъ нею лебедей и тотчасъ послѣ своего пробужденія родила Аполлонія. Въ это самое время молнія упала на землю и потомъ съ земли снова поднялась къ небу. «Этимъ знаменіемъ, говоритъ Филостратъ, боги хотѣли обозначить и предсказать величіе этого человѣка, его возвышеніе надъ земнымъ и приближеніе къ божеству». Мальчикъ, родившійся послѣ такихъ чудесныхъ предзнаменованій, былъ очень красивъ и рано обнаружилъ счастливыя умственныя способности. Когда ему минуло 14 лѣтъ, отецъ повезъ его въ Киликію, въ городъ Тарсъ, и отдалъ на воспитаніе ритору Эвтидему. Изъ Тарса Аполлоній переѣхалъ вмѣстѣ со своимъ учителемъ, съ согласія отца, въ городъ Эги; причину этого переѣзда Филостратъ

объясняетъ тѣмъ, что Аполлонію не понравились нравы жителей Тарса, любившихъ роскошь и шумныя общественныя удовольствія. Видно, что біографъ хочетъ показать намъ, какъ въ отрокѣ заключались зародыши будущаго аскета; предположивъ себѣ такую цѣль, Филостратъ не боится натяжекъ и, комментируя факты, старается показать по возможности цѣльный характеръ. Его догадка о причинахъ переѣзда Аполлонія въ Эги очевидно носитъ на себѣ панегирическій характеръ. Мы возьмемъ только самый фактъ переѣзда, оставляя въ сторонѣ причины, которыя, во 1-хъ, не совсѣмъ сообразны съ возрастомъ Аполлонія, во 2-хъ, высказаны у Филострата совершенно голословно и бездоказательно. Переѣхавъ въ Эги, Аполлоній сталъ слушать представителей разныхъ философскихъ ученій, платониковъ, стоиковъ, перипатетиковъ и даже эпикурейцевъ; здѣсь стала развиваться въ немъ мистическая мечтательность, выразившаяся въ особенномъ сочувствіи его къ пиѳагореизму. Замѣчательно, что его поразили самыя идеи пиѳагореизма, а не живая личность учителя.

Учитель пиѳагоровой философіи, Эвксенъ изъ Иракліи на Понтѣ, самъ не исполнялъ преподаваемыхъ имъ нравственныхъ правилъ и жилъ какъ эпикурееецъ; на молодого, пылкаго Аполлонія ученіе Пиѳагора подѣйствовало очень сильно, тѣмъ болѣе, что онъ видѣлъ, какъ мало примѣняютъ его къ дѣйствительной жизни; ему пошелъ семнадцатый годъ, онъ былъ красавецъ собою, человѣкъ полный энергіи и жизненной силы; рѣшимости въ немъ было много, и онъ съ полнымъ жаромъ юношескаго убѣжденія положилъ себѣ цѣлью жизни воплотить въ своей личности идеалъ пиѳагорейскаго мудреца. Въ отношеніяхъ его къ Эвксену выразилась кроткая терпимость его личности; онъ былъ ему благодаренъ за передачу тѣхъ идей, которыя стали руководить его поступками, и при этомъ нисколько не приходилъ въ негодованіе отъ того, что самъ Эвксенъ живетъ не такъ, какъ велитъ жить проповѣдуемое имъ ученіе; онъ продолжалъ любить его, какъ бывшаго учителя, выпросилъ у своего отца загородный домикъ съ садомъ и подарилъ его Эвксену: «живи ты здѣсь по-своему, сказалъ онъ ему, а я стану жить по обычаю Пиѳагора».

— Съ чего же ты начнешь? спросилъ Эвксенъ.

— Съ того, съ чего начинаютъ медики, отвѣчалъ Аполлоній. Очищая желудокъ, они однихъ предохраняютъ отъ болѣзни, а другихъ вылечиваютъ.

Гигіеническія предписанія прежде всего обратили на себя вниманіе Аполлонія, и онъ рѣшительно отказался отъ мясной пищи, считая ее «нечистою и омрачающею умъ»; плоды и овощи и все, что̀ предлагаетъ человѣку сама земля, считалось чистымъ; вино, какъ напитокъ, добываемый изъ прекраснаго растенія, тоже чистое вещество, но оно противодѣйствуетъ спокойной работѣ мысли и омрачаетъ свѣтлый эѳиръ души. Откинувъ все лишнее въ пищѣ, Аполлоній измѣнилъ и одежду; онъ сталъ ходить босыми ногами, отказался отъ шерстянаго платья, приготовляемаго изъ животнаго матеріала, и ограничился льняною одеждою; онъ отростилъ волосы на головѣ и сталъ жить въ храмѣ, чтобы быть въ постоянномъ общеніи съ божествомъ. Онъ выбралъ для своего жительства храмъ Эскулапа, и тутъ, для ознакомленія съ его характеромъ, любопытно разсмотрѣть, какое побужденіе заставило его поселиться въ храмѣ. Можно сдѣлать три предположенія: 1) или Аполлоній хотѣлъ дѣйствовать на народъ и съ этой цѣлью старался пріобрѣсти репутацію любимца боговъ; 2) или онъ, какъ пылкій и вѣрующій юноша, ждалъ отъ боговъ дѣйствительныхъ откровеній и вѣрилъ въ ихъ святыню; 3) или, наконецъ, онъ, какъ любознательный практическій медикъ, старался воспользоваться медицинскими средствами Эскулапа. Первое предположеніе всего менѣе выдерживаетъ критику. Все поведеніе Аполлонія во время его пребыванія въ Эги скромно, просто и естественно. Онъ не пророчествуетъ, не разсказываетъ о своихъ видѣніяхъ и только одинъ разъ проповѣдуетъ о нравственномъ характерѣ молитвы. Въ тѣхъ чертахъ его жизни, которыя приводитъ Филостратъ, выражается живой умъ Аполлонія и рѣдкая наблюдательность, но никакъ не даръ ясновидѣнія. Стало быть, въ то время Аполлоній не уяснилъ себѣ цѣли своей дѣятельности настолько, чтобы для успѣшнаго ея достиженія употреблять безъ церемоніи обманъ и фокусничество; стало быть, его пребываніе въ храмѣ Эскулапа трудно объяснить желаніемъ обратить на себя вниманіе народной толпы. Вѣроятно, онъ искалъ для своей личности какого-нибудь высшаго блага отъ соприкосновенія съ божествомъ, или какихъ-нибудь спеціальныхъ свѣдѣній отъ постоянныхъ сношеній съ жрецами. Его красота и молодость, особенности его строгаго образа жизни обратили на себя вниманіе окрестныхъ жителей, и они толпами потянулись въ храмъ Эскулапа; жрецамъ было необходимо, чтобы, отъ времени до времени, какое-нибудь чудо освѣжало уваженіе массы къ ихъ божествамъ, и потому они немедленно распустили слухъ, будто Эскулапъ сообщилъ имъ слѣдующее: «ему, Эскулапу, пріятно имѣть въ Аполлоніи свидѣтеля своихъ исцѣленій». Этотъ слухъ усилилъ притокъ богомольцевъ до такой степени, что, по увѣренію Филострата, у киликійцевъ возникла поговорка: «куда спѣшишь? Не къ юношѣ ли?»

Достоинство, съ которымъ держалъ себя Аполлоній, его здравый умъ и тактъ въ обращеніи съ людьми усиливали то уваженіе, которое къ нему питали приходящіе посѣтители. Это уваженіе переходило постепенно съ суевѣрное благоговѣніе, потому что толпа въ своей любви и въ своей ненависти рѣдко умѣетъ останавливаться

на половинѣ дороги. Умные совѣты и медицинскія предписанія Аполлонія стали принимать, безъ малѣйшаго на то повода съ его стороны, за внушенія божества, прорицанія. Общественное мнѣніе почти насильно выдвинуло его въ прорицатели; ему самъ народъ указалъ на свое суевѣріе; онъ внушилъ Аполлонію мысль воспользоваться имъ, какъ средствомъ для обновленія его одряхлѣвшей нравственности. Самыя простыя событія его вседневной жизни, самыя незначительныя столкновенія его съ посѣтителями храма принимали въ глазахъ вѣрующаго народа физіономію чуда и превращались въ легенды, которыя были записаны сначала Максимомъ изъ Эги, а потомъ Филостратомъ. Однажды явился въ храмъ Эскулапа ассирійскій юноша, страдавшій водяною болѣзнью и между тѣмъ продолжавшій пьянствовать и вести распутную жизнь. Онъ усердно просилъ у Эскулапа исцѣленія, богъ явился ему во снѣ и сказалъ: «Если ты поговоришь съ Аполлоніемъ, то получишь облегченіе». Юноша отправился къ Аполлонію и спросилъ у него:

— Чѣмъ поможетъ мнѣ твоя мудрость? Эскулапъ приказалъ мнѣ обратиться къ тебѣ.

— Тѣмъ, отвѣчалъ Аполлоній, что для тебя теперь очень дорого. Вѣдь ты нуждаешься въ здоровьѣ?

— Конечно, отвѣчалъ юноша: Эскулапъ обѣщаетъ мнѣ здоровье и все не даетъ его.

— Не говори такъ, замѣтилъ Аполлоній; онъ даетъ здоровье тѣмъ, кто его желаетъ, а ты самъ, напротивъ того, помогаешь своей болѣзни. Ты живешь въ свое удовольствіе, наполняешь разными лакомствами промоченный и испорченный свой желудокъ и льешь такимъ образомъ въ воду помои.

Юноша послушался совѣта Аполлонія и выздоровѣлъ, а Филостратъ, разсказывая это событіе самымъ наивнымъ образомъ, видитъ въ разумномъ медицинскомъ совѣтѣ голосъ божества.

Въ другой разъ Аполлоній увидѣлъ на алтарѣ многихъ дорогихъ жертвенныхъ животныхъ, которыхъ священнослужители тутъ же раздирали на части; возлѣ этихъ приношеній стояли два богатые золотые сосуда, украшенные драгоцѣнными камнями. Аполлоній подошелъ къ жрецу: «Что это такое? спросилъ онъ. Должно быть, очень богатый человѣкъ приноситъ богу эти дары?» Жрецъ отвѣчалъ ему, что «принесшій эти дары богаче всѣхъ жителей Киликіи, вмѣстѣ взятыхъ, что онъ пріѣхалъ въ Эги наканунѣ и проситъ бога возвратить ему вытекшій глазъ, обѣщая принести еще больше даровъ, если богъ позволитъ ему проникнуть въ святилище».

Аполлоній опустилъ глаза въ землю и спросилъ: «какъ зовутъ этого человѣка?» Услышавъ его имя, онъ сказалъ: «по моему мнѣнію, этого человѣка не слѣдуетъ принимать въ святилище, онъ совершилъ преступленіе, и болѣзнь его происходитъ отъ дурной причины; не добившись отъ бога никакой милости, онъ приноситъ великолѣпныя жертвы; это не дары, а отмаливаніе тяжелаго злодѣянія». Несмотря на рѣшительный тонъ рѣчи Аполлонія, въ немъ видны ясно умозаключенія, основанныя на наблюденіи внѣшней физіономіи фактовъ; видно даже, что Аполлоній самъ не думаетъ выдавать своего разсужденія за внушеніе свыше, но слова его оправдываются на дѣлѣ; оказывается, что богатый жертвователь имѣлъ любовную интригу съ своей падчерицей, и что жена его выколола ему глазъ иголкою. Жрецъ Эскулапа объявляетъ, что богъ, явившійся ему во снѣ, приказалъ кривому приносителю удалиться со своими дарами, говоря, что онъ заслуживаетъ лишиться и другого глаза. Изъ этого разсказа очевидно, что Аполлоній строгостью своихъ нравственныхъ убѣжденій имѣлъ вліяніе на поступки жреческаго сословія. Понимая его важность для процвѣтанія ихъ храма, жрецы дорожили его присутствіемъ: боясь смѣлаго слова обличенія со стороны пылкаго юноши, они не рѣшались ему противорѣчить; они не могли не подражать его неподкупной честности, потому что иначе слишкомъ невыгодно оттѣнили бы себя въ глазахъ народа. Подражая этой честности, жрецы терпѣли убытки; имъ пришлось, напримѣръ, отказаться отъ даровъ киликійскаго богача; чтобы наверстывать эти убытки, нужно было добывать какъ можно больше выгоды изъ личности Аполлонія, бывшаго виновникомъ убытковъ, т. е., нужно было прокричать о немъ, какъ о прорицателѣ и любимцѣ боговъ, чтобы его славою приманивать къ храму просителей и жертвователей.

Слова и поступки Аполлонія, сказанные и сдѣланные имъ въ простотѣ сердечной, могли въ устахъ жрецовъ принимать самую фантастическую физіономію; народу это было любо, и потому легко могло случиться, что Аполлоній, скромный молодой человѣкъ, расположенный къ созерцательной жизни, былъ сдѣланъ прорицателемъ прежде, чѣмъ самъ онъ замѣтилъ въ себѣ какую-нибудь наклонность мистифицировать народъ и господствовать надъ его воображеніемъ. Но когда, незамѣтно для него самого, поставили его на пьедесталъ и произвели въ полубоги, онъ, не будучи въ состояніи и не желая отказываться отъ величія, котораго онъ не искалъ, принимая его, можетъ быть, при мистическомъ направленіи своего ума, за выраженіе воли божества, сталъ пользоваться имъ, какъ средствомъ благодѣтельно подѣйствовать на нравственность массы.

При этомъ онъ, согласно съ общимъ убѣжденіемъ древнихъ мыслителей, не считалъ за грѣхъ обманывать народъ для его же пользы. Если строгій и холодный мыслитель, Варронъ, прямо говоритъ, что народу не только полезно не знать многое существующее, но даже полезно вѣрить

во многое несуществующее, то тѣмъ болѣе можно извинить пылкаго мистика, если онъ вдается въ фокусничество и шарлатанство, думая произвести этими средствами благодѣтельную нравственную реформу.

Сумму убѣжденій, выработавшихся въ его душѣ въ теченіе того времени, которое онъ пробылъ въ Эги, Аполлоній вложилъ въ краткую рѣчь о силѣ молитвы и о жертвоприношеніяхъ. Эта рѣчь заключаетъ въ себѣ два важные факта умственной жизни Аполлонія: во-первыхъ, эмансипацію отъ грубаго суевѣрія, т. е. отъ фетишизма, во-вторыхъ, поворотъ къ идеальному мистицизму. Какъ человѣкъ съ сильнымъ отъ природы эстетическимъ чувствомъ, Аполлоній воображаетъ себѣ боговъ—существами справедливыми и премудрыми, и потому доходитъ до того положенія, что всякая внѣшняя молитвенная просьба безполезна и почти грѣховна, какъ сомнѣніе въ премудрости или справедливости божества. Но отвергая молитву какъ просьбу какого-нибудь желаемаго блага, онъ признаетъ необходимость молитвы, какъ изъявленія покорности передъ волею высшихъ, безсмертныхъ и нравственно совершенныхъ существъ. — Аполлоній очевидно не проводитъ свою мысль до конца; въ процессъ его размышленія врываются чувство и фантазія, и онъ безусловно требуетъ отъ добродѣтельнаго человѣка молитвы и уваженія къ богамъ, не доказавши ихъ необходимости и уже подвергнувши сомнѣнію дѣйствительность и разумность просительной молитвы. Въ произнесенной имъ рѣчи было все, что̀ нужно, чтобы понравиться народу и внушить ему благоговѣйное уваженіе къ оратору. Его идеи были настолько смѣлы, что могли показаться новыми, и между тѣмъ религіозное чувство настолько умѣряло и стѣсняло работу критической мысли, что слова Аполлонія не могли никого озадачить и испугать, какъ пугалъ и озадачивалъ неумолимо-послѣдовательный раціонализмъ эпикурейцевъ.

Между тѣмъ семейныя обстоятельства вызвали Аполлонія изъ Эги. У него умеръ отецъ, и пришлось дѣлить оставленное наслѣдство съ старшимъ братомъ, человѣкомъ пьянымъ и развратнымъ. Аполлонію было въ то время 20 лѣтъ, а старшему брату 23 года, и этотъ возрастъ освобождалъ его отъ опеки. Молодому мыслителю не хотѣлось оставить брата безъ нравственной поддержки и, чтобы пріобрѣсти надъ нимъ вліяніе, онъ уступилъ ему бо́льшую часть наслѣдства; боясь оскорбить его самолюбіе, онъ представилъ ему, что они могутъ быть полезны другъ другу взаимными совѣтами, и убѣдилъ его такимъ образомъ выслушивать его наставленія; кончилось тѣмъ, что старшій братъ оставилъ свои дурныя привычки и сдѣлался порядочнымъ человѣкомъ; затѣмъ Аполлоній помогъ изъ своего имѣнія разнымъ бѣднымъ родственникамъ и, покончивъ свои дѣла съ внѣшнимъ міромъ, обратилъ всѣ силы души на внутреннее самосовершенствованіе, какъ онъ понималъ его, согласно съ мечтательнымъ направленіемъ своего ума. Разсказъ Филострата объ отношеніяхъ Аполлонія къ брату можетъ возбудить противъ себя подозрѣнія. Объ этомъ братѣ ни прежде, ни послѣ не говорится ни слова; мы не знаемъ даже его имени; видны только развратныя привычки, очерченныя общими мѣстами, и цифра лѣтъ, показывающая, что онъ старшій братъ Аполлонія; то и другое, можетъ быть, приведено для того, чтобы оттѣнить съ выгодной стороны личность героя, чтобы выставить его благоразуміе, его воздержаніе и великодушную щедрость. Сверхъ того, нужно же было показать, что аскетическія убѣжденія Аполлонія способны принести дѣятельную пользу и поставить на путь истины погибающаго человѣка.

II.

Раздавши родственникамъ большую часть своего имѣнія, Аполлоній продолжалъ совершенствоваться въ пиѳагорейскомъ образѣ жизни. Аскетизмъ его давно оставилъ за собою тѣ предписанія, которыя преданіе относило къ Пиѳагору. Пиѳагоръ предписывалъ соблюденіе супружеской вѣрности, Аполлоній обрекъ себя на безбрачіе и отказался отъ наслажденія любви. Разсказъ Филострата объ этомъ рѣшеніи молодого аскета заслуживаетъ довѣрія. Чтобы окончательно укрѣпиться въ мудрости, Аполлоній наложилъ на себя обѣтъ молчанія и хранилъ его въ продолженіе пяти лѣтъ. Этотъ обѣтъ не понимался въ буквальномъ смыслѣ слова древнѣйшими пиѳагорейцами. Пиѳагоръ, по словамъ Мейнерса, принималъ въ свое общество людей, которыхъ онъ предварительно подвергалъ извѣстному испытанію, чтобы убѣдиться въ ихъ умственныхъ способностяхъ, въ ихъ нравственной твердости и въ ихъ умѣніи хранить тайну. Это испытаніе называлось временемъ молчанія, и позднѣйшіе пиѳагорейцы стали принимать это слово буквально; при общемъ аскетическомъ направленіи ихъ практической философіи, подвигъ долговременнаго молчанія сталъ считаться блестящею побѣдою духа надъ тѣломъ.

Такъ принималъ его Аполлоній, обрекая себя на это чувствительное лишеніе. Время своего молчанія онъ провелъ въ Памфиліи и въ Киликіи; когда ему нужно было выразить свое мнѣніе, онъ обращался къ мимикѣ и часто однимъ движеніемъ руки или лицевыхъ мускуловъ производилъ на массу народа глубокое и прочное впечатлѣніе. Въ памфильскомъ городѣ Аспендѣ онъ, если вѣрить Филострату, успѣлъ укротить опасное волненіе. Аспендскіе богачи скупили весь хлѣбъ, заперли его въ свои амбары и хотѣли продавать его за границу по возвышенной

цѣнѣ. Народъ сталъ терпѣть голодъ и, полагая, что во всемъ виноватъ городской намѣстникъ, взбунтовался противъ него, принудилъ его искать убѣжища у подножія императорскихъ статуй и окружилъ его, угрожая ему горящими головнями. Въ эту минуту неожиданно явился Аполлоній и спросилъ знаками: въ чемъ дѣло? Намѣстникъ отвѣчалъ, что онъ ни въ чемъ не виноватъ, что онъ вмѣстѣ съ народомъ терпитъ обиду и что онъ погибнетъ вмѣстѣ съ народомъ, если ему не позволятъ говорить въ свое оправданіе. Аполлоній обратился тогда къ народу и знакомъ попросилъ его успокоиться. Раздраженная толпа утихла и положила головни на жертвенники. Намѣстникъ собрался съ духомъ и назвалъ имена тѣхъ богачей, которые захватили въ свои руки всю хлѣбную торговлю. Граждане изъявили желаніе отнять у нихъ собранный хлѣбъ и пустить его въ продажу, но Аполлоній приказалъ привести этихъ монополистовъ на площадь и написалъ къ нимъ слѣдующее сильное воззваніе: «Аполлоній къ хлѣбнымъ торговцамъ города Аспенда. Земля общая мать всѣхъ людей; она справедлива. Вы же несправедливо сдѣлали ее вашею исключительною матерью. Если вы не исправитесь, я вамъ не позволю стоять на землѣ». Богачи испугались этого воззванія, тѣмъ болѣе, что окружающая ихъ толпа придавала своею грозною физіономіею страшный вѣсъ послѣднимъ словамъ Аполлонія. Они отперли свои амбары, наполнили хлѣбомъ городскіе рынки, и въ успокоившемся городѣ снова водворилось довольство.

Появленіе Аполлонія въ ту минуту, когда раздраженный народъ готовился растерзать намѣстника, составляетъ происшествіе эффектное и не вполнѣ правдоподобное; что же касается до вмѣшательства Аполлонія въ отношенія между горожанами, то это вмѣшательство по духу своему вполнѣ соотвѣтствуетъ всей его послѣдующей дѣятельности. Онъ здѣсь является вдохновеннымъ защитникомъ бѣдной и притѣсненной черни и поборникомъ общиннаго права. И то, и другое явленіе вытекаетъ изъ историческаго порядка вещей; пауперизмъ на протяженіи всей Римской имперіи бросался въ глаза самыми жалкими и возмутительными своими сторонами. Серьезному мечтателю, предположившему произвести нравственную реформу въ окружающемъ его обществѣ, необходимо было противодѣйствовать этому явленію; увлекаясь непосредственнымъ чувствомъ, не имѣя ни основательнаго научнаго образованія, ни способности къ абстрактному мышленію, Аполлоній рѣшалъ вопросъ о пауперизмѣ съ плеча и прямо бросался въ несбыточныя и оскорбительныя для личности человѣка утопіи коммунизма. Въ воззваніи его къ богатымъ аспендійцамъ выражена только мысль о томъ, что земля общая мать и кормилица всѣхъ людей, но эта мысль, какъ видно изъ употребленія ея въ этомъ воззваніи, не была простою риторическою побрякушкою. Въ ней выразилось глубокое убѣжденіе оратора, и этому убѣжденію суждено было развиться и выработаться въ позднѣйшей дѣятельности Аполлонія. Когда кончилось время молчанія, Аполлоній рѣшился учить другихъ тѣмъ результатамъ, которые онъ выработалъ послѣ пятилѣтняго постояннаго и сосредоточеннаго мышленія.

Главнымъ его предметомъ была религія и нравственность; его страстной природѣ были почти недоступны сферы отвлеченнаго мышленія, и діалектическое развитіе идеи для идеи постоянно оставалось ему чуждымъ. Его интересовало все то, и только то, что имѣло живое отношеніе къ человѣку, что непосредственно и тѣсно было связано съ его потребностями и стремленіями, что обусловливало его поступки и отношенія къ жизни и къ обществу. На этомъ основаніи онъ былъ медикъ, проповѣдникъ, филантропъ, коммунистъ и демократъ. Его занимали и физическое здоровье человѣка, и внутреннее, духовное довольство его, и внѣшняя безопасность въ матеріальномъ и общественномъ отношеніи. Онъ рѣшалъ такимъ образомъ вопросы, относившіеся повидимому къ совершенно различнымъ сферамъ знанія и дѣятельности, не имѣвшіе между собою непосредственной связи, но соединявшіеся между собою въ одномъ высшемъ, многообъемлющемъ центрѣ, въ личности человѣка. Ассирійскому юношѣ онъ совѣтовалъ держать діэту, жрецамъ Эскулапа объяснилъ истинное, по его мнѣнію, значеніе молитвы, брату своему указывалъ на воздержный образъ жизни, аспендійскимъ монополистамъ доказывалъ необходимость человѣколюбія и нѣкотораго стѣсненія личныхъ интересовъ во имя благосостоянія народной массы. Съ этимъ практическимъ направленіемъ мыслительной дѣятельности Аполлонія гармонировалъ характеръ его изложенія. Онъ говорилъ просто, коротко и сильно, не гнался за кудреватыми украшеніями рѣчи, не вдавался въ діалектическія тонкости и не любилъ спорить съ своими слушателями. Языкъ его былъ правильный и чисто аттическій, но въ немъ не было замѣтно педантическихъ усилій отрѣшиться отъ всякихъ случайныхъ провинціализмовъ. Форма сама по себѣ не занимала его, и, какъ художнику, давалась ему въ руки сразу, безъ труда и усилія, облекая собою мысль и какъ бы сростаясь съ нею; онъ говорилъ короткими предложеніями, которыя Филостратъ называетъ алмазными, и высказывалъ свою мысль смѣло, рѣшительно, безъ колебаній и безъ ограниченій. Догматическій тонъ его поученій становился смѣлѣе и повелительнѣе по мѣрѣ того, какъ возрастала его популярность и жизненная зрѣлость.

Одинъ софистъ спросилъ у Аполлонія, почему онъ не излагаетъ своего ученія въ формѣ изслѣдованія. «Дѣлалъ я это, отвѣчалъ Аполлоній,

когда мальчикомъ былъ. Теперь же дѣло не изслѣдовать, а учить тому, что̀ я нашелъ».

— А какъ же, продолжалъ его собесѣдникъ, слѣдуетъ мудрецу говорить о научныхъ вопросахъ?

— Тономъ законодателя, отвѣчалъ Аполлоній. А законодатель, продолжалъ онъ, долженъ обязывать толпу къ исполненію того, что онъ самъ сознаетъ истиннымъ.

Въ этихъ словахъ заключается полное и догматическое оправданіе умственнаго деспотизма. Прославленный и возвеличенный окружающими посредственностями, даровитый юноша очевидно впадаетъ въ самообожаніе и начинаетъ вѣрить въ самого себя, какъ въ полное и непогрѣшимое воплощеніе абсолютной истины. Отъ этой самонадѣянной вѣры въ собственную личность не далеко до потребности сдѣлать эту вѣру общимъ достояніемъ массы и явиться вдохновеннымъ провозвѣстникомъ новой религіи. Такая цѣль обыкновенно поглощаетъ всѣ силы человѣка, онъ отказывается отъ матеріальнаго комфорта, отъ высшихъ наслажденій семейной жизни, отъ почестей, даже отъ вліянія на государственныя дѣла; но это внѣшнее смиреніе, это самоотреченіе скрываетъ въ себѣ самое пылкое самолюбіе, самое неограниченное стремленіе къ власти; отказываясь отъ внѣшняго блеска и отъ тѣлесныхъ наслажденій, восторженный мечтатель хочетъ самовластно господствовать надъ нравственнымъ сознаніемъ другихъ людей, распоряжаться ихъ совѣстью и произвольно управлять ихъ умами. Кто настолько поэтъ, чтобы предпочесть это высшее господство болѣе осязательнымъ и достижимымъ выгодамъ и наслажденіямъ, тотъ способенъ голосомъ собственнаго вдохновенія заглушить въ себѣ естественный голосъ нравственной совѣстливости и разборчивости въ средствахъ. Отдаленная, обширная цѣль до такой степени манитъ къ себѣ мыслящаго энтузіаста, что господство надъ міромъ его личныхъ убѣжденій и вѣрованій начинаетъ казаться ему единственнымъ средствомъ спасти гибнущее человѣчество; передъ такою цѣлью замолкаютъ мелкія возраженія совѣстливости. Что значитъ обмануть подложнымъ чудомъ сотню ограниченныхъ зрителей? Что значитъ обставить себя блестящими атрибутами шарлатанства? Эти мелочи ведутъ къ такимъ громаднымъ послѣдствіямъ, что вдохновенный реформаторъ не замѣчаетъ ихъ уклоненія отъ правды, а если и замѣтитъ, то только затѣмъ, чтобы пожалѣть объ ограниченности и закоснѣлости тѣхъ людей, для убѣжденія которыхъ нужно не разумное и живое слово истины, а чудесное, хотя бы случайное или искусственно приготовленное знаменіе. Отказавшись отъ своего родового имѣнія, рѣшившись не вступать въ бракъ и не знать женщинъ, испытавши силу своего характера пятилѣтнимъ молчаніемъ, Аполлоній созрѣлъ для роли религіознаго дѣятеля и самъ почувствовалъ свою зрѣлость.

Человѣку необходимо имѣть въ жизни живой интересъ, а Аполлоній обставилъ себя такъ, что кромѣ вліянія надъ умами другихъ ему не оставалось ни наслажденія, ни разумной дѣятельности. За это наслажденіе и за эту дѣятельность онъ взялся съ полной энергіей и съ разсчитаннымъ искусствомъ. Прежде всего, онъ, вскорѣ послѣ истеченія пятилѣтняго срока молчанія, рѣшился отправиться въ дальнее путешествіе; побудительныхъ причинъ, заставившихъ его рѣшиться на это предпріятіе, можно насчитать очень много. Онъ ѣхалъ въ Индію, въ страну чудесъ, въ ту землю, изъ которой, по греческимъ преданіямъ, египтяне добыли свою обширную мудрость; туда могла привлекать его природная любознательность, для которой тамъ было такъ много пищи и въ роскошной природѣ и своеобразной жизни людей; къ поѣздкѣ въ Индію могло побуждать его желаніе поучиться у индѣйскихъ и вообще у восточныхъ мудрецовъ таинствамъ медицины, астрологіи, физики и магіи. Каждый подобный секретъ могъ быть полезнымъ вспомогательнымъ средствомъ при утвержденіи новой религіи; наконецъ, Аполлоній вѣроятно хорошо понималъ, что долговременное отсутствіе и дальнее путешествіе придаетъ въ глазахъ народа особенный вѣсъ и особую занимательность личности, рѣшившейся перенести труды и опасности переѣздовъ и столкновеній съ разнородными полудикими племенами и національностями. Аполлоніемъ руководили вѣроятно всѣ три побужденія вмѣстѣ; онъ былъ поэтъ своего дѣла и добросовѣстно, съ искреннимъ жаромъ чувства искалъ истинной мудрости; онъ проповѣдывалъ народу то, что дѣйствительно считалъ живою правдою, и потому, желая учить другихъ, онъ сильно хотѣлъ учиться самъ и присматривался ко всему, что попадалось ему на глаза, прислушиваясь ко всякому разумному и честному совѣту. Но, съ другой стороны, онъ справедливо считалъ себя выше толпы и не пренебрегалъ тѣми вспомогательными средствами, которыя могли служить посредниками между его ученіемъ и пониманіемъ народа; онъ не прочь былъ сдѣлать чудо, сказать пророческую двусмысленность и потому конечно желалъ усвоить себѣ техническую часть своего мистическаго званія. Страна чудесъ и мистицизма—Востокъ вообще, и Индія въ особенности, были ему необходимы, какъ драгоцѣнные источники неизслѣдованныхъ матеріаловъ. Аполлоній предложилъ семи ученикамъ своимъ отправиться въ путь вмѣстѣ съ нимъ, но юноши вѣроятно болѣе своего молодого наставника были привязаны къ матеріальному комфорту домашняго очага; они отказались и старались отговорить учителя отъ смѣлаго предпріятія. Учитель снисходительно выслушалъ ихъ увѣщанія и разо-

шелся съ ними съ той же мягкой и кроткой терпимостью, съ какой онъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ разстался съ сластолюбивымъ Евксеномъ. «Я посовѣтовался съ богами, — отвѣчалъ онъ,—и сказалъ вамъ, на что я рѣшился. Васъ я хотѣлъ испытать, достаточно-ли вы сильны, чтобы принять участіе въ томъ, къ чему я чувствую призваніе. Въ васъ силы недостаетъ, и потому живите счастливо и философствуйте; я же пойду туда, куда ведетъ меня мудрость и демонъ».

Онъ отправился изъ Антіохіи съ двумя служителями и поѣхалъ на Ниневію; въ этомъ городѣ къ нему присоединился Дамидъ, человѣкъ честный и довѣрчивый, склонный къ обожанію и способный идти на край свѣта съ человѣкомъ, произведшимъ сильное впечатлѣніе на его воспріимчивое чувство или на его игривую фантазію. Аполлоній безъ труда овладѣлъ этой личностью, рожденною быть прозелитомъ и съ наслажденіемъ сознающею свою нравственную и умственную нищету. Дамидъ беззавѣтно отдался даровитому энтузіасту и сознательно подчинился его умственному превосходству. Это былъ первый и самый ревностный сектаторъ аполлоніевой религіи.

— Пойдемъ вмѣстѣ, Аполлоній, — сказалъ онъ;—ты ступай по внушенію бога, а я буду слѣдовать за тобою. Ты увидишь, что и я способенъ принести пользу. Хоть я и немного знаю, однако знаю дорогу въ Вавилонъ и города по этой дорогѣ, по которой я недавно проѣзжалъ, и села, въ которыхъ есть много добра. Знаю я наконецъ языки варваровъ, сколько ихъ есть. Однимъ языкомъ говорятъ армяне, а другимъ мидяне и персы, а третьимъ кадузяне. Я всѣ эти языки знаю.

— И я, другъ мой, возразилъ Аполлоній, знаю всѣ языки, хотя ни одному изъ нихъ не учился.

Дамидъ выразилъ свое изумленіе.

— Ты не удивляйся, — продолжалъ мечтатель, понявъ свойство своего собесѣдника, — что я знаю всѣ языки людей. Я и то знаю, что̀ умалчиваютъ люди.

Ассиріянинъ Дамидъ сталъ молиться на Аполлонія, какъ на бога, и запоминая каждое его слово, написалъ сочиненіе подъ заглавіемъ «Крохи» (ἐκπατνιδματα — то, что выпадаетъ изъ яслей или сваливается съ обѣденнаго стола), въ которомъ съ полной благоговѣйной вѣрой и съ возможной точностью передаются поступки и поученія Аполлонія. Этотъ трудъ Дамида составляетъ, по словамъ Филострата, главный и достовѣрнѣйшій источникъ его біографіи. Этому извѣстію Филострата можно охотно повѣрить, потому что иначе трудно было бы себѣ представить, какимъ образомъ умный, талантливый и образованный писатель 3-го вѣка по Р. Х. сумѣлъ набрать такое множество неправдоподобныхъ, грубыхъ и, что всего важнѣе, неосмысленныхъ чудесъ. Только заимствованіе изъ простодушнаго и восторженнаго разсказа современника можетъ до нѣкоторой степени объяснить ихъ появленіе въ серьезномъ, дѣльномъ и умно составленномъ біографическомъ очеркѣ Филострата. Дамидъ дѣйствительно безъ всякаго разбора записывалъ все, что говорилъ и дѣлалъ Аполлоній. Дневникъ ихъ путешествія представляетъ даже въ передѣлкѣ Филострата такъ много безцвѣтныхъ подробностей, такъ много мелкихъ фактовъ и длинныхъ разсужденій, что мнѣ придется ограничиться самымъ короткимъ извлеченіемъ.

Съ довѣрчивымъ слушателемъ, подобнымъ Дамиду, Аполлоній могъ дѣлать, что ему было угодно; онъ могъ приписывать себѣ всевозможныя знанія, и Дамидъ никогда не подвергалъ сомнѣнію его слова; дошло до того, что Аполлоній увѣрилъ своего спутника, будто онъ, Аполлоній, понимаетъ языки животныхъ. При всемъ томъ, на Аполлонія невозможно смотрѣть какъ на обыкновеннаго шарлатана; сравнивать его съ Александромъ Авонотихитомъ было бы крайне несправедливо. Аполлоній имѣлъ въ виду огромную міровую задачу. Ему хотѣлось обновить религіозныя и нравственныя убѣжденія человѣчества, и для этого было, по его мнѣнію, необходимо поразить воображеніе современниковъ и увлечь ихъ за собою, какъ толпу слѣповѣрующихъ и фанатически преданныхъ прозелитовъ. Александръ былъ фокусникъ, старавшійся обдѣлать свои дѣлишки; Аполлоній былъ мыслящій мечтатель, отказавшійся отъ всякихъ личныхъ наслажденій, не искавшій своихъ выгодъ и творившій по внутреннему вдохновенію, какъ истинный поэтъ и энтузіастъ. Надъ Дамидомъ онъ просто смѣялся, и его личность могла навести Аполлонія только на одно плодотворное размышленіе; онъ могъ, всматриваясь въ него, убѣдиться въ томъ, что суевѣріе есть могучій двигатель, который даже людямъ слабымъ и ничтожнымъ придаетъ много энергіи и силы переносить опасности и лишенія. Конечно эти мысли могли только укрѣпить Аполлонія въ его желаніи дѣйствовать въ этомъ направленіи на умы современниковъ. Такъ и случилось. Мы увидимъ, что изъ своего путешествія въ Индію Аполлоній, испробовавшій свои силы на Дамидѣ и другихъ приближенныхъ людяхъ, вернется въ отечество вполнѣ чудотворцемъ, не упускающимъ ни одного случая удивить толпу и возбудить въ ней трепетное благоговѣніе или шумный взрывъ восторга.

Мѣсто не позволяетъ мнѣ распространяться о путешествіи Аполлонія. Скажу коротко, что онъ побывалъ въ Вавилонѣ и въ Индіи, говорилъ съ магами и съ индѣйскими мудрецами, учился у нихъ нравственной философіи и есте-

ственнымъ наукамъ, и изумлялъ царей Востока своимъ безкорыстіемъ, неподкупной честностью и смѣлой откровенностью. Исторически достовѣрнаго въ разсказѣ Филострата о путешествіи Аполлонія искать невозможно; у біографа нашего чудотворца было очень много побудительныхъ причинъ, заставлявшихъ его подкрашивать истину; сверхъ того, единственнымъ источникомъ служила ему книга Дамида, которому никогда не приходило въ голову усомниться въ вѣрности словъ учителя или въ подлинности его чудесъ. Самъ Филостратъ въ своемъ біографическомъ очеркѣ преслѣдуетъ двѣ цѣли: во-первыхъ, онъ хочетъ представить образъ идеальнаго мудреца языческаго міра; во-вторыхъ, какъ царедворецъ императрицы Юліи Домны, онъ желаетъ доставить своей августѣйшей покровительницѣ занимательное чтеніе. Обѣ эти цѣли допускаютъ и оправдываютъ отступленія отъ исторической вѣрности, произвольную пестроту красокъ и, порою, свободное творчество фантазіи. Перенося своего героя на богатую чудесами почву Востока, Филостратъ отрѣшаетъ свое повѣствованіе отъ всѣхъ требованій не только исторической критики, но даже простого здраваго смысла. Его разсказъ любопытенъ, какъ сказка, написанная въ концѣ второго вѣка по Р. Х.; но я теперь ищу не сказочнаго интереса и потому позволяю себѣ прямо обратиться къ дѣятельности Аполлонія послѣ его возвращенія.

III.

Путешествіе Аполлонія принесло ему все, чего онъ отъ него ожидалъ; больше, по его понятіямъ, ему нечего было учиться; онъ побывалъ у мудрѣйшихъ людей земли и узналъ отъ нихъ, что онъ достигъ предѣловъ человѣческаго знанія; гордый этою идеей, довольный сознаніемъ собственной силы, онъ выступилъ смѣлымъ учителемъ человѣчества, и всѣ тѣ люди, съ которыми онъ приходилъ въ соприкосновеніе, стали преклоняться передъ его всевѣдѣніемъ и нравственной чистотою. Изложеніе Филострата, начиная съ четвертой книги, принимаетъ чисто панегирическій тонъ и подготовляетъ ту апоѳеозу, которою заканчивается все сочиненіе.

Когда Аполлоній и Дамидъ пріѣхали въ Эфесъ, за ними пошла цѣлая толпа народа; однихъ поражала мудрость Аполлонія, другихъ его красота, третьихъ его костюмъ и образъ жизни. Оракулы говорили о немъ народу и подготовляли его къ принятію мудреца и любимца боговъ. Многіе больные получали отъ божества приказаніе обратиться къ Аполлонію. Изъ разныхъ городовъ къ нему приходили депутаты просить его совѣта насчетъ основанія храмовъ или освященія статуй. Аполлоній больныхъ лечилъ, а на просьбы городовъ отвѣчалъ письмами, или отправлялся самъ по ихъ приглашенію и устраивалъ все, что имъ было нужно. Эти общія свѣдѣнія, высказанныя у Филострата довольно голословно, при самомъ началѣ IV книги, показываютъ намъ характеръ той дѣятельности, которой Аполлоній посвятилъ остальную часть своей жизни. Онъ принялъ на себя роль законодателя въ дѣлѣ религіозной догматики и практической нравственности, и выполнилъ эту роль съ замѣчательнымъ искусствомъ и успѣхомъ.

Эти важныя занятія не мѣшали ему обращать вниманіе на нужды и страданія отдѣльныхъ лицъ, и множество удачныхъ исцѣленій конечно увеличивали его популярность и довѣріе народа къ его божественному посланничеству. Филостратъ упоминаетъ о двухъ проповѣдяхъ, произнесенныхъ Аполлоніемъ въ Эфесѣ. Въ одной онъ говорилъ противъ роскоши и изнѣженности и совѣтовалъ эфесянамъ обратиться къ серьезнымъ занятіямъ и къ работѣ мысли. Въ другой онъ говорилъ въ пользу коммунизма, доказывая необходимость взаимнаго дѣятельнаго милосердія. Рѣчь его была прервана незначительнымъ событіемъ. Много воробьевъ сидѣло на сосѣднихъ деревьяхъ, къ нимъ подлетѣлъ еще воробей, закричалъ, защебеталъ и потомъ полетѣлъ куда-то прочь; остальные воробьи подняли тоже страшный крикъ, встрепенулись и полетѣли за первымъ; это обратило вниманіе слушателей Аполлонія, и проповѣдникъ, видя ихъ разсѣянность, рѣшился воспользоваться этимъ перерывомъ, чтобы подкрѣпить свою идею новымъ доказательствомъ.—«Мальчикъ, сказалъ онъ, уронилъ мѣру пшеницы въ такомъ-то переулкѣ, подобралъ зерна, но послѣ него осталось ихъ много на землѣ. Воробей, видѣвшій это, прилетѣлъ сюда, увѣдомилъ своихъ товарищей и пригласилъ ихъ раздѣлить съ нимъ обѣдъ». Большая часть слушателей побѣжали къ означенному мѣсту и возвратились съ возгласами изумленія, потому что дѣйствительно увидѣли воробьевъ надъ зернами.—«Вотъ, видите-ли, сказалъ тогда Аполлоній, какъ птицы заботятся другъ о другѣ, и какъ имъ пріятно дѣлиться между собою; а мы этого не хотимъ; когда мы видимъ, что одинъ даетъ что нибудь другимъ, мы упрекаемъ его въ неумѣренности, въ мотовствѣ и въ другихъ подобныхъ свойствахъ; кого онъ кормитъ, тѣхъ мы называемъ льстецами и приживальщиками, шутами. Послѣ этого намъ остается только запереться и, какъ птицамъ, которыхъ кормятъ на убой, наѣдаться въ уединеніи, пока не лопнемъ отъ жира». Все, что можно сказать на основаніи этой рѣчи, состоитъ въ томъ, что Аполлоній умѣлъ говорить популярно, выбирая примѣры изъ вседневной жизни и придираясь къ каждому удобному случаю, чтобы подкрѣплять развиваемыя идеи чисто практическими доказательствами, доступными массѣ слушателей. Ска-

зать слово за бѣдняковъ, которыхъ вездѣ было много и которые постоянно становились многочисленнѣе — было дѣйствительно необходимо. Но нужно было поднять ихъ самихъ въ нравственномъ отношеніи; изнѣженность высшаго класса и грязное униженіе низшаго служили другъ другу дополненіемъ. Стараясь своими рѣчами внушить богачамъ любовь къ умѣренному и простому образу жизни, стараясь возбудить въ нихъ чувство милосердія, Аполлоній, при всей своей мудрости, бралъ только одну сторону того соціальнаго вопроса, который онъ старался разрѣшить. Римская чернь и безъ того жила милостынею, которую давало ей правительство; и безъ того толпы кліентовъ получали подачку съ барскаго стола. Усиливая милосердіе высшаго класса, можно было еще больше развратить низшій. Надо было возбудить въ пролетаріяхъ желаніе и дать имъ средства обходиться безъ милостыни. Для этого нужно было поднять и оживить въ нихъ чувство человѣческаго достоинства, а было ли это возможно? Сколько вѣковъ должно было пройти, чтобы образовать среднее сословіе, живущее своимъ трудомъ и между тѣмъ свободное, огражденное закономъ отъ обидъ и притѣсненій, и способное выставлять изъ себя дѣльныхъ гражданъ и замѣчательныхъ людей! Нужно было, чтобы переработался весь историческій порядокъ вещей, чтобы перезрѣвшіе плоды римской цивилизаціи сгнили и удобрили собою новую почву, а этого конечно не могли сдѣлать или даже ускорить проповѣди утописта. На этомъ основаніи, мы можемъ обвинить Аполлонія только въ томъ, что онъ не понялъ истинныхъ потребностей своей эпохи и направилъ свои проповѣди не совсѣмъ туда, куда слѣдовало. Вѣрное направленіе могло бы обнаружить въ проповѣдникѣ замѣчательную проницательность и практичность взгляда, хотя, можетъ быть, не имѣло бы никакого вліянія на физіономію народной жизни.

Въ Смирнѣ Аполлоній проповѣдывалъ въ пользу гражданскихъ добродѣтелей и убѣждалъ народъ ревностно заниматься дѣломъ и добросовѣстно исполнять свои обязанности. Въ то время, какъ онъ говорилъ, изъ гавани, передъ глазами его слушателей, вышелъ въ море трехмачтовый корабль, на которомъ суетились и хлопотали матросы. «Вотъ граждане корабля, сказалъ Аполлоній, одни взялись за весла, другіе поднимаютъ и прикрѣпляютъ якоря; вотъ эти ставятъ паруса по вѣтру, а тѣ держатъ стражу на кормѣ и на носу. Если одинъ изъ нихъ не исполнитъ своей обязанности, или окажется неразсудительнымъ и незнающимъ дѣла, то у нихъ на кораблѣ выйдетъ неурядица, и поѣздка будетъ неудачна. Если же они будутъ соперничать между собою и спорить въ томъ, чтобы ни одинъ не показался хуже другого, то этотъ корабль благополучно войдетъ во всѣ гавани; все пойдетъ весело и счастливо, и ихъ осмотрительность будетъ имъ Посейдономъ-хранителемъ».

Опять тотъ же удачный пріемъ — взять темою рѣчи предметъ, попавшійся на глаза слушателя, и показать на живомъ примѣрѣ приложеніе отвлеченной идеи. Между тѣмъ въ Эфесѣ показалась моровая язва, и народъ обратился къ Аполлонію съ мольбою прекратить бѣдствіе. Аполлоній по этому поводу сдѣлалъ чудо, которое вѣроятно придумано его біографами, чтобы поставить его на ряду съ Эпименидомъ и подобными ему древними заклинателями повальныхъ болѣзней. По первому призыву онъ явился въ Эфесъ и, увлекая за собою всю молодежь, прямо отправился на театральную площадь, гдѣ потомъ поставили статую Геркулеса защитника. Тамъ увидѣли они старика нищаго, одѣтаго въ лохмотья, съ котомкою за плечами и покрытаго грязью. Этого старика Аполлоній велѣлъ окружить и побить камнями. Эфесяне сначала колебались, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ суевѣріе пересилило жалость, и въ нищаго старика полетѣло нѣсколько камней. Довольно было начать, чтобы окончательно двинуть толпу; эфесянамъ старикъ показался демономъ; въ его глазахъ они увидали какой-то зловѣщій огонь, и градъ камней размозжилъ мнимаго демона; его буквально засыпали камнями. Черезъ нѣсколько минутъ Аполлоній приказалъ отрыть трупъ убитаго старика, и на его мѣстѣ оказалась большая убитая собака съ пѣною у рта и со всѣми признаками бѣшенства. Язва прекратилась, и на мѣстѣ подвига Аполлонія поставили статую Геркулесу-защитнику.

Подыскивать подобнымъ чудесамъ естественное объясненіе—трудно и безполезно. Привести его я считаю нужнымъ для того, чтобы показать, что не одно наивное вѣрованіе изобрѣтаетъ чудеса, а что многія придумываются сознательно и умышленно. Во-вторыхъ, любопытно знать, какого рода вымыслами писатель надѣялся возвеличить и прославить своего героя въ глазахъ читающей массы.

Оставивъ по себѣ благодарное воспоминаніе въ сердцахъ малоазійцевъ, обозначая свой путь разными исцѣленіями и благодѣтельными чудесами, столь же достовѣрными, какъ уничтоженіе эфесской язвы, Аполлоній направился къ европейской Греціи, къ классической почвѣ эллинизма, на которой онъ еще не былъ ни разу въ жизни. По дорогѣ онъ съ жадною и всесторонней любознательностью осмотрѣлъ мѣстность древняго Иліона и совершилъ много безкровныхъ жертвоприношеній надъ предполагаемыми могилами убитыхъ ахеянъ. Сочувствіе къ личности Ахилла побудило его провести ночь на его надгробномъ холмѣ. Пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы выставить себя су-

ществомъ, состоящимъ выше уровня человѣчества, Аполлоній далъ понять своимъ ученикамъ, что видѣлся съ тѣнью Ахилла. На другой день послѣ ночи, проведенной на могильномъ холмѣ, онъ подозвалъ къ себѣ ученика своего Антисѳена, уроженца острова Пароса. «Ты находишься въ связи съ Троею?»—спросилъ онъ у него.

— Какъ-же!—отвѣчалъ юноша.—Мои предки были Троянцы!

— Ты изъ рода Пріама?—продолжалъ спрашивать учитель.

— Да, я отъ него веду свой родъ, — отвѣчалъ съ достоинствомъ Антисѳенъ, — и считаю себя благороднымъ потомкомъ благородныхъ предковъ.

— Именно по этой причинѣ,—сказалъ тогда Аполлоній,—Ахиллъ запрещастъ мнѣ имѣть съ тобою сношенія. Сегодня ночью онъ далъ мнѣ порученіе къ ѳессалійцамъ, и я спросилъ у него, чѣмъ я еще могу угодить ему?—«Вотъ чѣмъ,— отвѣтилъ онъ мнѣ: — не принимай паросскаго юношу участникомъ твоей мудрости: онъ совершенный пріамидъ и до сихъ поръ не перестаетъ хвалить Гектора».

Антисѳенъ принужденъ былъ удалиться. Аполлоній пожертвовалъ личностью молодого и, можетъ быть, даровитаго ученика желанію или потребности порисоваться; эта грязная черта его жизни вѣроятно не вымышлена; она разсказана, какъ многіе другіе анекдоты о немъ, и въ ней не замѣтно желанія біографа произнести панегирикъ; равнодушный тонъ Филостратова разсказа показываетъ, что онъ просто переписалъ сырое извѣстіе, не вдумавшись въ него и не понявъ того, что оно можетъ бросить тѣнь на личность его героя. Это извѣстіе, кажется, принадлежитъ Дамиду и можетъ дать намъ понятіе о тонкомъ умѣ и замѣчательномъ житейскомъ тактѣ Аполлонія. Прогнавъ Антисѳена и намекнувъ такимъ образомъ на свиданіе съ Ахилломъ, онъ не сталъ говорить о немъ подробнѣе и молчалъ объ этомъ эпизодѣ до тѣхъ поръ, пока не лопнуло терпѣніе его учениковъ. Это поведеніе было такъ искусно разсчитано, что выставило въ самомъ лучшемъ свѣтѣ и скромность Аполлонія, и его правдивость. Ученики были принуждены приступить къ нему съ разспросами; долгое ожиданіе возбудило въ нихъ живое любопытство и, распаливъ ихъ воображеніе, расположило ихъ къ довѣрчивому выслушиванію фантастическаго разсказа. Дамида особенно мучило любопытство. Окруженный своими учениками, Аполлоній плылъ по Эгейскому морю и съ своею обыкновенною, ровною веселостью говорилъ объ островахъ, попадавшихся по дорогѣ и разнообразившихъ веселый морской ландшафтъ. Дамидъ былъ чѣмъ - то встревоженъ, порицалъ все, что говорили другіе, прерывалъ начатыя рѣчи и мѣшалъ говорить другимъ, такъ что Аполлоній замѣтилъ это и захотѣлъ дать ему средства высказаться.

— Что съ тобою, Дамидъ, сказалъ онъ шутливымъ тономъ; что ты все прерываешь разговоръ? Или тебя укачало, или ты нездоровъ, что бесѣда наша тебѣ не нравится? Посмотри, какъ корабль нашъ разсѣкаетъ море и какъ благополучно идетъ наша поѣздка! Что-же тебя послѣ этого тревожитъ?

— А то, отвѣчалъ Дамидъ, что у насъ есть великій предметъ для разговора и что лучше обратиться къ нему, нежели разспрашивать о старинѣ, которая всѣмъ извѣстна и надоѣла.

— Что-жъ бы это былъ за предметъ, сказалъ Аполлоній, передъ которымъ все остальное кажется тебѣ излишнимъ?

— Ты имѣлъ свиданіе съ Ахилломъ, продолжалъ Дамидъ, и вѣроятно слышалъ много такого, чего мы не знаемъ. А ты этого не разсказываешь и не описываешь его наружности; вмѣсто этого ты на словахъ разгуливаешь по островамъ и строишь корабли.

— Хорошо, отвѣчалъ съ кроткою покорностью Аполлоній, я разскажу все, какъ было, лишь бы только вы не сочли это съ моей стороны за хвастливость.

Затѣмъ слѣдуетъ длинный разсказъ Аполлонія о свиданіи его съ Ахилломъ; приводить его я считаю излишнимъ. Любопытно только обратить вниманіе на тотъ наивный пріемъ, которымъ Филостратъ старается оградить Аполлонія отъ обвиненія въ магіи или некромантіи. «Я, говоритъ мудрецъ въ самомъ началѣ разсказа, не вырывалъ, подобно Одиссею, ямы и не привлекалъ тѣней кровью барановъ; чтобы бесѣдовать съ Ахилломъ, я прочиталъ молитвы, которыми индѣйскіе мудрецы учили меня умилостивлять героевъ, и потомъ сказалъ: «О Ахиллъ! многочисленная толпа говоритъ, что ты умеръ; я этого не признаю, подобно Пиѳагору, прадѣду моей мудрости. Если правда на нашей сторонѣ, покажи мнѣ твой образъ. Мои глаза могутъ принести тебѣ пользу, если засвидѣтельствуютъ твое дѣйствительное существованіе».

Тогда произошло вокругъ холма слабое колебаніе, и появился вызываемый призракъ. Какимъ образомъ появленіе тѣни Ахилла можетъ быть соглашено съ пиѳагорейскимъ догматомъ переселенія душъ — этого Аполлоній не показалъ, и ученики не обратили вниманія на это неразрѣшенное противорѣчіе. Проѣзжая мимо острова Лесбоса, Аполлоній вышелъ на противоположный ему эолійскій берегъ и принесъ умилостивляющую безкровную жертву погребенному здѣсь Паламеду. Опираясь на разговоръ съ Ахилломъ, онъ откопалъ въ его могилѣ статую, съ надписью: «божественному Паламеду», поставилъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ она была зарыта, и построилъ вокругъ нея храмъ, который Филостратъ видѣлъ собственными глазами. Филостратъ не

рѣшился бы лгать въ такомъ дѣлѣ, въ которомъ его могъ уличить любой путешественникъ, и потому мы дѣйствительно можемъ принять, что при храмѣ Паламеда жило преданіе объ основаніи его Аполлоніемъ Тіанскимъ. Это конечно дастъ намъ понять, что слово Аполлонія дѣйствительно имѣло вѣсъ и значеніе, и что приказанія странствующаго проповѣдника исполнялись мѣстными жителями.

IV.

Корабль Аполлонія присталъ къ аѳинской гавани — Пирею, и столица греческаго духа, по словамъ Филострата, съ восторгомъ приняла азіатскаго проришателя. Наивно въ разсказѣ о его пріѣздѣ то обстоятельство, что всѣ узнавали его, никогда его не видавши, въ такомъ городѣ, въ который онъ въѣзжалъ въ первый разъ въ жизни. Когда онъ изъ Пирея направлялся къ городу, съ нимъ встрѣтились десять молодыхъ людей; протягивая руки къ Акрополю, они съ восторгомъ говорили: «клянемся тамошнею Аѳиною, мы шли къ Пирею съ тѣмъ, чтобы ѣхать къ тебѣ въ Іонію». Былъ день Эпидаврій, т. е. восьмой день элевзинскихъ мистерій, названный такъ въ честь эпидаврійскаго Эскулапа. Пріѣздъ Аполлонія отвлекъ вѣтряную аѳинскую молодежь отъ мистерій; Аполлоній былъ самою свѣжею современною новостью, и всѣ стремились къ нему, ожидая отъ него проповѣди и чудесныхъ знаменій. Аполлоній понялъ, что это обстоятельство можетъ возбудить противъ него негодованіе аѳинскаго жречества, и приказалъ своимъ обожателямъ принять участіе въ священнодѣйствіяхъ, говоря, что онъ самъ попроситъ себѣ посвященія, а что послѣ мистерій они опять сойдутся съ нимъ и нафилософствуются вдоволь. Уговоривъ ихъ такимъ образомъ, онъ отправился къ святилищу, но уже неблагопріятное впечатлѣніе было произведено, и корпорація жрецовъ смотрѣла на него враждебно. Іерофантъ, т. е. главный жрецъ, объявилъ ему, что не имѣетъ права принимать чародѣя и отворять элевзинскую святыню человѣку, оскверненному сношеніями съ демонами. Аполлоній, видя, что надо спасать свое достоинство въ глазахъ вѣтряной толпы, передъ которою правъ тотъ, кто сказалъ послѣднее слово, отвѣчалъ рѣзкою дерзостью: «Ты еще не упомянулъ самаго главнаго обвиненія, которое ты можешь мнѣ сдѣлать. Это то, что я знаю таинства лучше тебя самого. А я ѣхалъ сюда въ ожиданіи, что меня посвятитъ человѣкъ, который будетъ мудрѣе меня».

Слушателямъ понравился рѣзкій отвѣтъ Аполлонія, и они открѣто выразили свое сочувствіе. Іерофантъ струсилъ и перемѣнилъ тонъ.

— Хорошо, сказалъ онъ, я тебя посвящу, потому что ты, кажется, человѣкъ мудрый.

Но Аполлоній уже не далъ іерофанту средства поправить сдѣланный промахъ и отвѣчалъ сухо:

— Меня примутъ въ мистеріи впослѣдствіи и посвятитъ меня такой-то.—Онъ назвалъ имя будущаго іерофанта, и окружающая толпа конечно подивилась его предвѣдѣнію.—Кромѣ того, Филостратъ говоритъ положительно, что Аполлоній читалъ въ Аѳинахъ много лекцій философіи собственно для того, «чтобы опровергнуть ругательныя и безразсудныя рѣчи іерофанта». Должно быть, эти безразсудныя рѣчи заставляли его задумываться и были близки къ истинѣ.

Изъ поученій Аполлонія, упоминаемыхъ у Филострата и произнесенныхъ проришателемъ въ Аѳинахъ, одно было направлено противъ изнѣженности нравовъ. Оно было произнесено въ театрѣ во время праздниковъ Діониса, когда онъ увидѣлъ, что къ религіознымъ представленіямъ и пѣснямъ примѣшиваются звуки флейты, сладострастные танцы и балетныя позы.—Эта рѣчь, какъ она воспроизведена у Филострата, носитъ на себѣ характеръ страстной импровизаціи и отличается отъ другихъ особенно сильнымъ воодушевленіемъ, которое могло быть до нѣкоторой степени искусственнымъ, потому что Аполлоній понималъ характеръ своихъ слушателей и зналъ, какъ на нихъ надо дѣйствовать.

Въ Аѳинахъ, въ театрѣ происходили довольно часто сраженія гладіаторовъ, на которыя народъ смотрѣлъ съ наслажденіемъ. «Дорогою цѣною, говоритъ Филостратъ, покупались прелюбодѣи, сводники, воры, мошенники, разбойники и другая подобная сволочь; ихъ всѣхъ вооружали и приказывали имъ сражаться». Желая угостить Аполлонія всѣми удовольствіями своего города, аѳиняне приглашали его посмотрѣть на эти игры, но Аполлоній съ отвращеніемъ отказался отъ ихъ предложенія и даже въ письмѣ къ аѳинскимъ гражданамъ выразилъ свое негодованіе противъ того, что они оскверняютъ нечистою и при томъ человѣческою кровью святыню Аѳины и Діониса.

Изъ исцѣленій, совершенныхъ Аполлоніемъ въ Аѳинахъ, Дамидъ упоминаетъ объ изгнаніи демона изъ одного богатаго юноши. Судя по тѣмъ симптомамъ, которые приводитъ самъ Дамидъ или Филостратъ, можно заключить, что болѣзнь юноши была однимъ изъ видоизмѣненій помѣшательства. Онъ смѣялся и плакалъ безъ видимой причины, громко говорилъ самъ съ собою и пѣлъ дикимъ голосомъ.

Аполлоній выгналъ демона взглядомъ и словомъ; было-ли то лѣченіе посредствомъ магнитизма, или біографы Аполлонія скрыли лѣкарства, употребленныя имъ противъ душевнаго разстройства юноши, этотъ вопросъ рѣшать невозможно, да и безполезно. Самый актъ исцѣленія вѣроятно описанъ у Филострата такъ, какъ его поняли сами зрители. Аполлоній сталъ смотрѣть на юношу, засмѣявшагося некстати, во время серьезнаго разговора,—строгимъ и гнѣв-

нымъ взоромъ. Демонъ устами юноши сталъ кричать и стонать, какъ будто его мучили; онъ поклялся оставить юношу въ покоѣ и не трогать впередъ ни одного человѣка. Аполлоній заговорилъ съ нимъ гнѣвнымъ голосомъ, какъ съ безстыднымъ и лживымъ рабомъ, и приказалъ ему выдти съ видимымъ знакомъ. Демонъ отвѣчалъ: я опрокину ту статую, и указалъ рукою юноши на статую, стоявшую у ближняго портика. Статуя закачалась на пьедесталѣ и съ шумомъ свалилась на землю. Поднялся въ окружающей толпѣ взрывъ шумнаго удивленія. Между тѣмъ юноша какъ будто проснулся изъ долгаго усыпленія, протеръ себѣ глаза и покраснѣлъ, увидя, что взоры всей толпы обращены на него. «Онъ возвратился къ прежнему своему тихому характеру, говоритъ Филостратъ, какъ будто бы онъ принялъ спасительное лѣкарство». Вслѣдъ затѣмъ онъ откажался отъ роскоши и комфорта, посвятилъ себя философіи и сдѣлался ревностнымъ послѣдователемъ Аполлонія.

Оставивъ Аѳины, Аполлоній пошелъ странствовать по Греціи, обнаруживая при этомъ любознательность образованнаго туриста и патріотизмъ истиннаго грека. Мѣста сраженія грековъ съ персами, особенно то мѣсто, гдѣ погибъ Леонидъ, древніе храмы и оракулы, все, что было достойно вниманія, было имъ осмотрѣно, и на каждомъ изъ этихъ мѣстъ онъ произнесъ какое-нибудь многозначительное изреченіе, которое тотчасъ же съ любовью и съ благоговѣніемъ было отмѣчаемо Дамидомъ и входило въ составъ его «Крохъ». Въ Коринѳѣ Аполлоній познакомился съ циническимъ философомъ Дмитріемъ, и увлекъ его за собою, такъ что Дмитрій всей душою принялъ его ученіе и пошелъ за нимъ, какъ усердный и любознательный ученикъ. Ученики Дмитрія подражали примѣру учителя, и такимъ образомъ число послѣдователей Аполлонія значительно увеличилось. Съ однимъ изъ учениковъ Дмитрія, съ ликійцемъ Менипомъ произошло такое приключеніе, которое дало Аполлонію поводъ сдѣлать необъяснимое и чисто сказочное чудо. Менинпа любила одна женщина иностраннаго происхожденія, и молодой человѣкъ, увлеченный ея красотою, хотѣлъ на ней жениться. Аполлоній узналъ, что эта женщина была эмпуза или ламія, т. е. злой духъ, питающійся человѣческимъ мясомъ; онъ пришелъ на свадебный пиръ, обличилъ эмпузу, заставилъ исчезнуть всѣ приготовленія обѣда вмѣстѣ съ поварами, виночерпіями и прислуживающими рабами, и освободилъ Менинпа изъ рукъ кровожаднаго призрака. Эта нелѣпая исторія очень подробно разсказана у Филострата, и онъ признаетъ ее одною изъ главныхъ достопримѣчательностей жизни Аполлонія. «Многіе, говоритъ онъ, знаютъ ее, потому что она произошла въ самой Элладѣ, но они слышали только, что онъ въ Коринѳѣ открылъ ламію; что же она сдѣлала, и насколько это дѣло относилось къ Менинпу — этого они не знаютъ. Ее разсказываетъ Дамидъ, и я заимствовалъ ее изъ его извѣстій».

Въ Олимпіи Аполлоній увидалъ посланниковъ изъ Лакедемона; они были одѣты такъ же роскошно, какъ и остальные греки; волосы ихъ были умащены, борода обрита, и вся ихъ наружность поразила строгаго философа чрезмѣрною изысканностью и женственностью. Аполлоній написалъ къ эфорамъ увѣщательное посланіе, совѣтуя имъ обратить серьезное вниманіе на нравственность гражданъ. Любопытно то, что Аполлонія особенно безпокоили женщины, состоявшія при баняхъ, и обычай, вошедшій въ то время во всеобщее употребленіе — уничтожать воскомъ волосы на всемъ тѣлѣ. Эфоры, по увѣренію Филострата, послушались его совѣта и ввели въ Лакедемонѣ прежнюю простоту нравовъ, возстановили гимнастическія школы и снова принудили гражданъ обѣдать за общественными столами. Аполлоній написалъ къ эфорамъ лаконическое письмо, въ которомъ выразилъ свое одобреніе:

«Аполлоній привѣтствуетъ эфоровъ».

«Мужамъ прилично не погрѣшать; благороднымъ—сознаваться въ своихъ погрѣшностяхъ».

Письмо коротко и величественно, но допустить возможность такого переворота актомъ правительственныхъ лицъ могъ только Филостратъ, которому нужно было, во что бы то ни стало, очертить всемогущество и высокую нравственную чистоту своего прославленнаго героя.—Какъ бы то ни было, популярность Аполлонія была велика и возрастала съ каждымъ днемъ, потому что каждый день былъ отмѣченъ какимъ-нибудь краснорѣчивымъ словомъ поученія или поразительнымъ чудомъ. Однажды въ Олимпіи онъ говорилъ о мудрости, о храбрости, о воздержности и вообще о разныхъ добродѣтеляхъ. Стоя на порогѣ храма, говоря громкимъ, вдохновеннымъ голосомъ, онъ привелъ присутствующихъ въ благоговѣйное изумленіе. Бывшіе въ Олимпіи спартанцы окружили его, въ присутствіи Зевса объявили его своимъ гостемъ, отцомъ своего юношества, устроившимъ ихъ образъ жизни, и украшеніемъ ихъ старости. Одинъ коринѳянинъ, досадуя за что-то на Аполлонія, спросилъ насмѣшливымъ тономъ: «Не станете ли вы въ честь его праздновать теофаніи?» Уваженіе лакедемонянъ къ Аполлонію было такъ сильно, что они не смутились этимъ рѣзкимъ вопросомъ и выразили свою полную готовность объявить великаго мудреца богомъ. «Конечно, отвѣчали они, у насъ уже все приготовлено».

Тутъ Аполлоній счелъ нужнымъ вмѣшаться въ дѣло. Ему такая демонстрація казалась опасной, и онъ просилъ своихъ обожателей оставить это намѣреніе, чтобы не возбудить противъ него всеобщей зависти. Скромность Аполлонія не могла не понравиться и произвела самое благопрі-

ятное впечатлѣніе. Черезъ Тайгетъ Аполлоній отвѣчалъ на всѣ вопросы коротко и ясно и выражалъ постоянно полное сочувствіе къ законамъ Ликурга и вообще къ древнимъ спартанскимъ учрежденіямъ. Пробывъ нѣсколько времени въ Спартѣ, онъ отправился на югъ Пелопоннеза до Малеи, оттуда, ссылаясь на видѣнный имъ сонъ, проѣхалъ въ Критъ и наконецъ явился въ Римъ, гдѣ въ то время царствовалъ Неронъ.

V.

Въ первой части этой статьи я упомянулъ о томъ, что римскіе императоры не разъ воздвигали гоненіе на философовъ, на математиковъ и на колдуновъ. Самыя разнообразныя причины побуждали ихъ слѣдовать этой политикѣ. Ихъ безпокоили то политическій либерализмъ философовъ, то религіозное вольнодумство, то мистическое шарлатанство, прикрывавшееся наружностью мудреца. Извѣстно, что Тиверій, Калигула, Неронъ и Домиціанъ не разъ издавали противъ философовъ грозные указы и часто старались выгонять ихъ изъ Рима и даже изъ Италіи. Если кто нибудь своими поученіями собиралъ вокругъ себя народъ, если въ Римѣ на площадяхъ и на улицахъ собирались толпы слушателей, то конечно подозрительное правительство императоровъ смотрѣло на эти собранія враждебно и недовѣрчиво. Въ то время какъ Аполлоній приближался къ Риму, извѣстный стоикъ Музоній Руфъ былъ схваченъ императорскими агентами единственно за то, что его поученія находили себѣ въ народѣ живое сочувствіе. Этотъ арестъ подѣйствовалъ на всѣхъ прочихъ философовъ. Одинъ изъ нихъ, Филолай, спѣшилъ удалиться заблаговременно и въ бѣгствѣ своемъ встрѣтился съ Аполлоніемъ, направлявшимся къ Риму. Онъ наговорилъ ему и ученикамъ его о жестокости и преслѣдованіяхъ Нерона, и слова его не остались безъ послѣдствій. Изъ 34 учениковъ Аполлонія съ нимъ вошли въ Римъ только 8 человѣкъ; остальные разсѣялись, не желая идти на встрѣчу явной опасности. Въ числѣ оставшихся находились Дамидъ, Мениппъ, избавленный Аполлоніемъ отъ эмпузы, и какой то египтянинъ Діоскоридъ. Аполлоній здѣсь, какъ и вездѣ, показалъ себя человѣкомъ разсудительнымъ, кроткимъ и терпимымъ. «Я не стану бранить тѣхъ, кто насъ оставилъ, сказалъ онъ вѣрнымъ своимъ товарищамъ, но похвалю васъ, потому что вы мужи и люди равные мнѣ. Я не назову того трусомъ, кто ушелъ изъ страха передъ Неропомъ; но кто побѣдилъ этотъ страхъ, того я назову философомъ, того я научу всему, что самъ знаю». Въ длинной рѣчи, безъ сомнѣнія сочиненной Филостратомъ, Аполлоній ободрилъ друзей своихъ, унизилъ тирановъ, упомянулъ о злодѣяніяхъ Нерона, убившаго родную мать, и наконецъ, помолившись богамъ, отважные философы вступили въ городъ. На другой день послѣ ихъ пріѣзда консулъ Телезинъ, извѣщенный городскими стражами о прибытіи людей, одѣтыхъ въ оригинальные костюмы, потребовалъ къ себѣ Аполлонія.

— Что это за одежда? спросилъ онъ.

— Она чиста, отвѣчалъ Аполлоній, и не взята отъ смертнаго существа.

— Въ чемъ состоитъ твое ученіе?

— Я учу почитать бога, правильно молиться ему и приносить жертвы. Аполлоній счелъ, какъ видно, полезнымъ, умалчивая о практической нравственности, обратить все вниманіе Телезина на догматическій характеръ своего ученія. Но Телезинъ былъ подозрителенъ, и отъ него не легко было отдѣлаться.

— Философъ, замѣтилъ онъ, да развѣ есть хоть одинъ человѣкъ, который бы не зналъ этого?

— Очень многіе, отвѣчалъ Аполлоній. А кто знаетъ это какъ слѣдуетъ, тотъ сдѣлается еще лучше, если узнаетъ отъ болѣе мудраго человѣка, что поступаетъ правильно. Отвѣты Аполлонія такъ заинтересовали консула, что онъ, не рѣшившись спросить его имя, думая, что онъ желаетъ сохранить инкогнито, снова навелъ разговоръ на религіозныя убѣжденія. Аполлоній разсказалъ ему, что онъ молится слѣдующею простою молитвою: «боги, дайте мнѣ то, что должно».

Этими словами онъ проситъ, чтобы господствовала справедливость, чтобы не нарушались законы, чтобы мудрецы жили въ бѣдности, а другіе люди въ богатствѣ, не обижая ближнихъ. Ни о коммунизмѣ, ни о громкомъ обличеніи изнѣженности, балетнаго искусства и гладіаторскихъ игръ не было сказано ни слова. Аполлоній прекрасно сообразовался съ личностью своего собесѣдника, но притомъ такъ тонко, что самый ревностный фанатикъ, слыша его разговоры съ консуломъ, не могъ бы обвинить его въ двуличности или трусости. Благодаря своему житейскому такту, онъ совершенно расположилъ Телезина въ свою пользу, и разговоръ, начавшійся какъ формальный судебный допросъ, кончился полнымъ торжествомъ Аполлонія. Телезинъ отпустилъ его съ честью и обѣщалъ написать ко всѣмъ жрецамъ, чтобы они пускали Аполлонія въ храмы и сообразовались съ его распоряженіями и совѣтами. Аполлоній жилъ въ Римѣ, ходилъ изъ храма въ храмъ, училъ и проповѣдывалъ, располагая въ свою пользу народъ и не возбуждая подозрительнаго вниманія правительства. Циникъ Дмитрій, человѣкъ болѣе пылкій и откровенный, позволилъ себѣ выходки противъ Нерона. Войдя въ гимназію, устроенную цезаремъ и снабженную роскошными термами, онъ обратился къ купающимся съ энергическою рѣчью, въ которой сталъ имъ доказывать, что теплая баня ослабляетъ тѣло и составляетъ лишній денежный расходъ. «Его не

убили на мѣстѣ, говоритъ Филостратъ, только потому, что Неронъ былъ въ хорошемъ расположеніи духа и въ голосѣ; Дмитрія потребовали однако къ преторіанскому префекту Тигеллину и за дерзкія слова выслали изъ Рима».

Зная, что Аполлоній находился съ Дмитріемъ въ дружескихъ отношеніяхъ, за ними стали слѣдить; Аполлонію надо было быть вдвое осторожнѣе; онъ уже въ Азіи прослылъ прорицателемъ, и потому каждое не совсѣмъ понятное изреченіе его запоминалось его ближайшими учениками, распускалось въ народѣ и потомъ примѣнялось къ первому важному событію, которое происходило въ городѣ или въ государствѣ. Аполлоній могъ совершенно неумышленно, въ полномъ невѣдѣніи, сдѣлать такое прорицаніе, за которое впослѣдствіи пришлось бы имѣть дѣло съ нероновой полиціей.

Однажды во время солнечнаго затменія грянулъ громъ. Аполлоній взглянулъ на небо и сказалъ: «что-то великое случится и не случится». Черезъ три дня послѣ этого Неронъ сидѣлъ за столомъ, съ кубкомъ въ рукѣ, и молнія вышибла у него изъ рукъ кубокъ, который онъ уже несъ къ губамъ. Всѣ рѣшили, что загадочныя слова Аполлонія были прорицаніемъ, и Тигеллинъ удвоилъ бдительность своихъ шпіоновъ, боясь и мудрости неизвѣстнаго иностранца, и его вліянія на народъ. Скоро представился случай обвинить его въ оскорбленіи величества. У Нерона сдѣлался кашель; онъ охрипъ и потерялъ звучный голосъ, которымъ чрезвычайно дорожилъ. Римскіе храмы наполнились людьми, молившими боговъ о выздоровленіи цезаря. Аполлонія приводило въ негодованіе ихъ раболѣпіе, но онъ сдерживалъ порывы возмущеннаго чувства и никому не выражалъ своего неудовольствія. Когда онъ увидѣлъ, что это волнуетъ Менинпа и можетъ надѣлать ему хлопотъ, онъ посовѣтовалъ ему не сердиться на боговъ, взирающихъ съ удовольствіемъ на эти кривлянья глупцовъ. Эти слова были подслушаны и немедленно переданы Тигеллину. Разсказывая процессъ Аполлонія, Филостратъ конечно не упустилъ случая вставить чудо. Когда обвинитель Аполлонія, погубившій уже многихъ подозрительныхъ правительству людей, вышелъ читать свое обвиненіе и развернулъ бумагу, то вмѣсто ожидаемыхъ уликъ и доказательствъ, вмѣсто изложенія дѣла оказалось пустое мѣсто; все, что́ было написано, исчезло безъ слѣда. Тигеллинъ не зналъ, что́ подумать, и пригласилъ Аполлонія въ комнату тайныхъ совѣщаній.

— Кто ты такой? спросилъ онъ очень серьезно.

Аполлоній назвалъ себя по имени и по отчеству, объяснилъ, гдѣ онъ родился и съ какою цѣлью занимается философіей. Затѣмъ свиданіе его съ Тигеллиномъ и разговоръ разсказаны такъ неправдоподобно, что его не стоитъ и передавать. Аполлоній отшучивается и отыгрывается словами, говоритъ дерзко и своей смѣлостью запугиваетъ такого человѣка, предъ которымъ дрожали всѣ римскіе богачи и аристократы. Что Аполлоній говоритъ смѣло — неудивительно, хотя это и не совсѣмъ согласно съ его предыдущей осторожностью и сдержанностью; но что Тигеллинъ испугался этой смѣлости и выпустилъ его изъ рукъ—это очевидно выдумка Дамида или Филострата. Какъ бы то ни было, требовали ли Аполлонія къ Тигеллину, или нѣтъ, по той или другой причинѣ онъ отдѣлался отъ него такъ дешево, все равно; главное дѣло въ томъ, что онъ остался на свободѣ и философствовалъ въ столицѣ міра до тѣхъ поръ, пока Неронъ, уѣзжая въ Грецію, не выгналъ изъ Рима формальнымъ указомъ всѣхъ философовъ безъ различія мнѣній и направленій. Во время своего пребыванія въ Римѣ онъ будто бы воскресилъ умершую молодую дѣвушку, которую несли уже для погребенія. Впрочемъ эту сказку даже Филостратъ не рѣшается разсказать безъ нѣкоторыхъ оговорокъ и ограниченій. Онъ, напр., догадывается, что смерть была только видимая, наружная, что-то вродѣ летаргическаго сна. Онъ сознается откровенно, что ни самъ онъ, ни присутствовавшіе при этомъ событіи не могли рѣшить положительно, замѣтилъ ли въ этой дѣвушкѣ Аполлоній остатокъ жизни, укрывшійся отъ наблюдательности врачей, или вложилъ онъ въ нее уже вылетѣвшее дыханіе. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что кромѣ Филострата ни одинъ писатель древности не упоминаетъ объ этомъ чудесномъ событіи.

Изъ Рима Аполлоній пошелъ на западъ, къ Геркулесовымъ столбамъ, чтобы видѣть Гадейру, а также приливъ и отливъ Атлантическаго океана. До него дошли тоже слухи о значительныхъ философскихъ познаніяхъ тамошнихъ жителей, и онъ интересовался лично провѣрить эти извѣстія.

VI.

Личность Нерона и его распоряженія произвели на Аполлонія и его товарищей глубокое впечатлѣніе. Выѣхавши изъ Рима, они вздохнули свободнѣе и, не боясь уже сыщиковъ и доносчиковъ, съ наслажденіемъ стали сообщать другъ другу свои замѣчанія насчетъ Рима и императора, отправившагося въ Олимпію удивлять грековъ своимъ голосомъ. Одинъ изъ такихъ разговоровъ, отличающійся живой естественностью, приводитъ Филостратъ. Въ этомъ разговорѣ, происходившемъ въ Гераклонѣ, выражается раздражительная иронія, смѣняющаяся порою то открытымъ негодованіемъ, то искреннимъ сочувствіемъ къ угнетенному народу. Этотъ разговоръ замѣчателенъ по своей живости и дѣлаетъ честь искусству Филострата, или той вѣрности, съ которою Дамидъ воспроизвелъ

дѣйствительное событіе. Аполлоній съ неподдѣльнымъ юморомъ проводитъ въ немъ параллель между нашествіемъ Ксеркса и Нерона на Грецію и находитъ, что послѣднее принесетъ бѣднымъ грекамъ больше горя и страданія. Ненависть Аполлонія къ Нерону выразилась не въ однѣхъ насмѣшкахъ. Намѣстникъ провинціи Бетики просилъ Аполлонія назначить ему свиданіе; Аполлоній согласился и, разговаривая съ намѣстникомъ, выслалъ всѣхъ своихъ учениковъ изъ комнаты; даже Дамидъ не слыхалъ, о чемъ они говорили; извѣстно только, что совѣщанія ихъ продолжались три дня, и что, прощаясь съ намѣстникомъ, Аполлоній обнялъ его и сказалъ ему: «прощай и помни Виндекса!» Изъ этихъ словъ Дамидъ заключаетъ, что бесѣда ихъ имѣла преимущественно политическій характеръ и касалась Нерона. Виндексъ, начальникъ испанскихъ легіоновъ, готовилъ возмущеніе противъ Нерона, и очень можетъ быть, что краснорѣчіе и кудесничества Аполлонія сильно помогли ему произвести движеніе умовъ.

Ни Дамидъ, ни Филостратъ не говорятъ положительно о политической роли Аполлонія; быть можетъ, причиною ихъ молчанія является скрытность и осторожность Аполлонія, не любившаго никому довѣрять свои планы. Скрытность же эта оправдывается многими разнородными обстоятельствами; во-1-хъ, таинственность была однимъ изъ средствъ подѣйствовать на умы; во-2-хъ, сдержанность въ политическомъ предпріятіи была положительно необходима; въ 3-хъ, никто изъ приближенныхъ Аполлонія не стоялъ съ нимъ наравнѣ по умственнымъ способностямъ и слѣдовательно не могъ вполнѣ понять и оцѣнить его планы. Таинственный какъ мистикъ, осторожный какъ умный заговорщикъ, гордый какъ даровитый человѣкъ, окруженный благоговѣющими посредственностями,—Аполлоній дѣлалъ свое дѣло, не торопясь, безъ суеты, и не чувствовалъ ни малѣйшей потребности дѣлиться съ кѣмъ бы то ни было своими соображеніями и надеждами. Зато ученики его сторожили каждое слово, случайно слетѣвшее съ его губъ, и давая ему произвольное толкованіе, несчетное число разъ прославляли его за мнимыя пророчества. Часто обращались они къ нему съ вопросами о будущихъ политическихъ судьбахъ имперіи; тогда Аполлоній отвѣчалъ имъ какъ попало, и потомъ они же сами излагали его отвѣтъ такъ, что онъ дѣйствительно оказывался въ нѣкоторомъ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что случилось на-дѣлѣ. Въ то время какъ они плыли изъ Испаніи въ Сицилію, съ тѣмъ, чтобы оттуда переправиться въ Ливію, Дамидъ сильно интересовался исходомъ политическихъ совѣщаній Аполлонія съ намѣстникомъ; въ Сициліи они узнали о возмущеніи Виндекса и о несчастномъ исходѣ его предпріятія; вслѣдъ затѣмъ до нихъ дошли слухи о томъ, что въ разныхъ концахъ имперіи произошли возстанія и явились претенденты на императорскій престолъ; ученики Аполлонія съ полной вѣрой спросили у него, чѣмъ кончится дѣло и кому достанется господство?—«Многимъ ѳиванцамъ», отвѣчалъ Аполлоній. — Ни одинъ ѳиванецъ не сдѣлался римскимъ императоромъ, а между тѣмъ изреченіе Аполлонія все-таки было вмѣнено ему въ пророческую заслугу; поняли его такъ, что онъ сравниваетъ кратковременное господство Гальбы, Отона и Вителлія съ кратковременнымъ первенствомъ Ѳивъ въ ряду остальныхъ греческихъ государствъ. Въ Сициліи, по поводу огнедышащей горы Этны и связаннаго съ нею мѣстнаго преданія о томъ, что здѣсь лежитъ скованный титанъ Тифонъ, извергающій изъ себя пламя—Аполлоній въ довольно пространномъ разсужденіи высказалъ своимъ ученикамъ взглядъ свой на миѳологію.

Самый важный моментъ приведеннаго мною разсужденія есть критика миѳовъ. Защищая разныхъ оракуловъ и греческія преданія, Аполлоній относится довольно враждебно къ свободному вымыслу въ области миѳологіи и, подобно всѣмъ почти мыслителямъ древности, строго различаетъ теологію поэтовъ, украшенную ихъ фантазіей, отъ теологіи государственной религіи, утвержденной существующими законами; все безнравственное и несогласное съ духомъ чистой философіи Аполлоній относитъ насчетъ поэтовъ; это ихъ вымыселъ, по его мнѣнію, и отъ этого вымысла слѣдуетъ очистить догматическую часть религіи. Дидактическая поэзія безусловно вызываетъ къ себѣ его сочувствіе и, придавая особую цѣну нравоученію, онъ почти совершенно упускаетъ изъ виду эстетическій элементъ и красоту формы. Это происходитъ отъ того, что Аполлоній чувствуетъ красоту, но не доводитъ своего эстетическаго чувства до яснаго сознанія, не формулируетъ себѣ своихъ эстетическихъ убѣжденій. Онъ любуется статуей Зевса олимпійскаго, преклоняется передъ величественнымъ образомъ Зевса, нарисованнымъ Гомеромъ; но при отвлеченномъ разсужденіи о миѳахъ онъ является пуристомъ и ставитъ разсудочныя созданія Эзопа выше живыхъ и роскошныхъ твореній сильной фантазіи южнаго человѣка. Гдѣ Аполлоній руководствуется непосредственнымъ чувствомъ, тамъ онъ обыкновенно не ошибается; гдѣ онъ пытается изъ внушеній чувства, провѣренныхъ критическою мыслью, построить теорію, тамъ у него оказываются промахи и погрѣшности, которые, впрочемъ, раздѣляетъ съ нимъ вся классическая древность. Враждебное отношеніе къ миѳамъ я замѣчалъ, говоря о Платонѣ и обсуживая нравственное вліяніе языческаго политеизма.

Изъ Сициліи Аполлоній отправился въ Грецію, былъ посвященъ въ элевзинскія мистеріи новымъ іерофантомъ, свидѣлся съ Дмитріемъ,

жившимъ и учившимъ въ Аѳинахъ, объѣхалъ всѣ греческіе храмы и весною отправился въ Египетъ черезъ Хіосъ и Родосъ. Въ Александріи Аполлонія приняли съ радостью; едва онъ вышелъ на берегъ, ему представился случай показать свое ясновидѣніе; онъ встрѣтилъ двѣнадцать разбойниковъ, которыхъ вели на казнь, и понялъ, что одинъ изъ нихъ былъ невиненъ; онъ просилъ повременить казнью и остановилъ ее настолько, что на лобное мѣсто успѣлъ прибыть всадникъ, который объявилъ прощеніе разбойнику, названному Аполлоніемъ. Это благодѣтельное чудо высоко поставило философа въ глазахъ египтянъ, которые, по словамъ Филострата, вообще очень склонны къ благоговѣнію. Въ первый же день послѣ своего пріѣзда Аполлоній вошелъ въ храмъ и похвалилъ его устройство и украшенія; но кровавыя жертвы не понравились ему, и онъ выразилъ свое неодобреніе. Египетскій жрецъ спросилъ: на какомъ основаніи онъ самъ не совершаетъ такихъ жертвоприношеній?

— Скажи ты мнѣ напротивъ, возразилъ Аполлоній, почему ты приносишь такія жертвы?

— Кто возьметъ на себя смѣлость, спросилъ жрецъ, исправлять обычаи египтянъ?

— Всякій мудрецъ, побывавшій у индѣйцевъ, отвѣчалъ Аполлоній.

Вслѣдъ затѣмъ онъ объявилъ свое желаніе сжечь въ честь божества изображеніе вола, сдѣланное изъ ладона; потомъ въ то время, какъ это изображеніе таяло въ огнѣ, онъ сталъ присматриваться къ фигурѣ и цвѣту пламени, и когда жрецъ объявилъ ему, что самъ не видитъ въ этихъ знакахъ ничего высшаго и божественнаго, Аполлоній упрекнулъ его въ невѣжествѣ и невнимательности къ божественнымъ обрядамъ. За поученіемъ, касавшимся богослуженія, слѣдовала нравственная проповѣдь. Въ Александріи любимымъ увеселеніемъ народа были конскія скачки; онѣ подавали поводъ къ раздѣленію народа на партіи, къ ссорамъ и кровопролитнымъ схваткамъ; Аполлонія возмутила и пустота этой забавы, и кровавыя ея послѣдствія; онъ говорилъ противъ нея въ храмѣ съ большимъ воодушевленіемъ; но насколько дѣйствительно было его поученіе, этого Филостратъ не упоминаетъ. Въ Александріи произошло, по словамъ Филострата, свиданіе между Аполлоніемъ и Веспасіаномъ, уже объявившимъ себя императоромъ и собиравшимся идти на Римъ противъ Вителлія. Это свиданіе описано съ такими античными подробностями, личность Аполлонія до такой степени остается вѣрна своему характеру, что трудно себѣ представить, чтобы она была положительно вымышлена Филостратомъ; съ другой стороны то обстоятельство, что ни Светоній въ жизни Веспасіана, ни Тацитъ въ исторіи не называетъ имени Аполлонія, подаетъ поводъ заподозрить разсказъ Филострата. Впрочемъ можно найти средство согласить одно съ другимъ. О пребываніи Веспасіана въ Египтѣ и даже о чудесномъ исцѣленіи слѣпого черезъ прикосновеніе говорятъ и Тацитъ, и Светоній. Бывши въ Александріи, Веспасіанъ конечно могъ имѣть сношенія съ мѣстными жрецами и философами; въ числѣ этихъ лицъ онъ могъ видѣть и Аполлонія. Обративъ вниманіе на его свѣтлый умъ и обширныя знанія, онъ могъ говорить съ нимъ о положеніи и потребностяхъ государства, и Аполлоній могъ высказать передъ нимъ свои политическія убѣжденія; такъ какъ, по извѣстію самого Филострата, совѣщанія Аполлонія съ Веспасіаномъ происходили не при Дамидѣ, то Дамидъ вѣроятно узналъ ихъ содержаніе по собственнымъ разсказамъ своего учителя и, записывая эти разсказы, конечно не желалъ смягчать или ослаблять то политическое значеніе, которымъ рисовался передъ нимъ учитель.

Конечно, еслибы Аполлоній былъ первымъ совѣтникомъ Веспасіана, о немъ упомянули бы историкъ Тацитъ и біографъ Светоній; конечно, еслибы Аполлоній никогда не видалъ Веспасіана, Филостратъ не выдумалъ бы безъ особенной необходимости цѣлаго ряда сценъ и совѣщаній, наполняющихъ собою 12 большихъ главъ его V-й книги. Особенной необходимости не видно уже потому, что, во-первыхъ, Аполлоній во все время разговоровъ съ Веспасіаномъ не дѣлаетъ ни одного замѣчательнаго чуда, а во-вторыхъ, политическія убѣжденія Аполлонія могли бы быть достаточно очерчены въ защитительной рѣчи его, приготовленной для произнесенія передъ Домиціаномъ. Стало быть, можно принять, что Аполлоній видѣлся съ Веспасіаномъ и говорилъ съ нимъ; степень уваженія Веспасіана къ нему, степень его вліянія на Веспасіана безспорно преувеличены. Но самыя политическія убѣжденія, выраженныя Аполлоніемъ, могутъ быть приняты за его дѣйствительную умственную собственность.

Мы можемъ судить здѣсь лишь по внутреннимъ признакамъ, потому что нѣтъ никакихъ данныхъ, по которымъ мы могли бы контролировать Филострата; внутренняго же противорѣчія я не вижу, и мнѣ кажется, что эти черты только полнѣе и яснѣе очерчиваютъ тотъ образъ, который, на основаніи предыдущихъ извѣстій Филострата, слагается въ умѣ читателя. Даже то обстоятельство, что Веспасіанъ дорожитъ мнѣніемъ Аполлонія, не должно вызывать въ читателѣ безусловнаго недовѣрія. Веспасіанъ не былъ еще вполнѣ императоромъ; ему предстояло еще бороться съ совмѣстникомъ; онъ долженъ былъ дорожить своей популярностью и не пренебрегать дешевыми средствами упрочить и усилить ее; онъ видѣлъ, что Аполлонія считаютъ чудотворцемъ и любимцемъ божества, что его поученія слушаютъ съ благоговѣніемъ

и съ жаднымъ вниманіемъ; если не личное сусвѣріе, то чистый политическій разсчетъ могъ побудить его обласкать хваленаго мудреца, выразить ему свое уваженіе и, чтобы польстить его самолюбію, попросить даже его совѣта въ такомъ важномъ дѣлѣ, которое вѣроятно давно было обдумано и рѣшено въ его умѣ. Веспасіану въ то время было 60 лѣтъ; онъ испыталъ придворную жизнь при Тиверіи, Калигулѣ, Клавдіи и Неронѣ, и слѣдовательно умѣлъ обращаться съ людьми и пользоваться обстоятельствами; ему было пріятно и выгодно дружески говорить съ Аполлоніемъ—онъ такъ и сдѣлалъ. Аполлоній тоже умѣлъ держать себя съ тактомъ и съ достоинствомъ; не унижаясь передъ Веспасіаномъ поспѣшной предупредительностью, не заискивая въ немъ, онъ умѣлъ понравиться ему своей мягкостью и практической примѣнимостью своихъ совѣтовъ. Когда Веспасіанъ въѣзжалъ въ городъ, къ нему вышли навстрѣчу жрецы, правители Египта, начальники отдѣльныхъ номовъ, философы и толпа народа. Аполлоній, о которомъ въ то время говорила вся Александрія, остался въ храмѣ и съ разсчитаннымъ достоинствомъ не сдѣлалъ самъ ни одного шага, чтобы приблизиться къ властелину. Наслышавшись о его чудесахъ и видя, съ какимъ уваженіемъ смотритъ на него масса народа, Веспасіанъ подошелъ къ нему послѣ жертвоприношенія и сказалъ:

— Сдѣлай меня императоромъ!

— Я объ этомъ старался, отвѣчалъ ему Аполлоній. Я молилъ боговъ объ императорѣ справедливомъ, благородномъ, умѣренномъ, украшенномъ сѣдыми волосами и способномъ сдѣлаться отцомъ подданныхъ. Молясь такимъ образомъ, я молился о тебѣ.

На эти слова, произнесенныя спокойно и величественно, окружающая толпа отвѣчала громкимъ восклицаніемъ. Этого было довольно, чтобы показать Веспасіану популярность его собесѣдника; поговоривъ съ нимъ въ храмѣ, онъ взялъ его за руку и повелъ къ себѣ во дворецъ. Передавать происходившіе тамъ разговоры, значитъ вдаваться въ историческій романъ и вѣрить на слово разсказамъ Филострата. Упомяну только о тѣхъ мыслямъ Аполлонія, въ которыхъ выразились его политическія убѣжденія. Съ нимъ вмѣстѣ были у Веспасіана два философа: Діонъ и Эвфратъ, который впослѣдствіи сдѣлался его врагомъ и обвинителемъ. Оба эти мыслители совѣтовали Веспасіану возстановить республику, или по крайней мѣрѣ предоставить народу самому избрать себѣ образъ правленія. Веспасіанъ выслушалъ ихъ совѣты и обратился къ Аполлонію, который между тѣмъ наблюдалъ его физіономію и замѣчалъ въ мускулахъ лица неудовольствіе и тревогу; Аполлоній живымъ, практическимъ смысломъ понялъ потребности настоящей минуты, и не увлекаясь отвлеченными теоріями, осязательно доказалъ Діону и Эвфрату непрактичность ихъ требованій. «Вы говорите, сказалъ онъ имъ, съ консуляромъ, съ человѣкомъ, привыкшимъ властвовать, съ человѣкомъ, который погибнетъ, если откажется отъ господства. Зачѣмъ ему отталкивать дары счастья? Почему не принять то, что приходитъ само собою? За что его порицать, если онъ просто спрашиваетъ совѣта, какъ бы ему мудрѣе распорядиться съ тѣмъ, что у него въ рукахъ?.. Его окружаетъ цѣлое войско, вокругъ него множество коней, блескъ желѣзнаго оружія, сотни лошадей, а посмотрите, какъ онъ честенъ и умѣренъ, какъ способенъ выполнить то, что онъ замышляетъ. Пусть идетъ онъ по своему назначенію; мы проводимъ его добрымъ словомъ и будемъ обѣщать ему въ будущемъ еще бо́льшія блага! Вы не сообразили того, что у него двое взрослыхъ сыновей, что у каждаго изъ нихъ свое войско и что они сдѣлаются его врагами, если онъ не пріобрѣтетъ для нихъ господства... Я съ своей стороны для себя не забочусь о правительствѣ потому, что живу подъ покровительствомъ боговъ; но я не хочу, чтобы стадо людей погибло за неимѣніемъ справедливаго и мудраго пастыря. Демократія при существованіи одного замѣчательнаго по добродѣтели человѣка превращается въ господство одного великаго лица; такъ точно и единодержавіе дѣлается народнымъ правленіемъ, если оно направлено ко всеобщему благу... Чего вы требуете? Чтобы человѣкъ, котораго признали императоромъ въ этихъ храмахъ, который вчера господствовалъ и выслушивалъ просьбы народа, чтобы такой человѣкъ вдругъ возвратился въ частную жизнь и объявилъ публично, что онъ принялъ господство въ припадкѣ безумія? Приводя въ исполненіе свое намѣреніе, онъ находилъ вездѣ усердныхъ, преданныхъ друзей и помощниковъ. Если онъ перемѣнитъ свое намѣреніе, онъ въ каждомъ изъ нихъ встрѣтитъ врага и противника».

Затѣмъ Аполлоній высказалъ самому Веспасіану свои воззрѣнія на обязанности правителя: «Не считай богатствомъ то, что кладется въ казну; чѣмъ эти богатства лучше груды песку?! Не считай богатствомъ то, что приносятъ люди, сокрушающіеся при своемъ приношеніи. Мрачно и обманчиво золото, на которомъ лежатъ слезы. Чтобы употреблять богатство на благо, поддерживай нуждающихся и обезпечивай собственность богатыхъ. Бойся могущества, дающаго тебѣ средства дѣлать, что хочешь; въ такомъ случаѣ ты употребишь это могущество благоразумно. Не срѣзывай высокихъ колосьевъ, возвышающихся надъ пивою; это—несправедливое ученіе; но истребляй враждебный образъ мыслей, какъ репьи на хлѣбной нивѣ; устрашай возмутителей порядка не наказаніемъ, а страхомъ наказанія. Пусть законъ господствуетъ

и надъ тобою, государь; если ты будешь задумывать законы и для себя, то они будутъ мудро задуманы. Уважай боговъ болѣе прежняго, потому что ты получилъ отъ нихъ великіе дары и молишься имъ для полученія великихъ милостей. Въ томъ, что касается твоего тѣла, держи себя какъ частный человѣкъ... У тебя два сына и, какъ говорятъ, у нихъ благородныя наклонности. Наблюдай за ними, потому что ихъ ошибки падутъ на твою отвѣтственность. Угрожай имъ тѣмъ, что ты не передашь имъ господства, если они не будутъ достойными людьми; пусть они смотрятъ на господство не какъ на наслѣдство, а какъ на награду добродѣтели. Разнородные пороки, господствующіе въ Римѣ, подавляй постепенно и умѣренно; трудно сразу возстановить народную нравственность; должно постепенно пріучать умы къ порядку, исправляя одно — публично и открыто, другое — незамѣтно. Умѣй сдерживать гордость рабовъ и вольноотпущенныхъ, которыхъ доставитъ тебѣ твой санъ; пріучи ихъ, чтобы они были тѣмъ скромнѣе, чѣмъ могущественнѣе ихъ господинъ. Скажу еще о правителяхъ, отправляющихся въ провинціи; я разумѣю не тѣхъ, которыхъ ты самъ будешь посылать (потому что ты конечно будешь давать эти мѣста достойнымъ людямъ), а тѣхъ, которымъ достаются провинціи по жребію. Я полагаю, что изъ выбранныхъ такимъ образомъ кандидатовъ слѣдуетъ посылать къ каждому народу того, кто съ нимъ близокъ или знакомъ; люди эллинскаго образованія должны господствовать надъ эллинами; люди, получившіе римское воспитаніе, должны управлять племенами, говорящими на этомъ языкѣ».

Въ этихъ совѣтахъ, равно какъ и въ томъ мнѣніи, которымъ Аполлоній возражалъ Эвфрату и Діону, ясно выразилась его умѣренность и практическій тактъ; не насилуя живой дѣйствительности во имя недостижимаго идеала, Аполлоній не хочетъ возстановленія республики и видитъ невозможность полнаго и быстраго исправленія падшей общественной нравственности; онъ требуетъ только отъ новаго правительства, чтобы оно честно и искренне желало общественнаго блага и ясно сознавало тѣ цѣли, къ которымъ оно будетъ стремиться. Тонъ Аполлоніевой рѣчи отличается чрезвычайно гармоническимъ сліяніемъ правдивости и почтительности; ораторъ хочетъ высказать свои убѣжденія, но знаетъ, что говоритъ съ сильнымъ лицомъ, привыкшимъ къ господству, и что совѣты его только при особенно пріятной формѣ могутъ быть приняты благосклонно и произвести прочное впечатлѣніе. По тому образу жизни, который велъ Аполлоній, его невозможно заподозрить въ желаніи изъ личныхъ видовъ подольститься къ императору; онъ въ немъ не нуждался и потому, если говорилъ съ нимъ особенно мягко и почтительно, то лишь для того, чтобы подѣйствовать на него педагогически: чтобы ободрить его на полезное дѣло и заставить выслушать смѣлое слово истины. Это умѣнье Аполлонія приноравливать свои убѣжденія къ потребностямъ времени и соразмѣрять свои слова съ личностью собесѣдника содѣйствовало его успѣху, потому что избавляло его проповѣдническую дѣятельность отъ рѣзкостей, возмущающихъ слушателей или ведущихъ за собою броженіе умовъ; но это же самое свойство мѣшало Аполлонію произвести какой-нибудь сильный переворотъ въ общественномъ сознаніи; его проповѣди выслушивались съ удовольствіемъ и съ благоговѣйнымъ вниманіемъ, но онѣ были такъ спокойны и такъ умно соображены съ обстоятельствами, что могли только навести слушателей на размышленія, а не бросить имъ въ душу какое-нибудь пламенное чувство. Аполлоній не былъ фанатикомъ; всесторонняя любознательность, пытливый умъ и спокойная ровность обращенія указываютъ въ немъ человѣка, составившаго себѣ законченное міросозерцаніе путемъ размышленія, человѣка съ твердыми убѣжденіями, старающагося передать эти убѣжденія другимъ людямъ, но дѣйствующаго такимъ образомъ не по внутреннему, слѣпому влеченію, не по внутренней потребности, а по обдуманному и сознательно припятому рѣшенію.

VII.

Пропускаю разсказъ Филострата о свиданіи Аполлонія съ египетскими отшельниками-мудрецами и приступаю прямо къ послѣднему періоду его біографіи, къ преслѣдованіямъ, вынесеннымъ имъ въ царствованіе Домиціана.

По смерти Тита Римъ вспомнилъ времена Нерона, и вспомнилъ ихъ почти съ сожалѣніемъ. Кровожадный и мрачный деспотизмъ Домиціана затмилъ собою все, что позволяли себѣ прежніе императоры. Объявивъ себя богомъ, Домиціанъ, послѣ знаменитой фразы: «dominus et deus noster sic fieri jubet», сталъ съ систематическою жестокостью и съ возрастающею подозрительностью преслѣдовать, какъ оскорбленіе святыни и какъ государственную измѣну, всякое неосторожно сказанное слово, всякое вольное выраженіе, которое могло быть перетолковано какъ протестъ противъ его безразсудныхъ распоряженій. Аполлонію въ то время было уже гораздо болѣе семидесяти лѣтъ; умѣренный образъ жизни сохранилъ его отъ дряхлости и помраченія умственныхъ способностей; онъ испыталъ въ жизни все, что могъ и хотѣлъ испытать, и жизнь конечно не должна была казаться ему безцѣннымъ сокровищемъ, тѣмъ болѣе, что онъ вѣрилъ въ будущее свѣтлое возрожденіе и, сознавая изящество собственной личности, не могъ бояться

чтобы душа его переселилась въ какое-нибудь неразумное животное. Долголѣтняя честная жизнь научила его уважать свое достоинство и гордо смотрѣть въ глаза всему, что можетъ принести съ собою неизвѣстное будущее; эта же долголѣтняя жизнь научила его тому спокойствію, которое давало ему право говорить своимъ ученикамъ и послѣдователямъ, что онъ не боится будущаго, потому что знаетъ и предвидитъ намѣреніе судьбы. Онъ съ спокойнымъ достоинствомъ давалъ совѣты Веспасіану и сыну его Титу; съ тѣмъ же спокойнымъ достоинствомъ онъ выразилъ свое негодованіе противъ нелѣпостей Домиціана. Онъ не былъ ни политическимъ интриганомъ, ни рьянымъ демагогомъ, и потому его протестъ не выразился ни въ заговорѣ, ни въ страстной рѣчи къ народу. Аполлоній просто не хотѣлъ стѣснять своего чувства, и оно проявилось публично, въ присутствіи друзей и враговъ, въ ироническихъ замѣчаніяхъ или во вдохновенныхъ словахъ негодованія. Въ общихъ выраженіяхъ Филостратъ хочетъ показать, что Аполлоній хотѣлъ имѣть положительное вліяніе на существующій порядокъ вещей, и что съ одной стороны онъ взволновалъ массу, съ другой имѣлъ постоянныя дружескія сношенія съ тѣми людьми, которыхъ онъ считалъ способными наслѣдовать Домиціану. Но это очевидно выводы самого Филострата; по крайней мѣрѣ тѣ факты, которые онъ приводитъ для ихъ подтвержденія, говорятъ совершенно другое и представляютъ Аполлонія не политическимъ дѣятелемъ, а просто благороднымъ человѣкомъ, не желающимъ притворяться, и слишкомъ гордымъ, чтобы сдерживаться. Мы видѣли, что Аполлоній въ разговорахъ съ Телезиномъ умѣлъ быть гибкимъ и уклончивымъ, что въ Римѣ при Неронѣ онъ обуздывалъ свой языкъ и заставлялъ своихъ учениковъ молчать или говорить умѣренно. Теперь же, при Домиціанѣ, Аполлоній какъ бы умышленно вызываетъ правительство на бой. Можетъ быть, лѣта сдѣлали его неуступчивымъ, можетъ быть, его дружескія отношенія съ Веспасіаномъ и Титомъ пріучили его къ откровенности, можетъ быть, переходъ отъ Тита къ Домиціану былъ такъ крутъ и рѣзокъ, что старикъ не въ силахъ былъ скрывать горькое озлобленіе противъ настоящаго. Вѣрилъ ли Аполлоній въ свою счастливую звѣзду, или онъ искалъ мученической кончины, которая бы достойнымъ образомъ завершила его образцовую жизнь, или же онъ просто, безъ всякаго разсчета, давалъ волю чувству, потому что не въ силахъ былъ сдержать его?

Первое предположеніе всего вѣроятнѣе, потому что поступить по второму побужденію могъ только восторженный фанатикъ, а увлечься чувствомъ и забыть осторожность—пылкій юноша, а не 70-ти лѣтній старикъ, систематически учившійся владѣть собою. Аполлоній могъ вѣрить въ свою личность; вся его дѣятельность показываетъ ясно, что онъ былъ не только мистификаторъ, но и мистикъ; онъ заставлялъ вѣрить другихъ въ то, во что самъ твердо вѣрилъ; какъ средство убѣдить слушателей, или возвыситься въ ихъ глазахъ, онъ употреблялъ какой-нибудь разсказъ, которому самъ не могъ вѣрить, напр. разсказъ о бесѣдѣ съ Ахилломъ; но если онъ и не вѣрилъ въ дѣйствительность этой бесѣды, то твердо вѣрилъ въ ея возможность, и потому собственно и не говорилъ противъ своего убѣжденія, а только окрашивалъ міръ и его явленія въ тотъ цвѣтъ, который онъ, по его мнѣнію, долженъ былъ имѣть, хотя самъ онъ, Аполлоній, и не видалъ предметовъ такого цвѣта.

Развитію этого убѣжденія, фаталистической вѣрѣ въ высшее и вѣчное значеніе своего *я* могли содѣйствовать многіе факты въ жизни Аполлонія: Неронъ заслуживаетъ его презрѣніе и падаетъ; Гальба, Отонъ и Вителлій не заботятся о его одобреніи и падаютъ одинъ за другимъ; достойный императорскаго сана, Веспасіанъ обращается къ нему за совѣтомъ и оказываетъ ему уваженіе; какъ бы въ награду за это онъ царствуетъ спокойно и умираетъ, любимый своими подданными, умираетъ собственной смертью, оставляя престолъ своему сыну. Мистику не трудно было увидѣть высшую силу, управлявшую этими событіями и постоянно шедшую рука объ руку съ его собственными желаніями, поражавшую того, кого онъ осуждалъ, и возвышавшую того, на кого онъ самъ готовъ былъ указать съ любовью и съ уваженіемъ. Вѣря въ неизбѣжное торжество добра и разума надъ зломъ и нелѣпостью, видя въ себѣ воплощеніе высшей мудрости и полнѣйшей нравственной чистоты, Аполлоній долженъ былъ вѣрить въ божественность и въ непобѣдимость своего *я*. Онъ могъ серьезно думать, что для погибели Домиціана достаточно будетъ того, чтобы онъ, Аполлоній, вступилъ съ нимъ въ борьбу. Когда Дмитрій говоритъ Аполлонію, что онъ подвергаетъ себя страшной опасности, раздражая деспота, Аполлоній наивно спрашиваетъ: какая-жъ тутъ опасность?

Далѣе онъ говоритъ съ полнымъ убѣжденіемъ, въ которомъ было бы несправедливо видѣть притворство: «я утверждаю, что я не подвергаюсь ни малѣйшей опасности и не умру отъ тираніи, хотя бы я самъ того хотѣлъ». Тутъ Аполлоній просто напросто довѣряется своему предчувствію, такъ какъ твердо увѣренъ, что въ его личности нѣтъ ничего случайнаго и неосмысленнаго, и что самыя инстинктивныя душевныя движенія, напр. предчувствія и сны, имѣютъ высшее значеніе и не способны обманывать. Самое же предчувствіе въ спокойномъ и здоровомъ организмѣ является свѣтлымъ и веселымъ, и Аполлоній сознательно предается ему, какъ Сократъ предавался внушеніямъ своего внутрен-

няго демона. Вѣра въ собственную личность такъ глубоко проникаетъ собою весь нравственный составъ Аполлонія, что она выражается въ двухъ отдѣльныхъ актахъ, имѣющихъ другъ на друга сильное и необходимое вліяніе; первый изъ нихъ такъ-же мало зависитъ отъ воли и сознанія Аполлонія, какъ и темпъ его пульса; это—веселый колоритъ его предчувствія. Второй уже не можетъ быть названъ простымъ инстинктомъ, это—вѣра въ это предчувствіе и рѣшимость сообразовать съ нимъ свои дѣйствія. Должно сознаться, что выходки Аполлонія противъ Домиціана были довольно безцѣльны и слѣдовательно не опасны; на нихъ могло обратить вниманіе только очень подозрительное правительство, мало надѣющееся на привязанность подданныхъ. Одинъ разъ въ театрѣ актеръ произнесъ стихи Эврипида, въ которыхъ поэтъ говоритъ, что тиранія долго растетъ и разрушается быстро. Въ театрѣ сидѣлъ намѣстникъ Азіи, молодой консуляръ, извѣстный своею перѣшительностью. Когда были произнесены эти слова, Аполлоній вскочилъ съ своего мѣста.—«Этотъ трусъ, сказалъ онъ, разумѣя намѣстника, не понимаетъ ни Эврипида, ни меня». Въ Малой Азіи было получено извѣстіе о томъ, что Домиціанъ очистилъ храмъ Весты и казнилъ трехъ весталокъ, нарушившихъ обѣтъ дѣвственности; Аполлоній публично въ храмѣ обратился къ солнцу съ слѣдующей молитвой: «О, Геліосъ, очистись и ты отъ несправедливыхъ убійствъ, которыми теперь наполняютъ землю»!

Домиціанъ убилъ своего родственника Сабина и женился на его вдовѣ Юліи, которая, какъ дочь Тита, приходилась ему племянницей. Въ Эфесѣ по случаю этого бракосочетанія происходило торжественное празднество. Аполлоній подошелъ къ алтарю и сказалъ: «О, ночь древнихъ Данаидъ, ты до сихъ поръ была единственною въ своемъ родѣ!»

Самый дѣйствительный протестъ состоялъ въ слѣдующемъ: Домиціанъ одновременно издалъ два указа; однимъ онъ запрещалъ оскоплять мужчинъ, другимъ приказывалъ уничтожить половину существующихъ виноградниковъ и запрещалъ насаживать новыя лозы. Аполлоній выступилъ съ рѣчью въ собраніи іонянъ: «Эти указы, сказалъ онъ, ко мнѣ не относятся. Изъ числа всѣхъ людей, я, можетъ быть, одинъ не нуждаюсь ни въ половыхъ органахъ, ни въ винѣ. Но этотъ странный человѣкъ не видитъ, что, щадя людей, онъ оскопляетъ землю». Іоняне обратились къ Домиціану съ просьбою отмѣнить законъ о виноградникахъ, и его дѣйствительно отмѣнили. Хотя этотъ протестъ имѣлъ дѣйствительныя послѣдствія, но должно сознаться, что онъ не могъ быть опасенъ, и что Домиціану незачѣмъ было принимать противъ Аполлонія серьезныхъ мѣръ. Мученичество Аполлонія могло бы только обратить на его личность вниманіе всей имперіи и возбудить всеобщее сочувствіе къ страданіямъ праведника. Но Домиціанъ думалъ не такъ, и когда до него дошло черезъ шпіоновъ извѣстіе о выходкахъ Аполлонія, онъ послалъ къ азіатскому намѣстнику приказаніе схватить его и прислать въ Римъ. По внѣшней формѣ своей нападки Аполлонія были, во-первыхъ, чрезвычайно дерзки, во-вторыхъ, для человѣка подозрительнаго и суевѣрнаго они могли казаться или зловѣщимъ предсказаніемъ, или намекомъ на существующій обширный заговоръ. Одинъ разъ Аполлоній взглянулъ на мѣдную статую Домиціана съ глубокимъ презрѣніемъ: «Ахъ ты безумецъ, сказалъ онъ, какъ мало ты понимаешь намѣренія паркъ и рѣшенія судьбы. Тотъ, кому суждено царствовать послѣ тебя, оживетъ, если-бы тебѣ даже удалось убить его». Произнося эти слова въ окрестностяхъ Смирны, на открытомъ мѣстѣ, при многочисленныхъ слушателяхъ, Аполлоній прямо вызывалъ на бой Домиціана, потому что могъ быть увѣренъ, что эти слова подслушаютъ и передадутъ, куда слѣдуетъ. Чувствуя, что отступать уже поздно, Аполлоній смѣло пошелъ впередъ и, не дожидаясь ареста, самъ поѣхалъ въ Италію.

Недалеко отъ Рима, въ мѣстечкѣ Дикеархіи, онъ видѣлся съ циникомъ Дмитріемъ и выслушалъ его совѣтъ бѣжать и укрыться въ какой-нибудь землѣ, не принадлежащей римлянамъ. На это онъ отвѣчалъ, что считаетъ неблагороднымъ и недостойнымъ мудреца оставлять друзей своихъ въ опасности и не дѣлить съ ними до послѣдней минуты горя и радости. Друзьями своими, находившимися въ опасности, онъ называлъ Нерву, Салвидіона, Орфита и Минуція Руфа. Всѣ они были страшны Домиціану, какъ люди честные и даровитые; всѣ они были удалены изъ Рима и жили въ изгнаніи, подъ опалою и подъ строгимъ полицейскимъ надзоромъ; Нерва былъ удаленъ въ Тарентъ, а Орфитъ и Руфъ на острова Средиземнаго моря. Въ лицѣ Аполлонія Домиціанъ думалъ вѣроятно найти узелъ всего заговора; бѣгство его прямо указало бы на существованіе какого-то обширнаго замысла, и тогда, можетъ быть, правительство серьезно принялось бы за тѣхъ подозрительныхъ людей, которые пока были только удалены изъ Рима. Возраженіе Аполлонія было основательно, и ему, какъ честному человѣку, дѣйствительно нужно было принять на себя всѣ слѣдствія своего неосторожнаго поведенія въ Азіи. Несмотря на предостереженія Дмитрія, Аполлоній вошелъ въ Римъ. Дамидъ слѣдовалъ за нимъ, хоть сначала совѣты Дмитрія показались ему убѣдительными, и онъ самъ сталъ уговаривать своего друга и учителя скрыться отъ преслѣдованій. Дамидъ пошелъ за Аполлоніемъ не по собственному убѣжденію, а по привязанности къ его личности. Учитель шелъ впереди, оставалось идти за нимъ, куда

бы онъ ни повелъ. Аполлоній предложилъ ему остаться у Дмитрія, но Дамидъ отказался наотрѣзъ и сказалъ, что и онъ умѣетъ дѣлить съ друзьями труды и опасности. Аполлоній взялъ его съ собою, но потребовалъ, чтобы онъ снялъ съ себя пиѳагорейскую одежду, которая могла подвергнуть его безполезнымъ опасностямъ. На это Дамидъ согласился, и оба старика прибыли въ Римъ. Въ Римѣ у Аполлонія были друзья и защитники; его руку держалъ преторіанскій префектъ Эліанъ, человѣкъ благоразумный, не любившій безполезныхъ казней и смотрѣвшій очень вѣрно на личность Аполлонія. Ему хотѣлось спасти его, и онъ говорилъ о немъ съ Домиціаномъ довольно откровенно, выказывая только къ Аполлонію большое пренебреженіе и совершенную холодность. «Эти софисты, государь, говорилъ онъ, народъ безпокойный и неосторожный, склонный къ пустой хвастливости; жизнь имъ надоѣдаетъ, они стремятся сами къ смерти и нарочно стараются раздражать людей, держащихъ въ рукахъ мечъ правосудія. На этомъ основаніи Неронъ вѣроятно не счелъ нужнымъ убить этого Аполлонія». Когда Домиціанъ не унялся этими доводами и настоятельно потребовалъ ареста Аполлонія, тогда Эліанъ перемѣнилъ свою тактику; онъ выказалъ полное усердіе, и какъ только Аполлоній вошелъ въ Римъ, его схватили по приказанію префекта преторіанской гвардіи.

Эліанъ повелъ его въ комнату тайныхъ совѣщаній, гдѣ Аполлоній говорилъ уже съ Тигеллиномъ, и тамъ начался между ними конфиденціальный разговоръ: «Тебѣ, сказалъ Эліанъ, ставятъ въ вину твою одежду, весь твой образъ жизни и то, что тебя многіе почитали за бога, и то, что ты въ Эфесѣ предсказалъ моровую язву. Говорятъ, что ты много высказывалъ противъ императора, и что иное было сказано келейно, а другое—публично, и многое было произнесено, какъ бы по внушенію божества. А самое тяжелое обвиненіе, по-моему, совершенно не правдоподобно, потому что я знаю, что ты не терпишь даже крови жертвенныхъ животныхъ; императору же оно кажется самымъ вѣроятнымъ. Говорятъ, что ты имѣлъ свиданіе съ Нервою, принесъ жертву противъ императора, разрѣзалъ на части аркадскаго мальчика и этимъ жертвоприношеніемъ возбудилъ въ Нервѣ властолюбивые замыслы. Говорятъ, что это происходило почью при свѣтѣ убывающей луны. Это самое важное обвиненіе, такъ что въ сравненіи съ нимъ всѣ остальныя совершенно ничтожны. Твой обвинитель нападаетъ на одежду, на образъ жизни и на даръ предвѣдѣнія только потому, что видитъ въ этомъ отступленіи отъ естественнаго порядка вещей задатки той дерзости, которую ты будто бы обнаружилъ въ этомъ кровавомъ жертвоприношеніи. Ты долженъ приготовиться къ отвѣту на этотъ пунктъ, но рѣчь твоя не должна выражать пренебреженія къ личности императора».

Аполлоній слышалъ уже отъ Дмитрія о главныхъ статьяхъ направленнаго противъ него обвиненія; характеръ этого обвиненія не могъ ни удивить, ни смутить его. Ему и прежде случалось слышать, что его принимаютъ за магика, а въ магіи человѣческія жертвы не составляли ничего необыкновеннаго. Іерофантъ элевзинскихъ мистерій на этомъ основаніи отказалъ ему въ посвященіи. Египетскіе мудрецы отзывались о философіи индѣйцевъ, какъ о видоизмѣненіи магіи. Аполлоній могъ ожидать, что враги его именно на эту точку направятъ свои обвиненія. Онъ спокойно выслушалъ слова Эліана и объявилъ ему, что будетъ защищаться умѣренно, съ полнымъ уваженіемъ къ личности императора. Затѣмъ онъ отданъ былъ подъ стражу и отведенъ въ тюрьму вмѣстѣ съ Дамидомъ. Тутъ онъ ему разсказалъ весь свой разговоръ съ Эліаномъ; Дамидъ ободрился, а Аполлоній выразилъ еще разъ полную увѣренность свою въ торжествѣ мудрости: «Какъ ты не понимаешь, сказалъ онъ Дамиду, что мудрость все побѣждаетъ, а сама совершенно непобѣдима?»

— Но вѣдь мы, попробовалъ-было возражать Дамидъ, попали къ безразсудному человѣку, который насъ не боится и даже не понимаетъ возможности насъ бояться.

— Ты, стало-быть, видишь, сказалъ Аполлоній, что онъ тщеславенъ и неразуменъ?

— Какъ этого не видѣть! отвѣчалъ Дамидъ.

— А чѣмъ болѣе ты знаешь тирана, тѣмъ болѣе ты имѣешь основанія презирать его могущество, рѣшилъ Аполлоній. Эта твердость воли проявляется въ немъ не порывисто, какъ у фанатиковъ, а спокойно и ровно, и кладетъ на его личность печать такого неотразимаго и искренняго величія, что враги и судьи его дѣйствительно могли останавливаться передъ нимъ въ безотчетномъ благоговѣніи, которое легко могло перейти въ суевѣрный страхъ.

Въ тюрьмѣ Аполлоній держалъ себя бодро и говорилъ со своими товарищами по заключенію; ихъ всѣхъ было 50 человѣкъ: многіе изъ нихъ падали духомъ и отчаявались, думая о жестокости государя или вспоминая своихъ друзей и родственниковъ. Аполлоній утѣшалъ и ободрялъ ихъ, какъ умѣлъ, философскими разсужденіями о душѣ, которая заключена въ тѣло какъ въ тюрьму, и о всей земной жизни, которую можно считать продолжительнымъ и тяжкимъ изгнаніемъ. Потомъ онъ ободрялъ ихъ историческими примѣрами мудрецовъ и политическихъ дѣятелей, освобождавшихъ угнетенные народы, или мужественно переносившихъ несправедливыя гоненія со стороны тирановъ. Заключенные повеселѣли и ободрились; разсказы Аполлонія однихъ подкрѣпили, другихъ раз-

сѣяли. При своей мрачной подозрительности, Домиціанъ постоянно наблюдалъ за Аполлоніемъ, и въ тюрьму, гдѣ онъ содержался, былъ посаженъ шпіонъ, чтобы подслушивать и запоминать его рѣчи, стараясь при томъ вызвать его на откровенность. Но Аполлоній слишкомъ хорошо зналъ людей и вынесъ изъ жизни слишкомъ много проницательности, чтобы попасться на удочку Домиціана. Онъ узналъ въ мнимомъ узникѣ лазутчика и, не показывая вида, что подозрѣваетъ что нибудь, былъ по-прежнему бодръ и разговорчивъ, разсказывалъ о своихъ путешествіяхъ, описывалъ видѣнныя горы и рѣки, но не проронилъ ни одного слова, въ которомъ слышалось бы озлобленіе противъ Домиціана или сильное политическое убѣжденіе.

Черезъ недѣлю послѣ того, какъ онъ былъ взятъ подъ стражу, около полудня, Аполлоній былъ отведенъ во дворецъ къ императору, который желалъ познакомиться съ нимъ и посмотрѣть, какія мѣры нужно принять для изслѣдованія всего дѣла. Благодаря Эліану, Аполлоній былъ предупрежденъ наканунѣ о предстоящей аудіенціи и имѣлъ время собраться съ мыслями. Приготовить отвѣты онъ конечно не могъ, потому что самъ Эліанъ не могъ знать, какъ императору заблагоразсудится повести этотъ предварительный допросъ, но по крайней мѣрѣ онъ могъ подкрѣпить физическія силы и успокоить свой организмъ настолько, чтобы говорить съ Домиціаномъ ровно, умѣренно и спокойно. Такъ онъ и сдѣлалъ. Проведя ночь въ философскихъ размышленіяхъ и въ воспоминаніяхъ объ Индіи и тамошнихъ друзьяхъ своихъ, онъ подъ утро сказалъ Дамиду, что ему хочется уснуть. Дамидъ выразилъ свое изумленіе, говоря, что ему казалось напротивъ необходимымъ, чтобы Аполлоній подумалъ о предстоящемъ разговорѣ. — Какъ же я буду къ нему приготовляться, отвѣчалъ старый мудрецъ, когда я не знаю, о чемъ онъ будетъ спрашивать?— И, не заботясь о будущемъ, онъ спокойно заснулъ.

На другой день, подходя къ дворцу въ сопровожденіи стражи, слѣдовавшей за нимъ въ почтительномъ отдаленіи, Аполлоній былъ попрежнему веселъ и спокоенъ; Дамидъ шелъ за нимъ, твердо рѣшившись идти всюду, куда позволятъ. Видя толпу людей, ежеминутно тѣснившихся при входѣ во дворецъ, входившихъ и выходившихъ, Аполлоній сдѣлалъ остроумное сравненіе.— «Это похоже на баню, сказалъ онъ Дамиду; кто стоитъ на дворѣ, спѣшитъ войти, кто—тамъ внутри, спѣшитъ выйти вонъ; первые еще не вымыты, вторые уже успѣли омыться».

Свиданіе Аполлонія съ императоромъ происходило въ присутствіи одного Эліана. Дамида не пустили, и онъ слышалъ о свиданіи этомъ уже отъ самого Аполлонія. Если дѣйствительно мы имѣемъ передъ глазами разсказъ Аполлонія, а не амплификацію Филострата, то этотъ разсказъ не дѣлаетъ чести ни правдивости, ни изобрѣтательности тіанскаго мудреца. Во-первыхъ, Домиціанъ принимаетъ его за бога и громко выражаетъ свое изумленіе, что̀ даетъ поводъ Аполлонію сдѣлать довольно колкое замѣчаніе и похвалиться передъ императоромъ своимъ просвѣтленнымъ взоромъ, умѣющимъ отличить людей отъ безсмертныхъ. Во-вторыхъ, Аполлоній умышленно играетъ съ Домиціаномъ, возбуждаетъ въ немъ напряженное ожиданіе и потомъ разочаровываетъ его, говоря ему вмѣсто страшнаго признанія, на которое разсчитывалъ грозный правитель, самыя обыкновенныя и голословныя похвалы его врагамъ — Нервѣ, Орфиту и Руфу. Обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, императоръ произноситъ гнѣвную рѣчь, на которую Аполлоній отвѣчалъ прямо ругательствами.

— Государь, говоритъ онъ, безчестно и беззаконно начинать изслѣдованіе дѣла, когда ты заранѣе убѣжденъ въ виновности подсудимаго или носишь въ груди такое убѣжденіе, которое не основано на изслѣдованіи. Если ты такъ думаешь, то позволь мнѣ начать мою защитительную рѣчь въ такомъ видѣ: ты, государь, дурно расположенъ ко мнѣ и поступаешь со мною не справедливѣе любого сикофанта (клеветника); тотъ обѣщаетъ по крайней мѣрѣ доказать обвиненіе, а ты ему вѣришь, не выслушавъ его даже.

— Ты начинай свое защищеніе, какъ знаешь, отвѣчалъ тогда императоръ. Я самъ знаю, чѣмъ я кончу, и знаю, съ чего теперь начну.

Этими словами объясненіе кончилось. Аполлонію немедленно для посрамленія остригли волосы на головѣ и на бородѣ, и, нарушивъ такимъ образомъ его пиѳагорейскій костюмъ, заковали въ кандалы и отвели въ другую тюрьму, гдѣ содержались низкіе преступники. Кажется, изъ всего объясненія только и вѣрно переданы развязка да послѣднія слова Домиціана. Весь колоритъ предшествовавшей сцены неправдоподобенъ. Гдѣ же умѣренность Аполлонія, которую самъ онъ считалъ необходимой и которую предписывалъ ему доброжелатель его Эліанъ? Гдѣ же, съ другой стороны, свирѣпость Домиціана? Слова Аполлонія были положительной дерзостью, за которую, какъ за оскорбленіе величества, Домиціанъ имѣлъ полное право осудить Аполлонія на смерть. Казнить его немедленно было бы конечно невыгодно для императора, надѣявшагося добыть отъ него множество важныхъ признаній, но кто или какой разсчетъ могъ помѣшать Домиціану подвергнуть его пыткѣ и допросить такъ, какъ слѣдователи по дѣлу Пизонова заговора допрашивали Эпихариду? Домиціанъ не явился бы тутъ даже нарушителемъ закона, потому что обвиненный Аполлоній сдѣлался уже явнымъ преступни-

комъ, позволивъ себѣ дерзкія слова противъ священной особы римскаго «владыки и бога». Благоговѣйное изумленіе Домиціана при видѣ вошедшаго Аполлонія не имѣетъ ни малѣйшаго психологическаго правдоподобія. Выказать подобное чувство, еслибы даже оно шевельнулось въ груди, было совершенно не кстати, потому что обоготвореніе Аполлонія въ Малой Азіи было одною изъ статей направленнаго противъ него обвиненія. Заподозрить Домиціана въ неумѣніи владѣть собою значитъ совершенно не знать его историческаго характера. Стоитъ посмотрѣть его біографію у Светонія или черты его характера у Тацита въ жизни Агриколы, чтобы видѣть, что въ искусствѣ притворяться и играть роль Домиціанъ не уступалъ самому Тиверію.

Въ тюрьмѣ, скованный по рукамъ и ногамъ, Аполлоній все-таки твердо вѣрилъ въ благополучный исходъ своего дѣла. На третій день послѣ разговора Аполлонія съ Домиціаномъ, Эліанъ выхлопоталъ первому облегченіе судьбы, что также значительно противорѣчитъ рѣзкому характеру происходившаго объясненія. Съ Аполлонія сняли оковы и снова перевели въ прежнюю, болѣе свѣтлую и удобную тюрьму, гдѣ общество было значительно лучше и приличнѣе. Нѣкоторыя личности узниковъ, сидѣвшихъ вмѣстѣ съ Аполлоніемъ въ этой тюрьмѣ, очерчены Филостратомъ; что касается до преступниковъ, заключенныхъ въ оковы, онъ не говоритъ о нихъ ни одного слова. Къ чести Дамида должно упомянуть, что онъ раздѣлялъ съ Аполлоніемъ заключеніе и сидѣлъ съ нимъ даже въ тюрьмѣ, въ которой содержались скованные преступники. Онъ сдѣлалъ это по собственному желанію и вѣроятно съ позволенія Эліана; что это дѣлалось добровольно, видно изъ того, что Дамидъ по приказанію Аполлонія вышелъ изъ тюрьмы и пошелъ къ Дмитрію въ Дикеархію. Это случилось уже тогда, когда съ Аполлонія были сняты оковы, и когда онъ, переведенный въ прежнюю тюрьму, ожидалъ въ скоромъ времени допроса и суда. Прощаясь съ Дамидомъ, онъ сказалъ, что увидится съ нимъ въ окрестностяхъ Дикеархіи на берегу моря.

— Какъ же ты увидишься со мною, спросилъ Дамидъ боязливо, живой или нѣтъ?

Аполлоній засмѣялся.

— По моему мнѣнію, я буду живъ; но ты примешь меня за воскресшаго, сказалъ онъ.

Дамидъ ушелъ, не смѣя вполнѣ вѣрить и не рѣшаясь сомнѣваться.

VIII.

Судъ надъ Аполлоніемъ разсказанъ такъ же неправдоподобно, какъ и большая часть его столкновеній съ правительственными лицами; Филостратъ старался представить, что это дѣло казалось всему Риму чрезвычайно важнымъ; императоръ, говоритъ онъ, по словамъ своихъ приближенныхъ, наканунѣ не принималъ пищи и цѣлый день читалъ дѣловыя бумаги, возбуждавшія въ немъ гнѣвъ и негодованіе. Залъ суда былъ великолѣпно украшенъ, какъ будто въ немъ должна была происходить торжественная церемонія. Всѣ знатнѣйшія лица города были собраны, потому что императору хотѣлось обвинить Аполлонія въ присутствіи многихъ свидѣтелей. И вдругъ столько приготовленій, сдѣланныхъ римскимъ богомъ Домиціаномъ, пропадаютъ даромъ; всѣ его старанія и заботы не ведутъ ни къ чему и разсыпаются въ прахъ. Домиціанъ предлагаетъ Аполлонію четыре вопроса; Аполлоній отвѣчаетъ на нихъ совершенно голословно и далеко не почтительно; Домиціанъ безъ всякой причины говоритъ: «я освобождаю тебя отъ обвиненія, но ты останешься, и мы поговоримъ съ тобою наединѣ!» Аполлоній не соглашается на это, позоритъ своихъ обвинителей и вообще сикофантовъ, смѣется надъ могуществомъ императора и исчезаетъ изъ собранія. Тѣмъ и кончается дѣло. Мнѣ кажется, самая нелѣпость этого разсказа свидѣтельствуетъ о его подлинности. Филостратъ выдумалъ бы вѣроятно что нибудь поскладнѣе. Тутъ видна рука Дамида, пишущаго со словъ Аполлонія. Аполлоній, у котораго обожаніе собственной личности сдѣлалось какою-то религіей, могъ себѣ представить, что на него смотритъ весь образованный міръ, что его святость устрашаетъ сильныхъ земли, что онъ силою своего взгляда и слова способенъ возбудить ужасъ и раскаяніе въ душѣ самаго закоснѣлаго злодѣя. Внезапное исчезновеніе Аполлонія изъ судилища, которое могло быть засвидѣтельствовано только Дамидомъ, очевидно не могло быть выдумано Филостратомъ. Это чудо такъ безцѣльно, такъ необъяснимо и такъ легко можетъ быть опровергнуто сличеніемъ этого извѣстія съ сказаніями современныхъ историковъ, что Филостратъ могъ написать его, только основываясь на письменномъ свидѣтельствѣ современника и товарища Аполлонія. Кто выдумываетъ факты, чтобы выставить историческую личность не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ она должна явиться безпристрастному изслѣдователю, тотъ конечно будетъ выдумывать такъ осторожно, чтобы было по крайней мѣрѣ трудно уличить его въ обманѣ. Кто выдумываетъ факты, какъ романистъ, тотъ будетъ выдумывать такъ, чтобы созданіе его фантазіи воплощало въ себѣ идею, чтобы въ сочиненныхъ чудесахъ было психологическое правдоподобіе и внутреннее единство мысли. Исчезновеніе Аполлонія неправдоподобно ни какъ историческій фактъ, ни какъ черта того идеальнаго характера, который начертанъ Филостратомъ. О неправдоподобіи чуда, какъ историческаго факта, не стоитъ и распространяться.

Объ отношеніи этого чуда къ личному характеру Аполлонія стоитъ сказать нѣсколько словъ. Этимъ чудомъ Аполлоній даетъ Домиціану полное право считать его чародѣемъ и разрушаетъ такимъ образомъ собственноручно благотворное вліяніе, произведенное на слушателей и зрителей его почтенной наружностью и мудрою рѣчью. Этимъ чудомъ, очень похожимъ на побѣгъ, Аполлоній оставляетъ своихъ друзей: Нерву, Орфита и Руфа, въ очень непріятномъ и совершенно беззащитномъ положеніи. Если позволительно исчезнуть изъ судилища, то почему же было постыдно и предосудительно скрыться до начала процесса? Все мученичество Аполлонія, при подобной развязкѣ, превращается въ безцѣльную, нелѣпую и возмутительную комедію, въ рядъ фокусовъ, изъ которыхъ ни одинъ не оправдывается и не объясняется никакой удовлетворительной причиной. Филостратъ не могъ сочинить такого факта, потому что почти невозможно представить себѣ такое нравственное воззрѣніе, которое могло бы назвать этотъ поступокъ честнымъ и разумнымъ. Филостратъ очевидно заимствовалъ его у Дамида, который въ простотѣ души записалъ то, что разсказалъ ему о судѣ Аполлоній. Аполлоній же съ своей стороны не могъ разсказать этого происшествія, не вставивъ чуда. Ему хотѣлось провести свою господствующую идею о непобѣдимости добродѣтельнаго мудреца. Освобожденный вѣроятно по ходатайству Эліана, онъ представилъ все дѣло такъ, какъ будто бы какая-нибудь высшая сила явилась къ нему на помощь и заставила Домиціана поступить вопреки собственному желанію и всякимъ политическимъ соображеніямъ. Какъ мистикъ, онъ и самъ могъ считать свое освобожденіе дѣйствіемъ высшей силы; какъ учитель мистицизма, онъ могъ изобразить собственное убѣжденіе въ увеличенномъ масштабѣ.

Вотъ единственно возможное оправданіе той развязки, которую получаетъ процессъ Аполлонія, но это оправданіе принадлежитъ не Филострату, потому что онъ, передавая всѣ эти чудеса, старается подыскать имъ естественное объясненіе; онъ высказываетъ предположеніе, будто Домиціанъ освободилъ Аполлонія потому, что въ рядахъ присутствующихъ придворныхъ и сановниковъ раздались восклицанія, выражающія полное сочувствіе къ личности стараго прорицателя. Изъ этого комментарія можно заключить, что Филостратъ, воспользовавшись извѣстіемъ Дамида, постарался только облечь его въ красивую форму, не вдумался въ проведенное здѣсь міросозерцаніе и исказилъ истинный колоритъ разсказа Аполлонія. Аполлоній, мнѣ кажется, долженъ былъ разсказать исторію своего освобожденія такъ, чтобы оно не было и не могло быть объяснено естественнымъ развитіемъ слѣдствій изъ причинъ. Въ томъ и состоялъ весь эффектъ, вся особенность этого разсказа, что Аполлоній могъ сказать: я самъ не сдѣлалъ ни шагу, не сказалъ ни слова, чтобы переубѣдить тирана; я говорилъ съ нимъ гордо и смѣло, какъ съ виновнымъ; за меня не заступался никто, и между тѣмъ я своей божественной личностью подѣйствовалъ такъ сильно, что поневолѣ онъ долженъ былъ оставить меня въ покоѣ. Я сказалъ, что освобожденіе Аполлонія было вѣроятно исходатайствовано Эліаномъ, и основываю это предположеніе на томъ обстоятельствѣ, что Филостратъ приводитъ длинную оправдательную рѣчь Аполлонія, рѣчь, которую ему не пришлось произнести, и которую Дамидъ вѣроятно съ обычнымъ благоговѣніемъ переписалъ въ свое сочиненіе.

Изъ существованія этой рѣчи можно заключить, что обстоятельства складывались такъ, какъ бывало обыкновенно при уголовныхъ процессахъ того времени; въ назначенный день обвиненный долженъ былъ выслушать обвиненіе и потомъ защищаться или предоставить свою защиту оратору, выбранному имъ въ адвокаты. Что-то очевидно нарушило этотъ заведенный порядокъ; Аполлонія освободили, не выслушавъ даже его оправданія. Въ личности Домиціана не могло произойти внезапной перемѣны къ лучшему, стало-быть, эта перемѣна въ отношеніи къ Аполлонію была произведена кѣмъ-нибудь изъ его приближенныхъ, вѣроятно Эліаномъ, который, какъ начальникъ высшей полиціи, могъ наконецъ убѣдить государя въ томъ, что заговоръ Нервы, Орфита и Руфа существуетъ только въ его воображеніи. Это предположеніе все объясняетъ. Успокоенный Эліаномъ, императоръ, для соблюденія формальностей, требуетъ къ себѣ на судъ Аполлонія, для виду предлагаетъ ему вопросы, не обращаетъ вниманія на кляузы его обвинителей, довольствуется его отвѣтами и оправдываетъ его, не выслушавъ оправданія. Этотъ неожиданный исходъ дѣла поражаетъ воображеніе Аполлонія; онъ отправляется въ Дикеархію къ Дамиду, еще болѣе проникается вѣрою въ судьбу и въ свою личность, и съ своей точки зрѣнія разсказываетъ все дѣло, котораго скрытыя пружины могли быть сохраняемы въ глубокой тайнѣ по приказанію самого императора. Между тѣмъ возрастающая вѣра Аполлонія въ свое *я* еще болѣе возвышаетъ его личность въ глазахъ его біографовъ: Дамида и Филострата, такъ что апоѳеоза тіанскаго чудотворца является подъ конецъ восьмой книги естественнымъ результатомъ искренняго и восторженнаго благоговѣнія.

IX.

Буквально исполняя приказанія учителя, Дамидъ отправился въ Дикеархію и вмѣстѣ съ Дмитріемъ сталъ оплакивать свою разлуку съ

Аполлоніемъ, не смѣя безъ ужаса думать объ исходѣ его процесса. Впрочемъ ему пришлось провести съ Дмитріемъ только одни сутки, и сокрушеніе обоихъ друзей было непродолжительно. На другой день послѣ прибытія Дамида явился и Аполлоній. Дамидъ употребилъ на путешествіе отъ Рима до Дикеархіи три дня, а Аполлоній, по праву мудреца и любимца боговъ — нѣсколько часовъ; онъ исчезъ изъ судилища незадолго до полудня, а подъ вечеръ уже былъ въ Дикеархіи. Объясненія этому чудесному путешествію не даютъ ни Аполлоній, ни Дамидъ, ни Филостратъ. Кто изъ нихъ авторъ этой небылицы, рѣшить трудно; всего вѣроятнѣе, что это событіе, находящееся въ связи съ исходомъ процесса, разсказано самимъ Аполлоніемъ и по обыкновенію безъ малѣйшей критики передано Дамидомъ. Свиданіе друзей произошло слѣдующимъ образомъ: Дмитрій и Дамидъ сидѣли на берегу моря, и Дамидъ горько сожалѣлъ объ участи Аполлонія.

— Боже, увидимся ли мы когда-нибудь съ нашимъ великимъ другомъ? говорилъ онъ, горюя.

— Увидитесь! Вотъ онъ передъ вами, подхватилъ Аполлоній, подходя къ нимъ.

— Ты живъ? спросилъ Дмитрій. Если ты умеръ, мы не перестанемъ оплакивать тебя.

Аполлоній протянулъ ему руку.

— Возьми меня за руку, сказалъ онъ. Если я ускользну отъ тебя, я тѣнь изъ царства Персефоны, вродѣ тѣхъ тѣней, которыхъ боги показываютъ огорченнымъ и унывающимъ смертнымъ. Если же я останусь и выдержу твое прикосновеніе, то убѣди Дамида въ томъ, что я живъ и не сбросилъ тѣла.

Тогда друзья, не зная предѣловъ своей радости, бросились обнимать его. Освобожденіе его казалось имъ до такой степени чудеснымъ, воображеніе ихъ было такъ разгорячено, что они готовы были повѣрить всякому разсказу Аполлонія. Чудесное могло быть только результатомъ чуда, и, пользуясь ихъ напряженной довѣрчивостью, Аполлоній черезъ Дамида украсилъ свою біографію еще однимъ необъяснимымъ для критиковъ эпизодомъ. Дмитрій думалъ, что онъ былъ освобожденъ безъ суда; Дамидъ полагалъ, что онъ оправдался раньше назначеннаго срока; Аполлоній сказалъ, что онъ защищался, что онъ выждалъ назначенное время, и что за нѣсколько часовъ онъ былъ въ Римѣ, а теперь съ ними въ Дикеархіи. Дмитрій недоумѣвалъ: «какимъ же образомъ ты въ такое короткое время совершилъ такое далекое путешествіе?»

— Вѣрь всему, отвѣчалъ величественно Аполлоній, кромѣ сказки о баранѣ и о восковыхъ крыльяхъ.

Минута была удачно выбрана, и слушатели повѣрили. Оказалось даже, какъ припомнилъ Дмитрій, что бывшій консулъ Телезинъ видѣлъ сонъ, предвѣщавшій Аполлонію торжество надъ врагами. Затѣмъ слѣдовалъ со стороны Аполлонія разсказъ о ходѣ процесса, и этотъ разсказъ также не встрѣтилъ со стороны слушателей ни скептической улыбки, ни критическаго замѣчанія. Божественность Аполлонія была уже въ ихъ глазахъ дознаннымъ фактомъ, и Дамидъ прямо и откровенно выразилъ это убѣжденіе. Изъ Италіи Аполлоній съ Дамидомъ отправился въ Грецію и поселился въ Олимпіи, въ храмѣ Зевса; короткость его обращенія съ богами дошла до того, что онъ, когда ему понадобились деньги, взялъ 1.000 драхмъ изъ казны Зевса олимпійскаго.

— Дай мнѣ 1.000 драхмъ изъ зевсовыхъ денегъ, сказалъ онъ жрецу, если ты думаешь, что Зевсъ не разсердится.

— Еслибы онъ и разсердился, отвѣчалъ любезно жрецъ, то развѣ на то, что ты не берешь больше.

Вся Греція съ восторгомъ привѣтствовала своего проципателя, тѣмъ болѣе, что всѣ считали его погибшимъ, и что носились самые разнообразные слухи о той казни, которою извелъ его Домиціанъ. Замѣчательно однако, что надъ нимъ попрежнему тяготѣло обвиненіе въ чародѣйствѣ; онъ отправился въ Беотію, чтобы побывать въ святынѣ Трофонія близъ Лебадеи, но жрецы не пустили его въ храмъ и объявили народу, что волшебнику нельзя проникать въ святилище и вопрошать оракула. Оракулъ этотъ помѣщался въ пещерѣ, отверстіе которой находилось въ холмѣ возлѣ храма. Вопрошающіе входили въ эту пещеру съ медовыми пирогами, которыми укрощали пресмыкающихся животныхъ, наполнявшихъ узкій и темный входъ святилища. Какая-то тайная сила втягивала ихъ въ пещеру; они внимали оракулу, и потомъ земля выбрасывала ихъ наружу въ болѣе или менѣе далекомъ разстояніи отъ того мѣста, въ которомъ они вступили въ пещеру. Аполлонію жрецы отказали въ позволеніи побесѣдовать съ Трофоніемъ, но Аполлоній не обратилъ вниманія на ихъ запрещеніе, и самъ вошелъ въ пещеру въ своемъ философскомъ плащѣ. Богъ принялъ его очень ласково, держалъ его цѣлую недѣлю въ своей подземной обители и отпустилъ съ книгою, въ которой было изложено философское ученіе Пиѳагора.

Что касается до жрецовъ, оскорбившихъ Аполлонія отказомъ, то они увидѣли во снѣ разгнѣваннаго бога, который разбранилъ ихъ за непочтительное обращеніе съ мудрецомъ и любимцемъ боговъ. Должно ли считать это приключеніе Аполлонія чистой выдумкой, или можно отыскать въ немъ какую-нибудь историческую основу? Послѣднее правдоподобнѣе, потому что Филостратъ упоминаетъ подробно о самой книгѣ, добытой отъ Трофонія; онъ говоритъ, что эта книга была впослѣдствіи подне-

сена императору Адріану вмѣстѣ съ нѣкоторыми письмами Аполлонія и хранится въ его любимомъ дворцѣ въ приморскомъ городѣ Акціумѣ. Дѣйствительно существовало, стало быть, преданіе о какой-то книгѣ, добытой Аполлоніемъ какимъ-то сверхъестественнымъ образомъ. Если припомнить, какимъ образомъ Магометъ доставилъ авторитетъ своему корану, то будетъ понятно то побужденіе, по которому Аполлоній пустилъ въ ходъ исторію о Трофоніѣ. Онъ уже былъ старъ, смерть была близка, и ему не хотѣлось, чтобы его ученіе погибло вмѣстѣ съ нимъ. Чтобы возвысить въ глазахъ народа его значеніе, чтобъ упрочить его существованіе, онъ вздумалъ приписать ему высшее происхожденіе. Написать книгу философскихъ сентенцій и обставить разными поразительными подробностями моментъ ея появленія на свѣтъ было не трудно. Молва о новомъ чудѣ разнеслась въ народѣ, разростаясь и видоизмѣняясь по мѣрѣ своего распространенія. Жрецы Трофонія были рады прицѣпить новое чудо къ своей святынѣ, хотя нѣкоторыя подробности этого происшествія повидимому обличали ихъ невѣжество. Жрецы выставлялись несвѣдущими, но авторитетъ бога усиливается и слѣдовательно существенная выгода была соблюдена, — приращеніе числа поклонниковъ было неизбѣжно. Такимъ образомъ, какая-нибудь хитрость Аполлонія, воспринятая вѣрующимъ пародомъ и поддержанная толкованіями жрецовъ, могла дѣйствительно подать поводъ къ тому преданію о свиданіи его съ Трофоніемъ, которое Филостратъ самъ слышалъ отъ жителей Лебадеи.

Ученики Аполлонія собирались вокругъ него изъ Малой Азіи, съ острововъ Архипелага и изъ разныхъ городовъ Эллады; они при жизни своего учителя приняли имя Аполлоніанъ. Между тѣмъ Домиціана убилъ Стефанъ, и Аполлоній, по разсказу Филострата, провидѣлъ это событіе въ ту самую минуту, въ которую оно совершалось въ Римѣ. Извѣстіе о прорицательствѣ Аполлонія подтверждается Діономъ Кассіемъ. Узнавши о вступленіи Нервы на императорскій престолъ, Аполлоній отправилъ къ нему въ Римъ Дамида съ какимъ-то важнымъ письмомъ и умеръ во время отсутствія своего друга. Аполлоній часто говорилъ: «старайся жить въ неизвѣстности; а если это невозможно, старайся по крайней мѣрѣ такъ умереть». Послѣднее желаніе Аполлонія было исполнено; даже Филостратъ не знаетъ, какъ онъ умеръ, и не можетъ даже обозначить мѣста его кончины. Какъ слѣдовало ожидать, о его смерти возникло нѣсколько преданій, которыя сходятся между собою въ томъ, что онъ вошелъ въ храмъ и оттуда исчезъ. По мнѣнію однихъ, это произошло въ Линдѣ, въ храмѣ Аѳины, по словамъ другихъ — въ Критѣ, въ храмѣ Артемиды Диткины. При той легкости, съ какою въ то время происходили апоѳеозы, было бы странно, еслибы любимецъ боговъ, мудрецъ и прорицатель не былъ возведенъ въ боги послѣ своей таинственной кончины. Храмъ Аполлонія былъ построенъ въ Тіанѣ на томъ лугу, на которомъ, по преданію, его родила мать, вышедшая рвать цвѣты по приказанію боговъ. Императору Авреліану, рѣшившемуся однажды жестоко наказать тіанцевъ, явился во снѣ божественный Аполлоній и спасъ своихъ согражданъ отъ гнѣва правителя. Императоръ Александръ Северъ въ своемъ *lararium* обожалъ Аполлонія Тіанскаго вмѣстѣ съ Орфеемъ. Аполлонія обоготворили, а между тѣмъ ученіе его не нашло себѣ ни ревностныхъ послѣдователей, ни достойныхъ толкователей. Честный мистицизмъ его перешелъ въ шарлатанство, и Александръ Авонотихитъ служитъ самымъ яркимъ представителемъ этого выродившагося направленія. Прочнаго нравственнаго вліянія ученіе Аполлонія не имѣло, потому что это была философія, а не религія. Дѣйствовать на массу оно не могло, потому что не говорило чувству, а обращалось почти исключительно къ мысли. Строгая, серьезная личность Аполлонія могла внушать уваженіе, но, чтобы увлечь за собою сердца народа, она была слишкомъ холодна и замкнута, слишкомъ спокойна и безстрастна. Въ отношеніяхъ своихъ къ религіи онъ являлся консерваторомъ-эклектикомъ, и потому его проповѣди вели за собою только временное возвышеніе народнаго усердія къ полузабытымъ святынямъ язычества. Реформировать принципъ существующей религіи Аполлоній не могъ; онъ, по примѣру всѣхъ древнихъ мыслителей, поддерживалъ существующее богослуженіе, оправдывалъ догматы и обряды, стараясь только вкладывать въ нихъ другой смыслъ, котораго не сознавала масса. Въ отношеніи къ вопросамъ практической нравственности Аполлоній не далъ никакого общаго, руководящаго принципа; возставая противъ отдѣльныхъ уклоненій отъ нравственности, онъ не далъ новаго, лучшаго кодекса. Мудрость его оставалась замкнутою святынею и ни разу не спускалась до пониманія «малыхъ сихъ и нищихъ духомъ».

МОСКОВСКІЕ МЫСЛИТЕЛИ.

(Критическій отдѣлъ „Русскаго Вѣстника“ за 1861 г.).

I.

Гейне въ одномъ изъ своихъ посмертныхъ стихотвореній говоритъ, что міръ представляется молодой красавицей или брокенской вѣдьмой, смотря по тому, черезъ какія очки на него взглянуть, черезъ выпуклыя или черезъ вогнутыя. Если вѣрить на слово поэту, если предположить, что можно произвольно надѣвать себѣ на носъ разныя очки и вмѣстѣ съ тѣмъ мѣнять взгляды на жизнь и на ея явленія, то мы принуждены будемъ сознаться въ томъ, что наше зрѣніе радикально испорчено вогнутыми очками; чуть только мы попробуемъ замѣнить ихъ другими, или снять ихъ долой, передъ нашими глазами разстелется такой густой туманъ, который помѣшаетъ намъ распознать контуры самыхъ близкихъ къ намъ предметовъ. Наше зрѣніе слишкомъ слабо для того, чтобы охватить все мірозданіе, но тѣ крошечные уголки, которые намъ доступны, кажутся намъ такими неизящными и глубокими морщинами, которыя гораздо легче себѣ представить на старой физіономіи брокенской вѣдьмы, чѣмъ на свѣжемъ, прелестномъ лицѣ молодой красавицы.

Мы любимъ природу, но ея нѣтъ у насъ подъ руками; вѣдь не въ Петербургѣ же любоваться природою; не заниматься же, изъ любви къ природѣ, метеорологическими наблюденіями надъ сырой и холодной погодой, не изучать же различныя видоизмѣненія гранита и не умиляться надъ различными оттѣнками петербургскаго тумана. Поневолѣ придется, при всемъ пристрастіи къ безгрѣшной растительной природѣ, обратить все свое вниманіе на грѣшнаго человѣка, который здѣсь, какъ и вездѣ, или самъ страдаетъ, или выѣзжаетъ на страданіяхъ другого. Какъ посмотришь на людскія отношенія, какъ послушаешь разнородныхъ сужденій, словесныхъ, рукописныхъ и печатныхъ, какъ вглядишься въ то впечатлѣніе, которое производятъ эти сужденія, то мысль о выпуклыхъ очкахъ и о красавицѣ отлетитъ на неизмѣримо далекое разстояніе. Уродливыя черты брокенской вѣдьмы явятся передъ глазами съ такой ужасающей яркостью и отчетливостью, что иному юному наблюдателю сдѣлается не на шутку страшно; онъ быстро проведетъ рукою по глазамъ, въ надеждѣ сорвать проклятыя очки и разогнать ненавистную галлюцинацію; но галлюцинація останется ярка попрежнему, и юный наблюдатель замѣтитъ не безъ волненія, что вогнутыя очки срослись съ его глазами, и что ему придется зажмуриться, чтобы не видать образовъ, пугающихъ его воображеніе.

Иные, боясь за свои впечатлительные нервы, дѣйствительно зажмуриваются и постепенно возвращаются къ тому вожделѣнному состоянію спокойствія, которое было нарушено неосторожнымъ прикосновеніемъ къ вогнутымъ очкамъ; другіе, болѣе крѣпкіе и въ то же время болѣе увлекающіеся, продолжаютъ смотрѣть, всматриваться, громко сообщаютъ другимъ о томъ, что видятъ, и не обращаютъ вниманія на то, что ихъ рѣчи встрѣчаютъ себѣ равнодушіе и насмѣшки въ слушателяхъ, что изображаемыя ими картины принимаются за галлюцинаціи, за бредни разстроеннаго мозга; они продолжаютъ говорить, воодушевляясь сильнѣе и сильнѣе; ихъ воодушевленіе постепенно переходитъ въ ихъ слушателей; ихъ рѣчи начинаютъ возбуждать къ себѣ сочувствіе; онѣ волнуютъ и тревожатъ, онѣ шевелятъ лучшія чувства, вызываютъ наружу лучшія стремленія; вокругъ говорящаго группируется толпа людей, готовыхъ переработывать жизнь и умѣющихъ взяться за дѣло; но между тѣмъ самъ говорящій изнуренъ колоссальнымъ, продолжительнымъ напряженіемъ энергіи; его измучили уродливые образы, на которыхъ онъ долго сосредоточивалъ свое вниманіе; его истомила та борьба, которую ему пришлось выдержать съ недовѣріемъ и недоброжелательствомъ слушателей; его голосъ дрожитъ и обрывается въ ту самую минуту, когда всѣ окружающіе прислушиваются къ нему съ любовью и упованіемъ: герой валится въ могилу.

Такова общая біографическая исторія отрицательнаго направленія въ нашей литературѣ; не даромъ большая часть писателей, изображавшихъ темную сторону жизни, находили свой трудъ тяжелымъ и лично для себя неблагодарнымъ; не даромъ Гоголь проводитъ параллель между двумя писателями; ту же параллель повторяетъ Некрасовъ, конечно не изъ подражанія Гоголю, а именно потому, что такого рода параллель естественно напрашивается въ сознаніе и въ чувство отрицателя. Тяжела, утомительна, убійственна задача отрицательнаго писателя; но для него нѣтъ выбора; вѣдь не можетъ же онъ помириться съ тѣми явленіями, которыя возбуждаютъ въ немъ глубокое физіо-

логическое отвращеніе; нельзя же ему ни себя передѣлать подъ ладъ окружающей жизни, ни эту жизнь пересоздать такъ, чтобы она ему нравилась и возбуждала его сочувствіе. Стало быть, приходится или молчать, или говорить горячо, желчно, порою насмѣшливо, волнуя и терзая другихъ и самого себя. Неизбѣжность отрицательнаго направленія начала понимать наша публика. Что само по себѣ это отрицательное направленіе представляетъ патологическое явленіе, въ этомъ я нисколько не сомнѣваюсь; доказывать его нормальность и законность *quand même* значило бы доказывать вмѣстѣ съ тѣмъ нормальность и законность тѣхъ условій жизни, которыя вызываютъ противъ себя сдержанную оппозицію и глухой протестъ. Тѣ журналисты, которые подвергаютъ серьезной критикѣ существующія идеи, тѣ писатели, которые выводятъ въ своихъ эпическихъ и драматическихъ произведеніяхъ грязь жизни безъ выкупающихъ сторонъ, безъ утѣшительныхъ прикрасъ, нисколько не думаютъ дописаться до безсмертія. Что подумаютъ о нихъ потомки, скажутъ ли они имъ спасибо, раскупятъ ли они на расхватъ какое-нибудь пятнадцатое изданіе ихъ сочиненій, все это, право, такіе вопросы, которые нисколько не занимаютъ честнаго писателя, честно выражающаго свое неудовольствіе противъ разныхъ современныхъ неудобствъ и странностей. Когда у такого писателя является потребность развить нѣсколько мыслей по поводу того или другого явленія, тогда онъ берется за перо только съ однимъ желаніемъ: чтобы тѣ люди, которымъ попадется въ руки его книга или статья, поняли, какія обстоятельства отразились въ процессѣ его мышленія и наложили свою печать на его литературное или критическое произведеніе. Надо только, чтобы между публикою и писателемъ существовало такого рода взаимное пониманіе, по которому бы публика видѣла и понимала связь между видимыми слѣдствіями и необнаруженными причинами. Писателю надо желать, чтобы его произведеніе только будило въ читателѣ дѣятельность мозга, только наталкивало его на извѣстный рядъ идей, и чтобы читатель, слѣдуя этому импульсу, самъ выводилъ бы для себя крайнія заключенія изъ набросанныхъ эскизовъ. Такого рода читатели, договаривающіе для самихъ себя то, что недосказано и недописано, начинаютъ мало-по-малу формироваться; дайте нашимъ писателямъ такую публику, которая бы понимала каждое ихъ слово, и тогда, повѣрьте, они съ величайшимъ удовольствіемъ согласятся на то, чтобы ихъ внуки забыли о ихъ существованіи или назвали ихъ кислыми, безтолковыми ипохондриками. Работать для будущихъ поколѣній конечно очень возвышенно; но думать о лавровыхъ вѣнкахъ и объ историческомъ безсмертіи, когда надо перебиваться со дня на день, отстаивая отъ разрушительнаго или опошляющаго дѣйствія жизни то себя, то другого, то мужчину, то женщину,—это, воля ваша, какъ то смѣшно и приторно; это напоминаетъ Манилова, мечтающаго о томъ, какъ онъ соорудитъ каменный мостъ, а на мосту построитъ каменныя лавки.

Очень можетъ быть, что «Русскій Вѣстникъ», съ своей основательной ученостью, съ своей эстетической критикой, съ своимъ солиднымъ уваженіемъ къ нашей милой старинѣ и къ нашему прекрасному настоящему, будетъ читаться и перепечатываться нашими потомками, которымъ конечно будутъ совершенно неизвѣстны имена задорныхъ журналовъ, печатающихъ вздоръ, подобный теперешней моей статьѣ. Мы не гонимся за «Русскимъ Вѣстникомъ», не отбиваемъ у него правъ на безсмертіе, не составляемъ ему конкурренціи; мы знаемъ, что не далеко ушли бы по той дорогѣ, по которой шествуютъ московскіе мудрецы; проклятая натура взяла бы свое, и сквозь чинно отмѣренныя фразы серьезнаго безпристрастія послышались бы звуки сдержаннаго хохота и негодующей иронія; да намъ и нельзя подражать «Русскому Вѣстнику»; намъ никто не повѣрилъ бы; подумали бы, что мы все это не съ проста говоримъ; стали бы доискиваться какого-нибудь скрытаго смысла, и доискались бы, благодаря своей догадливости, чего-нибудь такого, о чемъ мы бы сами и во снѣ не бредили. Дойдетъ или не дойдетъ «Русскій Вѣстникъ» до того храма безсмертія, въ который онъ рѣшительно возбраняетъ доступъ всѣмъ писателямъ, опозорившимъ себя отрицательнымъ направленіемъ, этого я не знаю; это не мое дѣло, и я этимъ вопросомъ рѣшительно не интересуюсь. Что даетъ «Русскій Вѣстникъ» для насъ, для нашихъ современниковъ, это совсѣмъ другой вопросъ, и отвѣчать на этотъ вопросъ я считаю очень не лишнимъ; вѣдь у «Русскаго Вѣстника» есть и въ наше время читатели; не всѣ же тѣ люди, которые уважали его въ первые годы его существованія, махнули на него рукой за его литературные подвиги 1861 года.

На этомъ-то основаніи я и рѣшаюсь посвятить нѣсколько страницъ на то, чтобы съ точки зрѣнія человѣка, пишущаго журнальную критическую статью въ началѣ 1862 года, перебрать тѣ литературныя мнѣнія, которыя «Русскій Вѣстникъ» въ послѣднее время подносилъ своимъ читателямъ.

II.

Не думайте, господа читатели, чтобы я написалъ вамъ полемическую статью; когда я бесѣдовалъ съ вами о сатирической бывальщинѣ Гермогена Трехзвѣздочкина, я не полемизировалъ съ авторомъ этого произведенія; полеми-

зировать съ «Русскимъ Вѣстникомъ» такъ же невозможно, какъ полемизировать съ авторомъ «Побѣды надъ самодурами». У Трехзвѣздочкина свое оригинальное міросозерцаніе, не сходное съ міросозерцаніемъ какого бы то ни было другого обыкновеннаго смертнаго; у сотрудниковъ «Русскаго Вѣстника» также совсѣмъ особенное міросозерцаніе; еслибы я вздумалъ спорить съ ними, то нашъ споръ можно было бы сформулировать такъ: я бы сталъ доказывать этимъ господамъ, что они смотрятъ на вещи сквозь выпуклыя очки, а они съ пѣной у рта стали бы увѣрять меня въ томъ, что я имѣю глупость смотрѣть на вещи сквозь вогнутыя очки; я бы кротко попросилъ ихъ снять на минуту очки, они обратились бы ко мнѣ съ тѣмъ же требованіемъ, пересыпая его бранными возгласами и убійственными намеками; кончилось бы тѣмъ, что, наспорившись до сыта, мы замолчали бы, не сблизившись между собою во мнѣніяхъ ни на одну линію; споръ нашъ привелъ бы къ такимъ же плодотворнымъ послѣдствіямъ, къ какимъ приводитъ всякій споръ, происходящій между людьми различныхъ темпераментовъ, различныхъ лѣтъ и, вслѣдствіе этихъ и многихъ другихъ различій, несходныхъ убѣжденій. Кромѣ того, сражаясь съ «Русскимъ Вѣстникомъ», я находился бы въ самомъ невыгодномъ положеніи; «Русскій Вѣстникъ» побѣдоносно развернулъ бы, на удивленіе всей читающей публики, полное свое исповѣданіе вѣры, подвелъ бы, гдѣ бы понадобилось, цитаты, тексты и пункты, ссылки на авторитеты всѣхъ вѣковъ, не исключая XIX-го, засвидѣтельствовалъ бы мимоходомъ свое почтеніе той или другой великой идеѣ и умилился бы надъ непризнанными заслугами какого-нибудь великаго, но неизвѣстнаго Россіи русскаго дѣятеля. А я? Что бы я отвѣтилъ на всѣ эти золотыя рѣчи? Я чувствую, что у меня оборвался бы голосъ при первыхъ моихъ попыткахъ оправдываться или защищаться. Непремѣнно бы оборвался, и я бы замолчалъ. Вотъ видите ли, «Русскій Вѣстникъ» стоитъ на положительной почвѣ, крѣпко упирается въ нее ногами, скоро сростется съ ней, и эта почва не выдастъ его въ минуту скорби и борьбы. А мы—что такое? Мы—фантазеры, верхогляды, говоруны; мы на воздушномъ шарѣ поднялись, а вѣдь воздушный шаръ, какъ говоритъ объявленіе «Времени», тотъ же мыльный пузырь. Такъ куда же намъ бороться съ «Русскимъ Вѣстникомъ»? Повторяю вамъ, у меня оборвутъ голосъ въ ту самую минуту, когда я попробую основательно возражать мнѣніямъ «Русскаго Вѣстника». Да и къ чему, для кого возражать?

Если читатели не сочувствуютъ тѣмъ идеямъ, которыя я выражалъ въ моихъ статьяхъ, то мнѣ всего лучше не только не возражать «Русскому Вѣстнику», но и совсѣмъ не писать. Если же мнѣ сочувствуютъ, то мнѣ будетъ совершенно достаточно передать, по возможности вѣрно, литературныя мнѣнія «Русскаго Вѣстника», для того, чтобы высказать то, что лежитъ у меня на душѣ. Положимъ, что я воротился изъ какого-нибудь дальняго путешествія; положимъ, я посѣтилъ Персію и чувствую желаніе передать русской публикѣ вообще и читателямъ «Русскаго Слова» въ особенности мои путевыя впечатлѣнія; я конечно для полноты, вѣрности и живости картины сочту необходимымъ воспроизвести тѣ бытовыя особенности, которыя почему бы то ни было поразили мое воображеніе и врѣзались въ мою память. Но я никакъ не поставлю себѣ въ обязанность полемизировать противъ описываемыхъ персидскихъ обычаевъ; было бы смѣшно и утомительно, еслибы я описывалъ свои путевыя впечатлѣнія такъ: «Персіяне курятъ кальянъ; я нахожу, что гораздо лучше курить сигары. Персіяне запираютъ своихъ женъ въ гаремы; это возмутительный обычай, и я, какъ поборникъ эмансипаціи женщины, заявляю передъ моими читателями мой торжественный протестъ противъ такого варварскаго устройства семьи». Вообразите себѣ, господа читатели, что я отправляюсь обозрѣвать «Русскій Вѣстникъ» совершенно такъ же, какъ бы я могъ отправиться обозрѣвать Персію. У меня съ «Русскимъ Вѣстникомъ» такъ же мало общаго въ тенденціяхъ, мнѣніяхъ и литературныхъ пріемахъ, какъ въ моихъ вседневныхъ привычкахъ мало общаго съ привычками какого нибудь Аббаса-Мирзы. Мы, грѣшные, вязнемъ въ тинѣ и барахтаемся среди всякихъ нечистотъ, а «Русскій Вѣстникъ» идетъ себѣ ровной дорогой и неспѣшной поступью пробирается къ храму славы и безсмертія. О чемъ же намъ съ нимъ спорить? Мы просто будемъ разсматривать его съ живѣйшимъ любопытствомъ и съ напряженнымъ вниманіемъ, какъ разсматриваютъ гостя изъ иного міра, созданіе, отличающееся особымъ сложеніемъ и подчиняющееся особымъ физіологическимъ законамъ. Установивъ разъ навсегда такого рода спокойно-наблюдательныя отношенія къ мнѣніямъ «Русскаго Вѣстника», я намѣренъ во всей послѣдующей части этой статьи дать только фактическій отчетъ о моихъ наблюденіяхъ, хронику моихъ замѣтокъ.

Не ручаюсь впрочемъ и за то, чтобы кое-гдѣ, ошибкою, не прорвалось и критическое замѣчаніе.

III.

Въ 1861 году въ «Русскомъ Вѣстникѣ» совершилось немаловажное измѣненіе. Современная лѣтопись оторвалась отъ книжекъ журнала и превратилась въ еженедѣльную газету. Это событіе, достопримѣчательное само по себѣ, повело за собою слѣдующія еще болѣе достопри-

мѣчательныя послѣдствія. Во-первыхъ, книжки «Русскаго Вѣстника» стали опаздывать слишкомъ на цѣлый мѣсяцъ; во-вторыхъ, въ составъ книжекъ вошелъ новый отдѣлъ подъ заглавіемъ: «Литературное обозрѣніе и замѣтки»; въ этомъ отдѣлѣ редакція и сотрудники «Русскаго Вѣстника» стали дѣлиться съ публикою своими взглядами на положеніе и событія текущей литературы, и мы, благодаря этому обстоятельству, узнали много новаго и любопытнаго.

Въ первой-же книжкѣ «Русскаго Вѣстника» за 1861 г., въ статьѣ «Нѣсколько словъ вмѣсто современной лѣтописи», редакція отнеслась очень сурово къ тѣмъ журналамъ, «гдѣ съ тупымъ доктринерствомъ или съ мальчишескимъ забіячествомъ проповѣдывалась теорія, лишающая литературу всякой внутренней силы, забрасывались грязью всѣ литературные авторитеты, у Пушкина отнималось право на названіе національнаго поэта, а Гоголю оказывалось снисхожденіе только за его сомнительное свойство обличителя» (стр. 480). Этихъ уголовныхъ преступниковъ противъ законовъ эстетики и художественной критики редакція «Русскаго Вѣстника» обѣщала преслѣдовать со всей надлежащей строгостью. «Мы не откажемся также, говоритъ она, отъ своей доли полицейскихъ обязанностей въ литературѣ и постараемся помогать добрымъ людямъ въ изловленіи безпутныхъ бродягъ и воришекъ; но будемъ заниматься этимъ искусствомъ не для искусства, а въ интересѣ дѣла и чести». Не могу удержаться, чтобы въ этомъ мѣстѣ не заявить «Русскому Вѣстнику» моего полнѣйшаго сочувствія; великія истины понятны и доступны каждому, начиная отъ развитого дѣятеля науки и кончая простымъ, бѣднымъ труженикомъ; ловить безпутныхъ бродягъ и воришекъ изъ любви къ искусству не согласится не только редакторъ «Русскаго Вѣстника», но даже и простой хожалый; даже и тотъ понимаетъ, что этимъ искусствомъ надо заниматься въ интересѣ дѣла, т. е. чтобы получать казенный паекъ и жалованье, или въ интересѣ чести, т. е. чтобы дослужиться до унтеръ-офицерскихъ нашивокъ. Конечно редакція «Русскаго Вѣстника» понимаетъ интересы дѣла и чести не совсѣмъ такъ, какъ понимаетъ ихъ хожалый, можетъ быть даже не такъ, какъ понимаетъ ихъ англійскій полисменъ; масштабы не тѣ; между хожалымъ, сажающимъ въ будку бездомнаго пьяницу, и русскимъ ученымъ, издающимъ уважаемый журналъ и принимающимъ на себя, въ интересѣ дѣла и чести, свою долю полицейскихъ обязанностей въ литературѣ, лежитъ конечно неизмѣримое разстояніе, неизмѣримое до такой степени, что бѣдный хожалый, не привыкшій группировать явленія и сортировать ихъ по существеннымъ признакамъ, никогда не дерзнулъ бы подумать, что между нимъ и редакторомъ ученаго журнала есть такъ много общаго. Признаюсь, я въ этомъ отношеніи раздѣлялъ невѣдѣніе хожалаго; я до сихъ поръ думалъ въ невинности души, что между обязанностями хожалаго и занятіями литератора нѣтъ ни малѣйшаго сходства; такого рода образъ мыслей объясняется отчасти тѣмъ, что я не читалъ статью Громеки: «О полиціи внѣ полиціи», бросающую, по всей вѣроятности, яркій свѣтъ на этотъ запутанный вопросъ, отчасти тѣмъ, что я былъ молодъ и вѣтренъ въ тѣ счастливые годы, когда газета «Сѣверная Пчела» находилась подъ вѣдѣніемъ прежней своей редакціи. Я думаю впрочемъ, что я и впредь останусь при своемъ прежнемъ невѣдѣніи, несмотря на то, что это невѣдѣніе очень многимъ можетъ показаться забавнымъ и даже идиллическимъ; на русскомъ языкѣ существуетъ поговорка «съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходятъ». Эту поговорку можно перевернуть, и она отъ этого ничего не потеряетъ. Чужой уставъ, введенный въ свой монастырь, можетъ также оказаться въ высшей степени неумѣстнымъ; поэтому, не стараясь навязать редакціи «Русскаго Вѣстника» ни малѣйшей частицы моихъ понятій, я не буду стараться о томъ, чтобы заимствовать что бы то ни было изъ ея своеобразнаго міросозерцанія. Я уже предупредилъ читателей: мы вступаемъ въ новый міръ, въ которомъ все, начиная отъ крупнѣйшаго травоядnаго животнаго и кончая мельчайшей букашкой, должно возбудить удивленіе простого наблюдателя и лихорадочную любознательность зоолога. Мы съ вами, господа читатели, простые наблюдатели, и потому мы просто будемъ удивляться:

Куда на выдумки природа таровата!

и заранѣе выражаемъ отчасти смѣлую надежду на то, что, выходя изъ кунсткамеры, намъ не придется сказать съ грустнымъ чувствомъ неудовлетвореннаго любопытства:

Слона-то я и не примѣтилъ.

Можетъ быть, то обстоятельство, на которое я указалъ при самомъ входѣ въ кунсткамеру, есть именно тотъ слонъ; можетъ быть, мы сразу попали на самое характерное мѣсто; въ такомъ случаѣ мнѣ остается только пожалѣть, что я не естествоиспытатель; еслибы къ этому мѣсту приложить анатомическій ножъ и микроскопъ, еслибы изслѣдовать его составъ путемъ химическаго анализа, то могло бы открыться много любопытнаго; мы узнали бы законы питанія, органы и отправленія того организма, который находится передъ нашими глазами; все это могло бы случиться только въ томъ случаѣ, еслибъ я былъ естествоиспытателемъ; но я просто ротозѣй, описывающій внѣшнюю сторону явленія, и потому, представивъ фактъ на разсмотрѣніе читателей, принужденъ идти дальше, хотя чувствую, что въ представленномъ фактѣ много необъясненнаго.

Безпутные бродяги и воришки, слоняющіеся по пустыннымъ полямъ нашей литературы, повергаютъ редакцію «Русскаго Вѣстника» въ самое мрачное раздумье.

«Ни одна литература въ мірѣ, восклицаетъ она, не представляетъ такого изобилія литературныхъ скандаловъ, какъ наша маленькая, скудная, едва начавшая жизнь, литература безъ науки, едва только выработавшая себѣ языкъ».

Ну вотъ наша литература выработала себѣ языкъ и на радостяхъ показываетъ его на всѣ четыре стороны, встрѣчнымъ и поперечнымъ, а эти встрѣчные и поперечные обижаются, не понимаютъ шутки, жалуются: «она насъ дразнитъ; это—личность, это—оскорбленіе». Кто-жъ въ этомъ виноватъ? Вольно имъ оскорбляться и вольно-жъ имъ, если они такъ обидчивы, смотрѣть на этотъ языкъ, который такъ добродушно показываетъ имъ наша литература. Когда наша литература выработаетъ себѣ науку, она можетъ быть вмѣстѣ съ языкомъ будетъ показывать и науку, или что нибудь другое, смотря по обстоятельствамъ. А покуда вѣдь кромѣ языка нѣтъ ничего. Ну такъ что же дѣлать? На нѣтъ и суда нѣтъ!

Впрочемъ я вообще не понимаю, какое отношеніе имѣетъ отсутствіе науки къ присутствію литературныхъ скандаловъ. Сколько мнѣ кажется, редакція «Русск. Вѣстника» подъ названіемъ литературнаго скандала подразумѣваетъ разныя печатныя разбирательства о литературныхъ и нелитературныхъ предметахъ.

Слово *скандалъ* даетъ намъ почувствовать, что редакція «Русск. Вѣстника» входитъ въ роль и готова съ полнымъ усердіемъ взять на себя свою долю полицейскихъ обязанностей. Скандаломъ, на языкѣ образованной полиціи, называется, какъ извѣстно, всякое происшествіе, нарушающее обычный ходъ дѣйствія въ какомъ-нибудь публичномъ мѣстѣ и возбуждающее въ собравшейся толпѣ зѣвакъ какіе бы то ни было толки. Если такого же рода событіе произойдетъ на аренѣ нашей литературы, то «Русскій Вѣстникъ» конечно не станетъ калякать съ зѣваками, а приметъ именно ту позитуру, которую въ подобномъ случаѣ обязанъ принять исправный членъ благоустроенной полиціи. Это я понимаю, но по-прежнему продолжаю не понимать, почему отсутствіе науки обусловливаетъ собою присутствіе скандаловъ. Мнѣ кажется, что самая лучшая лекція по гражданскому праву не замѣнитъ вамъ того судебнаго засѣданія, въ которомъ рѣшается вашъ процессъ. Самое лучшее изслѣдованіе о причинахъ зубной боли не замѣнитъ вамъ въ минуту страданія нѣсколькихъ капель опіума. Точно такъ-же вся наука «Русскаго Вѣстника» не замѣнитъ вамъ неоцѣненнаго права обратиться къ суду общественнаго мнѣнія, когда вы почувствуете себя несправедливо оскорбленнымъ. Наука—вещь хорошая, но она въ своей отвлеченности никакъ не можетъ замѣнить намъ своихъ практическихъ примѣненій къ жизни.

Какое бы великолѣпное изслѣдованіе вы ни написали, это изслѣдованіе никакъ не выручитъ васъ въ томъ случаѣ, когда вамъ понадобится обратиться къ суду общественной гласности. Конечно, если тѣ отвлеченныя истины, которыя вы будете развивать въ научномъ трактатѣ о нравственной философіи, войдутъ въ плоть и кровь всѣхъ людей, живущихъ на земномъ шарѣ, или по крайней мѣрѣ въ Россіи, то вамъ не придется обращаться къ суду гласности и поднимать литературные скандалы, потому что всѣ будутъ уважать ваши права; но вѣдь согласитесь, тутъ долга пѣсня; пока солнышко взойдетъ, роса глаза выѣстъ. Если даже литература наша создастъ себѣ науку, то отъ существованія науки еще не прекратятся скандалы. Съ прекращеніемъ же ихъ наступитъ такой золотой вѣкъ, о которомъ мы теперь не можемъ себѣ составить и приблизительнаго понятія; въ этомъ золотомъ вѣкѣ исчезнетъ потребность въ литературной полиціи; кто знаетъ? Можетъ быть вмѣстѣ съ этою потребностью исчезнетъ и потребность въ «Русск. Вѣсти.» вообще. Теперь не то. Скандалы неизбѣжны, потому что вамъ на каждомъ шагу представляется неотвязная дилемма: терпѣть насиліе, или подымать крикъ; а иногда приходится даже дѣлать въ одно время и то, и другое. Теперь приходится удивляться тому обстоятельству, что «Русскій Вѣстникъ» жалуется на обиліе скандаловъ. Развѣ было бы лучше, еслибы несправедливые поступки проходили безъ огласки, еслибы нелѣпыя мнѣнія принимались безъ спора? Возставать противъ обилія скандаловъ значитъ, другими словами, проклинать зарождающуюся гласность. Еслибы, приступая къ обзору «Русскаго Вѣстника», я не вошелъ въ иной міръ, то, мнѣ кажется, я осмѣлился бы назвать эту вещицу проявленіемъ обскурантизма. Но вѣдь опять таки: съ своимъ уставомъ въ чужой монастырь не ходятъ. У насъ это называется обскурантизмомъ, а у нихъ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», это можетъ быть именуется совсѣмъ иначе: серьезностью, солидностью, ученостью или еще какъ-нибудь позамысловатѣе. Поэтому я удержу языкъ свой въ должномъ повиновеніи, несмотря на то, что я его выработалъ, и что меня ужасно разбираетъ охота показать его во всю длину противникамъ гласности, какой бы чинъ они ни занимали на іерархической лѣстницѣ литературной полиціи.

IV.

Приступаю къ февральской книжкѣ и встрѣчаю на первомъ планѣ литературнаго обозрѣнія статью загадочнаго содержанія подъ многообѣщающимъ заглавіемъ: «Старые боги и новые боги». Судя по этому задорному названію статьи,

можно было бы подумать, что «Русск. Вѣстникъ» вступаетъ въ ряды нашихъ современныхъ идолоборцевъ и старается сбить съ пьедесталовъ тѣхъ Перуновъ и Волосовъ, которые, несмотря на честныя усилія науки, еще до сихъ поръ красуются въ нашемъ неустановившемся міросозерцаніи. Дѣйствительно, въ этой статьѣ есть отдѣльныя фразы, отъ которыхъ не отказался бы ни одинъ изъ свистящихъ журналовъ. «Кто выдаетъ себя за мыслителя, говорится между прочимъ въ этой статьѣ, тотъ не долженъ принимать на вѣру, безъ собственной мысли, ничего ни отъ Аскоченскаго, ни отъ Бюхнера, ни отъ Ивана Яковлевича, ни отъ Фейербаха». Съ этой мыслью нельзя не согласиться, если принять ее въ полной ея отвлеченности; можно только замѣтить, что два имени, вставленныя въ эту фразу, не гармонируютъ съ общимъ ея содержаніемъ; когда произносишь имена Бюхнера и Фейербаха, тогда вовсе не надо прибавлять то, что отъ нихъ не слѣдуетъ ничего принимать на вѣру; это само собою разумѣется. Какъ вы примете что-нибудь на вѣру отъ такого человѣка, который вовсе не хочетъ, чтобы вы ему вѣрили, и убѣждаетъ васъ не ссылками на авторитетъ, а доводами и аргументами. Эти доводы могутъ быть неудовлетворительными; слушая того мыслителя, который представляетъ эти доводы, вы можете не замѣтить ихъ неудовлетворительности и впасть въ ту ошибку, въ которую впадаетъ самъ мыслитель. Но ошибка въ процессѣ мысли не бѣда. Въ этомъ случаѣ человѣкъ нечаянно упускаетъ что-нибудь изъ виду, а не умышленно зажмуриваетъ глаза и не говоритъ: я и смотрѣть не хочу. Еслибы Фейербахъ или Бюхнеръ увидѣли послѣднее настроеніе въ комъ-нибудь изъ своихъ адептовъ, то вѣроятно они или отвернулись бы отъ этого субъекта, или посовѣтовали бы ему обратиться къ какому-нибудь извѣстному психіатру за помощью и совѣтомъ.

Человѣкъ, имѣющій наклонность принимать чужія мысли на вѣру, никогда не сдѣлается послѣдователемъ Фейербаха и Бюхнера; по дорогѣ къ ихъ ученію, онъ встрѣтитъ великое множество школъ и направленій, которыя затянутъ его къ себѣ именно потому, что онѣ очень многое передаютъ на вѣру. То возраженіе, что ученіе Фейербаха и Бюхнера теперь въ модѣ, въ ходу, и на этомъ основаніи притягиваетъ къ себѣ людей, увлекающихся подражательными стремленіями, не имѣетъ ни малѣйшей силы. Не угодно ли вамъ справиться съ нашей журналистикой? Не угодно ли вамъ прислушаться къ тѣмъ разговорамъ о высокихъ матеріяхъ, которые ведутся въ нашихъ салонахъ? Не думаю, чтобы въ этихъ разговорахъ вы открыли зловредныя тенденціи матеріализма. Стало быть, моды на Фейербаха и Бюхнера нѣтъ. Стало быть, ученіе этихъ мыслителей принимается только весьма немногими людьми. Можетъ быть, эти люди ошибаются, но во всякомъ случаѣ они мыслятъ согласно съ Фейербахомъ и Бюхнеромъ, а не признаютъ непогрѣшимость Фейербаха и Бюхнера. Они не увлекаются общимъ стремленіемъ, потому что общаго стремленія къ матеріализму у насъ не существуетъ. Статья «Русскаго Вѣстника» клонится къ тому, чтобы доказать, что наши скептики и отрицатели не умѣютъ мыслить и, освистывая суевѣріе массы, сами съ полнымъ суевѣріемъ поклоняются кумирамъ, подобнымъ Фейербаху и Бюхнеру; для большей убѣдительности, авторъ статьи сравниваетъ нашихъ журналистовъ съ Иваномъ Яковлевичемъ, отвѣтившимъ однажды на какой-то вопросъ своего обожателя: «безъ працы не бенды кололацы».

«*Кололацы! кололацы!* восклицаетъ авторъ. А развѣ много изъ того, что преподается и печатается — не *кололацы?* Развѣ философскія статьи, которыя помѣщаются иногда въ нашихъ журналахъ—не *кололацы?*»

Для этого язвительнаго вопроса была написана и напечатана вся статья: «Старые боги и новые боги». Вся эта статья представляетъ болѣе или менѣе замысловатыя варіаціи на этотъ вопросъ: развѣ не кололацы? Пускаются въ ходъ страшныя усилія и натяжки для того, чтобы доказать, что Чернышевскій и Антоновичъ какъ двѣ капли воды похожи на Ивана Яковлевича и Аскоченскаго. Желаніе автора провести свою идею до конца съ возможно большимъ успѣхомъ доводитъ его до высокихъ подвиговъ самоотверженія. Онъ рѣшается печатно прикидываться дурачкомъ и упрекаетъ Антоновича въ несправедливой ненависти къ матеріализму. Такого рода упрекъ имѣетъ всю прелесть оригинальности и новизны.

Онъ доказываетъ, что можно писать критику на такую статью, которой смыслъ остается недоступнымъ для самого рецензента. Впрочемъ гораздо правдоподобнѣе будетъ предположить, что непониманіе, обнаруженное въ статьѣ «Старые боги и новые боги», есть непониманіе умышленное. Авторъ этой статьи, движимый разными побужденіями, рѣшился надъ Антоновичемъ показать первый примѣръ полицейской исправности «Русск. Вѣстника». Такъ какъ къ критической статьѣ Антоновича о философскомъ лексиконѣ «Русскій Вѣстникъ» не сумѣлъ придраться за какую-нибудь дѣйствительную погрѣшность, то онъ рѣшился всклепать на него небылицу, и Антоновичъ оказался безъ вины виноватымъ. Этимъ первымъ подвигомъ на поприщѣ изловленія бродягъ и воришекъ «Русскій Вѣстникъ» показалъ наглядно, что онъ во имя принципа жертвуетъ отдѣльной личностью. Его принципъ — безусловное отрицаніе задорной журналистики, а задорнымъ онъ называетъ каждое энергическое слово, выражающее самостоятельную, а не вычитанную идею; этотъ принципъ требуетъ себѣ жертвъ; выйдя на поле нашей ли-

тературы съ твердымъ намѣреніемъ поймать бродягу или воришку, «Русскій Вѣстникъ» не могъ и не хотѣлъ воротиться домой безъ добычи; первый попался ему Антоновичъ; виноватъ онъ въ глазахъ «Русскаго Вѣстника», во-первыхъ, тѣмъ, что помѣщаетъ свои статьи на страницахъ ненавистнаго ему журнала; во-вторыхъ, тѣмъ, что пишетъ о философіи довольно понятнымъ языкомъ и не кланяется въ поясъ разнымъ кумирамъ философскаго пандемоніума.

Этого было совершенно достаточно; Антоновича арестовали, какъ подозрительнаго человѣка, и привели предъ судилище «Р. В.». Какъ рѣшилось это дѣло — я сказать навѣрное не могу, потому что протоколы суда (т. е. статья «Старые боги и новые боги») написаны крайне сбивчивымъ и неяснымъ языкомъ, наполнены голословными обвиненіями и скорѣе похожи на лирическое изліяніе озлобленнаго человѣка, чѣмъ на спокойное изслѣдованіе нелицепріятнаго судьи. Чѣмъ оказался Антоновичъ, по мнѣнію «Р. В.», бродягою или воришкою—я тоже не знаю. Словомъ, изъ статьи «Старые боги и новые боги» усматривается только одно: «Русскій Вѣстникъ» изъ кожи вонъ лѣзетъ, чтобы какъ-нибудь поубійственнѣе побранить кого-нибудь изъ литераторовъ, пишущихъ въ «Современникѣ»; гдѣ можно зацѣпить полицейскою алебардою двоихъ или троихъ разомъ, тамъ онъ цѣпляетъ; гдѣ надо для большей силы обвиненія прибавить, тамъ онъ прибавляетъ, гдѣ надо прикинуться наивнымъ, тамъ онъ наивничаетъ съ неподражаемой естественностью. Почему и для чего онъ такъ поступаетъ—не знаю. Что намъ за дѣло до побужденій, руководящихъ Катковымъ, что намъ за дѣло до степени его искренности? Мы видимъ результаты; эти же результаты видитъ общество, испытывающее на себѣ ихъ вліяніе въ томъ или другомъ направленіи; объ этихъ результатахъ и слѣдуетъ говорить, ни мало не пускаясь въ психологическія изысканія.

Можетъ быть, редакція «Р. В.» за свои убѣжденія готова (выражаясь высокимъ слогомъ) излить послѣднія капли своей благородной крови, а можетъ быть и то, что она проводитъ не свои идеи по разнымъ, нелитературнымъ разсчетамъ. Въ первомъ случаѣ редакція «Русскаго Вѣстника» только заблуждается, во второмъ— она дѣйствуетъ неискренно; но въ томъ и другомъ случаѣ результатъ выходитъ одинъ и тотъ же: подъ зеленоватою оберткою «Русск. Вѣстника» появляются статьи, толкующія вкривь и вкось о такихъ вопросахъ, на которыхъ сходятся между собою всѣ сознательно-честные люди въ Россіи; эти статьи съ насмѣшкой и порицаніемъ относятся къ стремленіемъ и мыслямъ, выражаемымъ этими сознательно-честными людьми; съ уваженіемъ и подобострастіемъ говорятъ онѣ о томъ, что эти люди считаютъ старымъ хламомъ; булгаринскія тенденціи скрываются въ этихъ статьяхъ подъ неясными терминами, которыми любитъ драпироваться сомнительная ученость людей, не умѣющихъ переварить въ своей головѣ набранный запасъ сырыхъ матеріаловъ и фактовъ.

Кто не умилится сердцемъ, читая драгоцѣнную статью Грота, помѣщенную вслѣдъ за сердитой статьею «Старые боги и новые боги»? Кто не отдохнетъ душой на этомъ спокойномъ, прозрачномъ изложеніи, чистомъ и пріятномъ на вкусъ, какъ дистилированная, теплая вода? Кто, при чтеніи этой замѣтки, не повѣритъ въ будущее торжество добра, въ наступленіе того золотого вѣка, когда литераторы будутъ любить другъ друга и когда на землѣ не будетъ другого зла, кромѣ сырой погоды и сухихъ тумановъ? Статья Грота называется: «Замѣтка о русской журналистикѣ» и вся насквозь пропитана тѣмъ незлобіемъ и той наивностью, которыя вѣроятно будутъ составлять преобладающія свойства литературы въ счастливые дни золотого вѣка, привлекающаго къ себѣ съ неотразимой силой сердца и надежды людей, вѣрующихъ въ исторію и въ прогрессъ. Эта статья начинается и кончается разными любезностями и лестными комплиментами, которые авторъ, какъ вѣжливый кавалеръ, подноситъ нашей литературѣ; должно замѣтить, что къ литературѣ вообще Гротъ относится какъ-то со стороны, какъ человѣкъ, взявшій перо въ руки въ досужій часъ, чтобы высказать мысль, случайно зашедшую въ голову. Знаетъ онъ литературу какъ-то по слухамъ, да можетъ быть потому, что гдѣ-нибудь, случайно, пробѣжалъ страницъ пятнадцать въ какой-нибудь недавно вышедшей журнальной книжкѣ. Оттого любезности у него выходятъ совершенно неопредѣленныя, а замѣчанія чисто внѣшнія; такъ напримѣръ выражается надежда, что движеніе, оживившее русскую литературу лѣтъ шесть тому назадъ (тогда, должно быть, когда началъ издаваться «Русскій Вѣстникъ»), «конечно, приведетъ ее къ самымъ счастливымъ результатамъ». Въ концѣ статьи встрѣчается слѣдующее трогательное мѣсто:

«Утѣшимся тѣмъ, что одна истина носитъ въ себѣ неодолимую силу живучести и что во всякомъ человѣческомъ обществѣ она посреди всѣхъ заблужденій пролагаетъ себѣ путь хотя медленно, но твердо». Эта фраза напомнила мнѣ преуморительную сцену изъ комедіи Сухово-Кобылина: «Свадьба Кречинскаго». Нелькинъ, нелѣпѣйшій изъ когда-либо существовавшихъ добродѣтельныхъ героевъ, восклицаетъ на сценѣ: «Правда, правда, гдѣ-жъ твоя сила?» А Расплюевъ очень основательно отвѣчаетъ ему на это: «а, поди, поищи ее!» Нелькинъ, какъ извѣстно, уходитъ искать правду и вмѣсто правды находитъ полицію, которую и приводитъ съ собою на сцену. Какъ ни странно держитъ себя

Нелькинъ, а все-таки онъ дѣйствуетъ основательнѣе Грота; во-первыхъ, Нелькинъ выражаетъ свою мысль въ вопросительной формѣ, т. е. до нѣкоторой степени сомнѣвается и даже отчаявается; во-вторыхъ, онъ, не умѣя самъ найти правду, призываетъ къ себѣ на помощь частнаго пристава; что же касается до Грота, то онъ твердо увѣренъ, что истина будетъ торжествовать, что она побѣдитъ сама собою, и что намъ, слабымъ смертнымъ, всего лучше сложить руки, уповать на прочность идеи и утѣшаться тѣмъ, что одна истина имѣетъ неодолимую силу живучести.

Въ серединѣ статьи Грота высказываются нѣкоторыя порицательныя замѣчанія насчетъ нашей журналистики; эти замѣчанія прелестны по своей наивности; процессъ мысли совершается въ головѣ автора до такой степени своеобразно, что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи произвести надъ этимъ процессомъ нѣсколько наблюденій. «Въ критикѣ нашей, — говоритъ Гротъ, — на тронѣ гуманности возсѣдаетъ покуда заклятый врагъ ея — нетерпимость». Этотъ приговоръ, выражающійся въ такой образной формѣ, срывается съ устъ автора по тому поводу, что, «вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, въ нашей литературѣ утвердились извѣстные взгляды и мнѣнія, которые присвоили себѣ монополію обращенія въ печатномъ мірѣ». О какой это литературѣ мечтаетъ Гротъ? Кажется, о русской. Гдѣ же издаютъ въ одно и то же время журналы «Современникъ» и «Странникъ», «Рус. Слово» и «Русскій Вѣстникъ», «Отечествен. Записки», «Искра», «Рус. Инвалидъ» и «День», «Сѣв. Пчела» и «Наше Время»? Кажется, въ Россіи? Какъ же это Гротъ ухитрился помирить существованіе столькихъ совершенно разнохарактерныхъ изданій съ монополіей извѣстныхъ взглядовъ и мнѣній? Но онъ и не думаетъ объ этомъ. Онъ говоритъ о нетерпимости съ точки зрѣнія литературной кротости, а ужъ мысль о монополіи подвернулась какъ-то по дорогѣ и забрела въ его статью совершенно случайно. Гроту хотѣлось бы, чтобы всѣ наши писатели, при спорахъ между собою, все-таки сулили другъ другу лавровые вѣнки и говорили другъ о другѣ въ печати такимъ образомъ: «почтенный авторъ въ своей прекрасной статьѣ, которой основную мысль мы однако осмѣлимся найти не вполнѣ справедливой, доказываетъ со свойственнымъ ему остроуміемъ», и т. д. Да, во время оно, когда писатели говорили между собою такимъ языкомъ, уцѣлѣвшимъ теперь только въ оффиціальныхъ изданіяхъ ученыхъ обществъ, было пріятно и душеспасительно заниматься литературою. Теперь обмѣнъ сладостей между писателями сдѣлался невозможнымъ; одна часть русскихъ литераторовъ превратилась, по словамъ «Русскаго Вѣстника», въ бродягъ и воришекъ; другая часть, къ которой не безъ самодовольства примыкаетъ «Русскій Вѣстникъ», поступила на службу въ литературную полицію. Но всѣ эти событія прошли, кажется, мимо Грота и не нарушили его очарованнаго сна, подъ вліяніемъ котораго онъ изрѣдка произносилъ отрывочныя восклицанія, имѣющія, можетъ быть, нѣкоторую связь съ его грезами, но не имѣющія ни малѣйшаго отношенія къ физіономіи нашей дѣйствительной жизни. Гротъ не справляется даже, повидимому, съ литературными мнѣніями того журнала, въ которомъ онъ печатаетъ свои замѣтки; онъ не соображаетъ того обстоятельства, что требовать деликатности выраженій въ литературѣ значитъ упрекать «Русскій Вѣстникъ» въ невообразимомъ нахальствѣ.

Вѣдь еслибы петербургскіе литераторы не смотрѣли на выходки «Р. В.», какъ на смѣшныя проявленія безсильной, старческой злобы, то они давно заставили бы редакцію ученаго журнала дать полное и категорическое объясненіе въ своихъ намекахъ и формально, печатно отступиться отъ тѣхъ выраженій, которыя обнаруживаютъ въ себѣ стремленіе бросить тѣнь на литературную честность лучшихъ современныхъ двигателей русской мысли. Если мы не поступаемъ такимъ образомъ, то это происходитъ единственно отъ того, что мы глубоко равнодушны къ формѣ, къ выраженію; тенденціи «Русскаго Вѣстника» кажутся намъ неблагородными—мы это и высказываемъ; мысли, выраженныя «Русскимъ Вѣстникомъ», кажутся намъ бѣдными и рутинными, — мы это замѣчаемъ; что же касается до того частнаго и второстепеннаго обстоятельства, что эти тенденціи проводятся въ грубой формѣ, что эти мысли облекаются въ неопрятныя выраженія, то намъ до этого уже нѣтъ никакого дѣла.

Не читать же намъ для редакціи «Русск. В.» лекціи піитики, не преподавать же ей уроки вѣжливости. Для насъ рѣшительно все равно, обругаетъ ли насъ «Русск. Вѣстникъ» бродягами и воришками, или просто отнесется недоброжелательно къ задушевной мысли нашихъ статей. Сущность дѣла въ томъ, за кого стоитъ «Русскій Вѣстникъ»: за насъ или за нашихъ литературныхъ противниковъ. Если онъ идетъ противъ тѣхъ стремленій, которыя мы считаемъ полезнымъ для нашего общества, тогда между нами нѣтъ и не можетъ быть примиренія, хотя бы цѣлыя страницы и статьи «Русскаго Вѣстн.» были посвящены восхваленію нашихъ литературныхъ талантовъ и нравственныхъ достоинствъ. Дѣло въ томъ, что черезъ типографскій стапокъ должны проходить только тѣ черты авторской личности, которыя связаны съ какимъ-нибудь общимъ интересомъ. Мы не боимся гласности, проведенной до послѣднихъ предѣловъ; мы не боимся такихъ обличителей, которые по какой бы то ни было причинѣ рѣшились бы посвящать публику въ

мельчайшія и интимнѣйшія подробности нашей домашней жизни, но мы сами никогда не рѣшимся навязываться публикѣ съ разными конфиденціями собственно потому, что щадимъ время каждаго изъ нашихъ читателей и желаемъ говорить съ ними только о такихъ предметахъ, которые могутъ имѣть для нихъ живой интересъ. Поэтому-то мы считаемъ совершенно излишнимъ протестовать печатно противъ тона «Р. В.». Обругалъ или не обругалъ «Русскій В.» меня или кого нибудь-другого—это вовсе не интересно. За что обругалъ? Это другой вопросъ; въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ заключается уже до нѣкоторой степени отчетъ объ общихъ убѣжденіяхъ того или другого литературнаго органа. Полемика имѣетъ свою несомнѣнную важность не той діалектической частью, въ которой одинъ изъ спорящихъ по пунктамъ опровергаетъ другого и ловитъ его на мелочахъ, а тѣмъ общимъ направленіемъ, по которому развивается мысль обоихъ полемизирующихъ писателей.

Форма полемики—пустое дѣло. Общая подкладка полемики, напротивъ того, имѣетъ самую существенную важность. Поэтому жалоба Грота на нетерпимость въ критикѣ показываетъ въ авторѣ «замѣтки» такую первобытную, нетронутую наивность, которая возможна только въ человѣкѣ, не имѣющемъ ни малѣйшаго понятія объ интересахъ, волнующихъ нашу литературу. Развѣ у насъ дерутся изъ-за литературныхъ мнѣній? Развѣ у насъ возникаютъ тяжебныя дѣла изъ-за несходства эстетическихъ понятій? Упрекать въ нетерпимости можно, сколько мнѣ кажется, только такого писателя, который готовъ и желаетъ всѣми возможными средствами насолить своему литературному противнику, а упрекать человѣка въ нетерпимости за то, что онъ возражаетъ горячо на такія мнѣнія, которыя кажутся ему нелѣпыми, это крайне оригинально, чтобы не сказать больше. Въ наше время нелѣпое мнѣніе—то же самое, что нелѣпый поступокъ; кто говоритъ нелѣпую мысль, тотъ поступаетъ такъ же уродливо, какъ поступаетъ человѣкъ, держащій свою жену въ заперти, или отпускающій полновѣсныя пощечины своимъ дѣтямъ и домочадцамъ. Если вы увидите сцену насилія, вы вѣроятно подадите помощь страждущему, и можетъ быть затѣете драку съ обидчикомъ; точно такъ же, если вы прочтете въ печати проповѣдь насилія и угнетенія, вы вступитесь за тѣ естественныя человѣческія права, которыя покажутся вамъ нарушенными. Если ваши возраженія будутъ горячо прочувствованы, если вы дадите понять проповѣднику насилія, что считаете его убѣжденія достойными негодяя или дурака, то вѣроятно ни одинъ благоразумный человѣкъ не обвинитъ васъ въ нетерпимости, потому что въ противномъ случаѣ пришлось бы доводить терпимость до того, чтобы позволять на своихъ глазахъ бить человѣка, не заступаясь за него и не заявляя даже своего негодованія. Каждый воленъ держаться того или другого убѣжденія, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый точно такъ же воленъ критиковать убѣжденія своихъ сосѣдей и называть ихъ нелѣпыми или возмутительными, если они противорѣчатъ его логикѣ или возмущаютъ его личное, нравственное или эстетическое чувство. «Журнальная гласность, говоритъ Гротъ, должна быть обоюдоострая, или, какъ богъ Янусъ, имѣть два лица, изъ которыхъ одно было бы обращено къ обществу, а другое къ самой литературѣ. Но, повторяемъ, наша литература любитъ преслѣдовать злоупотребленія только внѣ самой себя, а относительно своихъ темныхъ сторонъ предпочитаетъ скромное молчаніе». Ну, скажите на милость, какъ же не назвать эти слова отрывочными восклицаніями, произносимыми сквозь сонъ. За минуту передъ тѣмъ Гротъ жаловался на то, что наша журнальная критика нетерпима къ тѣмъ идеямъ и мнѣніямъ, которыя идутъ въ разрѣзъ съ ея убѣжденіями; а теперь онъ, прямо въ связи съ этою мыслью, начинаетъ доказывать, что эта-же самая критика предпочитаетъ скромное молчаніе относительно своихъ темныхъ сторонъ. Гдѣ же тутъ скромное молчаніе, когда существуетъ страстное обличеніе и горячій протестъ?

Вѣдь въ критикѣ встрѣчаются сильныя возраженія противъ мнѣній, выраженныхъ печатно, слѣдовательно выраженныхъ въ той же русской литературѣ. Вѣдь не возражаютъ-же наши критики тому, что они слышали гдѣ нибудь на обѣдѣ или на вечерѣ. Какъ же согласить скромное молчаніе съ нетерпимостью къ разнорѣчивымъ мнѣніямъ? Или, можетъ быть, представляя фигуру бога Януса, Гротъ этимъ образомъ хочетъ выразить свое желаніе, чтобы писатель въ одно и то же время и доказывалъ, и опровергалъ одну и ту же идею, чтобы критикъ въ одной книжкѣ журнала обличилъ какого-нибудь обскуранта, а въ слѣдующей книжкѣ пролилъ слезы раскаянія надъ собственнымъ своимъ увлеченіемъ? Это было бы очень трогательно, и такого рода гласность была бы дѣйствительно обоюдоострая. Критическое самобичеваніе, котораго повидимому требуетъ Гротъ, напомнило бы публикѣ зрѣлище, которое часто приходится видѣть на нашихъ почтовыхъ дорогахъ; оно напомнило бы ей, какъ неопытный ямщикъ, желая стегнуть свою лошадь, замахивается кнутомъ такъ усердно, что попадаетъ сначала по сѣдоку, потомъ по своей собственной спинѣ и наконецъ, и то не всегда, по лошади. Это было бы конечно очень смѣшно, но публика имѣла бы полное право сказать такому наивному критику: «милый юноша, предпринимайте всѣ ваши исправительныя мѣры въ тиши вашего каби-

нета. Стегайте себя сколько угодно, но избавьте насъ отъ тяжелаго и безплоднаго зрѣлища вашихъ самоистязаній. Давайте намъ результаты вашего мышленія, а не броженіе вашего мозга. Набичуете себя вдоволь и тогда выступайте передъ нами человѣкомъ сложившимся, сознательно идущимъ по извѣстному направленію». Если напримѣръ «Современникъ» отзывается о какой-нибудь статьѣ «Русскаго Вѣстника», какъ о статьѣ дикой, то, стало быть, критика наша не проходитъ собственныхъ своихъ темныхъ сторонъ скромнымъ молчаніемъ. Но требовать отъ «Современника», чтобы онъ бранилъ тѣ самыя статьи, которыя онъ помѣщаетъ на своихъ собственныхъ страницахъ, это совсѣмъ нелѣпо, это что-то вродѣ пеликана, раздирающаго свое чрево для удовольствія публики. Любопытно также то обстоятельство, что Гротъ въ своей замѣткѣ высказываетъ мнѣнія, діаметрально противоположныя тѣмъ идеямъ, которыя выражаетъ редакція «Русскаго Вѣстника».

И какъ васъ Богъ не въ пору вынесъ свелъ!

Вотъ что говоритъ Гротъ: «Періодическая литература наша много занимается общественными вопросами, но очень мало сама собою... Наша литература бойко затрогиваетъ все, что лежитъ внѣ ея самой, но въ собственныя свои дѣла не вглядывается пристально. А между тѣмъ первый шагъ къ самоусовершенствованію есть самоизученіе, и для всего, что живетъ и мыслитъ, самое полезное дѣло есть занятіе ближайшими предметами».

А вотъ что говоритъ редакція въ январской книжкѣ, на стр. 480: «Только праздные и больные умы занимаются сами собою; только хилое искусство превращается въ эстетическіе курсы; только лишенная производительности, безжизненная и безсильная литература роется въ собственныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою Божьяго міра, и вмѣсто живого дѣла занимается толченіемъ воды или домашними счетами, мелкими интригами и сплетнями».

Какъ видите, эти два мнѣнія діаметрально противоположны; Гротъ съ укоризною замѣчаетъ, что наша литература бойко затрогиваетъ все, что лежитъ внѣ ея самой, а редакція «Русскаго Вѣстника» рѣзко упрекаетъ ее въ томъ, что она роется въ собственныхъ дрязгахъ, не видя передъ собою Божьяго міра. Если мои читатели желаютъ знать мое личное мнѣніе объ этомъ важномъ спорномъ пунктѣ, то я замѣчу, что схожусь скорѣе съ воззрѣніями редакціи, чѣмъ съ идеями Грота, возводящаго безгласность литературы въ нормальное явленіе и дающаго этой безгласности силу вѣчнаго закона. Любезная литература, говоритъ г. Гротъ своимъ вышеприведеннымъ мѣстомъ, ты, пожалуйста, не моги вмѣшиваться въ вопросы общественной жизни. Тамъ тебя не спрашиваютъ, туда тебя не пустятъ, тамъ тебѣ нечего дѣлать; все будетъ улажено и устроено безъ тебя. Вы, почтенные господа писатели, творите стишки и поэмы, сооружайте повѣсти и драмы, свидѣтельствуйте другъ другу свое почтеніе и дружеское расположеніе въ критическихъ статьяхъ, воспѣвайте на всѣ лады красоту природы и благость провидѣнія, и—довольно съ васъ. Дальше не ходите.

Признавая Карамзина и Жуковскаго образцовыми русскими писателями, остановившись слѣдовательно на тѣхъ понятіяхъ, которыя составляли себѣ эти два джентльмена о дѣятельности литератора и гражданина, Гротъ не можетъ думать и говорить иначе. Кто въ шестидесятыхъ годахъ повторяетъ то, что̀ казалось новымъ и смѣлымъ въ двадцатыхъ годахъ, тотъ конечно долженъ представиться намъ какимъ-то ископаемымъ литераторомъ. Люди, начавшіе въ 1856 году изданіе журнала, не могутъ сходиться въ мнѣніяхъ съ антикомъ, подобнымъ Гроту; дѣйствительно редакція «Русскаго Вѣстника» говоритъ совсѣмъ другое; она очень сердится на нашу литературу за то, что та не видитъ передъ собою Божьяго міра, и рѣшительно не хочетъ принять въ соображеніе того обстоятельства, что литература наша ни въ чемъ не виновата; она дѣлаетъ все, что̀ можетъ, и если достигаемые ею результаты оказываются неудовлетворительными, то это значитъ только, что она при всѣхъ своихъ добросовѣстныхъ усиліяхъ не можетъ прошибить ледяную кору, отдѣляющую ее отъ живого пониманія народа.

Въ наше время пишутъ многіе, пишутъ тѣ люди, у которыхъ есть дѣйствительная потребность высказаться; пишутъ и тѣ люди, которые, научившись владѣть языкомъ, стараются заработать себѣ побольше денегъ; въ числѣ книгъ и статей, появляющихся въ теченіе года у насъ въ Россіи, есть очень много фабричныхъ издѣлій, но зато рядомъ съ этими грошовыми работами лежатъ тутъ же, въ этомъ ворохѣ книгъ и статей, труды лучшихъ, наиболѣе честныхъ и талантливыхъ нашихъ соотечественниковъ. Искусства намъ какъ-то не дались; ни живопись, ни скульптура, ни музыка, ни театральное искусство не привлекаютъ къ себѣ съ особенною силою нашихъ молодыхъ дѣятелей; почти вся масса ума и таланта, порождаемая русскою почвою, съ неудержимой порывистостью бросается въ литературу и находитъ въ ея различныхъ родахъ полное удовлетвореніе своему стремленію къ дѣятельности. Желаніе высказаться почти всегда бываетъ сильнѣе, чѣмъ желаніе чему-нибудь научиться, и потому незрѣлость сужденій, которую «Русскій Вѣстникъ» клеймитъ позорнымъ именемъ литературной безчестности, дѣйствительно бросается въ глаза въ самыхъ замѣчательныхъ произведеніяхъ нашей критики и публицистики. Эта незрѣлость составляетъ су-

ществующій фактъ, но въ существованіи этого факта не виноваты наши писатели. Всѣ мы воспитывались въ душной средѣ, въ узкихъ понятіяхъ, подъ вліяніемъ мертвящихъ предразсудковъ; всѣ мы, становясь на свои ноги, принуждены были разрывать связь съ нашимъ прошедшимъ, передѣлывать сверху до низу весь строй нашихъ понятій, выкуривать изъ нашего мозга ту нелѣпую демонологію, которая замѣняла намъ въ дѣтствѣ трезвыя понятія о мірѣ, о природѣ и человѣкѣ; вступая въ борьбу съ тѣми элементами, которые, благодаря вліянію родителей и педагоговъ, приросли къ нашей природѣ, отрывая съ болью и съ кровью дѣтскія вѣрованія, дѣтскія привязанности, дѣтскіе взгляды на жизнь, мы воодушевляемся и ожесточаемся въ одно и то же время; проникнутые сознательнымъ, глубокимъ отвращеніемъ къ тѣмъ мрачнымъ формамъ семейнаго быта, къ тѣмъ суровымъ принципамъ лицемѣрной нравственности, къ тѣмъ обезсмысленнымъ обычаямъ, которые давили въ дѣтствѣ наше естественное развитіе и задерживали нашъ умственный ростъ,— мы съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ выжидаемъ случая, когда бы намъ можно было выразить свое негодованіе противъ всего того, что остановило развитіе многихъ даровитыхъ личностей, и что до сихъ поръ продолжаетъ забивать способности дѣтей и юношей, дѣвушекъ и женщинъ нашихъ.

Когда мы беремся за перо, мы еще почти ничего не знаемъ, но сторона отрицанія оказывается уже вполнѣ развитою. Нелѣпостей и несообразностей насмотрѣлся на своемъ вѣку каждый ребенокъ; слѣдовательно, каждый молодой человѣкъ, принимающійся за перо, имѣетъ всѣ данныя для того, чтобы всей силой критики разбивать міръ преданія и рутины. Вмѣстѣ съ матеріалами, жизнь даетъ намъ импульсъ къ отрицанію; кто развился настолько, чтобы понять неестественность своихъ ребяческихъ понятій, тотъ никакъ не остановится на хладнокровномъ созерцаніи этихъ понятій; умъ не терпитъ неволи; когда онъ видитъ себя несвободнымъ, онъ принимается разрушать свою клѣтку и не оставляетъ своей работы до той минуты, пока не будетъ совершенно окончено дѣло разрушенія. Когда умъ занятъ такого рода работою, тогда нѣтъ мѣста для спокойнаго пріобрѣтенія знаній; находясь въ такой порѣ развитія, мы съ наслажденіемъ хватаемся за сочиненія, проникнутыя полемическими тенденціями, и оставляемъ въ сторонѣ многотомныя изслѣдованія кабинетныхъ ученыхъ. За это нельзя быть на насъ въ претензіи. «Своя рубашка къ тѣлу ближе»; мы ищемъ того, что соотвѣтствуетъ настоящимъ потребностямъ нашего ума, что отвѣчаетъ на вопросы, встрѣчающіеся нашей мысли на пути ея естественнаго развитія.

Когда ребенокъ растетъ, у него иногда обнаруживаются странные аппетиты: онъ ѣстъ съ наслажденіемъ мѣлъ, уголь, известку, глину, и эти вещества приносятъ ему больше удовольствія и даже больше пользы, чѣмъ питательная говядина или крѣпкій бульонъ; дѣло въ томъ, что ему надо ввести въ кровь именно тѣ вещества, къ которымъ онъ чувствуетъ странное влеченіе; на пути нашего умственнаго развитія, мы часто бываемъ поставлены въ такое же положеніе; если нашему уму надо что-нибудь, вродѣ извести или острой кислоты, тогда и не предлагайте намъ ни телятины, вродѣ ученыхъ изслѣдованій Буслаева, Устрялова и Соловьева, ни миндальнаго печенья, вродѣ лирическихъ стиховъ Фета и Полонскаго. Та пища, на которой живутъ наши писатели, отражается конечно и на томъ, что они производятъ. Сами писатели проникнуты полемическими тенденціями, и тѣ же тенденціи проходятъ черезъ ихъ произведенія. Мы не разсказываемъ публикѣ о томъ, что мы знаемъ; мы просто дѣлимся съ нею нашими симпатіями и антипатіями; мы говоримъ ей: это мы любимъ, этого не любимъ, приводимъ съ большею или меньшей полнотой, съ большей или меньшей ясностью объясненія и доводы; мы говоримъ о томъ, что сами думаемъ и чувствуемъ, потому что полагаемъ, что вокругъ насъ живутъ такіе же люди, какъ и мы сами, и что каждый изъ нихъ думаетъ и чувствуетъ про себя почти то же самое, что думаемъ и чувствуемъ мы. Мы разбросаны по кружкамъ, надо же намъ подать другъ другу голосъ, надо же намъ попробовать, нельзя ли намъ понять другъ друга, нельзя ли найти себѣ симпатіи, отклика; для этого надо высказаться безъ утайки, безъ задней мысли: что въ печи, то и на столъ мечи, что на душѣ, то и на языкѣ; только правдивость и искренность способны вызвать сочувствіе; кто пишетъ теперь по живой, внутренней потребности, тотъ хлопочетъ почти исключительно о томъ, чтобы высказать предъ обществомъ свои стремленія.

Фактическія подробности, которыми наши писатели обставляютъ свои идеи, не всегда удачно выбраны, часто невѣрны, но тутъ не въ фактахъ дѣло; важно то, что писатель хочетъ выразить своимъ произведеніемъ, важна общая идея, тенденція, и если посмотрѣть съ этой точки зрѣнія на статьи лучшихъ представителей нашей журналистики, то онѣ окажутся безукоризненными и выдержатъ самую строгую критику. Но редакція «Русскаго Вѣстника» постоянно, при оцѣнкѣ явленій современной литературы, останавливается на ихъ внѣшней сторонѣ; она смотритъ на писателя не какъ на живого человѣка, увлеченнаго своею идеею, или возмущеннаго той или другой стороной жизни, а какъ на фотографическій станокъ, пере-

дающій съ безсознательной вѣрностью контуры предмета, находящагося передъ нимъ. Она не переносится въ положеніе писателя; она вся уходитъ въ анализъ мелочей и подробностей, которымъ самъ писатель не придаетъ никакого значенія.

Гротъ поступаетъ еще оригинальнѣе: задумавъ говорить о русской журналистикѣ, онъ высказываетъ объ ней слѣдующія замѣчанія, которыя самымъ наглядпымъ образомъ показываютъ намъ, на сколько Гротъ понимаетъ интересы нашего времени. Во-первыхъ, онъ упрекаетъ журнальную критику въ томъ, что она обнаруживаетъ мало сочувствія къ Карамзину и Жуковскому. Во-вторыхъ, въ томъ, что она измѣряетъ годность человѣка только тѣмъ, принадлежитъ ли онъ къ старому или къ молодому поколѣнію. Въ-третьихъ, въ томъ, что «нѣкоторые наши журналы и газеты начали употреблять также въ видѣ насмѣшки и даже брани слово *ученый*». Вотъ вамъ, господа читатели, сумма мнѣній Грота о русской журналистикѣ. Мнѣ кажется, Гроту было бы удобнѣе писать замѣтки о шрифтѣ, о бумагѣ, на которой печатаются журналы, о цвѣтѣ ихъ обертки, но только ужъ никакъ не о журналистикѣ. Писать о журналистикѣ, не будучи въ состояніи отдать себѣ отчетъ въ значеніи тѣхъ идей, которыми живутъ лучшіе люди нашего общества, это черезчуръ оригинально.

Но если оригинально въ этомъ случаѣ положеніе автора замѣтки, то конечно еще гораздо оригинальнѣе поступокъ редакціи, печатающей на страницахъ своего журнала такую статью, которая прямо противорѣчитъ мнѣніямъ редакціи и обличаетъ въ авторѣ такую петронутую глубину наивности.

V.

Пропуская двѣ статьи Лонгинова, отличающіяся полнотой библіографическихъ свѣдѣній и полнымъ отсутствіемъ руководящей идеи, пропуская еще двѣ статьи, изъ которыхъ одна трактуетъ о губернскихъ памятныхъ книжкахъ, а другая о картѣ Самарской губерніи, я перехожу къ мартовской книжкѣ и встрѣчаю ту статью о госпожѣ Толмачевой, которая въ свое время вызвала противъ себя заслуженное негодованіе въ обществѣ и въ періодической литературѣ. Въ этой статьѣ редакція «Русскаго Вѣстника» косвенно объявляетъ себя противъ эмансипаціи женщины и спрашиваетъ: чего недостаетъ нашимъ женщинамъ? Утѣшаетъ ихъ тѣмъ, что «у насъ были знаменитыя императрицы, на англійскомъ престолѣ возсѣдаетъ теперь королева, на испанскомъ тоже, и совѣтуетъ, вмѣсто того чтобы эмансипировать женщину—подчинить и мужчину извѣстнымъ ограниченіямъ, ради охраненія доброй нравственности. Этихъ фактовъ совершенно достаточно, чтобы дать понятіе о букетѣ этой статьи; о ней въ свое время было говорено довольно много, и потому я ограничусь только бѣглымъ указаніемъ на это произведеніе умѣреннаго либерализма; въ спискѣ прошлогднихъ подвиговъ «Русскаго Вѣстника» необходимо было помѣстить и эту статью, потому что въ ней есть драгоцѣнныя выходки противъ эмансипаторовъ, противъ пустоголовыхъ прогрессистовъ, противъ отрицателей общественныхъ приличій, противъ губителей общественной нравственности. Добродѣтельный паѳосъ, которымъ проникнуты многіе отрывки этой замѣчательной статьи, представляетъ рѣдкое и тѣмъ болѣе отрадное явленіе въ нашей легкомысленной литературѣ, посреди преобладанія эгоизма, скептицизма, матеріализма и разныхъ другихъ безнравственныхъ идей и стремленій. Неугодно ли вамъ, напримѣръ, полюбоваться слѣдующими строками. Вѣдь это просто оазисъ среди песчаной пустыни.

«Общественныя приличія! Но что̀ даетъ намъ право ставить себя выше ихъ? Можно ли допустить, чтобъ общественныя приличія нарушались во имя пошлыхъ фразъ, выраженій ничтожества и пустоты? Что̀ должно сказать при видѣ этого ничтожества, которое, подъ прикрытіемъ громкихъ словъ: прогресса, просвѣщенія, свободы, топорщится со свистомъ въ головѣ стать выше цѣлаго общества, выше убѣжденій цѣлаго міра, клеймя ихъ названіемъ предразсудковъ? Общественныя приличія имѣютъ всегда какое-нибудь основаніе; вырабатываясь изъ жизни, они содержатъ въ себѣ ея разумъ, и для того, чтобы судить о нихъ, надо прежде понимать ихъ» (стр. 36).

Не знаешь, чему больше удивляться, читая это неподражаемое мѣсто: силѣ-ли паѳоса, овладѣвшаго авторомъ, фразистости-ли его произведенія, или же наконецъ тому изумительному отсутствію связи, которое мы видимъ между отдѣльными словами и предложеніями. Можно сказать навѣрное, что еслибы какая-нибудь модная барыня взялась защищать свѣтскія приличія противъ нападковъ разгулявшейся журналистики, то она сдѣлала бы это дѣло гораздо успѣшнѣе, чѣмъ редакція «Русскаго Вѣстника». Она бы твердо стала на хорошо знакомую ей практическую почву и не пыталась бы оправдать общественныя приличія съ высшей, философской точки зрѣнія. Такого рода діалектическій пріемъ имѣетъ всю прелесть новизны въ нашей литературѣ, и честь его изобрѣтенія принадлежитъ безспорно редакціи «Русскаго Вѣстника». Вотъ еще одно мѣсто:

«Вы хотите возвыситься надъ общественными приличіями: остерегитесь, чтобы не упасть не только ниже ихъ, но и ниже обнаженныхъ

отправленій скотской жизни. Вы домогаетесь благодати выше долга; но помните, благодатные люди, что она не исключаетъ долга, а, возвышаясь надъ нимъ, даетъ только больше, чѣмъ можетъ дать онъ. Вы лѣзете въ геніи, но не думайте, что для достиженія этой чести надобно только отказаться отъ здраваго смысла» (стр. 37).

Кого хочетъ поразить этими словами «Русскій Вѣстникъ», кого называетъ онъ благодатными людьми, кто лѣзетъ въ геніи, и какое отношеніе вся эта тирада имѣетъ къ женщинѣ—этого я рѣшительно не понимаю. Сомнѣваюсь даже въ томъ, чтобы это было понятно самому автору статьи. Не мало курьезныхъ цитатъ можно было бы привести изъ этой апологіи Камня Виноградова (Петра Вейнберга), но мнѣ предстоитъ еще пересмотрѣть много драгоцѣнностей, и потому я поспѣшно иду дальше. Остановлюсь на минуту на статьѣ Лонгинова о стихотвореніяхъ А. С. Хомякова. Въ этой статьѣ начинаетъ проявляться тотъ сладкій оптимизмъ, который составляетъ одно изъ преобладающихъ свойствъ критики «Русскаго Вѣстника». Журналъ этотъ относится чрезвычайно мягко и ласкательно ко всему тому, что̀ не находится въ связи съ свистящей журналистикой. Все хорошо въ нашей жизни, по мнѣнію «Русскаго Вѣстника», и только безмозглые отрицатели своими нестройными криками нарушаютъ общую гармонію этой изящной жизни. Хомяковъ не принадлежалъ къ безмозглымъ отрицателямъ, слѣдовательно, его можно возвеличить, и дѣйствительно Лонгиновъ величаетъ его такъ усердно, что статья его дѣлается похожею на панегирикъ. Тѣ стихотворенія, которыя онъ приводитъ въ подтвержденіе своихъ хвалебныхъ отзывовъ, могутъ быть очень возвышенны по своему духовному полету, но мотивы этихъ стихотвореній покажутся современному читателю черезчуръ античными и затронутъ въ немъ это живое чувство такъ же мало, какъ мало затронутъ это живое чувство самыя лучшія мѣста изъ «Мессіады» Клопштока. Сомнѣваюсь напримѣръ, чтобы на когонибудь могло подѣйствовать слѣдующее произведеніе, выписанное въ статьѣ Лонгинова:

Подвигъ есть и въ сраженьи,
Подвигъ есть и въ борьбѣ,
Лучшій подвигъ въ терпѣньи,
Любви и мольбѣ.
Если сердце заныло
Передъ злобой людской,
Иль насилье схватило
Тебя цѣпью стальной,
Если скорби земныя
Жаломъ въ душу впились,
Съ вѣрой бодрой и смѣлой
Ты за подвигъ берись:
Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на нихъ,
Безъ труда безъ усилья,
Выше скорбей земныхъ,
Выше крыши темницы,
Выше злобы слѣпой,
Выше воплей и криковъ
Гордой черни людской.

Еслибы эти стихи принадлежали не Хомякову, а какому нибудь неизвѣстному поэту, я бы можетъ быть назвалъ ихъ холодной декламаціей на заданную тему. Но Хомяковъ, какъ̀ говорятъ всѣ люди, знавшіе его лично, былъ человѣкъ въ высшей степени честный и глубоко искренній; слѣдовательно, надо повѣрить поэту на слово и предположить, что онъ въ этомъ стихотвореніи дѣйствительно выразилъ то, что чувствовалъ, то, въ чемъ онъ былъ горячо убѣжденъ. Такого рода предположеніе оправдаетъ въ нашихъ глазахъ личность Хомякова, но оно никакъ не заставитъ насъ восхищаться произведеніемъ Хомякова и сочувствовать тому настроенію, подъ вліяніемъ котораго оно написано. Можетъ быть, мы не стоимъ на той высотѣ духовнаго развитія и просвѣтленія, на которой находился Хомяковъ; можетъ быть намъ недоступны тѣ высшія духовныя радости, о которыхъ повѣствуетъ поэтъ, только потому, что мы испорчены скептическимъ направленіемъ нашего вѣка и придавлены къ землѣ мелкими заботами и нелѣпостями дѣйствительности; все это можетъ быть, но какъ̀ бы ни были унизительны для насъ самихъ причины нашего непониманія, мы все-таки откровенно сознаемся въ томъ, что не понимаемъ идеи стихотворенія. Что же касается до крыльевъ подвига и до возможности взлетѣть на нихъ выше крыши темницы и выше многихъ другихъ непріятныхъ предметовъ, то намъ, испорченнымъ дѣтямъ XIX вѣка, подобныя сочетанія словъ кажутся совершенными нелѣпостями, горячо прочувствованными самимъ поэтомъ, но рѣшительно не выдерживающими самой элементарной критики.

То, чего не понимаемъ мы, по своему неразумію или по своей испорченности, то конечно могъ бы понимать Лонгиновъ; еслибы его критическая статья была проникнута тѣмъ духомъ, который вѣетъ въ стихотвореніяхъ Хомякова, тогда я совершенно понялъ бы восторгъ рецензента передъ личностью и произведеніями вдохновеннаго поэта, и понялъ бы вмѣстѣ съ тѣмъ, что мы съ Лонгиновымъ живемъ въ двухъ разныхъ мірахъ, что въ нашихъ взглядахъ на жизнь нѣтъ ничего общаго, и что, слѣдовательно, намъ не надо спорить между собою и нельзя ни на чемъ сойтись. Но дѣло въ томъ, что Лонгиновъ вовсе не восторгается тѣми идеями и образами, которыми наполнены стихотворенія Хомякова; онъ голословно восхищается стихотвореніемъ, голословно называетъ его превосходнымъ, голословно говоритъ, что «поэтическое наслѣдіе Хомякова не велико по количеству, но состоитъ изъ чистаго золота», и голословно повторяетъ отзывъ одного цѣнителя, что Хомяковъ «не написалъ *ни одного празд-*

наго стиха». Изъ всего этого голословія читатель статьи Лонгинова никакъ не будетъ въ состояніи понять красотъ хомяковской поэзіи и тѣхъ точекъ соприкосновенія, которыя существуютъ между поэтомъ и критикомъ. Гдѣ же сужденіе Лонгинова о разбираемыхъ имъ произведеніяхъ, гдѣ личныя убѣжденія критика? Неужели ихъ надо искать въ эпитетахъ, вродѣ «ярко», «превосходно», «глубоко», «высоко», и въ риторическихъ фигурахъ, вродѣ «чистаго золота поэтическаго наслѣдія» или «строгія черты его цѣломудренной музы?» Но вѣдь эти эпитеты надо же чѣмъ-нибудь мотивировать, эти риторическія фигуры надо чѣмъ-нибудь оправдать. Вѣдь не изъ однихъ же словъ и библіографическихъ свѣдѣній должна состоять критическая статья? Надо же, чтобы въ ней была хоть какая-нибудь мысль. Знать, что такая-то книга была издана первымъ изданіемъ въ такомъ-то году, и что такое-то стихотвореніе было помѣщено въ такой-то книжкѣ такого-то журнала— не значитъ еще быть критикомъ. Въ противномъ случаѣ большая часть библіотекарей, книгопродавцевъ и грамотныхъ букинистовъ могли бы Бѣлинскаго за поясъ заткнуть. Кажется, Лонгиновъ такъ и думаетъ, если принять въ соображеніе его статью: «Бѣлинскій и его лжеученики», статью, которой мы коснемся мимоходомъ, когда дойдемъ до разбора іюньской книжки «Р. В.».

Надѣясь, что не всѣ наши читатели раздѣляютъ мнѣніе Лонгинова объ обязанностяхъ и достоинствахъ критики, я дамъ себѣ право обратить вниманіе тѣхъ людей, которые не согласятся съ Лонгиновымъ, на то поразительное безсиліе, на ту печальную безжизненность, которыя обнаруживаются въ критикѣ «Русскаго Вѣстника». У нея есть только одинъ *mot d'ordre:* преслѣдованіе свистуновъ; когда она заговоритъ о свистунахъ, тогда она сколько-нибудь оживляется, начинаетъ браниться, смѣяться принужденнымъ смѣхомъ, вздыхать о горькой участи русской литературы. Всѣ эти различные оттѣнки негодованія остаются намъ довольно непонятными въ своей исходной точкѣ, въ побудительной причинѣ; всѣ эти проявленія возмущеннаго нравственнаго чувства похожи скорѣе на лирическія изліянія, чѣмъ на солидныя выраженія продуманныхъ убѣжденій; но по крайней мѣрѣ въ этихъ выходкахъ есть жизнь; въ нихъ авторы статей выражаютъ свои собственныя чувства и не стараются поднять себя на высоту невозможной и неестественной объективности, которая, какъ двѣ капли воды, похожа на отсутствіе собственнаго убѣжденія, на добровольное или вынужденное критическое молчаливство. Тамъ, гдѣ рѣчь идетъ не о свистунахъ, тамъ критическія статьи «Русскаго Вѣстника» состоятъ изъ выписокъ, изъ варіацій на эти выписки, изъ библіографическихъ или біографическихъ указаній и изъ фразъ болѣе или менѣе лестныхъ для автора разбираемой книги. Часто въ его рецензіяхъ видно много эрудиціи, часто онѣ представляютъ очень тщательный разборъ очень мелкихъ фактовъ, но при этомъ общая идея автора всегда ускользаетъ отъ рецензента и никогда не наводитъ его на критическія размышленія. Мысль расплывается въ безцвѣтныхъ фразахъ или задыхается подъ грудой мелкихъ фактовъ.

VI.

Относясь мягко и почти любовно ко всему, что не имѣетъ связи съ задорной журналистикой, и въ то же время не рѣшаясь слишкомъ громко расхваливать то, что не представляетъ никакихъ особенныхъ достоинствъ, «Русскій Вѣстникъ» держится дипломатической осторожности, хвалитъ такъ, что его похвалы можно принять за выраженія свѣтской вѣжливости или условнаго почтенія. Похвалы эти голословны, какъ-то оффиціальны; въ нихъ не видно дѣйствительнаго сочувствія; но, несмотря на эту дипломатическую осторожность, у «Р. В.» прорываются порою довольно странныя признанія и сужденія.

Съ этой точки зрѣнія стоитъ привести въ примѣръ статью г. N. о «Солдатской Бесѣдѣ» Погосскаго. Погосскій, какъ авторъ «Дѣдушки Назарыча», «Господина Колодника» и разныхъ другихъ разсказовъ, взятыхъ изъ солдатскаго быта и переданныхъ солдатскимъ языкомъ, извѣстенъ своей замашкой идеализировать изображаемую среду, и въ особенности тѣ личности, которыя являются въ его разсказахъ на первомъ планѣ. Какъ человѣкъ умный и не лишенный современнаго литературнаго образованія, Погосскій идеализируетъ довольно искусно и правдоподобно. Онъ не представляетъ своихъ героевъ сказочными богатырями, не заставляетъ ихъ стучать себя въ грудь и плакать на-взрыдъ при словѣ «матушка Русь православная», не наваливаетъ имъ на плечи невѣроятныхъ подвиговъ героизма и самоотверженія, и вообще не выходитъ, при построеніи своихъ характеровъ и положеній, изъ масштабовъ сѣренькой дѣйствительности. «Его Назарычи, Савельичи, Кулики да Калинины, говоритъ г. N., народъ все больше невзрачный, тихій, нехвастливый; это все люди, которые тутъ же, о бокъ насъ живутъ».

Все это почти вѣрно, а между тѣмъ это не мѣшаетъ существованію страшной идеализаціи. Всѣ эти солдаты — люди маленькіе, но въ высшей степени добродѣтельные. «А придетъ случай — глядишь, — говоритъ самъ Погосскій, — онъ (т. е. солдатъ) и встанетъ передъ тобою въ такой красотѣ душевной, такую добродѣтель окажетъ, ни передъ какимъ зломъ непреклон-

ную, что подивившись ты невзрачному человѣку этому и за большое счастье почтешь называть его ровней, товарищемъ своимъ». Вотъ и возникаетъ вопросъ: откуда же добылъ себѣ этотъ солдатъ такую отмѣнную добродѣтель? Изъ деревни ли онъ ее принесъ или въ казармахъ выработалъ? Если изъ деревни принесъ, то эта добродѣтель принадлежитъ или отдѣльному лицу, или цѣлому народу, но никакъ не спеціальному сословію солдатъ. Если же онъ ее выработалъ въ сферѣ своей служебной жизни, тогда Погосскому очень не мѣшало бы объяснить читателямъ, какія именно стороны этой жизни вырабатываютъ въ солдатѣ непреклонную добродѣтель и душевную красоту. Но Погосскій, какъ художникъ, можетъ быть увлеченъ своимъ предметомъ, и вслѣдствіе этого можетъ, въ отношеніи къ этому предмету, утратить до нѣкоторой степени ту силу анализа, съ которою человѣкъ, хладнокровно размышляющій, приступаетъ къ обсужденію каждаго дѣла или вопроса. Можетъ быть Погосскій видѣлъ, дѣйствительно, такъ много примѣровъ непреклонной добродѣтели и красоты душевной, что для него понятіе солдата совершенно неразлучно съ понятіемъ человѣка, обладающаго именно такой добродѣтелью и красотой. Кромѣ того Погосскій преслѣдуетъ можетъ быть нравственно-педагогическую цѣль и желаетъ представить своимъ читателямъ-солдатамъ какъ можно больше хорошихъ образцовъ, для того, чтобы эти читатели, умиляясь сердцемъ, стремились подражать этимъ доблестнымъ примѣрамъ и неуклонно подвигались впередъ на пути своего духовнаго и нравственнаго совершенствованія. Если Погосскій увлекается какъ художникъ, если онъ, сочувствуя своимъ младшимъ братьямъ, видитъ ихъ отчасти въ розовомъ свѣтѣ — это дѣлаетъ величайшую честь мягкому сердцу и впечатлительнымъ нервамъ издателя «Солдатской Бесѣды», хотя въ сущности не увеличиваетъ правдоподобія характеровъ, подобныхъ Назарычу, и даже не объясняетъ происхожденія этихъ характеровъ изъ наличныхъ элементовъ нашей дѣйствительности. Если Погосскій хочетъ приносить пользу нашимъ нижнимъ чинамъ представляемыми образцами, если его добродѣтельные герои — не что иное, какъ прописи, съ которыхъ солдату должно списывать свои поступки и свою жизнь, то опять-таки нельзя не отнестись съ величайшей признательностью къ добродѣтельнымъ тенденціямъ Погосскаго, нельзя не признать его за истиннаго филантропа и нельзя не пожалѣть о томъ, что похвальная филантропія эта идетъ въ разрѣзъ съ жизненной правдой. Но аргументы, которые я привелъ для того, чтобы оправдать и объяснить увлеченіе Погосскаго своимъ предметомъ и выходящую изъ этого увлеченія идеализацію, къ сожалѣнію никакъ не могутъ быть приведены въ пользу г. N — критика «Р. В.».

Дѣло критика состоитъ именно въ томъ, чтобы разсмотрѣть и разобрать отношенія художника къ изображенному предмету; критикъ долженъ разсмотрѣть этотъ предметъ очень внимательно, обдумать и разрѣшить по-своему тѣ вопросы, на которые наводитъ этотъ предметъ, вопросы, которые едва затронулъ и можетъ быть даже едва замѣтилъ самъ художникъ. Художнику представляется единичный случай, яркій образъ; критику должна представляться связь между этимъ единичнымъ случаемъ и общими свойствами и чертами жизни; критикъ долженъ понять смыслъ этого случая, объяснить его причины, узаконить его существованіе, показать его *raison d'être*. Погосскій рисуетъ намъ добродѣтельныхъ солдатъ. Критикъ его произведеній можетъ соглашаться или не соглашаться съ авторомъ, признавать или отвергать дѣйствительность выводимыхъ имъ явленій; въ томъ и въ другомъ случаѣ онъ долженъ выставить на видъ тѣ соображенія, которыми онъ руководствуется и при помощи которыхъ онъ приходитъ къ тому или къ другому результату. Если онъ считаетъ Куликовъ и Назарычей дѣйствительно живыми типами, то долженъ объяснить намъ, какія именно условія русской жизни вообще или солдатскаго житья-бытья въ особенности содѣйствуютъ формированію такихъ типовъ. Если онъ считаетъ Куликовъ и Назарычей головными выдумками автора, построенными съ поучительно-нравственной цѣлью, то онъ опять-таки обязанъ, подвергнувъ анализу тѣ же условія русской жизни, доказать, что при этихъ бытовыхъ условіяхъ личности, подобныя добродѣтельнымъ героямъ Погосскаго, существовать не могутъ. Словомъ, чтобы критическая статья не была переливаніемъ изъ пустого въ порожнее, надо, чтобы въ ней высказывался взглядъ критика на явленія жизни, отражающіяся въ литературномъ произведеніи; надо, чтобы въ ней, съ точки зрѣнія критика, обсуживался и рѣшался какой-нибудь вопросъ, постановленный самой жизнью и натолкнувшій художника на созданіе разбираемаго произведенія.

Этого-то именно вы и не найдете въ статьѣ г. N.; одобрительно-ласкательные отзывы о «Солдат. Бесѣдѣ» Погосскаго, выписки изъ упоминаемыхъ повѣстей, разсказъ содержанія этихъ повѣстей — вотъ все, что вы встрѣтите въ этой soi-disant критической статьѣ. Мы изъ этой статьи имѣемъ право вывести одно заключеніе, что авторъ ея раздѣляетъ сладкія воззрѣнія Погосскаго и вмѣстѣ съ нимъ готовъ восхищаться той сферой, въ которой живутъ и дѣйствуютъ наши крестьяне и солдаты. Я не намѣренъ спорить ни съ Погосскимъ, ни съ г. N., тѣмъ болѣе, что послѣдній не высказываетъ рѣшительно своихъ мнѣній, а только принимаетъ съ полной вѣрой всѣ слова и разсказы «Солд. Бесѣды». Я спорить не намѣренъ, пото-

му что похожу это въ высшей степени неудобнымъ и безполезнымъ; я ограничиваюсь только тѣмъ, что указываю на крайніе выводы, къ которымъ приводитъ сладкій оптимизмъ «Русскаго Вѣстника». Затѣмъ иду дальше, къ критическимъ диковинкамъ слѣдующихъ книжекъ.

VII.

Въ раздумьѣ останавливаюсь я передъ апрѣльской книжкой; въ ней критическій отдѣлъ начинается выпиской изъ сочиненія Юркевича («Изъ науки о человѣческомъ духѣ»). Возникаетъ вопросъ: говорить или не говорить объ этой статьѣ. Есть много аргументовъ за и противъ; но, мнѣ кажется, будетъ основательнѣе пройти эту статью молчаніемъ, напомнивъ предварительно читателямъ, что она направлена противъ статьи Чернышевскаго объ антропологическомъ принципѣ и заимствована «Русскимъ Вѣстникомъ», какъ полемическое casse-tête, изъ «Трудовъ кіевской духовной академіи». Рѣшаюсь я не говорить объ этой статьѣ собственно потому, что не вижу ни малѣйшей точки соприкосновенія между мыслями Юркевича и моими собственными идеями. Процессъ мысли, исходныя точки, результаты, способъ изложенія — все это до такой степени различно, какъ будто бы мы жили въ разныя времена и говорили на двухъ разныхъ языкахъ. Очень можетъ и быть, что это признаніе сдѣлано мною, къ моему собственному стыду, очень можетъ быть, что жить не въ томъ мірѣ, въ какомъ живетъ Юркевичъ, значитъ прозябать, вести жизнь скотоподобную, не имѣть понятія о дѣятельности мысли; все это очень возможно, а между тѣмъ я все-таки съ полной откровенностью скажу, что не понимаю, изъ чего хлопочетъ Юркевичъ, что и зачѣмъ онъ доказываетъ, какая польза и какая надобность въ тѣхъ невыносимо скучныхъ діалектическихъ тонкостяхъ, которыми наполнена его обширная статья.

Согласитесь, господа читатели, что если я не понимаю ни цѣли, ни сущности, ни пользы статьи Юркевича, то я никакъ не могу стать къ ней въ какія бы то ни было критическія отношенія. Для меня статья Юркевича написана на неизвѣстномъ языкѣ и притомъ на такомъ языкѣ, которому я не хочу учиться, потому что очень хорошо знаю, что этотъ языкъ, сухой и безплодный, ничѣмъ не вознаградитъ меня за тѣ усилія, которыя я употреблю на его усвоеніе. Если Юркевичъ не умѣетъ говорить ясно и просто о простыхъ и ясныхъ предметахъ, если надо пройти цѣлый предварительный курсъ кабалистики для того, чтобы слышать его ученіе о природѣ, о человѣкѣ, о духѣ и разумѣ, то я полагаю, что большинство людей предпочтутъ остаться профанами. Вокругъ насъ кипитъ живая жизнь; что ни шагъ, то предметъ для размышленія, и притомъ такой предметъ, который непремѣнно надо обсудить, чтобы имѣть возможность идти дальше; тутъ сама жизнь задаетъ вопросъ и шевелитъ мысль; успѣвай только обдумывать и рѣшать; успѣвай только пробиваться и разрушать дѣйствительныя препятствія; а тутъ намъ предлагаютъ углубиться въ самихъ себя, заняться діалектическими выкладками, воскресить покойный гегелизмъ и зарыться по уши въ какую-нибудь отвлеченную систему, которая не успѣла даже выработать себѣ яснаго языка.

Мы съ удовольствіемъ готовы пользоваться философской діалектикой, какъ орудіемъ борьбы, какъ средствомъ разрушать предразсудки, но когда такая діалектика уходитъ въ область словъ, когда она, теряя изъ виду дѣйствительность, забывая условія мѣста и времени, начинаетъ расплываться въ общихъ разсужденіяхъ, не приводящихъ и не могущихъ привести ни къ какому осязательно-практическому, жизненному результату, тогда мы отвертываемся отъ этой діалектики и находимъ, что заниматься ею скучно, а спорить съ тѣмъ, кто ею занимается, безполезно.

Какъ бы замысловаты ни были тѣ пріемы, которыми Юркевичъ уличаетъ Чернышевскаго въ непослѣдовательности, въ нелогичности, въ неумѣньи мыслить, въ противорѣчіяхъ съ самимъ собою, какъ бы остроумны и глубокомысленны ни были тѣ доводы, которыми кіевскій мыслитель громитъ петербургскаго журналиста, все-таки статья кіевскаго мыслителя прочтется очень немногими любителями и даже на этихъ любителей не произведетъ сильнаго впечатлѣнія, потому что она споритъ изъ-за словъ и останавливается на мелочахъ. Что же касается до статьи петербургскаго журналиста, то ее прочло большинство читающей публики; идеи его вызвали дѣятельность мысли, критика ума усилена и напряжена этимъ притокомъ новаго матеріала, слѣдовательно дѣло сдѣлано, а тамъ пускай кропотливые труженики, не умѣющіе окинуть однимъ взглядомъ цѣлое направленіе мысли, возражаютъ противъ отдѣльныхъ подробностей, спорятъ противъ частныхъ недосмотровъ и превращаютъ живую идею въ діалектическое толченіе воды; этимъ они нисколько не остановятъ дѣйствительнаго развитія идей въ обществѣ; этимъ они покажутъ только свое собственное безсиліе, противъ котораго конечно людямъ дѣла и живой мысли не стоитъ предпринимать крестовый походъ; достаточно указать на это безсиліе, какъ на существующій фактъ, и пройти мимо къ другимъ предметамъ, также заслуживающимъ наблюденія.

Полнаго вниманія заслуживаетъ статья Лонгинова о князѣ П. А. Вяземскомъ. Эта статья вызвана отзывами разныхъ петербургскихъ журналовъ и газетъ о юбилеѣ пятидесятилѣтней

литературной дѣятельности князя Вяземскаго, праздновавшемся 2 марта 1861 года. Въ свое время было много говорено объ этомъ юбилеѣ, гораздо больше, чѣмъ стоило говорить о такомъ предметѣ, и потому я конечно въ этой статьѣ не буду поднимать этихъ улегшихся толковъ. Вообще я совершенно воздержусь отъ сужденій о литературныхъ заслугахъ Вяземскаго и буду имѣть дѣло только съ Лонгиновымъ, который, увлекаясь жаромъ антикварія и панегириста, высказываетъ много любопытныхъ идей и эстетическихъ взглядовъ. Исходная точка у Лонгинова та же, что̀ и у Грота; онъ сурово упрекаетъ нашихъ литераторовъ или, какъ онъ говоритъ съ оттѣнкомъ укоризны, нашихъ фельетонистовъ въ томъ, что они не знаютъ исторіи нашей словесности и потому не чувствуютъ къ своимъ предшественникамъ на литературномъ поприщѣ того уваженія и той признательности, которую слѣдуетъ воздавать имъ по заслугамъ. Онъ указываетъ этимъ фельетонистамъ на гражданскія и человѣческія добродѣтели нашихъ писателей прежняго времени и указываетъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ, какъ на образцы, достойные подражанія. «Карамзинъ, говоритъ онъ, на котораго смѣютъ нападать разные борзописцы за то, что онъ не думалъ и не писалъ въ ихъ духѣ, Карамзинъ былъ одаренъ гражданской честностью и гражданскимъ мужествомъ, какихъ дай Богъ поболѣе на Руси. Онъ отказывался отъ должности министра, переомъ Тацита писалъ приговоръ Іоанну, не угождалъ ни одному временщику, подавалъ государю записки о разныхъ государственныхъ дѣлахъ первой важности, не взирая на то, что мысли его противорѣчили взглядамъ Александра. Благородство Жуковскаго вошло въ пословицу. Шишковъ ошибался, но былъ честнѣйшій изъ людей, твердый въ правилахъ и неспособный согнуться ни передъ чѣмъ, словомъ—достойный другъ Мордвинова. Справьтесь, какая память живетъ въ министерствѣ юстиціи о Дмитріевѣ и теперь, черезъ сорокъ пять лѣтъ послѣ его отставки?»

Увлекаясь апологическимъ жаромъ, Лонгиновъ не замѣчаетъ того, какъ странно онъ защищаетъ своихъ кліентовъ. Карамзинъ не былъ льстецомъ, Жуковскій — неблагороднымъ человѣкомъ, Шишковъ — безчестнымъ человѣкомъ, Дмитріевъ — суровымъ чиновникомъ. Слушая воодушевленныя рѣчи Лонгинова на эту тему, можно себѣ вообразить, будто наша текущая литература завалена обличеніями и обвиненіями, направленными противъ прежнихъ дѣятелей съ цѣлью очернить навсегда ихъ имена и смѣшать съ грязью ихъ память. Еслибы большинство пишущихъ людей было занято изобрѣтеніемъ разныхъ клеветъ противъ Карамзина, Жуковскаго, Шишкова и Дмитріева, то тогда только можно было бы объяснить себѣ происхожденіе апологіи Лонгинова. Но теперь къ чему она? Кто клевещетъ на этихъ покойныхъ литераторовъ? Кто говоритъ объ нихъ? Мы объ нихъ и думать забыли, у насъ порвалась всякая связь съ этими людьми: у нихъ были свои интересы, свои воззрѣнія, они отжили; теперь мы живемъ, и у насъ свои интересы, свои воззрѣнія, не имѣющія ничего общаго съ прежними; когда намъ случается заглянуть въ томъ ихъ сочиненій, мы остаемся холодны къ тому, что ихъ интересовало, и подъ часъ, невольно, добродушно улыбаемся ихъ восторженнымъ тирадамъ. Даже приговоръ Іоанну, написанный переомъ русскаго Тацита, Карамзина, не вызываетъ въ насъ особеннаго сочувствія, между тѣмъ какъ строки настоящаго римскаго Тацита, написанныя слишкомъ за полторы тысячи лѣтъ тому назадъ, до сихъ поръ шевелятъ наши нервы. Что же дѣлать? Надо съ этимъ согласиться: Карамзинъ, Жуковскій, Дмитріевъ и др. отжили для насъ, и отжили такъ полно, такъ безнадежно, какъ вѣроятно никогда не отживутъ люди съ дѣйствительнымъ, сильнымъ талантомъ, люди, подобные Шекспиру, Байрону, Сервантесу, Пушкину. Шекспира мы до сихъ поръ читаемъ съ наслажденіемъ, а Жуковскаго врядъ ли кто-нибудь возьметъ въ руки иначе, какъ съ ученой или библіографической цѣлью. А на это Лонгиновъ горячо возражаетъ, что Жуковскій, Карамзинъ и Шишковъ — честнѣйшіе люди. Ну что-жъ изъ этого, отвѣтимъ мы. Мы ихъ и не бранимъ безчестными, а думаемъ только, что честность въ писателѣ — достоинство отрицательное. За отсутствіе этого достоинства—клеймятъ презрѣніемъ, а за присутствіе его еще не вѣнчаютъ лавровыми вѣнками. Что Карамзинъ, Жуковскій и Шишковъ были честными людьми —это при нихъ и остается. Изъ этого никакъ нельзя вывести заключенія, чтобы слѣдовало превратить текущую литературу въ поминальные списки. Мало ли въ Россіи со временъ Рюрика или Гостомысла было честнѣйшихъ людей. Неужели же ихъ всѣхъ литература должна помнить и беречь только за то, что они были честнѣйшіе. Если у нашей эпохи нѣтъ такихъ интересовъ, которые раздѣляли бы съ нами Карамзинъ и Жуковскій, то въ чемъ же мы можемъ имъ сочувствовать, зачѣмъ мы будемъ къ нимъ обращаться? Отчего мы не можемъ и не должны говорить, что прошедшее нашей литературы для насъ не существуетъ, что мы отдѣлены отъ него цѣлою пропастью, чрезъ которую нельзя и не слѣдуетъ перешагнуть? Почему, на какомъ основаніи мы будемъ помнить и уважать прошедшее нашей литературы? Потому ли, что оно прошедшее, и что глубокомысленная латинская поговорка велитъ говорить *de mortuis aut bene, aut nihil*, или потому, что оно наше, родное, русское? Не знаю право, который изъ доводовъ лучше и сильнѣе. Что касается до Лонгинова, то, онъ, кажется, охотнѣе приметъ первый аргу-

ментъ, потому что уваженіе къ прошедшему, по его мнѣнію, должно быть принадлежностью образованнаго литератора и развитого человѣка. «Расинъ не Мюссе, Шиллеръ не Гейне, говоритъ Лонгиновъ, а попробуйте умному французу или нѣмцу поговорить съ презрѣніемъ о Расинѣ или Шиллерѣ; онъ вѣроятно даже не почтетъ за нужное продолжать съ вами разговоръ». Умный французъ или нѣмецъ, не дающій въ обиду своихъ стариковъ, приведенъ здѣсь собственно для того, чтобы показать нашимъ «борзописцамъ и фельетонистамъ» всю позорную опрометчивость ихъ поведенія; желая дать этимъ господамъ хорошій, полновѣсный урокъ, Лонгиновъ говоритъ множество несообразностей; онъ ставитъ на одну доску Шиллера и Расина и находитъ, что умный французъ, защищающій Расина, и умный нѣмецъ, защищающій Шиллера, будутъ одинаково правы въ своихъ сужденіяхъ.

Въ глазахъ Лонгинова оба правы, потому что оба защищаютъ прошедшее; тутъ можно только скромно замѣтить, что вѣдь прошедшее прошедшему рознь. Отстаивать Шиллера, какъ художника и человѣка, какъ вдохновеннаго защитника лучшихъ правъ и лучшихъ инстинктовъ человѣческой природы, отстаивать Шиллера, какъ честнаго бойца своего времени, геніальнаго мыслителя и поэта—позволительно каждому порядочному человѣку, будь онъ нѣмецъ или французъ, русскій или татаринъ. Но отстаивать Расина, въ сочиненіяхъ котораго мы не встрѣчаемъ ничего, кромѣ лжи и ходульности, отстаивать вмѣстѣ съ нимъ все направленіе литературы въ вѣкъ Людовика XIV, это такой подвигъ, на который можетъ рѣшиться развѣ только французскій академикъ, и за который похвалить можетъ только критикъ «Р. В.».

Сочувствіе Лонгинова къ прошедшему доходитъ до того, что онъ съ непритворнымъ уваженіемъ отзывается о французской академіи, какъ о хранилищѣ спасительныхъ преданій. То, что говоритъ Лонгиновъ объ академіи, такъ неподражаемо хорошо, что я не могу отказать себѣ въ удовольствіи выписать нѣсколько его подлинныхъ строкъ. «Она, говоритъ онъ, исчисляя заслуги академіи, напечатала нѣсколько изданій словаря, сообразуясь съ успѣхами языка, была постоянно органомъ здравой критики, а главное трудами и засѣданіями своими распространяла въ публикѣ тотъ эстетическій вкусъ, развивала въ ней то уваженіе къ достоинствамъ безсмертныхъ твореній великихъ писателей, благодаря чему во Франціи не можетъ первый встрѣчный заставить вѣрить публику всему, что придетъ ему въ голову говорить объ этихъ писателяхъ».

Не знаю, на какихъ это наивныхъ и несвѣдущихъ читателей разсчитываетъ Лонгиновъ; кто же это ему повѣритъ, что французская публика отличается развитымъ эстетическимъ вкусомъ и что она обязана академіи эстетическими понятіями. Что жъ, это академія что-ли рекомендовала ей романы Дюма, Феваля, графини Дашъ, Ксавье де-Монтепена и другихъ неистощимыхъ разсказчиковъ? И что же, это пристрастіе къ подобнымъ романамъ—признакъ развитого вкуса? Или можетъ быть Лонгиновъ не признаетъ даже публикою тѣхъ людей, которые запоемъ читаютъ Феваля и Дюма? Отъ него это станется, потому что онъ кажется дѣлаетъ различіе между обществомъ и толпою. Общество онъ уважаетъ, по толпу, profanum vulgus, необразованную массу онъ поражаетъ самымъ убійственнымъ презрѣніемъ, причисляя къ этой безобразной толпѣ и преступныхъ фельетонистовъ, и тѣхъ легкомысленныхъ людей, которые читаютъ эти фельетоны, не краснѣя отъ стыда и не блѣднѣя отъ добродѣтельнаго негодованія.

«Общество французское, продолжаетъ Лонгиновъ, настолько образовано, что считаетъ существованіе такого учрежденія не только совмѣстнымъ съ движеніемъ литературы и своимъ собственнымъ, но совершенно необходимымъ, какъ убѣжище для истиннаго вкуса, для независимаго голоса людей знающихъ и почтенныхъ, для охраненія вѣчныхъ законовъ прекраснаго отъ посягательствъ легкомыслія и невѣжества. Поэтому академія руководствуется при выборѣ своихъ членовъ не только степенью таланта, а еще менѣе популярностью того или другого автора, но считаетъ условіемъ для того классическое образованіе писателя, свойство его ученыхъ пріемовъ, мастерство его владѣть языкомъ, его вкусъ и критическій даръ. Она приметъ въ члены скромнаго, малоизвѣстнаго толпѣ поэта Лапрада, и едва ли скоро допуститъ въ свою среду напр. блестящаго, «популярнаго», бойкаго Теофиля Готье».

Знаете ли что, господа читатели,—вглядываясь въ чужую добродѣтель, мы всего глубже и живѣе можемъ почувствовать свои собственныя несовершенства; мы всего скорѣе можемъ дойти до спасительнаго раскаянія и до горячаго желанія исправиться. Со вниманіемъ всматриваясь въ идеи Лонгинова, я замѣчаю, что его оптимизмъ отличается глубокой, непочатой искренностью, и съ истиннымъ огорченіемъ обличаю самого себя въ мрачномъ и недостойномъ недовѣріи ко всему истинному и прекрасному. Посмотрите, какъ тепло вѣритъ Лонгиновъ и въ образованность французскаго общества, и въ необходимость французской академіи, и въ независимость голоса тѣхъ знающихъ и почтенныхъ людей, которые удостоились сдѣлаться ея членами, и въ вѣчность тѣхъ законовъ прекраснаго, которые, несмотря на свою вѣчность, должны быть охраняемы отъ посягательствъ легкомыслія и невѣжества. Лонгиновъ такъ твердо вѣритъ въ существованіе добра и во всемѣстное его проявленіе, что отъ души сочувствуетъ всѣмъ академическимъ выборамъ, кото-

рые конечно представляются ему независимымъ голосомъ людей знающихъ и почтенныхъ. Его несказанно радуетъ то обстоятельство, что академія не обращаетъ вниманія на мнѣніе толпы, и, бракуя «популярнаго» (замѣтьте кавычки) Теофиля Готье, принимаетъ въ члены скромнаго поэта Лапрада, вѣроятно за примѣрное благонравіе и за похвальную скромность.

Да, вотъ какъ добропорядочные люди смотрятъ на вещи; мнѣ становится стыдно за себя и за свои идеи, но я преодолѣваю этотъ естественный стыдъ и публичнымъ покаяніемъ стараюсь до нѣкоторой степени смыть съ себя пятно моихъ неприличныхъ воззрѣній. Каюсь передъ читателями, вотъ въ какихъ странныхъ образахъ представлялись мнѣ тѣ факты, которые облилъ Лонгиновъ такимъ яркимъ потокомъ свѣтло-розоваго свѣта. Я думалъ, что французская академія, основанная по капризу всемогущаго министра, кардинала Ришелье, никогда не была живой потребностью для французскаго общества, а жила себѣ по силѣ инерціи, какъ правительственное учрежденіе, созданное эдиктомъ и не отмѣненное никакимъ другимъ послѣдующимъ распоряженіемъ. Я думалъ, что существованіе французской академіи не имѣетъ ничего общаго съ движеніемъ литературы, и что французское общество не потеряло бы ровно ничего, еслибы словаря академіи вовсе не существовало; я думалъ, что истинный вкусъ не нуждается въ убѣжищѣ, и что голосъ каждаго человѣка—знающаго или не знающаго, почтеннаго или не почтеннаго—можетъ быть гораздо чище и самостоятельнѣе, когда этотъ человѣкъ говоритъ только отъ своего собственнаго лица, чѣмъ тогда, когда онъ ораторствуетъ на академическихъ креслахъ, какъ членъ и представитель почтенной и ученой корпораціи. Мнѣ казалось, что французская академія не охраняетъ вѣчныхъ законовъ прекраснаго по той простой причинѣ, что такихъ мудреныхъ законовъ не существуетъ, и что, думая хранить вѣчные законы, почтенное собраніе бережетъ залежавшіяся академическія преданія, окоченѣвшія отъ времени и превратившіяся въ сухую, мертвую рутину; при выборѣ своихъ членовъ академія руководствуется не степенью таланта автора, не популярностью его, а классическимъ образованіемъ писателя, свойствомъ его ученыхъ пріемовъ, мастерствомъ его владѣть языкомъ, его вкусомъ и критическимъ даромъ. Я бы отъ души желалъ повѣрить на слово Лонгинову и принять сообщаемыя имъ свѣдѣнія за святую истину, но рѣшительно не могу сдѣлать этого, потому что въ самыхъ словахъ критика заключается неразрѣшимое противорѣчіе: академія, изволите видѣть, не обращаетъ вниманія на степень таланта и между тѣмъ требуетъ мастерства владѣть языкомъ, вкуса и критическаго дара. Что же такое критическій даръ, если онъ не признается талантомъ и даже противополагается таланту? И мастерство владѣть языкомъ, и вкусъ—это тоже не талантъ. Да что же такое талантъ? Поневолѣ приходится обращаться къ переборкѣ словъ, когда люди начинаютъ употреблять слова, не отдавая себѣ отчета въ ихъ значеніи.

Чтобы понять Лонгинова, надо обратиться къ тѣмъ примѣрамъ, которыми онъ поясняетъ свою замысловатую идею, весьма похожую на пустую фразу. «Викторъ Гюго, говоритъ онъ, въ апогеѣ своей славы не могъ сдѣлаться академикомъ до самаго 1841 года, потому что, несмотря на свое блестящее дарованіе, грѣшилъ часто противъ чистоты языка и здраваго вкуса, которые такъ уважены въ учрежденіи, гдѣ засѣдали тонкіе судьи ихъ, этому качеству преимущественно обязанные общимъ почетомъ, ихъ окружавшимъ: Андріё, Фелецъ, Нодье, Сальванди и пр.». А, да, теперь дѣло начинаетъ разъясняться. Академія требуетъ правильности Correction), и въ этомъ отношеніи платитъ дань общей слабости всѣхъ академій. Одна академія требуетъ правильности рисунка, другая—правильности музыкальнаго выполненія, третья—правильности поэтическаго вымысла. Ставя подобныя требованія, каждая академія стѣсняетъ свободный полетъ мысли и втискиваетъ въ свои условныя узкія рамки творческую дѣятельность художника. По академическимъ понятіямъ, трудолюбивая посредственность, умѣющая усвоить себѣ преданія школы и не чувствующая въ себѣ ни малѣйшей потребности выйти изъ рубрикъ оффиціально предписанной программы, всегда будетъ поставлена выше независимаго таланта, разбивающаго всякія условныя ограниченія и не повинующагося въ своемъ творчествѣ никому и ничему, кромѣ собственнаго внутренняго побужденія. Поэтому академія почти всегда расходится въ своихъ приговорахъ съ неразвитою толпою; неразвитой толпѣ нравится самородная сила, оригинальная смѣлость, творческая самобытность, а академіи требуютъ выдержанности, дрессировки, примѣненія къ извѣстному, условному образцу; толпа величаетъ и любитъ своихъ поэтовъ, не обращая вниманія на академическіе приговоры, а почтенныя собранія, живя своей замкнутой, тепличной жизнью, знать не хотятъ о томъ, что дѣлается за стѣнами ихъ залъ и кабинетовъ, и улыбкой презрѣнія встрѣчаютъ всѣ проявленія мысли и чувства, прорывающіяся помимо ихъ приговоровъ и находящія себѣ сочувствіе въ неразвитой толпѣ. Лонгиновъ—вполнѣ академикъ по своимъ воззрѣніямъ, онъ отъ души желаетъ, чтобы толпа безпрекословно слушалась приговоровъ людей знающихъ и почтенныхъ, и чтобы всѣ ея сужденія были сколками съ протоколовъ академическихъ засѣданій; рутину школы онъ называетъ вѣчными законами прекраснаго; приговоры, произносимые съ точки зрѣнія этой

рутины, называются независимымъ голосомъ, и все остальное обозначается именами, заимствованными изъ того же круга идей и понятій.

Въ элегическомъ изліяніи Лонгиновъ представляетъ своимъ читателямъ тѣ благодѣтельныя слѣдствія, которыя могло бы имѣть для нашего просвѣщенія существованіе ученаго собранія, подобнаго французской академіи. «При безпрерывномъ измѣненіи вкуса и переворотахъ въ языкѣ, говоритъ Лонгиновъ, у насъ была бы полезнѣе, чѣмъ гдѣ либо, корпорація независимая, съ авторитетомъ въ дѣлѣ словесности. Она нисколько не стѣсняла бы доброй воли всякаго писать какъ ему угодно (неправда ли, какъ это милостиво и великодушно!). Но она была бы хранилищемъ, гдѣ всякій могъ бы почерпнуть свѣдѣнія дѣльныя; центромъ, гдѣ публика знакомилась бы съ научными и литературными пріемами, узнавала бы серьезно исторію языка и словесности (очевидно, академія такого фасона была бы, по мечтамъ Лонгинова, чѣмъ-то среднимъ между присутственнымъ мѣстомъ, адреснымъ столомъ и учебнымъ заведеніемъ). Наконецъ, она была бы мѣстомъ соединенія, гдѣ сходились бы писатели разныхъ партій, которые теперь сидятъ по большей части безвыходно въ своихъ кружкахъ, въ ущербъ публикѣ, литературѣ и самимъ себѣ, потому что они ничего не видятъ, кромѣ своихъ же дѣйствій, ничего не слышатъ, кромѣ своихъ же рѣчей, повторяемыхъ близкими ихъ, да разныхъ литературныхъ сплетенъ. (Благодушно отворяя двери этой желанной академіи для писателей разныхъ партій, Лонгиновъ очевидно не предвидитъ того обстоятельства, что могутъ найтись и такіе писатели, которые и заглянуть не пожелаютъ въ такое спасительное учрежденіе. Впрочемъ, такихъ господъ Лонгиновъ не признаетъ писателями, почти такъ-же какъ читателей ихъ онъ не признаетъ публикой; это, по его мнѣнію, фельетонисты, баши-бузуки, зелье и язва нашей литературы, отравляющіе здравый вкусъ публики и мѣшающіе развитію солидныхъ и серьезныхъ понятій. Вспомнивъ объ этихъ печестивыхъ фельетонистахъ, Лонгиновъ, какъ молочница въ баснѣ Лафонтена, видитъ, что надежды и радужныя мечты его разлетаются въ прахъ). «Но, говоритъ онъ съ умилительной грустью, можно ли думать о томъ, когда фельетонисты завладѣваютъ вниманіемъ читателей, уничтожаютъ все, что было до нихъ, и провозглашаютъ, что они знать не хотятъ общества, т. е. соединенія болѣе или менѣе образованныхъ людей, а ищутъ популярности между своей братіей и въ массахъ».

Грусть и негодованіе Лонгинова мнѣ понятны, хотя конечно я, какъ фельетонистъ, не могу имъ сочувствовать. Кабинетная начитанность всегда претендуетъ на авторитетъ, всегда считаетъ себя головою выше толпы и всегда приходитъ въ самое наивное негодованіе, когда эта толпа идетъ себѣ своей дорогой, не обращая никакого вниманія на совѣты, предостереженія и приговоры ученаго собранія или отдѣльнаго ученаго лица. Въ этомъ отношеніи люди кабинетовъ, архивовъ и библіотекъ очень похожи на тѣхъ деревенскихъ книжниковъ, которымъ, при невѣроятныхъ трудахъ и усиліяхъ, удалось одолѣть дюжины полторы старыхъ книгъ. Питая полное уваженіе къ трудолюбію и къ любознательности этихъ деревенскихъ начетчиковъ, нельзя не замѣтить, что напряженіе мозга надъ отдѣльными словами книгъ и часто безуспѣшныя старанія связать между собою въ головѣ эти отдѣльныя слова изнуряютъ мыслительныя силы этихъ книжниковъ; они зачитываются до такой степени, что теряютъ способность практическаго пониманія, начинаютъ вставлять въ обыденный житейскій разговоръ отдѣльныя выраженія и цитаты изъ прочитанныхъ книгъ, начинаютъ говорить высокимъ слогомъ и въ то же самое время, уважая себя за свои безплодные труды и усилія, возвышаются въ своемъ собственномъ мнѣніи, становятся невыносимо самонадѣянными и начинаютъ смотрѣть свысока на «необразованныхъ мужиковъ», которые съ своей стороны смотрятъ на этихъ завирающихся книжниковъ съ лукавой усмѣшкой полупрезрительнаго состраданія.

Роль, которую играютъ эти книжники въ деревняхъ, можетъ-быть отчасти объясняетъ то положеніе, въ которомъ нѣкоторая часть нашихъ цеховыхъ ученыхъ находится въ отношеніи къ массѣ грамотнаго общества. Эти ученые работаютъ много, и между тѣмъ мы не видимъ плодовъ ихъ занятій; они читаютъ и перечитываютъ рукописи и старыя книги; они выбиваются изъ силъ, наводя какую-нибудь мелкую хронологическую справку, или отыскивая потерянное значеніе какого-нибудь устарѣлаго слова, встрѣчающагося раза два въ лѣтописи или въ старомъ переводѣ; сухость этой работы, утомительность подобныхъ розысканій подаетъ самому труженику поводъ думать, что онъ совершаетъ великій подвигъ самоотверженія, за который ему должны быть благодарны и современники, и потомки.

Самому труженику очень скучно возиться съ старой рухлядью всякаго рода, но отъ того, что онъ скучаетъ и выбивается изъ силъ, никто не чувствуетъ для себя осязательной пользы или освѣжающаго удовольствія, и потому никто не говоритъ спасибо. А между тѣмъ труженикъ рогтся въ архивахъ и библіотекахъ, поглощаетъ огромные фоліанты, отыскиваетъ библіографическія рѣдкости и диковинки, уходитъ въ тотъ мірокъ прошедшаго, котораго блѣдные отрывки сохранились на лоскуткахъ бумаги и пергамента, и теряетъ способность понимать тѣ по-

будительныя причины, которыя заставляютъ живыхъ людей говорить и спорить, горячиться и приходить въ негодованіе, страдать и радоваться, надѣяться и тревожиться. Бѣдному труженику, постепенно убивающему въ себѣ человѣческіе инстинкты, стремленія и порывы свѣжаго здороваго организма, начинаетъ казаться, что жизнь состоитъ именно въ томъ, чтобы преслѣдовать слова и буквы изъ фоліанта въ фоліантъ, что міръ истинный, широкій, великій лежитъ именно на полкахъ его библіотеки. Онъ съ досадою слышитъ за стѣнами этой библіотеки шумъ экипажей на улицѣ, крики разносчиковъ, провозглашающихъ о своихъ товарахъ, пѣсни мастеровыхъ, мурлыкающихъ за работою, словомъ, всѣ тѣ звуки, въ которыхъ сказывается присутствіе жизни. Все это кажется ему суетой, безсмыслицей, проявленіемъ людской неразвитости, и только тотъ крошечный предметъ, къ которому присосались въ эту минуту силы его ума, кажется ему дѣйствительно важнымъ, одареннымъ самобытною, сильною, разумной жизнью.

Относясь враждебно къ звукамъ дѣйствительной жизни, цеховой ученый такъ же враждебно относится къ отраженію этихъ звуковъ и интересовъ въ литературѣ. Оживленный споръ о живомъ лицѣ, о предметѣ вседневной жизни, объ идеѣ, къ которой въ интересахъ дѣйствительной жизни надо непремѣнно отнестись такъ или иначе, кажутся заучившемуся труженику непозволительнымъ скандаломъ, пустой тратой словъ и времени, проявленіемъ мальчишескаго задора, слѣдствіемъ смѣшного желанія заявить свои идеи передъ лицомъ читающей публики.

Съ тѣхъ поръ, какъ журналистика сколько-нибудь оживилась, цеховые ученые стали къ ней во враждебныя отношенія; они не понимаютъ побужденій тѣхъ людей, которые, не щадя силъ, не боясь трудностей, выражаютъ въ журналахъ свои убѣжденія и проводятъ свои тенденціи; потерявши способность жить въ атмосферѣ дѣйствительной жизни, они вмѣстѣ съ тѣмъ потеряли возможность судить объ явленіяхъ этой жизни; тѣ мнѣнія, которыя имъ случается высказывать при нечаянномъ столкновеніи съ вопросами, стоящими на очереди, отличаются такой античностью, о которой, не слыхавши подобныхъ сужденій, невозможно составить себѣ даже приблизительнаго понятія.

Винить записныхъ ученыхъ въ этой античности идей и мнѣній конечно невозможно. Если работникъ, приводящій въ движеніе какую-нибудь ручную машину, постоянно работаетъ одной правой рукой, то съ теченіемъ времени мускулы этой руки разовьются въ ущербъ мускуламъ всего остального тѣла, работникъ окажется изуродованнымъ, и его уродство явится какъ естественное и неизбѣжное слѣдствіе его работы. Занятія труженика-спеціалиста точно такъ же односторонни, какъ работа ремесленника, пускающаго въ ходъ одну правую руку; у труженика-спеціалиста та или другая умственная способность, напр. память или наблюдательность, изощряются до послѣднихъ предѣловъ, между тѣмъ какъ остальныя мыслительныя способности глохнутъ и тупѣютъ. И ремесленникъ, работающій одной правой рукою, и труженикъ-спеціалистъ, работающій именно только извѣстными частицами мозга, могутъ быть очень полезны и даже совершенно необходимы для общества, но только надобно, чтобы каждый изъ нихъ оставался на своемъ мѣстѣ. Изъ хорошаго ремесленника можетъ выйти очень плохой музыкантъ, и труженикъ-спеціалистъ, очень полезный для составленія словаря, хронологической таблицы или библіографическаго указателя, можетъ до упаду насмѣшить читающую публику, если примется толковать объ общественныхъ интересахъ или пустится въ эстетическую критику. Трудъ — дѣло почтенное; ветеранъ какого бы то ни было труда, предпринятаго и веденнаго добросовѣстно, имѣетъ право требовать себѣ подъ старость теплаго угла отъ того общества, которому онъ посвятилъ свои силы и досуги; но если этотъ ветеранъ искалѣченъ своей трудовою жизнью, и, несмотря на свою благопріобрѣтенную убогость, упорно лѣзетъ къ такой работѣ, которую онъ не можетъ выполнить какъ слѣдуетъ, тогда, при всемъ уваженіи къ труду и къ ветерану, каждый членъ общества будетъ имѣть полное, разумное право дать ему дружескій совѣтъ: «отойдите въ сторону; это дѣло вамъ не подъ силу. Сидите себѣ на покоѣ, не мѣшайте другимъ, и если вамъ скучно, занимайтесь для развлеченія легкими штучками изъ вашей прежней работы, съ которою вы успѣли свыкнуться въ теченіе вашей жизни».

То, что я сказалъ о мнѣніяхъ записныхъ ученыхъ вообще, можетъ быть въ полномъ объемѣ примѣнено почти ко всѣмъ статьямъ критическаго отдѣла «Русскаго Вѣстника». Яркимъ представителемъ этого серьезнаго направленія критической мысли является Лонгиновъ. Этотъ трудолюбивый библіографъ, изумляющій публику обиліемъ и точностью своихъ фактическихъ свѣдѣній, касающихся исторіи нашей литературы въ XVIII и въ началѣ XIX вѣка, оказывается крайне неопытнымъ и неискуснымъ на поприщѣ журналистики. Какъ критикъ—онъ безличенъ; какъ мыслитель—онъ отличается только крайне развитой способностью благоговѣть передъ прошедшимъ и строить себѣ безчисленное множество кумировъ и авторитетовъ. Кто желаетъ составить себѣ понятіе объ эстетическомъ вкусѣ Лонгинова, того я попрошу, въ статьѣ этого писателя о князѣ Вяземскомъ, прочитать тѣ стихотворенія, которыя критикъ находитъ очень замѣчательными. Въ этой статьѣ приведено девять большихъ пьесъ, одна другой скучнѣе; го-

лый дидактизмъ, не прикрытый даже яркостью поэтическаго образа, утомляетъ вниманіе читателя, и тяжелымъ, несваримымъ комомъ ложится въ его голову, не шевеля нервовъ и не возбуждая никакого другого чувства, кромѣ непробудной, безотрадной, гнетущей скуки. Вотъ для примѣра самая коротенькая изъ этихъ пьесъ, которыя, по мнѣнію Лонгинова, упрочиваютъ за Вяземскимъ почетное мѣсто въ исторіи русской поэзіи. Выписываю ее собственно потому, что она очень коротка и потому не слишкомъ утомитъ моихъ читателей.

Любить. Молиться. Пѣть. Святое назначенье
Души, тоскующей въ изгнаніи своемъ,
Святого таинства земное выраженье,
Предчувствіе и скорбь о чемъ-то неземномъ,
Преданье темное о томъ, что было яснымъ,
И упованіе того, что будетъ вновь,
Души, настроенной къ созвучію съ прекраснымъ,
Три вѣчныя струны: молитва, пѣснь, любовь!
Счастливъ, кому дано познать отраду вашу,
Кто чашу радости и горькой скорби чашу
Благословлялъ всегда съ любовью и мольбой
И пѣсни внутренней былъ арфою живой!

Мнѣ кажется, сама Юлія Жадовская не могла бы написать стихотворенія болѣе слезливаго, сантиментальнаго, фразистаго и ничтожнаго по содержанію; мнѣ кажется даже, что у Жадовской стихотвореніе на эту тему вышло бы понятнѣе и изящнѣе по внѣшней формѣ. Что же касается до выписанной пьесы, принадлежащей перу князя Вяземскаго, то можно сказать безъ преувеличенія, что приходится дѣлать синтаксическую конструкцію, чтобы добраться до смысла, какой существуетъ въ этомъ наборѣ плаксивыхъ словъ. Замѣчу мимоходомъ, что стихотвореніе это написано въ 1840 году, послѣ смерти Пушкина, тогда, когда русскій стихъ былъ уже почти окончательно выработанъ. Если Лонгиновъ восхищается подобными виршами, то это очевидно происходитъ оттого, что онъ къ произведеніямъ современныхъ поэтовъ приступаетъ съ тѣми же требованіями, съ какими онъ относится къ какому нибудь Сумарокову или Хераскову. Все дѣло сводится опять-таки на то, что антикварій—не критикъ, и библіографъ—не журналистъ.

VIII.

Критическій отдѣлъ майской книжки открывается язвительной полемической статьей, стремящейся доказать, что всѣ петербургскіе журналисты, пишущіе легко, быстро и ясно, похожи на Аскоченскаго и достойны быть сотрудниками его «Домашней Бесѣды». Объ убійственномъ, неразборчивомъ въ средствахъ и выраженіяхъ полемизмѣ «Русскаго Вѣстника» я уже говорилъ не разъ, и потому общая мысль и направленіе этой статьи: «Одного поля ягоды» не можетъ ни удивить меня, ни вызвать съ моей стороны негодованія. Я не стану защищать петербургскихъ литераторовъ, не стану спорить съ «Русскимъ Вѣстникомъ» о степени сходства «Времени» или «Современника» съ «Домашней Бесѣдой», а просто вмѣстѣ съ моими читателями прогуляюсь по этой критической статьѣ и осмотрю то, что въ ней заслуживаетъ вниманія.

Поговоривъ объ исторіи, о движеніи мысли, о великихъ началахъ, управляющихъ человѣческой жизнью, авторъ статьи вдругъ изъ области высокой отвлеченности спускается на почву дѣйствительной, да еще въ добавокъ русской жизни и начинаетъ радоваться тому обстоятельству, что «у насъ съ недавнихъ поръ появилось много духовныхъ изданій съ разнообразными достоинствами» и что слѣдовательно въ нашемъ обществѣ существуетъ «потребность въ этого рода чтеніи». Заявивъ свое удовольствіе передъ этимъ безъ сомнѣнія *отраднымъ* фактомъ, критикъ переходитъ къ частностямъ и начинаетъ разбирать вопросъ, нуждается ли божественная сила христіанскаго слова въ какихъ бы то ни было пособіяхъ. «Не слѣдуетъ ли, спрашиваетъ авторъ, довольствоваться однимъ размноженіемъ священныхъ текстовъ въ печати и ограничить ими одними всю духовную литературу?» Этотъ вопросъ рѣшается отрицательно, и критикъ «Русскаго Вѣстника» приходитъ къ тому убѣжденію, что должно, не ограничиваясь однимъ приведеніемъ текста, «изъяснить, истолковать его, учить и убѣждать людей и стало быть содѣйствовать образованію въ нихъ такихъ нравственныхъ и умственныхъ настроеній, какихъ требуетъ христіанская истина». Это мнѣніе подкрѣпляется слѣдующимъ историческимъ доводомъ: «Если Христосъ избралъ нѣкоторыхъ учениковъ своихъ изъ среды людей простыхъ и неученыхъ, если эти рыбаки съ одного слова, съ одного взгляда Его, покинувъ мрежи, пошли за Нимъ, то кто рѣшится примѣнять къ себѣ этотъ примѣръ, полагая, что одного взгляда, одного слова его будетъ достаточно подѣйствовать на души?» Потомъ, авторъ обращаетъ вниманіе публики на то обстоятельство, что духовныя лица и духовныя корпораціи издаютъ журналы, въ которыхъ нѣтъ духа фанатизма, «нетерпимости или недоброжелательства къ историческому ходу». «Напротивъ, продолжаетъ онъ, если въ нашей литературѣ оказывается нѣчто въ этомъ духѣ, то все такое выходитъ не изъ среды духовенства, не имѣетъ никакого отношенія къ церкви и есть плодъ досуга людей, столько же чуждыхъ ей по своему положенію, сколько и по духу».

Къ числу людей, чуждыхъ церкви по своему положенію и духу, причисляется Аскоченскій, которому конечно подобный упрекъ покажется болѣе чувствительнымъ, чѣмъ всѣ нападенія прогрессистовъ. Критикъ «Русскаго Вѣстника» доказываетъ съ большимъ жаромъ и съ немалой силой краснорѣчія, что нѣтъ и не можетъ быть ни малѣйшей солидарности «между изданіями,

какъ «Маякъ» или «Домашняя Бесѣда», и православной Церковью или русскимъ духовенствомъ». *Совершенно справедливо* отрицая всякое соотношеніе между «Домашней Бесѣдой» и русскимъ духовенствомъ, критикъ съ замѣчательной изобрѣтательностью и гибкостью ума сближаетъ между собою воззрѣнія Аскоченскаго съ политическими и философскими статьями «нашихъ прогрессистовъ». «То же циническое глумленіе надъ человѣческою свободой, восклицаетъ критикъ, то же презрѣніе къ истинѣ, то же наѣздническое обращеніе съ дѣйствительностью, та же ухарская заносчивость въ сужденіяхъ о фактахъ и лицахъ, тотъ же духъ и тотъ же смыслъ, и изъ тѣхъ же причинъ тѣ же результаты... Они совершенно сходятся въ своихъ отрицаніяхъ, а если и расходятся въ нѣкоторыхъ изъ своихъ положеній, то эти разности, отрывочныя, безсильныя и темныя, ничѣмъ не отзовутся въ результатахъ и сами собою исчезаютъ въ дружномъ содѣйствіи родственныхъ и однозвучныхъ отрицаній. Духъ тьмы и слѣпой случай—кто будетъ взвѣшивать разницу этихъ понятій? А сходство ихъ результатовъ несомнѣнно. Возможно ли, чтобы христіанская мысль могла придти къ такому воззрѣнію на міръ? Возможно ли, чтобы мысль, искренно ищущая истины, могла успокоиться на такомъ воззрѣніи? И религіозному чувству, и мыслящему уму, и зрѣлому опыту жизни извѣстно, что міръ, въ которомъ мы живемъ, не есть міръ божественный; что во всемъ человѣческомъ есть неизбѣжное сѣмя зла, что самыя высшія степени человѣческаго превосходства не изъяты отъ злоупотребленій, и что никакая высота не спасетъ человѣка отъ паденія. Но міръ этотъ существуетъ, и христіанскій смыслъ говоритъ намъ, что если міръ существуетъ, то Богъ его терпитъ, что онъ въ какой-либо мѣрѣ положилъ въ немъ свое благоволеніе, и что самое зло обращается въ орудіе къ раскрытію истины, къ осуществленію блага».

Краснорѣчіе въ родѣ приведеннаго отрывка продолжается на четырехъ страницахъ; постепенно разгорячая самого себя потокомъ своего краснорѣчія, оглушая себя каскадомъ словъ и періодовъ, критикъ доходитъ до пафоса, и какъ скандинавскій берзеркеръ, съ глазами, налившимися кровью и желчью, кидается на вѣчныхъ своихъ враговъ, на петербургскихъ фельетонистовъ, которыхъ онъ ненавидитъ безпредѣльною ненавистью соперника-журналиста. На нашу бѣдную литературу сыпятся такія ругательства, какихъ, можетъ быть, не сумѣлъ бы подобрать даже разсердившійся Иванъ Никифоровичъ, такія ругательства, какія, можетъ быть, полѣнился бы произнести даже мрачный Михайло Иванычъ Собакевичъ. Журналистика равняется, по приговору «Русскаго Вѣстника», океану «пустословія, пошлости, фальши, фразъ безъ смысла, затопляющихъ нашу литературу, литературу безъ науки, безъ всякихъ нормъ, безъ значительныхъ серьезныхъ преданій».

Рѣшительно приходится согласиться съ тѣмъ, что мы живемъ въ минуту всемірнаго потопа и можемъ покуда дышать только благодаря уродливому устройству нашихъ легкихъ; ковчегъ, въ который конечно не пустятъ насъ, нечестивыхъ фельетонистовъ, плаваетъ по водамъ и покуда не садился на мель ни на какомъ Араратѣ; изъ этого ковчега вылетаетъ, какъ невинный голубь, «Русскій Вѣстникъ» и безцѣльно, безнадежно кружится надъ мутными волнами, не представляющими его тоскливо ищущему взору ничего отраднаго; ему некуда опуститься, не на чемъ отдохнуть, негдѣ найти масличную вѣточку; бѣдный голубокъ! Ему придется, покружившись въ пространствѣ, воротиться подъ спасительную крышу объемистаго ковчега и навсегда отказаться отъ дѣятельной роли въ грандіозной и вмѣстѣ съ тѣмъ хаотической драмѣ потопа. Впрочемъ критикъ «Русскаго Вѣстника» начинаетъ замѣчать, что онъ кружится въ пространствѣ и тоскуетъ безпредметной тоскою; чтобы разомъ прекратить это безплодное и утомительное занятіе, онъ внезапно опускается къ океану пошлостей, пустословія и фальши, наудачу черпаетъ изъ него полную пригоршню разной дряни и подноситъ ее своимъ читателямъ, говоря имъ торжествующимъ тономъ человѣка, имѣющаго возможность доказать непреложную истину своихъ словъ: «видите, видите, что это за гадость; видите, сколько пустословія, пошлости и фальши».

Пригоршня, зачерпнутая критикомъ изъ мутнаго океана, затопляющаго нашу литературу, оказалась однимъ изъ фельетоновъ Кускова, который конечно настолько же можетъ воплотить въ себѣ типъ русскаго журналиста, насколько онъ можетъ воплотить въ себѣ типъ русскаго поэта. Было бы довольно дико, если бы какой-нибудь иностранецъ вздумалъ глумиться надъ пустотою русской поэзіи и въ подтвержденіе своихъ словъ сталъ бы приводить многочисленныя цитаты изъ поэтическихъ произведеній Кускова: такому господину можно было бы, я думаю, замѣтить, что поглумиться въ русской поэзіи есть надъ чѣмъ, но что для этого надо брать болѣе крупныхъ представителей поэзіи, такихъ людей, въ стихотвореніяхъ которыхъ дѣйствительно выражаются рельефныя, дурныя или хорошія особенности нашей поэзіи. Со стороны русскаго журналиста, подвергающаго критическому анализу явленія русской же журналистики, мы имѣемъ полное право требовать основательнаго знакомства съ дѣломъ; его приговоры должны быть произносимы надъ всей совокупностью литературныхъ явленій, и потому бросить петербургской журналистикѣ упрекъ въ хлестаковствѣ и привести въ подтвержденіе своихъ словъ цитаты изъ фельe-

тона Кускова—это, воля ваша, пріемъ въ высшей степени недобросовѣстный; тутъ, очевидно, авторъ разсчитываетъ на легкомысліе нашей публики и на то обстоятельство, что эта публика покуда остается довольно равнодушной къ литературнымъ преніямъ и къ печатному слову вообще.

Дѣйствительно, при теперешней, еще не вполнѣ нарушенной апатіи нашего общества, печатныя обвиненія всякаго рода не вызываютъ въ читающихъ людяхъ ни особеннаго сочувствія, ни энергическаго протеста; теперь можно, не опасаясь общественнаго мнѣнія, клеветать и на литературу, и на литераторовъ; голословная клевета не упадетъ на самого клеветника и не замараетъ его имени только потому, что публика, не заинтересованная движеніемъ идей и столкновеніемъ мнѣній, завтра забываетъ то, что читаетъ сегодня, и часто не даетъ себѣ труда справиться ни объ имени автора или редактора, ни о степени достовѣрности печатнаго нападенія; дѣлаясь такимъ образомъ безопасной для самого клеветника, печатная клевета въ то же время становится безвредной и для того, противъ кого она направлена. Булгаринъ и Ксенофонтъ Полевой клеветали на Пушкина, Аскоченскій клевещетъ на все, что не участвуетъ въ «Домашней Бесѣдѣ», «Русскій Вѣстникъ» клевещетъ на всю петербургскую журналистику, «Искра» оклеветала недавно Писемскаго; несмотря на всѣ эти клеветы, слѣдующія другъ за другомъ, какъ частыя изверженія мелкихъ грязныхъ вулкановъ, публика продолжаетъ относиться къ оклеветаннымъ субъектамъ такъ же кротко и ласково, какъ она относилась къ нимъ до выхода въ свѣтъ клевещущихъ статей и статеекъ. Пушкинъ остался великимъ русскимъ поэтомъ, несмотря на сиплые крики булгаринской партіи; лица, не участвующія въ «Домашней Бесѣдѣ», не считаются воплощеніями антихриста, хотя Аскоченскій твердитъ это на всѣ лады; петербургская журналистика пользуется вниманіемъ публики, несмотря на то, что «Русскій Вѣстникъ» уподобилъ ее океану пустословія, пошлостей и фальши. Писемскій попрежнему остается первымъ русскимъ художникомъ-реалистомъ и попрежнему будетъ пользоваться сочувствіемъ и уваженіемъ всѣхъ мыслящихъ людей Россіи, несмотря на всѣ восклицанія хроникера «Искры», напоминающаго собою моську въ извѣстной баснѣ Крылова.

Печатное слово не начинало еще быть въ нашемъ обществѣ опаснымъ орудіемъ, и потому старыя дѣти, подобныя редакторамъ «Русскаго Вѣстника», шалятъ имъ, какъ тупымъ ножомъ, не боясь обрѣзаться. Шалости ихъ иногда бываютъ чрезвычайно оригинальны. Авторъ статьи: «Одного поля ягоды» дошалился до того, что закончилъ свою статью слѣдующей загадочной выходкой, направленной опять-таки противъ Хлестаковыхъ, господствующихъ въ періодической литературѣ. «Такихъ молодцовъ, восклицаетъ онъ, дѣйствительно нельзя не побаиваться. Зарѣзать они не зарѣжутъ, но не кладите вашего четвертака плохо». Тревожное настроеніе, подъ вліяніемъ котораго критикъ «Русскаго Вѣстника» дошелъ до забвенія всякихъ литературныхъ и житейскихъ приличій, произошло вслѣдствіе чтенія фельетоновъ Кускова. Надо подивиться тому обстоятельству, что Кусковъ, писатель кроткій и безвредный до послѣдней степени, могъ возбудить противъ себя такую страшную бурю негодованія. Кусковъ, который въ безвѣстной тиши могъ бы въ продолженіе цѣлыхъ десятилѣтій писать гладкимъ языкомъ фельетоны и плачевныя стихотворенія, Кусковъ, который при концѣ своей жизни могъ бы самого себя причислить къ «явленіямъ, пропущеннымъ нашей критикой», вдругъ осыпается изъ Москвы градомъ незаслуженныхъ ругательствъ; обвиняется въ нравственной изломанности, опозоривается именемъ Тряпичкина и сравнивается наконецъ съ новой Мессалиной, «о которой разсказываютъ, что, не довольствуясь Европой, она ѣздила въ Алжирію къ кабиламъ». Вся эта буря въ стаканѣ воды поднялась противъ Кускова за то, что онъ осмѣлился въ своемъ фельетонѣ провести слѣдующую мысль: иногда можно уголовнаго преступника уважать больше, чѣмъ того безукоризненнаго передъ закономъ гражданина, который произноситъ надъ нимъ приговоръ.

Заслышавъ эту еретическую мысль, «Русск. Вѣстн.» возстаетъ противъ нея во всемъ величіи добродѣтельнаго негодованія и доходитъ до такого пафоса, до котораго, какъ мнѣ казалось, можетъ доходить только очень набожная старуха. «Возмутительный душегубъ, за которымъ отказывается слѣдить всякое человѣческое чувство, всякій человѣческій смыслъ, этотъ звѣрь, который бросается на свою жертву съ тѣмъ, чтобы удовлетворить минутную прихоть, даже хуже чѣмъ звѣрь, потому что у звѣря по крайней мѣрѣ нѣтъ прихотей,—это чудовище является, въ глазахъ Тряпичкина, могучимъ человѣческимъ образомъ, обаятельнымъ и чарующимъ, подавляющимъ мелкія душонки, которыя прячутся *подъ грудою правилъ, нестрящихъ прописи и азбуки*». Увлекаясь негодованіемъ, критикъ «Русскаго Вѣстника» не замѣчаетъ того, что вопросъ о преступникѣ ставится очень просто; тутъ является слѣдующая дилемма: или онъ одаренъ кровожадными инстинктами, или онъ развращенъ воспитаніемъ, вліяніемъ, совѣтами и примѣромъ окружающаго общества или круга людей. Въ первомъ случаѣ онъ—больной, котораго надо только сдѣлать безвреднымъ, во второмъ случаѣ онъ самъ—несчастная жертва, о которой можно пожалѣть, онъ самъ—герой

страшной трагедіи, погибающій подъ гнетомъ враждебныхъ обстоятельствъ. Наполеонъ I, желая потѣшить одну барыню, за которою онъ ухаживалъ, приказалъ сдѣлать на непріятельскій лагерь безполезное нападеніе, которое стоило жизни нѣсколькимъ солдатамъ; мы читаемъ этотъ фактъ въ его исторіи и замѣчаемъ очень кротко, что Наполеонъ въ молодости былъ не прочь подурачиться и пошалить; въ то-же самое время мы читаемъ въ газетахъ, что какой-нибудь мужиченка съ голоду зарѣзалъ купца и очистилъ его кошелекъ,—и мы возмущаемся, мы находимъ, что наказаніе плетьми и ссылка въ рудники едва покрываютъ его вину. Воришекъ бьютъ за тѣ самые поступки, которые сходятъ съ рукъ ворамъ.

XI.

Скучно и утомительно слѣдить за критическимъ отдѣломъ «Русскаго Вѣстника»; не на чемъ остановиться; нѣтъ свѣжей идеи, которой можно было бы выразить свое сочувствіе; нѣтъ живого слова, которое могло бы хоть сколько нибудь шевельнуть мозговые нервы. Пять книжекъ (отъ января до мая) просмотрѣно, почти пятьдесятъ страницъ написано по поводу ихъ; стало быть, можно считать дѣло порѣшеннымъ. Если продолжать подробный разборъ отдѣльныхъ критическихъ статей, то это будетъ только накопленіе мелкихъ фактовъ, способныхъ наконецъ утомить вниманіе самаго терпѣливаго и благосклоннаго читателя. Если выводить общее заключеніе изъ всего, что было сказано мною о критическомъ отдѣлѣ «Русскаго Вѣстника», то это будетъ сокращенное, сухое, безполезное повтореніе всего того, что уже успѣли просмотрѣть читатели. Поэтому приведу еще два-три критическіе перла и покончу на томъ мою неумѣренно разросшуюся статью.

Перлъ № 1-й. Лонгиновъ въ статьѣ: «Бѣлинскій и его лжеученики» призналъ вліяніе Бѣлинскаго вреднымъ на томъ основаніи, что Бѣлинскій плохо зналъ исторію нашей литературы. Въ подтвержденіе этого обвиненія, направленнаго противъ перваго русскаго критика, приводится слѣдующее обстоятельство:

«Въ обозрѣніи русской литературы до Пушкина Бѣлинскій приводитъ (пишетъ Лонгиновъ) отрывокъ изъ предисловія Хераскова къ повѣсти его «Полидоръ», вышедшей въ 1794 году. Въ этомъ предисловіи авторъ обращается къ извѣстнымъ русскимъ писателямъ. У Хераскова имена ихъ обозначены первыми буквами ихъ фамилій. Бѣлинскій выставляетъ полныя имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Нелединскаго, Дмитріева, Богдановича и Петрова. Но тутъ же вышло и затрудненіе. Послѣ обращенія къ Л. (Ломоносову) Херасковъ говоритъ: *можетъ-ли кто не плѣниться нѣжными и пріятными звуками С?* Очевидно, что Херасковъ разумѣлъ тутъ А. П. Сумарокова, съ которымъ много лѣтъ шелъ по одному пути, какъ лирикъ и драматургъ, и сочиненіями котораго продолжалъ плѣняться до своей смерти, подобно многимъ современникамъ. Но Бѣлинскій дѣлаетъ при буквѣ С. слѣдующую выноску: «*Должно быть дѣло идетъ о Евстафіи Станевичѣ, весьма плохомъ піитѣ того времени*».

Затѣмъ Лонгиновъ очень убѣдительно доказываетъ, что Станевича не могъ хвалить Херасковъ и что Бѣлинскій сдѣлалъ грубую ошибку, что онъ поддавался увлеченію «собственныхъ страстей и пристрастій» и что его литературные приговоры писаны «иногда въ ослѣпленіи пристрастія».

Все дѣло кончается тѣмъ, что Лонгиновъ приводитъ слѣдующій отрывокъ изъ одного неизданнаго стихотворенія:

Затѣмъ на скопищѣ клевретовъ
Рѣшилъ верховный ихъ совѣтъ,
Что, такъ какъ нѣтъ авторитетовъ,
Бѣлинскій будь авторитетъ.

Вредъ, принесенный Бѣлинскимъ, состоитъ, по подлиннымъ словамъ Лонгинова, «въ распложеніи самодовольныхъ и пустозвонныхъ горлановъ, думающихъ заставить человѣчество забыть все то, что было до появленія ихъ на журнальное поприще».

Перлъ № 2-й. Статья Густава де-Молинари о книгѣ Прудона «La guerre et la paix», занимающая слишкомъ два листа и доказывающая непобѣдимыми доводами, что у Прудона нѣтъ ни свѣдѣній, ни способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, которые уже устарѣли и надоѣли публикѣ.

Перлъ № 3-й. Стихотвореніе князя Вяземскаго «Замѣтка», выражающее въ самыхъ оригинальныхъ образахъ самыя неожиданныя идеи и оканчивающееся двумя классическими куплетами:

Свободенъ тотъ одинъ, кто умирилъ желанья,
Кто свѣтелъ и душой, и помышленьемъ чистъ,
Кого не обольстятъ толпы рукоплесканья,
Кого не уязвитъ нахальной черни свистъ.

Нелѣпымъ равенствомъ онъ высшихъ не унизитъ,
Но, въ предназначенной отъ Промысла борьбѣ,
Посредникъ, онъ бойцовъ любовнымъ словомъ сблизитъ
И скажетъ старшему: «я младшій братъ тебѣ».

Хотя «Замѣтка» князя Вяземскаго помѣщена не въ критическомъ отдѣлѣ и хотя вообще не принято писать критическія или полемическія статьи въ стихахъ, однако всякій согласится съ тѣмъ, что отнести эту вещицу къ области поэзіи нѣтъ никакой возможности. Въ ней нѣтъ ни одного образа, и вся разница между этой

замѣткой и элегической замѣткой, помѣщенной въ той же августовской книжкѣ, въ самомъ концѣ критическаго отдѣла, заключается въ томъ, что первая написана шестистопнымъ ямбомъ, а вторая—презрѣнной прозой. Смыслъ и направленіе ихъ—тождественны, выраженія одинаковы или по крайней мѣрѣ сходны; голословность выходокъ и замашка направлять свои удары въ пустое пространство замѣчаются какъ въ произведеніи князя Вяземскаго, такъ и въ элегическомъ воздыханіи редакціи «Русскаго Вѣстника». Поэтому, помѣщая въ число критическихъ перловъ стихотвореніе престарѣлаго поэта, я вмѣстѣ съ тѣмъ обращаю вниманіе читателей на всѣ критическія статьи «Русскаго Вѣстника», въ которыхъ вѣетъ духъ раздраженной солидности, въ которыхъ выражается никѣмъ непризнанное притязаніе учить общество, становиться во главѣ его и вести его за собою по пути разумнаго, умѣреннаго прогресса.

Перлъ № 4-й. Статья: «Кое-что о прогрессѣ», въ которой свистуны сравниваются съ гнилью, и въ которой въ первый разъ «Русскій Вѣстникъ» дѣлаетъ мнѣ честь упомянуть объ одной моей статьѣ. Онъ не называетъ ни меня, ни заглавія моей статьи, ни даже того журнала, въ которомъ я пишу, но онъ беретъ изъ «Схоластики XIX вѣка» одну цитату, которая осталась мнѣ памятна по многимъ обстоятельствамъ. Я благодарю «Русскій Вѣстникъ» за его враждебный отзывъ о моей статьѣ и объ этой цитатѣ; мнѣ пріятно видѣть, что мои идеи не нравятся московскимъ мыслителямъ, и я увѣренъ, что многіе пишущіе люди желаютъ наравнѣ со мною, чтобы «Русскій Вѣстникъ» относился какъ можно суровѣе къ нимъ и къ ихъ литературной дѣятельности.

Пора, давно пора кончить. Надѣюсь, что намъ не придется больше встрѣчаться съ «Русскимъ Вѣстникомъ» на поприщѣ журнальной полемики; мы расходимся такъ сильно въ мнѣніяхъ и наклонностяхъ, что можемъ прожить цѣлый вѣкъ, не встрѣчаясь между собой, не пробуя до чего нибудь договориться и не чувствуя ни малѣйшаго желанія сблизиться между собой на какомъ бы то ни было вопросѣ.

РУССКІЙ ДОНЪ-КИХОТЪ.

(Сочиненія И. В. Кирѣевскаго, I и II т. Москва, 1861 г.).

I.

Ничто не можетъ быть безцвѣтнѣе и неопредѣленнѣе общихъ выраженій: обскурантъ, прогрессистъ, либералъ, консерваторъ, славянофилъ, западникъ; эти выраженія нисколько не характеризуютъ того человѣка, къ которому они прикладываются; они надѣваютъ непрошенный мундиръ на его умственную личность и, вмѣсто живого человѣка, мыслящаго и чувствующаго по своему, показываютъ намъ неподвижную вывѣску замкнутаго круга убѣжденій. Чѣмъ даровитѣе и замѣчательнѣе разсматриваемая личность, тѣмъ пошлѣе кажутся мнѣ общіе эпитеты, прилагаемые къ ней такими критиками, которые не хотятъ или не умѣютъ вдуматься въ ея личныя особенности, прослѣдить ея индивидуальное развитіе и такимъ образомъ вмѣсто голаго термина дать оживленную характеристику.

Еслибы подойти къ сочиненіямъ И. В. Кирѣевскаго такъ, какъ подошелъ къ нимъ критикъ «Современника», то съ нимъ порѣшить было бы очень нетрудно. Причислить его къ самымъ мрачнымъ и вреднымъ обскурантамъ вовсе не мудрено; за цитатами дѣло не станетъ; изъ его сочиненій можно выписать десятки такихъ страницъ, отъ которыхъ покоробитъ самаго невзыскательнаго читателя; ну, стало быть, и толковать нечего; привелъ полдюжины самыхъ пахучихъ выписокъ, поглумился надъ каждою въ отдѣльности и надъ всѣми въ совокупности, поспорилъ для виду съ авторомъ, давая ему чувствовать все превосходство своей логики и своихъ воззрѣній, завершилъ рецензію общимъ прогрессивнымъ заключеніемъ, и дѣло готово—статья идетъ въ типографію.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дѣло дѣлается. Напасть на Кирѣевскаго не трудно, да толку-то въ этомъ мало. Бороться съ нимъ не зачѣмъ, потому что его дѣятельность уже принадлежитъ прошедшему; если же мы останавливаемся на немъ, какъ на совершившемся фактѣ, то мы должны или объяснить его по мѣрѣ силъ, или сознаться въ томъ, что мы объяснять не умѣемъ, а поработать надъ объ-

ясненіемъ личности Кирѣевскаго, какъ любопытнаго психологическаго факта—право стоитъ. Друзья и единомышленники Кирѣевскаго скажутъ конечно, что его слѣдуетъ изучать, какъ мыслителя, что его должно уважать, какъ двигателя русскаго самосознанія, что принесенная имъ польза будетъ оцѣнена послѣдующими поколѣніями. Съ подобными мнѣніями согласиться невозможно: Кирѣевскій былъ плохой мыслитель—онъ боялся мысли; Кирѣевскій никуда не подвинулъ русское самосознаніе, онъ даже не затронулъ его; его статьи никогда не производили впечатлѣнія; ихъ читали мало, и теперь ихъ совсѣмъ забыли, несмотря на то, что послѣдняя изъ нихъ была написана всего лѣтъ семь тому назадъ; пользы Кирѣевскій не принесъ никакой, и если послѣдующія поколѣнія по какому-нибудь чуду запомнятъ его имя, то они пожалѣютъ только о печальныхъ заблужденіяхъ этого даровитаго человѣка. Еслибы Кирѣевскому удалось составить обширный кругъ читателей и пріобрѣсти себѣ значеніе въ литературѣ, то вліяніе его идей составило бы самый яркій антагонизмъ съ пропагандой Бѣлинскаго. Всякому честному дѣятелю литературы пришлось бы восвать съ нимъ всѣми силами своего пера; противъ него поднялись бы всѣ люди, сколько нибудь дорожащіе мыслью; за него стали бы только люди очень ограниченные или очень недобросовѣстные. А самъ Кирѣевскій былъ человѣкъ очень не глупый и въ высшей степени добросовѣстный — отчего же онъ хотѣлъ остановить разумъ на пути его развитія? Отчего онъ порывался поворотить его назадъ къ младенческимъ его годамъ? Вотъ въ этихъ-то пунктахъ и заключается психологическій интересъ тѣхъ вопросовъ, на которые наводитъ чтеніе сочиненій Кирѣевскаго и приложенныхъ къ нимъ матеріаловъ для его біографіи.

II.

И. В. Кирѣевскій родился въ 1806 году и выросъ въ деревнѣ своихъ родителей. Отецъ его умеръ, когда ему было шесть лѣтъ, а мать его, черезъ 5 лѣтъ послѣ смерти своего мужа, вышла замужъ за Елагина. Молодой Кирѣевскій привязался къ своему вотчиму и выросъ подъ его вліяніемъ. Доброе согласіе его съ своимъ семействомъ продолжалось во время всей его жизни; ему не пришлось относиться критически къ личностямъ своихъ родственниковъ, и поэтому онъ не испыталъ того тяжелаго разочарованія, которое переживаютъ почти всѣ люди, начинающіе мыслить. Вѣроятно дѣтство Кирѣевскаго оставило въ его душѣ самое свѣтлое воспоминаніе; до конца жизни онъ дорожилъ тѣми лицами, которыя управляли его первоначальнымъ воспитаніемъ; его совершенно удовлетворяли ихъ педагогическіе пріемы, ихъ воззрѣнія на жизнь, ихъ отношенія къ разнымъ практическимъ и теоретическимъ вопросамъ; одобряя ихъ понятія, Кирѣевскій самъ успокоивался на нихъ и не чувствовалъ необходимости стремиться къ чему-нибудь болѣе разумному; спокойно и пріятно проведенное дѣтство вмѣстѣ съ неизгладимыми воспоминаніями оставило въ его умѣ такой густой осадокъ допотопныхъ идей, котораго не могли сдвинуть съ мѣста ни житейскія волненія, ни теоретическія размышленія. Любознательность Кирѣевскаго была очень велика—онъ много читалъ, серьезно задумывался надъ прочитаннымъ, но какъ только вычитанныя идеи начинали разрушать образы, населявшіе его дѣтство, такъ онъ отстранялъ ихъ прочь, чистосердечно называя ихъ заблужденіями и не считая даже нужнымъ останавливаться на вопросѣ—точно-ли это заблужденія. Кирѣевскій любилъ тѣ понятія, съ которыми онъ свыкся въ дѣтствѣ; а когда человѣкъ любитъ какую-нибудь идею, тогда бываетъ очень трудно убѣдить его въ ея несостоятельности; чтобы опрокинуть въ головѣ его эту любимую идею, необходимъ сильный толчекъ, крутой переворотъ или постоянное вліяніе другого человѣка, стоящаго выше его по развитію и смотрящаго на вещи непредубѣжденными глазами. Ни того, ни другого не пришлось испытать Кирѣевскому.

«Мы—пишетъ онъ къ Кошелеву, мечтая о жизни—возвратимъ права истинной религіи, изящное согласимъ съ нравственностью, возбудивъ любовь къ правдѣ, глупый либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога».

Въ началѣ 1830 года Кирѣевскій, воодушевленный этими *высокими* стремленіями, уѣхалъ заграницу; ему въ это время пришлось пережить глубокое огорченіе: онъ сдѣлалъ предложеніе любимой женщинѣ и получилъ отказъ; это событіе потрясло его здоровье, и медики предписали ему путешествіе, какъ лучшее средство поправиться и развлечься. Его не манило въ даль стремленіе къ широкой жизни мысли; ему было уютно и въ московскомъ кругу родственниковъ и друзей, и спокойное наслажденіе ровными отношеніями съ окружающими людьми было для него дороже кипучей дѣятельности и разнообразныхъ волненій умственной жизни. «Я возвращусь, возвращусь скоро, писалъ онъ черезъ нѣсколько дней послѣ своего отъѣзда изъ Москвы, это я чувствую, разставшись съ вами».

Мягкосердечный московскій юноша пробылъ заграницей всего 10 мѣсяцевъ, и заграничная атмосфера не успѣла произвести въ немъ никакого благотворнаго измѣненія. Онъ мѣрилъ западную мысль крошечнымъ аршиномъ своихъ московскихъ убѣжденій, которыя казались ему непогрѣшимыми и которыя раздѣляли съ нимъ всѣ убогія старушки Бѣлокаменной. Онъ слу-

шалъ лекціи извѣстнѣйшихъ профессоровъ, усвоивалъ себѣ фактическія свѣдѣнія, сообщалъ въ письмахъ къ родственникамъ и друзьямъ остроумныя замѣтки о методѣ и манерѣ ихъ преподаванія, и между тѣмъ самъ оставался неразвитымъ, наивнымъ ребенкомъ, не умѣвшимъ ни на минуту возвыситься надъ воззрѣніями папеньки и маменьки.

Слушая лекціи Шлейермахера, профессора теологіи, Кирѣевскій находилъ, что Шлейермахеръ слишкомъ много разсуждаетъ, и что современному мыслителю слѣдуетъ воздерживаться отъ анализа подробностей. Избавляю себя отъ обязанности выписывать то мѣсто, въ которомъ Кирѣевскій произноситъ сужденіе надъ Шлейермахеромъ, и прошу читателей моихъ, желающихъ познакомиться съ этимъ сужденіемъ, пробѣжать въ I томѣ 42-ю страницу матеріаловъ.

Въ Берлинѣ Кирѣевскій познакомился съ Гегелемъ, и на него сильно подѣйствовала чарующая мысль, что онъ окруженъ *первоклассными умами Европы*; онъ выразилъ эту мысль въ письмахъ на родину; съ первоклассными умами онъ говорилъ «о политикѣ, о философіи, о религіи, о поэзіи»; какъ на него подѣйствовали сужденія первоклассныхъ умовъ объ этихъ высокихъ предметахъ, онъ не пишетъ. Развивалъ ли онъ самъ передъ ними свои наивно-ребяческія понятія и правилось ли имъ его нетронутое простодушіе, онъ также не сообщаетъ. Сношенія Кирѣевскаго съ Гегелемъ и его знакомыми продолжались очень недолго и потому не успѣли произвести прочнаго впечатлѣнія. Кирѣевскій съ любопытствомъ осмотрѣлъ мнѣнія первоклассныхъ умовъ, какъ осматриваютъ диковинки какого-нибудь музеума, и оставилъ эти мнѣнія нетронутыми вѣроятно потому, что они рѣзко расходились съ его стремленіями и казались ему непригодными для жизни.

Въ концѣ 1830 года Кирѣевскій возвратился въ Россію. Впечатлѣнія его заграничной жизни глубоко запали въ его воспріимчивый умъ и выразились въ искреннемъ сочувствіи къ западному просвѣщенію, въ сильномъ желаніи провести въ русскую жизнь начала лучшей цивилизаціи. Въ теченіе 1831 года онъ собралъ матеріалы для изданія журнала, составилъ себѣ кругъ сотрудниковъ и въ 1832 году выпустилъ въ свѣтъ двѣ первыя книжки журнала «Европеецъ». Сочувствіе Кирѣевскаго къ западному просвѣщенію обнаружилось въ его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ», открывшей собою его журналъ и выразившей въ общихъ чертахъ ту программу, которой намѣренъ былъ слѣдовать издатель. Въ этой статьѣ проведена мысль о необходимости постояннаго умственнаго общенія между Европой и Россіей. «Ибо просвѣщеніе одинокое, говоритъ Кирѣевскій, китайски отдѣльное, должно быть и китайски ограниченное: въ немъ нѣтъ жизни, нѣтъ блага, ибо нѣтъ прогрессіи, нѣтъ того успѣха, который добывается только совокупными усиліями человѣчества». Въ этой статьѣ можно замѣтить только одинъ существенно важный недостатокъ — крайнюю голословность и бездоказательность. Въ подтвержденіе своихъ идей Кирѣевскій не приводитъ ни одного факта. Вся статья вертится на отвлеченныхъ умозрѣніяхъ; Кирѣевскій составляетъ себѣ какую-то химическую формулу европейской образованности и потомъ, отвернувшись отъ дѣйствительныхъ фактовъ, смотритъ только на эту формулу, передвигаетъ и перетасовываетъ ея ингредіенты и подводитъ такіе итоги, которые столько же похожи на дѣйствительность, сколько списокъ примѣтъ, означенныхъ въ отпускномъ билетѣ, похожъ на живого владѣтеля этой бумаги.

Все сочувствіе Кирѣевскаго къ европейской цивилизаціи улетучивается въ общихъ мѣстахъ и въ фразахъ; если оно не выражается въ междометіяхъ и восклицаніяхъ, то это происходитъ единственно оттого, что Кирѣевскій старается вездѣ выдерживать тонъ серьезнаго и основательнаго мыслителя. На самомъ-же дѣлѣ въ его статьѣ, кромѣ внѣшняго тона, нѣтъ ничего солиднаго и основательнаго; онъ беретъ изъ Гизо (не указывая на источникъ) его мнѣніе о томъ, что европейская цивилизація сложилась изъ трехъ элементовъ: изъ остатковъ классическаго міра, изъ христіанства и изъ германскаго варварства, и на эту тему начинаетъ разыгрывать варіаціи очень однообразныя, утомительныя и безполезныя. Ни одна реальная сторона европейской жизни не затронута въ этой характеристикѣ девятнадцатаго вѣка. Мы не видимъ даже въ общихъ чертахъ, какъ живутъ люди въ Европѣ, какъ смотрятъ другъ на друга различныя сословія, къ чему стремятся отдѣльныя личности и цѣлыя партіи, какія потребности жизни отражаются въ литературѣ. Видно, что благоговѣніе Кирѣевскаго передъ первоклассными умами Европы еще продолжается; ему нѣтъ дѣла до того, что ѣстъ французскій блузникъ, пьетъ дѣла до того, что говоритъ на своемъ митингѣ англійскій ремесленникъ, нѣтъ дѣла до того, какъ богатая буржуазія эксплоатируетъ пролетаріевъ и какъ буржуа, хозяинъ въ своемъ домѣ и въ своей семьѣ, давитъ индивидуальное развитіе своихъ сыновей и дочерей; бытовые вопросы, возникающіе въ европейской жизни и составляющіе ея животрепещущій и общечеловѣческій интересъ, проходятъ мимо его просвѣщеннаго ума, занятаго недосягаемо высокими интересами и аристократическими идеальными стремленіями. Продолжая восхищаться первоклассными умами Европы, Кирѣевскій очевидно думаетъ, что эти-то первоклассные умы, т. е. дюжины двѣ нѣмецкихъ профессоровъ философіи, олицетворяютъ въ своихъ особахъ самые характерные моменты европейской цивилизаціи. Кирѣевскому кажется, что

мысль Шеллинга о сущности истиннаго познанія имѣетъ міровое значеніе, и что, высказавши эту мысль въ научной формѣ, Шеллингъ сдѣлалъ истинно великое открытіе, просто въ конецъ разодолжилъ все человѣчество. Придавая такое колоссальное значеніе нѣмецкой умозрительной философіи, Кирѣевскій конечно забываетъ, что врядъ ли одна сотая часть всего населенія западной Европы интересуется діалектическими построеніями нѣмецкихъ профессоровъ, и что даже эта сотая не выноситъ для себя изъ такихъ діалектическихъ построеній ничего существеннаго. Если подъ именемъ цивилизаціи подразумѣвать тѣ формы, въ которыя укладывается жизнь отдѣльнаго человѣка и народа, то умозрительная философія получитъ право участвовать въ картинѣ цивилизаціи настолько, насколько она содѣйствуетъ развитію и измѣненію бытовыхъ формъ и жизненныхъ отношеній. Въ этомъ случаѣ она электрическимъ токомъ проходитъ черезъ тысячи работающихъ головъ; когда же эта умозрительная философія ограничивается построеніемъ формулъ, тогда она оставляется на долю досужимъ людямъ, которыхъ не помяла желѣзная рука вседневной заботы и которымъ пріятно носиться въ отвлеченныхъ пространствахъ, вмѣсто того, чтобы смотрѣть на горе окружающихъ людей и помогать имъ дѣломъ и совѣтомъ.

Умозрительная философія—пустая трата умственныхъ силъ, безцѣльная роскошь, которая всегда останется непонятной для толпы, нуждающейся въ насущномъ хлѣбѣ. Этого не понимали ни Гегель, ни Шеллингъ; этого конечно не понялъ и Кирѣевскій. Вмѣсто того, чтобы взглянуть на умозрительную философію какъ на хроническое повѣтріе, какъ на болѣзненный паростъ, развившійся вслѣдствіе того, что живыя силы, стремившіяся къ практической дѣятельности, были насильственно сдавлены и задержаны, Кирѣевскій преклоняется передъ философами, какъ передъ вожаками европейской мысли, любуется ими, какъ цвѣтомъ и надеждой европейской цивилизаціи. Замѣчательно, что масса читателей обыкновенно сочувствуетъ мыслителю только въ какомъ-нибудь одномъ, часто очень узкомъ, часто чрезвычайно широкомъ примѣненіи его идеи. Масса беретъ только практическій выводъ и обыкновенно дѣлаетъ этотъ выводъ такъ смѣло и такъ рѣзко, что самъ мыслитель пугается и пятится назадъ. Анабаптисты и крестьянскія войны были практическимъ выводомъ идей Лютера и Меланхтона, и Лютеръ вмѣстѣ съ Меланхтономъ испугались и прокляли свое собственное дѣло. Такъ-же точно Гегель, Шеллингъ и всѣ прочіе предводители «нѣмецкаго любомудрія» прокляли бы тѣ неожиданные выводы, которые дѣлаетъ Кирѣевскій на основаніи ихъ идей и ихъ дѣятельности. Этимъ «первокласснымъ» умамъ Европы пришлось бы краснѣть отъ стыда и досады, если бы они узнали, что ихъ въ Россіи гладятъ по головкѣ за то, что они показали неудовлетворительность чистаго разума, составили реакцію противъ энциклопедистовъ XVIII вѣка и такимъ образомъ натолкнули европейскій Западъ на возвратный путь... Кирѣевскій, какъ мягкосердный московскій юноша, сросшійся съ идеями своего роднаго города, увидалъ и понялъ въ нѣмецкихъ философахъ только то, что имѣло сходство съ его стремленіями.

Чтобы согласить свое уваженіе къ первокласснымъ умамъ Европы съ своей слѣпой привязанностью къ тому, что толковали ему съ дѣтства маменька да няпюшка, Кирѣевскій употребилъ довольно ловкій маневръ: онъ говоритъ, что Гегель тѣмъ великъ и полезенъ, что, доведя раціонализмъ до крайнихъ предѣловъ, онъ показалъ недостаточность чистаго разума и убѣдилъ людей въ необходимости искать другихъ источниковъ познаванія, «очистилъ дорогу къ храму живой мудрости». Вотъ, думаетъ Кирѣевскій, Западъ увидалъ, что на своихъ философахъ далеко не уѣдешь, вотъ онъ погорюетъ, погорюетъ, да и обратится къ намъ за совѣтомъ, а мы конечно дадимъ ему совѣтъ въ московскомъ духѣ; Западъ прислушается, увидитъ, что это «добро зѣло», скажетъ подобно князю Владиміру, что, отвѣдавъ сладкаго, уже не хочешь горькаго, и заживемъ мы съ Западомъ душа въ душу, какъ жили съ нимъ слишкомъ лѣтъ тысячу тому назадъ. Въ такихъ-то краскахъ рисуются Кирѣевскому будущія отношенія между цивилизаціями Россіи и Европы. Эти краски въ его статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ» положены такъ легко, что онѣ проходятъ незамѣтными для невнимательнаго читателя; Кирѣевскій въ этой статьѣ напираетъ всего больше на то, что мы должны сближаться съ Европой и заимствовать у пея образованность, но за этими словами слышится тайная надежда: будетъ и на нашей улицѣ праздникъ; придетъ къ намъ Европа просить ума-разума, и мы великодушно подѣлимся съ нею нашими духовными благами. Въ статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ» выразились такимъ образомъ два главныхъ момента умственной жизни Кирѣевскаго; на эту статью положили свою печать дѣтство Кирѣевскаго и его путешествіе заграницу; первое отразилось въ теплотѣ чувства и въ робости мысли, второе—въ искреннемъ, но голословномъ и необъяснимомъ сочувствіи къ европейской цивилизаціи. Чему сочувствуетъ Кирѣевскій—мы не видимъ. На что ему нужна Европа—не понимаемъ. Словомъ, во всей статьѣ переплетается московскій сантиментализмъ съ какимъ-то сердечнымъ влеченіемъ къ европейскому Западу. При этомъ должно замѣтить, что это неопредѣленное, сердечное влеченіе не имѣетъ ничего общаго съ сознательнымъ уваженіемъ зрѣлаго человѣка къ оцѣненной и провѣренной идеѣ.

III.

Еслибы Кирѣевскій, управляя журналомъ, продолжалъ уяснять себѣ и публикѣ свои стремленія и симпатіи, то, вѣроятно, онъ договорился бы до какихъ-нибудь осязательныхъ результатовъ; онъ увидалъ бы противорѣчіе между европеизмомъ и московской сантиментальностью и склонился бы опредѣленнымъ образомъ на ту или другую сторону. Пока впечатлѣніе заграничнаго путешествія было еще свѣжо и сильно, можно было надѣяться, что западный элементъ возьметъ верхъ надъ воспоминаніями дѣтства; но тутъ къ несчастью непредвидѣнныя обстоятельства насильственно прервали дѣятельность Кирѣевскаго. «Европеецъ» прекратился на первыхъ двухъ книжкахъ. Люди съ сильнымъ характеромъ раздражаются неудачами; ихъ энергія удваивается при борьбѣ съ препятствіями; ихъ убѣжденія становятся строже и послѣдовательнѣе, обозначаются отчетливѣе, рѣзче и неумолимѣе. Но съ Кирѣевскимъ этого не могло случиться: онъ упалъ духомъ, пересталъ писать, сталъ внимательно пересматривать свои убѣжденія и во многомъ измѣнилъ ихъ осповной характеръ. Онъ конечно не прививалъ къ себѣ искусственно такихъ идей, которыя гармонировали бы съ обстоятельствами; онъ не сталъ бы себя насиловать, не поплылъ сознательно по теченію, но, какъ человѣкъ въ высшей степени впечатлительный, онъ испыталъ отъ этой неудачи самое сильное потрясеніе; встревоженный и огорченный, онъ усомнился въ самомъ себѣ; ему пришло въ голову, что можетъ быть это *само Провидѣніе* даетъ ему спасительный урокъ, что можетъ быть онъ заблуждался и указывалъ своимъ согражданамъ такой путь развитія, который не соотвѣтствуетъ ихъ потребностямъ.

Когда въ умѣ Кирѣевскаго началось это тяжелое раздумье, когда ему такимъ образомъ представился случай, подъ вліяніемъ житейской невзгоды, выковать себѣ убѣжденіе зрѣлаго человѣка, тогда воспоминанія дѣтства въ полной яркости и отчетливости представились его встревоженному воображенію. Окружающія впечатлѣнія, Москва и Долбино (родовое имѣніе Кирѣевскихъ) взяли верхъ надъ европейскими тенденціями, пробудившимися во время заграничной поѣздки и выразившимися въ прерванной дѣятельности молодого журналиста. Эти тенденціи, въ которыхъ было такъ много неяснаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ такъ много искренняго, эти тенденціи, изъ которыхъ при другихъ условіяхъ могло выработаться много хорошаго и разумнаго, отошли на задній планъ, завяли и зачахли, уступивъ свое мѣсто другимъ воззрѣніямъ, мрачнымъ, безплоднымъ и безжизненнымъ.

Если можно сближать литературный типъ съ личностью дѣйствительно существовавшаго человѣка, то я позволю себѣ сравнить участь Кирѣевскаго съ судьбою Лизы изъ «Дворянскаго гнѣзда» Тургенева. И Кирѣевскій, и Лиза носили въ себѣ съ дѣтства зародыши того разложенія, которое современемъ погубило и извратило ихъ богатыя умственныя силы; оба они, и Кирѣевскій, и Лиза, были способны жить разумною жизнью; если бы имъ благопріятствовало счастье, то Лиза не пошла бы въ монастырь, а Кирѣевскій остался бы вѣренъ чисто европейскимъ тенденціямъ; но когда надъ ними обрушилась бѣда, тогда въ нихъ поднялись всѣ ихъ мистическіе инстинкты, и оба кончили очень дурно.

Прекративъ изданіе «Европейца», Кирѣевскій сосредоточился и въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ написалъ только двѣ небольшія статьи; когда онъ снова началъ высказываться въ печати, тогда направленіе его мыслей оказалось уже существенно измѣненнымъ. Составитель матеріаловъ для біографіи Кирѣевскаго находитъ конечно, что это измѣненіе было важнымъ шагомъ впередъ; я скажу съ своей стороны, что это измѣненіе было глубокимъ и окончательнымъ паденіемъ.

Обо многихъ людяхъ, шедшихъ по тому пути, по которому пошелъ Кирѣевскій, можно сказать просто: туда имъ и дорога! Но о Кирѣевскомъ нельзя не пожалѣть, какъ нельзя напримѣръ не пожалѣть о Гоголѣ. Несмотря на то, что его умъ никогда не дошелъ до самоосвобожденія, ему невозможно отказать въ значительной степени даровитости. Онъ не доводитъ никакой идеи до послѣднихъ предѣловъ, но въ діалектическомъ развитіи этой идеи онъ всегда обнаруживаетъ гибкость ума и логическую находчивость. Логика Кирѣевскаго скована пристрастіями и предразсудками, но, отстаивая эти пристрастія и предразсудки, онъ пускаетъ въ ходъ самые разнообразные діалектическіе пріемы и дѣйствуетъ на читателя не силой послѣдовательности, а разнообразіемъ и наглядностью аргументовъ. Онъ не мыслитель; онъ просто человѣкъ горячо чувствующій и старающійся убѣдить читателя въ нормальности и законности своихъ симпатій. Люди, одаренные отъ природы непобѣдимой логикой здраваго смысла, конечно увидятъ, къ чему клонятся усилія Кирѣевскаго, и не поддадутся ни его доводамъ, ни теплотѣ чувства, разлитаго въ его статьяхъ.

Что же касается до людей слабыхъ, чувствительныхъ и способныхъ увлекаться, то на нихъ могутъ подѣйствовать въ высшей степени тенденціи Кирѣевскаго, прикрытыя приличною литературною формою, соглашенныя наружнымъ образомъ съ интересами гуманнаго развитія и подкрашенныя научными терминами и именами философовъ.

Когда Кирѣевскій толкуетъ объ общихъ историческихъ вопросахъ, о потребностяхъ народа и человѣчества, тогда онъ оказывается совершенно не на своемъ мѣстѣ. У него не хватаетъ широты взгляда и силы ума, для того, чтобы охватить подобные вопросы во всемъ ихъ величіи и чтобы, обсуживая ихъ, не забиться въ какую-нибудь трущобу, изъ которой нѣтъ выхода на свѣжій воздухъ. Объ Европѣ и о Россіи онъ судитъ вкривь и вкось, не зная фактовъ, не понимая ихъ и стараясь доказать всему читающему міру, что и философія, и исторія, и политика нуждаются для своего оживленія именно въ тѣхъ понятіяхъ, которыя были привиты ему самому. Тотъ же Кирѣевскій, имѣя дѣло съ частнымъ вопросомъ, съ небольшимъ явленіемъ, не превышающимъ пониманія обыкновеннаго человѣка, оказывается очень тонкимъ цѣнителемъ, очень остроумнымъ критикомъ и безпристрастнымъ судьею.

Въ его мелкихъ статьяхъ разсыпано много удачныхъ замѣчаній о нашей вседневной жизни, объ уродливыхъ и смѣшныхъ явленіяхъ, встрѣчающихся на каждомъ шагу въ нашемъ несложившемся обществѣ. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Кирѣевскій въ своей статьѣ «Горе отъ ума» на московскомъ театрѣ:

«Философія Фамусова и теперь еще кружитъ намъ головы: мы и теперь, такъ же какъ въ его время, хлопочемъ и суетимся изъ ничего, кланяемся и унижаемся безкорыстно, только изъ удовольствія кланяться; ведемъ жизнь безъ цѣли, безъ смысла; сходимся съ людьми безъ участія, расходимся безъ сожалѣнія; ищемъ наслажденій минутныхъ и не умѣемъ наслаждаться. И теперь, такъ же какъ при Фамусовѣ, дома наши равно открыты для всѣхъ: для званыхъ и незваныхъ, для честныхъ и для подлецовъ. Связи наши составляются не сходствомъ мнѣній, не сообразностью характеровъ, не одинаковою цѣлью въ жизни и даже не сходствомъ нравственныхъ правилъ; ко всему этому мы совершенно равнодушны. Случай насъ сводитъ, случай разводитъ и снова сближаетъ безъ всякихъ послѣдствій, безъ всякаго значенія».

Эти слова, по моему мнѣнію, выражаютъ вѣрный и безпощадный взглядъ на пустую жизнь нашего общества, на отсутствіе въ немъ общихъ интересовъ, на узкую ограниченность той сферы, въ которой мы живемъ и стараемся дѣйствовать. Ясно, что Кирѣевскій, выражая подобныя мысли, не мирился съ несовершенствами нашей дѣйствительности и считалъ необходимымъ исправленіе этихъ недостатковъ. Причину недостатковъ онъ видитъ въ томъ, что «изъподъ европейскаго фрака выглядываетъ остатокъ русскаго кафтана, и что, обривши бороду, мы еще не умыли лица». Средство исцѣленія заключается, по его мнѣнію, въ сближеніи съ Европой, въ усвоеніи общечеловѣческихъ идей, въ уничтоженіи особенности и неподвижности. Всѣ эти идеи здравы и вѣрны; въ положительной ихъ части, т. е. тамъ, гдѣ Кирѣевскій указываетъ на то, что должно дѣлать, можно замѣтить ту же отвлеченную голословность, которую мы уже видѣли въ статьѣ «Девятнадцатый вѣкъ». Что же касается до отрицательной части, т. е. до перечисленія недостатковъ, то должно сознаться, что въ ней много справедливаго и даже оригинальнаго. Кирѣевскій глубоко чувствовалъ безалаберность русской жизни, и это чувство выразилось въ его произведеніяхъ въ очень разнообразныхъ формахъ; порою онъ является обличителемъ житейскихъ нелѣпостей, порою выражаетъ свое сочувствіе къ тѣмъ лучшимъ единицамъ, которыя страдаютъ въ душной атмосферѣ, порою самъ тоскливо стремится вонъ изъ дѣйствительности въ міръ мечты или въ область отвлеченнаго умозрѣнія. Въ небольшой статьѣ его «О русскихъ писательницахъ» можно найти нѣсколько горячо прочувствованныхъ страницъ. Кирѣевскій понимаетъ, что женщина, чувствующая потребность высказаться передъ своими согражданами, принуждена бороться въ Россіи со многими и положительными, и отрицательными препятствіями; онъ понимаетъ, что трудъ женщины далеко не получилъ еще у насъ права гражданства, что женщина, предоставленная своимъ собственнымъ силамъ, принужденная преодолѣвать предубѣжденіе однихъ, равнодушіе другихъ, непониманіе третьихъ, рискуетъ умереть съ голоду, несмотря ни на свою даровитость, ни на свое образованіе, ни на искреннее стремленіе къ честному и общеполезному труду. Если этого уже нѣтъ теперь, если въ наше время даровитая писательница пользуется всеобщимъ уваженіемъ, то это было иначе въ 30-хъ годахъ, когда писалъ Кирѣевскій; тогда вообще кругъ читающей публики былъ гораздо тѣснѣе, и кромѣ того, предубѣжденіе противъ литературнаго труда женщины имѣло свое значеніе въ обществѣ и въ семействѣ. Вотъ напр. краткій разсказъ Кирѣевскаго объ одномъ замѣчательномъ фактѣ тогдашней литературы и жизни:

«Недавно, говоритъ онъ, россійская академія издала стихотворенія одной русской писательницы, которой труды займутъ одно изъ первыхъ мѣстъ между произведеніями нашихъ дамъ-поэтовъ, и которая до сихъ поръ оставалась въ совершенной неизвѣстности. Судьба кажется отдѣлила ее отъ людей какою-то страшной бездной, такъ что, живя посреди ихъ, посреди столицы, ни она ихъ не знала, ни они ее. Они оставили ее, не зная для чего; она оставила ихъ для своей Греціи — для Греціи, которая кажется одна наполняла всѣ ея мечты и чувства; по крайней мѣрѣ о ней одной говоритъ каждый стихъ изъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ, написанныхъ ею. Странно: семнадцати лѣтъ, въ Россіи,

дѣвушка бѣдная, бѣдная со всею своею ученостью! Знать восемь языковъ, съ талантомъ поэзіи соединять талантъ живописи, музыки, танцованья, учиться самымъ разнороднымъ наукамъ, учиться безпрестанно, работать все дѣтство, работать всю первую молодость, работать, начиная день, работать отдыхая; написать три большихъ тома стиховъ по-русски, можетъ быть столько-же на другихъ языкахъ; въ *свободное время* переводить трагедіи, русскія трагедіи — и все для того, чтобы умереть въ 17 лѣтъ, въ бѣдности, въ крайпости, въ неизвѣстности!»

Въ этомъ живомъ разсказѣ о неизвѣстныхъ трудахъ, объ этой глухой борьбѣ съ нуждой, объ этой молодой жизни, испепелившейся въ безплодныхъ усиліяхъ, слышенъ голосъ человѣка, способнаго чувствовать и понимать чужое горе. Въ этомъ разсказѣ слышится страшный укоръ нашей жизни. Отчего дѣвушка даровитая, работающая изо всѣхъ силъ, обладающая значительными свѣдѣніями, тратитъ время на безполезные стихи о Греціи, не находитъ въ русской жизни матеріаловъ для своей дѣятельности и умираетъ безпомощная, непризнанная, никому не нужная, никѣмъ и ничѣмъ не согрѣтая?

Кирѣевскій глубоко сочувствуетъ тѣмъ постояннымъ огорченіямъ, которыя впечатлительная душа женщины испытываетъ ежеминутно при разнообразныхъ столкновеніяхъ съ уродливыми явленіями *нашей* жизни. Онъ понимаетъ, что женщина, одаренная живымъ эстетич. чувствомъ, можетъ и должна стремиться въ какую-нибудь болѣе изящную и гармоническую среду.

«Италія, кажется, сдѣлалась ея вторымъ отечествомъ, говоритъ онъ объ одной изъ нашихъ писательницъ, и впрочемъ кто знаетъ? Можетъ быть необходимость Италіи есть общая, неизбѣжная судьба всѣхъ, имѣвшихъ участь, ей подобную? Кто изъ первыхъ впечатлѣній узналъ лучшій міръ на землѣ, міръ прекраснаго; чья душа, отъ перваго пробужденія въ жизнь, была, такъ сказать, взлелѣяна на цвѣтахъ искусствъ и образованности, въ теплой итальянской атмосферѣ изящнаго; можетъ быть для того уже нѣтъ жизни безъ Италіи, и синее итальянское небо, и воздухъ, исполненный солнца и музыки, и итальянскій языкъ, проникнутый всею прелестью нѣги и граціи, и земля итальянская, усѣянная великими воспоминаніями, покрытая, зачарованная созданіями геніальнаго творчества—можетъ быть все это становится уже не прихотью ума, но сердечною необходимостью, единственнымъ неудушающимъ воздухомъ для души, избалованной роскошью искусствъ и просвѣщенія».

Любуясь изящнымъ произведеніемъ, Кирѣевскій невольно сравниваетъ гармонію этого произведенія съ нестройностью окружающей жизни; онъ чувствуетъ разладъ, существующій между міромъ мечты и міромъ сѣренькой дѣйствительности, и самое эстетическое наслажденіе переходитъ въ тихое чувство грусти. «Все слишкомъ идеальное, говоритъ онъ, даже при свѣтлой наружности, рождаетъ въ душѣ печаль, оттѣненную какимъ-то магнетическимъ сочувствіемъ; такова одинокая, чистая пѣснь, прославленная сквозь нестройный, ее заглушающій шумъ; такова жизнь дѣвушки съ душой пламенной, мечтательной, для которой изъ міра событій существуютъ еще одни внутреннія». Пожалуйста, гг. читатели, не останавливайтесь на внѣшней сантиментальности, которою грѣшитъ это мѣсто; вглядитесь въ основную мысль, вникните въ то настроеніе, которое выразилось въ этихъ тихихъ изліяніяхъ грусти, поставьте себя на мѣсто Кирѣевскаго, перенеситесь въ его время, и вы увидите, что причины этой грусти были очень реальныя.

У Кирѣевскаго разсѣяно въ его статьяхъ много замѣчательныхъ мыслей; чисто литературная критика его отличается вѣрностью эстетическаго чутья. Замѣчательнѣе другихъ его произведеній статья о стихотвореніяхъ Языкова. Приведу изъ нея нѣсколько выписокъ, выражающихъ отношенія автора къ общимъ вопросамъ жизни.

«Мы часто, говоритъ Кирѣевскій, считаемъ людьми нравственными тѣхъ, которые не нарушаютъ приличій, хотя бы впрочемъ жизнь ихъ была самая ничтожная, хотя бы душа ихъ была лишена всякаго стремленія къ добру и красотѣ. Если вамъ случалось встрѣчать человѣка, согрѣтаго чувствами возвышенными, но одареннаго притомъ сильными страстями, то вспомните и сочтите, сколько нашлось людей, которые поняли въ немъ красоту души, и сколько такихъ, которые замѣтили одни заблужденія. Странно, но правда, что для хорошей репутаціи у насъ лучше совсѣмъ не дѣйствовать, чѣмъ иногда ошибаться, между тѣмъ есть-ли на свѣтѣ что-нибудь безнравственнѣе равнодушія».

Вотъ замѣчательная мысль Кирѣевскаго объ отношеніяхъ между жизнью и искусствомъ:

«Но когда является поэтъ оригинальный, открывающій новую область въ мірѣ прекраснаго и прибавляющій такимъ образомъ новый элементъ къ поэтической жизни своего народа— тогда обязанность критики измѣняется. Вопросъ о достоинствѣ художественномъ становится уже вопросомъ второстепеннымъ, даже вопросъ о талантѣ является неглавнымъ, но мысль, одушевлявшая поэта, получаетъ интересъ самобытный, философическій; и лицо его становится идеей, и его созданія становятся прозрачными, такъ что мы не столько смотримъ на нихъ, сколько сквозь нихъ, какъ сквозь открытое окно, стараемся разсмотрѣть самую внутренность новаго храма и въ немъ божество, его освящающее.

«Оттого, входя въ мастерскую живописца

обыкновеннаго, мы можемъ удивляться его искусству; но передъ картиною художника творческаго забываемъ искусство; стараясь понять мысль, въ ней выраженную, постигнуть чувство, зародившее эту мысль, и прожить въ воображеніи то состояніе души, при которомъ она исполнена. Впрочемъ и это послѣднее сочувствіе съ художникомъ свойственно однимъ художникамъ-же; но вообще люди сочувствуютъ съ нимъ только въ томъ, что въ немъ чисто человѣческаго: съ его любовью, съ его тоской, съ его восторгами, съ его мечтою утѣшительницею, однимъ словомъ, съ тѣмъ, что происходитъ внутри его сердца, не заботясь о событіяхъ его мастерской.

«Такимъ образомъ на нѣкоторой степени совершенства искусство само себя уничтожаетъ, обращаясь въ мысль, превращаясь въ душу».

Вотъ сужденіе Кирѣевскаго объ особенностяхъ поэзіи Языкова:

«Если мы вникнемъ въ то впечатлѣніе, которое производитъ на насъ его поэзія, то увидимъ, что она дѣйствуетъ на душу какъ вино, имъ воспѣваемое, какъ какое-то волшебное вино, отъ котораго жизнь двоится въ глазахъ нашихъ: одна жизнь является намъ тѣсною, мелкою, вседневною;—другая праздничною, поэтическою, просторною. Первая угнетаетъ душу; вторая освобождаетъ ее, возвышаетъ и наполняетъ восторгомъ. И между сими двумя существованіями лежитъ явная, бездонная пропасть; но черезъ эту пропасть судьба бросила нѣсколько живыхъ мостовъ, по которымъ душа переходитъ изъ одной жизни въ другую: это любовь, это слава, дружба, вино, мысль объ отечествѣ, мысль о поэзіи и, наконецъ, тѣ минуты безотчетнаго, разгульнаго веселья, когда звуки сердца заглушаютъ ему голосъ окружающаго міра—звуки, которыми сердце обязано собственной молодости болѣе, чѣмъ случайному предмету, ихъ возбудившему».

Я можетъ быть утомилъ читателя выписками, но мнѣ хотѣлось дать возможно полное понятіе о свѣтлой сторонѣ литературной дѣятельности Кирѣевскаго. Въ этой свѣтлой сторонѣ отразилась способность сочувствовать всѣмъ человѣческимъ ощущеніямъ и понимать чувствомъ всѣ человѣческія слабости и страданія. Кирѣевскій родился художникомъ и, неизвѣстно почему, вообразилъ себя мыслителемъ. Онъ впечатлителенъ, воспріимчивъ, отзывчивъ, способенъ подчиняться чужому вліянію, увлекаться чужими идеями; у него нѣтъ умственной самобытности; онъ постоянно отражаетъ въ себѣ идеи и симпатіи той среды, въ которой онъ живетъ и которую любитъ. Бывши юношей, онъ жилъ тѣмъ, что было втолковано ему въ дѣтствѣ; поѣхавши заграницу, онъ увлекся «первоклассными умами» Европы и началъ стремиться къ западному просвѣщенію, которое было извѣстно ему какъ-то по наслышкѣ да по философскимъ трактатамъ Гегеля и Шеллинга. Воротившись на родину и заслышавъ гулъ московскихъ колоколовъ, онъ крѣпко приросъ къ той родимой почвѣ, о которой убивается журналъ «Время», и вообразилъ себя представителемъ славянскаго любомудрія, необходимаго для спасенія разлагающагося Запада. Но какъ ни глубоко было заблужденіе Кирѣевскаго, оно органически вытекало изъ основныхъ свойствъ его характера, изъ тѣхъ самыхъ свойствъ, которыя выразились въ нѣсколькихъ блестящихъ мысляхъ и горячо прочувствованныхъ страницахъ.

Вотъ, видите-ли, есть люди, которые не могутъ смотрѣть хладнокровнымъ критическимъ взглядомъ на все, что̀ ихъ окружаетъ; имъ необходимо горячо любить, горячо отдаваться чему-нибудь, съ полнымъ самоотверженіемъ служить какому-нибудь принципу или даже какому-нибудь лицу. Когда эти люди успѣваютъ обречь себя на служеніе какой-нибудь великой истинной идеѣ, тогда они совершаютъ великіе подвиги, становятся благодѣтелями своего народа и заслуживаютъ признательность современниковъ и потомковъ. Когда же они ошибаются въ выборѣ своего кумира, тогда они дѣлаются безпутными людьми, поступаютъ въ число гасильниковъ и становятся тѣмъ опаснѣе, чѣмъ ревностнѣе и чистосердечнѣе увлекаются своей привязанностью къ превратной идеѣ. Кирѣевскій чувствовалъ, что многія потребности просвѣщеннаго ума не находятъ себѣ удовлетворенія, что многія обыденныя явленія оскорбляютъ человѣческое чувство. Что-же оставалось ему дѣлать въ такомъ положеніи? Оставалось бороться противъ тѣхъ сторонъ жизни, которыя можно было измѣнить, и мириться съ тѣмъ, что было не подъ силу отдѣльному человѣку. Мирясь съ явленіями жизни чисто внѣшнимъ образомъ, надо было оградить самого себя отъ развращающаго вліянія этой жизни. Надо было, отказываясь отъ фактической борьбы, оставаться насторожѣ и хранить свою умственную самостоятельность среди хаоса невѣжества, насилія и предразсудковъ. Но жить такимъ образомъ, безъ дѣятельной борьбы и безъ страстныхъ привязанностей, значило жить чистымъ отрицаніемъ, не вѣрить ни въ себя, ни въ другихъ, ни въ идею, сознавая безотрадность настоящаго и сомнѣваясь въ возможности лучшаго будущаго. Остановиться на такомъ печальномъ воззрѣніи на жизнь способны очень немногіе люди; чтобы ужиться съ чистымъ сомнѣніемъ въ области науки и жизни, надо обладать значительной трезвостью ума и недюжинной твердостью характера. Но у Кирѣевскаго не было ни того, ни другого; страдая отъ особенностей жизни, онъ не могъ ни свыкнуться съ этими особенностями, ни выстрадать себѣ полное равнодушіе къ этой жизни. Уродливыя явленія мѣшали ему дѣйствовать, но они не мѣшали ему

мечтать, и онъ весь ушелъ въ міръ мечты, унося съ собою свою діалектическую ловкость, которая помогала ему доказывать и себѣ, и другимъ, что мечта его—не мечта, а живая дѣйствительность. Еслибы Кирѣевскій былъ мыслителемъ, еслибы онъ заботился не объ удобствѣ того или другого міросозерцанія, а только о степени его дѣйствительной вѣрности, тогда онъ не сталъ бы утѣшать себя произвольными фантазіями; еслибы онъ былъ чистымъ поэтомъ, тогда онъ просто окружилъ бы себя созданіями собственнаго воображенія, не стараясь связывать эти созданія съ явленіями дѣйствительной жизни. Но, къ сожалѣнію, въ Кирѣевскомъ соединились эти два рѣдко совмѣстные элемента: онъ по природѣ своей—художникъ, а по развитію—ученикъ нѣмецкихъ философовъ. Онъ постоянно мечтаетъ, но воспѣваемые имъ предметы, къ сожалѣнію, вовсе не вяжутся съ поэзіей; вмѣсто того чтобы изображать свои собственныя чувства, настроеніе своей души, наконецъ то или другое, мелкое или крупное событіе, онъ беретъ самыя отвлеченныя темы и пишетъ поэму въ прозѣ о европейской цивилизаціи, объ отношеніяхъ между Западомъ и Россіей, о новыхъ началахъ въ философіи. Такого рода сочиненія оказываются плохими поэмами и плохими разсужденіями.

Личное настроеніе автора не можетъ выразиться въ свободномъ лирическомъ изліяніи, потому что оно сковано логикой, діалектикой и физіономіей дѣйствительныхъ фактовъ. Что-же касается до логики автора, то она конечно стоитъ ниже всякой критики, потому что ея дѣло—доказывать то, во что Кирѣевскому пріятно вѣрить. «Логическій выводъ, говоритъ собиратель матеріаловъ, думая похвалить своего героя, былъ у Кирѣевскаго всегда завершеніемъ и оправданіемъ его внутренняго вѣрованія и никогда не ложился въ основаніе его убѣжденія». Въ сочиненіяхъ Кирѣевскаго хороши только тѣ мѣста, въ которыхъ онъ является чистымъ поэтомъ, тѣ мѣста, въ которыхъ онъ безсознательно выражаетъ всю полноту своего чувства. Повѣсти Кирѣевскаго (изъ которыхъ окончена только одна «Опалъ») очень плохи, потому что въ нихъ преобладаетъ головной элементъ; онѣ сбиваются на аллегоріи или же на разсужденія на заданную тему. У Кирѣевскаго не хватило бы творческой силы на то, чтобы обдумать и создать художественно-стройное цѣлое; у него мечтательность выражается въ общемъ направленіи мысли, а сильное воодушевленіе появляется только проблесками и продолжается недолго; я выписалъ почти всѣ тѣ мѣста, въ которыхъ Кирѣевскій, увлекаясь лирическимъ порывомъ, производитъ на читателя сильное и вполнѣ гармоническое впечатлѣніе. Такихъ мѣстъ въ двухъ томахъ очень не много, и эти мѣста тонутъ въ сотняхъ дидактическихъ, утомительно-скучныхъ и глубоко-безполезныхъ страницъ.

IV.

Направленіе, по которому пошелъ Кирѣевскій послѣ своего двѣнадцатилѣтняго бездѣйствія, называется *православно*-славянскимъ. Задатки этого направленія заключаются еще въ основныхъ положеніяхъ его статьи «Девятнадцатый вѣкъ», но эти положенія получили полное развитіе и принесли обильные плоды впослѣдствіи, въ его отвѣтѣ Хомякову, въ письмѣ къ графу Комаровскому, въ критическихъ статьяхъ, помѣщавшихся въ «Москвитянинѣ», и въ послѣдней его философской статьѣ, украсившей собою страницы покойной «Русской Бесѣды». Всѣ эти статьи большей частью посвящены сравненію европейской цивилизаціи съ русской. Существованіе самобытной русской цивилизаціи, процвѣтавшей «во время оно» и задавленной реформою Петра, составляетъ въ глазахъ Кирѣевскаго неопровержимый фактъ, не требующій никакихъ доказательствъ. Эта русская цивилизація восхваляется всѣми возможными возгласами и причитаньями; сравнивая ее съ западной, Кирѣевскій находитъ, что она не въ примѣръ лучше; онъ останавливается на этомъ сравненіи съ особенной любовью и съ трогательнымъ патріотическимъ самодовольствомъ; главное преимущество, которое онъ находитъ въ русской цивилизаціи, заключается въ томъ, что русская цивилизація не проникнута раціонализмомъ и не подчинена господству разума. Чтобы доказать, что Кирѣевскій считаетъ это свойство дѣйствительнымъ и важнымъ преимуществомъ, и что дѣятельность разума кажется ему въ высшей степени опасной, я приведу слѣдующую цитату изъ его письма къ графу Комаровскому. Она очень длинна и скучна, но читатель узнаетъ изъ нея замысловатое міросозерцаніе Кирѣевскаго и убѣдится въ томъ, что русская цивилизація стоитъ неизмѣримо выше западной.

„Но остановимся здѣсь и соберемъ вмѣстѣ все сказанное нами о различіи просвѣщенія западно-европейскаго и древне-русскаго; ибо, кажется, достаточно уже замѣченныхъ нами особенностей для того, чтобы, сведя ихъ въ одинъ итогъ, вывести ясное опредѣленіе характера той и другой образованности.

«Христіанство проникало въ умы западныхъ народовъ черезъ ученіе одной римской церкви,—въ Россіи оно зажигалось на свѣтильникахъ всей церкви православной; богословіе на Западѣ приняло характеръ разсудочной отвлеченности,—въ православномъ мірѣ оно сохранило внутреннюю цѣльность духа; тамъ раздвоеніе силъ разума, здѣсь—стремленіе къ ихъ живой совокупности; тамъ движеніе ума къ истинѣ посредствомъ логическаго сцѣпленія понятій, здѣсь—стремленіе къ ней посредствомъ внутренняго возвышенія самосознанія къ сердечной цѣльности и средоточію разума; тамъ исканіе наружнаго, мертваго единства, здѣсь—стремленіе къ внутреннему, живому; тамъ церковь смѣшалась

съ государствомъ, соединивъ духовную власть со свѣтскою и сливъ церковное и мірское значеніе въ одно устройство смѣшаннаго характера, въ Россіи—она оставалась не смѣшанною съ мірскими цѣлями и устройствомъ; тамъ схоластическіе и юридическіе университеты, въ древней Россіи—молитвенные монастыри, сосредоточивавшіе въ себѣ высшее знаніе; тамъ разсудочное и школьное изученіе высшихъ истинъ, здѣсь—стремленіе къ ихъ живому и цѣльному познаванію; тамъ взаимное проростаніе образованности языческой и христіанской, здѣсь—постоянное стремленіе къ очищенію истины; тамъ государственность изъ насилій завоеванія, здѣсь—изъ естественнаго развитія народнаго быта, пропикнутаго единствомъ основного убѣжденія; тамъ враждебная разграниченность сословій, въ древней Россіи—ихъ единодушная совокупность при естественной разновидности; тамъ искусственная связь рыцарскихъ замковъ съ ихъ принадлежностями составляетъ отдѣльныя государства, здѣсь—совокупное согласіе всей земли духовно выражаетъ нераздѣлимое единство; тамъ поземельная собственность—первое основаніе гражданскихъ отношеній, здѣсь собственность—только случайное выраженіе отношеній личныхъ; тамъ законность формально-логическая, здѣсь—выходящая изъ быта; тамъ наклонность права къ справедливости внѣшней, здѣсь—предпочтеніе внутренней; тамъ юрисприденція стремится къ логическому кодексу, здѣсь—вмѣсто наружной связности формы съ формою, ищетъ она внутренней связи правомѣрнаго убѣжденія съ убѣжденіями вѣры и быта; тамъ законы исходятъ искусственно изъ господствующаго мнѣнія, здѣсь они рождались естественно изъ быта; тамъ улучшенія всегда совершались насильственными перемѣнами, здѣсь—стройнымъ естественнымъ возрастаніемъ; тамъ волненіе духа партій, здѣсь—незыблемость основного убѣжденія; тамъ прихоть моды, здѣсь твердость быта; тамъ шаткость личной самозаконности, здѣсь крѣпость семейныхъ и общественныхъ связей; тамъ щеголеватость роскоши и искусственность жизни, здѣсь простота жизненныхъ потребностей и бодрость нравственнаго мужества; тамъ изнѣженность мечтательности, здѣсь—здоровая цѣльность разумныхъ силъ; тамъ внутренняя тревожность духа при разсудочной увѣренности къ своемъ нравственномъ совершенствѣ, у русскаго—глубокая тишина и спокойствіе внутренняго самосознанія при постоянной недовѣрчивости къ себѣ и при неограниченной требовательности нравственнаго усовершенія; однимъ словомъ, тамъ раздвоеніе духа, раздвоеніе мыслей, раздвоеніе наукъ, раздвоеніе государства, раздвоеніе сословій, раздвоеніе общества, раздвоеніе семейныхъ правъ и обязанностей, раздвоеніе нравственнаго и сердечнаго состоянія, раздвоеніе всей совокупности и всѣхъ отдѣльныхъ видовъ бытія человѣческаго, общественнаго, и частнаго; въ Россіи, напротивъ того, преимущественное стремленіе къ цѣльности бытія внутренняго и внѣшняго, общественнаго и частнаго, умозрительнаго и житейскаго, искусственнаго и нравственнаго. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то *раздвоеніе* и *цѣльность*, *разсудочность* и *разумность* будутъ послѣднимъ выраженіемъ западно-европейской и древне-русской образованности".

Читатель долженъ помнить, что всѣ великія достоинства, о которыхъ говоритъ Кирѣевскій, принадлежатъ только древне-русской цивилизаціи. Мы, современные русскіе люди, должны только вздыхать о томъ, что намъ не пришлось насладиться этими благами, и что мы, по своей крайней испорченности, потеряли даже способность любить и уважать эту милую старину. Изслѣдователь древне-русскаго быта могъ бы пожалуй возразить Кирѣевскому, что въ древней Руси было плохое житье; что тамъ били батогами не на животъ, а на смерть, что судъ никогда не обходился безъ пытки; что рабство или холопство существовало въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, что мужья хлестали своихъ женъ шелковыми и ременными плетками, а блюстители нравственности, вродѣ Сильвестра, уговаривали ихъ только не бить зря, по уху или по видѣнію. Много подобныхъ возраженій могъ бы привести изслѣдователь, но Кирѣевскій не обратилъ бы на нихъ никакого вниманія; онъ сказалъ бы, что все это мелкія, внѣшнія, случайныя явленія, не касающіяся внутренней идеи, что сущность нашей цивилизаціи остается неприкосновенной, что принципъ ея великъ и непогрѣшимъ, не смотря на всѣ продѣлки, творившіяся подъ покровомъ этого принципа. На такіе убѣдительные доводы изслѣдователь конечно не нашелъ бы отвѣта. Подобно этому предполагаемому изслѣдователю, мы преклоняемся передъ непонятной мудростью мыслителя-поэта и съ трепетомъ живой надежды прислушиваемся къ его обѣтованіямъ, открывающимъ намъ перспективу лучшей, просвѣтленной жизни. Изъ слѣдующихъ словъ его мы узнаемъ, что мы еще не совсѣмъ погибли, что и для насъ есть возможность спасенія:

«Но корень образованности Россіи живетъ еще въ ея народѣ и, что всего важнѣе, онъ живетъ въ его святой, православной церкви. Потому на этомъ только основаніи, и ни на какомъ другомъ, должно быть воздвигнуто прочное зданіе просвѣщенія Россіи... Построеніе же этого зданія можетъ совершиться тогда, когда тотъ классъ народа нашего, который не исключительно занятъ добываніемъ матеріальныхъ средствъ жизни, и которому, слѣдовательно, въ общественномъ составѣ преимущественно предоставлено значеніе—вырабатывать мысленно общественное самосознаніе,—когда этотъ классъ, говорю я, до сихъ поръ проникнутый западными понятіями, наконецъ полнѣе убѣдится въ односторонности европейскаго просвѣщенія; когда онъ живѣе почувствуетъ потребность новыхъ умственныхъ началъ; когда съ разумною жаждой полной правды онъ обратится къ чистымъ источникамъ древней православной вѣры своего народа и чуткимъ сердцемъ будетъ прислушиваться къ яснымъ еще отголоскамъ этой святой вѣры отечества въ прежней, родимой жизни Россіи. Тогда, вырвавшись изъ-подъ гнета разсудочныхъ системъ европейскаго любомудрія, русскій образованный человѣкъ, въ глубинѣ особеннаго, недоступнаго для западныхъ понятій, живого, цѣльнаго умозрѣ-

нія святыхъ отцовъ церкви, найдетъ самые полные отвѣты именно на тѣ вопросы ума и сердца, которые всего болѣе тревожатъ душу, обманутую послѣдними результатами западнаго самосознанія. А въ прежней жизни отечества своего онъ найдетъ возможность понять развитіе другой образованности".

Мнѣ нечего прибавлять къ этимъ словамъ. Они сами говорятъ за себя.

V.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о критической статьѣ, помѣщенной въ «Современникѣ» подъ заглавіемъ «Московское слово». Эта статья своею бездоказательностью и голословіемъ можетъ поспорить съ философскими поэмами самого Кирѣевскаго. Всѣ представители православно-славянскаго направленія — Хомяковъ, К. Аксаковъ, Кирѣевскій стушеваны подъ одинъ колеръ; у всѣхъ на лбу прицѣпленъ ярлыкъ съ написью «славянофилъ», и всѣ они совершенно лишены своей индивидуальной физіономіи; славянофильство принимается за какое-то умственное повѣтріе, свалившееся на Москву, какъ снѣгъ на голову, и заразившее собой цѣлый кружокъ людей, очень честныхъ и очень неглупыхъ. Внѣшніе признаки славянофильства описаны въ общихъ чертахъ, но изъ этого описанія читатель никакъ не можетъ составить себѣ понятія о томъ, какъ возникло это направленіе мысли, и почему именно оно пришлось по душѣ Кирѣевскому, Хомякову и компаніи. Если закоренѣлые обскуранты смотрятъ на нововведенія, какъ на дьявольскую прелесть, пущенную въ міръ для соблазна и погибели православныхъ христіанъ, то должно сознаться, что нѣкоторые отчаянные и черезчуръ запальчивые прогрессисты смотрятъ на явленія, подобныя славянофильству, какъ на какое-то чудовищное и необъяснимое порожденіе духа тьмы и зла. Обскуранты и прогрессисты нисколько не похожи другъ на друга по образу мыслей, но тѣ и другіе, сражаясь съ враждебными имъ явленіями, увлекаются за предѣлы благоразумія, теряютъ способность хладнокровно анализировать, и, впадая въ декламацію, берутъ фальшивыя ноты, вредящія тому дѣлу, которое они защищаютъ.

Вмѣсто того, чтобы прослѣдить развитіе Кирѣевскаго, Хомякова и другихъ славянофиловъ, вмѣсто того, чтобы разсмотрѣть тѣ свойства этихъ людей, которыя породили въ нихъ недовѣріе къ дѣятельности разума, словомъ, вмѣсто того, чтобы объяснить славянофильство какъ психологическій фактъ, критикъ «Современника» вдается въ совершенно безплодную полемику съ положеніями славянофильскихъ теорій.

Спорить съ славянофилами—это право странно; благоразумный человѣкъ не станетъ ни опровергать отрывочныхъ восклицаній, ни смѣяться надъ несвязной рѣчью. Онъ будетъ наблюдать, изучать развитіе и причины и сообщать результаты своихъ изслѣдованій другимъ людямъ, способнымъ и желающимъ его слушать.

Славянофильство—не повѣтріе, идущее неизвѣстно откуда, это—психологическое явленіе, возникающее вслѣдствіе неудовлетворенныхъ потребностей. Кирѣевскому хотѣлось жить разумной жизнью, хотѣлось наслаждаться всѣмъ, чего проситъ душа живого человѣка, хотѣлось любить, хотѣлось вѣрить... Въ дѣйствительности не нашлось матеріаловъ; а между тѣмъ онъ полюбилъ ее, объидеализировалъ ее, раскрасилъ ее по своему и сдѣлался рыцаремъ печальнаго образа, подобно незабвенному Донъ-Кихоту, любовнику несравненной Дульцинеи Тобозской. Славянофильство есть русское донъ-кихотство; гдѣ стоятъ вѣтряныя мельницы, тамъ славянофилы видятъ вооруженныхъ богатырей; отсюда происходятъ ихъ вѣчно-фразистыя, неясныя бредни о народности, о русской цивилизаціи, о будущемъ вліяніи Россіи на умственную жизнь Европы. Все это—донъ-кихотство, всегда искреннее, часто трогательное, большею частью непостоянное.

ВОЛЬНЫЕ РУССКІЕ ПЕРЕВОДЧИКИ.

„Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ" и „Поэты всѣхъ временъ и народовъ".

Переводы В. Д. Костомарова и Ѳ. Н. Берга. Москва. 1860—1862 г.

I.

Грустное впечатлѣніе производятъ книги, о которыхъ рѣшительно нельзя сказать, для кого онѣ написаны; одни не найдутъ въ нихъ ничего новаго, другіе—ничего замѣчательнаго, третьи—ничего понятнаго. Для дѣтей пишутъ элементарныя руководства витіеватымъ языкомъ, народу сообщаютъ первыя необходимыя свѣдѣнія, не

умѣя избѣгать научныхъ терминовъ, для русской публики переводятъ иностранныхъ поэтовъ такъ своеобразно, что человѣкъ, знающій подлинникъ, не узнаетъ его въ переводѣ, а незнающій пожалуй и вовсе не доищется смысла. Къ числу такихъ безцѣльныхъ и безплодныхъ явленій въ области книжной торговли относится «Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ», изданный въ Москвѣ Ѳ. Бергомъ и В. Д Костомаровымъ. На ихъ книжку стоитъ обратить вниманіе, во 1-хъ, потому, что она своей внѣшностью и именами переведенныхъ поэтовъ можетъ расположить публику въ свою пользу, во-2-хъ, потому, что переводчики обѣщаютъ продолжать свое изданіе, если первый выпускъ будетъ имѣть успѣхъ. Въ сборникъ вошли имена Гюго, Беранже, Гейне, итальянскихъ патріотовъ-поэтовъ, Шамиссо, Трегера, и двухъ датчанъ, Андерсена и Эленшлегера. Почему выбрали именно этихъ поэтовъ и почему изъ ихъ твореній выбрали именно такія-то стихотворенія—остается неразрѣшимымъ вопросомъ. Сборникъ не носитъ на себѣ никакого опредѣленнаго характера; руководящей идеи не видно ни въ группировкѣ поэтовъ, ни въ выборѣ стихотвореній. Въ переводахъ съ итальянскаго господствуетъ конечно политическое направленіе; объ остальныхъ нельзя сказать ничего общаго; при чтеніи многихъ переведенныхъ стихотвореній рождается невольно вопросъ, чѣмъ они обратили на себя вниманіе переводчика, и для чего онъ тратилъ время и трудъ, чтобы познакомить русскую публику съ безцвѣтными и даже не особенно граціозными лирическими стихотвореніями. Стоило ли переводить съ датскаго «Фіалки», гдѣ говорится, что «счастливый мальчикъ манитъ въ садъ цвѣточки-глазки, а что кругомъ звенятъ голоски: иди же въ садъ, иди же въ садъ». Все стихотвореніе написано для того, чтобы сравнить глазки дѣвушки съ фіалками, и это стихотвореніе переводится на русскій языкъ въ то время, когда наша критика серьезно и дѣльно упрекаетъ нѣкоторыхъ нашихъ лириковъ въ бѣдности содержанія. Зачѣмъ же брать отъ другихъ то, чего у самихъ черезчуръ много, и брать въ такое время, когда всякій здравомыслящій человѣкъ сознастъ излишество разныхъ неудавшихся подражаній «Новой веснѣ» Гейне.

Стихотворенія съ датскаго какъ-то особенно неудачно выбраны. Какъ вамъ понравится, напримѣръ, «Умирающее дитя»? Ребенокъ при смерти, и говоритъ со своей мамашей о томъ, какъ прилеталъ къ нему ангелъ; замѣчательно то, что онъ говоритъ такъ же спокойно и рѣчисто, какъ учитель риторики. Всякій предметъ обозначенъ эпитетомъ, и картина выходитъ очень яркая; есть и радужное крыло, и лазурное облако, и золотой кругъ, и пестрые цвѣты, и райскій запахъ,—словомъ, нужно полное отсутствіе эстетическаго чувства, чтобы не понять, что это стихотвореніе—наборъ словъ, въ которомъ нѣтъ ни естественности, ни чувства; а Бергъ перевелъ его.—Онъ перевелъ также стихотвореніе «У колодезя», и вотъ его содержаніе: дѣвочка смотритъ въ колодезь и припоминаетъ разсказы своей матери о томъ, какъ мудрая женщина приноситъ ей дѣтей изъ колодца; при этомъ у нея рождается желаніе добыть себѣ ребенка и замѣнить имъ куколку, что все очень наивно—спору нѣтъ, но вѣдь ужъ кромѣ наивности ровно ничего, а наивность какъ-то не прививается къ русскому здравому смыслу и переходитъ въ приторность. Если прибавить къ этому, что стихотвореніе переведено размѣромъ «Конька-горбунка», то не покажется удивительнымъ, что наивность датскаго подлинника принимаетъ въ русскомъ переводѣ характеръ плоской двусмысленности. Затѣмъ слѣдуетъ стихотвореніе съ припѣвомъ: «говорятъ, говорятъ!», которое можно было бы напечатать развѣ только въ покойномъ «Весельчакѣ»—до такой степени при претензіи на остроуміе оно вяло и пусто. По этимъ четыремъ плохимъ стихотвореніямъ русская публика осуждена составить себѣ понятіе объ Андерсенѣ. Что можно подумать? Что это поэтъ безъ міросозерцанія, безъ эстетическаго чувства, даже безъ фантазіи. Чтобъ оправдать Андерсена, посмотримъ, что̀ перевелъ изъ него Шамиссо, замѣчательный лирикъ и человѣкъ съ тонкимъ и развитымъ вкусомъ. Вотъ напр. буквальный переводъ стихотворенія «Märzveilchen», взятаго имъ изъ Андерсена; это же стихотвореніе вошло въ «Сборникъ» подъ заглавіемъ «Фіалки». Сравню ихъ по строфамъ:

Шамиссо:

Сводъ небесный блеститъ чистой синевой;
Морозъ расписалъ стекла цвѣтами;
На окнѣ красуются сверкающіе цвѣты;
Юноша, глядя на нихъ, стоитъ передъ окномъ.
А за цвѣтами еще цвѣтетъ
Пара голубыхъ веселыхъ глазъ—
Мартовскія фіалки, какихъ тотъ и не видывалъ.
Иней растаетъ отъ живого дыханія;
Ледяные цвѣты начинаютъ таять.
Убереги Богъ молодого человѣка.

Бергъ:

Блескъ солнца въ небѣ голубомъ,
И пѣнье, и весна кругомъ;
Въ окошкѣ пестрые цвѣты
Глядятъ на садикъ съ высоты.
А изъ-за нихъ смѣясь глядятъ
Фіалки-глазки въ пестрый садъ.
Счастливый мальчикъ тамъ стоитъ,
Цвѣточки-глазки въ садъ манитъ;
И голоски кругомъ звенятъ:
Иди же въ садъ, иди же въ садъ!

У Шамиссо мы видимъ легкую, остроумную шутку талантливаго поэта, мы видимъ граціозный образъ, въ которомъ поэтъ выражаетъ вліяніе женской красоты. У Берга ничего этого

не видно. Изъ Андерсена можно было выбрать и получше; укажу напримѣръ на стихотвореніе: «Müllergesell», переведенное Шамиссо, представляющее самый тонкій психологическій анализъ и проникнутое теплой задушевностью. Изъ Эленшлегера Бергъ перевелъ сцену трагедіи «Гаконъ Ярлъ». Сцена эта замѣчательно ничтожна и заключаетъ въ себѣ только взаимныя угрозы двухъ витязей: Гакона и Олафа. Ни замѣчательной мысли, ни драматической живости дѣйствія, ни психологической вѣрности анализа! Что понравилось тутъ Бергу, это остается совершенно непонятнымъ. Еслибы совсѣмъ откинуть переводы изъ датскихъ поэтовъ, отъ этого нисколько не потерялъ бы сборникъ.

Съ Шамиссо В. Костомаровъ обращается очень безцеремонно. Въ стихотвореніи «Старая прачка» онъ откинулъ весь послѣдній куплетъ, не пояснивъ причины. Физіономія стихотворенія совершенно измѣнена. Шамиссо изображаетъ дѣятельную, бодрую старуху, живущую честнымъ трудомъ и сохранившую до сѣдыхъ волосъ физическое здоровье и нравственную энергію. В. Костомаровъ представляетъ страдалицу, несшую тяжкій крестъ, плачущую надъ работой и не рѣшающуюся роптать на Господа. Можетъ быть оба типа одинаково законны и важны, но только Шамиссо написалъ не то, что перевелъ В. Костомаровъ. Шамиссо говоритъ: «она честнымъ прилежаніемъ наполняла тотъ кругъ, который отвелъ ей Господь». В. Костомаровъ переводитъ: «И безъ ропотанія на Господа несла тотъ тяжкій крестъ, который ей послалъ онъ». Смѣшалъ ли переводчикъ *Kreis* и *Kreutz*, или сознательно отступилъ отъ подлинника — все равно, колоритъ отъ этого во всякомъ случаѣ измѣняется.

Шамиссо: Она несла долю жены; не было недостатка въ заботахъ; она ходила за больнымъ мужемъ, она родила ему троихъ дѣтей; она положила его въ гробъ и не потеряла вѣры и надежды.

Костомаровъ:

И съ кроткою покорностью сносила
Обязанность суровую жены.
Мужъ у нея сварливый былъ, больной.
Трехъ дочекъ отъ него она имѣла,
И не осталось съ нею ни одной—
Но все перенести она умѣла.

Сварливость мужа, суровая обязанность жены—двѣ черты, прибавленныя переводчикомъ.

Шамиссо:

Она стала работать ножницами и иголкой
И собственноручно сшила себѣ
Безукоризненный саванъ.

Костомаровъ:

Она беретъ наперстокъ и иголку,
Шьетъ саваны дрожащею рукою
Безъ ропота... Лишь плачетъ втихомолку.

Это совершенно не то, что говоритъ Шамиссо. Отчего плачетъ прачка, отчего у нея дрожатъ руки—это не пояснено никакъ, да и совершенно не въ ея характерѣ; въ слѣдующемъ куплетѣ Шамиссо говоритъ, что она съ удовольствіемъ всякое воскресенье смотритъ на свой саванъ. Объ удовольствіи, съ которымъ дѣлаетъ это старая прачка, В. Костомаровъ умалчиваетъ. Точно также стихотвореніе «Нищій и его собака» представлено не въ переводѣ, а скорѣе, какъ варіація на данную тему. Бѣдный нищій, у котораго разрывается сердце въ то время, какъ онъ надѣваетъ петлю на шею своей собаки, названъ у В. Костомарова «злодѣемъ». О собакѣ сказано, что она «вдругъ околѣла» на могилѣ хозяина, точно будто съ нею сдѣлался апоплексическій ударъ. По признанію самихъ переводчиковъ лучше всего переведены у нихъ стихотворенія Гюго «съ сохраненіемъ какъ образовъ, такъ даже и эпитетовъ подлинника». Посмотримъ, что это за переводъ. Вотъ напримѣръ картина разрушенія Содома и Гоморры. Курсивомъ напечатано въ подлинникѣ то, чего нѣтъ въ переводѣ, а въ переводѣ то, чего нѣтъ въ подлинникѣ.

Ce peuple s'éveille	*Туча грозная реветъ,*
Qui dormait la veille	*Вихорь крыши съ зданій рветъ,*
Sans penser à Dieu.	И проснулся тотъ народъ,
Les grands palais croulent;	Что вчера, забывъ о Богѣ,
Mille chars qui roulent	*Въ золотомъ* уснулъ *чертогѣ,*
Heurtent leur essieu;	*И въ смятеніи, въ тревогѣ*
Et la foule accourue	*Всѣ изъ города бѣгутъ*
Trouve en chaque rue	*На долину, но и тутъ*
Un fleuve de feu.	Рѣки пламени текутъ.
Sur ses tours altières	*Словно глыбы грудой глины*
Colosses de pierre	*Пали* башни-исполины
Trop mal affermis	И, волнами снесена,
Abondent *dans l'ombre.*	*Пала* былая *стѣна.*
Des mourants sans nombre	*Подъ развалинами сводовъ*
Encore endormis	*Улица* крытыхъ *переходовъ,*
Sur des murs qui pendent;	Не опомнившись отъ сна,
Ainsi se répandent	Гибнутъ тысячи народа
De noires fourmis.	*Въ лавы* огненныхъ *волнахъ.*
Se peut-il qu'on fuie	Гдѣ же намъ искать спасенья
Sous l'horrible pluie?	*Отъ огня и разрушенья?*
Tout périt, hélas!	Все погибло, все, увы!
Le feu bui foudroie	*Всѣ* гранитныя *твердыни*
Bat les ponts qu'il broie,	*Вашей* суетной *гордыни*
Crève les toits plats,	*Въ прахъ повержены, и вы,*
Roule, tombe et brise	*Дѣти мрачнаго Эрева,*
Sur la dalle grise	*Не спасетесь отъ гнѣва*
Ses rouges éclats.	*Бога силъ, Іеговы.*
Sous chaque étincelle	*Туча лопнула отъ жара,*
Grossit et ruisselle	*И отъ каждаго удара* (чего?)
Le feu souverain.	*Ярче* багрово *пожара.*
	и такъ далѣе...

Изъ 32 строкъ переданы приблизительно вѣрно 10, и это вы найдете въ каждомъ стихотвореніи Гюго. Вотъ вамъ и сохраненіе образовъ и эпитетовъ; и хоть бы эти отступленія выкупались художественностью языка, звучностью и вѣрностью стиховъ. Что за риѳмы, что за грамматическія ошибки, что за нарушенія исторической вѣрности въ самовольныхъ отступленіяхъ отъ подлинника! У В. Костомарова считается риѳмами: *сна* и *волнахъ* (стр. 20), *шумомъ* и *другомъ* (21), *праздникъ* и *участникъ* (24), *огромный* и *верховный* (23), *помочь имъ* и *и они* (25), *ни тьми* и *теченье* (25), *разсѣкаетъ* и *чаекъ* (27), *наряды* и *стадо* (27). Всѣ эти примѣры собраны на

семи страницахъ, и между тѣмъ, какія кровавыя жертвы переводчикъ приноситъ риѳмѣ. Для того, чтобы найти третью риѳму къ словамъ *своды* и *народы*, В. Костомаровъ употребляетъ выраженіе: *Лавы пламенныя воды* (19). Для риѳмы онъ называетъ жителей Содома и Гоморра *дѣтьми мрачнаго Эрева* и сливаетъ представленія греческой миѳологіи съ еврейскими преданіями. Онъ пишетъ *шире пламенный потокъ* и вслѣдъ затѣмъ для риѳмы небеса *сыплютъ огненный песокъ*, который для сожженія провинившихся городовъ былъ уже собственно излишенъ при потокахъ огненной лавы, но для стиха именно при потокѣ и оказался необходимымъ. А главное хорошо то, что въ подлинникѣ нѣтъ ни *пламенныхъ водъ лавы*, ни *дѣтей Эрева*, ни *огненнаго песку*. Это все отъ переводчика и для риѳмы. В. Костомаровъ для риѳмы сочиняетъ новыя слова и даже не поясняетъ ихъ значенія:

Драгоцѣнная тіара
Занялась на немъ какъ *фара*.

Что такое *фара?* Сличаю съ подлинникомъ и вижу тамъ *phare*, риѳмующее въ *tiare*, и переводящееся русскимъ словомъ *маякъ*. Но ужъ *тіара* и *маякъ*, даже на снисходительное ухо Костомарова, не покажется риѳмою. Онъ и создалъ *фару*, и риѳма вышла богатая.

А вотъ и грамматическая ошибка во имя риѳмы:

Валы пепла, волны *пламя*
И царя-волхва, и *знамя*
Увлекали за собой.

Пламя, по мнѣнію В. Костомарова, есть родительный падежъ отъ существительнаго того же имени. Но ужъ за то, надо сказать правду, гдѣ Костомаровъ пожертвуетъ здравымъ смысломъ, исторіей или грамматикой, тамъ интересы уха спасены, и риѳма выходитъ блистательная.

Посмотримъ, что же сталось подъ рукою непризванныхъ переводчиковъ съ граціозными, легкими созданіями Гейне и Беранже, которыя такъ легко испортить и которыя такъ часто портили у насъ въ Россіи и въ журналахъ, и въ отдѣльныхъ изданіяхъ. Въ сборникѣ мы находимъ между прочимъ переводъ прелестной пѣсни Беранже «La couronne retrouvée». Въ подлинникѣ вложенъ въ эту пѣсню цѣлый міръ чувства. Тутъ есть и грусть, и добродушный юморъ, и слезы сквозь улыбку, и то любовное отношеніе ко всему живому, ко всякой искренней радости, которое составляетъ вѣчно свѣжую и господствующую черту поэзіи Беранже. Все это выражается просто, какъ Богъ послалъ, все это какъ будто не сознаетъ собственной прелести и оттого становится еще прелестнѣе. Добрый, честный, любящій старикъ смотритъ на увядшій вѣнокъ и, вспоминая прошлое, поневолѣ съ грустью относится къ настоящему. Но уже самое это тихое настроеніе грусти исключаетъ всякій цинизмъ, всякое ожесточеніе противъ настоящаго. Вотъ какъ говоритъ поэтъ о той женщинѣ, которую онъ когда-то любилъ:

Et la beauté tendre et rieuse,
Qui de ces fleurs me couronna jadis?
Vieille, dit-on, elle est pieuse;
Tous nos baisers, les a-t-elle maudits?
J'ai cru que Dieu pour moi l'aurait fait naître,
Mais l'âge accourt qui vient tout effacer.
O honte! et sans la reconnaître
Je la verrais passer.

И вотъ какъ переводитъ это мѣсто В. Костомаровъ:

А та красавица, что бѣлою рукой
Вотъ въ этотъ самый лавръ мнѣ розаны вплетала,
Да, говорятъ, сварливою ханжей
На старости-то лѣтъ моя красотка стала.
Неужели-жъ и я объ ней не пожалѣю
И такъ же, какъ она, забуду страсть свою!
О стыдъ, теперь и я, встрѣчаясь съ нею,
Ее не узнаю.

Я не знатокъ живописи, но мнѣ кажется, что еслибы художникъ арзамасской школы взялся списать Сикстинскую мадонну, то результатъ его трудолюбія былъ бы похожъ на картину Рафаэля столько же, сколько переводъ В. Костомарова похожъ на стихотвореніе Беранже. Посредственныя дарованія любятъ класть краски густо, ярко, чтобъ въ глаза било, чтобъ издали было замѣтно. Вмѣсто картины выходитъ вывѣска. Но это не бѣда! блеститъ по крайней мѣрѣ. Беранже говоритъ: «она богомольная старушка». В. Костомарову это кажется слабо, и онъ ставитъ сварливую ханжу, что конечно выходитъ рельефнѣе. Беранже говоритъ: «я бы можетъ быть не узналъ ее». В. Костомаровъ избавляетъ читателя отъ тягостнаго сомнѣнія: «теперь и я, встрѣчаясь съ нею, ее не узнаю». Не правда ли, такъ будетъ гораздо яснѣе. Впрочемъ, переводчикамъ Богъ проститъ; вѣдь у нихъ разобрать трудно, что дѣлается по глубокимъ эстетическимъ соображеніямъ, и что измѣняется случайно, въ угоду риѳмы; замѣчу мимоходомъ, что *ханжой* риѳмуетъ съ *рукой*, а *узнаю* съ *свою*, и это вѣроятно играетъ не послѣднюю роль въ ряду соображеній, побудившихъ В. Костомарова исковеркать мысль своего подлинника. Слѣдующее затѣмъ стихотвореніе «Фіалки» сплошь набито выдумками В. Костомарова. Напр.

Фіалка бѣдняжка! Апрѣльскій морозъ
Ужъ стелетъ коверъ серебристый,
И бѣлой бахромкой по вѣткамъ березъ
Раскинулся иней пушистый.

Оно гладко и по размѣру, и по риѳмамъ, только къ сожалѣнію выходитъ безсмыслица, да и къ тому же Беранже говоритъ совсѣмъ не то. Если въ апрѣлѣ морозъ уже стелетъ серебристый коверъ, значитъ къ маю должно быть замерзнутъ рѣки, пойдутъ метели, и ужъ тутъ подлинно горе будетъ бѣдняжкѣ-фіалкѣ; при-

дется пуще прежняго *рыдать отъ стужи* (стр. 107). Не мѣшаетъ замѣтить, что у Бераиже нѣтъ ни серебристаго ковра, ни березъ, обшитыхъ бахромкой инея, ни бѣдняжки, ни рыданій, ни даже апрѣля. Все дѣло происходитъ въ началѣ марта; отъ весеннихъ лучей солнца надъ снѣгомъ поднимается паръ, фіалки только немного зябнутъ, и поэтъ предостерегаетъ ихъ, говоря, что разрыхленный снѣгъ можетъ опять скрѣпиться морозомъ. В. Костомаровъ по привычкѣ усилилъ все это и вѣроятно приноровилъ свой переводъ къ русскому климату, перенеся дѣйствіе на апрѣль.

Перейдемъ къ Гейне. О внѣшности перевода говорить нечего; онъ нисколько не лучше всѣхъ остальныхъ, а степень его совершенства я оцѣнилъ уже достаточно, говоря о Гюго. Любопытно теперь посмотрѣть, какъ переводчики *поняли* Гейне; этого поэта нужно знать, чтобъ переводить его; иначе внутренній смыслъ выдохнется, и тамъ, гдѣ у Гейне выражено міросозерцаніе, тамъ въ переводѣ окажется только претензія на оригинальную выходку, лишенную внутренняго содержанія. Наша публика, незнакомая съ нѣмецкимъ языкомъ, положительно не знаетъ Гейне, и въ этомъ виноваты переводчики. Почти всѣ лирическія стихотворенія Гейне переведены, но почти никто не переводилъ ихъ по цикламъ. Въ книгѣ: «Neue Gedichte» есть нѣсколько лирическихъ романовъ, изъ которыхъ каждый названъ именемъ женщины. Анжелика, Катарина, Серафима, Эмма и т. д. состоятъ, какъ извѣстно, изъ ряда лирическихъ стихотвореній, въ которыхъ изображены различные моменты въ развитіи чувства мужчины къ женщинѣ. Наши поэты переводили изъ этихъ цикловъ отдѣльныя стихотворенія, а физіономія Гейне выражается именно въ связи ихъ между собою. Публика наша любитъ Гейне, но положительно не знаетъ его. Переводы Берга и Костомарова могутъ только повредить этому дѣлу, потому что поэтическая личность Гейне ими положительно не понята. Во всякомъ сколько-нибудь характеристическомъ стихотвореніи Гейне самая замѣчательная черта или вовсе опущена, или извращена самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Судя по переводамъ В. Костомарова, можно предположить, что онъ былъ бы поставленъ въ крайнее затрудненіе, еслибы его попросили написать критическую статью о Гейне; а тяжело должно быть переводить поэта, котораго не знаешь и не понимаешь. За примѣрами этого непониманія дѣло не станетъ. Переведена между прочимъ «Пѣсня океанидъ»; вотъ сюжетъ этого стихотворенія, какъ я его понимаю. На берегу сѣвернаго моря сидитъ мужчина и хвалится передъ морскими чайками своимъ блаженствомъ. Тогда океаниды, вслушавшись въ его слова, начинаютъ пѣть ему пѣсню слѣдующаго содержанія:

«Глупый ты, глупый человѣкъ, хвастунъ нелѣпый! Гнететъ тебя тоска! Погибли твои надежды, живыя дѣти сердца, и увы! сердце твое, подобно Ніобѣ, каменѣетъ отъ горя. Въ головѣ у тебя наступаетъ ночь, и сверкаютъ въ ней молніи безумія, и ты съ горя хвастаешь! О, глупый ты человѣкъ, глупый хвастунъ. Ты упрямъ, какъ твой предокъ, великій титанъ, укравшій у боговъ небесный огонь и давшій его людямъ. Измученный коршуномъ, прикованный къ скалѣ, онъ грозилъ Олимпу, не покорялся и стоналъ такъ, что мы это слышали въ глубинѣ моря и пришли къ нему утѣшать его пѣснью. Глупый, глупый ты человѣкъ, хвастливый глупецъ! вѣдь ты еще безсильнѣе. Ты бы сдѣлалъ благоразумно, еслибы сталъ уважать боговъ и терпѣливо перенесъ тяжесть страданія, и несъ бы ее терпѣливо такъ долго, такъ долго, пока самъ Атласъ потеряетъ терпѣнье и сброситъ съ плечъ тяжелый міръ въ вѣчную ночь».

А вотъ переводъ Костомарова:

„Дуракъ ты, дуракъ ты, хвастливый безумецъ!
Жалко тебя намъ!
Тамъ погибаютъ твои золотыя падежды —
Сердца шутливыя дѣти!
И ахъ! твое сердце, подобно Ніобѣ,
Окаменѣетъ отъ скорби великой,
И въ головѣ твоей темная ночь поселится,
И молніи бѣшенства будутъ однѣ лишь блистать въ ней.
Расхвастался ты передъ горемъ - бѣдою!“
И т. д.

На это мѣсто перевода стоитъ обратить вниманіе. Не говоря уже о грубомъ незнаніи нѣмецкаго языка, выражающемся въ томъ, что В. Костомаровъ переводитъ «Kummergequälter» — «жаль мнѣ тебя» «*dahin gemordet*» — «*тамъ* погибаютъ», настоящія времена глаголовъ — будущими и пр., любопытно посмотрѣть, какъ понята вся идея стихотворенія.

Что хотѣлъ сказать Гейне, или, вѣрнѣе, что сказалось въ его поэтическомъ образѣ? — То, что человѣкъ съ разбитымъ сердцемъ, съ лопнувшими надеждами, съ уничтоженными вѣрованіями, находитъ удовольствіе въ томъ, чтобы упорно говорить о своемъ счастьи, съ цинизмомъ хвастать имъ передъ другими, давая имъ впрочемъ замѣтить свою неискренность, и громкимъ, рѣзкимъ, ожесточеннымъ хохотомъ заглушать голосъ тихой грусти или судорожные вопли страданія. Этотъ человѣкъ становится лицомъ къ лицу съ природою, смотритъ на волнующееся море, на сѣрое небо, и въ виду ихъ безпредѣльности начинаетъ смутно чувствовать мелочность своей неискренности, начинаетъ понимать, что та несокрушимая сила, которою онъ хвастался передъ людьми, даже не успокоивала страданія, а только закрашивала рану.

Страдалецъ перестаетъ рисоваться, фанфаронъ дѣлается на минуту искреннимъ человѣкомъ, и ожесточенный смѣхъ разрѣшается тихими, теплыми слезами ноющей грусти.

Кто читалъ Гейне внимательно, да кто при этомъ знаетъ нѣмецкій языкъ лучше Костомарова, тотъ припомнитъ, что борьба между искренней грустью и натянутымъ смѣхомъ не только составляетъ колоритъ его произведеній, но во многихъ изъ нихъ обращаетъ на себя его особенное вниманіе и дѣлается предметомъ поэтической обработки. В. Костомаровъ этого не знаетъ и потому принимаетъ пѣсню океанидъ за какое-то пророчество о будущихъ страданіяхъ и, кажется, вмѣсто глубокой мысли видитъ во всей пьесѣ только причудливое твореніе фантазіи. Въ стихотвореніи: «Горные голоса» ошибка переводчика еще наивнѣе. Гейне представляетъ, что эхо отвѣчаетъ на слова путника, разспрашивающаго о своей судьбѣ. Оно отвѣчаетъ, повторяя его послѣднія слова, и эти отвѣты, случайно нося на себѣ характеръ грустнаго предзнаменованія, наводятъ уныніе на путника. Въ этомъ поэтическомъ образѣ лежитъ глубокая иронія, но въ нее нужно вдуматься. Все, въ чемъ есть доля мистицизма, все, что основано на одномъ вѣрованіи и не провѣрено критикою мысли — все это случайно, и между тѣмъ всему этому слабое человѣчество придаетъ суевѣрное значеніе, отказываясь во имя бредней отъ живыхъ надеждъ и свѣжихъ радостей жизни. Вотъ смыслъ словъ Гейне. Что В. Костомаровъ не понялъ этой затаенной иронiи — это еще не бѣда, но онъ даже не понялъ, что этотъ горный голосъ—эхо, или забылъ, что эхо повторяетъ послѣднія слова. Путникъ въ переводѣ говоритъ: «или съ темной, холодной могилой». Эхо повторяетъ: *съ* могилой.

Въ третьемъ куплетѣ путникъ говоритъ: «пусть съ любовью могилу встрѣчаютъ», а эхо отвѣчаетъ: «тамъ счастье». Что же это такое? вѣдь это значитъ переводить стихотвореніе, не прочтя его или не умѣя прочесть. Этакъ немудрено выпустить десять книжекъ, подобныхъ разбираемой, немудрено перевести всего Гейне и Беранже, но что же въ нихъ толку? Такія книги сбиваютъ публику съ толку, портятъ эстетическое чувство или отбиваютъ охоту отъ чтенія. Въ личностяхъ Гюго, Беранже и Гейне мы видимъ поэта фантазіи, поэта чувства и поэта мысли. Созданіе фантазіи искажено произвольными прибавками, опущеніями и выдумками, въ которыхъ нѣтъ ни историческаго значенія, ни эстетическаго такта. Выраженіе чувства превратилось въ грубую карикатуру, въ которой нѣтъ даже психологическаго правдоподобія. Проявленіе творческой мысли и разумнаго міросозерцанія не понято и искажено; гдѣ у Гейне иронія, тамъ въ переводѣ наивное оригинальничанье, которое само не понимаетъ своего значенія; гдѣ у Гейне истинное сдержанное чувство, тамъ въ переводѣ — искаженное и водянистое подражаніе непонятому оригиналу.

II.

Полтора года тому назадъ, въ декабрьской книжкѣ «Рус. Слова» за 1860 годъ, я разобралъ «Сборникъ стихотвореній иностранныхъ поэтовъ» въ переводѣ В. Д. Костомарова и Ѳ. Н. Берга. Теперь явился второй выпускъ того же изданія подъ заманчивымъ заглавіемъ: «Поэты всѣхъ временъ и народовъ». Этотъ второй выпускъ отличается отъ перваго своимъ планомъ и составомъ. Издатели сочли нужнымъ помѣстить кромѣ стихотворныхъ переводовъ четыре объяснительныя статьи, написанныя конечно прозою. Кромѣ того, число переводовъ значительно увеличилось; Бергъ и Костомаровъ со времени изданія перваго выпуска успѣли набить руку, такъ что уже теперь въ ихъ переводахъ не встрѣчается тѣхъ диковинокъ, которыя я отмѣтилъ полтора года тому назадъ. Общая цѣль предпріятія, которое кажется намѣрено быть прочнымъ, до сихъ поръ остается необъясненной; почему издатели берутъ тѣхъ или другихъ поэтовъ, тѣ или другія стихотворенія — этого я не знаю, да и сами они, кажется, считаютъ совершенно лишнимъ отдать себѣ въ этомъ отчетъ. Во второмъ выпускѣ мы встрѣчаемъ Бёрнса и Гейне—ну, это понятно! Бёрнсъ и Гейне всегда кстати; затѣмъ мы встрѣчаемъ Шультса, Андерсена и въ видѣ приложенія—легенды сербовъ. Русская публика конечно ничего бы не потеряла, еслибы всего этого она и не встрѣтила. Самую слабую часть книжки составляютъ впрочемъ не стихотворенія, а объяснительныя статьи Костомарова и коротенькое предисловіе, подписанное словомъ: «издатели».

Тутъ, въ этомъ предисловіи, издатели стараются объяснить цѣль своихъ трудовъ и издержекъ, но это имъ плохо удается; оказывается, что предлагаемый сборникъ желаетъ содѣйствовать знакомству русской публики съ поэзіей другихъ народовъ, а что о пользѣ такого знакомства и говорить нечего—потому-де, что она признается всѣми. Впереди, въ туманномъ отдаленіи, издатели видятъ передъ собой заманчивую цѣль: составленіе на русскомъ языкѣ такой антологіи, «какими такъ богата, напримѣръ, хоть нѣмецкая литература». Впрочемъ, эта цѣль кажется имъ настолько великой, что она, по ихъ словамъ, можетъ быть достигнута не скоро. Отдаленность великой цѣли не ослабляетъ однако самоотверженнаго усердія издателей; они надѣются, что роскошное зданіе русской антологіи сложится со временемъ, и что ихъ сборники будутъ служить кирпичами въ рукахъ будущаго зодчаго. Да, воля ваша, го-

ворите, что̀ хотите, смѣйтесь, сколько душѣ угодно, а все-таки издателямъ отрадно думать, что ихъ внуки будутъ держать въ рукахъ толстый in-4°, въ которомъ по алфавиту или по достоинству размѣстятся иностранные «поэты всѣхъ вѣковъ и народовъ», пересаженные на русскую почву трудолюбивыми руками Ѳ. Берга, В. Костомарова и сотрудниковъ. Пріятно даже воображать себѣ въ будущемъ плоды собственной общественной дѣятельности. Вѣдь перевести на русскій языкъ пѣсенку Гейне, это—тоже общественная дѣятельность, хоть лыкомъ шитая, а все дѣятельность. Я отъ души жалѣю о томъ, что не обладаю той пылкостью воображенія, которою одарены издатели; иначе я бы непремѣнно вообразилъ себѣ, что въ настоящую минуту, болтая всякій вздоръ по поводу вздорной книжки, я занимаюсь общественной дѣятельностью, просвѣщаю вкусъ русской публики здравой критикой, разрушаю ветхія понятія... О, общественная дѣятельность, хорошо, что ты у насъ въ Россіи—отвлеченная идея, иначе ты имѣла бы полное право обидѣться, зачѣмъ ни къ селу, ни къ городу призываютъ твое почтенное имя? Кто только не воображаетъ себя дѣятелемъ? всѣ суетятся, всѣ хлопочутъ, и все это дѣлается для пользы общей. Вотъ, напримѣръ, издатели «поэтовъ» составили книжку въ 200 страницъ и пустили ее въ продажу по 1 руб. 25 коп. Подумайте: за 1 р. 25 к. читатель узнаетъ, какъ В. Костомаровъ думаетъ о Бёрнсѣ, какъ тотъ же В. Костомаровъ смотритъ на Гейне, и какъ наши русскіе стихотворцы переводятъ Бёрнса, Гейне, Шультса, Андерсена и сербовъ. Доставить столько наслажденія за такую умѣренную цѣну—это заслуга.

Что же вы хотите доказать всѣми вашими нелѣпыми насмѣшками? спроситъ наконецъ раздосадованный читатель.

А вотъ видите ли, я хочу доказать, что претензіи всегда бываютъ смѣшны. В. Костомаровъ и Бергъ перевели на досугѣ нѣсколько десятковъ стишковъ; имъ захотѣлось ихъ напечатать; желаніе понятное; потомъ, когда накопилось еще нѣсколько пьесъ, захотѣлось повторить то же самое; ну, и печатали бы себѣ просто, безъ затѣй, не распространяясь о цѣли; какая тутъ цѣль! просто, отчего же не перевести, а потомъ, отчего же не напечатать? Нѣтъ, нельзя, самолюбіе одолѣваетъ; надо, видите ли, объяснить появленіе книжки высшими побужденіями, надо привести ее въ связь съ потребностями общества, надо себя заявить. Въ каждомъ изъ насъ сидитъ Петръ Ивановичъ Бобчинскій; не даромъ же Гоголь былъ великій знатокъ русскаго человѣка. У русскаго человѣка бываетъ охота работать, бываютъ и силы; не достаетъ только простора и умѣнья направить свои силы; поэтому онъ или тратитъ ихъ зря въ узенькой сферѣ, или ограничиваетъ всю свою дѣятельность заявленіями о самомъ себѣ; въ нашей литературѣ есть очень много пишущихъ людей, отъ которыхъ мы до сихъ поръ не узнали ни одной идеи; но зато имъ удалось разъ двадцать или тридцать напечатать свою фамилію и извѣстить почтеннѣйшую публику о томъ, что на бѣломъ свѣтѣ живетъ такой-то Ивановъ, Арсеньевъ или Заочный. Принадлежатъ ли издатели къ категоріи непроизводительныхъ дѣятелей нашей литературы — этого еще нельзя рѣшить; во всякомъ случаѣ плоды ихъ дѣятельности еще впереди, въ будущемъ роскошномъ зданіи русской антологіи.

В. Костомарову удались нѣкоторые переводы, но зато его характеристики Бёрнса и Гейне рѣшительно никуда не годятся. Біографія Бёрнса, занимающая 50 страницъ, не что иное, какъ плохая компиляція изъ писемъ Бёрнса, изъ статьи Карлейля о шотландскомъ поэтѣ и изъ разныхъ англійскихъ біографій. Называя произведеніе В. Костомарова плохой компиляціей, я не думаю обвинять составителя въ томъ, что онъ не воспользовался всѣми источниками; источниковъ за глаза довольно, да бѣда въ томъ, что В. Костомаровъ не умѣетъ съ ними справиться, не умѣетъ сгруппировать ихъ и придать имъ даже внѣшнюю стройность. Одни и тѣ же факты повторяются по нѣскольку разъ. «Прекрасная душа» Бёрнса отлетаетъ «на небо» на 16-й страницѣ, и читатель, замѣчая, что впереди еще 34 страницы, начинаетъ надѣяться, что ему дадутъ подробный разборъ произведеній шотландскаго поэта; но онъ ошибается; на 16-й же страницѣ начинается письмо Бёрнса къ доктору Муру, въ которомъ поэтъ разсказываетъ всю свою жизнь, т. е. то, что̀ уже намъ разсказалъ В. Костомаровъ. Это продолжается до 32-й страницы; мы принуждены сознаться, что разсказъ Бёрнса лучше разсказа В. Костомарова, и потому мнѣ кажется, что Костомаровъ могъ бы ограничить свою біографическую дѣятельность придѣлываніемъ нѣкоторыхъ комментаріевъ къ письму Бёрнса; во всякомъ случаѣ печатать подъ-рядъ два разсказа объ одномъ и томъ же предметѣ по меньшей мѣрѣ безполезно; какъ ни замѣчательна личность Бёрнса, а все-таки мнѣ кажется, что русской публикѣ незачѣмъ учить наизусть его біографію; достаточно прочесть ее одинъ разъ. Съ 36-й страницы начинается оцѣнка поэтической дѣятельности Бёрнса. «Бёрнсъ, говоритъ Костомаровъ, былъ народный поэтъ въ высшей степени». Должно сознаться, что эти слова ничего не поясняютъ; названіе народнаго поэта совершенно неопредѣленно; а нарѣчіе «въ высшей степени» показываетъ только, что Костомарову очень хочется расхвалить Бёрнса.

Выписки изъ Карлейля также мало подвигаютъ дѣло впередъ. Какъ вамъ нравится напримѣръ такая характеристика Бёрнса, заим-

ствованная у Карлейля: «добродѣтель живетъ въ его стихотвореніяхъ, какъ будто на зеленыхъ лужайкахъ, и дышитъ воздухомъ горъ; но въ нихъ глубоко залегли слезы, и раздирающій пламень, какъ молнія, скрывается въ капляхъ лѣтняго облачка». Добродѣтель, слезы и раздирающій пламень—вотъ ингредіенты, изъ которыхъ состоитъ поэзія Бёрнса; смѣшайте все это вмѣстѣ въ надлежащей пропорціи, вообразите себѣ при этомъ зеленыя лужайки, воздухъ горъ и лѣтнее облачко, и дѣло съ концомъ; вы получили полное понятіе объ особенностяхъ поэтическаго таланта Роберта Бёрнса; вы скажете можетъ-быть, что всѣ эти разнородные ингредіенты слишкомъ отвлеченны и слишкомъ плохо вяжутся между собой въ вашемъ воображеніи, — я съ вами согласенъ; но Костомаровъ думаетъ иначе. Вся II-я глава (отъ стр. 36 до 48-й) завалена цитатами изъ Карлейля; всѣ эти цитаты очень цвѣтисты и, по правдѣ сказать, совершенно лишены осязательнаго содержанія. Что вы скажете напримѣръ о такой тирадѣ? «Онъ родился поэтомъ; поэзія была небеснымъ элементомъ существа его; на ея крыльяхъ онъ возносился въ область чистѣйшаго эѳира и уже не думалъ больше ни о какомъ другомъ повышеніи. Онъ готовъ былъ перенести и бѣдность, и неизвѣстность, и всѣ бѣдствія, только бы не унизить себя и не осквернить искусства». Мысль очень простая: «Робертъ Бёрнсъ былъ честный человѣкъ, никого не обманывалъ и ни передъ кѣмъ не подличалъ»; но какими узорами расписана эта простая мысль! Тутъ и небесный элементъ, и крылья поэзіи, и вознесеніе въ область чистѣйшаго эѳира, и оскверненіе искусства...

— О другъ мой, Аркадій Николаевичъ, не говори красиво...

А вотъ образчикъ того историческаго мистицизма, который у Карлейля доходитъ до галлюцинаціи. «Байронъ и Бёрнсъ были оба миссіонеры своего времени; цѣль ихъ миссіи была одна и та же—научить людей высочайшему ученію, чистѣйшей истинѣ; они должны были исполнить цѣль своего призванія; до тѣхъ поръ они не могли знать покоя. Тяжко лежало на нихъ это божественное повелѣніе; они изнывали въ тяжелой, болѣзненной борьбѣ, потому что не знали его точнаго смысла; они предугадывали его въ какомъ-то таинственномъ предчувствіи, но должны были умереть, не высказавши его ясно». Тутъ Карлейль не только говоритъ красиво, но даже думаетъ красиво, такъ что вы, при всѣхъ усиліяхъ, не дороетесь ни до какой простой человѣческой мысли. Костомарову это должно нравиться, потому что чѣмъ другимъ, а обиліемъ простыхъ, человѣческихъ мыслей его статьи не грѣшатъ. У него встрѣчаются поползновенія заговорить такъ же красиво, какъ говоритъ Карлейль, но эти попытки остаются слабыми подражаніями. Напримѣръ (стр. 4): «Отъ береговъ Дуна, изъ мазанки Шотландіи выпорхнула полевая ласточка и запѣла свою честную звонкую пѣсенку» (стр. 14). «Напрасно его шотландская муза, полуодѣтая въ національный тартанъ, въ вѣнкѣ изъ орѣшника и терна являлась къ нему какъ благодѣтельная фея и ударомъ волшебной палочки превращала убогую мазанку въ чудный замокъ,—онъ умеръ, какъ жилъ, бѣднымъ фермеромъ, орошая кровавымъ потомъ жадную землю, которая кормила его нуждою». А не лучше ли было бы, вмѣсто того, чтобы съ невѣроятными усиліями сооружать риторическія фигуры, объяснить просто, почему Бёрнсъ всю свою жизнь терпѣлъ нужду; вѣдь изъ разсказа Костомарова этого не видать. Только и видно, что несчастнаго поэта гнететъ злая судьба, но что же это за объясненіе? Или можетъ быть Костомаровъ вѣритъ въ *fatum*, точно такъ же, какъ Карлейль вѣритъ въ историческія миссіи? Въ такомъ случаѣ конечно и объяснять нечего.

Оцѣнка произведеній Бёрнса ограничивается тѣмъ, что Костомаровъ приводитъ нѣсколько его пѣсенъ и прибавляетъ къ каждой изъ нихъ эпитетъ превосходная, прекрасная, прелестная. При такомъ образѣ дѣйствій роль критика оказывается въ высшей степени легкой и пріятной.

Изъ стихотвореній Бёрнса, переведенныхъ въ этомъ выпускѣ, особенно замѣчательна по идеѣ и выполненію небольшая пѣсня: «Прежде всего». Приведу ее цѣликомъ.

Бѣднякъ, будь честенъ и трудись,
Трудись прежде всего;
Холопа встрѣтишь—отвернись
Съ презрѣньемъ отъ него!
Прежде всего, прежде всего
Предъ знатнымъ не блѣднѣй—
Вѣдь знатность штемпель у гиней
И больше ничего!

Пусть черствый хлѣбъ—весь твой обѣдъ,
Изъ поскони кафтанъ;
Другой и въ бархатъ разодѣтъ,
Да плутъ прежде всего.
Прежде всего, прежде всего
Вѣдь титулъ—глупый звонъ.
Бѣднякъ, будь только честенъ онъ—
Король прежде всего!

Вотъ этотъ баринъ—знатный лордъ,
Да что намъ изъ того,
Что онъ своимъ богатствомъ гордъ,
А глупъ прежде всего!
Прежде всего, прежде всего,
Для насъ, дѣтей труда,
Его и лента, и звѣзда
Смѣшны прежде всего!

Холопа въ графы произвесть
Не стоитъ ничего:
Но честнымъ сдѣлать царь—какъ есть—
Не можетъ никого!
Прежде всего, прежде всего
Да будутъ всѣ честны.
Честь—наши высшіе чины
И умъ прежде всего.

Молитесь всѣ, чтобъ Богъ послалъ
Намъ царствіе свое,
Чтобъ честный трудъ на свѣтѣ сталъ
Почетнѣе всего!
Прежде всего, прежде всего,
Отнынѣ и во вѣкъ,
Чтобъ человѣку человѣкъ
Былъ братъ прежде всего.

Первые четыре куплета превосходно выражаютъ гордое сознаніе человѣческаго достоинства и спокойное презрѣніе къ искусственнымъ понятіямъ знатности и свѣтской чести. Пятый куплетъ грѣшитъ піетизмомъ, но послѣднія двѣ строки спасаютъ общее впечатлѣніе. Во всякомъ случаѣ надо сказать спасибо Костомарову за то, что онъ перевелъ это стихотвореніе просто и изящно, сохраняя тотъ оттѣнокъ юмора и ту непринужденность оборотовъ, которыми отличается подлинникъ.

Статья Костомарова о Гейне еще болѣе неудачна, чѣмъ его «Робертъ Бёрнсъ». Эта статья прямо показываетъ, что Костомаровъ не понимаетъ значенія Гейне и даже непосредственнымъ чувствомъ не можетъ оцѣнить его поэзію.

Біографическихъ данныхъ очень немного, да и тѣ, по правдѣ сказать, безполезны; вся наша читающая публика знаетъ эти факты по многочисленнымъ статьямъ, появившимся о Гейне въ журналахъ и предисловіяхъ къ отдѣльнымъ изданіямъ переводовъ изъ Гейне. Стало быть, статья Костомарова имѣетъ главной цѣлью объяснить нашей публикѣ значеніе Гейне, какъ поэта. Посмотримъ, какъ-то Костомаровъ справится съ этой задачей. Нашъ критикъ разбираетъ сначала политическое значеніе поэзіи Гейне и обрушиваетъ на поэта всю тяжесть своего добродѣтельнаго негодованія. Негодуетъ онъ на него, во 1-хъ, за книгу о Бёрне, во 2-хъ, за то, что Гейне получалъ пенсію отъ Людовика-Филиппа; и то, и другое можетъ быть очень нехорошо, но къ сожалѣнію и то, и другое вовсе не относится къ политическому значенію поэзіи Гейне. Беконъ бралъ взятки, Вольтеръ часто воздвигалъ цензурныя преслѣдованія противъ своихъ литературныхъ враговъ, но если мы будемъ говорить о политическомъ значеніи умственной дѣятельности Бекона и Вольтера, то эти факты надо будетъ оставить въ сторонѣ, несмотря на то, что они даютъ обильную пищу добродѣтельному негодованію. Беконъ и Вольтеръ могли быть дрянными людьми, но организація ихъ мозга была великолѣпная, и какъ великіе мыслители и критики людскихъ нелѣпостей, они заслуживаютъ нашу полную признательность. Политическое значеніе ихъ дѣятельности заключается въ томъ вліяніи, которое ихъ идеи оказывали на гражданскую жизнь ихъ общества. Личные поступки этихъ людей часто не имѣютъ съ этимъ вліяніемъ ничего общаго, и до нихъ нѣтъ дѣла тому критику, который разсматриваетъ Бекона или Вольтера со стороны ихъ умственной дѣятельности. Но предположимъ даже, что Костомаровъ хочетъ оцѣнить Гейне, какъ человѣка; даже и въ этомъ случаѣ его добродѣтельное негодованіе безсмысленно и риторично; чтобы бросить камень въ Гейне, надо чувствовать себя очень чистымъ и сильнымъ; надо самому побывать на аренѣ и пережить тѣ испытанія, которыя выпадали на долю Гейне; надо выйти побѣдителемъ изъ этихъ испытаній, чтобы имѣть право винить въ слабости того человѣка, который свихнулся съ прямого пути; иначе строгаго цензора нравовъ можно самого притянуть къ суду общественнаго мнѣнія; можно сказать ему: посмотрите на себя, грозный обвинитель великаго поэта, поройтесь въ вашихъ недавнихъ воспоминаніяхъ, полюбуйтесь на вашу собственную общественную дѣятельность, и тогда, насладившись этимъ поучительнымъ самосозерцаніемъ, перестаньте декламировать противъ чужихъ слабостей и проступковъ, менѣе достойныхъ презрѣнія. Не вашимъ подслѣповатымъ глазамъ отыскивать пятна на свѣтилахъ мысли, подобныхъ Генриху Гейне.

Оцѣнка Гейне, какъ поэта, т. е. собственно эстетическая часть статьи Костомарова, отличается сильными претензіями и жалкой слабостью мысли. Костомаровъ начинаетъ эстетическую часть своего труда слѣдующими словами: «чтобы вполнѣ понять значеніе Генриха Гейне, какъ лирика, необходимо»... Итакъ Костомаровъ собирается «вполнѣ понять значеніе Гейне». Посмотримъ, что будетъ дальше. Дальше оказывается, что простота и непосредственность составляютъ главную силу поэзіи Гейне. «Безъ этой заслуги, говоритъ Костомаровъ, несмотря на все богатство своего таланта, онъ никогда не занялъ бы такого почетнаго, чтобы не сказать перваго мѣста, между нѣмецкими поэтами новаго времени, потому что вліяніе его на литературу, какъ представителя юной Германіи, какъ отвлеченнаго философа, какъ недовольнаго полемика и ироническаго юмориста—далеко не такъ обширно» (стр. 85).

Вотъ это по крайней мѣрѣ ново. Мы узнаемъ, что не содержаніе, не основная мысль, не направленіе поэтической дѣятельности Гейне имѣетъ вліяніе на умы образованныхъ европейцевъ, а форма выраженія. Это открытіе дѣлаетъ честь Костомарову. Если простота и непосредственность сами по себѣ, безъ посторонней помощи, производятъ такое сильное впечатлѣніе, то надо поставить монументъ неизвѣстному автору слѣдующаго стихотворенія:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и въ стужѣ
Мнѣ не хуже.

Это стихотвореніе помѣщено въ грамматикѣ Востокова; въ немъ такъ много простоты и непосредственности, что Костомаровъ, если желаетъ быть послѣдовательнымъ, долженъ признать его лучшимъ перломъ русской поэзіи. Странно только, что Костомаровъ, придающій такое огромное значеніе простотѣ и непосредственности въ поэзіи, самъ даже въ презрѣнную прозу вставляетъ самые диковинные орнаменты; напримѣръ: «сгустившіеся туманы романтизма», «мечущій искры костеръ, медленный пламень котораго пожираетъ древнюю, оффиціальную Германію, заплѣсневѣлую землю филистеровъ», «любовь нечистая, пылающая пламенемъ чувственныхъ наслажденій», «благоухаютъ всею свѣжестью цвѣтка и звенятъ, какъ серебряный колокольчикъ».

— О, другъ мой, Аркадій Николаевичъ, не говори красиво!

Но чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ: къ концу статьи Костомарова мы узнаемъ вещи еще болѣе новыя. Оказывается, что иронія, проникающая собою поэзію Гейне, составляетъ ея главный недостатокъ; вы не вѣрите? Полюбуйтесь слѣдующей тирадой: «Болѣзненно дѣйствуетъ на насъ эта отрицательная сторона всеобъемлющаго таланта Гейне. Эта неискренность, эта непонятная раздвоенность поэта постоянно заставляетъ думать, что самыя возвышенныя, самыя очаровательныя мѣста его лирики—есть мастерски замаскированная иронія» (стр. 100).

Это значитъ другими словами: «всѣмъ бы хорошъ былъ Гейне, кабы не проклятая иронія». Это напоминаетъ мнѣ графа Монталамбера, разсуждающаго объ англичанахъ: «славный народъ, думаетъ онъ, жаль только, что не католики». Вотъ другая тирада на той же страницѣ: «какъ часто стихи его кажутся намъ хорошенькими личиками, строющими самыя нелѣпыя гримасы, какъ часто онъ до самаго конца ничѣмъ не возмущаетъ нашихъ благороднѣйшихъ чувствованій, чтобы тѣмъ внезапнѣе поразить самою мефистофелевской остротой или, что̀ еще хуже, самой обнаженной плоскостью». Да кто же просилъ Костомарова соваться въ переводчики Гейне, если Гейне возмущаетъ его «благороднѣйшія чувствованія», если «мефистофелевскія остроты» оскорбляютъ его щекотливую добродѣтель, если «обнаженныя плоскости» раздражаютъ его фешенебельный слухъ. Ни Гейне, ни русская публика ничего бы не потеряли, если-бы Костомаровъ махнулъ рукою на «ироническаго юмориста» и «недовольнаго полемика». Мало-ли такихъ поэтовъ, которые ни одной строчкой не обнаружатъ ни полемическихъ наклонностей, ни ироніи, ни юмора. Вѣдь перевелъ же Костомаровъ изъ Лонгфелло стихотвореніе «Excelsior!», и сотни такихъ стихотвореній можно было бы отыскать, была бы только охота. Вмѣсто того, чтобы возиться съ гейневской «Германіей», въ которой «рѣшительно неистовствуетъ ѣдкая иронія», было бы гораздо удобнѣе перевести напримѣръ «Мессіаду» Клопштока или «Jocelyn» Ламартина; съ ними и хлопотъ меньше, и «благороднѣйшія чувствованія» остаются нетронутыми; еслибы пришла охота переводить прозу, можно взять Шатобріана, Боссюэта, а еще лучше Ѳому Кемпійскаго. Тутъ уже навѣрное ни одна мефистофелевская острота не нарушитъ плавнаго теченія назидательной рѣчи. Далѣе Костомаровъ обвиняетъ Гейне въ нравственной нечистотѣ. «Нѣтъ, говоритъ онъ, что хотите, а это не та чистая, спасительная любовь, которая должна пылать въ сердцѣ каждаго пѣвца любви, а любовь нечистая, пылающая пламенемъ чувственныхъ наслажденій, и потому-то она вездѣ должна носить въ себѣ сознаніе своего собственнаго ничтожества» (стр. 103). Уличивъ Гейне въ отсутствіи чистой, спасительной любви, Костомаровъ преслѣдуетъ поэта на его смертномъ одрѣ и не безъ соболѣзнованія *доноситъ* читателю, что рабъ Божій Генрихъ Гейне умеръ нераскаяннымъ грѣшникомъ. Того, кто усомнится въ вѣрности моихъ словъ, я прошу заглянуть на стр. 103 и 104 разбираемой мною книги; мнѣ уже надоѣло цитировать Костомарова, да кромѣ того у насъ иногда встрѣчаются въ литературѣ такія милыя выходки, которыя гадко выписывать.

Напрасно Костомаровъ къ имени піетиста Генгстенберга, встрѣчающемуся въ переводѣ «Германіи», дѣлаетъ слѣдующее язвительное замѣчаніе: «Генгстенбергъ, по доносу котораго отнята каѳедра у Фейербаха». Кто такъ близко подходитъ къ Генгстенбергу по воззрѣніямъ, тому слѣдовало бы быть поосторожнѣе въ отзывахъ.

Кто знаетъ? Можетъ быть Генгстенбергъ сдѣлалъ доносъ съ благою цѣлью! Можетъ быть, дѣлая свой доносъ, Генгстенбергъ воображалъ себя такимъ-же полезнымъ общественнымъ дѣятелемъ, какимъ воображаетъ себя Костомаровъ, обличая нераскаяннаго грѣшника и «ироническаго юмориста» Генриха Гейне.

ГЕНРИХЪ ГЕЙНЕ.

I.

Много есть на свѣтѣ хорошихъ книгъ, но эти книги хороши только для тѣхъ людей, которые умѣютъ ихъ читать. Умѣнье читать хорошія книги вовсе не равносильно знанію грамоты. Я оставляю въ сторонѣ тѣхъ отличныхъ и усердныхъ грамотѣевъ, къ разряду которыхъ принадлежитъ чичиковскій Петрушка. Я сосредоточиваю все свое вниманіе на тѣхъ счастливцахъ, которые понимаютъ смыслъ читаемыхъ словъ, предложеній и періодовъ. Разсматривая только этотъ избранный кружокъ, я все-таки прихожу къ тому заключенію, что очень немногіе члены этой умственной аристократіи обладаютъ умѣньемъ читать хорошія книги.

Если вамъ, читатель мой, удалось завоевать себѣ это драгоцѣнное умѣнье, то вы конечно помните, какимъ продолжительнымъ и упорнымъ трудомъ было куплено это завоеваніе. Во времена вашего студенчества вы начали замѣчать, что жизнь совсѣмъ не такая простая и легкая штука, которую можно было бы изучить и постигнуть вполнѣ по наставленіямъ родителей и по казеннымъ учебникамъ, растворившимъ передъ вами двери университета. Наставленія родителей могли дать вамъ нѣсколько хорошихъ привычекъ. Казенные учебники могли сообщить вамъ сотни основныхъ научныхъ истинъ. Но вопросъ: «какъ жить?» остался нетронутымъ. Надъ рѣшеніемъ этого вопроса каждый здоровый человѣкъ долженъ трудиться самъ, точно такъ, какъ женщина должна непремѣнно сама выстрадать рожденіе своихъ дѣтей. Для рѣшенія этого основного вопроса вамъ понадобилось перебрать, пересмотрѣть, провѣрить всѣ ваши понятія о мірѣ, о человѣкѣ, объ обществѣ, о нравственности, о наукѣ и объ искусствѣ, о связи между поколѣніями, объ отношеніяхъ между сословіями, о великихъ задачахъ вашего вѣка и вашего народа. Занимаясь этимъ пересмотромъ, вы замѣчали у себя ошибки, которыхъ до поры до времени нечѣмъ было поправить, и огромные пробѣлы, которыхъ нечѣмъ было пополнить. Вы волновались, ваше безсиліе приводило васъ въ ужасъ, вы тревожно искали отвѣтовъ на такіе вопросы, которыхъ сами не умѣли еще поставить и сформулировать, вы чувствовали, что вамъ необходимы какіе-то матеріалы, какія-то знанія, какое-то положительное содержаніе для мысли; весь вашъ организмъ томился умственными потребностями, но вы сами рѣшительно не могли опредѣлить, въ чемъ именно вы нуждались. Вообще вы были очень похожи на того древняго царя, который видѣлъ страшный сонъ, и потомъ, утромъ, не могъ не только понять, но даже и припомнить его. Отъ придворныхъ гадателей требовалось, чтобы они сначала разсказали, а потомъ объяснили царю его таинственное и ужасное сновидѣніе. Во время вашихъ умственныхъ тревогъ вы также были окружены гадателями, хотя и не придворными. Наставники и товарищи, пережившіе прежде васъ умственный кризисъ, смотрѣли съ кроткимъ и разумнымъ участіемъ на ваши необходимыя мученія. Значительно преувеличивая силу и мудрость этихъ гадателей, вы требовали отъ нихъ, чтобы они разъяснили вамъ ваше состояніе и потребности вашей собственной измученной души, изнемогающей подъ гнетомъ непривычныхъ сомнѣній и неразрѣшимыхъ вопросовъ. Гадатели указывали вамъ на хорошія книги. Вы хватались за нихъ съ звѣрскою жадностью, но, такъ какъ вы не умѣли ихъ читать, то онѣ усиливали ваше безпокойство, погружали васъ въ отчаяніе, или увлекали васъ на такую дорогу, которая не соотвѣтствовала ни вашимъ естественнымъ наклонностямъ, ни окружающимъ васъ обстоятельствамъ мѣста и времени.

По вашимъ пробудившимся умственнымъ потребностямъ вы уже были мужчиною. По вашимъ привычкамъ вы остались еще ребенкомъ. Каждаго умнаго человѣка вы принимали за учителя, каждую хорошую книгу за учебникъ. Васъ не пугали трудности; вы готовы были, вы даже пламенно желали окунуться съ головой въ самую утомительную, самую скучную, самую добросовѣстную работу. Но вы, по старой привычкѣ, хотѣли работать пассивно, не такъ, какъ трудится изслѣдователь, а такъ, какъ занимается ученикъ. Вы готовы были одолѣвать груды книгъ и просиживать цѣлые мѣсяцы въ библіотекѣ, но только съ тѣмъ, чтобы знающій человѣкъ управлялъ вашими занятіями и ручался вамъ за ихъ успѣхъ. Въ кругу вашихъ знакомыхъ вы постоянно искали себѣ *развивателя;* на полкахъ библіотекъ вы старались найти себѣ книгу «*развитіе*». Вы хотѣли, чтобы какой-нибудь человѣкъ или какая-нибудь книга влила въ васъ, какъ въ бутылку, тѣ знанія, идеи и стремленія, которыя необходимы честному и дѣльному работнику нашего времени; вы довѣрялись безусловно и людямъ, и книгамъ; вы не умѣли выбирать; если вамъ нрави-

лась въ человѣкѣ или въ книгѣ одна какая-нибудь сторона, то вы, увлекаясь одной этой стороной, принимали вмѣстѣ съ ней и весь остальной запасъ мыслей, въ которомъ навѣрное было много непригоднаго и несостоятельнаго; если васъ поражала въ человѣкѣ или въ книгѣ какая-нибудь одна очевидная нелѣпость, то вы точно также изъ-за одной этой нелѣпости браковали весь грузъ, въ которомъ навѣрное можно было найти много интересныхъ фактовъ, и даже, быть можетъ, нѣсколько вѣрныхъ и глубокихъ идей. Само собою разумѣется, что ни книги, ни люди не удовлетворяли васъ вполнѣ, потому что вы требовали отъ нихъ невозможнаго; ни одинъ человѣкъ не можетъ быть *развивателемъ*, и ни одна книга не можетъ быть *развитіемъ*. И люди, и книги могутъ быть только матеріалами, надъ которыми упражняется ваша пробудившаяся мысль. Эти матеріалы необходимы, потому что безъ впечатлѣній невозможна умственная работа. Но все-таки это—матеріалы, а не готовыя убѣжденія. Готовыхъ убѣжденій нельзя ни выпросить у добрыхъ знакомыхъ, ни купить въ книжной лавкѣ. Ихъ надо выработать процессомъ собственнаго мышленія, которое непремѣнно должно совершаться самостоятельно, въ вашей собственной головѣ, такъ точно, какъ процессъ пищеваренія совершается вполнѣ самостоятельно въ вашемъ собственномъ желудкѣ.

Сталкиваясь съ различными людьми, читая различныя книги, гоняясь за призракомъ *развитія* и *готовыхъ убѣжденій*, точно такъ, какъ алхимики гонялись за призракомъ философскаго камня, вы невольно сравнивали получаемыя впечатлѣнія, становились въ тупикъ надъ противорѣчіями, подмѣчали нелогичности, обобщали вычитанные факты и такимъ образомъ укрѣпляли по-немногу вашу мысль, закладывая фундаментъ собственныхъ убѣжденій, и становились въ критическія отношенія къ тѣмъ людямъ и къ тѣмъ книгамъ, отъ которыхъ вы ожидали себѣ сначала чудесной благодати немедленнаго умственнаго просвѣтлѣнія.

Наконецъ ваши наклонности и способности развернулись и обозначились настолько, что вы перестали быть для самого себя мучительной загадкой. Познакомившись съ своей собственной особой, вы въ то же время поняли общее направленіе окружающей жизни; вы отличили передовыхъ людей и честныхъ дѣятелей отъ шарлатановъ, софистовъ и попугаевъ; вы сообразили, куда передовые люди стараются вести общество; всѣ эти свѣдѣнія вы получили не заразъ, не отъ одного человѣка и не изъ какой-нибудь одной книги; всѣ эти свѣдѣнія собраны вами по кусочкамъ, извлечены изъ множества различныхъ впечатлѣній, заронены въ вашъ умъ всякими крупными и мелкими событіями частной и общественной жизни. Незамѣтно проникая въ вашу голову, всѣ эти основныя свѣдѣнія срослись съ вашимъ умомъ такъ крѣпко и превратились въ такое неотъемлемое достояніе вашей личности, что вы скоро потеряли всякую возможность опредѣлить—гдѣ, когда и какимъ образомъ пріобрѣтены составныя части самыхъ дорогихъ и непоколебимыхъ вашихъ убѣжденій.

Когда убѣжденія выработаны, когда цѣль жизни отыскана, тогда начинается сознательное, разумное и плодотворное чтеніе хорошихъ книгъ. До этого времени вы читали ощупью. Книги нравились или не нравились вамъ такъ, какъ можетъ нравиться или не нравиться шелковая матерія, кусокъ обоевъ, фарфоровая чашка, соусъ или пирожное; когда авторъ шутилъ, вы смѣялись; когда онъ впадалъ въ элегическій тонъ—вы умилялись; когда онъ аргументировалъ горячо и краснорѣчиво—вы соглашались; когда онъ излагалъ свои мысли вяло и скучно—вы зѣвали. Изъ совокупности этихъ ощущеній, воспринятыхъ совершенно пассивно, составлялся вашъ общій взглядъ на книгу. Авторъ не могъ быть ни вашимъ союзникомъ, ни вашимъ противникомъ, серьезная цѣль книги оставалась вамъ непонятною, вы не могли судить ни о достоинствѣ этой цѣли, ни о томъ, на сколько эта цѣль достигается, и на сколько авторъ остается вѣренъ самому себѣ. Вы не могли и не умѣли уловить связь, существующую между данною книгою и всѣми явленіями окружающей жизни; книга казалась вамъ отрывочнымъ явленіемъ, безъ корней въ прошедшемъ, безъ вліянія на будущее; поэтому вы и не могли сказать, что это за явленіе—дурное или хорошее, и почему оно дурно или почему хорошо. Когда же знанія ваши увеличились настолько, что дали вамъ возможность примкнуть сознательно къ тому или къ другому знамени, тогда вы начинали пылать тѣмъ фанатическимъ жаромъ, который составляетъ неотъемлемую принадлежность всевозможныхъ неофитовъ. Духъ вашей фанатической исключительности вы, разумѣется, примѣнили также и къ чтенію книгъ. Вы считали достойными вниманія только тѣ книги, которыя написаны людьми вашего лагеря. Всѣ остальныя книги слѣдовало, по вашему мнѣнію, если не сжечь, то по меньшей мѣрѣ осмѣять и забыть. Читая книгу, вы производили надъ авторомъ строжайшее слѣдствіе, и чуть только замѣчали, что авторъ въ чемъ-нибудь погрѣшилъ противъ вашего корана, вы немедленно причисляли этого автора къ огромной толпѣ пишущихъ идіотовъ и негодяевъ. Но чѣмъ больше вы читали, тѣмъ яснѣе становилась для васъ та истина, что цѣльные приговоры, вродѣ восклицаній: «*лобъ!*» и «*затылокъ!*», неумѣстны и въ отношеніи къ людямъ, и въ отношеніи къ книгамъ. Подъ вліяніемъ жизни и чтенія ваши собственныя убѣжденія

очистились, выяснились и окрѣпли; вы пристрастились къ нимъ еще сильнѣе прежняго; вы сдѣлались еще непоколебимѣе, но вы въ то же время поняли, что для торжества вашей же собственной любимой идеи вы принуждены ежеминутно пользоваться трудами и мыслями такихъ людей, которые во многихъ отношеніяхъ уклоняются отъ вашего корана. Положимъ, напримѣръ, что вы матеріалистъ. Краеугольными камнями вашего міросозерцанія оказываются труды Коперника, Галилея и Ньютона, которые постоянно были деистами и вѣровали даже въ откровеніе; не станете же вы изъза этого обстоятельства отвергать ихъ астрономическія открытія? А если не станете, то вы не должны также относиться съ небреженіемъ ни къ химическимъ работамъ Либиха, ни къ физіологическимъ изслѣдованіямъ Рудольфа Вагнера, ни даже къ добросовѣстнымъ компилятивнымъ трудамъ Теодора Вайца, несмотря на то, что всѣ они спиритуалисты, а Рудольфъ Вагнеръ даже піэтистъ.

Положимъ далѣе, что вы фурьеристъ или прудонистъ. Спрашивается, какимъ образомъ отнесетесь вы къ общественной физикѣ О. Конта или къ историко-философской теоріи Бокля? Причислите ли вы эти книги къ вреднымъ или къ полезнымъ явленіямъ? Станете ли вы отвергать или защищать эти идеи? Съ одной стороны, вы не можете не сочувствовать основной мысли Конта и Бокля, той мысли, что вся исторія есть борьба разсудка съ воображеніемъ, и что сильнѣйшимъ двигателемъ прогресса оказывается накопленіе и распространеніе знаній. Успѣху этой мысли вы должны содѣйствовать всѣми вашими силами; съ другой стороны, вы никакъ не можете сочувствовать ни Контовской апологіи нищенства, ни Боклевскому мальтузіанству. Но еслибы вы вздумали, возмутившись этими нелѣпостями, забраковать цѣликомъ Конта и Бокля, то вы бы значительно ослабили ваши себственныя идеи, отнявши у нихъ ту подпору, которую онѣ могутъ найти себѣ въ изслѣдованіяхъ и размышленіяхъ этихъ двухъ первоклассныхъ умовъ. Значитъ, вы должны отдѣлить свѣтлыя идеи отъ ошибочныхъ сужденій; вы должны пользоваться первыми и опровергать вторыя. Пользуясь свѣтлыми идеями Конта и Бокля, вы вовсе не принимаете на себя обязанности соглашаться съ этими писателями во всемъ и превозносить каждое слово ихъ сочиненій. Опровергая то, что кажется вамъ ошибочнымъ, вы нисколько не отступаете отъ того уваженія, которое должны внушать вамъ великіе мыслители. Сказать и доказать, что Бокль ошибся, вовсе не значитъ разбить авторитетъ Бокля и не значитъ также поставить самого себя выше этого замѣчательнаго мыслителя. Съ другой стороны сказать и доказать, что у Гизо или у Маколэя встрѣчаются иногда свѣтлыя мысли, вовсе не значитъ превратиться въ единомышленника этихъ доктринеровъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, т. е. опровергая Бокля и соглашаясь съ Гизо, вы все-таки остаетесь вѣрны вашимъ собственнымъ убѣжденіямъ и пользуетесь той необходимой самостоятельностью, безъ которой невозможно сильное и плодотворное мышленіе, и которая не должна стѣсняться ни раболѣпнымъ благоговѣніемъ передъ великими именами, ни фанатической исключительностью партій.

Такъ какъ критика должна состоять именно въ томъ, чтобы въ каждомъ отдѣльномъ явленіи отличать полезныя и вредныя стороны— то понятно, что ограничиваться цѣльными приговорами значитъ уничтожать критику, или по крайней мѣрѣ превращать ее въ безплодное наклеиваніе такихъ ярлыковъ, которые никогда не могутъ исчерпать значеніе разсматриваемыхъ предметовъ. Въ теоріи эта мысль не можетъ вызвать противъ себя никакихъ возраженій. Всякій скажетъ, что это очень старая истина, и что несостоятельность цѣльныхъ приговоровъ давнымъ-давно засвидѣтельствована общеизвѣстными изреченіями о пятнахъ на солнцѣ и о золотѣ въ грязи. Но въ практической жизни цѣльные приговоры продолжаютъ господствовать, и особенно сильно проявляется это господство у насъ въ Россіи, гдѣ партіи только что обозначились и почувствовали свою непримиримость. У каждой изъ нашихъ партій есть свои кумиры, которые для противоположной партіи оказываются чучелами и страшилищами. Каждое знаменитое имя европейской науки или литературы вызываетъ съ одной стороны восторженное поклоненіе, а съ другой—безпредѣльное и страстное порицаніе. Разногласіе партій очень естественно, необходимо и безысходно, потому что настоящія причины противоположныхъ сужденій заключаются въ противоположности интересовъ. Всякая попытка примирить партіи была бы безполезна и безсмысленна. Вмѣсто примиренія партій, надо желать, чтобы каждая партія обозначилась яснѣе и договорилась до послѣдняго слова. Только тогда общество можетъ узнать своихъ настоящихъ друзей и дать окончательную побѣду тому направленію мысли, которое всего болѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ потребностямъ большинства. Но именно для того, чтобы договориться до послѣдняго слова, партіи должны отказаться отъ цѣльныхъ приговоровъ и подвергнуть одинаково тщательному анализу какъ своихъ кумировъ, такъ и злѣйшихъ своихъ противниковъ. Вслѣдствіе такой операціи многіе кумиры утратятъ значительную долю своего сказочнаго великолѣпія, многія чучела и страшилища превратятся въ довольно обыкновенныхъ и безобидныхъ людей, но основныя идеи партій обозначатся яснѣе, именно потому, что эти

идеи управляли всѣмъ ходомъ анализа, проникшаго въ самую глубину предмета и оцѣнившаго всѣ его подробности.

II.

Читатель проститъ мнѣ мое длинное и утомительное введеніе, когда узнаетъ, что я намѣренъ говорить о Гейне, обращая при этомъ особенное вниманіе на слабыя стороны его поэзіи. Гейне одинъ изъ нашихъ кумировъ, и конечно въ мірѣ не было до сихъ поръ ни одного поэта, который въ болѣе значительной степени заслуживалъ бы уваженіе и признательность мыслящихъ реалистовъ. Но чѣмъ важнѣе и колоссальнѣе какое-нибудь явленіе, тѣмъ необходимѣе знать ему настоящую цѣну. Чѣмъ больше пользы можетъ принести нашему умственному развитію чтеніе Гейне, тѣмъ сильнѣе надо стараться о томъ, чтобы къ массѣ этой пользы не примѣшивалась ни одна частица вреда. Чѣмъ неотразимѣе дѣйствуетъ поэзія Гейне на умы читателей, тѣмъ тщательнѣе эти читатели должны оберегать себя отъ умственнаго раболѣпства передъ Гейне, потому что изъ этого раболѣпства можетъ развиться вредное обожаніе тѣхъ недостатковъ и пятенъ, которые наложены на поэзію Гейне обстоятельствами времени и мѣста. Приступая къ разбору этихъ недостатковъ и пятенъ, я непремѣнно долженъ былъ напомнить читателю, что критика не имѣетъ ничего общаго съ враждою, что безъ постоянной, строгой и тщательной критики невозможно никакое разумное и плодотворное чтеніе, и что всякое умственное идолопоклонство вредитъ той самой идеѣ, во имя которой оно производится.

Припявши въ соображеніе эти простыя истины, читатель конечно нойметъ, что, критикуя Гейне, я нисколько не желаю ослабить его вліянія на русское общество, а напротивъ того, стараюсь направить, сосредоточить, усилить это вліяніе, такъ чтобы ни одна его частица не пропадала даромъ и не вырождалась въ нелѣпыя и вредныя уклоненія, къ которымъ самъ Гейне очень часто подаетъ поводъ своими эксцентричностями и внутренними противорѣчіями.

Въ настоящее время Вейнбергъ издаетъ *Сочиненія Генриха Гейне въ переводѣ русскихъ писателей*. Одиннадцать томовъ уже находятся въ рукахъ читающей публики, а все изданіе будетъ состоять изъ 15 томовъ. Можно надѣяться, что это изданіе найдетъ себѣ многихъ читателей, но въ то же время надо желать, чтобы эти читатели сумѣли усвоить себѣ такую точку зрѣнія, съ которой были бы ясно видны какъ достоинства, такъ и недостатки Гейне. Эту точку зрѣнія я постараюсь указать читателю въ моей теперешней статьѣ.

Какъ понимаетъ самъ Гейне себя и свою литературную дѣятельность? На этотъ вопросъ Гейне отвѣчаетъ не разъ стихами и прозою. Одинъ изъ этихъ отвѣтовъ особенно замѣчателенъ. «Я право не знаю, говоритъ Гейне, стою ли я, чтобы мнѣ когда-нибудь украсили гробъ лавровымъ вѣнкомъ. Поэзія, какъ ни любилъ я ее, была для меня всегда лишь священной игрушкой, или священнымъ средствомъ для небесныхъ цѣлей. Я никогда не придавалъ большой цѣны славѣ поэта, и хвалить ли или бранить будутъ мои пѣсни, меня мало безпокоитъ. Но я желаю, чтобы на гробъ мой положили мечъ, потому что я былъ храбрымъ солдатомъ въ войнѣ за благо человѣчества». (Томъ II, стр. 120).

Въ этихъ словахъ заключается двойное противорѣчіе. Ведя войну за благо человѣчества и считая себя *храбрымъ солдатомъ*, Гейне хочетъ въ то же время служить чистому искусству. Два совершенно враждебные взгляда на искусство — утилитарный и художническій — укладываются рядомъ, одинъ возлѣ другого, въ приведенныхъ словахъ Гейне. *Поэзія была для меня лишь священной игрушкой*, говоритъ Гейне. Въ этихъ словахъ художническій взглядъ на искусство выразился во всей своей наивности, и въ этихъ словахъ заключается второе внутреннее противорѣчіе, доведенное до самой поразительной рельефности. Въ самомъ дѣлѣ, что такое *священная игрушка?* Есть ли какая-нибудь психическая возможность играть тѣмъ, что вы дѣйствительно считаете святыней, или считать священнымъ то, что служитъ вашей игрушкой? Противорѣчія очевидны, а между тѣмъ всѣ приведенныя мною слова Гейне выражаютъ чистѣйшую истину и даютъ превосходнѣйшій ключъ къ пониманію всего Гейне, его міросозерцанія, его стремленій, его поэзіи. Когда есть внутреннія противорѣчія въ самомъ предметѣ, тогда они неизбѣжны и въ его опредѣленіи, и чѣмъ полнѣе и вѣрнѣе опредѣленіе, тѣмъ ярче должны въ немъ выступать внутреннія противорѣчія. — Да, Гейне былъ дѣйствительно и храбрымъ солдатомъ, и чистымъ художникомъ, и поэзія была для него дѣйствительно *священной игрушкой*, хотя такое сочетаніе понятій дико и неестественно до послѣдней степени.

Боевая храбрость Гейне достаточно извѣстна. Его сарказмы, направленные противъ традиціонныхъ доктринъ, противъ политическаго шарлатанства, противъ національныхъ предразсудковъ, противъ ученаго педантизма, противъ всѣхъ безчисленныхъ проявленій общеевропейской и спеціально нѣмецкой глупости, его сарказмы составляютъ безъ сомнѣнія самую яркую и единственную безсмертную сторону его поэзіи. Не будь у него этихъ сарказмовъ, онъ замѣшался бы въ толпу нѣмецкихъ поэтовъ, писавшихъ гладкіе стихи, и мы знали бы о немъ столько

же, сколько знаемъ напримѣръ о какомъ-нибудь Людвигѣ Уландѣ, или Леопольдѣ Шеферѣ, или Эммануэлѣ Гейбелѣ. Если мы въ продолженіе цѣлаго десятилѣтія переводимъ по частямъ прозу и стихи Гейне, если мы теперь издаемъ собраніе его сочиненій, если мы раскупимъ и прочитаемъ эти сочиненія не только съ удовольствіемъ, но даже съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ, то, разумѣется, все это дѣлалось, дѣлается и будетъ дѣлаться лишь изъ любви къ сарказмамъ, или, другими словами, изъ ненависти къ тѣмъ общеевропейскимъ подлостямъ и глупостямъ, которыми эти сарказмы были вызваны. Когда вы читаете Гейне, то самое теченіе мыслей почти никогда не занимаетъ и не можетъ занимать васъ; мысли не новы, не оригинальны и не глубоки; вы даже рѣдко можете найти что-нибудь похожее на развитіе мыслей; чаще всего вы имѣете передъ собою легкую и кокетливую болтовню о легкихъ пустякахъ; но вы читаете терпѣливо, внимательно, потому что вы постоянно находитесь въ напряженномъ ожиданіи, вы знаете, что вдругъ блеснетъ такая молнія, которая съ избыткомъ вознаградитъ васъ за незначительность всей прочитанной вами болтовни. Несмотря на ваше постоянное ожиданіе, молнія все таки застаетъ васъ врасплохъ и поражаетъ васъ своей неожиданностью. Она явилась безо всякихъ приготовленій, совсѣмъ не съ той стороны, откуда вы ее ожидали; она изумила, очаровала васъ и исчезла; начинается опять веселая болтовня; и вы опять съ радостью готовы читать десятки страницъ этой болтовни, лишь бы только добраться до новой молніи, такой же неожиданной и такой же очаровательной, какъ первая. Надежда на новую молнію и воспоминаніе о прежней помогаетъ вамъ перебираться черезъ тѣ пустынныя поляны, надъ которыми господствуетъ безсмыслица романтически чистаго искусства.

Но какъ ни великолѣпны молніи боевой храбрости и ядовитаго сарказма, однако нельзя не замѣтить, что пустынныя поляны очень обширны и чрезвычайно многочисленны. Путешествуя по этимъ полянамъ, читатель начинаетъ понимать, что такое *священная игрушка*. Смыслъ этихъ загадочныхъ словъ очень печаленъ. Когда Гейне творитъ образы, не имѣющіе никакого, даже самаго отдаленнаго отношенія къ борьбѣ за благо человѣчества, тогда онъ благоговѣетъ передъ своею собственною виртуозностью и играетъ тѣми чувствами и мыслями, на которыя нанизываются яркія и роскошныя картины. Соедините это благоговѣніе съ этимъ играньемъ, и въ общемъ результатѣ вы получите *священную игрушку*.

Но эти два потока—благоговѣніе и играньe—не могутъ идти постоянно рядомъ, не дѣйствуя другъ на друга и не смѣшиваясь между собою. Съ одной стороны благоговѣніе не можетъ оставаться глубокимъ и совершенно искреннимъ, потому что предметъ этого благоговѣнія—художническая виртуозность—растрачивается на мелочи, которыя самъ художникъ признаетъ мелочами, годными только для забавы. Слѣдовательно сама виртуозность унижается и становится до нѣкоторой степени смѣшною въ глазахъ художника. Съ другой стороны, игра чувствами и мыслями становится почти серьезнымъ и торжественнымъ дѣломъ, когда художникъ увлекается процессомъ творчества и одушевляется силою благоговѣнія передъ собственнымъ волшебнымъ могуществомъ. Словомъ, ни читатель, ни художникъ не знаютъ навѣрное, какія чувства и мысли имъ приходится переживать вмѣстѣ; ни читатель не вѣритъ художнику, ни художникъ не довѣряется читателю; читатель боится принять слова художника за выраженіе искренняго чувства, боится увлечься этимъ чувствомъ, потому что художникъ тотчасъ начнетъ смѣяться надъ тѣмъ, что могло показаться искреннимъ порывомъ, и тогда читатель, распустившій нюни, попадетъ въ число сантиментальныхъ дураковъ, неспособныхъ понимать тонкую иронію; художникъ, съ своей стороны, знаетъ, что читатель остерегается и предвидитъ ироническую улыбку или циническую выходку; художникъ боится оказаться сантиментальнѣе читателя. Поэтому каждое чувство умышленно выражается такъ, что нѣтъ никакой возможности ни повѣрить его искренности, ни сказать навѣрное, что тутъ кроется иронія. «Еще рано, говоритъ Гейне въ концѣ своего «Путешествія на Гарцъ», солнце совершило только половину своего пути, а мое сердце благоухаетъ такъ сильно, что пары его бьютъ мнѣ въ голову, и въ этомъ опьяненіи я не могу понять, гдѣ оканчивается иронія и начинается небо» (т. I, стр. 91). Эти послѣднія слова прилагаются ко всей поэзіи Гейне, и въ этомъ постоянномъ отсутствіи границы между иронією и небомъ, въ этой невозможности отличить иронію отъ неба и положиться на искренность чувства заключается типическій характеръ гейневской поэзіи.

Благодаря этой особенности, большая часть произведеній Гейне, въ цѣломъ, оказываются совершенно непонятными, или еще вѣрнѣе, въ нихъ нѣтъ никакой цѣлости. Каждое произведеніе Гейне не что иное, какъ цѣпь причудливыхъ арабесковъ или гирлянда фантастическихъ цвѣтовъ, очень яркихъ, очень пестрыхъ, очень разнообразныхъ, но набросанныхъ неизвѣстно для чего, разсыпанныхъ безъ всякаго общаго плана и не имѣющихъ между собою никакой связи. Въ предисловіи къ первому тому русскаго перевода Вейнбергъ высказываетъ слѣдующія мысли: «Намъ до сихъ поръ случается встрѣчать людей очень умныхъ, развитыхъ, но которые, будучи знакомы съ Гейне только по тѣмъ переводамъ изъ него, которые существуютъ на русскомъ

языкѣ, съ какимъ-то страннымъ изумленіемъ смотрятъ на него и сами сознаются, что не понимаютъ его, не понимаютъ прелести, заключающейся въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ. Это непониманіе, какъ мы только-что замѣтили, происходитъ отъ неполнаго знакомства съ поэтомъ, съ его своеобразною манерою, съ его прихотливыми прыжками отъ одного предмета къ другому, съ его роскошною фантазіей; не говоримъ уже здѣсь о жгучемъ остроуміи, которое и каждому непосвященному бросается въ глаза» (т. I, стр. VII). Мнѣ кажется, что съ этимъ мнѣніемъ невозможно согласиться. Если *непосвященные* выучатъ наизусть всѣ произведенія Гейне, съ перваго до послѣдняго,—они все-таки останутся *непосвященными*, т. е. не дороются ни до какого осязательнаго смысла, не вынесутъ никакого опредѣленнаго впечатлѣнія и наконецъ убѣдятся только въ томъ, что тутъ рѣшительно нечего искать, и что подъ этими цвѣточными іероглифами нѣтъ ничего похожаго на скрытую мудрость или на таинственную глубину. Своеобразность манеры, прихотливость прыжковъ и роскошь фантазіи—все это замѣтно съ перваго взгляда, все это бросается въ глаза каждому *непосвященному* наравнѣ съ *жгучимъ остроуміемъ*. Но все это—и фантазія, и прыжки, и манера—относится только къ *формѣ*, а не къ *содержанію* поэтическаго произведенія. Неносвященный видитъ очень хорошо, не хуже Вейнберга, *какъ* выражаетъ Гейне, но *что* именно онъ выражаетъ, *что* онъ хочетъ выразить и передать читателямъ, *какія* чувства и мысли рвутся наружу изъ его души, *какія* внутреннія убѣжденія управляютъ его перомъ и заставляютъ его рисовать безсмысленно блестящія арабески—это остается тайною для непосвященнаго, это останется вѣчною тайною не только для непосвященнаго, но даже и для самого Вейнберга, и я осмѣливаюсь думать, что ключа къ этой тайнѣ не было даже и у Гейне. Мнѣ кажется, Гейне ясенъ для себя и для другихъ только тогда, когда онъ обнаруживаетъ свое *жгучее остроуміе*, т. е. когда онъ въ качествѣ *храбраго солдата* истребляетъ пронзительнымъ смѣхомъ окружающія глупости и подлости. Когда же онъ обращается къ болѣе мирнымъ занятіямъ, тогда онъ начинаетъ небрежно и презрительно выкидывать изъ себя на бумагу какіе-то клочки мыслей и чувствъ, которыхъ онъ самъ не понимаетъ, и которыя, слѣдовательно, навсегда останутся непонятными и для его читателей. Я очень желалъ бы подтвердить мои слова наглядными и убѣдительными примѣрами, но сдѣлать это очень трудно. Примѣровъ существуетъ очень много, и даже выборъ не представляетъ никакихъ затрудненій. Но вотъ въ чемъ бѣда: чтобы доказать безсвязность и безцѣльность произведеній Гейне, надо разсказать ихъ сюжеты; но безсвязность и безцѣльность колоссальны до такой степени, что невозможно уловить никакого сюжета. Образы, восклицанія, слезливыя шутки, насмѣшливые вздохи, притворныя слезы, эротическіе порывы мелькаютъ и кружатся передъ глазами, какъ снѣжинки во время метели. Разнообразіе картинъ удивительное! Быстрота въ смѣнѣ впечатлѣній непостижима! Вы подавлены и ошеломлены пестротою красокъ. Вы принуждены сознаться, что авторъ обладаетъ невѣроятной силой и подвижностью фантазіи. Но зачѣмъ поднятъ весь этотъ ураганъ маленькихъ, пестренькихъ, недочувствованныхъ чувствъ и недодуманныхъ мыслей, къ чему онъ клонится, что онъ хочетъ опрокинуть или построить—этого вы не будете понимать до тѣхъ поръ, пока не преподастъ вамъ своей таинственной мудрости какой нибудь *посвященный*, въ существованіи и возможности котораго я рѣшительно сомнѣваюсь. Если такіе посвященные дѣйствительно существуютъ, и если до нихъ дойдутъ эти страницы, то я убѣдительно прошу ихъ объяснить мнѣ и другимъ недоумѣвающимъ профанамъ, какимъ образомъ возможно и слѣдуетъ понимать напр. извѣстное произведеніе Гейне «Идеи. Книга Ле-Гранъ». Желая показать читателю, что безъ помощи мистагоговъ и іерофантовъ нѣтъ возможности проникнуть въ таинства этого произведенія, которымъ всякій развитой человѣкъ восхищается по заказу—я постараюсь перечислить хоть малую долю тѣхъ страшныхъ картинъ, которыя мелькаютъ одна за другой въ «Книгѣ Ле-Гранъ».

Въ первой главѣ—комическая картина ада, въ видѣ огромной мѣщанской кухни. Въ аду слышится роковой напѣвъ пѣсни о невыплаканной слезѣ, о той слезѣ, которой не выронила она, женщина, любимая поэтомъ, но не отвѣчающая ему взаимностью.

Во второй главѣ поэтъ, онъ же и графъ Гангесскій хочетъ застрѣлиться, покупаетъ себѣ пистолетъ, отправляется съ нимъ завтракать въ трактиръ и видитъ въ стаканѣ рейнвейна остъ-индскіе пейзажи. Потомъ, выйдя на улицу, онъ встрѣчается съ хорошенькой женщиной, которая своимъ взглядомъ заставляетъ его остаться въ живыхъ.

Въ третьей главѣ поэтъ выражаетъ свою радость и свою любовь къ жизни.

Въ четвертой главѣ поэтъ представляетъ себѣ, какъ онъ на старости лѣтъ схватитъ арфу и споетъ молодымъ людямъ пѣсню *про цвѣты Бренты*.

Въ пятой главѣ: «Сударыня, я обманулъ васъ! Я не графъ Гангесскій!» Оказывается, что поэтъ родился на берегахъ Рейна. Потомъ являются три дѣвушки: Гертруда, Катарина и Гедвига и тетка ихъ Іоганна. Всѣ онѣ только являются и ровно ничего не дѣлаютъ. Въ этой же главѣ Вейнбергъ показываетъ ясно, что онъ не

принадлежитъ къ числу *посвященныхъ* и врядъ-ли можетъ исправлять должность мистагога. «При прощаніи, говоритъ Гейне, она (Іоганна) подала мнѣ обѣ руки—бѣлыя, милыя руки — и сказала: ты очень добръ, а когда ты сдѣлаешься злымъ, то думай снова о маленькой умершей Вероникѣ» (т. I, стр. 165). Къ этимъ словамъ Вейнбергъ присоединяетъ слѣдующее подстрочное замѣчаніе: «Вероника—какое-то загадочное существо, о которомъ Гейне упоминаетъ нѣсколько разъ съ какой-то особенной грустью. Надо предположить, что эта была женщина, которую онъ сильнѣе всѣхъ любилъ». Такое примѣчаніе могъ бы пожалуй сдѣлать и всякій *непосвященный*. Предположеніе совершенно произвольное, и неизвѣстно почему оно прицѣплено къ имени Вероники, а не къ какому-нибудь изъ многихъ другихъ женскихъ именъ, которыя Гейне помнитъ также со вздохами и причитаньями такой же точно сантиментальной искренности. Вейнбергъ могъ бы напримѣръ съ большимъ удобствомъ сказать то-же самое о Маріи, которую Гейне во второй части «Путевыхъ картинъ» вспоминаетъ очень часто, постоянно называя ее *умершею* или *мертвой*, постоянно окружая ея имя ореоломъ загадочности, постоянно напуская на себя по этому случаю колоритъ интересной элегической томности, сквозь которую просвѣчиваетъ вѣчная насмѣшливая улыбка, и ежеминутно намекая читателю на какія-то очень таинственныя, никому неизвѣстныя и нисколько не замѣчательныя событія, которыхъ онъ все-таки не разсказываетъ и которыя, по всей вѣроятности, никогда ни съ кѣмъ не случались. Вообще надо обладать огромнымъ запасомъ довѣрчивости и добродушія, чтобы принимать женскія имена, разсыпанныя по книгамъ Гейне, за имена дѣйствительно существовавшихъ женщинъ,—или чтобы видѣть въ тѣхъ любовныхъ руладахъ и фіоритурахъ, которыми забавляется Гейне, намеки на радости и огорченія, дѣйствительно пережитыя самимъ поэтомъ. Мнѣ кажется, что все это — чистѣйшая фантасмагорія, вызванная великимъ виртуозомъ единственно для того, чтобы насладиться собственнымъ волшебнымъ могуществомъ, собственной способностью творить изъ ничего и разрушать въ одну секунду самые яркіе образы.

Въ шестой главѣ воспоминанія дѣтства и превосходный разсказъ о томъ, какъ курфирстъ выѣхалъ изъ Дюссельдорфа и какъ вошли въ городъ французскія войска.

Въ седьмой главѣ юмористическія подробности о школьномъ ученіи. Тутъ появляется барабанщикъ Легранъ, и Гейне разсказываетъ очень остроумно, какимъ образомъ этотъ Легранъ объяснялъ ему посредствомъ барабаннаго боя смыслъ новѣйшей исторіи. Тутъ Гейне выходитъ на политическую тропинку, и поэтому становится, разумѣется, великолѣпенъ. Но уже въ концѣ этой главы Гейне, какъ достойный ученикъ наполеоновскаго барабанщика, падаетъ на колѣни передъ великимъ императоромъ.

Этими колѣнопреклоненіями наполнены восьмая и девятая глава. «И Святая Елена, говоритъ Гейне въ IX главѣ, сдѣлается священнымъ мѣстомъ, куда народы запада и востока будутъ стекаться на поклоненіе, на судахъ, изукрашенныхъ флагами,—и сердца ихъ окрѣпнутъ великимъ воспоминаніемъ о дѣяніяхъ великаго человѣка, пострадавшаго при Гудсонъ-Ло, какъ сказано въ писаніи Ласъ-Каза, Омеара и Антомарки» (т. I, стр. 192). Какъ вамъ нравится это пророчество новой религіи — наполеоніанства? Впрочемъ благоговѣніе Гейне передъ *великимъ императоромъ* составляетъ такой интересный патологическій феноменъ, что я буду говорить о немъ ниже очень подробно.

Въ десятой главѣ барабанщикъ Легранъ, воплощенная скорбь великой арміи о великомъ императорѣ, умираетъ, и Гейне, угадавши его послѣднее желаніе, прокалываетъ его барабанъ, чтобы онъ не былъ «*рабскимъ инструментомъ въ рукахъ враговъ свободы*». — Изъ этихъ послѣднихъ главъ читатель узнаетъ, что великій императоръ былъ другомъ свободы, и что барабаны его арміи спасали Европу отъ рабства.

XI глава начинается словами «Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!» (Отъ великаго до смѣшного — одинъ шагъ, сударыня)! Эта истина доказывается тѣмъ, что когда Гейне оканчиваетъ главу о смерти Леграна, тогда пришла старуха и попросила Гейне, какъ доктора, вырѣзать ея мужу мозоли. *Смѣшное* состоитъ въ томъ, что старуха приняла доктора правъ за медика. Что же касается до *великаго*, то его надо искать въ разсказѣ о смерти Леграна; чтобы найти это *великое*, надо непремѣнно обратиться къ помощи іерофантовъ и мистагоговъ.

Въ XII главѣ написаны слова «нѣмецкіе цензоры» и затѣмъ десять строкъ точекъ. Переходъ отъ смѣшного и отъ глупой старухи къ нѣмецкимъ цензорамъ не можетъ никому показаться удивительнымъ и рѣзкимъ.

Въ XIII главѣ очень остроумныя насмѣшки надъ нѣмецкимъ педантизмомъ и надъ ученой страстью къ безтолковымъ цитатамъ.

Главы XIV и XV разсуждаютъ о дуракахъ и отличаются неподражаемымъ остроуміемъ. «Я живу въ томъ же городѣ, говоритъ Гейне, и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствіе, когда подумаю, что всѣхъ дураковъ, которыхъ я вижу, я могу употребить для своихъ сочиненій: это чистыя, наличныя деньги. Теперь у меня обильная жатва; богъ благословилъ меня: дураки отлично уродились въ этомъ году, и я, какъ хорошій хозяинъ, потребляю ихъ въ небольшомъ числѣ, отбираю самыхъ лучшихъ и откладываю на будущее время. Меня очень ча-

сто можно встрѣтить теперь на гуляньи—радостнаго и веселаго. Какъ богатый купецъ, потирая отъ удовольствія руки, ходитъ между ящиками, бочками и тюками своихъ товаровъ, такъ и я прохаживаюсь посреди моего народа. Всѣ вы мнѣ принадлежите, всѣ вы мнѣ одинаково дороги, и я люблю васъ, какъ вы сами любите свои деньги,—а это много значитъ» (т. I, стр. 216 и 217). По этому отрывку вы можете судить объ оригинальности и дерзкой веселости этихъ двухъ главъ.

Въ XVI главѣ появляется милая подруга съ коричневой собакой. Гейне вмѣстѣ съ коричневой собакой сидитъ у ногъ милой подруги, смотритъ ей въ глаза, цѣлуетъ ея руки и разсказываетъ ей о маленькой Вероникѣ, что онъ разсказываетъ ей—неизвѣстно.

Въ XVII главѣ продолжаются сладострастныя подробности о милой подругѣ.

Въ XVIII главѣ мы узнаемъ, что «грудь рыцаря была полна тьмою и скорбью». У рыцаря происходитъ свиданіе съ синьорой Лаурою на берегахъ Бренты, и «таинственно-темный покровъ лежитъ надъ этимъ часомъ». — При этомъ читателю по обыкновенію предоставляется понимать, какъ угодно, или даже совсѣмъ не понимать эту таинственную, темную главу, заключающую въ себѣ всего полторы странички.

Въ XIX главѣ опять подруга съ коричневой собакой, опять Вероника, растрогавшая Вейнберга, опять остъ-индскіе пейзажи, хотя уже было объяснено, что Гейне — не графъ Гапгесскій, и наконецъ желтыя пеньковыя панталоны, повредившія молодому человѣку во время любовнаго объясненія. Словомъ рядъ іероглифовъ-ребусовъ.

Въ XX главѣ что то такое о страданіи и о томъ, что молодой человѣкъ хотѣлъ застрѣлиться. Этою главою оканчивается «Книга Легранъ».

III.

Подведемъ итоги. Изъ XX-ти главъ только пять—VI, VII, VIII, XIV и XV—удобопонятны и замѣчательны по своему остроумію. Затѣмъ три главы—VIII, IX и X славословятъ Наполеона; одна глава—XI—повѣствуетъ о глупой старухѣ; одна глава — XII — состоитъ изъ точекъ и наконецъ десять главъ не заключаютъ въ себѣ ничего, кромѣ неясныхъ намековъ на какія то чувства, которыя испыталъ или о которыхъ фантазировалъ поэтъ. Конечно никто не запрещаетъ поэту дѣлиться съ публикой своими чувствами или фантазіями; это даже прямая обязанность поэта, но во всякомъ случаѣ публика имѣетъ право желать, чтобы съ нею говорили удобопонятнымъ языкомъ, чтобы всѣ слова и образы, употребленные поэтомъ, имѣли какой-нибудь ясный и опредѣленный смыслъ, чтобы поэтъ не задавалъ ей неразрѣшимыхъ загадокъ и не превращалъ своихъ произведеній въ длинную и утомительную мистификацію. Что такое *цвѣты Бренты*, что такое *Вероника*, что такое *невыплаканная слеза*, что такое *графъ Гангесскій*, и какой общій смыслъ выходитъ изъ всѣхъ этихъ таинственныхъ незнакомцевъ—все это такіе вопросы, на которые читатель имѣетъ полное право требовать себѣ отвѣта, и если онъ этого отвѣта не получаетъ, то имѣетъ полное право подумать и сказать, что поэтъ шутитъ съ нимъ очень плоскія шутки.

Было бы очень наивно думать, что въ «Книгѣ Легранъ» есть и общій смыслъ, и великая цѣль, но что эта цѣль и этотъ смыслъ запрятаны въ ней черезчуръ глубоко, и вслѣдствіе этого могутъ быть отысканы и постигнуты только особенно развитыми и свѣдущими читателями. Ни цѣли, ни смысла въ ней нѣтъ. Такою же точно безцѣльностью, безсвязностью отличаются и всѣ прочія сочиненія Гейне, если брать и разсматривать каждое произведеніе въ цѣломъ, а не по частямъ. Разсмотрите каждое произведеніе Гейне такъ, какъ я разсмотрѣлъ «Книгу Легранъ», и вы поневолѣ признаете вѣрность моего непочтительнаго приговора.

Было бы также въ высшей степени наивно думать, что безсвязность, безцѣльность и безсмысленность могутъ когда-нибудь и при какихъ бы то ни было условіяхъ превратиться въ достоинства. Есть конечно любители, способные восхищаться этими уродливыми особенностями гейневской поэзіи; есть даже простофили, желающіе прививать эти уродливыя особенности къ ничтожнымъ выкидышамъ своей собственной музы. Но тѣ люди, которыхъ умъ не поврежденъ раболѣпными отношеніями къ авторитетамъ и не вертится какъ флюгеръ, сообразно со всѣми капризами эстетической моды, будутъ говорить постоянно, что стройность, цѣльность и цѣлесообразность составляютъ необходимыя качества каждаго замѣчательнаго произведенія, къ какой бы отрасли науки и литературы оно ни принадлежало. Безалаберность всегда и вездѣ останется крупнымъ недостаткомъ.

Но съ другой стороны, для человѣка, сколько-нибудь способнаго понимать и чувствовать, нѣтъ ни малѣйшей возможности отрицать чарующую прелесть гейневской поэзіи. Прелесть эта состоитъ конечно не въ безалаберности, не въ своеобразной манерѣ, не въ прихотливыхъ прыжкахъ, словомъ — совсѣмъ не въ томъ блистательномъ юродствѣ, которое, по мнѣнію поверхностныхъ цѣнителей, образуетъ всю настоящую сущность и весь букетъ этого небывалаго и невиданнаго литературнаго явленія. Прелесть эта освѣщаетъ туманы безалаберности, она заставляетъ насъ читать съ удовольствіемъ то, въ

чемъ нѣтъ никакого человѣческаго смысла; но она сама, эта загадочная прелесть, выходитъ изъ гораздо болѣе глубокихъ источниковъ, не имѣющихъ ничего общаго съ достоинствами или недостатками отдѣльныхъ поэтическихъ произведеній. Прелесть эта заключается въ неотразимомъ обаяніи той сильной, богатой, нѣжной, страстной, знойной, кипучей и пылающей личности, которая смотритъ на васъ во всѣ глаза изъ-за каждой строки, какъ бы ни была эта строка ничтожна или безумна. Что-то дышетъ, что-то волнуется, что-то смѣется и плачетъ, что-то томится и кипитъ во всѣхъ этихъ хаотическихъ образахъ, во всей этой дикой гармоніи шальныхъ и разбросанныхъ словъ.

Передъ вами стоитъ живописецъ. На палитрѣ его горятъ краски невиданной яркости. Онъ взмахнулъ кистью, и черезъ двѣ минуты вамъ улыбается съ полотна или даже просто со стѣны прелестная женская физіономія. Еще двѣ минуты, и вмѣсто этой физіономіи на васъ смотрятъ демонически-страстные глаза безобразнаго сатира; еще нѣсколько ударовъ кисти, и сатиръ превратился въ развѣсистое дерево; потомъ пропало дерево и явилась фарфоровая башня, а подъ ней китаецъ на какомъ-то фантастическомъ драконѣ; потомъ все замазано черной краской, и самъ художникъ оглядывается и смотритъ на васъ съ презрительно-грустной улыбкой. Вы глубоко поражены этой волшебно-быстрой смѣной прелестнѣйшихъ картинъ, которыя взаимно истребили другъ друга, и отъ которыхъ не осталось ничего, кромѣ безобразнаго чернаго пятна. Вы спрашиваете у художника съ почтительнымъ недоумѣніемъ, зачѣмъ онъ губитъ свои собственныя великолѣпныя созданія и зачѣмъ онъ, при своемъ невѣроятномъ талантѣ, играетъ и шалитъ красками, вмѣсто того чтобы приняться за большую и прочную работу.

— Нечего работать, отвѣчаетъ вамъ художникъ.

Вы этого отвѣта не понимаете и просите дальнѣйшихъ объясненій.

— Нѣтъ сюжетовъ, поясняетъ художникъ.

Изумленіе ваше увеличивается, и вы скромно возражаете, что сюжетовъ вездѣ и всегда можно найти безчисленное множество.

Улыбка художника становится еще презрительнѣе и еще грустнѣе.

— Сюжетомъ, говоритъ онъ, язвительно отчеканивая каждое слово, я называю такую мысль, которая овладѣваетъ всѣмъ моимъ существомъ, и не дастъ мнѣ покоя ни днемъ, ни ночью, до тѣхъ поръ, пока я не вырву ее изъ себя и не прикую ее къ полотну. Такихъ сюжетовъ я не вижу и не чувствую въ окружающей меня атмосферѣ.

— Но вѣдь были же у васъ мысли, говорите вы, когда вы сейчасъ набрасывали одну картину за другой, или вѣрнѣе одну картину на другую.

— Это не мысли, отвѣчаетъ художникъ: это мимолетныя настроенія. Вы сами видѣли, какъ они рождались и какъ исчезали. Такими мыльными пузырями, какъ эти настроенія, можно только удивлять и забавлять глупыхъ ребятишекъ, вродѣ вашей милости.

Вы обижены и прекращаете этотъ щекотливый разговоръ.

Я взялъ тутъ живописца единственно для того, чтобы мысль моя выразилась какъ можно нагляднѣе. Дѣйствуя въ области такого искусства, которое по своимъ средствамъ неизмѣримо богаче и по своему вліянію на общество неизмѣримо сильнѣе живописи, Гейне, подобно моему фантастическому живописцу, не находитъ себѣ сюжетовъ, и вслѣдствіе этого постоянно шалитъ и играетъ, вмѣсто того чтобы творить. Играми и шалостями наполнена вся его жизнь, но можно сказать навѣрное, что онъ съ радостью отдалъ бы половину этой жизни, лишь бы только какая-нибудь высшая сила дала ему возможность бросить поэтическія шалости и посвятить остальную половину жизни серьезнымъ и великимъ подвигамъ творчества. Граціозное бездѣльничанье мучительно и невыносимо для такого титана, который чувствуетъ себя способнымъ взбросить Пеліонъ на Оссу и вступить въ крупный разговоръ со всѣми обитателями Олимпа. Во время своихъ хроническихъ шалостей Гейне небрежно роняетъ на полъ свои жгучіе сарказмы, которые возбуждаютъ въ окружающихъ людяхъ чувства ужаса или восторга; но эти сарказмы могутъ только служить образчиками титанической силы и не даютъ никакого приблизительнаго понятія о тѣхъ колоссальныхъ подвигахъ, которые совершилъ бы этотъ титанъ, еслибы ему удалось найти сюжетъ и взяться за работу, способную овладѣть всѣмъ его существомъ. Но сюжетъ не нашелся, и титанъ умеръ, не совершивши ничего такого, что было бы вполнѣ достойно его собственныхъ силъ. Титанъ не виноватъ. Если онъ не нашелъ сюжета, то значитъ сюжета дѣйствительно и не было, по крайней мѣрѣ для него, для титана. Лѣнь было искать, скажете вы, оттого и не нашелъ. Ошибаетесь, отвѣчу я. Титану нуженъ великій сюжетъ, а такой сюжетъ— не иголка. Онъ не прячется отъ людей и не заставляетъ себя искать днемъ съ огнемъ; такой сюжетъ самъ дерзко и нахально лѣзетъ людямъ въ глаза, поражаетъ ихъ воображеніе, разнуздываетъ ихъ страсти и возбуждаетъ вокругъ себя ожесточенную борьбу, которая, начавшись въ области мысли, быстро захватываетъ и наполняетъ сферу реальной жизни. Только такой міровой сюжетъ способенъ зажечь въ груди титана тотъ великій пожаръ, отъ котораго полетятъ во всѣ стороны, какъ блестящія искры,

геніальныя произведенія. У Гейне такого сюжета не было и не могло быть.

Чтобы подкрѣпить это мнѣніе прочными доказательствами, надо сначала окинуть общимъ взглядомъ главныя отрасли титанической дѣятельности, а потомъ объяснить смыслъ той исторической эпохи, которая произвела и воспитала поэзію Гейне.

IV.

Титаны бываютъ разныхъ сортовъ.

Одни изъ нихъ живутъ и творятъ въ высшихъ областяхъ чистаго и безстрастнаго мышленія. Они подмѣчаютъ связь между явленіями, изъ множества отдѣльныхъ наблюденій они выводятъ общіе законы; они вырываютъ у природы одну тайну за другой; они прокладываютъ человѣческой мысли новыя дороги; они дѣлаютъ тѣ открытія, отъ которыхъ перевертывается вверхъ дномъ все наше міросозерцаніе, а вслѣдъ за тѣмъ и вся наша общественная жизнь. Ихъ открытія даютъ оружіе для борьбы съ природой сотнямъ крупныхъ и мелкихъ изобрѣтателей, которымъ наша промышленность обязана всѣмъ своимъ могуществомъ. Это—Атласы, на плечахъ которыхъ лежитъ все небо нашей цивилизаціи (премилое небо?—не правда ли?) Но, подобно Атласу, эти *титаны мысли* покрыты вѣчнымъ снѣгомъ. Они ищутъ только истины. Имъ некогда и некого любить; они живутъ въ вѣчномъ одиночествѣ. Ихъ мысли хватаютъ такъ высоко и такъ далеко, ихъ труды такъ сложны и такъ громадны, что они во время своей многолѣтней работы ни въ комъ не могутъ встрѣтить себѣ сочувствія и пониманія и ни съ кѣмъ не могутъ подѣлиться своими надеждами, радостями, тревогами или опасеніями. Ихъ начинаютъ понимать и боготворить тогда, когда цѣль достигнута и результатъ полученъ. Но и тогда между ними и массою остается длинный рядъ посредниковъ и толкователей. Только при содѣйствіи этихъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ дѣятелей масса получаетъ кое-какое слабое и смутное понятіе о томъ, что выработалось въ громадныхъ черепахъ этихъ Давалагири и Гумалари нашей породы. Чистѣйшимъ представителемъ этого типа можетъ служить Ньютонъ.

Другой типъ можно назвать *титанами любви*. Эти люди живутъ и дѣйствуютъ въ самомъ бѣшеномъ водоворотѣ человѣческихъ страстей. Они стоятъ во главѣ всѣхъ великихъ народныхъ движеній, религіозныхъ и соціальныхъ. Несмотря ни на какіе зловѣщіе уроки прошедшаго, несмотря на кровавыя пораженія и мучительную расплату, люди такого закала изъ вѣка въ вѣкъ благословляютъ своихъ ближнихъ бороться, страдать и умирать за право жить на бѣломъ свѣтѣ, сохраняя въ полной неприкосновенности святыню собственнаго убѣжденія и величіе человѣческаго достоинства. Гальванизируя и увлекая массу, титанъ идетъ впереди всѣхъ и съ вдохновенною улыбкою на устахъ первый кладетъ голову за то великое дѣло, котораго до сихъ поръ еще не выиграло человѣчество. Титаны этого разбора почти никогда не опираются ни на обширныя фактическія знанія, ни на ясность и твердость логическаго мышленія, ни на житейскую опытность и сообразительность. Ихъ сила заключается только въ ихъ необыкновенной чуткости ко всѣмъ человѣческимъ страданіямъ и въ слѣпой стремительности ихъ страстнаго порыва. Въ былое время, впрочемъ, еще не очень давно, они искали себѣ точку опоры въ бездонномъ пространствѣ голубого эѳира, потомъ они стали вѣрить въ какую-то отвлеченную справедливость, которая уже давно собирается восторжествовать надъ земными гадостями и наконецъ, по мнѣнію добродушныхъ титановъ любви, должна когда-нибудь приступить къ выполненію своего давнишняго замысла. Впрочемъ съ тѣхъ поръ, какъ изобрѣтено книгопечатаніе и усовершенствована во всей Европѣ сельская и городская полиція, титаны любви во многихъ отношеніяхъ измѣнились къ лучшему. Имъ теперь уже нельзя и незачѣмъ проповѣдывать на открытомъ воздухѣ, гдѣ голубой эѳиръ разсказываетъ всякому желающему заманчивыя сказки о всевозможныхъ точкахъ опоры для всевозможныхъ воздушныхъ замковъ. Имъ нельзя увлекать слушателей восклицаніями и тѣлодвиженіями. Имъ пришлось взяться за перо. Они превратились въ кабинетныхъ работниковъ и поневолѣ должны были познакомиться съ великими трудами титановъ мысли. Это сближеніе между двумя главными областями человѣческаго титанизма, это сліяніе дѣятельной любви и трезвой науки заключаетъ въ себѣ единственные возможные задатки будущаго обновленія.

Третью и послѣднюю категорію можно назвать *титанами воображенія*. Эти люди не дѣлаютъ ни открытій, ни переворотовъ. Они только схватываютъ и облекаютъ въ поразительно-яркія формы тѣ идеи и страсти, которыя воодушевляютъ и волнуютъ ихъ современниковъ. Но идеи должны быть выработаны и страсти предварительно возбуждены другими дѣятелями—титанами двухъ высшихъ категорій. Матеріаломъ можетъ служить для титановъ воображенія только то, что люди знаютъ, и то, чего они хотятъ. Само собою разумѣется, что не всѣ человѣческія знанія съ одинаковымъ удобствомъ облекаются въ яркія и блестящія формы; никакому титану не придетъ въ голову дикая и смѣшная мысль писать поэму о спутникахъ Юпитера, или о скрытомъ теплородѣ, или о произвольномъ зарожденіи. Для поэмы годится только та часть человѣческихъ знаній, которая

глубоко затрогиваетъ человѣческія страсти, и притомъ не только страсти однихъ спеціалистовъ, способныхъ даже горячиться и ссориться изъ-за спутниковъ Юпитера, но страсти всѣхъ людей, имѣющихъ возможность познакомиться съ даннымъ вопросомъ. Такими вѣчно жгучими знаніями могутъ быть только знанія человѣка о междучеловѣческихъ отношеніяхъ. Въ этой же области междучеловѣческихъ отношеній разыгрываются также и всѣ серьезныя и упорныя человѣческія желанія, всѣ тѣ желанія, которыми характеризуются и отличаются другъ отъ друга различныя историческія эпохи. Значитъ, титаны воображенія располагаютъ богатымъ запасомъ матеріала тогда, когда соціальныя знанія и понятія людей отличаются большою опредѣленностью, и когда желанія или стремленія очень ясно обозначены, очень сильны, настойчивы и рѣшительны. Напротивъ того, когда люди сомнѣваются въ состоятельности своихъ знаній и въ то же время не умѣютъ отдать себѣ ясный отчетъ въ своихъ собственныхъ желаніяхъ, когда имъ противно прошедшее и когда они плохо вѣрятъ въ лучшее будущее, тогда титаны воображенія сидятъ безъ сюжетовъ и, отъ нечего дѣлать, шалятъ и играютъ красками, звуками, словами и образами.

Великое несчастіе титана Гейне состоитъ вовсе не въ томъ, что какой-нибудь Меттернихъ или какой-нибудь союзный сеймъ мѣшали ему откровенно объясняться съ нѣмецкой публикой. Это несчастіе состоитъ даже и не въ томъ, что сама нѣмецкая публика отличалась поразительнымъ тупоуміемъ и во всякую данную минуту была готова и способна облизать ноги своимъ злѣйшимъ врагамъ, разорвать на части своихъ лучшихъ и безкорыстнѣйшихъ друзей и подарить міру изъ своихъ собственныхъ нѣдръ тысячу новыхъ Меттерниховъ и тысячи новыхъ союзныхъ сеймовъ; когда человѣку мѣшаетъ работать грубая матеріальная сила—это конечно очень непріятно. Когда человѣка не понимаетъ то общество, которому онъ отдастъ кровь своего сердца и сокъ своихъ нервовъ—это еще болѣе непріятно, это даже очень больно, обидно и досадно.

Но все это—такія препятствія, которыя могутъ и должны быть побѣждены сильнымъ напряженіемъ ума и воли. При всѣхъ этихъ препятствіяхъ, настоящій источникъ мужественной энергіи и боевого задора остается нетронутымъ и незасореннымъ. Противъ матеріальной силы можно дѣйствовать хитростью. Инквизиторскую проницательность меттерниховскихъ ищеекъ можно всегда обманывать неистощимымъ запасомъ тѣхъ уловокъ, изворотовъ, цвѣтистыхъ образовъ и ироническихъ двусмысленностей, которыя постоянно находятся подъ руками каждаго даровитаго писателя и которыя придаютъ искусно затаенной мысли особенную шаловливую прелесть и раздражающую пикантность. Нѣтъ той гремучей змѣи, которую нельзя было бы опрятно и граціозно уложить въ невиннѣйшую и граціознѣйшую корзину, наполненную самыми великолѣпными и душистыми цвѣтами. И въ этой борьбѣ между меттерниховской ищейкой и даровитымъ писателемъ побѣда непремѣнно должна склониться на сторону послѣдняго, потому что ищейка дѣйствуетъ по обязанности службы, а писатель повинуется повелительному голосу всепоглощающей страсти.

Равнодушіе и непониманіе публики—это также не богъ-знаетъ какое неодолимое препятствіе. Еслибы это равнодушіе и непониманіе простиралось на всю литературу безъ малѣйшаго исключенія, т. е., еслибы публика не обнаруживала никакой охоты къ чтенію и не имѣла бы никакого понятія объ умственныхъ наслажденіяхъ—тогда препятствіе было бы дѣйствительно очень серьезно и далеко превышало бы силы не только одного даровитаго писателя, но даже и цѣлаго поколѣнія даровитыхъ писателей. Но когда занятія текущей литературой сдѣлались насущной потребностью для того общества, которое считаетъ и называетъ себя образованнымъ, тогда даровитому писателю уже вовсе не трудно сформировать себѣ, въ самое короткое время, понимающихъ и страстно внимательныхъ читателей. Если общество равнодушно къ политикѣ и не понимаетъ современной исторіи, то, по всей вѣроятности, оно не равнодушно къ театру и превосходно понимаетъ микроскопическія красоты лирическаго пустословія и романическаго селадонства. Чѣмъ равнодушнѣе становится общество къ великимъ жизненнымъ идеямъ, тѣмъ страстнѣе оно привязывается къ прекраснымъ формамъ, которыхъ пониманіе впрочемъ также извращается и мельчаетъ подъ вліяніемъ общаго умственнаго оцѣпенѣнія. Въ Европѣ такъ бывало всегда. Эпохи политическаго застоя и отупѣнія были всегда золотыми годами для чистаго искусства, которое быстро овладѣвало всѣми умственными силами общества и потомъ немедленно вырождалось и доходило до послѣднихъ предѣловъ вычурности и уродливой аффектаціи. Если титанъ воображенія хочетъ при такихъ условіяхъ овладѣть вниманіемъ общества, то ему стоитъ только воспользоваться тѣми формами, которыя нравятся его современникамъ, отчистить, отполировать эти формы, навести на нихъ новый, волшебно-ослѣпительный блескъ и потомъ влить въ нихъ то живое содержаніе, которое было вытѣснено изъ жизни и изъ литературы тяжелыми годами невольной умственной неподвижности. Современники накинутся сначала на ослѣпительную форму, сіяющую пуще всякаго мѣднаго таза, но процессъ мышленія, направленнаго на ближайшіе и важнѣйшіе интересы и вопросы жизни, обладаетъ всегда и для всѣхъ

такой неотразимой, такой раздражительной и затягивающей прелестью, что ядро орѣха очень скоро будетъ вынуто изъ шелухи, и что шумные споры о красотахъ и недостаткахъ оболочки уступятъ мѣсто гораздо болѣе ожесточеннымъ преніямъ о питательности или ядовитости содержанія. Пробужденіе притупленнаго и деморализованнаго общества начинается обыкновенно съ очищенія его эстетическихъ понятій, совсѣмъ не потому, что эти понятія важнѣе всѣхъ остальныхъ, а потому, что деморализованное и притупленное общество только съ этой стороны оказывается доступнымъ для вразумленій. Эту сторону слабѣе караулятъ оффиціальные аргусы, любители тупости и безнравственности; кромѣ того сама публика только съ одной этой стороны сохраняетъ способность видѣть, слышать, чувствовать, понимать, интересоваться и увлекаться. Руководствуясь тѣмъ инстинктомъ, которымъ обладаютъ титаны, Лессингъ въ Германіи и Бѣлинскій въ Россіи начали обновленіе общества со стороны его эстетическихъ понятій, которыя, при дальнѣйшемъ развитіи умственнаго движенія, должны были отодвинуться на самый задній планъ. Гейне также очень ловко умѣлъ бороться съ равнодушіемъ публики и побѣждать ея непониманіе. Какъ Лессингъ и Бѣлинскій сами дѣлались на всю жизнь эстетиками для того, чтобы положить конецъ неограниченному господству эстетики, такъ точно Гейне, осмѣивая и убивая безсодержательный романтизмъ, пользовался въ теченіе всей своей жизни романтическими формами, которыхъ причудливая и необузданная дикость очаровывала его современниковъ.

Стало быть великое несчастіе Гейне заключалось невъ умственной убогости нѣмецкой публики.

Настоящее, роковое несчастіе, гораздо болѣе неотразимое, чѣмъ Меттернихъ и филистерство, состояло въ томъ, что сама соль земли находилась въ недоумѣніи и не знала навѣрнос, что и какъ солить. Лучшіе люди, самые умные, самые честные и самые страстные, искали вокругъ себя и внутри себя твердую точку опоры, и не могли ее найти. Ихъ мучило безвѣріе въ самомъ обширномъ и глубокомъ значеніи этого слова. Они не знали, на что надѣяться и чего желать. Въ этомъ отношеніи лучшіе люди первой половины XIX вѣка были гораздо несчастнѣе своихъ предшественниковъ и своихъ преемниковъ. Предшественники вѣрили въ политическій переворотъ; преемники вѣрятъ въ экономическое обновленіе; а посрединѣ лежитъ темная трущоба, наполненная разочарованіемъ, сомнѣніемъ и смутно-безпокойными тревогами; и въ самомъ центрѣ этой темной трущобы сидитъ самый блестящій и самый несчастный ея представитель — Генрихъ Гейне, который весь составленъ изъ внутреннихъ разладовъ и непримиримыхъ противорѣчій.

V.

Передовые мыслители XVIII вѣка были глубоко убѣждены въ томъ, что хорошее правительство можетъ въ самое короткое время поставить любой народъ на высшую ступеньку цивилизаціи и блаженства. Мудрый законодатель и золотой вѣкъ—это по ихъ мнѣнію были два понятія, неразрывно связанныя между собою, какъ причина и слѣдствіе. Задача человѣчества представлялась въ самомъ простомъ и элементарномъ видѣ: обезоружь тирановъ, посади мудрецовъ въ государственный совѣтъ, и потомъ блаженствуй. Если ты хочешь упрочить свое блаженство на вѣчныя времена, то наблюдай только за тѣмъ, чтобы мудрецы не глупѣли и не лукавили. Чуть замѣтилъ недосмотръ или фальшь, сейчасъ отставляй мудреца отъ должности, замѣщай его новымъ благодѣтелемъ, и будь увѣренъ, что блаженству твоему не предвидится конца. Тѣ люди, которые вѣруютъ въ конституцію, какъ въ универсальное лекарство, разсуждаютъ именно такимъ образомъ, потому что всевозможныя конституціонныя гарантіи и уравновѣшиванія клонятся исключительно къ тому, чтобы регулировать смѣщеніе мудрецовъ, пришедшихъ въ негодность, и выборъ новыхъ мудрецовъ, долженствующихъ занять ихъ мѣсто. Откуда взялось это заблужденіе, обольстившее XVIII вѣкъ и не совсѣмъ утратившее свою силу до настоящаго времени—понять не трудно. Дѣло въ томъ, что дурное правительство дѣйствительно можетъ причинить народу необъятную массу разнообразнаго зла. Еслибы дурному правительству, вродѣ турецкаго или персидскаго, удалось при помощи вооруженной силы утвердиться въ роскошной странѣ, населенной дѣятельнымъ и даровитымъ народомъ, и еслибы это дурное правительство успѣло задушить всѣ взрывы народнаго негодованія, то черезъ нѣсколько десятилѣтій страна превратилась бы въ пустыню, и остатки народа сдѣлались бы толпою нищихъ, идіотовъ и негодяевъ. Такое разрушеніе народнаго богатства, народныхъ силъ и народнаго ума производилось передъ глазами тѣхъ мыслителей, работы которыхъ положили свою печать на все умственное движеніе прошлаго столѣтія. Дурное правительство Людовика XIV, Филиппа Орлеанскаго и Людовика XV превращало Францію въ пустыню, а французовъ—въ нищихъ, которымъ были одинаково сподручны идіотизмъ, негодяйство и голодная смерть. Мыслители могли прослѣдить шагъ за шагомъ все развитіе зла; они могли доказать самымъ осязательнымъ образомъ, что все это зло сдѣлано дурнымъ правительствомъ. Они видѣли собственными глазами, какъ колоссально можетъ быть вліяніе правительства въ дурную сторону; они умозаключили совершенно

справедливо, что народъ испыталъ бы значительное облегченіе, еслибы правительство на будущее время просто и скромно стало воздерживаться отъ грубыхъ ошибокъ и отъ слишкомъ скандалезнаго озорства. Но тутъ уже трудно было остановиться во время на пути умозаключеній. Тутъ сейчасъ подвертывалась та повидимому несомнѣнно истинная мысль, что если правительство можетъ все погубить, то оно можетъ также все спасти, возсоздать, исправить, обновить и довести до высшей степени совершенства.

Итакъ въ XVIII вѣкѣ дѣло шло о томъ, чтобы вручить правленіе искреннимъ друзьямъ и достойнымъ представителямъ народа. Такой опытъ былъ произведенъ во Франціи и окончился неудачею. Неудачею — не въ томъ смыслѣ, что революція не принесла Франціи никакой пользы, а только въ томъ смыслѣ, что результатъ не соотвѣтствовалъ наивно преувеличеннымъ ожиданіямъ народа и его вождей. Феодализмъ былъ вырванъ съ корнемъ; поземельная собственность распредѣлилась равномѣрнѣе. Вмѣсто тысячи мѣстныхъ обычаевъ выработанъ одинъ общій кодексъ гражданскихъ и уголовныхъ законовъ, одинаково обязательныхъ для герцога и для мужика; наслѣдственное чиновничество уничтожено; старое, дорогое и запутанное судопроизводство замѣнено новымъ, гораздо болѣе раціональнымъ, быстрымъ и дешевымъ. Словомъ, великое множество Авгіевыхъ стойлъ, нечищенныхъ со времени Гуго Капета, снесено прочь до основанія. Въ числѣ этихъ стойлъ цехи заслуживаютъ самаго почетнаго упоминанія. Вообще въ одно десятилѣтіе былъ сдѣланъ невѣроятно громадный и совершенно безповоротный шагъ впередъ, котораго потомъ не могла затушевать самая бѣшеная реакція. Возстановить цехи, внутреннія таможни, мѣстные обычаи, церковную десятину, помѣщичьи права — шалишь! Объ этомъ не осмѣливалась заикнуться даже *Chambre introuvable* того толстаго Людовика, который наперекоръ всѣмъ историческимъ фактамъ упорно называлъ себя XVIII-мъ. Это значило бы буквально искать вчерашняго дня или прошлогодняго снѣга. Но золотой вѣкъ все таки не наступилъ, а надежды были такъ неудержимо размашисты и такъ сильно возбуждены, что уже одно это обстоятельство, одно это ненаступленіе золотого вѣка повело за собою великое, долговременное и мучительное разочарованіе.

Въ это время, подъ вліяніемъ разочарованія и реакціи, въ Европѣ распустился чахлый и блѣдный цвѣтокъ либерализма. Надежды наши разбиты, думали искренніе либералы, потому что эти надежды вообще были неосуществимы. Золотой вѣкъ всеобщаго довольства и ненарушимаго братолюбія не наступитъ никогда. Мечтать намъ безполезно. Стремиться къ нему безумно и преступно. Земля слишкомъ мала и бѣдна. Люди слишкомъ многочисленны. Страсти ихъ слишкомъ пылки и разнообразны. Вѣчная борьба между людьми неизбѣжна. Поэтому надо заботиться только о томъ, чтобы борьба всегда и вездѣ рѣшалась личными достоинствами, а не прерогативами рожденія. Надо твердо стоять на той почвѣ, которую расчистили для насъ великіе принципы 1789 года. Съ одной стороны, надо отстаивать пріобрѣтенія великаго переворота противъ отвратительныхъ замысловъ реакціонеровъ, мечтающихъ о возстановленіи феодализма; съ другой — надо держать въ ежевыхъ рукавицахъ тѣхъ сумасбродовъ, которые, считая себя законными преемниками великихъ дѣятелей, стараются увлечь общество въ бездну анархіи, разоренія и варварства. Такъ разсуждали либералы, и по этой программѣ располагались всѣ ихъ дѣйствія.

Искренніе либералы, желавшіе доставить народу счастье, но считавшіе это счастье недостижимымъ для массъ, составляли незначительное меньшинство. Настоящая боевая армія либерализма состояла изъ такихъ людей, которые жадно собирали плоды великаго переворота и нисколько не желали, чтобы число счастливыхъ собирателей увеличилось. На развалинахъ стараго феодализма утвердилась новая плутократія, и бароны финансоваго міра, банкиры, негоціанты, коммерсанты, фабриканты и всякіе *надуванты* вовсе не были расположены дѣлиться съ народомъ выгодами своего положенія. Слово *плутократія* происходитъ отъ греческаго слова *плутосъ*, которое значитъ *богатство*. Плутократіей называется господство капитала. Но если читатель, увлекаясь обольстительнымъ созвучіемъ, захочетъ производить *плутократію* отъ русскаго слова *плутъ*, то смѣлая догадка будетъ невѣрна только въ этимологическомъ отношеніи.

Бароны финансоваго міра образовали новый классъ привилегированныхъ особъ и, прикрываясь великими принципами 1789 года, стали защищать только свои собственныя привилегіи. Тѣ искренніе друзья народа, которымъ пришлось жить и дѣйствовать въ первой половинѣ текущаго столѣтія, очутились такимъ образомъ въ компаніи самаго сомнительнаго достоинства.

Рыхлая и безсвязная политическая партія, составленная изъ близорукихъ лавочниковъ, честолюбивыхъ шарлатановъ, уклончивыхъ юристовъ и немногихъ искреннихъ, но глубоко разочарованныхъ друзей народа, могла имѣть нѣкоторый смыслъ и кое-какую энергію только тогда, когда надо было осаживать и обуздывать шальныхъ реакціонеровъ, потерявшихъ на старости лѣтъ послѣдніе остатки здраваго человѣческаго разсудка. Императоръ Францъ, князь Меттернихъ, союзный сеймъ, герцогъ Веллингтонъ, маркизъ

Лондондерри, *Chambre introuvable*, Карлъ X, іезуиты и піетисты — были настоящимъ и неоцѣненнымъ сокровищемъ для комически-несчастной партіи либераловъ. Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ бы эти несчастные либералы стали наполнять свои досуги, чѣмъ могли бы они заработать себѣ европейскую знаменитость, какими терновыми вѣнцами могли бы они изборождить свои интересно-блѣдные лбы, — еслибы великодушные реакціонеры не доставляли имъ обильныхъ случаевъ оппонировать и будировать, ужасаться и хныкать, горячиться и торжественно доказывать, что дважды два четыре, и что мужикъ не любитъ платить десятину? Какъ только пылкіе обожатели средне-вѣкового порядка вымерли или перестали быть опасными, какъ только либеральная партія одержала побѣду надъ своими благодѣтелями, такъ тотчасъ же либеральная партія расползлась на свои составныя части. Честные и умные люди отшатнулись отъ нея прочь, а легіонъ пройдохъ и торгашей, осѣненный знаменемъ *великихъ принциповъ*, сталъ представлять такое уморительное зрѣлище, что обнаружилась настоятельная необходимость свернуть и спрятать тихимъ манеромъ компромстирующее знамя и выставить новый штандартикъ, на которомъ вмѣсто крикливыхъ словъ: «*братство, равенство, свобода!*» было написано приглашеніе не воровать носовыхъ платковъ и не ломать мостовую. Либералы очень горячо и настойчиво добивались свободы печати, но свобода печати была имъ необходима только для того, чтобы доказывать ежедневно, что дважды два четыре, что бережливость есть мать всѣхъ милліоновъ и всѣхъ добродѣтелей, что силою ума и характера поденщикъ можетъ сдѣлаться банкиромъ и пэромъ Франціи, что евреи имѣютъ основательныя причины считать себя людьми, и что напѣ было бы очень полезно познакомиться съ системою Коперника, открыть свои объятія всему человѣчеству и записаться въ ряды просвѣщенныхъ и умѣренныхъ либераловъ. Когда же свободная печать начала знакомить міръ съ новыми истинами, опасными для финансоваго феодализма, тогда либералы первые закричали «караулъ!» и выдумали новое слово *licence* для обозначенія печатныхъ ужасовъ, отъ которыхъ надо укрываться подъ защиту городского сержанта.

Барышники знали, чего хотѣли. Они были очень довольны собой и всею политикою. Внутреннія противорѣчія ихъ не смущали. Они говорили, что жизнь не математика, и что непоколебимая вѣрность основной идеѣ такъ же невозможна въ жизни, какъ невозможенъ въ природѣ математическій маятникъ. Этимъ людямъ было хорошо, тепло и весело. Смотря по требованіямъ данной минуты, они то отвергали принципъ, допуская въ то же время его послѣдствія, то отвергали послѣдствія, допуская принципъ.

Такъ, напримѣръ, въ первой четверти нашего столѣтія многіе англійскіе лорды пожелали увеличить доходность своихъ владѣній и съ этой цѣлью нашли удобнымъ превратить пахатныя земли въ пастбища, на которыхъ должны воспитываться феноменально-жирные и прекрасные быки и бараны. Когда окончился срокъ заключеннымъ контрактамъ, тогда владѣльцы предложили фермерамъ уходить на всѣ четыре стороны и вслѣдъ затѣмъ немедленно приказали разрушить тѣ усадебныя строенія, въ которыхъ эти люди родились, выросли, быть можетъ даже состарѣлись и надѣялись умереть. Тысячи семействъ оказались безъ пріюта, старики и дѣти умирали отъ истощенія силъ, женщины разрѣшались отъ бремени въ открытомъ полѣ; словомъ, происходили такія странныя сцены, которыя повидимому были умѣстны и позволительны только во время нашествія непріятеля. Либеральная европейская пресса ударила въ набатъ. Вотъ, молъ, они каковы — эти олигархи, эти феодалы, эти варвары и кровопійцы!

Всѣ эти либеральныя завыванія можно было пріостановить однимъ простымъ вопросомъ: земля чья?

— Земля господская.

— Такъ чего же вы бѣснуетесь?

— Но эти несчастные фермеры! Куда же они пойдутъ?

— Куда угодно. Въ рабочій домъ, въ тюрьму, въ Ирландскій каналъ, въ Нѣмецкое море, въ ближайшій прудъ, на висѣлицу, къ чорту на кулички, или въ какое-нибудь другое злачное и пріятное мѣсто. Лорды не имѣютъ права и, какъ добрые граждане, уважающіе законы своего отечества, даже не желаютъ стѣснять своихъ бывшихъ фермеровъ въ выборѣ новой резиденціи.

— Это ужасъ, это убійство!

— Неправда! Это логика!

Вы, господа либералы, учились римскому праву. Вы называете его *писаннымъ разумомъ* (la raison écrite). Вамъ должно быть извѣстно, что право собственности есть *jus utendi et abutendi* (право пользоваться и злоупотреблять). Желая получать съ своей земли возможно большіе доходы, лордъ только пользуется этой землей, а не злоупотребляетъ. Значитъ, онъ не только не выступаетъ изъ должныхъ границъ своего неотъемлемаго и священнаго права, но даже далеко не доходитъ до тѣхъ границъ, которыя очерчены вокругъ него вашимъ *писаннымъ разумомъ*. Изъ-за чего же вы лѣзете на стѣну, когда все въ обществѣ обстоитъ благополучно, и когда спокойно и торжественно развертываются прямыя и законныя послѣдствія той идеи, передъ которой вы стоите на колѣняхъ? Если же римское опредѣленіе кажется

вамъ неудобнымъ, попробуйте сочинить новое. Но при этомъ будьте осторожны. Вы рискуете поднять изъ свѣжей могилы трупъ обезглавленнаго Бабефа. Вы рискуете вызвать изъ глубины далекаго прошедшаго великія тѣни Кая и Тиверія Гракховъ. Вы рискуете потревожить грозный призракъ аграрныхъ законовъ.

Много такихъ потоковъ краснорѣчія можно было бы направить противъ европейскихъ либераловъ, осуждавшихъ энергическія хозяйственныя распоряженія англійскихъ землевладѣльцевъ. Но всѣ эти потоки пропали бы даромъ, потому что либералы рѣшительно ничѣмъ не рисковали. Опасность угрожала бы имъ только въ томъ случаѣ, еслибы они хоть сколько-нибудь уважали логику. Для человѣка послѣдовательнаго измѣнить римское опредѣленіе собственности значитъ перестроить сверху все зданіе междучеловѣческихъ отношеній. Для просвѣщеннаго либерала это значитъ внести въ книгу законовъ лишнюю ограничительную закорючку, способную порождать ежегодно двѣ-три сотни лишнихъ процессовъ.

Когда благоуханія какого-нибудь Авгіева стойла доводятъ просвѣщеннаго и чувствительнаго либерала до тошноты или до обморока, тогда либералъ, очнувшись и собравшись съ силами, брызгаетъ въ убійственное стойло одеколономъ, или ставитъ въ него курительную свѣчку, или выливаетъ въ него банку ждановской жидкости.

И къ этой либеральной партіи, къ этому разлагающемуся трупу Жиронды, былъ привязанъ въ теченіе всей своей жизни геніальный поэтъ Генрихъ Гейне.

VI.

Сарказмы Гейне злы, мѣтки и картинны. Но тѣ политическія убѣжденія, изъ которыхъ они вытекаютъ, очень неглубоки, неясны и нетверды. Гейне—*храбрый солдатъ;* онъ превосходно владѣетъ оружіемъ, но въ его нападеніяхъ нѣтъ общаго плана и руководящей идеи.

Гейне—либералъ, но, какъ человѣкъ очень умный, очень страстный, переполненный горячею любовью къ людямъ, онъ никогда не могъ застыть и одервенѣть въ близорукой и самодовольной рутинѣ либерализма. Онъ оставался вѣчно неудовлетвореннымъ не только въ дѣйствительной жизни, но даже въ области мыслей и желаній. Вокругъ себя онъ не находилъ ни одного явленія, къ которому можно было бы привязаться горячей и безраздѣльной любовью. Внутри себя онъ не находилъ ни одной идеи, на которую можно было бы опереться, ни одного желанія, ради котораго стоило бы, очертя голову, броситься въ пропасть, ни одной мечты, которой умный человѣкъ могъ бы отдаться безъ оглядки всѣми силами своего существа.

Находясь въ такомъ положеніи, спокойныя и холодныя натуры, подобныя Гете и Горацію, мирятся съ тѣмъ убѣжденіемъ, что *жизнь—пустая и глупая шутка*, принимаютъ за правило, что надо *жить, пока живется*, устраиваютъ свое существованіе по рецепту умѣренной и свѣтлой эпикурейской мудрости, пишутъ граціозныя оды къ Лигурину и къ Деліи, или дѣлаютъ свой кейфъ на пестрыхъ и мягкихъ подушкахъ западно-восточнаго дивана.

Но для настоящихъ титановъ, для бурныхъ и вулканическихъ натуръ, подобныхъ Гейне и Байрону, такое сахарное блаженство остается навсегда непонятнымъ и недоступнымъ. Эти люди могутъ быть до нѣкоторой степени счастливы только тогда, когда они окунаются съ головою въ омутъ страстной и ожесточенной борьбы за идею. Этимъ людямъ необходимы цѣльныя и громадныя чувства, сильныя и мучительныя потрясенія нервной системы. Имъ необходимо любить, ненавидѣть, желать, стремиться и бороться такъ, чтобы при этомъ совершенно забывать о мелкихъ будничныхъ интересахъ собственной личности. Все это не всегда оказывается возможнымъ, потому что въ исторіи случаются длинные и томительные, скучные антракты, когда старыя идеи блекнутъ и линяютъ, а новыя только-что начинаютъ зарождаться въ рабочихъ кабинетахъ немногихъ титановъ, еще неизвѣстныхъ своимъ современникамъ. Во время такихъ антрактовъ цѣльнымъ и громаднымъ чувствомъ не къ чему привязаться; а между тѣмъ эти чувства все-таки ищутъ себѣ выхода и все-таки никакъ не могутъ размѣняться на мелкую монету усладительныхъ вздоховъ, граціозныхъ симпатій, миловидныхъ волненій, покорныхъ улыбокъ и оффиціальныхъ восторговъ. Зная пустоту и безцвѣтность своего времени, несчастные титаны воображенія, удрученные потребностью любить, ищутъ себѣ предмета любви до конца своей жизни, мечутся, какъ угорѣлые, изъ угла въ уголъ, перерываютъ весь міръ существующихъ идей, стараются влюбить себя насильно, и при этомъ смѣются надъ своими безплодными усиліями такимъ демоническимъ смѣхомъ, отъ котораго у слушателей морозъ пробѣгаетъ по кожѣ. Наконецъ длинный рядъ безплодныхъ усилій доводитъ титана до такой лихорадочной раздражительности и награждаетъ его на всю жизнь такой болѣзненной недовѣрчивостью, что ему случается брать въ руки, осматривать со всѣхъ сторонъ и потомъ бросать, съ презрительнымъ смѣхомъ, въ общую кучу забракованныхъ нелѣпостей, ту самую идею, въ которой заключается заря лучшей исторической будущности и которая могла бы доставить ему, несчастному титану, самыя высокія изъ всѣхъ доступныхъ человѣку наслажденій.

Самъ Гейне превосходно понималъ, или по

крайней мѣрѣ очень вѣрно угадывалъ настоящую причину своего роковаго несчастія, неимѣвшаго конечно ничего общаго съ какой-нибудь личной утратой или со старой исторіей о томъ, что онъ *ее* любилъ, а она *его* любила.

«Любезный читатель, говоритъ Гейне во второй части «Путевыхъ Картинъ», можетъ быть и ты изъ числа тѣхъ благочестивыхъ птичекъ, что согласно вторятъ пѣснѣ о байроновской разорванности, пѣснѣ, которую мнѣ уже лѣтъ десять насвистываютъ и напѣваютъ на всѣ лады, и которая даже въ черепѣ маркиза, какъ ты видишь, нашла отголосокъ? Ахъ, любезный читатель, если ты вздумаешь горевать объ этой разорванности, пожалѣй лучше, что самый міръ разорванъ изъ конца въ конецъ. Вѣдь сердце поэта—центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ? Кто хвалится своимъ сердцемъ, что оно осталось у него цѣло, тотъ только доказываетъ, что у него прозаическое, оторванное отъ всего міра сердце. По моему-же сердцу прошелъ большой міровой разрывъ, и въ этомъ я вижу доказательство, что судьба почтила меня высокой милостью въ сравненіи съ другими и сочла достойнымъ поэтическаго мученичества. Прежде, въ древніе и средніе вѣка, міръ былъ цѣлъ; несмотря на внѣшнія борьбы, было единство въ мірѣ; были и цѣльные поэты. Станемъ чтить этихъ поэтовъ и радоваться ими; но всякое подражаніе ихъ цѣлостности будетъ ложью, которая не обманетъ ничьего здороваго глаза и не избѣгнетъ тогда насмѣшки. Недавно съ большимъ трудомъ добылъ я въ Берлинѣ стихотворенія одного изъ такихъ цѣльныхъ поэтовъ, очень жаловавшагося на мою байроническую разорванность, и отъ фальшивыхъ красокъ его нѣжныхъ сочувствій къ природѣ, которыми вѣяло на меня отъ книги, какъ отъ свѣжаго сѣна, бѣдное сердце мое, и безъ того надорванное, чуть было не лопнуло отъ смѣха, и я невольно вскричалъ: «Любезный мой интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ! Что вамъ за дѣло до зеленыхъ деревьевъ!» (Т. II, стр. 154).

Большой міровой разрывъ, проходящій по сердцу поэта и отражающійся въ разорванности его произведеній, это конечно очень смѣлый поэтическій образъ, но въ этомъ образѣ нисколько не искажена и даже не преувеличена самая чистая истина. Читателя могутъ ввести въ заблужденіе только слова Гейне о цѣльности міра въ древніе и средніе вѣка. Основываясь на этихъ словахъ, читатель можетъ подумать, что сердце поэта могло быть цѣло только тогда, и что поэтическая разорванность родилась на свѣтъ вмѣстѣ съ началомъ великой борьбы противъ средневѣковыхъ идей и учрежденій. Такое мнѣніе читателя было бы совершенно ошибочно. Разорванность лежитъ въ гораздо болѣе тѣсныхъ и ясно обозначенныхъ границахъ. Никакихъ признаковъ разорванности нельзя найти не только въ поэтахъ временъ Людовика XIV, не только въ Мильтонѣ и Клопштокѣ, но даже въ Шиллерѣ и во всѣхъ передовыхъ мыслителяхъ, господствовавшихъ надъ умами французовъ во второй половинѣ прошлаго столѣтія. При Людовикѣ XIV міръ былъ еще цѣлъ, хотя средневѣковой порядокъ былъ уже нарушенъ въ самыхъ существенныхъ своихъ чертахъ. Въ XVIII вѣкѣ міръ былъ уже разорванъ діаметрально противоположными стремленіями двухъ непримиримыхъ партій, изъ которыхъ одна тянулась къ будущему, вѣровала въ разумъ, а другая ухватывалась за прошедшее и не вѣровала ни во что, кромѣ штыковъ и картечи. Міръ былъ разорванъ, но сердца поэтовъ и друзей человѣчества были въ высшей степени цѣльны, здоровы и свѣжи. Эти сердца очутились цѣликомъ по одну сторону разрыва. Въ мысляхъ, въ чувствахъ, въ желаніяхъ Вольтера, Дидро, Гольбаха не было ничего похожаго на раздвоенность или нерѣшительность. Эти люди не знали никакихъ колебаній и не чувствовали никогда ни малѣйшей жалости или нѣжности къ тому, что они отрицали и разрушали. По силѣ своего воодушевленія, по рѣзкой опредѣленности своихъ понятій, по своей невозмутимой самоувѣренности эти люди могутъ выдержать сравненіе съ любымъ средневѣковымъ фанатикомъ. А фанатизмъ и разорванность—два понятія, взаимно исключающія другъ друга. Та разорванность, которую Гейне видитъ въ самомъ себѣ и въ Байронѣ, составляетъ прямой результатъ громаднаго разочарованія, овладѣвшаго лучшими людьми образованнаго міра послѣ неудачнаго финала французской революціи. Тутъ лучшіе люди стали сомнѣваться въ вѣрности своихъ идей, тутъ они бросили грустный и тревожный взглядъ назадъ, на оторванное прошедшее, и тутъ ихъ сердца попали подъ черту мірового разрыва, потому что имъ показалось, что вмѣстѣ съ прошедшимъ они оторвали отъ себя часть своей собственной души. Это былъ оптическій обманъ. Эти ужасы привидѣлись имъ только потому, что будущее было заслонено сѣрыми и грязными тучами, сквозь которыя еще не пробивался лучъ новой руководящей идеи, способной замѣнить собой потерянную вѣру въ чудотворную силу голыхъ политическихъ переворотовъ. Когда появилась эта идея, тогда исчезла разорванность лучшихъ людей, исчезла впредь до ближайшаго общеевропейскаго разочарованія — если только такое разочарованіе дѣйствительно возможно. На нашихъ глазахъ живутъ и дѣйствуютъ снова цѣльные люди, идущіе впередъ очень твердыми шагами къ очень опредѣленной цѣли. Въ Прудонѣ, въ Луи Бланѣ, въ Лассалѣ нѣтъ уже никакихъ слѣдовъ байроновской или гейневской разорванности. Еслибы въ наше время сформировался

великій поэтъ, то его сердце навѣрное было бы также перекинуто цѣликомъ за черту мірового разрыва, и эта цѣльность не имѣла бы ничего общаго съ интендантъ-совѣтникомъ Вильгельмомъ Нейманомъ и съ запахомъ свѣжаго сѣна.

Замѣчу между прочимъ, что стрѣла, пущенная мимоходомъ въ какого-то неизвѣстнаго или можетъ быть даже несуществующаго интендантъ-совѣтника Вильгельма Неймана, попадаетъ прямо въ грудь тайнаго совѣтника Вольфганга фонъ-Гёте. Трудно предположить, чтобы это косвенное нападеніе было сдѣлано нечаянно. *Путевыя картины* были изданы въ 1826 году—тогда, когда Гёте былъ еще живъ, и когда всѣ нѣмцы, считавшіе себя сколько-нибудь компетентными судьями въ дѣлѣ поэзіи и возвышенныхъ ощущеній, буквально лежали у ногъ этого человѣка, торжественно возведеннаго въ санъ величайшаго изъ европейскихъ поэтовъ. Поэтому, нѣтъ почти ни малѣйшей возможности допустить то предположеніе, что Гейне, размышляя о характеристическихъ особенностяхъ истиннаго поэта, упустилъ изъ вида ту крупную личность, которая считалась въ то время настоящимъ воплощеніемъ поэзіи. Если же Гейне, разсуждая о міровомъ разрывѣ, хорошо помнилъ поэтическую физіономію Гёте, то Гейне долженъ былъ также видѣть и понимать очень ясно, что сердце Гёте осталось совершенно нетронутымъ, что въ этой цѣльности нѣтъ ничего похожаго на страстную цѣльность Вольтера и Дидро, что слѣдовательно сердце Гёте *оторвано отъ всего міра*, и что *судьба не сочла его достойнымъ поэтическаго мученичества*. Эти заключенія совершенно неотразимы. — Никто конечно не скажетъ о произведеніяхъ Гёте, что они распространяютъ *запахъ свѣжаго сѣна* и возбуждаютъ въ читателяхъ гомерическій хохотъ, но зато можно сказать навѣрное, что безчисленное стадо подражателей великаго индифферентиста наградило Германію цѣлыми стогами *свѣжаго сѣна*, и что *любезный интендантъ-совѣтникъ Вильгельмъ Нейманъ*, отъ котораго едва не лопнуло бѣдное сердце Гейне, навѣрное падалъ ницъ передъ Гёте, и со всей добросовѣстной аккуратностью прусскаго чиновника старался идти по его слѣдамъ. Quod licet Jovi, non licet bovi (Что позволено Юпитеру, то не позволено быку); но тотъ Юпитеръ, который увлекаетъ многія тысячи быковъ на ложную дорогу, быкамъ вовсе не свойственную, никакъ не можетъ считаться просвѣтителемъ скотнаго двора. Гёте конечно очень уменъ, очень объективенъ, очень пластиченъ, и такъ далѣе; все это при немъ и остается на вѣчныя времена. Но своему отечеству Гёте сдѣлалъ чрезвычайно много зла. Онъ вмѣстѣ съ Шиллеромъ украсилъ, тоже на вѣчныя времена, свиную голову нѣмецкаго филистерства лавровыми листьями безсмертной поэзіи. Благодаря этимъ двумъ поэтамъ, нѣмецкій филистеръ имѣетъ возможность мирить высшія эстетическія наслажденія съ самой безцвѣтной пошлостью бюргерскаго прозябанія. Онъ читаетъ своихъ великихъ поэтовъ и вздыхаетъ надъ ними, и умиляется, и заводитъ глаза, какъ откормленный котъ, и остается безнадежнымъ пошлякомъ, и твердо увѣренъ при этомъ, что онъ человѣкъ, и что ничто человѣческое ему не чуждо. И все это происходитъ отъ того, что въ великихъ поэтахъ нѣмецкаго филистерства нѣтъ живой струи отрицанія. Именно по этой причинѣ ихъ любятъ и читаютъ нѣмецкіе филистеры, и по этой же самой причинѣ, любя и читая ихъ, они остаются филистерами. Гдѣ нѣтъ желчи и смѣха, тамъ нѣтъ надежды на обновленіе. Гдѣ нѣтъ сарказмовъ, тамъ нѣтъ и настоящей любви къ человѣчеству. Если хотите убѣдиться въ этой истинѣ, припомните напримѣръ великолѣпные сарказмы противъ книжниковъ и фарисеевъ. Тогда вы увидите, до какой степени неразлучны съ истинной любовью ненависть, негодованіе и презрѣніе.

VII.

Не удовлетворяясь либерализмомъ и въ то же время не имѣя возможности выработать себѣ собственными силами другой, болѣе широкій и разумный взглядъ на явленія общественной жизни, Гейне, въ дѣлѣ политики, поневолѣ остался навсегда блестящимъ диллетантомъ. Лучшій изъ нѣмецкихъ либераловъ, Людвигъ Берне, стоявшій уже на порогѣ новыхъ экономическихъ теорій, не разъ печатно упрекалъ и уличалъ Гейне въ легкомысліи, въ безхарактерности и даже въ совершенномъ отсутствіи серьезныхъ политическихъ убѣжденій. «Я, говоритъ Берне въ своихъ «Парижскихъ письмахъ», могу снисходительно смотрѣть на дѣтскія игры, на страсти юноши. Но когда, въ минуту самой кровавой битвы, мальчишка, гопяющійся на полѣ сраженія за бабочками, попадетъ мнѣ подъ ноги; когда въ минуту большого бѣдствія, когда мы горячо молимся Богу, молодой фатъ становится подлѣ насъ въ церкви и только глазѣетъ на молодыхъ дѣвушекъ да перемигивается и перешептывается съ ними,—тогда, не будь сказано въ обиду нашей философіи и гуманности, мы не можемъ не сердиться... Кто признаетъ искусство своимъ божествомъ, и тутъ же, смотря по расположенію духа, обращается съ молитвами къ природѣ, тотъ въ одно и то же время является преступникомъ противъ искусства и противъ природы. Гейне выпрашиваетъ у природы ея нектаръ и цвѣточную пыль и строитъ ея улей изъ воска искусства, но онъ не строитъ улей для того, чтобы хранить въ немъ медъ, а собираетъ медъ для того, чтобы наполнить улей. Оттого-то онъ не трогаетъ, когда плачетъ, потому что вы знаете,

что слезами онъ только поливаетъ свои цвѣточныя гряды. Оттого-то онъ не убѣждаетъ тогда, когда говоритъ правду, потому что въ правдѣ онъ любитъ только прекрасное. Проходитъ много времени, пока она зацвѣтетъ, а отцвѣтаетъ она прежде, чѣмъ принесетъ плоды. Гейне поклонялся бы нѣмецкой свободѣ, еслибы она была въ полномъ цвѣту; но такъ какъ по причинѣ холодной зимы она закрыта навозомъ, то онъ не признаетъ и презираетъ ее. Съ какимъ прекраснымъ одушевленіемъ онъ говоритъ о республиканцахъ въ церкви св. Маріи, о ихъ геройской смерти! То была счастливая битва, въ которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивленіе своимъ врагамъ и умереть прекрасною смертью за свободу! Но еслибъ въ этой битвѣ не было столько прекраснаго, Гейне посмѣялся бы надъ нею. Еслибы въ ту приснопамятную минуту, когда Франція очнулась отъ своего тысячелѣтняго сна и поклялась, что не будетъ больше спать, Гейне посадили въ залу мяча (jeu de Paume), онъ сдѣлался бы самымъ отчаяннымъ якобинцемъ. Но замѣть онъ въ карманѣ Мирабо трубку съ красно-черно-золотой кисточкой—къ чорту свободу! И онъ ушелъ бы оттуда, и сталъ бы писать прекрасные стихи въ честь прекрасныхъ глазъ Маріи-Антуанетты».

Политическій диллетантизмъ Гейне охарактеризованъ здѣсь великолѣпно. Но Берне очень сильно ошибается въ одномъ пунктѣ. Онъ отрицаетъ у Гейне способность глубоко любить и ненавидѣть. Онъ говоритъ, что Гейне плачетъ для того, чтобы слезами поливать свои цвѣточныя грядки. Онъ думаетъ, что великому разорваннному поэту легко, пріятно и весело быть диллетантомъ. Онъ не видитъ трагической, роковой и мучительной стороны этого диллетантизма. Это грубая ошибка, впрочемъ совершенно естественная со стороны раздражительнаго и страстнаго политическаго бойца. Что Гейне не былъ на самомъ дѣлѣ счастливымъ и легкомысленнымъ мотылькомъ, что его слезы и его смѣхъ стоили ему не дешево, что ему были коротко знакомы жестокія внутреннія бури и разрушительныя умственныя тревоги—это доказывается всего убѣдительнѣе тѣмъ страшнымъ разстройствомъ нервной системы, которое подъ конецъ его жизни буквально положило на него вѣнецъ *поэтическаго мученичества*. Еслибы Берне могъ предвидѣть такой исходъ, онъ по всей вѣроятности не рѣшился бы упрекнуть въ поливаніи цвѣточныхъ грядокъ великаго и несчастнаго поэта, изнемогавшаго подъ блестящимъ, но тяжелымъ крестомъ вынужденнаго диллетантизма. Далѣе, очень страненъ упрекъ въ томъ, что Гейне презираетъ нѣмецкую свободу, закрытую навозомъ, по причинѣ холодной зимы. Тутъ Берне повидимому зарапортовался. По крайней мѣрѣ трудно понять, какой осязательный смыслъ вложенъ въ эту хитрую метафору. *Холодная зима*—торжество феодаловъ и ретроградовъ. *Навозъ*—система Меттерниха и союзнаго сейма. Прекрасно! Но во время такой *холодной зимы* нечего и говорить о нѣмецкой свободѣ, какъ о реальномъ фактѣ. Нѣмецкая свобода, какъ реальный фактъ, положительно не существуетъ, если она боится простуды и благоразумно почиваетъ подъ навозомъ. А что не существуетъ, того нельзя ни презирать, ни уважать. Если же Берне толкуетъ тутъ объ *идеѣ* нѣмецкой свободы, то, во-первыхъ, идея не знаетъ никакихъ временъ года, всегда находится въ полномъ цвѣту, никогда не лежитъ подъ навозомъ и вообще повинуется только законамъ своего собственнаго внутренняго развитія. А во-вторыхъ—Гейне, при всей своей необузданной страсти персифлировать враговъ и друзей, никогда не отзывался насмѣшливо или презрительно объ идеѣ нѣмецкой свободы. Какъ бы то ни было, главный фактъ—дѣйствительное существованіе гейневскаго диллетантизма — все-таки не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію.

Въ книгѣ своей «О Людвигѣ Берне» Гейне выписываетъ приведенный выше отрывокъ изъ «Парижскихъ писемъ» для того, чтобы показать, какіе на него взводились неосновательныя обвиненія. «Не опредѣленными словами, но всевозможными намеками меня обвиняютъ тамъ—говоритъ Гейне—въ самомъ двусмысленномъ образѣ мыслей, если уже не въ совершенномъ отсутствіи его. Точно такимъ же образомъ дается тамъ замѣтить, что я отличаюсь не только индифферентизмомъ, но противорѣчіемъ съ самимъ собою». (Т. VI, стр. 316).

Гейне совершенно напрасно говоритъ о какихъ-то *всевозможныхъ намекахъ*. Берне, напротивъ того, выражаетъ свои обвиненія самыми *опредѣленными словами*. Читатель уже видѣлъ образчикъ этихъ обвиненій и по всей вѣроятности согласится, что въ рѣзкихъ сравненіяхъ и антитезахъ Берне нѣтъ ничего похожаго на косвенный намекъ. Кажется, нѣтъ возможности выражаться яснѣе, прямѣе и нагляднѣе. Гейне думаетъ и утверждаетъ, что онъ стоитъ выше подобныхъ обвиненій, и не хочетъ оправдываться. Но именно въ той самой книгѣ, гдѣ онъ цитируетъ «Париж. письма», онъ чуть не на каждой страницѣ даетъ читателю самыя поразительныя доказательства своего политическаго безвѣрія и диллетантизма. Онъ какъ будто нарочно старается подтвердить всѣ обвиненія, къ которымъ онъ относится съ такой великолѣпной самонадѣянностью.

Гейне не хочетъ, чтобы его считали союзникомъ Берне. Книга «О Людвигѣ Берне» была написана именно для того, чтобы провести между обоими писателями ясную пограничную черту. Стараясь отдѣлить себя отъ Берне, Гейне въ тоже время не можетъ не уважать его. Этимъ искреннимъ и глубокимъ уваженіемъ проник-

пута вся книга, въ которой авторъ тѣмъ не менѣе сурово осуждаетъ Берне и нерѣдко персифлируетъ его. Отклоняя отъ себя всякую умственную солидарность съ такимъ писателемъ, которому онъ самъ не можетъ отказать въ глубокомъ уваженіи, съ такимъ писателемъ, который все-таки до конца жизни боролся и страдалъ за великую и святую идею,—Гейне очевидно долженъ былъ собрать всѣ свои силы, пересмотрѣть всѣ свои убѣжденія и представить самую полную и отчетливую картину своего собственнаго образа мыслей, такую картину, которая доказала бы неопровержимо ему самому и всѣмъ его читателямъ неизбѣжность, необходимость и глубокую законность его разрыва съ величайшимъ предводителемъ нѣмецкихъ либераловъ. Гейне самъ понимаетъ главную задачу своей книги именно такимъ образомъ: «Я считаю себя обязаннымъ, говоритъ онъ, изобразить въ этомъ сочиненіи и мою собственную личность, такъ какъ, вслѣдствіе сплетенія самыхъ разнородныхъ обстоятельствъ, какъ друзья, такъ и враги Берне, говоря о немъ, непремѣнно заводили съ большимъ или меньшимъ доброжелательствомъ или зложелательствомъ рѣчь о моей литературной и общественной дѣятельности» (стр. 311, т. VI).

Какими же чертами изображаетъ Гейне свою собственную личность? Такими чертами, которыя приводятъ читателя въ изумленіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ отнимаютъ у него всякое право пожаловаться на недостатокъ откровенности. Діллетантъ нисколько не драпируется въ мантію глубокомысленныхъ соображеній. Художникъ самъ себя выдастъ головою.

«Надо, говоритъ Гейне, собственными глазами видѣть народъ во время дѣйствительной революціи, надо нюхать его собственнымъ носомъ, надо слышать его собственными ушами, чтобы понять, что̀ хотѣлъ сказать Мирабо словами: «нельзя сдѣлать революцію лавандновымъ масломъ». Пока мы читаемъ о революціяхъ въ книгахъ, все выходитъ очень красиво, и съ ними повторяется та же исторія, что̀ съ пейзажами, отлично вырѣзанными на мѣди и превосходно отпечатанными на дорогой веленевой бумагѣ; въ этомъ видѣ они чаруютъ вашъ взоръ, а посмотришь на нихъ въ натурѣ, то убѣдишься совсѣмъ въ противномъ: вырѣзанный на мѣди навозъ не воняетъ, а черезъ вырѣзанное на мѣди болото легко перейти глазами въ бродъ» (Т. VI, стр. 240).

Въ той же самой книгѣ Гейне пускаетъ слѣдующую тираду по поводу іюльской революціи.

«Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, марсельеза... Кончилась моя жажда спокойствія. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что̀ долженъ, что̀ обязанъ дѣлать... Я—сынъ революціи и снова берусь за оружіе, надъ которымъ моя мать произнесла свое полное чаръ благословеніе... Цвѣтовъ, цвѣтовъ! Я увѣнчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте мнѣ лиру, чтобы я спѣлъ боевую пѣснь. Изъ нея вылетятъ слова, подобныя пламеннымъ звѣздамъ, которыя стрѣляютъ внизъ съ небесной высоты и сожигаютъ чертоги, и освѣщаютъ хижины... Слова, подобныя метательнымъ копьямъ, взлетающимъ на седьмое небо и поражающимъ набожныхъ лицемѣровъ, которые пробрались тамъ въ Святую Святыхъ... Я весь—радость и пѣснопѣніе, весь—мечъ и огонь» (Т. VI, стр. 208).

Теперь читатель, сравнивая оба приведенные отрывка, начинаетъ понимать сурово-печальныя слова Берне о мальчишкѣ, преслѣдующемъ пеструю бабочку на полѣ кровопролитнаго сраженія. *Во-первыхъ*, весь лирическій восторгъ Гейне происходитъ — если вѣрить его собственному объясненію—оттого, что онъ созерцаетъ революцію на столбцахъ газеты, гдѣ напечатанный навозъ не воняетъ и гдѣ можно легко перейти въ бродъ глазами черезъ напечатанное болото. Гейне называетъ себя сыномъ революціи, но его сыновняя любовь кончается тамъ, гдѣ она становится несовмѣстной съ лавандновымъ масломъ. Всѣ эти ужасныя минуты борьбы между матерью и лавандновымъ масломъ несчастный поэтъ остается неизмѣнно вѣренъ портрету матери, отлично вырѣзанному на мѣди и превосходно отпечатанному на дорогой веленевой бумагѣ. Благоговѣніе передъ портретомъ тѣмъ болѣе прочно, что оно никогда не можетъ помѣшать обожанію лавандноваго масла. *Во-вторыхъ*, любуясь портретомъ своей матери, Гейне, какъ настоящій ребенокъ, сосредоточиваетъ свое вниманіе не на выраженіи ея лица, а на яркихъ лентахъ ея чепчика, на тонкомъ узорѣ ея шитаго воротничка и на блестящихъ камушкахъ ея дорогого ожерелья. Знакомясь съ революціей по газетамъ, онъ не задумывается надъ ея результатами, а только восхищается ея шумомъ, блескомъ и эффектностью самой борьбы. *Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, марсельеза!* Экая, подумаешь, благодать! Дряхлый старикъ, котораго водитъ за носъ первый искатель приключеній! Пестрый лоскутъ, напоминающій міру о колоссальныхъ разбояхъ Наполеона! И плохіе стишонки, положенные на бравурную музыку! Гейне забавляется сувенирчиками въ то время, когда рѣшается участь даровитаго и энергическаго народа, которому до сихъ поръ постоянно подсовывали пестрые лоскутья и эффектныя пѣсенки вмѣсто здоровой пищи, разумнаго труда, свободныхъ учрежденій и общедоступнаго образованія. Смотрѣть на революцію съ эстетической точки зрѣнія значитъ оскорблять величіе народа и профанировать ту идею, во имя которой совершается переворотъ.

Еслибы Гейне, понимая ясно цѣль и смыслъ великихъ переворотовъ, видѣлъ возможность ихъ полнаго успѣха, еслибы онъ держалъ въ рукахъ аріаднину нить, способную вывести массу изъ лабиринта лишеній и страданій, то,

разумѣется, созерцаніе великой идеи, заключающей въ себѣ спасеніе человѣчества и пробивающей себѣ дорогу въ дѣйствительную жизнь, доставило бы нашему поэту такое высокое умственное наслажденіе, которое совершенно отбило бы у него охоту развлекаться мелкими сувенирчиками, вродѣ трехцвѣтной тряпки, или справляться о томъ, употребляется ли лавандное масло во время народныхъ движеній. Но такъ какъ Гейне былъ заранѣе убѣжденъ въ томъ, что народъ и послѣ переворота останется при своей прежней, грязной нищетѣ, то эстетическій взглядъ батальнаго живописца и одерживалъ рѣшительную побѣду надъ смутными и безнадежными стремленіями разочарованнаго прогрессиста. Не имѣя возможности интересоваться серьезнымъ смысломъ переворота, потому что такого смысла онъ въ немъ не предполагалъ — Гейне любовался и восхищался позами, костюмами, смѣлостью и стойкостью патріотическихъ бойцовъ. Восхищеніе это производилось издали. Когда же Гейне подошелъ поближе и замѣтилъ отсутствіе лаванднаго масла, тогда онъ спокойно зажалъ себѣ носъ и просвисталъ свою насмѣшливую нѣсенку. Все это со стороны Гейне очень понятно, но все это вмѣстѣ составляетъ полное и отчетливое отреченіе отъ серьезной политической дѣятельности. Кто смотритъ на событія съ эстетической точки зрѣнія, тотъ не можетъ быть двигателемъ событій, такъ точно, какъ не можетъ быть хирургомъ тотъ ребенокъ, который смотритъ на ланцеты, какъ на блестящія игрушки.

Далѣе, Гейне характеризуетъ свой политическій образъ мыслей той любопытной подробностью, что ему въ молодости очень хотѣлось сдѣлаться народнымъ ораторомъ, но что къ сожалѣнію онъ не можетъ привыкнуть къ табачному дыму, жестоко свирѣпствующему въ собраніяхъ нѣмецкихъ республиканцевъ.

Затѣмъ онъ объявляетъ, что если народъ пожметъ ему руку, то онъ, Гейне, немедленно вымоетъ ее. Подаривши міру такія великія политическія истины, Гейне считаетъ себя въ правѣ третировать Берне съ высоты своего величія, потому что Берне переноситъ дымъ и не таскаетъ съ собою рукомойника въ народныя собранія, гдѣ производятся крѣпкія и многочисленныя рукопожатія.

Гейне заподозрѣваетъ Берне въ личной зависти.

«И именно въ отношеніи ко мнѣ, говоритъ Гейне, покойный (Берне) предавался такимъ личнымъ чувствамъ, и всѣ его нападенія на меня были не что иное, какъ мелкая зависть, которую маленькій барабанщикъ чувствуетъ къ большому тамбуръ-мажору. Онъ завидовалъ моему высокому плюмажу, который такъ смѣло развѣвался по воздуху, моему богато вышитому мундиру, на которомъ было столько серебра, сколько онъ, маленькій барабанщикъ, не могъ бы купить за всѣ свои деньги, завидовалъ ловкости, съ которой я махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ, любовнымъ взглядамъ, которые бросали на меня молодыя дѣвочки, и на которые я, можетъ быть, отвѣчалъ съ нѣкоторымъ кокетствомъ». (Т. VI, стр. 261).

Гейне влюбленъ въ самого себя, потому что ему не удалось влюбиться въ идею. Это очевидно и нисколько не удивительно. Но мы имѣемъ полное право не считать Берне мелкимъ завистникомъ, тѣмъ болѣе, что самъ Гейне даетъ намъ матеріалы для его оправданія.

«Страстныя рѣчи, говоритъ, Гейне, въ духѣ рейнско-баварскихъ ораторовъ доводили до фанатизма многіе умы, и такъ какъ республиканизмъ такое дѣло, которое понять гораздо легче, чѣмъ напр. конституціонную форму правленія, для уясненія которой необходимы многія другія свѣдѣнія, то прошло немного времени, какъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ сдѣлались уже республиканцами и проповѣдывали новыя убѣжденія. Эта пропаганда была гораздо опаснѣе всѣхъ тѣхъ выдуманныхъ пугалъ, которыми вышеупомянутые доносчики пугали нѣмецкія правительства, и писанное слово Берне можетъ быть много уступало въ могуществѣ его устному слову, съ которымъ онъ обращался къ людямъ, принимавшимъ эти слова съ нѣмецкою вѣрой и распространявшимъ ихъ у себя въ отечествѣ съ изумительнымъ рвеніемъ». (Т. VI, стр. 237).

Итакъ, Гейне хотѣлъ и не могъ сдѣлаться народнымъ ораторомъ по неспособности переносить табачный дымъ. А Берне хотѣлъ и могъ, и переносилъ дымъ, и дѣйствовалъ, и фанатизировалъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ, которые оставались для Гейне *зеленымъ виноградомъ*. Кто же изъ двухъ, Гейне или Берне, обладалъ богато вышитымъ мундиромъ и махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ? Кто изъ двухъ имѣлъ болѣе основательныя причины завидовать другому?

VIII.

Политическій диллетантизмъ отравляетъ всю литературную дѣятельность Гейне и постоянно мѣшаетъ ему сосредоточить свои силы на какомъ бы то ни было предметѣ. Гейне не можетъ ни подчиниться политической тенденціи, ни отдѣлаться отъ нея. Гейне рѣшительно не знаетъ, въ какихъ отношеніяхъ находятся къ политикѣ всѣ другія отрасли человѣческой дѣятельности — наука, искусство, промышленность, религія, семейная жизнь, умозрительная философія и т. д. Но Гейне понимаетъ, что какія-нибудь отношенія должны существовать между всѣми этими отраслями, и что такъ или иначе всѣ эти отрасли могутъ ускорять или замедлять

движеніе человѣчества къ лучшему будущему. Предчувствуя существованіе какой-то общей связи между различными отраслями человѣческой дѣятельности, сознавая необходимость общаго взгляда на всю совокупность этихъ различныхъ отраслей, и въ то же время не умѣя отыскать тотъ высшій принципъ, во имя котораго можно было бы обсуживать и сортировать эти отрасли по ихъ дѣйствительному внутреннему достоинству, — Гейне находится въ хроническомъ недоумѣніи и постоянно колеблется между тенденціозными сужденіями недоразвившагося прогрессиста и непосредственными ощущеніями простодушнаго эстетика. Эти колебанія замаскированы отъ глазъ легкомысленныхъ читателей удивительнымъ блескомъ внѣшней формы, неистощимымъ богатствомъ картинъ, прелестью тонкаго юмора и неожиданной силой отдѣльныхъ сарказмовъ. Но если вы, закрывши книгу, попробуете отдать себѣ отчетъ въ содержаніи прочитанныхъ страницъ, если вы захотите узнать, въ чемъ убѣдилъ и въ чемъ хотѣлъ убѣдить васъ авторъ, то на всѣ эти вопросы вы не найдете у себя въ головѣ ни одного опредѣленнаго отвѣта, ничего, кромѣ какого-то пріятнаго хаоса удачныхъ шутокъ и граціозныхъ сравненій, подъ которыми скрываются неясныя мысли, общія мѣста или внутреннія противорѣчія.

Такъ, напримѣръ, если вы захотите узнать отъ Гейне, какъ онъ понимаетъ отношенія искусства къ жизни, то вы не узнаете ровно ничего, или, вѣрнѣе, вы узнаете сегодня одно, завтра совсѣмъ другое, послѣ завтра ни то, ни се. Можетъ случиться и такъ, что вы въ одинъ день получите три разнохарактерные отвѣта, которыхъ несовмѣстность поэтъ не замѣтилъ или не хочетъ замѣтить, считая ее по всей вѣроятности неизбѣжнымъ аттрибутомъ поэтической разорванности. Въ одной изъ предыдущихъ главъ мы видѣли, что Гейне понимаетъ поэзію, какъ *священную игрушку* или какъ *священное средство для необходимыхъ цѣлей*. Какъ ни сбивчиво это опредѣленіе, однако же изъ него все-таки можно заключить, что поэзія, по мнѣнію Гейне, должна подчиняться какимъ-то высшимъ соображеніямъ. Цѣль важнѣе средства, и средство всегда должно приноровляться къ цѣли; въ противномъ случаѣ средство перестаетъ быть средствомъ и превращается въ самостоятельную цѣль. Стало быть, если Гейне признаетъ существованіе *небесныхъ цѣлей*, предписанныхъ для поэзіи и лежащихъ за ея собственными предѣлами, то онъ обязываетъ поэзію видоизмѣняться сообразно съ тѣми условіями, при которыхъ *небесныя цѣли* могутъ быть достигнуты. При такомъ взглядѣ самою лучшею оказывается та поэзія, которая всего больше облегчаетъ достиженіе *небесныхъ цѣлей*. Если *небесныя цѣли* могутъ быть достигнуты безъ содѣйствія поэзіи, то поэзія должна скромно и покорно согласиться на самоуничтоженіе. Иначе получится вопіющая нелѣпость: священная игрушка заставитъ людей забыть о *небесныхъ цѣляхъ*, и *храбрые солдаты* превратятся въ легкомысленныхъ школьниковъ. Признавая существованіе *небесныхъ цѣлей* и называя себя храбрымъ солдатомъ, Гейне повидимому никакъ не можетъ желать подобнаго результата. А между тѣмъ онъ его желаетъ. По крайней мѣрѣ онъ горько плачется на тѣхъ людей, для которыхъ поэзія не имѣетъ самостоятельнаго значенія, и которые, стремясь къ *небеснымъ цѣлямъ*, не хотятъ развлекаться *священными игрушками*.

«Ахъ, говоритъ Гейне въ своей книжкѣ о *Людвигѣ Бёрне*, пройдетъ много времени прежде, чѣмъ мы отыщемъ великое цѣлебное средство; до тѣхъ поръ придется намъ сильно хворать и употреблять всевозможныя мази и домашнія средства, которыя будутъ только усиливать болѣзнь. Тутъ прежде всего приходятъ радикалы, прописывающіе радикальное леченіе, которое однако дѣйствуетъ лишь наружнымъ образомъ, потому что развѣ только уничтожаетъ общественную коросту, но не внутреннюю гнилость. А если имъ и удается на короткое время избавить человѣчество отъ страшнѣйшихъ мукъ, то это дѣлается въ ущербъ послѣднимъ слѣдамъ красоты, до тѣхъ поръ остававшимся у больного; гадкій, какъ вылечившійся филистеръ, встанетъ онъ съ постели, и въ отвратительномъ госпитальномъ платьѣ, въ пепельно-сѣромъ костюмѣ равенства, станетъ жить со дня на день. Вся безмятежность, вся сладость, все благоуханіе, вся поэзія будутъ вычеркнуты изъ жизни, и отъ всего этого останется только румфордовъ супъ полезности. Красота и геній не находятъ себѣ никакого мѣста въ общественной жизни нашихъ новыхъ пуританъ и подвергаются такимъ оскорбленіямъ и угнетеніямъ, какихъ они не испытывали даже при существованіи стараго порядка... Потому что красота и геній не могутъ жить въ обществѣ, гдѣ каждый, съ неудовольствіемъ сознавая свою посредственность, старается унизить всякое высшее дарованіе и свести его къ самому пошлому уровню. Сухое, будничное настроеніе новыхъ пуританъ распространяетея уже по всей Европѣ, точно сѣрыя сумерки, предшествующія суровому зимнему времени». (Т. VI, стр. 328).

Читателю русскихъ журналовъ достаточно знакомы эти старушечьи вопли противъ сухости новыхъ пуританъ и противъ румфордова супа полезности. Гейне, къ стыду своему, подаетъ здѣсь руку Николаю Соловьеву и т. п. Гейне унижается даже до того безсмысленнаго предположенія, что новые пуритане говорятъ и дѣйствуютъ подъ вліяніемъ личной зависти. Всѣ они, изволите видѣть, маленькіе барабанщики, желающіе ободрать и испортить галуны съ блестящихъ мундировъ большихъ тамбуръ-мажо-

ровъ. Эту плоскую и избитую выдумку, родившуюся въ головѣ какой-нибудь старой сплетницы и повторявшуюся всѣми врагами народа и здраваго смысла, можно опрокинуть простымъ указаніемъ на тотъ фактъ, что новые пуритане глубоко уважаютъ тѣхъ людей, которые лучше другихъ варятъ румфордовъ супъ полезности или выдумываютъ для этого супа усовершенствованный способъ приготовленія.

Новые пуритане охотно признаютъ превосходство этихъ людей, сознательно подчиняются ихъ вліянію и, предоставляя имъ видныя роли вождей и распорядителей, добровольно берутъ себѣ скромныя обязанности учениковъ, послѣдователей, исполнителей, переводчиковъ или компиляторовъ и комментаторовъ. Новые пуритане безъ сомнѣнія очень уважаютъ науку. У новыхъ пуританъ конечно есть также свои соціальныя понятія, которыми они дорожатъ очень сильно. Но какъ въ реальной наукѣ, такъ и въ области соціальныхъ понятій работали и работаютъ до сихъ поръ геніи первой величины и множество талантовъ крупныхъ и мелкихъ. И новые пуритане вовсе не отрицаютъ геніальности первоклассныхъ дѣятелей и даровитости второстепенныхъ работниковъ. Значитъ, пуритане возстаютъ вовсе не противъ *всякаго высшаго дарованія* вообще, а только противъ непроизводительной затраты всякихъ дарованій, высшихъ, среднихъ и низшихъ. *Пепельно-сѣрый костюмъ равенства*, на который такъ умилительно жалуется любитель трехцвѣтнаго знамени—Гейне, надѣвается на людей совсѣмъ не для того, чтобы умные и глупые люди пользовались одинаковымъ вліяніемъ на общественныя дѣла. Это—вещь невозможная. И объ этомъ могли мечтать люди XVIII вѣка только потому, что они придерживались той теоріи, которая признавала всѣ интеллектуальныя различія между людьми—продуктами различныхъ впечатлѣній, воспринятыхъ послѣ рожденія. Но такъ какъ въ наше время уже достаточно извѣстна та физіологическая истина, что люди приносятъ съ собою на свѣтъ, вмѣстѣ съ особеннымъ тѣлосложеніемъ, особую организацію мозга и нервной системы, полученную по наслѣдству отъ родителей и не измѣняющуюся въ своихъ существенныхъ чертахъ ни отъ какихъ позднѣйшихъ впечатлѣній, — то новые пуритане нашего времени вовсе и не мечтаютъ объ абсолютномъ равенствѣ. Смыслъ того стремленія, которое Гейне называетъ *пепельно-сѣрымъ костюмомъ*, состоитъ только въ томъ, что тысячи не должны ходить босикомъ и питаться отрубями для того, чтобы единицы смотрѣли на хорошія картины, слушали хорошую музыку и декламировали хорошіе стихи. Кто находитъ подобное стремленіе предосудительнымъ, тотъ желаетъ, чтобы хлѣбъ, необходимый для пропитанія голодныхъ людей, превращался ежегодно въ изящные предметы, доставляющіе немногимъ избраннымъ и посвященнымъ тонкія и высокія наслажденія. Здѣсь Гейне стоитъ очевидно на сторонѣ эксплоататоровъ и филистеровъ, но онъ не всегда разсуждаетъ такимъ образомъ.

«Это свойство», говоритъ Гейне въ «*Романтической школѣ*», «эту цѣлостность мы встрѣчаемъ и у писателей нынѣшней молодой Германіи, которые также не допускаютъ различія между жизнью и литературною дѣятельностью, не отдѣляютъ политики отъ науки, искусства отъ религіи, и въ одно и то же время являются художниками, трибунами и проповѣдниками правды. Да, я повторяю слово *проповѣдники*, потому что не могу найти болѣе характеристическаго слова. Новыя убѣжденія наполняютъ душу этихъ людей такою страстностью, о какой писатели прежняго періода не имѣли и понятія. Это—убѣжденія въ силѣ прогресса, убѣжденія, вышедшія изъ науки. Мы дѣлали измѣреніе земли, изслѣдовали силы природы, высчитывали средства промышленности — и вотъ наконецъ нашли, что эта земля достаточно велика, что она даетъ каждому достаточно мѣста для того, чтобы построить себѣ на немъ хижину своего счастья, что эта земля можетъ прилично питать всѣхъ насъ, если мы всѣ хотимъ работать и не жить на счетъ другого, что наконецъ намъ нѣтъ никакой надобности отсылать болѣе многочисленный и болѣе бѣдный классъ къ небу. Число этихъ знающихъ и вѣрующихъ конечно еще весьма не велико». (T. V, стр. 339).

Здѣсь *пепельно-сѣрый костюмъ равенства* представляется въ самомъ привлекательномъ видѣ, а *новые пуритане*, которые выше были заподозрѣны въ мелкой завистн, оказываются художниками, трибунами и проповѣдниками правды, людьми страстно убѣжденными, людьми цѣлостными, людьми знающими и вѣрующими. Нѣтъ ни малѣйшей возможности провести какую-нибудь границу между писателями молодой Германіи, къ которымъ Гейне относится съ величайшимъ сочувствіемъ, и тѣми радикалами, которыхъ тотъ же Гейне съ комическимъ негодованіемъ обвиняетъ въ исключительномъ пристрастіи къ румфордову супу полезности. Гейне называетъ писателей молодой Германіи художниками, но вѣдь это художество проникнуто насквозь трибунскими стремленіями и проповѣдываніемъ правды. Это художество стремится доказать образами, что каждый при соблюденіи извѣстныхъ условій можетъ построить себѣ на землѣ хижину своего счастья. Это художество выводитъ на свѣжую воду тѣ глупости и подлости, вслѣдствіе которыхъ земля кажется тѣсною, и люди принуждены строить себѣ хижины горя и бѣдности, или жить въ качествѣ батраковъ въ чужихъ чуланахъ, конюшняхъ или закуткахъ. Стало быть, это художество пріурочено къ румфордову супу полезности и соста-

вляетъ одну изъ самыхъ важныхъ и питательныхъ его приправъ. Стало быть, между румфордовымъ супомъ и художествомъ вовсе не существуетъ радикальнаго и необходимаго антагонизма, хотя, съ другой стороны, не подлежитъ сомнѣнію, что въ жизни людей, построившихъ себѣ собственнымъ трудомъ хижины своего счастья, художество не можетъ имѣть того преобладающаго значенія, которое принадлежитъ ему теперь въ жизни людей, построившихъ себѣ чужимъ трудомъ великолѣпные замки или виллы. Наука конечно доказываетъ, что всѣ мы можемъ построить себѣ теплыя и сухія хижины, вмѣщающія въ себѣ достаточное количество чистаго воздуха, но наука до сихъ поръ не думала доказывать, что всѣ мы можемъ увѣшать стѣны нашихъ хижинъ превосходными картинами, поставить въ каждой хижинѣ по одному великолѣпному роялю, держать при каждой сотнѣ хижинъ труппу хорошихъ актеровъ и тратить каждый день по нѣсколько часовъ на сочиненіе и чтеніе звучныхъ лирическихъ стиховъ. Счастье, доступное для всѣхъ, должно быть, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, гораздо проще и скромнѣе того счастья, которое въ настоящее время доступно немногимъ. Величайшая прелесть общедоступнаго счастья состоитъ не въ разнообразіи и яркости наслажденій, а преимущественно въ томъ, что у этихъ наслажденій нѣтъ обратной стороны, т. е. что эти наслажденія не покупаются цѣною чужихъ страданій.

Внутреннее противорѣчіе, въ которое впадаетъ Гейне, очевидно и безвыходно. Онъ восхищается въ одномъ мѣстѣ тѣми идеями и стремленіями, противъ которыхъ вооружается въ другомъ. Онъ бросается съ одной точки зрѣнія на другую и ни на одной изъ нихъ не можетъ остановиться. Когда художникъ поетъ какъ соловей, безо всякой тенденціи, тогда Гейне находитъ въ его произведеніяхъ запахъ свѣжаго сѣна. Когда художникъ становится на всю жизнь подъ знамя одной, строго опредѣленной идеи, тогда Гейне кричитъ, что міръ затопленъ волнами румфордова супа. И въ то же время тотъ же Гейне, смотря по минутному настроенію, хвалитъ соловьевъ, подобныхъ Уланду, Тику и Арниму, и пропагандистовъ, подобныхъ Лаубе и Гуцкову. Словомъ, передъ глазами читателя проходитъ цѣлая радуга всѣхъ возможныхъ мнѣній объ искусствѣ, и читатель, къ ужасу своему, замѣчаетъ, что вся эта радуга выходитъ изъ головы одного человѣка.

Въ выписанномъ мною отрывкѣ о писателяхъ молодой Германіи я долженъ обратить вниманіе читателя на то мѣсто, гдѣ Гейне говоритъ о *цѣлостности* новыхъ людей; этими словами самъ Гейне подтверждаетъ мое мнѣніе о томъ, что и въ настоящее время, при совершенной разорванности окружающаго міра, возможна въ писателѣ внутренняя цѣлостность, выходящая не изъ тупого равнодушія, а изъ страстнаго воодушевленія. Эта страстная цѣлостность, характеризующая представителей молодой Германіи, проводитъ рѣзкую границу между этими писателями, выступившими на литературное поприще въ началѣ 30-хъ годовъ, и самимъ Гейне, у котораго никогда и ни въ чемъ не было никакой цѣлостности.

IX.

При своемъ неизлечимомъ политическомъ диллетантизмѣ, котораго не искоренило даже умственное движеніе молодой Германіи, Гейне никогда не могъ подвергать правильной и точной оцѣнкѣ ни событія современной исторіи, ни явленія современной литературы. У Гейне не было никакого твердаго принципа, на которомъ бы онъ могъ построить свою критику. А между тѣмъ онъ любилъ прогуливаться съ критическими намѣреніями и ухватками по различнымъ областямъ настоящаго и ближайшаго прошедшаго. Онъ любилъ разсуждать глубокомысленно и проницательно о политикѣ и литературѣ. Онъ написалъ цѣлую, довольно большую книгу *о Германіи*, и написалъ по-французски — собственно для того, чтобы познакомить французовъ съ великими и плодотворными тайнами нѣмецкой философіи и нѣмецкой поэзіи. Не знаю, насколько эта книга просвѣтила французскихъ читателей; но знаю очень хорошо, по собственному горькому опыту, что русскому читателю эта книга не даетъ ровно ничего, кромѣ того неопредѣленно-пріятнаго ощущенія, которое возбуждается каждой страницей Гейне, написанной очаровательнымъ языкомъ и всегда переполненной самыми яркими и прелестными образами. Общей мысли въ этой книгѣ нѣтъ ровно никакой, а есть въ ней только хорошо разсказанные анекдотцы, забавныя параллели между французами и нѣмцами, да попадаются иногда такія дикія историко-философскія соображенія и пророчества, что читатель не можетъ разобрать — шутитъ ли авторъ, или говоритъ серьезно; и если авторъ шутитъ, то читателю становится досадно, съ какой стати шутка тянется такъ долго и до такой степени лишена игривости, забавности и язвительности; а если авторъ мудрствуетъ серьезно, то читателю становится положительно совѣстно за автора.

По глубокомысленнымъ соображеніямъ Гейне оказывается напр., что различныя фазы нѣмецкой философіи въ точности соотвѣтствуютъ различнымъ фазамъ французской революціи. Умѣренный и аккуратный Кантъ изображаетъ собою терроръ Конвента и, по мнѣнію Гейне, оказывается гораздо смѣлѣе и неумолимѣе Робеспьера. Фихте исправляетъ должность Наполеона, а Шеллингъ играетъ роль реставраціи.

Эти ребяческія сближенія до такой степени забавляютъ Гейне, и наполняютъ его сердце такою святой патріотической гордостью, что онъ нѣсколько разъ съ видимымъ удовольствіемъ возвращается къ этой пріятной и затѣйливой выдумкѣ. Въ концѣ своего сочиненія о нѣмецкой философіи онъ до такой степени воодушевляется, что пророчествуетъ міру о великихъ и ужасныхъ событіяхъ, которыя выростутъ со временемъ изъ философскихъ сочиненій Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, благополучно похороненныхъ и забытыхъ ближайшимъ потомствомъ. «Если — говоритъ Гейне, разсуждая объ ужасахъ будущей нѣмецкой революціи, имѣющей вырости изъ умозрительной философіи — рука кантиста бьетъ сильно и мѣтко, потому что сердце его не волнуется никакимъ переходящимъ по преданію уваженіемъ, если фихтеанецъ смѣло презираетъ всякія опасности, потому что онѣ въ дѣйствительности для него не существуютъ; то натуръ-философъ ужасенъ, потому что вступаетъ въ союзъ съ первородными силами природы, можетъ вызвать всѣ силы древне-германскаго пантеизма, и тогда получаетъ ту жажду борьбы, которую мы встрѣчаемъ у древнихъ германцевъ, сражающихся не для разрушенія, не для побѣды, но только для того, чтобы сражаться» (т. V, стран. 165). Нѣмецкая гроза, воспитанная Кантомъ, Фихте и Шеллингомъ, будетъ, по соображеніямъ Гейне, необыкновенно ужасна. «При этомъ грохотѣ, говоритъ онъ, орлы падутъ мертвые съ воздушныхъ высотъ и львы, въ самыхъ далекихъ пустыняхъ Африки, опустятъ хвосты и спрячутся въ свои вертепы» (т. V, стр. 167). Вся эта невинная игра яркими красками и громкими словами была бы смѣшна до послѣдней степени, еслибы тутъ не видно было, что несчастному поэту больно и стыдно смотрѣть на тупое усыпленіе отечества и что онъ старается оглушить и отуманить себя громомъ несбыточныхъ и неправдоподобныхъ предсказаній. Хотя читатель и понимаетъ до нѣкоторой степени то настроеніе, которое породило эти хвастливыя рулады, однако, во всякомъ случаѣ, восторженныя фразы Гейне о міровомъ значеніи нѣмецкой философіи оказываются для нашего времени неудачной шуткой или безсмысленнымъ наборомъ словъ. Такъ-же ничтожны и безполезны для читателей разныя отрывочныя замѣтки и разсужденія о Тикѣ, Шлегеляхъ, Новалисѣ, Арнимѣ и другихъ забытыхъ писателяхъ, о которыхъ распространяется Гейне въ своей «Романтической школѣ». Но здѣсь, какъ и вездѣ, Гейне роняетъ по временамъ превосходные сарказмы, которые почти достаточно вознаграждаютъ читателя за отсутствіе общей мысли и за совершенную мертвенность самаго сюжета.

О политическихъ дѣятеляхъ, какъ и обо всѣхъ остальныхъ предметахъ, Гейне судитъ съ плеча, по свободному вдохновенію, разсыпая совершенно произвольно въ разныя стороны лавровые вѣнки и дурацкіе колпаки. Такъ какъ въ новѣйшей исторіи очень много мизернаго, то дурацкіе колпаки почти всегда попадаютъ безъ промаха туда, гдѣ имъ слѣдуетъ находиться. Зато лавровые вѣнки, по тѣмъ же самымъ причинамъ, почти всегда залетаютъ туда, гдѣ присутствіе ихъ рѣшительно ничѣмъ не можетъ быть оправдано.

Особенно замѣчательно то несчастное упорство, съ которымъ Гейне увѣнчивалъ Наполеона, одного изъ самыхъ вредныхъ людей во всей исторіи человѣчества. Обожаніе Наполеона было для Гейне любимымъ конькомъ, съ котораго онъ не слѣзалъ до конца своей жизни. Этотъ конекъ былъ отчасти боевой лошадью, при содѣйствіи которой Гейне дразнилъ и огорчалъ, съ одной стороны — нѣмецкихъ радикаловъ, послѣдователей Берне, съ другой — юродствующихъ патріотовъ, подобныхъ Менцелю и Масману. Первые ненавидѣли Наполеона, какъ представителя деспотизма и солдатчины. Вторые не могли простить Наполеону того, что онъ осмѣлился многократно разбивать нѣмецкія арміи, вступать съ войскомъ въ нѣмецкія столицы и держать у себя въ передней нѣмецкихъ отцовъ отечества, предшественниковъ которыхъ, Арминій, одержалъ такую блистательную побѣду надъ римскимъ полководцемъ Варомъ. Гейне, съ своей стороны, не любилъ радикаловъ за ихъ серьезность и презиралъ тевтомановъ за ихъ дѣйствительную и поразительную тупость. Въ пику обѣимъ партіямъ, онъ падалъ на колѣни передъ великимъ и божественнымъ императоромъ при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Эти колѣнопреклоненія были также направлены въ очень значительной степени противъ тѣхъ оффиціальныхъ политиковъ, которые, побѣдивши Наполеона, распоряжались судьбою Европы въ первой четверти нынѣшняго столѣтія.

Нерасположеніе Гейне къ этимъ политикамъ: къ Меттерниху, къ Веллингтону, къ Кестльри, очень понятно и совершенно основательно. Но какъ бы ни были вредны и отвратительны эти побѣдители Наполеона, изъ этого однако нисколько не слѣдуетъ, чтобы самъ Наполеонъ былъ очень полезенъ и прекрасенъ. Если благоговѣніе Гейне передъ Наполеономъ имѣло исключительно значеніе протеста, то нельзя не замѣтить, что для протеста выбрана очень неудобная форма, по милости которой Гейне принужденъ былъ написать десятки страницъ вопіющей безсмыслицы. Если же это благоговѣніе было чистосердечно, то я долженъ признаться, что процессъ мышленія, совершающійся въ головѣ великихъ художниковъ, заключаетъ въ себѣ тайны, непостижимыя для простыхъ людей.

Всего мудренѣе и любопытнѣе та штука, что Гейне, пророчествуя людямъ о томъ, что Наполеонъ сдѣлается божествомъ новой религіи, въ то же время видитъ очень ясно и показываетъ своимъ читателямъ съ полной откровенностью пятна «обожаемаго кумира». «Пожалуйста, говоритъ Гейне во второй части *Путевыхъ картинъ*, не считай меня безусловнымъ бонапартистомъ, любезный читатель. Я благоговѣю не передъ дѣйствіями, а передъ геніемъ этого человѣка. Безусловно люблю я его только до 17 брюмера. Тутъ измѣнилъ онъ свободѣ. И не по необходимости сдѣлалъ онъ это, а изъ тайной склонности къ аристократизму. Наполеонъ Бонапартъ былъ аристократомъ, аристократическимъ врагомъ гражданскаго равенства, и мнѣ кажется колоссальнымъ недоразумѣніемъ, что европейская аристократія, въ лицѣ Англіи, съ такимъ ожесточеніемъ боролась съ нимъ... Любезный читатель, объяснимся однажды навсегда: я никогда не превозношу дѣлъ и хвалю лишь геній человѣка; дѣло— только его одежда, и исторія не что иное, какъ старый гардеробъ человѣческаго генія» (т. II, стр. 111).

Рѣшительное объясненіе съ любезнымъ читателемъ ни къ чему не ведетъ и заключаетъ въ себѣ очень мало осязательнаго смысла. Стараясь отдѣлить геній человѣка отъ его дѣлъ, Гейне желаетъ открыть самый широкій просторъ эстетическому произволу. Полезны ли, вредны ли дѣла человѣка, это, по мнѣнію Гейне, все равно: это — мелкія подробности стараго гардероба; надо только, чтобы въ исполненіи этихъ вредныхъ или полезныхъ дѣлъ проявлялась нѣкоторая виртуозность, нѣкоторая фешенебельная грація и развязность. Эти качества, отъ которыхъ окружающимъ людямъ ни тепло, ни холодно, составляютъ, по мнѣнію Гейне, настоящую квинтэссенцію человѣка и требуютъ себѣ нашего благоговѣнія. Политическому дѣятелю предписывается такимъ образомъ быть эффектнымъ, интереснымъ и привлекательнымъ. При соблюденіи этихъ условій ему отпускаются всѣ его глупости и низости, промахи и преступленія. И чѣмъ громаднѣе его ошибки, тѣмъ лучше для него, потому что тѣмъ поразительнѣе становится его эффектность. Съ эстетической точки зрѣнія огромная гадость заслуживаетъ гораздо большаго уваженія, чѣмъ маленькое доброе дѣло. Но при такомъ отдѣленіи *генія* отъ *дѣлъ*, совершенно искажается настоящее значеніе слова *геній*. Этимъ словомъ перестаетъ обозначаться то умственное превосходство, передъ которымъ преклоняются съ восторженной любовью всѣ мыслящіе люди. И послѣ такого превращенія *геній* сохраняетъ свою обаятельность только для слабоумныхъ любителей театральной грандіозности. Иначе онъ понялъ бы, что съ генія нѣтъ возможности снимать отвѣтственность за направленіе и результаты дѣлъ. Геній самъ задаетъ себѣ работу. Слѣдовательно, мы имѣемъ полное право требовать отъ него отчета не только въ томъ, искусно ли и удачно ли выполнена работа, но еще и въ томъ, почему и зачѣмъ, съ какою цѣлью и на основаніи какихъ предварительныхъ соображеній онъ, геній, принялся именно за эту работу, а не за другую. Данный историческій дѣятель только тогда и можетъ быть признанъ геніемъ, когда его дѣла и вся его жизнь даютъ совершенно удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы, которые могутъ быть поставлены мыслящимъ историкомъ. Выступая на арену борьбы и серьезной дѣятельности, человѣкъ бросаетъ общій взглядъ на положеніе партій, вдумывается въ потребности и въ понятія своихъ современниковъ, задаетъ себѣ вопросъ о томъ, куда идетъ главный потокъ идей и событій, словомъ—оріентируется въ лѣсу быстро смѣняющихся явленій и затѣмъ, вооружившись своими наблюденіями, присоединяется болѣе или менѣе сознательно къ какой-нибудь одной группѣ бойцовъ или работниковъ. Если собранныя наблюденія неточны и сдѣланный выборъ неудовлетворителенъ, молодой дѣятель переходитъ къ другой партіи или старается сообщить новое направленіе мыслямъ и работамъ своихъ союзниковъ. Становясь подъ то или другое знамя, измѣняя своимъ вліяніемъ такъ или иначе характеръ своей партіи, человѣкъ набрасываетъ въ общихъ чертахъ весь планъ своей будущей дѣятельности. Достоинства или недостатки этого плана дадутъ себя знать впослѣдствіи и во всякомъ случаѣ одержатъ перевѣсъ надъ достоинствами или недостатками выполненія. Если планъ былъ составленъ разумно, если, при его составленіи, настоящія потребности времени были поняты вѣрно, то вся дѣятельность будетъ плодотворна и благодѣтельна, хоть бы даже въ выполненіи было много отдѣльныхъ ошибокъ и шероховатостей. Если же, при составленіи плана, потребности времени были поняты на-выворотъ, то вся дѣятельность будетъ тѣмъ болѣе безсмысленна и вредна, чѣмъ больше остроумія будетъ потрачено на потребности выполненія. Но если планъ составленъ невѣрно, если всей дѣятельности дано ложное направленіе, что же это значитъ? Значитъ, очевидно, что у составителя не достало проницательности, сообразительности и глубокомыслія. Значитъ, въ геніальности составителя имѣется такой крупный изъянъ, который портитъ все дѣло и превращаетъ неудавшагося генія въ опаснаго и вреднаго сумасброда.

Гейне говоритъ, что Наполеонъ измѣнилъ свободѣ и былъ аристократическимъ врагомъ гражданскаго равенства. Говоря это, Гейне думаетъ, что это обстоятельство не наноситъ никакого ущерба геніальности Наполеона, точно будто это обстоятельство нисколько не зависѣло

отъ процесса его мышленія, точно будто измѣна и аристократизмъ составляютъ прирожденныя качества Наполеона, подобныя цвѣту его глазъ и волосъ. Измѣнилъ свободѣ и сдѣлался аристократомъ. Гдѣ-жъ у него было соображеніе, куда дѣвалась его прославленная геніальность въ то время, когда онъ рѣшился идти наперекоръ такимъ стремленіямъ, которыя, выходя изъ самыхъ глубокихъ потребностей человѣческой природы, доросли уже до своей окончательной зрѣлости? Если онъ рѣшался на борьбу съ этими стремленіями, значитъ, онъ надѣялся побѣдить. А если онъ надѣялся побѣдить и упрочить результаты своей побѣды, значитъ, онъ не зналъ людей, не понималъ ни прошедшаго, ни настоящаго и не составлялъ себѣ никакого приблизительно вѣрнаго понятія о ближайшемъ будущемъ. Если же, съ другой стороны, онъ говорилъ *après moi—le déluge* и хотѣлъ побѣдить только для того, чтобы весело прожить на свѣтѣ, то, стало быть, у него не было даже того величественнаго размаха мысли, который побуждаетъ всѣхъ истинныхъ геніевъ строить для далекаго будущаго. При всемъ томъ, онъ конечно былъ, если хотите, геніальнымъ полководцемъ, и за это можетъ быть поставленъ наряду съ какимъ-нибудь Мальборо, передъ которымъ Гейне ни за что не согласился бы падать на колѣни. Это частичная геніальность, или, вѣрнѣе, это виртуозность въ какомъ-нибудь одномъ дѣлѣ; это умѣнье быть превосходнымъ орудіемъ какой угодно партіи, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ свѣтлымъ умственнымъ величіемъ, которое характеризуетъ настоящихъ благодѣтелей нашей породы, людей, способныхъ угадывать наши потребности и создавать средства для ихъ удовлетворенія. Не всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ полководцемъ, такъ точно, какъ не всякій способенъ сдѣлаться отличнымъ танцоромъ или отличнымъ знатокомъ красныхъ винъ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы каждый отличный полководецъ имѣлъ право на то благоговѣніе, съ которымъ мы относились къ генію, согрѣвшему и украсившему нашу жизнь своими трудами.

Гейне самъ знаетъ очень хорошо настоящую цѣну всякой славы.

«Смѣшно было бы, говоритъ онъ, поставить статую Лафайету на вандомскую колонну, вылитую изъ пушекъ, отбитыхъ въ столькихъ сраженіяхъ,—на эту колонну, вида которой не можетъ вынести ни одна французская мать, какъ поетъ Барбье. На этой желѣзной колоннѣ поставьте Наполеона, желѣзнаго человѣка. Пусть ему и здѣсь, какъ въ жизни, служитъ подножіемъ его пушечная слава; пусть онъ въ ужасающемъ одиночествѣ касается челомъ облаковъ, чтобы каждый честолюбивый солдатъ, увидавъ его тамъ, вверху, недостижимо, могъ исцѣлиться отъ суетной жажды славы, и чтобы эта колоссальная металлическая статуя служила для Европы громоотводомъ противъ завоевательнаго героизма, орудіемъ мира. Лафайетъ воздвигъ себѣ колонну лучше вандомской, статую лучше металлической или мраморной». (Т. VII, стр. 46).

Итакъ, Лафайетъ выше Наполеона; военная слава объявлена суетною, и вандомская колонна должна служить честолюбивымъ солдатамъ тѣмъ наглядымъ предостереженіемъ, которымъ, по соображеніямъ мудрыхъ криминалистовъ, висѣлица служитъ похитителямъ собственности. Стало быть, памятникъ, поставленный Наполеону, изображаетъ собою не уваженіе потомковъ къ его геніальности, а только то чувство ужаса, вслѣдствіе котораго люди стараются увѣковѣчить воспоминаніе о какомъ-нибудь громадномъ національномъ бѣдствіи, вродѣ наводненія, пожара, землетрясенія или чумы.

Гейне понимаетъ также, какимъ образомъ наполеоновская система подѣйствовала на французское общество.

«Люди средняго возраста, говоритъ онъ, утомлены раздражающей оппозиціей, выпавшей на ихъ долю въ періодъ реставраціи, или развращены имперіей, которая своей блестящей солдатчиной и своей шумной славой умерщвляла всякую любовь къ свободѣ». (Т. VII, стр. 60).

Наконецъ Гейне договаривается до самаго наивнаго и неожиданнаго признанія.

«Правда, говоритъ онъ, что умершій Наполеонъ больше любимъ французами, чѣмъ живущій Лафайетъ, можетъ быть именно потому, что онъ умеръ. Мнѣ по крайней мѣрѣ это всего больше нравится въ Наполеонѣ, потому что, будь онъ въ живыхъ, мнѣ пришлось бы идти воевать противъ него». (Т. VII, стр. 47).

Это признаніе нисколько не мѣшаетъ Гейне обожать Наполеона по прежнему. Пользуясь правами поэта, Гейне презираетъ послѣдовательность и перелетаетъ съ удивительною развязностью отъ самой злой насмѣшки къ самому восторженному панегирику. Тотъ человѣкъ, который развратилъ Францію *блестящей солдатчиной* и систематически старался умертвить въ своихъ современникахъ *всякую гражданскую доблесть*, тотъ человѣкъ, котораго лучшій подвигъ состоитъ въ томъ, что онъ умеръ, тотъ человѣкъ, котораго надо поставить на колонну для вѣчнаго устрашенія честолюбивыхъ солдатъ, оказывается вдругъ *божествомъ отъ головы до ногъ* (т. III, стр. 99), божествомъ, котораго имя сдѣлалось *лозунгомъ для народовъ* (т. III стр. 100), такъ что «*Востокъ* и *Западъ*, встрѣчаясь между собою, *понимаютъ другъ друга только посредствомъ этого имени*» (тамъ же). Въ подтвержденіе той мысли, что имя Наполеона дѣйствительно можетъ служить умственною связью между Востокомъ и Западомъ, Гейне разсказываетъ слѣдующій случай. Въ лондон-

скую гавань вошелъ корабль, прибывшій изъ Бенгаліи; Гейне посѣтилъ этотъ корабль, почувствовалъ особенное влеченіе къ его пассажирамъ и захотѣлъ сказать имъ какое-нибудь привѣтствіе. Не зная ихъ языка, Гейне, чтобы выразить имъ свое сочувствіе, произнесъ очень почтительно имя «Магометъ». Индѣйцы, желая отвѣтить на его любезность, произнесли имя «Бонапарте». На этомъ и остановился разговоръ, такъ что обмѣнъ мыслей между Востокомъ и Западомъ оказался не очень значительнымъ, несмотря на существованіе чудотворнаго имени, *«сдѣлавшагося лозунгомъ для народовъ»*.

Довольно трудно сообразить, для какой цѣли разсказанъ этотъ случай и какое изъ него можно вывести заключеніе. Что индѣйцы знаютъ о существованіи Наполеона? Прекрасно. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Этою честью пользовались въ свое время Атилла, Чингисханъ, Тамерланъ, Надиръ-Шахъ, словомъ всѣ разбойники, занимавшіеся своимъ ремесломъ въ обширныхъ размѣрахъ. Имена этихъ людей всегда были гораздо болѣе извѣстны, чѣмъ имена великихъ изслѣдователей и изобрѣтателей. Эти имена поражали народное воображеніе и дѣлались лозунгомъ для народовъ, но эти имена всегда облегчали международныя сношенія точно настолько же, насколько имя Наполеона помогло индѣйцамъ разговаривать съ Гейне. Все это очень хорошо извѣстно и самому Гейне, но ему, какъ разорванному поэту, нѣтъ никакого дѣла до самыхъ элементарныхъ требованій здраваго смысла, если только эти требованія мѣшаютъ ему въ данную минуту уронить съ пера эффектный эпитетъ, блестящую метафору или граціозную картинку.

Гейне излагаетъ очень обстоятельно тѣ причины, которыя побуждаютъ его считать Наполеона богомъ. Причины эти заключаются въ томъ, что у Наполеона не шевелились глаза. «Вообще, говоритъ Гейне, твердый, смѣлый взглядъ есть отличительный признакъ боговъ. Поэтому, когда Агни, Варуна, Яма и Индра приняли образъ Наля на свадьбѣ Дамаянти, послѣдняя узнала своего возлюбленнаго по движенію его зрачковъ; ибо, какъ сказано, глаза у боговъ всегда неподвижны. У Наполеона также глаза имѣли это свойство, а потому я и убѣжденъ, что онъ тоже богъ изъ боговъ». (Т. V, стр. 243).

Что вы скажете объ этомъ пассажѣ? Вы скажете, по всей вѣроятности, что это шутка. Но я съ вами не соглашусь, и скажу вамъ, что это просто безсмыслица, которую самъ поэтъ тоже считаетъ за безсмыслицу и которую онъ тѣмъ не менѣе выбрасываетъ изъ себя на бумагу, потому что находитъ ее оригинальною и граціозною. И это самодовольное выбрасываніе безсмыслицъ совершается у Гейне до такой степени часто, что читатель наконецъ теряетъ возможность опредѣлить, гдѣ кончается серьезное размышленіе и гдѣ начинается сознательное и умышленное юродство, желающее изображать собою грацію. Гейне положительно думаетъ, что поэтъ имѣетъ право производить на свѣтъ такія сочетанія понятій, которыя никогда и ни при какихъ условіяхъ не могутъ залѣзть ни въ какую человѣческую голову. Онъ часто пишетъ то, чего онъ никогда не могъ думать, и чего вообще не можетъ подумать ни одно мыслящее существо.

ПЧЕЛЫ.

Историки, публицисты и политики говорили, говорятъ и еще долго будутъ говорить чрезвычайно много вздора; всѣ ихъ теоріи будутъ разлетаться какъ мыльные пузыри до тѣхъ поръ, пока они не будутъ чувствовать подъ ногами твердую почву осязательныхъ фактовъ. Иной ученый мужъ пресерьезно начнетъ увѣрять васъ, что онъ добрался въ своихъ изслѣдованіяхъ до основныхъ законовъ человѣческаго развитія, до остова всемірной исторіи; спросите этого колосса учености, знаетъ ли онъ устройство человѣческаго организма, предложите ему элементарный вопросъ изъ физіологіи или анатоміи, и вы увидите, что онъ опуститъ глаза и поневолѣ признается въ своемъ невѣдѣніи; всѣ его выводы основаны на бумажныхъ документахъ; онъ не знаетъ ни живого человѣка, ни живыхъ людей; онъ не знаетъ ни того процесса, который совершается въ каждомъ недѣлимомъ, ни тѣхъ отправленій, которыя имѣютъ мѣсто въ живомъ обществѣ; онъ видитъ только своими ослабѣвшими глазами ту частичку жизни, которая прилипла къ пергаментному свитку, завалявшемуся въ архивной пыли: по этой частичкѣ онъ думаетъ возсоздать живыхъ личностей, составить себѣ понятіе о человѣкѣ, изучить законы его развитія; отъ этихъ безсмысленныхъ стремленій опредѣлить по жалкимъ отрывкамъ то, чего не знаешь и не хочешь изучить во всемъ разнообразіи жизненной полноты, отъ этихъ безсиль-

ныхъ попытокъ замѣнить наблюденіе творчествомъ ума—происходятъ ошибки, доктрины, политическія убѣжденія, замысловатыя теоріи, въ которыхъ не достаетъ бездѣлицы: знанія дѣла и здраваго смысла. Чтобъ понимать событіе, надо знать его дѣятелей; чтобы объяснить себѣ историческое развитіе человѣчества, надо знать тѣ силы, которыя дѣйствуютъ въ немъ самомъ и вокругъ него. Пусть гг. доктринеры, которыхъ очень много во всякомъ обществѣ, начинающемъ мыслить, посмотрятъ вокругъ себя и скажутъ, положа руку на сердце: что они знаютъ? Какое дѣйствительно существующее явленіе природы имъ извѣстно и понятно? Они принуждены будутъ сознаться, что знаютъ большею частью только то, что думали другіе доктринеры, жившіе раньше ихъ; надъ этими работами прежнихъ доктринеровъ они проводятъ дни и годы, ихъ они комментируютъ и критикуютъ, не добираясь до самой жизни и принимая свои слова и понятія за существующія явленія. Эти доктринеры—современное видоизмѣненіе средневѣковыхъ монаховъ; у нихъ есть трудолюбіе, есть добросовѣстность и при этомъ ни малѣйшаго понятія о жизни, а вслѣдствіе этого—ни одной живой идеи въ умѣ, ни одного энергическаго движенія въ мозгу. Самое простое, понятное слово *жизнь,* благодаря имъ, превратилось въ какую-то риторическую фигуру, лишенную плоти и крови; они понимаютъ по-своему жизнь идеи, жизнь общества, жизнь человѣчества, словомъ—всякую *воображаемую* жизнь, всякую жизнь, кромѣ *дѣйствительной* жизни отдѣльнаго живого человѣка; о жизни животныхъ имъ некогда и подумать; это такія мелочи, на которыя имъ и взглянуть не хочется—имъ, законодателямъ человѣчества, носящимъ въ своемъ мозгу рѣшенія разныхъ міровыхъ вопросовъ. Мы не имѣемъ счастья быть доктринерами; у насъ не хватаетъ на это ни умѣнья, ни желанья; каемся чистосердечно въ томъ, что мы имѣемъ слабость интересоваться дѣйствительною жизнью, въ какихъ бы крошечныхъ размѣрахъ она ни проявлялась, и нисколько не интересоваться безплодными порожденіями доктринерствующихъ умовъ, въ какія бы полнозвучныя фразы они ни облекались. На этомъ основаніи мы намѣрены толковать съ читателями не о теоріи божественнаго права, не о законѣ исторической постепенности, а просто о домашней и общественной жизни пчелъ.

Мы сильно нуждаемся въ положительной почвѣ для нашихъ изслѣдованій, въ фактическомъ матеріалѣ, изъ котораго можно было бы выковать себѣ воззрѣнія и убѣжденія металлической твердости и незыблемой основательности. Будемъ же смотрѣть вокругъ себя, на живую природу, вмѣсто того чтобы зажмуривать глаза или съ упорнымъ вниманіемъ устремлять ихъ на буквы, слова и фразы.

I.

Пчела принадлежитъ къ породѣ насѣкомыхъ; у нея нѣтъ спиннаго хребта, и ея тѣло раздѣляется на три ясно обозначенныя части; эти части слѣдуютъ другъ за другомъ въ такомъ порядкѣ: во-первыхъ, голова, въ которой находятся глаза, щупальца и ротикъ; во-вторыхъ, средняя часть тѣла, къ которой прикрѣплено снизу три пары ногъ, а сверху двѣ пары крыльевъ; въ-третьихъ, задняя часть тѣла, заключающая въ себѣ сердце, дыхательные органы, пищеварительный каналъ и половыя части. По обѣимъ сторонамъ головы у пчелы находятся два большіе глаза, составленные изъ нѣсколькихъ тысячъ микроскопическихъ глазъ, выглядывающихъ изъ-за общей, прозрачной роговой оболочки. Этими двумя глазами пчела смотритъ на мелкіе предметы, находящіеся вблизи; эти два глаза замѣняютъ ей наши микроскопы; для того, чтобы смотрѣть въ даль, чтобы направлять въ даль свой полетъ, пчела пользуется тремя крошечными глазками, прикрѣпленными къ верхней части головы. Сколько извѣстно при теперешнемъ состояніи науки, человѣкъ лишенъ тѣхъ глазъ, которые управляютъ полетомъ пчелы. Вѣроятно это обстоятельство составляетъ единственную причину, по которой большая часть человѣческихъ сужденій и построеній страдаютъ отъ близорукости своихъ творцовъ.

Ротъ пчелы отличается сложнымъ устройствомъ; достаточно будетъ отмѣтить двѣ роговидныя, острыя челюсти, закрывающіяся другъ на друга, какъ двѣ половинки ножницъ, щеточки, служащія для собиранія цвѣточной пыли, и длинную нижнюю губу, покрытую волосами и заступающую мѣсто языка, конечно не для разговора. Останавливаться на немъ я не буду; замѣчу только, что рабочія пчелы на своихъ заднихъ ногахъ приносятъ въ улей медъ и цвѣточную пыль, а что трутни и матки лишены этой способности. Рабочія пчелы приготовляютъ въ своемъ тѣлѣ воскъ, который просачивается между колечками задней части и потомъ употребляется въ ульѣ какъ строительный матеріалъ. Матка или царица и трутни не способны къ приготовленію воска.

Рабочія пчелы вооружены жаломъ, скрывающимся въ задней части тѣла и связаннымъ съ пузырькомъ, изъ котораго выдѣляется ѣдкая, ядовитая жидкость. Трутни, какъ привилегированное сословіе, избавлены отъ обязанности защищать общество отъ внѣшнихъ враговъ и лишены жала. Челюсти ихъ особенно крѣпки и покрыты зазубринами, вслѣдствіе чего они отличаются прожорливостью. Жало царицы длиннѣе и острѣе жала обыкновенныхъ рабочихъ, но она пользуется имъ только въ единоборствѣ противъ соперниковъ, когда дѣло идетъ о господствѣ надъ ульемъ.

Мы видимъ такимъ образомъ, что все населеніе улья распадается на три касты, отличающіяся другъ отъ друга внѣшними признаками. Во главѣ всего улья стоитъ матка или царица, единственная самка, одаренная способностью и правомъ класть яйца; она буквально можетъ сказать: l'état, c'est moi, потому что сама производитъ на свѣтъ все, что живетъ и движется въ ульѣ. Задняя часть ея тѣла значительно длиннѣе, чѣмъ у работницъ; половые органы вполнѣ развиты, зато крылья значительно короче; вслѣдствіе этого царица рѣдко покидаетъ улей и проводитъ всю жизнь въ наслажденіи готовою пищей и въ удовлетвореніи сильно развитымъ половымъ влеченіямъ. Она вылетаетъ только за тѣмъ, чтобы среди цвѣтущей природы отдаться любимому трутню, или чтобы уступить мѣсто счастливой соперницѣ.

За царицею слѣдуютъ трутни или самцы, далеко превосходящіе работницъ величиною тѣла; эти трутни не работаютъ, не носятъ при себѣ оружія, много ѣдятъ, оплодотворяютъ по очереди царицу и кромѣ этого не знаютъ ни заботъ, ни обязанностей.

Рабочія пчелы—самки, не способныя къ дѣторожденію; въ ихъ неспособности виновата не природа, а воспитаніе; недостаточная пища задерживаетъ развитіе ихъ половой системы и обрекаетъ ихъ на трудовую жизнь, лишенную наслажденія. Не имѣя возможности жить для себя, рабочіе обращаютъ свою дѣятельность на воспитываніе личинокъ, рожденныхъ царицею; весь медъ, собранный ими на цвѣтахъ, идетъ на продовольствіе личинкамъ, трутнямъ и царицѣ; все—на пользу общую, и ничего—для себя; рабочая пчела съ трогательнымъ, но совершенно нелѣпымъ самоотверженіемъ, содѣйствуетъ поддержанію того уродливаго порядка вещей, который лишаетъ ее возможности пользоваться жизнью и производить потомство. Она сама плохо кормитъ цѣлыя сотни личинокъ и откармливаетъ десятокъ другихъ, чтобы изъ первыхъ вышли оскопленныя работницы, а изъ вторыхъ—полныя самки-царицы. Рабочія пчелы—жалкіе паріи, не чувствующіе своего униженія, не способныя изъ него выдти и поддерживающія въ этомъ униженіи слѣдующее поколѣніе, которое въ свою очередь будетъ дѣйствовать въ томъ же возмутительно-консервативномъ духѣ, и такъ далѣе, до безконечности. Это—пролетаріи, задавленные существующимъ порядкомъ вещей, закабаленные въ безвыходное рабство, кружащіеся въ колесѣ и потерявшіе всякое сознаніе лучшаго положенія. Яйца, которыя кладетъ королева, совершенно равны между собою по достоинству, червячки, выползающіе изъ яичекъ, въ первые три дня, ничѣмъ не отличаются другъ отъ друга; каждый изъ нихъ можетъ сдѣлаться царицею. Но вотъ начинается различіе воспитанія: одного червячка сажаютъ въ просторную клѣтку, его кормятъ отборной пищей, его чистятъ и обмываютъ прислужницы и кормилицы; изъ этой личинки выходитъ царица; другую личинку, напротивъ того, втискиваютъ въ тѣсную коморку, кормятъ чѣмъ попало, никогда не обчищаютъ, изъ этой личинки развивается простая работница. Смотря по обстоятельствамъ, одна рабочая пчела бываетъ сильнѣе, другая слабѣе; кто посильнѣе, тотъ вылетаетъ изъ улья и добываетъ медъ; кто—послабѣе, тотъ сидитъ дома, ходитъ за личинками и куколками, чиститъ клѣточки и исполняетъ разныя домашнія работы. Торопливо ползаютъ эти заботливыя кормилицы и экономки отъ ячейки къ ячейкѣ; тамъ надо накормить голоднаго червячка; тутъ надо залѣпить воскомъ запасный магазинъ, наполненный медомъ, въ другомъ мѣстѣ надо закрыть клѣточку, въ которой взрослый червякъ превращается въ куколку; еще гдѣ-нибудь необходимо вычистить большую клѣтку, въ которой сидѣла царственная куколка; дѣло всегда найдется, и трудовая жизнь рабочихъ пчелъ проходитъ въ непрерывномъ рядѣ заботъ, которыя не позволяютъ имъ задуматься о наслажденіи или помечтать о лучшемъ будущемъ. Когда молодое поколѣніе накормлено, являются новыя работы—надо построить новую клѣточку для меда, надо облизать и обчистить возвращающихся съ работы товарищей, или даже празднаго трутня, гулявшаго по собственной охотѣ за предѣлами улья; когда становится холодно, кормилицы и экономки собираются вокругъ царицы, согрѣваютъ ее теплотою собственнаго тѣла, смотрятъ на нее какъ на избранное, высшее существо. Словомъ, самоотверженію рабочихъ нѣтъ предѣловъ, и если самоотверженіе—добродѣтель, а не глупость, то добродѣтельнѣйшимъ существомъ въ мірѣ надо будетъ признать рабочую пчелу.

II.

Составленное изъ такихъ элементовъ, государство пчелъ имѣетъ свою исторію, свои періодическія волненія, свои гражданскія событія и перевороты. Вотъ вылетаетъ изъ улья новый рой, какъ толпа отважныхъ колонистовъ, рѣшившихся искать за моремъ счастья и простора. Впереди летитъ царица; ее окружаютъ сильнѣйшія изъ рабочихъ, готовыя защищать ее отъ всякой опасности и положить животъ за то, что онѣ считаютъ общимъ дѣломъ. За этой передовой группой слѣдуютъ въ нѣкоторомъ разстояніи лѣнивые трутни и слабыя кормилицы-экономки. Впрочемъ, старинные писатели говорятъ, что царицу окружаютъ при этомъ переселеніи трутни; по всей вѣроятности, это ошибка; если же дѣйствительно такъ было прежде, то такое измѣненіе церемоніала доказываетъ ясно, что привилегіи, связанныя съ званіемъ трутня,

постепенно уменьшаются, и что различіе сословій въ пчелиномъ мірѣ постепенно исчезаетъ передъ закономъ здраваго смысла и передъ фактическимъ правомъ личной, матеріальной силы. Царица долго летать не любитъ; она садится на какой-нибудь сукъ, вокругъ нея густыми кучами усаживается ея народъ, а между тѣмъ нѣсколько сильныхъ рабочихъ пчелъ летятъ на рекогносцировку, чтобы высмотрѣть помѣщеніе для будущей колоніи. Обыкновенно человѣкъ предупреждаетъ эти поиски и предлагаетъ готовое жилище, соединяющее въ себѣ всѣ требуемыя удобства. Пчелы принимаютъ его съ благодарностью, не понимая того, что онѣ закабаляютъ себя въ рабство, и что человѣкъ присвоиваетъ себѣ неограниченное право распоряжаться ихъ жизнью и собственностью, отнимать у нихъ медъ и воскъ, выкуривать ихъ дымомъ, оглушать ихъ сѣрой и водой, перегонять изъ одного помѣщенія въ другое и даже убивать ихъ, если, по его соображеніямъ, ихъ не стоитъ кормить тѣмъ самымъ медомъ, который онѣ же добыли. Пчелы не предвидятъ всѣхъ этихъ неудобствъ своего новаго положенія, и весь рой съ радостнымъ жужжаніемъ влетаетъ въ новый улей.

Занявши свое новоселье, пчелы прежде всего замазываютъ и закатываютъ всѣ отверстія, кромѣ одной маленькой дырочки, черезъ которую поддерживается сообщеніе улья съ внѣшнимъ міромъ. На молодыхъ побѣгахъ разныхъ деревьевъ пчелы находятъ клейкую массу, и этой-то массой онѣ какъ можно плотнѣе законопачиваютъ щели; если въ улей вставлено стекло, то онѣ замазываютъ его, стараясь такимъ образомъ сдѣлать свое жилище недоступнымъ не только для внѣшнихъ враговъ, но преимущественно для дѣйствія внѣшняго свѣта. Темнота совершенно необходима для поддержанія существующаго порядка. Вылетая изъ улья, пчела является свободнымъ, усернымъ работникомъ; у себя дома она подавлена, принесена въ жертву внѣшней стройности государственнаго тѣла, и потому, чтобы покоряться такимъ тягостнымъ условіямъ, чтобы нести безропотно лишенія и труды, не пользуясь своей долей наслажденій, ей необходимо *игнорировать* настоящее положеніе дѣлъ, не видать и не понимать того, какъ проводятъ время царица и трутни. Первый лучъ свѣта пугаетъ работницу, освѣщая грязь и бѣдность ея вседневной жизни; ей становится тяжело и страшно; она приписываетъ свое непріятное ощущеніе не тому зрѣлищу, которое освѣтилъ ворвавшійся лучъ, а именно самому лучу; она старается устранить его, какъ мы, люди, стараемся порою устранить возникающее сомнѣніе; если любопытный натуралистъ вставитъ въ улей стеклянное окошечко, его замажутъ; если онъ для своихъ наблюденій вынетъ замазанное стекло, то въ ульѣ при первыхъ лучахъ свѣта начнется волненіе; трутни толпами побѣгутъ къ отверстію, стараясь закрыть его собственными тѣлами; рабочія полетятъ за замазкой и начнутъ заклеивать; внутри улья послышится жужжанье, и дѣла придутъ въ прежнее положеніе только тогда, когда водворится прежняя темнота.

Но если наблюдатель будетъ постоянно прочищать отверстіе, заклеиваемое рабочими и загораживаемое трутнями, если освѣщеніе улья будетъ продолжаться, несмотря на сопротивленіе всѣхъ сословій пчелинаго царства, то всѣ дѣла мало-по-малу приходятъ въ разстройство. Рабочія перестаютъ работать и начинаютъ понимать, что плодами ихъ усилій пользуются привилегированные классы. Они перестаютъ строить соты, не кормятъ личинокъ и не обращаютъ вниманія на королеву. Жужжаніе ихъ усиливается; онѣ собираются въ кучки и какъ будто разсуждаютъ о чемъ-то, къ великому ужасу торіевъ-трутней и крайнему огорченію царицы, начинающей чувствовать голодъ и одиночество. Вылетающія рабочія возвращаются безъ меда, каждая изъ нихъ сама съѣдаетъ благопріобрѣтенное имущество; наконецъ многіе изъ рабочихъ совершенно покидаютъ улей, начинаютъ жить на просторѣ, среди цвѣтущей природы, совершенно въ свое удовольствіе. Королева умираетъ съ голоду; трутни разсѣиваются, личинки погибаютъ, и только стѣны опустѣлаго улья свидѣтельствуютъ о недавнемъ существованіи гражданственнаго или стаднаго элемента. Рабочіе наслаждаются жизнью, насколько это возможно при изуродованномъ ихъ положеніи, рѣзвятся въ тепломъ воздушномъ пространствѣ, носятся надъ цвѣтущими лугами и полянами, упиваются медомъ и свободою, досыта наѣдаются цвѣточною пылью и наконецъ, натѣшившись въ волю, умираютъ, какъ жили, свободными гражданами животнаго міра. Нѣкоторые изъ этихъ анархистовъ раскаиваются впрочемъ въ своихъ поступкахъ и пытаются пристать къ какому-нибудь другому государству, т. е. поселиться въ другомъ ульѣ и принять на себя тѣ самыя обязанности, которыя имъ приходилось нести прежде.

Но въ улей не принимаютъ пришельцевъ; туземцы сейчасъ узнаютъ иностранца и гонятъ его прочь, а въ случаѣ упорства убиваютъ его и выбрасываютъ бездыханное тѣло за предѣлы своего царства. Основана-ли эта китайская ненависть пчелъ къ инородцамъ на экономическомъ, или на политическомъ разсчетѣ, рѣшить довольно трудно. Боятся-ли онѣ въ новомъ пришельцѣ лишняго потребителя, или проповѣдника анти-конституціонныхъ началъ, это до сихъ поръ не рѣшено изслѣдователями ихъ гражданскаго быта. Какъ бы то ни было, два факта не подлежатъ ни малѣйшему сомнѣнію: во-первыхъ, то, что мракъ необходимъ для спо-

койствія и коллективнаго благоденствія улья, во-вторыхъ, то, что пчелы, отрѣшившись отъ завѣтной нормы своего общественнаго устройства, не способны выработать себѣ другую норму и начинаютъ жить совершенно индивидуальною жизнью, которая, при многихъ хорошихъ сторонахъ, имѣетъ свои несомнѣнныя, чисто практическія неудобства. Рабочія пчелы умѣютъ работать и защищать свое общество отъ внѣшнихъ враговъ; но импульсъ къ этимъ работамъ и къ этой оборонѣ дается имъ извнѣ, такими существами, которыя сами не способны ни работать, ни сражаться. Въ ульѣ происходитъ самое оригинальное раздѣленіе труда: одни работаютъ, другіе ѣдятъ и плодятся. Безъ этого раздѣленія труда невозможно продолженіе породы: кто работаетъ, тотъ неспособенъ къ дѣторожденію; а кто способенъ имѣть дѣтей, тотъ не можетъ работать. Пчелы очевидно испорчены своею уродливою гражданственностью; плебеи — кастраты, и естественныя половыя отправленія составляютъ привилегію одной личности. Ни древній Египетъ, ни древняя Индія не доходили до такого строгаго проведенія кастическихъ особенностей; даже паріи имѣли возможность брать себѣ женъ и производить дѣтей; развѣ только современная Англія, при постоянно возрастающемъ населеніи, дойдетъ до того, что бракъ сдѣлается привилегіей нѣкоторыхъ лицъ или сословій, и что пролетарію, не имѣющему ни кола, ни двора, ни обезпеченнаго куска хлѣба, законъ будетъ воспрещать сношенія съ женщинами и дѣторожденіе. Замѣтимъ мимоходомъ, что Джонъ-Стюартъ Милль обсуждаетъ этотъ вопросъ англійской жизни въ своей знаменитой книгѣ *On liberty*; онъ, величайшій индивидуалистъ нашего времени, почти рѣшается признать за обществомъ право контролировать заключеніе браковъ и запрещать тѣ брачные союзы, которые угрожаютъ обществу приращеніемъ неимущихъ гражданъ и слѣдовательно пониженіемъ задѣльной платы. Отъ подобной мысли до оправданія общественныхъ учрежденій пчелъ—не слишкомъ далеко, но къ чести человѣка можно выразить надежду на то, что подобный законъ никогда не примется и не укоренится; каждый нищій скорѣе согласится умереть, чѣмъ позволитъ превратить себя въ рабочаго кастрата, живущаго для того, чтобы служить бутомъ или фундаментомъ для общественнаго зданія. Иные натуралисты приходятъ въ полнѣйшее умиленіе, говоря объ умѣ пчелъ и о ихъ завидной способности жить въ обществѣ себѣ подобныхъ существъ; мнѣ кажется, напротивъ того, надо подивиться ихъ чудовищной забитости, доходящей до того, что онѣ, изуродованныя сами, систематически уродуютъ другихъ и являются такимъ образомъ въ одно и то же время безчувственными жертвами и безсмысленными палачами.

III.

Вотъ наконецъ щели замазаны, мракъ водворился, и государственная машина начинаетъ свою работу. Прежде всего рабочія пчелы принимаются за построеніе сотовъ, шести-угольныхъ восковыхъ клѣточекъ извѣстной величины, опредѣленнаго формата и неизмѣнной архитектуры. Тутъ не нужно творчества, личной мысли, оригинальнаго дарованія. Каждая пчела умѣетъ строить эти клѣточки и знаетъ, въ какомъ отношеніи должны находиться между собою различныя помѣщенія. Для рабочихъ пчелъ строятся самыя крошечныя клѣточки; для трутней — побольше, а для королевы тратится на построеніе клѣтки столько воску, сколько пойдетъ на 150 рабочихъ келій. Архитекторы не спорятъ между собою о планѣ будущихъ построекъ; все давно извѣстно каждой пчелѣ; проектовъ представлять незачѣмъ, и лишь бы было темно и тихо, все пойдетъ какъ по маслу, потому что идея конституціи съ своими мельчайшими фактическими подробностями вошла въ плоть и кровь рабочаго класса.

Трутни понимаютъ свои сословныя привилегіи; они не помогаютъ дѣятельнымъ строителямъ, и въ жаркій полдень вылетаютъ изъ улья, не за тѣмъ, чтобы принести меду на пользу общую, а за тѣмъ, чтобы въ полномъ сознаніи своего превосходства набить себѣ желудокъ цвѣточною пылью. А въ это время рабочія пчелы разъ по шести или по восьми въ день вылетаютъ изъ улья и всякій разъ возвращаются домой съ полнымъ грузомъ меда на пожкахъ и въ желудкѣ; весь принесенный медъ или по крайней мѣрѣ бо́льшая часть его идетъ на прокормленіе королевы, трутней и личинокъ; себѣ рабочая пчела оставляетъ въ обрѣзъ столько, сколько необходимо для поддержанія жизни и рабочей силы.

Трутни, какъ самцы, окружаютъ королеву, единственную самку всего улья, и стараются по возможности заслужить ея расположеніе; они толпятся вокругъ нея, лижутъ и обчищаютъ ее, оказываютъ ей самыя почтительныя любезности, на-перерывъ другъ передъ другомъ стремятся заявить свою глубокую преданность, или при случаѣ — пылкую любовь, но при всемъ томъ живутъ между собою довольно мирно, благодаря своему спокойному, лѣнивому характеру и отсутствію того смертоноснаго жала, которымъ вооружены рабочія пчелы.

Королева не остается нечувствительною къ этимъ чистосердечнымъ изъявленіямъ чувства; сердце — не камень; къ тому же ей предстоитъ важная задача — произвести изъ себя все будущее поколѣніе своего народа, и она съ благороднымъ усердіемъ принимается за работу. Ея сотрудниками въ служеніи обществу являются сотенъ шесть трутней, и благодаря ихъ добросо-

вѣстному содѣйствію, королева въ день кладетъ до 200 яицъ, а въ полтора или въ два мѣсяца успѣваетъ снести до 12.000 яицъ. Утромъ, когда лѣнивые трутни еще спятъ, а рабочія уже вылетѣли на работу, королева выходитъ изъ своей клѣтки въ сопровожденіи десяти или двѣнадцати прислужницъ изъ рабочихъ. «Важно, говоритъ Окенъ, проходитъ она мимо наполненныхъ ячеекъ и останавливается, какъ только ея спутницы указываютъ ей на пустую клѣточку; сперва она опускаетъ въ нее головку, чтобы убѣдиться въ правильномъ ея устройствѣ; потомъ оборачивается задомъ — и въ эту рѣшительную минуту спутницы собираются вокругъ нея сплошной массой, чтобы скрыть ее отъ любопытныхъ глазъ. Если въ это мгновеніе королева замѣтитъ, что на нее смотритъ откуда-нибудь натуралистъ, она пройдетъ мимо клѣточки, не положивши яйца, и окажется глубоко оскорбленною въ своей женской стыдливости; если же все вокругъ нея тихо и темно, она опускаетъ въ клѣточку заднюю часть своего тѣла, и на днѣ клѣточки появляется вслѣдъ затѣмъ бѣлое продолговатое яичко». Королева кладетъ такимъ образомъ яичекъ пять, и потомъ нѣсколько минутъ отдыхаетъ; ее окружаютъ усердныя прислужницы, облизываютъ все ея тѣло, обчищаютъ крылья и наконецъ подносятъ ей на кончикѣ хоботка капельку отличнѣйшаго меда.

Черезъ три дня изъ яичекъ выползаютъ маленькіе бѣлые червячки или личинки, съ твердой, продолговатой головкой, но безъ ногъ; эти новорожденныя существа рѣшительно неспособны заботиться о себѣ, и рабочія пчелы совершенно принимаютъ ихъ на свое попеченіе, потому что ни королева, ни трутни не обращаютъ на нихъ никакого вниманія. Кормилицы изъ рабочихъ пчелъ готовятъ изъ цвѣточной пыли съ медомъ кашицу, и этой кашицей кормятъ личинокъ, соблюдая при этомъ значительное различіе между той пищей, которую онѣ подносятъ будущимъ пролетаріямъ, и той, которую онѣ предлагаютъ будущимъ королевамъ и благороднымъ трутнямъ. Личинки рабочихъ пчелъ кормятся въ продолженіе пяти дней, а личинки трутней немного дольше. По окончаніи этого срока, кормилицы залѣпливаютъ клѣточки воскомъ, и личинка начинаетъ превращаться въ куколку, т. е. строитъ себѣ кокопъ изъ тонкихъ шелковидныхъ нитей. Внутри кокона совершается развитіе полнаго насѣкомаго, и по окончаніи этого развитія пчела выходитъ изъ своего заточенія, разрываетъ коконъ, прогрызаетъ восковую крышечку и выходитъ на свѣтъ божій въ видѣ пролетарія, трутня или королевы.

Развитіе трутня съ той минуты, когда снесено яйцо, до того времени, какъ онъ выходитъ изъ кокона, продолжается 24 дня; развитіе рабочей пчелы—20 дней, а королева уже черезъ 16 дней можетъ принять на себя государственныя заботы и считаться совершеннолѣтней и полноправною. Дѣло въ томъ, что королева у пчелъ нуждается въ меньшей степени физическаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и умственнаго развитія, чѣмъ рабочая пчела. Вся дѣятельность королевы сосредоточена въ половыхъ отправленіяхъ; она не нуждается ни въ силѣ мускуловъ, ни въ мыслительныхъ способностяхъ; ей не надо ни строить сотовъ, ни летать въ дальнія экспедиціи, ни выбирать изъ цвѣтовъ частицъ меда и ароматной пыли; ея дѣло любезничать съ трутнями, не имѣя даже надобности отбивать ихъ у соперницы, и потомъ класть яйца, не заботясь о дальнѣйшей участи своихъ будущихъ потомковъ. Народъ ея самъ отлично знаетъ свое дѣло, и вся государственная машина идетъ полнымъ ходомъ, не нуждаясь въ ея вмѣшательствѣ и даже не допуская этого вмѣшательства. Чтобы занимать почетное мѣсто, не сопряженное ни съ какими обязанностями, чтобы наслаждаться жизнью, не зная, какой цѣной покупаются эти наслажденія, не нужно большого ума—потому не удивительно, если развитіе пчелиной матки или королевы совершается скорѣе, чѣмъ развитіе рабочей пчелы. Личность этой королевы не имѣетъ никакого вліянія на дѣла улья; пчелы уважаютъ въ королевѣ воплощеніе той идеи, которая удерживаетъ ихъ въ гражданскомъ обществѣ и не позволяетъ имъ разсѣяться, но этимъ пчеламъ нѣтъ никакого дѣла до того, будетъ-ли ихъ королева неподвижнымъ яичкомъ, лишеннымъ сознанія, или царственной личинкой, или спящей куколкой. Еслибы внезапная смерть прервала государственныя заботы взрослой королевы, то населеніе улья не пришло бы въ замѣшательство; пролетаріи, составляющіе дѣйствительную силу пчелинаго общества, знаютъ, что въ яичкахъ или въ коконахъ есть формирующіяся королевы, и, успокоенные насчетъ будущности улья, продолжаютъ свои работы, какъ будто бы не случилось ничего особеннаго.

Но спрашивается, почему же трутни, которыхъ дѣятельность такъ же ограничена, какъ дѣятельность королевы, которыхъ умственныя способности отличаются крайнимъ ничтожествомъ, почему, спрашивается, трутни развиваются такъ долго? Фохтъ объясняетъ это физической вялостью, свойственной природѣ трутней; вѣчно праздные, лишенные способности работать и заботиться о чемъ бы то ни было, трутни даже развиваются медленнѣе и лѣнивѣе другихъ пчелъ; даже въ зародыши трутней проникаетъ та барственная неповоротливость и флегматичность, которой отличается во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ привилегированное сословіе пчелинаго государства.

IV.

У пчелъ нѣтъ постояннаго войска: всякій пролетарій постоянно имѣетъ при себѣ оружіе

и умѣетъ владѣть имъ; каждый солдатъ этой національной гвардіи воодушевленъ патріотическимъ чувствомъ, выражающимся въ самой пламенной ненависти къ шмелямъ, осамъ и даже пчеламъ другихъ ульевъ; если въ улей вздумаетъ влетѣть какой-нибудь неосторожный или дерзкій иноплеменникъ, то ему придется очень плохо: на него бросятся сотни рабочихъ пчелъ, пуская въ ходъ и челюсти, и жало; путешественникъ будетъ непремѣнно убитъ, и тѣло его, на страхъ другимъ, будетъ выброшено за предѣлы улья. Въ одномъ ульѣ бываетъ до 20,000 рабочихъ пчелъ, и не смотря на то, пчелы не ошибаются и не принимаютъ въ свое общество гражданина другого улья. Обмѣнивается ли влетающая пчела условленными знаками съ тѣми пчелами, которыя сторожатъ входъ въ улей — рѣшить мудрено, но достовѣрно то, что обитатели двухъ сосѣднихъ ульевъ не могутъ посѣщать другъ друга, и что каждый улей съ чисто-китайскимъ упорствомъ ограждаетъ свои домашнія дѣла отъ постороннихъ взоровъ. Но есть средство уничтожить родовую ненависть между пчелами разныхъ ульевъ; стоитъ только побросать ихъ всѣхъ въ воду; пчелы ошалѣютъ и потеряютъ сознаніе; послѣ этого ихъ вылавливаютъ и кладутъ на солнце. Мало по малу онѣ обсыхаютъ и приходятъ въ себя; утопленники начинаютъ двигаться, расправляютъ лапки и крылья, потягиваются и стараются помочь своими заботами товарищамъ, еще не проснувшимся изъ продолжительной летаргіи. Послѣ этого общаго несчастія національная вражда оказывается забытою, и пчелы двухъ ульевъ могутъ быть посажены въ одно помѣщеніе и общими силами приняться за построеніе сотовъ и воспитываніе молодого поколѣнія.

Сколько намъ извѣстно, вода является лекарствомъ противъ національныхъ антипатій только у пчелъ; подѣйствуетъ ли она такимъ же чудеснымъ образомъ на гражданъ двухъ враждующихъ государствъ, этого нельзя сказать навѣрное, по недостатку положительныхъ опытовъ. Не мѣшаетъ при этомъ замѣтить, что и на пчелъ вода окажетъ свое благодѣтельное дѣйствіе только въ томъ случаѣ, если королева одного изъ ульевъ будетъ убита; если же обѣ королевы вмѣстѣ будутъ брошены въ воду, то онѣ начнутъ враждовать между собою тотчасъ послѣ того, какъ къ нимъ возвратится сознаніе; къ каждой изъ нихъ пристанетъ толпа рабочихъ, и сильнѣйшая партія выгонитъ слабѣйшую изъ улья; послѣ этой схватки прежняя вражда возобновится съ новой силой, впредь до новаго купанья. Нѣмцы въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ похожи на пчелъ; въ Германіи, у себя дома, они большею частью поддерживаютъ мелкіе, мѣстные интересы отдѣльныхъ государствъ. Уроженцы Баваріи, Виртемберга, Бадена, Ганновера, какого-нибудь Липпе-Шаумбурга или Гогенцоллернъ-Зигмарингена смотрятъ другъ на друга какъ на иностранцевъ и толкуютъ, каждый для себя и про себя, объ отдѣльной родинѣ и о своемъ особенномъ патріотизмѣ; но тѣ же граждане различныхъ нѣмецкихъ ульевъ ѣдутъ за море, поселяются въ Американскихъ Штатахъ, и тутъ, по единству языка, привычекъ и воззрѣній, начинаютъ замѣчать, что между ними много общаго, что всѣ они — нѣмцы и могутъ симпатизировать другъ другу, не обращая никакого вниманія на разныя территоріальныя недоразумѣнія и династическія соперничества. Переѣздъ черезъ Атлантическій океанъ замѣняетъ, какъ видите, благодѣтельное купанье пчелъ.

Главная и почти единственная цѣль дѣятельности у рабочихъ пчелъ заключается въ воспитаніи молодого поколѣнія. Ихъ уваженіе къ ничтожной личности королевы и ихъ терпимость къ праздной прожорливости трутней объясняется тѣмъ, что въ королевѣ они видятъ единственную свою надежду, будущую мать всего потомства, а на трутней смотрятъ, какъ на ея необходимыхъ сотрудниковъ и слѣдовательно какъ на неизбѣжное зло, безъ котораго не можетъ держаться ихъ государственная система. Личность кормилицъ, выбранныхъ изъ рабочихъ пчелъ, находится въ почетѣ; кормилицы избавлены отъ обязанности вылетать изъ улья и добывать себѣ пропитаніе; ихъ кормитъ государство; ихъ уважаютъ и лелѣютъ, несмотря на ихъ физическую хилость и слабость, другія пчелы. Если мы посмотримъ на общество людей, если мы предложимъ себѣ вопросъ о значеніи педагога въ государствѣ, въ обществѣ и семействѣ, то намъ придется сознаться, что пчелы лучше насъ понимаютъ важность воспитанія. Но намъ тоже не слѣдуетъ слишкомъ увлекаться добродѣтелями пчелъ; представьте себѣ, что вы живете на бѣломъ свѣтѣ только затѣмъ, чтобы воспитывать вашего сына, вашъ сынъ живетъ только затѣмъ, чтобы воспитывать вашего внука и т. д., каждое отдѣльное поколѣніе сначала готовится къ жизни, потомъ готовитъ къ ней другихъ, а жить то когда-же? И для чего же готовить другихъ къ тому, чѣмъ имъ не придется пользоваться? Пчелы очень хорошо поступаютъ, обращая свое заботливое вниманіе на благоденствіе молодого поколѣнія, но кастрировать себя во имя своего потомства, для того чтобы это потомство въ свою очередь ископляло себя для будущаго поколѣнія — это, воля ваша, безобразно, и въ этомъ отношеніи мы все таки не такъ глупы, какъ пчелы. Всего смѣшнѣе въ жизни пчелъ то, что онѣ вѣроятно полагаютъ, будто ихъ самоотверженіе велико и возвышенно, будто онѣ жертвуютъ собой, чтобы доставить всѣмъ другимъ счастье и наслажденіе, а на самомъ дѣлѣ выходитъ, что ихъ трудами и страданіями пользуются только трутни да матка, т. е. самая безполезная, пустая и недобросо-

вѣстная часть ихъ общества. Кажется, идеализмъ и пустое доктринерство, расходящіеся съ жизнью, являются сильно распространенными болѣзнями, и человѣкъ, считающій эти болѣзни величайшей привилегіей своей породы, можетъ и долженъ признать ихъ существованіе даже въ мелкихъ насѣкомыхъ. Вѣроятно и пчела, подобно Платону и Гегелю, строитъ свою систему міра, въ которой она является центромъ всего движущагося и живущаго, а между тѣмъ, тратя время на эти серьезныя забавы и уносясь въ необъятныя сферы чистаго мышленія, она, подобно этимъ свѣтиламъ бѣднаго человѣчества, не замѣчаетъ или не хочетъ замѣтить того, что у нея крадутъ трудомъ добытый медъ и систематически уродуютъ половые органы. Когда ей случается замѣтить свою ошибку, она круто повертываетъ дѣло, но идеализмъ или, что̀ тоже, безтолковость берутъ свое, и послѣ нѣкоторыхъ волненій пчелиный міръ улегается въ прежнюю колею и застываетъ въ прежнихъ рамкахъ.

V.

Королева пчелинаго царства чрезвычайно добродушна и кротка, когда она одна живетъ въ ульѣ, т. е. когда у нея нѣтъ и не предвидится соперницы. Женственная мягкость ея выражается въ дружелюбныхъ отношеніяхъ къ трутнямъ, и въ спокойномъ величіи, съ которымъ она принимаетъ отъ послѣдняго изъ пролетаріевъ изъявленія преданности, выражающіяся въ капелькахъ меда. Добродушіе королевы не измѣняетъ ей даже тогда, когда она входитъ въ соприкосновеніе съ злѣйшимъ эксплоататоромъ пчелинаго міра, съ человѣкомъ. Королеву можно смѣло брать въ руки, гладить и ласкать, не боясь ея жала; основываясь на этомъ обстоятельствѣ, старинные изслѣдователи полагали даже, что у королевы вовсе нѣтъ жала, и что она, какъ царственная особа, предоставляетъ своимъ подданнымъ отражать внѣшнихъ враговъ и наказывать нарушителей общественнаго спокойствія. Такъ и бываетъ дѣйствительно въ большей части случаевъ, но въ жизни королевы есть и такія минуты, въ которыя страсть побѣждаетъ требованія этикета, заглушаетъ голосъ нравственнаго чувства и превращаетъ кроткое, величественно-спокойное и женственно-нѣжное созданіе въ какую-то леди Макбетъ, въ Медею, вообще въ нѣчто подобное тѣмъ образамъ, которые, повидимому, можно выкроить только изъ глубоко-развращенной природы человѣка. Бѣда, если королева начинаетъ бояться за свое господство, бѣда, если она видитъ или предчувствуетъ соперницу. Двѣ королевы, какъ два солнца, не совмѣстимы на одномъ горизонтѣ; онѣ ненавидятъ другъ друга, какъ властолюбивыя повелительницы и какъ кокетливыя женщины; каждая изъ нихъ любитъ въ своемъ положеніи два выдающіеся момента: преданность пролетаріевъ и рыцарскую любезность лордовъ-трутней; и пролетаріи и трутни должны принадлежать королевѣ безраздѣльно; первые составляютъ матеріальную опору ея владычества, вторые образуютъ ея гаремъ, въ который она бросаетъ платокъ то тому, то другому счастливцу.

Все идетъ такимъ образомъ спокойно, ко взаимному удовольствію подданныхъ и повелительницъ, пролетаріевъ и лордовъ, но вдругъ получается въ палатахъ королевы извѣстіе, которое болѣе или менѣе поражаетъ и обезпокоиваетъ всѣхъ; въ извѣстіи этомъ нѣтъ ничего неожиданнаго, но, не смотря на то, оно всегда производитъ сильное впечатлѣніе. Дѣло въ томъ, что одна изъ куколокъ превращается въ пчелу-королеву и прогрызаетъ восковую крышечку своей клѣтки; рабочая пчела, приставленная къ этой клѣткѣ, доноситъ объ этомъ событіи куда слѣдуетъ, и извѣстіе это съ быстротою молніи распространяется въ самые отдаленные углы пчелинаго царства. Начинаются толки и разсужденія. Молодыя, неопытныя пчелы обнаруживаютъ только любопытство и тревожную радость, старые пролетаріи, видѣвшіе на своемъ вѣку горе и радость, государственные перевороты и сцены грубаго насилія, выжидаютъ, что-то будетъ, и совѣщаются между собою, не зная на что рѣшиться; между старою и молодою королевою непремѣнно произойдетъ столкновеніе; кто же одержитъ побѣду? и за кого же имъ самимъ вступиться? За ту ли повелительницу, которой они служили съ такимъ постояннымъ усердіемъ, и отъ которой они получали въ награду такіе благосклонные взоры, или за то молодое созданіе, которое выросло на ихъ рукахъ, выкормлено ихъ заботами, взлелѣяно ихъ любовью? Пока добрыя рабочія пчелы раздумываютъ и недоумѣваютъ, старая королева быстро рѣшается дѣйствовать. Въ сопровожденіи своихъ прислужницъ и трутней она поспѣшно подходитъ къ той клѣткѣ, вокругъ которой уже собралась толпа рабочихъ, ожидающихъ съ благоговѣйнымъ нетерпѣніемъ разрѣшенія грозной задачи. Не любовь къ рождающейся дочери приводитъ старую королеву къ ея колыбели; она подходитъ, видя въ дочери своей опасную соперницу; въ ней говоритъ ревность женщины и властолюбивой повелительницы; раздраженіе ея выражается въ ускоренной походкѣ, въ рѣзкихъ жестахъ, въ невниманіи, съ которымъ она проходитъ мимо группъ, собравшихся вокругъ роковой клѣточки. Рабочія пчелы предчувствуютъ, что готовится что-то недоброе; молодые пролетаріи, сверстники молодой королевы, инстинктивно толпятся ближе къ ея жилищу и стараются загородить ея матери доступъ къ только-что развившемуся существу. Старуха

хочетъ пройти мимо ихъ: они ее не пускаютъ; если ей удается преодолѣть ихъ сопротивленіе, она подходитъ къ самой клѣткѣ, запускаетъ въ нее свое жало и убиваетъ дочь свою, еще не успѣвшую взглянуть на бѣлый свѣтъ и насладиться полною жизнью. Но въ большей части случаевъ сила бываетъ на сторонѣ добродушныхъ рабочихъ; они успѣваютъ удержать расходившуюся королеву, и разгнѣванная повелительница, въ безсильномъ отчаяніи не зная что дѣлать, не слушая увѣщаній, считая свое господство навсегда потеряннымъ, начинаетъ безъ опредѣленной цѣли бѣгать по улью.

Дѣло кончается тѣмъ, что королева-мать, вмѣстѣ съ вѣрными своими сподвижницами и съ любимыми трутнями, покидаетъ улей и летитъ искать счастья въ голубую даль, въ какое-нибудь естественное дупло или въ искусственный улей. А между тѣмъ молодая королева выходитъ изъ своей клѣточки во всей обаятельной свѣжести первой молодости, не зная даже, отъ какой опасности избавили ее самоотверженіе и преданность добродушныхъ работниковъ. Ее окружаютъ оставшіяся вокругъ нея пчелы, и первымъ впечатлѣніемъ ея является въ пчелиной жизни упоеніе торжествомъ и властью, для пріобрѣтенія которыхъ она не сдѣлала сама ни одного движенія.—Она оглядывается вокругъ себя, видитъ свое превосходство надъ окружающими ее лордами и пролетаріями, и тревожно спрашиваетъ себя, одна ли она будетъ пользоваться тѣмъ блескомъ власти и почета, который окружилъ ее съ первой минуты ея сознательной жизни; въ молодой королевѣ съ изумительной быстротою зарождаются и развиваются тѣ самые инстинкты, которые побуждали королеву-мать къ покушенію на жизнь дочери и потомъ принудили ее выселиться изъ улья со своими приверженцами; молодая королева осматриваетъ всѣ свои владѣнія, подходитъ ко всѣмъ клѣточкамъ, въ которыхъ развиваются ея младшія сестры, прокалываетъ ихъ своимъ ядовитымъ жаломъ и убиваетъ такимъ образомъ всѣхъ будущихъ королевъ, чтобы не видать соперницы, и ни съ кѣмъ не раздѣлять господства. Иногда случается, что двѣ молодыя королевы разомъ выходятъ изъ своихъ клѣточекъ: тогда старая королева уже не пытается убить своихъ преемницъ; она тотчасъ же собираетъ вокругъ себя горсть преданныхъ ветерановъ и любимыхъ лордовъ-трутней и съ ними улетаетъ на новое мѣсто жительства. Что же касается до молодыхъ королевъ,—то онѣ конечно не могутъ ужиться вмѣстѣ; узы крови не имѣютъ никакого значенія, когда дѣло идетъ о господствѣ; одна изъ двухъ должна погибнуть, потому что ни одна изъ нихъ не рѣшится уступить добровольно и основать новую колонію: ни рабочія, ни трутни не принимаютъ участія въ борьбѣ между двумя королевами; споръ за господство, интересующій только двѣ личности, рѣшается между ними поединкомъ, въ которомъ никто не проситъ и не даетъ пощады. Соперницы подходятъ другъ къ другу, схватываются между собою челюстями, стараются повредить другъ другу шею, голову или ноги; обѣ машутъ крыльями, чтобы оглушить противника; обѣ сталкиваются между собою головами, сплетаются ножками и ищутъ удобнаго случая, чтобы пронзить врага ядовитымъ жаломъ. Онѣ цѣлятъ въ промежутки, находящіеся между роговидными пластинками, которыми защищены грудь и животъ; шея, связка между грудью и заднею частью тѣла также легко могутъ быть проколоты, и во всѣ эти части сражающіяся пчелы направляютъ свои удары. Наконецъ поединокъ оканчивается трагическимъ образомъ, смертоносное орудіе попадаетъ вѣрно; раненая королева падаетъ; агонія продолжается недолго, и счастливая побѣдительница глумится, въ порывѣ гордой радости, надъ трупомъ убитой сестры. Теперь она одна—повелительница улья; рабочія окружаютъ ее, признаютъ ея господство, но сочувствіе ихъ оказывается въ началѣ довольно слабымъ. Дѣло въ томъ, что молодая королева совершила рядъ преступленій, и до сихъ поръ ничѣмъ не заявила своихъ достоинствъ. Рабочія видѣли, съ какою жестокою послѣдовательностью она истребила въ самой колыбели своихъ предполагаемыхъ соперницъ, тѣхъ самыхъ невинныхъ дѣтей, которыхъ онѣ, рабочія, лелѣяли и кормили; рабочія видѣли, какъ неумолима была королева въ поединкѣ съ своей ровесницею-сестрой; все это совершалось на ихъ глазахъ, но до сихъ поръ еще никто изъ нихъ не можетъ судить о той степени пользы, которую молодая королева можетъ принести ихъ улью. Ея кротость, ея правосудіе, а главное, ея плодовитость до сихъ поръ оставались рѣшительно неизвѣстны рабочимъ. Поэтому какое-то мучительное сомнѣніе сковываетъ порывъ ихъ усердія, и онѣ кланяются новой королевѣ какимъ-то холоднымъ и сдержаннымъ поклономъ, въ которомъ слышится невысказанный вопросъ: что-то будетъ?

Но лорды-трутни чужды сомнѣній; имъ нѣтъ дѣла до процвѣтанія улья; они видятъ только личность королевы, и когда споры по престолонаслѣдію оказываются рѣшенными, другъ передъ другомъ стараются заявить свою глубокую преданность. Они оглушаютъ ее льстивымъ жужжаніемъ, лижутъ ей спину, голову и ноги, обчищаютъ ей своими щеточками крылья и щупальца, разговариваютъ съ ней на оживленномъ мимическомъ языкѣ, словомъ, выказываютъ несвойственную имъ въ обыкновенное время развязность, предпріимчивость и энергію. Королевѣ на первыхъ порахъ кажется очень страннымъ весь этотъ придворный балетъ. Подобно дѣвственной Елизаветѣ англійской, молодая коро-

лева холодно и даже съ нѣкоторымъ негодованіемъ отвѣчаетъ на страстныя и часто слишкомъ смѣлыя любезности придворныхъ трутней. Иногда ей приходитъ въ голову пустить въ ходъ ядовитое жало, чтобъ разогнать всю эту блестящую толпу навязчивыхъ ласкателей и любезниковъ. Но, какъ извѣстно, жизнь постепенно расшевеливаетъ насъ; просыпаются страсти одна за другою; вслѣдъ за властолюбіемъ, выразившимся въ молодой королевѣ рядомъ кровавыхъ подвиговъ, пробуждается чувственность; страстныя ласки трутней воспитываютъ и укрѣпляютъ ее; дѣвушка превращается въ женщину; существо неопытное, робкое и стыдливое начинаетъ предчувствовать ту полноту нервнаго наслажденія, которую можно вынести изъ жизни; трутни окружаютъ ее неотступными просьбами, то робко-почтительными, то страстно восторженными. Сердце—не камень; королева склоняется, назначаетъ придворный праздникъ и, окруженная радостно-шумящей толпой трутней, вылетаетъ изъ улья порѣзвиться на чистомъ воздухѣ, среди душистыхъ цвѣтовъ, на окрестныхъ полянахъ, лугахъ и равнинахъ. Елизавета находитъ своего Лейстера.

Что происходитъ на придворныхъ банкетахъ и пикникахъ пчелинаго королевства—на этотъ вопросъ не отвѣтитъ вамъ ни одинъ натуралистъ. Услѣдить за нѣсколькими десятками пчелъ, вылетѣвшими изъ улья съ цѣлью потѣшиться и порѣзвиться, нѣтъ никакой возможности. Сердечныя тайны королевы непроницаемы для глазъ обыкновеннаго смертнаго; вѣнчики цвѣтовъ, среди которыхъ пировали трутни вмѣстѣ съ молодой королевой, хранятъ такое же глубокое молчаніе, какъ старыя вѣковыя деревья версальскаго parc-aux-cerfs. Надо полагать, что королева на этихъ пиршествахъ наслаждается въ волю, потому что въ улей она возвращается утомленная, измятая, запыленная. Одинъ ли трутень пользуется ея полнымъ расположеніемъ, или многіе счастливцы раздѣляютъ между собою эту величайшую честь, это остается неизвѣстнымъ, какъ для человѣка, такъ и для массы гражданъ пчелинаго королевства. Граждане объ этомъ впрочемъ и не заботятся; на трутней они по-прежнему обращаютъ очень мало вниманія, но королеву окружаютъ самыми нѣжными и почтительными ласками. Въ личномъ характерѣ королевы они конечно не могли покуда замѣтить ничего особенно утѣшительнаго. Жестокость, обнаруженная ею при избіеніи будущихъ соперницъ своихъ, уступила мѣсто необузданнымъ порывамъ чувственности. Считается ли чувственность великимъ достоинствомъ въ нравственномъ кодексѣ пчелъ—не знаю; достовѣрно извѣстно то, что это достоинство очень рѣдкое, потому что на 20,000 самокъ, составляющихъ главную массу населенія въ ульѣ, приходится только одна самка, вмѣщающая въ себѣ это достоинство, и именно эта самка составляетъ собою тотъ центръ, отъ котораго исходитъ и къ которому возвращается вся дѣятельность улья.

Пчелы очевидно обожаютъ производительную силу природы; въ этомъ отношеніи онѣ сходятся съ древними народами передней Азіи; королева улья для нихъ то же самое, чѣмъ была для вавилонянъ и ассиріянъ богиня Астарта, представительница женскаго производительнаго начала. Культъ пчелъ обращенъ впрочемъ не на фантастическій образъ, облекающій собой отвлеченную идею, а на дѣйствительно существующее лицо; этотъ культъ для нихъ тѣсно связывается съ идеей государства и обусловливаетъ собою то общественное устройство, которое онѣ, по своей неразвитости, считаютъ необходимымъ для своего благосостоянія. Ихъ королева—что-то вродѣ Далай-Ламы; она считается предметомъ первой необходимости; личность ея священна и неприкосновенна; каждый изъ ея подданныхъ, бѣднѣйшій изъ пролетаріевъ, считаетъ для себя священнѣйшей обязанностью и величайшимъ наслажденіемъ сдѣлать ей жертвоприношеніе, т. е., возвращаясь въ улей съ полевыхъ работъ, поднести ей капельку чистѣйшаго, сладчайшаго меда. Тутъ дѣйствуетъ не разсчетъ, не желаніе выслужиться, а простодушное, наивное религіозное чувство. Пролетарій смотритъ на свою королеву, какъ на высшее существо, и дѣйствительно, онъ имѣетъ на это полное основаніе. Королева каждый день, на его глазахъ, творитъ такія чудеса, передъ которыми поневолѣ замолчитъ самое упорное сомнѣніе; она каждый день несетъ яйца, т. е. во-очію совершаетъ такія дѣянія, на которыя ни одинъ изъ многочисленныхъ обитателей улья не чувствуетъ себя способнымъ. Каждый день она производитъ на свѣтъ почти до 200 подобныхъ себѣ существъ, и такъ продолжается не недѣлю, не двѣ недѣли, а цѣлыхъ два мѣсяца. Королева творитъ, а пролетаріи только работаютъ; какъ же послѣ этого пролетаріямъ не повергуться во прахъ и не сознать все ея величіе и все свое ничтожество.

Никакой скептицизмъ не устоитъ противъ такихъ очевидныхъ и такъ постоянно повторяющихся доказательствъ; скептиковъ дѣйствительно въ пчелиномъ королевствѣ не бываетъ, да и въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ терпѣть въ благоустроенномъ обществѣ такихъ безпокойныхъ и неблагонамѣренныхъ людей. Когда королева возвращается въ улей послѣ перваго своего пикника, пролетаріи начинаютъ вѣровать въ нее; они предчувствуютъ великія событія, которыя должны совершиться вслѣдствіе этой отлучки; они знаютъ, что въ скоромъ времени королева начнетъ заботиться о приращеніи народонаселенія, и на этомъ основаніи, видя въ ней будущую мать молодого поколѣнія, начинаютъ заботиться о ея здоровьѣ и спокойствіи, начинаютъ

изъявлять ей самое искреннее уваженіе и самое трогательное, хотя въ высшей степени почтительное сочувствіе. Работники толпятся вокругъ нея, съ торжествомъ посятъ ее по улью, лижутъ, чистятъ ее щеточками, кормятъ ее съ хоботковъ и возвѣщаютъ всѣмъ радостную новость: «владычица изволила сочетаться бракомъ съ однимъ изъ благородныхъ лордовъ». Эпитетъ *законный* не присоединяется къ существительному *бракъ*, потому что у пчелъ всякій совершившійся бракъ считается естественнымъ и слѣдовательно законнымъ. Имя счастливаго избранника или счастливыхъ избранниковъ также умалчивается; имъ никто не интересуется; пчелы служатъ дѣлу, а не лицамъ; для нихъ важенъ самый фактъ, а не обстановка.

Обыкновенный ходъ дѣла въ ульѣ ровный, покойный и правильный, какъ движеніе часового механизма, нарушается иногда непріятными случайностями. Королева, несмотря на свое исключительное положеніе, несмотря на чудотворную силу, дарованную ей отъ всещедрой природы, подвержена тѣмъ же законамъ, которымъ покоряемся всѣ мы, простые смертные. Она можетъ, подобно ничтожнѣйшему изъ своихъ подданныхъ, захворать, умереть, оставить въ безпомощномъ положеніи свой улей въ ту самую минуту, когда онъ всего болѣе нуждается въ ея общеполезныхъ трудахъ. Ее можетъ прихлопнуть ладонью или хлопушкой какой-нибудь шаловливый мальчишка, которому и въ голову не придетъ подумать, что онъ готовитъ для цѣлаго народа, или по крайней мѣрѣ для цѣлаго города всѣ ужасы междуцарствія. Когда умираетъ королева, уже успѣвшая снести такія яички, изъ которыхъ выдутъ со временемъ новыя королевы, то никакихъ ужасовъ не бываетъ, все идетъ прежнимъ порядкомъ; вездѣ кипитъ прежняя дѣятельность, и номинальною королевой считается старшее яичко, старшій червячекъ, или старшая куколка; эта номинальная королева обыкновенно дѣлается дѣйствительной королевой, потому что, развившись раньше своихъ младшихъ сестеръ, она успѣваетъ всѣхъ ихъ перерѣзать и слѣдовательно прибираетъ къ рукамъ весь улей. Нельзя даже сказать, чтобы пчеламъ приходилось особенно плохо въ то время, когда королевою числится яичко или куколка; ни яичко, ни куколка не требуютъ корма, и слѣдовательно общественные расходы очевидно сокращаются; рабочія, возвращающіяся въ улей, по необходимости оставляютъ для самихъ себя тѣ лучшія капельки меда, которыя онѣ въ обыкновенное время, въ припадкѣ благоговѣйнаго усердія, несутъ своей повелительницѣ; слѣдовательно, рабочія очевидно не оказываются въ убыткѣ. Но усердіе ихъ сильнѣе разсчета и голоса здраваго смысла; онѣ ждутъ появленія новой королевы съ великимъ нетерпѣніемъ и привѣтствуютъ ее самымъ радостнымъ жужжаньемъ.

Если королева умретъ въ тотъ періодъ, когда она кладетъ только такія яички, изъ которыхъ вылупятся рабочія личинки, то весь улей приходитъ въ смятеніе. Надо во что бы то ни стало спасти монархическій и религіозный принципъ: внѣ принятыхъ издавна нормъ, освященныхъ тысячелѣтнимъ своимъ существованіемъ, пчелы не понимаютъ жизни и не видятъ спасенія. Королевы нѣтъ, замѣнить ее некому, что же дѣлать? Остается только попробовать, нельзя ли тщательнымъ уходомъ, отборной пищей и усиленными неусыпными заботами облагородить плебейскую натуру простыхъ яичекъ, нельзя ли развить въ будущихъ личинкахъ ту чудотворную силу, которая творитъ себѣ подобныя существа, и которую обожали въ прежней своей королевѣ простодушные обитатели улья? Тотчасъ же въ ульѣ начинается самая тревожная дѣятельность. Рядомъ съ тѣми клѣточками, гдѣ лежитъ счастливое яичко, долженствующее обратиться въ королеву, ломаютъ стѣны и расчищаютъ мѣсто; устраивается обширное жилище, и личинка, вылупившаяся изъ яичка, начинаетъ наслаждаться тѣмъ комфортомъ, просторомъ и чистотой, которые совершенно необходимы для нормальнаго развитія половыхъ органовъ. Чтобы совершенно оградить себя отъ всякихъ случайностей, чтобы смерть избранной личинки не могла повести къ новому междуцарствію, рабочія поступаютъ такимъ образомъ съ нѣсколькими яичками, такъ что въ одно время готовится нѣсколько королевъ, которыя потомъ съ оружіемъ въ рукахъ будутъ оспаривать другъ у друга господство надъ ульемъ.

Междоусобія не опасны для улья потому, что дѣло рѣшается поединкомъ, въ которомъ рабочія и трутни не принимаютъ никакого участія. Какъ только изъ куколки вылупится королева, которой въ началѣ суждено было быть простой рабочей пчелой, такъ она тотчасъ же начинаетъ обнаруживать наклонности, отличавшія собою ея предшественницъ; она точно такъ же схватывается на жизнь и смерть съ соперницей, если таковая окажется, и точно такъ же истребляетъ въ зародышѣ все то, что можетъ сдѣлаться опаснымъ для ея неограниченнаго господства. Потомъ она точно такъ же принимаетъ любезности трутней, устраиваетъ пикникъ, вступаетъ въ брачныя отношенія, и жизнь улья катится прежнимъ порядкомъ.

Пчелы какъ-то инстинктивно понимаютъ всю важность матеріальныхъ условій; чтобы развить въ молодомъ существѣ извѣстныя наклонности, чтобы утвердить въ немъ такія свойства, которыя ему придется прикладывать къ дѣлу въ теченіе всей своей жизни — онѣ начинаютъ кормить его извѣстною пищей, отводятъ ему просторное помѣщеніе, заботятся о его чистотѣ — и цѣль достигается вполнѣ: изъ скромнаго, трудолюбиваго, безстрастнаго и добродушнаго пролетарія дѣлается гордая, властолюбивая, жесто-

кая къ своимъ соперницамъ королева, совершенно неспособная работать, но зато чрезвычайно плодовитая и въ высшей степени расположенная къ чувственнымъ наслажденіямъ. При своемъ трезвомъ міросозерцаніи, пчелы могли бы сдѣлать великія открытія въ области естественныхъ наукъ, но къ сожалѣнію забота о насущномъ хлѣбѣ поглощаетъ всѣ живыя силы мыслящей части пчелинаго народа; у пчелъ нѣтъ ни сословія ученыхъ, ни академій, ни университетовъ; у нихъ нѣтъ даже самыхъ выводовъ изъ тѣхъ фактовъ, которые находятся постоянно передъ ихъ глазами; онѣ не умѣютъ напримѣръ разсуждать такимъ образомъ: вѣдь рабочая личинка можетъ превратиться въ королеву, если я буду кормить ее хорошимъ и сытнымъ кормомъ; вѣдь королева—то же самое, что рабочая пчела, только она лучше откормлена и полнѣе развита; отчего же не кормить всѣхъ одинаково, чтобы всѣ могли въ равной мѣрѣ пользоваться жизнью и производить дѣтей? До этого простого разсужденія пчела никакъ не умѣетъ дойти, вѣроятно потому, что спѣшная работа не даетъ ей времени пофилософствовать. «Le travail est un frein», говорилъ Гизо въ 30-хъ годахъ нашего столѣтія, и вѣроятно его изреченіе, которое онъ великодушно примѣнялъ къ французскимъ ремесленникамъ, можетъ быть приложено не только къ людямъ, но и къ насѣкомымъ. Задавленные работой, которая не даетъ имъ ни отдыха, ни срока, съ самой минуты ихъ рожденія, пролетаріи пчелинаго королевства не составляютъ соціальныхъ теорій, не задумываются о смыслѣ жизни, и бытовыя формы улья остаются неизмѣнными, незыблемыми и неподвижными. Движенія мысли нѣтъ; постояннаго прогресса незамѣтно; ни одинъ обычай, ни одно учрежденіе не оказывается устарѣлымъ и не замѣняется новымъ. Но спокойствіе въ ульѣ сохраняется только тогда, когда припасовъ достаточно, когда кругомъ улья лежатъ цвѣтущіе луга, на которыхъ тысячи пчелъ могутъ находить себѣ ежедневно обильную добычу. Какъ только наступаетъ дождливая осень, какъ только полевые цвѣты завянутъ и осыплются, такъ обитатели улья начинаютъ чувствовать безпокойство; являются экономическія недоразумѣнія; трутни сталкиваются въ своихъ интересахъ съ пролетаріями, и это столкновеніе ведетъ къ страшнымъ кровавымъ результатамъ, ясно показывающимъ несостоятельность той конституціи, которою управляются пчелы.

VI.

Не мѣшаетъ замѣтить, что запасы меда, собранные въ ульѣ, принадлежатъ рабочимъ пчеламъ, которыя горой стоятъ за свою собственность и не позволяютъ кому бы то ни было завладѣвать ихъ экономическими суммами. На это никто и не рѣшается, покуда окрестные луга покрыты цвѣтами; трутни отправляются завтракать и обѣдать за предѣлы улья; но съ наступленіемъ осени такого рода образъ жизни становится невозможнымъ; даже рабочія пчелы возвращаются часто въ улей съ пустымъ желудкомъ и не приносятъ на ножкахъ ни меда, ни цвѣточной пыли; благородные трутни, тяжелые на подъемъ и не любящіе дальнихъ отлучекъ изъ родного улья, не находятъ возможности кормиться и, покружившись надъ пожелтѣвшей травой, возвращаются домой голодные и недовольные. Тогда въ ульѣ начинаются волненія, смыслъ которыхъ можно, для большей наглядности, передать въ видѣ совѣщанія и разговоровъ между представителями различныхъ сословій, партій и мнѣній въ ульѣ.

Трутни собираются въ кучки и съ ворчливымъ жужжаньемъ передаютъ другъ другу неутѣшительныя свѣдѣнія о безплодіи окружающихъ луговъ и еще болѣе неутѣшительныя мнѣнія о томъ, что при подобномъ положеніи дѣлъ надо ожидать голодной смерти.

«Мы — привиллегированное сословіе, восклицаетъ одинъ изъ трутней, гордо расправляя крылья. Мы пользуемся отмѣннымъ расположеніемъ нашей милостивой повелительницы. Работники должны заботиться о нашемъ пропитаніи. Это ихъ прямая обязанность; во время лѣтнихъ дней они набрали много меда, и въ этомъ запасѣ мы должны имѣть свою долю. Мы имѣемъ прирожденное право пользоваться общественнымъ достояніемъ. Теперь къ величайшему сожалѣнію мы видимъ, что неразвитая толпа подвергаетъ сомнѣнію наши права. Рабочія пчелы полагаютъ, что запасъ принадлежитъ имъ однѣмъ на томъ основаніи, что онѣ однѣ собирали медъ и складывали его въ клѣточки. Тутъ онѣ явно выворачиваютъ на-изнанку самыя элементарныя основанія логики и права. Эти запасы принадлежатъ обществу, и наше пчелиное государство имѣетъ право распоряжаться ими по своему благоусмотрѣнію, для покрытія своихъ насущныхъ потребностей. А развѣ поддержаніе нашей жизни и нашего благоденствія не можетъ и не должно быть названо насущной потребностью государства? Развѣ можетъ существовать улей безъ трутней, безъ правительственнаго сословія? Запасы принадлежатъ намъ— намъ прежде всего. Обезпечивъ свое существованіе, мы охотно отдадимъ часть нашего излишка голоднымъ бѣднякамъ-рабочимъ, но надо-же намъ сначала утолить свой голодъ и упрочить за собой продовольствіе на будущее время. Пойдемте къ королевѣ; изложимъ ей наши желанія и представимъ на ея разсмотрѣніе предъявляемыя нами права».

Рѣчь предпріимчиваго оратора приходится по душѣ слушателямъ, она соотвѣтствуетъ потребностямъ времени, она разрѣшаетъ удовлетвори-

тельнымъ образомъ страшный вопросъ, поставленный обстоятельствами, вопросъ: ѣсть или не ѣсть? и, вслѣдствіе этого, встрѣчаетъ себѣ единодушное сочувствіе.

Депутаты отъ благороднаго сословія трутней отправляются къ королевѣ, и королева не только не съѣдаетъ ихъ, подобно тому, какъ жители Сандвичевыхъ острововъ съѣли европейскихъ парламентеровъ, но, напротивъ того, обходится съ ними чрезвычайно милостиво и выслушиваетъ съ величайшимъ вниманіемъ ихъ всеподданнѣйшія прошенія. Затѣмъ она отвѣчаетъ имъ въ такомъ духѣ, что господамъ трутнямъ ничего не остается желать.

«Я всегда, говоритъ она, окидывая всѣхъ присутствующихъ благосклоннымъ взоромъ, была убѣждена въ томъ, что для прочности и благоденствія государства необходимо существованіе наслѣдственнаго сословія пэровъ; съ уничтоженіемъ этого сословія распадутся въ прахъ всѣ правительственныя основы общества. Вы служили мнѣ вѣрно, вы были привязаны къ моей особѣ, и ваши доблести вполнѣ заслуживаютъ награды. Вы, безъ всякаго сомнѣнія, прежде всѣхъ другихъ имѣете право пользоваться накопленными запасами. Я, какъ повелительница ваша, даю вамъ честное слово: ваши интересы нисколько не пострадаютъ отъ наступающихъ бѣдствій. Не обращайте вниманія на ропотъ рабочихъ пчелъ; ихъ назначеніе работать, и пока онѣ исполняютъ свое дѣло съ подобающимъ усердіемъ, я сохраняю въ отношеніи къ нимъ милостивое расположеніе. Но вы, пэры мои, не должны заботиться о своемъ пропитаніи; у васъ есть болѣе высокое и благородное призваніе; не забывайте этого и предоставьте мелкія заботы о насущномъ хлѣбѣ низшимъ существамъ, менѣе васъ облагодѣтельствованнымъ дарами природы. Въ заключеніе изъявляю вамъ, господа пэры, искреннее мое благоволеніе за то, что вы съ такимъ полнымъ довѣріемъ обратились къ вашей королевѣ».

Трутни торжествуютъ и прославляютъ величіе, благодушіе и государственную мудрость своей повелительницы.

Между тѣмъ пролетаріи, встревоженные увяданіемъ цвѣтовъ, также начинаютъ собираться въ кучки и толковать . . . . . .

. . . . . .

1862 г.

ФИЗІОЛОГИЧЕСКІЯ КАРТИНЫ.

(Physiologische Bilder von dr. Louis Büchner. 1-er Band, 1861).

I.

Знаніе природы дается людямъ съ величайшимъ трудомъ; каждое открытіе въ области естественныхъ наукъ дѣлается путемъ сложныхъ и хлопотливыхъ наблюденій; когда открытіе сдѣлано, оно обыкновенно встрѣчается всеобщимъ недовѣріемъ; чѣмъ важнѣе открытіе, тѣмъ сильнѣе бываетъ возбужденное имъ недовѣріе; для большей ясности возьму самый простой примѣръ: всѣ мы въ случаѣ болѣзни обращаемся къ доктору и, пока лежимъ въ постели, довольно точно и добросовѣстно исполняемъ его предписанія; но вотъ мы укрѣпились, ходимъ по комнатѣ, черезъ окно поглядываемъ на улицу, а между тѣмъ докторъ продолжаетъ угощать насъ лекарственными снадобьями, запрещаетъ ѣсть то, что намъ особенно нравится, и ни подъ какимъ видомъ не велитъ подходить къ окну. Мы начинаемъ относиться скептически къ совѣтамъ доктора, мы съ досадой смотримъ на его предосторожности, мы втихомолку посмѣиваемся надъ его предписаніями и наконецъ подъ часъ нарушаемъ тотъ образъ жизни, который, по мнѣнію свѣдущаго медика, необходимъ для нашего окончательнаго поправленія. Въ этомъ случаѣ мы часто поступаемъ такимъ образомъ не только по естественному нетерпѣнью выздоравливающаго человѣка; мы оправдываемъ свои неосторожныя дѣйствія разными аргументами, которые конечно не выдерживаютъ критики. Мы говоримъ: докторъ А. конечно хорошій человѣкъ, но онъ странно смотритъ на вещи. Ну, можетъ ли такая пустая вещь повредить моему здоровью; онъ, какъ спеціалистъ, пускаетъ въ ходъ микроскопъ; надо смотрѣть на вещи простыми, человѣческими глазами.

Тутъ, какъ вы видите, является систематическое недовѣріе къ наукѣ и къ тому самому ея представителю, который за нѣсколько дней передъ тѣмъ оказалъ намъ самую существенную услугу, и этой услугой доказалъ намъ состоятельность и практическую пригодность своихъ теоретическихъ знаній. Недовѣріе это въ однихъ людяхъ бываетъ сильнѣе, въ другихъ слабѣе, въ однихъ проявляется вспышками, въ другихъ преобладаетъ постоянно. Есть доморощенные скептики, поставившіе себѣ за правило считать всю медицину шарлатанствомъ и пробавляться, въ случаѣ надобности, собственными соображе-

ніями и домашними средствами. Есть доморощенные физіологи, составляющіе себѣ самыя своеобразныя понятія объ устройствѣ собственнаго организма. Такого рода скептики и физіологи встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества и почти на всѣхъ ступеняхъ умственнаго развитія: скептикъ-мужикъ нейдетъ въ больницу и отлеживается на печи или, въ случаѣ тяжкой немочи, отпаиваетъ себя разными травками; скептикъ-баринъ гордо отвергаетъ помощь врача и, руководствуясь собственными соображеніями, приставляетъ себѣ піявки и горчичники, пускаетъ кровь, принимаетъ слабительныя или глотаетъ крупинки какого-нибудь гомеопатическаго лекарства. Собственные инстинкты, собственныя смутныя ощущенія кажутся этимъ господамъ основательнѣе и важнѣе умозаключеній медика, основанныхъ на тщательномъ наблюденіи и на предварительномъ изученіи человѣческаго организма въ здоровомъ и въ больномъ состояніи. Этотъ самородный скептицизмъ, приводящій нерѣдко къ самымъ печальнымъ результатамъ, находитъ себѣ пищу въ недобросовѣстности и невѣжествѣ многихъ врачей и даже въ несовершенствѣ самой медицины.

Иногда подобное недовѣріе оказывается справедливымъ, иногда медицинѣ или медику приходится сознаться въ своемъ безсиліи, приходится сказать: мы знаемъ далеко *не все*; но *не все* и *ничего* двѣ вещи разныя. Область медицинскихъ свѣдѣній очень обширна, она расширяется съ каждымъ годомъ, и съ каждымъ годомъ увеличиваются и усиливаются тѣ средства, при помощи которыхъ изслѣдователи вносятъ свѣтъ въ темные углы своей обширной науки. Медицина, какъ извѣстно, есть практическое приложеніе свѣдѣній, добытыхъ въ области различныхъ естественныхъ наукъ; физіологія и анатомія, химія и ботаника, зоологія и физика приносятъ ей свои результаты, и она пользуется ими для того, чтобы, изучивъ нормальный процессъ различныхъ отправленій человѣческаго организма, понять уклоненія, происходящія иногда въ этомъ процессѣ, угадать причины этихъ уклоненій и наконецъ найти средства предотвращать эти уклоненія, или поправлять зло, когда оно уже сдѣлано.

Если медицина, необходимая во вседневной жизни и составляющая только практическое приложеніе уже добытыхъ истинъ, встрѣчаетъ себѣ въ массахъ такъ много незаслуженнаго недовѣрія, то легко себѣ представить, съ какими страшными трудностями приходится бороться тѣмъ теоретическимъ наукамъ, которыя ложатся въ основаніе врачебнаго искусства. Мнѣ кажется, можно сказать безошибочно, что теоретическія истины проникаютъ въ сознаніе общества гораздо медленнѣе, чѣмъ практическія открытія и усовершенствованія. Всякій русскій человѣкъ, побывавшій въ Москвѣ, знаетъ о существованіи желѣзной дороги между Москвой и Петербургомъ; всякій мужикъ, грамотный или неграмотный, садится въ вагонъ, когда ему является необходимость изъ одной столицы переѣхать въ другую; тотъ же самый мужикъ, который такимъ образомъ обращаетъ въ свою пользу изобрѣтеніе, сдѣланное въ XIX вѣкѣ, вполнѣ увѣренъ въ томъ, что громъ происходитъ отъ колесницы пророка Ильи, и что домовой или, какъ онъ выражается, *хозяинъ* путаетъ по ночамъ гривы его лошадей. Такого рода суевѣріе не ограничивается неграмотнымъ сословіемъ деревенскаго и городского населенія: та самая милая, образованная дама, которая съ величайшимъ воодушевленіемъ толкуетъ о современной журналистикѣ, поддерживая или опровергая идеи новѣйшихъ эманципаторовъ—блѣднѣетъ и чувствуетъ себя разстроенной при видѣ трехъ зажженныхъ свѣчей, поставленныхъ на одномъ столѣ; тотъ самый дѣльный хозяинъ, который выписываетъ для своего сахарнаго завода машины изъ Бельгіи или изъ Англіи, способенъ встать изъ-за стола, если за этимъ столомъ сидитъ тринадцать человѣкъ гостей. Суевѣріе, живущее такимъ образомъ помимо успѣховъ науки, покрываетъ сплошной корой общество и, въ большей части случаевъ, отнимаетъ у него возможность пользоваться результатами добросовѣстныхъ изслѣдованій и располагать свою жизнь сообразно съ тѣми истинами, которыя передовые люди добываютъ дорогой цѣной трудовъ и усилій.

Можетъ быть, ни одна наука не встрѣчала себѣ на пути своего развитія столько препятствій, сколько встрѣчала физіологія. Мы готовы вѣрить тому, что̀ натуралистъ разсказываетъ намъ о цвѣткѣ, объ улиткѣ и о слонѣ; мы сами не давали себѣ труда вглядываться въ эти предметы, мы видѣли ихъ мелькомъ, не составляли себѣ о нихъ никакого округленнаго и законченнаго понятія и, слѣдовательно, въ запасѣ унаслѣдованныхъ и благопріобрѣтенныхъ воззрѣній не имѣетъ ничего такого, что̀ бы помѣшало намъ согласиться съ мнѣніями естествоиспытателя; но когда тотъ же естествоиспытатель, распространяя кругъ своихъ изслѣдованій, постепенно втягиваетъ въ этотъ кругъ организмъ человѣка, тогда мы начинаемъ прислушиваться внимательнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ начинаемъ чувствовать разладъ между нашими понятіями и тѣми научными фактами, которые сообщаются намъ съ самой убѣдительной наглядностью. Почувствовавъ такой неизбѣжный разладъ, слушатели или читатели ведутъ себя различно, смотря по темпераменту и по устройству своего мозга; одни зажимаютъ себѣ уши или бросаютъ съ негодованіемъ начатую книгу за то, что она не гладитъ по головкѣ ихъ закоренѣлыя заблужденія; другіе, напротивъ того, чувствуя въ книгѣ вѣяніе свѣжаго воздуха, съ удвоеннымъ внима-

ніемъ погружаются въ чтеніе. Кто изъ нихъ поступаетъ благоразумнѣе—это такой вопросъ, котораго рѣшеніе надо предоставить на личное благоусмотрѣніе каждаго читателя. Я нахожу впрочемъ, что уже давно пора выдти изъ области разсужденій и приступить къ фактамъ, которые гораздо рельефнѣе могутъ представить высказанныя мною идеи о развитіи естественныхъ наукъ и о ихъ постоянной борьбѣ съ невѣжествомъ массъ, съ суевѣріемъ сантиментальной публики и съ недоброжелательствомъ различныхъ инквизиторовъ, мѣнявшихъ съ вѣками свои костюмы, названія и пріемы преслѣдованія.

II.

Я намѣренъ прежде всего поговорить о крови, о такомъ предметѣ, который всякому извѣстенъ по наружному виду и который между тѣмъ не вполнѣ извѣстенъ самымъ новѣйшимъ изслѣдователямъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ и по своему назначенію въ общей экономіи органической жизни.

«Кровь, говоритъ Мефистофель Фаусту, есть сокъ совсѣмъ особеннаго рода», и Фаустъ, повинуясь требованію своего руководителя, подписываетъ собственною кровью пагубный контрактъ, отдающій его душу въ распоряженіе мрачнымъ силамъ ада; въ средніе вѣка такого рода контракты, заключавшіеся довольно часто, если вѣрить легендамъ, всегда подписывались кровью и вслѣдствіе этого получали свою таинственную силу; кровью подписывались священныя клятвы; заключая между собою союзъ военнаго братства, два витязя обыкновенно смѣшивали нѣсколько капель своей крови съ тѣмъ виномъ, которое они выпивали въ честь своего побратимства; кровь невинныхъ мальчиковъ употреблялась колдунами для узнаванія будущаго и алхимиками для приготовленія жизненнаго эликсира; побѣдивъ своего врага, дикарь пилъ его горячую кровь, чтобы присвоить себѣ силу и мужество убитаго воина; кровью жертвеннаго животнаго обливались съ головы до ногъ римляне, желавшіе очиститься отъ совершеннаго преступленія; вампиръ или упырь, выходящій изъ могилы, сосетъ кровь живыхъ людей и вмѣстѣ съ кровью высасываетъ изъ нихъ силу и жизнь. Мы до сихъ поръ въ нашемъ разговорномъ языкѣ придаемъ крови чрезвычайно важное значеніе; о горячей, молодецкой крови поютъ наши народныя пѣсни; въ немъ кипитъ молодая кровь, говоримъ мы, желая обозначить пылкій характеръ живого юноши.

Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства,
Но кипитъ въ тебѣ живая кровь...

говоритъ Некрасовъ о своемъ «тяжеломъ, неуклюжемъ стихѣ», и мы вполнѣ понимаемъ это образное выраженіе, не смотря на его очевидную неточность. «Въ его жилахъ текла благородная кровь великихъ предковъ», говоритъ какой-нибудь вслѣпчивый панегиристъ, и мы, къ сожалѣнію, понимаемъ это выраженіе, несмотря на всю его нескладную напыщенность. Кровь играетъ такимъ образомъ очень видную роль въ повѣрьяхъ и сказкахъ, въ поэзіи и въ риторикѣ, словомъ, въ разнородныхъ созданіяхъ человѣческой фантазіи. Это обстоятельство доказываетъ намъ, что люди инстинктивно сознавали важное значеніе крови для различныхъ отправленій органической жизни; это инстинктивное сознаніе выражалось и до сихъ поръ выражается въ тѣхъ медицинскихъ понятіяхъ, которыя находятся во вседневномъ обращеніи; одинъ паціентъ жалуется доктору на *полнокровіе*, другой на *малокровіе*; одинъ находитъ, что у него кровь слишкомъ густа, другой убѣжденъ въ томъ, что она черезчуръ жидка, третій остротою крови объясняетъ происхожденіе разныхъ накожныхъ сыпей или нарывовъ.

Новѣйшая раціональная физіологія соглашается въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ преданіями и народными вѣрованіями, съ поэтами, говорящими о крови, и съ паціентами, жалующимися на различныя свойства своей крови; она соглашается съ этими господами въ томъ отношеніи, что признаетъ несомнѣнную важность крови для существованія и для развитія всякаго организма. Затѣмъ она желаетъ счастливаго пути всѣмъ фантазерамъ, приписывающимъ крови какія бы то ни было таинственныя свойства, поворачивается спиною къ панегиристамъ, прославляющимъ благородную кровь чьихъ бы то ни было предковъ, и, вооружившись сильно увеличивающимъ микроскопомъ, кладетъ подъ его предметное стекло каплю красной жидкости, обращающейся въ нашихъ венахъ и артеріяхъ. Въ этой каплѣ, положенной подъ микроскопъ, изслѣдователь можетъ видѣть милліоны крошечныхъ шариковъ, насыпанныхъ кучками другъ на друга и плавающихъ въ безцвѣтной жидкости. Если взять каплю неразбавленной крови, то при самомъ сильномъ увеличеніи микроскопа будетъ совершенно невозможно разглядѣть устройство отдѣльныхъ шариковъ; поэтому для наблюденія надъ микроскопическимъ составомъ крови лучше всего развести взятую каплю въ такой жидкости, которая бы не разлагала кровяныхъ шариковъ. Капля этой разсыропленной жидкости, положенная подъ микроскопъ, покажетъ пожалуй нѣсколько тысячъ плавающихъ шариковъ; но такъ какъ число ихъ все таки на томъ же пространствѣ окажется значительно меньше, чѣмъ оно было въ цѣльной крови, то наблюдателю будетъ гораздо легче разсмотрѣть ихъ устройство. Каждый шарикъ величиной своей равняется одной трехсотой части линіи, т. е. надо положить рядомъ 5000 такихъ шариковъ, чтобы составить длину вершка; каждый изъ нихъ состоитъ изъ чрезвычайно тонкаго эластическаго пузырька,

наполненнаго жидкостью; и пузырекъ, и жидкость отдѣльнаго шарика подъ микроскопомъ оказываются безцвѣтными.

Я предчувствую, что здѣсь проявится въ читателѣ самородный скептицизмъ.—Какъ-же это такъ? спроситъ онъ съ улыбкой: безцвѣтные шарики плаваютъ въ безцвѣтной жидкости, а кровь, составленная изъ шариковъ и жидкости, отличается темнокраснымъ цвѣтомъ. Это я знаю лучше всякаго физіолога.

— Совершенно справедливо, г. читатель, отвѣчу я. Потрудитесь только произвести слѣдующій несложный опытъ. Положите другъ на друга листовъ 20 самаго лучшаго стекла и посмотрите тогда, покажется ли вамъ эта стеклянная гора прозрачной и безцвѣтной. Можете повторить тотъ же опытъ надъ рѣкой: вы знаете, конечно, что Нева въ самую тихую погоду не покажется вамъ массою прозрачной жидкости; зачерпните стаканъ воды изъ этой синеватой рѣки, и вы увидите, что эту воду можно будетъ назвать вполнѣ безцвѣтной.

Смотря на каплю крови, вы должны помнить, что въ ней лежатъ другъ на другѣ *тысячи* безцвѣтныхъ шариковъ или пузырьковъ, заключающихъ въ себѣ невообразимо маленькую капельку жидкости, окрашенной совершенно незамѣтнымъ оттѣнкомъ краснаго цвѣта. Чѣмъ больше шариковъ навалено другъ на друга, тѣмъ опредѣленнѣе и темнѣе становится красный цвѣтъ. Простая капля крови кажется намъ свѣтлокрасной, а ведро крови покажется почти чернымъ.

Форма этихъ пузырьковъ не вполнѣ шарообразна, такъ что названіе кровяныхъ шариковъ можно допустить съ грѣхомъ пополамъ; они скорѣе похожи на чечевичныя зерна; у человѣка и у большей части млекопитающихъ эти чечевицеобразные пузырьки отличаются круглой формой; у птицъ, рыбъ и амфибій, кромѣ того у верблюда, дромадера и ламы кровяные пузырьки имѣютъ продолговатую форму. Величина этихъ пузырьковъ у различныхъ животныхъ бываетъ различна, но величина ихъ никакъ не зависитъ отъ величины самаго животнаго. Крошечная мышь въ этомъ отношеніи стоитъ на однихъ правахъ съ благородной лошадью. Слонъ оказывается однако вполнѣ послѣдовательнымъ, и размѣры его кровяныхъ шариковъ сообразуются съ размѣрами его колоссальнаго тѣла; но крайней мѣрѣ ни у кого изъ млекопитающихъ нѣтъ такихъ большихъ кровяныхъ пузырьковъ, какъ у слона.

При крайней незначительности своего объема, при гладкости и эластичности своей кожи, кровяные пузырьки свободно скользятъ вдоль стѣнокъ кровеносныхъ сосудовъ, проходятъ въ самые тонкіе волосные сосудцы и такимъ образомъ въ короткое время пробѣгаютъ чрезъ всѣ запутанныя развѣтвленія нашихъ артерій и венъ. Подвижность этихъ шариковъ или пузырьковъ подавала поводъ къ самымъ страннымъ гипотезамъ, которыя, не смотря на свою очевидную нелѣпость, находили себѣ горячихъ защитниковъ. Нѣкоторые изслѣдователи приняли эти пузырьки за микроскопическихъ животныхъ, принадлежащихъ къ классу инфузорій, одаренныхъ самостоятельной способностью движенія и завѣдывающихъ отправленіями нашей крови по собственному, свободному влеченію. Эти воображаемыя животныя получили названіе первобытныхъ животныхъ (Urthiere), и изслѣдователи, подарившіе такимъ образомъ нашей планетѣ неисчислимое количество животныхъ существъ, выразили то мнѣніе, что изъ этихъ существъ, какъ изъ первой основы всякаго органическаго бытія, образуются всѣ ткани и отдѣльныя части нашего тѣла. Овладѣвъ этой своеобразной идеей, философія природы, по свойственному ей стремленію искать конечныхъ выводовъ и дѣлать общія заключенія, настроила множество самыхъ удивительныхъ системъ, которыя, какъ карточные домики, валятся отъ малѣйшаго прикосновенія непосредственнаго, непредубѣжденнаго наблюденія. Очень недавно одинъ англичанинъ Тоддъ написалъ цѣлую книгу о кровяныхъ животныхъ, которыя называются у него Bloodlivinganimals или болѣе ученымъ терминомъ—haematozoa. Онъ приписываетъ имъ разныя электрическія и химическія свойства; онъ даже думаетъ, что электрическія силы, заключающіяся въ этихъ животныхъ, могутъ объяснить собой то половое влеченіе, по которому мужчина и женщина стремятся сблизиться между собою.

Новѣйшая физіологія доказала самымъ наглядньмъ образомъ, что всѣ эти попытки населить кровь легіонами живыхъ существъ относятся къ области чистой фантазіи. Кровь движется въ артеріяхъ и въ венахъ точно такъ же, какъ могла бы двигаться въ нихъ какая-нибудь другая жидкость, повинующаяся давленію насоса. Что же касается до кровяныхъ шариковъ, то они не затрудняютъ ея движенія, потому что они, какъ я уже замѣтилъ, очень малы по объему, очень гладки и эластичны. Назначеніе кровяныхъ шариковъ состоитъ, по мнѣнію Бюхнера, въ томъ, чтобы, проходя чрезъ легкія, насыщаться кислородомъ и проносить этотъ кислородъ, необходимый для поддержанія органической жизни, въ различныя части и оконечности тѣла. Сами кровяные пузырьки, какъ и всѣ составныя части организма, разрушаются и выдѣляются изъ живого тѣла, замѣняясь новыми пузырьками, образующимися изъ принимаемой пищи.

Какимъ образомъ, гдѣ и при какихъ обстоятельствахъ они разрушаются — до сихъ поръ рѣшительно неизвѣстно.

Кровь, выпущенная изъ живого тѣла, свертывается

вается и запекается, т. е. разлагается на свѣтлую, желтоватую жидкость и на болѣе твердую студенистую, темнокрасную массу, состоящую изъ кровяныхъ шариковъ и изъ волокнины, отдѣлившейся отъ той безцвѣтной жидкости, въ которой плавали пузырьки. Эта волокнина состоитъ изъ соединенія кислорода, водорода, углерода и азота, и отличается своей способностью свертываться тотчасъ послѣ выхода крови изъ кровеносныхъ сосудовъ.

Разложеніе крови, вышедшей изъ живого тѣла, давно уже обращало на себя вниманіе медиковъ и изслѣдователей. Самъ отецъ медицины Гиппократъ занимался этимъ вопросомъ, но не умѣлъ разрѣшить его. Дѣло обыкновенно кончалось тѣмъ, что изслѣдователи говорили: *кровь умираетъ*, т. е. живая жидкость, сохраняющая свои свойства, благодаря силамъ живого организма, теряетъ свои отличительныя качества, покидая то тѣло, которому она принадлежала. Объясняя такимъ образомъ разложеніе крови, изслѣдователи не замѣчали того, что они только другими словами называли непонятый ими фактъ. У нихъ спрашивали: отчего свертывается кровь? А они на это отвѣчали: кровь умираетъ. Дѣло очевидно не подвигалось впередъ; мало того, предполагая какую-то таинственную, необъяснимую связь между кровью и тѣмъ организмомъ, въ которомъ она содержится, изслѣдователи ввели въ область своей науки несчастное понятіе жизненной силы, которое долгое время отводило глаза наблюдателямъ. То, что не могло быть объяснено физическими и химическими законами, сваливалось на жизненную силу и причислялось такимъ образомъ къ области необъяснимаго. Сердце билось вслѣдствіе жизненной силы, кровь обращалась вслѣдствіе жизненной силы, кровь свертывалась потому, что ее покидала жизненная сила. Такимъ образомъ всѣ физіологическіе вопросы рѣшались легко и свободно, но такъ какъ жизненная сила оставалась понятіемъ совершенно неопредѣленнымъ и расплывающимся въ пространствѣ, то такая метода рѣшенія раскидывала непроницаемое покрывало на всѣ отправленія, совершающіяся внутри организма. Теперешніе физіологи дѣйствуютъ гораздо проще; они подробно описываютъ то, что они видѣли, и прямо говорятъ, что того или другого имъ пока еще не удавалось изслѣдовать. Нерѣшеннаго много, но за то нѣтъ полурѣшеній, нѣтъ шарлатанства въ терминахъ и объясненіяхъ.

Бюхнеръ прямо говоритъ, что причины разложенія крови еще не найдены.

Дѣйствіемъ атмосфернаго воздуха нельзя объяснить этого явленія, потому что кровь можетъ свертываться даже внутри живого организма, въ тѣхъ кровеносныхъ сосудахъ, въ которыхъ правильное обращеніе оказывается нарушеннымъ. Отсутствіемъ движенія также не объясняется разложеніе крови, потому что выпущенная кровь разлагается и въ томъ случаѣ, если мы станемъ болтать ее въ бутылкѣ. При взбалтываніи крови окажется только, что волокнина не успѣетъ соединиться съ кровяными шариками и осядетъ отдѣльными хлопьями. Если же мы будемъ постоянно размѣшивать свѣжую кровь или бить ее гибкой палкой, то осѣдающая волокнина, приставая къ палкѣ, будетъ выдѣляться изъ крови; такимъ образомъ можно будетъ выдѣлить изъ крови всю волокнину, и тогда оставшаяся масса крови, состоящая изъ водянистой жидкости и кровяныхъ шариковъ, вовсе не свернется; впрочемъ составъ ея будетъ конечно значительно измѣненъ; взбивая кровь палкой, мы не препятствуемъ ея разложенію, а только чисто-механическимъ путемъ удаляемъ изъ нея волокнину; взбитая кровь будетъ существенно отличаться отъ той свѣжей крови, которую мы выпустили изъ жилъ животнаго; несмотря на то, эта взбитая кровь, остающаяся вслѣдствіе такой операціи въ жидкомъ состояніи, оказывается пригодной для техническаго медицинскаго употребленія: иногда, когда человѣкъ, потерявшій значительное количество крови, подвергается опасности умереть, ему разрѣзываютъ жилу и въ эту жилу впускаютъ битую кровь; такого рода операція возможна на томъ основаніи, что организмъ паціента собственными силами дополнитъ потребное количество недостающей волокнины и такимъ образомъ обойдется съ битой кровью такъ же удобно, какъ будто бы она была свѣжая.

Волокнина, выдѣленная изъ крови, твердѣетъ въ видѣ студенистой массы и принимаетъ зеленовато - желтый цвѣтъ; иногда, свертываясь вмѣстѣ съ кровью, волокнина осѣдаетъ сверхъ темнокрасной массы и образуетъ надъ нею желтоватую кору. Медики придумали для этой коры особое названіе crusta inflammatoria (воспалительная кора) и даже дошли до того ошибочнаго убѣжденія, будто эта кора образуется надъ темно - красной массой крови только въ томъ случаѣ, если кровь выпущена изъ жилъ паціента, находящагося въ воспаленномъ состояніи. Это ошибочное убѣжденіе часто приводило къ печальнымъ практическимъ результатамъ. Убѣжденный въ томъ, что его паціентъ страдаетъ отъ воспаленія, докторъ продолжаетъ кровопусканія и такимъ образомъ постоянно отнимаетъ у больного тѣ силы, которыя могутъ быть необходимы для его выздоровленія. Судя по газетнымъ извѣстіямъ, мы можемъ заключить, что графъ Кавуръ умеръ именно вслѣдствіе того, что лечившіе его медики, держась ошибочнаго мнѣнія о crusta inflammatoria, истощили его организмъ излишними и положительно вредными кровопусканіями.

Убѣжденіе медиковъ насчетъ того, что кора изъ волокнины образуется надъ запекшейся

кровью только въ случаѣ воспаленія паціента, опровергается тѣмъ обстоятельствомъ, что подобная кора можетъ образоваться даже въ свернувшейся крови субъекта, подверженнаго блѣдной немочи (Bleichsucht). Блѣдная немочь состоитъ въ томъ, что въ общемъ составѣ крови убавляется количество кровяныхъ пузырьковъ. Кровь становится такимъ образомъ водянистѣе и свѣтлѣе по цвѣту. Пускать кровь больному, страдающему отъ блѣдной немочи, очень опасно, потому что онъ и безъ того слабъ вслѣдствіе недостаточнаго количества кровяныхъ пузырьковъ. Медикъ, который захотѣлъ бы лечить такого больного, осмысливая по-своему образованіе *воспалительной коры*, подвергается опасности зарѣзать паціента своимъ ланцетомъ.

Вообще докторъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ въ распознаваніи болѣзненныхъ симптомовъ. Чѣмъ обширнѣе становится научная область физіологіи, тѣмъ сильнѣе суживается область общихъ симптомовъ. Каждый болѣзненный случай имѣетъ свои причины, свою исторію, свое развитіе; каждое явленіе, совершающееся въ человѣческомъ организмѣ, обусловливается множествомъ побочныхъ обстоятельствъ, которыя не могутъ быть разсказаны заранѣе; эти обстоятельства надо прослѣдить и сообразить на мѣстѣ; здѣсь не выручитъ общее правило; здѣсь необходимы навыкъ, знаніе множества частныхъ случаевъ и величайшая внимательность въ разсмотрѣніи даннаго казуса. Химическій составъ человѣческой крови отличается значительной сложностью; въ нашей крови есть поваренная соль, которая сообщаетъ ей довольно замѣтный вкусъ, и желѣзо, которое въ соединеніи съ кислородомъ является причиной краснаго цвѣта крови.

Желѣзо было открыто въ крови французомъ Мери, и это любопытное открытіе возбудило множество химическихъ идей и надеждъ. Нашлись люди, которые стали думать, что желѣзо, заключающееся въ крови, можетъ имѣть важное значеніе для промышленности, что изъ этого желѣза можно выковывать мечи, кочерги и тому подобные общеполезные инструменты. Другіе господа посмотрѣли на дѣло съ болѣе сантиментальной точки зрѣнія; послышалось желаніе, чтобы изъ крови великихъ людей выковывались послѣ ихъ смерти жетоны или медали. Всѣ такія предположенія оказались совершенно невыполнимыми.

Оказалось, что если выпустить всю кровь изъ цѣлой сотни людей, то наберется около антекарскаго фунта металлическаго желѣза. Желѣзные рудники, открывшіеся такимъ образомъ въ жилахъ людей и животныхъ, оказались настолько скудными, что никто не взялъ на себя труда разрабатывать ихъ, и никто не выпросилъ себѣ привиллегіи на эту новую отрасль промышленности.

Узнавъ о томъ, что въ крови человѣка заключается желѣзо, одинъ парижскій студентъ медицины выдумалъ подарить своей любовницѣ желѣзное кольцо, добытое изъ собственной крови. Предмету его любви было бы вѣроятно пріятнѣе получить въ подарокъ какую-нибудь золотую вещицу, а самому студенту было бы легче добыть деньги на покупку дорогой бездѣлушки путемъ усиленнаго труда, вмѣсто того, чтобы постоянно ослаблять себя извлеченіемъ желѣза изъ собственнаго тѣла. Но онъ разсудилъ иначе: ему понравилась его странная идея, и онъ принялся безо всякой надобности пускать себѣ кровь черезъ извѣстные промежутки времени. Собираніе желѣза шло очень медленно; нетерпѣніе молодого мечтателя было слишкомъ велико; онъ поторопился, выпустилъ за одинъ разъ слишкомъ много крови и умеръ, не успѣвши привести въ исполненіе своего оригинальнаго намѣренія. Если подобныя нелѣпости предпринимались вслѣдствіе того обстоятельства, что въ крови заключаются ничтожныя частички самаго дешеваго металла, то можно себѣ представить, сколько преступленій совершалось бы въ томъ случаѣ, когда бы вмѣсто желѣза въ составъ крови входило бы напримѣръ золото. Убійства вѣроятно сдѣлались бы весьма обыкновенными происшествіями; охотниковъ пускать кровь себѣ и другимъ нашлось бы несмѣтное количество; эпитетъ *кровопійца*, который придается теперь слишкомъ жаднымъ ростовщикамъ, принимался бы тогда въ буквальномъ значеніи этого слова. Игроки могли бы ставить на карту часть своей крови, точно такъ же, какъ теперь они ставятъ на карту необходимыя деньги и вещи. Словомъ, число нелѣпостей и гадостей, совершающихся теперь, вѣроятно увеличилось бы вдесятеро.

Взглянувъ на эту бездну несчастій, въ которую погрузилось бы человѣчество, еслибы въ его жилахъ открылись золотые рудники, я поневолѣ становлюсь оптимистомъ и, обращаясь къ нравственному чувству читателя, предлагаю ему торжественный вопросъ: осмѣлится ли онъ послѣ этого изъявить малѣйшее сомнѣніе въ благости Провидѣнія?

Кромѣ твердыхъ и жидкихъ веществъ, входящихъ въ составъ крови, надо упомянуть еще о веществахъ газообразныхъ, образующихъ разныя химическія соединенія съ твердыми и жидкими составными частями крови. Въ крови пѣтъ газовъ, находящихся въ свободномъ состояніи; если нѣкоторое количество атмосфернаго воздуха попадаетъ въ кровеносный сосудъ, то оно можетъ нарушить весь порядокъ кровообращенія и повести къ мгновенной смерти разсматриваемаго субъекта. Такого рода опыты производились надъ животными; имъ вбрызгивали воздухъ въ открытыя жилы посредствомъ воздушнаго насоса, и они издыхали среди сильныхъ конвульсій. Иногда случается, что воздухъ про-

никаетъ въ кровеносный сосудъ пацієнта при большихъ хирургическихъ операціяхъ; тогда больной мгновенно умираетъ. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что газы, находящіеся въ крови, должны непремѣнно образовать съ твердыми и жидкими веществами химическія соединенія.

Кислородъ, воспринимаемый организмомъ при вдыханіи атмосфернаго воздуха, соединяется съ кровью, протекающею черезъ легкія, и, окисляя желѣзистое содержаніе кровяныхъ шариковъ, придаетъ всей крови ярко-красный цвѣтъ, которымъ она отличается при выходѣ своемъ изъ легкихъ. Углекислота накопляется въ крови во время ея прохожденія черезъ волосные сосуды, т. е. черезъ тончайшія развѣтвленія жилъ, находящіяся возлѣ поверхности тѣла; она образуется изъ соединенія кислорода, заключающагося въ крови, съ углеродомъ тѣхъ органическихъ тканей, черезъ которыя проходитъ кровь. Углекислота эта выдѣляется изъ легкихъ при выдыханіи; она придаетъ крови темный цвѣтъ, и потому кровь, пройдя черезъ легкія, получаетъ болѣе свѣтлый и яркій цвѣтъ.

Азотъ, проходящій въ кровь изъ пищи и изъ атмосфернаго воздуха, выдѣляется черезъ почки, въ формѣ мочи, въ соединеніи съ водой.

Въ крови совершается такимъ образомъ весь химическій процессъ превращенія воздуха и пищи въ органическія ткани нашего тѣла. Образованіе крови происходитъ отчасти отъ принятія пищи, отчасти отъ вдыханія атмосфернаго воздуха. Люди, страдающіе чахоткой, т. е. поврежденіемъ легкихъ, худѣютъ и сохнутъ, несмотря на предлагаемую имъ питательную пищу и несмотря на то, что они часто до послѣднихъ мѣсяцевъ своей жизни сохраняютъ полный аппетитъ. Недостатокъ воздуха, который ослабѣвшія легкія уже не могутъ принимать въ необходимомъ количествѣ, отнимаетъ у крови притокъ кислорода и такимъ образомъ, существенно измѣняя ея составъ, нарушаетъ нормальный процессъ питанія и жизни.

Количество всей крови, находящейся въ тѣлѣ взрослаго человѣка, заключаетъ въ себѣ по вѣсу около 13 фунтовъ. По мнѣнію однихъ изслѣдователей, вся масса крови составляетъ одну восьмую часть вѣса всего человѣческаго тѣла; по мнѣнію другихъ—только одну тринадцатую.

Организмъ выдерживаетъ значительныя потери крови, если только эти потери совершаются не вдругъ, а слѣдуютъ другъ за другомъ черезъ извѣстные промежутки времени. Опыты, произведенные надъ животными, показали, что можно, не убивая самаго животнаго, въ нѣсколько пріемовъ выпустить изъ его жилъ такое количество крови, которое превосходитъ вѣсъ его собственнаго тѣла. Но въ одинъ разъ достаточно, чтобы убить животное или человѣка, выпустить изъ него количество крови, равняющееся одной двадцать пятой части его вѣса.

III.

Обращеніе крови, необходимое для процесса жизни, совершается отъ сердца къ оконечностямъ и къ поверхности тѣла, и отъ поверхности обратно къ сердцу. Механизмъ кровообращенія объясняется очень просто слѣдующимъ наглядным примѣромъ.

Представьте себѣ полый гуттаперчевый шаръ, въ которомъ въ двухъ мѣстахъ прорѣзаны два круглыя отверстія. Къ этимъ двумъ отверстіямъ придѣланы двѣ длинныя, гибкія трубочки; отверстія шара закрываются клапанами, которые оба отворяются въ одну сторону, положимъ, вправо.

Весь снарядъ: т. е. шаръ и оба колѣна трубки наполнены водой; свободные концы трубочекъ, т. е. концы, непридѣланные къ шарику, спаяны между собою такъ плотно, что спайка не пропускаетъ воздуха. Если вы рукой сожмете шаръ, то вода, заключающаяся въ немъ, будетъ выдавлена и черезъ тотъ клапанъ, который отворяется наружу, потечетъ въ трубочку; но трубочка и безъ того полна водой, и потому жидкость, уступая напору вновь притекшей воды, ударяетъ въ другой клапанъ и входитъ въ шаръ. Вы еще разъ сжимаете его рукою, и опять повторяете то же самое явленіе, т. е. часть воды опять вытѣсняется изъ шарика и опять замѣняется такимъ же количествомъ воды, прилившей съ другого конца, вслѣдствіе того же самаго давленія. Еслибы трубочки, по выходѣ своемъ изъ шара, раздѣлились на два капала, потомъ на четыре, потомъ на восемь, и т. д.; еслибы всѣ эти развѣтвленія были спаяны между собою и такимъ образомъ опять сходились бы въ одну общую трубку, сообщающуюся съ шаромъ, то отъ этого обстоятельства процессъ обращенія жидкости не измѣнился бы.

Роль гуттаперчеваго шара играетъ въ тѣлѣ животныхъ и человѣка сердце, которое, сжимаясь и расширяясь, попеременно выгоняетъ изъ себя кровь въ артеріи и принимаетъ кровь, притекающую изъ венъ. Система артерій и венъ, раскинувшихъ свои отроги и развѣтвленія во всѣ части тѣла, раздробившихся на безчисленное множество микроскопически-тонкихъ волосныхъ сосудовъ и охватившихъ почти сплошною сѣтью тѣло животнаго подъ самой его кожей—замѣняетъ собою въ организмѣ тѣ гибкія трубочки, о которыхъ я говорилъ въ моемъ примѣрѣ. Въ артеріяхъ и въ венахъ существуетъ сложная система клапановъ, отворяющихся только по одному направленію и потому не пускающихъ обратно въ сердце ту часть крови, которая уже вышла изъ артеріи вслѣдствіе его сжатія. Благодаря этому устройству клапановъ, кровь принуждена при каждомъ сжатіи сердца подвигаться впередъ по артеріямъ; подвигаясь такимъ образомъ дальше и дальше отъ сердца къ поверхности

тѣла, она наконецъ входитъ въ волосные сосуды; дальше идти впередъ некуда, а между тѣмъ новыя волны крови, напирающія изъ сердца, тѣснятъ по-прежнему; волосные сосуды отъ поверхности тѣла поворачиваютъ опять къ центру, и кровь конечно течетъ туда, куда направлены эти каналы, потому что изъ нихъ нѣтъ никакого выхода. Съ той минуты, какъ сосуды поворачиваютъ назадъ къ центру, они начинаютъ называться венами; но мѣрѣ приближенія къ сердцу, тонкія вены соединяются между собой подобно тому, какъ ручьи сліяніемъ своимъ образуютъ рѣки; наконецъ венозная кровь, насытившаяся углекислотой во время своего путешествія по тѣлу, черезъ толстыя вены вливается въ сердце, а сердце опять сжимается, и кровь опять отправляется гулять по артеріямъ.

Въ статьѣ «Процессъ жизни», написанной по поводу физіологическихъ писемъ Карла Фохта (томъ I, стр. 307—332), я говорилъ довольно подробно о маршрутѣ крови въ тѣлѣ человѣка. Теперь я поговорю о дѣятельности сердца и о различныхъ особенностяхъ этого важнаго и интереснаго органа.

Прежде всего надо замѣтить, что сердце, подобно желудку и легкимъ, относится къ тѣмъ органамъ, отъ которыхъ зависитъ исключительно растительная жизнь. Сердце своими движеніями производитъ кровообращеніе но, оно не воспринимаетъ никакихъ впечатлѣній и не сообщаетъ нашимъ поступкамъ никакого импульса. Любовь, ненависть, желанія, надежды, волненія, страхъ, горе, радость—не имѣютъ ничего общаго съ дѣятельностью сердца и не могутъ доставить сердцу ни пріятнаго, ни тяжелаго ощущенія. Малѣйшее нарушеніе въ дѣятельности сердца ведетъ за собой болѣзненное разстройство, которое часто оканчивается смертью, но такого рода нарушенія происходятъ не отъ горести, не отъ душевнаго страданія, а оттого, что расхлябался какой-нибудь клапанъ, распухъ тотъ полый мускулъ, который называется сердцемъ, или засорилось то или другое отверстіе, ведущее къ артеріи. Болѣзни сердца имѣютъ чисто физическія причины, и сердце наше само по себѣ такъ же нечувствительно къ нашимъ радостямъ и страданіямъ, какъ нечувствителенъ желудокъ, постоянно занимающійся своей скромной поварской должностью.

Впрочемъ нельзя отрицать того факта, что душевныя волненія могутъ нарушить до нѣкоторой степени нормальную дѣятельность сердца. Воспринимая впечатлѣнія нервами, мы въ этихъ самыхъ первахъ чувствуемъ ощущеніе радости, горя, страха и т. д. Напряженное или раздраженное состояніе нервовъ отзывается во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, потому что нервы проходятъ въ нихъ своими развѣтвленіями, и переплетаясь тонкими ниточками съ кровеноспыми сосудами, могутъ сжимать ихъ независимо отъ нашей воли. Мы часто краснѣемъ вовсе не впопадъ, тогда, какъ не слѣдовало бы и не хотѣлось бы краснѣть; мы краснѣемъ совершенно непроизвольно, и это дѣлается единственно потому, что нервы, повинуясь внезапно воспринятому впечатлѣнію, мгновенно нарушаютъ нормальный ходъ кровообращенія и дольше, чѣмъ слѣдовало бы, задерживаютъ въ лицѣ ту кровь, которая должна возвращаться къ сердцу.

Если наши нервы поражены какимъ-нибудь сильнымъ и прочнымъ впечатлѣніемъ, то они могутъ нарушить весь процессъ кровообращенія и вслѣдствіе этого измѣнить состояніе сердца, которое такимъ образомъ совершенно непроизвольно, пассивно и безсознательно испытаетъ на себѣ реакцію нашихъ психическихъ ощущеній. Точно такъ же можетъ испытать эту реакцію и желудокъ; если вы огорчены, вы можете потерять аппетитъ не потому, что желудокъ сочувствуетъ вашему горю, а потому, что напряженіе вашей нервной системы отнимаетъ у васъ возможность внимать скромно заявляемымъ требованіямъ вашего пищеварительнаго органа.

Словомъ, всѣ ощущенія воспринимаются только нервами, а нервы, получивши извѣстное сотрясеніе, могутъ нарушить или измѣнить дѣятельность такихъ органовъ, которымъ нѣтъ никакого дѣла до нашихъ ощущеній. Мы чувствуемъ боль только въ нервахъ; ни мускулы, ни кровеносные сосуды, ни желудокъ, ни сердце не могутъ страдать; страдаютъ только прилегающіе къ нимъ нервы.—Все это такъ, скажетъ, читатель, но если сердце все оплетено нервами, то оно конечно способно страдать, потому что оплетающіе его нервы составляютъ одну изъ его частей.

— Конечно, отвѣчу я, это было бы совершенно справедливо, если бы сердце дѣйствительно было оплетено первами; но этого на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Сердце совершенно лишено чувствительности, какъ на поверхности своей, такъ и въ своемъ центрѣ. Нервы, находящіеся въ сердцѣ, относятся къ тому разряду нерновъ, которые проводятъ движеніе, но не сообщаютъ ощущенія. Есть люди, у которыхъ, вслѣдствіе недостаточнаго развитія грудныхъ костей, существуетъ отверстіе, позволяющее видѣть и даже ощупывать рукою сердце. Это ощупываніе не причиняетъ имъ не только ни малѣйшей боли, но даже ни малѣйшаго ощущенія. Рана, нанесенная человѣку въ сердце и ведущая за собою неизбѣжную смерть, заставитъ его страдать не потому, что она тронула сердце, а потому, что она по дорогѣ изломала грудныя кости и изорвала грудныя ткани.

Болѣзни сердца, нарушающія весь процессъ кровообращенія, приводятъ все тѣло въ состояніе ненормальной раздражительности и вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ оказать значительное вліяніе на душевное настроеніе больного. Бываютъ впрочемъ и такія болѣзни сердца, которыя, несмотря

на всю свою важность, не причиняютъ ни малѣйшей боли, позволяютъ паціенту веселиться и наслаждаться жизнью, и до послѣдней роковой минуты укрываются даже отъ его собственнаго вниманія. Итакъ сердце—не что иное, какъ безсознательно дѣйствующій насосъ, необходимый для того, чтобы приводить въ движеніе кровь животнаго, но совершенно нечувствительный къ впечатлѣніямъ физическаго и духовнаго міра.

Когда мы говоримъ: у такого-то человѣка доброе сердце, а у такого-то нѣтъ сердца, когда французы говорятъ съ воодушевленіемъ: c'est un coeur d'or, il a du coeur — cet homme, когда нѣмцы толкуютъ съ умиленіемъ объ herzliche Liebe, herzlicher Kummer, то всѣ мы, русскіе, французы и нѣмцы, говоримъ такія вещи, для которыхъ въ дѣйствительности нѣтъ соотвѣтствующихъ явленій. Не имѣя никакого понятія о физіологіи, мы замѣняемъ дѣйствительныя знанія созданіями нашей фантазіи и надѣляемъ сердце, которымъ мы почему-то особенно интересуемся, небывалыми, невозможными и неестественными свойствами, качествами, достоинствами и пороками.

Одно французское выраженіе, навсегда утвердившееся въ языкѣ, показываетъ чрезвычайно-наглядно ложность тѣхъ физіологическихъ воззрѣній, которыми пробавляется публика. J'ai mal au coeur, какъ извѣстно, значитъ по-французски: меня тошнитъ. Тошнота объясняется такимъ образомъ болью въ сердцѣ, между тѣмъ какъ она очевидно не имѣетъ съ сердцемъ ничего общаго. При тошнотѣ страдаетъ только желудокъ, и если страданія желудка переносятся такимъ образомъ въ сердце, то изъ этого можно вывести слѣдующія два заключенія: во-первыхъ, люди, соорудившіе это выраженіе, не имѣли понятія о мѣстоположеніи сердца; во-вторыхъ, они никогда не чувствовали боли въ сердцѣ, потому что перенесли на сердце ощущенія другого органа, не имѣющаго съ нимъ никакихъ сношеній и ни малѣйшаго сходства.

Жизнь или, вѣрнѣе, біеніе сердца начинается до рожденія животнаго и продолжается до самой смерти, или, вѣрнѣе, сердце продолжаетъ биться даже тогда, когда всѣ остальные признаки жизни покидаютъ тѣло. Когда куриное яйцо пролежало нѣсколько дней подъ насѣдкой, то въ немъ начинаетъ обозначаться сердце въ видѣ маленькой, красной точки, находящейся въ постоянномъ движеніи.

Это движеніе сердца начинается тогда, когда еще не существуетъ ни крови, ни нервовъ; слѣдовательно причину этого движенія, начавшагося такъ рано, надо искать въ раздражительности самихъ мускулистыхъ частей сердца, а не во вліяніи крови и даже не въ дѣйствіи нервовъ. Говоря такимъ образомъ, что причина движенія заключаются не въ нервахъ, я не хочу сказать, чтобы нервы, проходящіе отъ мозга къ сердцу, не имѣли никакого вліянія на темпъ этого движенія. Нервы эти, при извѣстномъ раздраженіи, могутъ замедлить или задержать біеніе сердца; потомъ, за этой мгновенной задержкой послѣдуетъ ускоренная дѣятельность сердца, которое однако, несмотря на свои подчиненныя отношенія къ нервамъ, бьется все-таки по собственному внутреннему импульсу.

Сердце, вынутое изъ тѣла животнаго и слѣдовательно оторванное отъ всякой связи съ нервной системой, продолжаетъ биться нѣсколько времени. Вырѣзанныя лягушечьи сердца прыгаютъ на столѣ натуралиста въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ, сначала быстро и сильно, потомъ постепенно слабѣе и медленнѣе. Это самостоятельное движеніе вырѣзанныхъ сердецъ можетъ быть поддерживаемо въ продолженіе нѣсколькихъ дней, если только не давать сердцамъ высохнуть и сохранять въ окружающемъ воздухѣ умѣренную теплоту. «Это», говоритъ Льюисъ, «одно изъ тѣхъ зрѣлищъ, которыя наполняютъ духъ анатома какой-то невольной робостью. Онъ съ дѣтства привыкъ видѣть какое-то таинственное соотношеніе между біеніемъ сердца и жизнью организма, и вдругъ онъ видитъ это біеніе при такихъ обстоятельствахъ, которыя отгоняютъ всякую мысль о жизни и движеніи. Что же значитъ это біеніе? Въ немъ не видно равномѣрныхъ движеній жизни, не видно раздраженія испуга; его нельзя принять за дѣйствіе инстинкта. Убитъ и разрушенъ тотъ чудесный механизмъ, котораго центромъ было сердце, и вотъ рядомъ съ мертвымъ тѣломъ лежитъ этотъ органъ и продолжаетъ биться, будто самъ по себѣ хочетъ бороться со смертью».

Сердце, переставшее биться послѣ смерти животнаго или человѣка, можетъ посредствомъ электрическаго тока еще разъ получить на нѣкоторое время способность сжиматься и расширяться. Подобные опыты производились нерѣдко надъ сердцами повѣшенныхъ или вообще казненныхъ преступниковъ.

Если даже смерть человѣка произошла не вдругъ и была слѣдствіемъ долговременной болѣзни, то случается, что біеніе сердца не прекращается вскорѣ послѣ смерти. Знаменитому анатому Везалію, жившему въ XVI-мъ столѣтіи, пришлось дорого поплатиться за открытіе этого факта. Этотъ замѣчательный человѣкъ, стоявшій по своему развитію гораздо выше уровня своей эпохи, рѣшался анатомировать человѣческіе трупы въ то время, когда это дѣйствіе считалось грѣховнымъ и преступнымъ. Одинъ молодой дворянинъ, котораго лечилъ Везалій, умеръ, несмотря на всѣ его попеченія, и любознательный медикъ, желая узнать причину смерти, выпросилъ себѣ позволеніе вскрыть его трупъ. Вскрытіе произошло въ присутствіи нѣсколькихъ зрителей, которые пришли въ неописанный ужасъ,

когда увидѣли, что сердце покойника бьется полнымъ, правильнымъ темпомъ. Везалія обвинили въ томъ, что онъ зарѣзалъ живого человѣка; въ это дѣло вмѣшалась инквизиція, и Везалій съ большимъ трудомъ избѣжалъ мучительной смерти. Его принудили отправиться въ Палестину и замолить свой грѣхъ, вызванный дерзкимъ желаніемъ узнать тайны созданій Божіихъ. Репутація Везалія, какъ врача, погибла съ того времени, и ему не удалось до самой своей смерти избавиться отъ подозрѣнія въ томъ, что онъ зарѣзалъ своего пацієнта.

У здоровыхъ и крѣпкихъ людей сила, съ которою сжимается сердце, равняется вѣсу въ 60 фунтовъ. Если вы, сидя на стулѣ, положите одну ногу на колѣно другой ноги, то увидите, что носокъ свободно висящей ноги постоянно, независимо отъ вашей воли, движется взадъ и впередъ; если вы повѣсите на ступню этой ноги пудовую гирю (предполагая, что вы будете въ силахъ сдержать ее), то и эта гиря не помѣшаетъ колебаніямъ носка, которыя будутъ совершаться прежнимъ темпомъ и, по прежнему, независимо отъ вашей воли. Это колебаніе носка происходитъ отъ біенія сердца и отъ прилива крови въ артерію ноги. Если разрѣзать одну изъ большихъ артерій, то сила, съ которою брызнетъ изъ нея кровь, дастъ намъ понятіе о силѣ импульса, сообщеннаго этой крови сжатіемъ сердца. У собакъ и овецъ кровь брызжетъ даже изъ малыхъ артерій на шесть футовъ въ вышину. Скорость, съ которой волна крови идетъ отъ сердца по артеріямъ, равняется 28 парижскимъ футамъ въ секунду.

Весь рядъ явленій, относящихся къ кровообращенію, очень недавно сдѣлался достояніемъ науки. Запутанность и ложность понятій, господствовавшихъ объ этомъ предметѣ въ древности, превосходитъ всякое вѣроятіе. Греки и римляне были увѣрены въ томъ, что наши жилы наполнены воздухомъ. Римскій медикъ Галенъ, жившій въ половинѣ второго вѣка послѣ Рождества Христова, первый доказалъ, что въ жилахъ заключается кровь, и что въ однѣхъ жилахъ эта кровь отличается темнокраснымъ цвѣтомъ, а въ другихъ—яркокраснымъ. Во второй половинѣ шестнадцатаго столѣтія испанскій медикъ Михаилъ Серветъ открылъ движеніе крови отъ сердца къ легкимъ и отъ легкихъ обратно къ сердцу. Религіозный фанатизмъ не пощадилъ этого замѣчательнаго человѣка, и Кальвинъ сжегъ его на кострѣ въ Женевѣ, доказывая такимъ образомъ потомству, что начало реформаціи далеко не совпадаетъ съ началомъ вѣротерпимости. Несмотря на преслѣдованія и казни, несмотря на презрѣніе и невнимательность легкомысленной массы, духъ живой любознательности и терпѣливаго изученія пробивалъ себѣ дорогу, опрокидывалъ нагроможденныя препятствія и дарилъ плоды своихъ трудовъ тому самому человѣчеству, которое не умѣло распознавать своихъ истинныхъ друзей и не понимало значенія ихъ дѣятельности. Въ началѣ семнадцатаго столѣтія англичанинъ Гарвей открылъ, что движеніе крови совершается во всемъ тѣлѣ, описалъ пути, по которымъ кровь выходитъ изъ сердца и возвращается къ сердцу, и этимъ міровымъ открытіемъ положилъ основаніе новой, истинно-научной физіологіи, основанной на наблюденіи и не имѣющей ничего общаго съ прежними гаданіями и фразистыми разсужденіями.

Открытіе Гарвея встрѣтило себѣ рѣзкую оппозицію со стороны ученыхъ мечтателей того времени. Медицинскій факультетъ парижскаго университета возражалъ самыми оригинальными аргументами. «Жизнь, писалъ физіологъ Бурдахъ, потеряетъ свой идеальный блескъ, если мы рѣшимся простымъ механизмомъ объяснить теченіе крови, составляющее такую существенную часть ея проявленія».

Закаленные натурфилософы, смотрѣвшіе на вещи умственными очами, не признали существованія кровообращенія; они остались при томъ убѣжденіи, что «кажущееся движеніе крови есть необъяснимое чудо (miraBile dictu), колебаніе между бытіемъ и небытіемъ». Благодаря такому глубокомысленному и удобопонятному воззрѣнію на тѣ факты, которые легко и свободно объяснялись непосредственнымъ наблюденіемъ, натурфилософія постепенно стала терять ореолъ своего величія, и въ XIX столѣтіи окончательно сошла съ того пьедестала, на которомъ она стояла вслѣдствіе невѣжества массъ и шарлатанства ученыхъ. Бюхнеръ говоритъ, что его учитель физіологіи былъ отчаянный натурфилософъ, старавшійся кудреватыми фразами убѣдить своихъ слушателей въ вѣрности своихъ идей и постоянно бранившій тѣхъ ученыхъ, которые хотѣли тѣлесными глазами увидѣть вещи и процессы, доступные только умственному оку. А въ это время тѣлесные глаза разсмотрѣли волосные сосуды, соединяющіе тонкія артеріи съ тонкими венами, охватывающіе всѣ части тѣла частой, тонкой подкожной сѣткой и такимъ образомъ замыкающіе собою тѣ пути, по которымъ кровь обтекаетъ все тѣло. При помощи микроскопа открылась для изслѣдователей возможность собственными глазами разсматривать теченіе крови въ волосныхъ сосудахъ живыхъ существъ.

«Трудно себѣ представить болѣе великолѣпную микроскопическую картину», говоритъ Бенеке въ своихъ физіологическихъ этюдахъ, «чѣмъ ту, которую представляетъ подъ микроскопомъ плавательная кожа живой лягушки. Постепенно суживающіеся, извивающіеся каналы, образующіе собою петли, проходятъ въ видѣ сѣтки чрезъ эту кожу; въ нихъ движется свѣтложелтоватая кровяная жидкость, и въ серединѣ этихъ рѣчекъ катятся, подобно песчинкамъ на днѣ прозрач-

наго ручья, красные кровяные пузырьки; въ большихъ сосудахъ ихъ очень много, въ меньшихъ они по одиночкѣ слѣдуютъ другъ за другомъ. Слой жидкости, прилегающій къ стѣнкѣ сосуда, движется гораздо медленнѣе, чѣмъ средній потокъ, несущій въ себѣ кровяные пузырьки; если внимательно наблюдать за движеніемъ крови въ волосныхъ сосудахъ, то можно замѣтить, что оно совершается гораздо медленнѣе, чѣмъ въ большихъ сосудахъ; это обстоятельство очевидно указываетъ на то взаимное вліяніе, которое существуетъ между кровью и органическими тканями».

Натуралистъ Левенгукъ первый увидѣлъ обращеніе крови въ волосныхъ сосудахъ въ хвостѣ живой ящерицы. «Тутъ», говоритъ онъ, «мнѣ представилось такое восхитительное зрѣлище, какого до тѣхъ поръ еще не видывали мои глаза. Я открылъ въ различныхъ мѣстахъ болѣе пятидесяти различныхъ циркуляцій крови. Я увидѣлъ, какъ кровь чрезъ необыкновенно тонкіе сосуды идетъ отъ середины хвоста къ краямъ его, и какъ потомъ каждый сосудъ поворачиваетъ назадъ и приводитъ кровь обратно къ серединѣ хвоста, откуда она отправляется далѣе по дорогѣ къ сердцу».

IV.

Вглядитесь въ общую жизнь природы, въ прозябаніе растенія, въ существованіе животнаго, и вы увидите, что необходимымъ условіемъ всякой органической жизни, всякаго движенія, измѣненія и развитія является теплота.

Теплота, или, какъ ее называютъ въ физикѣ, теплородъ, не есть матерія; это—движеніе; присутствіе теплоты проявляется всегда въ движеніи того вещества, на которое она дѣйствуетъ; вездѣ, гдѣ есть движеніе, тамъ обнаруживается и теплота.

Представьте себѣ картину природы въ лѣтній день, когда теплота всего сильнѣе дѣйствуетъ на окружающіе предметы, и сравните эту картину съ тѣмъ зрѣлищемъ, которое представляетъ та же самая мѣстность зимой, при сильномъ морозѣ. Въ первомъ случаѣ вы увидите растительную жизнь во всемъ ея роскошномъ развитіи, во второмъ — вы не увидите ничего, кромѣ необозримой, утомительно однообразной снѣговой равнины. Положимъ, что 7-го іюня вы захотите взглянуть на дерево, которое вы внимательно осматривали 1-го іюня; вы навѣрное найдете въ немъ замѣтную перемѣну; тамъ распустился новый цвѣтокъ, здѣсь осыпались отжившіе цвѣтки и завязались плоды, тутъ молодой побѣгъ увеличился въ длинѣ и объемѣ. Если же вы 7-го января посмотрите на снѣговую равнину, гдѣ вамъ пришлось гулять 7-го декабря, то вы вѣроятно не замѣтите никакой перемѣны; вы увидите можетъ быть, что количество снѣга увеличилось или уменьшилось, что сугробы его окрѣпли или сдѣлались рыхлѣе, что по дорогѣ образовались лужи или ледяные раскаты. Лѣтній пейзажъ измѣняется въ своихъ отдѣльныхъ частяхъ, развивается и живетъ подъ вліяніемъ теплоты въ каждомъ деревѣ, въ каждой былинкѣ; зимній пейзажъ, благодаря уменьшенію теплоты, показываетъ намъ оцѣпенѣніе органической жизни, неподвижность и утомительное однообразіе застоя. Скудныя измѣненія, которыя иногда происходятъ въ этомъ зимнемъ пейзажѣ и которыя не имѣютъ ничего общаго съ развитіемъ органической жизни, совершаются все-таки при содѣйствіи теплоты. Если мы вообразимъ себѣ такую мѣстность, на которой круглый годъ стоитъ тридцатиградусный морозъ, то эта мѣстность никогда не измѣнится; пройдутъ цѣлые вѣка, и она попрежнему останется холодной, пустынной и безжизненной; тѣ же снѣжные сугробы, тѣ же ледяныя глыбы, ни на одинъ вершокъ не измѣнившія своей фигуры, будутъ попрежнему останавливать на себѣ глаза наблюдателя. Но пусть въ эту оцѣпенѣвшую, застывшую мѣстность загляпетъ солнце, пусть начнется сильная оттепель—и черезъ день вы ее не узнаете; ледяные утесы расплывутся, снѣговые сугробы осядутъ, зашумитъ вода, потекутъ мутные ручьи; органическая жизнь, придавленная долговременнымъ холодомъ, не успѣетъ еще пробиться, но обнаружится движеніе, заслышится шумъ и плескъ воды, и мертвенная тишина ледяного застоя окажется нарушенной, благодаря сильному притоку живительной теплоты. Возьмите другой мелкій примѣръ изъ вседневной жизни. Если вы хотите сохранить кусокъ мяса въ неиспорченномъ видѣ, вы кладете его въ холодное мѣсто. Холодъ останавливаетъ или по крайней мѣрѣ значительно замедляетъ процессъ гніенія.

Гніеніе—не что иное, какъ одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни въ природѣ. Гніющій кусокъ мяса разлагается на свои составныя части, поступаетъ въ общую экономію природы, и, облекаясь въ новыя формы, образуя новыя тѣла, продолжаетъ принимать участіе въ общемъ круговоротѣ жизни. Жизнь—не что иное, какъ движеніе, переходъ изъ формы въ форму, постоянное, неугомонное превращеніе, разрушеніе и созиданіе, слѣдующія другъ за другомъ и вытекающія другъ изъ друга. Задерживая гніеніе куска мяса, холодъ исполняетъ наши желанія; но здѣсь, какъ и вездѣ, онъ задерживаетъ теченіе жизни и сковываетъ ея проявленія. Когда мы беремъ съ ледника сохранившійся кусокъ мяса, когда, приготовивъ его по своему вкусу, мы съѣдаемъ его за обѣдомъ или за завтракомъ, тогда задерживающее дѣйствіе холода прекращается, и мясо, подъ вліяніемъ желудочныхъ кислотъ и теплоты нашихъ пищеварительныхъ органовъ, разлагается, входитъ въ нашу кровь, служитъ къ образованію нашихъ органическихъ

тканей и такимъ образомъ снова начинаетъ принимать участіе въ движеніи вещества и въ общемъ процессѣ жизни. Вы видите такимъ образомъ, что и здѣсь движеніе началось вмѣстѣ съ притокомъ теплоты.

Всѣ мы знаемъ изъ физики и изъ вседневной жизни, что дѣйствіе теплоты измѣняетъ форму и свойства тѣлъ, подверженныхъ ея вліянію. Ледъ превращается въ воду, вода превращается въ паръ, металлы становятся мягкими и наконецъ переходятъ въ жидкое состояніе, и всѣ эти измѣненія происходятъ отъ дѣйствія теплоты. Норма этихъ измѣненій для всѣхъ тѣлъ одинакова; твердое тѣло, нагрѣвалсь, становится жидкимъ и наконецъ улетучивается въ видѣ газа. Теплота расширяетъ тѣла, т. е. ослабляетъ связь между ихъ атомами; при усиленіи теплоты, связь эта становится такъ слаба, что твердое тѣло растекается; когда теплота становится еще сильнѣе, тогда вмѣсто прежняго плотнаго сцѣпленія между атомами является полное разъединеніе, даже взаимное отталкиваніе, и прежняя твердая масса разлетается въ видѣ газа. Мы привыкли видѣть желѣзо въ твердомъ состояніи, ртуть и воду въ жидкомъ, воздухъ въ газообразномъ; мы считаемъ этотъ видъ названныхъ веществъ нормальнымъ и прочнымъ, потому что эти вещества находятся именно въ такомъ видѣ при той температурѣ, при которой намъ удобно и возможно жить. На самомъ же дѣлѣ то или другое вещество находится въ твердомъ, жидкомъ или газообразномъ состояніи, только благодаря количеству теплоты, разлитому въ немъ и вокругъ него. Еслибы мы могли искусственнымъ путемъ производить безконечно высокую и безконечно низкую температуру, то мы конечно могли бы получить газообразное желѣзо, жидкій кислородъ, твердый азотъ. Газообразное желѣзо получилось бы при страшномъ жарѣ, а жидкій кислородъ или твердый азотъ—при чрезвычайно сильномъ холодѣ.

Расширяясь отъ дѣйствія теплоты, тѣла стремятся занять большее пространство и слѣдовательно оказываютъ давленіе на все, что ихъ окружаетъ. На этомъ общемъ свойствѣ тѣлъ основано устройство паровыхъ машинъ; по этому же самому свойству порохъ, вспыхивая отъ прикосновенія зажженнаго фителя, съ огромной силой вырывается въ видѣ газа изъ дула артиллерійскаго орудія и выбрасываетъ ту чугунную массу, которая мѣшала его выходу. Вода подъ вліяніемъ теплоты постепенно переходитъ изъ одного вида въ другой, постепенно расширяется и усиливаетъ свое давленіе; на этомъ основаніи вода, подверженная дѣйствію теплоты, можетъ при извѣстныхъ предосторожностяхъ быть употреблена, какъ двигательная сила; порохъ, напротивъ того, не таетъ, а мгновенно изъ твердаго состоянія переходитъ въ газообразное; поэтому расширеніе его совершается такъ быстро и въ такихъ обширныхъ размѣрахъ, что оно ломаетъ и коверкаетъ всѣ препятствія, словомъ, производитъ то, что мы называемъ взрывомъ и что водяной паръ можетъ произвести только вслѣдствіе неопытности и оплошности машиниста. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, присутствуя при дѣйствіи паровой машины и при выстрѣлѣ изъ орудія, мы видимъ, что вліяніе теплоты развиваетъ извѣстное количество механической силы.

Теоретическая физика въ новѣйшее время открыла одинъ изъ важнѣйшихъ міровыхъ законовъ—законъ сохраненія или неразрушимости силы. Сохраненіе или неразрушимость силы заключается въ томъ, что ни въ какомъ случаѣ никакая сила не уничтожается и не возникаетъ вновь. Передъ нашими глазами совершается постоянно переходъ силы изъ одной формы въ другую; какъ ни одна частица матеріи не пропадаетъ и не уничтожается, а только видоизмѣняется, такъ точно ни одна частица какой бы то ни было силы не утрачивается, а только принимаетъ иногда такую форму, которая скрываетъ ее отъ нашего наблюденія. «Механическая, химическая, электрическая, магнетическая сила, теплота, свѣтъ превращаются другъ въ друга; величина или количество силы остается неизмѣненнымъ, несмотря на то, что самая сила проявляется въ той или другой формѣ». Мы уже видѣли, говоря о паровыхъ машинахъ, какимъ образомъ теплота превращается въ механическую силу. Точно такъ-же и механическая сила способна превращаться въ теплоту. Дикари добываютъ огонь, разгорячая два куска дерева посредствомъ сильнаго тренія.

Пила, которою работаетъ дюжій ремесленникъ, разогрѣвается вслѣдствіе тренія такъ сильно, что можетъ обжечь руку своимъ прикосновеніемъ; въ Мюнхенѣ, на литейномъ заводѣ, производились опыты, которые доказали, что, безъ впѣшняго нагрѣванія, однимъ треніемъ машины можно довести воду до точки кипѣнія. Температура воды возвышается даже отъ взмѣщиванія и взбалтыванія. Силою падающей воды или дѣйствіемъ вѣтра можно натопить цѣлую комнату, если приложить эти силы къ вращенію большого деревяннаго цилиндра въ металлическомъ поломъ цилиндрѣ, тѣсно прилегающемъ къ первому. Это отопленіе будетъ происходить такимъ образомъ: металлическій цилиндръ накалится отъ сильнаго тренія и, подобно желѣзной печи, будетъ выдѣлять въ окружающіе слои воздуха количество теплоты, соразмѣрное съ силою тренія, съ величиною обоихъ цилиндровъ и съ продолжительностію движенія всего снаряда. Каждому извѣстно, что оси экипажныхъ колесъ дымятся и обугливаются вслѣдствіе скорой и продолжительной ѣзды, особенно въ томъ случаѣ, если между осью и втулкой нѣтъ вещества, ослабляющаго треніе, т. е., говоря простымъ языкомъ, если колеса не смазаны. Кузнецы умѣютъ ударами молотка довести гвоздь до раскаленна-

го состоянія. Ледъ, сдавленный гидравлическимъ прессомъ, превращается въ воду, потому что сила давленія порождаетъ то количество теплоты, которое необходимо для того, чтобы растопить ледъ.

Всѣ эти примѣры сводятся къ одному общему положенію: каждой механической работѣ соотвѣтствуетъ извѣстное количество теплоты; когда теплота производитъ механическую работу, тогда исчезаетъ извѣстное количество теплоты, соотвѣтствующее произведенной работѣ: потративъ вновь эту же самую работу, можно произвести то же количество теплоты. Машинистъ разводитъ огонь подъ котломъ паровой машины; дрова горятъ яркимъ пламенемъ, слѣдовательно то количество теплоты, которое въ нихъ заключается, истрачивается; вы думаете, что эта теплота пропала? Ошибаетесь. Вода превращается въ паръ, слѣдовательно теплота выражается въ формѣ движенія и видоизмѣненія вещества; паровая машина приходитъ въ движеніе, слѣдовательно теплота превращается въ механическую работу; вслѣдствіе этой механической работы разогрѣваются тѣ части машины, въ которыхъ происходитъ треніе, слѣдовательно работа опять превращается въ теплоту, которая въ свою очередь можетъ быть превращена въ работу и т. д. до безконечности.

Законъ неразрушимости силы имѣетъ свое несомнѣнное и огромное значеніе какъ теоретическое положеніе, какъ одинъ изъ краеугольныхъ камней раціональнаго міросозерцанія. Практическое примѣненіе этого закона не всегда возможно.

Ясно какъ день, что въ природѣ не пропадаетъ ни одинъ клочекъ матеріи, ни одна частичка силы, по той простой причинѣ, что имъ некуда пропасть, некуда вывалиться изъ этого безпредѣльнаго ящика. Но точно такъ же ясно и то, что для насъ, для нашихъ цѣлей, интересовъ и потребностей ежедневно и ежеминутно пропадаетъ и матерія, и сила. Если вы прольете на полъ рюмку вина, которую вы несете къ губамъ, то она для васъ пропала, хотя природа конечно не потеряла отъ этого ни одного атома. Если у васъ горитъ лѣсъ, то для васъ пропадаетъ то количество теплоты, которое заключалось въ деревьяхъ, пропадаетъ, несмотря на то, что воздухъ, окружающій вашъ сгорѣвшій лѣсъ, оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени; возвышенная температура этого воздуха производитъ движеніе въ воздухѣ—вѣтеръ; слѣдовательно, въ природѣ неразрушимость силы остается существующимъ фактомъ. Лѣсъ вашъ сгорѣлъ, воздухъ нагрѣлся, поднялся вѣтеръ. Химическое измѣненіе дерева породило теплоту, теплота породила движеніе. Это васъ однако нисколько не утѣшаетъ, и вы спрашиваете съ оттѣнкомъ досады: да для чего же все это? Кому это нужно? Кому отъ этого польза?—Для чего? Съ такимъ вопросомъ смѣшно даже обращаться къ явленіямъ природы. Ставить ей какія бы то ни было требованія значитъ сходиться въ міросозерцаніи съ Ксерксомъ, бичевавшимъ Дарданельскій проливъ за поднявшуюся на немъ бурю. Въ такомъ міросозерцаніи можетъ быть много поэзіи, но очень мало здраваго смысла. О сгорѣвшемъ лѣсѣ можно пожалѣть, какъ можно пожалѣть о проигранныхъ деньгахъ, но отожествлять свои интересы съ интересами природы нелѣпо; природа не сдѣлается бѣднѣе отъ какого-нибудь пожара или наводненія, потому что всѣ частицы сгорѣвшаго лѣса или затопленной земли остаются попрежнему въ полномъ и безотчетномъ ея распоряженіи. Ваше личное положеніе, положеніе милліоновъ людей можетъ сдѣлаться бѣдственнымъ и невыносимымъ, но природѣ до этого обстоятельства нѣтъ и не можетъ быть никакого дѣла. Вамъ хорошо жить—живите, не можете жить—умирайте, и она сейчасъ же распорядится съ составными элементами вашего тѣла.

Я позволилъ себѣ это отступленіе единственно для того, чтобы сдѣлать разграниченіе между жизнью природы и нашей человѣческой жизнью, изъ которой мы такъ часто, совершенно невпопадъ, выхватываемъ мѣрки, прилагаемыя нами къ оцѣнкѣ физическихъ явленій. Природу надо изучать, а мы вмѣсто того становимся къ ней въ разныя натетическія отношенія, тратимъ время на возгласы, отуманиваемъ свой мозгъ разными фантасмагоріями, въ которыхъ одни люди находятъ красоту, другіе отраду, третьи даже смыслъ и послѣдовательность. Пора однако возвратиться къ теплотѣ.

Конечный источникъ всѣхъ силъ, дѣйствующихъ на землѣ, всякой дѣятельности, проявляющейся на нашей планетѣ, заключается въ лучахъ солнца; они льютъ на землю свѣтъ и теплоту, они производятъ движеніе воды въ океанахъ и озерахъ, въ рѣкахъ и бассейнахъ; они поднимаютъ въ воздухъ водяные пары, порождаютъ облака, служатъ причиной дождя, града, снѣга; они производятъ теченія въ атмосферѣ или вѣтры; они вызываютъ изъ земли растительную жизнь и поддерживаютъ эту жизнь вліяніемъ свѣта и теплоты; они орошаютъ луга, поля, лѣса потоками той воды, которая при ихъ содѣйствіи поднимается въ видѣ паровъ и носится въ воздухѣ подъ названіемъ тучъ, тумановъ и облаковъ.

Животныя и люди, существующіе по милости солнечныхъ лучей, обращаютъ въ свою пользу ихъ вліяніе на почву и растительность. Травоядныя питаются растеніями, не спрашивая о причинѣ ихъ происхожденія; плотоядныя пожираютъ травоядныхъ, не заботясь о ихъ разведеніи; человѣкъ оказывается смышленѣе тѣхъ и другихъ: онъ не довольствуется тѣмъ, что нечаянно перепадаетъ на его долю; онъ пользуется силами и движеніями, возникающими подъ живительнымъ вліяніемъ солнечныхъ лучей; онъ ловитъ тѣ

формы матеріи и силы, которыя кажутся ему удобными; онъ принимаетъ свои мѣры, для того чтобы эти удобныя формы сохранялись какъ можно долѣе или измѣнялись именно тогда, когда ему это необходимо. Онъ сохраняетъ запасы дерева и сжигаетъ ихъ тогда, когда теплота солнечныхъ лучей оказывается недостаточной; онъ ловитъ вѣтеръ и по вѣтру распускаетъ паруса своего корабля или направляетъ крылья своей вѣтряной мельницы; онъ бросаетъ въ землю сѣмена растеній, разсчитывая время такъ, чтобы растеніе успѣло вызрѣть и принести плоды раньше наступленія холода. Не создавая въ природѣ новыхъ силъ, человѣкъ пользуется существующимъ капиталомъ и примѣняется къ неизмѣняемымъ физическимъ законамъ. Во всѣхъ случаяхъ, во всѣхъ отрасляхъ своей дѣятельности онъ постоянно, посредственно или непосредственно, эксплоатируетъ вліяніе солнечныхъ лучей. «Сила, говоритъ Бюхнеръ, съ которою локомотивъ несется по рельсамъ, есть капля солнечной теплоты, заключенная въ растеніяхъ силами природы за милліоны лѣтъ тому назадъ и въ настоящую минуту превращенная въ механическую работу посредствомъ машины, приготовленной рукою человѣка».

Еслибы солнце перестало согрѣвать и освѣщать землю, то наша планета въ самое короткое время превратилась бы въ ледяную глыбу; растительность исчезла бы немедленно; вмѣстѣ съ растительностью погибли бы тѣ животныя, которыя не защищены рукою человѣка и сами по себѣ не способны согрѣваться искусственно произведенной теплотой. Человѣкъ нѣсколько времени боролся бы съ природой, запираясь въ своихъ домахъ, отапливая ихъ мерзлыми остатками растительнаго царства, защищая своихъ домашнихъ животныхъ отъ разрушительнаго дѣйствія холода и питаясь набранными запасами. Но этихъ искусственныхъ средствъ хватило бы не надолго; холодъ и голодъ погубили бы человѣка вслѣдъ за другими животными, органическая жизнь остановилась бы окончательно, и замерзшая земля превратилась бы въ страшную, громадную пустыню.

Отдавая себѣ такимъ образомъ ясный отчетъ въ томъ всеобъемлющемъ вліяніи, которое солнечная теплота оказываетъ на всѣ отправленія нашей жизни, мы будемъ въ состояніи понять, почему первобытные народы, не слыхавшіе ученія объ *истинномъ Богѣ*, поклонялись солнцу и огню, который они считали земнымъ отраженіемъ небеснаго свѣтила. Первобытныя религіи основаны на обоготвореніи силъ природы и выражаютъ собою міросозерцаніе народа въ томъ періодѣ, въ которомъ философія и наука были неразлучны съ поэзіей и въ которомъ идея представлялась уму не иначе, какъ въ яркомъ, фантастически разукрашенномъ образѣ. Правильный инстинктъ первобытнаго человѣка указалъ ему на ту важную роль, которую въ нашей жизни играетъ солнце; человѣкъ угадалъ связь, существующую между появленіемъ солнца на небосклонѣ и процвѣтаніемъ органической жизни на землѣ; онъ понялъ свою зависимость отъ климатическихъ измѣненій, обусловливающихся дѣйствіемъ солнца; впечатлительный, какъ ребенокъ, онъ упалъ на колѣни передъ источникомъ жизни и наслажденія; онъ заговорилъ съ нимъ своимъ языкомъ, онъ думалъ умилостивить его мольбами и жертвами, а солнце обливало его попрежнему своимъ безучастнымъ свѣтомъ и согрѣвало его такъ же безсознательно и непроизвольно, какъ согрѣвало какую-нибудь полевую мышь или безчувственный камень.

V.

Когда мы прикасаемся рукой къ какому-нибудь предмету, то чувствуемъ, что онъ теплъ или холоденъ; мы различаемъ эти два понятія въ разговорномъ языкѣ и даже считаемъ ихъ діаметрально противоположными; на самомъ же дѣлѣ этой противоположности не существуетъ; между горячимъ и холоднымъ предметомъ существуетъ только количественное различіе; въ горячемъ предметѣ находится больше теплоты, чѣмъ въ нашей рукѣ, въ холодномъ — меньше; когда мы дотрогиваемся до горячаго предмета, то теплота изъ этого предмета проникаетъ въ нашу руку; если же мы кладемъ руку на холодный предметъ, то теплота изъ нашей руки переходитъ въ этотъ предметъ, и мы чувствуемъ потерю теплоты точно такъ же, какъ въ первомъ случаѣ чувствуемъ приращеніе теплоты въ нашемъ собственномъ тѣлѣ. Такимъ образомъ, судя о температурѣ окружающихъ предметовъ, называя каленое желѣзо горячимъ, а ледъ — холоднымъ, мы только выражаемъ отношеніе, въ которомъ находится теплота этихъ предметовъ къ теплотѣ нашего тѣла.

Средняя температура нашего тѣла колеблется между 28 и 30 градусами Реомюра; эта температура не можетъ быть ни возвышена, ни понижена, не подвергая опасности здоровья и даже жизни; на поверхности нашего тѣла, особенно въ оконечностяхъ и въ тѣхъ частяхъ, которыя не покрыты платьемъ, эта температура подвержена значительнымъ измѣненіямъ, не представляющимъ ни малѣйшей опасности. Лицо, руки и ноги человѣка, пробывшаго около часу на открытомъ воздухѣ въ зимнее время, будутъ очень холодны, когда онъ возвратится въ комнату; потомъ, когда кровь опять прильетъ въ волосные сосуды, сжавшіеся отъ дѣйствія холода, лицо, руки и ноги сдѣлаются теплѣе, чѣмъ они были до выхода на улицу; каждый изъ моихъ читателей вѣроятно испыталъ на себѣ, какъ горитъ лицо при переходѣ изъ холоднаго воздуха въ болѣе теплый; эти измѣненія температуры, быстро слѣдующія

другъ за другомъ, нисколько не вредятъ нашему здоровью, если они проявляются только въ нашей кожѣ и въ конечностяхъ тѣла. Что же касается до степени теплоты нашей крови и нашихъ внутренностей, то она не можетъ измѣняться, не подвергая насъ опаснымъ болѣзнямъ, или не являясь слѣдствіемъ подобныхъ болѣзней.

Положимъ, говоритъ Льюисъ въ своей «Физіологіи обыденной жизни», что въ комнатѣ виситъ птичья клѣтка. Атмосфера комнаты измѣняетъ степень своей теплоты, смотря по времени года и по свойствамъ каждаго отдѣльнаго дня. Лучи лѣтняго солнца и холодный сѣверный вѣтеръ проникаютъ въ комнату и измѣняютъ температуру тѣхъ мѣдныхъ прутьевъ, изъ которыхъ составлена клѣтка. Но въ это время птица, сидящая въ клѣткѣ, не становится ни теплѣе, ни холоднѣе. Ни лучи августовскаго солнца, ни пронзительный декабрьскій вѣтеръ не увеличиваютъ ея нормальной теплоты, которая вообще можетъ измѣниться только на одинъ или на два градуса. Какимъ образомъ, спрашиваетъ Льюисъ, можетъ птица, подверженная внѣшнему вліянію измѣнчивой температуры, постоянно сохранять такую высокую степень собственной теплоты?

На этотъ вопросъ можно дать слѣдующій прямой отвѣтъ: каждый живой организмъ заключаетъ въ себѣ источникъ самостоятельно развивающейся теплоты. Такого рода отвѣтъ обобщаетъ вопросъ, поставленный Льюисомъ, но конечно нисколько не рѣшаетъ предложенной задачи. Мы видимъ, что всѣ организмы развиваютъ въ себѣ извѣстную степень теплоты; надо теперь объяснить, какимъ образомъ совершается въ организмахъ этотъ замѣчательный процессъ.

Когда признавали существованіе особенной, необъяснимой жизненной силы, тогда на ея широкія плечи сваливались всѣ тѣ явленія, которыя изслѣдователи не могли объяснить себѣ вслѣдствіе незнанія фактовъ или лѣности мысли. Вмѣстѣ съ другими процессами былъ отправленъ въ обширную область жизненной силы и процессъ развитія органической теплоты. Нѣкоторые физіологи, совѣстившіеся прикрывать свое незнаніе избитой вывѣской жизненной силы, пытались доказать, что животная теплота есть слѣдствіе таинственной дѣятельности нервовъ. И тѣ, и другіе витали въ области гипотезъ и не могли привести въ подтвержденіе своихъ догадокъ ни одного факта, выдерживающаго серьезную, научную критику.

Въ концѣ XVIII столѣтія атмосферный воздухъ былъ разложенъ на свои составныя части, и ученые того времени узнали замѣчательныя свойства кислорода. Открытіе кислорода повело къ пониманію процесса горѣнія. Изслѣдователи убѣдились въ томъ, что всякое горѣніе есть не что иное, какъ окисленіе какого-нибудь тѣла или соединеніе его съ кислородомъ; когда какое-нибудь тѣло соединяется съ кислородомъ, то оно сгораетъ и развиваетъ извѣстную степень теплоты; какъ бы ни совершалось это соединеніе, медленно или быстро, съ пламенемъ или безъ пламени, оно все-таки сопровождается извѣстной степенью теплоты, хотя иногда эта теплота развивается такъ медленно, что мы не можемъ убѣдиться въ ея существованіи ни непосредственнымъ чувствомъ, ни термометромъ.

Узнавши о существованіи кислорода, ученые прошлаго столѣтія узнали также, что кислородъ необходимъ для поддержанія животной жизни, и что процессъ дыханія заключается именно въ поглощеніи кислорода, проникающаго въ легкія и соединяющагося съ кровью. Кислородъ соединяется съ кровью, и всякое соединеніе съ кислородомъ есть горѣніе медленное или быстрое, неразлучное съ развитіемъ большей или меньшей степени теплоты. Такого рода мысль еще въ концѣ XVIII в. пришла въ голову французскимъ ученымъ Лавуазье и Лапласу. Съ ними сошлись на этой идеѣ англичане Блекъ и Крофордъ, и животная теплота была объяснена этими изслѣдователями, какъ слѣдствіе горѣнія, совершающагося внутри организма. Въ двадцатыхъ годахъ нашего столѣтія французы Дюлонгъ и Депрецъ дали этой идеѣ вполнѣ научную обработку; кромѣ того, знаменитый нѣмецкій химикъ Либихъ посвятилъ вопросу о животной теплотѣ самыя тщательныя изслѣдованія и дошелъ до того заключенія, что большая часть теплоты, развивающейся въ тѣлѣ животнаго, происходитъ отъ сожженія углерода и водорода въ углекислоту и въ воду. Углеродъ и водородъ заключаются въ самомъ организмѣ, а кислородъ притекаетъ изъ атмосфернаго воздуха и, соединяясь съ этими элементами, образуетъ, какъ результаты горѣнія, углекислоту и воду.

Кислородъ черезъ легкія входитъ въ наше тѣло; въ легкихъ онъ соединяется съ кровью; кровь, насыщенная кислородомъ, идетъ во всѣ части нашего тѣла и несетъ съ собой то количество кислорода, которое, соединяясь съ органическими тканями и пережигая ихъ, развиваетъ во всѣхъ частяхъ тѣла животнаго теплоту и потомъ выдѣляется вмѣстѣ съ пережженными веществами въ видѣ углекислоты, аммоніака и воды. Поэтому животная теплота порождается не въ однихъ легкихъ, но во всякомъ мѣстѣ, въ которомъ кислородъ соприкасается съ другими веществами, способными окисляться. Притокъ кислорода въ легкія можно сравнить съ той тягой воздуха, которая необходима для того, чтобы поддерживать горѣніе дровъ въ печи. Тяга эта необходима для развитія теплоты въ печкѣ, но теплота развивается не въ томъ мѣстѣ, въ которомъ воздухъ вливается въ печку, а въ томъ, въ которомъ кислородъ этого воздуха соединяется съ углеродомъ

горящаго дерева. Такъ точно и животная теплота развивается не въ самыхъ легкихъ, представляющихъ только дверь для прохода атмосфернаго воздуха, а во всѣхъ частяхъ нашего тѣла, вездѣ, гдѣ совершается горѣніе, вездѣ, гдѣ кислородъ, заключенный въ крови, соединяется съ углеродомъ и водородомъ прилегающихъ тканей.

Постоянный обмѣнъ веществъ, составляющихъ ткани нашего тѣла, постоянное созиданіе и разрушеніе этихъ тканей при содѣйствіи атмосфернаго кислорода, являются такимъ образомъ главными и даже единственными причинами животной теплоты. Чѣмъ быстрѣе совершается этотъ обмѣнъ веществъ, тѣмъ сильнѣе развивается теплота; чѣмъ медленнѣе онъ происходитъ, тѣмъ слабѣе вырабатывается теплота. Надъ кроликами производили слѣдующій любопытный опытъ. Кролика обрили и вымазали лакомъ, не пропускающимъ воздуха; повидимому слѣдовало бы ожидать, что кролику будетъ очень тепло, потому что воздухъ не будетъ касаться его тонкой, обнаженной кожи. Вышло однако совершенно наоборотъ; теплота кролика быстро понизилась на 14, потомъ даже на 18 градусовъ, и вслѣдъ за тѣмъ, похолодѣвши заживо, кроликъ околѣлъ. Почему же такъ случилось? А потому, что лакъ закрылъ поры кожи, и потому черезъ эти поры не могли выдѣляться ни газообразныя, ни жидкія испаренія. Пережженныя вещества, выдѣляющіяся чрезъ кожу, должны были оставаться въ тѣлѣ кролика и своимъ накопленіемъ замедлили общій обмѣнъ веществъ, служащій источникомъ всякой животной теплоты. Смерть вымазаннаго кролика можетъ быть замедлена только притокомъ теплоты изъ окружающаго воздуха; въ холодной комнатѣ кроликъ умираетъ скорѣе, чѣмъ въ теплой. Животныя, умирающія отъ голода, также живутъ дольше въ искусственно нагрѣтомъ воздухѣ.

Чтобы поддерживать въ нашемъ тѣлѣ то горѣніе, которое производитъ животную теплоту, мы должны постоянно принимать въ себя постороннія вещества, которыя пережигаются въ нашей крови послѣ своего предварительнаго превращенія въ органическія ткани. Эти постороннія вещества, называющіяся общимъ именемъ пищи,—различными процессами, совершающимися въ нашемъ тѣлѣ, перерабатываются въ плоть и кровь и развиваютъ силу теплоты, электричество, необходимое для нервовъ, механическую силу, проявляющуюся въ мускулахъ, и ту особенную, неизслѣдованную силу, которой отправленія происходятъ въ мозгу. Пища и кислородъ, постоянно созидающій и постоянно разрушающій, составляютъ, по мнѣнію Молешота, единственные источники тѣхъ силъ, которыя обнаруживаются въ нашемъ тѣлѣ. Это мнѣніе можетъ быть принято какъ осязательная и неопровержимая научная аксіома.

Теплота нашего тѣла измѣняется періодически, смотря по возрасту человѣка, смотря по занятіямъ и по времени дня. У ребенка обмѣнъ веществъ совершается быстрѣе, чѣмъ у взрослаго, и потому тѣло его обыкновенно на одинъ градусъ теплѣе. У старика обмѣнъ веществъ производится медленнѣе, чѣмъ у мужчины среднихъ лѣтъ, и соразмѣрно съ этимъ тѣло его на одинъ градусъ холоднѣе.

Движеніе, гимнастическія упражненія, работа, бѣганье ускоряютъ обмѣнъ веществъ и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышаютъ температуру. Ускоряя горѣніе органическихъ тканей, механическая работа увеличиваетъ потребность въ пищѣ, усиливаетъ аппетитъ. Чѣмъ больше расходъ, тѣмъ больше долженъ быть и приходъ, иначе нельзя будетъ свести концы съ концами, и организмъ рано или поздно обанкрутится. Въ жизни это явленіе очень обыкновенное. Тѣ сословія, которыя всего болѣе напрягаютъ свои физическія силы, питаются самою дешевою и, вслѣдствіе этого, самою непитательною пищей. Пролетарій, работающій съ утра до вечера, выбивающійся изъ силъ, изнемогающій подъ тяжестью труда, нуждается въ хорошемъ кускѣ мяса, въ питательномъ бульонѣ, въ долговременномъ отдохновеніи, а на повѣрку оказывается, что этому человѣку, растрачивающему свои силы съ вынужденной расточительностью, приходится набивать желудокъ хлѣбомъ, капустой и картофелемъ, приходится спать кое-какъ, въ промежутки между работами, безъ хорошей постели, безъ теплаго одѣяла. Послѣдствія такого образа жизни предсказать нетрудно. Преждевременная дряхлость и частыя болѣзни, безотрадная жизнь и ранняя смерть—вотъ что достается на долю голоднаго бѣдняка, работающаго черезъ силу. «Голодъ и холодъ, говоритъ Бюхнеръ, величайшіе враги человѣчества, безпрерывно работающіе надъ гибелью отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ обществъ и всегда достигающіе своей цѣли тамъ, гдѣ изнутри или снаружи не можетъ быть противопоставлено достаточное сопротивленіе».

На этой мысли нѣмецкій физіологъ сходится съ замѣчательнымъ русскимъ поэтомъ:

Голодно, странничекъ, голодно,
Голодно, родименькій, голодно!

отвѣчаютъ прохожему въ «Коробейникахъ» Некрасова луга, звѣри и мужики, у которыхъ этотъ прохожій спрашиваетъ причину ихъ бѣдствій и горестей. Этотъ страшный по своей простотѣ отвѣтъ смѣняется другимъ отвѣтомъ, не менѣе выразительнымъ:

Холодно, странничекъ, холодно,
Холодно, родименькій, холодно.

И въ этихъ двухъ отвѣтахъ сказано столько, сколько не выскажешь десятью поэмами.

Голодъ и холодъ! Этими двумя простыми причинами объясняются всѣ дѣйствительныя страданія человѣчества, всѣ тревоги его исторической жизни, всѣ преступленія отдѣльныхъ

лицъ, вся безправственность общественныхъ отношеній. Вглядитесь въ дѣло внимательно и безъ предубѣжденія, и вы увидите, что въ этой мысли нѣтъ ничего преувеличеннаго.

Я сказалъ выше, что температура нашего тѣла измѣняется періодически въ теченіе сутокъ. Утромъ, когда мы просыпаемся, она возвышается и достигаетъ высшей степени послѣ обѣда, во время пищеваренія. Къ вечеру она понижается и доходитъ до низшей степени во время сна, послѣ полуночи. Когда мы спимъ, процессы дыханія, кровообращенія и обмѣна веществъ вообще совершаются гораздо медленнѣе, чѣмъ тогда, когда мы бодрствуемъ. Вслѣдствіе этого температура нашего тѣла понижается, и мы на этомъ основаніи принуждены ночью покрываться теплѣе, чѣмъ покрываемся днемъ. Ночью всегда легче простудиться, и поэтому слѣдуетъ особенно беречься ночью сквознаго вѣтра, прикосновеніи къ холоднымъ предметамъ, вліянія сырости и т. п. Кто ляжетъ спать на тюфякѣ, принесенномъ съ морозу, тотъ навѣрное можетъ разсчитывать на сильную простуду и на опасную болѣзнь. Люди, не умѣющіе противиться тому желанію заснуть, которое проявляется почти всегда подъ вліяніемъ сильнаго холода, обыкновенно замерзаютъ, потому что во время сна тѣло не вырабатываетъ достаточнаго количества собственной теплоты и слѣдовательно не можетъ бороться съ тѣмъ морозомъ, дѣйствіе котораго оно переносило во время бодрствованія.

Для того, чтобы организмъ взрослаго человѣка находился въ нормальномъ положеніи, чтобы тѣло не увеличивалось и не уменьшалось въ вѣсѣ, не заплывало жиромъ и не доходило до худобы, необходимо соблюдать равновѣсіе между количествомъ принимаемой пищи и быстротою горѣнія органическихъ тканей. Мы видѣли выше, что пролетаріи сжигаютъ больше, чѣмъ сколько они принимаютъ извнѣ, и потому постепенно разрушаютъ свое собственное тѣло. Богатый человѣкъ, проводящій время въ бездѣйствіи, поступаетъ совершенно наоборотъ: онъ принимаетъ въ себя больше, чѣмъ сколько можетъ сжечь, и накопляетъ такимъ образомъ безполезные и обременительные запасы жира. Такой образъ жизни не можетъ быть названъ правильнымъ и неизбѣжно ведетъ за собою разныя неудобства, непріятности и болѣзни, напр. уменьшеніе аппетита, разслабленіе желудка, расположеніе къ апоплексическому удару. Нормальный образъ жизни ведетъ тотъ человѣкъ, который, наѣдаясь до сыта, работаетъ по мѣрѣ силъ; въ этомъ отношеніи умственная работа такъ же полезна, какъ и механическая; дѣятельность мозга, подобно физическому движенію, возвышаетъ температуру тѣла и ускоряетъ процессъ горѣнія. Ученый, просидѣвшій нѣсколько часовъ за такой работой, которая требуетъ напряженія его мыслительной дѣятельности, чувствуетъ сильный аппетитъ, подобный аппетиту поденщика, коловшаго дрова или носившаго воду.

Зимой и лѣтомъ, въ холодный и въ теплый день, температура здороваго человѣка остается неизмѣненною. Между тѣмъ лѣтомъ человѣкъ не тратитъ такъ много теплоты, какъ зимой; холодный воздухъ быстро уноситъ теплоту человѣческаго тѣла, и потому необходимо, чтобы этой теплоты вырабатывалось больше. Дѣйствительно, процессъ горѣнія и развитія животной теплоты усиливается въ холодное время. Человѣкъ и животное начинаютъ дышать глубже и чаще; это ускореніе совершается вѣроятно вслѣдствіе дѣйствія нервовъ на кровеносные сосуды; оно происходитъ помимо воли самого недѣлимаго, такъ что путешественники, побывавшіе около полюсовъ и испытавшіе дѣйствіе сильнѣйшаго холода, говорятъ, что у нихъ утомлялись легкія и какъ будто разрывалась грудь отъ усиленнаго дыханія. У людей и животныхъ, живущихъ въ холодномъ климатѣ, грудная клѣтка бываетъ особенно развита, и легкія отличаются значительной величиной. Но если ускоренное дыханіе ведетъ за собой ускоренное горѣніе, то необходимо, чтобы это горѣніе постоянно находило себѣ достаточно горючаго матеріала. Необходимо слѣдовательно, чтобы во время холода человѣкъ или животное съѣдали больше пищи, чѣмъ во время жара. Такъ и бываетъ. Аппетитъ усиливается зимою. Въ теплыхъ климатахъ достаточно 24 лотовъ питательной пищи въ день, чтобы поддержать существованіе человѣка, а въ болѣе холодныхъ земляхъ для этого необходимо по крайней мѣрѣ 40 лотовъ питательной пищи. Неаполитанскій лаццарони питается макаронами и плодами, и съѣдаетъ такое незначительное количество пищи, какимъ никакъ не могъ бы прокормиться нашъ простолюдинъ. Эскимосы съѣдаютъ ежедневно по 10 фунтовъ мяса и по 5 фунтовъ сала или китоваго жира. Жители Исландіи, лапландцы и самоѣды изумляютъ путешественниковъ своимъ пристрастіемъ къ салу и къ жиру, который они пожираютъ въ огромномъ количествѣ, не обращая вниманія ни на вкусъ, ни на запахъ, ни на степень свѣжести. Это пристрастіе имѣетъ свои физіологическія причины. Жиръ, какъ вещество, заключающее въ себѣ очень мало кислорода и очень много углерода и водорода, отлично поддерживаетъ органическій процессъ горѣнія точно такъ же, какъ онъ отлично поддерживаетъ горѣніе лампы. Жиръ горитъ долго и своимъ горѣніемъ производитъ сильную теплоту; поэтому жиръ болѣе чѣмъ какое-либо другое вещество приноситъ пользу жителямъ полярныхъ земель; онъ даетъ имъ возможность развивать то значительное количество животной теплоты, которое необходимо имъ, чтобы уравновѣсить охлаждающее дѣйствіе сильныхъ и продолжительныхъ морозовъ.

Въ холодномъ климатѣ желудокъ усиливаетъ

свою дѣятельность и одолѣваетъ такое количество пищи, которое могло бы разстроить его отправленія въ теплой странѣ. Путешественники, отправившіеся отыскивать остатки франклиновой экспедиціи, изумлялись тому невообразимому количеству мяса и сала, съ которымъ справлялись ихъ желудки подъ вліяніемъ полярнаго холода. Лѣтомъ или вообще въ тепломъ климатѣ выдѣленіе углекислоты уменьшается, весь обмѣнъ веществъ становится медленнѣе, аппетитъ уменьшается, и пищевареніе становится менѣе энергичнымъ. Бедуинъ отправляется въ дальнюю дорогу съ мѣшкомъ финиковъ подъ сѣдельной лукой. Отантяпинъ круглый годъ питается плодами своего хлѣбнаго дерева. Французы находятъ, что можно позавтракать, ограничиваясь салатомъ, орѣхами или каштанами. Подобная воздержность для насъ, жителей сѣвера, такъ же непонятна, какъ и прожорливость гренландцевъ или самоѣдовъ.

Не всѣ животныя обладаютъ, подобно человѣку, способностью усиливать или уменьшать вырабатываніе животной теплоты, смотря по свойствамъ окружающей температуры. Этой способности, заключающейся вѣроятно въ особенномъ устройствѣ нервовъ, нѣтъ у такъ называемыхъ *холоднокровныхъ* животныхъ: у змѣй, у лягушекъ, у рыбъ и т. п. Теплота этихъ животныхъ упадаетъ и возвышается вмѣстѣ съ окружающей температурой; это не нарушаетъ ихъ здоровья. При извѣстномъ охлажденіи они впадаютъ въ оцѣпенѣніе, которое проходитъ отъ дѣйствія теплоты. Говорятъ даже, что гусеницы, жабы и даже нѣкоторыя породы рыбъ, совершенно окоченѣвшія и затвердѣвшія отъ холода, оживаютъ, когда ихъ положатъ въ теплое мѣсто. Напротивъ того, всѣ млекопитающія и птицы умираютъ при извѣстной степени охлажденія и до послѣдней возможности борются противъ охлаждающаго дѣйствія внѣшней температуры. Даже тѣ животныя, которыя зимою засыпаютъ и которыя во время своего сна теряютъ значительную часть своей теплоты, не выносятъ охлажденія до нуля, т. е. до точки замерзанія воды.

Способность примѣняться къ окружающей температурѣ развивается постепенно вмѣстѣ съ другими силами животнаго. «Молодые воробьи, говоритъ Льюисъ, вынутые изъ гнѣзда, въ которомъ ихъ согрѣвала мать, при умѣренной температурѣ потеряли очень быстро около 11 градусовъ по Цельзію своей теплоты, такъ что ихъ тѣло оказалось только на полтора градуса теплѣе окружающаго воздуха». Вообще, чѣмъ моложе животное, тѣмъ менѣе оно способно сопротивляться холоду быстрымъ усиленіемъ внутренней теплоты. Зато для молодого животнаго перемѣны внутренней температуры не такъ опасны, какъ для взрослаго. Кромѣ того, способность сопротивляться измѣненіямъ внѣшней температуры даже у взрослыхъ животныхъ измѣняется вмѣстѣ съ временами года. Первый жаркій весенній день дѣйствуетъ на насъ сильнѣе, чѣмъ знойные дни іюля или августа. Точно такъ же утренній морозъ, являющійся лѣтомъ или ранней осенью, кажется намъ гораздо холоднѣе такого же зимняго мороза. Опыты и наблюденія надъ животными показали, что они лѣтомъ при одинаковомъ градусѣ холода теряютъ больше внутренней теплоты, чѣмъ зимой. Организмъ привыкаетъ въ извѣстное время доставлять извѣстное количество теплоты. Потомъ, когда окружающая температура постепенно сдѣлается выше (при переходѣ отъ зимы къ веснѣ) или ниже (отъ осени къ зимѣ), то и организмъ постепенно перемѣняетъ свою дѣятельность. Если же онъ вдругъ почувствуетъ сильное измѣненіе, онъ не успѣваетъ приготовиться, и вы испытаете то непріятное ощущеніе, которое причиняетъ даже здоровому человѣку внезапная перемѣна погоды. Кто живетъ въ Петербургѣ, тотъ знаетъ, чего стоятъ эти перемѣны, и какое громадное количество кашлей, насморковъ, ревматизмовъ и разнообразныхъ простудъ носится въ воздухѣ при быстрыхъ переходахъ отъ оттепели къ морозу и отъ мороза къ оттепели.

Изъ всего, что было говорено выше о животной теплотѣ, видно, что количество этой теплоты, постоянно выдѣляющееся изъ тѣла, очень значительно. По вычисленіямъ нѣмецкаго физіолога Бишофа, оказывается, что взрослый человѣкъ въ теченіе 24-хъ часовъ выдѣляетъ такое количество теплоты, которое можетъ довести до кипѣнія 80 фунтовъ воды холодной какъ ледъ. Рождается вопросъ, на что же потрачивается это значительное количество теплоты?

Во-первыхъ, она употребляется на то, чтобы сообщать пищѣ и питью, входящимъ въ наше тѣло, ту температуру, въ которой находятся наши внутренности. Всѣ холодные предметы, употребляемые въ пищу, согрѣваются въ желудкѣ и въ кишкахъ и такимъ образомъ непосредственно отнимаютъ у насъ нѣкоторую часть нашей теплоты. Испражненія наши, при выходѣ изъ тѣла, представляютъ температуру отъ 29 до 30 градусовъ по Реомюру и уносятъ съ собою отъ 2 до 3 процентовъ всего количества тратящейся теплоты.

Воздухъ, проникающій въ наши легкія при вдыханіи, обыкновенно бываетъ гораздо холоднѣе нашего тѣла; возвращаясь изъ легкихъ, онъ оказывается нагрѣтымъ въ значительной степени. Это нагрѣваніе вдыхаемаго воздуха отнимаетъ у нашего тѣла 5—6 процентовъ всей суточной потери теплоты.

Превращеніе твердыхъ веществъ въ жидкія и жидкихъ въ газообразныя поглощаетъ извѣстное, довольно значительное количество теплоты, которая дѣлается *скрытою* и потомъ при обратномъ процессѣ, т. е. при превращеніи газообраз-

наго тѣла въ жидкое или жидкаго въ твердое, снова освобождается. Таяніе льда, превращеніе воды въ паръ уноситъ изъ окружающаго воздуха нѣкоторое количество теплоты и производитъ такимъ образомъ охлажденіе.

На поверхности всего нашего тѣла и на внутренней поверхности легкихъ происходитъ постоянное выдѣленіе воды въ газообразномъ состояніи; это испареніе воды поглощаетъ значительное количество тепла и уноситъ изъ нашего тѣла 14 — 15 процентовъ всей суточной потери. Охлажденіе кожи становится тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше количество выдѣляемой воды; это охлажденіе доходитъ до высшей степени, когда на поверхности кожи выступаютъ водяныя капли, которыя называются потомъ или испариной. Съ появленіемъ пота неразлучно сильное охлажденіе всего тѣла, такъ что выступающая испарина облегчаетъ горячечное состояніе и въ глазахъ врача является однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ выздоровленія. Люди, сильно потѣющіе лѣтомъ, меньше страдаютъ отъ жара, чѣмъ люди, лишенные этой способности или обладающіе ею въ меньшей степени. Франклинъ разсказываетъ, что жнецы въ Пенсильваніи почти вовсе не страдаютъ отъ самаго сильнаго зноя; они пьютъ воду въ огромномъ количествѣ и вслѣдствіе этого потѣютъ такъ сильно, что совокупность воды, выдѣляемой ими въ одинъ сутки, равняется по вѣсу одной пятой или шестой части всего ихъ тѣла; охлажденіе, вызываемое испареніемъ этой воды, составляетъ противовѣсъ солнечному жару и даетъ жнецамъ возможность работать, не выбиваясь изъ силъ, въ самое знойное время дня. Замѣчено также, что работники, занимающіеся на стеклянныхъ, фарфоровыхъ или литейныхъ заводахъ, выпиваютъ очень много воды и, увеличивая такимъ образомъ количество выдѣляемаго пота, легче переносятъ тотъ страшный жаръ, въ которомъ они должны находиться во время работы.

Въ жаркій лѣтній день мы всегда чувствуемъ сильную жажду, которую всего пріятнѣе утолять холодными напитками. Эти напитки прохлаждаютъ тѣло отчасти непосредственно, отчасти тѣмъ, что возбуждаютъ усиленное выдѣленіе пота; повредить организму они не могутъ; для того чтобы значительное количество холодной воды не обременило собою желудка, достаточно прибавлять къ ней немного вина.

На количество испаряющейся изъ нашего тѣла воды имѣютъ значительное вліяніе свойства окружающаго насъ воздуха; чѣмъ суше воздухъ, тѣмъ больше онъ способенъ принимать въ себя водяные пары и тѣмъ сильнѣе онъ поглощаетъ газообразную воду, выдѣляющуюся изъ нашего тѣла. Сухой воздухъ прохлаждаетъ наше тѣло сильнѣе сырого воздуха. Вычислено, что сухой воздухъ при 20 градусахъ тепла доставляетъ намъ столько же прохлады, сколько сырой воздухъ при 14 градусахъ. На высокихъ горахъ мы чувствуемъ сильный холодъ по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, рѣдкій воздухъ содѣйствуетъ испаренію воды изъ нашего тѣла; во-вторыхъ, этотъ рѣдкій воздухъ слабѣе нагрѣвается лучами солнца и даетъ нашимъ легкимъ меньше кислорода, слѣдовательно ослабляетъ процессъ органическаго горѣнія; въ третьихъ, въ этихъ мѣстахъ постоянно дуетъ вѣтеръ, и это обстоятельство значительно усиливаетъ холодъ. Насколько холодъ становится чувствительнѣе нашему организму при сухости воздуха, настолько же усиливается ощущеніе жара при сырости атмосферы. Совершенно сырой воздухъ при сильномъ зноѣ дѣйствуетъ на тѣло разслабляющимъ образомъ. Тѣлу некуда тратить своей теплоты; окружающій воздухъ очень тепелъ и слѣдовательно уноситъ очень мало теплоты своимъ непосредственнымъ прикосновеніемъ; сверхъ того, этотъ воздухъ насыщенъ водяными парами и слѣдовательно не принимаетъ испареній нашего тѣла; обмѣнъ веществъ, совершающійся на поверхности нашего тѣла, оказывается нарушеннымъ, и во всемъ организмѣ является тяжелое ощущеніе. Сырой и жаркій климатъ разрушительно дѣйствуетъ на здоровье; съ такимъ климатомъ неразлучны разныя болѣзни, мѣстныя лихорадки и горячки, которыя особенно губительно дѣйствуетъ на иностранцевъ. Если посадить животное въ комнату, наполненную совершенно сырымъ воздухомъ, котораго теплота превышаетъ температуру тѣла, то животное скоро умретъ.

Мы видѣли такимъ образомъ, что теплота нашего тѣла тратится на согрѣваніе веществъ, входящихъ въ желудокъ, на согрѣваніе воздуха, проникающаго въ легкія, и на превращеніе воды изъ жидкаго состоянія въ газообразное. Этими тремя способами истрачивается около 24 процентовъ суточной потери. Все остальное количество вырабатываемой теплоты уходитъ путемъ непосредственнаго охлажденія, т. е. нагрѣваетъ собою тѣ слои воздуха, которые прикасаются къ нашему тѣлу. Окружающій насъ воздухъ постоянно гораздо холоднѣе нашего тѣла, и потому, какъ только онъ дотрогивается до него, такъ извѣстное количество нашей теплоты уходитъ въ воздухъ, и мы испытываемъ ощущеніе прохлады или холода, смотря по тому, какъ велико различіе температуры между воздухомъ и нашимъ тѣломъ. Что воздухъ дѣйствительно нагрѣвается отъ прикосновенія къ нашему тѣлу, это доказывается тѣмъ, что намъ становится жарко зимой въ натопленной церкви, если она наполнена людьми. Такъ какъ большая часть истрачиваемой нами теплоты, именно 76 процентовъ или болѣе трехъ четвертей, уходитъ въ окружающій насъ воздухъ, то испытываемыя нами ощущенія жара или холода зависятъ почти исключительно отъ температуры этого воздуха

и отъ того обстоятельства, насколько мы подвержены его прикосновенію. Желая выдти на улицу, мы смотримъ на термометръ и, соображаясь съ его показаніями, надѣваемъ то или другое платье. Выйдя на улицу, мы инстинктивно принимаемъ тѣ или другія мѣры для усиленія или для ослабленія вырабатываемаго нами количества теплоты; мы ускоряемъ походку, если чувствуемъ холодъ, и, придавая нашимъ движеніямъ большую быстроту, усиливаемъ процессъ органическаго горѣнія. Если намъ жарко, мы, напротивъ того, идемъ медленнѣе, движенія наши становятся лѣнивѣе, органическое горѣніе ослабляется, и мы пассивно защищаемся противъ жара, уходимъ въ тѣнь, ищемъ вѣтерка, радуемся тучкѣ, набѣжавшей на солнце.

Въ умѣренномъ климатѣ, въ самое знойное лѣто, температура воздуха не достигаетъ той степени теплоты, на которой постоянно находятся наша кровь и внутреннія части нашего тѣла. Когда воздухъ нагрѣвается до 30 градусовъ Реомюра, мы уже не знаемъ, куда дѣваться отъ жара; мы надѣваемъ самое легкое платье, уходимъ въ тѣнистыя мѣста, купаемся по нѣсколько разъ въ день, и все-таки воздухъ отнимаетъ у нашего тѣла такое незначительное количество вырабатываемой нами теплоты, что мы чувствуемъ какое-то разслабленіе, вялость, неспособность къ работѣ. Насъ тяготитъ то количество теплоты, котораго намъ некуда выдѣлить. Температура воздуха, равняющаяся теплотѣ нашего тѣла, была бы для насъ à la longue невыносима. Животныя раздѣляютъ съ нами эти ощущенія. Всякій имѣлъ случай наблюдать, какъ лѣтомъ, около полудня, все въ природѣ затихаетъ и въ своей неподвижности ищетъ того уменьшенія внутренней теплоты, котораго нельзя найти въ прикосновеніи окружающей атмосферы. Чтобы человѣкъ, снявшій съ себя все платье, могъ чувствовать себя вполнѣ хорошо— необходимо, чтобы температура окружающаго воздуха заключала въ себѣ отъ 22—25 градусовъ, т. е. чтобы она была градусовъ на 8 ниже температуры нашего тѣла. Когда-же прикосновеніе между нашимъ тѣломъ и воздухомъ ослаблено, т. е. когда мы одѣты, то такая температура слишкомъ высока и дѣлается уже непріятной; тогда достаточно, смотря по возрасту и общей комплекціи человѣка, отъ 15 до 20 градусовъ.

Одежда предохраняетъ насъ отъ дѣйствія холода тѣмъ, что она устраняетъ непосредственное прикосновеніе воздуха. Всѣ тѣла, извѣстныя намъ въ практической жизни, могутъ быть раздѣлены на хорошіе и худые проводники теплоты. Всякій знаетъ, что если желѣзная палка съ одного конца накалена докрасна, то и другой конецъ ея, не лежавшій въ огнѣ, непремѣнно обожжетъ прикасающуюся къ нему руку. Всякому точно такъ же извѣстно, что деревянную палку, зажженную съ одного конца, можно держать въ рукахъ, не боясь обжога. Всѣ металлы принадлежатъ къ числу хорошихъ проводниковъ теплоты, т. е. всѣ они очень быстро принимаютъ и передаютъ температуру окружающаго воздуха. Желѣзная крыша накаляется лѣтомъ и дѣлается невыносимо холодной во время зимы. Желѣзный домъ былъ бы вслѣдствіе этого обстоятельства въ высшей степени неудобенъ, холоденъ зимою и невыносимо тепелъ лѣтомъ. Одежда, сотканная изъ тонкихъ металлическихъ питокъ, имѣла бы всѣ эти неудобства; она лѣтомъ не предохраняла бы отъ жара, а зимой не защищала бы отъ холода. Для построенія нашихъ жилищъ и для приготовленія одежды мы выбираемъ, по возможности, самые худые проводники теплоты. Шерсть, изъ которой дѣлаются наши сукна, хлопчатая бумага, изъ которой готовится огромное количество разнообразныхъ матерій, и которая толстыми слоями кладется между покрышкой и подкладкой теплыхъ одеждъ, мѣха, служащіе для приготовленія шубъ, и пухъ, замѣняющій вату или хлопчатую бумагу, принадлежатъ къ числу самыхъ худыхъ проводниковъ теплоты. Это объясняется тѣмъ, что между тонкими волокнами этихъ веществъ находится нѣсколько изолированныхъ слоевъ воздуха, а воздухъ принадлежитъ къ самымъ худымъ проводникамъ. Чѣмъ пушистѣе какая-нибудь матерія, т. е. чѣмъ больше слоевъ воздуха находится между ея волокнами, тѣмъ хуже она проводитъ теплоту, и слѣдовательно тѣмъ сильнѣе защищаетъ наше тѣло отъ дѣйствія внѣшняго воздуха. Одежда помогаетъ намъ переносить такія низкія температуры, которыя принесли бы намъ вѣрную смерть, если бы мы подвергли ихъ дѣйствію свое непокрытое тѣло. Въ хорошей шубѣ мы можемъ переносить морозъ отъ 15 до 20 градусовъ, не чувствуя особеннаго страданія; та же самая температура заморозила бы насъ въ короткое время, еслибы мы не были защищены отъ ея дѣйствія плохими проводниками.

Движеніе воздуха значительно увеличиваетъ охлажденіе нашего тѣла, потому что при вѣтрѣ новые слои воздуха быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ, дотрогиваются до непокрытыхъ частей нашего тѣла, напр. до лица, и мгновенно уносятъ вырабатываемую нами теплоту. Такая степень холода, которая при отсутствіи вѣтра почти вовсе не доставляетъ намъ непріятныхъ ощущеній, становится невыносимой при сильномъ движеніи воздуха. Мореплаватели, бывавшіе въ полярныхъ странахъ, говорятъ, что холодъ въ 32° по Реомюру при совершенной тишинѣ сноснѣе холода въ 13° при сильномъ вѣтрѣ. Капитанъ Парри разсказываетъ, что при холодѣ въ 38° по Реомюру, безъ вѣтра, можно было въ продолженіе четверти часа оставлять руки незакрытыми. Когда же поднимался вѣтеръ, то это дѣлалось невозможнымъ даже при 13° холода.

Во время жара движеніе воздуха доставляетъ пріятную прохладу, если только температура воздуха не превышаетъ теплоты нашего тѣла. Въ тропическихъ земляхъ богатые люди проводятъ знойное время дня въ домахъ, и воздухъ въ ихъ комнатахъ постоянно приводится въ движеніе посредствомъ большихъ вѣеровъ или опахалъ. Сверхъ того окна завѣшиваются большими соломенными матами, которые разъ десять въ часъ обливаются водой. Потокъ разогрѣтаго воздуха, проходя черезъ мокрую занавѣску, превращаетъ воду въ паръ, охлаждается вслѣдствіе этого и, доходя до обитателей комнаты, приноситъ имъ пріятное и живительное ощущеніе прохлады. Только при подобномъ искусственномъ охлажденіи атмосферы европейцу удается свыкнуться съ такимъ климатомъ, въ которомъ температура воздуха нерѣдко становится на 10 или 12 градусовъ выше теплоты тѣла.

Замѣчательно, что въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ человѣкъ можетъ выносить температуру, далеко превышающую теплоту тѣла. Банксъ, говоритъ Бюхнеръ, пробылъ семь минутъ въ сухой комнатѣ, нагрѣтой до 80° Реомюра. Тилье разсказываетъ, что одна булочница провела 10 минутъ въ топленой печкѣ, въ которой жаръ доходилъ до 90°. Льюисъ говоритъ, что знаменитый «царь огня» Шаберъ возбудилъ въ зрителяхъ величайшее удивленіе, войдя въ печку, нагрѣтую выше 160° Реомюра. Мы получаемъ такимъ образомъ заключеніе, что есть люди, способные перенести въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ температуру, далеко превышающую точку кипѣнія воды. Если вѣрить разсказу о подвигѣ Шабера, то окажется, что крайній предѣлъ жара, который можетъ вынести человѣкъ, вдвое сильнѣе того, который заставляетъ кипѣть воду, вчетверо сильнѣе теплоты нашей крови и слишкомъ впятеро сильнѣе того лѣтняго зноя, который приводитъ насъ въ разслабленное состояніе.

Изумительна также та степень холода, которую нерѣдко приходилось выдерживать путешественникамъ, пускавшимся въ полярныя экспедиціи. Холодъ доходилъ до 32, до 40, по словамъ Льюиса, даже до 60° Реомюра. Эта борьба съ холодомъ, стоящимъ слишкомъ на 65° ниже комнатной температуры и на 90° ниже температуры тѣла, во всѣхъ отношеніяхъ замѣчательнѣе подвиговъ Шабера. Шаберъ входилъ въ печку, изъ которой онъ могъ тотчасъ выдти, а несчастные путешественники имѣли дѣло съ неумолимымъ и неотразимымъ врагомъ. Для нихъ отступленіе было невозможно; имъ надо было выдержать борьбу или умереть, какъ умеръ Франклинъ съ своими спутниками, какъ умирали многіе смѣльчаки, участвовавшіе въ неудачныхъ полярныхъ экспедиціяхъ. Испытаніе Шабера продолжалось двѣ, три минуты, а борьба полярныхъ путешественниковъ съ мертвящимъ холодомъ тянулась цѣлыми мѣсяцами. Хорошее отопленіе корабля, обильная питательная пища, теплая мѣховая одежда, усиленное движеніе и непроизвольное усиленіе дыханія являлись главными вспомогательными средствами въ этой страшной борьбѣ человѣка съ колоссальными силами природы; и въ большей части случаевъ человѣкъ одолѣвалъ, т. е. успѣвалъ сохранить жизнь и даже здоровье, несмотря на разрушительное дѣйствіе низкой температуры.

Мы видимъ такимъ образомъ, что человѣкъ способенъ выдержать температуру, стоящую на 90° Реомюра ниже и на 90° Реомюра выше температуры его тѣла. Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что всѣ климаты земного шара доступны человѣку, и что гибкій организмъ его, при соблюденіи извѣстныхъ предосторожностей, можетъ примѣниться и къ 35-ти градусному жару тропиковъ и къ 35-ти градусному холоду Шпицбергена и Гренландіи.

Но чтобы господствовать надъ окружающими насъ физическими условіями, надо знать тѣ законы, которымъ они повинуются. Всякая попытка нарушить физическій законъ ведетъ за собой самыя непріятныя послѣдствія. Обладая способностью переносить при извѣстныхъ условіяхъ почти всѣ естественныя температуры, существующія на поверхности нашей планеты, человѣкъ можетъ, по неосторожности или по невѣдѣнію, разрушить свое здоровье очень умѣренной степенью жара или холода. Простуда является въ большей части случаевъ главной причиной нашихъ болѣзней, а простужаемся мы большею частью не оттого, что холодъ особенно силенъ, не оттого, что намъ неоткуда взять теплое платье, а оттого, что мы не имѣемъ понятія о потребностяхъ нашего организма и потому опускаемъ необходимыя предосторожности или совершенно невпопадъ начинаемъ дѣйствовать по какой-нибудь невѣрно понятой гигіенической системѣ.

Простуда является всего легче и бываетъ всего опаснѣе въ томъ случаѣ, когда сильный холодъ дѣйствуетъ внезапно на очень теплую кожу. Особенно вреденъ бываетъ сквозной вѣтеръ или обливаніе холодной водой послѣ разгорячения и сильнаго выдѣленія пота. Также вреденъ быстрый переходъ отъ зимняго платья къ лѣтнему. Простуда можетъ также совершиться постепенно и совершенно незамѣтно для самого паціента; если мы носимъ слишкомъ легкое платье, не довольно тепло покрываемся ночью во время сна, живемъ въ холодной и сырой квартирѣ или въ такомъ суровомъ климатѣ, который не по силамъ нашему тѣлосложенію, то мы простужаемся постоянно и мало-по-малу подкапываемъ наше здоровье.

Попытки пріучить себя къ холоду, стремленіе укрѣпить здоровье своихъ дѣтей такъ называе-

мымъ спартанскимъ воспитаніемъ возбуждаютъ справедливую оппозицію со стороны всякаго раціонально образованнаго медика. Можно до нѣкоторой степени притупить тѣ нервы, которые проводятъ въ мозгъ ощущеніе боли, но нѣтъ никакой возможности уничтожить вредное дѣйствіе холода на организмъ. Пріучить тѣло къ холоду все равно, что пріучить желудокъ къ голоду, спину къ розгамъ, легкія къ отсутствію кислорода, глаза къ полной темнотѣ. Вы никакъ не пріучите воду къ тому, чтобы она не замерзала при 0° и не кипѣла, подъ обыкновеннымъ давленіемъ, при 80° Реомюра. Вспомните, что ваше тѣло въ своихъ составныхъ частяхъ повинуется тѣмъ же законамъ, которымъ покоряется вода; вспомните, что кровь ваша обращается, и сердце бьется, и желудокъ варитъ пищу помимо вашей воли; вспомните, что въ васъ дѣйствуютъ тѣ же физическія и химическія силы, которыя сталкиваются и переплетаются между собой въ окружающемъ мірѣ, и вы убѣдитесь въ томъ, что бороться съ своими непосредственными ощущеніями значитъ бороться съ силами природы и противопоставлять этимъ силамъ не такія же дѣйствительныя физическія силы, а одну отвлеченную, неуловимую и неосязаемую силу своей воли.

Если вы почувствовали холодъ, смѣло надѣвайте теплое платье; если существуетъ ощущеніе, то существуетъ и причина, вызвавшая это ощущеніе; не бойтесь изнѣжить себя; когда теплое платье сдѣлается излишнимъ, вамъ доложитъ объ этомъ то же самое ощущеніе, которое заставило васъ вынуть это платье изъ шкапа. Мы изнѣживаемъ себя не тѣмъ, что повинуемся нашимъ ощущеніямъ, а тѣмъ, что съ дѣтства, по милости родителей и воспитателей, привыкаемъ къ искусственнымъ наслажденіямъ и создаемъ себѣ искусственныя потребности.

Если вы считаете необходимымъ имѣть за обѣдомъ полдюжины замысловатыхъ соусовъ, въ которыхъ естественный вкусъ пищи заглушенъ пряностями и приправами, то эту потребность смѣло можно назвать искусственной; но если вы, какъ здоровый человѣкъ, часто чувствуете сильный аппетитъ и съѣдаете за вашимъ обѣдомъ по нѣскольку кусковъ хорошей говядины, то вамъ остается только радоваться правильнымъ отправленіямъ вашего желудка и немедленно удовлетворять всѣмъ его требованіямъ. Каждому педагогу, завѣдывающему матеріальной частью воспитанія, слѣдуетъ внушить строго на́-строго, что онъ воленъ не баловать своихъ воспитанниковъ рагу и фрикасе, но что онъ положительно обязанъ кормить ихъ до отвалу здоровой, свѣжей пищею. Держаться въ отношеніи къ продовольствію воспитанниковъ или воспитанницъ спартанской системы—въ высшей степени безчеловѣчно; если это дѣлается ради укрѣпленія здоровья дѣтей, то это обличаетъ тупоуміе и полнѣйшее невѣжество педагога; если же это дѣлается изъ личнаго, экономическаго разсчета, тогда это подлѣе всякаго взяточничества. Это значитъ лишать воспитанниковъ тѣхъ силъ, которыя только что начинаютъ развиваться и которыя необходимы имъ въ будущемъ для того, чтобы наслаждаться жизнью и по мѣрѣ силъ дѣйствовать на пользу своихъ согражданъ.

То, что я сказалъ о пищѣ, вполнѣ прилагается и къ теплотѣ. Теплота, по выраженію Гуфеланда, другъ жизненной силы, и для здоровья человѣка ея присутствіе въ умѣренной степени такъ же необходимо, какъ для прозябанія травы, для распусканія цвѣтка и для созрѣванія плода. Если вашъ воспитанникъ зябнетъ—укройте его, вытопите комнату, перемѣните квартиру; къ холоду и къ сырости человѣческій организмъ не можетъ пріучиться, и экономничать на теплотѣ такъ же безсовѣстно, какъ экономничать на пищѣ.

Теплота всего необходимѣе для человѣка въ началѣ и въ концѣ его жизни. Новорожденный ребенокъ выходитъ изъ такой среды, которая гораздо теплѣе комнатнаго воздуха; его надо пріучать постепенно даже къ теплой, комнатной температурѣ; съ нимъ надо обращаться бережно и нѣжно, чтобы не задавить слабо мерцающую искру жизни. Обычай спартанцевъ и древнихъ германцевъ купать новорожденныхъ дѣтей въ холодной водѣ изумляетъ насъ своей нелѣпостью; ни одна собака не поступитъ такимъ образомъ съ своимъ щенкомъ, ни одна птица не выгонитъ изъ теплаго гнѣзда своихъ неоперившихся птенцовъ; спартанцы и отчасти германцы, какъ народъ, жившій войной и грабежемъ, могли обращаться такъ неосторожно съ своими новорожденными дѣтьми собственно съ тою цѣлью, чтобы избавить себя отъ труда воспитывать слабыхъ и болѣзненныхъ младенцевъ; спартанцамъ законы Ликурга даже положительно приказывали убивать уродливыхъ или тщедушныхъ дѣтей. Надо впрочемъ замѣтить, что даже эта цѣль не достигается купаньемъ дѣтей въ холодной водѣ; во-первыхъ, даже совершенно здоровый и очень хорошо сложенный ребенокъ можетъ умереть отъ подобныхъ передѣлокъ; во-вторыхъ, очень болѣзненныя дѣти часто превращаются, выростая, въ очень сильныхъ и здоровыхъ людей.

Первые годы жизни бываютъ для дѣтей самымъ тяжелымъ и опаснымъ временемъ; справьтесь со статистическими таблицами, и вы увидите, что почти половина дѣтей, родившихся въ такомъ-то году, умираетъ, не достигши пятилѣтняго возраста. Организмъ молодого существа, не успѣвшій укрѣпиться и развернуть свои силы, не успѣвшій примѣниться къ той борьбѣ съ внѣшней природой, которая называется жизнью, погибаетъ и разрушается частью отъ невѣжества окружающихъ людей, частью отъ ихъ безпечности, частью отъ излишней внимательности и неумѣстной заботливости. Когда первые годы

дѣтства пройдутъ благополучно, тогда можно постепенно укрѣплять силы ребенка тѣлесными упражненіями, можно мало-по-малу пріучать его къ холоду, но при этомъ надо соблюдать извѣстную послѣдовательность и твердо помнить то обстоятельство, что есть естественныя границы, которыхъ не слѣдуетъ переступать ни въ какомъ случаѣ. Въ холодномъ климатѣ надѣвать на дѣтей шотландскій костюмъ, водить ихъ осенью или весною по улицѣ съ голыми икрами значитъ во всякомъ случаѣ подвергать ихъ здоровье самой серьезной опасности.

Старику, начинающему уже чувствовать упадокъ силъ, теплота такъ-же полезна и необходима, какъ и ребенку. Въ теплое время года старики чувствуютъ себя лучше обыкновеннаго; зимой они любятъ искусственную теплоту топленной комнаты; въ нашемъ простонародьѣ старики проводятъ большую часть года на печкѣ или, какъ ее называютъ въ деревняхъ средней Россіи, на лежанкѣ. Теплыя ванны, усиливающія дѣятельность кожи и уменьшающія ея сухость и жесткость, особенно полезны для стариковъ.

Люди, ведущіе большею частью сидячую жизнь, нуждаются въ большемъ притокѣ теплоты, чѣмъ люди, часто прогуливающіеся или работающіе на открытомъ воздухѣ.

Люди холоднаго, флегматическаго или меланхолическаго темперамента больше страдаютъ отъ холода, чѣмъ люди горячіе, энергическіе, холерики или сангвиники. Во время зимняго холода 1812 года мерзли преимущественно голландцы и нѣмцы, несмотря на то, что французы, испанцы и итальянцы, находившіеся въ арміи Наполеона, меньше ихъ были пріучены къ холоду.

Вообще, люди слабаго сложенія, не отличающіеся значительной энергіей жизненныхъ отправленій, т. е. сильнымъ аппетитомъ, крѣпкими легкими, хорошимъ пищевареніемъ, развитою дѣятельностью половой системы, любятъ теплую температуру и не выносятъ холода; напротивъ того, люди крѣпкіе и полнокровные предпочитаютъ прохладную атмосферу и въ ней чувствуетъ себя вполнѣ хорошо. Умѣренная степень холода, дѣйствующая на наше тѣло въ короткій промежутокъ времени, оживляетъ жизненныя отправленія, привлекаетъ кровь въ кожѣ и вообще къ поверхности тѣла, ускоряетъ обмѣнъ веществъ, усиливаетъ вырабатываніе внутренней теплоты и дѣятельность легкихъ, возбуждаетъ первную систему, словомъ—вызываетъ во всемъ организмѣ усиленное движеніе жизни. Но продолжительное дѣйствіе холода всегда ведетъ за собой вредныя послѣдствія уже потому, что напрягаетъ въ извѣстномъ направленіи силы организма и, требуя отъ него усиленной дѣятельности, истощаетъ его этими неумѣрными требованіями.

Для здоровья человѣка всего полезнѣе умѣренный климатъ, въ которомъ нѣтъ ни слишкомъ холодныхъ зимъ, ни изнурительныхъ лѣтнихъ жаровъ, ни рѣзкихъ переходовъ отъ одной температуры къ другой. Конечно такой идеально-здоровый климатъ мудрено найти на земномъ шарѣ, но вообще можно замѣтить, что приморскія земли, въ которыхъ вліяніе морскихъ испареній смягчаетъ и лѣтній зной и зимній холодъ, пользуются самымъ умѣреннымъ и благорастворенным климатомъ. Это положеніе допускаетъ впрочемъ множество исключеній; конечно сѣверные берега Сибири не отличаются пріятнымъ климатомъ, несмотря на то, что они прилегаютъ къ морю; точно также острова Борнео, Суматра, Ява не могутъ похвалиться здоровымъ климатомъ; находясь въ жаркомъ поясѣ, эти острова отличаются, какъ извѣстно, очень знойнымъ и сырымъ воздухомъ; растительность достигаетъ до колоссальныхъ размѣровъ, животная жизнь кипитъ красотой и силой, но человѣкъ, подавленный жаромъ, который, какъ я говорилъ выше, становится еще невыносимѣе вслѣдствіе того, что воздухъ насыщенъ водяными парами, человѣкъ, повторяю я, въ такомъ климатѣ не можетъ жить умственной жизнью и равномѣрно развивать всѣ стороны своего существа. Что же касается до приморскихъ земель, лежащихъ въ умѣренномъ поясѣ, то ихъ климатъ по своей мягкости значительно превосходитъ климатъ континентальныхъ земель. Счастливымъ климатомъ пользуется Англія, несмотря на свои густые туманы. Въ сѣверо-восточной Ирландіи, подъ однимъ градусомъ широты съ Кенигсбергомъ, вода рѣдко замерзаетъ зимой, и миртъ растетъ на открытомъ воздухѣ точно такъ же, какъ въ Португаліи. «Необыкновенная сила», говоритъ Бюхнеръ, «съ которою англійскій умъ развился и продолжаетъ развиваться по всѣмъ направленіямъ жизни и науки, представляетъ быть можетъ отчасти слѣдствіе этихъ благопріятныхъ климатическихъ условій».

Въ рукахъ опытнаго врача теплота является однимъ изъ важнѣйшихъ средствъ леченія. Когда вырабатываніе животной теплоты ослабѣваетъ вслѣдствіе болѣзненнаго разстройства, тогда всего лучше согрѣвать паціента искусственными средствами. Припарки, потогонное питье, теплыя ванны, отправленіе больныхъ въ теплый климатъ — все это такіе медицинскіе пріемы, которые знакомы по наслышкѣ или по собственному опыту каждому изъ нашихъ читателей.

Повышеніе или пониженіе общей температуры тѣла дастъ медику возможность судить объ общей силѣ жизненныхъ отправленій у паціента. Жаръ или ознобъ сопровождаютъ собою большею частью каждое болѣзненное состояніе и указываютъ на ненормальное усиленіе или ослабленіе органическаго горѣнія, на неравномѣрное распредѣленіе теплоты въ различныхъ частяхъ тѣла, на болѣзненное нарушеніе въ

одномъ изъ важнѣйшихъ процессовъ: въ кровообращеніи, дыханіи или пищевареніи. Все это принимается въ соображеніе свѣдущимъ медикомъ, и потому небольшой термометръ, служащій для изслѣдованія теплоты больныхъ, почти всегда находится при медикѣ, изучающемъ добросовѣстно состояніе своихъ паціентовъ.

БАЗАРОВЪ.

(ОТЦЫ и ДѢТИ, романъ И. С. Тургенева).

I.

Новый романъ Тургенева даетъ намъ все то, чѣмъ мы привыкли наслаждаться въ его произведеніяхъ. Художественная отдѣлка безукоризненно хороша; характеры и положенія, сцены и картины нарисованы такъ наглядно и въ то же время такъ мягко, что самый отчаянный отрицатель искусства почувствуетъ при чтеніи романа какое-то непонятное наслажденіе, котораго не объяснишь ни занимательностью разсказываемыхъ событій, ни поразительной вѣрностью основной идеи. Дѣло въ томъ, что событія вовсе не занимательны, а идея вовсе не поразительно вѣрна. Въ романѣ нѣтъ ни завязки, ни развязки, ни строго обдуманнаго плана; есть типы и характеры, есть сцены и картины, а главное, сквозь ткань разсказа сквозитъ личное, глубоко-прочувствованное отношеніе автора къ выведеннымъ явленіямъ жизни. А явленія эти очень близки къ намъ, такъ близки, что все наше молодое поколѣніе со своими стремленіями и идеями можетъ узнать себя въ дѣйствующихъ лицахъ этого романа. Я этимъ не хочу сказать, чтобы въ романѣ Тургенева идеи и стремленія молодого поколѣнія отразились такъ, какъ понимаетъ ихъ само молодое поколѣніе; къ этимъ идеямъ и стремленіямъ Тургеневъ относится съ своей личной точки зрѣнія, а старикъ и юноша почти никогда не сходятся между собой въ убѣжденіяхъ и симпатіяхъ. Но если вы подойдете къ зеркалу, которое, отражая предметы, измѣняетъ немного ихъ цвѣта, то вы узнаете свою физіономію, несмотря на погрѣшности зеркала. Читая романъ Тургенева, мы видимъ въ немъ типы настоящей минуты и въ то же время отдаемъ себѣ отчетъ въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя испытали явленія дѣйствительности, проходя чрезъ сознаніе художника. Любопытно прослѣдить, какъ дѣйствуютъ на человѣка, подобнаго Тургеневу, идеи и стремленія, шевелящіяся въ нашемъ молодомъ поколѣніи и проявляющіяся, какъ все живое, въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, рѣдко привлекательныхъ, часто оригинальныхъ, иногда уродливыхъ.

Такого рода изслѣдованіе можетъ имѣть очень глубокое значеніе. Тургеневъ—одинъ изъ лучшихъ людей прошлаго поколѣнія; опредѣлить, какъ онъ смотритъ на насъ, и почему онъ смотритъ на насъ такъ, а не иначе, значитъ найти причину того разлада, который замѣчается повсемѣстно въ нашей частной семейной жизни; того разлада, отъ котораго часто гибнутъ молодыя жизни и отъ котораго постоянно кряхтятъ и охаютъ старички и старушки, не успѣвающіе обработать на свою колодку понятія и поступки своихъ сыновей и дочерей. Задача, какъ видите, жизненная, крупная и сложная; сладить я съ нею вѣроятно не слажу, а подумать—подумаю.

Романъ Тургенева, кромѣ своей художественной красоты, замѣчателенъ еще тѣмъ, что онъ шевелитъ умъ, наводитъ на размышленія, хотя самъ по себѣ не разрѣшаетъ никакого вопроса и даже освѣщаетъ яркимъ свѣтомъ не столько выводимыя явленія, сколько отношенія автора къ этимъ самымъ явленіямъ. Наводитъ онъ на размышленія именно потому, что весь насквозь проникнутъ самой полной, самой трогательной искренностью. Все, что̀ написано въ послѣднемъ романѣ Тургенева, прочувствовано до послѣдней строки; чувство это прорывается помимо воли и сознанія самого автора и согрѣваетъ объективный разсказъ вмѣсто того, чтобы выражаться въ лирическихъ отступленіяхъ. Авторъ самъ не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ, не подвергаетъ ихъ анализу, не становится къ нимъ въ критическія отношенія. Это обстоятельство дастъ намъ возможность видѣть эти чувства во всей ихъ нетронутой непосредственности. Мы видимъ то, что просвѣчиваетъ, а не то, что̀ авторъ хочетъ показать или доказать. Мнѣнія и сужденія Тургенева не измѣнятъ ни на волосъ нашего взгляда на молодое поколѣніе и на идеи нашего времени; мы ихъ даже не примемъ въ соображеніе, мы съ ними даже не будемъ спорить; эти мнѣнія, сужденія и чувства, выраженныя въ неподражаемо-живыхъ образахъ, дадутъ только матеріалы для характеристики прошлаго поколѣнія въ лицѣ одного изъ лучшихъ его представителей. Постараюсь

сгруппировать эти матеріалы и, если это мнѣ удастся, объясню; почему наши старики не сходятся съ нами, качаютъ головами и, смотря по различнымъ настроеніямъ, то сердятся, то недоумѣваютъ, то тихо грустятъ по поводу нашихъ поступковъ и разсужденій.

II.

Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1859 г. Молодой кандидатъ, Аркадій Николаевичъ Кирсановъ, пріѣзжаетъ въ деревню къ своему отцу вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ, Евгеніемъ Васильевичемъ Базаровымъ, который очевидно имѣетъ сильное вліяніе на образъ мыслей своего товарища. Этотъ Базаровъ, человѣкъ сильный по уму и по характеру, составляетъ центръ всего романа. Онъ—представитель нашего молодого поколѣнія; въ его личности сгруппированы тѣ свойства, которыя мелкими долями разсыпаны въ массахъ, и образъ этого человѣка ярко и отчетливо вырисовывается передъ воображеніемъ читателя.

Базаровъ — сынъ бѣднаго уѣзднаго лекаря; Тургеневъ ничего не говоритъ объ его студенческой жизни, но надо полагать, что то была жизнь бѣдная, трудовая, тяжелая; отецъ Базарова говоритъ о своемъ сынѣ, что онъ у нихъ отроду лишней копѣйки не взялъ; по правдѣ сказать, многаго и нельзя было бы взять даже при величайшемъ желаніи, слѣдовательно, если старикъ Базаровъ говоритъ это въ похвалу своему сыну, то это значитъ, что Евгеній Васильевичъ содержалъ себя въ университетѣ собственными трудами, перебивался копѣечными уроками и въ то же время находилъ возможность дѣльно готовить себя къ будущей дѣятельности. Изъ этой школы труда и лишеній Базаровъ вышелъ человѣкомъ сильнымъ и суровымъ; прослушанный имъ курсъ естественныхъ и медицинскихъ наукъ развилъ его природный умъ и отучилъ его принимать на вѣру какія бы то ни было понятія и убѣжденія; онъ сдѣлался чистымъ эмпирикомъ; опытъ сдѣлался для него единственнымъ источникомъ познанія, личное ощущеніе — единственнымъ и послѣднимъ убѣдительнымъ доказательствомъ. «Я придерживаюсь отрицательнаго направленія, говоритъ онъ, въ силу ощущеній. Мнѣ пріятно отрицать, мой мозгъ такъ устроенъ — и баста! Отчего мнѣ нравится химія? Отчего ты любишь яблоки? Тоже въ силу ощущенія—это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнутъ. Не всякій тебѣ это скажетъ, да и я въ другой разъ тебѣ этого не скажу». Какъ эмпирикъ, Базаровъ признаетъ только то, что можно ощупать руками, увидать глазами, положить на языкъ, словомъ только то, что можно освидѣтельствовать однимъ изъ пяти чувствъ. Всѣ остальныя человѣческія чувства онъ сводитъ на дѣятельность нервной системы; вслѣдствіе этого наслажденія красотами природы, музыкой, живописью, поэзіей, любовью, женщины вовсе не кажутся ему выше и чище наслажденія сытнымъ обѣдомъ или бутылкой хорошаго вина. То, что восторженные юноши называютъ идеаломъ, для Базарова не существуетъ; онъ все это называетъ «романтизмомъ», иногда вмѣсто слова «романтизмъ» употребляетъ слово «вздоръ». Несмотря на все это, Базаровъ не воруетъ чужихъ платковъ, не вытягиваетъ изъ родителей денегъ, работаетъ усидчиво и даже не прочь отъ того, чтобы сдѣлать въ жизни что-нибудь путное. Я предчувствую, что многіе изъ моихъ читателей зададутъ себѣ вопросъ: а что же удерживаетъ Базарова отъ подлыхъ поступковъ и что побуждаетъ его дѣлать что-нибудь путное? Этотъ вопросъ поведетъ за собой слѣдующее сомнѣніе: ужъ не притворяется ли Базаровъ передъ самимъ собой и передъ другими? Не рисуется ли онъ? Можетъ быть онъ въ глубинѣ души признаетъ многое изъ того, что отрицаетъ на словахъ, и можетъ быть именно это признаваемое, это затаившееся спасаетъ его отъ нравственнаго паденія и отъ нравственнаго ничтожества. Хоть мнѣ Базаровъ ни сватъ, ни братъ, хоть я можетъ быть и не сочувствую ему, однако, ради отвлеченной справедливости, я постараюсь отвѣтить на вопросъ и опровергнуть лукавое сомнѣніе.

На людей подобныхъ Базарову можно негодовать, сколько душѣ угодно, но признавать ихъ искренность — рѣшительно необходимо. Эти люди могутъ быть честными и безчестными, гражданскими дѣятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствамъ и по личнымъ вкусамъ. Ничто, кромѣ личнаго вкуса, не мѣшаетъ имъ убивать и грабить, и ничто, кромѣ личнаго вкуса, не побуждаетъ людей подобнаго закала дѣлать открытія въ области наукъ и общественной жизни. Базаровъ не украдетъ платка по тому же самому, почему онъ не съѣстъ кусокъ тухлой говядины. Еслибы Базаровъ умиралъ съ голоду, то онъ вѣроятно сдѣлалъ бы то и другое. Мучительное чувство неудовлетворенной физической потребности побѣдило бы въ немъ отвращеніе къ дурному запаху разлагающагося мяса и къ тайному посягательству на чужую собственность. Кромѣ непосредственнаго влеченія, у Базарова есть еще другой руководитель въ жизни—разсчетъ. Когда онъ бываетъ боленъ, онъ принимаетъ лекарство, хотя не чувствуетъ никакого непосредственнаго влеченія къ касторовому маслу или къ ассафетидѣ. Онъ поступаетъ такимъ образомъ по разсчету; цѣной маленькой непріятности онъ покупаетъ въ будущемъ большее удобство, или избавленіе отъ большей непріятности. Словомъ, изъ двухъ золъ онъ выбираетъ меньшее, хотя и къ меньшему не чув-

ствуетъ никакого влеченія. У людей посредственныхъ такого рода разсчетъ большей частью оказывается несостоятельнымъ; они по разсчету хитрятъ, воруютъ, запутываются и въ концѣ концовъ остаются въ дуракахъ. Люди очень умные поступаютъ иначе; они понимаютъ, что быть честнымъ очень выгодно, и что всякое преступленіе, начиная отъ простой лжи и кончая смертоубійствомъ—опасно и слѣдовательно неудобно. Поэтому очень умные люди могутъ быть честны по разсчету и дѣйствовать на чистоту тамъ, гдѣ люди ограниченные будутъ вилять и метать петли. Работая неутомимо, Базаровъ повиновался непосредственному влеченію, вкусу, и кромѣ того поступалъ по самому вѣрному разсчету. Если онъ искалъ протекціи, кланялся, подличалъ, вмѣсто того чтобы трудиться и держать себя гордо и независимо, то онъ поступалъ бы неразсчетливо. Карьеры, пробитыя собственной головой, всегда прочнѣе и шире карьеръ, проложенныхъ низкими поклонами или заступничествомъ важнаго дядюшки. Благодаря двумъ послѣднимъ средствамъ, можно попасть въ губернскіе или въ столичные тузы, но, по милости этихъ средствъ, никому, съ тѣхъ поръ какъ міръ стоитъ, не удавалось сдѣлаться ни Вашингтономъ, ни Гарибальди, ни Коперникомъ, ни Генрихомъ Гейне. Даже Геростратъ—и тотъ пробилъ себѣ карьеру собственными силами и попалъ въ исторію не по протекціи.

Что же касается до Базарова, то онъ не мѣтитъ въ губернскіе тузы; если воображеніе иногда рисуетъ ему будущность, то эта будущность какъ-то неопредѣленно широка; работаетъ онъ безъ цѣли, для добыванія насущнаго хлѣба или изъ любви къ процессу работы, а между тѣмъ онъ смутно чувствуетъ по количеству собственныхъ силъ, что работа его не останется безслѣдной и къ чему-нибудь приведетъ. Базаровъ чрезвычайно самолюбивъ, но самолюбіе его незамѣтно именно вслѣдствіе своей громадности. Его не занимаютъ тѣ мелочи, изъ которыхъ складываются обыденныя людскія отношенія; его нельзя оскорбить явнымъ пренебреженіемъ, его нельзя обрадовать знаками уваженія; онъ такъ полонъ собой и такъ непоколебимо-высоко стоитъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, что дѣлается почти совершенно равнодушнымъ къ мнѣнію другихъ людей. Дядя Кирсанова, близко подходящій къ Базарову по складу ума и характера, называетъ его самолюбіе «сатанинской гордостью». Это выраженіе очень удачно выбрано и совершенно характеризуетъ нашего героя. Дѣйствительно, удовлетворить Базарова могла бы только цѣлая вѣчность постоянно расширяющейся дѣятельности и постоянно увеличивающагося наслажденія, но, къ несчастію для себя, Базаровъ не признаетъ вѣчнаго существованія человѣческой личности. «Да вотъ напримѣръ, говоритъ онъ своему товарищу Кирсанову, ты сегодня сказалъ, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа—она такая славная, бѣлая—вотъ сказалъ ты, Россія тогда достигнетъ совершенства, когда у послѣдняго мужика будетъ такое же помѣщеніе, и всякій изъ насъ долженъ этому способствовать... А я и возненавидѣлъ этого послѣдняго мужика, Филиппа или Сидора, для котораго я долженъ изъ кожи лѣзть и который мнѣ даже спасибо не скажетъ... Да и на что мнѣ его спасибо? Ну, будетъ онъ жить въ бѣлой избѣ, а изъ меня лопухъ расти будетъ,—ну, а дальше?»

Итакъ Базаровъ вездѣ и во всемъ поступаетъ только такъ, какъ ему хочется или какъ ему кажется выгоднымъ. Имъ управляютъ только личная прихоть или личные разсчеты. Ни надъ собой, ни внѣ себя, ни внутри себя онъ не признаетъ никакого регулятора, никакого нравственнаго закона, никакого принципа. Впереди—никакой высокой цѣли; въ умѣ—никакого высокаго помысла, и при всемъ этомъ—силы огромныя.—Да вѣдь это безнравственный человѣкъ! Злодѣй, уродъ! слышу я со всѣхъ сторонъ восклицанія негодующихъ читателей. Ну, хорошо, злодѣй, уродъ; браните больше, преслѣдуйте его сатирой и эпиграммой, негодующимъ лиризмомъ и возмущеннымъ общественнымъ мнѣніемъ, кострами инквизиціи и топорами палачей — и вы не вытравите, не убьете этого урода, не посадите его въ спиртъ на удивленіе почтенной публикѣ. Если базаровщина—болѣзнь, то она болѣзнь нашего времени, и ее приходится выстрадать, несмотря ни на какіе палліативы и ампутаціи. Относитесь къ базаровщинѣ какъ угодно—это ваше дѣло; а остановить—не остановите; это—та же холера.

III.

Болѣзнь вѣка раньше всего пристаетъ къ людямъ, стоящимъ по своимъ умственнымъ силамъ выше общаго уровня. Базаровъ, одержимый этой болѣзнью, отличается замѣчательнымъ умомъ и вслѣдствіе этого производитъ сильное впечатлѣніе на сталкивающихся съ нимъ людей. «Настоящій человѣкъ, говоритъ онъ, тотъ, о которомъ думать нечего, а котораго надобно слушаться или ненавидѣть». Подъ опредѣленіе настоящаго человѣка подходитъ именно самъ Базаровъ; онъ постоянно сразу овладѣваетъ вниманіемъ окружающихъ людей; однихъ онъ запугиваетъ и отталкиваетъ; другихъ подчиняетъ, не столько доводами, сколько непосредственной силой, простотой и цѣльностью своихъ понятій. Какъ человѣкъ замѣчательно умный, онъ не встрѣчалъ себѣ равнаго. «Когда я встрѣчу человѣка, который не спасовалъ бы передо мной, проговорилъ онъ съ разстановкой, тогда я измѣню свое мнѣніе о самомъ себѣ».

Онъ смотритъ на людей сверху внизъ и даже

рѣдко даетъ себѣ трудъ скрывать свои полупрезрительныя, полу-покровительственныя отношенія къ тѣмъ людямъ, которые его ненавидятъ, и къ тѣмъ, которые его слушаются. Онъ никого не любитъ; не разрывая существующихъ связей и отношеній, онъ въ то же время не сдѣластъ ни шагу для того, чтобы снова завязать или поддержать эти отношенія, не смягчитъ ни одной ноты въ своемъ суровомъ голосѣ, не пожертвуетъ ни одной рѣзкой шуткой, ни однимъ краснымъ словцомъ.

Поступаетъ онъ такимъ образомъ не во имя принципа, не для того, чтобы въ каждую данную минуту быть вполнѣ откровеннымъ, а потому, что считаетъ совершенно излишнимъ стѣснять свою особу въ чемъ бы то ни было, по тому же самому побужденію, по которому американцы задираютъ ноги на спинки кресслъ и заплевываютъ табачнымъ сокомъ паркетные полы пышныхъ гостиницъ. Базаровъ ни въ комъ не нуждается, никого не боится, никого не любитъ и вслѣдствіе этого никого не щадитъ. Какъ Діогенъ, онъ готовъ жить чуть не въ бочкѣ и за это предоставляетъ себѣ право говорить людямъ въ глаза рѣзкія истины, по той причинѣ, что это ему нравится. Въ цинизмѣ Базарова можно различить двѣ стороны—внутреннюю и внѣшнюю: цинизмъ мыслей и чувствъ, и цинизмъ манеръ и выраженій. Ироническое отношеніе къ чувству всякаго рода, къ мечтательности, къ лирическимъ порывамъ, къ изліяніямъ составляетъ сущность внутренняго цинизма. Грубое выраженіе этой иронiи, безпричинная и безцѣльная рѣзкость въ обращеніи относятся къ внѣшнему цинизму. Первый зависитъ отъ склада ума и отъ общаго міросозерцанія; второй обусловливается чисто внѣшними условіями развитія, свойствами того общества, въ которомъ жилъ разсматриваемый субъектъ. Насмѣшливыя отношенія Базарова къ мягкосердечному Кирсанову вытекаютъ изъ основныхъ свойствъ общаго базаровскаго типа. Грубыя столкновенія его съ Кирсановымъ и съ его дядей составляютъ его личную принадлежность. Базаровъ не только эмпирикъ—онъ кромѣ того неотесанный буршъ, незнающій другой жизни, кромѣ бездомной, трудовой, подъ-часъ дико-разгульной жизни бѣднаго студента. Въ числѣ почитателей Базарова найдутся навѣрное такіе люди, которые будутъ восхищаться его грубыми манерами, слѣдами бурсацкой жизни, будутъ подражать этимъ манерамъ, составляющимъ во всякомъ случаѣ недостатокъ, а не достоинство, будутъ даже можетъ быть утрировать его угловатость, мѣшковатость и рѣзкость. Въ числѣ ненавистниковъ Базарова найдутся навѣрнос такіе люди, которые обратятъ особенное вниманіе на эти неказистыя особенности его личности и поставятъ ихъ въ упрекъ общему типу. Тѣ и другіе ошибутся и обнаружатъ только глубокое непониманіе настоящаго дѣла. И тѣмъ и другимъ можно будетъ напомнить стихъ Пушкина:

Быть можно дѣльнымъ человѣкомъ,
И думать о красѣ ногтей.

Можно быть крайнимъ матеріалистомъ, полнѣйшимъ эмпирикомъ, и въ то же время заботиться о своемъ туалетѣ, обращаться утонченно-вѣжливо съ своими знакомыми, быть любезнымъ собесѣдникомъ и совершеннымъ джентльмэномъ. Это я говорю для тѣхъ читателей, которые, придавая важное значеніе утонченнымъ манерамъ, съ отвращеніемъ посмотрятъ на Базарова, какъ на человѣка mal élevé и mauvais ton. Онъ дѣйствительно mal élevé и mauvais ton, но это нисколько не относится къ сущности типа и не говоритъ ни противъ него, ни въ его пользу. Тургеневу пришло въ голову выбрать представителемъ базаровскаго типа человѣка неотесаннаго; онъ такъ и сдѣлалъ, и конечно, рисуя своего героя, не утаилъ и не закрасилъ его угловатостей; выборъ Тургенева можно объяснить двумя различными причинами: во-первыхъ, личность человѣка, безпощадно и съ полнымъ убѣжденіемъ отрицающаго все, что другіе признаютъ высокимъ и прекраснымъ, всего чаще вырабатывается при сѣрой обстановкѣ трудовой жизни; отъ суроваго труда грубѣютъ руки, грубѣютъ манеры, грубѣютъ чувства; человѣкъ крѣпнетъ и прогоняетъ юношескую мечтательность, избавляется отъ слезливой чувствительности; за работой мечтать нельзя, потому что вниманіе сосредоточено на занимающемъ дѣлѣ; а послѣ работы нуженъ отдыхъ, необходимо дѣйствительное удовлетвореніе физическимъ потребностямъ, и мечта нейдетъ на умъ. На мечту человѣкъ привыкаетъ смотрѣть, какъ на блажь, свойственную праздности и барской изнѣженности; нравственныя страданія онъ начинаетъ считать мечтательными; нравственныя стремленія и подвиги—придуманными и нелѣпыми. Для него, трудового человѣка, существуетъ только одна, вѣчно повторяющаяся, забота: сегодня надо думать о томъ, чтобы не голодать завтра. Эта простая, грозная въ своей простотѣ забота заслоняетъ отъ него остальныя, второстепенныя тревоги, дрязги и заботы жизни; въ сравненіи съ этой заботой ему кажутся мелкими, ничтожными, искусственно созданными разные неразрѣшенные вопросы, неразъясненныя сомнѣнія, неопредѣленныя отношенія, отравляющія жизнь людей обезпеченныхъ и досужихъ.

Такимъ образомъ пролетарій-труженикъ самымъ процессомъ своей жизни, независимо отъ процесса размышленія, доходитъ до практическаго реализма; онъ за недосугомъ отучается мечтать, гоняться за идеаломъ, стремиться въ идеѣ къ недостижимо-высокой цѣли. Развивая въ труженикѣ энергію, трудъ пріучаетъ его сближать дѣло съ мыслью, актъ воли съ актомъ ума. Человѣкъ, привыкшій надѣяться на себя и

на свои собственныя силы, привыкшій осуществлять сегодня то, что задумано было вчера, начинаетъ смотрѣть съ болѣе или менѣе явнымъ пренебреженіемъ на тѣхъ людей, которые, мечтая о любви, о полезной дѣятельности, о счастіи всего человѣческаго рода, не умѣютъ шевельнуть пальцемъ, чтобы хоть сколько нибудь улучшить свое собственное, въ высшей степени неудобное, положеніе. Словомъ, человѣкъ дѣла, будь онъ медикъ, ремесленникъ, педагогъ, даже литераторъ (можно быть литераторомъ и человѣкомъ дѣла въ одно и то же время), чувствуетъ естественное, непреодолимое отвращеніе къ фразистости, къ тратѣ словъ, къ сладкимъ мыслямъ, къ сантиментальнымъ стремленіямъ и вообще ко всякимъ претензіямъ, не основаннымъ на дѣйствительной, осязательной силѣ. Такого рода отвращеніе ко всему отрѣшенному отъ жизни и улетучивающемуся въ звукахъ составляетъ коренное свойство людей базаровскаго типа. Это коренное свойство вырабатывается именно въ тѣхъ разнородныхъ мастерскихъ, въ которыхъ человѣкъ, изощряя свой умъ и напрягая мускулы, борется съ природой за право существовать на бѣломъ свѣтѣ. На этомъ основаніи Тургеневъ имѣлъ право взять своего героя въ одной изъ такихъ мастерскихъ и привести его въ рабочемъ фартукѣ, съ неумытыми руками и угрюмо-озабоченнымъ взглядомъ въ общество фешенебельныхъ кавалеровъ и дамъ.

Но справедливость побуждаетъ меня выразить предположеніе, что авторъ романа «Отцы и дѣти» поступилъ такимъ образомъ не безъ коварнаго умысла. Этотъ коварный умыселъ и составляетъ ту вторую причину, о которой я упомянулъ выше. Дѣло въ томъ, что Тургеневъ очевидно не благоволитъ къ своему герою. Его мягкую, любящую натуру, стремящуюся къ вѣрѣ и сочувствію, коробитъ отъ разъѣдающаго реализма; его тонкое эстетическое чувство, не лишенное значительной дозы аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими проблесками цинизма; онъ слишкомъ слабъ и впечатлителенъ, чтобы вынести безотрадное отрицаніе; ему необходимо помириться съ существованіемъ, если не въ области жизни, то по крайней мѣрѣ въ области мысли, или, вѣрнѣе, мечты. Тургеневъ, какъ нервная женщина, какъ растеніе «нетронь-меня», сжимается болѣзненно отъ самаго легкаго прикосновенія съ букетомъ базаровщины.

Чувствуя такимъ образомъ невольную антипатію къ этому направленію мысли, онъ вывелъ его передъ читающей публикой въ возможно неграціозномъ экземплярѣ. Онъ очень хорошо знаетъ, что въ публикѣ нашей очень много фешенебельныхъ читателей, и, разсчитывая на утонченность ихъ аристократическаго вкуса, не щадитъ грубыхъ красокъ, съ очевиднымъ желаніемъ уронить и опошлить, вмѣстѣ съ героемъ, тотъ складъ идей, который составляетъ общую принадлежность типа. Онъ очень хорошо знаетъ, что большинство его читателей скажутъ только о Базаровѣ, что онъ дурно воспитанъ и что его нельзя пустить въ порядочную гостиную; дальше и глубже они не пойдутъ; по, говоря съ такими людьми, даровитый художникъ и честный человѣкъ долженъ быть въ высшей степени остороженъ изъ уваженія къ самому себѣ и къ той идеѣ, которую онъ защищаетъ или опровергаетъ. Тутъ надо держать въ уздѣ свою личную антипатію, которая при извѣстныхъ условіяхъ можетъ превратиться въ непроизвольную клевету на людей, не имѣющихъ возможности защищаться тѣмъ же оружіемъ.

IV.

Я старался до сихъ поръ обрисовать крупными чертами личность Базарова, или, вѣрнѣе, тотъ общій, складывающійся типъ, котораго представителемъ является герой тургеневскаго романа. Надобно теперь прослѣдить по возможности его историческое происхожденіе; надо показать, въ какихъ отношеніяхъ находится Базаровъ къ разнымъ Онѣгинымъ, Печоринымъ, Рудинымъ, Бельтовымъ и другимъ литературнымъ типамъ, въ которыхъ, въ прошлыя десятилѣтія, молодое поколѣніе узнавало черты своей умственной физіономіи. Во всякое время жили на свѣтѣ люди, недовольные жизнью вообще или нѣкоторыми формами въ особенности; во всякое время люди эти составляли незначительное меньшинство. Масса во всякое время жила припѣваючи, и, по свойственной ей неприхотливости, удовлетворялась тѣмъ, что было на-лицо. Только какое-нибудь матеріальное бѣдствіе, вродѣ «труса, глада, потопа, нашествія иноплеменныхъ», приводило массу въ безпокойное движеніе и нарушало обычный, сонливо-безмятежный процессъ ея прозябанія. Масса, составленная изъ тѣхъ сотенъ тысячъ недѣлимыхъ, которые никогда въ жизни не пользовались своимъ головнымъ мозгомъ, какъ орудіемъ самостоятельнаго мышленія, живетъ себѣ со дня на день, обдѣлываетъ свои дѣлишки, получаетъ мѣстечки, играетъ въ картишки, кое-что почитываетъ, слѣдитъ за модой въ идеяхъ и въ платьяхъ, идетъ черепашьимъ шагомъ впередъ по силѣ инерціи, и, никогда не задавая себѣ крупныхъ, многообъемлющихъ вопросовъ, никогда не мучась сомнѣніями, не испытываетъ ни раздраженія, ни утомленія, ни досады, ни скуки. Эта масса не дѣлаетъ ни открытій, ни преступленій, — за нее думаютъ и страдаютъ, ищутъ и находятъ, борются и ошибаются другіе люди, вѣчно для нея чужіе, вѣчно смотрящіе на нее съ пренебреженіемъ и въ то же время вѣчно работающіе для того, чтобы увеличить удобства ея жизни. Эта масса, желудокъ человѣчества, живетъ на всемъ готовомъ, не спра-

шивая, откуда оно берется, и не впося съ своей стороны ни одной полушки въ общую сокровищницу человѣческой мысли. Люди массы у насъ въ Россіи учатся, служатъ, работаютъ, веселятся, женятся, плодятъ дѣтей, воспитываютъ ихъ, словомъ—живутъ самою полною жизнью, совершенно довольны собой и средой, не желаютъ никакихъ усовершенствованій и, шествуя по торной дорогѣ, не подозрѣваютъ ни возможности, ни необходимости другихъ путей и направленій. Они держатся заведеннаго порядка по силѣ инерціи, а не вслѣдствіе привязанности къ нему; попробуйте измѣнить этотъ порядокъ—они сейчасъ сживутся съ нововведеніемъ; закоренѣлые старовѣры являются самобытными личностями и стоятъ выше безотвѣтнаго стада. А масса сегодня ѣздитъ по скернымъ проселочнымъ дорогамъ и мирится съ ними; черезъ нѣсколько лѣтъ она сядетъ въ вагоны и будетъ любоваться быстротой движенія и удобствами путешествія. Эта инерція, эта способность па все соглашаться и со всѣмъ уживаться составляетъ можетъ быть драгоцѣннѣйшее достояніе человѣчества. Убогость мысли уравновѣшивается такимъ образомъ скромностью требованій. Человѣкъ, у котораго не хватаетъ ума на то, чтобы придумать средства для улучшенія своего невыносимаго положенія, можетъ назваться счастливымъ только въ томъ случаѣ, если онъ не понимаетъ и не чувствуетъ неудобствъ своего положенія. Жизнь человѣка ограниченнаго почти всегда течетъ ровнѣе и пріятнѣе жизни генія или даже просто умнаго человѣка. Умные люди не уживаются съ тѣми явленіями, къ которымъ безъ малѣйшаго труда привыкаетъ масса. Къ этимъ явленіямъ умные люди, смотря по различнымъ условіямъ темперамента и развитія, становятся въ самыя разнородныя отношенія.

Вотъ, положимъ, живетъ въ Петербургѣ молодой человѣкъ, единственный сынъ богатыхъ родителей. Онъ уменъ. Учили его, какъ слѣдуетъ, слегка всему тому, что по понятіямъ папеньки и гувернера необходимо знать молодому человѣку хорошаго семейства. Книги и уроки ему надоѣли, надоѣли и романы, которые онъ читалъ сначала потихоньку, а потомъ открыто; онъ жадно набрасывается на жизнь, танцуетъ до упаду, волочится за женщинами, одерживаетъ блестящія побѣды. Незамѣтно пролетаетъ два, три года; сегодня то же самое, что вчера, завтра то же, что сегодня — шуму, толкотни, движенія, блеску, пестроты много, а въ сущности разнообразія впечатлѣній нѣтъ; то, что видѣлъ нашъ предполагаемый герой, то уже понято и изучено имъ; новой пищи для ума нѣтъ, и начинается томительное чувство умственнаго голода, скуки. Разочарованный или, проще и вѣрнѣе, скучающій молодой человѣкъ начинаетъ раздумывать, что бы ему сдѣлать, за что бы ему приняться. Работать, что ли? Но работать, задавать себѣ работу для того, чтобы не скучать—все равно, что гулять для моціона безъ опредѣленной цѣли. О такомъ фокусѣ умному человѣку и подумать странно. Да и наконецъ, не угодно ли вамъ найти у насъ такую работу, которая заинтересовала бы умнаго человѣка, не втянувшагося въ эту работу съ-молоду. Ужъ не поступить ли ему на службу въ казенную палату? Или не готовиться ли для развлеченія къ магистерскому экзамену? Не вообразить ли себя художникомъ и не приняться ли, въ двадцать пять лѣтъ, за рисованіе глазъ и ушей, за изученіе перспективы или генералъ-баса?

Развѣ влюбиться?—Оно, конечно, не мѣшало бы, да бѣда въ томъ, что умные люди очень требовательны и рѣдко удовлетворяются тѣми экземплярами женскаго пола, которыми изобилуютъ блестящія петербургскія гостиныя. Съ этими женщинами они любезничаютъ, съ ними они сводятъ интриги, на нихъ они женятся иногда по увлеченію, чаще по благоразумному разсчету, но сдѣлать изъ отношеній съ подобными женщинами занятіе, наполняющее жизнь, спасающее отъ скуки—это для умнаго человѣка немыслимо. Въ отношенія между мужчиной и женщиной проникла та же мертвящая казенщина, которая обуяла остальныя проявленія нашей частной и общественной жизни. Живая природа человѣка здѣсь, какъ и вездѣ, скована и обезцвѣчена мундирностью и обрядностью. Ну, вотъ молодому человѣку, изучившему мундиръ и обрядъ до послѣднихъ подробностей, остается только или махнуть рукой на свою скуку, какъ на неизбѣжное зло, или съ отчаянья броситься въ разныя эксцентричности, питая неопредѣленную надежду разсѣяться. Первое сдѣлалъ Онѣгинъ, второе—Печоринъ; вся разница между тѣмъ и другимъ заключается въ темпераментѣ. Условія, при которыхъ они формировались и отъ которыхъ они заскучали—одни и тѣ же; среда, которая пріѣлась тому и другому—та же самая. Но Онѣгинъ холоднѣе Печорина, и потому Печоринъ дуритъ гораздо больше Онѣгина, кидается за впечатлѣніями на Кавказъ, ищетъ ихъ въ любви Бэлы, въ дуэли съ Грушницкимъ, въ схваткахъ съ черкесами, между тѣмъ какъ Онѣгинъ вяло и лѣниво носитъ съ собой по свѣту свое красивое разочарованіе. Немножко Онѣгинымъ, немножко Печоринымъ бывалъ и до сихъ поръ бываетъ у насъ всякій мало-мальски умный человѣкъ, владѣющій обезпеченнымъ состояніемъ, выросшій въ атмосферѣ барства и неполучившій серьезнаго образованія.

Рядомъ съ этими скучающими трутнями являлись и до сихъ поръ являются толпами люди грустящіе, тоскующіе отъ неудовлетвореннаго стремленія приносить пользу. Воспитанные въ гимназіяхъ и университетахъ, эти люди полу-

чаютъ довольно основательныя понятія о томъ, какъ живутъ на свѣтѣ цивилизованные народы, какъ трудятся на пользу общества даровитые дѣятели, какъ опредѣляютъ обязанности человѣка разные мыслители и моралисты. Въ неопредѣленныхъ, но часто теплыхъ выраженіяхъ говорятъ этимъ людямъ профессора о честной дѣятельности, о подвигѣ жизни, о самоотверженіи во имя человѣчества, истины, науки, общества. Варіаціи на эти теплыя выраженія наполняютъ собою задушевныя студенческія бесѣды, во время которыхъ высказывается такъ много юношески-свѣжаго, во время которыхъ такъ тепло и безгранично вѣрится въ существованіе и въ торжество добра. Ну вотъ, проникнутые теплыми словами идеалистовъ-профессоровъ, согрѣтые собственными восторженными рѣчами, молодые люди изъ школы выходятъ въ жизнь съ неукротимымъ желаніемъ сдѣлать хорошее дѣло или—пострадать за правду. Пострадать имъ иногда приходится, но сдѣлать дѣло никогда не удается. Они ли сами въ этомъ виноваты, та ли жизнь виновата, въ которую они вступаютъ—разсудить мудрено. Вѣрно по крайней мѣрѣ то, что передѣлать условія жизни у нихъ не хватаетъ силъ, а ужиться съ этими условіями они не умѣютъ. Вотъ они мечутся изъ стороны въ сторону, пробуютъ свои силы на разныхъ карьерахъ, просятъ, умоляютъ общество: «пристрой ты насъ куда-нибудь, возьми ты наши силы, выжми изъ нихъ для себя какую-нибудь частицу пользы; погуби насъ, но губи такъ, чтобы наша гибель не пропала даромъ». Общество глухо и неумолимо; горячее желаніе Рудиныхъ и Бельтовыхъ пристроиться къ практической дѣятельности и видѣть плоды своихъ трудовъ и пожертвованій остается безплоднымъ. Еще ни одинъ Рудинъ, ни одинъ Бельтовъ не дослужился до начальника отдѣленія; да къ тому же—странные люди!—они, чего-добраго, даже этой почетной и обезпеченной должностью не удовлетворились бы. Они говорили на такомъ языкѣ, котораго не понимало общество, и послѣ напрасныхъ попытокъ растолковать этому обществу свои желанія они умолкали и впадали въ очень извинительное уныніе. Иные Рудины успокоивались и находили себѣ удовлетвореніе въ педагогической дѣятельности; дѣлаясь учителями и профессорами, они находили исходъ для своего стремленія къ дѣятельности. Сами мы, говорили они себѣ, ничего не сдѣлали. По крайней мѣрѣ, передадимъ наши честныя тенденціи молодому поколѣнію, которое будетъ крѣпче насъ и создастъ себѣ другія, болѣе благопріятныя времена.

Оставаясь такимъ образомъ вдали отъ практической дѣятельности, бѣдные идеалисты-преподаватели не замѣчали того, что ихъ лекціи плодятъ такихъ же Рудиныхъ, какъ и они сами, что ихъ ученикамъ придется точно такъ-же оставаться внѣ практической дѣятельности или дѣлаться ренегатами, отказываться отъ убѣжденій и тенденцій. Рудинымъ-преподавателямъ было бы тяжело предвидѣть, что они даже въ лицѣ своихъ учениковъ не примутъ участія въ практической дѣятельности; а между тѣмъ они бы ошиблись, еслибы, даже предвидя это обстоятельство, они подумали, что не приносятъ никакой пользы. Отрицательная польза, принесенная и приносимая людьми этого закала, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Они размножаютъ людей *неспособныхъ* къ практической дѣятельности; вслѣдствіе этого самая практическая дѣятельность, или, вѣрнѣе, тѣ формы, въ которыхъ она обыкновенно выражается теперь, медленно, но постоянно понижаются во мнѣніи общества. Лѣтъ двадцать тому назадъ, всѣ молодые люди служили въ различныхъ вѣдомствахъ; люди не служащіе принадлежали къ исключительнымъ явленіямъ; общество смотрѣло на нихъ съ состраданіемъ или съ пренебреженіемъ; сдѣлать карьеру—значило дослужиться до большого чина. Теперь очень многіе молодые люди не служатъ, и никто не находитъ въ этомъ ничего страннаго или предосудительнаго. Почему такъ случилось? А потому, мнѣ кажется, что къ подобнымъ явленіямъ приглядѣлись, или, что то же самое, потому что Рудины размножились въ нашемъ обществѣ. Не такъ давно, лѣтъ шесть тому назадъ, вскорѣ послѣ Крымской кампаніи, наши Рудины вообразили себѣ, что ихъ время настало, что общество приметъ и пуститъ въ ходъ тѣ силы, которыя они давно предлагали ему съ полнымъ самоотверженіемъ. Они рванулись впередъ; литература оживилась; университетское преподаваніе сдѣлалось свѣжѣе; студенты преобразились; общество съ небывалымъ рвеніемъ принялось за журналы и стало даже заглядывать въ аудиторіи; возникли даже новыя административныя должности. Казалось, что за эпохой безплодныхъ мечтаній и стремленій наступаетъ эпоха кипучей, полезной дѣятельности. Казалось, рудинству приходитъ конецъ, и даже самъ Гончаровъ похоронилъ своего Обломова и объявилъ, что подъ русскими именами таится много Штольцевъ. Но миражъ разсѣялся—Рудины не сдѣлались практическими дѣятелями; изъ-за Рудиныхъ выдвинулось новое поколѣніе, которое съ укоромъ и насмѣшкой отнеслось къ своимъ предшественникамъ. «Объ чемъ вы ноете, чего вы ищете, чего просите отъ жизни? Вамъ, небось, счастія хочется, говорили эти новые люди мягкосердечнымъ идеалистамъ, тосклпво опустившимъ крылышки, да вѣдь мало ли что! Счастіе надо завоевать. Есть силы—берите его. Нѣтъ силъ—молчите, а то и безъ васъ тошно!»

Мрачная, сосредоточенная энергія сказывалась въ этомъ недружелюбномъ отношеніи молодого поколѣнія къ своимъ наставникамъ. Въ

своихъ понятіяхъ о добрѣ и злѣ это поколѣніе сходилось съ лучшими людьми предыдущаго; симпатіи и антипатіи у нихъ были общія; желали они одного и того же; но люди прошлаго метались и суетились, надѣясь гдѣ-нибудь пристроиться и какъ-нибудь, втихомолку, урывками, незамѣтно влить въ жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго не мечутся, ничего не ищутъ, нигдѣ не пристраиваются, не поддаются ни на какіе компромиссы и ни на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи они такъ же безсильны, какъ и Рудины, но они сознали свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не могу дѣйствовать теперь—думаетъ про себя каждый изъ этихъ новыхъ людей—не стану и пробовать; я презираю все, что̀ меня окружаетъ, и не стану скрывать этого презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живется, не мирясь съ господствующимъ зломъ и не давая ему надъ собой никакой власти. Я—чужой среди существующаго порядка вещей, и мнѣ до него нѣтъ никакого дѣла. Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ, думаю—что̀ хочу, и высказываю—что̀ можно высказать».

Это холодное отчаяніе, доходящее до полнаго индифферентизма и въ то же время развивающее отдѣльную личность до послѣднихъ предѣловъ твердости и самостоятельности, напрягаетъ умственныя способности; не имѣя возможности дѣйствовать, люди начинаютъ думать и изслѣдовать; не имѣя возможности передѣлать жизнь, люди вымещаютъ свое безсиліе въ области мысли; тамъ ничто не останавливаетъ разрушительной критической работы; суевѣрія и авторитеты разбиваются въ дребезги, и міросозерцаніе совершенно очищается отъ разныхъ призрачныхъ представленій.

— «Что же вы дѣлаете? (спрашиваетъ дядя Аркадія у Базарова).

— А вотъ что мы дѣлаемъ (отвѣчаетъ Базаровъ): прежде—въ недавнее время, мы говорили, что чиновники наши берутъ взятки, что у насъ нѣтъ ни дорогъ, ни торговли, ни правильнаго суда.

— Ну да, да, вы—обличители, такъ кажется это называется. Со многими изъ вашихъ обличеній и я соглашаюсь, но...

— А потомъ мы догадались, что болтать, все только болтать о нашихъ язвахъ не стоитъ труда, что это ведетъ только къ пошлости и къ доктринерству; мы увидали, что умники наши, такъ называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся, что мы занимаемся вздоромъ, толкуемъ о какомъ-то искусствѣ, безсознательномъ творчествѣ, о парламентаризмѣ, объ адвокатурѣ и чортъ знаетъ о чемъ, когда дѣло идетъ о насущномъ хлѣбѣ, когда *грубѣйшее суевѣріе насъ душитъ*, когда всѣ наши акціонерныя общества лопаются единственно отъ того, что оказывается недостатокъ въ честныхъ людяхъ, когда самая свобода, о которой хлопочетъ правительство, едва ли пойдетъ намъ въ прокъ, потому что мужикъ нашъ радъ самого себя обокрасть, чтобы напиться дурману въ кабакѣ...

— Такъ, перебилъ Павелъ Петровичъ, такъ; вы во всемъ этомъ убѣдились и рѣшились сами ни за что серьезно не приниматься?

— И рѣшились ни за что не приниматься, угрюмо повторилъ Базаровъ. Ему вдругъ стало досадно на самого себя, зачѣмъ онъ распространился передъ этимъ барномъ.

— А только ругаться?

— И ругаться.

— И это называется нигилизмомъ?

— И это называется нигилизмомъ, повторилъ опять Базаровъ, на этотъ разъ съ особенной дерзостью».

Итакъ, вотъ мои выводы. Человѣкъ массы живетъ по установленной нормѣ, которая достается ему на долю не по свободному выбору, а потому, что онъ родился въ извѣстное время, въ извѣстномъ городѣ или селѣ. Онъ весь опутанъ разными отношеніями: родственными, служебными, бытовыми, общественными; мысль его скована привитыми предразсудками; самъ онъ не любитъ ни этихъ отношеній, ни этихъ предразсудковъ, но они представляются ему «предѣломъ, его же не прейдеши», и онъ живетъ и умираетъ, не проявивъ своей личной воли и часто даже не заподозривъ въ себѣ ея существованія. Если попадается въ этой массѣ человѣкъ поумнѣе, то онъ, смотря по обстоятельствамъ, въ томъ или другомъ отношеніи выдѣлится изъ массы и распорядится по своему, какъ ему выгоднѣе, удобнѣе и пріятнѣе. Умные люди, не получившіе серьезнаго образованія, не выдерживаютъ жизни массы, потому что она надоѣдаетъ имъ своей безцвѣтностью; они сами не имѣютъ понятія о лучшей жизни, и потому, инстинктивно отшатнувшись отъ массы, остаются въ пустомъ пространствѣ, не зная куда идти, зачѣмъ жить на свѣтѣ, чѣмъ разогнать тоску. Здѣсь отдѣльная личность отрывается отъ стада, но не умѣетъ распорядиться собою. Другіе люди, умные и образованные, не удовлетворяются жизнью массы и подвергаютъ ее сознательной критикѣ; у нихъ составленъ свой идеалъ; они хотятъ идти къ нему, но, оглядываясь назадъ, постоянно боязливо спрашиваютъ другъ друга: а пойдетъ ли за нами общество? А не останемся-ли мы одни съ своими стремленіями? Не попадемъ ли мы въ просакъ? У этихъ людей, за недостаткомъ твердости, дѣло останавливается на словахъ. Здѣсь личность сознаетъ свою отдѣльность, составляетъ себѣ понятіе самостоятельной жизни и, не осмѣливаясь двинуться съ мѣста, раздваиваетъ свое существованіе, отдѣляетъ міръ мысли отъ міра жизни. Люди третьяго разряда идутъ дальше—они сознаютъ свое несходство съ массой и смѣло отдаляются отъ нея

поступками, привычками, всѣмъ образомъ жизни. Пойдетъ ли за ними общество—до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою, своей внутренней жизнью и не стѣсняютъ ее въ угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь личность достигаетъ полнаго самоосвобожденія, полной особности и самостоятельности.

Словомъ, у Печориныхъ есть воля безъ знанія, у Рудиныхъ—знаніе безъ воли; у Базаровыхъ есть и знаніе, и воля. Мысль и дѣло сливаются въ одно твердое цѣлое.

V.

До сихъ поръ я говорилъ объ общемъ жизненномъ явленіи, вызвавшемъ собою романъ Тургенева; теперь надо посмотрѣть, какъ это явленіе отразилось въ художественномъ произведеніи. Узнавши, что такое Базаровъ, мы должны обратить вниманіе на то, какъ понимаетъ этого Базарова самъ Тургеневъ, какъ онъ заставляетъ его дѣйствовать и въ какія отношенія ставитъ его къ окружающимъ людямъ. Словомъ, я приступлю теперь къ подробному фактическому разбору романа.

Я сказалъ выше, что Базаровъ пріѣзжаетъ въ деревню къ своему пріятелю, Аркадію Николаевичу Кирсанову, подчиняющемуся его вліянію. Аркадій Николаевичъ—молодой человѣкъ не глупый, но совершенно лишенный умственной оригинальности и постоянно нуждающійся въ чьей-нибудь интеллектуальной поддержкѣ. Онъ вѣроятно лѣтъ на пять моложе Базарова и въ сравненіи съ нимъ кажется совершенно неоперившимся птенцомъ, не смотря на то, что ему около двадцати трехъ лѣтъ и что онъ кончилъ курсъ въ университетѣ. Благоговѣя передъ своимъ учителемъ, Аркадій съ наслажденіемъ отрицаетъ авторитеты; онъ дѣлаетъ это съ чужого голоса, не замѣчая такимъ образомъ внутренняго противорѣчія въ своемъ поведеніи. Онъ слишкомъ слабъ, чтобъ держаться самостоятельно въ той холодной атмосферѣ трезвой разумности, въ которой такъ привольно дышется Базарову; онъ принадлежитъ къ разряду людей вѣчно опекаемыхъ и вѣчно не замѣчающихъ надъ собой опеки. Базаровъ относится къ нему покровительственно и почти всегда насмѣшливо; Аркадій часто споритъ съ нимъ, и въ этихъ спорахъ Базаровъ даетъ полную волю своему увѣсистому юмору. Аркадій не любитъ своего друга, а какъ-то невольно подчиняется неотразимому вліянію сильной личности и при томъ воображаетъ себѣ, что глубоко сочувствуетъ базаровскому міросозерцанію. Отношенія его къ Базарову чисто головныя, сдѣланныя на заказъ; онъ познакомился съ нимъ гдѣ-нибудь въ студенческомъ кругу, заинтересовался цѣльностью его воззрѣній, покорился его силѣ и вообразилъ себѣ, что онъ его глубоко уважаетъ и отъ души любитъ. Базаровъ конечно ничего не вообразилъ и, нисколько не стѣсняя себя, позволилъ своему новому прозелиту любить его, Базарова, и поддерживать съ нимъ постоянныя отношенія. Поѣхалъ онъ съ нимъ въ деревню не для того, чтобы доставить ему удовольствіе, и не для того, чтобы познакомиться съ семействомъ своего нареченнаго друга, а просто потому, что это было по дорогѣ, да и наконецъ отчего же не пожить недѣли двѣ въ гостяхъ у порядочнаго человѣка, въ деревнѣ лѣтомъ, когда нѣтъ никакихъ отвлекающихъ занятій и интересовъ.

Деревня, въ которую пріѣхали наши молодые люди, принадлежитъ отцу и дядѣ Аркадія. Отецъ его, Николай Петровичъ Кирсановъ—человѣкъ лѣтъ сорока съ небольшимъ; по складу характера онъ очень похожъ на своего сына. Но у Николая Петровича между его умственными убѣжденіями и природными наклонностями гораздо больше соотвѣтствія и гармоніи, чѣмъ у Аркадія. Какъ человѣкъ мягкій, чувствительный и даже сантиментальный, Николай Петровичъ не порывается къ раціонализму и успокоивается на такомъ міросозерцаніи, которое даетъ пищу его воображенію и пріятно щекочетъ его нравственное чувство. Аркадій, напротивъ того, хочетъ быть сыномъ своего вѣка и напяливаетъ на себя идеи Базарова, которыя рѣшительно не могутъ съ нимъ срости сь. Онъ—самъ по себѣ, а идеи—сами по себѣ болтаются, какъ сюртукъ взрослаго человѣка, надѣтый на десятилѣтняго ребенка. Даже та ребяческая радость, которая обнаруживается въ мальчикѣ, когда его шутя производятъ въ большіе, даже эта радость, говорю я, замѣтна въ нашемъ юномъ мыслителѣ съ чужого голоса. Аркадій щеголяетъ своими идеями, старается обратить на нихъ вниманіе окружающихъ, думаетъ про себя: вотъ какой я молодецъ, и увы, какъ дитя малое, неразумное, иногда провирается и доходитъ до явнаго противорѣчія съ самимъ собою и съ накладными своими убѣжденіями.

Дядя Аркадія, Павелъ Петровичъ, можетъ быть названъ Печоринымъ маленькихъ размѣровъ; онъ на своемъ вѣку пожуировалъ и подурачился, и наконецъ все ему надоѣло; пристроиться ему не удалось, да это и не было въ его характерѣ; добравшись до той поры, когда, по выраженію Тургенева, сожалѣнія похожи на надежды, а надежды на сожалѣнія, бывшій левъ удалился къ брату въ деревню, окружилъ себя изящнымъ комфортомъ и превратилъ свою жизнь въ спокойное прозябаніе. Выдающимся воспоминаніемъ изъ прежней шумной и блестящей жизни Павла Петровича было сильное чувство къ однойвеликосвѣтской женщинѣ, чувство, доставившее ему много наслажденій, и вслѣдъ за тѣмъ, какъ бываетъ почти всегда, много страданій. Когда отношенія Павла Петровича къ этой женщинѣ оборвались, то жизнь его совершенно опустѣла.

«Какъ отравленный, бродилъ онъ съ мѣста на мѣсто, говоритъ Тургеневъ; онъ еще выѣзжалъ,

онъ сохранилъ всѣ привычки свѣтскаго человѣка, онъ могъ похвастаться двумя, тремя новыми побѣдами; но онъ уже не ждалъ ничего особеннаго ни отъ себя, ни отъ другихъ, и ничего не предпринималъ; онъ состарѣлся, посѣдѣлъ; сидѣть по вечерамъ въ клубѣ, желчно скучать, равнодушно поспорить въ холостомъ обществѣ стало для него потребностью—знакъ, какъ извѣстно, плохой. О женитьбѣ онъ, разумѣется, и не думалъ. Десять лѣтъ прошло такимъ образомъ безцвѣтно, безплодно и быстро, страшно быстро. Нигдѣ время такъ не бѣжитъ, какъ въ Россіи; въ тюрьмѣ, говорятъ, оно бѣжитъ еще скорѣе».

Какъ человѣкъ желчный и страстный, одаренный гибкимъ умомъ и сильной волей, Павелъ Петровичъ рѣзко отличается отъ своего брата и отъ племянника. Онъ не поддается чужому вліянію; онъ самъ подчиняетъ себѣ окружающихъ личностей и ненавидитъ тѣхъ людей, въ которыхъ встрѣчаетъ себѣ отпоръ. Убѣжденій у него, по правдѣ сказать, не имѣется, но зато есть привычки, которыми онъ очень дорожитъ. Онъ по привычкѣ толкуетъ о правахъ и обязанностяхъ аристократіи и по привычкѣ доказываетъ въ спорахъ необходимость *принсиповъ*. Онъ привыкъ къ тѣмъ идеямъ, которыхъ держится общество, и стоитъ за эти идеи, какъ за свой комфортъ. Онъ терпѣть не можетъ, чтобы кто-нибудь опровергалъ эти понятія, хотя въ сущности онъ не питаетъ къ нимъ никакой сердечной привязанности. Онъ гораздо энергичнѣе своего брата споритъ съ Базаровымъ, а между тѣмъ Николай Петровичъ гораздо искреннѣе страдаетъ отъ его безпощаднаго отрицанія. Въ глубинѣ души Павелъ Петровичъ такой же скептикъ и эмпирикъ, какъ и самъ Базаровъ; въ практической жизни онъ всегда поступалъ и поступаетъ, какъ ему вздумается, но въ области мысли онъ не умѣетъ признаться въ этомъ передъ самимъ собою, и потому поддерживаетъ на словахъ такія доктрины, которымъ постоянно противорѣчатъ его поступки. Дядѣ и племяннику слѣдовало бы помѣняться между собой убѣжденіями, потому что первый ошибочно приписываетъ себѣ вѣру въ *принсипы*, второй точно также ошибочно воображаетъ себя крайнимъ скептикомъ и смѣлымъ раціоналистомъ. Павелъ Петровичъ начинаетъ чувствовать къ Базарову сильнѣйшую антипатію съ перваго знакомства. Плебейскія манеры Базарова возмущаютъ отставного дэнди; самоувѣренность и нецеремонность его раздражаютъ Павла Петровича, какъ недостатокъ уваженія къ его изящной особѣ. Павелъ Петровичъ видитъ, что Базаровъ не уступитъ ему преобладанія надъ собой, и это возбуждаетъ въ немъ чувство досады, за которое онъ ухватывается, какъ за развлеченіе среди глубокой деревенской скуки. Ненавидя самого Базарова, Павелъ Петровичъ возмущается всѣми его мнѣніями, придирается къ нему, насильно вызываетъ его на споръ и споритъ съ тѣмъ рьянымъ увлеченіемъ, которое обыкновенно обнаруживаютъ люди праздные и скучающіе.

А что же дѣлаетъ Базаровъ среди этихъ трехъ личностей? Во первыхъ, онъ старается обращать на нихъ какъ можно меньше вниманія и большую часть своего времени проводитъ за работою: шляется по окрестностямъ, собираетъ растенія и насѣкомыхъ, рѣжетъ лягушекъ и занимается микроскопическими наблюденіями; на Аркадія онъ смотритъ, какъ на ребенка, на Николая Петровича—какъ на добродушнаго старичка, или, какъ онъ выражается, на старенькаго романтика. Къ Павлу Петровичу онъ относится не совсѣмъ дружелюбно; его возмущаетъ въ немъ элементъ барства, но онъ невольно старается скрывать свое раздраженіе подъ видомъ презрительнаго равнодушія. Ему не хочется сознаться передъ собой, что онъ можетъ сердиться на «уѣзднаго аристократа», а между тѣмъ страстная натура беретъ свое: онъ часто запальчиво возражаетъ на тирады Павла Петровича и не вдругъ успѣваетъ овладѣть собою и замкнуться въ свою насмѣшливую холодность. Базаровъ не любитъ ни спорить, ни вообще высказываться, и только Павелъ Петровичъ отчасти обладаетъ умѣньемъ вызвать его на многозначительный разговоръ. Эти два сильные характера дѣйствуютъ другъ на друга враждебно; видя этихъ двухъ людей лицомъ къ лицу, можно себѣ представить борьбу, происходящую между двумя поколѣніями, непосредственно слѣдующими одно за другимъ. Николай Петровичъ конечно не способенъ быть угнетателемъ, Аркадій Николаевичъ конечно не способенъ вступить въ борьбу съ семейнымъ деспотизмомъ; но Павелъ Петровичъ и Базаровъ могли бы, при извѣстныхъ условіяхъ, явиться яркими представителями, первый—сковывающей, леденящей силы прошедшаго, второй разрушительной, освобождающей силы настоящаго.

На чьей же сторонѣ лежитъ симпатія художника? Кому онъ сочувствуетъ? На этотъ существенно важный вопросъ можно отвѣчать положительно, что Тургеневъ не сочувствуетъ вполнѣ ни одному изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ; отъ его анализа не ускользаетъ ни одна слабая или смѣшная черта; мы видимъ, какъ Базаровъ завирается въ своемъ отрицаніи, какъ Аркадій наслаждается своей развитостью, какъ Николай Петровичъ робѣетъ, какъ пятнадцатилѣтній юноша, и какъ Павелъ Петровичъ рисуется и злится, зачѣмъ на него не любуется Базаровъ, единственный человѣкъ, котораго онъ уважаетъ въ самой ненависти своей.

Базаровъ завирается—это къ сожалѣнію справедливо. Онъ съ плеча отрицаетъ вещи, которыхъ не знаетъ или не понимаетъ; поэзія, по его мнѣнію, ерунда; читать Пушкина—потерянное время; заниматься музыкой—смѣшно; наслаждаться природой—нелѣпо. Очень можетъ

быть, что онъ, человѣкъ затертый трудовой жизнью, потерялъ или не успѣлъ развить въ себѣ способность наслаждаться пріятнымъ раздраженіемъ зрительныхъ и слуховыхъ нервовъ, но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы онъ имѣлъ разумное основаніе отрицать или осмѣивать эту способность въ другихъ. Выкраивать людей на одну мѣрку съ собой значитъ впадать въ узкій умственный деспотизмъ. Отрицать совершенно произвольно ту или другую естественную и дѣйствительно существующую въ человѣкѣ потребность или способность—значитъ удаляться отъ чистаго эмпиризма.

Увлеченіе Базарова очень естественно; оно объясняется, во-первыхъ, односторонностью развитія, во-вторыхъ, общимъ характеромъ эпохи, въ которую намъ пришлось жить. Базаровъ основательно знаетъ естественныя и медицинскія науки; при ихъ содѣйствіи онъ выбилъ изъ своей головы всѣ предразсудки; затѣмъ онъ остался человѣкомъ крайне необразованнымъ; онъ слыхалъ кое-что о поэзіи, кое-что объ искусствѣ, не потрудился подумать и съ плеча произнесъ приговоръ надъ незнакомыми ему предметами. Эта заносчивость свойственна намъ вообще; она имѣетъ свои хорошія стороны, какъ умственная смѣлость, но зато конечно приводитъ порою къ грубымъ ошибкамъ. Общій характеръ эпохи заключается въ практическомъ направленіи; мы всѣ хотимъ жить и придерживаемся того правила, что соловья баснями не кормятъ. Люди очень энергическіе часто преувеличиваютъ тенденціи, господствующія въ обществѣ; на этомъ основаніи слишкомъ неразборчивое отрицаніе Базарова и самая односторонность его развитія стоятъ въ прямой связи съ преобладающими стремленіями къ осязательной пользѣ. Намъ надоѣли фразы гегелистовъ, у насъ закружилась голова отъ витанія въ заоблачныхъ высяхъ, и многіе изъ насъ, отрезвившись и спустившись на землю, ударились въ крайность и, изгоняя мечтательность, вмѣстѣ съ нею стали преслѣдовать простыя чувства и даже чисто физическія ощущенія, вродѣ наслажденія музыкой. Большого вреда въ этой крайности нѣтъ, но указать на нее не мѣшаетъ и назвать ее смѣшною вовсе не значитъ стать въ ряды обскурантовъ и старенькихъ романтиковъ. Многіе изъ нашихъ реалистовъ возстанутъ на Тургенева за то, что онъ не сочувствуетъ Базарову и не скрываетъ отъ читателя промаховъ своего героя; многіе изъявятъ желаніе, чтобы Базаровъ былъ выведенъ человѣкомъ образцовымъ, рыцаремъ мысли безъ страха и упрека, и чтобы такимъ образомъ было доказано передъ лицомъ читающей публики несомнѣнное превосходство реализма надъ другими направленіями мысли. Да, реализмъ, по моему, вещь хорошая; но во имя этого же самаго реализма не будемъ идеализировать ни себя, ни нашего направленія. Мы смотримъ холодно и трезво на все, что насъ окружаетъ; посмотримъ же точно такъ же холодно и трезво на самихъ себя; кругомъ чушь и глушь, да и у насъ самихъ не Богъ знаетъ, какъ свѣтло. Отрицаемое нелѣпо, да и отрицатели тоже дѣлаютъ порою капитальныя глупости; они все-таки стоятъ неизмѣримо выше отрицаемаго, но тутъ еще честь больно невелика: стоять выше вопіющей нелѣпости не значитъ еще быть геніальнымъ мыслителемъ. Но мы, пишущіе и говорящіе реалисты, теперь слишкомъ увлечены умственной борьбой минуты, горячими схватками съ отсталыми идеалистами, съ которыми по настоящему не стоило бы даже спорить; мы, говорю я, слишкомъ увлечены, чтобы скептически отнестись къ самимъ себѣ и провѣрить строгимъ анализомъ, не провираемся ли мы въ пылу діалектическихъ сраженій, совершающихся въ журнальныхъ книжкахъ и во вседневной жизни. Къ намъ отнесутся скептически наши дѣти, или, можетъ быть, мы сами узнаемъ себѣ со временемъ настоящую цѣну и посмотримъ à vol d'oiseau на теперешнія любимыя идеи. Тогда мы будемъ смотрѣть съ высоты настоящаго на прошедшее; Тургеневъ же теперь смотритъ на настоящее съ высоты прошедшаго. Онъ не идетъ съ нами; онъ спокойно смотритъ намъ въ слѣдъ, описываетъ нашу походку, разсказываетъ намъ, какъ мы ускоряемъ шаги, какъ прыгаемъ черезъ рытвины, какъ порою скатываемся на неровныхъ мѣстахъ дороги.

Въ тонѣ его онисанія не слышно раздраженія; онъ просто усталъ идти; развитіе его личнаго міросозерцанія окончилось, неспособность наблюдать за движеніемъ чужой мысли, понимать и воспроизводить всѣ ея изгибы—осталось во всей своей свѣжести и полнотѣ. Тургеневъ самъ никогда не будетъ Базаровымъ, но онъ вдумался въ этотъ типъ и понялъ его такъ вѣрно, какъ не пойметъ ни одинъ изъ нашихъ молодыхъ реалистовъ. Апоѳеозы прошедшаго нѣтъ въ романѣ Тургенева. Авторъ «Рудина» и «Аси», разоблачившій слабости своего поколѣнія и открывшій въ «Запискахъ Охотника» цѣлый міръ отечественныхъ диковинокъ, дѣлавшихся на глазахъ этого самаго поколѣнія, остался вѣренъ себѣ и не покривилъ душой въ своемъ послѣднемъ произведеніи. Представители прошлаго, «отцы», изображены съ безпощадной вѣрностью; они люди хорошіе, но объ этихъ хорошихъ людяхъ не пожалѣетъ Россія; въ нихъ нѣтъ ни одного элемента, который дѣйствительно стоило бы спасать отъ могилы и отъ забвенія; а между тѣмъ есть и такія минуты, когда этимъ отцамъ можно полнѣе сочувствовать, чѣмъ самому Базарову. Когда Николай Петровичъ любуется вечернимъ пейзажемъ, тогда онъ всякому непредубѣжденному читателю покажется человѣчнѣе Базарова, голословно отрицающаго красоту природы.

— И природа пустяки? проговорилъ Аркадій, задумчиво глядя вдаль на пестрыя поля, кра-

сиво и мягко освѣщенныя уже не высокимъ солнцемъ.

— И природа пустяки въ томъ значеніи, въ какомъ ты ее теперь понимаешь. Природа не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ.

Въ этихъ словахъ у Базарова отрицаніе превращается во что-то искусственное и даже перестаетъ быть послѣдовательнымъ. Природа—мастерская, и человѣкъ въ ней работникъ; съ этой мыслью я готовъ согласиться; но, развивая эту мысль дальше, я никакъ не прихожу къ тѣмъ результатамъ, къ которымъ приходитъ Базаровъ. Работнику надо отдыхать, а отдыхъ не можетъ ограничиться однимъ тяжелымъ сномъ послѣ утомительнаго труда. Человѣку необходимо освѣжиться пріятными впечатлѣніями, и жизнь безъ пріятныхъ впечатлѣній, даже при удовлетвореніи всѣмъ насущнымъ потребностямъ, превращается въ невыносимое страданіе. Послѣдовательные матеріалисты, вродѣ Карла Фохта, Молешота и Бюхнера, не отказываютъ поденщику въ чаркѣ водки, а достаточнымъ классамъ—въ употребленіи наркотическихъ веществъ. Они смотрятъ снисходительно даже на нарушенія должной мѣры, хотя признаютъ подобныя нарушенія вредными для здоровья. Еслибы работникъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы въ свободные часы лежать на спинѣ и глазѣть на стѣны и потолокъ своей мастерской, то тѣмъ болѣе всякій здравомыслящій человѣкъ сказалъ бы ему: глазѣй, любезный другъ, глазѣй, сколько душѣ угодно; здоровью твоему это не повредитъ, а въ рабочее время ты глазѣть не будешь, чтобы не надѣлать промаховъ. Отчего же, допуская употребленіе водки и наркотическихъ веществъ вообще, не допустить наслажденія красотой природы, мягкимъ воздухомъ, свѣжей зеленью, нѣжными переливами контуровъ и красокъ? Преслѣдуя романтизмъ, Базаровъ съ невѣроятной подозрительностью ищетъ его тамъ, гдѣ его никогда и не бывало. Вооружаясь противъ идеализма и разбивая его воздушные замки, онъ порою самъ дѣлается идеалистомъ, т. е. начинаетъ предписывать человѣку законы, какъ и чѣмъ ему наслаждаться и къ какой мѣркѣ пригонять свои личныя ощущенія. Сказать человѣку: не наслаждайся природой—все равно, что сказать ему: умерщвляй свою плоть. Чѣмъ больше будетъ въ жизни безвредныхъ источниковъ наслажденія, тѣмъ легче будетъ жить на свѣтѣ, и вся задача нашего времени заключается именно въ томъ, чтобы уменьшить сумму страданій и увеличить силу и количество наслажденій. Многіе возразятъ на это, что мы живемъ въ такое тяжелое время, въ которомъ еще нечего думать о наслажденіи; наше дѣло, скажутъ они, работать, искоренять зло, сѣять добро, расчищать мѣсто для великаго зданія, въ которомъ будутъ пировать наши отдаленные потомки. Хорошо, я согласенъ съ тѣмъ, что мы поставлены въ необходимость работать для будущаго, потому что плоды нашихъ начинаній могутъ созрѣть только въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій; цѣль наша, положимъ, очень возвышенна, но эта возвышенность цѣли представляетъ очень слабое утѣшеніе въ житейскихъ передрягахъ. Человѣку усталому и измученному врядъ ли станетъ весело и пріятно отъ той мысли, что его праправнукъ будетъ жить въ свое удовольствіе. Въ тяжелыя минуты жизни утѣшаться возвышенностью цѣли—это, воля ваша, все равно, что пить неподслащенный чай, поглядывая на кусокъ сахара, привѣшенный къ потолку. Людямъ, не обладающимъ чрезмѣрной пылкостью воображенія, чай не покажется вкуснѣе отъ этихъ тоскливыхъ взглядовъ кверху. Точно такъ-же и жизнь, состоящая изъ однихъ трудовъ, окажется не по вкусу и не по силамъ современному человѣку. Поэтому, съ какой точки зрѣнія вы ни посмотрите на жизнь, а все-таки выйдетъ на повѣрку, что наслажденіе рѣшительно необходимо. Одни посмотрятъ на наслажденіе, какъ на конечную цѣль; другіе принуждены будутъ признать въ наслажденіи важнѣйшій источникъ силъ, необходимыхъ для работы. Въ этомъ будетъ заключаться вся разница между эпикурейцами и стоиками нашего времени.

Итакъ, Тургеневъ никому и ничему въ своемъ романѣ не сочувствуетъ вполнѣ. Еслибы сказать ему: «Иванъ Сергѣевичъ, вамъ Базаровъ не нравится, чего же вамъ угодно?»—то онъ на этотъ вопросъ не отвѣтилъ бы ничего. Онъ никакъ не пожелалъ бы молодому поколѣнію сойтись съ отцами въ понятіяхъ и влеченіяхъ. Его не удовлетворяютъ ни отцы, ни дѣти, и въ этомъ случаѣ его отрицаніе глубже и серьезнѣе отрицанія тѣхъ людей, которые, разрушая то, что было до нихъ, воображаютъ себѣ, что они соль земли и чистѣйшее выраженіе полной человѣчности. Въ разрушеніи своемъ эти люди можетъ быть правы, но въ наивномъ самообожаніи того типа, къ которому они себя причисляютъ, заключается ихъ ограниченность и односторонность. Такихъ формъ, такихъ типовъ, на которыхъ дѣйствительно можно было бы успокоиться и остановиться, еще не выработала и можетъ быть никогда не выработаетъ жизнь. Тѣ люди, которые, отдаваясь въ полное распоряженіе какой бы то ни было господствующей теоріи, отказываются отъ своей умственной самостоятельности и замѣняютъ критику подобострастнымъ поклоненіемъ, оказываются людьми узкими, безсильными и часто вредными. Поступить такимъ образомъ способенъ Аркадій, но это совершенно невозможно для Базарова, и именно въ этомъ свойствѣ ума и характера заключается вся обаятельная сила тургеневскаго героя. Эту обаятельную силу понимаетъ и признаетъ авторъ, несмотря на то, что самъ онъ ни по темпераменту, ни по условіямъ развитія не сходится съ своимъ нигили-

стомъ. Скажу больше: общія отношенія Тургенева къ тѣмъ явленіямъ жизни, которыя составляютъ канву его романа, такъ спокойны и безпристрастны, такъ свободны отъ раболѣпнаго поклоненія той или другой теоріи, что самъ Базаровъ не нашелъ бы въ этихъ отношеніяхъ ничего робкаго и фальшиваго. Тургеневъ не любитъ безпощаднаго отрицанія, а между тѣмъ личность безпощаднаго отрицателя выходитъ личностью сильной и внушаетъ каждому читателю невольное уваженіе. Тургеневъ склоненъ къ идеализму, а между тѣмъ ни одинъ изъ идеалистовъ, выведенныхъ въ его романѣ, не можетъ сравниться съ Базаровымъ ни по силѣ ума, ни по силѣ характера.

Я увѣренъ, что многіе изъ нашихъ журнальныхъ критиковъ захотятъ, во что бы то ни стало, увидать въ романѣ Тургенева затаенное стремленіе унизить молодое поколѣніе и доказать, что дѣти хуже родителей; но я точно такъ же увѣренъ въ томъ, что непосредственное чувство читателей, не скованныхъ обязательными отношеніями къ теоріи, оправдаетъ Тургенева и увидитъ въ его произведеніи не диссертацію на заданную тему, а вѣрную, глубоко прочувствованную и безъ малѣйшей утайки нарисованную картину современной жизни. Еслибы на тургеневскую тему напалъ какой-нибудь писатель, принадлежащій къ нашему молодому поколѣнію и глубоко сочувствующій базаровскому направленію, тогда конечно картина вышла бы не такая, и краски были бы положены иначе. Базаровъ не былъ бы угловатымъ бурсакомъ, господствующимъ надъ окружающими людьми естественною силой своего здраваго ума; онъ можетъ быть превратился бы въ воплощеніе тѣхъ идей, которыя составляютъ сущность этого типа; онъ можетъ быть представилъ бы намъ въ своей личности яркое выраженіе тенденцій автора, но врядъ ли онъ былъ бы равенъ Базарову въ отношеніи къ жизненной вѣрности и рельефности. Предполагаемый мною молодой художникъ говорилъ бы своимъ произведеніямъ, обращаясь къ сверстникамъ: «вотъ, друзья мои, чѣмъ долженъ быть развитой человѣкъ! Вотъ конечная цѣль нашихъ стремленій!» Что же касается до Тургенева, то онъ просто и спокойно говоритъ: «вотъ какіе бываютъ теперь молодые люди!» и при этомъ не скрываетъ даже того обстоятельства, что ему такіе молодые люди не совсѣмъ нравятся.—Какъ же это можно, закричатъ многіе изъ нашихъ современныхъ критиковъ и публицистовъ, это обскурантизмъ!—Господа, можно было бы отвѣтить имъ, да что вамъ за дѣло до личнаго ощущенія Тургенева. Нравятся или не нравятся ему такіе люди—это дѣло вкуса; вотъ еслибы онъ, не сочувствуя типу, клеветалъ бы на него, тогда каждый честный человѣкъ имѣлъ бы право вывести его на свѣжую воду, но подобной клеветы вы не найдете въ романѣ; даже угловатости Базарова, на которыя я уже обращалъ вниманіе читателя, объясняются совершенно удовлетворительно обстоятельствами жизни и составляютъ если не существенно необходимое, то по крайней мѣрѣ очень часто встрѣчающееся свойство людей базаровскаго типа.

Намъ, молодымъ людямъ, было бы конечно гораздо пріятнѣе, еслибы Тургеневъ скрылъ и скрасилъ неграціозныя шероховатости; но я не думаю, чтобы, потворствуя такимъ образомъ нашимъ прихотливымъ жеданіямъ, художникъ полнѣе охватилъ явленія дѣйствительности. Со стороны виднѣе достоинства и недостатки, и потому строго-критическій взглядъ на Базарова со стороны въ настоящую минуту оказывается гораздо плодотворнѣе, чѣмъ голословное восхищеніе или раболѣпное обожаніе. Взглянувъ на Базарова со стороны, взглянувъ такъ, какъ можетъ смотрѣть только человѣкъ «отставной», не причастный къ современному движенію идей, разсмотрѣвъ его тѣмъ холоднымъ, испытующимъ взглядомъ, который дается только долгимъ опытомъ жизни, Тургеневъ оправдалъ Базарова и оцѣнилъ его по достоинству. Базаровъ вышелъ изъ испытанія чистымъ и крѣпкимъ. Противъ этого типа Тургеневъ не нашелъ ни одного существеннаго обвиненія, и въ этомъ случаѣ его голосъ, какъ голосъ человѣка, находящагося по лѣтамъ и по взгляду на жизнь въ другомъ лагерѣ, имѣетъ особенно важное, рѣшительное значеніе. Тургеневъ не полюбилъ Базарова, но призналъ его силу, призналъ его перевѣсъ надъ окружающими людьми и самъ принесъ ему полную дань уваженія.

Этого слишкомъ достаточно для того, чтобы снять съ романа Тургенева всякій, могущій возникнуть, упрекъ въ отсталости направленія; этого достаточно даже для того, чтобы признать его романъ практически полезнымъ для настоящаго времени.

VI.

Отношенія Базарова къ его товарищу бросаютъ яркую полосу свѣта на его характеръ; у Базарова нѣтъ друга, потому что онъ не встрѣчалъ еще человѣка, «который бы не спасовалъ передъ нимъ»; Базаровъ одинъ, самъ по себѣ, стоитъ на холодной высотѣ трезвой мысли, и ему не тяжело это одиночество, онъ весь поглощенъ собой и работой; наблюденія и изслѣдованія надъ живой природой, наблюденія и изслѣдованія надъ живыми людьми наполняютъ для него пустоту жизни и застраховываютъ его противъ скуки. Онъ не чувствуетъ потребности въ какомъ-нибудь другомъ человѣкѣ отыскать себѣ сочувствіе и пониманіе; когда ему приходитъ въ голову какая-нибудь мысль, онъ просто высказывается, не обращая вниманія на

то, согласны ли съ его мнѣніемъ слушатели, и пріятно-ли дѣйствуютъ на нихъ его идеи. Чаще всего онъ даже не чувствуетъ потребности высказаться; думаетъ про себя и изрѣдка роняетъ бѣглое замѣчаніе, которое обыкновенно съ почтительной жадностью подхватываютъ прозелиты и птенцы, подобные Аркадію. Личность Базарова замыкается въ самой себѣ, потому что внѣ ея и вокругъ нея почти вовсе нѣтъ родственныхъ ей элементовъ. Эта замкнутость Базарова тяжело дѣйствуетъ на тѣхъ людей, которые желали бы отъ него нѣжности и сообщительности, но въ этой замкнутости нѣтъ ничего искусственнаго и преднамѣреннаго. Люди, окружающіе Базарова, ничтожны въ умственномъ отношеніи и никакимъ образомъ не могутъ расшевелить его, поэтому онъ и молчитъ, или говоритъ отрывочные афоризмы, или обрываетъ начатый споръ, чувствуя его смѣшную безполезность.

Посадите взрослаго человѣка въ одну комнату съ дюжиной ребятъ, и вы вѣроятно не найдете удивительнымъ, если этотъ взрослый не станетъ говорить съ своими товарищами по мѣсту жительства о своихъ человѣческихъ, гражданскихъ и научныхъ убѣжденіяхъ. Базаровъ не важничаетъ передъ другими, не считаетъ себя геніальнымъ человѣкомъ, непонятнымъ для своихъ современниковъ или соотечественниковъ; онъ просто принужденъ смотрѣть на своихъ знакомыхъ сверху внизъ, потому что эти знакомые приходятся ему по колѣно; чтожъ ему дѣлать? Вѣдь не садиться же ему на полъ для того, чтобы сравняться съ ними въ ростѣ? Не прикидываться же ребенкомъ для того, чтобы дѣлить съ ребятами ихъ недозрѣлыя мысленки. Онъ поневолѣ остается въ уединеніи, и это уединеніе не тяжело для него потому, что онъ молодъ, крѣпокъ, занятъ кипучей работой собственной мысли. Процессъ этой работы остается въ тѣни; сомнѣваюсь, чтобы Тургеневъ былъ въ состояніи передать намъ описаніе этого процесса; чтобы изобразить его, надо самому пережить его въ своей головѣ, надо самому быть Базаровымъ, а съ Тургеневымъ этого не случалось, за это можно поручиться, потому что кто въ жизни своей хотя одинъ разъ, хоть въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ смотрѣлъ на вещи глазами Базарова, тотъ остается нигилистомъ на весь свой вѣкъ. У Тургенева мы видимъ только результаты, къ которымъ пришелъ Базаровъ, мы видимъ внѣшнюю сторону явленія, т. е. слышимъ, что говоритъ Базаровъ, и узнаемъ, какъ онъ поступаетъ въ жизни, какъ обращается съ разными людьми. Психологическаго анализа, связнаго перечня мыслей Базарова мы не находимъ; мы можемъ только отгадывать, что онъ думалъ и какъ формулировалъ передъ самимъ собой свои убѣжденія. Не посвящая читателя въ тайны умственной жизни Базарова, Тургеневъ можетъ возбудить недоумѣніе въ той части публики, которая не привыкла трудомъ собственной мысли дополнять то, что не договорено или не дорисовано въ произведеніи писателя. Невнимательный читатель можетъ подумать, что у Базарова нѣтъ внутренняго содержанія, и что весь нигилизмъ состоитъ изъ сплетенія смѣлыхъ фразъ, выхваченныхъ изъ воздуха и не выработанныхъ самостоятельнымъ мышленіемъ. Можно сказать положительно, что самъ Тургеневъ не такъ понимаетъ своего героя, и только потому не слѣдитъ за постепеннымъ развитіемъ и созрѣваніемъ его идей, что не можетъ и не находитъ удобнымъ передавать мысли Базарова такъ, какъ онѣ представляются его уму. Мысли Базарова выражаются въ его поступкахъ, въ его обращеніи съ людьми; онѣ просвѣчиваютъ, и ихъ разглядѣть не трудно, если только читать внимательно, группируя факты и отдавая себѣ отчетъ въ ихъ причинахъ.

Два эпизода окончательно дорисовываютъ эту замѣчательную личность: во-первыхъ, отношенія его къ женщинѣ, которая ему нравится; во-вторыхъ—его смерть.

Я разсмотрю и то и другое, но сначала считаю не лишнимъ обратить вниманіе на другія, второстепенныя подробности.

Отношенія Базарова къ его родителямъ могутъ однихъ читателей предрасположить противъ героя, другихъ—противъ автора. Первые, увлекаясь чувствительнымъ настроеніемъ, упрекнутъ Базарова въ черствости; вторые, увлекаясь привязанностью къ базаровскому типу, упрекнутъ Тургенева въ несправедливости къ своему герою и въ желаніи выставить его съ невыгодной стороны. И тѣ и другіе, по моему мнѣнію, будутъ совершенно неправы. Базаровъ дѣйствительно не доставляетъ своимъ родителямъ тѣхъ удовольствій, которыхъ эти добрые старики ожидаютъ отъ его пребыванія съ ними, но между нимъ и его родителями нѣтъ ни одной точки соприкосновенія.

Отецъ его — старый уѣздный лекарь, совершенно опустившійся въ безцвѣтной жизни бѣднаго помѣщика; мать его — дворяночка стараго покроя, вѣрящая во всѣ примѣты и умѣющая только отлично готовить кушанье. Ни съ отцомъ, ни съ матерью Базаровъ не можетъ ни поговорить такъ, какъ онъ говорилъ съ Аркадіемъ, ни даже поспорить такъ, какъ онъ споритъ съ Павломъ Петровичемъ. Ему съ ними скучно, пусто, тяжело. Жить съ ними подъ одной кровлей онъ можетъ только съ тѣмъ условіемъ, чтобы они не мѣшали ему работать. Имъ это конечно тяжело; ихъ онъ запугиваетъ, какъ существо изъ другого міра, но ему-то что жъ съ этимъ дѣлать? Вѣдь это было бы безжалостно въ отношеніи къ самому себѣ, еслибы Базаровъ захотѣлъ посвятить два, три мѣсяца на то, чтобы потѣ-

шить своихъ стариковъ; для этого ему надо было бы отложить въ сторону всякія занятія и цѣлыми днями просиживать съ Василіемъ Ивановичемъ и съ Ариной Власьевной, которые на радостяхъ болтали бы всякій вздоръ, приплетая каждый по своему и уѣздныя сплетни, и городскіе слухи, и замѣчанія объ урожаѣ, и разсказы какой-нибудь юродивой, и латинскія сентенціи изъ стараго медицинскаго трактата. Человѣкъ молодой, энергическій, полный своей личной жизнью, не выдержалъ бы двухъ дней подобной идилліи и, какъ угорѣлый, вырвался бы изъ этого тихаго уголка, гдѣ его такъ любятъ и гдѣ ему такъ страшно надоѣдаютъ. Не знаю, хорошо-ли бы себя почувствовали старики Базаровы, еслибы послѣ двухъ-суточнаго блаженства они услышали отъ своего ненагляднаго сына, что непредвидѣнныя обстоятельства принуждаютъ его уѣхать. Не знаю вообще, какимъ образомъ Базаровъ могъ бы вполнѣ удовлетворить требованіямъ своихъ родителей, не отказываясь совершенно отъ своего личнаго существованія. Если же такъ или иначе ему непремѣнно пришлось бы оставить ихъ неудовлетворенными, тогда не изъ чего было возбуждать въ нихъ такія надежды, которыя не могли осуществиться.

Когда два человѣка, любящіе другъ друга или связанные между собой какими-нибудь отношеніями, расходятся между собой въ образованіи, въ идеяхъ, въ наклонностяхъ и привычкахъ, тогда разладъ и страданіе той или другой стороны, а иногда обѣихъ вмѣстѣ, дѣлаются до такой степени неизбѣжными, что становится даже безполезнымъ хлопотать объ ихъ устраненіи. Но родители Базарова страдаютъ отъ этого разлада, а Базаровъ и въ усъ не дуетъ; это обстоятельство естественно располагаетъ сострадательнаго читателя въ пользу стариковъ; иной скажетъ даже: зачѣмъ онъ ихъ мучаетъ? Вѣдь они его такъ любятъ!—А чѣмъ же, позвольте васъ спросить, онъ ихъ мучаетъ? Тѣмъ что-ли, что онъ не вѣритъ въ примѣты, или скучаетъ отъ ихъ болтовни? Да какъ же ему вѣрить-то и какъ же не скучать? Еслибы самый близкій мнѣ человѣкъ сокрушался отъ того, что во мнѣ слишкомъ два съ половиной, а не полтора аршина роста, то я, при всемъ моемъ желаніи, не могъ бы утѣшить его, а просто пожалъ бы плечами и отошелъ въ сторону. Предвижу впрочемъ одно довольно курьезное обстоятельство: еслибы Базаровъ также страдалъ отъ невозможности сойтись съ своими родителями, то сострадательные читатели помирились бы съ нимъ и посмотрѣли бы на него, какъ на несчастную жертву историческаго процесса развитія. Но Базаровъ не страдаетъ, и потому многіе на него накинутся и съ негодованіемъ назовутъ его безчувственнымъ человѣкомъ. Эти многіе очень дорожатъ красотой чувства, хотя эта красота не имѣетъ никакого практическаго значенія. Страданіе отъ разъединенія съ родителями кажется имъ чертой, необходимой для красоты чувства, и потому они требуютъ, чтобы Базаровъ страдалъ, не обращая вниманія на то, что это нисколько не поправило бы дѣла, и что Василію Ивановичу и Аринѣ Власьевнѣ отъ этого никакъ не было бы легче. Если же отношенія Базарова къ его родителямъ могутъ повредить ему только во мнѣніи сострадательныхъ читателей, то Тургенева нельзя упрекнуть въ несправедливости или утрировкѣ, потому что тѣмъ людямъ, у которыхъ чувствительность беретъ рѣшительный перевѣсъ надъ критикой ума, вообще не понравятся всѣ существенныя, основныя черты базаровскаго типа. Имъ не понравится ни трезвость мысли, ни безпощадность критики, ни твердость характера; не понравились бы имъ эти свойства даже въ томъ случаѣ, когда бы авторъ романа написалъ этимъ свойствамъ восторженный панегирикъ; слѣдовательно тутъ, какъ и вездѣ, не художественная обработка, а самый матеріалъ, самое явленіе дѣйствительности возбудило бы непріязненныя чувства.

Изображая отношенія Базарова къ старикамъ, Тургеневъ вовсе не превращается въ обвинителя, умышленно подбирающаго мрачныя краски; онъ остается попрежнему искреннимъ художникомъ и изображаетъ явленіе, какъ оно есть, не подслащая и не скрашивая его по своему произволу. Самъ Тургеневъ, можетъ быть, по своему характеру подходитъ къ сострадательнымъ людямъ, о которыхъ я говорилъ выше; онъ порою увлекается сочувствіемъ къ наивной, почти не сознанной грусти старухи-матери и къ сдержанному, стыдливому чувству старика-отца, увлекается до такой степени, что почти готовъ корить и обвинять Базарова; но въ этомъ увлеченіи нельзя искать ничего преднамѣреннаго и разсчитаннаго. Въ немъ сказывается только любящая натура самого Тургенева, и въ этомъ свойствѣ его характера трудно найти что-нибудь предосудительное. Тургеневъ не виноватъ въ томъ, что жалѣетъ бѣдныхъ стариковъ и даже сочувствуетъ ихъ непоправимому горю. Тургеневу не резонъ скрывать свои симпатіи въ угоду той или другой психологической или соціальной теоріи. Эти симпатіи не заставляютъ его кривить душой и уродовать дѣйствительность, слѣдовательно онѣ не вредятъ ни достоинству романа, ни личному характеру художника.

VII.

Базаровъ съ Аркадіемъ отправляются въ губернскій городъ, по приглашенію одного родственника Аркадія, и встрѣчаются съ двумя въ высшей степени типичными личностями. Эти личности—юноша Ситниковъ и молодая дама Кукшина—представляютъ великолѣпно испол-

ненную каррикатуру безмозглаго прогрессиста и по-русски эмансипированной женщины. Ситниковыхъ и Кукшиныхъ у насъ резвелось въ послѣднее время безчисленное множество; нахвататься чужихъ фразъ, исковеркать чужую мысль и нарядиться прогрессистомъ теперь такъ же легко и выгодно, какъ при Петрѣ было легко и выгодно нарядиться европейцемъ. Истинныхъ прогрессистовъ, т. е. людей дѣйствительно умныхъ, образованныхъ и добросовѣстныхъ, у насъ очень немного; порядочныхъ и развитыхъ женщинъ еще того меньше, но зато не перечтешь того несмѣтнаго количества разнокалиберной сволочи, которая тѣшится прогрессивными фразами, какъ модной вещицей, или драпируется въ нихъ, чтобы закрыть свои пошленькія поползновенія. У насъ можно сказать, что всякій пустомеля смотритъ прогрессистомъ, лѣзетъ въ передовые люди, создаетъ изъ чужихъ лоскутьевъ свою теорію и даже часто силится заявить о ней въ литературѣ. «Русскій Вѣстникъ» смотритъ на это обстоятельство съ сердечнымъ прискорбіемъ, которое часто переходитъ въ крикливое негодованіе. Это крикливое негодованіе вызываетъ себѣ отпоръ.

— Что вы дѣлаете? говорятъ многіе «Русскому Вѣстнику», вы ругаете прогрессистовъ, вы вредите дѣлу и идеѣ прогресса. «Русскій Вѣстникъ» вѣроятно съ особеннымъ наслажденіемъ принялъ на свои страницы тѣ сцены романа Тургенева, въ которыхъ дѣйствуютъ Ситниковъ и Кукшина: вотъ, думаетъ онъ, всѣ псевдо-прогрессисты съ ужасомъ и съ отвращеніемъ оглянутся на самихъ себя! Многіе изъ литературныхъ противниковъ «Русскаго Вѣстника» съ ожесточеніемъ накинутся на Тургенева за эти сцены. Онъ осмѣиваетъ нашу святыню, закричатъ они съ неистовыми жестами, онъ идетъ противъ направленія вѣка, противъ свободы женщины. Этотъ споръ между сторонниками и противниками «Русскаго Вѣстника», какъ вообще многіе литературные и нелитературные споры, вовсе не касается того предмета, по поводу котораго горячатся спорящія стороны. Какъ негодованіе «Русскаго Вѣстника» противъ Ситниковыхъ, такъ и негодованіе многихъ журналовъ противъ возгласовъ «Русскаго Вѣстника» не имѣютъ ни малѣйшаго смысла. Негодованіе противъ глупости и подлости вообще понятно, хотя впрочемъ оно такъ же плодотворно, какъ негодованіе противъ осенней сырости или зимняго холода. Но негодованіе противъ той формы, въ которой выражается глупость или подлость, дѣлается уже совершенно нелѣпымъ. Ни правительственныя распоряженія, ни литературныя теоріи никогда не уничтожатъ глупыхъ и мелкихъ людей; эти глупые и мелкіе люди надѣваютъ на себя тотъ или другой костюмъ, но никакой головной уборъ не можетъ закрыть ихъ ослиныя уши. Чѣмъ бы ни былъ Ситниковъ — байронистомъ (вродѣ Грушницкаго), гегелистомъ (вродѣ Шамилова) или нигилистомъ (каковъ онъ и есть), онъ все-таки останется пошлымъ человѣкомъ. Слѣдовательно, не все ли равно, какъ онъ себя величаетъ — консерваторомъ или прогрессистомъ? Всего лучше то положеніе, которое дѣлаетъ глупаго человѣка по возможности безвреднымъ, а надо сказать правду, что глупый прогрессистъ принадлежитъ къ числу наиболѣе безвредныхъ созданій. Въ былые годы Ситниковъ былъ бы способенъ изъ удальства бить на почтовыхъ станціяхъ ямщиковъ; теперь онъ уже откажетъ себѣ въ этомъ удовольствіи, потому что это не принято и потому что я-де прогрессистъ. Ужъ и это хорошо, и за то спасибо отечественному прогрессу. Противъ чего же тутъ негодовать, и отчего же не позволить Ситникову величать себя прогрессистомъ и дѣятелемъ? Кому это вредитъ? Кому отъ этого больно? Но только конечно надо знать Ситниковымъ ихъ настоящую цѣну, и не надо ожидать чудесъ гражданской и человѣческой доблести отъ такого общества, въ которомъ большая половина сама не знаетъ того, что она говоритъ и чего хочетъ. Поэтому художникъ, рисующій передъ нашими глазами поразительно живую каррикатуру, осмѣивающій искаженія великихъ и прекрасныхъ идей, заслуживаетъ нашей полной признательности.

Многія идеи сдѣлались ходячей монетой и, путешествуя изъ рукъ въ руки, потемнѣли и потерлись, какъ старый полтинникъ; на идею валятъ то, что принадлежитъ исключительно ея уродливому проявленію, то, что пристало къ ней случайно отъ прикосновенія грязныхъ рукъ; чтобы очистить идею, надо представить уродливое проявленіе во всей его уродливости и такимъ образомъ строго отдѣлить основную сущность отъ произвольныхъ примѣсей. Между Кукшиной и эмансипаціей женщины нѣтъ ничего общаго; между Ситниковымъ и гуманными идеями XIX вѣка нѣтъ ни малѣйшаго сходства. Назвать Ситникова и Кукшину порожденіемъ времени было бы въ высокой степени нелѣпо. Оба они заимствовали у своей эпохи только верхнюю драпировку, и эта драпировка все-таки лучше остального ихъ умственнаго достоянія. Стало-быть, какой же смыслъ будетъ имѣть негодованіе теоретиковъ противъ Тургенева за Кукшину и Ситникова? Что же, было бы лучше, еслибы Тургеневъ представилъ русскую женщину, эмансипированную въ лучшемъ смыслѣ этого слова, и молодого человѣка проникнутаго высокими чувствами гуманности? Да вѣдь это было бы пріятное самообольщеніе! Это была бы сладкая ложь, и къ тому же ложь, въ высшей степени неудачная. Спрашивается, откуда бы взялъ Тургеневъ красокъ для изображенія такихъ явленій, которыхъ нѣтъ въ Россіи и для которыхъ въ русской жизни нѣтъ ни почвы, ни

простора? И какое значеніе имѣла бы эта произвольная выдумка? Вѣроятно возбудила бы въ нашихъ мужчинахъ и женщинахъ добродѣтельное желаніе подражать столь высокимъ образцамъ нравственнаго совершенства!.. Нѣтъ, скажутъ противники Тургенева, пусть авторъ не выдумываетъ небывалыхъ явленій! Пусть онъ только разрушаетъ старое, гнилое, и не трогаетъ тѣхъ идей, отъ которыхъ мы ожидаемъ обильныхъ, благодѣтельныхъ результатовъ. Ахъ! да, это понятно; это значитъ: нашихъ не тронь! Да какъ же, господа, не трогать, если въ числѣ нашихъ много дряни, если фирмою многихъ идей пользуются тѣ самые негодяи, которые за нѣсколько лѣтъ тому назадъ были Чичиковыми, Ноздревыми, Молчалиными и Хлестаковыми? Неужели не трогать ихъ въ награду за то, что они перебѣжали на нашу сторону, неужели поощрять ихъ за ренегатство подобно тому, какъ въ Турціи поощряютъ за принятіе ислама? Нѣтъ, это было бы слишкомъ нелѣпо. Мнѣ кажется, идеи нашего времени слишкомъ сильны своимъ собственнымъ внутреннимъ значеніемъ, чтобы нуждаться въ искусственной поддержкѣ. Пусть принимаетъ эти идеи только тотъ, кто дѣйствительно убѣжденъ въ ихъ вѣрности, и пусть онъ не думаетъ, что титулъ прогрессиста самъ по себѣ, подобно индульгенціи, покрываетъ грѣхи прошедшаго, настоящаго и будущаго. Ситниковы и Кукшины всегда останутся смѣшными личностями; ни одинъ благоразумный человѣкъ не порадуется тому, что онъ стоитъ съ ними подъ однимъ знаменемъ, и въ то же время не припишетъ ихъ уродливости тому девизу, который написанъ на знамени. Посмотрите, какъ обращается Базаровъ съ этими идіотами; онъ, по приглашенію Ситникова, заходитъ къ Кукшиной, съ цѣлью посмотрѣть людей, завтракаетъ, пьетъ шампанское, не обращаетъ никакого вниманія на усилія Ситникова блеснуть смѣлостью мысли и на усилія Кукшиной вызвать его, Базарова, на умный разговоръ, и наконецъ уходитъ, даже не простившись съ хозяйкой.

Ситниковъ выскочилъ вслѣдъ за ними.

— Ну что, ну что, спрашивалъ онъ, подобострастно забѣгая то справа, то слѣва, я говорилъ вамъ: замѣчательная личность! Вотъ какихъ бы намъ женщинъ побольше? Она въ своемъ родѣ высоко нравственное явленіе!

— А это заведеніе *твоего* отца—тоже нравственное явленіе? промолвилъ Базаровъ, ткнувъ пальцемъ на кабакъ, мимо котораго они въ это мгновеніе проходили.

Ситниковъ опять засмѣялся съ визгомъ. Онъ очень стыдился своего происхожденія и не зналъ, чувствовать ли ему себя польщеннымъ или обиженнымъ отъ неожиданнаго тыканья Базарова.

VIII.

Въ городѣ Аркадій знакомится на балѣ у губернатора съ молодою вдовой, Анной Сергѣевной Одинцовой; онъ танцуетъ съ ней мазурку, между прочимъ заговариваетъ съ нею о своемъ другѣ Базаровѣ и заинтересовываетъ ее восторженнымъ описаніемъ его смѣлаго ума и рѣшительнаго характера. Она приглашаетъ его къ себѣ и проситъ привести съ собой Базарова. Базаровъ, замѣтившій ее, какъ только она появилась на балѣ, говоритъ о ней съ Аркадіемъ, невольно усиливая обыкновенный цинизмъ своего тона, отчасти для того, чтобы скрыть и отъ себя, и отъ своего собесѣдника впечатлѣніе, произведенное на него этой женщиной. Онъ съ удовольствіемъ соглашается пойти къ Одинцовой вмѣстѣ съ Аркадіемъ, и объясняетъ себѣ и ему это удовольствіе надеждой завести пріятную интригу. Аркадія, не преминувшаго влюбиться въ Одинцову, коробитъ отъ шутливаго тона Базарова, а Базаровъ конечно не обращаетъ на это ни малѣйшаго вниманія, продолжаетъ толковать о красивыхъ плечахъ Одинцовой, спрашиваетъ у Аркадія, дѣйствительно ли эта барыня — ой, ой, ой! говоритъ, что въ тихомъ омутѣ черти водятся и что холодныя женщины— все равно, что мороженое. Подходя къ квартирѣ Одинцовой, Базаровъ чувствуетъ нѣкоторое волненіе и, желая переломить себя, въ началѣ визита, ведетъ себя неестественно развязно и, по замѣчанію Тургенева, разваливается въ креслѣ не хуже Ситникова. Одинцова замѣчаетъ волненіе Базарова, отчасти отгадываетъ его причину, успокоиваетъ нашего героя ровной и тихой привѣтливостью обращенія, и часа три проводитъ съ молодыми людьми въ неторопливой, разнообразной и живой бесѣдѣ. Базаровъ обращается съ ней особенно почтительно; видно, что ему не все равно, какъ объ немъ подумаютъ, и какое онъ произведетъ впечатлѣніе; онъ, противъ обыкновенія, говоритъ довольно много, старается занять свою собесѣдницу, не дѣлаетъ рѣзкихъ выходокъ, и даже, осторожно держась внѣ круга общихъ убѣжденій и воззрѣній, толкуетъ о ботаникѣ, о медицинѣ и другихъ, хорошо извѣстныхъ ему предметахъ. Прощаясь съ молодыми людьми, Одинцова приглашаетъ ихъ къ себѣ въ деревню. Базаровъ въ знакъ согласія молча кланяется и при этомъ краснѣетъ. Аркадій все это замѣчаетъ и всему этому удивляется. Послѣ этого перваго свиданія съ Одинцовой, Базаровъ пробуетъ попрежнему говорить объ ней шутливымъ тономъ, но въ самомъ цинизмѣ его выраженій сказывается какое-то невольное, затаенное уваженіе. Видно, что онъ любуется этой женщиной и желаетъ съ нею сблизиться; шутитъ онъ на ея счетъ потому, что ему не хочется говорить серьезно съ Аркадіемъ ни объ этой женщинѣ, ни о тѣхъ новыхъ

ощущеніяхъ, которыя онъ замѣчаетъ въ самомъ себѣ.

Базаровъ не могъ полюбить Одинцову съ перваго взгляда или послѣ перваго свиданія; такъ вообще влюблялись только очень пустые люди въ очень плохихъ романахъ. Ему просто понравилось ея красивое или, какъ онъ самъ выражается, богатое тѣло; разговоръ съ нею не нарушилъ общей гармоніи впечатлѣнія, и этого на первый разъ было достаточно, чтобы поддержать въ немъ желаніе узнать ее покороче. Базаровъ не составлялъ себѣ никакихъ теорій о любви. Его студенческіе годы, о которыхъ Тургеневъ не говоритъ ни слова, вѣроятно не обошлись безъ похожденій по сердечной части; Базаровъ, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, оказывается опытнымъ человѣкомъ, но по всей вѣроятности онъ имѣлъ дѣло съ женщинами совершенно неразвитыми, далеко не изящными и слѣдовательно неспособными сильно заинтересовать его умъ или шевельнуть его первы. Онъ и на женщинъ привыкъ смотрѣть сверху внизъ; встрѣчаясь съ Одинцовой, онъ видитъ, что можетъ говорить съ ней, какъ равный съ равною, и предчувствуетъ въ ней долю того гибкаго ума и твердаго характера, который онъ сознаетъ и любитъ въ своей особѣ. Говоря между собою, Базаровъ и Одинцова, въ умственномъ отношеніи, умѣютъ какъ то смотрѣть другъ другу въ глаза, черезъ голову птенца Аркадія, и эти задатки взаимнаго пониманія доставляютъ пріятныя ощущенія обоимъ дѣйствующимъ лицамъ. Базаровъ видитъ изящную форму и невольно любуется ею; подъ этой изящной формой онъ отгадываетъ самородную силу и безотчетно начинаетъ уважать эту силу. Какъ чистый эмпирикъ, онъ наслаждается пріятнымъ ощущеніемъ и постепенно втягивается въ это наслажденіе, и втягивается до такой степени, что когда приходитъ время оторваться, тогда оторваться уже становится тяжело и больно.

У Базарова въ любви нѣтъ анализа, потому что нѣтъ недовѣрія къ самому себѣ. Онъ ѣдетъ въ деревню къ Одинцовой съ любопытствомъ и безъ малѣйшей боязни, потому что хочется присмотрѣться къ этй миловидной женщинѣ, хочется быть съ ней вмѣстѣ, провести пріятно нѣсколько дней. Въ деревнѣ незамѣтно проходитъ пятнадцать дней; Базаровъ много говоритъ съ Анной Сергѣевной, споритъ съ ней, высказывается, раздражается и наконецъ привязывается къ ней какою то злобной, мучительной страстью. Такую страсть всего чаще внушаютъ энергическимъ людямъ женщины красивыя, умныя и холодныя. Красота женщины волнуетъ кровь ея обожателя; умъ ея даетъ ей возможность понимать головою и обсуживать тонкимъ психическимъ анализомъ такія чувства, которыхъ она сама не раздѣляетъ и которымъ даже не сочувствуетъ; холодность застраховываетъ ее противъ увлеченія, и усиливая препятствія, вмѣстѣ съ тѣмъ усиливаетъ въ мужчинѣ желаніе преодолѣть ихъ. Глядя на такую женщину, мужчина невольно думаетъ: она такъ хороша, она такъ умно говоритъ о чувствѣ, порою такъ оживляется, высказывая свои тонкія психическія замѣчанія или выслушивая мои горячо-прочувствованныя рѣчи. Отчего же въ ней такъ упорно молчитъ чувственность? Какъ затронуть ее за живое? Неужели вся жизнь ея сосредоточена въ головномъ мозгу? Неужели она только тѣшится впечатлѣніями и не способна ими увлечься? Время уходитъ въ напряженныхъ усиліяхъ распутать живую загадку; голова работаетъ вмѣстѣ съ чувственностью; являются тяжелыя, мучительныя ощущенія; весь романъ отношеній между мужчиной и женщиной принимаетъ какой-то странный характеръ борьбы. Знакомясь съ Одинцовой, Базаровъ думалъ развлечься пріятной интригой; узнавши ее покороче, онъ почувствовалъ къ ней уваженіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ увидалъ, что надежды на успѣхъ очень мало; еслибы онъ не успѣлъ привязаться къ Одинцовой, тогда онъ просто махнулъ бы рукой и тотчасъ утѣшился бы практическимъ замѣчаніемъ, что земля не клиномъ сошлась и что на свѣтѣ много такихъ женщинъ, съ которыми легко справиться; онъ попробовалъ и тутъ поступить такимъ образомъ, но махнуть рукой на Одинцову у него не хватило силъ. Практическое благоразуміе совѣтовало ему бросить все дѣло и уѣхать, чтобы не томить себя понапрасну, а жажда наслажденія говорила громче практическаго благоразумія, и Базаровъ оставался, и злился, и сознавалъ, что дѣлаетъ глупость, и все-таки продолжалъ ее дѣлать, потому что желаніе пожить въ свое удовольствіе было сильнѣе желанія быть послѣдовательнымъ. Эта способность дѣлать сознательныя глупости составляетъ завидное преимущество людей сильныхъ и умныхъ. Человѣкъ безстрастный и сухой поступаетъ всегда такъ, какъ велятъ поступать логическія выкладки; человѣкъ робкій и слабый старается обмануть себя софизмами и увѣрить себя въ правотѣ своихъ желаній или поступковъ; но Базаровъ не нуждается въ подобныхъ фокусахъ; онъ прямо говоритъ себѣ: это глупо, а поступаю я все-таки такъ, какъ мнѣ хочется, и ломать себя не хочу. Когда явится необходимость, тогда успѣю и сумѣю повернуть самого себя, какъ слѣдуетъ. Цѣльная, крѣпкая натура сказывается въ этой способности сильно увлекаться; здоровый, неподкупный умъ выражается въ этомъ умѣніи назвать глупостью то самое увлеченіе, которое въ данную минуту охватываетъ весь организмъ.

Отношенія Базарова къ Одинцовой кончаются тѣмъ, что между ними происходитъ странная

сцена. Она вызываетъ его на разговоръ о счастьи и любви, она съ любопытствомъ, свойственнымъ холоднымъ и умнымъ женщинамъ, выспрашиваетъ у него, что въ немъ происходитъ, она вытягиваетъ изъ него признаніе въ любви, она съ оттѣнкомъ невольной нѣжности произноситъ его имя; потомъ, когда онъ, ошеломленный внезапнымъ притокомъ ощущеній и новыхъ надеждъ, бросается къ ней и прижимаетъ ее къ груди, она же отскакиваетъ съ испугомъ на другой конецъ комнаты и увѣряетъ его, что онъ ее не такъ понялъ, что онъ ошибся.

Базаровъ уходитъ изъ комнаты, и тѣмъ кончаются отношенія. Онъ уѣзжаетъ на другой день послѣ этого происшествія, потомъ видится раза два съ Анной Сергѣевной, даже гоститъ у нея вмѣстѣ съ Аркадіемъ, но для него и для нея прошедшія событія оказываются дѣйствительно невоскресимымъ прошедшимъ, и они смотрятъ другъ на друга спокойно и говорятъ между собою тономъ разсудительныхъ и солидныхъ людей. А между тѣмъ Базарову грустно смотрѣть на отношенія съ Одинцовой, какъ на пережитой эпизодъ; онъ любитъ ее и, не давая себѣ воли ныть, страдать и разыгрывать несчастнаго любовника, становится какъ-то неровенъ въ своемъ образѣ жизни: то бросается на работу, то впадаетъ въ бездѣйствіе, то просто скучаетъ и брюзжитъ на окружающихъ людей. Высказаться онъ ни передъ кѣмъ не хочетъ, да и самъ передъ собою не сознается въ томъ, что чувствуетъ что-то похожее на тоску и на утомленіе. Онъ какъ-то злится и окисляется отъ этой неудачи; ему досадно думать, что счастье поманило его и прошло мимо, и досадно чувствовать, что это событіе производитъ на него впечатлѣніе. Все это скоро переработалось бы въ его организмѣ; онъ принялся бы за дѣло, выругалъ бы самымъ энергическимъ образомъ проклятый романтизмъ и неприступную барыню, водившую его за носъ, и зажилъ бы попрежнему, занимаясь рѣзаніемъ лягушекъ и ухаживая за менѣе непобѣдимыми красавицами. Но Тургеневъ не вывелъ Базарова изъ тяжелаго настроенія. Базаровъ внезапно умираетъ, конечно не отъ огорченія, и романъ оканчивается или, вѣрнѣе, рѣзко и неожиданно обрывается.

Въ то время, какъ Базаровъ хандритъ въ деревнѣ своего отца, Аркадій, влюбившійся также въ Одинцову со времени губернаторскаго бала, но не успѣвшій даже заинтересовать ее, сближается съ ея сестрой, Катериною Сергѣевной, 18-ти-лѣтней дѣвушкой, и, самъ того не замѣчая, привязывается къ ней, забываетъ свою прежнюю страсть и наконецъ дѣлаетъ ей предложеніе. Она соглашается, Аркадій женится на ней, и вотъ, когда онъ уже объявленъ женихомъ, между нимъ и Базаровымъ, уѣзжающимъ къ своему отцу, происходитъ слѣдующій короткій, но выразительный разговоръ.

«Аркадій бросился на шею къ своему бывшему наставнику и другу, и слезы такъ и брызнули у него изъ глазъ.

— Что значитъ молодость! произнесъ Базаровъ, да я на Катерину Сергѣевну надѣюсь. Посмотри, какъ живо она тебя утѣшитъ.

— Прощай, братъ! сказалъ онъ Аркадію, уже взобравшись на телѣгу, и указавъ на пару галокъ, сидѣвшихъ рядышкомъ на крышѣ конюшни, прибавилъ:—вотъ тебѣ, изучай!

— Это что значитъ? спросилъ Аркадій.

— Какъ? развѣ ты такъ плохъ въ естественной исторіи или забылъ, что галка самая почтенная, семейная птица? Тебѣ примѣръ!

Прощайте, синьоръ!

Телѣга задребезжала и покатилась».

Да, Аркадій, по выраженію Базарова, попалъ въ галки, и прямо изъ-подъ вліянія своего друга перешелъ подъ мягкую власть своей юной супруги. Но какъ бы то ни было, Аркадій свилъ себѣ гнѣздо, нашелъ себѣ кой-какое счастье, а Базаровъ остался бездомнымъ, не согрѣтымъ скитальцемъ. И это не прихоть романиста! Это не случайное обстоятельство. Если вы, господа, сколько нибудь понимаете характеръ Базарова, то вы принуждены будете согласиться, что такого человѣка пристроить очень мудрено, и что онъ не можетъ, не измѣнившись въ основныхъ чертахъ своей личности, сдѣлаться добродѣтельнымъ семьяниномъ. Базаровъ можетъ полюбить только женщину очень умную; полюбивши женщину, онъ не подчинитъ свою любовь никакимъ условіямъ; онъ не станетъ охлаждать и сдерживать себя, и точно такъ-же не станетъ искусственно подогрѣвать своего чувства, когда оно остынетъ послѣ полнаго удовлетворенія. Онъ не способенъ поддерживать съ женщиной обязательныя отношенія; его искренняя и цѣльная натура не поддается на компромиссы и не дѣлаетъ уступокъ; онъ не покупаетъ расположеніе женщины извѣстными обязательствами; онъ беретъ его тогда, когда оно дается ему совершенно добровольно и безусловно.

Но умныя женщины у насъ обыкновенно бываютъ осторожны и разсчетливы. Ихъ зависимое положеніе заставляетъ ихъ бояться общественнаго мнѣнія и не давать воли своимъ влеченіямъ. Ихъ страшитъ неизвѣстное будущее, имъ хочется застраховать его, и потому рѣдкая умная женщина рѣшится броситься на шею къ любимому мужчинѣ, не связавъ его предварительно крѣпкимъ обѣщаніемъ передъ лицомъ общества и церкви. Имѣя дѣло съ Базаровымъ, эта умная женщина пойметъ очень скоро, что никакое крѣпкое обѣщаніе не свяжетъ необузданной воли этого своеправнаго человѣка, и что его нельзя обязать быть хорошимъ мужемъ и нѣжнымъ отцомъ семейства. Она пойметъ, что Базаровъ или вовсе не дастъ никакого обѣщанія, или, давши его въ минуту полнаго увлеченія,

нарушитъ его тогда, когда это увлеченіе разсѣется. Словомъ, она пойметъ, что чувство Базарова свободно и останется свободнымъ, не смотря ни на какіе клятвы и контракты. Чтобы не отшатнуться отъ неизвѣстной перспективы, эта женщина должна безпредѣльно подчиниться влеченію чувства, броситься къ любимому человѣку очертя голову и не спрашивая о томъ, что будетъ завтра или черезъ годъ. Но такъ способны увлекаться только очень молодыя дѣвушки, совершенно незнакомыя съ жизнью, совершенно нетронутыя опытомъ, а такія дѣвушки не обратятъ вниманія на Базарова или, испугавшись его рѣзкаго образа мыслей, откинутся къ такимъ личностямъ, изъ которыхъ со временемъ вырабатываются почтенныя галки. У Аркадія гораздо больше шансовъ понравиться молодой дѣвушкѣ, не смотря па то, что Базаровъ несравненно умнѣе и замѣчательнѣе своего юнаго товарища. Женщина, способная цѣнить Базарова, не отдастся ему безъ предварительныхъ условій, потому что такая женщина обыкновенно бываетъ себѣ на умѣ, знаетъ жизнь и по разсчету бережетъ свою репутацію. Женщина, способная увлекаться чувствомъ, какъ существо наивное и мало размышлявшее, не пойметъ Базарова и не полюбитъ его. Словомъ, для Базарова нѣтъ женщинъ, способныхъ вызвать въ немъ серьезное чувство и съ своей стороны горячо отвѣчать на это чувство. Въ настоящее время нѣтъ такихъ женщинъ, которыя, умѣя мыслить, умѣли бы въ то же время, безъ оглядки и безъ боязни, отдаваться влеченію господствующаго чувства. Какъ существо зависимое и страдательное, современная женщина изъ опыта жизни выноситъ ясное сознаніе своей зависимости, и потому думаетъ не столько о томъ, чтобы наслаждаться жизнью, сколько о томъ, чтобы не попасть въ какую нибудь непріятную передѣлку. Ровный комфортъ, отсутствіе грубыхъ оскорбленій, увѣренность въ завтрашнемъ днѣ для нихъ дороги. Ихъ за это нельзя осуждать, потому что человѣкъ, подверженный въ жизни серьезнымъ опасностямъ, поневолѣ становится осмотрительнымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ трудно осуждать и тѣхъ мужчинъ, которые, не видя въ современныхъ женщинахъ энергіи и рѣшимости, навсегда отказываются отъ серьезныхъ и прочныхъ отношеній съ женщинами и пробавляются пустыми интригами и легкими побѣдами.

Еслибы Базаровъ имѣлъ дѣло съ Асей, или съ Натальей (въ Рудинѣ), или съ Вѣрой (въ Фаустѣ), то онъ бы конечно не отступилъ въ рѣшительную минуту; но дѣло въ томъ, что женщины, подобныя Асѣ, Натальѣ и Вѣрѣ, увлекаются сладкорѣчивыми фразерами, а предъ сильными людьми, вродѣ Базарова, чувствуютъ только робость, близкую къ антипатіи. Такихъ женщинъ надо приласкать, а Базаровъ никого ласкать не умѣетъ. Повторяю, въ настоящее время нѣтъ женщинъ, способныхъ серьезно отвѣтить на серьезное чувство Базарова, и пока женщина будетъ находиться въ теперешнемъ зависимомъ положеніи, пока за каждымъ ея шагомъ будутъ наблюдать и она сама, и нѣжные родители, и заботливые родственники, и то, что называется общественнымъ мнѣніемъ, до тѣхъ поръ Базаровы будутъ жить и умирать бобылями, до тѣхъ поръ согрѣвающая нѣжная любовь умной и развитой женщины будетъ имъ извѣстна только по слухамъ да по романамъ. Базаровъ не даетъ женщинѣ никакихъ гарантій; онъ доставляетъ ей только своей особой непосредственное наслажденіе, въ томъ случаѣ, если его особа нравится; но въ настоящее время женщина не можетъ отдаваться непосредственному наслажденію, потому что за этимъ наслажденіемъ всегда выдвигается грозный вопросъ: а что же потомъ? Любовь безъ гарантій и условій не употребительна, а любви съ гарантіями и условіями Базаровъ не понимаетъ. Любовь, такъ любовь, думаетъ онъ, торгъ, такъ торгъ, «а смѣшивать эти два ремесла», по его мнѣнію, неудобно и непріятно. *Къ сожалѣнію*, я долженъ замѣтить, что *безнравственныя* и *пагубныя* убѣжденія Базарова находятъ себѣ во многихъ хорошихъ людяхъ сознательное сочувствіе.

IX.

Разсмотрю теперь три обстоятельства въ романѣ Тургенева: 1) отношеніе Базарова къ простому народу, 2) ухаживаніе Базарова за Ѳеничкой и 3) дуэль Базарова съ Павломъ Петровичемъ.

Въ отношеніяхъ Базарова къ простому народу надо замѣтить прежде всего отсутствіе всякой вычурности и всякой сладости. Народу это нравится, и потому Базарова любитъ прислуга, любятъ ребятишки, несмотря на то, что онъ съ ними не миндальничаетъ и не задариваетъ ихъ ни деньгами, ни пряниками. Замѣтивъ въ одномъ мѣстѣ, что Базарова любятъ простые люди, Тургеневъ говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что мужики смотрятъ на него, какъ на шута гороховаго. Эти два показанія нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Базаровъ держитъ себя съ мужиками просто, не обнаруживаетъ ни барства, ни приторнаго желанія поддѣлаться подъ ихъ говоръ и поучить ихъ уму-разуму, и потому мужики, говоря съ нимъ, не робѣютъ и не стѣсняются; но съ другой стороны Базаровъ и по обращенію, и по языку, и по понятіямъ совершенно расходится какъ съ ними, такъ и съ тѣми помѣщиками, которыхъ мужики привыкли видѣть и слушать. Они смотрятъ на него, какъ па странное, исключительное явленіе, ни то, ни се, и будутъ смотрѣть такимъ образомъ

на господъ, подобныхъ Базарову, до тѣхъ поръ, пока ихъ не разведется больше и пока къ нимъ не успѣютъ приглядѣться. У мужиковъ лежитъ сердце къ Базарову, потому что они видятъ въ немъ простого и умнаго человѣка, но въ то же время этотъ человѣкъ для нихъ чужой, потому что онъ не знаетъ ихъ быта, ихъ потребностей, ихъ надеждъ и опасеній, ихъ понятій, вѣрованій и предразсудковъ.

Послѣ своего неудавшагося романа съ Одинцовой, Базаровъ снова пріѣзжаетъ въ деревню съ Кирсановымъ и начинаетъ заигрывать съ Ѳеничкой, любовницей Николая Петровича. Ѳеничка ему нравится, какъ пухленькая, молоденькая женщина; онъ ей нравится, какъ добрый, простой и веселый человѣкъ. Въ одно прекрасное іюльское утро онъ успѣваетъ напечатлѣть на ея свѣжія губки полновѣсный поцѣлуй; она слабо сопротивляется, такъ что ему удается «возобновить и продлить свой поцѣлуй». На этомъ мѣстѣ его любовное похожденіе обрывается: ему, какъ видно, вообще не везло въ то лѣто, такъ что ни одна интрига не доводилась до счастливаго окончанія, хотя всѣ онѣ начинались при самыхъ благопріятныхъ предзнаменованіяхъ.

Вслѣдъ за тѣмъ Базаровъ уѣзжаетъ изъ деревни Кирсановыхъ, и Тургеневъ напутствуетъ его слѣдующими словами: «ему и въ голову не пришло, что онъ въ этомъ домѣ нарушилъ всѣ права гостепріимства».

Увидавши, что Базаровъ поцѣловалъ Ѳеничку, Павелъ Петровичъ, давно уже питавшій ненависть къ «лекаришкѣ» и нигилисту, и кромѣ того неравнодушный къ Ѳеничкѣ, которая почему-то напоминаетъ ему прежнюю любимую женщину, вызываетъ нашего героя на дуэль. Базаровъ стрѣляется съ нимъ, ранитъ его въ ногу, потомъ самъ перевязываетъ эту рану и на другой день уѣзжаетъ, видя, что ему послѣ этой исторіи неудобно оставаться въ домѣ Кирсановыхъ. Дуэль, по понятіямъ Базарова, нелѣпость. Спрашивается, хорошо-ли поступилъ Базаровъ, принявши вызовъ Павла Петровича? Этотъ вопросъ сводится на другой, болѣе общій вопросъ: позволительно ли вообще въ жизни отступать отъ своихъ теоретическихъ убѣжденій? Насчетъ понятія *убѣжденіе* господствуютъ различныя мнѣнія, которыя можно свести къ двумъ главнымъ оттѣнкамъ. Идеалисты и фанатики готовы все сломать передъ своимъ убѣжденіемъ—и чужую личность, и свои интересы, и часто даже непреложные факты и законы жизни. Они кричатъ объ убѣжденіяхъ, не анализируя этого понятія, а потому рѣшительно не хотятъ и не умѣютъ взять въ толкъ, что человѣкъ всегда дороже мозгового вывода, въ силу простой математической аксіомы, говорящей намъ, что цѣлое всегда больше части. Идеалисты и фанатики скажутъ такимъ образомъ, что отступать въ жизни отъ теоретическихъ убѣжденій—всегда позорно и преступно. Это не помѣшаетъ многимъ идеалистамъ и фанатикамъ при случаѣ струсить и попятиться, а потомъ упрекать себя въ практической несостоятельности и заниматься угрызеніями совѣсти. Есть другіе люди, которые не скрываютъ отъ себя того, что имъ иногда приходится дѣлать нелѣпости, и даже вовсе не желаютъ обратить свою жизнь въ логическую выкладку. Къ числу такихъ людей принадлежитъ Базаровъ. Онъ говоритъ себѣ: «я знаю, что дуэль нелѣпость, но въ данную минуту я вижу, что мнѣ отъ нея отказаться рѣшительно неудобно. По моему лучше сдѣлать нелѣпость, чѣмъ, оставаясь благоразумнымъ до послѣдней степени, получить ударъ отъ руки или отъ трости Павла Петровича». Стоикъ Эпиктетъ конечно поступилъ бы иначе, и даже рѣшился бы съ особеннымъ удовольствіемъ пострадать за свои убѣжденія, но Базаровъ слишкомъ уменъ, чтобы быть идеалистомъ вообще и стоикомъ къ особенности. Когда онъ размышляетъ, тогда даетъ своему мозгу полную свободу и не старается придти въ заранѣе назначеннымъ выводамъ; когда онъ хочетъ дѣйствовать, тогда онъ по своему благоусмотрѣнію примѣняетъ или не примѣняетъ свой логическій выводъ, пускаетъ его въ ходъ или оставляетъ его подъ спудомъ. Дѣло въ томъ, что мысль наша свободна, а дѣйствія наши происходятъ во времени и въ пространствѣ; между вѣрной мыслью и благоразумнымъ поступкомъ такая же разница, какъ между математическимъ и физическимъ маятникомъ. Базаровъ знаетъ это, и потому въ своихъ поступкахъ руководствуется практическимъ смысломъ, смѣткою и навыкомъ, а не теоретическими соображеніями.

X.

Въ концѣ романа Базаровъ умираетъ; его смерть—случайность; онъ умираетъ отъ хирургическаго отравленія, т. е. отъ небольшого порѣза, сдѣланнаго во время разсѣченія трупа. Это событіе не находится въ связи съ общей нитью романа; оно не вытекаетъ изъ предыдущихъ событій, но оно необходимо для художника, чтобы дорисовать характеръ своего героя. Дѣйствіе романа происходитъ лѣтомъ 1858 года; въ теченіе 1860 и 1861 года Базаровъ не могъ бы сдѣлать ничего такого, что показало бы намъ приложеніе его міросозерцанія въ жизни; онъ попрежнему рѣзалъ бы лягушекъ, возился бы съ микроскопомъ и, насмѣхаясь надъ различными проявленіями романтизма, пользовался бы благами жизни по мѣрѣ силъ и возможности. Все это были бы только задатки; судить о томъ, что разовьется изъ этихъ задатковъ, можно будетъ только тогда, когда Базарову и его сверстникамъ минетъ лѣтъ пятьдесятъ, и когда имъ на смѣну выдвинется новое поколѣніе, которое

въ свою очередь отпесется критически къ своимъ предшественникамъ. Такіе люди, какъ Базаровъ, не опредѣляются вполнѣ однимъ эпизодомъ, выхваченнымъ изъ ихъ жизни. Такого рода эпизодъ даетъ намъ только смутное понятіе о томъ, что въ этихъ людяхъ таятся колоссальныя силы. Въ чемъ выразятся эти силы? На этотъ вопросъ можетъ отвѣчать только біографія этихъ людей или исторія ихъ народа, а біографія, какъ извѣстно, пишется послѣ смерти дѣятеля, точно такъ же какъ исторія пишется тогда, когда событіе уже совершилось.

Изъ Базаровыхъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, вырабатываются великіе историческіе дѣятели; такіе люди долго остаются молодыми, сильными и годными на всякую работу; они не вдаются въ односторонность, не привязываются къ теоріи, не прирастаютъ къ спеціальнымъ занятіямъ; они всегда готовы промѣнять одну сферу дѣятельности на другую, болѣе широкую и болѣе занимательную; они всегда готовы выдти изъ ученаго комитета и лабораторіи; это не труженики; углубляясь въ тщательныя изслѣдованія спеціальныхъ вопросовъ науки, эти люди никогда не теряютъ изъ виду того великаго міра, который вмѣщаетъ въ себя ихъ лабораторію и ихъ самихъ, со всей ихъ наукой и со всѣми ихъ инструментами и аппаратами; когда жизнь серьезно шевельнетъ ихъ мозговые нервы, тогда они бросятъ микроскопъ и скальпель, тогда они оставятъ недописаннымъ какое-нибудь ученѣйшее изслѣдованіе о костяхъ или перепонкахъ. Базаровъ никогда не сдѣлается фанатикомъ, жрецомъ науки, никогда не возведетъ ее въ кумиръ, никогда не обречетъ своей жизни на ея служеніе; постоянно сохраняя скептическое отношеніе къ самой наукѣ, онъ не дастъ ей пріобрѣсти самостоятельное значеніе; онъ будетъ ею заниматься или для того, чтобы дать работу своему мозгу, или для того, чтобы выжать изъ нея непосредственную пользу для себя и для другихъ. Медициной онъ будетъ заниматься отчасти для препровожденія времени, отчасти какъ хлѣбнымъ и полезнымъ ремесломъ. Если представится другое занятіе, болѣе интересное, болѣе хлѣбное, болѣе полезное—онъ оставитъ медицину, точно такъ-же какъ Веніаминъ Франклинъ оставилъ типографскій станокъ. Базаровъ—человѣкъ жизни, человѣкъ дѣла, но возьмется онъ за дѣло только тогда, когда увидитъ возможность дѣйствовать не машинально. Его не подкупятъ обманчивыя формы; внѣшнія усовершенствованія не побѣдятъ его упорнаго скептицизма; онъ не приметъ случайной оттепели за наступленіе весны и проведетъ всю жизнь въ своей лабораторіи, если въ сознаніи нашего общества не произойдетъ существенныхъ измѣненій. Если же въ сознаніи, а слѣдовательно и въ жизни общества, произойдутъ желаемыя измѣненія, тогда люди, подобные Базарову, окажутся готовыми, потому что постоянный трудъ мысли не дастъ имъ залѣниться, залежаться и заржавѣть, а постоянно бодрствующій скептицизмъ не позволитъ имъ сдѣлаться фанатиками спеціальности или вялыми послѣдователями односторонней доктрины.

Кто рѣшится отгадывать будущее и бросать на вѣтеръ гипотезы? Кто рѣшится дорисовать такой типъ, который только что начинаетъ складываться и обозначаться и который можетъ быть дорисованъ только временемъ и событіями? Не имѣя возможности показать намъ, какъ живетъ и дѣйствуетъ Базаровъ, Тургеневъ показалъ намъ, какъ онъ умираетъ. Этого на первый разъ довольно, чтобы составить себѣ понятіе о силахъ Базарова, о тѣхъ силахъ, которыхъ полное развитіе могло обозначиться только жизнью, борьбой, дѣйствіями и результатами. Что Базаровъ не фразеръ—это увидитъ всякій, вглядываясь въ эту личность съ первой минуты ея появленія въ романѣ. Что отрицаніе и скептицизмъ этого человѣка сознательны и прочувствованы, а не надѣты для прихоти и для пущей важности—въ этомъ убѣждаетъ каждаго безпристрастнаго читателя непосредственное ощущеніе. Въ Базаровѣ есть сила, самостоятельность, энергія, которой не бываетъ у фразеровъ и подражателей. Но еслибы кто-нибудь захотѣлъ не замѣтить и не почувствовать въ немъ присутствія этой силы, еслибы кто-нибудь захотѣлъ подвергнуть ее сомнѣнію, то единственнымъ фактомъ, торжественно и безапелляціонно опровергающимъ это нелѣпое сомнѣніе, была бы смерть Базарова. Вліяніе его на окружающихъ людей ничего не доказываетъ; вѣдь и Рудинъ имѣлъ вліяніе; на безрыбьи и ракъ рыба, и на людей, подобныхъ Аркадію, Николаю Петровичу, Василію Ивановичу и Аринѣ Власьевнѣ, больно нетрудно произвести сильное впечатлѣніе. Но смотрѣть въ глаза смерти, предвидѣть ея приближеніе, не стараясь себя обмануть, оставаться вѣрнымъ себѣ до послѣдней минуты, не ослабѣть и не струсить—это дѣло сильнаго характера. Умереть такъ, какъ умеръ Базаровъ, все равно, что сдѣлать великій подвигъ; этотъ подвигъ остается безъ послѣдствій, но та доза энергіи, которая тратится на подвигъ, на блестящее и полезное дѣло, истрачена здѣсь на простой и неизбѣжный физіологическій процессъ. Оттого, что Базаровъ умеръ твердо и спокойно, никто не почувствовалъ себѣ ни облегченія, ни пользы; но такой человѣкъ, который умѣетъ умирать спокойно и твердо, не отступитъ передъ препятствіемъ и не струситъ передъ опасностью.

Описаніе смерти Базарова составляетъ лучшее мѣсто въ романѣ Тургенева; я сомнѣваюсь даже, чтобы во всѣхъ произведеніяхъ нашего художника нашлось что-нибудь болѣе замѣчательное. Выписывать какой-нибудь отрывокъ изъ этого великолѣпнаго эпизода я считаю невозможнымъ; это значило бы уродовать цѣльность впечатлѣ-

нія; по настоящему слѣдовало бы выписать цѣлыхъ десять страницъ, но мѣсто не позволяетъ мнѣ этого сдѣлать; кромѣ того, я надѣюсь, что всѣ мои читатели прочли или прочтутъ романъ Тургенева, и потому, не извлекая изъ него ни одной строчки, я постараюсь только прослѣдить и объяснить съ начала до конца болѣзни психическое состояніе Базарова. Обрѣзавъ себѣ палецъ при разсѣченіи трупа и не имѣвши возможности тотчасъ прижечь ранку ляписомъ или желѣзомъ, Базаровъ черезъ четыре часа послѣ этого событія приходитъ къ отцу и прижигаетъ себѣ больное мѣсто, не скрывая ни отъ себя, ни отъ Василія Ивановича безполезности этой мѣры въ томъ случаѣ, если гной разлагающагося трупа проникъ въ ранку и смѣшался съ кровью. Василій Ивановичъ, какъ медикъ, знаетъ, какъ велика опасность, но не рѣшается взглянуть ей въ глаза и старается обмануть самого себя. Проходитъ два дня. Базаровъ крѣпится, не ложится въ постель, но чувствуетъ жаръ и ознобъ, теряетъ аппетитъ и страдаетъ сильной головной болью. Участіе и разспросы отца раздражаютъ его, потому что онъ знаетъ, что все это не поможетъ, и что старикъ самого себя лелѣетъ и тѣшитъ пустыми иллюзіями. Ему досадно видѣть, что мужчина и притомъ медикъ не смѣетъ видѣть дѣло въ настоящемъ свѣтѣ. Арину Власьевну Базаровъ бережетъ; онъ говоритъ ей, что простудился; на третій день ложится въ постель и проситъ прислать ему липоваго чаю. На четвертый день онъ обращается къ отцу, прямо и серьезно говоритъ ему, что скоро умретъ, показываетъ ему красныя пятна, выступившія на тѣлѣ и служащія признакомъ зараженія, называетъ ему медицинскимъ терминомъ свою болѣзнь и холодно опровергаетъ робкія возраженія растерявшагося старика. А между тѣмъ ему хочется жить, жаль прощаться съ самосознаніемъ, съ своею мыслью, съ своею сильной личностью, но эта боль разставанія съ молодой жизнью, съ неизношенными силами выражается не въ мягкой грусти, а въ желчной, иронической досадѣ, въ презрительномъ отношеніи къ себѣ, какъ къ безсильному существу, и къ той грубой, нелѣпой случайности, которая смяла и задавила его. Нигилистъ остался вѣренъ себѣ до послѣдней минуты.

Какъ медикъ, онъ видѣлъ, что люди зараженные всегда умираютъ, и онъ не сомнѣвается въ непреложности этого закона, не смотря на то, что этотъ законъ осуждаетъ его на смерть. Точно такъ-же онъ въ критическую минуту не мѣняетъ своего мрачнаго міросозерцанія на другое, болѣе отрадное; какъ медикъ и какъ человѣкъ, онъ не утѣшаетъ себя мираками.

Образъ единственнаго существа, возбудившаго въ Базаровѣ сильное чувство и внушившаго ему уваженіе, приходитъ ему на умъ въ то время, когда онъ собирается прощаться съ жизнью. Этотъ образъ вѣроятно и раньше носился передъ его воображеніемъ, потому что насильственно сдавленное чувство еще не успѣло умереть, но тутъ, прощаясь съ жизнью и чувствуя приближеніе бреда, онъ проситъ Василія Ивановича послать нарочнаго къ Аннѣ Сергѣевнѣ и объявить ей, что Базаровъ умираетъ и приказалъ ей кланяться. Надѣялся ли онъ увидѣть ее передъ смертью, или просто хотѣлъ ей дать вѣсть о себѣ—это невозможно рѣшить; можетъ быть ему было пріятно, произнося при другомъ человѣкѣ имя любимой женщины, живѣе представить себѣ ея красивое лицо, ея спокойные, умные глаза, ея молодое, роскошное тѣло. Онъ любилъ только одно существо въ мірѣ, и тѣ нѣжные мотивы чувства, которые онъ давилъ въ себѣ, какъ романтизмъ, теперь всплываютъ на поверхность; это не признакъ слабости, это—естественное проявленіе чувства, высвободившагося изъ-подъ гнета разсудочности. Базаровъ не измѣняетъ себѣ; приближеніе смерти не перерождаетъ его; напротивъ, онъ становится естественнѣе, человѣчнѣе, непринужденнѣе, чѣмъ онъ былъ въ полномъ здоровьи. Молодая, красивая женщина часто бываетъ привлекательнѣе въ простой утренней блузѣ, чѣмъ въ богатомъ бальномъ платьѣ. Такъ точно умирающій Базаровъ, распустившій свою натуру, давшій себѣ полную волю, возбуждаетъ больше сочувствія, чѣмъ тотъ же Базаровъ, когда онъ холоднымъ разсудкомъ контролируетъ каждое свое движеніе и постоянно ловитъ себя на романтическихъ поползновеніяхъ.

Если человѣкъ, ослабляя контроль надъ самимъ собой, становится лучше и человѣчнѣе, то это служитъ энергическимъ доказательствомъ цѣльности, полноты и естественнаго богатства натуры. Разсудочность Базарова была въ немъ простительной и понятной крайностью; эта крайность, заставлявшая его мудрить надъ собой и ломать себя, исчезла бы отъ дѣйствія времени и жизни; она исчезла точно такъ-же во время приближенія смерти. Онъ сдѣлался человѣкомъ, вмѣсто того чтобы быть воплощеніемъ теоріи нигилизма, и, какъ человѣкъ, онъ выразилъ желаніе видѣть любимую женщину.

Анна Сергѣевна пріѣзжаетъ. Базаровъ говоритъ съ ней ласково и спокойно, не скрывая легкаго оттѣнка грусти, любуется ею, проситъ у нея послѣдняго поцѣлуя, закрываетъ глаза и впадаетъ въ безпамятство.

Къ родителямъ своимъ онъ остается по прежнему равнодушенъ и не даетъ себѣ труда притворяться. О матери онъ говоритъ: «мать бѣдная! Кого-то она будетъ кормить теперь своимъ удивительнымъ борщемъ?» Василію Ивановичу онъ предобродушно совѣтуетъ быть философомъ.

Слѣдить за нитью романа послѣ смерти Ба-

зарова я не намѣренъ. Когда умеръ такой человѣкъ, какъ Базаровъ, и когда его геройской смертью рѣшена такая важная психологическая задача, произнесенъ приговоръ надъ цѣлымъ направленіемъ идей, тогда стоитъ ли слѣдить за судьбой людей, подобныхъ Аркадію, Николаю Петровичу, Ситникову и tutti quanti?.. Постараюсь сказать нѣсколько словъ объ отношеніяхъ Тургенева къ новому, созданному имъ типу.

XI.

Приступая къ сооруженію характера Инсарова, Тургеневъ, во что бы то ни стало, хотѣлъ представить его великимъ, и вмѣсто того сдѣлалъ его смѣшнымъ. Создавая Базарова, Тургеневъ хотѣлъ разбить его въ прахъ, и вмѣсто того отдалъ ему полную дань справедливаго уваженія. Онъ хотѣлъ сказать: наше молодое поколѣніе идетъ по ложной дорогѣ, и сказалъ: въ нашемъ молодомъ поколѣніи вся наша надежда. Тургеневъ не діалектикъ, не софистъ, онъ не можетъ доказывать своими образами предвзятую идею, какъ бы эта идея ни казалась ему отвлеченно вѣрна или практически полезна. Онъ прежде всего художникъ, человѣкъ безсознательно, невольно искренній; его образы живутъ своей жизнью; онъ любитъ ихъ, онъ увлекается ими, онъ привязывается къ нимъ во время процесса творчества, и ему становится невозможнымъ помыкать ими по своей прихоти и превращать картину жизни въ аллегорію съ нравственной цѣлью и съ добродѣтельной развязкой. Честная, чистая натура художника беретъ свое, ломаетъ теоретическія загородки, торжествуетъ надъ заблужденіями ума, и своими инстинктами выкупаетъ все—и невѣрность основной идеи, и односторонность развитія, и устарѣлость понятій. Вглядываясь въ своего Базарова, Тургеневъ, какъ человѣкъ и какъ художникъ, растетъ въ своемъ романѣ, растетъ на нашихъ глазахъ и дорастаетъ до правильнаго пониманія, до справедливой оцѣнки созданнаго типа.

Съ недобрымъ чувствомъ началъ Тургеневъ свое послѣднее произведеніе. Съ перваго разу онъ показалъ намъ въ Базаровѣ угловатое обращеніе, педантическую самонадѣянность, черствую разсудочность; съ Аркадіемъ онъ держитъ себя деспотически-небрежно, къ Николаю Петровичу относится безъ нужды насмѣшливо, и все сочувствіе художника лежитъ на сторонѣ тѣхъ людей, которыхъ обижаютъ, тѣхъ безобидныхъ стариковъ, которымъ велятъ глотать пилюлю, говоря о нихъ, что они отставные люди. И вотъ художникъ начинаетъ искать въ нигилистѣ и безпощадномъ отрицателѣ слабаго мѣста; онъ ставитъ его въ разныя положенія, вертитъ его на всѣ стороны и находитъ противъ него только одно обвиненіе—обвиненіе въ черствости и рѣзкости. Всматривается онъ въ это темное пятно; возникаетъ въ его головѣ вопросъ: а кого-же станетъ любить этотъ человѣкъ? Въ комъ найдетъ удовлетвореніе своимъ потребностямъ? Кто его пойметъ насквозь и не испугается его корявой оболочки? Подводитъ онъ къ своему герою умную женщину; женщина эта смотритъ съ любопытствомъ на эту своеобразную личность; нигилистъ съ своей стороны вглядывается въ нее съ возрастающимъ сочувствіемъ, и потомъ, увидавъ что-то похожее на нѣжность, на ласку, кидается къ ней съ неразсчитанною порывистостью молодого, горячаго, любящаго существа, готоваго отдаться вполнѣ, безъ торгу, безъ утайки, безъ задней мысли. Такъ не кидаются люди холодные, такъ не любятъ черствые педанты. Безпощадный отрицатель оказывается моложе и свѣжѣе той молодой женщины, съ которой онъ имѣетъ дѣло; въ немъ накипѣла и вырвалась бѣшеная страсть въ то время, когда въ ней только-что начинало бродить что-то вродѣ чувства; онъ бросился, перепугалъ ее, сбилъ ее съ толку и вдругъ отрезвилъ ее; она отшатнулась назадъ и сказала себѣ, что спокойствіе все-таки лучше всего. Съ этой минуты все сочувствіе автора переходитъ на сторону Базарова, и только кой-какія разсудочныя замѣчанія, которыя не вяжутся съ цѣлымъ, напоминаютъ прежнее недоброе чувство Тургенева.

Авторъ видитъ, что Базарову некого любить, потому что вокругъ него все мелко, плоско и дрябло, а самъ онъ свѣжъ, уменъ и крѣпокъ, авторъ видитъ это и въ умѣ своемъ снимаетъ съ своего героя послѣдній незаслуженный упрекъ. Изучивъ характеръ Базарова, вдумавшись въ его элементы и въ условія развитія, Тургеневъ видитъ, что для него нѣтъ ни дѣятельности, ни счастья. Онъ живетъ бобылемъ и умретъ бобылемъ, и притомъ безполезнымъ бобылемъ, умретъ, какъ богатырь, которому негдѣ повернуться, нечѣмъ дышать, некуда дѣвать исполинской силы, некого полюбить крѣпкой любовью. А незачѣмъ ему жить, такъ надо смотрѣть, какъ онъ будетъ умирать. Весь интересъ, весь смыслъ романа заключается въ смерти Базарова. Еслибы онъ струсилъ, еслибы онъ измѣнилъ себѣ—весь характеръ его освѣтился бы иначе: явился бы пустой хвастунъ, отъ котораго нельзя ожидать въ случаѣ нужды ни стойкости, ни рѣшимости; весь романъ оказался бы клеветой на молодое поколѣніе, незаслуженнымъ укоромъ; этимъ романомъ Тургеневъ сказалъ бы: вотъ, посмотрите, молодые люди, вотъ случай: умнѣйшій изъ васъ—и тотъ никуда не годится! Но у Тургенева, какъ у честнаго человѣка и искренняго художника, языкъ не повернулся произ-

нести теперь такую печальную ложь. Базаровъ не оплошалъ, и смыслъ романа вышелъ такой: теперешніе молодые люди увлекаются и впадаютъ въ крайности, но въ самыхъ увлеченіяхъ сказываются свѣжая сила и неподкупный умъ; эта сила и этотъ умъ безъ всякихъ постороннихъ пособій и вліяній выведутъ молодыхъ людей на прямую дорогу и поддержатъ ихъ въ жизни.

Кто прочелъ въ романѣ Тургенева эту прекрасную мысль, тотъ не можетъ не изъявить ему глубокой и горячей признательности, какъ великому художнику и честному гражданину Россіи.

А Базаровымъ все-таки плохо жить на свѣтѣ, хоть они припѣваютъ и посвистываютъ. Нѣтъ дѣятельности, нѣтъ любви—стало быть, нѣтъ и наслажденія.

Страдать они не умѣютъ, ныть не станутъ, а подчасъ чувствуютъ только, что пусто, скучно, безцвѣтно и безсмысленно.

А что же дѣлать? Вѣдь не заражать же себя умышленно, чтобы имѣть удовольствіе умирать красиво и спокойно? Нѣтъ! Что дѣлать? Жить, пока живется, ѣсть сухой хлѣбъ, когда нѣтъ ростбифу, быть съ женщинами, когда нельзя любить женщину, и вообще не мечтать объ апельсинныхъ деревьяхъ и пальмахъ, когда подъ ногами снѣговые сугробы и холодныя тундры.

1862 г. Мартъ.

ОЧЕРКИ ИЗЪ ИСТОРІИ ПЕЧАТИ ВО ФРАНЦІИ.

I.

При Наполеонѣ I.

«Для управленія необходимы сапоги и шпоры», сказалъ генералъ Бонапарте, принимая званіе перваго консула французской республики. Однимъ изъ первыхъ распоряженій новаго правительства было слѣдующее циркулярное предписаніе:

«Консулы республики убѣдились въ томъ, что часть журналовъ, печатающихся въ департаментѣ Сены, составляютъ орудія враговъ республики. Вслѣдствіе этого, министерство полиціи во все время войны будетъ запрещать печатаніе и разсылку всѣхъ журналовъ, кромѣ Moniteur universel, Journal des Débats, Journal de Paris, le Bien informé, le Publiciste, l'Ami des Lois, la Clef des cabinets, le Citoyen français, la Gazette de France, le Journal des hommes libres, le Journal du soir, le Journal des Défenseurs de la Patrie, la Décade philosophique, и тѣхъ журналовъ, которые занимаются исключительно науками, искусствами и литературой».

Издателямъ и редакторамъ велѣно было явиться въ полицію, и тамъ съ нихъ взяли письменное обязательство не писать и не печатать ничего противъ конституціи. Имъ запретили точно такъ-же перепечатывать изъ иностранныхъ газетъ какія бы то ни было статьи, говорившія противъ верховнаго владычества французскаго народа, противъ славы французскаго оружія или противъ правительствъ и націй, находившихся въ дружескихъ отношеніяхъ или въ союзѣ съ республикой. За нарушеніе этихъ правилъ журналъ подвергался немедленному закрытію.

Когда первый консулъ Бонапарте превратился въ императора Наполеона, тогда изъ семи сенаторовъ была образована особая коммисія, которой было поручено охранять свободу печати отъ стѣснительныхъ распоряженій администраціи. Во все время царствованія Наполеона, эта коммисія оставалась въ совершенномъ бездѣйствіи; самъ Наполеонъ не жаловалъ литераторовъ вообще и журналистовъ въ особенности, и коммисія никогда не рѣшалась за нихъ заступаться. «Я добился власти, говорилъ самъ императоръ, потому, что умѣю ею распорядиться, я художникъ въ дѣлѣ управленія... Чтобы управлять большимъ государствомъ, надо завести много судей, много чиновниковъ, много жандармовъ, много солдатъ... Сколько мнѣ пришлось выслушать объясненій и возраженій, когда я подчинилъ вѣдомству полиціи ежедневныя газеты! Чтобы убѣдить метафизиковъ, мнѣ самому пришлось пускаться въ метафизику; государственный человѣкъ долженъ говорить на всѣхъ языкахъ и принимать на себя всевозможныя роли. Поручая полиціи наблюдать за печатью, я хочу разсѣять опасныя ассоціаціи и зажать ротъ безпокойнымъ ораторамъ. Журналистъ не что иное, какъ говорунъ, а его подписчики составляютъ вокругъ него клубъ. То, что онъ печатаетъ, читается ими, а потомъ каждый изъ нихъ составляетъ вокругъ себя кружки и ораторствуетъ въ свою очередь».

При Наполеонѣ остались въ живыхъ только четыре политическія газеты: Moniteur, Journal des Débats, Gazette de France и Journal de Paris.

Moniteur былъ органомъ самого императора, который довольно часто помѣщалъ въ немъ свои собственныя статьи.

Journal des Débats, принадлежавшій Бертену-де-Во, возбуждалъ недовѣріе правительства, не смотря на то, что одинъ изъ сотрудниковъ этой газеты, Жоффруа, въ своихъ фельетонахъ постоянно льстилъ особѣ императора и его распоряженіямъ. Наполеонъ подозрѣвалъ издателя этой газеты въ сношеніяхъ съ Англіей и съ эмигрантами; носились даже слухи, будто Бертенъ получаетъ изъ Англіи денежныя субсидіи; по настоянію министра полиціи Фуше, къ этому журналу приставили цензора, но выборъ палъ на одного изъ друзей редактора, Фіеве, который не удовлетворилъ требованіямъ полицейскаго начальства, не смотря на то, что ему предписано было читать съ особеннымъ вниманіемъ эту газету, пользовавшуюся значительнымъ сочувствіемъ публики и имѣвшую, по словамъ правительственной инструкціи, въ десять разъ больше подписчиковъ, чѣмъ остальныя періодическія изданія. Проходя черезъ руки цензора, политическая часть журнала приняла такую оффиціальную физіономію, которая опять таки не понравилась императору; «болтовня журналовъ, замѣтилъ онъ, при многихъ неудобствахъ, имѣетъ также свои хорошія стороны». Было рѣшено отставить цензора, но вмѣстѣ съ тѣмъ смѣнить редактора, несмотря на то, что журналъ составлялъ его собственность. Журналъ, отнятый у Бертена, былъ отданъ тому самому Фіеве, который былъ цензоромъ этого журнала; вмѣстѣ съ тѣмъ было измѣнено названіе журнала, связывавшееся съ воспоминаніями о революціи: Journal des Débats преобразился въ Journal de l'Empire. Но и Фіеве показался неудовлетворительнымъ, и его смѣнилъ Этьенъ, человѣкъ, преданный интересамъ правительства, но, несмотря на то, неспособный служить ему слѣпымъ орудіемъ. Однажды Наполеонъ сгоряча написалъ противъ Австріи статью, наполненную ругательствами, и послалъ ее къ Этьену для напечатанія въ слѣдующемъ номерѣ. Этьенъ пришелъ въ недоумѣніе, читая рукопись, и отправился попросить совѣта у герцога Бассано.—Это воля императора, отвѣчалъ ему герцогъ. Этьенъ отдалъ статью въ типографію, но читая корректуру, еще разъ задумался надъ ней и наконецъ рѣшился вовсе не печатать ея. На другой день императоръ беретъ журналъ, удивляется тому, что въ немъ нѣтъ его статьи, и распекаетъ герцога Бассано, который въ свою очередь дѣлаетъ строгій выговоръ Этьену и приказываетъ ему непремѣнно помѣстить статью въ завтрашнемъ номерѣ газеты. Но Этьенъ выдержалъ характеръ, и на этотъ разъ даже не послалъ статью въ типографію.—Что же моя статья? спрашиваетъ Наполеонъ у герцога Бассано.—Ваше величество, она не помѣщена.—Да кто же осмѣливается не исполнять моихъ приказаній?—Этьенъ утверждаетъ, что эта статья недостойна васъ, и отказывается ее печатать.—А! Онъ осмѣлился... впрочемъ, прибавилъ Наполеонъ, вдругъ успокоиваясь, онъ правъ.

Книги проходили черезъ руки цензоровъ, и несмотря на то часто конфисковались послѣ поступленія въ продажу. Г-жа Сталь принуждена была уѣхать изъ Франціи за свою книгу о Германіи. Изданіе книги было отобрано въ полицію, и лавка издателя была обыскана. Въ историческихъ сочиненіяхъ, описывавшихъ далекое прошлое, администрація искала намековъ и преслѣдовала за нихъ авторовъ и издателей. Въ одномъ изъ своихъ сочиненій Шатобріанъ пишетъ: «благоденствіе Нерона непрочно, Тацитъ родился въ его имперіи, выросъ возлѣ праха Германика, и правосудное Провидѣніе вручило неизвѣстному юношѣ славу владыки міра». Въ другомъ мѣстѣ, говоря объ отношеніяхъ Серторія къ правительству Суллы, онъ высказываетъ слѣдующую мысль: «безъ сомнѣнія, во времена Серторія, робкія души, принимавшія свою низость за благоразуміе, находили безумнымъ то, что простой гражданинъ рѣшился вызвать на бой все могущество Суллы». Наполеонъ замѣтилъ эти два мѣста и прогнѣвался на автора.—Шатобріанъ кажется считаетъ меня идіотомъ; онъ думаетъ, я его не понимаю? Я велю его изрубить саблями на ступеняхъ моего дворца.

До этого дѣло не дошло, но журналъ Mercure de France, купленный Шатобріаномъ у де-Фонтана, былъ запрещенъ.

Одинъ литераторъ, Мерсанъ, безъ всякаго особеннаго умысла напечаталъ сборникъ мыслей Бальзака, стариннаго писателя, жившаго въ XVII столѣтіи. Чиновникъ, имѣвшій спеціальную обязанность слѣдить за нѣкоторыми отраслями литературы и доносить объ упущеніяхъ предварительной цензуры, довелъ до свѣдѣнія императора, что нѣкоторыя фразы этого сборника направлены противъ его особы. Наполеонъ вспылилъ и тотчасъ же отдалъ приказаніе посадить де-Мерсана въ тюрьму. Приближенные государя задержали это приказаніе и умоляли разобрать дѣло, какъ слѣдуетъ.

— Это очень ясно, говорилъ разгнѣванный императоръ, меня называютъ бичемъ Бога, пагубнымъ человѣкомъ. Полюбуйтесь этими дерзостями. Завтра мы поговоримъ объ этомъ.

Изданіе де-Мерсана сличили съ книгами Бальзака, и оказалось, что фразы, взволновавшія Наполеона, были цѣликомъ направлены противъ кардинала Ришелье, который однако въ свое время не принялъ ихъ на свой счетъ.

Читая подлинный текстъ Бальзака, Наполеонъ убѣдился въ своей ошибкѣ и разорвалъ свой приказъ.

— Что за идіоты! говорилъ онъ, разбирая преступную фразу по частямъ. Развѣ эти эпитеты—*карликъ, евнухъ*, могутъ относиться ко мнѣ? Эта оффиціальная цензура рѣшительно ни на что не годится!

По мѣрѣ того, какъ политическія дѣла Наполеона запутывались, распоряженія его касательно печати становились строже. Въ 1810 году онъ учредилъ должность генеральнаго директора книжной торговли и предоставилъ ему неограниченную власть надъ изданіями, т. е. право запрещать книгу раньше ея напечатанія и отбирать ее у книгопродавцевъ, если она уже дозволена. Въ томъ же году онъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы въ каждомъ департаментѣ (кромѣ Сены) издавался только одинъ журналъ, состоящій изъ казенныхъ и частныхъ объявленій и увѣдомленій, и чтобы министръ внутреннихъ дѣлъ опредѣлялъ форматъ изданій и цѣну за строчку объявленій. Въ томъ же году онъ обратилъ въ казенную собственность два журнала: Journal de l'Empire и Journal de Paris. Каждый изъ этихъ журналовъ онъ раздѣлилъ на двадцать четыре пая; восемь паевъ были отданы въ распоряженіе полиціи, которая изъ этихъ денегъ производила литераторамъ пенсіи, по благоусмотрѣнію правительства; шестнадцать остальныхъ паевъ императоръ предполагалъ раздать въ видѣ награды надежнымъ людямъ, заявившимъ ему свою преданность.

Въ минуту раздумья и откровенности Наполеонъ самъ тяготился этимъ натянутымъ положеніемъ дѣлъ. «Пресса, сказалъ онъ однажды въ государственномъ совѣтѣ,—пресса, которую величаютъ свободной, находится въ полнѣйшемъ рабствѣ. Полиція самовластно урѣзываетъ и запрещаетъ книги и статьи; эти дѣла судитъ даже не самъ министръ, онъ принужденъ полагаться на мелкихъ чиновниковъ. Что за безпорядокъ, что за произволъ!»

Паденіе Наполеона мгновенно отразилось въ тонѣ періодической литературы. Газеты 30 марта 1814 года описываютъ современныя событія въ духѣ имперіалистовъ и наполнены изъявленіями глубочайшей преданности къ особѣ и правительству великаго императора.

31-го марта Journal de l'Empire не выходитъ въ свѣтъ; а съ перваго апрѣля всѣ періодическія изданія разражаются ругательствами и проклятіями противъ Наполеона, называютъ его тираномъ, узурпаторомъ, Робеспьеромъ на конѣ, призываютъ Бурбоновъ для спасенія Франціи и превозносятъ великодушіе союзныхъ государей. Въ маѣ того же года братья Бертени и Ру-Лабори овладѣваютъ изданіемъ Journal de l'Empire, оставленнымъ разсѣявшимися имперіалистами, и снова переименовываютъ его въ Journal des Débats.

Третьяго апрѣля того же года сенатъ признаетъ императора лишеннымъ престола и, перечисляя въ своей прокламаціи его противозаконные поступки, говоритъ между прочимъ, что «свобода печати, учрежденная и освященная, какъ одно изъ правъ французской націи, постоянно стѣснялась самовластной цензурой полиціи, и что онъ (Наполеонъ) постоянно пользовался печатью, чтобы наполнять Европу и Францію искаженными извѣстіями, превратными идеями, доктринами, благопріятствовавшими деспотизму, и ругательствами противъ иностранныхъ правительствъ».

Это говоритъ на всю Европу тотъ самый сенатъ, который повергалъ къ стопамъ императора послѣдняго человѣка и послѣдній экю французской націи. Это говоритъ тотъ самый сенатъ, котораго коммисія, назначенная для охраненія свободы печати, во все время царствованія Наполеона ни разу не заявляла о своемъ существованіи, ни разу не прерывала благоразумнаго молчанія.

Подавая проектъ конституціи, сенатъ говоритъ въ 23 статьѣ, что «свобода печати будетъ полная, за исключеніемъ законнаго преслѣдованія тѣхъ преступленій, къ которымъ можетъ повести злоупотребленіе этой свободы. Сенатскія коммисіи, охраняющія свободу печати и личную свободу гражданъ, остаются въ прежней силѣ».

Въ то же время были приведены во всеобщую извѣстность слѣдующія два постановленія временно-учрежденнаго правительства:

1) Запрещается выставлять на улицу афиши и плакарды безъ предварительнаго разсмотрѣнія префекта полиціи.

2) Запрещается продавать или раздавать на улицѣ памфлеты или листки, не разрѣшенные предварительно полицейской префектурой.

II.

При Людовикѣ XVIII.

Хартія, на основаніи которой Людовикъ XVIII обѣщалъ управлять своимъ государствомъ, говоритъ въ 8-мъ пунктѣ: «Французы имѣютъ право обнародовать и печатать свои мнѣнія, сообразуясь съ тѣми законами, которые должны подавлять (réprimer) злоупотребленія этимъ правомъ». Министръ внутреннихъ дѣлъ, аббатъ Монтескье, въ іюлѣ 1814 года, представилъ проектъ закона объ учрежденіи предварительной цензуры. Этотъ проектъ былъ составленъ по идеямъ Гизо и Ройе-Коллара; слово «подавлять», употребленное въ хартіи, въ этомъ проектѣ признавалось равносильнымъ слову «предупреждать» (prévenir); палата депутатовъ разсмотрѣла предложеніе Монтескье; противъ него были произнесены горячія рѣчи; двѣ пятыхъ собранія объявили себя противъ него; въ палатѣ пэровъ половина членовъ подали противъ него голоса, но несмотря на все это, 21-го октября 1814 года, состоялся законъ о печати, по которому всѣ сочиненія, заключавшія въ себѣ менѣе двадцати печатныхъ листовъ, должны были подчиняться предварительной цензурѣ; кромѣ того, журналы и другія періоди-

ческія изданія могутъ выходить въ свѣтъ не иначе, какъ по особому разрѣшенію короля; типографщики и книгопродавцы должны брать отъ правительства разрѣшеніе и давать присягу, чтобы имѣть право заниматься своей профессіей. Этотъ законъ долженъ былъ имѣть только временное значеніе, до конца засѣданій 1816 года; послѣ этого срока дѣло печати подлежало новому разсмотрѣнію.

1-го марта 1815 г. Наполеонъ высадился на французскій берегъ; 20-го марта онъ явился въ Парижъ и 25-го уничтожилъ цензуру вмѣстѣ съ дирекціей книгопечатанія и книжной торговли; министръ полиціи Фуше пригласилъ къ себѣ журналистовъ, просилъ ихъ не возбуждать общественнаго мнѣнія противъ правительства и отъ имени императора обѣщалъ, что новая имперія не будетъ похожа на старую, и что въ ней будетъ мѣсто для свободы и для либеральныхъ учрежденій. Не всѣ журналисты повѣрили этимъ увѣреніямъ; журналъ Censeur Européen продолжалъ относиться скептически къ дѣйствіямъ и къ тенденціямъ императорскаго правительства; полиція попробовала остановить раздачу одной изъ книжекъ этого журнала, но публика такъ громко выразила свое негодованіе, что Фуше не рѣшился вести дальше свои энергическія мѣры.

Статья 64-я дополнительнаго акта конституціи имперіи говоритъ, что «каждый гражданинъ имѣетъ право печатать и доводить до публики свои мысли, подписывая подъ ними свое имя, не подвергаясь никакой предварительной цензурѣ и принимая на себя законную отвѣтственность послѣ напечатанія передъ судомъ присяжныхъ, даже въ томъ случаѣ, если проступокъ заслуживаетъ по закону только исправительнаго наказанія».

7-го іюня, въ засѣданіи государственнаго совѣта, самъ императоръ говорилъ объ отношеніяхъ между литературой и правительствомъ. «Свобода печати, замѣтилъ онъ, составляетъ необходимую часть теперешней конституціи; ея нельзя стѣснять, не искажая всей нашей политической системы; но намъ необходимы карательные законы, особенно при теперешнемъ настроеніи націи; я предоставляю вамъ обдумать этотъ важный предметъ».

22-го іюня императоръ отказался отъ престола, и правительство Людовика XVIII принялось за прежнюю систему.

До 1819 г. законодательство печати остается неопредѣленнымъ и возбуждаетъ самыя горячія пренія въ обѣихъ палатахъ; въ процессахъ, возникшихъ вслѣдствіе литературныхъ преступленій, судьи не имѣли прочныхъ основаній, которыми они могли бы руководствоваться; ихъ рѣшенія зависѣли отъ личныхъ соображеній и отъ настроенія общественнаго мнѣнія въ данную минуту. Крайніе роялисты, смотрѣвшіе съ величайшимъ предубѣжденіемъ на свободу печати, какъ на несчастный остатокъ зловредной революціи, не допускали въ пользу обвиняемыхъ никакихъ гарантій. Они говорили, что можно перетолковывать фразы писателя и осуждать его, на основаніи этого толкованія, хотя бы самъ онъ протестовалъ противъ смысла, придаваемаго его словамъ; порицать дѣйствія министровъ значило, по ихъ мнѣнію, оскорблять особу короля; противъ обвиняемаго можно было, по ихъ мнѣнію, приводить въ дѣйствіе тѣ законы, которые уже замѣнены новыми или отмѣнены обычаемъ судебной практики; обвиненный, по ихъ мнѣнію, могъ усилить свою вину или совершить новое преступленіе, если, защищаясь передъ судомъ, онъ обнаруживалъ въ своей защитительной рѣчи либеральное направленіе идей; типографщикъ, исполнившій всѣ законныя формальности, могъ, по ихъ мнѣнію, оказаться виновнымъ, если напечатанное имъ сочиненіе вызвало преслѣдованія правительства.

Въ 1819 году цензура была уничтожена, и вмѣшательство общей полиціи въ литературныя преступленія устранено; положено, что наказанія за литературныя преступленія приводятся въ исполненіе не иначе, какъ по приговору суда присяжныхъ. Денежные штрафы, тюремныя заключенія, запрещеніе журналовъ на время или навсегда становятся рѣже, потому что присяжные, какъ люди, не имѣющіе личнаго интереса въ осужденіи обвиняемыхъ, разсматриваютъ поручаемыя имъ дѣла безпристрастнѣе коронныхъ судей. Журналы становятся живѣе и дѣльнѣе; писатели начинаютъ обсуживать серьезно и спокойно вопросы и недостатки, потребности и болѣзни современнаго общества; крайніе роялисты, недовольные новыми законами и не имѣвшіе возможности подавлять выраженіе ненавистныхъ имъ идей, вступили въ ожесточенную полемику съ тѣми людьми, которыхъ они подозрѣвали въ либерализмѣ. Они осмѣивали ихъ, осыпали ихъ ругательствами, обращали вниманіе правительства на опасное направленіе ихъ литературныхъ и политическихъ мнѣній, словомъ, воевали противъ нихъ всѣми силами своего существа и пускали въ ходъ самое разнообразное оружіе.

Журналъ Drapeau Blanc отличался особеннымъ жаромъ и крайнею неутомимостью на поприщѣ этой полемики. «Этотъ либерализмъ, говоритъ онъ въ одномъ изъ своихъ нумеровъ, составляетъ, какъ извѣстно, религію людей, коротко знакомыхъ съ галерами. На-дняхъ мы слышали, что одинъ изъ этихъ честныхъ гражданъ, убѣжавшихъ съ каторги послѣ ордонанса 5-го сентября, запустилъ руку въ карманъ своего сосѣда; когда у него спросили причину этой ошибки, онъ отвѣчалъ, что всѣ носы равны, и что слѣдовательно всѣ люди должны смор-

каться въ одинъ платокъ». Остроумныя нападенія Dragean Blanc на либераловъ во всякомъ случаѣ казались имъ сноснѣе судебныхъ преслѣдованій, тюремныхъ заключеній и конфискацій; поэтому они были довольны законами 1819 года и готовы были защищать ихъ словесно и печатно, въ палатѣ депутатовъ и на столбцахъ періодическихъ изданій. Но законы эти продержались недолго.

13-го февраля 1820 года, герцогъ Беррійскій былъ зарѣзанъ при выходѣ изъ театра; крайніе роялисты обвинили либеральную партію въ этомъ преступленіи, которое сейчасъ же возбудило сильную реакцію; враги свободной журналистики заговорили громче и настоятельнѣе прежняго потребовали, чтобы печать была подчинена значительнымъ ограниченіямъ; нашлись люди, которые пустили въ ходъ выразительную фразу, что герцога зарѣзала либеральная идея. Наконецъ 31-го марта 1820 года былъ изданъ новый законъ слѣдующаго содержанія: Безпрепятственный выпускъ періодическихъ изданій на время останавливается: ни одинъ журналъ не можетъ выходить безъ предварительнаго разрѣшенія короля; до напечатанія каждая рукопись должна быть осмотрѣна и одобрена. Каждый листъ или каждая статья, не показанные цензору до напечатанія или напечатанные безъ его разрѣшенія, подвергаютъ виновныхъ исправительному наказанію. Въ этомъ случаѣ правительство предоставляетъ себѣ право останавливать выходъ журнала впредь до судебнаго разрѣшенія. Въ случаѣ осужденія обвиненныхъ, задержаніе журнала можетъ быть продолжено въ теченіе шести мѣсяцевъ; въ случаѣ повторенія поступка, правительство можетъ запретить журналъ.

Приказъ 1-го апрѣля того же года дополняетъ эти узаконенія.

«Журналы должны объявить, что они будутъ соображаться съ новымъ закономъ.

При министерствѣ внутреннихъ дѣлъ учреждается коммисія цензуры, состоящая изъ двѣнадцати членовъ. Каждая журнальная статья до напечатанія должна быть подписана цензоромъ. Чтобы рѣшить спорное дѣло, должно быть на лицо по крайней мѣрѣ пять цензоровъ. Наблюденіе за дѣйствіями цензуры поручается совѣту, состоящему изъ девяти чиновниковъ. Этотъ совѣтъ опредѣляетъ запрещеніе журнала на время или навсегда».

Было предположено сначала, чтобы совѣтъ, наблюдавшій за дѣйствіями цензуры, былъ составленъ изъ трехъ пэровъ, трехъ депутатовъ и трехъ короннихъ чиновниковъ, но это предположеніе оказалось неосуществимымъ, потому что члены обѣихъ палатъ рѣшительно не согласились принять эту должность.

Въ обѣихъ палатахъ послышались со всѣхъ сторонъ сильныя, рѣзкія и справедливыя нападенія противъ новыхъ постановленій, противъ обязанности цензора и противъ личности тѣхъ людей, которые согласились принять эту должность.

Тогдашняя молодежь также заявила свое неудовольствіе...

Роялисты, съ своей стороны, защищали цензуру и ея распоряженія.

«Жалобы на цензуру несправедливы, говорилъ государственный канцлеръ де-Серръ въ палатѣ пэровъ; слѣдуя своимъ инструкціямъ, она устраняетъ изъ журналовъ все то, что можетъ нарушить общественное спокойствіе. Выполнить такую задачу, не возбуждая неудовольствія въ отдѣльныхъ партіяхъ или личностяхъ, невозможно; цензуру могутъ обвинять, съ одной стороны, за то, что она позволяетъ высказывать, а съ другой—за то, что она запрещаетъ говорить».

«Конечно, прибавилъ съ своей стороны министръ Паскіе, цензура будетъ пристрастна къ монархическимъ доктринамъ».

Въ 1822 году въ палатѣ депутатовъ завязалась самая упорная борьба. Дѣло шло о законахъ печати. Приверженцы законовъ 1819 г. изобразили положеніе дѣлъ въ настоящемъ, объяснили его неудобства и потребовали многочисленныхъ измѣненій.

Бенжаменъ Констанъ, ревностный защитникъ свободы печати, одиннадцать разъ въ одно засѣданіе всходилъ на трибуну, опровергая возраженія своихъ оппонентовъ и подробнѣе развивая свои идеи. Министерство, съ своей стороны, также требовало измѣненій въ существующемъ порядкѣ вещей; оно хотѣло уничтожить судъ присяжныхъ въ процессахъ по литературнымъ преступленіямъ. «Законы 1819 года, говорили защитники этого мнѣнія, предоставляютъ виновнымъ непозволительную безнаказанность. Наказанія за проступки журналовъ слишкомъ недостаточны. Журналистъ, осужденный на тюремное заключеніе, сажаетъ за себя въ тюрьму подставное лицо, точно такъ же какъ бы онъ поставилъ за себя наемщика, чтобы не идти въ армію. Осужденіе журналиста увеличиваетъ число подписчиковъ на журналъ. Судья не долженъ поддаваться состраданію. Ядъ, послужившій злодѣю для совершенія преступленія, долженъ быть истребленъ. Журналъ—желтая лихорадка. Если запрещеніе журнала разоряетъ цѣлыя семейства, то въ этомъ должно видѣть законное наказаніе за то, что они употребили свои капиталы на дурное дѣло».

Всѣ эти идеи съ варіаціями и распространеніями составляли тему для министерскихъ рѣчей и вызывали болѣе или менѣе энергическія возраженія. Однажды въ палатѣ депутатовъ серьезное и ожесточенное преніе объ этомъ важномъ предметѣ подало поводъ къ невинной шуткѣ. Министръ финансовъ, Виллель, вы-

сказалъ свое мнѣніе, клонившееся къ стѣсненію печати; депутатъ Станиславъ Жирарденъ послѣ него взошелъ на трибуну и, запинаясь и путаясь, прочелъ возраженія противъ этого мнѣнія; правая сторона, т. е. министерская партія, постоянно прерывала его насмѣшливымъ ропотомъ; высказавъ свои замѣчанія, онъ закончилъ свою рѣчь слѣдующими словами. «Осмѣливаюсь думать, что доводы мои кажутся вамъ неопровержимыми (ропотъ на правой сторонѣ усиливается), скажу даже, что я выражался краснорѣчиво (ропотъ переходитъ въ ироническій смѣхъ); но справедливость требуетъ, чтобы я воздалъ Кесарево Кесареви, и поэтому я объявляю, что если мои слова удостоивались вашего сочувствія, то вся честь принадлежитъ не мнѣ, а г. Виллелю (взрывъ хохота на лѣвой; Виллель проситъ слова). Это мнѣніе было цѣликомъ высказано г. Виллелемъ въ 1817 году, по поводу проекта, подобнаго тому, который теперь предложенъ на разсмотрѣніе». (Хохотъ на лѣвой сторонѣ усиливается; правая сторона изумлена и молчитъ). Виллель, блѣдный отъ гнѣва, бросается на трибуну и начинаетъ свою рѣчь словами: «Figa bien, qui figa le dernier»; но этотъ смѣлый приступъ не вяжется съ продолженіемъ; онъ путается, возражаетъ и оправдывается слабо и наконецъ возвращается на свое мѣсто, уличенный въ безысходномъ противорѣчіи съ самимъ собою.

Результатъ всѣхъ этихъ преній былъ въ высшей степени невыгоденъ для свободы печати: судъ присяжныхъ былъ уничтоженъ въ процессахъ о литературныхъ преступленіяхъ.

Кромѣ того законы 1822 года создали новый родъ литературныхъ преступленій; они постановили, что если стать ижурнала, пропущенныя по одиночкѣ цензурою, въ общей связи своей обнаруживаютъ непозволительный образъ мыслей, то судъ въ торжественномъ засѣданіи опредѣляетъ за первую вину закрытіе журнала на одинъ мѣсяцъ, за вторую—на три мѣсяца, за третью—окончательное запрещеніе.

Когда новые законы получили свою силу, то процессы и осужденія градомъ посыпались на тѣ журналы, къ которымъ не благоволило правительство. Перечислять отдѣльные случаи не стоитъ, они всѣ похожи другъ на друга, всѣ начинаются или съ придирки къ отдѣльному выраженію, или съ обвиненія въ незаконномъ направленіи; затѣмъ идетъ процессъ, въ которомъ судьи почти всегда сочувствуютъ обвинителю; потомъ произносится приговоръ, взыскивается опредѣленный штрафъ или происходитъ арестованіе и запрещеніе журнала на нѣкоторое время или навсегда.

Впрочемъ, даже коронные судьи не всегда умѣли угодить требованіямъ правительства. Когда журналъ Courrier Français былъ обвиненъ въ зловредныхъ тенденціяхъ, проявляющихся въ общемъ подборѣ и въ группировкѣ статей, тогда голоса судей раздѣлились пополамъ, и слѣдовательно дѣло осталось нерѣшеннымъ, а журналъ былъ избавленъ отъ дальнѣйшихъ преслѣдованій.

Министры увидѣли, что дѣйствія правительства возбуждаютъ неудовольствіе въ обществѣ, что постоянные процессы только озлобляютъ литераторовъ и что борьба между администраціей и оппозиціонною прессой продолжается подъ различными формами, съ постоянно возрастающимъ ожесточеніемъ. Они попробовали пустить въ ходъ новое средство—подкупъ; имъ дѣйствительно удалось купить девять журналовъ и обратить ихъ въ панегиристовъ правительства. Изъ секретныхъ фондовъ было истрачено на эту операцію до 2,000,000 франковъ.

Во время дебатовъ, клонившихся къ рѣшенію вопросовъ о печати, цензура потеряла свое вліяніе, и дѣйствія ея были пріостановлены впредь до исхода парламентскихъ совѣщаній. 15-го августа 1824 года цензуру возстановили въ прежнемъ ея значеніи, и журналамъ было отдано приказаніе подчиниться новымъ правиламъ черезъ 12 часовъ послѣ напечатанія ихъ въ «Монитерѣ». Чиновники, назначенные въ цензора, пожелали, чтобы имена ихъ оставались неизвѣстными публикѣ. Раздраженіе публики противъ этихъ чиновниковъ было очень сильно, и Бенжаменъ Констанъ говоритъ, что во Франціи въ то время не нашлось бы ни одного человѣка, который рѣшился бы выйти на улицу, признавъ себя цензоромъ.

III.

При Карлѣ X.

Людовикъ XVIII умеръ 16-го сентября 1824 года, а 29-го сентября того же года преемникъ его, Карлъ X, отмѣнилъ указъ отъ 15-го августа и такимъ образомъ уничтожилъ цензуру. При дворѣ усилилась партія піетистовъ и іезуитовъ, пользовавшихся личнымъ сочувствіемъ короля; эта партія начала преслѣдовать либеральную прессу, которая, съ своей стороны, пошла войною противъ клерикаловъ.

Въ концѣ 1825 года Constitutionnel и Courrier Français были призваны къ суду; въ первомъ нашлось 34, во второмъ — 25 статей, клонившихся, по мнѣнію генеральнаго прокурора Беллара, къ тому, чтобы уронить духовенство въ глазахъ общества. Являясь обвинителемъ, генеральный прокуроръ потребовалъ, чтобы эти журналы были закрыты на нѣсколько мѣсяцевъ, но судьи оправдали подсудимыхъ и ограничились тѣмъ, что посовѣтовали редакторамъ быть осторожнѣе на будущее время. Либеральные журналы съ восторгомъ извѣстили своихъ подписчиковъ о благополучномъ исходѣ

этого процесса, но за то клерикальные журналы громко выразили свое неудовольствіе.

Въ теченіе 1826 года число процессовъ по дѣламъ печати увеличилось; сорокъ три различныхъ изданія подверглись преслѣдованію, возникло сто шестьдесятъ девять процессовъ; въ нихъ было замѣшано сто восемьдесятъ четыре человѣка; изъ нихъ пятьдесятъ три человѣка заплатили штрафы, сорокъ шесть человѣкъ кромѣ того посажены въ тюрьму и восемьдесятъ пять признаны невиновными.

Въ 1827 году 24-го іюня правительство возстановило предварительную цензуру и учредило коммисію наблюденія за цензурой подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго піетиста Бональда. Эта цензура довела строгость свою до послѣднихъ предѣловъ; такъ какъ цензура была обязательна только для періодическихъ изданій, то люди, преданные интересамъ литературы, составили общество съ цѣлью печатать отдѣльными брошюрами статьи, запрещенныя цензурой въ журналахъ; въ этихъ же брошюрахъ обнародовались цензурныя распоряженія. Нѣкоторыя ежедневныя газеты, ненавистныя министерству Виллеля, часто по распоряженіямъ цензуры бывали поставлены въ безвыходное положеніе; случалось такъ, что корректура цѣлаго нумера, посланная утромъ въ цензуру, возвращалась въ одиннадцать часовъ вечера, главная статья оказывалась запрещенной; выпустить нумеръ съ пробѣломъ не позволялось; тогда отправляли въ цензуру другую статью, взамѣнъ запрещенной, но эту статью никто не прочитывалъ, потому что цензоръ уже спалъ. Что же оставалось дѣлать редактору? Выпустить нумеръ безъ главной статьи значило лишить его всякаго интереса; оставить пробѣлъ —значило возстановить противъ себя всѣхъ цензоровъ до такой степени, что они могли отказаться читать и подписывать корректурные листы; напечатать статью, непросмотрѣнную цензоромъ, было невозможно, потому что это вело за собой запрещеніе журнала; дѣло кончалось тѣмъ, что нумеръ газеты не могъ выйти въ срокъ; это раздражало подписчиковъ и вредило интересамъ редакціи, потому что запоздалый нумеръ не находилъ себѣ покупателей.

Чтобы сколько-нибудь помириться съ общественнымъ мнѣніемъ, правительство опять уничтожило предварительную цензуру 5-го ноября 1827 года; въ то же время палата депутатовъ была распущена, и либеральная партія рѣшительно восторжествовала на новыхъ выборахъ; попытки министерства подчинить выборы своему вліянію рѣшительно не удались и повели къ серьезнымъ схваткамъ между народомъ и жандармами; кое-гдѣ появились баррикады, и наконецъ 4-го января 1828 года министерство Виллеля пало. Съ нимъ вмѣстѣ пала цензура, которую Виллель снова хотѣлъ утвердить надъ періодическими изданіями. Клерикалы и ультраройлисты составили оппозицію противъ новаго министерства, во главѣ котораго стоялъ Мартиньякъ, опиравшійся на либеральную партію. Но Мартиньякъ продержался всего полтора года; его смѣнилъ князь Полиньякъ, и съ августа 1829 года между либеральной журналистикой и министерствомъ завязалась ожесточенная борьба.

Полиньякъ истощилъ всѣ возможныя средства, чтобы заставить замолчать ненавистную журналистику; процессы и строгія наказанія сыпались на писателей и редакторовъ за малѣйшую попытку отнестись критически къ дѣйствіямъ министерства, за фразы, написанныя безъ умысла и перетолкованныя обвинителями. Наконецъ 26-го іюля 1830 г. приказъ короля еще разъ возстановилъ цензуру и вмѣнилъ въ обязанность журналистамъ, какъ редакторамъ, такъ и писателямъ, испрашивать черезъ каждые три мѣсяца разрѣшеніе у правительства для изданія журнала и для писанія статей. Въ случаѣ неудовольствія со стороны правительства, журналъ не получаетъ разрѣшенія, и писатели теряютъ право писать. Нарушители этого правила подвергаются наказаніямъ; журналы конфискуются, типографіи запечатываются, станки и шрифтъ уносятся въ полицію или ломаются и приводятся въ негодность.

Содержатели типографій заперли свои мастерскія, наборщики и печатники очутились на улицѣ, безъ работы; коронные судьи объявили приказъ 25-го іюля незаконнымъ и противнымъ конституціи; президентъ Беллеймъ приказалъ продолжать печатаніе Journal de Commerce вопреки новымъ правиламъ; сорокъ пять извѣстныхъ писателей, сотрудники одиннадцати журналовъ, составили протестъ и за своими подписями напечатали его въ National и въ Temps; полиція ворвалась въ типографіи этихъ журналовъ, выломала двери, разбила станки, изорвала бумаги; работники пошли на драку; первая капля крови, пролитая полицейскими солдатами, привела въ неистовство собравшуюся толпу; свалка передъ дверьми типографіи перешла въ бунтъ; изъ бунта вышла революція, и черезъ три дня послѣ этого незначительнаго событія старшая линія Бурбоновъ лишилась престола.

Изъ всего этого запутаннаго перечня сухихъ и однообразныхъ фактовъ, которые я старался разсказать какъ можно короче, можно вывести очень простое заключеніе: правительство постоянно обращалось къ предварительной цензурѣ, какъ къ средству, имѣющему несомнѣнное свойство сдерживать строптивую часть литературы. Общественное мнѣніе постоянно къ этому послѣднему средству относилось съ непріязнью. Никакія судебныя преслѣдованія, никакіе процессы и наказанія не вызывали такого негодованія, какое обнаруживалось при введеніи цен-

зуры и часто тяжелымъ бременемъ падало на личности самихъ цензоровъ. Правительство постоянно тянуло на сторону предварительной цензуры, толковало въ такомъ смыслѣ букву хартіи и въ теченіе шестнадцати лѣтъ (1814—1830) семь разъ возстановляло и подновляло это учрежденіе. Общество постоянно предпочитало карательную систему и съ возрастающимъ раздраженіемъ подчинялось попыткамъ правительства.

Разладъ между правительствомъ и обществомъ поддерживался тѣмъ, что общество не имѣло возможности откровенно заявить свои желанія и обсудить свои потребности; разладъ этотъ повелъ къ печальному столкновенію и наконецъ разрѣшился кровопролитнымъ переворотомъ 1830 г.

IV.

При Людовикѣ-Филиппѣ.

Іюльская революція доставила престолъ герцогу Орлеанскому, который, превратившись въ короля Людовика-Филиппа, въ первые дни своего царствованія былъ поставленъ въ необходимость сообразоваться до нѣкоторой степени съ желаніями своего народа. Надо было показать виновникамъ іюльской революціи, что удаленіе Бурбоновъ произвело существенныя измѣненія въ политикѣ правительства и въ духѣ административныхъ распоряженій. Новая хартія предоставляетъ французамъ право обнародовать и печатать свои мысли, соображаясь съ государственными законами; цензура уничтожается на вѣчныя времена; преступленія и проступки, совершенныя путемъ печати, причисляются къ политическимъ преступленіямъ, и подобно послѣднимъ судятся судомъ присяжныхъ. Эти существенныя черты законодательства не были измѣнены во все время царствованія Людовика-Филиппа; цензура не возстановлялась, и судъ присяжныхъ попрежнему рѣшалъ процессы печати.

Нарушить эти два условія, въ которыхъ французы видѣли драгоцѣнныя гарантіи свободы мысли, казалось слишкомъ опаснымъ; примѣръ Карла X былъ памятенъ Людовику-Филиппу, и онъ не рѣшался идти по его слѣдамъ; но оставляя неприкосновенными внѣшнія формы, новое правительство вовсе не хотѣло, чтобы французы съ полной откровенностью сообщали другъ другу свои мысли и желанія въ журнальныхъ статьяхъ и политическихъ обозрѣніяхъ. Въ этихъ мысляхъ и желаніяхъ новое правительство постоянно встрѣчало вещи, не лестныя для его самолюбія и далеко не успокоительныя. Оно видѣло, что приверженцы республики, Наполеона и Бурбоновъ попрежнему держатся своего знамени и смотрятъ на орлеанскую династію, какъ на политическую партію, овладѣвшую на короткое время дѣлами правленія. Оно видѣло, что приверженцы Бурбоновъ опираются на принципъ законности и божественнаго права, на вѣковыя преданія королевской Франціи, что бонапартисты прельщаютъ націю блескомъ военной славы, и что республиканцы имѣютъ за себя надежды и симпатіи страждущихъ пролетаріевъ и тѣхъ людей, которые заботятся объ улучшеніи ихъ участи. Оно видѣло вмѣстѣ съ тѣмъ, что не могло выдвинуть противъ своихъ враговъ никакого принципа; у орлеанистовъ не было ни историческаго знамени, ни политическихъ убѣжденій; они не могли защищаться доводами, потому что самое сооруженіе престола Людовика-Филиппа, самое происхожденіе новой монархіи изъ іюльской революціи было громадной логической ошибкой со стороны представителей французской націи и громаднымъ проявленіемъ двоедушія со стороны Людовика-Филиппа. Герцогъ Орлеанскій жилъ въ ладу съ своими родственниками, Бурбонами, до той самой минуты, пока ихъ не выгнали изъ Франціи; въ то же самое время онъ поддерживалъ сношенія съ умѣренными предводителями оппозиціи, съ представителями богатой буржуазіи, съ людьми, подобными Казиміру Перрье и Жаку Лафиту; когда Карлъ X выѣхалъ изъ Парижа, тогда эти сношенія сдѣлались живѣе и оффиціальнѣе; богатая буржуазія рада была низверженію Бурбоновъ, начавшихъ стремиться къ абсолютизму, но въ то же время она боялась простого народа, и потому поторопилась остановить движеніе, какъ только оно опрокинуло престолъ Карла X. Богатая буржуазія поспѣшила объявить народу, что цѣль достигнута, и что желанное рѣшеніе великой соціальной задачи состоитъ именно въ томъ, чтобы на мѣсто Карла поставить Людовика-Филиппа. Очутившись такимъ образомъ во главѣ взволнованнаго народа, родственникъ Бурбоновъ почувствовалъ свое двусмысленное положеніе и понялъ, что двусмысленность этого положенія замѣчаютъ и другіе. Легитимисты считали его измѣнникомъ и похитителемъ престола, а республиканцы смотрѣли на него какъ на безполезное подставное лицо, содержаніе котораго дорого стоило націи. Людовику-Филиппу приходилось балансировать между этими двумя враждебными лагерями, не имѣя возможности помириться ни съ тѣмъ, ни съ другимъ. Чтобъ удовлетворить легитимистовъ, надо было воротить Бурбоновъ и присягнуть имъ въ вѣрности, а самому Людовику-Филиппу отправиться въ ссылку по приговору королевскаго ассизнаго суда; чтобы удовлетворить республиканцевъ, надо было отказаться отъ liste civile, отдать корону со всѣми брилліантами въ распоряженіе націи и удовольствоваться скромной ролью французскаго гражданина. Въ томъ и другомъ случаѣ Людовику-Филиппу предстояло выѣхать изъ тюильрійскаго дворца, а этого ему вовсе не хотѣлось. Конечно у него была возможность удержаться на престолѣ помимо всевозможныхъ по-

литическихъ партій, потому что всякая партія, какъ бы ни была она многочисленна, все-таки составляетъ въ общей массѣ народа очень незначительное меньшинство. Это меньшинство только тогда становится опаснымъ, когда ему начинаетъ сочувствовать равнодушная толпа, а эта равнодушная толпа только тогда выходитъ изъ своего равнодушія, когда она чувствуетъ дѣйствительное страданіе. Людовикъ-Филиппъ могъ, не обращая вниманія на ненависть партій, доставить своему народу матеріальное благосостояніе, заслужить его признательность благоразумными распоряженіями и упрочить свое шаткое господство.

Но такая задача была не по силамъ новому королю; человѣкъ, которому она была бы по силамъ, по всей вѣроятности съ самаго начала не принялъ бы той унизительно - двусмысленной роли, которую игралъ герцогъ Орлеанскій во время іюльской революціи. Людовикъ-Филиппъ предпочелъ держаться другого образа дѣйствій. Окруживши себя личными друзьями или людьми, связанными съ нимъ въ интересахъ, онъ сдѣлалъ свое правительство партіей и сталъ обращаться съ легитимистами и съ республиканцами, какъ съ опасными врагами. Крутыхъ мѣръ онъ боялся, но гдѣ можно было учинить притѣсненіе, не отходя отъ буквы закона, тамъ онъ не упускалъ удобнаго случая. Преслѣдуя своихъ заклятыхъ недоброжелателей, онъ постоянно создавалъ себѣ новыхъ враговъ, потому что очевидная непріязнь правительства къ разнороднымъ проявленіямъ свободной мысли, непріязнь, соединенная съ внѣшней осторожностью дѣйствій, возмущала всѣхъ честныхъ гражданъ Франціи, хотя бы эти граждане не имѣли никакихъ ясно обозначенныхъ симпатій ни къ изгнанной династіи Бурбоновъ, ни къ республиканскимъ формамъ правленія. Когда правительство преслѣдовало прессу — это приписывалось его недоброжелательству; когда оно оставляло ее въ покоѣ, тогда это приписывалось его робости; во всякомъ случаѣ, въ правительствѣ предполагались враждебныя намѣренія, и никто не чувствовалъ къ нему признательности, если оно, вслѣдствіе своего безсилія, не осуществляло ихъ на дѣлѣ. Извѣстный въ то время политическій писатель, членъ палаты депутатовъ, Корменинъ писалъ уже въ 1830 году, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ іюльскихъ событій: «Демократическіе журналы умрутъ. Противъ нихъ гремитъ гнѣвный голосъ министровъ, и этому голосу вторитъ эхо изъ Palais - Bourbon и изъ Luxembourg. Еще нѣсколько дней—и народная журналистика отживетъ свой вѣкъ». Если эти зловѣщія предсказанія, слышавшіяся почти тотчасъ послѣ воцаренія Людовика-Филиппа, не осуществились во всемъ своемъ объемѣ, то во всякомъ случаѣ прессѣ пришлось испытать много мелкихъ и крупныхъ передрягъ и притѣсненій.

Въ 1831 году правительство затѣяло нѣсколько процессовъ по дѣламъ печати, но судъ присяжныхъ сдѣлалъ свое дѣло какъ слѣдуетъ, и большая часть обвиненныхъ журналистовъ и литераторовъ были объявлены невиновными и освобождены отъ преслѣдованій. Впрочемъ, не смотря на безпристрастіе присяжныхъ, нѣкоторые журналы пострадали за излишнюю откровенность. Журналъ Révolution три раза былъ признанъ виновнымъ: во-первыхъ, за то, что заподозрилъ палату депутатовъ въ излишней покорности правительству, во-вторыхъ, за то, что пожелалъ обратиться къ народу и узнать, кого онъ захочетъ видѣть на престолѣ, въ-третьихъ, за то, что перепечаталъ изъ журнала National одну статью Карреля. За эту статью Карреля также потянули въ судъ, но случилось такъ, что судьи Карреля оправдали его, автора преслѣдуемой статьи, а судьи журнала Révolution подвергли этотъ журналъ отвѣтственности за простую перепечатку.

Это противорѣчіе между приговорами двухъ juri даетъ поводъ думать, что административное вліяніе можетъ прокрадываться въ самыя лучшія судебныя учрежденія, и что люди остаются слабыми смертными даже въ ту торжественную минуту, когда, украшенные титуломъ присяжныхъ, они произносятъ приговоръ надъ участью ближняго. Статья Карреля была вызвана распоряженіемъ министерства, рѣшившагося подвергнуть предварительному аресту журналистовъ и авторовъ тѣхъ статей, которыя были обвинены передъ судомъ.

Каррель, въ своемъ журналѣ National, протестовалъ противъ системы предварительныхъ арестовъ, объявилъ ихъ противозаконными и обѣщалъ сопротивляться открытой силой въ томъ случаѣ, еслибы правительство посягнуло безъ суда на его личную свободу. Эта статья Карреля была перепечатана въ двухъ журналахъ Mouvement и Révolution. Всѣ три журнала, National, Mouvement и Révolution, призваны къ суду; два первые оправданы, а послѣдній подвергнутъ взысканію.

Военное министерство черезъ одного изъ своихъ агентовъ, Жиске, закупило въ Англіи огромное количество ружей, которыя оказались никуда негодными. Это плачевное событіе надѣлало много шуму, и журналъ Tribune напечаталъ статью, въ которой самымъ спокойнымъ образомъ предлагался вопросъ: «правда ли, что гг. Казиміръ Перрье и Сультъ получили при закупкѣ ружей и суконъ больше милліона на свою долю?» Этотъ щекотливый вопросъ показался очень обиднымъ первому министру и маршалу Сульту; они пожаловались на непрошеннаго обличителя, и Мараста, главнаго редактора Tribune, призвали къ суду и признали виновнымъ въ обезславленіи правительственныхъ лицъ. Маростъ для своей защиты могъ только просить, чтобы

дѣло о закупкѣ ружей было подвергнуто тщательному изслѣдованію, но такого рода просьба конечно была оставлена безъ вниманія, потому что посадить въ тюрьму литератора и взять штрафъ съ журнала было легче и пріятнѣе, чѣмъ отдать подъ судъ двухъ министровъ. Впрочемъ Перрье и Сультъ также были обмануты въ своихъ ожиданіяхъ; они требовали себѣ за безчестье и за убытки 10,000 франковъ съ оскорбившаго ихъ журнала; судъ нашелъ это требованіе неумѣреннымъ и предложилъ имъ 25 франковъ. Неизвѣстно, на сколько удовлетворило ихъ подобное предложеніе.

Откровенно выраженныя мнѣнія объ особѣ короля всегда вели за собою процессы, которые постоянно кончались осужденіемъ обвиненныхъ. Не смотря на то, нерасположеніе общества и литературы къ правительству было такъ сильно, что нападенія на Людовика-Филиппа повторялись довольно часто. Журналъ Caricature нарисовалъ его портретъ въ смѣшномъ видѣ, Tribune разсмотрѣлъ критически его прошедшее, Gazette de France объявила, что французскій престолъ принадлежитъ Генриху V, а не Людовику-Филиппу, Gazette de France, Renovateur и Quotidienne обвинили короля, какъ соучастника въ умерщвленіи принца Конде, Charivari пустилъ въ ходъ каррикатуру короля, окруженную трупами съ подписью: «Олицетвореніе самой мягкой и человѣколюбивой системы». Всѣ эти журналы были осуждены и наказаны, но къ сожалѣнію благотворный примѣръ не подѣйствовалъ, а французскіе журналы оказались неисправимыми, несмотря на штрафы и тюремныя заключенія. Должно также замѣтить, что масса общества, въ большей части случаевъ, только тогда бросалась читать эти выходки и нападенія, когда онѣ вызывали противъ себя преслѣдованія, такъ что правительство своимъ вмѣшательствомъ постоянно содѣйствовало успѣху либеральныхъ періодическихъ изданій. Дѣйствительно, еслибы преслѣдованія со стороны правительства не усиливали подписки и продажи гонимыхъ журналовъ, то существованіе нѣкоторыхъ періодическихъ изданій во время царствованія Людовика-Филиппа оказалось бы фактомъ совершенно необъяснимымъ.

Журналъ Tribune въ теченіе четырехъ лѣтъ (1830—1834) выдержалъ сто два процесса; изъ нихъ онъ проигралъ семнадцать; вслѣдствіе этого онъ принужденъ былъ заплатить 120,000 франковъ штрафа и просидѣть въ тюрьмѣ, въ лицѣ своихъ редакторовъ, семнадцать лѣтъ. Восемь редакторовъ этого журнала принуждены были совокупными силами отбывать эту повинность, такъ что на каждаго изъ нихъ приходилось больше двухъ лѣтъ тюремнаго заключенія. Если принять въ соображеніе, что даже тѣ восемьдесятъ пять процессовъ, въ которыхъ журналъ Tribune былъ оправданъ, отнимали у подсудимыхъ много времени, вели за собою хлопоты и были сопряжены съ болѣе или менѣе значительными издержками; если взвѣсить далѣе, что при заключеніи въ тюрьму одного изъ редакторовъ журналъ разомъ лишался одной изъ своихъ дѣйствующихъ силъ, и что въ то время, о которомъ я говорю теперь, восемь редакторовъ сидѣли, сложа руки, въ разныхъ исправительныхъ заведеніяхъ; если взять въ разсчетъ огромный матеріальный подрывъ, который наносили фонду журнала штрафы, равнявшіеся въ своей совокупности 120,000 франкамъ, и если вспомнить, что при всемъ томъ журналъ Tribune продолжалъ выходить въ свѣтъ и изумлять правительство смѣлостью своихъ осужденій, то, дѣйствительно, надо будетъ отдать полную дань уваженія непоколебимой стойкости либеральной прессы. Эта стойкость была бы безплодной и нелѣпой тратой героизма, еслибы она не опиралась на сочувствіе умной и развитой публики; кромѣ того, такая стойкость была бы невозможна въ матеріальномъ отношеніи, еслибы публика не выражала своего сочувствія, подписываясь на преслѣдуемый журналъ и покупая на расхватъ тѣ нумера, за которые редакторовъ призывали къ суду и сажали подъ арестъ. У издателей не хватило бы ни денегъ для того, чтобы оплачивать штрафы, ни живыхъ силъ для того, чтобы ими замѣнять дѣятелей, выбывающихъ въ тюрьму. Не мѣшаетъ замѣтить, что штрафы, налагаемые на Tribune, были особенно крупны; сроки тюремныхъ заключеній были также очень значительны; такъ напримѣръ, за одну статью, обвинявшую палату депутатовъ въ продажности, отвѣтственный редакторъ былъ осужденъ на три года тюремнаго заключенія, и кромѣ того съ журнала взыскано 10,000 франковъ; въ другой разъ Tribune, разсказывая о пистолетномъ выстрѣлѣ, данномъ по королю, замѣтила, что это по всей вѣроятности полицейская комедія; смыслъ этихъ словъ былъ очевидно тотъ, что полиція, желая усилить въ глазахъ правительства свою собственную важность, подстрекаетъ легковѣрныхъ людей и затѣваетъ разныя смуты, для того, чтобы потомъ одерживать надъ ними легкія, но тѣмъ не менѣе блестящія побѣды. Правительство по какому-то необъяснимому процессу мысли приняло слова Tribune за оскорбленіе, нанесенное особѣ короля. Отвѣтственному редактору снова прописали годъ тюремнаго заключенія, а съ журнала взыскали штрафъ въ 24,000 франковъ.

Кромѣ штрафа и тюрьмы существовало еще одно довольно замысловатое наказаніе; когда какой-нибудь журналъ, давая отчетъ о судебныхъ преніяхъ, высказывалъ какія-нибудь замѣчанія, не нравившіяся тому или другому члену правительства, тогда недовольные предста-

вители власти обыкновенно обвиняли провинившійся журналъ въ невѣрности показаній и на нѣсколько времени отнимали у него право говорить о судебныхъ засѣданіяхъ; когда надъ журналомъ былъ произнесенъ такой приговоръ, тогда каждое, самое невинное слово, сказанное имъ о судебномъ дѣлѣ, раньше истеченія назначеннаго срока, считалось нарушеніемъ закона и преслѣдовалось, какъ проступокъ. Очень понятно, что наказанный журналъ терялъ часть своей занимательности, и что конкуренты легко могли переманить къ себѣ читающую публику. Вынужденное молчаніе о такомъ важномъ предметѣ, представлявшемъ постоянно живой и вѣчно современный интересъ, было чрезвычайно тяжело для живого и талантливаго журналиста. Журналъ Карреля, National, испыталъ эту горькую участь за то, что, по мнѣнію версальскаго ассизнаго суда, представилъ невѣрный отчетъ о дѣлѣ пистолетнаго выстрѣла; ему запретили въ продолженіе двухъ лѣтъ говорить о судебныхъ преніяхъ; Каррель не выдержалъ и къ 1834 году объявилъ правительству, что журналъ National прекращаетъ свое существованіе, и что открывается новый журналъ National de 1834; правительство конечно осталось равнодушно къ этой незначительной перемѣнѣ заглавія, и Каррель въ новомъ журналѣ своемъ началъ говорить о судебныхъ засѣданіяхъ, какъ будто бы прежняго приговора не существовало. Правительство выразило свое неудовольствіе, но такъ какъ законъ не предвидѣлъ этого случая, то Каррель оказался невиннымъ, и администрація принуждена была убѣдиться въ томъ, что мелкія преслѣдованія всегда вызываютъ со стороны притѣсняемыхъ мелкія хитрости и уловки.

Иногда заключеніе въ тюрьму и штрафъ соединялись еще съ потерей гражданскихъ правъ на извѣстный промежутокъ времени. Гражданскія права, отнимавшіяся такимъ образомъ у виновнаго, заключались въ слѣдующемъ: 1) право голоса на выборахъ; 2) право быть избираемымъ; 3) право быть назначеннымъ въ званіе присяжнаго или исполнять другія общественныя должности; 4) право носить оружіе; 5) право участвовать и подавать голосъ въ семейномъ совѣтѣ; 6) право быть опекуномъ или попечителемъ; 7) право быть экспертомъ или свидѣтелемъ въ актахъ; 8) право быть свидѣтелемъ въ судѣ. Депутатъ Кабе, редакторъ журнала Populaire, на два года былъ лишенъ гражданскихъ правъ за двѣ статьи, говорившія въ пользу республики и повѣствовавшія о преступленіяхъ коронованныхъ особъ противъ человѣчества. Кромѣ того его посадили на два года въ тюрьму, и журналъ заплатилъ значительный штрафъ. Возможность отнимать такимъ образомъ гражданскія права у писателя, обнаруживающаго предосудительный образъ мыслей, могла сдѣлаться опаснымъ оружіемъ въ рукахъ конституціоннаго правительства. Отстранить отъ выборовъ нѣсколько десятковъ умныхъ головъ значило лишить оппозицію нѣсколькихъ талантливыхъ бойцовъ и предводителей. Журналистика и адвокатура были для свободно-мыслящаго человѣка лучшими средствами заявить себя передъ публикой и пробить себѣ дорогу въ парламентъ, къ гражданской дѣятельности въ полномъ и обширномъ смыслѣ этого слова. Но журнальная извѣстность доставалась не легко, и лишеніе гражданскихъ правъ на нѣсколько лѣтъ передъ самыми выборами не разъ поражало людей, успѣвшихъ зарекомендовать себя статьями политическаго содержанія и сосредоточившихъ на себѣ надежды своихъ единомышленниковъ.

Когда журналъ обвинялся въ оскорбленіи палаты пэровъ или депутатовъ, тогда обвиненнаго призывали къ суду въ самую палату, и такимъ образомъ оскорбленное собраніе становилось судьей въ своемъ собственномъ дѣлѣ.

Въ апрѣлѣ 1834 года правительство напало на слѣдъ обширнаго республиканскаго заговора; арестованныя лица были отданы подъ судъ въ палату пэровъ; разсматривая это событіе, National замѣтилъ, что это распоряженіе правительства составляетъ нарушеніе конституціи, потому что, по закону 8 октября 1830 года, политическія преступленія подлежатъ производству въ ассизныхъ судахъ, а вовсе не въ палатѣ пэровъ. Почтенное собраніе, котораго судебная дѣятельность объявлялась такимъ образомъ незаконною, возмутилось и потребовало National къ суду въ ту самую палату, у которой этотъ журналъ, опираясь на букву хартіи, отнималъ право судить, какъ политическія преступленія вообще, такъ и преступленія, совершенныя путемъ печати въ особенности. Каррель, въ своей защитительной рѣчи, продолжалъ поддерживать идею своего журнала; перебралъ тѣ случаи, въ которыхъ палата пэровъ произносила несправедливые приговоры, и напомнилъ почтенному собранію казнь маршала Нея, называя ее *отвратительнымъ убійствомъ*. Эти слова возбудили волненіе; президентъ перебилъ оратора и приказалъ ему соразмѣрять выраженія съ достоинствомъ присутствующихъ особъ. Но тутъ оказалось, что слова Карреля находятъ себѣ сочувствіе въ членахъ собранія; одинъ изъ пэровъ, генералъ Эксельманъ, поднялся съ своего мѣста. «Я раздѣляю мнѣніе отвѣтчика», сказалъ онъ громко. «Да, осужденіе маршала Нея было юридическимъ убійствомъ. Я говорю это!» Оправданный такимъ образомъ голосомъ одного изъ судей, Каррель могъ продолжать свою защитительную рѣчь, но National тѣмъ не менѣе былъ признанъ виновнымъ, высидѣлъ два года въ тюрьмѣ и заплатилъ 10.000 франковъ штрафа.

Во время процесса апрѣльскихъ заговорщи-

ковъ, обвиненные выбрали себѣ защитниками нѣсколько лицъ, не принадлежавшихъ къ сословію адвокатовъ. Этимъ лицамъ правительство не позволяло видѣться съ ихъ будущими кліентами. Тогда эти лица напечатали въ двухъ журналахъ Tribune и Réformateur протестъ противъ этихъ распоряженій, отнимавшихъ у подсудимыхъ возможность говорить въ свое оправданіе то, что они считали наиболѣе убѣдительнымъ.

Вслѣдъ за этимъ протестомъ въ тѣхъ же журналахъ было помѣщено письмо къ подсудимымъ, написанное на ту же тему и подписанное двумя депутатами, Кормененомъ и Одри-де-Пюираво. Палата пэровъ нашла это письмо оскорбительнымъ для своего достоинства и потребовала къ суду Корменена и Пюираво. Въ палатѣ депутатовъ возникъ тогда вопросъ: давать ли своихъ членовъ въ обиду, или отказать требованію пэровъ. У Корменена и Пюираво потребовали предварительныхъ объясненій; Кормененъ объявилъ, что не подписывалъ никакого письма, а Пюираво сказалъ на-отрѣзъ, что никакихъ объясненій давать не желаетъ. Тогда, послѣ бурнаго засѣданія, было рѣшено предать депутата Пюираво въ руки пэровъ. Это рѣшеніе взволновало всю залу; поднялся шумъ, и нѣкоторые депутаты замѣтили, что съ трибуны журналистовъ раздавались крики и бранныя слова; предсѣдатель собранія приказалъ ихъ вывести; потомъ, когда черезъ нѣсколько минутъ въ залѣ возстановилась приличная тишина, президентъ пригласилъ ихъ занять прежнее мѣсто, но они отказались, и засѣданіе палаты закрылось. На дворѣ и на улицѣ произошли непріятныя объясненія и столкновенія между изгнанными журналистами и депутатами министерской партіи; на другой день журналы заговорили объ этихъ своеобразныхъ событіяхъ; Réformateur напечаталъ противъ депутатовъ статью подъ заглавіемъ: «assomeurs législatifs» (законодательные разбойники). Эта статья пришлась не по вкусу французскому парламенту: Réformateur былъ призванъ къ суду въ палату депутатовъ и поплатился за свой не совсѣмъ лестный отзывъ мѣсячнымъ заключеніемъ и штрафомъ въ 10.000 франковъ.

Легитимисты и республиканцы находились въ постоянной оппозиціи съ правительствомъ, но, сходясь между собою въ одномъ этомъ отрицательномъ пунктѣ, они діаметрально расходились во всѣхъ положительныхъ воззрѣніяхъ и стремленіяхъ. Взаимная непріязнь между этими двумя рѣзко разграниченными партіями обозначалась при каждомъ удобномъ случаѣ.

Однимъ изъ такихъ случаевъ была неудачная попытка вдовы герцога Беррійскаго возмутить населеніе Бретани противъ существующаго правительства. Герцогиня, высадившаяся во Франціи въ сопровожденіи нѣсколькихъ преданныхъ друзей, попалась въ плѣнъ; во время ея плѣна обнаружились симптомы болѣзненнаго разстройства, которые были приняты приставленными къ ней медиками за признаки беременности. Это извѣстіе мгновенно огласилось по всей Франціи и привело легитимистовъ въ сильное смущеніе. Не зная, какъ оправдать герцогиню, они вздумали утверждать, что орлеанисты и республиканцы клевещутъ на нее, съ цѣлью парализовать политическое вліяніе ея имени на массу французскаго населенія. Журналы легитимистовъ постоянно говорили о болѣзни герцогини, между тѣмъ какъ правительственные и либеральные органы постоянно называли эту болѣзнь ея настоящимъ именемъ. Дѣло не остановилось на одномъ различіи показаній. Легитимисты рѣшились во что бы то ни стало зажать ротъ обвинителямъ плѣнной герцогини и начали съ того, что послали вызовъ редактору одного либеральнаго журнала Corsaire. Узнавъ о грозныхъ приготовленіяхъ легитимистовъ, Tribune и National объявили рыцарямъ, рѣшившимся проливать свою кровь за честь герцогини Беррійской, что журналисты либеральной партіи не отказываются отъ выраженныхъ ими мнѣній и готовы довести дѣло до дуэли. Тогда двѣнадцать легитимистовъ прислали вызовъ въ контору National; Каррель выбралъ одного изъ нихъ, Ру-Лабори, и былъ опасно раненъ. Въ это время обмѣнъ вызововъ между враждебными журналами продолжался, но въ палатѣ депутатовъ легитимистъ Беррье объяснился отъ лица своей партіи съ представителемъ либеральной оппозиціи, Гарнье-Пажесомъ, и печальные раздоры между журналистами прекратились. Какъ извѣстно, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этихъ событій герцогиня дѣйствительно разрѣшилась отъ бремени, и тогда легитимисты съ изумленіемъ узнали о тайномъ бракѣ ея съ итальянскимъ дворяниномъ, графомъ Лукези-Пали. Оказалось, что весь рыцарскій жаръ ихъ былъ потраченъ даромъ.

Правительство Людовика-Филиппа чувствовало, что его ненавидятъ съ разныхъ сторонъ и по разнымъ побужденіямъ. Министерства возвышались и падали одно за другимъ, не удовлетворяя требованіямъ общества, не успѣвая разсѣять недовѣріе и постоянно встрѣчая въ палатѣ депутатовъ и въ журналистикѣ дѣятельную, даровитую и бдительную оппозицію. Между тѣмъ, случайныя событія, не имѣвшія никакой связи съ дѣйствіями этой оппозиціи, усиливали враждебныя отношенія правительства къ проявленіямъ свободной мысли. Въ короля стрѣляли чуть ли не каждый годъ; стрѣлковъ этихъ схватывали, судили обыкновеннымъ порядкомъ, и одна голова за другою скатывалась съ эшафота. Но этимъ дѣло не кончилось; король начиналъ ненавидѣть своихъ подданныхъ, начиналъ чув-

ствовать къ нимъ полное недовѣріе и за преступленія отдѣльныхъ лицъ мстилъ цѣлому королевству, усиливая административныя и юридическія притѣсненія. Людовикъ-Филиппъ не понималъ того, что открытая оппозиція, высказывающая свои мнѣнія съ парламентской трибуны или на столбцахъ либеральной газеты, по самой сущности своей не можетъ имѣть ничего общаго съ заговоромъ, съ покушеніемъ на жизнь правительственнаго лица или вообще съ такимъ предпріятіемъ, которое для своего успѣха требуетъ непроницаемой тайны. Вслѣдствіе этого каждый пистолетный выстрѣлъ, сдѣланный по королю, подавалъ поводъ къ такимъ правительственнымъ распоряженіямъ, которыя падали на невинную оппозицію и слѣдовательно увеличивали раздраженіе общества и литературы.

28-го іюля 1837 года итальянецъ Фіески выстрѣлилъ въ короля изъ цѣлой батареи ружей, прилаженныхъ въ окнѣ одного дома, мимо котораго проѣзжалъ Людовикъ-Филиппъ съ своей свитой. Свита пострадала, но король остался невредимъ; въ сентябрѣ того же года появились нѣкоторые дополнительные законы о печати, законы, которые конечно не облегчили положенія журналистики. Основныя черты прежняго законоположенія, освященныя буквою хартіи, остались нетронутыми, но масштабъ наказаній увеличился, и число стѣсненій и препятствій сдѣлалось значительнѣе.

Особенное вниманіе правительства было обращено на журналистику, какъ на средство возбуждать легковѣрныхъ людей къ разнымъ противозаконнымъ поступкамъ. Правительство думало, что журналисты только о томъ и хлопочутъ, какъ бы взбунтовать народъ, подослать тайнаго убійцу или сдѣлать какой-нибудь общественный скандалъ; потому оно прежде всего повторило законъ 17-го мая 1819 года, по которому человѣкъ, возбудившій другого къ совершенію преступленія, наказывается наравнѣ съ преступникомъ, если только возбужденіе повело за собой попытку; если же возбужденіе останется безъ всякихъ послѣдствій, тогда возбудитель, по закону 1819 года, наказывается заключеніемъ въ тюрьму отъ 3 мѣсяцевъ до 5 лѣтъ и штрафомъ отъ 50 до 6,000 франковъ.

Стало быть, къ какому бы важному преступленію вы ни подстрекали вашихъ слушателей или читателей, вы, по буквѣ закона 1819 года, должны были заплатить только 6,000 франковъ и просидѣть въ тюрьмѣ только 5 лѣтъ, въ томъ случаѣ, если слова ваши оставались безъ всякаго послѣдствія.

Эта статья закона, удовлетворявшая требованіямъ реставраціоннаго правительства, показалась чрезвычайно слабой человѣколюбивому правительству Людовика-Филиппа. Оказалось, что за возбужденіе къ особенно важнымъ преступленіямъ слѣдуетъ платить отъ 10,000 до 50,000 франковъ и высиживать въ крѣпости отъ 5 до 20 лѣтъ, опять-таки только въ томъ случаѣ, когда возбужденіе не произвело никакого вліянія.

Въ случаѣ оскорбленія общественной или религіозной нравственности, или въ случаѣ публичнаго заявленія мнѣній, несогласныхъ съ конституціей 1830 года, судилища, по закону 10-го сентября 1835 года, получили право, смотря по обстоятельствамъ, увеличивать вдвое высшую степень наказанія, назначеннаго прежними законами.

Во всѣхъ случаяхъ обезславленія, предусмотрѣнныхъ законами, допущены также, смотря по важности обстоятельствъ, удвоенныя наказанія.

Такимъ образомъ журналъ Tribune, заплатившій раньше этихъ законодательныхъ усовершенствованій 120,000 франковъ штрафа и высидѣвшій, въ лицѣ своихъ редакторовъ, 17 лѣтъ въ тюрьмѣ, могъ послѣ 1835 года разсчитывать, что въ слѣдующее пятилѣтіе ему придется истратить на штрафы отъ 300 до 400 тысячъ франковъ и высидѣть въ тюрьмѣ, по крайней мѣрѣ, лѣтъ 50. Тутъ конечно было трудно соблюсти строго-математическій разсчетъ; дѣло въ томъ, что за одни преступленія судилищамъ позволялось только удвоивать мѣру наказанія, а за другія, которыя правительство особенно близко принимало къ сердцу, maximum штрафа возвысился слишкомъ въ восемь разъ: вмѣсто 6,000 явилось 50,000 франковъ; а maximum тюремнаго заключенія увеличился вчетверо: вмѣсто 5 лѣтъ оказалось 20 лѣтъ, не говоря уже о томъ, что простая тюрьма замѣнилась крѣпостью. Еслибы каждое пятилѣтіе приносило съ собой такого рода законодательное усовершенствованіе, то можно было бы надѣяться, что со временемъ штрафной сборъ съ оппозиціонной журналистики составитъ одну изъ важнѣйшихъ статей дохода въ государственномъ бюджетѣ Франціи.

Законъ 10-го сентября запретилъ кромѣ того открывать публичныя подписки для вознагражденія штрафовъ и убытковъ, наложенныхъ судебными приговорами. Нарушеніе этой статьи подвергаетъ виновнаго штрафу, который въ важныхъ случаяхъ можетъ быть доведенъ до 5,000 франковъ, т. е. почти до той цифры, до которой, при Людовикѣ XVIII, доходилъ штрафъ за возбужденіе къ важнѣйшимъ государственнымъ преступленіямъ. Штрафъ конечно—самъ по себѣ, а тюрьма сама по себѣ; наибольшій срокъ въ этомъ случаѣ—одинъ годъ.

Если журналъ въ теченіе одного года два раза подвергается осужденію за преступленіе, то судилища имѣютъ право пріостанавливать изданіе на время до 4-хъ мѣсяцевъ. Значитъ, журналъ заплатитъ огромный штрафъ, потеряетъ года на два двоихъ редакторовъ, и всего этого,

по мнѣнію правительства, мало; къ двумъ наказаніямъ, поражающимъ личность и собственность, надо еще присоединить третье, прибавочное, парализирующее проявленіе идеи.

Такова та часть сентябрьскихъ законовъ, которая имѣетъ цѣлью запугать либеральную журналистику. Есть еще другая часть, стремящаяся къ тому, чтобы затруднить для большей части французскихъ гражданъ доступъ къ журнальной дѣятельности. Издатель ежедневной газеты долженъ былъ по сентябрьскимъ законамъ представить въ государственное казначейство залогъ въ 100,000 франковъ; газета, выходящая два раза въ недѣлю—75,000 франковъ; еженедѣльная газета—50,000 франковъ; журналъ, выходящій два или три раза въ мѣсяцъ—25,000 франковъ; журналы, выходящіе разъ въ мѣсяцъ, остаются по прежнему избавленными отъ залога. Отвѣтственный редакторъ каждаго журнала долженъ владѣть самъ, по крайней мѣрѣ, третьей частью залога. Если эта третья часть уменьшается вслѣдствіе частной сдѣлки или взысканнаго штрафа, тогда отвѣтственный редакторъ въ теченіе 16 дней обязанъ пополнить ее, или уступить свое мѣсто другому лицу; въ случаѣ неисполненія этого условія, изданіе останавливается. Если отвѣтственный редакторъ не подпишетъ одного нумера своего изданія, съ него взыскивается штрафъ до 3.000 франковъ. Если отвѣтственный редакторъ сидитъ въ тюрьмѣ, то на его мѣсто долженъ стать другой отвѣтственный редакторъ, удовлетворяющій всѣмъ вышепоказаннымъ требованіямъ закона. Если же такого лица не отыщется, то изданіе останавливается на все время тюремнаго заключенія отвѣтственнаго редактора.

Правительство требовало такимъ образомъ, чтобы каждый издатель ежедневной газеты былъ человѣкъ, обезпеченный въ денежномъ отношеніи. Надо было, чтобы онъ имѣлъ по крайней мѣрѣ 200.000 франковъ свободнаго капитала; половина этихъ денегъ должна была отправиться въ казначейство, а другая половина конечно была необходима для того, чтобы на первыхъ порахъ обезпечить изданіе, еще неизвѣстное читающей публикѣ. Образованный пролетарій, обладающій твердыми, сознанными и прочувствованными убѣжденіями, готовый за эти убѣжденія идти въ тюрьму и въ ссылку, не могъ, по сентябрьскимъ законамъ, являться отвѣтственнымъ лицомъ; чтобы быть отвѣтственнымъ редакторомъ ежедневной газеты, т. е. чтобы имѣть пріятную перспективу сидѣть въ тюрьмѣ за невинную фразу, перетолкованную обвинителями и судьями, надо было владѣть суммою въ 33,333$^1/_3$ франка. Какъ только изъ этой кабалистической суммы убывалъ одинъ франкъ, такъ отвѣтственный редакторъ долженъ былъ закладывать вещи, занимать деньги у друзей или родственниковъ и пополнять роковое число; въ противномъ случаѣ всѣ прежніе труды и пожертвованія пропадали даромъ; журналъ останавливался, а между тѣмъ событія шли, и несчастный редакторъ терпѣлъ казнь Тантала; онъ видѣлъ желанную пищу для своей критики, для своего анализа, а правительство зажимало ему ротъ и говорило: вноси деньги, плати за право думать, писать и печатать твои же мысли на твоей же бумагѣ.

Посидѣть въ тюрьмѣ мѣсяца два, три—не важность; человѣкъ, рѣшающійся посвятить свои силы журнальной дѣятельности, не могъ бояться подобнаго наказанія и отступать передъ такими ничтожными опасностями; но покуда редакторъ сидитъ въ тюрьмѣ, что̀ дѣлается съ журналомъ? Правительство велитъ закрыть его, если не найдется другого отвѣтственнаго редактора, имѣющаго за душою опредѣленные закономъ 33,333$^1/_3$ франка. А какое же значеніе и вліяніе можетъ имѣть журналъ, если онъ будетъ прерываться и по нѣсколько разъ въ годъ поневолѣ обманывать ожиданіе публики? Оказывается такимъ образомъ, что одинъ человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ богатъ, какъ бы онъ ни былъ готовъ жертвовать своей личностью и своимъ состояніемъ, не можетъ издавать ежедневную газету, пользующуюся сочувствіемъ публики. Необходимо, чтобы цѣлая ассоціація людей, любящихъ одну идею, соединила свои силы и капиталы; необходимо, чтобы выбывающія деньги пополнялись изъ фондовъ общества и чтобы выбывающіе дѣятели немедленно смѣнялись другими, готовыми въ свою очередь платить штрафы и сидѣть въ тюрьмѣ. Доведя законы о печати до послѣднихъ предѣловъ строгости, правительство надѣялось разорить въ конецъ журналы оппозиціи и довести либеральную прессу до состоянія вынужденнаго молчанія; разсчетъ оказался невѣрнымъ.

Нѣкоторыя демократическія изданія дѣйствительно погибли насильственной смертью, но издававшіе ихъ люди на бѣду остались живы, и, не смотря на отеческія увѣщанія правительства, не рѣшились сложить руки; потерявъ возможность поддерживать журналъ собственными силами, они протянули руки своимъ братьямъ по идеѣ, сблизились съ ними, несмотря на нѣкоторые оттѣнки въ образѣ мыслей, и заключили между собой тѣсный оборонительный союзъ противъ общаго притѣснителя. Такъ напр. Марастъ прекратилъ изданіе своей многострадальной Tribune, Луи-Бланъ закрылъ свой журналъ Bon sens, Кабе отказался отъ Populaire, и мало-по-малу вся оппозиціонная пресса сосредоточилась въ двухъ періодическихъ изданіяхъ—National и Réforme. Сознаніе общей опасности сблизило между собою всѣхъ радикаловъ и демократовъ, всѣхъ тѣхъ честныхъ дѣятелей, которые съ надеждой смотрѣли впередъ и ожи-

дали для націи лучшаго будущаго. Думая раздавить оппозицію, правительство оказало ей существенную услугу, заставило ее организоваться и окрѣпнуть; журналисты поняли, что время остроумныхъ выходокъ и язвительныхъ шутокъ прошло; они поняли, что публика съ безпокойствомъ смотритъ на положеніе страны и на распоряженія правительства, что она ждетъ отъ прессы серьезныхъ указаній и руководящихъ идей, вмѣсто того, чтобы по прежнему искать въ журналахъ удачныхъ выраженій и колкихъ намековъ. Факты начали говорить сами за себя; чтобы поддерживать и питать въ публикѣ господствующее настроеніе, достаточно было съ точки зрѣнія честнаго человѣка отдавать отчетъ о текущихъ явленіяхъ государственной жизни. Отраднаго было такъ мало, опасности надвигались со всѣхъ сторонъ въ такихъ явственно очерченныхъ фигурахъ, ошибки правительства и полный разладъ его съ общественнымъ мнѣніемъ націи были до такой степени очевидны, что только записные панегиристы, умышленно искажавшіе факты, извѣстные всѣмъ и каждому, разсыпали свою дешевую лесть въ министерскихъ журналахъ, расходившихся въ очень ограниченномъ количествѣ экземпляровъ. Преслѣдовать либеральную прессу за то, что она спокойно говорила правду, было невозможно; мудрено было найти такихъ присяжныхъ, которые, на глазахъ у цѣлой Франціи, рѣшились бы сознательно осудить невиновнаго или по убѣжденію признать виновнымъ человѣка за то, что онъ не лжетъ въ угоду тому или другому министру; что же касается до того, чтобы измѣнить форму судопроизводства, или вмѣсто судебныхъ преслѣдованій пустить въ ходъ противъ литературы административныя распоряженія, то правительство Людовика-Филиппа, при всемъ своемъ расположеніи къ подобнымъ мѣрамъ, находило ихъ слишкомъ опасными. Надо было, во что бы то ни стало, соблюдать приличія, чтобы не давать возможности представителямъ оппозиціи проводить опасныя параллели между дѣйствіями изгнанныхъ Бурбоновъ и властвующихъ Орлеановъ.

Послѣ 1835 года процессы и осужденія по дѣламъ печати становятся довольно рѣдки, но зато каждый ударъ, который правительство наносило оппозиціонной прессѣ, былъ такъ чувствителенъ, что пораженный журналъ рѣдко могъ оправиться и собраться съ силами. Но взыскивая штрафы, разсаживая писателей въ тюрьмы, закрывая журналы, правительство рубило головы лернейской гидры; головы эти выростали и размножались, не смотря ни на какія близорукія усилія: мысль не можетъ быть убита судебными приговорами; настроеніе умовъ, господствующее въ цѣлой націи, не есть выдумка двухъ или трехъ десятковъ пишущихъ людей, и не зависитъ ни отъ ихъ статей, ни отъ взгляда министерства на эти статьи. Періодическая литература, дошедшая до высшей степени своего процвѣтанія, можетъ быть только выраженіемъ этого господствующаго настроенія. Это выраженіе можно подавить или исказить, потому что—дѣло извѣстное: бумага терпитъ все, что вы на ней соблаговолите написать или напечатать. Но развѣ же подавить проявленіе мысли значитъ искоренить самую мысль? Даровитые представители французской журналистики, люди подобные Луи Блану, Марасту, Кабе, Ледрю-Ролленю, скоро поняли тактику правительства и нашли возможность говорить съ кругомъ своихъ читателей, не возбуждая противъ себя постоянныхъ преслѣдованій и не навлекая себѣ за каждую статью хлопотливыхъ и разорительныхъ процессовъ. То обстоятельство, что процессы по дѣламъ печати становятся рѣдкими послѣ 1835 г., никакъ не можетъ быть приписано ни прирашенію милосердія въ правительствѣ, ни цѣлебному дѣйствію сентябрьскихъ законовъ. Ни Людовикъ-Филиппъ, ни его министры—никогда не отличались великодушіемъ и до конца своего господства считали своими естественными врагами тѣхъ людей, которые, въ угоду правительству, не могли или не хотѣли отказаться отъ своихъ личныхъ убѣжденій. Французскіе журналисты съ своей стороны были слишкомъ закалены въ борьбѣ съ администраціей, чтобы испугаться октябрьскихъ законовъ и оставить свое знамя ради того, что возвысились штрафы и увеличились сроки тюремнаго заключенія. Правительство и журналистика просто поняли, что они тратятъ порохъ на холостые заряды; министры Людовика-Филиппа убѣдились въ томъ, что осужденіе цѣлой сотни литераторовъ не доставляетъ имъ самой незначительной побѣды въ парламентѣ и, возмущая общественное мнѣніе, ни на волосъ не увеличиваетъ ихъ политическаго могущества.

Министры сдѣлались равнодушнѣе къ тенденціямъ прессы, а пресса, въ лицѣ своихъ даровитѣйшихъ представителей, сдѣлалась серьезнѣе и направилась къ болѣе опредѣленной цѣли. Правительство и оппозиція стали другъ передъ другомъ, лицомъ къ лицу, и, отложивъ въ сторону мелкія схватки, завязали между собою борьбу на жизнь и на смерть. Консервативное начало, воплотившееся въ особѣ перваго министра Гизо, сосредоточило всѣ свои силы, и въ теченіе восьми лѣтъ (1840—1848) имѣло на своей сторонѣ большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ.

Прогрессисты разныхъ оттѣнковъ сходились между собой въ стремленіи произвести реформу въ механизмѣ выборовъ и въ самомъ составѣ парламента. Они хотѣли, чтобы вся масса націи или, по крайней мѣрѣ, значительная часть ея заявляла свои желанія на выборахъ и пользова-

лась правомъ подавать голосъ и назначать депутатовъ. Они хотѣли кромѣ того, чтобы палата депутатовъ была независима въ своихъ дѣйствіяхъ и чтобы правительство не имѣло возможности подкупать ея членовъ деньгами или теплыми мѣстами. Ослабить такимъ образомъ преобладаніе правительства въ парламентѣ—значило лишить его возможности проводить утѣснительные законы. Еслибы оппозиція успѣла сдѣлать палату депутатовъ дѣйствительнымъ выраженіемъ воли всей французской націи, тогда литература была бы навсегда ограждена отъ несправедливыхъ преслѣдованій; тогда всѣ честные граждане Франціи получили бы полную возможность пересматривать, оцѣнивать и обсуживать болячки общества и народа. За свободой мысли неминуемо и неизбѣжно послѣдовало бы обновленіе общественной жизни. Чтобы издавать хорошіе законы, необходимо было исправить самое законодательное орудіе, самое собраніе, которое принимало или отвергало проекты, представлявшіеся на его разсмотрѣніе. Очищеніе парламента отъ постороннихъ элементовъ, которыми запрудило его министерство, обновленіе и усиленіе связи между парламентомъ и живой частью націи должно было повести за собою самыя благотворныя и рѣшительныя измѣненія въ законодательствѣ и въ администраціи. Поэтому всѣ силы оппозиціи сосредоточивались на томъ, чтобы добиться избирательной и парламентской реформы; потребность реформы глубоко сознавалась или по крайней мѣрѣ чувствовалась всѣми классами общества: литераторы и журналисты находились въ ежедневныхъ сношеніяхъ съ депутатами оппозиціи, постоянно совѣщались съ ними, присутствовали вмѣстѣ съ ними на обѣдахъ, имѣвшихъ политическое значеніе, произносили рѣчи на этихъ застольныхъ митингахъ, и въ своихъ изданіяхъ постоянно поддерживали тѣ предложенія, въ пользу которыхъ депутаты оппозиціи говорили съ парламентской трибуны. Національная гвардія, составленная, какъ извѣстно, изъ городскихъ обывателей, желала реформы; учащаяся молодежь, имѣвшая доступъ въ политическіе кружки либеральной партіи, была проникнута стремленіемъ къ реформѣ; за реформу стояли ремесленники и пролетаріи. На сколько такое единодушное требованіе преобразованій было сознательно—это другой вопросъ. Навѣрное, три четверти тѣхъ людей, которые кричали «Vive la réforme!», не отдавали себѣ яснаго отчета въ неудобствахъ той правительственной комбинаціи, которую они хотѣли устранить, но всѣ они, увлекаясь общимъ теченіемъ идей и чувствуя себя нехорошо въ настоящемъ, желали отъ всей души новаго, лучшаго порядка вещей, хотя можетъ быть никто не могъ себѣ представить, какія бытовыя формы выработаетъ завтрашній день или будущій годъ.

Старый король и старый министръ не видали и не хотѣли видѣть этого броженія умовъ; они смотрѣли съ улыбкой презрѣнія на усилія парламентской оппозиціи и, имѣя за собою большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ, считали себя полновластными хозяевами страны. Открывая засѣданіе палаты депутатовъ въ началѣ 1848 года, Людовикъ-Филиппъ въ своей тронной рѣчи упомянулъ мимоходомъ о нѣкоторыхъ безпорядочныхъ проявленіяхъ «враждебныхъ или слѣпыхъ страстей»; бросая этотъ укоръ въ глаза оппозиціи, онъ показалъ публично, что считаетъ ее безсильной и ничтожной; оппозиція обратилась тогда къ націи, чтобы узнать ея мнѣніе, и нація отвѣтила ей февральской революціей, начавшейся при крикахъ «Vive la réforme! A bas Guizot».

Оппозиція въ парламентѣ и въ журналистикѣ слагалась изъ самыхъ разнородныхъ элементовъ. Партія Тьера и Одилона Барро, располагавшая журналами Siècle и Constitutionelle, стояла на чисто-конституціонной почвѣ, осуждала дѣйствія министерства и протестовала противъ попытокъ короля основать свое личное господство. Династію Людовика-Филиппа они считали священной и неприкосновенной; конституція 1830 г. казалась имъ удовлетворительной въ своихъ основныхъ чертахъ; предводители этой оппозиціи были не прочь отъ министерскаго портфеля и въ борьбѣ своей съ кабинетомъ Гизо руководствовались до нѣкоторой степени личными побужденіями. Крайняя лѣвая сторона палаты депутатовъ, или радикальная оппозиція, владѣвшая журналами National и Réforme, смотрѣла довольно равнодушно на парламентскую борьбу, мирилась съ конституціонною монархіей, какъ съ неизбѣжнымъ зломъ, и признавала ее только какъ переходную форму; она желала республики, надѣялась на инстинкты и силы народа, и за политическими реформами угадывала необходимость радикальныхъ бытовыхъ преобразованій. Болѣе умѣренные представители этой партіи, напр. Карно, Франсуа Араго, Гарнье-Паже, рѣшались дѣйствовать за-одно съ конституціоналистами и до поры до времени бороться на парламентской аренѣ; они видѣли впереди ближайшую цѣль—низверженіе консервативнаго министерства, и соединялись со всѣми противниками Гизо, не заботясь о томъ, какъ далеко идутъ стремленія ихъ временныхъ союзниковъ. Крайніе радикалы не хотѣли или не могли даже на время сблизиться съ приверженцами конституціонной монархіи; только одинъ членъ этого кружка, Ледрю-Ролленъ, засѣдалъ въ палатѣ депутатовъ; остальные исключительные радикалы примыкали къ комитету журнала Réforme и съ худо скрытымъ презрѣніемъ смотрѣли какъ на дѣйствія министерства, такъ и на усилія парламентской оппозиціи. Личности этихъ людей пользовались значительной попу-

лярностью; ихъ знали и любили парижскіе блузники, но журналъ Réforme повидимому не встрѣчалъ себѣ достаточнаго сочувствія въ читающихъ классахъ и истощался въ тяжелой борьбѣ съ издержками и процессами. 20-го февраля 1848 года, главный редакторъ этого журнала, Флоконъ, объявилъ членамъ комитета редакціи, что средства ихъ истощены и что онъ считаетъ необходимымъ закрыть изданіе до болѣе благопріятнаго времени. Предполагалось издать еще два или три нумера, описать въ нихъ демонстрацію, приготовленную на 22-е февраля, и покончить такимъ образомъ журналъ повѣствованіемъ о побѣдѣ прогрессивнаго начала. Чтобы выпустить въ свѣтъ нумера 22-го и 23-го февраля, редакція журнала Réforme была принуждена продать мебель изъ своей квартиры. Это бѣдственное положеніе радикальной газеты объясняется тѣмъ, что мнѣнія людей «реформы» шли слишкомъ далеко, такъ далеко, что за ними не могли слѣдовать методичные буржуа, боявшіеся за свои ренты и биржевыя спекуляціи. Большая часть журналовъ читалась и раскупалась буржуазіею; слѣдовательно періодическое изданіе, пугающее парижскихъ мѣщанъ яркостью своего знамени, не могло имѣть значительнаго успѣха, не смотря на извѣстность и популярность своихъ редакторовъ. При всемъ своемъ уваженіи къ личностямъ Флокона, Ледрю-Роллена, Луи-Блана, парижскіе ремесленники и поденщики не могли покупать и читать ихъ журнала, и только изрѣдка взглядывали на его столбцы, когда ожидалось особенно важное извѣстіе или обращеніе къ народу.

National выражалъ собою мнѣнія болѣе уступчивыхъ радикаловъ и на этомъ основаніи находилъ себѣ большее число подписчиковъ и покупателей.

Парламентское засѣданіе 1847 года кончилось совершеннымъ пораженіемъ оппозиціи; ни одно ея предложеніе не было принято, ни одно ея требованіе не было исполнено; авторитетъ министерства также поколебался во время этого засѣданія; возникъ рядъ скандальныхъ процессовъ, которыхъ совокупность доказала, что злоупотребленія проникли во всѣ отрасли администраціи и, не безъ вѣдома министровъ, пустили въ ней глубокіе корни. Финансы угрожали банкротствомъ; армія и флотъ страдали отъ дурного качества провизіи, на закупку которой тратились огромныя суммы; мелкіе и крупные чиновники грабили и обогащались; министры оставляли ихъ безнаказанными и не обращали вниманія на получаемые доносы; всѣ эти безпорядки выступили другъ за другомъ на свѣтъ и подали поводъ къ упорнымъ и ожесточеннымъ состязаніямъ въ палатѣ депутатовъ; оппозиція хотѣла взвалить всю отвѣтственность на министровъ, но большинство депутатовъ, связанныхъ съ членами кабинета интересами и личными отношеніями, отстояло Гизо и его товарищей; многія должностныя лица были осуждены и наказаны; даже трое министровъ, пострадавшихъ въ общественномъ мнѣніи отъ парламентскихъ дебатовъ, были принуждены выдти въ отставку; но Гизо и Дюшатель, стоявшіе фактически во главѣ администраціи и дававшіе ей тонъ и направленіе, остались первенствующими членами кабинета. Министерская пресса прославила побѣду правительства надъ враждебными и слѣпыми страстями, правительство порадовалось многочисленности своихъ приверженцевъ въ палатѣ депутатовъ, и засѣданія 1847 года закрылись, не измѣнивъ ни одной существенной черты во внѣшней и внутренней политикѣ кабинета, не подвинувъ ни на шагъ впередъ вопроса объ избирательной и парламентской реформѣ.

Оппозиція чувствовала необходимость опереться на желанія всей страны и необыденными мѣрами шевельнуть общественное мнѣніе, которое оставалось нечувствительнымъ къ парламентскимъ дебатамъ и къ газетнымъ статьямъ оппозиціонныхъ литераторовъ. Съ 9-го іюля 1847 г. начинается по всей Франціи рядъ обѣдовъ по подпискѣ; избиратели разныхъ департаментовъ приглашаютъ на эти обѣды депутатовъ, боровшихся въ парламентахъ за реформу; на этихъ обѣдахъ предлагаются тосты и произносятся рѣчи; журналисты даютъ своимъ читателямъ воодушевленныя описанія этихъ мирныхъ политическихъ манифестацій; депутаты оппозиціи переѣзжаютъ изъ города въ городъ, чтобы придти въ соприкосновеніе, обмѣняться мыслями со всѣми свѣжими людьми Франціи, и наконецъ въ Руанѣ, въ декабрѣ, былъ данъ послѣдній обѣдъ, на которомъ присутствовало 1800 человѣкъ и въ томъ числѣ двадцать депутатовъ. На первомъ обѣдѣ, происходившемъ въ Парижѣ, былъ предложенъ рядъ тостовъ, показывающій тогдашнее настроеніе умовъ: 1) За національное господство! 2) За революцію 1830 года! 3) За избирательную и парламентскую реформу! 4) За процвѣтаніе города! 5) За улучшеніе участи рабочаго класса! 6) За благоденствіе печати! 7) За депутатовъ оппозиціи и 8) въ честь центральнаго комитета избирателей Сены. Рѣчи, сопровождавшія собой эти тосты, были положительно враждебны политикѣ кабинета и при всей мягкости оффиціальныхъ выраженій обнаруживали глубоко вкоренившееся недовѣріе къ правительству Людовика-Филиппа. «Не будемъ сваливать на славную іюльскую революцію—говорилъ Одилонъ Барро, предводитель конституціонной оппозиціи—отвѣтственность за грѣхи теперешней политики. Постыдное зрѣлище, которое мы видимъ теперь, порождено управленіемъ, діаметрально противоположнымъ принципу этой ре-

волюціи, обманувшимъ ожиданія націи, нарушившимъ всѣ свои обѣщанія... Нарушенія законной свободы могутъ быть заглажены! Одинъ день побѣды общественнаго мнѣнія можетъ снести прочь всѣ ретроградныя мѣры, всѣ утѣснительныя распоряженія, которыми обременили эту страну... Но удары, нанесенные общественной нравственности, развращеніе должностныхъ лицъ, презрѣніе народа къ правительству и къ достаточнымъ классамъ общества, недовѣріе между сословіями—вотъ въ чемъ состоитъ общественное зло, и я считаю его непоправимымъ... Да, честь и слава іюльской революціи! Пусть ея великое знамя соберетъ насъ всѣхъ вокругъ себя, пусть передъ нимъ замолкнутъ мелочные раздоры личностей и словъ, ослабляющіе насъ въ виду общаго непріятеля, и пусть Франція, подъ этимъ славнымъ знаменемъ, довершитъ то, чего она не успѣла сдѣлать въ 1830 году!» Подобныя слова, произнесенныя такимъ человѣкомъ, который считалъ самого себя приверженцемъ царствующей династіи, и встрѣченныя дружными знаками сочувствія въ такомъ собраніи, которое вовсе не считало себя радикальнымъ, даютъ намъ понятіе о томъ, насколько тогдашнее общество было расположено подчиняться личному господству Людовика-Филиппа. Крайніе радикалы большею частью не произносили никакихъ рѣчей и даже въ большей части случаевъ не присутствовали на политическихъ обѣдахъ, находя, что ихъ время еще не пришло, и что общество врядъ ли будетъ расположено выслушать все то, что они желали ему высказать.

А что же дѣлала въ это время журналистика? Министерская пресса старалась осмѣять всѣ эти демонстраціи, пользовалась раздорами, случайно возникшими между различными партіями прогрессистовъ, преувеличивала эти раздоры и, при всемъ томъ, тратила на вѣтеръ свое остроуміе и глубокомысліе, потому что имѣла дѣло съ самымъ малочисленнымъ кругомъ читателей. Другіе журналы ограничивались вѣрной передачей фактовъ; они понимали, что въ эпохи усиленнаго политическаго волненія дѣятельность прессы усиливается, но роль ея становится второстепенной и зависимой. Самая умная и живая журнальная статья въ такое время блѣднѣетъ передъ совершающимся событіемъ, передъ произносимымъ словомъ, передъ дѣйствительной борьбой личностей и партій. Всѣ живыя силы страны устремляются къ той практической работѣ, въ которой заключается насущный интересъ минуты; всѣ живые люди становятся ораторами, борцами, гражданами; прессѣ остается только быть электрическимъ телеграфомъ, передающимъ всей странѣ съ возможной быстротой извѣстія о совершающихся событіяхъ. Политическое движеніе, подобное тому, которое овладѣло Франціей въ концѣ 1847 и которое продолжалось въ 1848 году, бываетъ плодомъ созрѣвшей мысли и долгихъ страданій; когда начинается такое движеніе, тогда уже поздно вырабатывать общественныя теоріи и управлять умами посредствомъ печатнаго слова; мыслители, теоретики, кабинетные критики общественной жизни, имѣвшіе можетъ быть рѣшительное вліяніе на формированіе убѣжденій въ молодомъ поколѣніи, теряютъ всякую силу надъ ходомъ событій, если не могутъ превратиться въ людей дѣла и заговорить съ массами языкомъ практической жизни или взволнованной страсти; изъ журналистовъ того времени многіе сдѣлались практическими дѣятелями, но они приняли участіе въ политическихъ событіяхъ, какъ отдѣльныя личности; они дѣйствовали живымъ словомъ и поступками, а не статьями. Когда вся страна въ тревогѣ ожидаетъ разрѣшенія надвинувшихся вопросовъ и недоразумѣній, тогда она ищетъ въ газетахъ и журналахъ голаго факта и не читаетъ личныхъ размышленій публициста. Умный журналистъ понимаетъ это и превращаетъ свои статьи въ подробные перечни, въ постоянно измѣняющіяся картины текущихъ событій, въ эскизы, не имѣющіе никакого значенія, кромѣ животрепещущей современности. Періодическая литература совершенно перестаетъ быть роскошью ума и становится дѣломъ жизни, превращается въ сборникъ необходимыхъ справокъ, воззваній, отчетовъ, извѣстій и указаній. Такую дѣловую литературу правительство не можетъ преслѣдовать, во-первыхъ, потому, что ему въ эти минуты не до литературы, во-вторыхъ потому, что литература перестаетъ быть самостоятельной, и, слѣдовательно, слагаетъ съ себя всякую отвѣтственность.

Встрѣтившись лицомъ къ лицу съ оппозиціей въ парламентѣ и въ общественномъ мнѣніи страны, испытавъ парламентскую борьбу во время засѣданія 1847 года и увидавъ длинный рядъ политическихъ демонстрацій, выразившихся во всѣхъ значительныхъ городахъ Франціи въ формѣ обѣдовъ съ тостами и рѣчами, правительство перестало обращать вниманіе на политическую прессу; оно увидѣло, что пропаганда пашла себѣ другіе пути, другіе способы, болѣе опасные по своей новизнѣ, по своей торжественности и по своему непосредственному дѣйствію на воображеніе. Оно рѣшилось положить конецъ этимъ манифестаціямъ и такимъ образомъ опять впало въ свою обычную ошибку. Стараясь помѣшать этимъ проявленіямъ общественной жизни, оно увеличило ихъ значеніе въ глазахъ массы; какъ только правительство рѣшилось принять мѣры противъ обѣда, замышлявшагося въ 12 округѣ Парижа, такъ общество употребило съ своей

стороны всѣ усилія, чтобы привести его въ исполненіе; правительство призвало къ себѣ на помощь законъ противъ сборищъ, общество съ своей стороны оперлось на право собранія (droit de réunion); правительство, въ лицѣ государственнаго канцлера Геберта, выразило мысль, что все то должно считаться запрещеннымъ, на что̀ законъ не даетъ положительнаго разрѣшенія, что нѣтъ другихъ правъ, кромѣ тѣхъ, которыя формально записаны въ хартіи.

— А право дышать? спросилъ тогда одинъ изъ депутатовъ. Завязалось преніе. Это замѣчательное преніе происходило въ палатѣ депутатовъ 7-го февраля 1848 года, вскорѣ послѣ открытія парламентскихъ засѣданій. Раздраженные стойкостью оппозиціи, министры, не смотря на свои лѣта, несмотря на свою политическую опытность, увлекались за предѣлы всякаго благоразумія, съ ожесточеніемъ поддерживали очевидныя нелѣпости и запальчивой рѣзкостью выраженій старались замѣнить недостатокъ состоятельныхъ доводовъ. Но люди оппозиціи не убѣждались софизмами и не боялись гнѣвныхъ восклицаній. Софизмы они разбивали силой діалектики, а на гнѣвныя восклицанія они отвѣчали рѣзко и рѣшительно. Пренія разгорались. Одилонъ Барро и Ледрю-Ролленъ разбивали теоріи Дюшателя и Геберта; Дюшатель и Гебертъ по нѣскольку разъ всходили на трибуну и въ рѣчахъ своихъ доходили до угрозы противъ членовъ оппозиціи. Наконецъ засѣданіе совершенно потеряло свой оффиціально приличный характеръ; со всѣхъ сторонъ полетѣли наперекрестъ страшныя возраженія, перемѣшанныя съ отрывочными возгласами негодованія.

— Они идутъ дальше реставраціи! крикнулъ Одилонъ Барро.

— Это контръ-революція! подхватилъ Гарнье-Паже.

— Ни Полиньякъ, ни Пейроне никогда не говорили такихъ вещей!

— Это просто ругательства! Это начало насилія!

Всѣ депутаты оппозиціи вскочили съ своихъ мѣстъ: поднялся шумъ, въ которомъ затерялись слова отдѣльныхъ членовъ.

Гебертъ, стоявшій на трибунѣ, закричалъ, что Одилонъ Барро оскорбляетъ его сравненіемъ съ министрами реставраціи; легитимисты, сидѣвшіе въ собраніи, въ свою очередь сочли себя обиженными этимъ выраженіемъ министра; словомъ, всѣ разнородныя и разноцвѣтныя политическія страсти, шевелившіяся въ палатѣ, вырвались наружу и разыгрались съ небывалой силой. Наконецъ Одилонъ Барро обратился къ Геберту, требовавшему отъ него объясненія: «Да, заговорилъ онъ, вы, министры популярной іюльской революціи, вы, люди, за которыхъ лилась кровь мучениковъ свободы, вы хотите отнять у насъ такое право, которое уважали и признавали министры реставраціи въ ту минуту, когда готовилось ея паденіе! Вотъ что̀ я говорю — и это фактъ, фактъ неопровержимый! Вы нарушаете то, что̀ уважалъ даже Полиньякъ!»

Собраніе пришло въ полное смятеніе; нѣкоторые члены потребовали, чтобы президентъ возстановилъ нарушенный порядокъ, но оказалось, что президента уже не было въ залѣ. Засѣданіе закрылось, и депутаты разошлись въ сильномъ волненіи. Газеты описали происшедшую сцену, и жители Парижа на другой же день съ недоумѣніемъ и съ негодованіемъ узнали о наступательныхъ дѣйствіяхъ министерства противъ оппозиціи. Даже министры увидали, что они зашли слишкомъ далеко. Вечеромъ 9-го февраля, Гизо получилъ отъ Дюшателя записку слѣдующаго содержанія:

«Засѣданіе произвело неблагопріятное впечатлѣніе. Гебертъ былъ подъ конецъ слишкомъ крутъ. Это—общее мнѣніе тѣхъ людей, которыхъ мнѣ случилось видѣть съ тѣхъ поръ. Надо успокоить палату. Мы прямо накликаемъ возмущеніе; впрочемъ я на этотъ случай принялъ мѣры».

По всему ходу парламентскихъ дебатовъ, по страстному характеру произносимыхъ рѣчей, по рѣзкости столкновеній между министерствомъ и оппозиціей и наконецъ по тому тревожному вниманію, съ которымъ парижане слѣдили за преніями, можно было сказать заранѣе, что дѣло не можетъ разрѣшиться парламентской борьбой. Гизо объявилъ рѣшительно, что ни на одинъ шагъ не отступитъ отъ строго-консервативной политики; большинство голосовъ въ палатѣ депутатовъ было постоянно на его сторонѣ; чтобы не тратить силъ на безплодныя декламаціи, оппозиціи было необходимо продолжать свои сношенія съ обществомъ, будить и поддерживать въ немъ стремленіе къ реформѣ, а между тѣмъ министерство хотѣло отрѣзать у нея путь мирной агитаціи и собиралось вмѣшательствомъ полицейской власти разстроивать политическіе обѣды. Оппозиція съ радостью ухватилась за эту ошибку министерства, которое такимъ образомъ давало ей поводъ на наглядномъ примѣрѣ, на живомъ фактѣ показать народу безцеремонное обращеніе правительства съ самыми простыми и необходимыми правами свободныхъ гражданъ конституціонной монархіи. Полицейскій чиновникъ долженъ былъ разогнать мирныхъ гражданъ, собравшихся въ обѣденную залу съ преступнымъ намѣреніемъ пообѣдать на свои деньги — это было бы зрѣлище въ высшей степени поучительное для жителей Парижа, и депутаты оппозиціи рѣшились дѣйствовать такъ, чтобы довести министерство до этой пріятной необходимости. Они не обратили никакого вниманія на слова Геберта и Дюшателя, и приго-

товленія къ обѣду 12 округа продолжались попрежнему. 14 февраля всѣ журналы оппозиціи напечатали слѣдующее категорическое объявленіе.

«Сегодня утромъ больше 100 депутатовъ, принадлежащихъ къ различнымъ частямъ оппозиціи, собрались для того, чтобы условиться на счетъ образа дѣйствій, котораго имъ слѣдуетъ держаться послѣ того, какъ палата утвердила послѣдній параграфъ адреса.

«Собраніе разсматривало сначала то политическое положеніе, въ которое оппозиція поставлена этимъ параграфомъ. Оно замѣтило, что адресъ въ настоящемъ своемъ видѣ—не что иное, какъ насильственное и дерзкое посягательство большинства на право меньшинства, и что министерство, подстрекнувшее свою партію къ такому неслыханному поступку, нарушило одинъ изъ самыхъ священныхъ принциповъ конституціи, оскорбило право гражданъ въ лицѣ ихъ представителей и, чтобы упрочить свое господство, бросило въ націю сѣмена раздора и безпорядка. Оппозиція думаетъ, что эти обстоятельства увеличиваютъ важность и торжественность ея обязанностей, и что среди тѣхъ событій, которыя волнуютъ Европу и занимаютъ Францію, она ни на одну минуту не должна оставлять борьбу за національные интересы. Оппозиція останется на своемъ мѣстѣ и постоянно будетъ контролировать и обуздывать реакціонную политику, возмущающую спокойствіе цѣлой страны.

«Что касается до права собранія гражданъ, до того права, которое министръ думаетъ подчинить своему благоусмотрѣнію и конфисковать въ свою пользу, то собраніе депутатовъ, убѣжденное въ томъ, что это право составляетъ необходимое условіе всякой свободной конституціи и кромѣ того формально утверждено нашими законами, рѣшилось отстаивать его всѣми легальными и конституціонными средствами; на этомъ основаніи собраніе назначило изъ себя коммисію для совѣщаній съ центральнымъ комитетомъ парижскихъ избирателей и для того, чтобы опредѣлить участіе депутатовъ въ томъ обѣдѣ, который готовится быть протестомъ противъ посягательствъ произвола.

«Это рѣшеніе не помѣшаетъ членамъ оппозиціи обратиться, для заявленія протеста, какъ къ сословію избирателей, такъ и къ общественному мнѣнію страны.

«Собраніе думаетъ также, что кабинетъ исказилъ истинный характеръ тронной рѣчи и адреса, чтобы оскорбить достоинство депутатовъ, и что, вслѣдствіе этого, оппозиція поставлена въ необходимость постоянно заявлять свое неодобреніе противъ такого злоупотребленія власти; поэтому она рѣшила единогласно, что ни одинъ изъ ея членовъ не будетъ присутствовать при подачѣ адреса, хотя бы даже на него упалъ жребій».

Этотъ подлинный документъ показываетъ намъ, какъ важны были вопросы, занимавшіе политическую прессу, и какъ смѣло и откровенно она къ нимъ относилась.

Это уже не памфлетъ противъ министерства, не сатирическая выходка противъ его распоряженій, а открытое и рѣшительное заявленіе неудовольствія, соединенное съ категорическимъ объясненіемъ того плана дѣйствій, который оппозиція предписываетъ себѣ на будущее время. Оппозиція была поставлена въ исключительное положеніе; палата депутатовъ въ отвѣтъ на тронную рѣчь короля, по обыкновенію, представила адресъ, въ которомъ выразились, въ общихъ чертахъ, намѣренія и убѣжденія представительнаго собранія или по крайней мѣрѣ его большинства. Я уже замѣтилъ, что въ тронной рѣчи короля заключались слѣдующія слова, направленныя противъ дѣйствій парламентской оппозиціи.

«Посреди волненія, возбужденнаго враждебными или слѣпыми страстями, меня воодушевляетъ и поддерживаетъ одно убѣжденіе: я увѣренъ, что въ конституціонной монархіи, въ единодушіи великихъ государственныхъ силъ, мы имѣемъ вѣрныя средства побѣдить всѣ препятствія и удовлетворить всѣмъ матеріальнымъ интересамъ нашего дорогого отечества». На эти слова короля палата отвѣчала въ своемъ адресѣ: «Волненія, возбуждаемыя враждебными страстями и слѣпыми увлеченіями, утихнутъ передъ общественнымъ сознаніемъ, просвѣщеннымъ нашими свободными преніями». Такимъ образомъ король указывалъ на людей оппозиціи, какъ на представителей «слѣпыхъ и враждебныхъ страстей»; а палата выдавала своихъ товарищей, какъ людей, одержимыхъ слѣпыми увлеченіями и враждебными страстями; политическія убѣжденія, высказываемыя публично съ парламентской трибуны, предавались такимъ образомъ на общественное осужденіе; два оффиціальные документа, тронная рѣчь короля и адресъ палаты депутатовъ, т. е. голосъ центральной власти и голосъ представителей націи, называли эти политическія убѣжденія преступными и опасными для общественнаго спокойствія; члены оппозиціи видѣли, что парламентское большинство давитъ и унижаетъ ихъ, увлекаясь въ своей побѣдѣ за предѣлы той политической умѣренности, которую предписываютъ самыя обыкновенныя приличія. Имъ оставалось только, когда выписанныя мною слова адреса были утверждены большинствомъ голосовъ, или признать себя побѣжденными и выдти въ отставку, или, обращаясь къ націи, спросить у нея, дѣйствительно ли она сочувствуетъ поступкамъ своихъ такъ называемыхъ представителей. Марастъ, редакторъ журнала National, предлагалъ депутатамъ оппозиціи пойти по первому пути, т. е. оставить палату всею массой и такимъ

образомъ подать поводъ къ новымъ выборамъ. Это мнѣніе не было принято на томъ основаніи, что новые выборы могли быть выгодны для министерства и что классъ избирателей въ своихъ мнѣніяхъ можетъ расходиться съ мнѣніями и потребностями націи. Поэтому оппозиція рѣшилась оставаться въ парламентѣ до послѣдней крайности, заявлять свое несочувствіе къ административнымъ распоряженіямъ при всякомъ удобномъ случаѣ и продолжать мирную агитацію всѣми законными средствами, не обращая никакого вниманія на репрессивныя мѣры министерскаго произвола. Борьба была начата, и выписанная мною декларація, появившаяся 14-го февраля въ журналахъ оппозиціи, можетъ быть названа публичнымъ и торжественнымъ объявленіемъ войны между прогрессивной оппозиціей и упорно-консервативнымъ министерствомъ Гизо.

Рѣшено было устроить по подпискѣ обѣдъ на 1,000 человѣкъ, отправить къ сборному мѣсту процессію, не позволять себѣ во время шествія по улицамъ никакого возбуждающаго крика, потомъ за обѣдомъ предложить тосты за право собранія и за парламентскую реформу и наконецъ разойтись въ совершенномъ порядкѣ, не нарушая ничѣмъ спокойствія города и не давая полиціи никакого повода вмѣшиваться въ эту гражданскую демонстрацію.

18-го февраля коммисія, составленная изъ трехъ депутатовъ, трехъ членовъ центральнаго комитета и трехъ членовъ комитета 12 округа, опредѣлила всѣ подробности будущаго обѣда и назначила день—вторникъ, 22-го февраля.

19-го февраля депутаты оппозиціи собрались еще разъ, взвѣсили свое положеніе, обсудили свои обязанности въ отношеніи къ своимъ избирателямъ и къ французской націи, разочли возможныя послѣдствія предположенной демонстраціи и опредѣлили окончательно свой образъ дѣйствій на ближайшее будущее время.

20-го февраля всѣ журналы оппозиціи напечатали статью, извѣщавшую читателей о результатахъ сходки 19-го февраля; въ этой статьѣ было сказано, что депутаты рѣшились протестовать «великимъ актомъ легальнаго сопротивленія противъ мѣры, нарушающей принципы конституціи и самую букву закона». Этотъ актъ легальнаго сопротивленія будетъ состоять въ томъ, что 22-го февраля всѣ члены оппозиціи массою отправятся къ мѣсту, назначенному для обѣда. «Парижъ, говоритъ дальше эта статья, часто предпринимаетъ героическія усилія и производитъ великія революціи. Ему предстоитъ теперь дать народамъ другой примѣръ; ему предстоитъ показать, что въ свободныхъ странахъ спокойствіе и твердость гражданина, уважающаго законъ и защищающаго свое право, составляютъ самую непобѣдимую и самую величественную силу націи». Далѣе, «депутаты разсчитываютъ слѣдовательно на сочувствіе и на содѣйствіе всѣхъ добрыхъ гражданъ, которые съ своей стороны могутъ разсчитывать на неутомимую преданность и непоколебимую рѣшимость депутатовъ». Наконецъ статья эта объявляетъ, что уже 80 депутатовъ подписали приглашеніе коммисаровъ 12 округа.

Министры, выражавшіеся такъ рѣзко противъ права собранія, были поставлены въ затруднительное положеніе. Допустить обѣдъ 22 февраля — значило признать себя побѣжденными; помѣшать ему—было опасно: полицію могли не послушать, и дѣло могло дойти до вмѣшательства войска и до серьезнаго кровопролитія. Король, Гизо и Гебертъ не отступали передъ этими крайними мѣрами; они полагали, что легкая побѣда надъ уличнымъ мятежемъ упрочитъ господство консервативной политики и окончательно сломитъ и разсѣетъ элементы оппозиціи какъ въ парламентѣ, такъ и въ народѣ вообще. Дюшатель и другіе члены кабинета не хотѣли доводить дѣло до драки и готовы были помириться съ оппозиціей на взаимныхъ уступкахъ. Послѣднее мнѣніе превозмогло, и министерство назначило двухъ преданныхъ депутатовъ, чтобы уладить дѣло переговорами; оппозиція согласилась на нѣкоторыя уступки, и послѣ долгихъ совѣщаній обѣ стороны сошлись на слѣдующей программѣ дѣйствій. Рѣшено было, что депутаты и вся сопровождающая ихъ толпа дойдетъ до назначеннаго мѣста, не нарушая спокойствія города; у дверей залы ихъ встрѣтитъ полицейскій коммисаръ, который именемъ закона запретитъ имъ входить; члены процессіи войдутъ, не смотря на запрещеніе, и займутъ свои мѣста. Коммисаръ на мѣстѣ засвидѣтельствуетъ нарушеніе, потребуетъ, чтобы собраніе разошлось, и скажетъ, что въ случаѣ надобности онъ употребитъ силу. Одилонъ Барро произнесетъ рѣчь противъ злоупотребленія власти, объяснитъ цѣль всей демонстраціи и объявитъ наконецъ, что онъ покоряется силѣ и оставляетъ за собой право повести дѣло судебнымъ порядкомъ; тогда депутаты разойдутся и употребятъ свое вліяніе, чтобы убѣдить толпу разойтись безъ шума. Правительство поддержало бы такимъ образомъ свое достоинство, а оппозиція показала бы съ своей стороны свое значеніе, потому что по ея призыву граждане всѣхъ сословій произвели бы мирную демонстрацію. Это я говорю, становясь на точку зрѣнія правительства и парламентскихъ доктринеровъ; конечно можно было бы замѣтить, что и тѣ, и другіе хлопочутъ изъ-за пустяковъ и гонятся за пустыми формальностями. Допуская процессію, правительство все-таки обнаруживало свою слабость; соглашаясь разойтись по требованію полицейскаго коммисара, депутаты оппозиціи все таки фактически

отказывались отъ права собранія и уходили домой безъ обѣда. Стало быть, это замысловатое примиреніе оставляло обѣ стороны неудовлетворенными; можно было предвидѣть заранѣе, что это примиреніе не состоится, что оно будетъ нарушено одною изъ примиряющихся сторонъ, или, всего вѣрнѣе, что народъ своимъ простымъ здравымъ смысломъ не захочетъ понять хитрой казуистики парламентскихъ юристовъ. Правительство и оппозиція оказывались очень недальновидными, не смотря на всю тонкость ума и на всю политическую опытность своихъ представителей. Предпринимая рѣшительный шагъ, ни правительство, ни оппозиція не понимали его значенія; они вѣрили въ возможность полумѣръ и не знали того, что народъ, рѣшившійся защищать то, что онъ считаетъ своимъ правомъ, не остановится передъ запрещеніемъ полицейскаго коммисара и не обратитъ особеннаго вниманія на умѣренно-либеральныя рѣчи краснорѣчиваго депутата. Впрочемъ соглашеніе между правительствомъ и оппозиціей было нарушено даже безъ вмѣшательства народа. Опираясь на состоявшееся условіе, Марастъ, отъ имени всей оппозиціи, написалъ слѣдующее объявленіе, которое 21-го февраля было помѣщено во всѣхъ журналахъ оппозиціи. Я привожу его вполнѣ, потому что оно имѣло очень важныя послѣдствія.

«Генеральная коммисія, занимающаяся устройствомъ обѣда 12-го округа, считаетъ своею обязанностью напомнить, что демонстрація, назначенная на завтрашній день, во вторникъ, клонится къ тому, чтобы мирнымъ и легальнымъ путемъ отстоять конституціонное право политическихъ собраній, право, безъ котораго представительное правленіе было бы простой насмѣшкой.

«Министерство объявило и утверждало съ трибуны, что пользованіе этимъ правомъ зависитъ отъ благоусмотрѣнія полиціи; тогда депутаты оппозиціи, французскіе пэры, отставные депутаты, члены генеральнаго совѣта, судьи, офицеры, унтеръ-офицеры и солдаты національной гвардіи, члены центральнаго комитета, избиратели оппозиціи, редакторы парижскихъ журналовъ приняли сдѣланное имъ приглашеніе участвовать въ манифестаціи, чтобы во имя закона протестовать противъ незаконнаго и произвольнаго посягательства.

«Можно предвидѣть, что этотъ публичный протестъ привлечетъ значительное стеченіе гражданъ; должно также преполагать, что парижская національная гвардія, вѣрная исполненію своихъ гражданскихъ обязанностей, присоединится къ манифестаціи, чтобы отстаивать свободу и своимъ присутствіемъ поддерживать порядокъ. Принимая въ соображеніе эти обстоятельства, мы считаемъ не лишнимъ сдѣлать нѣкоторыя распоряженія для избѣжанія толкотни и шума.

«Коммисія полагаетъ, что манифестація должна происходить въ такой части города, въ которой ширина улицъ и площадей позволитъ жителямъ собраться, не производя тѣсноты.

«На этомъ основаніи, коммисія проситъ депутатовъ, пэровъ и другихъ особъ, приглашенныхъ на обѣдъ, собраться завтра, въ одиннадцать часовъ, на обыкновенное сборное мѣсто парламентской оппозиціи, на площади Магдалины, № 2.

«Члены національной гвардіи, подписавшіеся на обѣдъ, приглашаются собраться передъ церковью Магдалины и образовать два параллельные ряда, между которыми разстановятся приглашенные.

«Во главѣ шествія будутъ находиться старшіе офицеры національной гвардіи, которые захотятъ присоединиться къ манифестаціи.

«За приглашенными и подписчиками будетъ находиться рядъ офицеровъ національной гвардіи.

«За ними построятся колоннами солдаты національной гвардіи, по нумерамъ своихъ легіоновъ.

«Между третьей и четвертой колонною—молодые люди училищъ, подъ предводительствомъ своихъ коммисаровъ.

«Далѣе—остальная часть національной гвардіи, въ означенномъ порядкѣ.

«Шествіе двинется съ мѣста въ $11^1/_2$ часовъ и направится черезъ площадь Согласія и черезъ Елисейскія поля къ мѣсту обѣда.

«Коммисія убѣждена въ томъ, что эта манифестація будетъ тѣмъ дѣйствительнѣе, чѣмъ она будетъ спокойнѣе; тѣмъ величественнѣе, чѣмъ болѣе она будетъ избѣгать повода къ столкновеніямъ; поэтому она проситъ гражданъ не позволять себѣ громкихъ возгласовъ, не брать никакого знамени или внѣшняго знака; она проситъ членовъ національной гвардіи явиться безъ оружія: тутъ дѣло идетъ о легальномъ и мирномъ протестѣ, котораго сила будетъ состоять въ количествѣ гражданъ, въ ихъ твердой и спокойной осанкѣ.

«Коммисія надѣется, что въ этомъ случаѣ каждый присутствующій человѣкъ будетъ смотрѣть на себя, какъ на должностное лицо, обязанное охранять общественное спокойствіе; она надѣется на національную гвардію, она надѣется на чувства парижскаго населенія, которое стремится къ общественному спокойствію и къ свободѣ, и которое знаетъ, что для поддержанія своихъ правъ ему стоитъ только предпринять мирную демонстрацію, достойную разумной и просвѣщенной націи, сознающей неотразимое вліяніе своей нравственной силы и увѣренной въ томъ, что легальное и спокойное выраженіе мнѣній поведетъ ее къ желанной цѣли».

Эта прокламація вовсе не замѣчательна въ

литературномъ отношеніи; она представляетъ голую программу церемоніала, но самая оффиціальность изложенія составляетъ очень характерную особенность. Коммисія относится къ жителямъ Парижа съ полной увѣренностью найти въ нихъ рѣшительное сочувствіе; она созываетъ національную гвардію, предвидитъ неизбѣжность огромнаго стеченія народа и считаетъ необходимымъ умѣрять своими совѣтами раздраженіе гражданъ. Очевидно, что эта коммисія въ данную минуту считаетъ себя сильнѣе министерства Гизо; очевидно, что она чувствуетъ за собой поддержку общественнаго мнѣнія, которое окончательно измѣняетъ правительству; очевидно, что de facto временное правительство, водворившееся послѣ событій 24-го февраля, уже теперь, со времени изданія этой прокламаціи, начинаетъ вытѣснять Людовика-Филиппа и его министровъ. По буквѣ законовъ 1835 года, напечатаніе подобной статьи было преступленіемъ и вело за собой штрафъ и тюрьму; судьи могли даже взглянуть на эту статью, какъ на возбужденіе къ возстанію противъ правительства; еслибы манифестація 23-го февраля дѣйствительно состоялась, то они могли по буквѣ закона присудить редакторовъ оппозиціонныхъ журналовъ къ тѣмъ наказаніямъ, которыя постигли бы главныхъ предводителей возмущенія. Дѣйствительно, еслибы правительство Людовика-Филиппа силой задавило возмущеніе, возникшее изъ манифестаціи, то оно, по всей вѣроятности, поступило бы съ захваченными и причастными лицами безъ малѣйшаго милосердія. Стоитъ только припомнить тотъ фактъ, что правительство, послѣ возмущенія, случившагося на похоронахъ генерала Ламарка, приказало всѣмъ медикамъ доносить въ полицію о тѣхъ раненыхъ, которые обратятся къ нимъ за медицинской помощью. Очень ясно, что, задавивъ мятежъ, правительство Людовика-Филиппа не упустило бы случая прижать оппозиціонную прессу и припомнило бы всѣ тѣ статьи закона, которыми можно было воспользоваться; но теперь, въ ту минуту, когда выписанная мною прокламація появилась въ газетахъ оппозиціи, правительству было не до прессы. Прежде всего надо было бороться съ самой мыслью, а уже потомъ можно было наказывать ея орудія и проявленія. Министерству необходимо было помѣшать манифестаціи; оно рѣшилось сражаться тѣмъ же оружіемъ, которое было употреблено оппозиціей; оно пустило въ ходъ печатную гласность и помѣстило въ Монитерѣ прокламацію префекта полиціи къ жителямъ Парижа; эта прокламація требовала отъ всѣхъ добрыхъ гражданъ, чтобы они не присоединялись къ толпѣ, не составляли сборищъ и вообще не обращали вниманія на происки оппозиціи. Парижане видѣли такимъ образомъ, что имъ съ двухъ разныхъ сторонъ даютъ діаметрально противоположныя наставленія; во всякомъ случаѣ, они были мало расположены вѣрить на слово префекту полиціи; имя этого почтеннаго чиновника составляло очень слабый противовѣсъ тѣмъ любимымъ именамъ, которыя украшали собой парламентскую оппозицію.

Правительство имѣло въ виду это настроеніе добрыхъ гражданъ и принимало свои мѣры, т. е., разставляло вооруженные отряды возлѣ сборнаго мѣста и приказывало своимъ агентамъ съ депутатами обращаться почтительно, а добрыхъ гражданъ въ случаѣ надобности разогнать силою. Слѣдующія затѣмъ событія совершенно выходятъ изъ тѣхъ рамокъ, которыя я предположилъ себѣ для моихъ очерковъ. Оказалось, что прокламація оппозиціи подѣйствовала такъ сильно, что ни предостереженія правительства, ни отступленіе депутатовъ отъ первоначальнаго плана не остановили движенія народа; увидя, что въ рѣшительную минуту депутаты пускаются опять въ юридическую аргументацію, народъ порѣшилъ, что они просто струсили, и сталъ дѣйствовать помимо ихъ, безъ особенной системы, но съ значительной дозой энергіи. Когда народъ сошелся на улицахъ безъ руководителей, тогда мирная манифестація скоро потеряла тотъ методически-величественный характеръ, которымъ заранѣе любовалась прокламація коммисіи; кровопролитіе началось 22-го февраля, потомъ съ нѣкоторыми перерывами продолжалось 23-го, потомъ окончилось 24-го паденіемъ монархіи и изгнаніемъ орлеанской династіи.

Постараюсь бросить бѣглый взглядъ на положеніе печати при Людовикѣ-Филиппѣ и на отношеніе іюльской монархіи къ проявленіямъ свободной мысли. Сначала мы видимъ пышныя обѣщанія; вступая на престолъ, герцогъ Орлеанскій говоритъ, что больше не будетъ процессовъ по дѣламъ печати; потомъ король Людовикъ-Филиппъ усаживается покрѣпче на своемъ недавно воздвигнутомъ тронѣ; укрѣпившись, онъ измѣняетъ мало-по-малу свою внѣшнюю и внутреннюю политику; измѣнивъ принципамъ іюльскихъ дней, онъ начинаетъ выслушивать съ неудовольствіемъ откровенные совѣты и строгія указанія либеральной прессы; министры начинаютъ обижаться еще чаще и еще сильнѣе самого короля; начинаются преслѣдованія, потомъ, запуганное попытками отдѣльныхъ личностей убить короля, правительство усиливаетъ строгость самаго законодательства; потомъ оказывается, что законы такъ строги, что ихъ нельзя даже примѣнять во всемъ ихъ объемѣ, не возмущая общественнаго мнѣнія страны; потомъ оказывается, что раздраженіе націи такъ сильно, что оно не можетъ уже выражаться только въ печати; начинается упорная борьба въ парламентѣ, и печать дѣлается

орудіемъ систематически-организованной оппозиціи; потомъ палата депутатовъ въ свою очередь становится слишкомъ узкой ареной для ожесточенной борьбы между устарѣлымъ правительствомъ и живыми силами энергической націи; начинается сильное броженіе умовъ, подготовленное вліяніемъ обстоятельствъ, поддержанное ошибками и неспособностью правительства, направленное къ извѣстной цѣли умными и опытными вождями парламентской оппозиціи; наконецъ сами вожди оппозиціи теряютъ власть надъ раздраженнымъ народомъ, и кратковременная, ожесточенная междоусобная война въ улицахъ Парижа уничтожаетъ монархію Людовика-Филиппа.

Карлъ X потерялъ престолъ отъ того, что хотѣлъ произвольно отнять у народа право свободно мыслить и громко выражать свои идеи. Наученный примѣромъ своего родственника, Людовикъ-Филиппъ рѣшился дѣйствовать хитрѣе: онъ не отнималъ существующихъ правъ неожиданнымъ указомъ; онъ хотѣлъ постепенно подкопать ихъ мелкими ухищреніями; онъ хотѣлъ медленно задушить ихъ постоянно усиливающимся давленіемъ, — но и эта штука не удалась.

Пораженный грубымъ поступкомъ Карла X, народъ поднялся вдругъ, тотчасъ послѣ изданія знаменитыхъ ордонансовъ; постоянно раздражаемый мелкими притѣсненіями и постоянной неискренностью Людовика-Филиппа, народъ постепенно сознавалъ несостоятельность своего правительства и мало-по-малу накоплялъ противъ него ненависть и презрѣніе. Въ концѣ-концовъ результатъ вышелъ одинъ и тотъ же, и Людовикъ-Филиппъ собственнымъ печальнымъ опытомъ убѣдился въ томъ, что во Франціи гнетъ всегда ведетъ за собой взрывъ, и что этотъ физическій законъ не измѣняется даже въ томъ случаѣ, если гнетъ будетъ производиться съ разсчитанной медленностью и если тяжести будутъ подкладываться самыми мелкими долями. Іезуитская тактика правительства не обманула народа, и исполинъ двинулъ плечомъ, когда почувствовалъ боль и стѣсненія.

V.

Республика.

Паденіе іюльской монархіи и основаніе республики развязало руки журналистамъ; появилось множество новыхъ изданій; воспоминанія 93 года воскресли, и люди временнаго правительства увидѣли, что потребности и стремленія общества далеко опередили ихъ собственныя, близорукія доктрины. Журналистика постоянно заявляла новыя требованія общества, постоянно разрушала своей критикой нравственное вліяніе правительственныхъ распоряженій, и тѣ самые люди, которые при Людовикѣ-Филиппѣ считали себя радикалами и лучшими защитниками народныхъ правъ, вскорѣ замѣтили, что, очутившись во главѣ правленія, они превращаются въ робкихъ доктринеровъ и тормозятъ свободное развитіе народной жизни. Люди временнаго правительства захотѣли узнать волю народа посредствомъ поголовной подачи голосовъ,— имъ доказали, что результатъ пресловутаго suffrage universel часто не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительнымъ желаніемъ націи; люди временнаго правительства захотѣли облегчить участь рабочаго класса учрежденіемъ мастерскихъ, раздачей орудій, назначеніемъ директоровъ, инспекторовъ и контролеровъ,—имъ доказали, что прежде всего необходимы заказы, запросъ на работу, сбытъ издѣлій; люди временнаго правительства захотѣли наложить подати на богачей, брать налоги съ капиталовъ и съ предметовъ роскоши, — имъ доказали, что всякій налогъ въ концѣ-концовъ всею тяжестью обрушится все-таки на пролетаріевъ. Словомъ, люди временнаго правительства, искренно желая добра своему отечеству, видѣли, что кромѣ добрыхъ желаній у нихъ нѣтъ ровно ничего: ни силъ, ни средствъ, ни практическихъ знаній, ни энергической воли. Члены временнаго правительства были люди честные, но честность — достоинство отрицательное, а разрѣшеніе той общественной задачи, которую поставила на очередь февральская революція, требовало положительныхъ, колоссальныхъ силъ. Надо было разрѣшить вѣковой споръ между трудомъ и капиталомъ, надо было спасти пролетарія отъ голодной смерти, надо было обезпечить его существованіе не филантропическими заведеніями, похожими на тюрьмы, а такимъ общественнымъ порядкомъ, который отнялъ бы у одного человѣка возможность эксплоатировать трудъ сотни другихъ людей. Какъ это сдѣлать? — въ этомъ заключался весь вопросъ. Но вопросъ этотъ былъ такъ важенъ, что его неудовлетворительное разрѣшеніе неминуемо должно было погубить плоды февральской революціи.

Только сытые люди могутъ быть свободными гражданами; толпа голодныхъ и продрогшихъ бѣдняковъ всегда пойдетъ за тѣмъ, кто покажетъ ей въ перспективѣ обезпеченный кусокъ хлѣба; диктатура Цезаря и имперія Августа вышли изъ римскаго пролетаріата; имперія Наполеона III также неизбѣжно должна была выдти изъ неудовлетворительнаго рѣшенія соціальной задачи. Члены временнаго правительства понимали важность предстоящаго дѣла, но дѣло это было имъ не по силамъ; всѣ ихъ попытки оказались неудачными: они терялись и опускали руки, а время было горячее; размышлять было некогда, потому что каждый потерянный день усложнялъ и безъ того тяжелое положеніе страны; кредитъ падалъ, торговля шла вяло, мастер-

скія закрывались, капиталы прятались, ремесленники сидѣли безъ работы, безъ хлѣба, безъ пристанища. Надо было дѣйствовать, но какъ дѣйствовать, что предпринять? Положеніе временнаго правительства дѣлалось трагическимъ. Журналистика оглушала его совѣтами, упреками, насмѣшками, теоретическими и практическими замѣчаніями всякаго рода, воззваніями къ народу, выходками противъ доктринеровъ, противъ коммунистовъ. Рядомъ съ дѣльными мыслями встрѣчались тысячи нелѣпостей и груды звонкихъ фразъ; народъ имѣлъ свои экономическія причины къ неудовольствію; неудовольствіе это выражалось въ демонстраціяхъ и мѣстныхъ возстаніяхъ; правительство несправедливо винило въ этихъ возстаніяхъ задорную журналистику, которая сама по себѣ не имѣла бы никакого вліянія; явилось распоряженіе противъ свободы печати, и радикалы іюльской монархіи стали на точку зрѣнія тѣхъ людей, которыхъ они сами громили рѣчами съ парламентской трибуны и статьями въ журналахъ либеральной партіи. Уже 29 февраля было запрещено приклеивать на стѣны и распространять въ народѣ листки, на которыхъ не означено имя типографщика. Это запрещеніе предполагаетъ возможность преслѣдовать типографщика за напечатаніе такого сочиненія, которое не понравится правительству, состоящему изъ радикаловъ. Въ концѣ іюня 1848 года диктаторъ, генералъ Кавеньякъ, распорядился съ журналами по военному. Десять журналовъ было закрыто.

«Въ минуты общественныхъ кризисовъ, говорили члены правительства, можно и должно рѣшаться на все». Жирарденъ, главный редакторъ журнала Presse, былъ подвергнутъ предварительному аресту; его продержали двѣ недѣли въ секретной, и національное собраніе изъявило Кавеньяку общественную признательность за энергическое служеніе истиннымъ интересамъ отечества.

Въ началѣ августа реакція противъ своеволія прессы сдѣлалась систематическою; правительство не ограничилось наказаніями журналовъ и журналистовъ: оно потребовало гарантій и возстановило обязательные залоги; правительство, выражавшее теплую любовь къ пролетаріямъ, высказывало ту идею, что человѣкъ, не имѣющій возможности внести сумму въ 24 000 франковъ для обезпеченія своего добропорядочнаго поведенія въ печати, не имѣетъ права издавать журналъ.

«Мы требуемъ, говорилъ въ національномъ собраніи гражданинъ Сепаръ, гарантіи противъ анархической прессы, противъ прессы соціалистовъ, противъ той зловредной прессы, которая толкуетъ о правахъ труда, противъ журналовъ, которые продаются по 5 сантимовъ и обращаются къ бѣднякамъ, не имѣющимъ возможности абонироваться. Что касается до серьезной и важной журналистики, до тѣхъ органовъ, которые имѣютъ 500 000 франковъ основного капитала, — то мы не думаемъ ихъ безпокоить, потому что эта пресса отличается своей нравственной чистотой и просвѣщеннымъ патріотизмомъ».

Предлагаемая мѣра была одобрена, получила силу закона и немедленно принесла свои благодѣтельные плоды; нѣсколько журналовъ закрылось вслѣдствіе недостатка средствъ, и народъ лишился многихъ честныхъ органовъ, горячо стоявшихъ за его разумныя права. Въ концѣ 1848 года Людовикъ-Наполеонъ Бонапарте былъ избранъ президентомъ французской республики и началъ исподволь, съ своей обычной осторожностью, подготовлять вторую имперію. Въ маѣ 1849 года новый президентъ запретилъ шесть журналовъ, и въ томъ числѣ знаменитую Réforme, игравшую такую важную роль въ агитаціи противъ министерства Гизо. Редакціи этихъ журналовъ были заняты вооруженными солдатами, типографскіе станки разбиты и приведены въ негодность.

Въ іюлѣ 1849 года министръ Одилонъ Барро, тотъ самый, который такъ недавно стоялъ во главѣ либеральной оппозиціи, объявилъ въ національномъ собраніи, что положеніе страны требуетъ усиленія законовъ противъ злоупотребленій печати. Ему возразили, что никогда еще законы противъ печати не спасали правительствъ и не возстановляли спокойствія въ странѣ. Это возраженіе не смутило бывшаго предводителя оппозиціи: «это возможно, отвѣчалъ онъ очень откровенно, но во всякомъ случаѣ подобные законы отсрочиваютъ паденіе правительства».

Несмотря на сопротивленіе либеральныхъ членовъ національнаго собранія, новые законы были приняты. Они во многихъ отношеніяхъ напоминаютъ собою законодательныя мѣры 1819, 1822, 1828 и даже 1835 года. Залогъ остался необходимымъ условіемъ для изданія журнала; сочиненія, касающіяся политики или политической экономіи и заключающія въ себѣ менѣе 20 печатныхъ листовъ, должны быть представляемы прокурору республики за двадцать четыре часа до публикаціи и поступленія въ продажу. Эта статья новаго законодательства показываетъ, что правительство республики боится учредить предварительную цензуру, но на самомъ дѣлѣ вполнѣ сочувствуетъ принципу этой цензуры.

Дѣйствительно, въ 24 часа очень не трудно прочесть брошюру листовъ въ десять; прочитавъ эту брошюру, прокуроръ можетъ начать преслѣдованіе противъ книги раньше поступленія ея въ продажу и слѣдовательно можетъ предупредить ея выходъ въ свѣтъ. Такого рода система для писателя и издателя тяжелѣе чисто

предупредительной цензуры; предупредительная цензура спасаетъ издателя отъ разорительныхъ издержекъ, она запрещаетъ или разрѣшаетъ сочиненіе въ рукописи или въ корректурѣ. Система, принятая законодательствомъ 1849 года, напротивъ того, допускаетъ печатаніе книги и потомъ предоставляетъ себѣ право остановить ея распространеніе. Издатель лишенъ такимъ образомъ всякой гарантіи и принужденъ принимать на себя роль цензора въ отношеніи къ писателю. Еслибы издатель былъ даже человѣкомъ глубоко преданнымъ какой-нибудь идеѣ, еслибы онъ за распространеніе этой идеи въ обществѣ готовъ былъ подвергнуться самой тяжелой отвѣтственности, то новая статья закона помѣшала бы ему поступить такимъ образомъ; представляя экземпляръ вновь отпечатанной книги къ прокурору, за двадцать четыре часа до публикаціи о ней, издатель можетъ быть увѣренъ, что все изданіе книги будетъ немедленно захвачено, если въ книгѣ заключаются какія-нибудь идеи, не соотвѣтствующія вкусу правительства. Новое законодательство не ограничилось этими предосторожностями.

Оскорбленіе президента республики путемъ печати причислено къ преступленіямъ; при этомъ не оговорено, что̀ именно можетъ считаться оскорбленіемъ, такъ что подъ категорію оскорбленій оказалось возможнымъ подводить всякое критическое замѣчаніе, всякое порицаніе дѣйствій правительства.

Чтобы сдѣлаться разнощикомъ книгъ, надо получить предварительное разрѣшеніе правительства; журналъ, навлекшій на себя неудовольствіе правительства и осужденный два раза въ теченіе одного года, можетъ быть запрещенъ на время или навсегда; членъ національнаго собранія не можетъ быть отвѣтственнымъ редакторомъ журнала. Такимъ образомъ, послѣ двухъ революцій, Франція опять очутилась почти въ тѣхъ же положеніи, въ которомъ она находилась при Карлѣ X; формы были приличнѣе, но фактическое положеніе писателей нисколько не улучшилось; тотъ же дамокловъ мечъ висѣлъ, если не надъ ихъ головами, то надъ ихъ карманами; залогъ, штемпельный сборъ, штрафы и тюремныя заключенія, задержаніе книги раньше ея поступленія въ продажу, запрещеніе журнала, замѣченнаго въ непріятномъ образѣ мыслей—всѣ орудія гнета, всѣ способы стѣсненія снова были на лицо, снова въ полномъ собраніи находились въ рукахъ административной власти. Всѣ книги, кромѣ молитвенниковъ, азбукъ, грамматикъ и календарей, были подчинены штемпельному сбору и, вслѣдствіе этого, должны были сильно возвыситься въ цѣнѣ, такъ что французскимъ книгопродавцамъ становилось невозможнымъ бороться съ заграничной контрафакціей.

Новая статья закона потребовала, чтобы каждая статья, напечатанная въ журналѣ и касающаяся политики, философіи или религіи, была подписана собственнымъ именемъ автора; за ложную подпись взыскивается штрафъ и опредѣляется шестимѣсячное тюремное заключеніе, какъ автору статьи, такъ и отвѣтственному редактору журнала. Это нововведеніе распространяло отвѣтственность на автора и на редактора; таково было общее направленіе правительственныхъ распоряженій; правительство хотѣло, чтобы возможно большее число лицъ подвергалось отвѣтственности; оно разсчитывало такъ: если не побоится авторъ, то побоится редакторъ; если не редакторъ, то издатель; если не издатель, то типографщикъ; не типографщикъ, такъ книгопродавецъ,—пусть всѣ боятся отвѣтственности, и тогда ненавистная идея, родившаяся въ мозгу безпокойнаго писателя, поневолѣ должна будетъ заглохнуть въ неизвѣстности. Вплоть до нынѣшняго 1862 года, этотъ разсчетъ оказывался вѣрнымъ, а что будетъ дальше—неизвѣстно.

Еще новое распоряженіе правительства обязало отвѣтственнаго редактора вносить положенные штрафы въ теченіе трехъ дней послѣ объявленія судебнаго приговора; неисполненіе этого правила ведетъ за собою прекращеніе журнала. Президентъ велъ дѣло такъ круто, что литераторамъ не разъ пришлось пожалѣть о королѣ Людовикѣ-Филиппѣ.

Такъ прозябала французская пресса до конца 1851 года. 2-го декабря 1851 года президентъ республики распустилъ національное собраніе, распустилъ государственный совѣтъ, объявилъ Парижъ въ осадномъ положеніи и, обращаясь къ французскому народу, спросилъ у него, согласенъ ли онъ поручить ему, Людовику-Наполеону Бонапарту, составленіе новой конституціи? Отвѣтомъ на этотъ вопросъ долженъ былъ служить результатъ поголовной подачи голосовъ. Чтобы надлежащимъ образомъ направить эту свободную подачу голосовъ, Людовикъ-Наполеонъ принялъ свои мѣры. Подозрительныя типографіи и литографіи заняты военными отрядами; при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ устроена потихоньку цензурная коммисія; двѣнадцать журналовъ, въ томъ числѣ National и Siècle, запрещаются; редакторы этихъ журналовъ и множество непріятныхъ для правительства писателей высылаются за предѣлы Франціи. Оппозиція лишается такимъ образомъ лучшихъ своихъ предводителей; поголовная подача голосовъ происходитъ въ такое время, когда некому руководить общественнымъ мнѣніемъ и обличать дѣйствія президента; очень понятно, что результатъ оказывается благопріятенъ для Людовика-Наполеона. Комедія сыграна—французскій народъ уполномочилъ его создать новую конституцію.

VI.

При Наполеонѣ III.

Въ декабрѣ 1851 года президентъ республики издалъ декретъ, по которому вѣдѣніе всѣхъ проступковъ, предусмотрѣнныхъ законами о печати, передается трибуналамъ исправительной полиціи. Пресса потеряла такимъ образомъ свою лучшую и послѣднюю гарантію — судъ присяжныхъ; прессу отдали въ руки коронныхъ судей; движеніе реакціи пошло такъ быстро, какъ не шло ни при Бурбонахъ, ни при Орлеанахъ.

Въ февралѣ 1852 года президентъ республики издалъ органическій декретъ о печати, который убилъ послѣдніе остатки свободы мысли и открыто подчинилъ прессу безграничному произволу центральной власти. По этому декрету каждый издатель журнала обязанъ испрашивать у правительства предварительное разрѣшеніе. Каждый типографщикъ и литографщикъ, каждый книгопродавецъ обязанъ взять патентъ отъ министра полиціи, который конечно можетъ отказать въ этомъ патентѣ, если считаетъ просителя человѣкомъ неблагонадежнымъ. Если издатель журнала желаетъ продать свой журналъ, то покупатель долженъ также испрашивать разрѣшеніе правительства, чтобы имѣть право продолжать изданіе журнала. Если перемѣняется отвѣтственный или главный редакторъ, то эта перемѣна производится не иначе, какъ съ разрѣшенія правительства. Политическіе или экономическіе журналы, издающіеся за-границей, могутъ быть ввозимы во Францію только съ разрѣшенія правительства. Еслибы весь органическій декретъ не былъ очень печальной и серьезной дѣйствительностью, то эта статья его показалась бы честнымъ гражданамъ Франціи смѣшной шуткой: Францію охраняютъ отъ вреднаго вліянія заграничныхъ идей, Францію, ту самую Францію, которая въ продолженіе шестидесяти лѣтъ была родиной и колыбелью соціальныхъ и демократическихъ идей! Президентъ даетъ себѣ трудъ беречь умственную невинность такой страны, въ которой три революціи изломали въ конецъ сословныя грани, вѣковые авторитеты, рутину мысли и жизни. Къ сожалѣнію, до нашего времени, до нынѣшняго дня еще нельзя рѣшить вопросъ: дѣйствительно ли г. президентъ давалъ себѣ въ этомъ случаѣ напрасный трудъ? Событія до сихъ поръ не отвѣчали на этотъ вопросъ утвердительно, а между тѣмъ не хочется вѣрить, чтобы теперешній status quo уже рѣшилъ этотъ вопросъ отрицательно.

Органическій декретъ удвоилъ сумму залоговъ и довелъ его для ежедневныхъ газетъ до 50,000 франковъ; штемпельная пошлина увеличилась, плата за пересылку по почтѣ, сливавшаяся съ штемпельной пошлиной по закону 1850 года, была возстановлена.

Органическій декретъ запретилъ печатать отчеты о процессахъ по дѣламъ печати и кромѣ того предоставилъ всѣмъ трибуналамъ право запрещать, по своему благоусмотрѣнію, печатаніе отчетовъ о процессахъ исправительной полиціи, гражданскихъ и уголовныхъ. За журналами осталось только очень незавидное, но зато неотъемлемое право публиковать приговоръ, и то вѣроятно потому, что приговоръ не можетъ ни въ какомъ случаѣ остаться государственной тайной.

Органическій декретъ запретилъ печатать статьи, написанныя такими лицами, которыя осуждены на карательное и безчестящее или только на безчестящее наказаніе. За нарушеніе этого правила издатели, отвѣтственные редакторы и типографщики подвергаются штрафу отъ 1000 до 5000 франковъ. Эта статья закона направлена противъ политическихъ преступниковъ, противъ тѣхъ изгнанныхъ литераторовъ, въ которыхъ президентъ не могъ предполагать особенно дружелюбныхъ наклонностей къ своей особѣ и къ своему правительству. Президенту казалось необходимымъ застращать издателей и типографщиковъ, чтобы отрѣзать изгнанникамъ всякую возможность имѣть вліяніе на общественное мнѣніе страны.

Самое важное нововведеніе органическаго декрета заключается въ системѣ правительственныхъ предостереженій (avertissements). Министерство, замѣчая вредныя тенденціи журнала, имѣетъ, по словамъ декрета, право послать издателю предостереженіе; вслѣдъ за вторымъ предостереженіемъ оно имѣетъ право пріостановить журналъ на два мѣсяца безъ приговора суда.

Высшее правительство имѣетъ право пріостановить журналъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ послѣ осужденія его за проступокъ противъ законовъ печати. Оно можетъ также, по своему благоусмотрѣнію, запрещать провинившееся изданіе.

Запрещеніе журнала неизбѣжно въ случаѣ осужденія его за преступленіе, совершонное путемъ печати, или въ случаѣ двукратнаго осужденія его за проступки, совершонные путемъ печати въ теченіе двухъ лѣтъ.

Кромѣ того журналъ можетъ также быть запрещенъ, въ видахъ общественной безопасности, особымъ декретомъ президента республики.

Положеніе прессы, вслѣдствіе органическаго декрета, дѣлалось до такой степени тяжелымъ, что знаменитые сентябрьскіе законы 1835 года, изданные Людовикомъ-Филиппомъ вслѣдствіе постоянныхъ покушеній на его драгоцѣнную жизнь, могли показаться сравнительно легкими и милосердными. Сентябрьскіе законы оставили по крайней мѣрѣ судъ присяжныхъ и выгородили прессу отъ административныхъ распоряженій. При Людовикѣ-Филиппѣ даже за оскорбленіе королевской власти нельзя было безъ суда взять ни одной копѣйки штрафа, нельзя было подвергнуть

издателя самому легкому аресту. При Людовикѣ-Наполеонѣ все сдѣлалось возможнымъ; самый законъ предвидитъ возможность крайнихъ мѣръ и беззаконныхъ посягательствъ административной власти на частную собственность. Посягательствами административной власти на частную собственность могутъ быть названы, по всей справедливости, пріостановка или запрещеніе журнала, производящіяся безъ суда, по декрету президента или по запрещенію министра. Пріостановка или запрещеніе журнала наноситъ убытокъ издателю и владѣльцамъ; этотъ убытокъ наносится безъ суда, слѣдовательно онъ можетъ быть нанесенъ и правому, и виноватому; слѣдовательно, самымъ текстомъ своего органическаго декрета президентъ республики предоставляетъ себѣ и своимъ министрамъ право самовольно бить по карману свободныхъ гражданъ французской республики. Очевидно, что Людовикъ-Наполеонъ поставилъ прессу на военное положеніе и объявилъ себя диктаторомъ, имѣющимъ надъ журналами право жизни и смерти. Онъ не боялся именно той или другой идеи, тѣхъ или другихъ стремленій періодической литературы; онъ просто хотѣлъ парализовать энергію мысли, нагнать на пишущихъ людей робость и нерѣшительность, свести ихъ всѣхъ на уровень посредственности и такимъ образомъ, опошливъ литературу, ослабить нравственное вліяніе образованныхъ и передовыхъ людей на массу публики и народа. Все въ органическомъ декретѣ направлено прямо къ этой цѣли. Читая и перечитывая этотъ декретъ съ величайшимъ вниманіемъ, журналисты никакъ не могли сообразить, о чемъ и какъ можно писать, что именно составляетъ преступленіе и проступокъ, въ какихъ случаяхъ министерство будетъ дѣлать предостереженія, какія статьи могутъ вызвать противъ себя особый декретъ президента. Всѣ подробности были совершенно неясны; ясно было только одно, вовсе неутѣшительное, обстоятельство—то, что правительство было неразборчиво въ средствахъ, и что оно отъ души ненавидѣло свободную журналистику. Что отъ этого правительства нельзя было ждать справедливости — въ этомъ сознавалось само правительство, предоставляя себѣ право дѣйствовать безъ суда. О милосердіи нечего было и толковать; къ тому же зависѣть отъ милосердія правительства въ сущности все равно, что зависѣть отъ его произвола. Органическій декретъ въ эффектной перспективѣ показывалъ литераторамъ цѣлый лабиринтъ препятствій и непріятностей. «Я васъ буду преслѣдовать», говорилъ президентъ.—За что? «Это уже мое дѣло; я васъ предупредилъ, будьте осторожны». Получая такое неопредѣленное предупрежденіе, похожее на таинственную угрозу, литераторы конечно должны были стать въ тупикъ и растеряться; Людовику-Наполеону только этого и хотѣлось.

Очень естественно, что пресса, пробирающаяся ощупью между невѣдомыми опасностями, не можетъ руководить общественнымъ мнѣніемъ. Гдѣ царствуетъ постоянный, неясный страхъ, тамъ не можетъ быть энергіи, а политическая литература безъ энергіи, безъ твердыхъ гарантій, безъ самостоятельности, неминуемо должна впасть въ совершенное ничтожество. Неопредѣленность органическаго декрета сдѣлала то, чего не могли бы сдѣлать самыя жестокія уголовныя наказанія. Весь 1852 годъ былъ ознаменованъ многочисленными предостереженіями; многіе журналы закрылись по собственному желанію, находя борьбу съ правительствомъ невозможной по неравенству силъ и оружія; административная система предостереженій, пріостановокъ и запрещеній окончательно восторжествовала надъ системой судебныхъ преслѣдованій. Процессы по дѣламъ печати сдѣлались очень рѣдкими, и правительство стало поражать журналы, не выслушивая никакихъ оправданій, не принимая никакихъ объясненій. Нѣкоторые журналы въ эту тяжелую эпоху рѣшились высказать правительству нѣсколько горькихъ истинъ. «Правительство», пишетъ Presse, «видитъ въ періодической литературѣ орудіе безпорядковъ и смутъ; оно поступаетъ сообразно съ этимъ убѣжденіемъ, и мы надѣемся польстить его самолюбію, объявляя громко, что никогда еще ни одно законодательство не вооружалось противъ этого стараго врага такими страшными и многочисленными средствами угнетенія; мысль подобна воздуху и пару—она сильна и опасна только при давленіи; намъ жаль, что у насъ отнимаютъ судъ присяжныхъ и что насъ подчиняютъ приговору полицейскихъ судовъ. Мы помнимъ впрочемъ, что во время реставраціи эти суды давали блестящія доказательства честности и самостоятельности»... «Надъ нами постоянно виситъ угроза запрещенія, одинъ декретъ можетъ зажать намъ ротъ и уничтожить нашъ органъ»... «Вступая въ новую многотрудную карьеру, мы будемъ разсчитывать на поддержку общественнаго мнѣнія, единственной несокрушимой силы»...

«Всего серьезнѣе и опаснѣе для печати тѣ распоряженія», писала Assemblée nationale, «въ силу которыхъ журналъ можетъ быть пріостановленъ приказомъ министра или запрещенъ въ видахъ общественной безопасности... Эти распоряженія уничтожаютъ всѣ гарантіи, необходимыя для предпріятія, основаннаго на какомъ-нибудь капиталѣ; ужъ лучше было бы оставить предупредительную цензуру, которой насъ подчинили со 2-го декабря, чѣмъ возвратить намъ такую свободу, которою мы, при всѣхъ предосторожностяхъ, не можемъ пользоваться, не навлекая на себя самыхъ гибельныхъ послѣдствій»... «Свобода печати проникла въ наши нравы и привычки; всякое правительство поневолѣ должно дать ей мѣсто. Если оно теперь

уничтожаетъ ее не на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ, то публика будетъ искать въ другихъ мѣстахъ той умственной пищи, которую она до сихъ поръ находила въ журналахъ». Нашлись впрочемъ и такіе литераторы, которые съ сочувствіемъ отнеслись къ новому законодательству. Веронъ, въ журналѣ Constitutionnel, оправдывалъ его какими-то высшими административными соображеніями. Журналистъ сошелся въ этомъ случаѣ съ министромъ внутреннихъ дѣлъ, Персиньи, который въ одномъ изъ своихъ докладовъ императору, въ началѣ 1853 года, прославляетъ органическій декретъ, какъ одно изъ величайшихъ благодѣяній, оказанныхъ Франціи Наполеономъ III. Въ этомъ любопытномъ докладѣ встрѣчаются напримѣръ слѣдующіе лестные отзывы о періодической литературѣ. «Теперь пресса уже не можетъ измѣнить своей настоящей роли и сдѣлаться орудіемъ партій; теперь она не можетъ тревожить страну ложными извѣстіями о несуществующихъ опасностяхъ; такимъ образомъ устранено великое зло, а между тѣмъ свобода мысли осталась неприкосновенной. Никогда еще тонъ прессы не отличался такимъ благоразуміемъ, такой скромностью, вполнѣ сообразною съ достоинствомъ писателей. Никогда еще она не обнаруживала такихъ патріотическихъ чувствъ». Что должны были чувствовать французскіе журналисты, когда Персиньи гладилъ ихъ такимъ образомъ по головкѣ—это я предоставляю рѣшить самому читателю. Изъ доклада министра мы видимъ, что правительство Наполеона неусыпно заботилось о нравственномъ воспитаніи гражданъ. Благоразуміе, скромность, достоинство, патріотическія чувства — вотъ тѣ нравственныя качества, которыя оно стремилось путемъ пріостановокъ и запрещеній провести черезъ періодическую литературу въ общество. Воспитателями націи были назначены всѣ полицейскіе чиновники; въ департаментахъ журналы зависѣли отъ мѣстныхъ властей, отъ префектовъ и ихъ помощниковъ.

Добросовѣстно отправляя свои педагогическія обязанности, эти чиновники считали долгомъ вразумлять провинившихся литераторовъ, и потому, облекая свои предостереженія въ болѣе или менѣе литературную форму, они обыкновенно присоединяли къ нимъ назидательныя размышленія. Такъ напр. Conciliateur de l'Indre напечаталъ, что «новое законодательство о печати наноситъ рѣшительный ударъ самымъ элементарнымъ началамъ общественнаго права и свободы». За это Conciliateur получилъ предостереженіе, въ которомъ было сказано, что, говоря такимъ образомъ о правительственныхъ распоряженіяхъ, журналъ «отступаетъ отъ благоразумія и умѣренности, составляющихъ необходимое условіе періодической прессы». Gazette du Midi напечатала въ одной статьѣ курсивомъ слова народъ и законный; ей сдѣлали предостереженіе и замѣтили въ курсивѣ лукавое намѣреніе осмѣять примѣненіе этихъ словъ къ недавнимъ событіямъ. Въ Ami de l'Ordre попалась такая фраза: «исторія говоритъ намъ, что имя Бонапарта не всегда бываетъ спасительнымъ талисманомъ противъ паденій». Эта фраза подала поводъ къ предостереженію; правительство приняло ее за дерзость. Два журнала Union Bretonne и Espérance du Peuple вели между собой ожесточенную полемику и обмѣнивались взаимно колкостями и дерзостями, не касаясь правительственныхъ распоряженій. Префектъ послалъ предостереженія въ редакціи обоихъ журналовъ и замѣтилъ имъ, что въ ихъ статьяхъ встрѣчаются такія сильныя выраженія, которыя совершенно выходятъ изъ границъ дозволенной полемики.

Такимъ образомъ заботливая администрація наблюдала не только за чистотой политическихъ мнѣній, но даже за изяществомъ манеръ и за мягкостью перебранокъ. Французы должны были во что бы то ни стало казаться счастливыми и довольными; добродушная улыбка не должна была сходить съ ихъ губъ; журналистъ, раздраженный притѣсненіями правительства, не могъ даже на своихъ собратьевъ по ремеслу выливать избытокъ накоплявшейся желчи. Наполеонъ хотѣлъ, чтобы все было спокойно, чтобы надо всей Франціей царила мертвая тишина, чтобы даже въ частной ссорѣ между двумя журналистами не встрѣчалось ни одной рѣзкой мысли, ни одного энергическаго оборота рѣчи. Надъ всею Франціей раскинулась сѣть полицейскаго наблюденія; префекты и разныя мѣстныя власти съ особенной любовью взялись содѣйствовать видамъ центральнаго правительства и принялись преслѣдовать всякое гласное выраженіе непринятыхъ идей и стремленій. Нѣкоторые чиновники увлеклись такъ далеко въ дѣлѣ разыскиванія и преслѣдованія вредныхъ мыслей, что начали заглядывать въ частныя письма, отправлявшіяся за границу. За содержаніе этихъ писемъ нѣкоторые корреспонденты заграничныхъ газетъ были арестованы, бумаги ихъ опечатаны; на другой день послѣ этихъ арестовъ въ журналахъ Pays и Moniteur появились наивныя статьи, поясняющія причину этихъ крутыхъ мѣръ; эти наивныя статьи показали, что усердіе чиновниковъ, вскрывающихъ чужія письма, не показалось высшему правительству ни преувеличеннымъ, ни предосудительнымъ. Оказалось, что Людовикъ-Наполеонъ находитъ такой образъ дѣйствій вполнѣ естественнымъ и, не краснѣя, разсуждаетъ о тѣхъ фактахъ, которые ему пришлось узнать такимъ окольнымъ путемъ. «Въ Парижѣ, гласитъ статья въ Moniteur, подъ вліяніемъ старинныхъ партій уже давно составилось нѣсколько тайныхъ агенствъ и политическихъ корреспонденцій; изъ этихъ центровъ клеветы и анархіи выходили ежедневно, около-

ными путями, тѣ гнусные и безсовѣстные пасквили, которые позорятъ собою нѣкоторые органы заграничной прессы, съ цѣлью навлечь презрѣніе Европы на правительство, добровольно принятое Франціей; правительство, которому были извѣстны эти интриги, не могло долѣе терпѣть этой системы поруганія и опозориванія». Съ этой оффиціальной статьей, написанной на основаніи совершенно неоффиціальныхъ документовъ, не мѣшаетъ сопоставить слѣдующій циркуляръ одного изъ министровъ Наполеона I. «Я узналъ, пишетъ Карно, министръ внутреннихъ дѣлъ,—что во многихъ частяхъ имперіи тайна частной переписки была нарушена агентами правительства. Кто могъ дозволить подобныя мѣры? Виновники скажутъ можетъ быть, что они хотѣли услужить правительству и предупредить его желанія? Но вносить въ управленіе подобный образъ дѣйствій не значитъ служить императору — это значитъ клеветать на его величество; государь съ презрѣніемъ отворачивается отъ такихъ доказательствъ преданности, которыя состоятъ въ нарушеніи законовъ. А законы говорятъ рѣшительно съ 1789 года, что тайна писемъ неприкосновенна. Всѣ наши несчастія въ различныя эпохи революцій происходили отъ нарушенія принциповъ. Пора взяться за умъ. Прошу васъ преслѣдовать по всей строгости законовъ это нарушеніе одного изъ священнѣйшихъ правъ цивилизованнаго человѣка, живущаго въ обществѣ. Мысль гражданина должна быть такъ же свободна, какъ и его личность».

Сравнивая циркуляръ Карно, написанный въ 1815 году, со статьею Монитера, напечатанною въ 1852 году, мы можемъ замѣтить, насколько французское правительство въ теченіе 37 лѣтъ развилось въ своихъ понятіяхъ о чести. Надо сказать правду, что если правительство 1815 г. было немного деликатнѣе и поразборчивѣе въ средствахъ, то правительство 1852 года было гораздо послѣдовательнѣе. Въ глубинѣ души ни Наполеонъ I, ни Наполеонъ III не могли считать себя избранниками народа; и тотъ, и другой должны были помнить, что основаніе ихъ господства заключается въ насиліи. Позволивши себѣ крупную неправду, навязавшись въ вѣнценосные благодѣтели Франціи, оба Наполеона должны были хорошо понимать, что мелкая совѣстливость въ ихъ положеніи смѣшна и неторна. Кто похитилъ корону, тому нелѣпо задумываться надъ кусочкомъ сургуча, скрывающимъ собой чужую тайну. Поэтому деликатность Карно не можетъ служить вѣрнымъ выраженіемъ Наполеона I; приведенный мною циркуляръ можетъ быть объясненъ или тѣмъ обстоятельствомъ, что въ распечатанныхъ письмахъ не нашлось ничего интереснаго для правительства, или же тѣмъ, что правительство нуждалось въ популярности и прикидывалось деликатнымъ, зная легковѣрность французской націи и ея привязанность къ внѣшнимъ формамъ вѣжливости. Въ поведеніи Наполеона III, напротивъ того, нѣтъ даже этой внѣшней уступки общественному мнѣнію; онъ равнодушенъ къ нему и презираетъ его вполнѣ, не давая себѣ труда скрывать это презрѣніе: онъ не гонится ни за популярностью, ни за уваженіемъ націи; его господство—фактъ, а какъ смотрятъ на этотъ фактъ — до этого ему нѣтъ никакого дѣла. Это откровенное презрѣніе къ цѣлой націи, сдѣлавшей три революціи, лежитъ въ основаніи всѣхъ законодательныхъ и административныхъ мѣръ Наполеона III и само основывается на сознаніи рѣшительнаго перевѣса собственныхъ матеріальныхъ силъ надъ оцѣпенѣвшими умственными и нравственными силами Франціи.

Иностранные публицисты поняли и опредѣлили отношенія между императоромъ и народомъ такъ вѣрно и такъ рельефно, что Moniteur счелъ долгомъ обидѣться за Францію и съ укоромъ перепечаталъ на своихъ столбцахъ нѣкоторые отзывы англійскихъ газетъ. Вотъ, напримѣръ, что говорилъ 7-го января 1853 г. Morning-advertiser: «На всей поверхности земного шара нѣтъ ничего подобнаго тому деспотизму, который тяготѣетъ надъ Франціей, и тому униженію, въ которое погружена эта страна. Права народа находятся подъ каблуками Наполеона, имя котораго—синонимъ угнетенія и тиранніи. Искусство писать книги будетъ скоро совершенно оставлено у нашихъ сосѣдей. Литературные таланты преслѣдуются, какъ преступленіе; умы заключены въ оковы. Никто не смѣетъ разинуть ротъ на улицѣ, въ обществѣ, въ прессѣ. Еще нѣсколько времени—и французы будутъ погружены въ такое варварство, которому нельзя будетъ найти подобіе въ исторіи націй». «Къ чему увеличивать число цитатъ, съ глубокой грустью присовокупляетъ Moniteur. Довольно и этого, чтобы показать, въ какихъ выраженіяхъ нѣкоторые журналы отзываются о дружественной націи и о томъ государѣ, котораго призвали на престолъ ея восторженные клики». Надо было глубоко презирать французскую республику, чтобы въ оффиціальномъ журналѣ перепечатывать отзывъ Morning-advertiser'а, заключающій въ себѣ такую горькую правду. Правительство Наполеона смотритъ на свой портретъ и, обращаясь къ публикѣ, которая очень хорошо знаетъ, что портретъ похожъ, какъ двѣ капли воды, говоритъ въ своемъ оффиціальномъ журналѣ: посмотрите, добрые люди, какъ на насъ клевещутъ; посмотрите, какая гнусная каррикатура. Самъ императоръ впрочемъ не думалъ, что гражданская свобода процвѣтаетъ во Франціи; открывая въ 1853 году засѣданіе законодательнаго собранія, онъ въ своей рѣчи помѣ-

стилъ между прочимъ слѣдующее замѣчаніе: «Тѣмъ людямъ, которые пожалѣютъ о недостаткѣ свободы, я отвѣчу: свобода никогда не содѣйствовала основанію политическаго зданія, — она вѣнчаетъ его тогда, когда его скрѣпило время». Самъ Наполеонъ скромно сознается такимъ образомъ, что свобода Франціи еще впереди, и съ нимъ соглашаются въ этомъ отношеніи всѣ здравомыслящіе французы, хотя конечно они рисуютъ себѣ эту вожделѣнную свободу не совсѣмъ такъ, какъ обѣщаетъ ее императоръ. Приближенные Наполеона расходятся во мнѣніяхъ съ своимъ властелиномъ и прославляютъ свободу Франціи, какъ нѣчто дѣйствительно существующее въ настоящемъ. «Развѣ не свободна та страна, восклицаетъ Тролонъ въ Монитерѣ, — въ которой можно, не имѣя дѣла съ цензурой, писать книги обо всѣхъ предметахъ религіи и философіи, политики и нравственности? Развѣ не свободна та страна, въ которой журналы имѣютъ право говорить, когда они должны были бы молчать, или молчать, когда они должны были бы говорить?» Особенно завидно послѣднее право, въ которомъ Тролонъ видитъ доказательство французской свободы—право молчать. Презрѣніе Наполеона къ націи становится понятнымъ, когда приходится читать подобные панегирики о свободѣ, написанные не дюжиннымъ продажнымъ писателемъ, а человѣкомъ обезпеченнымъ въ матеріальномъ отношеніи и высоко поставленнымъ по своему общественному положенію. Читая ежедневно подобныя статьи въ Moniteur, въ Pays, въ Constitutionnel, выслушивая разныя торжественныя рѣчи въ законодательномъ собраніи и въ сенатѣ, Наполеонъ могъ на неопредѣленное время отсрочить обѣщанное увѣнчаніе политическаго зданія. «Зачѣмъ я буду расширять свободу этой страны, говорилъ онъ одному англійскому министру: съ нея довольно; она бо̀льшаго не желаетъ, а представители ея и отъ этого готовы отказаться».

Journal des Débats возражалъ на статью Тролона, и редакторъ Бертенъ удачно очертилъ положеніе журналистовъ послѣ обнародованія органическаго декрета. «Насъ, говоритъ онъ, не пугаетъ никакое законодательство, какъ бы ни было оно сурово; насъ пугаетъ то, что приходится писать въ потьмахъ, думая при каждомъ словѣ, что, не смотря на всю благонамѣренность, мы выходимъ за предѣлы тѣхъ правъ, которыя намъ оставлены. Мы не просимъ своеволія, Боже сохрани! Мы всегда возставали противъ него; мы не просимъ даже такой свободы, которая можетъ быть несовмѣстна съ теперешними обстоятельствами и потребностями Франціи. Пусть авторъ (Тролонъ) скажетъ намъ только (такъ какъ онъ это знаетъ), въ какихъ случаяхъ мы имѣемъ право говорить и когда мы должны были бы молчать; мы бы сочли себя совершенно счастливыми. Кто держится мнѣній Тролона, кто раздѣляетъ его политическія симпатіи и пользуется содѣйствіемъ Монитера, тотъ конечно можетъ считать себя совершенно свободнымъ и даже не понимать тѣхъ мучительныхъ затрудненій, въ которыя поставлены люди честные, уважающіе общественный порядокъ и желающіе только высказывать совершенно умѣренно свои идеи, не вполнѣ сходныя съ идеями Тролона».

Органическій декретъ принесъ свои плоды, и писатели поняли всю свою беззащитность.

Въ послѣднія десять лѣтъ, т. е. со времени изданія органическаго декрета до нынѣшняго дня, въ судьбѣ французской прессы не произошло никакихъ существенныхъ измѣненій. Правительство попрежнему смотритъ за журналистикой во всѣ глаза и попрежнему въ оффиціальныхъ статьяхъ своихъ литературныхъ агентовъ и въ оффиціальныхъ рѣчахъ своихъ чиновниковъ превозноситъ ту драгоцѣнную свободу, которой пользуются французскіе писатели. Журналистика съ своей стороны тихо стонетъ о своихъ потерянныхъ правахъ и гарантіяхъ и, не смотря на свою осторожность, навлекаетъ себѣ продостереженія за предостереженіями.

Каждое политическое событіе отзывается на отношеніяхъ правительства къ прессѣ. Когда журналистика пытается разгадать тайну дипломатическихъ соображеній Наполеона, когда она высказываетъ свои догадки и предположенія, тогда ей замѣчаютъ сверху, что она вмѣшивается не въ свое дѣло и понапрасну тревожитъ націю своими попытками заглянуть за непроницаемую завѣсу будущаго. Переговоры съ Австріей, предшествовавшіе началу итальянской войны, подали газетамъ поводъ предвидѣть приближеніе важнаго событія; въ началѣ февраля 1859 года Presse въ статьѣ объ итальянскомъ кризисѣ заявила сочувствіе Франціи къ страданіямъ угнетенной Италіи; въ этой статьѣ было выражено желаніе, чтобы Франція остановила посягательства Австріи. За эту статью Presse получила предостереженіе, въ которомъ было сказано, что «подобныя выходки могутъ возбуждать въ умахъ неосновательное безпокойство». Черезъ нѣсколько дней послѣ этого предостереженія въ продажѣ появилась брошюра подъ заглавіемъ Napoleon III et l'Italie, не подписанная авторомъ; нѣкоторыя французскія и заграничныя газеты приписывали эту брошюру самому императору; какъ бы то ни было, эта брошюра выражала тѣ самыя мысли, за которыя Presse получила предостереженіе; она приглашала дипломатію сдѣлать «наканунѣ битвы то, что поневолѣ придется сдѣлать на другой день послѣ побѣды». Не смотря на эти ясные намеки, брошюра не подверглась преслѣдованію, и даже

тѣ журналы, которые видѣли въ ней произведеніе самого императора, не получили за свои догадки никакихъ предостереженій. Журналистика, видя, что брошюра остается безнаказанной, опять заговорила о приближеніи войны; тогда оффиціальная газета Moniteur, въ началѣ марта, замѣтила, что все это «бредъ, воображеніе и ложь, и что пора оставить безъ вниманія неясные слухи, распространяемые журналистикой по всѣмъ концамъ Европы». 5-го марта была напечатана эта статья, а 3-го мая въ томъ же Монитерѣ правительство извѣстило Францію о началѣ войны. Намѣренія правительства до послѣдней минуты остаются такимъ образомъ тайной; политическимъ газетамъ запрещается даже догадываться и предполагать; имъ остается такимъ образомъ только записывать совершившіяся событія, не выводя изъ нихъ смѣлыхъ заключеній; даже записать событіе позволяется только въ томъ случаѣ, если его нельзя утаить или не-зачѣмъ утаивать. Когда началась итальянская война, то министерство внутреннихъ дѣлъ сообщило журналамъ слѣдующее замѣчаніе: «Правительство уже нѣсколько разъ совѣтовало журналамъ публиковать съ крайней осторожностью извѣстія и письма, относящіяся къ итальянской арміи. Правительство теперь еще разъ принуждено напомнить журналамъ обязанности, налагаемыя на нихъ текущими событіями. Они должны воздерживаться отъ печатанія подробностей, не имѣющихъ серьезнаго характера, распространяющихъ тревогу въ семействахъ или обманывающихъ общественное мнѣніе на счетъ положенія нашей арміи; тѣмъ болѣе они должны избѣгать сообщенія такихъ свѣдѣній, которыя могли бы приносить пользу непріятелю. Они поймутъ также, что не слѣдуетъ произвольно разсыпать похвалу или порицаніе и подрывать авторитетъ оффиціальныхъ бюллетеней несправедливыми сужденіями или спѣшными объявленіями. Правительство надѣется, что это воззваніе къ просвѣщенному патріотизму французской прессы предупредитъ дальнѣйшія уклоненія, находящіяся впрочемъ въ странномъ разладѣ съ единодушными проявленіями національнаго чувства, которое въ журналистикѣ должно находить себѣ достойное отраженіе».

Первое свойство, бросающееся въ глаза при чтеніи подобныхъ документовъ — это фразистость и мягкость рѣчи; подумаешь, что министерство находится въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ литературой и пишетъ ей самыя пріятныя и любезныя замѣчанія; на самомъ же дѣлѣ выходитъ, что пилюля очень горька, не смотря на свою позолоту; практическій выводъ изъ бумаги министерства тотъ, что журналы не должны печатать объ итальянской арміи ничего, кромѣ оффиціальныхъ бюллетеней, т. е. они должны, не мудрствуя лукаво, не толкуя вкривь и вкось, съ вѣрой, надеждой и любовью идти по слѣдамъ Монитера и перепечатывать изъ него извѣстія объ итальянской арміи. Можетъ быть министерство не хотѣло придти къ этому суровому выводу, можетъ быть оно желало только, чтобы редакторы не пускали утокъ, но редакторамъ, получившимъ этотъ циркуляръ, надо было поневолѣ отказаться отъ печатанія частныхъ извѣстій. Получая письмо изъ Италіи, они никакъ не могли знать, что всѣ сообщаемыя въ немъ извѣстія совершенно вѣрны. Если даже эти извѣстія были вѣрны, то нельзя было знать, находитъ ли правительство полезнымъ ихъ обнародованіе. Правительство всегда имѣло предлогъ послать журналу предостереженіе за напечатаніе частнаго извѣстія; оно могло сказать, что такое-то извѣстіе способно встревожить общественное мнѣніе или же что имъ можетъ воспользоваться непріятель. Приведенный мною циркуляръ министерства по своему общему характеру сходенъ съ органическимъ декретомъ; онъ, подобно послѣднему, грѣшитъ своей совершенной неопредѣленностью; общіе совѣты, которые правительство дастъ литераторамъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются совершенно неосязательными — они только сбиваютъ съ толку; что можно писать, чего нельзя писать — это все-таки остается неизвѣстнымъ; поэтому тотъ редакторъ, который желаетъ оградить себя отъ всякой отвѣтственности и чувствовать себя совершенно спокойнымъ, долженъ принимать самыя преувеличенныя, часто совершенно излишнія предосторожности. Вотъ на что и разсчитываетъ правительство; вотъ задняя мысль, побуждающая его издавать неопредѣленныя узаконенія и разсылать циркуляры, не имѣющіе осязательнаго смысла.

Послѣ окончанія итальянской кампаніи, 16 августа 1858 года послѣдовали другъ за другомъ два милостивые декрета: во-первыхъ, объявлена полная амнистія «всѣмъ лицамъ, осужденнымъ за политическія преступленія и проступки и изгнаннымъ изъ Франціи въ видахъ общественной безопасности», и во-вторыхъ, «всѣ предостереженія, данныя журналамъ въ силу декрета 17-го февраля 1852 года, объявлены недѣйствительными».

Эти два милостивые декрета имѣютъ свою обратную сторону; правительству очень хотѣлось привлечь во Францію тѣхъ политическихъ изгнанниковъ, которые за границей были опаснѣе, чѣмъ въ отечествѣ, потому что за границей они могли писать и печатать такія вещи, которыя во Франціи не нашли бы себѣ ни издателя, ни типографщика. За личиною великодушія кроется такимъ образомъ очень вѣрный политическій разсчетъ. Второе милостивое распоряженіе, т. е. уничтоженіе уже данныхъ предостереженій, тоже объясняется довольно просто:

многіе журналы имѣли уже по два предостереженія; запретить ихъ за третій проступокъ было неудобно, потому что провинившихся было слишкомъ много, а возбуждать безъ особенной необходимости вниманіе и неудовольствіе общества непріятно даже такому правительству, которое не придаетъ значенія расположенію гражданъ; если же третій проступокъ журналовъ не повелъ бы за собою запрещенія, тогда это обстоятельство могло ослабить нравственное вліяніе предостереженій; стало быть, запретить нѣсколько журналовъ разомъ было неудобно, оставить ихъ безнаказанными — также неудобно; оставалось только простить данныя avertissements и придать этому акту прощенія какъ можно больше торжественности. Отчего же въ самомъ дѣлѣ не удивить публику великодушіемъ и милосердіемъ, когда это великодушіе и милосердіе не стоитъ ни копейки и даже нисколько не уменьшаетъ силы правительства? Вѣдь любой изъ прощенныхъ журналовъ могъ быть закрытъ по распоряженію административной власти на другой же день послѣ милостиваго прощенія, если только онъ своимъ послѣдующимъ поведеніемъ показалъ бы недостатокъ признательности и благонадежности.

Въ сущности положеніе журналистики нисколько не улучшилось отъ этой милости; литераторы конечно поняли это и дали это замѣтить правительству.

Послѣ окончанія итальянской войны на очередь выдвинулся вопросъ о папствѣ; французскіе публицисты начали разрабатывать его въ брошюрахъ и въ журнальныхъ статьяхъ. Журналы клерикальной партіи старались обвинить Наполеона въ недостаткѣ благочестія и въ неуваженіи къ правамъ папы; эти попытки побудили правительство обратить особенное вниманіе на статьи, писавшіяся подъ вліяніемъ духовенства; это особенное вниманіе выразилось въ томъ, что на клерикальные журналы посыпались предостереженія; затѣмъ послѣдовали болѣе серьезныя мѣры. — L'Univers былъ запрещенъ.

«Религіозная журналистика, писалъ по этому поводу министръ внутреннихъ дѣлъ въ докладѣ императору, забыла, что ея дѣло — умѣрять страсти и мирить враждующія стороны. Журналъ l'Univers въ особенности, не обращая вниманія на сообщаемыя ему предостереженія, каждый день доходитъ до послѣднихъ предѣловъ буйства; по его милости возникаютъ пылкія полемики, въ которыхъ, къ сожалѣнію, его выходки вызываютъ рѣзкія возраженія, служащія соблазномъ и огорченіемъ для всѣхъ добрыхъ гражданъ». Теряя l'Univers, французская пресса потеряла конечно очень много, но тѣмъ не менѣе, въ этомъ случаѣ, какъ и во всѣхъ другихъ, правительство Наполеона осталось вѣрнымъ своему основному принципу, отвращенію къ рѣзко проведеннымъ идеямъ и къ крайнимъ выводамъ, сдѣланнымъ въ ту или другую сторону. Въ такой странѣ, какъ Франція, при томъ правительствѣ, которымъ она пользуется уже слишкомъ десять лѣтъ, преданность интересамъ католической религіи должна конечно считаться признакомъ благонамѣренности, потому что католицизмъ, какъ извѣстно, вовсе не поощряетъ развитія свободной мысли и вовсе не оправдываетъ возстанія человѣческаго разума противъ авторитета преданій и существующихъ учрежденій. Не смотря на то, правительство Наполеона смотритъ недоброжелательно на ревностныхъ католиковъ; ревностный католицизмъ есть все-таки сильное убѣжденіе, не смотря на всю свою ветхость и мертвенность; а сильное убѣжденіе всякаго рода не можетъ быть терпимо при томъ порядкѣ вещей, который господствуетъ въ современной Франціи; фанатики — все-таки люди безпокойные; они мѣшаютъ и противодѣйствуютъ развитію крайней централизаціи; какъ бы они ни были безтолковы, съ ними все-таки не такъ легко управляться, какъ съ людьми совершенно безличными и равнодушными вслѣдствіе своей посредственности. До свѣдѣнія министра внутреннихъ дѣлъ дошло извѣстіе, что въ департаментахъ распространяются стараніями духовенства разныя брошюры, агитирующія въ пользу папы; тотчасъ къ префектамъ былъ разосланъ циркуляръ, въ которомъ напоминалось, что законъ запрещаетъ раздавать или продавать брошюры безъ разрѣшенія мѣстныхъ властей, и что нарушители этого правила подвергаются тюремному заключенію срокомъ отъ одного мѣсяца до полугода и денежному штрафу отъ 20 до 500 франковъ. Тонъ этого циркуляра даетъ замѣтить, что правительство не желаетъ давать спуска служителямъ церкви. «Въ этихъ случаяхъ, гласитъ окончаніе циркуляра, правительство должно будетъ настолько удаляться отъ своего обычнаго милосердія, на сколько это будетъ необходимо для укрощенія взволнованныхъ умовъ; поэтому я требую отъ васъ въ одно и то же время умѣренности и твердости!»

Обуздывая такимъ образомъ излишнюю ревность пастырей и служителей церкви, правительство въ то же время не допускаетъ, чтобы частныя лица высказывали печатно критическія замѣчанія о религіи, о церкви и о духовенствѣ. Процессъ Прудона, происходившій въ 1858 году, показываетъ ясно, что философская мысль свободна во Франціи настолько, насколько она держится въ области чистыхъ отвлеченностей; вы можете разсуждать сколько вашей душѣ угодно о субъективности и объективности, объ идеальномъ и трансцендентальномъ, но если вы вздумаете съ философской точки зрѣнія посмотрѣть на существующую дѣйствительность, на осязательныя явленія и учрежденія, то вамъ тотчасъ

же придется имѣть дѣло не съ литературными оппонентами, а съ императорскимъ прокуроромъ и мѣстнымъ трибуналомъ исправительной полиціи.

22-го апрѣля 1858 года, въ Парижѣ, у братьевъ Гарнье поступила въ продажу книга Прудона: «О справедливости въ революціи и въ церкви», состоящая изъ трехъ томовъ и заключающая въ себѣ 1.700 страницъ убористаго шрифта; 27-го апрѣля полиція получила отъ императорскаго прокурора приказаніе остановить распространеніе этой книги; 28-го книга была захвачена въ полицію; 2-го іюня судъ исправительной полиціи приговорилъ Прудона къ трехлѣтнему тюремному заключенію и къ уплатѣ штрафа въ 4.000 франковъ; книгу его признали вредной и продажу ея запретили; издатель Гарнье и типографщикъ Бурдье также признаны виновными: перваго посадили въ тюрьму на одинъ мѣсяцъ, второго—на 15 дней; съ того и съ другого взыскали по 1.000 франковъ штрафа. Но правительство этимъ не удовлетворилось; находя, что Гарнье недостаточно наказанъ, оно перенесло дѣло въ высшую инстанцію, которая приговорила подсудимаго къ четырехмѣсячному тюремному заключенію и къ штрафу въ 4.000 франковъ.

Осужденные могли разсчитывать на поддержку общественнаго мнѣнія, которое вообще не расположено смотрѣть строго на политическія преступленія, и которое, по правдѣ сказать, не понимаетъ, чтобы та или другая мысль могла быть преступной; но правительство постаралось отрѣзать имъ удобнѣйшій путь къ сношенію съ обществомъ: органическій декретъ запретилъ журналамъ печатать отчеты о процессахъ по дѣламъ печати; осужденнымъ оставался еще одинъ способъ: законъ 1819 года, не отмѣненный послѣдующими законодательствами, позволялъ подсудимому написать и напечатать защитительный мемуаръ. Текстъ закона говорилъ положительно, что напечатаніе этого мемуара не можетъ подать повода къ новымъ преслѣдованіямъ и нисколько не увеличиваетъ вины подсудимаго.

Прудонъ написалъ свою защиту, но парижскіе типографщики отказались печатать ее. «Правительство предупредило насъ, отвѣчали они ему, что все, что̀ выходитъ изъ-подъ вашего пера, опасно. Мы ничего не будемъ печатать для васъ безъ разрѣшенія прокурора». Прудонъ обратился тогда къ генеральному прокурору; онъ напомнилъ ему, что статья 23 закона 17-го мая 1819 года дозволяетъ печатаніе защиты безъ всякихъ стѣсненій, и просилъ его дать формальное свидѣтельство, удостовѣряющее типографщика въ томъ, что для него не можетъ быть никакой опасности. Чтобы показать прокурору умѣренность своихъ требованій, Прудонъ соглашался даже напечатать свой мемуаръ въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ. Эта уступка не подвинула впередъ дѣла Прудона.

— Я вамъ не могу дать никакого свидѣтельства, отвѣчалъ ему прокуроръ; назначать вамъ количество экземпляровъ я также не имѣю права. У васъ есть ваше право, у насъ есть свое право. Поступайте, какъ знаете, принимая на себя рискъ и отвѣтственность.

Прудонъ готовъ былъ рисковать собой, но одной готовности было мало. Надо было найти типографщика, а въ Парижѣ не нашлось охотниковъ за чужое дѣло платить штрафъ и сидѣть въ тюрьмѣ.

Прудонъ напечаталъ свой мемуаръ въ Брюсселѣ, но это тоже не помогло. Его книжку не впустили во Францію, и приговоръ не былъ измѣненъ.

Дѣйствія французскаго правительства въ отношеніи къ Прудону находятся въ совершенной гармоніи съ порядкомъ вещей, водворившимся съ 1852 года. Удивляться нечему, негодовать смѣшно, потому что негодованіе ничего не разъясняетъ. Посмотримъ лучше, въ чемъ именно заключается въ данномъ случаѣ отступленіе правительства отъ законности. Два обстоятельства прежде всего бросаются въ глаза: во-первыхъ, книгу захватили черезъ пять дней послѣ ея поступленія въ продажу; во-вторыхъ, типографщикамъ запретили принимать отъ Прудона для напечатанія тотъ мемуаръ, который законъ положительно позволяетъ обнародовать каждому гражданину, обвиненному за преступленіе или проступокъ, совершонный путемъ печати. Первое обстоятельство доказываетъ, что книга была захвачена по подозрѣнію или, вѣрнѣе, по предубѣжденію правительства противъ личности автора. Въ пять дней невозможно прочесть 1.700 страницъ серьезнаго сочиненія, особенно если читатель имѣетъ добросовѣстное желаніе отдать себѣ отчетъ въ основной идеѣ книги и обсудить вліяніе этой идеи на умы согражданъ и современниковъ. Если же приказаніе захватить книгу Прудона было отдано тогда, когда еще убѣжденіе въ дѣйствительности ея вреднаго вліянія не могло составиться въ умѣ коронныхъ чиновниковъ, то очевидно, что правительство поступало съ Прудономъ не какъ съ гражданиномъ, заподозрѣннымъ въ преступленіи, а какъ съ личнымъ врагомъ.

Второе обстоятельство обнаруживаетъ намъ ту же самую непримиримую и притомъ трусливую ненависть правительства къ Прудону. У него отнимаютъ то средство, которое по закону предоставляется каждому подсудимому; всѣ мысли Прудона заранѣе объявляются опасными; правительство заранѣе предупреждаетъ типографщиковъ, чтобы потомъ, въ случаѣ появленія какой-нибудь новой книги опаснаго писателя, имѣть возможность взыскать съ провинившагося типографщика вдвое строже, какъ съ человѣка сознательно и преднамѣренно идущаго напере-

коръ желаніямъ административной власти. Подвергая отвѣтственности типографщика, правительство фактически возстановляетъ предупредительную цензуру, и притомъ возстановляетъ ее въ самомъ тяжеломъ видѣ. Цензоръ, какъ чиновникъ отъ правительства, не имѣетъ права сказать писателю: я не хочу читать вашу рукопись, а типографщикъ всегда можетъ сказать: я не хочу печатать ваше сочиненіе, точно такъ же, какъ всякій купецъ можетъ сказать, что не хочетъ продать вамъ тотъ или другой товаръ, точно такъ же, какъ всякій домовладѣлецъ можетъ отказать вамъ въ квартирѣ. Конечно, съ другой стороны, цензоръ, поставленный отъ правительства, можетъ зачеркнуть всю представленную рукопись, но, поступая такимъ образомъ, онъ долженъ по крайней мѣрѣ найти объясненіе своему поступку; вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ сказать автору: «я запрещаю вашу статью, потому что ваша фамилія — Прудонъ». Въ благоустроенномъ государствѣ можно жаловаться на самоуправство чиновника, но жаловаться на типографщика, не желающаго принять отъ васъ заказъ — это все равно, что жаловаться на купца, съ которымъ вы не сошлись въ цѣнѣ товара. При существованіи предупредительной цензуры правительство Наполеона III могло бы значительно ослаблять дѣятельность Прудона; но совершенно запретить ему писать — это такой подвигъ, на который оно можетъ быть не рѣшилось бы, боясь громкаго и смѣшного скандала. Когда же будутъ запуганы типографщики, тогда правительство можетъ запретить вамъ писать, нисколько не компрометируя себя дѣйствіями рѣзкаго произвола; стоитъ только оштрафовать двухъ, трехъ типографщиковъ — и ваша литературная дѣятельность окажется прерванною, потому что ни одинъ типографщикъ не захочетъ изъ-за васъ разориться и сидѣть въ тюрьмѣ. Вы можетъ быть захотите открыть свою собственную типографію? Но вы забываете, что для этого надо взять патентъ отъ правительства, которое можетъ отказать вамъ, не выходя изъ предѣловъ закона.

Словомъ, если сравнивать между собою двѣ системы законовъ о печати — карательную и предупредительную, то безъ всякаго сомнѣнія надо будетъ отдать предпочтеніе карательной, но при этомъ надо будетъ замѣтить, что французское законодательство ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть названо карательнымъ.

Карательнымъ, по настоящему, можетъ быть названо только такое законодательство, которое предоставляетъ каждому гражданину полную возможность писать и печатать что ему угодно, и потомъ взыскиваетъ съ него за нарушеніе извѣстныхъ правилъ. Когда отвѣтственность ограничивается личностями писателя и издателя, тогда законодательство остается еще карательнымъ, потому что издатель, какъ человѣкъ, затрачивающій на книгу свой капиталъ и содѣйствующій такимъ образомъ предпріятію автора, можетъ быть признанъ его нравственнымъ соучастникомъ. Кто же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ тратить свои деньги на неизвѣстное ему дѣло? Если же издатель знаетъ автора и характеръ его книги, то онъ можетъ быть названъ его единомышленникомъ. Издатель можетъ получить отъ продажи книги выгоду, слѣдовательно онъ можетъ дѣлить съ авторомъ опасности предпріятія. Взысканія съ издателей могутъ только уничтожить породу мелкихъ спекуляторовъ, издающихъ такія книги, о которыхъ они сами не имѣютъ понятія. Слѣдовательно, налагая взысканія на издателей, законодательство не перестаетъ быть карательнымъ, потому что оно ничѣмъ не усложняетъ положеніе писателя, желающаго печатать свой трудъ. Если у писателя есть свободныя деньги, онъ самъ можетъ быть издателемъ; если у него нѣтъ денегъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ обратиться къ другому лицу и поставить себя въ нѣкоторую зависимость отъ него; это другое лицо конечно разочтетъ цѣну предпріятія и его возможныя выгоды; сдѣлавъ этотъ приблизительный разсчетъ, оно рѣшится издавать или не издавать предлагаемую книгу; если это другое лицо откажетъ автору, то авторъ можетъ обратиться къ любому изъ своихъ знакомыхъ, имѣющихъ свободный капиталъ и сочувствующихъ его предпріятію; каждый изъ этихъ знакомыхъ можетъ быть издателемъ, потому что на это не надо ни особеннаго разрѣшенія правительства, ни особеннаго заведенія. Но еслибы напримѣръ только одни парижскіе трактирщики имѣли право издавать книги, или еслибы человѣкъ, желающій издать книгу, долженъ былъ сначала попросить позволенія у правительства, тогда конечно законодательство перестало бы быть чисто карательнымъ, потому что тогда правительство имѣло бы возможность препятствовать обнародованію того или другого сочиненія; оно могло бы сдѣлать это, или запугивая извѣстнымъ образомъ парижскихъ трактирщиковъ, или же отказывая въ необходимомъ позволеніи тѣмъ людямъ, которые пожелаютъ сдѣлаться издателями.

Именно такъ и поступаетъ правительство съ типографщиками. Оно знаетъ, что типографщикъ получаетъ просто деньги за работу и что онъ, слѣдовательно, не заинтересованъ лично въ успѣхѣ книги; еслибы на немъ не лежала отвѣтственность, то онъ печаталъ бы безъ разбору все, что ему заказываютъ, точно такъ же, какъ напримѣръ оружейникъ продаетъ вамъ ружье или пистолетъ, не освѣдомляясь о томъ, какъ вы намѣрены пользоваться этими орудіями. Типографщикъ есть содержатель мастерской; онъ — исполнитель, не заинтересованный въ успѣхѣ предпріятія; какъ бы хорошо

ни пошла книга, онъ все-таки получитъ ту же условную плату, которую получилъ бы въ случаѣ совершенной неудачи; спрашивается, ради чего же типографщикъ рѣшится подвергать себя малѣйшему риску? Съ одной стороны, правительство представляетъ ему въ перспективѣ судъ, тюрьму и штрафъ; съ другой стороны, писатель и издатель предлагаютъ ему обыкновенную плату за трудъ. Всѣ выгоды типографщика побуждаютъ его разсмотрѣть очень внимательно, нѣтъ-ли какой нибудь опасности? Если есть хоть тѣнь опасности, типографщикъ откажется отъ предлагаемой работы; такъ поступитъ и другой, и третій, и всѣ типографщики. Окажется, что писатель и издатель остаются съ своимъ отвлеченнымъ правомъ печатать все, что̀ угодно. Книга остается ненапечатанной. А кто же помѣшалъ ея печатанію? Конечно не типографщики; типографщикамъ все равно, что̀ ни печатать. Помѣшало правительство, которое грозитъ наказаніемъ не только писателю, не только людямъ, обнаруживающимъ нравственное сочувствіе его идеямъ, но и тѣмъ ремесленникамъ, которые приводятъ его идею въ исполненіе и работаютъ по его заказу. А если правительство мѣшаетъ напечатанію книги, то оно очевидно измѣняетъ чисто карательной системѣ.

Если подвергнуть взысканію типографщика, который ни душой, ни тѣломъ не участвуетъ въ идеѣ автора, то отчего же не наказывать фабриканта бумаги, на которой напечатана вредная книга? Отчего не взыскивать съ каждаго отдѣльнаго наборщика? Отчего не судить переплетчика; брошюрующаго сочиненіе, несогласное съ видами правительства? Существеннаго различія нѣтъ между типографщикомъ и остальными ремесленниками, содѣйствующими сооруженію книги. Если взыскивать съ типографщика, то нѣтъ причины ограничиваться имъ однимъ. Эта непослѣдовательность французскаго законодательства объясняется именно тѣмъ, что правительство старается замаскировать карательными формами предупредительный элементъ своихъ дѣйствій. Правительство ненавидитъ самую свободу мысли; его тревожитъ самое безвредное проявленіе этой свободы; оно боится простыхъ выводовъ здравой логики, потому что его существованіе, его происхожденіе, его дѣйствія во всѣхъ отношеніяхъ противорѣчатъ этимъ простымъ выводамъ. Поэтому правительство желаетъ обуздывать, а не наказывать. Ему важно, чтобы мысль не распространялась въ обществѣ, а не то, чтобы мыслитель посидѣлъ въ тюрьмѣ или заплатилъ штрафъ. Процессъ, тюрьма, штрафъ—все это лишняя огласка, все это нарушаетъ дремоту общества, которую правительство старается поддержать во что̀ бы то ни стало. Поэтому карательная система не удовлетворяетъ требованіямъ французскаго правительства. Возвратиться къ предупредительной системѣ оно какъ-то совѣстится; вѣроятно ему памятно то впечатлѣніе, которое постоянно производило на французское общество учрежденіе предупредительной цензуры; памятно и то обстоятельство, что Людовикъ-Филиппъ, вступая на престолъ, торжественно обѣщалъ націи, что цензура никогда не будетъ возстановлена.

Сочувствуя въ глубинѣ души предупредительной системѣ и между тѣмъ не рѣшаясь привести ее въ дѣйствіе, правительство Наполеона III изобрѣло какую-то смѣшанную систему, чрезвычайно удобную для администраціи и невыносимо тяжелую для писателей. Выгоды чисто карательной системы заключаются для писателей въ томъ, что они, рискуя или жертвуя собою, могутъ пустить въ ходъ самую смѣлую идею. Выгода чисто предупредительной системы заключается также для писателей въ томъ, что они, по настоящему, ни за что не отвѣчаютъ и ничѣмъ не рискуютъ. Система Наполеона отнимаетъ у писателей выгоды обѣихъ системъ: писатель за все отвѣчаетъ и, не смотря на то, ничего не можетъ провести въ общество помимо воли правительства. Было бы вовсе не удивительно, еслибы французскіе писатели теперь попросили Наполеона учредить цензуру; тогда они по крайней мѣрѣ пользовались бы безнаказанностью и могли бы быть совершенно спокойны. Когда Прудонъ обратился къ генеральному прокурору съ просьбой о свидѣтельствѣ, удостовѣряющемъ типографщика въ отсутствіи опасности; когда онъ, чтобы получить это свидѣтельство, соглашался ограничить количество экземпляровъ, смотря по желанію прокурора, тогда Прудонъ очевидно желалъ, чтобы прокуроръ, оберегая и успокоивая типографщика, принялъ на себя ту роль, которую при существованіи предупредительной цензуры играетъ цензоръ. Прокуроръ, какъ мы видѣли, отказался отъ этой роли, онъ сказалъ Прудону, что умываетъ руки въ его дѣлѣ, и сочиненіе Прудона осталось ненапечатаннымъ. Значитъ, цензура типографіи запретила книгу, а между тѣмъ и авторъ, и издатель, и прежній типографщикъ попали подъ судъ, подъ штрафъ и въ тюрьму.

Все это вовсе не доказываетъ превосходства предупредительной системы надъ карательною. Наша литература до сихъ поръ находилась въ невыгодныхъ условіяхъ; это сознавали всѣ наши честные писатели; въ этомъ убѣдилось и правительство, рѣшившееся сдѣлать существенныя преобразованія въ нашемъ законодательствѣ о печати. Занявшись составленіемъ новыхъ правилъ, правительство пригласило литературу заявить свое мнѣніе и освѣтить по возможности вопросъ историческимъ и сравнительнымъ обзоромъ законовъ о печати, существующихъ въ другихъ образованныхъ государствахъ Европы. Настоящій очеркъ былъ вызванъ этимъ приглашеніемъ.

Историческая часть моего обзора окончена; читатель имѣетъ понятіе о положеніи французской прессы въ настоящее время; утомлять его вниманіе перечнемъ предостереженій, пріостановокъ, запрещеній—я считаю излишнимъ: это не усилитъ впечатлѣнія; теперь остается только сдѣлать практическій выводъ; остается сказать, какъ я смотрю на исторію французскаго законодательства о печати, какимъ законамъ я сочувствую, какіе законы было бы пріятно видѣть у насъ въ Россіи и испытывать на самомъ себѣ. Я очень хорошо знаю, что мой практическій выводъ на самомъ дѣлѣ не можетъ имѣть никакого практическаго значенія, но я думаю, что каждый мыслящій и пишущій человѣкъ имѣетъ право сказать свое искреннее слово, когда рѣшается такое дѣло, отъ котораго будетъ зависѣть во многихъ отношеніяхъ развитіе нашей литературы и движеніе нашей мысли. Поэтому я буду говорить безъ утайки: изъ всѣхъ законовъ, смѣнившихся во Франціи со временъ первой реставраціи до нынѣшняго дня, нѣтъ ни одного такого, въ которомъ бы не скрывалась задняя мысль правительства, враждебная дѣйствительнымъ интересамъ національной мысли. Истинная терпимость остается совершенно неизвѣстною всѣмъ французскимъ правительствамъ, быстро слѣдовавшимъ другъ за другомъ. Каждое правительство наказываетъ литератора за его мысль; каждое правительство принимаетъ предосторожности противъ журналистики, какъ противъ враждебной партіи. Залоги и штемпельный сборъ придумываются для того, чтобы уменьшить число журналовъ, чтобы возвысить ихъ цѣну и чтобы по возможности не пропустить ихъ въ низшіе слои націи.

Распредѣленіе отвѣтственности между авторомъ, издателемъ, типографщикомъ и отвѣтственнымъ редакторомъ (если дѣло идетъ о журналѣ) имѣетъ цѣлью запугать пишущихъ людей; въ основаніи всѣхъ этихъ учрежденій лежитъ глубокое недовѣріе къ литературѣ, а недовѣріе къ литературѣ равносильно недовѣрію ко всей мыслящей части націи. Изъ этого основного чувства развиваются всѣ стѣснительныя ухищренія, всѣ замысловатыя изобрѣтенія, всѣ систематическія искаженія существовавшихъ законовъ. Если правительство смотритъ на литературу, какъ на своего естественнаго и непримиримаго врага, тогда оно конечно извратитъ самые разумные законы и сумѣетъ уничтожить самыя непоколебимыя гарантіи. Если же правительство чувствуетъ себя способнымъ довѣриться честности писателей, если оно знаетъ, что здравый смыслъ и нравственное чувство читающей публики представляютъ самый надежный оплотъ противъ преднамѣренной клеветы или противъ легкомысленной болтовни писателей менѣе честныхъ или менѣе развитыхъ, тогда это правительство не нуждается въ особомъ законодательствѣ противъ печати. Во Франціи въ нынѣшнемъ столѣтіи не было такого правительства; зато въ теченіе шестидесяти лѣтъ не было ни одного счастливаго года ни для народа, ни для правительства. Правительство и нація ненавидѣли и боялись другъ друга; вслѣдствіе этого техническая часть управленія доведена до виртуозности; въ законодательствѣ все предусмотрѣно: всѣ лазейки тщательно законопачены; вотъ почему французскіе законы о печати могутъ показаться очень совершенными по своей внѣшней техникѣ. На самомъ же дѣлѣ это мнимое совершенство указываетъ только на крайнюю напряженность отношеній, господствовавшихъ между законодателями и націей. Правительство въ каждой частицѣ національной свободы видѣло только поводъ къ злоупотребленіямъ; нація въ каждомъ распоряженіи административной и законодательной власти видѣла только попытку отнять у нея какія-нибудь права. Правительство съ боязливымъ вниманіемъ предусматривало и оговаривало всѣ возможные случаи нарушенія закона; каждому изъ этихъ нарушеній была назначена своя такса по возможности высокая; каждый законъ о печати заключалъ въ себѣ подробный прейскурантъ преступленій и проступковъ. Нація поневолѣ должна была искать возможности ускользнуть отъ закона, вывернуться изъ частыхъ петель этой юридической сѣти. Законы были такъ составлены, что остаться правымъ передъ ними и быть въ то же время честнымъ и умнымъ писателемъ было невозможно; оставалось только грѣшить и не попадаться, нарушать законъ и избѣгать наказанія.

Очень понятно, что такому неестественному дѣлу сочувствовать невозможно. Поэтому повторяю еще разъ, что насъ не удовлетворяетъ ни одна фраза французскаго законодательства по дѣламъ печати. Если же изъ многихъ золъ выбирать меньшее, тогда конечно придется отдать предпочтеніе законамъ 1819 года. По этимъ законамъ литературныя преступленія судились судомъ присяжныхъ: административныхъ мѣръ и вмѣшательства администраціи въ ходъ процесса не было; наказанія ограничивались штрафами и тюремными заключеніями; пріостановокъ и запрещеній не полагалось; залогъ считался необходимымъ для изданія журнала, и это обстоятельство было конечно важнымъ неудобствомъ и сильнымъ тормазомъ въ развитіи журналистики; требованіе залога оправдывается въ законѣ тѣмъ аргументомъ, что правительству необходимо обезпечить исправную плату налагаемыхъ штрафовъ. Этотъ аргументъ оказывается несостоятельнымъ предлогомъ; обезпеченіемъ для правительства можетъ служить личность редактора и весь основной фондъ журнала; кто приступаетъ къ изданію журнала, тотъ конечно имѣетъ капиталъ и самъ вмѣстѣ съ этимъ капиталомъ находится въ рукахъ прави-

тельства. Зачѣмъ же ослаблять еще этотъ капиталъ, отбирая часть его въ государственное казначейство? Отвѣтъ не заставитъ себя ждать: затѣмъ, чтобы только богатые люди, которые по самому своему положенію расположены быть консерваторами, могли предпринимать изданіе журнала. Въ требованіи залога проглядываетъ та глубокая неискренность французскаго правительства, которая проходитъ чрезъ всѣ его законодательныя мѣры, касающіяся прессы. Въ законахъ 1819 года есть такія черты, которымъ невозможно сочувствовать, но при всемъ томъ онѣ оказываются сноснѣе предыдущихъ и послѣдующихъ положеній.

Къ сожалѣнію, эти идеи не долго продержались въ полной чистотѣ своей. Насильственная смерть герцога беррійскаго воскресила предупредительную цензуру, усилила мѣры строгости и увеличила количество преступленій и проступковъ, предусмотрѣнныхъ закономъ. Положеніе прессы сдѣлалось немного легче послѣ 1830 года; первое пятилѣтіе царствованія Людовика-Филиппа было можетъ быть самой свѣтлой полосой въ исторіи французской журналистики нынѣшняго столѣтія. Предупредительныхъ мѣръ не было; литературныя преступленія судились присяжными; коронные чиновники отличались, правда, особенной ревностью въ преслѣдованіи отдѣльныхъ выраженій и непріязненныхъ тенденцій, но правительство не нарушало естественнаго хода правосудія; присяжные по совѣсти объявляли писателей виновными или невиновными; учрежденія были чисто карательныя, и правительство довольствовалось штрафами и тюремными заключеніями, не прибѣгая къ пріостановкамъ и запрещеніямъ. 1836 годъ ознаменованъ усиленіемъ строгости; залоги значительно повысились; штрафы и тюремныя заключенія возросли до громадной цифры; кромѣ того, судилища получили право пріостанавливать изданія на время до 4-хъ мѣсяцевъ. Какъ только явились пріостановки, такъ законодательство перестало быть чисто карательнымъ. Цѣль пріостановокъ заключается въ томъ, чтобы ослабить дѣйствіе журнала, который правительство признаетъ опаснымъ. Ослаблять дѣйствіе журнала—значитъ отнимать у его сотрудниковъ возможность высказать передъ читающимъ обществомъ свои идеи; отнимать у кого бы то ни было возможность высказываться—значитъ предупреждать то преступленіе, которое онъ можетъ сдѣлать, а не наказывать преступленіе уже сдѣланное. Если правительство опредѣляетъ за литературное преступленіе огромный штрафъ, тяжелое тюремное заключеніе, даже смертную казнь, то оно все еще остается въ предѣлахъ карательной системы; если-же оно старается отнять у гражданина возможность писать и печатать, тогда оно начинаетъ предупреждать и косвеннымъ образомъ возстановляетъ цензуру.

Революція 1848 года принесла печати очень мало пользы; свобода журналистики была очень непродолжительна; уже съ августа 1848 года возстановлены залоги; потомъ стѣсненія идутъ постоянно crescendo и наконецъ достигаютъ своего апогея въ началѣ 1852 года, въ день изданія знаменитаго органическаго декрета. Съ этой минуты нечего говорить о свободѣ печати во Франціи; пресса оказывается безусловно подчиненной благоусмотрѣнію полицейской власти; журналы пріостанавливаются и запрещаются, книги захватываются и конфискуются безъ суда; въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда правительство считаетъ нужнымъ для виду подвергнуть суду провинившагося литератора—его судятъ не присяжные, а коронные судьи. Стало быть, о гарантіяхъ для личности и собственности писателя нечего и толковать. Съ мыслителемъ, старающимся добраться до истины, обращаются во Франціи, по выраженію Прудона, какъ съ уличнымъ буяномъ, нарушающимъ общественный порядокъ. Его судятъ въ полицейскомъ судѣ, безъ присяжныхъ, безъ обнародованія процесса. Подвергаясь осужденію, онъ увлекаетъ за собою въ бѣду несчастнаго издателя и совершенно невиннаго типографщика. Терпя гоненіе за чужую мысль, издатель и типографщикъ поневолѣ начинаютъ присматривать за писателемъ и останавливать тѣ проявленія идеи, которыя кажутся имъ черезчуръ сильными для нашего изнѣженнаго вѣка. Знаменитый поэтъ, талантливый ученый, смѣлый публицистъ попадаютъ въ зависимость, подъ руководство двухъ лавочниковъ, не имѣющихъ понятія о томъ предметѣ, о которомъ говорится въ книгѣ. Читающая публика беретъ въ руки произведенія Эрнеста Ренана, Жана Мишле, П. Ж. Прудона и не знаетъ, что эти извѣстные ученые имѣли каждый по два непрошенныхъ и очень мало извѣстныхъ сотрудника. Это мѣсто надо смягчить, говорилъ какой-нибудь книгопродавецъ Гарнье или Дидье; эта мысль слишкомъ смѣла, замѣчалъ типографщикъ, котораго фамилію вѣроятно и не слыхала публика. Писатель пожимаетъ плечами, споритъ, злится, и все таки уступаетъ; Ренанъ, Мишле, Прудонъ повинуются простому типографщику, и повинуются не въ выборѣ шрифта, а въ изложеніи своихъ любимыхъ идей, своихъ задушевныхъ убѣжденій.

Да, намъ не въ чемъ позавидовать французскимъ писателямъ. Заимствовать намъ что-нибудь изъ теперешнихъ французскихъ законовъ о печати значило бы убить въ самомъ зародышѣ нашу формирующуюся мысль, нашу пробуждающуюся энергію, наши молодыя силы, которыя мы съ радостью собираемся истратить для общаго блага нашихъ соотечественниковъ.

1863.

ЗАРОЖДЕНІЕ КУЛЬТУРЫ.

I.

Исторія человѣчества представляетъ намъ безконечное разнообразіе лицъ и событій, идей и стремленій, политическихъ системъ и нравственныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразіемъ формъ кроются и медленно развиваются двѣ основныя потребности человѣка, двѣ такія потребности, безъ удовлетворенія которыхъ человѣкъ не могъ бы ни улучшать свое матеріальное и интеллектуальное положеніе, ни даже поддерживать бренное существованіе личности и породы. Первая изъ этихъ потребностей заключается въ томъ, что человѣкъ долженъ предохранять свое тѣло отъ разрушительныхъ вліяній окружающей природы: ему надо принимать пищу для того, чтобы вознаграждать неизбѣжную убыль своего организма; надо покрывать тѣло, чтобы сохранять въ немъ необходимое количество животной теплоты; надо оберегать это тѣло отъ слишкомъ быстрыхъ перемѣнъ температуры и отъ вреднаго дѣйствія сырости, зноя и холода; словомъ, человѣку необходимо завоевать себѣ на землѣ квартиру, столъ, одежду и разныя другія матеріальныя обезпеченія жизни. Но эта первая потребность можетъ быть удовлетворена только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы такъ или иначе удовлетворялась другая потребность, также чрезвычайно важная, хотя и не такъ рѣзко бросающаяся въ глаза. Эта вторая потребность состоитъ въ томъ, что человѣкъ долженъ сближаться съ человѣкомъ, помогать ему въ его предпріятіяхъ и въ свою очередь находить въ немъ естественнаго помощника и союзника. Двѣ основныя потребности человѣка удовлетворялись въ различной степени въ теченіе тѣхъ тысячелѣтій, о которыхъ сохранились лѣтописи или преданія; чѣмъ полнѣе удовлетворялись онѣ, тѣмъ удобнѣе жилось человѣку; чѣмъ сильнѣе, напротивъ того, увлекались люди постороннимъ цѣлями и искусственными интересами, тѣмъ мрачнѣе и тягостнѣе становилась участь огромнаго трудящагося большинства.

Лѣтописи и легенды наполнены разсказами о великихъ подвигахъ завоевателей. На равнинахъ Египта возвышаются до сихъ поръ колоссальныя пирамиды. Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что густыя массы людей встрѣчаются съ другими густыми массами такихъ же людей, и что естественные союзники и помощники истребляютъ другъ друга съ особеннымъ удовольствіемъ. Во второмъ случаѣ мы видимъ, что люди борются съ внѣшней природой и побѣждаютъ страшныя трудности и препятствія для того, чтобы обтесать и сложить кучу камней, которая не дастъ имъ ни пищи, ни одежды, ни жилища.

Въ томъ и въ другомъ случаѣ дѣятельность людей очевидно идетъ въ разрѣзъ съ ихъ основными потребностями; но, не смотря на то, эти самыя потребности, основанныя на великихъ и незыблемыхъ законахъ природы, даютъ себя чувствовать тѣмъ самымъ людямъ, которые дѣйствуютъ имъ наперекоръ. Во-первыхъ, идея завоевателя и идея строителя пирамиды осуществляется не иначе, какъ при содѣйствіи многихъ людей, соединяющихъ свои усилія для достиженія одной общей цѣли. Стало быть, потребность человѣка сближаться съ другимъ человѣкомъ остается въ полной силѣ. Во-вторыхъ, воины завоевателя и каменщики строителя, не имѣя возможности добывать себѣ пищу собственнымъ трудомъ, должны получать пищу, добытую другими людьми. Такимъ образомъ, другая потребность человѣка, потребность бороться съ окружающей природой и оспаривать у ней тѣ матеріалы, которые необходимы для поддержанія жизни, остается точно такъ-же въ полной силѣ. Ни военный геній Александра Македонскаго, ни суровая воля египетскаго фараона Хеопса не могутъ ни на одно мгновеніе пріостановить дѣйствіе великихъ законовъ природы. Цѣли того и другого, составляющія ихъ личную собствен-

ность, достигаются только въ томъ случаѣ, если соблюдаются законы природы; но такъ какъ эти цѣли сами по себѣ лежатъ внѣ естественныхъ потребностей человѣка, то преслѣдованіе и достиженіе этихъ и подобныхъ цѣлей несетъ съ собой неизбѣжное историческое возмездіе. Здоровыя силы людей, отвлеченныя отъ тѣхъ занятій, которыя доставляютъ имъ пищу, одежду и другія удобства жизни; силы, употребленныя на разореніе чужихъ земель или на сооруженіе безполезныхъ громадъ, оказываются потерянными въ общей экономіи человѣчества. Сооруженіе, произведенное этими силами, безплодно; разореніе не вознаграждается никакимъ положительнымъ благомъ; работники, которые должны кормить воина и каменщика, трудятся много и получаютъ лично для себя мало. Воины и каменщики съ своей стороны получаютъ только необходимое. Стало быть, всѣ работаютъ до изнеможенія, всѣ сближаются между собою безъ собственнаго желанія, всѣ ѣдятъ плохо, одѣваются грязно и съ каждымъ годомъ становятся бѣднѣе и тупѣе.

Цѣлые ряды неопровержимыхъ историческихъ фактовъ доказываютъ намъ самымъ наглядньмъ образомъ, что войны всегда оказывали гибельное вліяніе на побѣдителей и побѣжденныхъ; наружное могущество завоевательной державы покупалось цѣною внутренней бѣдности, цѣною страданій и невѣжества народа-завоевателя; это могущество, основанное на неестественномъ напряженіи силъ, продолжалось обыкновенно не долго и оканчивалось такимъ паденіемъ, которое было тѣмъ глубже и тѣмъ полнѣе, чѣмъ значительнѣе было сдѣланное напряженіе, и слѣдовательно чѣмъ величественнѣе было мимолетное проявленіе могущества. Что касается до пирамидъ, то будетъ достаточно сказать, что онѣ воздвигались трудами рабовъ и что жизнь этихъ рабовъ расточалась такъ же щедро, какъ расточался ихъ дешевый трудъ.

Различныя видоизмѣненія войны и различныя проявленія рабства наполняютъ собою всѣ страницы всемірной исторіи. Переходъ отъ одного вида войны къ другому и отъ одной формы рабства къ другой называется благоразумнымъ именемъ историческаго прогресса. И война, и рабство существуютъ до нашихъ временъ; война до сихъ поръ называется своимъ настоящимъ именемъ, а рабство въ большей части образованныхъ государствъ скрывается подъ другими формами и названіями, менѣе оскорбительными для просвѣщенныхъ и сострадательныхъ глазъ и ушей. Отчего произошли на свѣтъ война и рабство и отчего они благоденствуютъ до нашихъ временъ—это такіе вопросы, которые не приходится рѣшать между прочимъ; поэтому для нашей цѣли будетъ достаточно обратить вниманіе читателя на то, что историческое развитіе человѣчества, находящееся до сихъ поръ подъ вліяніемъ войны и рабства, никогда не удовлетворяло вполнѣ тѣмъ двумъ основнымъ потребностямъ, отъ которыхъ зависитъ счастье и совершенствованіе отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ народовъ. Разныя постороннія вліянія постоянно мѣшали человѣку посвятить всѣ свои силы мирной и послѣдовательной борьбѣ съ окружающей природою; эти вліянія, происходившія отъ неправильныхъ отношеній человѣка къ человѣку, самымъ фактомъ своего происхожденія и существованія, не позволяли людямъ сближаться между собою такъ, чтобы во всякое время находить другъ въ другѣ помощниковъ, сотрудниковъ и союзниковъ. Эти постороннія вліянія, не имѣющія ничего общаго съ законами природы, очень многочисленны и разнообразны въ каждомъ изъ новѣйшихъ обществъ. Ихъ такъ много и они такъ перепутаны между собой, что совершенно закрываютъ отъ глазъ изслѣдователя дѣйствительную природу человѣка и настоящій смыслъ его необходимой борьбы съ предметами и силами окружающаго міра.

Находясь въ такомъ положеніи, изслѣдователь долженъ поступить такъ, какъ поступаетъ естествоиспытатель, замѣтившій, что изучаемое имъ явленіе подвергается вліянію нѣсколькихъ силъ, дѣйствующихъ по различнымъ направленіямъ. Естествоиспытатель устраняетъ всѣ постороннія вліянія и наблюдаетъ явленіе въ его непосредственной чистотѣ; потомъ онъ даетъ въ своемъ опытѣ мѣсто одному изъ дѣйствовавшихъ прежде вліяній и замѣчаетъ видоизмѣненія, совершающіяся въ предметѣ изслѣдованія; затѣмъ изучаются поодиночкѣ второе, третье вліяніе, и такъ далѣе, до послѣдняго; такимъ образомъ получается наконецъ общій выводъ, въ которомъ каждому вліянію отводится принадлежащее ему мѣсто. Конечно, естествоиспытатель имѣетъ передъ историкомъ то огромное преимущество, что онъ можетъ брать въ руки предметъ своего изслѣдованія и доказывать непосредственнымъ опытомъ свои положенія; онъ можетъ дѣйствительно изолировать изучаемое явленіе, между тѣмъ какъ историкъ принужденъ во всѣхъ подобныхъ случаяхъ ограничиваться разсужденіями, гипотезами и теоретическими выкладками. Но какъ ни плохи орудія историка въ сравненіи съ тѣми сложными снарядами, которыми располагаетъ натуралистъ, какъ ни гадательны выводы перваго въ сравненіи съ положительными знаніями послѣдняго, все-таки желаніе человѣка узнать что-нибудь о прошедшей жизни своей породы, или обсудить какъ-нибудь существующія бытовыя формы такъ сильно, что оно всегда заставляетъ его забывать о несовершенствѣ орудій и о шаткости получаемыхъ выводовъ.

Я увѣренъ, что мои читатели интересуются общечеловѣческими вопросами, и потому надѣюсь, что они безъ особеннаго неудовольствія

прочтутъ слѣдующіе очерки, излагающіе идеи извѣстнаго американскаго мыслителя Кэри (Carey) о значеніи и историческомъ развитіи человѣческаго труда. Чтобы не запутаться въ существующихъ бытовыхъ формахъ, составляющихъ болѣе или менѣе патологическія явленія, чтобы не принять этихъ явленій за естественныя отправленія здоровой жизни, мы начнемъ съ чисто теоретическихъ разсужденій, а потомъ уже, принимая въ соображеніе одно вліяніе за другимъ, доберемся постепенно до дѣйствительныхъ фактовъ и до такихъ величественныхъ хроническихъ болѣзней, какова напримѣръ колоніальная политика, мануфактурная система и экономическая доктрина просвѣщенной и могущественной Англіи.

II.

Изслѣдованія геологовъ надъ различными формаціями земной коры и надъ остатками органическихъ тѣлъ, превратившихся въ окаменѣлости, доказываютъ неопровержимымъ образомъ, что человѣкъ появился на землѣ въ позднѣйшій періодъ ея образованія. Тысячи и можетъ быть милліоны лѣтъ прошли надъ нашей планетой, прежде чѣмъ органическая жизнь достигла того разнообразія, той сложности и того совершенства, которыя проявляются въ высшихъ породахъ млекопитающихъ, т. е. въ обезьянахъ и въ человѣкѣ. Цѣлые геологическіе періоды отошли въ вѣчность; цѣлые могучіе виды растительности отжили свое время и, умирая, залегли подъ позднѣйшую почву громадными пластами каменнаго угля; своеобразныя породы животныхъ, господствовавшихъ въ первобытныхъ лѣсахъ и въ недосягаемыхъ пучинахъ морей, уничтожились, оставивъ послѣ себя нѣсколько костей или даже просто отпечатки лапъ на мягкихъ известковыхъ породахъ; неисчислимые милліоны микроскопическихъ моллюсковъ образовали изъ крошечныхъ обломковъ своихъ раковинъ цѣлые толстые слои мѣловыхъ формацій; море нѣсколько разъ перемѣнило свой бассейнъ; вулканическія поднятія земной коры взломали наслоенія почвы, выдвинули высокія и длинныя цѣпи горъ и создали скалистые острова среди необозримыхъ равнинъ океана; на развалинахъ многихъ исчезнувшихъ первобытныхъ міровъ появились новыя формы растительности; вмѣсто древовидныхъ хвощей и папоротниковъ каменноугольной эпохи возникли извѣстныя намъ породы лиственныхъ и хвойныхъ деревьевъ; климаты обозначились явственно, и могучія деревья дѣвственныхъ лѣсовъ захватили сырую почву, согрѣваемую отвѣсными лучами тропическаго солнца; за безобразными ящерами и крылатыми драконами, за колоссальными и неуклюжими мастодонтами и динотеріями послѣдовали разнообразныя породы травоядныхъ и плотоядныхъ животныхъ, составляющихъ въ настоящее время наши стада, или изощряющихъ искусство и храбрость нашихъ охотниковъ. Планета наша пришла въ то положеніе, въ которомъ она находится до нашихъ временъ, и эта планета сдѣлалась наконецъ жилищемъ человѣка. Насколько этотъ первобытный человѣкъ былъ похожъ на насъ складомъ тѣла, чертами лица, силой и подвижностью ума — этого конечно не можетъ разъяснить намъ никакое изслѣдованіе. Мы можемъ только предполагать, что человѣкъ прожилъ на землѣ много столѣтій, прежде нежели у него составились какія-нибудь историческія преданія; даже языкъ и миѳологія — эти первыя проявленія чувства и мысли — не могли явиться готовыми и должны были, подобно всѣмъ произведеніямъ природы, развиваться и совершенствоваться мало-по-малу. Дурно владѣя орудіемъ слова, плохо справляясь съ впечатлѣніями внѣшняго міра, съ трудомъ передавая ихъ другому и съ трудомъ понимая безсвязные звуки и неопредѣленныя желанія этого другого, первобытный человѣкъ былъ вѣроятно очень несчастнымъ существомъ, если только мы позволимъ себѣ предположить, что онъ, по устройству своего тѣла, былъ похожъ на своихъ потомковъ. Будущій властелинъ природы, прямой предокъ какого нибудь Ньютона или Линнея, былъ самымъ жалкимъ рабомъ всѣхъ окружающихъ его предметовъ: у него не было ни естественнаго оружія, ни естественной защиты отъ суровой атмосферы, ни даже такого желудка, который могъ бы переваривать траву и листья. Онъ могъ совершенно справедливо завидовать и могучему медвѣдю, и покрытому шерстью барану, и пережевывающему буйволу. Что онъ перенесъ, сколько страданій ему пришлось испытать отъ голода, отъ холода, отъ другихъ животныхъ, начиная съ хищныхъ звѣрей и кончая лѣсными муравьями и москитами, сколько поколѣній измыкали свою жизнь въ тупомъ страхѣ и безсильномъ отчаяніи — это все такіе вопросы, на которые откажется отвѣчать самое смѣлое воображеніе самаго великаго поэта. Слабымъ отблескомъ этихъ доисторическихъ или даже доминѳическихъ страданій можно признать мрачный и кровожадный характеръ всѣхъ первобытныхъ религій и богослуженій. Человѣческія жертвы, приносившіяся для умилостивленія грозныхъ и всегда разгнѣванныхъ силъ природы, являются очевидно зловѣщимъ воспоминаніемъ о неравной и мучительной борьбѣ, перенесенной тѣми поколѣніями, среди которыхъ медленно, съ напряженіемъ и съ болью вырабатывались первые начатки языка и первые очерки религіозныхъ представленій.

Между тѣмъ эта природа, такъ безжалостно терзавшая своего новорожденнаго младшаго сына, была та самая мать-природа, которая доставляетъ намъ въ избыткѣ все необходимое,

та самая природа, которая даетъ намъ всѣ средства къ наслажденію и которая въ добавокъ настраиваетъ лиры нашихъ сладкогласныхъ поэтовъ. Чего-же недоставало первобытному человѣку? Недоставало бездѣлицы. Во-первыхъ, знанія этой природы. Во-вторыхъ, умѣнья сближаться съ подобнымъ себѣ человѣкомъ и находить себѣ въ немъ естественнаго союзника. На каждомъ пути первый шагъ обыкновенно оказывается самымъ труднымъ. Первое усиліе изобрѣтательнаго ума, проявившееся въ томъ, что человѣкъ вооружился какою-нибудь деревянной дубиной, или попробовалъ на какомъ нибудь бревнѣ переплыть черезъ небольшой ручей, было можетъ быть самымъ удивительнымъ подвигомъ человѣчества, самымъ вѣрнымъ и блестящимъ предзнаменованіемъ будущей великой судьбы нашей породы.

Первая попытка къ сближенію человѣка съ человѣкомъ, попытка, выразившаяся какимъ-нибудь безобразнымъ мычаньемъ, подергиваніемъ лицевыхъ мускуловъ и безпокойнымъ движеніемъ руки, была по всей вѣроятности важнѣе и плодотворнѣе по своимъ послѣдствіямъ, чѣмъ самыя удивительныя и сложныя комбинаціи позднѣйшихъ создателей римскаго права. Первые успѣхи людей въ практическомъ ознакомленіи съ силами и законами природы и въ созданіи языка, какъ могучаго и незамѣнимаго орудія сближенія между собою, были конечно медленны и вялы; но зато каждый послѣдующій шагъ совершался легче и быстрѣе предыдущаго. Первыя, полумиѳическія преданія, открывающія собою исторію каждаго народа, застаютъ людей уже на очень высокой степени умственнаго развитія и матеріальнаго благосостоянія. Языкъ уже созданъ совершенно и примѣняется уже къ такимъ цѣлямъ, которыя не имѣютъ ничего общаго съ грубыми потребностями животной жизни. На языкѣ этомъ существуютъ уже пѣсни, космогоническіе миѳы и героическія эпопеи. Человѣкъ живетъ охотою и скотоводствомъ; онъ уже не боится дикихъ звѣрей; онъ самъ отыскиваетъ и преслѣдуетъ ихъ; у него есть оружіе; ему удалось покорить себѣ нѣкоторыя породы животныхъ и обратить ихъ въ прочную собственность. Наконецъ онъ дѣлаетъ то же самое съ растеніями; возникаетъ первобытное земледѣліе, которое даже въ самомъ грубомъ видѣ предполагаетъ очень обширныя знанія силъ и законовъ природы; чтобы сдѣлаться земледѣльцемъ, человѣку надобно, во-первыхъ, узнать, что зерна извѣстныхъ растеній заключаютъ въ себѣ питательное вещество; во-вторыхъ, надо узнать, что зерна, положенныя въ землю, производятъ новыя растенія; въ третьихъ, надо узнать, на какой землѣ эти зерна могутъ дать ростокъ; далѣе, надо узнать, въ какое время года ихъ сѣять и когда убирать. Всѣ эти свѣдѣнія пріобрѣтаются только опытомъ и составляютъ рядъ удивительныхъ открытій, передъ которыми блѣднѣютъ паровыя машины и электрическіе телеграфы, составляющіе славу и гордость нашего вѣка.

Мы не знаемъ настоящей цѣны этимъ открытіямъ, потому что они съ незапамятныхъ временъ составляютъ общее достояніе массъ; но если мы перенесемся воображеніемъ къ тѣмъ вѣкамъ отдаленной древности, въ которыхъ открытія эти были сдѣланы, если мы представимъ себѣ, какъ бѣденъ былъ тогдашній человѣкъ опытами, знаніями, и слѣдовательно мыслями, то подобныя открытія покажутся намъ почти необъяснимыми чудесами и во всякомъ случаѣ чисто героическими подвигами младенческаго ума первобытнаго человѣка. Такіе подвиги могутъ быть воспроизведены только въ фантастической сказкѣ или въ эпической поэмѣ. На этомъ основаніи я принужденъ въ этихъ очеркахъ брать человѣка и его отношенія къ природѣ уже въ томъ моментѣ развитія, когда первыя труднѣйшія и величайшія открытія сдѣланы. Я всегда буду такимъ образомъ предполагать, что языкъ, какъ орудіе сближенія, уже созданъ, что прирученіе домашнихъ животныхъ уже совершено и что первые, важнѣйшіе начатки земледѣлія уже отысканы наблюдательнымъ умомъ древняго человѣка.

III.

Между охотниками, пастухами и земледѣльцами первобытной эпохи часто происходятъ раздоры и драки. Эти зародыши будущихъ войнъ выдвигаютъ впередъ микроскопическихъ Цезарей и Наполеоновъ и вносятъ въ бытъ первобытныхъ людей такой элементъ, который не имѣетъ ничего общаго съ послѣдовательнымъ и правильнымъ развитіемъ труда.

Чтобы устранить изъ нашего изслѣдованія этотъ посторонній элементъ, мы должны изолировать одного изъ древнихъ земледѣльцевъ и поставить его въ исключительное положеніе. Мы желаемъ знать, что *должно было бы* произойти, еслибы никакія постороннія препятствія не отвлекали человѣка отъ мирныхъ и плодотворныхъ побѣдъ надъ различными силами окружающей его природы. Для этого мы допустимъ предположеніе, что мужчина и женщина, владѣющіе языкомъ, умѣющіе приручать нѣкоторыя породы животныхъ и усвоившіе себѣ элементарныя свѣдѣнія по земледѣлію, попали вмѣстѣ на необитаемый островъ, богатый всѣми дарами дѣвственной природы. Островъ великъ, плодородной земли много, и поселенцы могутъ завладѣть безпрепятственно тѣми мѣстами, которыя покажутся имъ особенно привольными. Къ сожалѣнію, эти привольныя мѣста, лежащія въ долинахъ, по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, покрыты самой роскошной расти-

тельностью; въ одномъ изъ этихъ мѣстъ обиліе сырости образовало трясину, въ другомъ глубокій черноземъ поросъ колоссальнымъ дремучимъ лѣсомъ. Еслибы поселенецъ могъ прорыть каналъ для отвода воды, или вырубить вѣковыя деревья, то осушенная и очищенная почва вознаградила бы его за трудъ обильнымъ урожаемъ. Но такой трудъ превышаетъ физическія силы отдѣльнаго человѣка. У этого человѣка нѣтъ такихъ орудій, которыя необходимы для подобныхъ работъ. Употребленіе металловъ еще неизвѣстно нашему Робинзону. Онъ убиваетъ звѣря дубиной, сдираетъ съ него кожу острой раковиной, рѣжетъ его мясо на части острымъ кремнемъ. Тотъ же кремень помогаетъ заострить палку; заостренный конецъ палки обжигается на легкомъ огнѣ, и обожженный колъ даетъ возможность вырывать въ рыхлой землѣ тѣ мелкія ямки, въ которыя онъ бросаетъ хлѣбныя зерна. Кусокъ остраго кремня, привязанный ремнемъ или лыкомъ къ палкѣ, образуетъ топоръ. Этимъ топоромъ можно переломить сухую хворостину; имъ можно пожалуй ушибить звѣря или врага, но имъ невозможно срубить большое дерево, точно такъ же какъ невозможно обожженнымъ коломъ вырыть каналъ. Чтобы расчистить одну десятину плодородной земли, поселенцу необходимо вырубить и стащить съ мѣста десятки, а можетъ быть и сотни большихъ деревьевъ, потомъ вырыть пни и освободить почву отъ множества валежника, отъ повалившихся и гніющихъ бревенъ; если бы поселенецъ осмѣлился взяться за такую работу, то отчаянная храбрость его ни въ какомъ случаѣ не увѣнчалась бы успѣхомъ; могучая растительность стала бы преслѣдовать его по пятамъ, заглушила бы его посѣвы и принудила бы его постоянно возобновлять одну и ту же безплодную работу.

Очевидно стало быть, что первая попытка нашего колониста срубить первобытнымъ топоромъ колоссальное дерево покажетъ ему всю неразрѣшимость подобной задачи; спертый и сырой воздухъ, наполняющій собою мрачные своды дѣвственнаго лѣса, дастъ ему почувствовать непріятное ощущеніе лихорадочнаго озноба, и колонистъ поневолѣ пойдетъ искать для поселенія такого мѣста, на которомъ роскошная растительность не отнимала бы у него теплыхъ и живительныхъ лучей солнца и не мѣшала бы созрѣванію его скудныхъ посѣвовъ. Онъ найдетъ такое мѣсто на темени какого-нибудь холма; тамъ почва бѣднѣе, чѣмъ въ долинѣ, и эта бѣдность составляетъ въ глазахъ колониста достоинство, потому что она помѣшала лѣснымъ исполинамъ укорениться на этой площадкѣ. Съ мелкимъ кустарникомъ и съ сорными травами, покрывающими вершину холма, поселенецъ кое-какъ справляется; обожженный колъ дѣлаетъ свое дѣло, площадка покрывается тощими колосьями, и хлѣбъ родится на первый разъ самъ-другъ; успѣхъ не блестящій, но прожить кое-какъ можно, если, не ограничиваясь земледѣліемъ, заниматься ловлей птицъ, охотой и собираніемъ лѣсныхъ плодовъ. Конечно богатая почва долинъ могла бы родить самъ-двадцать, но такъ какъ эта почва оказалась недоступной, то нашему Робинзону приходится смотрѣть на нее, какъ «Пери молодая» смотрѣла на потерянный рай.

Впрочемъ мы не должны думать, чтобы Робинзонъ чувствовалъ особенную нѣжность къ богатой почвѣ. Драгоцѣнныя свойства этой почвы выражаются покуда во враждебномъ для него развитіи сырости и лѣсной растительности, а Робинзонъ, какъ плохой агрономъ и плохой мыслитель, по всей вѣроятности не воображаетъ себѣ, что современемъ эта самая почва будетъ давать его потомкамъ обильную жатву. Считая развитіе своихъ собственныхъ силъ вполнѣ нормальнымъ и не пускаясь въ теорію историческаго прогресса, онъ конечно не можетъ себѣ представить, что его потомки будутъ обладать такими силами и такими тайнами природы, которыя сдѣлаютъ ихъ полными властителями окружающаго міра. Не предвидя великаго будущаго, Робинзонъ повинуется физической необходимости, поселяется на сухомъ холмѣ, и хлѣбъ родится у него самъ-другъ. Между тѣмъ семейство Робинзона увеличивается; подрастающія дѣти помогаютъ отцу и матери въ тѣхъ работахъ, которыя не превышаютъ дѣтскихъ силъ; потребности поселенія становятся значительнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаютъ и силы; число умовъ увеличивается съ увеличеніемъ рабочихъ рукъ; и отецъ, и мать, и дѣти наталкиваются на разныя явленія природы, обмѣниваются между собою опытами и наблюденіями и, при содѣйствіи этихъ нехитрыхъ опытовъ, улучшаютъ понемногу свое матеріальное положеніе. Увеличеніе населенія имѣетъ конечно свои дурныя стороны; пяти человѣкамъ труднѣе жить въ мирѣ, чѣмъ двоимъ, на островѣ могутъ повториться тѣ же раздоры и драки, для избѣжанія которыхъ мы принуждены были увести Робинзона съ женой въ тихое пристанище. Но чтобы подобные пассажи не путали нашихъ теоретическихъ выкладокъ, мы предположимъ разъ навсегда, что на нашемъ островѣ царствуетъ миръ и спокойствіе и что каждый изъ поселенцевъ пользуется плодами своего труда, не захватывая въ свою пользу труда слабѣйшаго сосѣда.

Я очень хорошо знаю, что подобное предположеніе не имѣетъ подъ собой исторической почвы—на самомъ дѣлѣ такъ не бываетъ ни на островахъ, ни на материкахъ, но я напоминаю читателю, что мы изучаемъ трудъ человѣка и выводимъ тѣ слѣдствія, которыя должны были

бы получиться, еслибы къ элементу труда не примѣшивались разныя неблагопріятности. Мы ставимъ человѣка лицомъ къ лицу съ природой и спрашиваемъ: кто долженъ побѣдить? Человѣкъ или природа? Это вопросъ простой, и чтобы не усложнять его до поры до времени, мы должны постоянно отстранять всякія столкновенія человѣка съ человѣкомъ. Итакъ, мы предполагаемъ, что колонисты наши плодятся и множатся, и что цѣлыя столѣтія проходятъ надъ Тихимъ Пристанищемъ, принося съ собою увеличеніе потребностей и рабочихъ силъ, но не возбуждая въ людяхъ тѣхъ низкихъ страстей, которыя заставляютъ ихъ истреблять и грабить другъ друга. При такихъ условіяхъ благосостояніе поселенцевъ должно постоянно увеличиваться, и я постараюсь убѣдить въ этомъ читателя цѣлымъ рядомъ самыхъ правдоподобныхъ разсужденій.

На островѣ есть горы, а въ горахъ лежатъ жилы разныхъ металловъ. Эти жилы для Робинзона были мертвымъ капиталомъ, но какой-нибудь нечаянный случай открываетъ его потомкамъ способъ извлекать изъ нихъ огромныя выгоды. Открытія въ древности производились не такъ, какъ они производятся въ наше время, когда существуютъ ученые изслѣдователи и практическіе технологи. Въ наше время ищутъ и находятъ, а въ древности на открытія натыкались случайно; стало быть въ древности для произведенія открытія были необходимы два элемента: счастливый случай и смѣтливый глазъ человѣка, способнаго извлечь изъ даннаго случая пользу. Число этихъ двухъ элементовъ конечно увеличивается съ увеличеніемъ населенія. Чѣмъ больше людей, тѣмъ больше смѣтливыхъ глазъ и сообразительныхъ умовъ. Чего не случается съ однимъ, то можетъ случиться съ другимъ; чего не доглядитъ другой, то подмѣтитъ третій; чего не сообразитъ третій, то осилитъ умомъ четвертый. Такъ или иначе, первый кусокъ мѣдной руды попалъ случайно въ огонь, и получилась какая-то красная масса, которая конечно изумила и, какъ новинка, обрадовала колонистовъ. Кому-нибудь пришло въ голову испытать крѣпость новаго тѣла; оказалось, что оно можетъ замѣнить кремень и жженое дерево; земледѣльческія орудія значительно усовершенствовались; явилась возможность глубже взрывать землю и съ меньшимъ трудомъ рубить небольшія деревья; поля колонистовъ расширились и урожаи сдѣлались обильнѣе, во-первыхъ, отъ этого расширенія, во-вторыхъ—отъ улучшеній въ обработкѣ земли. Ободренные этимъ успѣхомъ, колонисты, уже не дожидаясь новаго случая, пробуютъ дѣйствіе огня надъ разными кусками земли и камня. Послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ, они натыкаются на оловянную руду; пробуютъ смѣшать олово съ мѣдью; смѣсь оказывается крѣпче чистой мѣди и производитъ новое усовершенствованіе орудій; съ увеличеніемъ матеріала улучшается вѣроятно и форма инструментовъ, потому что работники, разумѣется, соображаются съ указаніями возрастающаго опыта.

Наконецъ добираются и до желѣза; можетъ быть желѣзная руда попадалась и раньше, но ею не умѣли пользоваться прежніе колонисты; не было ни той опытности, ни тѣхъ орудій, которыя необходимы для добыванія и ковки желѣза; теперь же, когда есть люди, привыкшіе обращаться съ мѣдью и съ оловомъ, когда есть мѣдныя лопаты и мѣдные молотки,—теперь и желѣзная руда должна уступить усиліямъ человѣка, и вотъ новый металлъ снова производитъ благодѣтельный переворотъ во всѣхъ отрасляхъ производства. Каждый успѣхъ является такимъ образомъ переходной ступенью къ дальнѣйшимъ и притомъ болѣе важнымъ успѣхамъ. Желѣзными орудіями колонисты взрываютъ землю такъ глубоко, что добираются до слоевъ другого состава; подъ песчанымъ грунтомъ они находятъ мергель, подъ глинистой почвой известковую землю. Смѣшеніе двухъ слоевъ между собою значительно увеличиваетъ производительность земли. Хлѣбопашцы замѣчаютъ это и придумываютъ такія орудія, которыя даютъ имъ возможность пахать гораздо глубже, чѣмъ пахали ихъ предки. Обожженный колъ давно уже замѣнился заступомъ; теперь заступъ въ свою очередь уступаетъ мѣсто сохѣ и плугу; эти новыя орудія по своей тяжести изнурительны для человѣка, и ему приходитъ въ голову воспользоваться силами вола или лошади. Это новое усовершенствованіе значительно ускоряетъ работу, которая вмѣстѣ съ тѣмъ становится легче для человѣка и плодотворнѣе по своимъ результатамъ. Времени и мускульной силы тратится меньше, а пищи получается больше. Теперь можно безъ особенной опасности предпринимать нашествіе на тѣ части острова, въ которыхъ при жизни стараго Робинзона деспотически господствовала могучая лѣсная растительность. Теперь людей много, у каждаго есть въ рукахъ желѣзный топоръ и за каждымъ слѣдуютъ вьючныя животныя, которыя немедленно выволокутъ срубленныя деревья, гніющія бревна и кучи валежника. Пользуясь услугами вьючныхъ животныхъ, поселенцы замѣчаютъ, что этимъ животнымъ легче тащить такія тѣла, которыя катятся по землѣ, чѣмъ такія, которыя производятъ сильное треніе. Идя путемъ постепенныхъ усовершенствованій, они доходятъ до изобрѣтенія телѣги, значительно сберегающей силы вола или лошади. Владѣя желѣзными орудіями и перевозочными средствами, потомки Робинзона, во-первыхъ, успѣваютъ расчистить и распахать нѣкоторыя части тучной почвы, лежащей по берегамъ рѣкъ и ручьевъ, и, во-вторыхъ, получаютъ возможность воспользо-

ваться срубленными большими деревьями для различныхъ построекъ. Тучная почва даетъ обильный урожай, а крѣпкіе бревенчатые срубы доставляютъ множество удобствъ и выгодъ. Жилище родоначальника колоніи было похоже на логовище медвѣдя; Робинзонъ принужденъ былъ довольствоваться простой пещерой, гдѣ ему приходилось сидѣть въ темнотѣ, или задыхаться отъ дыма, когда холодъ заставлялъ его разводить огонь. Черезъ нѣсколько времени ему удалось вмѣстѣ съ сыновьями сплести изъ хвороста шалашъ, служившій плохой защитой отъ дождя, вѣтра, холода и зноя; потомъ онъ воспользовался тѣми бревнами и сучьями, которые валялись въ лѣсу, и сгородилъ изъ нихъ съ большимъ трудомъ очень безобразную и неудобную хижину, въ которой было что-то подобное двери, но въ которой нельзя было найти ни окна, ни дымовой трубы. Темнота, дымъ и грязь продолжали преслѣдовать семью колонистовъ. Открытіе металловъ было во всѣхъ отношеніяхъ поворотнымъ пунктомъ въ ихъ образѣ жизни. Явилась возможность рубить большія деревья и распиливать ихъ на доски; возникло умѣнье выкалывать изъ каменной горы большія глыбы и обтесывать ихъ такъ, чтобы онѣ могли держаться одна на другой; при ближайшемъ знакомствѣ со свойствами различныхъ пластовъ земли, поселенцы замѣтили, что глина очень легко принимаетъ въ жидкомъ видѣ всевозможныя формы и потомъ твердѣетъ, подвергаясь дѣйствію солнечныхъ лучей. Въ избѣ, построенной изъ бревенъ, является тогда досчатый полъ, окно, затворяющееся досками, и печка, сложенная изъ камня и смазанная глиной. Здоровье поселенцевъ значительно улучшается, потому что имъ не приходится страдать ни отъ дыма, ни отъ холода, ни отъ грязнаго земляного пола; кромѣ того оказывается значительный выигрышъ времени, потому что представляется возможность работать въ избѣ, въ которой перестаетъ царствовать вѣчная темнота.

Позаботившись о себѣ, поселенцы заботятся о своемъ домашнемъ и рабочемъ скотѣ. Въ былое время свиньи, быки и овцы жили у нихъ подъ открытымъ небомъ и круглый годъ находились на подножномъ кормѣ; въ холодное время года пещера колониста превращалась въ Ноевъ ковчегъ, потому что всѣ животныя загонялись въ это первобытное жилище и тамъ согрѣвали другъ друга собственной теплотой. Когда процессъ строенія значительно облегчился улучшеніемъ орудій, когда вмѣстѣ съ увеличеніемъ силъ произошло усложненіе потребностей и вкусовъ, тогда непосредственная близость самыхъ полезныхъ животныхъ потеряла въ глазахъ колонистовъ всякую прелесть. Люди и животныя разлучились, къ обоюдной выгодѣ тѣхъ и другихъ. Появились скотные дворы и закутки; уходъ за скотомъ улучшился; количество добываемаго молока и мяса увеличилось, и порода скота стала замѣтно совершенствоваться.

IV.

Столѣтія прошли надъ Тихимъ Пристанищемъ нашего Робинзона; въ его размножившемся потомствѣ живутъ уже одни темныя преданія о тѣхъ далекихъ временахъ, когда родоначальникъ ихъ поселился на островѣ; молодому поколѣнію кажутся уже совершенно неправдоподобными разсказы о лишеніяхъ и страданіяхъ, выдержанныхъ первыми поселенцами. Въ самомъ дѣлѣ трудно повѣрить. Ихъ было только двое; въ ихъ распоряженіи находился цѣлый островъ, обширный и богатый, а между тѣмъ они часто терпѣли нужду и съ трудомъ спасались отъ голодной смерти. Теперь колонисты считаются тысячами, островъ не увеличился въ объемѣ ни на одинъ вершокъ, а между тѣмъ всѣ хорошо одѣты и живутъ припѣваючи. Ясно, что такая благодѣтельная перемѣна произошла именно потому, что ихъ теперь много, и что эти многіе являются прямыми и законными наслѣдниками всей массы вѣкового опыта, набраннаго предками и купленнаго дорогой цѣной прошедшихъ трудовъ и страданій. Каждое послѣдующее поколѣніе оказывается много значительнѣе предыдущаго, живетъ богаче и придумываетъ новыя техническія улучшенія, которыя позволяютъ ему добывать больше пищи и одежды съ меньшимъ напряженіемъ мускуловъ и съ меньшей тратой времени. Открывается возможность пользоваться для промышленныхъ цѣлей великими естественными силами воды, вѣтра и наконецъ пара. Въ былое время хлѣбныя зерна растирались между двумя камнями, приводимыми въ движеніе руками человѣка. Эта работа была утомительна, и мука получалась плохая, потому что многія зерна оставались полураздавленными. Вслѣдъ за тѣмъ было найдено средство замѣнить трудъ человѣка трудомъ лошади или вола. Работа пошла быстрѣе, и мука улучшилась. Потомъ, когда практическая механика сдѣлала значительные успѣхи, превращеніе зеренъ въ муку было поручено водѣ и вѣтру, такимъ работникамъ, которые не требуютъ пищи и которыхъ могущество неизмѣримо велико въ сравненіи съ ограниченными и быстро устающими силами человѣка, лошади и вола. Такимъ образомъ произошло громадное сбереженіе труда и времени, а между тѣмъ количество превращаемаго продукта значительно увеличилось и въ такой же степени повысилось его качество.

То же самое произошло въ тѣхъ отрасляхъ производства, которыя относятся къ приготовленію одежды. Одежда Робинзона состояла изъ звѣриной кожи, наброшенной на плечи. Такъ какъ

первобытному поселенцу рѣдко случалось убивать такого большого звѣря, шкура котораго могла бы служить для человѣка достаточной защитой отъ воздуха, то конечно одежда считалась большою рѣдкостью и очень неудовлетворительно исполняла свое назначеніе. Рѣдкость большихъ шкуръ навела на мысль связывать ремешками маленькія шкурки; когда у Робинзона развелись домашнія животныя, то конечно добываніе шкуръ значительно облегчилось; вмѣсто связыванія шкуръ явилось сшиваніе; вмѣсто иголки употреблялась какая-нибудь острая кость, а вмѣсто нитокъ—тонкіе ремешки, тонкія жилы, или струны, скрученныя изъ кишечной кожи. Счастливая мысль сучить нитки изъ животной шерсти и растительныхъ волоконъ повела за собою многочисленныя улучшенія; возникло прядильное искусство, изъ котораго въ свою очередь развилось производство тканей. Затѣмъ явились механическія усовершенствованія орудій; простое веретено замѣнилось самопрялкой, и первобытный ткацкій станокъ испыталъ значительныя превращенія. Наконецъ сила пара, приложенная къ этой отрасли производства, довела вырабатываніе тканей до изумительной легкости и быстроты.

Мы знаемъ, что всѣ эти открытія и усовершенствованія были произведены въ дѣйствительности, но мы можемъ кромѣ того доказать, что они неизбѣжно должны были быть произведены. Въ нихъ нѣтъ ничего случайнаго, и они нисколько не зависятъ отъ личныхъ свойствъ тѣхъ людей, которые сдѣлали ихъ достояніемъ человѣчества. Мы считаемъ этихъ людей благодѣтелями нашей породы и чувствуемъ къ нимъ признательность по тому же самому свойству нашей натуры, по которому мы кидаемся на шею къ человѣку, сообщающему намъ очень радостное извѣстіе. На самомъ же дѣлѣ свойства вещества, подмѣченныя изобрѣтателемъ, такъ же мало зависятъ отъ его воли, какъ мало зависитъ счастливое событіе отъ человѣка, передающаго радостное извѣстіе. Эти свойства вещества только потому оставались неизвѣстными, что большинство людей поглощено механической работой, а наблюдать и размышлять, трудиться и осмысливать свой трудъ могутъ только немногія единицы; эти единицы одарены сильнымъ умомъ, но ихъ такъ мало не отъ того, что на извѣстную полосу земли отпускается такое количество ума, а отъ того, что отпускаемое количество расходуется самымъ неразсчетливымъ образомъ. Умные и полезные люди составляютъ рѣдкія исключенія, между тѣмъ какъ они должны были бы составлять правило.

Я не намѣренъ отнимать у великихъ геніевъ ни одного вершка ихъ роста, но съ полнымъ убѣжденіемъ выражаю ту мысль, что они стоятъ такъ неизмѣримо высоко надъ общимъ уровнемъ человѣчества только потому, что неблагопріятныя обстоятельства довели этотъ общій уровень до неестественно низкой степени. Великая, богатая и могучая природа человѣка, совершившая въ своемъ славномъ младенчествѣ столько героическихъ умственныхъ подвиговъ въ дѣлѣ завоеванія внѣшней природы, истощается и уродуется именно тѣми условіями жизни, которыя представляютъ жалкія и пагубныя уклоненія отъ великаго дѣла производительнаго и постоянно расширяющагося труда. Намъ часто случается слышать панегирики замѣчательнымъ открытіямъ нашего вѣка; конечно хорошо, что открытія эти сдѣланы; но удивляться тутъ нечему; скорѣе слѣдовало бы подивиться тому, что они сдѣланы такъ поздно;—тому, что мы до сихъ поръ такъ мало знаемъ природу;—тому, что земледѣліе, извѣстное человѣку съ незапамятныхъ временъ, только въ послѣднее столѣтіе въ немногихъ уголкахъ Европы начало пользоваться указаніями осмысленнаго опыта.

Еслибы Шекспиръ не написалъ «Отелло» или «Макбета», то конечно трагедіи «Отелло» и «Макбетъ» не существовали бы, но тѣ чувства и страсти человѣческой природы, которыя разоблачаютъ намъ эти трагедіи, несомнѣнно были бы извѣстны людямъ какъ изъ жизни, такъ и изъ другихъ литературныхъ произведеній, и притомъ были бы извѣстны такъ же хорошо, какъ они извѣстны намъ теперь. Шекспиръ придалъ этимъ чувствамъ и страстямъ только индивидуальную форму; но машина или законъ природы не могутъ имѣть индивидуальной формы. Изъ двухъ различныхъ машинъ, построенныхъ для одной и той же цѣли, одна непремѣнно будетъ удобнѣе другой и слѣдовательно вытѣснитъ изъ употребленія другую. Изъ двухъ различныхъ объясненій явленія природы одно будетъ непремѣнно ложнымъ, и слѣдовательно рано или поздно будетъ отвергнуто. Въ дѣлѣ изученія и завоеванія природы нѣтъ мѣста личному произволу; тутъ нельзя изобрѣтать, надо только наблюдать и понимать, пользоваться отъ вѣка существующими силами и разгадывать отъ вѣка существующую связь причинъ и слѣдствій. Открытіе есть встрѣча между вѣчнымъ явленіемъ и вѣчнымъ умомъ человѣчества. Встрѣча эта неизбѣжна, но она можетъ совершиться раньше или позднѣе, смотря по тому, много или мало отдѣльныхъ человѣческихъ умовъ стоятъ на извѣстной высотѣ развитія и предаются плодотворному дѣлу труда и наблюденія. Еслибы Уаттъ не открылъ двигательной силы пара, то ее непремѣнно открылъ бы кто-нибудь другой, потому что эта сила существовала въ доисторическія времена и будетъ существовать на нашей планетѣ до тѣхъ поръ, пока не изсякнетъ послѣдняя лужа воды и не уничтожится послѣдній лучъ теплоты. Эту силу открыли въ XVIII столѣтіи, а не раньше, только потому, что чѣмъ дальше мы будемъ забираться

въ древность, тѣмъ сильнѣе будутъ проявляться элементы, враждебные труду, и слѣдовательно тѣмъ рѣже будутъ становиться шансы для счастливыхъ и плодотворныхъ встрѣчъ между явленіемъ природы и наблюдательнымъ умомъ человѣка.

Мы въ нашей гипотезѣ устранили съ Тихаго Пристанища всѣ элементы, враждебные труду и ассоціаціи; поэтому мы имѣемъ полное право утверждать, что на островѣ Робинзона весь ходъ неизбѣжныхъ открытій и совершенствованій будетъ несравненно быстрѣе, чѣмъ гдѣлибо въ дѣйствительности. Чтобы историческимъ фактомъ доказать читателю неизбѣжность главныхъ практическихъ открытій и независимость ихъ отъ отдѣльныхъ личностей, я напомню ему только ту извѣстную истину, что китайцы совершенно самостоятельнымъ путемъ дошли почти до всѣхъ техническихъ усовершенствованій, которыми гордится теперь европейская цивилизація. Если мы предположимъ, что Тихое Пристанище продолжало бы жить до нашихъ временъ своей мирной и разумной жизнью, то мы совершенно послѣдовательно принуждены будемъ допустить, что жителямъ счастливаго острова извѣстны такія свойства природы и такія техническія комбинаціи, о которыхъ не имѣетъ понятія ни одна изъ передовыхъ странъ Европы. Мы конечно знаемъ, что мы далеко еще не достигли предѣловъ естествознанія, но этого мало: мы теперь не можемъ и не имѣемъ также права сказать, что этому знанію существуютъ какіенибудь предѣлы; мы не имѣемъ также права утверждать, что силы природы когда-нибудь могутъ быть исчерпаны или истощены. Напротивъ, оглядываясь назадъ на поприще, пройденное человѣчествомъ, и потомъ, видя впереди необозримую и безпредѣльную даль, мы имѣемъ полное основаніе думать, что наша порода вѣчно могла бы съ каждымъ поколѣніемъ становиться могущественнѣе, богаче, умнѣе и счастливѣе, еслибы только не мѣшали этому развитію безконечныя и разнообразныя междоусобныя распри, поглощающія и истощающія лучшую и значительнѣйшую часть великихъ и прекрасныхъ способностей человѣческаго тѣла и человѣческаго ума. Природа человѣка всегда была такъ же способна къ безпредѣльному развитію, какъ природа, окружающая человѣка, всегда была способна къ безконечному разнообразію видоизмѣненій и комбинацій; но человѣкъ не могъ сразу понять ни себя, ни природу; онъ и до сихъ поръ понимаетъ не вѣрно и не полно какъ самого себя, такъ и тѣ бытовыя условія, при которыхъ дѣятельность его можетъ быть плодотворна, развитіе—быстро и успѣшно, и счастье—по возможности совершенно. Изъ этого неполнаго и невѣрнаго пониманія, какъ изъ вѣчно открытаго ящика Пандоры, сыпятся и льются роковыя ошибки, и только въ этихъ ошибкахъ заключаются причины всякой бѣдности и всякихъ страданій.

V.

Многія причины заставляли Робинзона довольствоваться тѣми скудными жатвами, которыя давали ему участки тощей и сухой почвы, лежавшей по вершинамъ холмовъ. Тучная почва долинъ была занята вѣковымъ лѣсомъ, котораго одинокій и несвѣдущій колонистъ не могъ вырубить; она была покрыта болотами, которыхъ онъ не могъ осушить. Кромѣ того Робинзонъ не умѣлъ пахать ту почву, которая была ему по-силамъ; минеральныя частицы различныхъ слоевъ не смѣшивались между собою; песокъ и мергель, суглинокъ и известь оставались несоединенными, и вслѣдствіе этого земля развертывала только самую незначительную долю своихъ производительныхъ силъ. Скотъ Робинзона бродилъ по волѣ, и пометъ его пропадалъ даромъ, тѣмъ болѣе что первобытный агрономъ по всей вѣроятности не зналъ его драгоцѣнныхъ свойствъ. Всѣ эти причины бѣдности были постепенно устранены, когда населеніе увеличилось и обогатилось опытными знаніями. Рубка лѣсовъ и осушеніе болотъ посредствомъ каналовъ открыли позднѣйшимъ колонистамъ путь въ роскошныя долины; вмѣстѣ съ тѣмъ, усовершенствованіе земледѣльческихъ орудій и введеніе раціональнаго скотоводства дало имъ возможность распахать и удобрить тѣ участки сухой почвы, которые ихъ предки царапали обожженными кольями. Переходъ отъ бѣдной почвы къ богатой совершился такимъ образомъ съ увеличеніемъ числа рабочихъ рукъ и съ улучшеніемъ средствъ обработки. Такой переходъ самъ по себѣ въ высшей степени правдоподобенъ, но намъ нѣтъ надобности считать его только правдоподобнымъ; мы можемъ подтвердить его всѣми дѣйствительными фактами заселеній, совершавшихся на глазахъ исторіи.

Колонизація Сѣверо-Американскихъ Штатовъ была произведена такъ недавно, что каждый шагъ поселенцевъ на новомъ материкѣ можетъ быть указанъ какъ въ историческихъ свидѣтельствахъ, такъ и на самой почвѣ. Первая англійская колонія Плимутъ была основана въ штатѣ Массачусетѣ, на песчаной прибрежной почвѣ. Весь Массачусетъ отличается топкимъ грунтомъ, но пуритане, селившіеся на скалистыхъ холмахъ, выбирали самыя бѣдныя части этого тощаго грунта. Въ штатѣ Нью-Іоркѣ старая желѣзная дорога идетъ по возвышенностямъ, на которыхъ лежатъ деревни и мѣстечки первыхъ поселенцевъ; напротивъ того, новая желѣзная дорога прямою линіей прорѣзываетъ богатѣйшія долины штата, которыя до сихъ поръ остаются неосушенными и невоздѣланными. Плодороднѣйшія земли Пенсильваніи долгое вре-

мя считались совершенно неудобными, потому что сырой и болотистый воздухъ преслѣдовалъ поселенцевъ періодическими лихорадками. Въ Нью-Джерси квакеры основали свои первыя поселенія на песчаныхъ холмахъ, поросшихъ жидкими сосновыми рощами, а потомки ихъ оставили эти мѣста, когда имъ удалось вырубить дубовые лѣса, покрывавшіе тучный грунтъ, и осушить тѣ низменности, на которыхъ росъ бѣлый кедръ. Въ штатѣ Огайо, въ самомъ началѣ, сухія земли холмовъ были гораздо дороже долинъ и рѣчныхъ береговъ, на которыхъ никто не хотѣлъ селиться; по берегамъ Сускеганны цѣлыя сотни акровъ передавались изъ рукъ въ руки за одинъ долларъ или даже за кружку водки; теперь эти земли возвысились въ цѣнѣ, а холмы, напротивъ того, оставлены и заброшены. Въ Висконсинѣ богатѣйшая земля штата называлась «мокрыми лугами» и составляла ужасъ первыхъ поселенцевъ; теперь эти «мокрые луга» высушены безъ всякихъ гидравлическихъ сооруженій; ихъ просто каждый годъ косили и вытравливали рогатымъ скотомъ; солнце и воздухъ вытянули излишекъ воды, и земледѣлецъ получилъ возможность воспользоваться толстѣйшими слоями превосходнаго чернозема. По берегамъ рѣки Миссисипи, ниже того мѣста, гдѣ она принимаетъ въ себя рѣку Огайо, лежатъ милліоны акровъ богатѣйшей почвы, которая до сихъ поръ остается нетронутой и сохраняетъ зловѣщее названіе трясины (Swamp). Эта обширная мѣстность покрыта лѣсомъ и камышами и наполнена цѣлыми озерами стоячей и гніющей воды, которая, содѣйствуя развитію разнообразной растительности, заражаетъ воздухъ самыми вредными міазмами. Разливы Миссисипи затопляютъ въ обѣ стороны огромныя полосы земли и, увеличивая ея плодородіе осадками ила, поддерживаютъ тотъ избытокъ сырости, который отражаетъ завоевательныя попытки самыхъ смѣлыхъ колонистовъ. Трясина только тогда перестанетъ быть трясиной, когда большіе каналы спустятъ громадныя лужи стоячей воды, и когда высокія плотины положатъ предѣлъ разрушительнымъ шалостямъ рѣки. Подобныя сооруженія могли быть выполнены только многочисленнымъ и предпріимчивымъ населеніемъ. Они далеко превышали силы мѣстныхъ плантаторовъ, считавшихъ рабство и земледѣльческую рутину краеугольными камнями своего личнаго и общественнаго благосостоянія. На этомъ основаніи, въ трясинѣ господствовали исключительно охотники, рыбаки и дровосѣки—люди бѣдные, полудикіе, привыкшіе къ ежедневнымъ опасностямъ и небоявшіеся ни лѣсныхъ звѣрей, ни болотныхъ испареній. По теченію рѣкъ Миссури, Кентукки, Теннесси и Красной, мы постоянно замѣчаемъ однородныя явленія: чѣмъ гуще населеніе, чѣмъ значительнѣе накопленіе богатства, тѣмъ ближе подступаютъ земледѣльцы къ береговымъ низменностямъ; чѣмъ рѣже и бѣднѣе становится населеніе, тѣмъ исключительнѣе сосредоточивается хлѣбопашество на тощей почвѣ сухихъ холмовъ, отодвигаясь далѣе и далѣе отъ теченія рѣкъ. Въ обѣихъ Каролинахъ, въ Джорджіи, въ Флоридѣ и Алабамѣ милліоны акровъ великолѣпнѣйшихъ луговъ и лѣсовъ даже оставались неосушенными и нерасчищенными, между тѣмъ какъ плантаторы этихъ штатовъ вытягивали послѣдніе соки изъ своихъ тощихъ земель.

Земледѣльцы, отправлявшіеся искать счастья на дальнемъ западѣ, постоянно основывали свои первыя поселенія на холмахъ, не смотря на то, что у нихъ были отличные стальные топоры и заступы. Хорошія орудія очень полезны, но такія громадныя предпріятія, какъ расчистка дѣвственныхъ лѣсовъ и осушеніе обширныхъ болотъ могутъ быть выполнены только соотвѣтственнымъ количествомъ рабочихъ рукъ, и поэтому рѣшеніе подобныхъ задачъ всегда предоставляется болѣе или менѣе отдаленному будущему. Всякая попытка нарушить этотъ основной законъ и начать обработку прямо съ тучныхъ участковъ земли неизбѣжно ведетъ за собой неудачи и народныя бѣдствія; посѣвы гніютъ на корню, колонисты мрутъ отъ лихорадокъ, и возникающее поселеніе погибаетъ, задавленное непомѣрными силами дѣвственной природы. Много такихъ примѣровъ представляетъ исторія французскихъ колоній въ Луизіанѣ и въ Кайеннѣ и первыхъ англійскихъ поселеній въ Виргиніи и въ Каролинѣ.

Въ Мексикѣ обрабатывались прежде другихъ земли Потози и Закатекаса, лишенныя естественнаго орошенія и часто подвергавшіяся губительнымъ засухамъ; между тѣмъ оставались невоздѣланными и незаселенными берега рѣкъ и Мексиканскаго залива, покрытые богатѣйшей тропической растительностью и производящіе сами собой хлопчатую бумагу и индиго, маисъ и сахарный тростникъ. Возвышенности Тласкалы и сухая почва Юкатана обрабатывались, а плодородныя земли Табаско и Гондураса оставались нетронутыми. Скалистые острова Карибскаго моря, Монсерратъ, С.-Луччія и С.-Винцентъ давно заселены, а Порто-Рико и Тринидадъ, самые плодородные изъ этихъ острововъ, долго оставались почти въ первобытномъ состояніи. На Панамскомъ перешейкѣ развертывается вся изумительная сила американской природы; дожди продолжаются сплошь по семи мѣсяцевъ, и лѣсная растительность развивается такъ быстро, что линія панамской желѣзной дороги заросла бы лѣсомъ въ одинъ годъ, еслибы на ней не производились постоянныя расчистки. Конечно, какъ и слѣдовало ожидать, Панамскій перешеекъ, по обѣ стороны рельсовъ, представляетъ нетронутую глушь.

Въ Южной Америкѣ повторяется тотъ же

общій законъ въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Во времена Пизарро существовала цивилизація только въ гористомъ и сухомъ Перу, составляющемъ крутой склонъ Кордильеровъ къ Восточному океану. Перу орошается небольшими и быстрыми рѣками, которыя, не застаиваясь въ своемъ теченіи, не могутъ образовать болотистыхъ разливовъ. Кромѣ того, пассатные вѣтры, насыщенные водяными парами, задерживаются вершинами Кордильеровъ, и облака, гонимыя этими вѣтрами, проливаютъ свой дождь, не достигая плоскихъ возвышенностей Перу и Боливіи. Отъ этого происходятъ засухи и неурожаи, и однако, не смотря на эти неудобства, гражданственность сосредоточилась именно въ Перу. Бразилія, лежащая къ востоку отъ Перу, орошается величайшими рѣками въ мірѣ и можетъ производить въ безпредѣльномъ изобиліи сахаръ, кофе, табакъ, пряности, красильныя вещества и все, чего только человѣкъ можетъ потребовать отъ тропической природы. Луга ея покрыты стадами буйволовъ и дикихъ лошадей; драгоцѣнные металлы лежатъ почти на самой поверхности земли. Кажется, людямъ стоило бы только придти и овладѣть всѣми этими сокровищами, а между тѣмъ весь неизмѣримый бассейнъ Амазонской рѣки и ея громадныхъ притоковъ до сихъ поръ представляется во многихъ мѣстахъ сплошнымъ дѣвственнымъ лѣсомъ. Туже самую противоположность мы видимъ южнѣе, сравнивая гористую и населенную береговую полосу Чили съ обширной, плодородной и почти нетронутой долиной Ла-Платы.

VI.

Въ Англіи съ незапамятныхъ временъ были обработаны земли Корнваллиса, извѣстныя по своей сухости; почти каждый холмъ въ этой странѣ представляетъ слѣды древнихъ поселеній. Теперь эти мѣста считаются худшими землями и обыкновенно оставляются подъ выгономъ. Во времена первыхъ норманскихъ королей южный Ланкаширъ былъ покрытъ болотами, въ которыхъ едва не увязло побѣдоносное войско Вильгельма Завоевателя. Теперь на этихъ самыхъ мѣстахъ созрѣваютъ богатыя жатвы и пасутся стада породистаго рогатаго скота. Во времена Плантагенетовъ въ Англіи было множество лѣсовъ, въ которыхъ водились кабаны и волки; теперь на мѣстѣ этихъ лѣсовъ мы находимъ пахатныя земли, далеко превосходящія своимъ плодородіемъ тѣ участки, которые воздѣлывались въ древности и въ средніе вѣка. Въ Шотландіи слѣды древняго земледѣлія находятся на горахъ; теперешнимъ жителямъ кажется до такой степени неправдоподобнымъ воздѣлываніе такихъ мѣстностей людьми, что они называютъ эти слѣды пашнями эльфовъ. Въ средніе вѣка житницею Шотландіи называлась тощая полоса земли, къ которой хлѣбопашцы нашихъ временъ чувствуютъ весьма незначительное уваженіе. Напротивъ того, лучшія теперешнія фермы Шотландіи лежатъ на бывшихъ болотахъ временъ Елизаветы и Маріи Стюартъ. Въ средніе вѣка Оркнейскіе острова имѣли очень важное значеніе, которое совершенно утратилось теперь. Они были однажды заложены какому-то норвежскому королю въ обезпеченіе такой значительной денежной суммы, за которую ихъ теперь нельзя было бы продать, еслибы даже покупателю, вмѣстѣ съ верховнымъ господствомъ, предоставлялось право собственности надъ землею. Оркнейскіе острова могли быть такъ дороги только потому, что лучшія земли оставались недоступными для земледѣльцевъ. Теперь обитатели этихъ острововъ живутъ очень бѣдно, но мы не имѣемъ основанія думать, что уровень ихъ благосостоянія понизился со времени среднихъ вѣковъ. Что считалось богатствомъ тогда, то покажется бѣдностью теперь, точно такъ же, какъ богатство дикаря для цивилизованнаго человѣка можетъ быть крайнею степенью нищеты.

Въ Галліи временъ Юлія Цезаря сильнѣйшія племена галловъ: арверны, эдуи и секваны жили по склонамъ Альпійскихъ горъ. Въ ихъ земляхъ возникли богатые торговые города, а въ настоящее время эти самыя земли лишены дорогъ, и путникъ, попавшій въ эту глушь, принужденъ перебираться черезъ горные потоки по переброшеннымъ бревнамъ, а еще чаще по камнямъ, положеннымъ въ воду, въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга. Въ такомъ положеніи находится территорія «le Morvan», занимающая до полутораста квадратныхъ льё и представляющая мѣстами сохранившіеся слѣды отличныхъ военныхъ дорогъ. Вообще остатки древней цивилизаціи находятся именно въ самыхъ дикихъ и бѣдныхъ захолустьяхъ современной Франціи: въ Бретани, въ Оверни, въ Лимузенѣ, въ Севенскихъ горахъ и на склонахъ Альповъ. Всѣ значительные города, извѣстные въ исторіи Капетинговъ, Людовика Святого, Филиппа Августа, — Шалонъ, Сенъ-Кентенъ, Суассонъ, Реймсъ, Труа, Нанси, Орлеанъ, Буржъ, Дижонъ, Вьенпь, Нимъ, Тулуза, Кагоръ — всѣ построены на высокихъ мѣстностяхъ, недалеко отъ истоковъ большихъ рѣкъ, или на возвышенностяхъ, составляющихъ водораздѣлы. Многія изъ лучшихъ земель Франціи до второй половины нашего вѣка были не обработаны, и Journal des Economistes еще въ 1855 г. обращалъ вниманіе правительства на необходимость осушить болотистыя мѣстности.

Въ Бельгіи тощія земли Лимбурга и Люксембурга обработывались съ незапамятныхъ временъ, а тучная Фландрія до седьмого сто-

лѣтія нашей эры оставалась пустыней. Въ Голландіи первенство между отдѣльными провинціями принадлежало узкой и песчаной полосѣ земли, лежавшей между Утрехтомъ и моремъ. Эта провинція называлась Голландіей, и преобладаніе ея достаточно выражается уже въ томъ обстоятельствѣ, что она дала свое имя всей странѣ.

Преданія скандинавскаго племени выводятъ обитателей скандинавскаго полуострова съ юга и указываютъ ихъ первобытную родину на берегахъ Дона. Мы видимъ такимъ образомъ, что цѣлый народъ уходитъ съ богатой почвы южной Россіи, не останавливается на тучныхъ равнинахъ средней и сѣверной Германіи, отыскиваетъ себѣ за моремъ новую отчизну, и на этой бѣдной землѣ выбираетъ себѣ для поселеній самыя гористыя и тощія мѣстности. Это послѣднее обстоятельство доказывается тѣмъ, что слѣды древнѣйшихъ жилищъ въ Скандинавіи, какъ и въ Шотландіи, находятся на возвышенностяхъ.

Славянскія племена, заселившія Россію, въ пѣсняхъ своихъ вспоминаютъ о южномъ происхожденіи своемъ съ береговъ Дуная. Первыя проявленія гражданственности въ нашемъ отечествѣ находимъ мы на берегахъ Волхова и Ильменя, въ суровомъ климатѣ, на тощей почвѣ. Кіевъ является преимущественно военною стоянкой князей; народная жизнь уходитъ на сѣверъ и сѣверо-востокъ, держится въ Новгородѣ и Псковѣ, проявляется въ Суздалѣ и Владимірѣ, производитъ колонизацію Вятки и разбрасывается по берегамъ Бѣлаго моря. Еще въ 60-хъ годахъ сѣверныя части Россіи, за исключеніемъ тѣхъ крайнихъ оконечностей, въ которыхъ холодъ губитъ всякую растительность, оказывались болѣе населенными и лучше воздѣланными, чѣмъ роскошныя степи Новороссійскаго края. По вѣрному замѣчанію Тенгоборскаго, Псковская губернія занимала тогда девятое мѣсто по относительному количеству пахатной земли и въ этомъ отношеніи стояла гораздо выше губерній Подольской, Саратовской и Волынской, которыя конечно всегда далеко превосходили ее плодородіемъ почвы.

Въ нынѣшней Венгріи сподвижники Атиллы основали свои первыя поселенія на песчаной равнинѣ, лежащей между Тиссою и Дунаемъ; потомки ихъ долго держались на этихъ безплодныхъ мѣстахъ, оставляя необработанными и неосушенными богатыя земли, простирающіяся за Тиссою.

Въ Италіи Самнитскіе холмы и высокая Этрурія были уже обработаны, а Веіи и Альба-Лонга считались уже могущественными городами, когда при низовьяхъ Тибра еще не возникло бѣдное поселеніе товарищей Ромула. Возвышенности цизальпинской Галліи были заняты въ древности, а лагуны адріатическаго прибрежья, на которыхъ стоитъ Венеція, заселены только въ началѣ среднихъ вѣковъ. Въ Корсикѣ хижины жителей разбросаны по горамъ, а почва долинъ, способная производить табакъ, сахарный тростникъ, хлопчатникъ и даже индиго, остается еще на половину невоздѣланной. То-же самое мы видимъ въ Сардиніи, на Балеарскихъ островахъ и въ Сициліи.

Въ древней Греціи обработка земли началась въ гористой Аркадіи и въ сухой Аттикѣ гораздо раньше, чѣмъ въ тучной Беотіи. Фокеяне, локры и этолійцы тѣснились на скалистыхъ возвышенностяхъ, между тѣмъ какъ рядомъ съ ними лежали слабо заселенныя богатыя равнины Θессаліи и Θракіи.

Египетская цивилизація возникаетъ въ верхнихъ частяхъ Нила, и первой столицей ея являются Θивы; оттуда она спускается внизъ по теченію, къ Мемфису, и наконецъ уже гораздо позднѣе захватываетъ плодородную дельту Нила, на которой построена Александрія.

Столица Абиссиніи лежитъ на высотѣ 8,000 футовъ надъ поверхностью моря, а долины не заселены.

Въ Остъ-Индіи дельты Инда и Ганга покрыты непроходимыми лѣсами, и почти всѣ долины большихъ рѣкъ остаются въ первобытномъ состояніи, а между тѣмъ по склонамъ горъ туземцы выбиваются изъ силъ, чтобы добыть себѣ въ день горсть рису или въ мѣсяцъ двѣ рупіи заработной платы. На Цейлонѣ и на Явѣ жители боятся и тщательно обходятъ тучную почву долинъ, въ которыхъ рядомъ съ могучей растительностью развиваются губительные міазмы.

Вся эта груда набросанныхъ фактовъ, взятыхъ изъ всѣхъ частей свѣта, подъ всѣми широтами, изъ настоящаго и изъ прошедшаго, у народовъ, стоящихъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ умственнаго и общественнаго развитія, самымъ блестящимъ образомъ доказываетъ съ разныхъ сторонъ непреложность одного общаго закона. Человѣкъ постоянно переходитъ отъ худшаго къ лучшему, отъ бѣдной почвы къ богатой, точно такъ-же какъ онъ переходитъ отъ острой раковины къ желѣзному и стальному ножу, отъ обожженнаго кола къ плугу, отъ пещеры къ каменному дому, отъ лука къ штуцеру, отъ звѣриной кожи къ сукну и бархату. Для того, чтобы переходъ этотъ совершался, необходимо только предоставить свободу естественнымъ отправленіямъ человѣческаго организма.

Человѣку, вмѣстѣ со всѣми другими животными, свойственно стремленіе размножаться, и мы видимъ дѣйствительно, что размноженіе людей составляетъ непремѣнное условіе всякаго прогресса. Человѣку свойственно искать сближенія съ другими людьми, и оказывается на

самомъ дѣлѣ, что только соединенныя человѣческія силы могутъ успѣшно бороться съ природой. Человѣку свойственно искать себѣ матеріальныхъ удобствъ, и мы замѣчаемъ вездѣ и всегда, что чѣмъ усерднѣе онъ ихъ ищетъ, т. е. чѣмъ сильнѣе онъ работаетъ мозгомъ и мускулами, тѣмъ быстрѣе улучшается его положеніе. Каждая потребность человѣка можетъ найти себѣ удовлетвореніе, и чѣмъ полнѣе она будетъ удовлетворяться, тѣмъ больше будетъ оказываться средствъ удовлетворять ей въ будущемъ. Но изъ этого никакъ не слѣдуетъ выводить то лестное заключеніе, что потребности человѣка дѣйствительно удовлетворяются всегда и вездѣ. На земномъ шарѣ и кромѣ человѣка существуетъ множество различныхъ организмовъ, которые всѣ могутъ жить и развиваться въ свойственной имъ обстановкѣ; но каждый изъ этихъ организмовъ можетъ быть искусственно поставленъ въ такое положеніе, при которомъ онъ или зачахнетъ, или разрушится. Положите рыбу на берегъ, бросьте птицу въ воду, заприте въ одно стойло лошадь, а въ другое кошку, и положите передъ первою пудъ сырого мяса, а передъ второй мѣру овса, и вы увидите, что четыре организма будутъ разрушены,—первые очень быстро, послѣдніе довольно медленно. Еслибы нашелся такой проказникъ, который могъ бы перетасовать такимъ образомъ всѣ существующіе организмы, то въ короткое время весь земной шаръ покрылся бы трупами, чего никакъ уже нельзя приписать простому дѣйствію законовъ природы.

Разрушить произвольнымъ вмѣшательствомъ всю органическую жизнь на земномъ шарѣ невозможно, но повредить въ какой-нибудь отдѣльной странѣ правильному развитію человѣческаго труда вовсе не трудно; для этого не требуется даже злонамѣренности — одно незнаніе производитъ искусственныя комбинаціи въ между-человѣческихъ и общественныхъ отношеніяхъ; при такихъ комбинаціяхъ удовлетвореніе многихъ человѣческихъ потребностей становится невозможнымъ, и самое существованіе такихъ потребностей дѣлается источникомъ страданій и приводитъ къ гибели — точно такъ же, какъ потребность дышать губитъ птицу, погруженную въ воду, или потребность принимать пищу — кошку, находящуюся tête-à-tête съ мѣрою овса. Очевидно, что тутъ виновата не потребность, а уродливая комбинація. Каждая изъ европейскихъ націй прошла черезъ множество подобныхъ комбинацій, но натура человѣка такъ крѣпка и эластична, а естественное теченіе событій настолько сильнѣе ошибочныхъ разсчетовъ и произвольныхъ распоряженій, что, не смотря на всѣ историческія несчастія, мы все-таки замѣчаемъ въ передовыхъ странахъ Европы постоянное возрастаніе народонаселенія, постоянное улучшеніе техническихъ пріемовъ, и вслѣдствіе того постоянное стремленіе къ переходу отъ тощей почвы къ болѣе плодородной. Но въ нѣкоторыхъ земляхъ враждебныя вліянія были до такой степени сильны, что они превозмогали дѣйствіе естественныхъ стремленій человѣка: народонаселеніе убывало, матеріальное довольство уменьшалось, техническая ловкость и изобрѣтательность терялась, и человѣкъ покидалъ богатую почву, чтобы снова добывать себѣ скудное пропитаніе на тощихъ и сухихъ земляхъ. Войны, порабощеніе труда и разныя видоизмѣненія административнаго произвола составляютъ главныя причины такихъ печальныхъ явленій. Такъ опустѣли Греція и Италія въ послѣдніе годы римской республики и во время имперіи. Такъ пустѣетъ теперь Турція, заключающая въ себѣ плодороднѣйшія земли Европы и Азіи, и между тѣмъ населенная такимъ народомъ, который едва успѣваетъ предохранять себя отъ голодной смерти. Богатая Буюкдерская долина, разстилающаяся у самыхъ воротъ Константинополя, не обрабатывается, такъ что въ столицу привозится хлѣбъ съ холмовъ, лежащихъ за сорокъ и за пятьдесятъ миль. Земли, орошаемыя нижнимъ теченіемъ Дуная давали богатыя жатвы во времена римскаго владычества, а теперь на нихъ пасутся малочисленныя стада свиней, пастухи которыхъ находятся въ самомъ жалкомъ положеніи. Такія же картины запущенія попадаются путешественнику въ Малой Азіи, въ Сиріи, по берегамъ Тигра и Евфрата — въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ процвѣтала греческая цивилизація, и тамъ, гдѣ земля кипѣла молокомъ и медомъ. Все это произведено отчасти военными опустошеніями былыхъ временъ, отчасти такою системой управленія, которая не обезпечиваетъ ни личности, ни собственности, отчасти тѣмъ обстоятельствомъ, что Турція вывозитъ постоянно свои сырые продукты на далекіе рынки, постоянно истощаетъ свою почву, и слѣдовательно, проживая такимъ образомъ свой капиталъ, съ каждымъ годомъ становится бѣднѣе и слабѣе.

Южные, рабовладѣльческіе штаты Америки находились почти въ такомъ же положеніи. Вся нижняя Виргинія была покрыта развалинами оставленныхъ плантаторскихъ домовъ; поля заброшены и поросли верескомъ и кустарникомъ; хозяева принуждены искать новыхъ земель, и такъ какъ расчистка и осушеніе богатой почвы была имъ не по силамъ, то они, естественнымъ образомъ, разрабатывали сухія вершины холмовъ. Здѣсь этотъ упадокъ земледѣлія порождался двумя причинами, тѣсно связанными между собою: постояннымъ вывозомъ сырыхъ продуктовъ, истощающимъ землю, и рабствомъ, обусловливающимъ собою хозяйственную рутину. Сырые продукты вывозились въ Англію

оттого, что не было мануфактуръ на мѣстѣ, а мануфактуръ не было оттого, что не было предпріимчивости, а предпріимчивость немыслима въ такой странѣ, гдѣ большинство жителей работаетъ изъ-подъ палки. Слѣдовательно, рабство и истощеніе почвы составляли такой заколдованный кругъ, изъ котораго южные штаты никакъ не могли вырваться.

VII.

Еслибы нельзя было осязательно доказать, что земледѣліе возникаетъ на возвышенностяхъ и уже впослѣдствіи спускается въ долины, то идея о возможности прогресса, составляющая краеугольный камень разумнаго міросозерцанія, въ научномъ отношеніи могла бы занять мѣсто рядомъ съ теоріями старухъ о близости свѣтопреставленія. На первый взглядъ такое положеніе кажется нелѣпымъ, но первое впечатлѣніе здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, оказывается ошибочнымъ. Тучная почва всегда находится въ долинахъ и низменностяхъ, потому что каждый ливень смываетъ съ высокихъ мѣстъ частицы почвы и несетъ ихъ мутными потоками дождевой воды въ низкія мѣста, гдѣ эти частицы осаждаются по естественному дѣйствію тяжести. Еслибы первобытные поселенцы могли разработать тучную почву, и еслибы размножающееся потомство этихъ поселенцевъ было принуждено мало-по-малу распахивать тощія земли, то очевидно трудъ послѣднихъ съ каждымъ годомъ сталъ бы получать болѣе скудное вознагражденіе; чѣмъ больше нарождалось бы людей, тѣмъ дальше пришлось бы земледѣльцамъ забираться на сухіе холмы; цѣною постоянно возрастающихъ усилій пришлось бы добывать постоянно уменьшающееся количество пищи и другихъ сырыхъ матеріаловъ. При такомъ положеніи дѣлъ, всякое приращеніе народонаселенія было бы зломъ, потому что оно вело бы за собой постоянно увеличеніе бѣдности. Некогда было бы придумывать техническія усовершенствованія, потому что все время жителей уходило бы на заботы о кускѣ хлѣба, и всѣ эти заботы все-таки не могли бы предохранить ихъ отъ частыхъ посѣщеній голода; кромѣ того, всякія техническія усовершенствованія были бы безполезны, еслибы не увеличивалось количество сырыхъ матеріаловъ, которое въ концѣ-концовъ всегда служитъ настоящимъ мѣриломъ богатства. О прогрессѣ нечего было бы и думать; нищета, голодъ, заразительныя болѣзни составляли бы естественную судьбу человѣчества и поражали бы каждое послѣдующее поколѣніе сильнѣе, чѣмъ предыдущее; передъ такою перспективой самый неукротимый идеалистъ сложитъ оружіе и сознается, что о нравственномъ и умственномъ совершенствованіи приходится отложить попеченіе.

Существуетъ однако цѣлая школа ученыхъ мужей, которые, не считая себя неукротимыми идеалистами, полагаютъ, что есть возможность помирить идею прогресса съ враждебнымъ воззрѣніемъ на возрастаніе народонаселенія. Дѣло идетъ о многочисленныхъ послѣдователяхъ слишкомъ знаменитыхъ учителей Мальтуса и Рикардо. Теорія Мальтуса состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что люди плодятся въ геометрической прогрессіи (1, 2, 4, 8, 16, 32...) въ то самое время, какъ предметы, употребляющіеся въ пищу, размножаются въ ариѳметической прогресіи (1, 2, 3, 4, 5, 6...) Черезъ такую неравномѣрность размноженія происходитъ для людей недостатокъ пищи, нищета, голодъ, болѣзни — однимъ словомъ, всѣ тѣ бѣдствія, отъ которыхъ страдаетъ гарнизонъ осажденной крѣпости. По мнѣнію Мальтуса, Англія уже дошла до такого бѣдственнаго положенія, и причины пауперизма и развивающихся изъ него страданій и преступленій заключаются именно въ излишкѣ народонаселенія. Идеи Рикардо относятся къ заселенію земли. Онъ утверждаетъ, что первые поселенцы захватили лучшія земли, потому что они имѣли полную свободу выбора; послѣдующимъ поколѣніямъ пришлось довольствоваться тѣмъ, что осталось, или платить наслѣдникамъ первыхъ собственниковъ извѣстное количество продукта за пользованіе лучшими, уже захваченными землями. Такъ объясняется происхожденіе поземельной ренты. Обѣ теоріи составлены въ рабочемъ кабинетѣ, за письменнымъ столомъ, за которымъ можно составить какіе угодно проекты, выкладки, комбинаціи и доктрины. Обѣ теоріи носятъ на себѣ печать тѣхъ счастливыхъ временъ, когда можно было тасовать и раскладывать въ головѣ и на бумагѣ разныя мысли о природѣ и человѣкѣ, не обращая никакого вниманія ни на законы и явленія природы, ни на свидѣтельства исторіи и ежедневнаго опыта.

Въ подобныхъ выкладкахъ и человѣкъ, и природа являются только какъ отвлеченныя понятія и показываютъ изслѣдователю только ту, часто даже несуществующую сторону, которую ему угодно принимать въ соображеніе. Рикардо говоритъ, что первые поселенцы *конечно* выбрали лучшую землю. Тутъ очевидно берутся отвлеченные поселенцы и отвлеченная земля. Въ «лучшей землѣ» принимается въ соображеніе только та сторона, что она можетъ давать много хлѣба. Въ «первыхъ поселенцахъ» берется въ разсчетъ только то свойство, что они имѣютъ глаза и могутъ сдѣлать выборъ. Но что лучшая земля, именно потому, что она лучшая, должна была непремѣнно зарости лѣсомъ или покрыться лужами стоячей воды, объ этомъ Рикардо не думаетъ. Что первый поселенецъ, именно потому, что онъ первый, долженъ былъ располагать очень плохими орудія-

ми и очень слабыми техническими свѣдѣніями, этого Рикардо также не соображаетъ. Между тѣмъ мы видѣли, что именно эти непризнанныя свойства земли и человѣка вездѣ мѣшали одинокому колонисту захватить тѣ участки, которые могли давать ему обильные урожаи. Мы видѣли также, на сколько историческіе факты находятся въ согласіи съ идеями Рикардо, который очевидно дошелъ до своихъ заключеній только потому, что соблазнился внѣшней логичностью своихъ кабинетныхъ соображеній. Оригинально также то обстоятельство, что существованіе поземельной ренты въ Англіи, въ которой землевладѣльцы ведутъ свои права отъ норманскихъ завоевателей и феодальнымъ барономъ, приводится въ связь съ какимъ-то идеальнымъ заселеніемъ земли.

Такіе логическіе и историческіе salto mortale неизбѣжны въ тѣхъ случаяхъ, когда писатель, насилуя свою совѣсть и закрывая глаза и уши, старается, во что бы то ни стало, узаконить и оправдать некрасивыя явленія современной дѣйствительности. Гаданія Мальтуса о размноженіи людей вытекаютъ изъ того же мутнаго источника и, подобно разсужденіямъ Рикардо, не имѣютъ ни малѣйшаго научнаго основанія. Такъ называемый мальтусовъ законъ много разъ подвергался разрушительной критикѣ мыслителей, имѣющихъ здравыя понятія объ условіяхъ народнаго благосостоянія. Не желая повторять приводимыхъ ими аргументовъ, я обрисую здѣсь только мертвящій взглядъ Мальтуса и его послѣдователей на жизнь природы и на дѣятельность человѣка.

Земля и ея производительныя силы представляются Мальтусу сундукомъ, наполненнымъ деньгами: если, разсуждаетъ онъ, пять человѣкъ раздѣлятъ между собой эти деньги, то каждому достанется одна пятая; если десять человѣкъ раздѣлятъ ихъ, то каждому достанется вдвое меньше, чѣмъ въ первомъ случаѣ, если двадцать—вчетверо меньше, и т. д. Изъ этого очевидно слѣдуетъ заключеніе, что чѣмъ меньше будетъ людей, предъявляющихъ свои притязанія на деньги, тѣмъ богаче будутъ тѣ, которые раздѣлятъ содержаніе сундука. Мальтусъ допускаетъ правда, что производительныя силы земли могутъ увеличиваться, но и сумма денегъ можетъ увеличиться, если ее положатъ въ банкъ. Мальтусъ вычисляетъ возрастаніе въ количествѣ продуктовъ такъ же опредѣлительно, какъ можно было бы высчитать проценты съ извѣстнаго денежнаго капитала. Разумѣется, въ сочиненіяхъ Мальтуса не встрѣчается сравненія земли съ сундукомъ, но вездѣ выражается стремленіе смотрѣть на производительныя силы природы, какъ на мертвую массу, которую можно измѣрить футами и свѣсить фунтами. Въ человѣческомъ трудѣ онъ также видитъ механическое приложеніе мускульной силы и совершенно забываетъ дѣятельность мозга, постоянно одерживающую побѣды надъ физической природой и постоянно открывающую въ ней новыя свойства.

Такой взглядъ въ отношеніи къ природѣ радикально невѣренъ, а въ отношеніи къ человѣку совершенно одностороненъ, и слѣдовательно также несостоятеленъ. Вся жизнь природы на нашей планетѣ представляется мыслящему наблюдателю вѣчнымъ круговращеніемъ, не останавливающимся ни на одну милліонную долю секунды. Въ это круговращеніе вовлечены и атмосфера, и вода, и минеральныя частицы, и всѣ организмы отъ инфузоріи до кита, и отъ плѣсени до человѣка. Растенія составляютъ свои корни, стебли, листья, цвѣты и плоды изъ минеральныхъ частицъ и изъ углекислоты, поглощаемой ими изъ атмосфернаго воздуха. Эту углекислоту они разлагаютъ и, удерживая углеродъ, выбрасываютъ назадъ кислородъ, посредствомъ выдыханія. Кромѣ того, они поглощаютъ воду изъ почвы и водяные пары изъ воздуха. Растенія служатъ посредствующимъ звеномъ между газами атмосферы и минеральнымъ составомъ земной коры — съ одной стороны и травоядными животными организмами—съ другой. Травоядныя животныя нуждаются въ пищѣ; для поддержанія жизни имъ необходимы именно тѣ элементы, которые заключаются частью въ атмосферномъ воздухѣ, частью въ минералахъ; крахмалъ и клейковина растительныхъ веществъ состоятъ преимущественно: первый—изъ водорода, кислорода и углерода, вторая—изъ тѣхъ же трехъ элементовъ съ прибавкою четвертаго, азота. Но травоядное животное можетъ питаться крахмаломъ и клейковиной, а четырьмя названными газами питаться не можетъ. Ему необходимо, чтобы составные элементы его пищи были приведены растеніемъ именно въ ту форму, въ какой они могутъ быть восприняты и усвоены его организмомъ. Работа, которую растеніе производитъ для травояднаго, совершается потомъ травояднымъ для плотояднаго. Растеніе питается газами и минералами, коза съѣдаетъ растеніе, козу съѣдаетъ волкъ; потомъ волкъ издыхаетъ и снова возвращаетъ землѣ всѣ составныя части, которыя были взяты имъ напрокатъ и которыми тотчасъ же можетъ питаться новое растеніе. И волкъ, и коза, и прежнее растеніе при жизни своей постоянно отдавали въ общую экономію природы большую часть поглощаемой матеріи; растеніе постоянно выдѣляло кислородъ, а коза и волкъ выдыхали углекислоту; однолѣтнее растеніе, съѣденное въ цвѣтѣ лѣтъ козою, не могло непосредственно отдать землѣ своихъ твердыхъ составныхъ частей, но растеніе многолѣтнее каждый годъ роняетъ листья; коза и волкъ постоянно выдѣляли твердыя вещества въ испражненіяхъ

и въ видѣ выпадающихъ волосъ. Все это опять попадало въ общій круговоротъ.

Человѣкъ конечно участвуетъ въ этомъ круговоротѣ такъ же невольно и такъ же безсознательно, какъ коза и волкъ; но этимъ роль его не ограничивается. Онъ поглощаетъ и выдѣляетъ извѣстныя количества матеріи, но кромѣ того онъ еще сознательнымъ вмѣшательствомъ своимъ ускоряетъ и направляетъ нѣкоторыя струйки кругового теченія. Такое вмѣшательство начинается на самыхъ низшихъ ступеняхъ умственнаго и общественнаго развитія. Человѣкъ разводитъ огонь, и уже это простѣйшее дѣйствіе ускоряетъ круговоротъ въ одномъ крошечномъ уголкѣ нашей планеты. Дерево въ этомъ случаѣ быстро разлагается на свои составныя части; дымъ уносится вѣтромъ и вступаетъ тотчасъ же въ разныя комбинаціи, а зола остается на землѣ и втягивается также въ общее движеніе. Все это произошло бы и въ томъ случаѣ, если бы сожженные сучья спокойно сгнили отъ сырого воздуха, но произошло бы гораздо медленнѣе; стало быть, вліяніе человѣка выразилось въ ускореніи движенія. Я считаю это специфическимъ вліяніемъ человѣка, потому что ближайшее къ человѣку животное, обезьяна, не умѣетъ не только развести, но даже поддержать огонь. Когда человѣкъ занимается скотоводствомъ и заботится о доставленіи корма своимъ коровамъ, онъ очевидно ускоряетъ круговращеніе и самъ пользуется результатами этого ускоренія. Корова сама отыскивала себѣ пищу, но не такъ скоро, или не столько, сколько нужно, или не такого качества. Вмѣшательство человѣка производитъ здѣсь ускореніе круговращенія, которое выражается въ томъ, что корова жирѣетъ и даетъ больше молока. Но еслибы корова зимою стала искать себѣ пищи, она бы не нашла ея; круговращеніе продолжалось бы своимъ чередомъ, значительная часть тканей коровы была бы вовлечена въ это вѣчное круговращеніе, и корова околѣла бы. Здѣсь уже вмѣшательство человѣка, доставляющаго коровѣ пищу, не только ускоряетъ, но и направляетъ струйку кругообращенія такъ, какъ того требуютъ человѣческія выгоды и соображенія. Занимаясь земледѣліемъ, человѣкъ постоянно ускоряетъ круговращеніе; онъ старается на извѣстномъ пространствѣ земли собрать всѣ условія, содѣйствующія быстрому превращенію минеральныхъ частицъ и газовъ въ различныя части извѣстныхъ растеній; для этого онъ проводитъ борозды по землѣ, кладетъ на эту землю разлагающіяся вещества, бросаетъ сѣмена, покрываетъ ихъ слоемъ земли, и конечно всякій посторонній зритель отличитъ съ перваго взгляда ниву, обработанную и засѣянную человѣкомъ, отъ участка земли, на которомъ изъ случайно попавшихъ хлѣбныхъ зеренъ выросли кое-гдѣ колосья. Круговращеніе на обработанной нивѣ усилено и направлено сообразно съ выгодами человѣка, и человѣкъ пользуется плодами своего вмѣшательства.

Человѣкъ не можетъ прибавить ни одного атома къ массѣ существующей матеріи, но въ этомъ онъ не нуждается. Для него важны формы, которыя принимаетъ на себя матерія, и комбинаціи, въ которыя вступаютъ между собой простые элементы, а создавать и разрушать формы и комбинаціи значитъ именно ускорять и направлять круговращеніе. На это у человѣка есть множество средствъ, и число этихъ средствъ постоянно увеличивается, потому что человѣкъ постоянно узнаетъ новыя свойства и тайны природы. Что же касается до сырого матеріала, изъ котораго человѣку приходится лѣпить необходимыя ему комбинаціи, то количество его неизмѣримо велико. Однимъ изъ важнѣйшихъ матеріаловъ мы должны признать атмосферный воздухъ и плавающіе въ немъ газы; воздуха у насъ достаточно; надъ землею лежитъ слой атмосферы въ семьдесятъ верстъ толщиной; другой важный матеріалъ заключается въ различныхъ минералахъ—тоже недостатка не предвидится; вся земная кора къ нашимъ услугамъ, а толщина этой коры, по мнѣнію однихъ геологовъ, заключаетъ въ себѣ *пятьдесятъ*, а по мнѣнію другихъ,—*двѣсти* миль; третій матеріалъ—вода; воды довольно: всѣ океаны, моря, рѣки, вмѣстѣ взятые, могутъ покрыть всю сушу; если разравнять всѣ горы и долины материковъ и побросать массы твердой земли въ самыя глубокія мѣста морей, такъ чтобы выравнялись всѣ неровности морского дна, то образуется на земномъ шарѣ сплошная масса воды въ 1,100 футовъ глубины.

Надо припомнить кромѣ того, что ни одна песчинка, ни одна капля воды, ни одинъ атомъ газа не пропадаетъ, не отрывается отъ земного шара, не улетучивается въ міровое пространство. Громадный капиталъ, изъ котораго не теряется ни одна полушка, конечно долженъ быть признанъ неистребимымъ капиталомъ. А пока существуютъ газы, минералы и вода, до тѣхъ поръ совершенно обезпечено существованіе растеній, слѣдовательно и плотоядные, и человѣкъ не останутся въ накладѣ. На землѣ теперь существуетъ безчисленное множество растеній, но ихъ число можетъ еще увеличиться въ безконечное число разъ, потому что на созиданіе растеній пущена въ оборотъ только крайне незначительная часть всего капитала, состоящаго изъ совокупности всѣхъ газовъ, минераловъ и водъ. Растенія дѣйствительно завоевываютъ мало-по-малу такія мѣста, которыя прежде состояли изъ голаго камня. Процессъ такого завоеванія описанъ у Шлейдена въ его книгѣ «Растеніе». На вершинѣ Брокена, на голомъ гранитѣ, открыто микроскопическое растеніе, которое невооруженному глазу представляется въ видѣ тончайшихъ красноватыхъ

пылинокъ; если потереть кусокъ гранита, поросшій милліонами растеній, то онъ издаетъ фіалковый запахъ; это растеніе питается исключительно дождевыми каплями, растворившими въ себѣ амміакъ и углекислоту. Оно готовитъ почву для болѣе крупныхъ лишаевъ темнаго цвѣта, называемыхъ ститтйскимъ и фолунскимъ; за лишаями идутъ мхи, потомъ дернъ, трава, можжевельникъ и наконецъ сосна. А подъ этими растеніями гранитъ уже не тотъ, что былъ прежде: онъ разрыхляется, разлагается и втягивается мало-по-малу въ круговращеніе. Что на брокенскомъ гранитѣ дѣлаетъ сама природа, то дѣлаетъ на поляхъ своихъ человѣкъ, когда онъ взрываетъ плугомъ глубокіе слои почвы и втягиваетъ въ круговоротъ мергель, лежавшій мертвымъ капиталомъ подъ пескомъ, или известь, лежавшую такимъ же образомъ подъ глиною. Чѣмъ больше милліоновъ людей работаетъ плугомъ на поляхъ, тѣмъ большее количество мергеля и извести вовлекается въ круговое теченіе; чѣмъ больше десятковъ тысячъ людей работаетъ въ кузницахъ и на фабрикахъ, тѣмъ больше хорошихъ орудій и хорошей одежды получаютъ предыдущіе милліоны; чѣмъ больше сотенъ людей работаетъ въ химическихъ лабораторіяхъ, тѣмъ больше открывается новыхъ средствъ втягивать въ круговоротъ массы мертваго капитала. Не Либихъ, не Берцеліусъ, не Дэви, не Лавуазье создали химію; ее создали умственныя и матеріальныя потребности массъ, реальное и практическое направленіе нашего времени; умные люди были и въ средніе вѣка, но они писали теологическіе трактаты или картины; это было очень похвально, но отъ этого не прибавилось на землѣ ни одного зерна хлѣба. Когда населеніе разрослось, когда люди плотнѣе сдвинулись между собой, когда начался живой обмѣнъ мыслей, тогда массы почувствовали свои потребности и выдвинули впередъ своихъ геніальныхъ дѣтей, которыя сдѣлались дѣтьми-работниками въ великой мастерской природы, а не праздными вздыхателями въ храмахъ науки и искусства. Такое движеніе не могло бы произойти безъ возрастанія народонаселенія. Только въ одномъ случаѣ вмѣшательство человѣка ослабляетъ производительныя силы природы; это происходитъ тогда, когда человѣкъ вывозитъ сырые продукты земли на далекіе рынки и такимъ образомъ, постоянно отнимая у земли извѣстныя составныя части, не возвращаетъ ей взамѣнъ никакого удобренія. А такой образъ дѣйствій возможенъ только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мало людей и гдѣ, вслѣдствіе этого, нѣтъ промышленнаго движенія. Еслибы было много людей, явилась бы по необходимости предпріимчивость, выросли бы фабрики, сырые продукты стали бы перерабатываться и поглощаться на мѣстѣ, остатки переработанныхъ продуктовъ давали бы богатое удобреніе, и почва, вмѣсто того чтобы истощаться, постоянно становилась бы плодороднѣе.

Выходитъ, стало быть, какъ разъ противное тому, что утверждалъ Мальтусъ. Бѣдность происходитъ отъ малолюдства; если же бѣдность существуетъ иногда вмѣстѣ съ многолюдствомъ, то въ такомъ случаѣ надо искать причинъ бѣдности въ ненормальной организаціи труда, а никакъ не въ многолюдствѣ. Многолюдство есть обиліе силъ; если что нибудь мѣшаетъ приложенію этихъ силъ, то виновато конечно препятствіе, а не существованіе силъ. Историческіе факты доказываютъ самымъ наглядным образомъ, что люди вовсе не размножаются быстрѣе, чѣмъ предметы пищи. Во Франціи въ 1760 г. было 21,000,000 жителей, и на каждаго человѣка приходилось по 450 литровъ различнаго хлѣба; въ 1840 г. жителей было 34,000,000, а хлѣба приходилось на каждаго по 541 литру, да кромѣ того были введены въ употребленіе картофель и различныя овощи, которыя въ 1760 г. не были извѣстны въ народномъ хозяйствѣ; картофеля и овощей получалось въ 1840 году по 291 литру на человѣка; стало быть всего питательнаго продукта добывалось на человѣка по 832 литра. Число жителей увеличилось только на 60 процентовъ, а количество пищи утроилось, такъ что Мальтусъ и его законъ на этотъ случай оказались непригодными. Надобно при томъ замѣтить, что Франція вовсе не похожа на образцовую ферму, и что ея земледѣліе чрезвычайно далеко даже отъ той степени совершенства, которая возможна при теперешнемъ состояніи агрономической науки, а агрономическая наука въ свою очередь далеко еще не воспользовалась всѣми указаніями и открытіями современной химіи, а химія опять-таки вовсе не находится въ законченномъ состояніи; множество вопросовъ рѣшается, множество стоитъ на очереди, и безчисленное множество вопросовъ еще не поставлено, потому что къ нимъ и подойти невозможно при теперешнихъ средствахъ науки. Слѣдовательно, въ настоящее время дѣлать какіенибудь выводы о производительныхъ силахъ природы и о будущихъ успѣхахъ человѣка—значило бы только обнаруживать ту близорукость и заносчивость, которыя всегда свойственны самолюбивому невѣжеству.

Любопытно замѣтить въ заключеніе этой длинной главы, что школа Мальтуса не отказывается отъ возможности прогресса. Послѣдователи Мальтуса полагаютъ, что люди должны только употреблять въ отношеніи къ себѣ моральное стѣсненіе (moral restraint) и воздерживаться отъ излишняго дѣторожденія. Рикардо думаетъ, что рабочіе должны получать такую плату, которая позволила бы имъ существовать, не размножаясь и не уменьшаясь. Милль, тотъ самый Джонъ Стюартъ Милль,

котораго такъ уважаютъ всѣ наши разноцвѣтные публицисты, говоритъ, что многочисленное семейство пролетарія должно возбуждать въ насъ къ отцу этого семейства такое же отвращеніе и презрѣніе, какое возбудило бы безобразное пьянство. Ратуя за женщину и доказывая необходимость женскаго труда, Милль особенно напираетъ на то соображеніе, что трудъ въ значительной степени отвлечетъ женщину отъ дѣторожденія. Наконецъ, въ своей знаменитой книгѣ «О свободѣ» (On liberty) Милль признаетъ за государствомъ право запрещать, по своему благоусмотрѣнію, браки между людьми необезпеченныхъ классовъ. Тутъ ужъ не знаешь, чѣмъ больше восхищаться: гуманностью-ли, или дальновидностью подобной идеи. Я посмотрю на нее съ точки зрѣнія дальновидности. Ну, прекрасно: государство запретило браки; тогда начинаютъ рождаться дѣти внѣ брака у такихъ родителей, которымъ дѣтей имѣть не позволяется; чтобы быть послѣдовательнымъ, государство назначаетъ за незаконныя рожденія уголовныя наказанія; тогда начинаются вытравливанія зародышей и дѣтоубійства; государство казнитъ преступниковъ и преступницъ. Такъ или иначе задушевное желаніе Милля исполнено: возрастаніе населенія пріостановлено. Кто потрусливѣе, тотъ воздержится посредствомъ «moral restraint», а кто построптивѣе—того обуздаетъ палачъ. Казни будутъ происходить каждый день, но что за бѣда? Великая цѣль достигнута, и прогрессъ человѣчества обезпеченъ. Я удивляюсь только, какъ это Миллю не пришло въ голову подать государству слѣдующій мудрый совѣтъ: пусть государство само назначаетъ, сколько новорожденныхъ младенцевъ мужского пола могутъ современемъ воспользоваться своими половыми способностями; затѣмъ, пусть остальные будутъ лишены этихъ антипрогрессивныхъ способностей. При теперешнемъ состояніи хирургіи такое лишеніе можетъ быть совершено безъ малѣйшей опасности для жизни, и малютки выростутъ, сохраняя на всю жизнь превосходный сопрано и не жалѣя о своей утратѣ. При такомъ образѣ дѣйствій государство всегда можетъ сохранить контроль надъ размноженіемъ людей.

VIII.

Одинокій поселенецъ находился на своемъ богатомъ островѣ въ положеніи Тантала; деревья дѣвственнаго лѣса были усыпаны птицами, которыя могли доставить ему превосходное жаркое; изъ чащи выскакивали поминутно зайцы и дикія козы, отъ которыхъ не отказался бы самый разборчивый гастрономъ; въ прозрачной водѣ рѣки шевелились форели, лещи, щуки и разныя другія очень аппетитныя рыбы. Задача состояла только въ томъ, чтобы взять въ руки всѣ эти летающія, бѣгающія и плавающія кушанья. Но именно въ руки-то они и не давались; Робинзону приходилось пробавляться дикими плодами и съ сокрушеніемъ размышлять о прелестяхъ мясного и рыбнаго стола. Если ему удавалось, послѣ долгихъ попытокъ и разочарованій, убить мѣтко пущеннымъ камнемъ какого-нибудь кролика, то конечно онъ очень дорожилъ своей добычей; онъ придавалъ ей тѣмъ болѣе цѣнности, чѣмъ значительнѣе были побѣжденныя имъ препятствія. Чтобы набрать себѣ плодовъ, Робинзону надобно было ходить по лѣсу и взлѣзать на деревья въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ; чтобы убить камнемъ кролика, ему надобно было ходить, осматривать, подкарауливать, прицѣливаться и промахиваться въ продолженіе нѣсколькихъ дней. Понятно, что онъ дорожилъ убитымъ кроликомъ больше, чѣмъ нѣсколькими десятками банановъ или кокосовыхъ орѣховъ. Но Робинзонъ — человѣкъ догадливый; онъ придумываетъ устроить себѣ лукъ, и опытъ убѣждаетъ его, что заостренныя деревянныя стрѣлы летятъ дальше и достигаютъ цѣли вѣрнѣе, чѣмъ камень, брошенный рукой. Кролики и птицы начинаютъ дѣлаться его добычей чаще, чѣмъ прежде; добываніе животной пищи значительно облегчено, между тѣмъ какъ за бананами и за кокосовыми орѣхами попрежнему приходится бродить по лѣсу и влѣзать на деревья въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Въ прейскурантѣ Робинзона совершается переворотъ: кролики, сравнительно съ плодами, дешевѣютъ, а плоды, сравнительно съ кроликами, становятся дороже. Когда Робинзонъ дѣйствовалъ камнемъ, онъ готовъ былъ дать за кролика сорокъ штукъ плодовъ; теперь, владѣя лукомъ, онъ уже не дастъ больше тридцати. Но у него родилось неистовое желаніе отвѣдать рыбы; за хорошаго леща онъ съ удовольствіемъ далъ бы двѣ пары кроликовъ или сто двадцать штукъ плодовъ; изобрѣтательность опять выручаетъ его изъ затрудненія; заостренная кость, тонкая жила и деревянная палка образуютъ первобытную удочку; является рыба, и колонистъ нашъ скоро замѣчаетъ, что поймать рыбу вовсе не такъ трудно, какъ ему казалось; цѣнность рыбы понижается, хорошій лещъ уравнивается въ правахъ съ кроликомъ, а потомъ, когда устройство удочки совершенствуется, то лещъ даже становится ниже кролика. Но всѣ эти передвиженія на прейскурантѣ Робинзона клонятся къ постоянному возвышенію одной цѣнности, съ которой Робинзонъ сознательно или безсознательно сравниваетъ всѣ блага и удобства своей одинокой жизни. Это—цѣнность человѣческаго труда. Съ каждымъ новымъ изобрѣтеніемъ или улучшеніемъ трудъ Робинзона становится болѣе производительнымъ. Вооруженный лукомъ и удочкой, Робинзонъ въ

одинъ день застрѣлитъ больше дичи и наловитъ больше рыбы, чѣмъ онъ прежде могъ бы застрѣлить или наловить въ недѣлю. Дичь и рыба подешевѣли, а трудъ вздорожалъ.

Такъ и должно быть. Всякая новая машина, всякое новое приложеніе къ дѣлу двигательныхъ силъ природы должны возвышать цѣнность человѣческаго труда, т. е. дѣлать его болѣе производительнымъ, и слѣдовательно улучшать матеріальное и всякое другое положеніе трудящагося человѣка. Если въ дѣйствительности выходитъ наоборотъ, если машины часто отбиваютъ у работника хлѣбъ или увеличиваютъ его порабощеніе, то въ этомъ конечно не слѣдуетъ винить изобрѣтеніе.

Робинзонъ на своемъ островѣ ни съ кѣмъ не ведетъ войны и ни отъ кого не терпитъ обиды. Цѣнность его труда постоянно увеличивается, а цѣнность продуктовъ и составленныхъ запасовъ также постоянно уменьшается. Первый лукъ стоилъ Робинзону много труда; трудно было убить кролика; слѣдовательно, трудно было достать ту жилку, изъ которой надо было сдѣлать тетиву; когда первый лукъ устроенъ, то стрѣляніе кроликовъ стало легче, стало быть, и добываніе жилъ облегчилось; второй лукъ стоилъ меньше труда, чѣмъ первый, слѣдовательно и первый лукъ понизился въ цѣнѣ, если только Робинзонъ не дорожилъ имъ, какъ историческою реликвіей.

Такъ точно бываетъ и въ дѣйствительной жизни. Каменный уголь облегчаетъ добываніе желѣза и понижаетъ его цѣнность; увеличившееся количество подешевѣвшихъ желѣзныхъ орудій облегчаетъ добываніе каменнаго угля, и слѣдовательно также понижаетъ цѣнность послѣдняго. Оказывается, что каменный уголь самъ понизилъ свою цѣнность, точно такъ же, какъ первый лукъ Робинзона самъ себя понизилъ въ цѣнѣ. При всѣхъ этихъ пониженіяхъ возвышается цѣнность человѣческаго труда и увеличивается могущество человѣка надъ окружающей природой. Цѣнность предмета опредѣляется такимъ образомъ не тѣмъ количествомъ труда, которое было употреблено на его произведеніе, а тѣмъ, которое необходимо употребить для его воспроизведенія. Если вы пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ купили штуку сукна, то какъ бы она хорошо ни сохранилась, вы никакъ не получите за нее тѣхъ денегъ, которыя вы заплатили сами. Въ фабрикаціи сукна произведено много усовершенствованій, понизившихъ цѣну этого продукта, и вы, въ самомъ лучшемъ случаѣ, можете получить за вашъ товаръ только ту цѣну, по которой продастся теперь сукно того же достоинства. Капиталъ Робинзона, состоящій въ его удочкѣ, въ лукѣ, челнокѣ, топорѣ, хижинѣ и разной грубой утвари, постоянно понижается въ цѣнѣ, но Робинзонъ отъ этого не бѣднѣетъ, потому что онъ трудится, потому что трудъ его становится производительнѣе, и потому что именно успѣшность и производительность его труда ведетъ за собой техническія улучшенія, понижающія цѣнность всѣхъ прежнихъ накопленій. Лукъ, требовавшій цѣлыхъ сутокъ работы, можетъ быть сдѣланъ въ два часа; челнокъ, который прежде надо было долбить полгода, можетъ быть сдѣланъ въ два мѣсяца; хижина, которую надо было городить цѣлый годъ, можетъ быть выстроена въ четыре мѣсяца.

Всѣ эти перемѣны очевидно выгодны и пріятны для Робинзона; онъ выросъ, онъ сталъ сильнѣе, онъ покорилъ себѣ до нѣкоторой степени природу, и потому его прежніе подвиги кажутся ему незначительными и легкими, точно такъ же какъ взрослому человѣку кажутся чрезвычайно простыми тѣ самыя ариѳметическія задачи, которыя приводили его въ отчаяніе въ дѣтствѣ. Но положимъ, что у Робинзона есть сосѣдъ, у котораго былъ челнокъ въ то время, когда у Робинзона челнока не было; сосѣдъ позволяетъ Робинзону пользоваться челнокомъ и требуетъ взамѣнъ три четверти того количества рыбы, которое будетъ поймано при помощи челнока. Робинзонъ по необходимости соглашается и выполняетъ заключенное условіе, а сосѣдъ между тѣмъ предается сладостному far niente и питается трудами дѣятельнаго рыболова. Но Робинзонъ, со свойственною ему смѣтливостью, находитъ возможность кое-какъ выдолбить полусгнившее бревно; этотъ новый челнокъ плохъ, но на водѣ держится; на немъ ѣздить очень неудобно, но Робинзонъ предпочитаетъ пользоваться плохимъ челнокомъ, чѣмъ платить за прокатъ хорошаго три четверти своей добычи. Сосѣду приходится или сбавить цѣну, или разстаться съ любезнымъ бездѣйствіемъ. Сосѣдъ выбираетъ первое, и Робинзонъ платитъ за челнокъ уже не три четверти, а половину улова. Затѣмъ слѣдуетъ новое ухищреніе Робинзона, и новая уступка со стороны сосѣда. Наконецъ Робинзону удается сдѣлать точь-въ-точь такой челнокъ, какой есть у сосѣда; тогда Робинзонъ привозитъ обратно челнокъ, взятый напрокатъ, и дружелюбно раскланивается съ своимъ сосѣдомъ, которому поневолѣ приходится отъ «безпечальнаго созерцанія» перейти къ презрѣннымъ заботамъ дѣйствительности. Капиталъ, дававшій ему доходъ, растаялъ у него въ рукахъ. Каждое изобрѣтеніе Робинзона, уменьшавшее крѣпостную зависимость послѣдняго, было тяжелымъ ударомъ для благосостоянія празднаго обладателя челнока.

Тотъ фактъ, который представленъ здѣсь въ простѣйшемъ видѣ, повторяется въ дѣйствительной жизни въ самыхъ большихъ размѣрахъ и съ самыми разнообразными усложненіями. Трудъ постоянно стремится выбиться изъ-подъ контроля и господства капитала въ тѣхъ земляхъ, въ которыхъ человѣческій умъ не находится въ

бездѣйствіи. Рабочая плата постоянно растетъ, не смотря на всѣ усилія капиталистовъ держать ее на самомъ низкомъ уровнѣ. Въ XIV столѣтіи работникъ получалъ въ недѣлю $7^1/_2$ пенсовъ (около 11 копѣекъ), а теперь онъ зарабатываетъ въ тотъ же срокъ отъ 12 до 15 шиллинговъ (отъ 3 р. 60 к. сер. до 4 р. 50 к. сер.). Драгоцѣнные металлы, сравнительно съ трудомъ, подешевѣли такимъ образомъ въ 30—40 разъ, и могущество обладателя денегъ надъ пролетаріемъ уменьшилось въ значительной степени. Въ XIV столѣтіи, когда работникъ получалъ по 11 копѣекъ въ недѣлю, обладатель одного фунта серебра могъ за пользованіе этимъ количествомъ металла брать съ своего должника очень большіе проценты, потому что пріобрѣсти фунтъ серебра въ собственность можно было только полуторагодовымъ трудомъ; теперь никто не дастъ въ Англіи такихъ процентовъ, потому что фунтъ серебра зарабатывается въ двѣ недѣли съ небольшимъ. Въ настоящее время проценты очень высоки въ самыхъ бѣдныхъ и чисто земледѣльческихъ странахъ, въ которыхъ трудъ дешевъ; по мѣрѣ того, какъ мы переходимъ въ тѣ земли, въ которыхъ существуютъ разнообразныя приложенія человѣческаго труда, мы замѣчаемъ, что трудъ становится дороже, человѣкъ самостоятельнѣе, возможность накопленія значительнѣе, капиталы всякаго рода обильнѣе, и слѣдовательно проценты ниже. Трудящееся большинство выигрываетъ отъ каждаго уменьшенія въ могуществѣ капитала.

IX.

Оставляя въ сторонѣ Робинзона и его островъ, читатель можетъ въ собственномъ своемъ кабинетѣ, не вставая съ мѣста, отдать себѣ полный и ясный отчетъ въ томъ, съ какими предметами онъ связываетъ идею цѣнности. Онъ увидитъ прежде всего, что онъ окруженъ атмосфернымъ воздухомъ, который для него необходимъ и которому онъ однако не придаетъ никакой цѣнности. Днемъ онъ не придаетъ никакой цѣнности солнечному свѣту, который однако чрезвычайно важенъ какъ для здоровья читателя, такъ и для его занятій. Лѣтомъ теплота кабинета также не имѣетъ никакой цѣнности. Но освѣщеніе комнаты посредствомъ свѣчей, лампъ или газа имѣетъ цѣнность; отопленіе комнаты посредствомъ дровъ или каменнаго угля также имѣетъ свою очень опредѣленную цѣнность, а между тѣмъ искусственное освѣщеніе хуже солнечнаго свѣта, и натопленная комната составляетъ плохую замѣну теплаго лѣтняго воздуха.

Читатель пойметъ безъ труда, почему онъ придаетъ цѣнность искусственному освѣщенію и отопленію и не придаетъ никакой цѣнности воздуху, солнечному свѣту и лѣтней теплотѣ. Потому, отвѣтитъ онъ самъ себѣ, что воздухъ, свѣтъ и теплота доставляются природою въ неограниченномъ количествѣ, въ томъ самомъ видѣ, въ которомъ мы ими пользуемся, и на то самое мѣсто, на которомъ мы въ нихъ нуждаемся. Еслибы воздухъ не проникалъ въ какой-нибудь туннель, то его надо было бы накачивать туда, и тогда за трудъ накачиванія пришлось бы платить, и воздухъ получилъ бы цѣнность. Если солнечный свѣтъ не проникаетъ въ глубокую шахту, то въ ней приходится работать съ фонарями, и тогда свѣтъ даже во время дня имѣетъ цѣнность. Въ монастырѣ св. Бернарда, на высотѣ 14 т. туазовъ, приходится топить камины круглый годъ, потому что природа даже во время лѣта не доставляетъ туда достаточнаго количества теплоты. Тамъ теплота всегда имѣетъ цѣнность. Разсудивъ такимъ образомъ, читатель рѣшитъ немедленно, что онъ придаетъ цѣнность дровамъ и свѣчамъ потому, что ихъ приготовленіе и доставленіе на мѣсто стоитъ труда. Природа даетъ даромъ деревья и торфъ, изъ котораго дѣлаются парафиновыя свѣчи; но дерево надо срубить, а торфъ надо добыть; потомъ срубленное дерево надо разрубить на мелкія части, а надъ торфомъ надо произвести разныя химическія и механическія операціи. Наконецъ, готовыя дрова и готовыя свѣчи надо перенести на мѣсто потребленія. На перемѣну формы и на перемѣщеніе употребленъ человѣческій трудъ; за этотъ самый трудъ и придается извѣстному предмету его цѣнность. Но необходимое количество человѣческаго труда измѣняется, и это измѣненіе выражается въ измѣненіи цѣнности. Читатель сидитъ на креслѣ, передъ письменнымъ столомъ, на которомъ лежатъ книги и письменныя принадлежности. Чернила, стальныя перья и бумага куплены недѣлю тому назадъ; съ тѣхъ поръ въ фабрикаціи этихъ предметовъ не могло произойти усовершенствованій, и новый комплектъ этихъ вещей стоилъ бы такого же количества труда, и слѣдовательно такой же суммы денегъ, какая заплачена за вещи моего читателя. Но мебель куплена лѣтъ десять тому назадъ; съ тѣхъ поръ столярное производство облегчилось и улучшилось введеніемъ новыхъ пріемовъ и инструментовъ; цѣнность кресла и письменнаго стола понизилась, потому что теперь можно сработать такія же вещи съ меньшей тратой труда и времени; можетъ быть въ денежномъ отношеніи кресла и письменные столы не подешевѣли, можетъ быть они даже вздорожали, но цѣнность предметовъ должна измѣряться не деньгами, а трудомъ; если десять лѣтъ тому назадъ письменный столъ дѣлался однимъ работникомъ въ продолженіе десяти дней, и если теперь также одинъ работникъ можетъ сдѣлать такой же столъ въ восемь дней, то цѣнность стола понизилась. Но если десять лѣтъ тому назадъ работникъ получалъ въ день 70 коп. с., а теперь получаетъ

90 коп. сер., то столъ, сработанный десять лѣтъ тому назадъ, стоилъ 7 р. сер., а столъ такого же достоинства теперь будетъ стоить 7 р. 20 к. с. Это значитъ, что трудъ возвысился въ цѣнѣ, какъ сравнительно со столами, такъ и сравнительно съ деньгами, т. е. съ драгоцѣнными металлами; при этомъ цѣнность послѣднихъ понизилась сильнѣе, чѣмъ цѣнность первыхъ.

Если читатель, сидящій за своимъ письменнымъ столомъ, самъ человѣкъ трудящійся, то для него такая перемѣна выгодна и пріятна. Онъ платитъ дороже прежняго столяру, портному и сапожнику, но зато и самъ получаетъ за свой трудъ большее количество денегъ и удобствъ.

Разсматривая свои книги, читатель замѣчаетъ, что каждая изъ нихъ представляетъ сумму нѣсколькихъ сложныхъ операцій. Прежде всего онъ видитъ умственный трудъ автора, затѣмъ передъ нимъ рисуются фабрикація бумаги, добываніе металла, изъ котораго отливается шрифтъ, отливка шрифта, работа наборщиковъ, отпечатаніе набранныхъ полосъ, корректура, брошюрованіе листовъ и переплетная работа. Облегченіе какой-нибудь одной изъ этихъ операцій отражается на цѣнности книги. Чѣмъ больше операцій и чѣмъ онѣ сложнѣе, тѣмъ больше основаній предполагать, что общая цѣнность продукта должна быстро понижаться, потому что тѣмъ больше есть шансовъ для отдѣльныхъ техническихъ усовершенствованій. Химикъ открываетъ такой составъ, которымъ удешевляется бѣленіе бумаги,—цѣнность бумаги понижается, и вмѣстѣ съ этимъ понижается цѣнность книги. Желѣзная дорога уменьшаетъ издержки на перевозку тряпокъ, идущихъ на фабрикацію бумаги,—опять пониженіе. Примѣненіе пара къ выдѣлкѣ бумаги даетъ фабриканту возможность производить стопы бумаги въ то время, въ которое прежде онъ производилъ только дести. Паръ примѣняется къ отливанію шрифта; паръ приводитъ въ движеніе скоропечатную машину и оттискиваетъ тысячи листовъ въ часъ, между тѣмъ какъ машина, приводившаяся въ дѣйствіе руками, оттискивала въ часъ только сотни листовъ. Читатель можетъ себѣ представить, какъ совокупность такихъ колоссальныхъ усовершенствованій должна отразиться на цѣнности окончательнаго продукта, т. е. книги. Экземпляръ сочиненій Шекспира или Мильтона, лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, изображалъ собою недѣлю человѣческаго труда, а теперь онъ можетъ быть воспроизведенъ работою одного дня.

Читатель встрѣчаетъ здѣсь имена англійскихъ писателей потому, что Англіи и Америкѣ принадлежитъ пальма первенства въ дѣлѣ техническихъ усовершенствованій всякаго рода. Если читатель перенесетъ вопросъ на русскую почву, то онъ конечно увидитъ, что мы ничего не усовершенствовали самостоятельно, даже мало переняли у передовыхъ народовъ; слѣдовательно, цѣнность русскихъ книгъ въ послѣднее полустолѣтіе понизилась не такъ значительно.

Изъ всѣхъ размышленій, предпринятыхъ читателемъ въ его кабинетѣ, онъ можетъ вывести то плодотворное заключеніе, что цѣнность каждаго изъ окружающихъ его предметовъ равняется тому количеству труда, которое необходимо для его воспроизведенія. Это необходимое количество труда уменьшается съ каждымъ усовершенствованіемъ въ производствѣ, и слѣдовательно цѣнность всѣхъ продуктовъ стремится къ постоянному пониженію, которое совершается быстро или медленно смотря по тому, быстро или медленно совершенствуются различныя отрасли производительнаго труда. Читатель увидитъ, что результаты, добытые имъ въ кабинетѣ, остаются въ полной силѣ, какъ бы мы ни расширяли поле нашего изслѣдованія и въ какихъ бы сложныхъ комбинаціяхъ ни представлялся намъ вопросъ о цѣнности различныхъ угодій и предметовъ. Цѣнность обработанной земли подчиняется тому же общему закону. Земля сама по себѣ не имѣетъ никакой цѣнности, точно такъ-же какъ воздухъ, солнечный свѣтъ, теплота, электричество, вѣтеръ и всякія другія силы природы. Еслибы кому-нибудь принадлежали милліоны десятинъ земли въ скалистыхъ горахъ Сѣверной Америки, въ дѣвственныхъ лѣсахъ Бразиліи или въ пустынныхъ равнинахъ нашей Сибири, то этотъ счастливый собственникъ не могъ бы получить съ своей земли ни копѣйки дохода. Между тѣмъ въ Англіи или во Франціи каждый квадратный аршинъ земли имѣетъ свою цѣнность и можетъ приносить доходъ, несмотря на то, что по качеству англійская или французская земля гораздо хуже бразильской. Вся разница между Англіей и Бразиліей заключается въ томъ, что въ Англіи съ незапамятныхъ временъ потрачено многими десятками поколѣній неизмѣримое количество труда, и что весь этотъ трудъ положенъ въ землю, какъ въ огромную сберегательную кассу. Трудъ человѣка вырубилъ лѣса, осушилъ болота, насыпалъ плотины, провелъ дороги, основалъ деревни и города, построилъ школы, больницы, запасные магазины, превратилъ деревья въ корабли и сдѣлалъ тысячи другихъ операцій, вслѣдствіе которыхъ дикая пустыня сдѣлалась жилищемъ многочисленнаго и дѣятельнаго народа. Еслибы вдругъ можно было отнять отъ Англіи всю массу потраченнаго на нее человѣческаго труда, еслибы въ одно мгновеніе ее можно было превратить въ Англію доисторическихъ временъ, то навѣрное девять десятыхъ ея жителей погибли бы въ самомъ непродолжительномъ времени, а остальная десятая часть съ ужасомъ бѣжала бы на континентъ. Англія

опустѣла бы, и земля тотчасъ же потеряла бы всякую цѣнность; тотчасъ началась бы конечно новая колонизація изъ Франціи и Германіи, и земля быстро стала бы пріобрѣтать цѣнность, благодаря тому обстоятельству, что много человѣческаго труда потрачено на земли, лежащія недалеко отъ Англіи, и что населенность этихъ земель и промышленная дѣятельность народовъ чрезвычайно облегчаетъ трудъ разработки и расчистки новой почвы.

Населенность земель и промышленная дѣятельность народовъ нашего времени составляетъ также прямое слѣдствіе этого огромнаго количества труда, которое было положено въ землю всѣми предыдущими поколѣніями. Земля не могла бы быть густо населена, еслибы трудъ человѣка не сдѣлалъ ее предварительно обитаемою; а если бы на извѣстномъ пространствѣ земли не сосредоточилось значительное число людей, то никогда не могла бы развиться промышленность. Грубый трудъ полудикаго пахаря лежитъ въ основаніи всѣхъ чудесъ европейской цивилизаціи. Этотъ же самый трудъ, котораго значительная доля скрывается въ доисторической древности, составляетъ единственную причину цѣнности земли. Богатый и могущественный землевладѣлецъ Англіи является прямымъ и, по мнѣнію юристовъ, законнымъ наслѣдникомъ вооруженнаго варвара, пришедшаго въ мирную землю и конфисковавшаго въ свою пользу личный трудъ англо-саксовъ и трудъ многихъ вѣковъ, составлявшихъ наслѣдственное достояніе беззащитныхъ поселянъ. Теперешній англійскій пэръ, филантропъ и аболиціонистъ, обязанъ всѣмъ своимъ богатствомъ и могуществомъ тѣмъ самымъ поступкамъ своего славнаго предка, которые онъ, пэръ, съ добродѣтельнымъ ужасомъ назвалъ бы позорными преступленіями.

Въ XVII и въ XVIII столѣтіяхъ было много примѣровъ, что люди богатые и вліятельные получали въ подарокъ или за ничтожную сумму огромныя пространства земли въ нынѣшнихъ Американскихъ Штатахъ. Они дѣятельно принимались за разработку земель, нанимали поселенцевъ, тратили много денегъ, хлопотали сами, и въ результатѣ оказывалось, что они разорялись въ конецъ. Такой случай произошелъ съ Вилльямомъ Пенномъ, съ герцогомъ Іоркскимъ, съ Робертомъ Моррисомъ и съ голландскою поземельной компаніей. Наемный трудъ чрезвычайно дорогъ въ обработкѣ новой земли, а рабскій трудъ особенно убыточенъ потому, что невольники мрутъ въ большомъ количествѣ отъ работъ въ лѣсахъ и болотахъ. Для заселенія новой земли не годится ни наемный работникъ, ни рабъ; только вольный колонистъ, предпріимчивый и самостоятельный, трудящійся для себя, завоевывающій новую землю для своего семейства и потомства, имѣющій полную возможность идти направо или налѣво, не спрашиваясь ни у кого и не давая никому отчета,— только такой колонистъ можетъ положить прочное основаніе будущему богатству и цвѣтущему поселенію. Такіе колонисты въ древности заселили и начали обработывать Англію; а потомки этихъ колонистовъ были обобраны и порабощены предками нынѣшнихъ пэровъ, точно такъ же, какъ русскіе были порабощены татарами Батыя, которымъ они въ продолженіе двухъ столѣтій платили дань.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что цѣнность земли, какъ и всякой другой вещи, заключается въ трудѣ человѣка.

X.

Трудъ есть борьба человѣка съ природою; въ борьбѣ «то сей, то оный на бокъ гнется»; когда побѣждаетъ природа, мы называемъ трудъ неудачнымъ; когда побѣждаетъ человѣкъ, мы говоримъ, что трудъ удаченъ; побѣды бываютъ болѣе или менѣе полныя и, сообразно съ этимъ, трудъ бываетъ совершенно или несовершенно удачнымъ. На одну совершенную удачу обыкновенно приходится нѣсколько несовершенныхъ удачъ и нѣсколько совершенныхъ неудачъ. Такъ какъ совершенная удача случается сравнительно рѣдко, то мы говоримъ, что для достиженія такой удачи надо преодолѣть сильное сопротивленіе природы.

Конечно всѣ эти выраженія: «борьба съ природой», «сопротивленіе природы», при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказываются простыми метафорами. Природа вовсе не борется съ нами и не старается злоумышленнымъ сопротивленіемъ разрушить наши замыслы и повредить нашимъ интересамъ. Наши неудачи или неполныя удачи просто происходятъ отъ нашего неумѣнья и неполнаго знанія причинъ и слѣдствій; но отчего бы онѣ ни происходили, онѣ несомнѣнно существуютъ и оказываютъ свое вліяніе на цѣнность предметовъ, производимыхъ трудомъ. Стекольщикъ кладетъ въ горнъ большое количество сырого матеріала, который долженъ превратиться въ листовое стекло; послѣ окончанія разныхъ операцій, нѣсколько десятковъ листовъ оказываются готовыми. Матеріалъ для всѣхъ листовъ былъ одинъ, работникъ тоже одинъ, количество работы одинаковое, между тѣмъ четыре листа вышли совершенно гладкіе, одиннадцать листовъ съ едва замѣтными неровностями, десятка три—съ порядочными крапинами, а остальной листъ—весь въ пузыряхъ, такъ что никуда не годится. Это произошло, разумѣется, оттого, что для первыхъ листовъ случайно стеклись такія благопріятныя обстоятельства, которыя работникъ, по недостатку умѣнья, не могъ обратить въ общее правило для всего количества продукта. Поэтому онъ сортируетъ изготовленные листы, и цѣнность перваго

сорта считается выше второго, который въ свою очередь цѣнится выше третьяго и т. д.

Различіе въ цѣнностяхъ происходитъ отъ различія въ сопротивленіи природы. Стекло перваго сорта можетъ образоваться при исключительно благопріятныхъ условіяхъ, которыя встрѣчаются рѣдко, и оттого это стекло дорого; чтобы приготовить одинъ такой листъ надо испортить на неудачныя попытки больше десятка. Конный заводчикъ воспитываетъ съ одинаковымъ стараніемъ сотню жеребятъ, но изъ этой сотни можетъ быть сформируется только два замѣчательные скакуна, потомъ штукъ пятнадцать отличныхъ верховыхъ и упряжныхъ лошадей, потомъ штукъ тридцать порядочныхъ лошадей, а затѣмъ остальныя окажутся дрянью. Причины тѣ же самыя, какія мы видѣли въ фабрикаціи стекла—именно неполное знаніе естественныхъ свойствъ предмета и слѣдовательно неполное умѣнье пользоваться благопріятными условіями и устранять разстроивающія вліянія. Цѣна различнымъ лошадямъ будетъ конечно чрезвычайно различная. Замѣчательный скакунъ долженъ будетъ по возможности наверстывать трудъ, потраченный на него самого и на менѣе удачные экземпляры, представляющіе собой неосуществившіяся стремленія заводчика. Тамберликъ получаетъ за свой зимній сезонъ въ Петербургѣ такую значительную сумму денегъ, что каждая арія его можетъ быть разсчитана на рубли и копѣйки. Положимъ, что какой-нибудь прожектеръ вздумалъ сформировать новаго Тамберлика съ тѣмъ, чтобы онъ пѣлъ въ его пользу. Такое предпріятіе имѣетъ какіенибудь шансы успѣха только въ томъ случаѣ, если предпріимчивый оригиналъ займется физическимъ и музыкальнымъ воспитаніемъ цѣлыхъ сотенъ или тысячъ дѣтей, подающихъ надежды. Нѣкоторыя изъ этихъ дѣтей умрутъ, другія потеряютъ голосъ, третьи окажутся лишенными слуха, четвертыя обнаружатъ непроходимую тупость, большая часть сдѣлаются хорошими людьми, но плохими пѣвцами. Наконецъ, если и выдрессируется новый Тамберликъ, то онъ навѣрное не окупитъ издержекъ и трудовъ, убитыхъ на его воспитаніе и на неудавшіяся попытки. Тогда предпріимчивый воспитатель увидитъ, что Тамберликъ цѣнится такъ дорого потому, что надо побѣдить множество препятствій, прежде нежели можно будетъ воспроизвести другой подобный голосъ. А препятствія все-таки состоятъ въ незнаніи тѣхъ физіологическихъ, гигіеническихъ, климатическихъ и всякихъ другихъ данныхъ, которыхъ совокупность необходима для образованія превосходной музыкальной организаціи.

Мы до сихъ поръ ходимъ ощупью во всѣхъ отрасляхъ нашей дѣятельности; все, что̀ выходитъ у насъ хорошаго, принимается нами, какъ подарокъ судьбы, какъ счастливая случайность, какъ исключеніе, стоящее рядомъ съ сотней уродливостей, которыя считаются нами за настоящее правило. Поэтому первый сортъ вездѣ дорогъ—и на стеклянной фабрикѣ, и на конномъ заводѣ, и въ музыкальной школѣ. Это доказываетъ намъ, что полное знаніе природы, полное могущество надъ нею и слѣдовательно полное счастье человѣка лежитъ еще далеко впереди насъ, но это вовсе не доказываетъ того, чтобы знаніе наше имѣло передъ собой неодолимыя преграды, и чтобы въ природѣ заключались такія тайны, которыя навсегда останутся недоступными пытливому уму человѣка. Въ наше время никто не удивился бы такому усовершенствованію въ фабрикаціи стекла, вслѣдствіе котораго весь сырой матеріалъ, положенный въ горнъ, сталъ бы превращаться въ стекло перваго сорта. Даже значительное усовершенствованіе въ коннозаводствѣ, дающее возможность удвоить или утроить число ежегодно формирующихся превосходныхъ скакуновъ или ломовиковъ, не показалось бы намъ невѣроятнымъ, не смотря на то, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ органической жизнью въ одномъ изъ самыхъ сложныхъ ея проявленій. Еслибы мы могли по произволу улучшать складъ нашихъ домашнихъ животныхъ, еслибы посредствомъ тщательнаго ухода и измѣненныхъ условій питанія мы могли сообщить простому русскому жеребенку превосходныя качества арабской лошади, то мы конечно очень близко подошли бы къ той чрезвычайно важной задачѣ, чтобы путемъ различныхъ физическихъ вліяній сообщать развивающемуся человѣческому организму возможно большее количество мускульной и мозговой силы. Уже Платонъ мечталъ о средствахъ производить великихъ людей; для его времени такая цѣль была совершенно фантастична, потому что не была намѣчена даже та дорога, которая можетъ къ ней привести; въ наше время эта цѣль все еще остается недостижимой, но мы знаемъ уже тотъ путь изслѣдованія, который навѣрное, рано или поздно, приведетъ къ рѣшенію самыхъ сложныхъ вопросовъ органической жизни.

Къ сожалѣнію, между теоретическимъ знаніемъ и практическимъ приложеніемъ лежитъ до сихъ поръ, во всѣхъ отрасляхъ нашей дѣятельности, глубокая и широкая бездна. Теоретическая гигіена давно твердитъ людямъ, что для ихъ организма необходимы чистый воздухъ, свѣтъ, теплота, свѣжая и обильная пища, а между тѣмъ, всѣ эти совѣты гигіены звучатъ горькой насмѣшкой для каждаго, кто сколько-нибудь знакомъ съ бытовыми условіями огромнаго большинства. Большіе города, грязные переулки и дворы, темнота, сырость, голодъ, холодъ, разлагающаяся пища, гніющая вода—все это существуетъ въ огромныхъ размѣрахъ и нимало не смущается предписаніями гигіенической науки. Къ довершенію нелѣпости, нахо-

дятся люди, которые всѣ эти явленія оправдываютъ, какъ неизбѣжныя слѣдствія неизмѣнныхъ естественныхъ законовъ.

«Вольно-жъ *имъ* плодиться, какъ свиньямъ, говоритъ мальтузіанецъ Милль:—*они* сами виноваты, и намъ, людямъ приличнымъ, не слѣдуетъ становиться между прегрѣшеніемъ и наказаніемъ».

Весь историческій ходъ событій, породившій такое повсемѣстное практическое порицаніе гигіены, представляется каждому мыслящему человѣку обиднымъ и безконечно долгимъ недоразумѣніемъ, перевѣшивающимъ въ значительной степени то благодѣтельное вліяніе, которое должны были бы оказать на судьбу нашей породы великія открытія естествознанія. Можно было бы, глядя на продолжающіяся историческія недоразумѣнія, усомниться въ силѣ открытій, усомниться въ ихъ приложимости къ вседневной жизни всѣхъ людей, можно было бы принять эти открытія за новое видоизмѣненіе монополій и привилегій, еслибы неподкупный духъ анализа, пробужденный естественными науками, не проникъ въ изслѣдованіе существующихъ формъ общественной и экономической жизни. Та минута, въ которую плодами этого изслѣдованія можно будетъ подѣлиться со всѣмъ человѣчествомъ, откроетъ собою новую эру справедливости, физическаго здоровья и матеріальнаго благосостоянія. Препятствій много, минута эта далека. Но къ приближенію этой минуты направлены всѣ усилія всѣхъ честныхъ работниковъ мысли на земномъ шарѣ; нѣтъ тѣхъ препятствій, которыхъ не побѣдила бы, рано или поздно, энергія мысли и сила честнаго убѣжденія; нѣтъ тѣхъ испытаній, которыя бы испугали людей, сознающихъ въ себѣ естественныхъ депутатовъ и защитниковъ своей породы,—и потому славное будущее человѣчества не можетъ погибнуть. Знаніе есть сила, и противъ этой силы не устоятъ самыя окаменѣлыя заблужденія, какъ не устояла противъ нея инерція окружающей насъ природы.

Всякая побѣда человѣка надъ инерціей природы увеличиваетъ пользу окружающей насъ матеріи и уменьшаетъ цѣнность предметовъ нашего потребленія. Пользою предметовъ измѣряется сила человѣка надъ природой; поэтому польза увеличивается, когда люди сближаются между собой. Цѣнностью предметовъ измѣряется, напротивъ того, сила природы надъ человѣкомъ; поэтому цѣнность уменьшается при сближеніи людей между собою. Одинокому поселенцу приходится бѣгать за водой къ рѣкѣ за нѣсколько сотъ шаговъ, такъ что каждое ведро воды стоитъ значительнаго количества труда. Когда число поселенцевъ увеличивается, то имъ удается вырыть колодезь возлѣ самыхъ домовъ; цѣнность воды уменьшается, но польза ея увеличивается, потому что ее употребляютъ въ домашнемъ быту чаще и въ большемъ количествѣ. Потомъ поселенцы ставятъ надъ колодцемъ насосъ, который еще облегчаетъ добываніе воды и, уменьшая ея цѣнность, снова увеличиваетъ ея пользу. Наконецъ, когда силы поселенія оказываются уже очень значительными, вода проводится въ дома, послѣ чего каждому изъ жителей стоитъ только отвернуть кранъ, чтобы добыть себѣ цѣлыя бочки воды. Цѣнность падаетъ такимъ образомъ до самой низкой степени, а польза увеличивается до самыхъ большихъ размѣровъ. Этотъ простой примѣръ, въ которомъ нѣтъ ни натяжки, ни произвольной гипотезы, показываетъ намъ, что цѣнность и польза предметовъ находятся всегда въ обратномъ отношеніи между собою. Кромѣ того, этотъ примѣръ подтверждаетъ еще разъ ту истину, что дружное соединеніе человѣческихъ силъ распространяетъ свое благотворное вліяніе на всѣ мелкія подробности вседневной жизни.

XI.

Положимъ, что буря выбрасываетъ обломки корабля на такой островъ, котораго еще не посѣщали европейскіе мореплаватели; дикіе островитяне осматриваютъ эти обломки и находятъ, въ числѣ другихъ вещей, нѣсколько ружей, запасъ неподмоченнаго пороха, нѣсколько фунтовъ пуль и дроби и большое количество пистолетовъ. Для людей, живущихъ охотою, чрезвычайно выгодно замѣнить луки и стрѣлы хорошими ружьями, но дикари навѣрное не поймутъ важнаго значенія своей находки и останутся при своемъ прежнемъ, варварскомъ оружіи. Для нихъ ружья не составляютъ богатства, потому что они не умѣютъ ими пользоваться. Еслибы къ нимъ перенесли всѣ паровыя машины Англіи или Американскихъ Штатовъ, и еслибы земля ихъ заключала въ себѣ мощные пласты каменнаго угля и неистощимыя жилы желѣзной руды, то и тогда они не сумѣли бы сдѣлать себѣ ни одного ножа, и по прежнему продолжали бы рѣзать кожу и мясо животныхъ острыми раковинами и кремнями. У нихъ недостаетъ знаній для того, чтобы обращаться, какъ слѣдуетъ, съ паровой машиной или съ ружьемъ. Они даже не подозрѣваютъ, чтобы въ природѣ существовала возможность тѣхъ явленій и сложныхъ комбинацій, которыя извѣстны каждому фабричному работнику въ Англіи или въ Америкѣ. Въ тѣхъ предѣлахъ, до которыхъ успѣли развиться знанія дикарей, они воспользуются и паровой машиной, и ружьемъ. Первую они вѣроятно разломаютъ на части, чтобы изъ этихъ частей сдѣлать себѣ разную домашнюю утварь; второе будетъ обращено въ дубинку,

которую дикарь будетъ брать въ руки за дуло, чтобы поражать своего врага прикладомъ. Это своеобразное употребленіе паровой машины и ружья обнаруживаетъ въ дикаряхъ опытное знаніе самыхъ элементарныхъ свойствъ матеріи: видно, что они умѣютъ пользоваться емкостью, твердостью, тяжестью, клинообразной или остроконечной формой и другими наглядными свойствами окружающихъ предметовъ. Благодаря этимъ слабымъ знаніямъ, они могли извлечь очень незначительную пользу изъ тѣхъ снарядовъ, изъ которыхъ свѣдущій европеецъ извлекаетъ большое количество важныхъ житейскихъ удобствъ.

Всякій читатель согласится, что большое количество житейскихъ удобствъ можетъ быть названо богатствомъ, и что европеецъ, пользующійся ружьемъ, какъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, богаче дикаря, употребляющаго точно такое же ружье, какъ дубину. Въ рукахъ перваго ружье развертываетъ всѣ свои производительныя силы, между тѣмъ какъ у послѣдняго всѣ специфическія свойства ружья остаются мертвымъ капиталомъ. Причины такихъ различныхъ результатовъ заключаются въ различіи знаній; слѣдовательно надо согласиться съ тѣмъ, что знаніе составляетъ важнѣйшій элементъ богатства. Но знаніе не такой предметъ, который человѣкъ могъ бы найти готовымъ на какой-нибудь горѣ или въ какой-нибудь пещерѣ. Знаніе составляется изъ мелкихъ крупинокъ ежедневнаго опыта, а такъ какъ жизнь отдѣльнаго человѣка очень коротка и кругъ его зрѣнія очень ограниченъ по своему пространству, то онъ никогда не выбился бы изъ-подъ гнета невѣжества и бѣдности, еслибы, сходясь съ другими людьми, онъ не выслушивалъ отъ нихъ и не обращалъ бы въ свою пользу собранныхъ ими опытовъ и наблюденій. Сближеніе съ людьми составляетъ для человѣка самое могущественное средство умственнаго развитія; въ обществѣ человѣкъ мыслитъ быстрѣе, чѣмъ въ одиночествѣ, и мысли каждаго отдѣльнаго лица находятъ себѣ повѣрку въ опытѣ другихъ, и средство къ испытанію и примѣненію въ совѣтахъ и въ содѣйствіи слушателей. На этомъ основаніи всякая мѣра, уменьшающая разстояніе между отдѣльными людьми, или уничтожающая препятствія, лежащія на пути ихъ сближенія, или увеличивающая потребность людей сближаться между собою,—всякая подобная мѣра, говорю я, увеличиваетъ скорость въ обращеніи идей, распространяетъ знанія и производитъ увеличеніе богатства.

Люди всего больше расположены сближаться между собою тогда, когда они занимаются различными промыслами и могутъ мѣняться между собой продуктами своего труда. Земледѣлецъ не пойдетъ къ сосѣду-земледѣльцу, потому что онъ знаетъ, что у него и у сосѣда одни и тѣ же излишки и однѣ и тѣ же потребности. Сосѣдъ не возьметъ у него хлѣба, потому что у сосѣда своего хлѣба слишкомъ много, и сосѣдъ не дастъ ему рубашки, потому что сосѣдъ самъ хочетъ пріобрѣсти себѣ полотна или бумажной матеріи. Чтобы сбыть лишній возъ зернового хлѣба и пріобрѣсти нѣсколько аршинъ полотна или сукна, пару сапогъ или новую косу, земледѣлецъ принужденъ отправиться въ ближайшій городъ, за нѣсколько десятковъ верстъ, по дурной и гористой дорогѣ. Это препятствіе, находящееся между производителемъ-земледѣльцемъ и потребителемъ-ремесленникомъ и заключающееся въ далекомъ разстояніи и въ дурной дорогѣ, ведетъ за собою много невыгодъ. Цѣлый день земледѣльца будетъ потраченъ непроизводительно, т. е. не увеличитъ количества продукта; вмѣстѣ съ трудомъ земледѣльца пропадетъ и трудъ лошади, которая повезетъ хлѣбъ въ городъ и телѣгу изъ города. Пометъ лошади, падающій на дорогу, потерянъ; кромѣ того, земледѣлецъ, не имѣющій подъ рукой близкаго сбыта, принужденъ обсѣвать свои поля только такими сортами хлѣба, которые, при наименьшей громоздкости, продаются по наиболѣе дорогой цѣнѣ. Онъ не можетъ возить въ городъ картофель или сѣно, потому что продажная цѣна этихъ продуктовъ не окупитъ издержекъ и трудовъ перевозки. Это обстоятельство вредитъ успѣшному ходу его хозяйства, не позволяетъ ему вести раціональный сѣвооборотъ и заставляетъ его истощать свои поля постоянными посѣвами ржи, пшеницы, овса и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ. Положимъ теперь, что черезъ владѣнія нашего земледѣльца пролегла желѣзная дорога, ведущая къ тому городу, въ который прежде приходилось ѣздить по разнымъ трясинамъ и буеракамъ; теперь продукты отправляются на продажу въ вагонахъ, а то количество лошадинаго и человѣческаго труда, которое тратилось на безплодныя прогулки по дурной проселочной дорогѣ, посвящается улучшенію земли; пометъ весь идетъ на удобреніе земли, и количество земледѣльческихъ продуктовъ увеличивается. Тогда земледѣлецъ нанимаетъ большее число работниковъ, чтобы еще болѣе расширить кругъ своихъ дѣйствій. Является необходимость построить новые амбары и скотные дворы; плотникъ, замѣчая запросъ на свой трудъ, поселяется рядомъ съ земледѣльцемъ; сапожникъ, получая съ фермы частые заказы, приближается къ своимъ заказчикамъ; мельникъ ставитъ мельницу на ближайшей рѣчкѣ, потому что предвидитъ себѣ работу. Прежде надо было ѣздить къ плотнику за тесомъ и за рамами, къ сапожнику за обувью, къ мельнику съ зерномъ и отъ мельника съ мукою; на всѣ эти прогулки въ общей сложности тратилось

большое количество труда и помета; теперь все это терявшееся количество сохраняется и увеличиваетъ плодородіе земли: хлѣба добывается гораздо больше прежняго, и притягательная сила процвѣтающаго мѣстечка постоянно увеличивается; приходитъ ткачъ, чтобы на мѣстѣ превращать ленъ и пеньку въ полотно; затѣмъ устраивается сукновальня, избавляющая фермера отъ необходимости возить въ городъ шерсть своихъ овецъ. Затѣмъ являются портной, кузнецъ, колесникъ, шорникъ, пивоваръ и другіе рабочіе. Сблизившись между собою, всѣ эти различные ремесленники ежедневно доставляютъ другъ другу значительныя выгоды, какъ производители и какъ потребители; всѣ они могутъ постоянно заниматься своими работами, не имѣя надобности бѣгать по дорогамъ ни за покупателями, ни за продавцами. Сапожнику стоитъ перейти черезъ улицу, чтобы купить у ткача полотна; ткачу стоитъ сдѣлать нѣсколько шаговъ, чтобы достать у мельника муки; и сапожникъ и ткачъ знаютъ также, что ихъ сосѣди сами придутъ къ нимъ за тѣми продуктами, которые они вырабатываютъ. Что же касается до земледѣльца, то онъ находится въ самомъ цвѣтущемъ положеніи: каждый кусокъ земли приноситъ ему пользу и доходъ; хлѣбъ, говядина, баранина, масло, яйца, домашняя птица, сыръ—все это находитъ себѣ сбытъ, и все это дешево, потому что продается на мѣстѣ, и все это кромѣ денегъ даетъ удобреніе, которое постоянно возвышаетъ производительную силу земли.

Нравственныя слѣдствія такого сближенія разнородныхъ людей и промысловъ также очень значительны. Каждое отдѣльное ремесло знакомитъ человѣка съ особенными свойствами того или другого сырого матеріала; каждое изъ нихъ даетъ человѣку особенныя орудія и научаетъ его особеннымъ пріемамъ; каждое изощряетъ въ человѣкѣ ту или другую способность и направляетъ его природную наблюдательность на ту или другую сторону обыденныхъ явленій. Всякій знаетъ, что у земледѣльца есть свои особенныя метеорологическія примѣты, что пастухамъ извѣстны многія интересныя свойства въ характерѣ домашнихъ животныхъ, что мельники по необходимости пріобрѣтаютъ практическія свѣдѣнія по части механики и гидростатики. Когда множество различныхъ ремесленниковъ живутъ между собою рядомъ и находятся другъ съ другомъ въ ежедневныхъ сношеніяхъ, то они невольно и безсознательно сообщаютъ другъ другу большое количество замѣтокъ и свѣдѣній, которыя возбуждаютъ любознательность, нарушаютъ неподвижность ума и расширяютъ кругъ понятій и воззрѣній. Особенно важны нравственныя слѣдствія такого сближенія для подростающихъ дѣтей. Гдѣ земледѣліе составляетъ единственный промыселъ всего населенія, тамъ не можетъ быть и рѣчи о личныхъ наклонностяхъ или способностяхъ молодыхъ членовъ общества. Къ чему бы ни былъ расположенъ мальчикъ, каковы бы ни были его природныя дарованія, онъ все-таки долженъ непремѣнно браться за соху, потому что внѣ сохи нѣтъ спасенія отъ нищеты. Когда же, напротивъ того, десятки различныхъ ремесленниковъ живутъ на пространствѣ одной квадратной версты, тогда самые прихотливые вкусы и самыя разностороннія способности могутъ и должны находить себѣ удовлетвореніе. Кто расположенъ къ сидячей жизни и къ кропотливой работѣ, тотъ пойдетъ въ ученье къ портному или къ сапожнику; у кого вѣрный глазъ и сильная рука, тотъ сдѣлается плотникомъ; кто владѣетъ тѣмъ же хорошимъ глазомѣромъ при меньшей физической силѣ, тотъ займется столярной работой; кто любитъ работать на открытомъ воздухѣ, тотъ посвятитъ свои силы садоводству или огородничеству; всякому откроется возможность заниматься своимъ дѣломъ съ охотою, по свободному влеченію, а не вслѣдствіе горькой необходимости. Индивидуальныя силы, наклонности и способности заявятъ свое существованіе, и это обстоятельство, во-первыхъ, возвыситъ нравственное состояніе людей и, во-вторыхъ, увеличитъ количество и улучшитъ качество продуктовъ, понизитъ ихъ цѣны посредствомъ усовершенствованій въ производствѣ, усилитъ такимъ образомъ ихъ сбытъ и возвыситъ общее благосостояніе производителей и потребителей.

Наконецъ разнообразіе промысловъ благодѣтельно тѣмъ, что оно уменьшаетъ зависимость простого работника отъ хозяина или мастера и увеличиваетъ въ первомъ чувство собственнаго достоинства, принуждая въ то же время второго уважать человѣческую личность своего подчиненнаго. Гдѣ всѣ пашутъ землю, тамъ личность работника не существуетъ; тамъ человѣкъ, идущій за сохой, по свойствамъ своего труда, очень мало отличается отъ лошади или отъ вола, на которыхъ онъ покрикиваетъ и помахиваетъ кнутомъ. Хозяинъ не дорожитъ умомъ и ловкостью своего батрака; онъ совершенно основательно разсуждаетъ, что за сохой сумѣетъ ходить и круглый дуракъ; поэтому онъ и помыкаетъ своими работниками, какъ ему угодно, и гонитъ ихъ съ двора, когда они начинаютъ пускаться въ разсужденія. Замѣнить выгоннаго работника вовсе не трудно, потому что особенныхъ достоинствъ и способностей отъ кандидата на такое мѣсто не требуется. Въ ремесленной дѣятельности вопросъ ставится совершенно иначе. Хозяинъ дорожитъ человѣкомъ и смышленымъ работникомъ, потому что его не скоро замѣнишь. Въ чисто земледѣльческомъ быту принималась въ раз-

счетъ только животная сила человѣка; при ремесленной работѣ, напротивъ того, сила мускуловъ обыкновенно отходитъ на второй планъ, а всего больше обращается вниманіе на искусство, на знаніе дѣла, на сообразительность. Въ ремеслѣ впервые проявляется и признается элементъ личнаго таланта. Этотъ элементъ эмансипируетъ и возвышаетъ ремесленника и смягчаетъ въ отношеніи къ нему хозяина, котораго личный интересъ зависитъ отъ ума и технической ловкости рабочаго.

Въ исторіи среднихъ вѣковъ встрѣчается такой фактъ, который совершенно подтверждаетъ собою предыдущія разсужденія. Первые признаки самостоятельности въ отношеніи къ феодаламъ проявляются между ремесленниками; они образуютъ коммуны и возмущаются противъ епископовъ и бароновъ; изъ нихъ составляется знаменитый tiers-état; а въ это время земледѣльцы еще несутъ на себѣ всю тяжесть барщины и разныхъ произвольныхъ поборовъ.

Изъ всего, что было сказано о жизни разросшагося мѣстечка, мы можемъ замѣтить, что сближеніе людей между собой, распространеніе знаній, увеличеніе богатства и нравственное освобожденіе личности зависятъ преимущественно отъ разнообразія занятій, и при существованіи этого послѣдняго условія естественнымъ образомъ развиваются одно изъ другого.

Для того, чтобы въ каждой отдѣльной мѣстности какой-нибудь страны проявлялось то разнообразіе занятій, изъ котораго вытекаютъ дѣятельность, знаніе, богатство и свобода, необходимо существованіе множества мѣстныхъ центровъ притяженія. Если въ какой-нибудь землѣ одинъ огромный городъ стягиваетъ къ себѣ большую часть промышленныхъ силъ страны, то жители находятся въ зависимости отъ этого общаго центра; они принуждены возить свои продукты на этотъ далекій рынокъ и на этомъ же рынкѣ покупать тѣ фабричныя издѣлія, которыя необходимы имъ для домашняго обихода. Ни одинъ изъ жителей не рѣшается устроить какое-нибудь промышленное заведеніе внѣ большого центра, потому что не можетъ разсчитывать на сбытъ; разбросанное населеніе поневолѣ занимается исключительно земледѣліемъ и истощаетъ свою почву постояннымъ вывозомъ сырыхъ произведеній, которыя потребляются на далекомъ рынкѣ и слѣдовательно не даютъ обратно никакого удобренія. Между тѣмъ въ большомъ центрѣ заводятся всякія гадости; туда бѣжитъ все, что голодно, въ надеждѣ найти работу, и находитъ чаще всего крайнюю степень нужды, совершенное нравственное паденіе и преждевременную смерть отъ изнуренія, отъ гнилой пищи или отъ вынужденнаго разврата; туда бѣжитъ и ѣдетъ все, что честолюбиво, въ надеждѣ найти блескъ и повышеніе, и чаще всего находитъ развращающую школу низкопоклонства и ничѣмъ не вознаграждаемаго насилованія совѣсти; туда же, въ обѣтованную землю всякой роскоши, несутся всѣ люди, стремящіеся пожить на чужой счетъ, начиная отъ безконечнаго числа разныхъ просителей, искателей, и кончая легіономъ шуллеровъ и уличныхъ мошенниковъ. Первые большею частію питаются надеждами и нравственными подзатыльниками, но за то вторые, какъ люди, избравшіе благую часть, обыкновенно находятъ себѣ обильную ловлю рыбы въ мутной водѣ этихъ колоссальныхъ клоакъ нашей великой цивилизаціи. Такимъ образомъ страна, имѣющая одинъ большой центръ притяженія, какъ Лондонъ, представляетъ очень неутѣшительную картину; провинціи постоянно бѣднѣютъ и истощаются; жители тупѣютъ отъ однообразнаго и неблагодарнаго труда, а въ центрѣ собирается вся дрянь страны, вся испорченная кровь, весь гной ея бѣдности, вся квинт-эссенція ея разврата и нравственной низости, ея страданій и преступленій.

XII.

Когда Робинзонъ жилъ одинъ на своемъ островѣ, то ему надо было ходить на охоту, собирать плоды, ловить рыбу, сносить всѣ эти запасы въ свою пещеру, варить или жарить ихъ, готовить себѣ одежду изъ шкуръ, таскать изъ лѣса дрова для отопленія жилища, сооружать и чистить охотничьи и рыболовные инструменты. Все это и можетъ быть много другихъ занятій лежало на немъ одномъ, потому что у него не было союзника и помощника. Когда онъ отправлялся въ лѣсъ за добычей, то запасы, набранные наканунѣ, оставались безъ присмотра и могли быть съѣдены крысами или унесены какимъ-нибудь болѣе крупнымъ животнымъ; когда онъ былъ на охотѣ, пища не приготовлялась ко времени его возвращенія, и одежда, которую онъ началъ шить до своего ухода, оставалась недокопченною. Когда онъ готовилъ пищу или дошивалъ одежду, время удобное для ловли рыбы могло быть пропущено. Словомъ, Робинзонъ постоянно принужденъ былъ переходить отъ одного дѣла къ другому, причемъ конечно много труда и времени терялось на эти безпрестанные переходы; всѣ занятія, по необходимости, шли плохо, потому что они сталкивались между собою и ежеминутно мѣшали другъ другу. Каждая работа дѣлалась урывками, и ни въ одной не было того постояннаго и послѣдовательнаго движенія, которое необходимо для достиженія выгодныхъ результатовъ. Если у Робинзона была жена, то уже всѣ работы должны были идти гораздо успѣшнѣе: пока мистеръ Робинзонъ бродилъ по лѣсу за дичью или плавалъ по рѣкѣ за рыбой, домашній очагъ охра-

нялся бдительнымъ окомъ мистриссъ Робинзонъ, которая кромѣ того въ это же время варила или жарила мясо, чистила набранные наканунѣ плоды, потрошила наловленную рыбу или шила одежду; работы не прерывались такъ часто, какъ во время холостой жизни Робинзона, и вслѣдствіе этого въ этихъ работахъ замѣчалось больше порядка, и отъ нихъ получалось большее количество продукта. Между Робинзономъ и его женою происходили постоянные обмѣны услугъ къ обоюдной выгодѣ обѣихъ сторонъ. Когда подросли дѣти, то быстрота въ обмѣнѣ услугъ значительно увеличилась. Одинъ изъ членовъ семейства охотился за дичью, другой ловилъ рыбу, третій чинилъ охотничьи инструменты, четвертый варилъ кушанье, пятый шилъ одежду, шестой копалъ землю, такъ что всѣ отрасли работъ одновременно и дружно подвигались впередъ; потомъ продукты этихъ работъ обмѣнивались одинъ на другой; когда вся семья садилась обѣдать, тутъ излишекъ дичи одного обмѣнивался на излишекъ рыбы другого; тутъ съѣстные припасы, добытые однимъ, оплачивали труды другихъ, посвящавшихъ свои силы на приготовленіе кушанья, на шитье одежды, на сооруженіе луковъ, челноковъ и удочекъ. Этотъ обмѣнъ былъ выгоденъ для каждаго, потому что вслѣдствіе такого обмѣна каждый пользовался разнообразнымъ столомъ, каждый былъ одѣтъ, каждый, кому надо было охотиться или ловить рыбу, былъ снабженъ необходимыми инструментами. Трудъ каждаго былъ гораздо производительнѣе, чѣмъ трудъ одинокаго колониста, потому что каждый посвящалъ своему занятію все свое время и все свое вниманіе, не кидаясь отъ одной работы къ другой и не развлекаясь посторонними заботами и соображеніями.

Эта небольшая семья колонистовъ служитъ прототипомъ общества; въ ней, какъ и въ самомъ многолюдномъ обществѣ, происходитъ раздѣленіе труда и обмѣнъ услугъ; эти два явленія заключаютъ въ себѣ источникъ всѣхъ благодѣтельнымъ дѣйствій, которыя существованіе общества производитъ на матеріальное и нравственное положеніе отдѣльнаго человѣка. Чѣмъ многолюднѣе общество, тѣмъ значительнѣе можетъ быть раздѣленіе труда, тѣмъ дѣятельнѣе, умнѣе, богаче и свободнѣе можетъ становиться человѣкъ, тѣмъ сильнѣе должны понижаться цѣнности предметовъ и тѣмъ сильнѣе должна возвышаться ихъ польза.

Такъ *можетъ* быть и такъ *должно* быть, но такъ не бываетъ въ дѣйствительности, потому что люди, кромѣ раздѣленія труда и обмѣна услугъ, всегда вносятъ въ каждое зарождающееся общество элементъ присвоенія чужого труда. Начинается съ того, что мужъ бьетъ свою жену и побоями принуждаетъ ее работать въ то время, какъ самъ онъ лежитъ на спинѣ и грѣется на солнцѣ. Такимъ образомъ нарушается естественное раздѣленіе труда и свободный обмѣнъ услугъ. Мужчина беретъ себѣ большее количество продуктовъ и меньшее количество труда; для возстановленія равновѣсія въ обмѣнѣ, онъ отпускаетъ женщинѣ нѣсколько ударовъ кулакомъ по лицу или палкой по спинѣ, и равновѣсіе дѣйствительно возстановляется, потому что возраженія женщины умолкаютъ послѣ полученія подобной монеты,—и обмѣнъ услугъ продолжается, несмотря на явное нарушеніе справедливости. Какъ мужъ присвоилъ себѣ значительное количество труда жены, такъ родители присвоиваютъ себѣ значительное количество труда дѣтей; братья поступаютъ точно такъ же въ отношеніи къ сестрамъ, и старшій братъ въ отношеніи къ младшему; потомъ, когда дѣти становятся взрослыми людьми, а родители дряхлыми стариками, то первые эксплоатируютъ послѣднихъ и наконецъ, измучивъ ихъ до крайности непосильными работами, предоставляютъ имъ полную свободу умереть съ голода.

Войны и порабощеніе начинаются такимъ образомъ въ самомъ семействѣ и, начавшись однажды, не останавливаются ни на одну минуту; каждый изъ членовъ семейства бываетъ постоянно то побѣдителемъ, то побѣжденнымъ, то рабовладѣльцемъ, преподающимъ осязательныя внушенія слабѣйшему родственнику, то рабомъ, испытывающимъ убѣдительность такихъ же наставленій со стороны сильнѣйшаго. Значительная доля труда и изобрѣтательности, большое количество физической силы и нравственной идеи тратятся на постоянно повторяющіеся натиски и отпоры, на завоевательныя попытки и на отраженіе такихъ попытокъ. При борьбѣ съ природою человѣкъ никогда не встрѣчаетъ сознательнаго сопротивленія своему сознательному нападенію; при борьбѣ человѣка съ человѣкомъ коса находитъ на камень: насиліе встрѣчается съ насиліемъ, хитрость отражается хитростью, суровая воля рабовладѣльца натыкается на пассивное, но сознательное упорство раба. Борьба затягивается, усложняется и принимаетъ на себя безконечное разнообразіе видоизмѣненій. Семейство оказывается для первобытнаго человѣка превосходной школой безнравственности. Изъ этой школы онъ выноситъ очень основательныя свѣдѣнія по части естественнаго гладіаторства и самороднаго макіавеллизма; за предѣлами семейства онъ встрѣчается съ воспитанниками другихъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ преподавались тѣ же элементарныя науки, съ нѣкоторыми измѣненіями и дополненіями въ программѣ и въ планѣ. Встрѣтившіеся юноши начинаютъ пробовать другъ надъ другомъ силу и убѣдительность своихъ научныхъ аргументовъ и стратегическихъ пріемовъ. Предѣлы диспутовъ расширяются; первобытные силлогизмы совершенствуются и усложняются. Человѣческій умъ развертывается во всемъ своемъ величіи и блескѣ

и производитъ въ этомъ направленіи такія же превосходныя усовершенствованія, какими являются въ области производительнаго труда паровыя машины и приложеніе химіи къ земледѣлію. Не рискуя ошибиться, можно даже сказать, что элементъ присвоенія развился гораздо быстрѣе, чѣмъ элементы труда и обмѣна услугъ; этотъ первый элементъ достигъ полнѣйшаго совершенства и успѣлъ уже просочиться въ практическое примѣненіе тѣхъ открытій, которыя подарило человѣчеству естествознаніе, составляющее одно изъ важнѣйшихъ и плодотворнѣйшихъ проявленій элемента труда. Элементъ присвоенія преобладаетъ во всѣхъ существующихъ обществахъ, вездѣ и всегда искажаетъ природу человѣка, и во всѣхъ бѣдствіяхъ частной и общественной жизни является единственной причиной страданій и преступленій.

Дойдя до этого элемента и указавъ на него читателю, я уже вышелъ изъ области гипотезъ и теоретическихъ выкладокъ и стою теперь на порогѣ исторіи, на почвѣ дѣйствительныхъ фактовъ. Здѣсь я считаю удобнымъ остановиться на нѣсколько минутъ, оглянуться назадъ и въ сжатомъ очеркѣ напомнить читателю добытые нами результаты, составляющіе въ своей совокупности физіологическую часть исторіи труда. Мы видѣли, что человѣкъ былъ слабъ и бѣденъ, пока онъ оставался одинокимъ; силы природы, окружавшія человѣка, не приносили ему почти никакой пользы, а всѣ удобства жизни, начиная отъ самой грубой пищи, имѣли въ его глазахъ самую значительную цѣнность; когда число людей увеличилось, тогда люди стали помогать другъ другу и совокупными силами успѣли одержать надъ природою много важныхъ побѣдъ; каждая такая побѣда увеличивала пользу сырого матеріала и уменьшала цѣнность предметовъ потребленія. Каждая побѣда человѣка надъ природой давала ему въ руки новыя орудія и такимъ образомъ прокладывала ему путь къ новымъ и болѣе важнымъ побѣдамъ. Начавши обработку земли на сухихъ холмахъ, человѣкъ спускался въ тучныя долины, когда увеличившееся число людей и усовершенствованіе орудій давали ему возможность вырубить лѣса и осушить болота, покрывавшія плодородную почву. Овладѣвши тучной землей, человѣкъ становился богатымъ; въ основаніи его богатства лежало знаніе, дававшее ему господство надъ природой; знаніе пріобрѣтается и развивается вслѣдствіе частыхъ и разнообразныхъ сношеній людей между собою. Сношенія эти завязываются и поддерживаются разнообразіемъ занятій; разнообразіе занятій возможно только въ томъ случаѣ, когда существуетъ множество небольшихъ, тѣсныхъ центровъ притяженія. Эти тѣсные центры образуются сами собой въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ общественныя аномаліи не парализируютъ естественнаго развитія человѣческаго труда. Общественныя аномаліи всякаго рода выросли изъ элемента присвоенія чужого труда, а этотъ враждебный элементъ возникъ въ доисторическія времена въ семейномъ быту и изъ него раскинулъ свои вѣтви по всѣмъ отраслямъ человѣческой дѣятельности.

Вотъ бѣглый перечень тѣхъ мыслей, которыя были изложены на предыдущихъ страницахъ. Совокупность этихъ мыслей указываетъ на ту великую и свѣтлую участь, которая должна составлять естественное достояніе людей; участь эта не имѣетъ ничего общаго съ тѣми мрачными явленіями, которыя наполняютъ всемірную исторію и обращаютъ на себя вниманіе современнаго наблюдателя. Люди сбились съ настоящаго пути, исказили свою природу и до сихъ поръ продолжаютъ мучить другъ друга. Факты эти очень достовѣрны и тѣмъ болѣе печальны. Но эти факты не даютъ намъ права думать, чтобы свѣтлое будущее было недостижимо. Надо помнить, что люди потратили много тысячелѣтій на то, чтобы ознакомиться съ природой; надо помнить, что они до сихъ поръ не знаютъ ея вполнѣ, и надо помнить кромѣ того, что человѣкъ есть самое сложное явленіе природы, всего менѣе доступное непосредственному наблюденію и почти совершенно недоступное опыту. Очень естественно, что величайшее число ошибокъ, теоретическихъ и практическихъ, относится именно къ человѣку, какъ самому сложному, самому неизвѣстному и въ то же время самому интересному предмету во всей природѣ. Очень естественно, что астрономія и химія уже въ настоящее время вышли изъ тумана произвольныхъ гаданій, между тѣмъ какъ общественныя и экономическія доктрины до сихъ поръ представляютъ очень близкое сходство съ отжившими призраками астрологіи, алхиміи, магіи и теософіи. Очень вѣроятно, что и эти кабалистическія доктрины сложатся когда-нибудь въ чисто-научныя формы и современемъ обнаружатъ свое вліяніе на практическую жизнь.

XIII.

Когда человѣку хочется ѣсть, и когда онъ видитъ у себя подъ рукою приготовленный запасъ пищи, то въ немъ тотчасъ рождается влеченіе взять эту пищу въ руки и отправить ее къ себѣ въ ротъ. Это влеченіе раздѣляютъ съ человѣкомъ всѣ животныя, съ тою только разницей, что они въ подобныхъ случаяхъ обходятся безъ пособія рукъ. Можно было бы подумать, что это дѣйствіе надъ пищей совершается машинально или инстинктивно, т. е. вообще безъ посредствующаго процесса мысли. Но, во-первыхъ, такія слова, какъ «машинально», «инстинктивно», сами по себѣ ровно ничего не объясняютъ, а во-вторыхъ, есть и прямые опыты, доказывающіе, что дѣятельность мозга

обусловливаетъ собой даже эти простѣйшіе поступки: голуби и куры, у которыхъ французскій физіологъ Флурансъ снималъ переднія полушарія головного мозга, глотали пищу только въ томъ случаѣ, когда ее клали имъ въ ротъ и проталкивали до горлового отверстія; когда же ихъ оставляли въ покоѣ, то они умирали съ голода среди цѣлыхъ кучъ хлѣбныхъ зеренъ. Итакъ, мы съ полнымъ основаніемъ можемъ сказать, что человѣкъ захватываетъ приготовленный запасъ пищи вслѣдствіе размышленія. Конечно, размышленіе это въ высшей степени просто, потому что, какъ мы уже видѣли, всѣ животныя размышляютъ точно такъ же. Но именно по своей простотѣ это размышленіе, доступное всѣмъ людямъ безъ исключенія, оказывало и до сихъ поръ оказываетъ на судьбу нашей породы такое могущественное вліяніе, какимъ не пользуются ни чистѣйшія нравственныя истины, ни величайшія научныя открытія. Изъ этого размышленія развилось все, что составляетъ красоту и гордость нашей цивилизаціи, и все, что составляетъ ея позоръ.

Запасъ пищи, найденный человѣкомъ, могъ быть приготовленъ природою или другимъ человѣкомъ; захватъ пищи въ первомъ случаѣ является зародышемъ труда, а во второмъ онъ оказывается присвоеніемъ чужого труда и кладетъ основаніе борьбѣ между людьми и порабощенію одного человѣка другимъ. Въ жизни нашей породы встрѣчались несчетное число разъ оба эти случая, и изъ нихъ развивались всѣ ихъ неизбѣжныя послѣдствія. Человѣкъ, присвоившій себѣ пищу, приготовленную природой, старался устроить такъ, чтобы природа дала ему новый запасъ, и эти старанія постепенно превращали охотника въ пастуха, потомъ въ земледѣльца; эти же старанія рядомъ съ земледѣльцемъ создавали кузнецовъ, портныхъ, ткачей и всѣхъ другихъ ремесленниковъ, вооружающихъ человѣка рабочими инструментами, снабжающихъ его одеждой, устраивающихъ его жилище и доставляющихъ ему на счетъ окружающей природы всѣ возможныя удобства жизни. Изъ этихъ же стараній развились искусство и наука, увеличивающія силу человѣка надъ природой, расширяющія его умъ, приготовляющія ему безконечное разнообразіе наслажденій и доставляющія ему возможность уважать самого себя и, анализируя себя и другихъ, сознательно прощать и любить заблуждающихся людей, такъ дорого платящихъ за свои заблужденія. Между тѣмъ второй случай—захватъ пищи, приготовленной человѣкомъ—повторялся ежедневно, и слѣдствія, неизбѣжно вытекающія изъ него, развивались гораздо быстрѣе, чѣмъ тѣ благодѣтельныя явленія, въ основаніи которыхъ лежалъ чистый трудъ, не политый слезами и не пропитанный человѣческой кровью.

Всемірная исторія все еще до сихъ поръ принуждена заниматься исключительно политической жизнью людей, потому что, дѣйствительно, факты политической жизни совершенно заслоняютъ собою тѣ проявленія мысли, энергіи и творчества, которыя происходятъ въ лабораторіяхъ, въ мастерскихъ, на поляхъ, вездѣ, гдѣ человѣкъ подмѣчаетъ тайны природы или вводитъ въ процессъ производства тѣ естественныя силы, которыя уже изслѣдованы и обузданы. Исторію интересуетъ преимущественно органическое развитіе государственныхъ формъ, послѣдовательная смѣна системъ, существенныя измѣненія въ законодательствѣ и въ международныхъ отношеніяхъ, пробужденіе въ массахъ политическаго смысла и національнаго чувства.

Кажется набросанная мною рамка достаточно широка; я не думаю, чтобы кто-нибудь изъ современныхъ историковъ увидѣлъ въ подобномъ опредѣленіи задачъ исторіи—признаки неуваженія къ наукѣ или попытку исказить и унизить ея настоящее значеніе. Между тѣмъ не трудно замѣтить, что элементъ присвоенія составляетъ единственный предметъ изысканій историка. Въ этомъ нисколько не виноватъ историкъ, потому что такова дѣйствительная жизнь, которую изслѣдователь не имѣетъ права украшать и разглаживать. Государственныя формы, политическій смыслъ и даже національное чувство составляютъ прямое слѣдствіе элемента присвоенія, т. е. всѣ эти вещи — или произошли отъ присвоенія, или возникли, какъ отпоръ присвоенію. Государства, всѣ безъ исключенія, порождены элементомъ присвоенія; прошу читателя не видѣть въ этой мысли ничего безнравственнаго и не искать въ ней никакого лукавства; я вовсе не хочу сказать, чтобы всѣ основатели государствъ были люди буйные и одержимые жадностью къ чужой собственности; если такія наклонности и существовали у нѣкоторыхъ викинговъ, конунговъ, шейковъ и другихъ эмбріологическихъ властителей, то это обстоятельство вовсе не можетъ быть возведено въ правило. Многія государства возникали потому, что жителямъ извѣстной земли необходимо было сгруппироваться для отраженія нападающихъ враговъ. Въ другихъ случаяхъ государство основывалось потому, что жителямъ необходимо было существованіе такой власти, которая разбирала бы ихъ ссоры и своимъ вмѣшательствомъ отвращала бы кровопролитія. При такихъ условіяхъ основаніе государства было благодѣяніемъ, но люди нуждались въ этомъ благодѣяніи только потому, что заѣзжали въ чужую личность и захватывали чужой трудъ. Нападавшіе враги и ссорившіеся единоплеменники, по всей вѣроятности, должны быть признаны людьми; слѣдовательно то зло, въ отпоръ которому возникло государство, заключалось все-таки въ попыткахъ однихъ людей попользоваться трудомъ дру-

гихъ. Не существовало ни одного государства, которое было бы основано съ той цѣлью, чтобы отражать звѣрей или общими силами гражданъ разрабатывать землю.

Національное чувство, къ которому каждый благомыслящій человѣкъ долженъ питать глубокое уваженіе, составляетъ прямое слѣдствіе того недовѣрія и антагонизма, которыя водворились между отдѣльными группами людей, вслѣдствіе взаимныхъ обидъ и нападеній, клонившихся все-таки къ присвоенію труда и его продуктовъ. Національное чувство просыпается тогда, когда націи приходится защищать себя отъ порабощенія; такъ было у насъ въ эпоху Минина и въ 1812 году; такъ было въ Испаніи во время войнъ ея съ Наполеономъ, въ Германіи—во время ея поголовнаго возстанія въ 1813 году, во Франціи—при революціонной борьбѣ ея съ европейскими коалиціями, въ Италіи—съ самаго начала нынѣшняго столѣтія, въ Греціи—возмутившейся противъ турецкаго господства... Вездѣ это національное чувство дѣлало чудеса и вызывало къ жизни народъ, находившійся въ самомъ бѣдственномъ положеніи, но вездѣ это чувство возбуждалось предшествовавшими страданіями или угрожавшими опасностями; вездѣ проявленіе этого чувства сопровождалось очень тягостными пожертвованіями, которыя были необходимы, но все-таки оставляли послѣ себя глубокіе слѣды въ матеріальномъ благосостояніи народа.

XIV.

Элементъ присвоенія конечно составляетъ зло; можно сказать больше: онъ составляетъ источникъ и причину всякаго зла, а между тѣмъ этотъ ядовитый элементъ, этотъ Ариманъ человѣческой природы, самъ вытекаетъ изъ совершенно безвреднаго свойства нашего ума, и притомъ изъ такого свойства, которое мы никакъ не сумѣли бы устранить, еслибы намъ была предоставлена возможность передѣлать по нашему благоусмотрѣнію всѣ физическія и интеллектуальныя способности человѣка. Это свойство состоитъ въ томъ, что умъ нашъ всегда начинаетъ свою дѣятельность съ самыхъ простыхъ процессовъ мысли, и уже потомъ, укрѣпляясь и совершенствуясь, переходитъ къ болѣе сложнымъ процессамъ, соображаетъ вѣроятія и отдаленныя послѣдствія, разсматриваетъ и обсуждаетъ явленія съ разныхъ сторонъ и точекъ зрѣнія. У всякаго животнаго есть потребности и желанія, имѣющія связь отчасти съ сохраненіемъ жизни недѣлимаго, отчасти съ поддержаніемъ жизни породы. Мозговыя силы животнаго посвящаются исключительно изысканію средствъ, ведущихъ къ удовлетворенію этихъ потребностей и желаній. Руководствуясь своими внѣшними чувствами, зрѣніемъ, слухомъ, обоняніемъ, осязаніемъ и вкусомъ, животное соображаетъ, идти ли ему направо или налѣво, грозитъ ли ему опасность или ждетъ его наслажденіе. Животное руководствуется конечно іезуитскою нравственностью; цѣль всегда оправдываетъ въ его глазахъ средства, и въ выборѣ средствъ животное обнаруживаетъ, кромѣ неразборчивости, крайнюю односторонность и близорукость соображенія, въ чемъ оно далеко превышаетъ іезуитовъ. Рыба хватается за червяка, не обращая вниманія на крючекъ, въ которомъ заключается весь смыслъ трагическаго эпизода; мышь развязно вбѣгаетъ въ мышеловку, руководясь запахомъ мяса, и не даетъ себѣ труда замѣтить, что въ общемъ видѣ снаряда есть что то странное и зловѣщее. Такъ дѣйствуютъ животныя и почти такъ дѣйствуютъ дѣти и дикари. Океанійскіе островитяне, пріѣзжая на европейскіе корабли, обыкновенно начинаютъ съ изумительной ловкостью воровать все, что приходится имъ по душѣ. Ихъ за это бьютъ очень больно веревками, но конечно это ихъ не унимаетъ. Нельзя сказать, чтобъ воровство было у нихъ принятымъ обычаемъ или чтобы оно составляло ихъ болѣзненную мономанію; нельзя себѣ представить, чтобы они переносили съ совершеннымъ равнодушіемъ удары веревками; ихъ поступки объясняются всего удовлетворительнѣе крайней простотою тѣхъ умственныхъ отправленій, на которыя способенъ ихъ мозгъ.

Дикарь разсуждаетъ такъ: я вижу блестящую пуговицу, она мнѣ нравится, слѣдовательно... тутъ разсужденіе обрывается, потому что дѣло сдѣлано, пуговица очутилась въ рукахъ нашего мыслителя, и тутъ начинается новый рядъ соображеній, клонящійся къ тому, чтобы спрятать пріобрѣтенное имущество и напустить на свою физіономію выраженіе полнѣйшей невинности. Процессъ мысли, разрѣшившійся въ пріобрѣтеніи пуговицы, совершился съ быстротой молніи; дикарь схватилъ понравившуюся ему вещь съ такой же непосредственной жадностью, съ какой рыба хватаетъ червяка. Преимущество дикаря надъ рыбой ограничивается въ этомъ случаѣ тѣмъ, что дикарь въ одно мгновеніе успѣваетъ принять нѣкоторыя предосторожности, которыя всегда останутся недоступными самой геніальной рыбѣ. Сходство же дикаря съ рыбой состоитъ въ томъ, что и тотъ и другая неспособны ни на минуту усомниться въ выгодности своего предпріятія и отнестись къ нему критически; желаніе возникло и тотчасъ удовлетворяется, съ большей или меньшей степенью искусства, проворства и осторожности. Что будетъ потомъ? объ этомъ дикарь потомъ и подумаетъ, потому что въ его головѣ не удерживается сложный рядъ мыслей, въ которомъ причины связывались бы со слѣдствіями.

Если мы разберемъ значеніе нашего національнаго «авось», то замѣтимъ въ немъ несомнѣнное родственное сходство съ умозрѣніями океанійца. Дѣйствія на авось не имѣютъ ничего общаго ни съ мужествомъ героя, ни съ сознательнымъ рискомъ смѣлаго спекулятора; въ нихъ просто выражается неумѣнье и нежеланье додумать до конца, неспособность ума къ сложнымъ выкладкамъ и лѣность мысли, ведущая за собой необходимость оставлять въ туманѣ тѣ слѣдствія, которыми непремѣнно долженъ закончиться данный поступокъ. Строгая общественная нравственность, заключающаяся въ томъ, что каждая отдѣльная личность сознательно несетъ отвѣтственность за свой образъ дѣйствій и отдаетъ себѣ и другимъ отчетъ въ каждомъ своемъ поступкѣ,—такая нравственность совершенно немыслима въ такой средѣ, въ которой «авось» составляетъ основаніе практической философіи. Общественная нравственность людей вовсе не зависитъ отъ хорошихъ качествъ ихъ сердца или ихъ натуры, отъ обилія добродѣтели и отъ отсутствія пороковъ. Всѣ подобныя слова не имѣютъ никакого осязательнаго смысла. Нравственность того или другого общества зависитъ исключительно отъ того, насколько члены этого общества сознательно понимаютъ свои собственныя выгоды. Красть невыгодно, потому что если я обокралъ удачно сегодня, то меня такъже удачно могутъ обокрасть завтра, не говоря уже о томъ, что я могу попасться и получить болѣе или менѣе серьезную непріятность. По тѣмъ-же причинамъ невыгодно убивать; точно такъ же невыгодны и всякія другія посягательства на личность и собственность ближнихъ и дальнихъ. Еслибы всѣ члены общества прониклись сознаніемъ этой невыгодности, то преступленія были бы немыслимы, и вся непроизводительная трата силъ на совершеніе, преслѣдованіе, предотвращеніе и наказаніе преступленій сдѣлалась бы излишней и перестала бы существовать. Но проникнуться такимъ спасительнымъ сознаніемъ не можетъ ни дикарь, ни пролетарій, котораго мысль постоянно направлена на борьбу съ голодомъ. Чтобы быть нравственнымъ человѣкомъ, необходимо быть до извѣстной степени мыслящимъ человѣкомъ, а способность мыслить крѣпнетъ и развивается только тогда, когда личность успѣваетъ вырваться изъ-подъ гнета матеріальной необходимости.

Человѣкъ не получаетъ отъ природы ничего готоваго ни внѣ себя, ни внутри себя; ему самому надо устроить себѣ оружіе, рабочіе снаряды, одежду, жилище и даже ту землю, въ которую онъ бросаетъ сѣмена; точно такъ же ему самому надо укрѣпить свои мускулы посредствомъ упражненія и развернуть силы своего мозга также посредствомъ упражненія. Пока дикарь доберется до хорошихъ орудій, ему приходится пробавляться плохими; цѣлыя поколѣнія дѣйствуютъ каменными топорами, потомъ другія поколѣнія работаютъ мѣдными, и такъ идетъ дѣло въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій. Точно такъ-же дикарю приходится изворачиваться въ жизни работою плохо развитаго мозга, и весь домашній и общественный бытъ дикаря складывается сообразно съ несовершенными отправленіями недоразвитаго органа мысли. Всякое усовершенствованіе мозга даетъ себя чувствовать и въ улучшеніи орудій, и въ увеличеніи богатства, и въ возвышеніи общественной нравственности. Но мозгъ совершенствуется чрезвычайно медленно, потому что вся жизнь дикаря проходитъ въ постоянной заботѣ о пропитаніи, и вся наличная мозговая сила тратится на пріисканіе мелкихъ средствъ, ведущихъ къ мелкимъ цѣлямъ. Тутъ некогда припоминать и обобщать опыты, и потому знаніе увеличивается и кругъ мыслей расширяется только тогда, когда опытъ бьетъ въ глаза и насильно втирается въ сознаніе. Это дѣтство человѣческаго ума не только неизбѣжно, но даже совершенно необходимо. Еслибы первобытному человѣку былъ вложенъ въ голову совершенно развитой мозгъ, то вѣроятно этотъ мозгъ былъ бы почти такимъ же мертвымъ капиталомъ, какимъ было бы ружье въ рукахъ дикаря, совершенно незнакомаго съ его употребленіемъ. Мы способны пользоваться только тѣмъ, что мы сами выработали. Если человѣкъ своими трудами пріобрѣлъ себѣ тысячу рублей, то они пойдутъ ему въ прокъ, потому что, пріобрѣтая рубли, онъ пріобрѣталъ кромѣ того умѣнье обращаться съ ними. Но если вы подарите десять тысячъ такому человѣку, который не умѣлъ пріобрѣсти ни копѣйки, то легко можетъ случиться, что вашъ подарокъ будетъ разбросанъ на пустяки или запертъ въ сундукъ. Точно такъ же развитой мозгъ, доставшійся человѣку, какъ милостыня природы, могъ быть растраченъ на мелочи или могъ погрузиться въ сонное блаженство, за которымъ непремѣнно послѣдовала бы вялость и разслабленіе. Все, что̀ живетъ въ природѣ, ростетъ и развивается, подвергаясь въ своемъ развитіи болѣзнямъ, опасностямъ и тяжкой борьбѣ за существованіе. Умъ человѣка, какъ самое сложное явленіе въ природѣ, подвергается въ большей степени, чѣмъ что-либо другое, этому общему закону всего существующаго. Присвоеніе чужого труда, вражда между людьми и всѣ ужасы варварства вытекаютъ прямо изъ тѣхъ простѣйшихъ процессовъ мысли, которые одни доступны младенческому уму дикаря. Всѣ эти мрачныя явленія составляютъ неизбѣжную дѣтскую болѣзнь нашей породы, но дѣтство и его болѣзни не должны продолжаться вѣчно, и потому въ наше время слѣдуетъ по крайней мѣрѣ отдавать себѣ отчетъ въ томъ, какія именно условія удержи-

ваютъ различныя группы людей въ состояніи младенчества и превращаютъ временныя болячки въ постоянно открытыя фонтанели.

XV.

Грубое присвоеніе, заключавшееся въ грабежѣ и сопровождавшееся убійствами, такъ естественно вытекаетъ изъ слабости мысли у дикарей и изъ недостаточнаго количества пищи, добываемой плохими орудіями первобытныхъ людей, что не стоитъ останавливаться на объясненіи этого явленія. Нѣсколько удачныхъ набѣговъ, нѣсколько безнаказанныхъ убійствъ пріохочивали дикаря къ такимъ занятіямъ, развивали въ немъ духъ молодечества, возвышали его въ глазахъ единоплеменниковъ и собирали вокругъ него шайку людей, искавшихъ добычи и называвшихъ ее славою. Такъ формировалось зерно военнаго сословія; оно скоро начинало чувствовать презрѣніе къ тѣмъ жалкимъ людямъ, которые пашутъ землю и пасутъ стада; потомъ жалкіе люди порабощались; ихъ заставляли платить дань, и когда это взиманіе извѣстной части продукта приводилось въ правильную форму, тогда группа людей, отмѣченная какимъ-нибудь общимъ названіемъ, вступала въ историческую жизнь, подъ предводительствомъ поработившихъ ее воиновъ.

Пойдемъ однако дальше. Люди всегда нуждались и до сихъ поръ нуждаются во взаимномъ обмѣнѣ услугъ и продуктовъ; одинъ производитъ хлѣбъ, другой выдѣлываетъ ткани; если первый дастъ второму излишекъ своего хлѣба и возьметъ у него въ замѣнъ излишекъ его тканей, то положеніе обоихъ значительно улучшится, потому что оба будутъ сыты и одѣты. Этотъ обмѣнъ услугъ производится очень легко и удобно, если земледѣлецъ и ткачъ живутъ между собою въ близкомъ сосѣдствѣ; но если они живутъ въ разныхъ земляхъ и если между ихъ землями лежатъ горы, рѣки, пустыни и моря, то прямой обмѣнъ становится невозможнымъ; тогда является услужливый джентльменъ, который ткачу привозитъ хлѣбъ, а земледѣльцу ткани; земледѣлецъ и ткачъ оба очень рады, потому что продукты эти имъ необходимы, а добрый джентльменъ еще болѣе радъ тому, что ему удалось услужить такимъ достойнымъ людямъ. Но услужливость и добродушіе джентльмена обходятся очень дорого и ткачу, и земледѣльцу. Ткачъ получаетъ очень мало хлѣба, а земледѣлецъ очень мало тканей; ткачъ за малое количество хлѣба отдаетъ всѣ свои ткани, а земледѣлецъ за малое количество тканей отдаетъ весь хлѣбъ, который онъ можетъ сберечь отъ своего личнаго потребленія. Ткачъ сидитъ впроголодь, а земледѣлецъ оказывается полуодѣтымъ; за то добрый джентльменъ питается изысканными кушаньями и одѣвается съ утонченнымъ изяществомъ; въ его рукахъ остается весь хлѣбъ, который не доходитъ до ткача, и всѣ ткани, которыхъ не получаетъ земледѣлецъ; эти излишки продуктовъ онъ везетъ къ такимъ людямъ, которые производятъ табакъ или пряности; тутъ опять происходитъ та же исторія: джентльменъ беретъ у нихъ какъ можно больше табаку и даетъ имъ какъ можно меньше хлѣба и тканей; потомъ онъ ѣдетъ съ табакомъ въ такое мѣсто, гдѣ добываются мѣха, и опять беретъ очень много мѣховъ и даетъ очень мало табаку.

Такимъ образомъ, услужливый джентльменъ прогуливается по разнымъ землямъ, осыпаетъ своими благодѣяніями жителей всѣхъ географическихъ широтъ и долготъ и, не увеличивая ни на одинъ золотникъ количества ихъ продуктовъ, оставляетъ у себя въ рукахъ столько хлѣба, тканей, мѣховъ, табаку и другихъ удобствъ, сколько можно оттягать у производителей и потребителей. Конечно эти удобства остаются въ рукахъ торговца не въ первоначальномъ своемъ видѣ; они превращаются въ болѣе удобную форму золотыхъ и серебряныхъ монетъ, но сущность дѣла отъ этого не измѣняется. Интересы торговца идутъ постоянно въ разрѣзъ съ выгодами и потребностями всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми онъ приходитъ въ соприкосновеніе. Ткачъ и земледѣлецъ могутъ обмѣнивать между собой свои продукты такъ, что рабочій день ткача будетъ отдаваться за рабочій день земледѣльца, и для обоихъ такой обмѣнъ будетъ выгоденъ, потому что оба хлопочутъ не о томъ, чтобы увеличить общую сумму своего продукта, а только о томъ, чтобы измѣнить его форму. Но между ткачемъ и земледѣльцемъ появляется посредникъ, у котораго нѣтъ никакого продукта; онъ берется перевезти хлѣбъ въ такое мѣсто, гдѣ производятся ткани, и обѣщаетъ возвратиться къ земледѣльцу съ грузомъ тканей, соотвѣтствующимъ взятому грузу хлѣба. Очевидно, что и ткачу, и земледѣльцу выгодно, чтобы на перевозку истратилось какъ можно меньше продукта, но торговцу-перевозчику выгодно, напротивъ того, чтобы перевозка обошлась ткачу и земледѣльцу какъ можно дороже, потому что вся сумма продукта, поглощенная перевозкой, идетъ въ его пользу. Поэтому ткачъ и земледѣлецъ желаютъ оба, чтобы обмѣнъ между ними совершался какъ можно легче, чтобы разстояніе между ними сокращалось и чтобы число и величина препятствій становились какъ можно меньше; ткачъ и земледѣлецъ стараются сблизиться между собой и завязать непосредственныя сношенія. Купецъ, напротивъ того, желаетъ, чтобы производитель и потребитель были какъ можно дальше другъ отъ друга, чтобы непосредственныя сношенія между ними были совершенно невозможны, чтобы препятствія лежащія между ними, были или, еще луч-

ше, казались обѣимъ сторонамъ чрезвычайно значительными.

Обмѣнъ услугъ и продуктовъ составляетъ ту общую цѣль, къ которой стремятся всѣ люди; торговля есть дорога, ведущая къ этой цѣли; чѣмъ эта дорога прямѣе и короче, тѣмъ выгоднѣе для производителя и потребителя; чѣмъ она длиннѣе и запутаннѣе, тѣмъ выгоднѣе для торговца, стоящаго между производителемъ и потребителемъ. Купить дешево и продать дорого—вотъ то золотое правило, которое всегда руководило торговцами, а это правило можетъ быть выполнено въ самыхъ роскошныхъ размѣрахъ тогда, когда производитель и потребитель не знаютъ другъ друга и не имѣютъ возможности условиться между собой на счетъ цѣны и достоинства продуктовъ.

Средства мѣшать сношеніямъ людей между собою очень незамысловаты; они были извѣстны всѣмъ торговцамъ древняго міра и въ существенныхъ чертахъ своихъ остались неизмѣненными до нашихъ временъ. Морская торговля и морской разбой постоянно помогали другъ другу; финикіяне, малоазійскіе греки и жители острововъ Архипелага съ одинаковымъ успѣхомъ занимались и тѣмъ и другимъ. Когда въ какомъ-нибудь поселеніи проявлялось желаніе жителей удовлетворять своимъ потребностямъ безъ помощи торговцевъ, когда зарождались первые начатки разнообразія занятій и когда, такимъ образомъ, ткачъ пытался поссориться рядомъ съ земледѣльцемъ,—тогда конечно торговцы старались немедленно искоренить такія предосудительныя стремленія. Къ мятежному поселенію приставала сильная флотилія; съ кораблей сходили вооруженные люди; мѣстечко разорялось; часть его жителей погибала въ свалкѣ, а кто оставался въ живыхъ и не успѣвалъ укрыться въ какую-нибудь трущобу, тотъ обращался въ товаръ и продавался въ рабство въ такомъ мѣстѣ, гдѣ за рабовъ давали хорошую цѣну. Послѣ такого разгрома оставшіеся жители выползали изъ своихъ убѣжищъ и конечно принуждены были употреблять всѣ свои силы на добываніе пищи; о ремесленныхъ занятіяхъ нечего было и думать; людей оставалось слишкомъ мало, да и всѣ заведенія вмѣстѣ съ орудіями производства были истреблены разгнѣванными торговцами. Разумѣется, зависимость оставшихся жителей отъ сосѣднихъ воиновъ и торговцевъ становилась совершенно безотвѣтною, и всякое стремленіе къ промышленной самостоятельности затихало на многіе десятки лѣтъ.

Сила торговцевъ состояла преимущественно въ томъ, что въ ихъ рукахъ была монополія перевозочныхъ средствъ; они были владѣльцами кораблей и мореплавателями; они знали торговые пути, они умѣли обходить подводные камни и выбирать для своихъ путешествій благопріятное время года; если дѣло шло о сухопутной торговлѣ, то имъ были извѣстны свойства земель и нравы жителей, мимо которыхъ лежалъ путь ихъ каравановъ; они знали, какъ проходить черезъ песчаныя пустыни и гдѣ отыскивать въ нихъ оазисы и источники воды; они держали стада верблюдовъ, пріученныхъ ко всѣмъ тягостямъ походной жизни, и наконецъ какъ сухопутные, такъ и морскіе торговцы знали въ совершенствѣ, въ какихъ краяхъ господствуетъ изобиліе или недостатокъ въ тѣхъ или другихъ произведеніяхъ, т. е. другими словами, на какомъ рынкѣ можно купить какой-нибудь предметъ дешево, или продать его за дорогую цѣну. Всѣ эти знанія и преимущества оберегались торговцами самымъ ревностнымъ образомъ: торговые пути финикіянъ и карѳагенянъ считались государственной тайной, и путешественники этихъ націй распространяли умышленно самыя нелѣпыя сказки о тѣхъ далекихъ земляхъ, которыя они посѣщали. Если у какого-нибудь сосѣдняго племени заводились корабли, то купцы, видя въ нихъ будущихъ конкуррентовъ, при первой возможности захватывали ихъ въ плѣнъ или пускали ихъ ко дну; иногда тѣмъ и кончалось дѣло, а иногда обиженное племя затѣвало войну, послѣ которой побѣдители становились властителями моря и на нѣсколько времени избавлялись отъ всякаго соперничества. Съ воинами, не пускавшимися въ торговыя предпріятія, купцы жили въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ; воины были самыми лучшими покупателями; они сбывали купцамъ захваченныхъ плѣнниковъ и ту часть добычи, которая не была удобна для ихъ личнаго потребленія; тѣмъ же путемъ уходила значительная часть той дани, которую воины собирали натурою съ порабощенныхъ земледѣльцевъ и со всей трудящейся массы; купцы давали имъ въ замѣнъ предметы роскоши, привезенные изъ далекихъ земель; за эти предметы воины давали очень хорошія цѣны и находили такія покупки чрезвычайно выгодными, потому что продукты, которыми они расплачивались, были произведены работою простыхъ смертныхъ и не стоили самимъ героямъ ни малѣйшаго личнаго труда. Доброе согласіе между воинами и купцами всею своей тяжестью лежало на плечахъ трудящагося большинства; чѣмъ туже набивался кошелекъ торговца и чѣмъ чаще появлялись затѣйливыя кушанья на столѣ воина или пестрыя ткани въ его одеждѣ, тѣмъ сильнѣе голодалъ земледѣлецъ, тѣмъ грубѣе становились его орудія и тѣмъ полнѣе дѣлалось его порабощеніе.

Древняя исторія представляетъ много примѣровъ такихъ зачинавшихся цивилизацій, которыя сначала были пріостановлены войной и торговлей, а потомъ погибли безъ слѣда подъ грудою благодѣяній, насыпанныхъ на развитіе народа щедрыми руками купцовъ и героевъ. Война и торговля, какъ два главные вида при-

своенія, возникаютъ чрезвычайно рано въ каждомъ образующемся обществѣ людей; исторія не можетъ прослѣдить ихъ происхожденія, потому что она вездѣ находитъ ихъ уже существующими; исторія каждаго народа начинается даже обыкновенно съ какихъ нибудь сказочныхъ преданій о военныхъ подвигахъ и о пріобрѣтеніи богатой добычи. Такъ какъ добыча эта навѣрное куда-нибудь сбывалась и на что нибудь обмѣнивалась, то, очевидно, война и торговля относятся къ разряду такихъ фактовъ, которые, подобно языку, миѳологіи и варварскимъ начаткамъ земледѣлія, зарождаются въ глухія времена неопредѣлимой древности. Война и торговля совершенно доступны дикарямъ, находящимся на очень низкой степени умственнаго развитія. Для войны требуется физическая сила, изъ которой естественнымъ образомъ развивается самонадѣянность и отвага; а для торговли необходима хитрость, т. е. умѣнье прикладывать мелкія средства къ достиженію мелкихъ цѣлей. Для войны не требуется никакихъ знаній, а при торговлѣ принимаются въ разсчетъ только такія знанія, которыя легко усвоиваются дикаремъ и не нуждаются въ изслѣдованіи и въ анализирующемъ трудѣ мысли. Торговцу надо помнить дороги и подводные камни, надо примѣняться къ обычаямъ иностранцевъ и знать по нѣскольку словъ изъ ихъ языковъ, надо соображать, куда везти купленный товаръ и что́ брать за него въ обмѣнъ. Всѣ эти свѣдѣнія, при ограниченномъ объемѣ торговыхъ операцій, пріобрѣтаются очень легко, путемъ простого навыка, безъ содѣйствія тѣхъ сложныхъ процессовъ мысли, къ которымъ неспособенъ мозгъ первобытнаго человѣка.

XVI.

Могущество торговца и его господство надъ первобытнымъ обществомъ основано преимущественно на томъ обстоятельствѣ, что онъ одинъ владѣетъ перевозочными средствами. Когда число людей увеличивается и населеніе становится гуще, тогда власти торговаго сословія наносится первый значительный ударъ; между деревнями, мѣстечками и городами проводятся дороги, которыя даютъ каждому изъ жителей возможность нести и везти свои продукты на различные рынки. Когда не было дорогъ, тогда каждый производитель поневолѣ принужденъ былъ продавать свои произведенія на мѣстѣ странствующему купцу, у котораго были лодки и корабли для рѣчной и морской перевозки, или верблюды, волы, ослы и мулы для перевозки черезъ горы, луговыя степи и песчаныя пустыни. Чѣмъ лучше становятся дороги, тѣмъ доступнѣе дѣлается перевозка каждому изъ производителей; шоссейныя дороги покрываются цѣлыми обозами сельскихъ продуктовъ, а когда шоссе, въ свою очередь, смѣняется желѣзною дорогой, тогда длинные ряды вагоновъ почти совершенно уничтожаютъ разстояніе между производителемъ и потребителемъ, такъ что купецъ, назначавшій въ былое время свои цѣны съ диктаторскимъ самовластіемъ, превращается теперь въ скромнаго коммиссіонера, получающаго за свой трудъ опредѣленный процентъ. Во время владычества купца, при отсутствіи путей сообщенія, значительное количество человѣческаго труда тратилось на перемѣщеніе продуктовъ. Цѣлые легіоны разныхъ погонщиковъ и ямщиковъ проводили всю свою жизнь въ странствованіи по горамъ и пустынямъ; къ этому же классу людей слѣдуетъ отвести лодочниковъ, бурлаковъ и матросовъ; всѣ они не производили ни одного зерна, и пропитаніе ихъ цѣликомъ ложилось на земледѣльцевъ.

Всякое улучшеніе дорогъ клонится къ умень-шенію этой непроизводительной траты труда: на шоссе тройка лошадей можетъ свезти тотъ грузъ, который на простой дорогѣ свезутъ пять лошадей, слѣдовательно какъ количество лошадей, такъ и количество людей, трудящихся при перевозкѣ, уменьшается почти на половину при переходѣ съ простой дороги на шоссе. Паровозы сгоняютъ съ дороги всѣхъ лошадей и почти всѣхъ людей; такъ точно поступаютъ рѣчные пароходы съ бурлаками и морскіе пароходы съ матросами купеческихъ судовъ; въ экономіи оказывается огромная масса лошадинаго и человѣческаго труда, и эта экономія на первый разъ производитъ тягостный застой рабочей силы, потому что люди, привыкшіе къ извѣстному роду занятій, не знаютъ, куда пристроить себя; но застой этотъ не можетъ быть продолжителенъ, потому что никогда и нигдѣ еще земледѣліе не доходило до такой степени совершенства, при которой приложеніе новыхъ рабочихъ силъ къ землѣ было бы дѣломъ излишнимъ. Мы теперь даже не знаемъ, можетъ ли быть достигнуто такое положеніе; вѣроятнѣе то, что производительныя силы земли могутъ увеличиваться безгранично, и что каждое новое приложеніе труда къ обработкѣ земли будетъ всегда вознаграждаться соотвѣтственнымъ приращеніемъ продукта. Если даже производительныя силы земли имѣютъ предѣлы, то предѣлы эти далеко не достигнуты, и для насъ, съ ближайшимъ нашимъ потомствомъ, недостижимы; слѣдовательно во всякомъ случаѣ экономія труда по теоріи должна быть признана выгодной; если же мы видимъ иногда въ исторіи и въ жизни, что устраненіе людей отъ производительныхъ занятій ведетъ за собой множество индивидуальныхъ страданій, то мы должны искать причины этихъ страданій не въ развитіи путей сообщенія, а въ тѣхъ обстоятельствахъ, которыя предшествовали этому развитію.

Преобладаніе военнаго и торговаго элемента

всегда и вездѣ мѣшаетъ разнообразію занятій, затрудняетъ сношенія и сближеніе между людьми, дѣлаетъ невозможнымъ прямой обмѣнъ продуктовъ и быстрое обращеніе мыслей, и такимъ образомъ удерживаетъ массы на самомъ низкомъ уровнѣ промышленнаго и умственнаго развитія. Каждая отдѣльная личность въ этой массѣ порабощена, затерта произволомъ и задавлена утомительнымъ однообразіемъ неблагодарнаго труда. Такая личность не знаетъ ни своихъ силъ и способностей, ни тѣхъ отраслей дѣятельности, къ которымъ могутъ быть примѣнены эти способности. Для такой личности каждая важная перемѣна, даже самая благодѣтельная, составляетъ истинное несчастіе, потому что застаетъ ее всегда въ расплохъ и всегда повергаетъ ее въ безвыходное недоумѣніе. Приложеніе рабочимъ силамъ всегда найдется, но чтобы искать—необходима смѣтливость и предпріимчивость, а эти свойства не существуютъ, потому что они систематически истреблялись всей совокупностью обстоятельствъ, развившихся изъ элемента присвоенія въ далекомъ историческомъ и доисторическомъ прошедшемъ. Само собою разумѣется, что эта совокупность неблагопріятныхъ обстоятельствъ не могла произойти отъ развитія путей сообщенія, которое, напротивъ того, составляетъ первый шагъ къ освобожденію человѣческой личности и къ возвышенію благосостоянія трудящихся массъ. Сначала пути сообщенія облегчаютъ перевозку, но потомъ они мало-по-малу избавляютъ производителя отъ необходимости перевозить продукты.

Эта послѣдняя мысль можетъ показаться парадоксальной, но не трудно убѣдиться въ томъ, что она не заключаетъ въ себѣ ни малѣйшей натяжки. Всякое усовершенствованіе въ путяхъ сообщенія передаетъ, какъ мы видѣли, въ руки производителей часть барышей, достававшихся прежде посредникамъ, т. е. торговому классу. Когда купецъ становился богатымъ, то онъ употреблялъ свое богатство—или на расширеніе торговыхъ операцій, или на удовлетвореніе тѣмъ прихотямъ, которыя естественнымъ образомъ возникаютъ у обезпеченнаго человѣка. Въ первомъ случаѣ господство купца надъ производителями, потребителями и мелкими торговцами становилось тѣмъ неотразимѣе, чѣмъ большее количество капитала пускалось въ обращеніе. Въ увеличеніи этого господства не было конечно ничего утѣшительнаго ни для цѣлаго общества, ни для трудящейся массы. Во второмъ случаѣ купецъ тратилъ свое богатство въ большихъ торговыхъ и промышленныхъ центрахъ страны; черезъ это увеличивалась притягательная сила этихъ центровъ, которые и безъ того высасывали изъ провинцій лучшіе соки ихъ продуктовъ; кромѣ того, такая трата поощряла производство предметовъ роскоши. Положеніе дѣлъ совершенно измѣняется, когда огромный барышъ купца раздѣляется между производителями такъ, что каждый изъ нихъ получаетъ небольшой излишекъ. Этотъ излишекъ тратится непремѣнно или на то, что необходимо для личнаго потребленія, или на улучшеніе орудій производства.

У насъ есть въ обществѣ недовѣрчивые читатели, которые, считая себя практическими людьми, немедленно поразятъ мою аргументацію словами: «мужикъ пропьетъ! Чѣмъ больше получитъ, тѣмъ больше въ кабакѣ оставитъ!» Какъ ни сильно звучитъ въ этихъ словахъ *практическая* нота, тѣмъ не менѣе приходится признать возраженіе недовѣрчивыхъ читателей совершенно неосновательнымъ. И статистическія таблицы, и наблюденія всевозможныхъ путешественниковъ, и доклады разныхъ спеціальныхъ коммисій доказываютъ самымъ положительнымъ образомъ, что пьянство и всякое безобразіе развивается всего сильнѣе въ бѣдныхъ странахъ и въ бѣднѣйшихъ классахъ. Люди пьютъ съ голоду, что̀ имѣетъ и физіологическое, и экономическое основаніе. Чарка водки дешевле хорошаго куска мяса, а между тѣмъ алкоголь уменьшаетъ количество выдыхаемой углекислоты и, замедляя такимъ образомъ перегораніе органическихъ тканей, даетъ работнику возможность поддерживать свои силы меньшимъ количествомъ пищи.

Устраняя такимъ образомъ возраженіе отечественныхъ практиковъ, производящихъ свои глубокомысленныя наблюденія на пространствѣ десяти квадратныхъ верстъ, я повторяю, что излишекъ, достающійся производителямъ, будетъ истраченъ ими—или на пищу, платье и жилище, или на рабочіе инструменты. Въ томъ и въ другомъ случаѣ общество получаетъ прямую выгоду. Когда производитель сытъ, одѣтъ и живетъ въ сухомъ, тепломъ и свѣтломъ помѣщеніи, тогда онъ работаетъ больше, охотнѣе и успѣшнѣе. Здоровье его улучшается, средняя продолжительность жизни увеличивается, способность размноженія становится сильнѣе, и общество ростетъ и богатѣетъ; вмѣстѣ съ многолюдствомъ является разнообразіе занятій, развивающее предпріимчивость и изобрѣтательность; движеніе идей усиливается вмѣстѣ съ обмѣномъ продуктовъ, и общество во всѣхъ своихъ слояхъ съ каждымъ годомъ становится богаче, дѣятельнѣе и счастливѣе. То же самое происходитъ въ томъ случаѣ, когда производитель затрачиваетъ свой излишекъ на улучшеніе орудій, потому что за улучшеніемъ орудій конечно слѣдуетъ приращеніе продукта, которое ведетъ за собой новое улучшеніе и такимъ образомъ подаетъ сигналъ къ постоянно ускоряющемуся движенію впередъ. Движеніе это совершается тѣмъ скорѣе, чѣмъ меньше труда и времени тратится на перевозку, а я сказалъ уже выше, что улучшеніе путей сообщенія не только

облегчаетъ перевозку, но даже постепенно устраняетъ ея необходимость.

Вотъ какъ это дѣлается: когда производители увеличиваютъ количество своихъ закупокъ и заказовъ, то такое увеличеніе очень скоро замѣчается фабрикантами и ремесленниками; производителей такъ много, что если каждый изъ нихъ прибавитъ только по пяти копѣекъ къ своимъ ежемѣсячнымъ расходамъ, то эта прибавка составитъ уже замѣтный расчетъ для ихъ поставщиковъ. Поставщикъ, постоянно получающій много заказовъ изъ одного мѣста, постарается конечно приблизиться къ этому мѣсту, разсчитывая совершенно основательно, что заказовъ будетъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше будутъ препятствія, заключающіяся въ разстояніи и въ перевозкѣ. Когда къ кузнецу, живущему въ городѣ, постоянно приводятъ для ковки по десяти лошадей въ день изъ большого села, лежащаго верстъ за пятнадцать отъ городской заставы, то кузнецъ можетъ совершенно основательно предположить, что въ этомъ селѣ куютъ лошадей только тѣ мужики, у которыхъ есть надобность побывать въ городѣ; кто побѣднѣе, кто бережетъ каждый часъ времени, тотъ оставитъ свою лошадь некованной, а между тѣмъ и этотъ мужикъ подковалъ бы свою лошадь, еслибы кузнецъ жилъ въ селѣ; далѣе кузнецъ соображаетъ, что у него въ городѣ много конкуррентовъ и что городской работы на всѣхъ не хватаетъ; тогда онъ переселяется на лоно сельской природы, къ великому удовольствію мужиковъ и къ великой пользѣ всѣхъ лошадиныхъ ногъ. Такъ точно разсуждаетъ и поступаетъ плотникъ, котораго часто требуютъ съ топоромъ въ село для сооруженія избъ, амбаровъ, скотныхъ дворовъ и всякихъ другихъ хозяйственныхъ построекъ. Пока мужики ходили въ лаптяхъ, сапожнику нечего было дѣлать въ селѣ, и тѣ богатые крестьяне, которые могли позволять себѣ эту роскошь, принуждены были покупать сапоги въ городѣ; когда выгодный сбытъ сельскихъ продуктовъ помимо благодѣтельныхъ купцовъ далъ возможность всѣмъ мужикамъ обуваться по человѣчески, тогда въ селѣ появился свой сапожникъ. Чѣмъ богаче становятся крестьяне, тѣмъ больше заводится въ ихъ селѣ ремесленныхъ и торговыхъ заведеній; образуется мѣстный центръ, удовлетворяющій всѣмъ потребностямъ мѣстныхъ жителей; крестьянинъ кормитъ ремесленника и сбываетъ такимъ образомъ свой хлѣбъ, а ремесленникъ одѣваетъ и обуваетъ крестьянина и сбываетъ такимъ образомъ свой трудъ. Сырые продукты, получающіеся на мѣстѣ, тутъ же на мѣстѣ перерабатываются, потребляются и возвращаются землѣ въ видѣ разнообразнаго удобренія. Крестьянину незачѣмъ ѣхать въ городъ ни для продажи, ни для покупки, стало быть его производство увеличивается всѣмъ тѣмъ количествомъ труда и времени, которое прежде тратилось на разъѣзды. Но если мы припомнимъ первоначальную причину этого сбереженія, то увидимъ, что она заключается въ томъ улучшеніи путей сообщенія, которое избавило крестьянина отъ тиранической власти купца и увеличило заработокъ перваго, уменьшивъ хищные барыши послѣдняго.

XVII.

Пути сообщенія приносятъ обществу значительнѣйшую долю пользы въ томъ случаѣ, когда они содѣйствуютъ образованію и развитію мелкихъ мѣстныхъ центровъ; эти мѣстные центры противодѣйствуютъ притягательной силѣ большихъ центровъ и распространяютъ во всей странѣ то разнообразіе занятій, которое прежде сосредоточивалось исключительно въ главныхъ городахъ. Чтобы достигнуть этой цѣли, пути сообщенія должны быть пролагаемы и улучшаемы именно такъ и именно тамъ, гдѣ и какъ того требуютъ выгоды производителей и потребителей. Надобно, чтобы производитель прямо съ своего поля или гумна могъ везти хлѣбъ на ближній рынокъ по такой дорогѣ, на которой, по крайней мѣрѣ, не вязли бы по ступицу колеса телѣги и не надрывались бы животы лошадей; необходимо слѣдовательно, чтобы пути сообщенія устраивались и улучшались прежде всего между отдѣльными деревнями и между деревнею и ближайшимъ городомъ; необходимо, чтобы облегчалась та часть перевозки, которая падаетъ прямо на одного производителя.

Большая часть экономистовъ разсуждаетъ иначе. Они очень мало заботятся о движеніи продуктовъ и о разнообразіи занятій въ самомъ обществѣ; все вниманіе ихъ устремлено на торговлю общества съ другими обществами; сравнительное богатство различныхъ государствъ опредѣляется, по ихъ мнѣнію, тѣми количествами продуктовъ, которые вывозятся за границу или ввозятся изъ-за границы; чѣмъ сильнѣе вывозъ перевѣшиваетъ ввозъ, тѣмъ радостнѣе бьются патріотическія сердца экономистовъ. Разсуждая такимъ образомъ и питая самую нѣжную привязанность къ барышамъ купца, эти мыслители заботятся исключительно о такихъ путяхъ сообщенія, которые соединяютъ между собою большіе центры, или о такихъ, которые соединяютъ большой центръ съ приморскимъ пунктомъ, отпускающимъ продуктъ за границу. Эти пути приносятъ самую существенную выгоду торговцамъ и не доставляютъ никакой выгоды производителямъ; продуктъ, свезенный въ одинъ изъ центровъ, сосредоточился уже въ рукахъ купцовъ, слѣдовательно перевозка этого продукта въ другой центръ или въ приморскій пунктъ составляетъ заботу торговцевъ, и облегченіе этой перевозки ведетъ за собою только увеличе-

ніе купеческихъ барышей и расширеніе торговыхъ операцій. Въ это самое время производители, которымъ приходится возить продуктъ изъ своихъ деревень въ ближайшіе города, за пятьдесятъ или шестьдесятъ верстъ, попрежнему калѣчатъ своихъ лошадей и ломаютъ свои телѣги, такъ что тяжелая часть перевозки попрежнему лежитъ на производителяхъ, между тѣмъ какъ она снята съ торговцевъ. Но конечно экономисты, принадлежащіе повидимому къ той школѣ эстетиковъ, которая признавала только высокое и прекрасное, не снисходятъ до разсмотрѣнія низкихъ предметовъ сѣрой производительской жизни. Статистика не отмѣчаетъ числа испорченныхъ мужицкихъ лошадей и поломанныхъ колесъ, и поэтому экономисты соболѣзнуютъ только о тѣхъ возвышенныхъ трудностяхъ, съ которыми приходится бороться купеческимъ капиталамъ, обращеннымъ на заграничную торговлю; а между тѣмъ не дурно было бы помнить, что благосостояніе всего общества зависитъ гораздо больше отъ числа сытыхъ людей и здоровыхъ лошадей, работающихъ въ полѣ, чѣмъ отъ числа рублей, долларовъ или фунтовъ стерлинговъ, составляющихъ годовой барышъ того или другого первокласснаго негоціанта. Поэтому экономистамъ и всѣмъ другимъ людямъ, болѣющимъ душою объ общественномъ благѣ, вовсе не мѣшало бы отъ времени до времени переносить свое просвѣщенное вниманіе съ великихъ и прекрасныхъ линій желѣзныхъ дорогъ на низкіе и пошлые предметы, называющіеся въ просторѣчіи грязными поселками. Въ нихъ-то именно и заключается вся сила путей сообщенія, та сила по крайней мѣрѣ, которая можетъ накормить и одѣть мужика, научить его уму-разуму и сдѣлать его зажиточнымъ и полезнымъ человѣкомъ.

Дороги, рѣки и каналы страны могутъ быть названы кровеносными сосудами, въ которыхъ обращаются питательные соки общественнаго организма; всѣ люди, правильно понимающіе дѣйствительные интересы общества, должны желать, чтобы эти питательные соки обращались какъ можно равномѣрнѣе и быстрѣе, чтобы они не застаивались ни въ какомъ мѣстѣ кровеносной системы, чтобы нигдѣ не происходило приливовъ и чтобы ни одна часть страны не страдала малокровіемъ. Любители общественнаго блага, заграничной торговли и купеческихъ барышей находятъ, напротивъ того, что о быстротѣ и равномѣрности внутренняго обращенія заботиться не стоитъ. Они полагаютъ, что счастье страны будетъ совершенно обезпечено, если окажется возможность вскрыть одну изъ большихъ артерій и затѣмъ постоянно отсылать за море бочки вытекающей крови. Чѣмъ больше можно будетъ отослать этой крови и чѣмъ быстрѣе она будетъ притягиваться къ ранѣ и вытекать наружу, тѣмъ богаче и могущественнѣе будетъ становиться весь организмъ общества. Это сравненіе употреблено здѣсь вовсе не для красоты слога. Не трудно будетъ доказать, что оно буквально вѣрно. Панегиристы заграничной торговли совѣтуютъ тѣмъ странамъ, въ которыхъ мало развита мануфактурная дѣятельность, вывозить сырые продукты и обмѣнивать ихъ на иностранныя сукна, шелковыя и бумажныя матеріи, стальныя орудія и всякія другія фабричныя произведенія. Такъ дѣлается теперь во многихъ странахъ, но панегиристы доказываютъ, что такъ и всегда должно дѣлаться, потому что нѣкоторыя государства должны быть чисто земледѣльческими, а другія промышленными; затѣмъ дѣло считается рѣшеннымъ въ теоріи, и всѣ усилія направляются къ тому, чтобы на практикѣ усилить вывозъ сырыхъ произведеній изъ тѣхъ странъ, которымъ велѣно быть чисто земледѣльческими.

Но тутъ представляется маленькое затрудненіе. Земля родитъ хорошо въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, а потомъ становится скупою, и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже, такъ что даже оставленіе земли подъ паромъ не поправляетъ дѣла. Тогда истощенный участокъ покидается и вмѣсто него разрабатывается полоса новой земли; это разрабатываніе сопряжено со значительными трудностями и только на ограниченный промежутокъ времени поправляетъ положеніе земледѣльца, потому что новая земля также истощается и начинаетъ отказывать въ урожаяхъ. Снова является необходимость распахивать новь, и такъ продолжается до тѣхъ поръ, нока не окажется, что вся земля выпахана и истощена. А потомъ? Потомъ человѣку приходится бѣжать куда-нибудь въ даль, искать опять новыхъ земель, какъ бѣгутъ американскіе землевладѣльцы на западъ съ такихъ земель, которыя только пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ были заселены. Но вѣдь и западъ не безконеченъ; придется когда-нибудь добѣжать до Великаго океана и поворотить назадъ, на опустошенную глушь, поросшую бурьяномъ и сорными травами. Вывозить сырой продуктъ все равно, что срѣзывать верхніе слои земли и отправлять ихъ за море; срѣзавши нѣсколько слоевъ, человѣкъ находитъ, что больше нечего рѣзать, потому что онъ дошелъ уже до того грунта, который не даетъ ему пищи и слѣдовательно для продажи за границу также не годится. Нельзя не согласиться съ тѣмъ, что такой образъ дѣйствій въ народномъ хозяйствѣ совершенно соотвѣтствуетъ вытягиванію крови изъ животнаго организма. Всякому деревенскому свинопасу извѣстно, что земля родитъ хлѣбъ хорошо тогда, когда ее удобряютъ; а удобреніе есть тотъ же сырой продуктъ, прошедшій черезъ

желудки людей и животныхъ и возвращающійся въ землю. Если продуктъ отправить за границу, то съ удобреніемъ приходится проститься. Тѣ хозяева, которые держатъ скотъ для удобренія и въ то же время отправляютъ цѣлые обозы зернового хлѣба на дальніе рынки, утѣшаютъ себя сладкими, но обманчивыми мечтами. Земля ихъ медленно истощается. Чтобы сохранять и увеличивать свою производительную силу, земля должна получать обратно, въ видѣ удобренія, весь сырой продуктъ, снятый съ нея при уборкѣ хлѣба. Если мы будемъ давать ей только часть этого продукта, то она будетъ становиться бѣднѣе, хотя конечно не такъ быстро, какъ въ томъ случаѣ, когда бы мы не возвращали ей ничего. Цвѣтущее земледѣліе существуетъ только въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ весь сырой продуктъ перерабатывается и съѣдается на мѣстѣ, а это возможно только въ тѣхъ частяхъ земли, въ которыхъ разнообразіе занятій и развитіе промышленности позволяютъ людямъ сдвигаться въ тѣсныя группы и устраивать множество мелкихъ центровъ. Земледѣліе идетъ хорошо въ Англіи, еще лучше въ Бельгіи и въ Сѣверной Германіи, то есть именно въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ всего сильнѣе развита мануфактурная дѣятельность. Земледѣліе идетъ плохо въ Россіи, въ Турціи, въ южныхъ штатахъ Америки, то-есть именно въ тѣхъ странахъ, которыя обречены учеными людьми на исключительно земледѣльческую роль.

Изъ этого слѣдуетъ заключеніе, что чисто земледѣльческая страна, съ успѣхомъ занимающаяся земледѣліемъ, есть чистѣйшій миѳъ. Созданіе этого миѳа, стоящаго рядомъ съ законами Мальтуса и Рикардо, дѣлаетъ величайшую честь блестящей фантазіи ученыхъ изобрѣтателей, но къ явленіямъ и фактамъ дѣйствительности этотъ миѳъ относится точно такъ же, какъ относятся къ нимъ Оберонъ и Титанія. Въ дѣйствительности есть земли, производящія въ изобиліи хлѣбъ и ткани, сырые продукты и фабричныя издѣлія, и есть другія земли, которыя не производятъ ничего, кромѣ сырья, но зато и сырья производятъ мало. На этихъ послѣднихъ земляхъ вовсе не лежитъ какая-нибудь печать отверженія; онѣ могутъ также завести у себя мануфактуры, оживить свое населеніе разнообразіемъ занятій и устроить множество мелкихъ центровъ производства и потребленія. Когда онѣ сдѣлаютъ это, тогда и сырье будетъ рождаться у нихъ въ большемъ количествѣ, а пока онѣ будутъ слушать мудрыхъ экономистовъ и гнаться только за усиленіемъ вывоза, до тѣхъ поръ имъ придется только дивиться тому, какъ это чисто земледѣльческая страна не можетъ завести у себя порядочнаго земледѣлія; чѣмъ сильнѣе и продолжительнѣе будетъ упорство въ этомъ направленіи, тѣмъ полнѣе будетъ истощеніе земли и тѣмъ ужаснѣе будутъ нищета, невѣжество и порабощеніе жителей.

Изъ всего, что было говорено выше, слѣдуетъ, что пути сообщенія полезны тогда, когда пробуждаютъ мѣстную жизнь и содѣйствуютъ образованію мелкихъ центровъ. Но путями сообщенія можетъ овладѣть торговый элементъ или какая-нибудь другая сила, развивающаяся изъ того же общаго начала,—и тогда пути сообщенія, проложенные не тамъ гдѣ слѣдуетъ, могутъ только ускорить движеніе общества къ истощенію земли, къ подавленію всякой внутренней промышленности и къ порабощенію жителей, обреченныхъ на вѣчное однообразіе труда и на безвыходную зависимость отъ наглаго произвола торговцевъ и отъ безпрерывныхъ колебаній цѣнъ на далекихъ рынкахъ.

XVIII.

Чтобы передвигать или перевозить съ мѣста на мѣсто сырой матеріалъ, человѣку надо знать только величину и вѣсъ его, то есть такія свойства, которыя опредѣляются простымъ свидѣтельствомъ чувствъ. Чтобы производить въ этомъ матеріалѣ механическія или химическія измѣненія, необходимо имѣть болѣе подробныя и спеціальныя свѣдѣнія о свойствахъ матеріи. Поэтому умѣнье перерабатывать сырой матеріалъ развивается въ человѣческихъ обществахъ уже тогда, когда существуютъ перевозочныя средства и пути сообщенія. Въ самомъ грубомъ бытѣ дикарей проявляется уже способность измѣнять форму матеріи, но эти зародыши ремесленной дѣятельности относятся къ высшимъ видамъ развитой промышленности точно такъ же, какъ начатки варварскаго земледѣлія относятся къ подвигамъ научной агрономіи. Дикарь умѣетъ добыть себѣ огня треніемъ двухъ кусковъ дерева; онъ умѣетъ изжарить кусокъ мяса или сварить пойманную рыбу; онъ умѣетъ превратить палку въ лукъ и заострить оконечность твердаго кремня; но всѣ эти операціи скользятъ по поверхности матеріи, производятъ въ ней незначительныя измѣненія и доставляютъ дикарю очень ограниченную власть надъ окружающей природой. Дикарь убиваетъ звѣря тяжелымъ камнемъ, но онъ не знаетъ, что въ этомъ самомъ камнѣ заключается желѣзная руда, и что изъ этой руды можно сдѣлать топоръ, которымъ очень удобно можно будетъ убивать звѣрей и рубить деревья. Поваливши звѣря, дикарь сдираетъ съ него шкуру и набрасываетъ ее себѣ на плечи, но онъ опять-таки не знаетъ, что шерсть, покрывающая шкуру, можетъ быть переработана въ такую матерію, которая гораздо удобнѣе самой шкуры можетъ служить одеждою.

Кромѣ того, дикарь не знаетъ, что шкуру можно выдѣлать и превратить въ кожу, которая доставитъ очень удобную обувь.

Такимъ образомъ, звѣриная кожа, способная дать дикарю суконный плащъ и сапоги, даетъ ему только какую-то неуклюжую и неудобную накидку. Силы природы остаются подъ спудомъ, потому что у дикаря нѣтъ тѣхъ свѣдѣній о свойствахъ матеріи, которыя необходимы для того, чтобы вызвать эти силы къ цѣлесообразной дѣятельности. Тѣ немногія и незначительныя измѣненія, которымъ дикарь умѣетъ подвергать сырой матеріалъ, требуютъ отъ дикаря большихъ усилій и даютъ ему ничтожные результаты; много времени и труда уходитъ на перемѣщеніе матеріи и также много на перемѣну формы, такъ что на самое важное дѣло человѣка, на обрабатываніе и улучшеніе земли, единственнаго источника всякаго богатства, дикарь можетъ употреблять очень мало времени и физическихъ усилій.

Улучшеніе перевозочныхъ средствъ уменьшаетъ трудности передвиженія, а улучшеніе механическихъ и химическихъ процессовъ производства точно такъ-же уменьшаетъ трудности превращенія. Вся масса сберегаемой силы должна тогда обращаться на землю, и это увеличеніе въ средствахъ обработки должно вести за собою соотвѣтствующее приращеніе въ количествѣ сырого продукта. На мельницѣ вода, вѣтеръ или паръ превращаетъ зерно въ муку и выполняютъ такимъ образомъ ту работу, которую прежде должны были совершать тысячи человѣческихъ рукъ или сотни лошадиныхъ силъ; въ это время освобожденные люди и лошади могутъ прилагать свой трудъ болѣе производительнымъ образомъ, увеличивая количество того зерна, которое должно быть превращаемо въ муку. Приложеніе паровой силы къ прядильной машинѣ и къ усовершенствованному ткацкому станку даетъ возможность шести женщинамъ превращать въ ткань такое количество шерсти, которое, сто лѣтъ тому назадъ, въ тотъ же промежутокъ времени, требовало для своей переработки—усиленнаго труда нѣсколькихъ сотъ мужчинъ; эти освободившіеся работники могутъ посвятить свои силы тщательному уходу за скотомъ, могутъ улучшить породу овецъ обильнымъ и отборнымъ кормомъ и могутъ такимъ образомъ значительно увеличить то количество шерсти, которое должно быть превращено въ ткань.

Усовершенствованіе механическихъ и химическихъ процессовъ, сберегающее ту рабочую силу, которая должна была употребляться на переработку матеріала, ведетъ за собою, кромѣ того, сбереженіе въ той массѣ силъ, которая тратилась на перемѣщеніе. Положимъ, что страна производитъ хлѣбъ и желѣзную руду; если она будетъ отправлять за границу то и другое, то на перевозку этого сырья потребуется много повозокъ, вагоновъ или кораблей, потому что хлѣбъ и руда занимаютъ много мѣста и представляютъ сравнительно съ своей цѣнностью очень громоздкій и тяжелый грузъ. Но если хлѣбомъ кормить дома работниковъ, которые будутъ превращать руду въ полосовое или листовое желѣзо, то этотъ новый продуктъ можетъ быть отправленъ на меньшемъ количествѣ повозокъ, между тѣмъ какъ цѣнность его будетъ соотвѣтствовать цѣнности руды, сложенной съ цѣнностью съѣденнаго хлѣба. Если листовое и полосовое желѣзо будетъ превращено внутри страны въ стальные ножи, то цѣнность этихъ ножей будетъ также соотвѣтствовать цѣнности употребленнаго желѣза, сложенной съ цѣнностью того хлѣба, который съѣдятъ новые работники, а для перевозки ножей потребуется еще меньше повозокъ, чѣмъ сколько требовалось для перевозки листового и полосового желѣза.

Если мы подумаемъ теперь, сколько повозокъ надо было бы употребить для вывоза желѣзной руды и всего хлѣба, съѣденнаго всѣми работниками, и если мы сравнимъ это количество съ тѣмъ, которое потребуется для вывоза ножей, сдѣланныхъ изъ той же массы руды, то мы увидимъ, что первое количество по крайней мѣрѣ въ двадцать разъ больше второго. Это докажетъ намъ, что всякая переработка сырого продукта на мѣстѣ сберегаетъ огромную массу силъ, которыя иначе пришлось бы издержать на перевозку. Руда и хлѣбъ комбинируются между собою и сжимаются въ форму ножей, которые можно везти на край свѣта. Точно такъ-же шерсть и хлѣбъ сжимаются въ форму сукна, хлопокъ и хлѣбъ—въ форму кисеи, ленъ и хлѣбъ—въ форму полотна или кружева, и при всѣхъ этихъ операціяхъ постоянно сберегается значительное количество перевозочной силы; а такъ какъ всякая трата труда на перевозку сама по себѣ непроизводительна, то всякое сбереженіе въ этомъ дѣлѣ приноситъ обществу чистую выгоду.

Эти соображенія составляютъ также довольно увѣсистый аргументъ противъ мечтателей, превозносящихъ вывозъ сырья и прелести исключительнаго земледѣлія. Въ Великобританіи всѣ паровыя машины, вмѣстѣ взятыя, замѣняютъ собою ручной трудъ шестисотъ милліоновъ людей, и большая часть этихъ машинъ употребляется на сжиманіе хлѣба и шерсти въ сукно, хлѣба и хлопка въ разныя ткани, хлѣба, угля и руды въ стальныя орудія; можно себѣ представить, сколько человѣческой силы сберегается для земледѣлія и для изученія свойствъ природы; если далеко не вся масса сбереженной силы употребляется производительно, то въ этомъ виноваты уродливыя условія англійскаго землевладѣнія и распредѣленія имуществъ, то-есть такія обстоятельства, ко-

торыя завѣщаны настоящей эпохѣ тѣми мрачными временами, когда элементъ присвоенія не встрѣчалъ себѣ никакой задерживающей плотины.

XIX.

Чѣмъ сильнѣе развивается въ какомъ-нибудь обществѣ способность перерабатывать сырой матеріалъ на мѣстѣ, тѣмъ большее количество даровъ природы находитъ себѣ полезное употребленіе. Одинокій поселенецъ всегда бѣденъ и кромѣ того по необходимости расточителенъ. Чтобы расчистить себѣ нѣсколько акровъ или десятинъ земли, онъ часто сжигаетъ сотни деревьевъ; этотъ обычай до сихъ поръ существуетъ въ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ и въ американскихъ поселеніяхъ на далекомъ западѣ; зола сожженныхъ деревьевъ идетъ на удобреніе земли, между тѣмъ какъ въ заселенной и промышленной землѣ всѣ составныя части дерева нашли бы себѣ полезное приложеніе: стволъ превратился бы въ доски, кора пошла бы на дубленіе кожи и даже тонкія вѣтки нашли бы себѣ душеспасительное педагогическое примѣненіе. Въ бѣдномъ поселеніи изношенныя тряпки выбрасываются, а въ промышленномъ городѣ онѣ идутъ на выдѣлку бумаги; гвозди, выскакивающіе на улицахъ изъ подковъ лошадей, превращаются въ ружейные стволы; мѣдные опилки употребляются на приготовленіе краски, обрѣзки кожи на производство клея; кости мертвыхъ животныхъ на очистку сахара, изъ уличныхъ нечистотъ добывается амміакъ, составляющій одну изъ составныхъ частей нашатырнаго спирта. Словомъ, въ большихъ и промышленныхъ городахъ не теряется почти ни одна частица матеріи; здѣсь дѣятельность и изобрѣтательность людей повторяетъ въ меньшихъ размѣрахъ то вѣчное круговращеніе вещества, которое составляетъ собою жизнь природы. Разнообразіе занятій даетъ возможность каждому отдѣльному человѣку проявить свои индивидуальныя способности въ соотвѣтствующей имъ формѣ дѣятельности, и это же самое разнообразіе занятій позволяетъ одной отрасли промышленности извлекать пользу изъ тѣхъ повидимому негодныхъ остатковъ и обрѣзковъ, которые выбрасываются ремесленниками другой отрасли. Такимъ образомъ сильно развитое умѣнье производить механическія и химическія измѣненія въ формѣ вещества распредѣляетъ самымъ выгоднымъ образомъ какъ человѣческія силы, такъ и частицы сырого матеріала.

Тѣ земли, въ которыхъ мануфактурная промышленность доведена до высокой степени совершенства, несутъ конечно свою долю страданій, произведенныхъ элементомъ присвоенія, но положеніе этихъ земель, по всей справедливости, можетъ быть названо счастливымъ, если мы сравнимъ его съ участью тѣхъ странъ, въ которыхъ свирѣпствуетъ исключительное земледѣліе. Какъ ни тяжела жизнь англійскаго или бельгійскаго пролетарія, она все-таки показалась бы легкою негру, работающему на сахарныхъ плантаціяхъ Ямайки или разводящему хлопокъ въ Каролинѣ. Въ чисто земледѣльческихъ Южныхъ Штатахъ силы человѣка тратятся самымъ неразсчетливымъ образомъ, и рабство держалось въ нихъ именно потому, что отсутствіе разнообразія въ занятіяхъ лишало работника всякой возможности примѣнять къ производству силы своего мозга. Человѣкъ дѣлаетъ то, что̀ могъ бы дѣлать волъ, но такъ какъ самый глупый человѣкъ умнѣе самаго умнаго вола, и такъ какъ самый сильный человѣкъ слабѣе самаго слабаго вола, то очевидно замѣнять рабочій скотъ людьми чрезвычайно невыгодно, потому что значительнѣйшая доля человѣческой силы (мозгъ) остается незанятою и теряется даромъ, между тѣмъ какъ призывается къ дѣятельности та часть человѣческаго организма (мускулы), которая въ человѣкѣ слабѣе, чѣмъ въ каждомъ изъ вьючныхъ животныхъ. Плантаторъ, распоряжающійся такимъ образомъ съ своими неграми, похожъ на охотника, который лягавую собаку пустилъ бы въ погоню за зайцемъ, а борзую заставилъ бы отыскивать дичь. Было бы неосновательно думать, что плантаторы чувствуютъ особенную нѣжность къ рабству и къ такой методѣ земледѣлія, которая истощаетъ почву; они сами попали въ заколдованный кругъ; тираническое господство англійской торговли поддерживало у нихъ исключительное земледѣліе; исключительное земледѣліе, какъ и всякое однообразіе занятій, мѣшало ассоціаціи человѣческихъ силъ и тѣсному группированію населенія; разбросанность населенія не позволяла людямъ побѣждать тѣ препятствія, которыя встрѣчаютъ земледѣльца на богатой почвѣ долинъ и рѣчныхъ береговъ; необходимость ограничиваться обработкой тощей земли холмовъ поддерживала бѣдность; бѣдность мѣшала усовершенствованію орудій; плохія орудія укрѣпляли рутину земледѣльческихъ пріемовъ; рутинные пріемы вели къ отупѣнію работника; тупой работникъ могъ очень легко быть замѣненъ рабомъ, а когда рабство пустило свои корни, тогда потерялась всякая возможность освободиться отъ торговаго ига Англіи и завести свои мануфактуры. Вызванное къ жизни бѣдностью и рутиной, рабство въ свою очередь сдѣлалось самымъ твердымъ оплотомъ рутины и бѣдности; заколдованный кругъ оказался такимъ образомъ замкнутымъ, и онъ могъ быть разбитъ только такимъ событіемъ, которое, какъ американская война, не зависѣло ни отъ плантаторовъ, ни отъ ихъ негровъ, ни отъ торговыхъ оптиматовъ Англіи.

Гдѣ неразсчетливо тратится высшій видъ матеріи, заключающійся въ человѣческихъ силахъ, тамъ тратится также неразсчетливо низшій видъ матеріи, состоящій въ разнообразныхъ сырыхъ продуктахъ почвы. Во всѣхъ исключительно земледѣльческихъ странахъ природа каждый годъ формируетъ и каждый годъ разрушаетъ огромное количество такого матеріала, который при надлежащей обработкѣ могъ бы доставить человѣку множество разнородныхъ удобствъ жизни. Въ Южныхъ Штатахъ стебли хлопчатника сжигались на плантаціяхъ, между тѣмъ какъ въ нихъ заключаются превосходныя волокна, изъ которыхъ можно было бы сработать отличныя ткани. Сѣмена этого растенія могли бы дать большое количество масла, но объ немъ никто не заботился. Бананы, кромѣ плодовъ, могутъ давать съ каждаго акра отъ девяти до двѣнадцати тысячъ фунтовъ волокна, которое годится на всякое производство, начиная отъ выдѣлки канатовъ и кончая фабрикаціей топчайшей кисеи; и никто этимъ не пользовался въ такой странѣ, въ которой рабочій классъ ходилъ почти въ первобытной наготѣ. Почва плантацій истощалась до послѣднихъ предѣловъ тупымъ упорствомъ распорядителей, добывавшихъ постоянно одинъ и тотъ же продуктъ: хлопокъ, или сахарный тростникъ, или рисъ, или кофе; а въ это самое время оставлялись безъ всякаго вниманія сотни деревьевъ, кустарниковъ и травъ, которые природа производитъ даромъ и которые даютъ или волокна, годныя для пряжи, или превосходныя красильныя вещества. Рутина ничего не видитъ и портитъ все, что попадается ей въ руки; а рутина совершенно неизбѣжна въ чисто земледѣльческихъ странахъ, потому что предпріимчивость вызывается только разнообразіемъ занятій.

Развитіе механическихъ и химическихъ процессовъ, превращающихъ сырой матеріалъ въ предметъ, годный для потребленія, или въ орудіе, облегчающее дальнѣйшее производство, составляетъ для общества важнѣйшій шагъ впередъ,—къ богатству, къ свободѣ и къ мирному наслажденію разумной трудовой жизнью. Человѣческая личность развилась всего раскошнѣе и выбилась изъ-подъ средневѣкового гнета феодаловъ всего полнѣе именно въ тѣхъ странахъ, въ которыхъ развернулась разнообразная ремесленная дѣятельность. Эпоха освобожденія и возвышенія человѣческаго достоинства совпадаетъ вездѣ съ эпохой пробужденія технической изобрѣтательности и предпріимчивости. Человѣкъ, начинающій чувствовать себя властелиномъ природы, не можетъ оставаться рабомъ другого человѣка. Но элементъ присвоенія, отравившій торговлю и извращающій въ свою пользу пути сообщенія, не можетъ и въ этомъ случаѣ оставаться въ бездѣйствіи. Когда сдѣлано какое-нибудь открытіе, то близорукіе люди стараются прежде всего не о томъ, чтобы обратить это открытіе противъ инертнаго сопротивленія природы, а о томъ, чтобы сдѣлать изъ него оружіе противъ тѣхъ людей, которымъ оно неизвѣстно или недоступно. Положимъ, что въ одной землѣ открыта возможность прилагать силу пара къ производству тканей; эта земля родитъ ленъ; сдѣланное открытіе дастъ средства производить огромное количество полотна, употребляя на эту работу малое количество труда; стало быть, трудъ сберегается и можетъ быть приложенъ къ дальнѣйшему усовершенствованію въ разведеніи льна. Кромѣ того, жители страны становятся богаче, потому что каждый изъ нихъ, вмѣсто одной рубашки, можетъ пріобрѣсти себѣ дюжину. Такъ *должно* быть, но *бываетъ* совсѣмъ не такъ. Люди, разжившіеся торговлей, тотчасъ заводятъ себѣ новыя машины, а тѣ люди, которые не могутъ завести машинъ, принуждены покупать полотно почти по той цѣнѣ, по которой оно продавалось до изобрѣтенія и примѣненія паровыхъ двигателей. Прежде въ странѣ было множество ткачей, работавшихъ на ручныхъ станкахъ, въ свою собственную пользу; теперь обладатели машинъ совершенно отбиваютъ у нихъ работу; они, обладатели машинъ, понижаютъ цѣну полотна какъ разъ настолько, насколько нужно, чтобы убить мелкую промышленность, но совсѣмъ не настолько, насколько они безъ убытка себѣ могли бы понизить цѣну вслѣдствіе облегченій, произведенныхъ новымъ открытіемъ.

Такимъ образомъ, роковой ударъ, нанесенный мелкимъ производителямъ, вовсе не уравновѣшивается той ничтожной пользой, которую получаютъ потребители. Вся выгода валится въ карманъ посредника, стоящаго между производителемъ, т. е. поденщикомъ, работающимъ на фабрикѣ, и потребителемъ, т. е. человѣкомъ покупающимъ полотно. Еслибы человѣческій трудъ въ данной странѣ распредѣлялся по различнымъ отраслямъ производства совершенно разсчетливо, такъ, чтобы не терялись ни время, ни способности работниковъ, тогда конечно ткачи, принужденные оставить свои ручные станки, могли бы тотчасъ приняться за земледѣліе и обогатить страну приращеніемъ сырого продукта. Но въ дѣйствительности бываетъ сплошь и рядомъ такъ, что одни работники голодаютъ отъ недостатка работы, между тѣмъ какъ нѣсколько другихъ отраслей промышленности въ той же странѣ могли бы много выиграть, еслибы привлекли къ себѣ большее количество рабочихъ рукъ. Лапкаширскіе работники сидятъ безъ дѣла вслѣдствіе недостатка хлопка и терпятъ крайнюю степень нужды, а между тѣмъ земля Англіи все еще далеко не такъ хорошо обработана, какъ того

требуетъ современное положеніе агрономической науки. А происходитъ такая неурядица отъ того, что и мануфактуристъ, и землевладѣлецъ стараются извлечь свои барыши и ренты не изъ природы, а изъ тощихъ кошельковъ потребителей и изъ того куска хлѣба, который они бросаютъ производителю. Объ увеличеніи количества и объ улучшеніи качества продукта заботятся очень немногіе капиталисты, а возвысить цѣну своихъ произведеній и понизить задѣльную плату работниковъ стараются всѣ. Но кошельки покупателей могутъ быть истощены, и желудки работниковъ также только до извѣстной степени способны переносить лишенія; между тѣмъ богатство и силы природы совершенно неистощимы. Кто борется съ природой, тотъ обогащаетъ и самого себя, и всѣхъ окружающихъ людей; кто обираетъ людей дозволенными или недозволенными средствами, тотъ разливаетъ вокругъ себя бѣдность и страданіе, которыя непремѣнно, рано или поздно, тѣмъ или другимъ путемъ доберутся и до него самого.

Если внутри каждой промышленной страны происходитъ постоянная борьба между перепутанными интересами различныхъ людей, содѣйствующихъ производству, то конечно та же безплодная и гибельная борьба, въ бо́льшихъ размѣрахъ и съ бо́льшимъ ожесточеніемъ, разыгрывается во всѣхъ международныхъ промышленныхъ сношеніяхъ. Та страна, въ которой открыто средство ткать полотно паровыми машинами, будетъ употреблять всѣ усилія, чтобы помѣшать другой странѣ, производящей шелкъ, въ примѣненіи новыхъ машинъ къ выдѣлкѣ атласа, тафты и другихъ матерій. Между тѣмъ обѣимъ странамъ было бы положительно выгодно, еслибы въ одной производилось какъ можно больше полотна, а въ другой какъ можно больше шелковыхъ тканей. Обмѣнъ между обѣими землями усилился бы, и жители обѣихъ земель могли бы пользоваться въ изобиліи бѣльемъ и шелковымъ платьемъ. Но международной торговлей и фабричной промышленностью управляютъ не жители, а капиталисты, которые, по своему невѣдѣнію, воображаютъ себѣ, что имъ нѣтъ никакого дѣла до общаго уровня народнаго благосостоянія. Невѣдѣніе капиталистовъ внушаетъ имъ своеобразные разсчеты и предвзятыя идеи, которымъ эти джентльмены служатъ съ непоколебимымъ постоянствомъ и иногда съ изумительнымъ самоотверженіемъ. Капиталисты, затратившіе свои капиталы на сооруженіе фабрикъ, воображаютъ себѣ, что имъ необходимо перерабатывать на своихъ фабрикахъ весь сырой продуктъ, получающійся съ полей, лѣсовъ, стадъ и рудниковъ всего міра. Пусть обитатели всего земного шара занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ и добываніемъ руды; пусть все это сырье везутъ къ намъ, въ нашъ маленькій уголокъ; за все это мы сами будемъ давать такую цѣну, какую захотимъ; потомъ мы сами все это переработаемъ на нашихъ фабрикахъ нашими неизмѣримо-могущественными машинами, и наконецъ пусть обитатели всего земного шара покупаютъ у насъ все, что имъ нужно для одежды, все, что имъ нужно для украшенія и комфорта, все, что имъ нужно для работы, начиная отъ желѣзнаго гвоздя и кончая паровымъ локомотивомъ. Чѣмъ меньше будетъ фабрикъ и чѣмъ больше онѣ будутъ централизованы, тѣмъ безконтрольнѣе будетъ наше господство надъ міромъ. Мы всѣмъ и всему будемъ назначать цѣны; отъ насъ будетъ зависѣть и плантаторъ, разводящій хлопокъ, и работникъ, нанимающійся на нашу фабрику, и всякій человѣкъ, желающій купить платье или орудіе. Захотимъ помиловать—помилуемъ; захотимъ безъ хлѣба оставить—оставимъ; все это будетъ въ нашихъ рукахъ, и власти нашей не будетъ предѣла.

Вотъ чего желаютъ, вотъ о чемъ по крайней мѣрѣ мечтаютъ многіе капиталисты; эти золотыя грезы понемногу осуществляются; Англія, классическая страна капитала, дѣйствительно, держитъ въ крѣпостной зависимости производителей многихъ плодородныхъ и обширныхъ земель. Ирландія, Португалія, Турція, Остъ-Индія, Вестъ-Индія, Южные Штаты, Бразилія продаютъ ей свои сырые продукты и покупаютъ у нея каждый лоскутъ матеріи и каждый обдѣланный кусокъ желѣза по той цѣнѣ, которую ей заблагоразсудится назначить. Внутри самой Англіи тысячи рабочихъ рукъ находятся въ полномъ распоряженіи капиталистовъ; тысячи желудковъ, соотвѣтствующихъ этимъ рукамъ, ожидаютъ отъ нихъ манны небесной, и по желанію тѣхъ же капиталистовъ могутъ быть поражены всѣми язвами египетскими. Мечта такихъ капиталистовъ была бы совершенно осуществлена, и блаженство этихъ столповъ отечества было бы безоблачно, еслибы только имъ удалось подорвать всѣ фабрики, существующія во Франціи, въ Бельгіи, въ Германіи и въ другихъ странахъ, не пожелавшихъ ограничиваться поставкой сырья въ Англію. Къ этой-то цѣли и направляются усилія близорукихъ капиталистовъ всѣхъ націй. Подорвать иностранныхъ соперниковъ и отбить у нихъ выгодный рынокъ — это считается подвигомъ просвѣщеннаго патріотизма, хотя отъ этого подвига не выигрываетъ никто, кромѣ капиталистовъ. Они понижаютъ цѣны на свои произведенія, работаютъ себѣ въ убытокъ, несутъ огромныя потери, а потомъ, подорвавши иностранную промышленность, опять возвышаютъ цѣны и съ избыткомъ вознаграждаютъ себя за пожертвованія, положенныя на алтарь отечественной славы. Вся тяжесть этихъ патріотическихъ операцій обрушивается конечно на работниковъ, которымъ никогда не удается полакомиться ихъ

сладкими послѣдствіями. Когда фабрика работаетъ себѣ въ убытокъ, тогда хозяинъ понижаетъ задѣльную плату, а когда фабрика приноситъ двойные барыши, тогда хозяинъ радуется и кладетъ деньги въ карманъ.

XX.

Ремесленники и фабричные работники посредствомъ разныхъ химическихъ и механическихъ процессовъ измѣняютъ форму того сырого матеріала, который такъ или иначе производитъ земля. Въ большей части случаевъ человѣкъ до сихъ поръ дѣлаетъ очень мало для увеличенія производительныхъ силъ земли. Роль земледѣльца почти вездѣ ограничивается тѣмъ, что онъ приволитъ землю въ соприкосновеніе съ сѣменами, и потомъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, беретъ себѣ то, что выросло на нивѣ. Сколько сырого матеріала произведетъ земля и какого качества будетъ этотъ матеріалъ — это такіе вопросы, на которые земледѣлецъ не сумѣетъ дать опредѣленнаго отвѣта. Мельникъ знаетъ, сколько пудовъ муки выйдетъ изъ четверти зернового хлѣба, и ткачъ знаетъ, сколько аршинъ полотна онъ можетъ выткать изъ даннаго количества пряжи; но земледѣлецъ, бросившій свои зерна въ землю, находится скорѣе въ положеніи игрока, взявшаго лотерейный билетъ, чѣмъ въ положеніи ремесленника, способнаго высчитать будущіе результаты своего труда. Что дастъ земля, что дастъ погода—то и возьметъ земледѣлецъ; успѣхъ его труда зависитъ отъ стеченія многихъ благопріятныхъ условій; успѣху этому могутъ повредить множество случайныхъ препятствій; зерно, положенное въ землю, должно испытать не одинъ видоизмѣняющій процессъ, а цѣлый рядъ такихъ процессовъ, и этотъ длинный рядъ видоизмѣненій долженъ тянуться въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Чтобы управлять этими процессами, совершающимися въ таинственныхъ лабораторіяхъ природы, земледѣльцу необходимо обладать множествомъ сложныхъ знаній, а такъ какъ до сихъ поръ земледѣліе повсемѣстно находится въ рукахъ людей очень бѣдныхъ и совершенно невѣжественныхъ, то разумѣется всѣ процессы, относящіеся къ созиданію сырыхъ матеріаловъ, совершаются какъ придется, по волѣ прихотливой судьбы и коварныхъ стихій.

Земледѣліе зарождается въ самой глубокой древности, въ то время, когда фабричной промышленности совершенно не существуетъ; но зародившись такъ рано, земледѣліе останавливается на очень низкой степени развитія и начинаетъ совершенствоваться только тогда, когда между людьми существуетъ уже привычка къ общественной жизни, значительное разнообразіе занятій и дѣятельное движеніе идей. Торговля, пути сообщенія, многочисленныя и разнородныя фабрики должны познакомить человѣка со многими прекрасными результатами разумнаго труда и ассоціаціи и со многими печальными явленіями раздора, прежде нежели появится мысль о раціональномъ земледѣліи. Исцарапать землю заступомъ или плугомъ и засыпать борозды хлѣбными зернами можетъ всякій дикарь, и мы дѣйствительно видимъ, что этими работами занимаются такіе люди, которые отличаются отъ дикарей только платежемъ денежныхъ или натуральныхъ повинностей. Но чтобы довести шансы неурожаевъ до самой незначительной величины, чтобы обратить азартную игру земледѣлія въ вѣрное ремесло, чтобы развернуть и вызвать къ дѣятельности скрытыя силы земли— человѣку необходимо знать особенности различныхъ слоевъ земной коры, химическія свойства составныхъ частей почвы, условія жизни растительнаго организма, нравы насѣкомыхъ, которыя могутъ вредить посѣву, признаки, по которымъ можно судить объ атмосферическихъ измѣненіяхъ, степень зависимости этихъ измѣненій отъ горъ, рѣкъ, лѣсовъ и другихъ особенностей мѣстоположенія, степень вліянія этихъ измѣненій на посѣвы и множество другихъ одинаково важныхъ подробностей. Физика, химія, геогнозія, метеорологія, энтомологія, физіологія животнаго и растенія находятъ себѣ непосредственное приложеніе къ земледѣлію; большая часть этихъ наукъ возникли очень недавно; обѣ ихъ стороны, теоретическая и прикладная, разработаны еще очень неудовлетворительно; кругъ распространенія знаній вообще и естественныхъ наукъ въ особенности чрезвычайно тѣсенъ; истины, открытыя въ лабораторіи, проникаютъ въ мастерскую очень медленно и примѣняются къ фабричному производству очень нерѣшительно; еще медленнѣе пробираются онѣ къ земледѣльцу, работающему въ полѣ, и еще нерѣшительнѣе относится къ нимъ практика сельскаго хозяйства.

Въ послѣднемъ случаѣ медленность и нерѣшительность доходятъ до такихъ крайнихъ предѣловъ, что раціональная агрономія въ передовыхъ странахъ Европы представляется до сихъ поръ чѣмъ-то вродѣ затѣйливаго эксперимента, не успѣвшаго упрочить себѣ никакого значенія въ промышленной практикѣ. Англійскіе экономисты, напримѣръ Макъ-Куллохъ, утверждаютъ до сихъ поръ, что выгоднѣе заниматься мануфактурнымъ производствомъ, чѣмъ земледѣліемъ, на томъ основаніи, что «нѣтъ предѣловъ дарамъ природы въ мануфактурныхъ издѣліяхъ; напротивъ того, есть предѣлы и не слишкомъ отдаленные, ея дарамъ въ земледѣліи». Эта чрезвычайно странная мысль подкрѣпляется слѣдующимъ разсужденіемъ: «Самый огромный капиталъ можетъ быть истраченъ на сооруженіе паровыхъ машинъ, и когда число ихъ будетъ увеличено безгранично, то послѣд-

ная машина будетъ такъ же сильна, какъ первая, и будетъ производить столько же продуктовъ и сберегать столько же работы. Въ отношеніи къ землѣ вопросъ становится совершенно иначе. Земли перваго сорта оказываются быстро истощенными, и если мы будемъ прилагать безграничныя массы капитала даже къ лучшимъ землямъ, то непремѣнно будемъ получать съ капитала постоянно уменьшающееся количество процентовъ» (Mac Culloch: Principles of Political Economy, p. 166).

Я привелъ эти умозрѣнія не для того, чтобы ихъ опровергать: они уже вѣроятно опровергнуты въ умѣ читателя тѣмъ простымъ аргументомъ, что самая отличная паровая машина не можетъ произвести ни одного клочка шерсти или хлопчатой бумаги, и что она приноситъ пользу только тогда, когда есть сырой матеріалъ, произведенный землею посредственно (какъ шерсть) или непосредственно (какъ хлопокъ). Стало быть, если есть извѣстные предѣлы производительности земли, то на этихъ же самыхъ предѣлахъ должна останавливаться и дѣятельность машинъ. Но важно и любопытно замѣтить, какъ несокрушимо экономистъ увѣренъ въ томъ, что производительныя силы земли ограничены. Эта увѣренность возникаетъ и поддерживается въ такихъ мыслителяхъ совершенно независимо отъ свидѣтельствъ естествознанія; она существуетъ даже наперекоръ этимъ свидѣтельствамъ. Если же цѣлая доктрина, поддерживаемая такими людьми, которыхъ многіе считаютъ умными и учеными, можетъ говорить о земледѣліи, и при этомъ оставлять совершенно въ сторонѣ современныя попытки и будущія осмысленныя надежды раціональной агрономіи,— то это очевидно доказываетъ, что истины, вырабатывающіяся въ лабораторіяхъ и кабинетахъ натуралистовъ, плохо проникаютъ даже въ смежные кабинеты другихъ ученыхъ и въ міросозерцаніе той части общества, у которой есть лоскъ образованія и досугъ для размышленія. Знанія распредѣляются чрезвычайно неравномѣрно между различными слоями человѣческихъ обществъ; въ низшіе слои они проникаютъ туго, а оставаясь въ верхнихъ слояхъ, они часто превращаются въ красивую игрушку, развлекающую праздный умъ, но неспособную помогать какой бы то ни было производительной работѣ. Въ одной части обществъ лежитъ масса безполезнаго знанія, а въ другой части въ это же самое время напрягаются человѣческія силы до болѣзненнаго истощенія — напрягаются въ слѣпомъ, рутинномъ и слѣдовательно неблагодарномъ трудѣ. Соедините знаніе и трудъ, дайте знаніе тѣмъ людямъ, которые по необходимости извлекутъ изъ него всю заключающуюся въ немъ практическую пользу, и вы увидите, что богатства страны и народа начнутъ увеличиваться съ невѣроятной быстротой.

Къ сожалѣнію, въ этой разрозненности труда и знанія, проявляющейся въ жалкомъ состояніи современнаго земледѣлія, нѣтъ ничего случайнаго. Эта разрозненность служитъ вѣрнымъ симптомомъ и является неразлучнымъ спутникомъ слабости общественнаго движенія. Гдѣ населеніе разбросано по большому пространству земли, гдѣ всѣ жители поневолѣ принуждены добывать себѣ хлѣбъ первобытными пріемами грубаго земледѣлія, гдѣ нѣтъ разнообразія занятій, тамъ не можетъ быть и обмѣна продуктовъ, потому что нечего и не на что обмѣнивать; тамъ не можетъ быть и путей сообщенія, потому что нечего, некуда и незачѣмъ возить; тамъ не можетъ быть и живого обмѣна идей, потому что идеи такого общества такъ же однообразны, какъ его матеріальные продукты; когда историческія событія выдвигаютъ среди такого населенія на первый планъ группу предпріимчивыхъ и задорныхъ личностей, то этимъ личностямъ бываетъ очень легко справляться съ разбросанными, тупыми и невѣжественными обитателями страны. Эта выдвинувшаяся группа, какъ было напримѣръ въ средніе вѣка, налагаетъ на остальную массу произвольную дань и монополизируетъ въ свою пользу матеріальныя удобства и наслажденія, право носить оружіе и любить отечество, право возмущаться оскорбленіями и воспитывать въ груди преувеличенное чувство собственнаго достоинства, право совершать чудеса храбрости и изумлять потомство громомъ историческихъ подвиговъ. Съ теченіемъ времени эти монополизированныя права измѣняются, добыча, пріобрѣтаемая собираніемъ дани и войною, порождаетъ роскошь и нечувствительно разнѣживаетъ непреклонныя сердца героевъ, такъ что потребности ихъ становятся менѣе кровожадными и болѣе утонченными; герои начинаютъ наслаждаться произведеніями искусствъ и наполняютъ свои досуги разсужденіями о высокихъ и прекрасныхъ предметахъ; возникаетъ оффиціальная и оффиціозная наука, рождается на свѣтъ патентованная поэзія, міръ обогащается великодушными меценатами и вдохновенными творцами одъ, элегій, дифирамбовъ, картинъ, статуй, портиковъ и мавзолеевъ. Историкъ съ свойственнымъ ему просвѣщеннымъ и человѣколюбивымъ восторгомъ повѣствуетъ о смягченіи нравовъ, о процвѣтаніи наукъ и искусствъ, о приближеніи золотого вѣка и о томъ, какъ роскошно развертываются самыя блестящія способности человѣческаго ума.

Но всѣ эти прелести, восхищающія растроганнаго историка, относятся только къ выдѣлившейся группѣ, которая сначала обладала монополіей военной доблести, а потомъ такъ же исключительно стала пользоваться монополіей эстетическаго развитія и умственной дѣятельности. Точно такъ-же промышленный прогрессъ, приводящій въ движеніе сотни колоссальныхъ

машинъ, вовсе не можетъ служить мѣриломъ благосостоянія страны и доказательствомъ развитости ея жителей. Въ несомнѣнно лучшемъ положеніи находятся поэтому земледѣльческія страны.

Чтобы судить о богатствѣ и образованіи работающихъ массъ, надо наблюдать ихъ тогда, когда онѣ сами задаютъ себѣ работу и сами, въ свою собственную пользу, выполняютъ заданный себѣ урокъ. Масса населенія вездѣ занимается земледѣліемъ, т. е. непосредственнымъ добываніемъ пищи, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ возникли и укрѣпились привычки осѣдлой жизни. Съ успѣхами земледѣлія связано тѣснѣйшимъ образомъ все матеріальное и умственное благосостояніе трудящейся массы, составляющей лучшую, значительнѣйшую и необходимѣйшую часть всякаго человѣческаго общества. Земледѣліе во всѣхъ странахъ земного шара находится до сихъ поръ въ младенческомъ состояніи; въ одномъ мѣстѣ оно идетъ лучше, въ другомъ хуже, но нигдѣ общій уровень его не можетъ удовлетворить самымъ снисходительнымъ требованіямъ агрономической науки; въ совершенномъ соотвѣтствіи съ жалкимъ положеніемъ земледѣлія находится уровень матеріальнаго довольства и интеллектуальнаго развитія массъ; гдѣ земледѣліе идетъ лучше, тамъ и масса меньше голодаетъ и меньше поражаетъ наблюдателя своимъ невѣжествомъ; гдѣ земледѣліе идетъ хуже, тамъ оказывается все безобразіе нищеты и вся грязь невѣжества и вынужденной порочности. Но такъ какъ земледѣліе вездѣ идетъ неудовлетворительно, то и масса вездѣ живетъ бѣдно и мыслитъ плохо. Мы даже привыкли въ этомъ отношеніи удовлетворяться малымъ и обнаруживать такимъ образомъ въ дѣлѣ меньшей братіи похвальную умѣренность требованій. Мы неприторно восхищаемся, когда читаемъ въ путешествіяхъ или въ статистическихъ сочиненіяхъ, что въ томъ или въ другомъ государствѣ большая часть жителей или даже всѣ жители умѣютъ читать и писать. Конечно это хорошо, но если восхищаться такими вещами и считать ихъ крайней цѣлью грезъ и желаній, то это значитъ ставить развитію массъ очень узкія рамки, это значитъ мириться съ той перспективой, что наука, искусство, мысль въ самомъ высокомъ значеніи этого слова навсегда будутъ составлять аристократическую привилегію ничтожнаго меньшинства.

Соглашаясь такимъ образомъ урѣзать и сузить умственное развитіе массъ, довольствуясь для нихъ грамотой, главными молитвами и четырьмя правилами ариѳметики, мы сами обрекаемъ современныя общества на хилость и дряблость...

XXI.

Всѣ погибшія цивилизаціи успѣли выработать себѣ военное сословіе, торговлю, дороги и кораб-ли, науку, искусство и промышленную технику. Вавилонія, Персія, Египетъ, Греція, Римъ записали въ исторію воспоминаніе о многихъ побѣдахъ, открыли нѣсколько торговыхъ путей и оставили отдаленнѣйшему потомству нѣсколько удивительныхъ образчиковъ зодчества, скульптуры, поэтическаго творчества или историческаго изложенія. Но ни одна изъ этихъ погибшихъ цивилизацій никогда, въ самый цвѣтущій періодъ своего существованія, не доходила до раціональнаго земледѣлія. Можно даже, не боясь ошибиться, утверждать положительно, что если-бы та или другая изъ этихъ цивилизацій доработалась до раціональнаго земледѣлія—то эта цивилизація пережила бы всѣ остальныя и навѣрное продолжала бы развиваться и совершенствоваться до нашихъ временъ. Внѣшнія проявленія тѣхъ болѣзней, отъ которыхъ погибли древнія цивилизаціи, чрезвычайно различны, но существенный и основной характеръ этихъ болѣзней вездѣ и всегда остается неизмѣннымъ. Вездѣ и всегда цивилизаціи гибнутъ отъ того, что плоды ихъ ростутъ и зрѣютъ для немногихъ. Немногіе наслаждаются, немногіе размышляютъ, немногіе задаютъ себѣ и разрѣшаютъ общественные вопросы, немногіе открываютъ міровые законы, немногіе узнаютъ о существованіи этихъ законовъ и опять-таки немногіе въ пользу немногихъ прилагаютъ къ промышленному производству открытія и изобрѣтенія, сдѣланныя также немногими, воображавшими себѣ въ простотѣ души, что они работаютъ для всѣхъ. А въ это время, въ славное время процвѣтанія наукъ и искусствъ, массы страдаютъ, массы надрываютъ свои силы, массы своимъ нелѣпымъ трудомъ истощаютъ землю, массы медленно роютъ въ полѣ могилы для себя и для своего потомства, и дѣйствительно массы бѣднѣютъ, тупѣютъ, вымираютъ, и роскошный цвѣтъ древней цивилизаціи вянетъ, потому что корень оказывается подгнившимъ.

Этотъ безплодный, поверхностный и недолговѣчный характеръ цивилизаціи выражается въ самыхъ разнообразныхъ историческихъ формахъ; иногда мы видимъ его въ теократическомъ господствѣ жрецовъ, въ другой разъ—въ завоевательныхъ стремленіяхъ политики, далѣе—въ несоразмѣрномъ развитіи внѣшней торговли, потомъ—въ фабричной дѣятельности, далеко превышающей естественныя потребности и даже силы извѣстной страны. Всѣ цвѣты погибшихъ цивилизацій росли и распускались въ ущербъ благосостоянію массъ, и поэтому насъ не должно удивлять то обстоятельство, что во всѣхъ этихъ цивилизаціяхъ упадокъ съ такой ужасающей быстротой слѣдовалъ именно за эпохой величайшаго блеска. Этотъ блескъ самъ по себѣ былъ сильнѣйшимъ выраженіемъ общественной болѣзни, а эпоха упадка была даже сравнительно временемъ облегченія для массъ, потому что

этимъ массамъ, дошедшимъ до крайней степени нищеты и безсилія, позволялось тогда по крайней мѣрѣ сосредоточить свое вниманіе на устройствѣ собственныхъ мелкихъ дѣлишекъ, о которыхъ не заботится политическая исторія.

Разнообразные опыты многихъ вѣковъ говорятъ намъ, что крѣпка, прочна и богата благодѣтельными послѣдствіями будетъ только та цивилизація, которая будетъ улучшать бытъ и развивать умственныя силы всѣхъ людей, составляющихъ данное общество. Неизбѣжнымъ спутникомъ такой прочной цивилизаціи и вѣрнѣйшимъ ручательствомъ ея живучести будетъ развитіе раціональнаго земледѣлія, развитіе именно той отрасли дѣятельности, которая была запущена и заброшена всѣми исчезнувшими цивилизаціями. Раціональное земледѣліе будетъ въ одно и то же время самымъ величественнымъ продуктомъ и самой непоколебимой опорой той безсмертной цивилизаціи, которой выпадаетъ на долю задача сгладить различіе между старшими и младшими братьями.

Если мы разсмотримъ тѣ условія, при которыхъ становится возможнымъ существованіе и всеобщее распространеніе раціональнаго земледѣлія, то мы увидимъ, что этотъ родъ дѣятельности неразрывно связанъ съ богатствомъ, просвѣщеніемъ и всестороннимъ благодѣтствіемъ тѣхъ массъ, которыя до сихъ поръ вездѣ и всегда трудились черезъ силу и, несмотря на то, постоянно оставались впроголодь. Мы уже видѣли, какъ много долженъ знать тотъ земледѣлецъ, который желаетъ заниматься своимъ дѣломъ не какъ азартной игрой, а какъ выгоднымъ и вѣрнымъ ремесломъ. Къ этому можно прибавить, что ни одно ремесло не имѣетъ передъ собою такой широкой будущности, какъ земледѣліе; ни одно ремесло не способно къ такому безконечному совершенствованію, какъ обработка земли, потому что въ основаніи этой обработки лежитъ самое разностороннее изученіе природы, постоянно обогащающееся новыми фактами, опытами и наблюденіями. Всѣ знанія, необходимыя земледѣльцу, лежатъ въ области естественныхъ наукъ, а всѣмъ извѣстно, что естественныя науки самымъ радикальнымъ образомъ уничтожаютъ предразсудки и очищаютъ засорившіеся мозги. Слѣдовательно земледѣлецъ, сознательно занимающійся своей работой, незамѣтно и нечувствительно для самого себя вымететъ изъ своего домашняго быта и изъ своего міросозерцанія ту безобразную паутину суевѣрія, которая до сихъ поръ повсемѣстно застилаетъ младшимъ братьямъ свѣтъ божій Бэкона, Галилея, Коперника и всѣхъ другихъ свѣтилъ человѣчества, свѣтящихъ только для старшихъ братьевъ.

Но для водворенія раціональнаго земледѣлія недостаточно одного распространенія полезныхъ знаній. Этого мало, если земледѣлецъ будетъ знать, что ему слѣдуетъ дѣлать; необходимо, кромѣ того, чтобы онъ имѣлъ возможность дѣйствительно выполнять то, что онъ справедливо считаетъ полезнымъ. Агрономическія свѣдѣнія нашихъ крестьянъ чрезвычайно скудны, но и эти скудныя свѣдѣнія большею частью составляютъ мертвый капиталъ, потому что они далеко превышаютъ мѣры практическаго могущества земледѣльцевъ. Крестьяне знаютъ, что землю слѣдуетъ удабривать, и знаютъ, чѣмъ ее удабривать, но это полезное свѣдѣніе въ большей части случаевъ остается непримѣнимымъ. Удобренія взять не откуда, когда не на что завести и кормить скотину и когда хлѣбъ приходится возить на продажу или даже отправлять за море, богъ-знаетъ въ какую даль. Самый просвѣщенный агрономъ ничего не сдѣлаетъ со всѣми своими свѣдѣніями, когда ему придется отсылать сырой продуктъ за тысячи верстъ и получать за каждые десять пудовъ хлѣба по фунту сукна или по полуфунту обдѣланной стали. Ни сукна, ни стали не положишь въ землю, а сырой продуктъ уѣхалъ за море, и заключавшееся въ немъ удобреніе навсегда потеряно для страны. Очевидно, стало быть, что для развитія раціональнаго земледѣлія, кромѣ распространенія между массами полезныхъ свѣдѣній, необходимо еще повсемѣстное разнообразіе занятій и повсемѣстное же образованіе мелкихъ центровъ притяженія, въ которыхъ постоянно перерабатывались, потреблялись и превращались бы въ удобреніе сырые продукты, добываемые изъ земли окрестными жителями. Близость рынковъ къ мѣсту производства и непосредственное сближеніе земледѣльца съ ремесленникомъ, производителя съ потребителемъ—ведутъ за собою, во-первыхъ, возможность возвращать землѣ взятый отъ нея сырой продуктъ въ видѣ удобренія и, во-вторыхъ, возможность разнообразить посѣвы и уменьшать такимъ образомъ количество неблагопріятныхъ шансовъ, угрожающихъ успѣху земледѣльческаго труда.

Первое слѣдствіе приближенія рынковъ понятно и не нуждается въ дальнѣйшихъ объясненіяхъ. Второе слѣдствіе этого приближенія также объясняется очень легко и просто. Когда рынокъ далекъ, тогда земледѣлецъ принужденъ воздѣлывать на своихъ нивахъ только такіе растительные продукты, которые выдерживаютъ далекую перевозку, слѣдовательно такіе, которые продаются по дорогой цѣнѣ, не отличаются особенной громоздкостью и могутъ быть доставлены на далекій рынокъ въ неиспорченномъ видѣ. Земледѣлецъ не можетъ отправлять за тысячу верстъ рѣпу или картофель, потому что цѣна этихъ громоздкихъ продуктовъ не окупитъ ихъ перевозки; точно такъ-же сельскій хозяинъ не можетъ отправлять за тысячу верстъ яйца или свѣжія ягоды, потому что первыя перебьются въ дорогѣ, а вторыя—непремѣнно загніютъ и испортятся. Всего удачнѣе выдер-

живаетъ перевозку зерновой хлѣбъ, да и цѣну за него даютъ такую, которая окупаетъ труды земледѣльца и перевозочныя издержки; поэтому для продажи на далекіе рынки производится исключительно зерновой хлѣбъ разныхъ сортовъ и достоинствъ. Земля любитъ перемѣну; для земли было бы полезно, чтобы за пшеницей слѣдовалъ напримѣръ картофель, а за картофелемъ—кормовыя травы; земледѣлецъ знаетъ это свойство земли, но онъ опять-таки не можетъ воспользоваться своимъ знаніемъ; разводить картофель и кормовыя травы невозможно, потому что сбывать ихъ вблизи некуда, а везти на далекій рынокъ не стоитъ; не сѣять пшеницы также невозможно, потому что если земледѣлецъ не доставитъ на рынокъ пшеницы, то земледѣльцу не на что будетъ купить себѣ рубашку и кафтанъ, не на что будетъ пріобрѣсти новый топоръ или соху. Поневолѣ, подчиняясь требованіямъ далекаго рынка, земледѣлецъ сознательно истощаетъ свою ниву постоянно повторяющимися посѣвами пшеницы, ржи и другихъ зерновыхъ хлѣбовъ. Онъ знаетъ, что слѣдовало бы распоряжаться иначе, онъ и радъ былъ бы вести свое хозяйство разумнѣе, но это полезное познаніе добра и зла и эта добродѣтельная готовность покаяться въ сознанныхъ заблужденіяхъ оказываются совершенно безсильными передъ неотразимыми требованіями матеріальной необходимости. Засѣявъ всѣ свои поля зерновымъ хлѣбомъ, земледѣлецъ поставилъ на одну карту весь свой годовой заработокъ. Перемѣна погоды, неблагопріятная для зернового хлѣба, разомъ губитъ всѣ законныя надежды хозяина. Этого не могло бы случиться, еслибы рынокъ находился подъ рукой. Тогда хозяинъ добывалъ бы съ своего участка земли, кромѣ разныхъ сортовъ хлѣба, всякаго рода овощи, фрукты и ягоды, кормовыя травы, красильныя и лекарственныя вещества; близость сбыта и безпрерывность запроса возбудили бы въ земледѣльцѣ предпріимчивость и изворотливость, смышленность и старательность, которыя совершенно немыслимы и почти безполезны въ человѣкѣ, живущемъ вдали отъ всякаго промышленнаго движенія. Раздѣливши свою ниву на мелкіе участки, воздѣлывая на каждомъ изъ нихъ именно то растеніе, которое соотвѣтствуетъ составу и свойствамъ даннаго участка, перемѣняя каждый годъ назначеніе этихъ участковъ и, сверхъ всего этого, заваливая каждый участокъ удобреніемъ, земледѣлецъ, живущій возлѣ самаго рынка, можетъ конечно уменьшить до самой незначительной величины рискъ, сопряженный съ его занятіями. Та или другая перемѣна погоды можетъ быть неблагопріятна только для одной какой-нибудь части его будущаго дохода; что повредитъ напримѣръ овощамъ, то можетъ быть принесетъ пользу пшеницѣ и не произведетъ никакого вліянія на фрукты; потерявши на какомъ-нибудь одномъ продуктѣ, хозяинъ будетъ всегда въ состояніи вознаградить свой убытокъ на другомъ, и средній уровень его дохода въ большей части случаевъ останется почти неприкосновеннымъ. Конечно можетъ случиться такая засуха, которая все зажаритъ, или такой градъ, который перепашетъ заново всѣ поля, но такого рода случайностямъ подвержено вообще всякое дѣло рукъ человѣческихъ: и фабрика можетъ загорѣться отъ грозы, и домъ можетъ быть разрушенъ наводненіемъ, землетрясеніемъ или ураганомъ; противъ такихъ случайностей есть одно средство—страхованіе, и это средство, какъ всякій согласится, находится также всего больше въ ходу и прилагается всего чаще тамъ, гдѣ существуетъ разнообразіе занятій и гдѣ совершается дѣятельное движеніе продуктовъ, капиталовъ и идей.

Мы видимъ такимъ образомъ, что для развитія раціональнаго земледѣлія необходимы два условія: распространеніе полезныхъ свѣдѣній между массами и разнообразіе занятій, неизбѣжно ведущее за собой образованіе мѣстныхъ центровъ производства и притяженія. Должно замѣтить здѣсь, что эти два условія всегда бываютъ неразлучны между собой и, собственно говоря, составляютъ только двѣ различныя стороны того нормальнаго процесса, который порождаетъ раціональное земледѣліе. Дѣйствительно, полезныя свѣдѣнія никакими искусственными мѣрами не могутъ быть привиты къ жизни такого населенія, которое разбросано по большимъ пространствамъ земли, непривычно къ промышленному сближенію и угнетено бѣдностью и однообразіемъ занятій. Никакія благодѣтельныя попеченія мудрыхъ правительствъ о земледѣльческихъ и реальныхъ школахъ, никакія заохочиванія, поощренія и приневоливанія къ ученію не улучшатъ пріемовъ земледѣльческой рутины и не расширятъ умственнаго горизонта трудящихся милліоновъ. Массы воспитываются не школьною указкой, не крупицами, падающими съ умственной трапезы пресытившихся старшихъ братьевъ, а исключительно только правильнымъ, здоровымъ и незадержаннымъ развитіемъ общественной и экономической жизни. Когда устраняются препятствія, лежавшія на пути этого развитія, когда появляется свобода труда, когда этому свободному труду открываются разнообразныя приложенія, тогда каждый отдѣльный кусочекъ сѣрой массы начинаетъ чувствовать себя человѣкомъ и быстро схватываетъ себѣ на лету тѣ свѣдѣнія, которыя необходимы ему для жизни. Тогда, и только тогда, становятся дѣйствительно полезными и школы, стоявшія прежде пустыми, и популярныя руководства, которыя до сего времени никого не могли научить уму-разуму. Не школа преобразовываетъ жизнь, а напротивъ того жизнь создаетъ для себя

школу и приспособляетъ ее къ своимъ потребностямъ и стремленіямъ.

Пробужденіе массъ, необходимое для вступленія людей въ истинную цивилизацію, всегда производится только какимъ-нибудь рѣшительнымъ поворотомъ въ теченіи общественной и экономической жизни, а не громкими и гуманными кликами старшихъ братьевъ, подвизающихся на пользу младшихъ въ литературѣ и на различныхъ каѳедрахъ. Каждый поворотъ, дѣйствующій освѣжительно на жизнь и самосознаніе массъ, обыкновенно заключается въ томъ, что эти массы освобождаются отъ какой-нибудь стѣснительной опеки и полнѣе прежняго предоставляются естественному ходу собственныхъ инстинктовъ и стремленій. Чѣмъ больше эта темная масса, о которой такъ соболѣзнуютъ просвѣщенные дѣятели, получаетъ возможность жить собственнымъ дряннымъ умишкомъ, тѣмъ удобнѣе она устраиваетъ свой бытъ, тѣмъ быстрѣе она богатѣетъ, тѣмъ раціональнѣе становится ея земледѣліе и тѣмъ человѣчнѣе дѣлается каждый изъ ея отдѣльныхъ кусочковъ. Еслибы масса съ самаго начала исторіи была предоставлена собственной горькой участи, то раціональное земледѣліе давно утвердилось бы во всемъ мірѣ, и мы бы теперь не имѣли случая восхищаться тѣмъ, что въ томъ или другомъ государствѣ большая часть жителей умѣютъ читать и писать. Но зато исторія была бы совершенно лишена того удивительнаго драматизма, который придаютъ ей великіе подвиги и кровавые перевороты. Исторія была бы утомительно однообразна, какъ нравоучительная біографія добродѣтельнаго семьянина. Старшіе братья никакъ не могли допустить подобнаго оскорбленія законовъ эстетики и начали заботиться о массахъ съ самой минуты, какъ сознали свое старшинство и вникли въ свои обязанности къ младшимъ. Они тотчасъ начали вовлекать своихъ не-эстетическихъ братьевъ въ драматическія войны, въ эпическія торговыя предпріятія и въ траги-комическія ошибки по части мануфактурной конкурренціи. Усилія просвѣщенныхъ эстетиковъ увѣнчались болѣе или менѣе полнымъ успѣхомъ, и совокупность этихъ успѣховъ составляетъ канву той весьма изящной драмы, которая называется всемірной исторіей. Гдѣ не мѣшаются въ дѣло старшіе братья—тамъ миръ и богатство; гдѣ они мѣшаются—тамъ драматизмъ и эффектность. Одно другого стоитъ, но такъ какъ старшіе братья болѣе или менѣе вездѣ болѣли душой объ участи младшихъ, то драматизма и эффектности оказывалось и до сихъ поръ оказывается на бѣломъ свѣтѣ несравненно больше, чѣмъ мира и богатства. Раціональное же земледѣліе до сихъ поръ принадлежитъ вездѣ къ далекой области мечты и желанія. Правильный прогрессъ прямо ведетъ въ эту область, но когда начнется этотъ прогрессъ и когда онъ дойдетъ до своихъ результатовъ — неизвѣстно: онъ повидимому только-что начинается.

XXII.

На всѣхъ материкахъ и островахъ земного шара, за исключеніемъ полярныхъ льдовъ и песчаныхъ пустынь, человѣкъ окруженъ неисчислимыми и безконечно разнообразными богатствами. Богатства эти заключаются въ тѣхъ сырыхъ матеріалахъ, которые производитъ земля, или которые она можетъ производить при соотвѣтственной обработкѣ. Богатства эти нигдѣ и никогда не даются человѣку сразу; человѣкъ долженъ трудиться, чтобы овладѣть ими; онъ долженъ наблюдать и размышлять, чтобы замѣтить ихъ существованіе и оцѣнить ихъ значеніе. Человѣкъ начинаетъ свою борьбу съ природой тамъ, гдѣ природа слаба и бѣдна, и гдѣ она вслѣдствіе этого скорѣе и легче уступаетъ его усиліямъ. Онъ обращаетъ въ свою пользу мягкую мѣдь прежде, чѣмъ твердое желѣзо; онъ покоряетъ слабую овцу и козу прежде, чѣмъ сильнаго быка; онъ расчищаетъ и засѣваетъ тощую почву холмовъ прежде, чѣмъ тучную землю долинъ и рѣчныхъ береговъ. Пока продолжается борьба человѣка съ слабой и бѣдной природой, пока одерживаются надъ ней первыя побѣды, покупаемыя дорогой цѣной и приносящія мало непосредственныхъ выгодъ, до тѣхъ поръ человѣкъ самъ остается слабымъ и бѣднымъ. Онъ слабъ и бѣденъ, потому что ему помогаетъ малочисленная горсть людей, и потому что онъ самъ, со всѣми своими помощниками, неопытенъ и несвѣдущъ. Онъ слабъ и бѣденъ, но могущество и богатство его постоянно увеличиваются вмѣстѣ съ каждымъ новымъ пріобрѣтеніемъ опытности и вмѣстѣ съ каждымъ приращеніемъ въ числѣ трудящихся людей. Онъ слабъ и бѣденъ, но потомки его непремѣнно будутъ богаты и могущественны, если только они не будутъ уклоняться въ сторону съ пути терпѣливаго труда и внимательнаго изученія природы.

Все богатство человѣка заключается въ сырыхъ матеріалахъ, добываемыхъ изъ земли; все могущество человѣка заключается въ умѣньи перерабатывать и обращать въ свою пользу добываемые матеріалы. Эта истина поразительна по своей простотѣ. Эту истину несчетное число разъ внушали людямъ, подъ страхомъ земныхъ и загробныхъ наказаній, всѣ гражданскія и нравственныя законоположенія, предписывавшія человѣку уважать права чужой личности и чужого труда. Ни простота этой истины, ни авторитетъ законовъ и законодателей не могли предупредить или удержать въ должныхъ границахъ безчисленныя и гибельныя уклоненія нашей породы съ дороги производительнаго тру

да, съ той единственной дороги, которая могла привести человѣчество къ богатству и къ полнотѣ жизненныхъ наслажденій. Безсиліе законовъ объясняется особенно удовлетворительно тѣмъ обстоятельствомъ, что большая часть законодателей, толковавшихъ очень краснорѣчиво и убѣдительно о необходимости уважать чужое право—сами, своими же законами, такъ же краснорѣчиво и убѣдительно освящали важнѣйшія и вреднѣйшія уклоненія своихъ согражданъ и современниковъ съ пути производительнаго труда, съ того единственнаго пути, который всегда и вездѣ совпадаетъ съ требованіями справедливости. Римское право, освящавшее рабство, превращавшее жену въ собственность мужа и сына въ собственность отца, проводившее строгое различіе между римскимъ гражданиномъ и провинціаломъ, между патриціемъ и плебеемъ, между вольнымъ и вольноотпущеннымъ,—римское право, говорю я, конечно никому не могло внушить достаточнаго уваженія къ тѣмъ предписаніямъ, которыми оно старалось обуздать хищныя наклонности бѣдныхъ и буйныхъ гражданъ. Другіе кодексы также не могли претендовать на особенную чистоту и выдержанность основного принципа. Люди обыкновенно издавали кодексы отчасти для того, чтобы дать опредѣленную и прочную форму своимъ любимымъ заблужденіямъ, отчасти для того, чтобы пугнуть себя и своихъ современниковъ строгими требованіями односторонняго идеала казенной нравственности. Ни та, ни другая цѣль не достигалась. Любимыя заблужденія отживали свой вѣкъ и разрушались, несмотря на опредѣленность и прочность приданной имъ формы, а застегнутый на всѣ пуговицы идеалъ никого не запугивалъ своими требованіями и рѣшительно никого не обращалъ на путь истины. Ошибались и падали отдѣльныя личности; безвинно, невольно и безсознательно вовлекались въ ошибки и доводились до паденія цѣлые народы. Отдѣльныя личности быстро расплачивались за свои ошибки, и обыкновенно, согласно буквѣ того или другого кодекса, оканчивали свое земное существованіе въ мученіяхъ, дѣлавшихъ большую честь остроумію изобрѣтателей и усердію исполнителей. Невольныя ошибки народовъ, напротивъ того, не замѣчались и не считались ошибками. На нихъ не указывалъ никакой кодексъ. Имъ обыкновенно сочувствовалъ, ихъ часто вызывалъ самъ законодатель. Ошибки народовъ воспѣвались поэтами, превозносились историками и ставились въ примѣръ потомству неподкупленными моралистами. Эти ошибки анализировались холодными мыслителями и оказывались великими проявленіями народнаго генія. На этихъ ошибкахъ строились и до сихъ поръ строятся цѣлыя политическія и экономическія теоріи. Когда рядъ великихъ проявленій народнаго генія вдругъ приводилъ къ рѣзкому паденію, которое повидимому должно было бы окатить бочками холодной воды всѣхъ пѣвцовъ, мечтателей и спокойно-упорныхъ теоретиковъ,—тогда это паденіе приписывалось постороннимъ и случайнымъ причинамъ; пѣснопѣнія продолжались, тѣмъ болѣе, что паденіе давало имъ новый эффектный мотивъ; историки попрежнему что-то превозносили и что-то анализировали; теоретики торжествовали, потому что всякая теорія одарена удивительной гибкостью и растяжимостью; а въ это время массы, о которыхъ пѣлись дифирамбы, писались изслѣдованія и сочинялись побѣдоносныя теоріи, массы несли тяжелое вѣковое возмездіе за ошибки, привитыя къ ихъ тихой и темной жизни посторонними двигателями событій. Массы доходили до дикаго состоянія, теряли всякую власть надъ питающими ихъ силами природы и, умирая отъ лишеній, превращали цѣлыя области въ дикія и печальныя пустыни, въ которыхъ все говорило о бывшей дѣятельности человѣка, о его предсмертной борьбѣ и о его страшной кончинѣ. Такими пустынями покрыты всѣ тѣ мѣста, на которыхъ въ былое время кипѣла историческая жизнь и на которыхъ жизнь эта замерла вслѣдствіе непроизвольныхъ, но неисправимыхъ ошибокъ, совершенныхъ цѣлыми народами и истощившихъ до послѣдней капли ихъ живыя силы.

Ошибокъ этихъ, въ большей или меньшей степени, не минуетъ въ своемъ существованіи ни одинъ народъ. Народъ, какъ дерево, растетъ и въ стволъ, и въ сукъ; онъ, какъ крѣпкій организмъ, можетъ уклоняться отъ строго-гигіеническаго образа жизни; онъ можетъ болѣть и выздоравливать; онъ много испытаній можетъ перенести, не надламливаясь и не хирѣя; но чѣмъ сильнѣе сукъ перевѣшиваетъ стволъ, чѣмъ значительнѣе дѣлаются уклоненія отъ разумной гигіены, чѣмъ продолжительнѣе и чаще болѣзненные припадки, тѣмъ опаснѣе становится положеніе колоссальнаго паціента и тѣмъ ближе надвигается грозная катастрофа.

Богатство и могущество народа, равносильное благосостоянію всѣхъ составляющихъ его единицъ, заключается въ добываніи и цѣлесообразной переработкѣ различныхъ сырыхъ продуктовъ, доставляемыхъ землею. Земледѣліе и мануфактурная промышленность, взаимно поддерживающія другъ друга, составляютъ естественныя и необходимыя занятія народа, стремящагося къ благоденствію. Все, что отвлекаетъ народъ отъ этихъ производительныхъ занятій, все, что нарушаетъ необходимое равновѣсіе между земледѣліемъ и мануфактурами, составляетъ ошибку и ведетъ къ бѣдности. Наука, расширяющая умъ человѣка, и искусство, обновляющее его силы живымъ насла-

жденіемъ, не могутъ быть названы помѣхами для производительныхъ занятій; но при этомъ должно замѣтить, что наука и искусство не имѣютъ ничего общаго со многими современными фокусами празднаго ума и дряблой фантазіи, не смотря на то, что фокусы эти стараются прикрыть себя разными почтенными именами. Кромѣ того не мѣшаетъ помнить, что наука и искусство только тогда будутъ въ состояніи жить естественной и здоровой жизнью, когда будутъ удовлетворяться насущныя и грубыя потребности человѣческихъ организмовъ. Музыкальная консерваторія—учрежденіе очень хорошее, но она доставитъ мало наслажденія такому народу, у котораго не хватаетъ хлѣба. Ученое путешествіе на берега Тигра для чтенія гвоздеобразныхъ надписей—дѣло очень похвальное, но оно произведетъ слабое впечатлѣніе на черствую душу лапотника, не умѣющаго разбирать печатныя буквы собственнаго языка. Совѣстно назвать науку и искусство затѣями, отклоняющими силы ума отъ настоящаго дѣла; въ отношеніи къ естественнымъ наукамъ такое сужденіе было бы совершенно нелѣпо и несправедливо; но приходится сознаться, что наука и искусство до сихъ поръ оставались совершенно безсильными и не имѣли никакого вліянія на умственное состояніе массъ. И наука, и искусство были, по меньшей мѣрѣ, красивымъ анахронизмомъ. Это — подснѣжники, распустившіеся задолго до наступленія весны; имъ приходится ёжиться и дрожать отъ холода, или съ похвальнымъ благоразуміемъ укрываться въ теплицы, называющіяся музеями, академіями, консерваторіями и другими именами, которыя для массъ столько же новы, сколько вразумительны.

Я вовсе не думаю становиться здѣсь на славянофильскую точку зрѣнія и декламировать о ложности и чужеземности нашей цивилизаціи. Наша цивилизація ничѣмъ не лучше и ничѣмъ не хуже всѣхъ остальныхъ; наука и искусство вездѣ прозябаютъ въ оранжереяхъ, и массы, оплачивающія эти оранжереи, вездѣ интересуются ими такъ же сильно, какъ напримѣръ внутреннимъ содержаніемъ египетскихъ пирамидъ или вопросомъ о желѣзной маскѣ. Какое дѣло англійскому фабричному до британскаго музея? Что общаго у нѣмецкаго работника съ мюнхенскою глиптотекой? Какую точку соприкосновенія имѣетъ парижскій блузникъ съ французской академіей?

Мы уже такъ присмотрѣлись къ этимъ академіямъ, что намъ могутъ даже показаться наивными подобные вопросы, если только они не покажутся намъ лукавыми и безнравственными. Впрочемъ какъ ни смѣшна кружевная заплата наукъ и искусствъ на изорванной сермягѣ, составляющей драпировку массъ, должно однако сознаться, что эта рѣзкая несообразность принадлежитъ къ самымъ невиннымъ уклоненіямъ отъ правильнаго и разумнаго развитія народной жизни. Съ тѣхъ поръ, какъ солнце свѣтитъ и весь міръ стоитъ, ученые и художники не погубили еще собственными силами ни одной цивилизаціи; справедливость побуждаетъ насъ замѣтить, что они также ни одной цивилизаціи не поддержали; они только украшали ихъ подобно тому, какъ мохъ украшаетъ стволы вѣковыхъ деревьевъ; когда дерево падаетъ, мохъ продолжаетъ украшать его, и украшаетъ его въ то самое время, когда оно лежитъ на землѣ, гніетъ и истачивается муравьями.

Губителями древнихъ цивилизацій оказываются война и торговля. Война и торговля появляются сначала на свѣтъ въ самомъ простомъ и бѣдномъ видѣ. Первое генеральное сраженіе производилось навѣрное кулаками, за обладаніе какимъ-нибудь кокосовымъ орѣхомъ; первая торговая операція, по всей вѣроятности, клонилась къ тому, чтобы выманить этотъ же кокосовый орѣхъ за гнилой бананъ, котораго гнилость утаивалась тщательно, но неискусно; за горячей схваткой могла слѣдовать торговая сдѣлка, а коммерческіе переговоры въ свою очередь могли прерываться воинственными демонстраціями. Всякій былъ и воиномъ, и купцомъ, и работникомъ; всякій могъ замѣтить, что число наличныхъ бананова увеличивалось не во время драки, не во время торговыхъ совѣщаній. Сомнительная выгода, извлекавшаяся изъ единоборствъ и изъ мелкихъ мошенничествъ, по всей вѣроятности подорвала бы во мнѣніи людей этотъ родъ занятій, еслибы только не открылась возможность образовать коллективныя драки и крупные обманы. Опираясь на ассоціацію, война и торговля расширяютъ кругъ своихъ дѣйствій и облекаются въ новыя формы. Предпріимчивый юноша собираетъ вокругъ себя другихъ юношей, уступающихъ ему въ изобрѣтательности, но равныхъ ему по отвагѣ. Ассоціація, составляющая вѣрное средство для развитія производительнаго труда, дѣлается такимъ образомъ орудіемъ войны и является самымъ сильнымъ средствомъ для разрушенія труда, самымъ серьезнымъ препятствіемъ на пути его совершенствованія. Храбрые витязи удалой дружины тотчасъ дѣлаются старшими братьями собирателей бананова и тотчасъ начинаютъ смотрѣть на вещи такими широкими взглядами, которые совершенно недоступны младшимъ. Затѣмъ является настоятельная необходимость кормить ассоціацію, и тогда собирателямъ бананова вмѣняется въ обязанность приносить въ жилище своихъ старшихъ братьевъ опредѣленное количество плодовъ земныхъ. Такимъ образомъ среди населенія,

собирающаго бананы, образовалась спачала небольшая добровольная ассоціація; это ядро привлекло къ себѣ другихъ людей, частью обольстительными обѣщаніями, частью разсчитанными угрозами, частью скрытой силой. Но вовлечь въ воинственную ассоціацію всѣхъ собирателей банановъ неудобно, потому что тогда некому будетъ кормить удалую дружину. На этомъ основаніи разросшаяся ассоціація прилагаетъ свои силы къ тому, чтобы держать всю совокупность собирателей банановъ въ состояніи недобровольной ассоціаціи. Эта недобровольная ассоціація состоитъ въ томъ, что цѣлыя тысячи людей содѣйствуютъ своими трудами выполненію такихъ возвышенныхъ замысловъ, о которыхъ они не имѣютъ никакого понятія и которые не приносятъ имъ ни малѣйшей выгоды. Мы видѣли напримѣръ, что пути сообщенія должны служить къ образованію мѣстныхъ центровъ разнородной дѣятельности; мы видѣли также, что количество всякихъ банановъ можетъ увеличиваться только тогда, когда существуютъ такіе мѣстные центры; но система недобровольной ассоціаціи этого не знаетъ и разсуждаетъ совершенно по своему. Гдѣ есть бананы, думаетъ она, тамъ прежде всего должна чувствоваться сила дружины. На основаніи этого разсужденія всѣ важнѣйшія дороги прокладываются такъ, что онѣ увеличиваютъ притяженіе центра, усиливаютъ въ этомъ центрѣ искусственное движеніе и ослабляютъ естественныя проявленія жизни во всѣхъ далекихъ оконечностяхъ страны банановъ.

Изобрѣтенія, относящіяся къ механической и химической переработкѣ сырого матеріала, должны вести къ тому, чтобы всѣ люди питались, одѣвались и жили лучше прежняго, чтобы сберегалось какъ можно больше человѣческаго труда и чтобы этотъ сбереженный трудъ употреблялся на усиленіе производительныхъ силъ земли и на развитіе безпредѣльныхъ способностей человѣческаго ума. Но эта цѣль вовсе не соотвѣтствуетъ великимъ интересамъ и строгимъ замысламъ той системы, которая выработалась изъ первобытной дружины. По соображеніямъ системы, добываемые металлы должны превращаться не въ заступы, плуги и паровыя машины, а въ сабли, копья и ружья; строевыя деревья должны употребляться не на постройку домовъ, мельницъ и плотинъ, а на сооруженіе огромныхъ кораблей; изъ мѣди должны дѣлаться не самовары, а пушки; порохъ долженъ служить не для истребленія хищныхъ звѣрей, не для добыванія мѣховъ и дичи, а для отбиванія человѣческихъ рукъ, ногъ и головъ; изъ камня должны строиться не мосты и набережныя, а такія стѣны, которыя будутъ разбиваться чугунными ядрами и взрываться порохомъ. Такимъ образомъ рабочая сила и изобрѣтательность нашей породы должны направляться не къ тому, чтобы увеличивать существующія удобства жизни, а къ тому, чтобы руками однихъ людей какъ можно быстрѣе и искуснѣе разрушать то, что сдѣлано руками другихъ.

Кто слѣдилъ за современными открытіями Армстронга и Уайтворта, кто помнитъ происхожденіе Мерримака и Монитора, кто слышалъ о любопытной борьбѣ англійскаго адмиралтейства, стремящагося создать для кораблей непроницаемую обшивку, съ англійскимъ артиллерійскимъ вѣдомствомъ, порывающимся разбить въ дребезги всякую обшивку, тотъ конечно скажетъ, что XIX вѣкъ въ своихъ нелѣпостяхъ такъ же великъ и послѣдователенъ, какъ въ своихъ общеполезныхъ открытіяхъ и человѣчныхъ стремленіяхъ. Но нелѣпость немедленно получаетъ себѣ практическое примѣненіе, а человѣчныя стремленія, по недостатку матеріальныхъ силъ, останавливаются обыкновенно на одной теоретической послѣдовательности. Можно сказать безъ преувеличенія, что остроумныя изобрѣтенія Армстронга и подобныхъ ему благодѣтелей человѣчества причинили Англіи больше вреда, чѣмъ длинный рядъ сильнѣйшихъ неурожаевъ. Еслибы не было этихъ изобрѣтеній, то старые корабли, старыя укрѣпленія и старыя пушки оставались бы совершенно годными для употребленія, а теперь, благодаря остроумію изобрѣтателей, приходится тратить безъ всякой пользы огромныя количества дерева, желѣза, мѣди и, главное, человѣческаго труда. Вредъ не ограничивается Англіей, потому что за нею, волей или неволей, изъ чувства самосохраненія, тянутся всѣ остальныя державы. Но кому же всѣ эти усилія приносятъ пользу? Никому. Кто выигрываетъ отъ этихъ всеобщихъ непроизводительныхъ затратъ? Никто. Всѣмъ извѣстно, что финансы сильнѣйшихъ государствъ Европы обременены страшными долгами и что долги эти произошли отъ прежнихъ войнъ; всѣмъ извѣстно далѣе, что чуть ли не три четверти ежегодныхъ доходовъ употребляются на уплату процентовъ и на содержаніе армій и флотовъ; всѣ знаютъ, что эти издержки постоянно увеличиваются, потому что каждая держава боится своего сосѣда и старается превзойти его силою вооруженія. Спрашивается, есть ли возможность своротить съ этой дороги извращеннаго и постоянно ускоряющагося прогресса? Отвѣта на этотъ вопросъ не рѣшится дать ни одинъ глубокій политикъ, но очевидно, что этотъ вопросъ для всей европейской цивилизаціи равняется вопросу: *быть или не быть*.

XXIII.

Изъ всего, что было говорено въ этомъ очеркѣ, мы можемъ вывести довольно важныя и плодотворныя заключенія. Человѣческое общество въ первоначальной его формѣ можно представить

себѣ въ видѣ пирамиды, разгороженной на нѣсколько этажей. Въ самомъ нижнемъ этажѣ работаютъ люди, добывающіе сырые матеріалы; они находятся въ непосредственномъ соприкосновеніи съ землей, и ихъ этажъ составляетъ основаніе всего строенія, потому что въ остальныхъ ярусахъ люди только перерабатываютъ или передаютъ другъ другу изъ рукъ въ руки то, что отрываютъ отъ земли обитатели нижняго яруса. Во второмъ этажѣ совершается механическая и химическая переработка добытыхъ матеріаловъ. Въ третьемъ этажѣ дѣйствуютъ люди, занимающіеся перевозкой и устраивающіе пути сообщенія. Въ четвертомъ обитаютъ всѣ разнообразные классы людей, живущихъ производительнымъ трудомъ нижняго этажа.

Равновѣсіе этой общественной пирамиды будетъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ обширнѣе будутъ нижніе два этажа въ сравненіи съ верхними, и чѣмъ значительнѣе вѣсъ нижнихъ этажей будетъ превышать тяжесть верхнихъ. Нижніе этажи должны быть обширнѣе—это значитъ, что большее число людей должно заниматься добываніемъ и переработкою сырыхъ продуктовъ, а не перевозкой съ мѣста на тѣсто и не разнообразнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Нижніе этажи должны быть тяжелѣе. Такъ какъ специфическая сила человѣка заключается не въ мускулахъ, а въ мозгу, то вѣсомъ человѣка въ переносномъ смыслѣ можетъ быть названа сумма его дѣятельныхъ умственныхъ способностей. Исторія показываетъ намъ, что пріобрѣтаетъ и удерживаетъ господство въ обществѣ именно тотъ классъ или кругъ людей, который владѣетъ наибольшимъ количествомъ развитыхъ умственныхъ силъ. Преобладанію аристократіи во Франціи пришелъ конецъ, когда перевѣсъ ума, таланта и образованія оказался въ рядахъ зажиточной буржуазіи. Слѣдовательно, когда мы говоримъ: «нижніе этажи должны быть тяжелѣе», это значитъ, что въ массахъ земледѣльцевъ и фабричныхъ должно сосредоточиваться и обращаться больше знаній, чѣмъ въ кучкахъ людей, занимающихся очень неголоволомнымъ дѣломъ исключительнаго потребленія продуктовъ.

1668 В.

50,—

WYŻSZA SZKOŁA
PEDAGOGICZNA W KIELCACH
BIBLIOTEKA
098305

Biblioteka WSP Kielce
0162450